

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://saltykov-shchedrin.ru/> приятного чтения!

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин

СОВРЕМЕННЫЕ ПРИЗРАКИ[1]

(Письма издалека)

Le globe est confié à l'humanité comme un domaine à la question duquel elle est préposée. C'est là sa destinée terrestre. Or, elle ne peut accomplir cette question pendant son enfance, car on conçoit bien qu'elle doit avoir conquis, pour être apte à pareille oeuvre, de la sève et de la force: il faut qu'elle se soit créé des instruments, des moyens de puissance qui ne lui viennent qu'à la suite du développement des arts, des sciences et de l'industrie.

Victor Considérant, «Destinée sociale»[2]

1

Что миром управляют призраки – это не новость. Об этом давно уже знают там, на отдаленном Западе, где сила призраков сказала массам с особенную настоятельностью, где много писали о призраках, где не только называли их по именам, но делали им подробную классификацию, предлагали даже средства освободиться от них. Мы, люди восточного мира, не можем последовать этому последнему примеру, во-первых, потому, что сами еще плохо знаем, какие, собственно, наши призраки и какие чужие, а во-вторых, потому... ну, да просто потому, что не можем. Понятно, следовательно, что, приступая к такому деликатному сюжету, мы обязаны действовать с осторожностью и говорить больше обиняками. Добросовестный читатель оценит всю затруднительность такого положения.

Принято за правило наше русское общество называть молодым. Коли хотите, оно и молодо и старо в одно и то же время; молодо в том отношении, что не успело или не умело выработать из себя ничего самобытного, то есть никаких своих собственных призраков; старо – в том отношении, что существует в силу установившихся и как будто окрепших форм жизни... в силу окрепших призраков, хотел я сказать, но кстати вспомнил, что обещался говорить обиняками. Мы до сих пор жили чужою жизнью – вот уж один достаточно обширный призрак, перед которым должны побледнеть все второстепенные. От этого выходит, что мы, так сказать, пошли в семена прежде, нежели созрели: собачка маленькая, а уж вся словно параличом разбитая, огурчик маленький, а уж весь сморщился. Это бывает иногда со школьниками, которые с десятилетнего возраста начинают курить трубку и тянуть ром. К двадцати пяти годам из такого мальчугана обыкновенно образуется молодец-мужчина: и лысинка на голове появится, и щечки одрябнут, и глазки затекут... С наружной стороны – чистейший продукт английской болезни, усовершенствованной достаточными приемами сулемы, с внутренней – все помыслы, вся складка, вся, так сказать, непромокаемость государственного человека! Ему бы еще поидеальничать, ему бы за девушками побегать, а он мечтает о месте начальника отделения, он весь проникнут томными помыслами о том, как хорошо бы дорваться до места начальника акцизных сборов! Жизнь опрокинута вверх дном, подсечена в самом основании; клавиша, которая для извлечения полного звука должна бы ударяться об три струны, с самого начала ударяет об одну – что за звук, что за звук должен вылетать из этого разбитого, расхлябавшегося инструмента!

Впрочем, я должен раз навсегда оговориться, что, употребляя слово «общество», я разумею только так называемые верхушки его. Что делается внизу, какие призраки царствуют там, да и царствуют ли еще там какие-нибудь призраки, – я не знаю, да и вряд ли кому-нибудь это известно. Быть может, там даже вовсе нет призраков – это было бы недурно, если б можно было удостоверить, что самое отсутствие призраков не составляет также своего рода огромного призрака, который со временем разрастется в мириады маленьких. Во всяком случае, предупреждаю, что я намерен говорить о бельэтаже, а не о подвалах.

Итак, начнем беседовать обиняками.

Что такое призрак? Рассуждая теоретически, это такая форма жизни, которая силится заключить в себе нечто существенное, жизненное, трепещущее, а в действительности заключает лишь пустоту. По-видимому, даже слово «заключать» тут неуместно, ибо призрак ничего не проникает, ни с чем органически не соединяется,

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru а только накрывает. По-видимому, это что-то внешнее, не имеющее никаких внутренних точек соприкосновения с обладаемым им предметом; это одеяло, случайно наброшенное, одеяло блестящее или изорванное в лохмотья, но которое во всякое время, без боли для предмета, под ним находящегося, можно сбросить и заменить другим. Но все это только «по-видимому», все это только в отвлечении, в теории; на деле же призрак так глубоко врывается в жизнь, что освобождение от него составляет для общественного организма вопрос жизни или смерти, и во всяком случае не обходится без сильного потрясения. Не надо забывать, что хотя призрак, по самой природе своей, представляет для жизни лишь механическое препятствие, но он имеет сзади себя целую историю, которая успела укоренить в обществе дурные привычки, которая успела сгруппировать около призрака всю жизнь общества и, сообразно с этим, устроила ее внешние и внутренние подробности. Следовательно, если самый призрак и можно признать за что-то внешнее, то никак нельзя подобным же образом отнести к тем привычкам, которые он порождает.

Владычество призраков непременно предполагает большую или меньшую степень общественного растления. Общество, как и всякий человек, отдельно взятый, стремится к истине, то есть к благосостоянию материальному и нравственному; окольные пути, которыми оно при этом следует, уклонения и ошибки, в которые впадает, доказывают только то, что истина далеко и что для достижения общественного идеала надо переплыть через много морей, перейти через много гор. С этой точки зрения, всякое человеческое общество представляет собой организм высоконравственный, одаренный похвальными и заслуживающими поощрения намерениями. Но с другой стороны, эта самая жажда истины невольно делается причиной не только целого ряда бедствий для общества, но и полной нравственной порчи его. Стремясь к истине и не овладевая ею, кроме колеблющейся под ногами почвы, оно невольным образом бросается навстречу первой истине, которая попадает ему на пути и в которой оно думает найти более или менее удовлетворительное разрешение тревожащей его задачи. Результат этого вынужденного положения – истина временная, идеал минуты, призрак. Призрак украшается пышными названиями чести, права, обязанности, приличия и надолго делается властелином судеб и действий человеческих, становится страшным пугалом между человеком и естественными стремлениями его человеческого существа. Жизнь целых поколений сгорает в бесследном отбывании самой отвратительной барщины, какую только возможно себе представить, в служении идеалам, ничтожество которых молчаливо признается всеми. Понятно, какая темная масса безнравственности должна лечь в основание подобного отношения к жизни. Оно может быть сравнено только с положением человека, который, ненавидя свою любовницу, боится, однако ж, ее и вследствие того считает себя обязанным заявлять ей о своей страстности. С этой стороны, общество, этот высоконравственный организм, является организмом совершенно растленным, погруженным, так сказать, в непрерывный разврат. Безнравственность является следствием нравственности – круг, из которого не выйдешь.

Виновато ли общество в том, что так легко подчиняется владычеству призраков? Властно ли оно выбирать между тою или другою истинною? Нет, не виновато и не властно. Истина надумывается сама собою, почва нарастает исторически; следовательно, винить и некого, и не в чем. Взятое в данный момент, общество уже застаёт призрак вооруженным с головы до ног и защищенным всевозможными стенами, окопами и подъемными мостами. Что может оно, безоружное и слабое, против таких, совсем не двусмысленных, доказательств силы? Ведь этого еще недостаточно, что общество многочисленно, что оно само заключает в себе немалую силу, чтобы с успехом бороться против призрака. Не надо забывать, что сила общества есть сила неорганизованная, рассеянная, сила, так сказать, не сознающая самой себя, кроющаяся под спудом; не надо забывать, что общество, как бы ни явственно оно сознавало обветшалость и пустоту призрака, все-таки воспиталось под влиянием его и вследствие этого не может вполне освободиться от суеверного страха, который внушает имя его. Повторяю: призрак вооружен и укреплен, общество, вступающее в борьбу с ним, безоружно, слабо и подкуплено, – обвиним ли мы его? Ответ, кажется, не может подлежать сомнению.

Но, устраняя от общества современного (или взятого в известный исторический момент) всякую ответственность в подчинении себя призракам, мы не можем не выказать точно такой же снисходительности и относительно отцов и дедов, которые, быть может, самым существенным образом содействовали укоренению и укреплению этих призраков. И для того чтобы достигнуть этого всеобщего оправдания, мы не имеем надобности даже призывать на помощь так называемую ограниченность человеческого ума, эту приятную канву, по которой искатели неизвестного и

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru безграничного так охотно вышивают оправдательные узоры свои. Тут все дело просто заключается в том, что внешняя природа, отношения к которой, собственно, и составляют содержание человеческой жизни, представляет собой замкнутость, которая слишком скупо открывается человеку. Нормальные отношения к этой *belle époque*[3] возможны только под условием полного и всестороннего ее познания, а так как, с одной стороны, это познание приобретается путем трудным и медленным, а с другой стороны, отношения к внешней природе, хоть какие бы то ни было, должны же существовать, то отсюда открывается не только возможность, но даже совершенная законность и необходимость тех бесконечных скитаний по призрачным мытарствам, в которых сгорают лучшие силы человечества.

Итак, не отцы и не сверстники наши виноваты в том, что призраки тяготеют над миром, а виноват в этом самый процесс наращивания и надумывания, который происходит медленно и болезненно. В то время, когда общество начинает уже о чем-то догадываться, что-то подозревать, старая истина все остается в той же суеверной неприкосновенности и предъявляет всё те же права на общество, именно на том основании, что догадка и подозрение не составляют еще никакого существенного фонда для замены отживающей истины. Человек начинает ощущать потребность бога, а бог не открывается, а на месте его стоит все тот же безобразный кумир. Кумир этот исчерпал все свое содержание, он обессилен и не извлекает воды из гранита, а человек все еще простирается перед ним. Все еще приносит ему жертву за жертвою. Какая горькая тайна присутствует в этой связи живущего с отжившим, в этом обоготворении мертвечины? Тот, кто даст себе труд вдуматься в то, что сказано выше об отношениях человека к природе, конечно, не усумнится ответить, что тут и тайны никакой нет.

Всякий призрак имеет свою долю истины или, лучше сказать, всякий призрак есть истина, но истина, ограниченная в пространстве и во времени. Сверх того, всякий призрак есть протест против другого призрака, дряхлого и не соответствующего потребностям жизни. Сверх того, всякий призрак есть вместе с тем переходное звено от призрака прошлого и известного к призраку грядущему и неизвестному. Вот сколько внутренних нитей связывает человека с призраком, вот сколько прав имеет последний на жизнь обществ! История человечества, от самой колыбели его, идет через преемственный ряд призраков – вопрос в том, где оно освободится от них, и освободится ли? Это составляет темную, мучительно-трагическую сторону истории (впрочем, светлой-то и успокоительной покуда и не обрелось). Младенческое состояние точных наук, порождающее исключительное господство спекулятивных знаний и допускающее непрерывные новые открытия, которые ниспровергают все, над чем трудились, в чем не сомневались целые поколения, – все это такие преткновенения, при существовании которых достижение идеала, то есть счастья, представляется чем-то крайне сомнительным, если не окончательно невозможным. Если я не уверен, что мое сегодняшнее знание есть знание действительное, если я постоянно нахожусь под страхом, что то, что я сегодня признаю за благо, завтра, при помощи новых данных, долженствующих расширить горизонт моей мысли, перестанет быть таковым, то очевидно, что ясность моего существования должна быть возмущена, что я не могу иметь ни спокойствия в настоящем, ни уверенности в будущем. Поистине, можно даже подумать, <что> в самом принципе развития и совершенствования, которому неуклонно следует человечество, уже заключается условие величайшего для него несчастья, и, конечно, человечеству было бы невозможно существовать, если бы впереди не блистала ему мысль, что цикл колебаний когда-нибудь да кончится. Что это за мысль и в какой степени осуществима она? Не составляет ли она, в свою очередь, призрака, величайшего из всех призраков? Не похоже ли в этом случае человечество на чернорабочего, который все работает и все чего-то ждет, какой-то перемены в своем неотрадном положении. «Вот еще немного потерплю, вот вынесу еще несколько лишений, – повторяет себе бедняга, – и потом буду счастлив!» – а на поверку оказывается, что и еще приходится терпеть, и еще нести лишения. Человечество инстинктивно думает ту же думу и охотно увлекается всякою новою истиной, всяким новым призраком. На первых порах живет легко; на первых порах истина удовлетворяет всех, хотя и действует обманом, то есть торжествует насчет общего нравственного возбуждения. Но обман обнаруживается; болезненное дерево, давшее ему жизнь, начинает гнить, увлекая за собой и плод... Нужно опять и опять идти, опять и опять искать... Куда идти? чего искать? Каких держаться руководящих истин?

В особенности ощутительно дает себя чувствовать эта трагическая сторона жизни в те эпохи, в которые старые идеалы сваливаются с своих пьедесталов, а новые не нарождаются. Эти эпохи суть эпохи мучительных потрясений, эпохи столпотворения и страшной разноголосицы. Никто ни во что не верит, а между тем общество

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru продолжает жить, и живет в силу каких-то принципов, тех самых принципов, которым оно не верит. Наружно, языческий мир распался, а языческое представление, а языческие призраки еще тяготеют всею своею массою; Ваал упразднен, а ему ежедневно приносятся кровавые жертвы; явления, подобные Юлиам Цезарям, Александрам Македонским, утратили всякий жизненный смысл, а в пользу их еще и доднесь работает человечество. Изменились подробности, но смысл и господствующий тон трагедии остался прежний. Что может быть безотраднее, постылее, возмутительнее, даже пошлее такого положения?

Читатель! случилось ли вам когда-нибудь ощущать, что возможность жить вдруг как-то прекращается? Случалось ли вам спрашивать себя, отчего мысль и руки отбиваются от дела, отчего еще вчера казалось светло, а нынче уже царствует окрест мрак? Отчего люди, жившие доселе в добром согласии, внезапно и искренно приходят к убеждению, что нет никакого разумного повода не только для доброго согласия, но и для простого совместного жительствова?

Но это бы еще ничего. Люди, по каким-либо причинам приходящие к сознанию, что им вместе нечего делать, могут разойтись каждый в свой угол и там откровенно позабыть друг о друге. Отчего же они не забывают и не расходятся? отчего, напротив того, они ищут друг друга, чтобы сильнее питать в себе чувство ненависти и озлобления? Ужели и впрямь чувство ненависти может когда-нибудь сделаться единственной путеводною нитью жизни? ужели его одного достаточно, чтобы наполнить ее содержание?

Да; бывают такие черные дни в истории человечества, и, что тяжелее всего, они повторяются периодически. Жизнь общества утрачивает свой внутренний смысл и держится одним формализмом.

Авгуры последних времен Римской империи не могли без смеха взирать друг на друга и между тем все-таки продолжали ремесло свое. Положим, что это были люди бесстыдные, внутренне убежденные в ничтожестве своих заклинаний и рассчитывавшие на невежество масс, только ради личных выгод, да ведь и массы-то уже не верили в них, ведь и массы уже были достаточно прозорливы, чтобы оценить по достоинству безобразные кривляния распадающегося язычества: для чего же они так упорно держались этих кривляний? для чего они с таким озлоблением преследовали новую истину, робко возникавшую рядом с истиной умирающей? Не потому ли, что массы одарены здравым смыслом, не потому ли, что они инстинктивно понимают, что здесь не происходит ничего иного, кроме замены одного призрака другим, не потому ли, наконец, что они замучены жизнью и изверились в возможность ее? И между тем, несмотря на преследования, несмотря на отпор, новый призрак все-таки прокладывает себе дорогу, как вор подкапывается под основы старого призрака и наконец врывается-таки в самые святилища его. Общество торжествует и чувствует себя обновленным, но вместе с тем скоро, очень скоро после первых порывов нравственного возбуждения с горьким изумлением замечает, что новые формы жизни, которых оно так жаждало и так жадно призывало, в сущности, составляют не более как новый же призрак...

Недаром летописи подобных эпох полны сказаний о самоубийствах: это факт в высшей степени знаменательный. Всем тяжело жить, но вдвое тяжелее ярмо жизни для людей мыслящих и чувствующих. Грандиозность жизненного течения исчезает, явления мельчают, вера в прогресс уничтожается, глазам представляется заколдованный круг... Чему верить? Сердце так полно жажды счастья, но вместе с тем так оскорблено и озлоблено, что с глубокою ненавистью отворачивается от этой исполненной тления жизни. Остается идти к ничтожеству, верить в ничтожество. Смерть делается властительницей дум, ибо она одна что-нибудь разрешает в этом хаосе бессмысленных противоречий, ибо она одна что-нибудь содержит в этой пучине пустоты. Представление смерти является чем-то сладким, отрадно усыпляющим: человек вдумывается в явления жизни, вдумывается в смысл смерти и доходит почти до опьянения, до обоготворения ничтожества. Не узы, но освобождение от уз видит он в смерти, ибо для чего же и жизнь, если она ведет от одного противоречия к другому, от одного ничтожества к другому?

Из всего этого видно, что освободиться от призраков нелегко, но напоминать миру, что он находится под владычеством призраков, что он ошибается, думая, что живет действительною, а не кажущеюся жизнью, необходимо. Не в силу того, что он окончательно сбросит с себя ярмо их, что он изобретением новой и всеобщей панaceи заключит нескончаемый цикл алхимии и астрологии и обратится к более простым и естественным отношениям к природе, но в той уверенности, что старые

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru призраки все-таки заменятся новыми, что, наконец, может настать и такое время, когда призрак и в общем сознании перестанет казаться идеалом. Но ведь общество не будет через это выведено из области призраков? но ведь ему не будет от этого легче? Да, быть может, и не будет выведено (по крайней мере, в настоящую минуту, при настоящем положении наук, едва ли имеем мы право предвидеть что-либо похожее на возможность всеобщей гармонии), но легче ему все-таки будет; ему будет легче уже по тому одному, что оно перестанет относиться к призракам чародейственно, что оно поймет, что нет никакой необходимости трепетать там, где стоит только дунуть, чтобы разорить в прах целое здание. Ему будет легче уже потому, что всякий новый призрак все-таки приносит за собой большую против прежнего простоту и естественность отношений, а вместе с тем и некоторую частицу свободы. Это шаг не малый. Дикий вотяк перестал верить в своего идола, но он еще боится его, но он еще обмазывает его медом и сметаной, чтоб умилостивить. Очевидно, он делает это потому, что у него нет в виду другого готового призрака; он сознает уже, что идол, который доселе кабалил всю его жизнь, глуп, мертв и вообще неудовлетворителен, но еще не понимает, что другой-то призрак, которого пришествие он смутно предчувствует, не идет потому только, что он, вотяк, не вполне еще расквитался с своим старым, глупым идолом. Надо ему растолковать это и облегчить работу его освобождения; надо доказать ему, что освобождение необходимо должно сопровождаться оплевыванием, обмазыванием дегтем и другими приличными минуте и умственному вотяцкому уровню поруганиями и что тогда только расчет с идолом будет покончен, когда последний будет до такой степени посрамлен, что скверно взять его в руки, постыдно взглянуть на него.

Выше я сказал, что бывают минуты в истории, когда общество живет одним чувством ненависти, – это картина, конечно, очень печальная. Но скажите на милость, можно ли не ненавидеть, можно ли не сгорать от негодования, когда жизнь путается в формах, утративших всякий смысл, когда есть сознание нелепости этих форм и когда тем не менее горькая необходимость заставляет подчиниться им, бог знает из-за чего, бог знает зачем? Ведь отсутствие раздоров тогда только понятно и возможно, когда жизнь катится и не дает себя чувствовать, а не тогда, когда она на каждом шагу подкашивает человека. Возьмем для примера хоть быт наших помещиков. Было, конечно, время, когда они не только могли, но и должны были жить между собой в согласии, ибо их связывала одинаковая безмятежность взгляда на жизнь. В те счастливые времена не было ни глупых, ни умных, ни злых, ни добрых: просто было генерическое понятие помещика, под которым подразумевалось и очень много и очень мало. «Это помещик», – говорили россияне и понимали друг друга. Такого рода порядок вещей, конечно, должен был менее всего давать место раздорам, но и тут, однако ж, случалось, что самые задушевные приятели внезапно свирепели. Тем менее может существовать согласие в такую пору, когда безмятежие взгляда покончилось, когда всякий чувствует себя предоставленным своим собственным средствам. Тут прежде всего начинают различаться добрые и злые, умные и глупые; так называемые добрые и умные клянут глупых и злых, говоря, что последние мешают приступить к делу и что их пошлое упорство порождает в обществе междоусобие; так называемые глупые и злые проклинают умных и добрых, говоря, что существующий сумбур есть результат неумеренной их болтовни и ненужного сованья не в свои дела. Кто рассудит эту странную прю? кто поймет ее? Никто не рассудит и не поймет, ибо, как ни суди, как ни ставь на очные ставки враждующие стороны, ни одна из них не уступит ни на волос.

Г-н Тургенев был прав, изображая в «Отцах и детях» скрытный антагонизм, существующий между двумя половинами русского общества, но, в качестве наблюдателя, он был неправ, симпатизируя одной стороне и указывая на пороки другой. Здесь место не для симпатий, а для простого наблюдения: берите факт, как он есть, и если вы почему-либо не уразумеваете его законности, то изображайте его, не рассуждая. И еще не прав г. Тургенев, заставляя своего героя погибнуть жертвою случайности: такого рода люди погибают совсем иным образом. Конечно, случайность и в их существовании играет большую роль, но это случайность не слепая, посредством которой разрешил свой роман г. Тургенев, а продукт целого случайного порядка вещей.

Может показаться несколько парадоксальным, тем не менее совершенно верно, что распри, подобные замеченным выше, кончаются лишь взаимным истреблением враждующих сторон. В сущности, что представляют собой и та и другая стороны? Они представляют один и тот же принцип, только в одном лагере он является несколько смягченным, в другом – в своих первоначальных грубых формах. Кто кого хуже? Кто кого лучше? Одни (добрые и умные) хотят подновить старый призрак, подрумянить помертвевший его образ и расправить морщины. Результат их работы – наивное

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru самообольщение; двигатель – русское авось. Они не понимают, или не хотят понимать, что всякий призрак держит за собой целую систему и что тут невозможно дотронуться ни до единой подробности без того, чтобы не подрить всего общественного здания. Другие (глупые и злые) видят в старом призраке совершенство, не терпящее нахального прикосновения непосвященных, и, действуя логически, отстаивают его и в целом, и в подробностях. Следовательно, и в том и в другом случае закваска убеждений одинакова, разница только в мелочах; это просто дело деревенских кумушек, повздоривших между собою из-за того, где больше денег: в пятикопеечнике или в семитке с трешником?

Откуда же этот глубокий антагонизм между людьми, по-видимому, столь близкими? Причина его заключается именно в этой близости. Чем ближе люди друг к другу, чем яснее они сознают, какие бы они могли быть отличные малые, если б плутовали заодно, тем большая сумма взаимной ненависти накапливается в их сердцах. Нет вражды более сильной, как та, которая закипает между членами одной и той же семьи; здесь всё ее питает: и непрерывное наблюдение за малейшими подробностями жизни, и наушничество, и сплетни. Раскольник без омерзения станет пить из одного сосуда с язычником и магометанином, но ни за что на свете не разделит трапезы церковника; «язычник, – говорит он, – не зная, Христа предал, а церковник предал его со знанием»...

Таковы признаки эпох разложения: с одной стороны, всеобщее глубокое междоусобие, имеющее чисто внешние причины, с другой – всеобщее безверие, но безверие робкое, скрывающееся под личиной самого рабского лицемерия. Что такое долг? что такое честь? что такое преступление? что семья? что собственность? что гражданский союз? что государство? вот вопросы, которые задает себе современный человек: он бледнеет и трусит уже от одного того, что вопросы эти представляются ему; он готов сказать: «Нет, я не был при этом, нет, я ничего не видал и не слыхал», – всякому, кто был бы настолько любознателен, чтобы спросить, каковы его мысли насчет того или другого вопроса. Это тоже весьма характеристический признак, который, вместе с междоусобием и безверием, очень ярко обрисовывает эпоху разложения. Между тем вопросы эти разрешить необходимо, потому что на тех понятиях, которые они выражают, зиждется целое общество. Сохранили ли эти понятия тот строгий смысл, ту святость, которые придавало им человечество в то время, когда они слагались; если не сохранили, то представляется ли возможность возвратить им утраченное? Вот на что следует дать ответ немедленно. Конечно, будет очень странно, если ответа этого не сыщется, и еще страннее, если показания окажутся разноречивые; конечно, это ясно укажет, что общество не имеет твердых понятий даже о том, что оно выставляет напоказ, как главную основу своей жизни, но ведь и это, пожалуй, будет уже составлять результат, и притом результат весьма положительный.

Главное дело – не оставлять себя в заблуждении. Выгода тут двоякая: во-первых, соблюдается экономия сил (ибо только вполне обладая предметом, человек приобретает уверенность, что не истратит себя по-пустому); во-вторых, самые призраки стираются быстрее, давая место новым призракам и, таким образом, держа человечество в постоянном увлечении, в постоянной работе.

Но да не подумает читатель, что я имею претензию беседовать с ним о столь важных предметах. Мое дело – призраки, а не такие представления, которые составляют, так сказать, краеугольный камень общественного благосостояния.

Спросите, например, у любого обывателя из простодушных, что такое семья? Семья, скажет он, известно семья: муж, жена и дети; точь-в-точь как у г. Успенского некоторый мужик на вопрос: для чего тебе дана жена? – отвечает: жена дана на потребу. Сделайте подобный же вопрос легисту, он вам ответит, что семья есть убежище, что семья – алтарь, что семья – краеугольный камень. Легист будет говорить очень долго и очень красиво; он растрогает до глубины души добрых обывателей, которые разойдутся по домам, утешенные тем, что семья есть алтарь, что алтарь есть убежище, а убежище есть краеугольный камень. На мой вкус, однако ж, легист высказал нечто подобное тому же, что сказал и мужик г. Успенского.

Спросите, что такое честь? Вам ответят, что это совокупность известного рода понятий (правил), в силу которых человек обязывается в действиях своих следовать именно такому, а не иному пути. Но, не говоря уже о том, что история указывает нам на самые разнообразные видоизменения понятия о чести, самая современность на каждом шагу свидетельствует, что понятие это совсем не столь абсолютно, как о том повествуют моралисты. Довольно сказать, что у самых бесчестных людей всегда

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru найдется в запасе свой point d'honneur.[4] Почему же они называются и сльвут бесчестными? Не потому ли, что они, в свою очередь, называют бесчестными честных людей?

Повторяю: все это может казаться очень парадоксальным, но вместе с тем положительно доказывает шаткость основ, на которых, в данную минуту, держится общество. Но если в таких существенных понятиях царствует рознь, если даже в этом всякий играет в свою дудку, то чего же можно ожидать во всем остальном, то есть в подробностях, которые из этих основ истекают? Некоторый мой приятель, выкладывая передо мной пятидесятирублевую бумажку, говорил: «Тут все! тут и манже, и буар, и сортир!», но и за всем тем, то есть при всем горьком сознании безвыходности своего положения, все-таки прибавлял: «Да, надо, надо поправить свои обстоятельства!» Разумеется, кончилось тем, что он бумажку промотал, а обстоятельства своих не поправил. Современное общество похоже на этого моего приятеля: у него тоже осталась в запасе одна пятидесятирублевая бумажка, а оно мечтает прожить на нее два века. Оно не догадывается, или, лучше сказать, не хочет догадываться, что все эти краугольные камни, о которых оно разглагольствует с такою гордою уверенностью, не более как истертые пятиалтынные, которых не примут в уплату даже извозчики.

Да, надо, надо поправить свои обстоятельства, а поправить их нельзя иначе, как посредством строгого анализа тех понятий, в силу которых мы двигаемся и живем. Бояться здесь нечего; если понятия эти устойчивы сами по себе, анализ не убьет их, а только очистит и даст им еще большую крепость и силу; если же некоторые из них болезненные плоды болезненного дерева, то анализ добьет их окончательно и избавит нас от смешной роли Дон-Кихотов, принимающих мельницы за рыцарей. Ибо кому же охота возиться с тлением, когда впереди представляется возможность лучшей, здоровой жизни?

Часто приходится нам слышать: потерпите, и все будет хорошо, но ведь недаром же выискиваются и такие, которые говорят: чем скорее, тем лучше. Во-первых, возможно ли терпеть и, во-вторых, стоит ли терпеть?

Всякому сколько-нибудь бывалому сельскому хозяину (буду приводить примеры, доступные большинству) известно, сколько горькой насмешки заключается в этом слове: «потерпите». У него нет инструментов, нет скота, у него валяются хозяйственные постройки, у него хлеб градом побило, у него рабочий народ разглагольствует: «мы-ста» да «вы-ста», а ему твердят: потерпите! Чем подняться? Чем жить? Где ручательство, что из ничего создастся когда-нибудь что-нибудь? Разумеется, что тот, у кого есть в запасе капитал, может терпеть, если не в надежде пожать сторицею, то хотя в уповании прожить с грехом пополам до тех пор, пока капиталы не истощатся, но горе тому, у кого оказывается в запасе одна пятидесятирублевая бумажка, да и то, быть может, фальшивая. Весь основной его капитал исчезнет в прожорливой бездне, называемой сельским хозяйством, и исчезнет так, что он и не ахнет. Очевидно, что в таком положении дела не терпеть приличествует, но ликвидировать.

Но если терпеть нельзя, то еще менее стоит терпеть. Здесь расчет простой: какой результат терпения? Кто будет так смел, чтоб удостоверить, что результат не заключается единственно в самом терпении, что здесь последнее не служит в одно и то же время и средством и целию? Спрашивается, сколько тысячелетий живет человечество и чего оно добилось с помощью терпения? Добилось того, что ему и доднесь говорят: терпи! Но не добилось ли, по крайней мере, хоть того, чтоб ему разрешили <вопрос>, когда конец этому терпению? Нет, и на это очень простой ответ: потерпи, и узнаешь, как долго остается еще терпеть! Просто можно подумать, что жизнь есть непрерывный и безвыходный каламбур.

Таким образом, совет терпеть оказывается даже несколько обидным. В терпенье, как в давно не кованном жернове, не измалывается, но изминается жизнь человечества, и в результате получается все та же жизнь, только искалеченная и изорванная. Сколько великих дел мог бы явить человеческий ум, если б не был скован более нежели странною надеждой, что все на свете сделается само собою? Скольких великих явлений могла бы быть свидетельницей история, если б она не была сдерживаема в своем движении нахальством одних и наивною доверчивостью других?

История сама берет на себя труд отвечать на эти вопросы. Когда цикл явлений истощается, когда содержание жизни беднеет, история гневно протестует против всех увещаний. Подобно горячей лаве проходит она по рядам измельчавшего,

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru изверившегося и исстрадавшегося человечества, захлестывая на пути своем и правого и виноватого. И люди, и призраки поглощаются мгновенно, оставляя вместо себя голое поле. Это голое поле представляет истории прекрасный случай проложить для себя новое, и притом более удобное ложе.

Можно ли предупредить подобные гневные движения истории, можно ли, по крайней мере, подготовиться к ним? Вопросы эти разрешить мудрено, потому что, если б было можно, то, само собой разумеется, не было бы недостатка ни в предупреждениях, ни в приготовлениях. Но во всяком случае, предупреждать и должно, и совершенно естественно. Подобно тому как отдельный человек не называется добровольно на смерть, и человечество, застигнутое врасплох в данную минуту, не имеет права отказаться от существования. Оно может быть вынуждено к тому, но куда наступит минута горькой необходимости, борьба с нею и естественна, и вполне законна. Вот где причина, заставившая меня сказать выше, что добровольное и полюбовное свержение старых идолов с их пьедесталов – дело не только не угрожающее обществу, но, напротив того, упрочивающее его будущее.

Эта же самая причина заставила меня взяться за перо. Говорю откровенно, читатель нередко будет иметь случай сетовать на меня; ибо нередко я буду беседовать не с тою ясностью, с какою желал бы и какая, в сущности, необходима в таком деле. Я знаю это, но вместе с тем знаю и то, что имею дело с явлениями и вещами, прикосновение к которым требует величайшей осмотрительности. Тут идет речь совсем не об трусости, но именно о желании достичь какого-нибудь результата. Что путного будет, если я стану называть вещи по именам? – спрашиваю я себя и, взвесив все доводы pro и contra, прихожу к заключению, что и выгоднее и плодотворнее действовать без излишней запальчивости.

В минуты всеобщего переполоха и эпидемической нравственной перепутанности общество выказывает особенную щекотливость. Потому ли, что оно и без того чувствует себя кругом виноватым, или потому, что организм его уже слишком покрыт язвами, – как бы то ни было, но оно положительно не допускает, чтобы в эти язвы, и без того растравленные, запускали любознательный скальпель. «Я знаю, что гнию», – говорит оно с каким-то дико-горделивым самодовольством – ну, и гниет себе понемножку.

Ввиду такой чувствительности возможно ли оставаться жестоким?

II

Оканчивая первое письмо мое, я намеревался прямо приступить к тому, что мы называем обыденною, будничною жизнью. Однако, перечитав написанное мною, я почувствовал, что там есть много недосказанного, что взгляд на принципы, которыми руководится жизнь человечества, недостаточно выяснен, что, наконец, могут обвинить этот взгляд в бесцельности, в какой-то сухой безотрадности, в том, наконец, что очень образно формулируется словом «озорничанье».

Что касается до этого последнего обвинения, то я не желаю и не ищу в нем оправдываться. Безотраден или отраден сформулированный мною взгляд, до этого мне нет дела; желательно было бы только, чтобы он был правилен. Я знаю, что многие скорее согласны были бы остаться при мечтаниях, лишь бы они были отрадны, нежели принять истину, которая кажется им мало отрадною, что многих эти «отрадные» мечтания до такой степени сладко убаюкали и разнежили, что было бы даже странно, если б простое и несколько грубое прикосновение к тому, что составляет, так сказать, и содержание, и надежды, и идеал целой жизни, не возбуждало ропота. Я знаю даже таких, которые, очень трезво смотря на современность, оказываются несколько в подпитии, когда им приходится поднимать завесу будущего... Все эти мечтатели, все эти идеалисты, как настоящего, так и будущего, конечно, могут сказать, что гадко и неблагоприятно возводить в принцип <то>, что человечество не в силах выйти из-под владычества призраков, что это, наконец, и неверно, потому что... ну, да и просто потому, что оно выйдет из-под этого владычества (нельзя, дескать, предположить себе и т. д.). На этот мотив можно целую книжку написать, особенно если взять в образец так называемую литературу великодушных порываний (*aspirations généreuses*), которая преимущественно пользуется кредитом во Франции, где, однако ж, таковым кредитом пользуются и так называемые *idées napoléoniennes*. [5] французы целые томы пишут о чем-то вроде *fraternité*, [6] но практические результаты этого многописания оказываются довольно обидные...

Но возвращаюсь к недоразумениям, которые может возбудить мое первое письмо. Во-первых, я не знаю, что может быть неблагоприятного в том или другом образе

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru мыслей? Что образ мысли может быть серьезный или смешной, основательный или нелепый – это я понимаю, но чтобы он мог быть неблагоприятным (то есть несвоевременным) – это совершенно недоступно моему пониманию. Я мыслю так, а не иначе, следовательно, я имею право так мыслить. А так как при этом я до поры до времени не признаю возможности истины абсолютной, то, стало быть, и своего образа мысли не признаю за непреложный, стало быть, рядом с ним признаю возможность другого образа мыслей... Что может быть терпимее?

Во-вторых, я не знаю, благоприятно или неблагоприятно я поступаю, проводя мысль о скитаниях из одного призрака в другой, но знаю, что от этого моего неблагоприятия никакой для дела порухи не произойдет. Человечество, хотя бы оно не было насчет этого и вполне согласно со мной в отвлечение, все-таки не придет от того в отчаяние и не сложит руки (незачем, дескать, и работать, коли работать приходится в пользу одних призраков), а будет следовать всё той же дорогой, которой ему идти надлежит. В этом отношении над ним тяготеет фатализм, который, однако ж, совсем не есть фатализм в том смысле, как мы это слово понимаем, а просто подчинение тем законам, которые лежат в основании человеческой природы. Следовательно, каковы бы ни были теории, они не могут ни повредить, ни пользу оказать, ни прибавить, ни убавить в этом естественном и независимом от самого человечества ходе вещей. А следовательно, и говорить о том нечего, что благоприятно и что неблагоприятно, что вредно и что не вредно: тут просто на первом плане стоит неперемнная потребность мысли высказаться до конца.

В-третьих, наконец, допустим, что предположение мое неверно, но вместе с этим едва ли не придется и еще кое-что допустить. Это «еще кое-что» заключается в том, что если человеческие скитания прекратятся, то, стало быть, и отношения человека к внешней природе сделаются когда-нибудь нормальными. Нормальными же они могут сделаться только тогда, когда природа откроет человеку, так сказать, всю грудь свою, когда в ней не останется ни единой тайны (прошу не смешивать тайны с секретом!), ничего недостигнутого (не смешивайте с недостижимым!), ничего необъяснимого (не смешивайте с необъяснимым!). Но это положительно невозможно. Недаром природу называют неистощимой и бесконечно разнообразной; она до такой степени неистощима, что человек в данную минуту не может даже знать, каковы будут его требования относительно природы через известный период времени. И всегда оказывается, что требования эти совсем не неуместны, и никогда не бывает того, чтобы природа была не в силах отвечать новым требованиям. Всякое новое открытие заключает в зерне своем новую тайну; впоследствии тайна эта обнаруживается или в виде нового закона, или в виде новой комбинации законов уже исследованных, но и это новое обнаружение повлечет за собой целый ряд новых тайн. Чтобы представить себе природу истощившуюся и разоблаченную до наготы, надобно предположить, что она когда-нибудь перестанет творить, а это положительно противоречит всем открытиям, делаемым в области естественных наук. Открытия эти доказывают, что не только непрерывно являются новые роды и виды творения, но что и самые законы творения или, лучше сказать, взгляды человечества на эти законы непрерывно изменяются. Стало быть, возможность нормальных отношений человека к природе есть дело, во всяком случае, проблематическое; по крайней мере, если человеческие скитания поставлены в зависимость от этих отношений, то нельзя не сказать, что будущее их обеспечено слишком достаточно.

В-четвертых, если бы можно себе представить природу исследованную, истощившуюся и лишенную своей творческой силы, я не понимаю, что же тут будет утешительного? Желать чего-либо подобного, указывать на такое положение вещей, как на цель человеческих стремлений, не значит ли преуказывать на что-то вроде светопреставления? Что тут лестного? Между тревожной жизнью и спокойною смертью – куда склонится выбор наш? Даже старосветские помещики Гоголя, которые именно почти так жили, как должны жить добрые после светопреставления, даже и те только почти так жили. И у них случались иногда желудочные боли, и у них рождалось по временам желание сию минуту съесть какой-нибудь особенно вкусный блин, который можно приготовить только через полчаса. Если бы у них не было этих болей и желаний, они, очевидно, не могли бы существовать иначе, как в спячем виде.

Теперь постараюсь разъяснить и дополнить мой взгляд на призраки, к которым и возвращаюсь.

Вероятно, большинству моих читателей случалось бывать в балете. Что берется в основание балета, что составляет собственно интерес его? В основание балета берется что-либо произвольное и неизвестное, которое предлагается как

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru произвольное и окончательно признанное, что-либо чудодейственное и неестественное, которое принимается за нечто обыкновенное, вытекающее из природы вещей. Отправляясь из этого пункта и не выжидая возражения со стороны зрителя, балетмейстер устраивает дальнейшее течение своего произведения с легкостью изумительной. Все ему удастся, все он объяснить может. Возьмем, например, что героем балета избран «Дух Долины» («Теолинда, или Дух Долины», балет в трех действиях, сочинение Г. Сен-Леона). Что это за дух? откуда он явился? какими путями прокрался он в голову балетмейстера? Этого никто не знает, да и сам балетмейстер, вероятно, знает не больше других. Он собственно своею властью вызвал этого духа из тьмы, собственно властью наделил его силою и могуществом, наградил способностью вступаться в людские дела, ограждать слабых и невинных и карать коварных и злых, привязал ему сзади золотые крылышки и выпустил на сцену. И вот происходит нечто необычайное: дух, неизвестно откуда явившийся, дух, не имеющий ни роду, ни племени, дух, взявший напрокат из театральной гардеробной золотые крылышки, является решителем человеческих судеб.

Он танцует и благодетельствует, он повертывается на одной ножке и в то же время карает злодейство и несчастье. Почему палка, направленная на Теолинду, вываливается из рук коварного Шторфа? А потому, что Теолинде покровительствует Дух Долины, который и вырывает упомянутую выше палку. Каким образом может случиться, что Теолинда, увлеченная Духом Долины на дно озера, не только не захлебывается и не утопает, но, напротив того, танцует там? А просто оттого, что так хочет Дух Долины. И дешево, и просто, и мило.

Благодаря призракам нечто подобное происходит и в мире человеческих отношений. Неизвестное и недоказанное принимается за известное и доказанное, и на основании этого делаются выводы, строится целая система доказательств, допускаются остроумные сближения, одним словом, оценивается целое человеческое существование, объясняются самые сложные явления. Что, если бы кто на вопрос: почему вы поступили так, а не иначе? – ответил: так велел мне поступить Дух Долины! Нет сомнения, что человека, давшего такой ответ, признали бы за сумасшедшего, а может быть, и еще хуже – за злонамеренного свистуна. Однако никто не удивился бы и не счел бы за сумасшедшего того грека, который отвечал бы, что он такое-то действие предпринял под влиянием богини Минервы, а такое-то под влиянием самого Юпитера.

Покуда участие Духа Долины, как решителя балетной жизни и балетных судеб, ограничивается одним балетом, оно может быть терпимо. Хотя и там оно глупо, хотя и балету не мешало бы поискать себе содержания жизни, хотя сколько-нибудь не противоречащей здравому смыслу, однако зритель не может изъявлять большой претензии на столь невинное препровождение времени. «Ну, черт с вами! – говорит он, уходя из театра, – хорошо, хоть ноги-то поднимать не скупилась!» Но когда Дух Долины начинает вмешиваться в жизнь действительно, когда он заявляет претензию на обладание судьбами вселенной – такое нахальство делается просто нестерпимым. Большинство людей, конечно, не сознает, что те краеугольные камни, те основания, те убежища, которые оно так самодовольно выставляет напоказ, в сущности ничем не отличаются от Духа Долины, а между тем оно так. Пускай философы-идеалисты сойдут в тайники сердец своих, пускай философы-юристы проверят те начала, на защиту которых они ополчаются, и пусть те и другие сходят в первый балет, какой будет даваться на сцене. Они увидят, они с краской стыда на лице почувствуют, что целую жизнь свою посвятили не чему иному, а именно только сочинению балетов. Ничто так не подрывает известного принципа, ничто так не выказывает всей его ложности, как логическое доведение этого принципа до всех тех последствий, какие он может из себя выделить. В этом отношении школа так называемых спиритуалистов оказала услугу незабвенную и неоценимую. Они указали, что путем идеализма можно дойти до самых крайних нелепостей, а всего скорее дойдешь до балета. В самом деле, чего тут нет: и легкие духи, и совершенные духи, и стучащие духи... и весь этот кагал вмешивается в судьбы человека, руководит человеком, точь-в-точь как руководит им, например, понятие о вменяемости преступлений или о вреде страстей...

И таким образом, оцепленные со всех сторон путами, мы безрассудно тратим свои силы не на разрешение, а на большее и большее закрепление их. Мы до такой степени утрачиваем все инстинкты здоровой, не запутанной жизни, что эта последняя кажется нам смешною, пошлою, почти что дикою. Например, по нашим понятиям, отношения мужчины к женщине, хотя бы в основании их лежали чувства взаимного уважения и любви (единственные, которых присутствие в этом случае совершенно необходимо), все-таки не могут считаться в строгом смысле законными и

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru нравственными, если на них не имеется печати принуждения и обрядности. Покажите нам эти отношения в других формах, представьте их естественными, основанными именно на одном чувстве взаимного притяжения, – мы сейчас сострим; мы скажем, что подобный взгляд сообщает отношениям исключительно половой характер, мы выложим зараз весь разнообразный запас наших знаний по части клубнички, мы напомним насчет собачьей свадьбы. И напрасно вы будете говорить нам, что понятие о взаимном притяжении вовсе не исчерпывается одними половыми побуждениями, что оно обнимает собой все разнообразные определения сложного человеческого организма, что оно потому уже нравственно, что человечно, – мы вас и слушать не станем и все будем твердить одно: что вы пропагандист собачьих нравов. И мы даже <не> замечаем, что подобное остроумие, основанное на сопоставлении явлений совершенно различных сфер, доказывает, помимо нашей воли, только нашу собственную умственную оголтелость, доказывает, что мы ни во что ценим нравственную сущность и придаем вес одному нравственному формализму. Приведенный мною пример касается вопроса, несколько уже выясненного или, по крайней мере, затронутого общественным мнением, и потому он, пожалуй, и не бросится еще так резко в глаза, а сколько есть таких вопросов, в основе которых все сумбур, все бессмыслица, все мрак и к которым невозможно даже прикоснуться именно потому, что там сумбур, бессмыслица и мрак представляются чем-то нормальным, неприступным и заповедным? Сколько есть таких явлений, к которым подойти нельзя, в справедливости которых невозможно сомнения заявить, именно потому только, что самое поименование их без особенно восторженных эпитетов, самое намерение объяснить их считается уже преступлением и возбуждает остервенение в людях, в сущности весьма невинных и безответных.

Это-то и вынудило меня сказать в первом письме, что с призраками подобного рода надо обращаться с осторожностью. Осторожность эта, по моему мнению, должна заключаться в следующем. Если известному жизненному строю, к которому мы привыкли, с которым мы сжились (потому что мы сами более или менее его участники и делатели), будут противопоставлять, в живых образах, другой жизненный строй, совершенно непохожий на первый, то как бы ни удостоверять нас рассудок, что этот другой жизненный строй есть единственно справедливый и вытекающий из свойств человеческой природы, мы все-таки не в состоянии будем побороть в себе некоторого чувства недоверия, которое окажется тем сильнее, чем резче и образнее будут формулированы подробности новой жизни. По-видимому, это неосновательно; по-видимому, способность идеи к организации, к воплощению в живых образах должна бы привлечь к ней еще более прозелитов; однако на практике бывает наоборот. Мы так мало готовы к принятию новых форм жизни, и промежуток между современной, уже изведанною нами практикою и тою, которую имеет выработать будущее, так велик, что эта последняя не может не перевернуть вверх дном всех наших понятий. То, что мы охотно постигаем в отвлечении и что, как теоретическую возможность, признаем безусловно, то самое, внезапно представленное нам в живых образах, кажется неловким, режущим глаза. Мысль о возможности такой ассоциации, где труд не представлялся бы тяжким бременем, а, напротив того, в самом себе, в своей собственной привлекательности, находил бы причину и цель, теоретически не заключает в себе ничего дикого, но попробуйте изобразить такую ассоциацию в живых и действующих образах, попытка эта не только не принесет пользы мысли, ее породившей, но едва ли даже не повредит ей. Образы, логически верные, покажутся приторными, идилическими, почти пошлыми; отношения естественные и совершенно нравственные покажутся натянутыми и возмутительно безнравственными. Таким образом, вместо того чтобы приобрести прозелитов идее, неловкий пропагандист рискует возбудить против нее не только негодование, но и насмешки. И в этом неблагоприятном результате будет своя доля справедливости, ибо втискивать человечество в какие-либо новые формы жизни, к которым не привела его сама жизнь, столь же непозволительно, как и насильно удерживать его в старых формах, из которых выводит его история. Поэтому мне кажется, что так называемые утописты (в особенности фурье и его последователи), доказывавшие необходимость новых общественных оснований, поступали ошибочно, выводя этот вопрос из сферы отвлеченной и регламентируя все подробности его осуществления. Но еще большая ошибка заключается в попытках практического воплощения идеалов среди общества, к принятию их не приготовленного. (Такие попытки делались были Робертом Овэном и некоторыми последователями системы фурье.) Все эти попытки были неудачны и рушились очень скоро; почему они были неудачны, почему они рушились, об этом никто даже не любопытствовал узнать; никто не дал даже себе труда вникнуть, что причина неудачи заключалась не в порочности той идеи, которая лежала в основании попыток, а в порочности и предвзятых, тяготеющих над обществом; все видели только факт падения и от него пришли к заключению о неверности и бесплодности самой идеи, легшей в основание неверной и бесплодной попытки.

Но, извиняясь перед читателем за длинное отступление, перехожу к предмету моего письма.

Робкие, запуганные различными неприкосновенностями, мы не можем сделать ни одного движения без того, чтобы не приурочить его к какому-нибудь призрачному кодексу фантастического искусства жить. Самые законные стремления своего существа мы отравляем, проводя их сквозь горнило ненужных, неприятных и тошных преград; самых простых вещей не можем объяснить себе иначе, как посредством каких-то таинственных целей и неведомых предопределений. Все существующее представляется нам существующим не в силу своего права на существование, а под условием выполнения известной задачи. Отсюда идея о жизненном подвиге, размеры и содержание которого для каждого живого организма определяются различные. В чем заключается жизненный подвиг человека – об этом еще спорят, и хотя некоторые и предъявляют претензию, будто подвиг сей состоит в управлении земным шаром, но это перспектива столь туманная и обширная, что даже не представляет ничего соблазнительного; но зато никто не спорит, что жизненный подвиг курицы заключается в том, чтобы быть съеденной в супе, как никто не спорил во время существования крепостного права, что жизненный подвиг мужика состоял в исправном платеже оброка и прилежном отбывании барщины, как никто не спорит и теперь, что жизненный подвиг французского или английского пролетария (я указываю на Францию и Англию потому собственно, что оно спокойнее) заключается в том, чтобы работать с прилежанием и получать за сие вознаграждение достаточно умеренное, чтобы при случае умереть с голоду.

Вследствие этой склонности все облекать таинственностью, всякое явление возводить к конечным причинам, отношения к фактам, представляющимся нашему пониманию, делаются натянутыми и неестественными. Мы хлопочем не о том, чтобы объяснить себе факт из его собственной сущности, определить характеристические его признаки, место, которое он занимает в кругу других фактов, и те практические выводы, относительно целой системы, какими представляется возможным воспользоваться из его свойств, но о том, чтобы как-нибудь, хотя насильственно, приурочить факт к готовой уже системе и посредством этой последней истолковать значение его. Одним словом, мы не подходим к факту, а, напротив того, увлекаем его за собой.

Для объяснения возьмем здесь так часто приводимую в пример градацию человеческих способностей (известно, что наука психология, не довольствуясь наименованием способностей человека человеческими, еще разделяет их на высшие и низшие). Встречая на пути своем людей с различными способностями и наблюдая эти последние в их практических проявлениях, с каким намерением приступаем мы к этим наблюдениям? Спрашиваем ли мы себя, свободно ли сказываются эти проявления, или они стеснены внешними условиями? Создаем ли мы, что разрешение этого вопроса необходимо, потому что процесс проявления известной способности может совершиться или вполне нормально, если он предоставлен естественному своему течению, или же получить извращенную форму, если на первых же порах будет опутан различными искусственными препятствиями? Рассматриваем ли мы, наконец, разнообразие способностей просто, как бесповоротный факт, из которого следует только вывести известный практический закон? Нет, мы ничего этого не делаем, а прежде всего стараемся тискать факт в готовую, веками нарожденную систему, приурочить его к той умственной неурядице, которую внесло в нашу жизнь постоянное обращение с призраками.

Вековой кодекс житейской мудрости гласит нам о существовании добра и зла, и однажды приняв это положение за истину неподвижную, делает его мерилем всех наших побуждений, исходным пунктом всей нашей деятельности. Откуда взялось представление о добре и зле, почему оно укоренилось в такой степени, что мы и действительно не можем шагу ступить, чтобы не видеть несомненных признаков его существования, не прививное ли оно, не внесено ли в жизнь ошибочной практикой, – мы ничего этого не спрашиваемся, а просто принимаем на веру, что начало добра и зла составляет неизбежно закваску жизни. Отправляясь отсюда, мы уходим очень далеко: все проходящее перед нашими глазами, все доступное нашему пониманию распадается на две противоположные области: темную, в которой царствует зло, и светлую, в которой господствует добро. И затем очень легко возникает у нас целая система, вооруженная разными арсеналами подробностей; является борьба духа с материей, из которых первый, конечно, преобладает, вторая, конечно, подчиняется; а так как практика беспрерывно опровергает это положение, к удовольствию материи, то, как пополнение к теории преобладания духа, изобретается другая

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru теория – о несовершенстве сего мира и о некоторых таинственных наградах и наказаниях. Одним словом, тут возникает целый фантастический мир, до такой степени лишенный реальных оснований, до того непоследовательный и разрозненный, что отношение к нему утрачивает характер разумности и окончательно переходит на почву упований. Вынуждаемые реальною, неподкупленною жизнью, объяснения и тезисы следуют одни за другими, но не объясняют, а, так сказать, мнут факты и насильственно выливают их в произвольные формы. Легкость, с которою производится эта операция, изумительна. Тут не нужно даже строго придерживаться основного принципа, потому что здесь самый принцип не только ничем не ограничивается, а представляется растяжимым до бесконечности. Следовательно, тут возможны разного рода пристройки и подделки, лишь бы они сохраняли фантастический колорит и как можно старательнее обходили тот действительный мир, который становится вразрез подобным мечтаниям и самым бессовестным образом напоминает нам, что хотя произвольное обращение с фактами и привлекательно по своей легкости, но зато оно непрочно и постыдно. Достигнув этой степени беззастенчивости и сделавшись полными хозяевами нашей фантазии, мы разом завоевываем себе такое положение, которого удобнее ничего нельзя себе представить. Если главный принцип, из которого мы отправляемся, не исчерпывает всех жизненных явлений, то мы не затрудняясь строим около него вспомогательную теорию, а если и эта теория окажется неудовлетворительною, то мы и другую вспомогательную теорию выстроим. И таким образом, постепенно нарастая и нарастая, чудовищная эта система произвола и разнузданной фантазии принимает под конец такие неслыханные размеры, что мы сами чувствуем себя вконец опутанными и утопающими в бездне противоречий и недомолвок.

Понятие о градации человеческих способностей принадлежит именно к той категории фантастических понятий, о которых говорено выше. Что люди обладают способностями разнообразными и весьма различными, в этом не может быть никакого сомнения, но чтобы каждая из этих способностей, взятая в отдельности, заключала в себе какие-либо особые достоинства и на этом основании заявляла претензию на первенство перед другою, – это следует разве только из той фантастической теории, которая вообще всю сферу человеческой деятельности делит на две половины: высшую и низшую. Тут принцип проводится весьма последовательно, потому что если признать за истину, что есть интересы перворазрядные и второразрядные, интересы духа и интересы плоти, то, разумеется, нельзя не признать, что и способности, служащие удовлетворению этих интересов, могут быть перворазрядными и второразрядными, благородными и неблагородными. На каком разумном основании допускается подобная градация, – этого до сих пор никто еще не объяснил, между тем практические ее последствия столь важны, что невозможно не остановиться на них.

Задавшись понятием о высших и низших способностях, мы весьма естественно приходим к тому, что людей, обладающих высшими способностями, разумеем людьми высшими, а людей, одаренных так называемыми низшими способностями, разумеем за людей низших. Первые приобретают право господствовать и управлять, вторые осуждаются на служение и подчиненность. Здесь лежит, так сказать, первое зерно неравноправности, которое впоследствии история, с свойственною ей неумолимостью, развивает до крайних результатов. Являются вожди, герои, воины, администраторы, ученые, художники, которым противопоставляется масса, то есть торгаши, ремесленники, земледельцы. За первыми остается звание высших организмов, вторые жалуются в скромное звание организмов низших. Но это разделение людей на овец и козлиц, хотя и опирающееся на основание фантастическое, было бы еще терпимо, если б оно всегда продолжало быть случайным. Говорю «терпимо», потому что различие, принятое добровольно (в первые минуты возникновения оно всегда основывается на общем добровольном заблуждении), все-таки сказывается не так жестко и не полагает между людьми слишком резких перегородок. Но в том-то и дело, что оно не может оставаться случайным, не может самым естественным путем не приобрести того искусственного характера, которого содержание всецело выражается словами: принуждение и несправедливость. Для людей низшего сорта утрачивается возможность доступа в число людей высшей категории не только лично, но и потомственно. Изъятые от участия в высших интересах жизни, осужденные вращаться в сферах деятельности менее блестящей, эти люди привыкают смотреть на себя как на отверженных, и не только на себя, но и на детей своих. Эти дети с самого рождения своего окружены тою же атмосферою, в которой живут и отцы их; способности их, в свою очередь, приобретают ту фаталистическую складку, которая налагается всею обстановкою их жизни и сглаживает которую с каждым новым поколением делается все менее и менее возможным. И таким образом утверждается на незыблемых основаниях наследственность ремесел, званий и состояний, прямое

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru последствие которой заключается не только в нравственном страдании масс, но и в страшной неурядице экономической и политической.

Итак, вот к какому очень положительному практическому результату может привести признание за исходный жизненный пункт такого начала, которое само по себе имеет содержание совершенно произвольное. Если б спор о борьбе добра и зла, о высших и низших побуждениях и т. п. не выходил из тесной семьи моралистов, то на него можно было бы смотреть, как на курьез, не причиняющий никому вреда, но в том-то и дело, что все такого рода убеждения ищут себе арены более широкой, стремятся вторгнуться в живую жизнь человечества и усиливаются организовать ее на свой манер. Но здесь я покамест остановлюсь.

КАК КОМУ УГОДНО[7]

Рассказы, сцены, размышления и афоризмы

I

СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ

Всегда меня удивляло, как это люди не исполняют своего долга. Как известно всем и каждому, вся жизнь человеческая есть не что иное, как непрерывное служение всякого рода обязанностям, которые для блага нашего придуманы и кем следует утверждены. Человек рождается – его долг уважать родителей. Человек поступает в школу – его долг прилежно учиться и уважать наставников, человек женится – его долг руководить и наставлять жену, поступает на службу – его долг прилежно служить, хранить канцелярскую тайну и уважать начальников, человек приобретает детей – его долг любить их и внушать им понятия о долге, дабы и они, в свою очередь, и своим детям преподали таковые же. Если спросят меня, каким образом понятие о долге образовалось, – я откровенно отвечу: не знаю. Поэтому я никогда и не рассуждаю, а только огорчаюсь, когда вижу людей, относящихся к обязанностям своим с небрежением.

Всякое общество имеет свои алтари, свои краеугольные камни, около которых группируется, на которые устремляет свои взоры. Если мне кто-нибудь говорит: «поступать таким, а не иным образом повелевает долг чести», – то я, коли хотите, не понимаю этого, однако понимаю; или, лучше сказать, я понимаю потому, что не могу не понимать. И несмотря на то что здесь, по-видимому, скрывается некоторый каламбур, всякий, кто захочет глубже вникнуть в дело, поймет, что я совсем не о каламбуре хлопочу, но что это именно так и есть, как я говорю.

Люди, постоянно видящие перед собой непрерывную цепь обязанностей, бывают бодрь, худощавы, легки на подъем; – нрав имеют во время исправления обязанностей озабоченный и суровый, а в свободное от сего исправления время – любезный и веселый; любят ходить в баню, охочи до женщин и обладают хорошим аппетитом, ибо всегда находятся в нравственном моционе. Напротив того, люди, небрегающие своими обязанностями, бывают ленивы, жирны и беспечны до такой степени, что даже не каждый день меняют белье; нрав имеют тихий, но не веселый; любят напиваться пьяны и, опьянев, тотчас же ложатся спать; от этого стоит их после сна только взболтать, как они уже вновь пьяны без всякого видимого резона; умываются редко, и вследствие того имеют лицо, покрытое прыщами; до женского общества не охочи, потому что это возлагало бы на них обязанности; едят много, но без пользы, ибо тотчас же съеденное извергают. Замечено еще, что люди смуглые и черноволосые усерднее к исполнению обязанностей, нежели белокурые и с белым круглым лицом.

Обе эти разновидности в чистом состоянии встречаются довольно редко; большинство людей в этом отношении представляет породу смешанную, то есть, отчасти по недосугу, а отчасти по неразумению, исполняют лишь некоторые обязанности, да и то не всегда с надлежащим рачением. От этого в природе очень мало встречается настоящих брюнетов и настоящих блондинов, а преобладает цвет каштановый. Впрочем, мне случалось видеть экземпляры исполнителей поистине нестомчивых, и все они оказывались, по справке, бывшими воспитанниками одного училища; с другой стороны, однажды мне привелось видеть на скотном дворе один образчик изумительнейшего равнодушия к своим обязанностям: скотник, обращаясь к нему, называл его «хавроньей». Бывает также, что люди, от природы не расположенные к исполнению обязанностей, преобладают себя сначала исподволь, а потом и более крутыми мерами, и, наконец, посредством долгой практики и мучительного труда приобретают то сокровище, которое другим баловням природы дается даром.

Многие легкомысленные люди обращались ко мне с вопросом: каким образом исполнять обязанности в тех случаях, когда это невозможно? Так, например, возможно ли уважать отца-шулера и мать *galante femme*, [8] возможно ли быть надежным супругом,

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru когда чувствуешь в себе органическую несостоятельность? На все эти вопросы я всегда отвечаю одно: изыщи средства! Тем-то и важно служение долгу, что оно не только мышцам нашим готовое упражнение дает, но и остроту ума развивает, заставляя человека объяснять необъяснимое, делать возможным невозможное. Ибо, что же бы случилось с человеческим родом, если бы все сие доставалось даром, если б исполнять долг было бы столь же просто, как и производить различные естественные отправления? Сталось бы то, что человек бы забылся и в самом деле подумал бы, что жизнь есть не что иное, как приятное препровождение времени.

Иные еще более легкомысленные люди спрашивают: как поступать в том случае, когда исполнение долга неприятно? Этим я отвечаю кратко: принудь себя!

Наконец, легкомысленнейшие из легкомысленных говорят: зачем исполнять обязанности, коли и так хорошо? Этим я просто ничего не отвечаю.

Кажется, что после изложенных выше объяснений для каждого делается понятным, какую важную роль играет в жизни человека исполнение долга. А так как обязанности, в коих человеку упражняться предоставлено, разнообразны и многочисленны, и так как притом ум человеческий неистощим в изобретении для себя новых таковых же, то ясно, что жизнь человека усердного должна равняться поджариванью, на неугасимом огне производимому. Этому человеку всегда недосуг, ибо нет той минуты, которая не несла бы за собой и своей обязанности. Даже посидеть на месте некогда, а все должен бежать и поспешать.

А потому ни для кого не должно казаться удивительным, что писатели знаменитые посвящают свои сочинения именно этому предмету. Почему, например, Базаров кончил столь несчастливо? А потому именно, что не уважал родителей, смеялся над старшими и святое чувство дружбы попирали ногами. Почему юный Виктор Басардин (в романе «Взбаламученное море», не столько знаменитом, сколько пахучем) непременно должен скверно кончить? А потому, что не уважал даже целомудрия губернаторши и, не оказывая никакого почтения к идее собственности, крал чужие золотые табакерки. Ясно, что человек, одаренный такими превратными понятиями, не только сам не может заслуживать уважения, но непременно должен кончить жизнь на каторге.

В предупреждение таких-то пагубных результатов, взялся и я за перо, любезный читатель. Не будучи в состоянии написать нравоучительный роман, я предпочитаю достигать своей цели посредством ряда доступных мне очерков, в которых поочередно будут являться люди, относящиеся равнодушно к самым необходимым человеческим обязанностям. Не скрою: я не всегда буду иметь возможность сослать моих героев в Сибирь или уморить их холерою, но не потому, чтобы это не зависело вполне от моего произвола, но потому, что мне нередко случалось самому видеть, что люди, преступавшие свои обязанности, не только пользовались почетом в обществе, но и состояли в немаловажных чинах. Но как бы ни удачно устраивали они свои дела, я все-таки уверен, что они когда-нибудь не уйдут от заслуженной казни. И я сочту себя вполне вознагражденным, если читатель, пробежав мои скромные, но правдивые очерки, сам изречет суд над героями их и мысленно распорядится ссылкой их в Сибирь.

II

СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ

21 июля, накануне своих именин, Марья Петровна Воловитинова с самого утра находится в тревожном ожидании. Она лично надзирает за тем, как горничные убирают комнаты и устраивают постели для дорогих гостей.

– Пашеньке-то! Пашеньке-то! подушечку-то маленькую не забудьте под бочок положить! – командует она направо и налево.

– А Семену Иванычу где постелить прикажете? – спрашивает ее ключница Степанида.

– Ну, Сенечка пусть с Петенькой поспит! – отвечает она после минутного колебанья.

– А то, угольная порожнем стоит?

– Нет, пусть уж, Христос с ним, с Петенькой поспит!.. Феденьке-то! Матрена! Феденьке-то не забудьте, чтоб графин с квасом на ночь стоял!

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
– А перинку какую Семену Иванычу прикажете?

– Попроще, Степанидушка, попроще! из тех... знаешь? – отвечает Марья Петровна, томно вздыхая.

Сделав эти распоряжения, Марья Петровна удаляется в девичью, где ждет ее повар с разложенною на столе провизией.

– Я сегодня дорогих гостей к себе жду, Афоня! – говорит она повару.

– Слушаю-с.

– Так как же ты думаешь, что бы нам такое сготовить, чтоб дорогих гостей порадовать?

– На холодное галантир можно-с.

– Что это, господи! только и слов у тебя, что галантир да галантир!

– Как вам угодно-с.

– Нет, уж ты лучше... да что ты жуешь? что ты все жуешь?

Афоня проворно подносит ко рту руку и что-то выплевывает.

– Таракан залез-с! – отвечает он.

– Ах ты, дурной, дурной! (Марья Петровна решила не омрачать праздника крепкими словами.) Верно, уж клюкнул?

– Виноват-с.

– Вот то-то вы, дурачки! огорчаете вы вашу старую барыню, а потом и заедаете всякой дрянью!

– Виноват-с.

– Ты бы вот, дурачок, подумал, что завтра, мол, день барынина ангела: чем бы, мол, мне ее, матушку, порадовать!

– Виноват-с...

– Молчать! Что ты, подлец, какую власть надо мной взял! я слово, а он два! я слово, а он два!.. Так вот ты бы и подумал: что бы, мол, такое сготовить, чтоб барыне перед дорогими гостями не совестно было! а вместо того ты галантир да галантир!

– Можно ветчину с горошком подать-с! – отвечает повар с некоторым озлоблением.

– Ну да; ну, хоть ветчину с горошком... а с боков-то этак котлеточек...

Марья Петровна высчитывает, сколько у нее будет гостей. Будут: Феденька, Митенька и Пашенька; еще будет Сенечка, но его Марья Петровна почему-то пропускает.

– Так ты три котлеточки к одному боку положи, – говорит она. – Ну, а на горячее что?

– Щи из свежей капусты можно сделать-с.

Марья Петровна рассчитывает; свежей капусты еще мало, а щи надобно будет всем подавать.

– Щи ты из крапивы сделай! или нет, вот что: сделай ты щи из крапивы для всех, да еще маленький горшочек из свежей капусты... понимаешь?

– Слушаю-с.

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
– А на жаркое сделай ты нам баранинки, а сбоку положи три бекасика...

– Можно-с.

– А пирожное, уж так и быть, общее: малиновый пирог! И я, старуха, с ними полакомлюсь!

Кончивши с поваром, Марья Петровна призывает садовника, который приходит с горшками, наполненными фруктами. Марья Петровна раскладывает их на четыре тарелки, поровну на каждую, и в заключение, отобрав особо самые лучшие фрукты, отправляется с ними по комнатам дорогих гостей. Каждому из них она кладет в потаенное место по несколько отборных персиков и слив, исключая Сенечки, около комнаты которого Марья Петровна хотя и останавливается на минуту, как бы в борении, но выходит из борьбы победительницей.

Марья Петровна женщина очень почтенная; соседи знают ее за чадолюбивейшую из матерей, а отец Павлин, местный сельский священник и духовник Марьи Петровны, даже всенародно однажды выразился, что душа ее всегда с благопоспешением стремится к благоутешению ближнего, а десница никогда не оскудевает благоготовностью к благоукрашению храмов божиих. Марья Петровна сама знает, что она хорошая женщина, и нередко, находясь наедине с самой собою, потихоньку умиляется по поводу разнообразных своих добродетелей. Сядет этак у окошечка, раздумается и даже всплакнет маленько. Всё-то она устроила: Сенечку в генералы вывела, Митеньку на хорошую дорогу поставила, Феденька давно ли из корпуса вышел, а уж тоже штабс-ротмистр, Пашенька выдана замуж за хорошего человека, один только Петенька... «Ну, да этот убогонький, за нас богу помолит! – думает Марья Петровна. – Надо же кому-нибудь и богу молиться!..» И все-то она одна, все-то своим собственным хребтом устроила, потому что хоть и был у ней муж, но покойник ни во что не входил, кроме как подавал батюшке кадило во время всенощной да каждодневно вздыхал и за обедом, и за ужином, и за чаем о том, что не может сам обедню служить. А храмы-то, храмы-то божий! тогда-то Марья Петровна пелену на престол пожертвовала, тогда-то воздуха прекрасные вышла, тогда-то паникадило посеребрила... Как вспомнит это Марья Петровна, да сообразит, что все это она, одна она сделала, и что вся жизнь ее есть не что иное, как ряд благопотребных подвигов, так у ней все внутри и заколышется, и сделается она тихонькая-растихонькая, Агашку называет Агашенькой, Степашку – Степанидушкой, и все-то о чем-то сокрушается, все-то благодушествует.

У Марьи Петровны три сына: Сенечка, Митенька и Феденька; были еще две замужние дочери, но обе умерли, оставив после себя Пашеньку (от старшей дочери) и Петеньку (от младшей).

Сенечка, как сказано выше, уже генерал (разумеется, штатский) и занимает довольно видный пост в служебной иерархии. Начальники Сенечки не нахвалятся им; мало того что он держит в страхе своих подчиненных, но, что всего драгоценнее, сам повиноваться умеет. Окончив с успехом курс в училище правоведения, Сенечка с гордостью мог сказать, что ни одного чина не получил за выслугу, а всё за отличие, и, наконец, тридцати лет от роду довел свою исполнительность до того, что начальство нашлось вынужденным наградить его чином действительного статского советника. Поздравляя его с этой наградой, Сенечкин начальник публично улыбнулся и назвал его *général-enfant*, [9] а Сенечка, с своей стороны, разревновался до того, что в один год сочинил пять проектов, из коих два даже по совершенно постороннему ведомству. Начальство просто растерялось и не знало, как наградить молодого генерала. Сенечка же, с своей стороны, слушая со всех сторон себе похвалы, застенчиво краснел, что придавало еще более цены его усердию. Я не читал сочиненных Сенечкою проектов, но, признаюсь, очень хотел бы почитать их. А так как, с другой стороны, мне достоверно известно, что все они кончались словами: «вменить начальникам губернии в обязанность» и т. д., то, положив руку на сердце, я с уверенностью могу сказать, что содержание их мне заранее известно до точности, а следовательно, и читать их особенной надобности для меня не стоит.

Итак, со стороны службы, Сенечка был счастлив; он имел прекрасный, шитый золотом мундир, был баловнем своих начальников, служил предметом зависти для сверстников и примером подражания для подчиненных. Сверх того, он имел очень приятную наружность и те прекрасные манеры, которыми вообще отличаются питомцы школы правоведения. И в наружности, и в манерах его прежде всего поражала очень милая смесь откровенной преданности с застенчивою почитательностью; сверх того, он имел

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru постоянно бодрый вид, а когда смотрел в глаза старшим, то взгляд его так отливал доверчивостью и признательностью, что старшие, в свою очередь, не могли оторвать от него глаз и по этой причине называли его василиском благодравия. Замечательно, что до всего этого он дошел своим собственным умом, без малейшей протекции, потому что татап Воловитинова хотя была женщина с состоянием, но жила безвыездно в деревне и никаких знатных связей не имела. Понятно, что, видя такие качества, начальники были без ума от него. Поэтому Сенечка мог дерзать в будущем очень далеко, и хотя предположений своих по этому предмету не высказывал, но я знаю, что и он был не чужд мечтаний. Я знаю, например, что нередко ему снились мундиры самых разнообразных цветов и покровов, но всегда с великолепным шитьем; однажды он даже увидел себя во сне сплошь утыканным павлиньими перьями, которые так и играли на солнце всевозможными радужными цветами. Сон оказался вещун, потому что на другой же день его представили к награде. Повторяю: Сенечка был счастлив. Однако было одно обстоятельство, которое грызло его, и обстоятельство это заключалось в том, что он никак не мог пленить сердце маменьки Марьи Петровны. По-видимому, он заключал в себе все данные для увеселения материнского сердца; по-видимому, он был и благодравен, и почтителен, не пропускал ни одного праздника, чтоб не пожелать милой маменьке «встретить его в полном душевном спокойствии и в той сердечной тишине, которых вы, милая маменька, вполне достойны», однако материнское сердце оставалось холодным к нему. Нельзя сказать, чтобы Марья Петровна не «утешалась» им: когда он в первый раз приехал к ней показаться в генеральском чине, она даже потрепала его по щеке и сказала: «Ах, ты мо-ой!», но денег не дала и ограничилась ласковым внушением, что люди для того и живут на свете, чтобы друг другу тяготы носить.

– Маменька, мне надо будет мундир новый сшить! – сказал Сенечка, думая деликатным образом дать понять об истинной цели своего посещения.

– Сшей, душенька, сшей! – снисходительно отвечала Марья Петровна, а денег так-таки и не дала.

Соседи всячески истолковывали себе причины холодности Марьи Петровны к своему первенцу. Приплетали тут и каких-то двух офицеров Пошехонского пехотного полка, и Карла Иваныча, аптекаря; говорили, что Сенечка первый и единственный сын своего отца и что Марья Петровна, не питавшая никогда нежности к своему мужу, перенесла эту холодность и на сына; некоторые доходили в своих догадках даже до того, что утверждали, будто бы Сенечка, будучи еще грудным ребенком, имел уже четыре зуба и однажды пребольно укусил ими мамашину грудь, и что с тех пор Марья Петровна забрала себе в голову, что этот сын будет ей злодеем.

Я, с своей стороны, думаю, что все это пустяки. Не смея ни возражать, ни утверждать ничего относительно офицеров и аптекаря (потому что и сам этого обстоятельства не привел в положительную известность), я удостоверяю, однако ж, что, при врожденной почтительности, Сенечка никак не позволил бы себе укунить мамашину грудь даже в таком случае, если б челюсть его была полна зубов, как у щуки. Я объясняю себе (заметьте: не оправдываю, а только объясняю) холодность Марьи Петровны несколько иначе: она была женщина простая, деятельная и весьма сообразительная; Сенечка же, напротив того, был молодой человек вычурный, лимфатический и слегка словно пришибенный. Марья Петровна любила, чтоб у нее дело в руках горело; Сенечка любил всякое дело обсудить, то есть не столько обсудить, сколько наговорить по поводу его с три короба всякого рода предварительных пошлостей. Марья Петровна терпеть не могла, когда к ней лезли с нежностями, и даже целование руки считала хотя необходимою, но все-таки скучною формальностью; напротив того, Сенечка, казалось, только и спал и видел, как бы ему вlepить мамаше безешку взасос, и шагу не мог ступить без того, чтобы не сказать: «вы, милая маменька», или: «вы, добрый друг, моя дорогая маменька». Весьма натурально, что, будучи от природы нетерпелива и не видя конца речи, Марья Петровна выходила наконец из себя и готова была выкусить язык этому «подлецу Сеньке», который прехладнокровно сидел перед нею и размазывал цветы своего красноречия. «Как начнет он это разводить, да размазывать, да душу из меня выматывать, как начнет это свои слюни распускать, – говаривала Марья Петровна по этому случаю, – так поверите ли, родная моя, я даже свету невзвижу; так бы, кажется, изодрала ему рот-то его поганый, чтоб он кашу-то эту из себя скорей выbleвал!» Когда Марья Петровна ела, то совсем не жевала, а проглатывала пищу, как щука; напротив того, Сенечка любил всякий кусок рассмотреть, разжевать, просмаковать, посыпать разговорцем, и к довершению всего, разрезывал кушанье на маленькие кусочки, а с огурца непременно срезывал кожу. Поэтому, когда им случалось вдвоем обедать, то у Марьи Петровны всегда до того

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru раскипалось сердце, что она как ужаленная выскакивала из-за стола и, не говоря ни слова, выбежала из комнаты, а Сенечка следом за ней приставал: «Кажется, я, добрый друг, маменька, ничем вас не огорчил?» Наконец, когда Марья Петровна утром просыпалась, то, сплеснув себе наскоро лицо и руки холодной водой и накинув старенькую ситцевую блузу, тотчас же отправлялась по хозяйству и уж затем целое утро переходила от погреба к конюшне, от конюшни в контору, а там в оранжерею, а там на скотный двор. Сенечка, напротив того, и спал как-то не по-человечески: во-первых, на ночь умащал свое лицо притираньями, во-вторых, проснувшись, целый час рассматривал, не вскочило ли где прыщика, потом целый час чистил себе ногти, потом целый час изучал перед зеркалом различного рода улыбки, причем даже рот как-то на сторону выворачивал, словно выкидывал губами артикул. Хотя Марье Петровне до всего этого было очень мало дела, потому что она и не желала, чтоб дети у ней в доме чем-нибудь распорядились, однако она и на конюшне, бывало, вспомнит, что вот «Сенька-фатюй» теперь перед зеркалом гримасы строит, и даже передернет ее всю при этом воспоминанье. Одним словом, встречаясь в жизни на каждом шагу, они не только не могли ни в чем сойтись, но положительно и постоянно точили друг друга. Ясно, что причина этого явления лежала совсем не в офицерах Пошехонского полка, но объяснялась гораздо проще. Они видеть друг друга не могли без того, чтоб мысленно не произнести – она: «Ах, если б ты знал, как меня от одного твоего вида тошнит!», он: «Ах, если бы ты знала, с каким бы я удовольствием ноги своей сюда не поставил, кабы только от меня это зависело!» Какой же тут аптекарь! тут просто люди не понимают друг друга, потому что говорят на разных языках!

Однажды Сенечка насмерть перессорился с маменькой из-за бани. Приехавши летом в отпуск, вздумал он вымыться в баньке и пришел доложить об этом маменьке. Он тогда только что был произведен в статские советники и назначен вице-директором какого-то департамента.

– У меня есть до вас, милая маменька, большая просьба! – приступил Сенечка, по своему обыкновению, с предисловия.

– Говори, мой друг!

– Вы меня извините, добрый друг, маменька, только что я приехал и решаюсь уже вас беспокоить...

– Говори, мой друг!

– Но обстоятельство такого рода, что я, зная ваше доброе ко мне расположение, и как вы всегда были снисходительны ко всем моим нуждам...

– Да говори же, дурак!

– Я, право, не знаю, дорогая маменька, чем я мог заслужить ваш гнев...

– Долго ли ты меня притеснять будешь? долго ли тебе мной командовать-то?

– Я, милая маменька...

Но Марья Петровна уже вскочила и выбежала из комнаты. Сенечка побрел к себе, уныло размышляя по дороге, за что его наказал бог, что он ни под каким видом на маменьку потрафить не может. Однако Марья Петровна скоро обдумалась и послала девку Палашку спросить «у этого, прости господи, черта», чего ему нужно. Палашка воротилась и доложила, что Семен Иваныч в баньку желают сходить.

– На-тко! – сказала Марья Петровна и показала при этом Палашке указательный палец правой руки, – на дворе сенокос, люди в поле, а он в баньку выдумал! Поди доложи, что некому сегодня топить.

Однако через несколько минут Марья Петровна опять обдумалась, велела затопить баню и послала за Сенечкой.

– Ну, ступай в баню, мой друг, – сказала она кротко.

– Но если это затрудняет вас в ваших распоряжениях, милый друг, маменька...

– Ступай в баню, мой друг, – опять повторила Марья Петровна и, чтоб не

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru увлекаться, занялась раскладыванием гранпасьянса.

– Если все люди в поле, дорогая маменька...

Марья Петровна не отвечала, но, судорожно повертываясь на стуле, думала: «Неужели я такого дурака родила?»

– Я не знаю, милая маменька, что я такое сделал, чем я мог вас огорчить?

Молчание.

– Я благонаравию своим заслужил любовь всех моих начальников, ныне назначен уже вице-директором и льщу себя надеждою, что карьера моя далеко не кончена...

То же молчание, нарушаемое только шлепаньем карт.

– Во всех семействах первородные сыновья...

– Уйдешь ли ты в баню, мерзавец! – крикнула наконец Марья Петровна, но таким голосом, что Сенечке стало страшно.

И долго потом волновалась Марья Петровна, и долго разговаривала о чем-то сама с собой, и все повторяла: «Лишу! ну, как бог свят, лишу я этого подлеца наследства! и перед богом не отвечу!» С своей стороны, Сенечка хоть и пошел в баню, но не столько мылся в ней, сколько размышлял: «Господи, да отчего же я всем угодил, всем заслужил, только маменьке Марье Петровне ничем угодить и заслужить не могу!»

Второй сын Марьи Петровны, Митенька, дипломат. Он воспитывался в лицее, прекрасно владеет французским диалектом, смотрит урожденным камер-юнкером и отлично танцует. Лицо его выразительно и напоминает скорее прекрасный, художавый итальянский тип, нежели наш мясистый русский. Поговаривают, будто он пользуется значительными успехами у дам; тем не менее он ведет себя очень осторожно, историй, которые могли бы его скомпрометировать, никогда не имел и, как видно, предпочитает обделывать свои дела полегоньку. Вообще это малый довольно глубокомысленный, понимающий, что счастье человеческое заключается в скромности, терпении и небрезгливости, и вследствие того всегда предпочитает даму опытную, знакомую с жизненной дипломатией, какой-нибудь молоденькой, привлекательной, но в то же время неосновательной бабенке. Носились слухи, что он сумел сыскать в какой-то княгине, знаменитой не столько настоящею, сколько прошедшею своей красотой; говорили, что он не только пользуется ее благосклонностью, но не пренебрегает и другими, более вещественными выгодами. Как бы то ни было, но квартира его была действительно отделана как игрушечка, хотя Марья Петровна, по своей расчетливости, не слишком-то щедро давала детям денег на прожитие; сверх того, княгиня почти публично называла его сыном, давала ему целовать свои ручки и без устали напоминала Митенькиным начальникам, что это перл современных молодых людей. Мне, как автору, кроме того, известно, что однажды княгиня, в порыве чувствительности, даже написала к Марье Петровне письмо, в котором называла ее доброю тамап и просила благословения. Это был единственный случай, когда Митенька вышел из своего обычного хладнокровия и чуть было не поссорился с своей покровительницей. В первом увлечении гнева, он нашел, что поступок этот чересчур уж нелеп, *que ça n'a l'air de rien*, [10] что это страм; однако ж, по зрелом размышлении, успокоился и даже рассудил, что нелепая сантиментальность княгини может возвысить его в мамашиных глазах и вместо вреда принести пользу. И действительно, почти вслед за тем он получил от мамы письмо, полное самых шуточных намеков, которое окончательно его успокоило. Письмо это оканчивалось поручением поцеловать милую княгиню и передать ей, что ее материнское сердце отныне будет видеть в ней самую близкую, нежно любимую дочь. Разумеется, Митенька поручения этого не исполнил.

В своем обществе Митенька называл Марью Петровну *ta bonne pâte de mère* [11] и очень трогательно рассказывал, как она там хозяйничает в деревне, чтоб прилично содержать своих детей. К Сенечке он относился дружелюбно, но виделся с ним редко и в отношении его к матери не входил, ибо считал, что это не его дело. Он знал, что Сенечка не потеряется и в конце концов все-таки женится на купчихе, которая соблазнится его генеральством. Феденьку, младшего брата, он в душе презирал, и даже боялся, что он когда-нибудь непременно или казенные деньги украдет, или под суд попадет, или получит неприятность по лицу. Тем не менее это опасение, быть

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru может, было причиной, что он поддерживал с Феденькой сношения даже более деятельные, нежели с Сенечкой: он надеялся, что если и возникнет какая-нибудь неприязнь, то можно будет своевременно принятыми мерами предотвратить ее. Повторяю: это был малый очень глубокомысленный, принявший свое положение в том виде, в каком оно действительно представлялось, и употреблявший все свои усилия на то, чтобы вывернуться из него как можно приличнее. Если б можно было упечь Феденьку куда-нибудь подальше, но так, чтобы это было прилично (ему часто даже во сне виделось, что Феденька оказался преступником и что его ссылают в Сибирь), то он бы ни на минуту не усумнился оказать в этом деле все свое содействие.

С своей стороны, Марья Петровна не столько любила Митеньку, сколько боялась его. При одном его имени она чувствовала какой-то панический страх, точно вот он сейчас возьмет да и проглотит ее. Митенька дома держал себя таинственно строго, с матерью никогда не ссорился, но и в откровенности не пускался. В сущности, он и Сенечка представляли почти одну и ту же натуру: та же шаткость основ, то же отсутствие всякой живой мысли, но, вследствие особенностей характера и жизненной выдержки, то, что в Сенечке сказывалось прямою, неподкрашенной нелепостью, в Митеньке являлось твердостью характера, переходившею в холодную и расчетливую злость. Оба они говорили и делали одни и те же пошлости, но проводили эти пошлости в жизнь совершенно различными путями. Сенечка суетился и сантиментальничал; он не смотрел на себя как на государственного человека, но, надеясь на милость начальства, был предан и выигрывал единственно усердием и ничтожеством; взирая на него, как он хлопчет и надрывается, усматривая на каждом шагу несомненные доказательства его почтительности, начальство говорило: «О! это молодой человек верный! этот не выдаст!» Напротив того, Митенька был неприступен и непроницаем; он хранил свою пошлость про себя и совершенно искренно верил, что в ней заключаются истинные задатки будущего государственного человека; он не хлопотал, не суетился, но делал свои маленькие нелепости серьезно и методически и поражал при этом благородством манер. Взирая на эту силу ничтожества, доведенную почти до олимпийского спокойствия, начальство говорило: «Да! это молодой человек положительный! этот не выдаст!» Результаты в обоих случаях выходили одинаковые, и действительно, Митенька шел вперед столь же быстрыми шагами, как и Сенечка, с тою только разницей, что Сенечка мог надеяться всплыть наверх в таком случае, когда будет запрос на пошлецов восторженных, а Митенька в таком, когда будет запрос на пошлецов непромокаемых. Марья Петровна радовалась успехам Митеньки, во-первых, потому, что это не позволяло Сенечке говорить: «Все у вас дети пастухи – я один генерал!», и, во-вторых, потому, что Митенька один умел сдерживать Феденьку, эту скорбь и вместе с тем радость и чаянье ее материнского сердца.

И действительно, Феденька представлял собой совершеннейший тип не только пустейшего малого, но и положительного ерыги. «Все-то у него удовольствия какие-то неблагородные! всё-то у него либо подол поднять, либо рожу раскрасовить!» – часто думала втихомолку Марья Петровна про Феденьку, и болело же, ох, болело! ее материнское сердце! И припоминала ей беспощадная память все оскорбления, на которые был так щедр ее любимчик; подсказывала она ей, как он однажды, пьяный, ворвался к ней в комнату и, ставши перед ней с кулаками, заревел: «Сейчас послать в город за шампанским, не то весь дом своими руками передушу!» – «И передушил бы!» – невольно повторяет Марья Петровна при этом воспоминании. Подсказывала ей память, как он в другой раз преданную ей ключницу Степаниду сбирался за что-то повесить, как он даже вбил гвоздь в стену, приготовил веревку и наконец заставил Степаниду стать на колени и молиться богу. Подсказывала ей память, какой однажды батюшке потихоньку косу обстриг и как батюшка был от того в великом смущении и хотел даже доходить до епархиального начальства... Вообще, каждый приезд Феденьки в родительский дом равнялся неприятельскому погрому, после которого обыватели долго не могли прийти в себя. Во-первых, всех горничных непременно перепортит, и не то чтоб лаской или резонным усовещиваньем, а всё арапником да нагайкой; во-вторых, божьего дара не столько припьет-приест, сколько озорством разбросает; в третьих, изо всего дома словно конюшню сделает. «Другая бы мать давно эдакого молодца в Суздаль-монастырь упекла!» – рассуждает сама с собой Марья Петровна, совершенно убежденная, что есть на свете какой-то Суздаль-монастырь, в который чадолюбивые родители имеют право во всякое время упекать не нравящихся им детей. Никто в доме не любил Феденьку; всех-то он или побил, или оборвал; только горничные девки оказывали какое-то трепетное малодушие при одном его взгляде, несмотря на жестокое его обращение.

Тем не менее сердце Марьи Петровны ни к кому из детей так не лежало, как к

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru Феденьке. Быть может, ей именно то в нем и нравилось, что он таким коршуном налетал; «разбойник!» – громко говорил ее рассудок; «молодец!» – подсказывали внутренности, и, как и водится, последние всегда одерживали победу в этой неравной борьбе. Будучи сама характера решительного и смелого, она, весьма естественно, симпатизировала Феденьке, который ни перед чем не задумывался, ничем не затруднялся. Никогда не имел случая испытать над собой гнет чьей-нибудь власти, сама всегда властвуя и повелевая, она исполнялась каким-то наивным удивлением перед Феденькой, который сразу подчинял ее себе. Это был совсем не страх, вроде того, который внушал ей Митенька, это именно было удивление. Митеньку она боялась, потому что знала, что уж если этот человек чего захочет, то не станет много разговаривать, не станет горячиться, а просто ехиднейшим образом подкопается подо все существование и изведет, измучит вконец, покуда не поставит на своем. Напротив того, Феденька, как буян по натуре, действовал убеждением, так сказать, механическим: вспылит, подымет дым коромыслом, порой чуть-чуть не убьет, но через десять минут опять успокоится, и опять пошел шутки шутить.

Ко всему этому, Феденька был и по наружности молодец молодцом. Высокий, плечистый, искрасна-белокурый, он олицетворял собой тип чисто русский, мясистый тип, от которого млеют и ноют неиспорченные сердца русских помещиц и их горничных. Часто, глядя на него, Марья Петровна невольно думала: «Господи! да как же и противиться-то этакому молодцу!», и в этом, быть может, была вторая причина ее предпочтения младшему сыну. Когда же, бывало, натянет он на себя свой кавалерийский мундир, а на голову наденет медную, как жар горящую, каску с какими-то чудодейственными орлами на вершине да войдет этаким чудачком в мамашину комнату, то Марья Петровна едва удерживалась, чтоб не упасть в обморок от полноты чувств.

– Эк! уж и расползлись! – скажет, бывало, Феденька и дико-торжественно загогочет.

– Да помилуй, мой друг! – вымолвит только Марья Петровна и долго смотрит на своего идола, смотрит без всяких мыслей, кроме одной: «Господи! да неужто же есть на свете такая женщина, которая может противиться моему молодцу!»

Кроме сыновей, у Марьи Петровны есть еще внучата: Пашенька и Петенька. Пашенька – кругленькое, маленькое и мякненькое существо: вот все, что можно сказать об ней; она менее года как замужем за «хорошим человеком», занимающим в губернском городе довольно видное место, которого, однако ж, Феденька откровенно называет слюняем и фофаном; Марья Петровна души в ней не слышит, потому что Пашенька любит копить деньги. Петенька – четырнадцатилетний мальчик, полуидиот и единственный постоянный собеседник Марьи Петровны, которая обращается с ним снисходительно и жалуется только на то, что он, по своей нечистоплотности, слишком много белья изнашивает. Единственный рассказ, которым всех и каждого потчевал Петенька, заключался в том, как он однажды заблудился в лесу, лег спать под дерево и на другой день, проснувшись, увидел, что кругом оброс грибами.

– Что ж, ты, чай, так их сырые и приел? – спрашивал его обыкновенно Феденька.

– Ей! – отвечал Петенька, который, помимо малоумия, был до такой степени косноязычен, что трудно было понять, что он говорит.

– Ну, брат, скотина же ты!

– Кати...

Итак, вот то семейство, среди которого Марья Петровна Воловитинова считала себя совершенно счастливою.

Часу в первом усмотрено было по дороге первое облако пыли, предвещавшее экипаж. Девки засовались, дом наполнился криками: «Едут! едут!» Петенька на палочке верхом выехал на крыльцо и во все горло драл какую-то вновь сочиненную им галиматью: «Пати-маля, маля-тата-бум-бум!» Марья Петровна тоже выбежала на крыльцо и по дороге наградила Петеньку таким шлепком по голове, что тот так и покатился. Первая прибыла Пашенька: она была одна, без мужа.

– Друг ты мой! а что же друг-то твой, Максим Александрыч? – воскликнула Марья Петровна, заключая в свои объятия возлюбленную внучку.

– Максиму Александрычу никак нельзя, милая бабинька; у нас, бабинька, скоро торги, так он приготавливается! Здравствуй, Петька!

– Пати-маля, маля-тата, бум-бум!

– Это он что-то новое у вас, бабинька, выучил!

– Не слыхала еще! сегодня, должно быть, выдумал! это он «реприманд» дорогим гостям делает.

– А я, бабинька, полторы тысячи накопила! – сообщает Пашенька, как только унялись первые восторги.

– Ах ты моя ягодка! да никак ты тяжела!

– я, милая бабинька, тяжела уж с одиннадцатого февраля!

– Ах, малютка ты моя милая! где ж ты рожать-то будешь?

– Максим Александрыч говорит, что у себя, в городе.

– Да есть ли у вас бабка-то там?

– У нас, бабинька, такая бабка... такая бабка! нарочно для нашей губернаторши лучшую из Петербурга прислали!

– Стало быть, у вас губернаторша-то еще рождает?

– Ах, бабинька! у нас губернаторша... это ужас! Уж не молодая женщина, а каждый год! каждый год!

– Ну, это хорошо, что бабка у вас такая... Куда же ты деньги-то? положила?

– Нет, бабинька, Максим Александрыч мне класть не советовал; проценты нынче в опекуновом совете маленькие, так я в рост за большие проценты отдала.

– Смотри, чтоб он у тебя денег-то не выманил!

– Кто это?

– А Максимушка-то твой; бывают, Пашенька, друг, бывают такие озорники, что и жену готовы живую съесть, только бы деньги из нее вымучить!

– Ну, уж это, бабинька, тогда разве будет, когда он жилы из меня потянет!

– То-то, ты у меня смотри!

Бабинька смотрит Пашеньке в глаза и не налюбуется на нее; Пашенька, с своей стороны, докладывает, что приходил к ней недавно в город мужик из Жостова, Михай Пантелеев, просил оброк простить, потому что погорел, «да я ему, милая бабинька, не простила».

– Ну, душенька, иногда, по-божески, нельзя и не простить! – замечает Марья Петровна.

– Ну, уж нет, бабинька, зтак они так об себе возмечтают, что после с ними и не сговоришь!

– Однако, душечка...

– Нет, бабинька, нет! я уж решила никогда никому никаких снисхождений не делать!

Потом Пашенька рассказывает, какой у них в городе дом славный, как их все любят и какие у Максима Александрыча доходы по службе прекрасные.

– В прошлый набор, бабинька, так это ужаси, сколько Максим Александрыч

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru приобрел! – говорит она.

– Да, это хорошо, коли в дом, а не из дому! Ты, Пашенька, разузнавай под рукой про его доходы-то, а не то как раз на стороне метрессу заведет!

– Что вы, бабинька, да я ему глаза выцарапаю!

– Ах ты моя ягодка!

Пашенька чувствует прилив нежности, которая постепенно переходит в восторг. Она ластится к бабиньке, целует ей ручки и глазки, называет царицей и божественной. Марья Петровна сама растрогана; хоть и порывается она заметить, по поводу Михея Пантелеева, что все-таки следует иногда «этим подлецам» снисходить, но заметка эта утопает в другом рассуждении, выражающемся словами: «А коли по правде, что их, канальев, и жалеть-то!» Таким образом время проводится незаметно до самого приезда дяденек.

Наконец и они приехали. Феденька, как соскочил с телеги, прежде всего обратился к Пашеньке с вопросом: «Ну, что, а слюняй твой где?» Петеньку же взял за голову и срядку три раза на ней показал, как следует ковырять масло. Но как ни спешил Сенечка, однако все-таки опоздал пятью минутами против младших братьев, и Марья Петровна, в радостной суете, даже не заметила его приезда. Без шума подъехал он к крыльцу, слез с перекладной, осыпал ямщика укоризнами и даже пригрозил отправить к становому.

– Милости просим! милости просим! хоть и поздний гость! – говорит ему Марья Петровна, когда он входит в ее комнату.

– Я, милая маменька, выехал прежде всех...

– А ты умеи после всех выехать, да прежде всех приехать! – говорит Феденька. – Право, мы выехали со станции полчаса после него: думаем, пускай его угодит маменьке... Сеня! а Сеня! признайся, ведь тебе очень хотелось угодить маменьке?

Сенечка улыбается; он хочет притвориться, что Феденька и его фаворит и что, по любви к нему, он смотрит на его выходки снисходительно.

– Только на половине дороги смотрим, кто-то перед носом у нас трюх-трюх! – продолжает Феденька. – Ведь просто даже глядеть было на тебя тошно, каким ты разуваем ехал! а еще генерал... ха-ха!

– Ну, Христос с ним, Феденька!

– Да нет, маменька! не могу я равнодушно видеть... его да вот еще Пашенькинова слюняя... Шипят себе да шипят втихомолку!

– Что такое тебе мой слюняй сделал? – горячо вступается Пашенька, которая до того уже привыкла к этому прозвищу, что и сама нередко, по ошибке, называет мужа слюняем.

Митенька сидит и хмурит брови. Он спрашивает себя, куда он попал? Он без ужаса не может себе представить, что сказала бы княгиня, если б видела всю эту обстановку? и дает себе слово уехать из родительского дома, как только будут соблюдены необходимые приличия. Марья Петровна видит это дурное расположение Митеньки и принимает меры к прекращению неприятного разговора.

– Ну, вы, петухи индейские! как сошлись, так и наскочили друг на друга! – говорит она ласково. – Рассказывайте-ка лучше каждый про свои дела! Начинай-ка, Феденька!

Митенька думает про себя: «Господи, и слова-то какие: «петухи индейские»! да куда ж это я попал!» Сенечка думает: «А ведь это она не меня петухом-то назвала! Это она все Федьку да Пашку ласкает!»

– Да что я скажу! – начинает Феденька. – Жуируем!

– Да ты рассказывай! – настаивает Марья Петровна.

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
– Недавно одну корифейку затравили!

– Что ты!

– Уговаривали добром – не хотела, ну, и завели обманом в одно место и затравили!

– Ах вы бедокуры! бедокуры! – говорит Марья Петровна, покачивая головой и вздыхая.

– Тебя, Феденька, за эти проделки непременно в солдаты разжалуют, – очень серьезно замечает Митенька.

– Еще что!

– Ах, боюсь и я этого! боюсь я, что ты очень уж шаловлив стал, Феденька!

– Так неужто ж им спуску давать!

– Да уж очень ты неосторожно, друг мой! Чай, ведь она, Феденька, плакала!

– Ну что ж... и плакала! смотреть, что ли, на ихние слезы!

Марья Петровна опять вздыхает, но в этом вздохе не слышится ни малейшей укоризны, а скорее, какое-то сладкое чувство удовлетворенной материнской гордости.

– Вот, если б он вздумал такую проделку сделать, – продолжает Феденька, указывая на Сенечку, – ну, это точно: сейчас бы его, раба божьего, сграбастали... нет, да ведь я позабыть не могу, каким он фофаном давеча ехал!

– Ну, где уж ему!

– Нет, маменька, – прерывает вдруг Сенечка, которому хочется вступить за свою честь, – я тоже однажды имел случай в этом роде...

– Полно! полно хвастаться-то! уж где тебе, убогому!

Сенечка стыдливо умолкает и весь погружается в самого себя, он думает, что бы такое ему сказать приятное, когда маменька станет расспрашивать о его житье-бытье.

– Я, маменька, опять Эндоурова обыграл, – продолжает повествовать Феденька.

– Скажи, сделай милость! и много выиграл?

– Да тысяч на пять обжег.

– Что это за Эндоуров такой? должно быть, хороший человек?

– Просто, филин... в карты шагу ступить не умеет – ну, и обжег! Не суйся вперед, коли лапти плетешь!

– Ну, и за это тебя когда-нибудь в солдаты разжалуют, – хладнокровно замечает Митенька.

– Ах, что это ты, Митенька, точно ворона каркаешь! – с неудовольствием отзывается Марья Петровна.

– Не тянуть же мне канитель по две копейки в ералаш, как Семену Иванычу, – огрызается Феденька.

– Извините-с, я нынче по пяти играю, а не по две-с! – отвечает Сенечка не без волнения.

– Так ты по пяти играешь! ах ты развратник! но только ты все-таки не поверить, каким ты фофаном давеча ехал!

– Для тебя бы, Сенечка, такая-то игра и дорогонька! – сухо замечает Марья

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Петровна и обращается к Митеньке: – ё ву ля метресс... тужур бьен?[12]

– Желал бы я знать, отчего вы вдруг по-французски заговорили? – угрюмо спрашивает Митенька.

– Отчего ж мне и не заговорить по-французски?

– Нет, я желал бы знать, отчего вы все время говорили по-русски, а вот как вам взошла в голову пакость, сейчас принялись за французский язык?

– Ах, господи! да неужто ж это преступление какое?

– И сколько я раз говорил вам, чтобы вы со мной о подобных предметах не заигрывали?

– Ведь ты, чай, сын мне! всякой матери лестно слышать, коли сын успехи имеет!

– А я вам говорил и вновь повторяю, что имею ли я успехи или нет, это до вас не касается!

– Ну, уж не знаю...

– Так знайте. И по-французски не упражняйтесь, потому что вы говорите не по-французски, а по-коровьи...

Я не знаю, как вывернулась бы из этого пассажа Марья Петровна, и сумела ли бы она защитить свое материнское достоинство; во всяком случае, Сенечка оказал ей неоцененную услугу, внезапно фыркнув во всеулышанье. Вероятно, его, точно так же как и Митеньку, поразил французский язык матери, но он некоторое время еще крепился, как вдруг Митенька своим вовсе неостроумным сравнением вызвал наружу всю накопившуюся смешливость.

– Ты еще что? – строго обратилась к нему Марья Петровна.

– Я, маменька, один смешной случай вспомнил-с...

– Над матерью-то посмеяться тебя станет, а вот как заслужить чем-нибудь, так тут тебя нет!

– Я, маменька...

Но здесь опять, и, конечно, против всякого желания, Сенечка разразился самым неестественным фырканием, так что сам понял все неприличие своего поведения и инстинктивно поднялся со стула.

– Поди в свою комнату... очнись! – говорила ему вслед до глубины души оскорбленная мать.

Только к обеду явился Сенечка, но и то единственно за тем, чтоб испытать до дна чашу унижения. За обедом все шло по-сказанному; Марья Петровна сама выбирала и накладывала лучшие куски на тарелки Митеньке, Феденьке и Пашеньке и потом, обращаясь к Сенечке, прибавляла: «Ну, а ты, как старший, сам себе положишь, да кстати уж и Петеньке наложи». Очевидно, что при такой простоте обращения только относительно щей дело могло принять оборот несколько затруднительный, но и тут обстоятельства выручили Марью Петровну, потому что Феденька, как воин грубый, предпочел крапивные щи ленивым, и вследствие этого оказалось возможным полтарелки последних уделить Сенечке. Наевшись баранины, Сенечка почувствовал такую тяжесть в желудке, что насилу дошел до своей комнаты и как сноп свалился на постель; Феденька отправился после обеда на конюшню, Пашенька, как тяжелая, позволила себе часочек, другой отдохнуть. Марья Петровна осталась с Митенькой наедине.

– Вот вы смеетесь надо мной, мои друзья, – сказала она в виде предисловия, – а я, как мать, можно сказать, денно и ночью только об вас думаю.

Митенька молчал и думал про себя: «Ну, верно, по обыкновению, пойдут разговоры об завещании!»

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
– Вот я теперь и стара и дряхла становлюсь, – продолжала Марья Петровна, – мне бы и об душе пора подумать, а не то чтоб именем управлять или светскими делами заниматься!

Митенька продолжал молчать, совершенно хладнокровно пуская ртом кольца дыма.

– Паче всего сокрушаюсь я о том, что для души своей мало полезного сделала. Все за заботами да за детьми, ан об душе-то и не подумала. А надо, мой друг, ах как надо! И какой это грех перед богом, что мы совсем-таки... совсем об душе своей не рачим!

Но Митенька словно окаменел. Только чуть заметная ироническая улыбка блуждала на губах его.

– Вот я, мой друг, и придумала... Да что же ты, друг мой, молчишь? Я, как мать, можно сказать, перед тобой свое сердце открываю, а ты хоть бы слово!

– Вы об завещании хотите говорить... я знаю, – процедил сквозь зубы Митенька.

– Ну, да, об завещании... можно бы, кажется, на слова матери внимание обратить!

– Говорите.

– Нет, это обидно! Я, как мать, покоя себе не знаю, всё присовокупляю, всё присовокупляю... кажется, щепочку на улице увидишь, и ту несешь да в кучку кладешь, чтоб детям было хорошо и покойно, да чтоб нужды никакой не знали, да жили бы в холе да в неженье...

– Да мы, маменька, очень вам благодарны...

– Нет, мне, видно, бог уж за вас заплатит! Один он, царь милосердый, все знает и видит, как материнское-то сердце не то чтобы, можно сказать, в постоянной тревоге об вас находится, а еще пуще того об судьбе вашей сокрушается... чтобы жили вы, мои дети, в веселостях да в неженье, чтоб и ветром-то на вас как-нибудь неосторожно не дунуло, чтоб и не посмотрел-то на вас никто неприветливо...

– Да говорите же, маменька, я вас слушаю.

Мало-помалу, однако ж, Марья Петровна успокоилась.

Она очень хорошо понимала, что весь этот разговор не что иное, как представление, да, сверх того, понимала и то, что и Митенька знает, что все это представление; но такова уже была в ней потребность порисоваться и посеCRETничать, что не могла она лишиться себя этого удовольствия, несмотря на то что оно, очевидно, не достигало своей цели.

– Ну так видишь ли, друг мой, что я придумала. Года мои преклонные, да и здоровье нынче уж не то, что прежде бывало; вот и хочется мне теперь, чтоб вы меня, старуху, успокоили, грех-то с меня тот сняли, что вот я всю жизнь все об мамоне да об мамоне, а на хорошее да на благочестивое – и нет ничего. Так снимите же вы, Христа ради, с меня эту тягость; ведь замучилась уж я, день-деньской маявшись; освободите вы мою душу грешную от муки мученской! Ведь ты знаешь ли, какой я себе грех беру на душу: кажется, и не отмотить мне его вовек!

Марья Петровна даже прослезилась: так оно выходило хорошо да чувствительно. Несколько минут она все вздыхала и вытирала платком слезы, обильно струившиеся из глаз. Но мысль ее не спала в это время; странное дело, эта мысль подсказывала ей совсем не те слова, которые она произносила; она подсказывала: «Да куда ж я, черт побери, денусь, коли имение-то все раздам! все жила, жила да командовала, а теперь на-тко, на старости-то лет да под команду к детям идти!» И вследствие этого тайного рассуждения слезы текли еще обильнее, а материнское горе казалось еще горче и безысходнее.

– Так что же вы предполагаете сделать? – спокойно спросил Митенька.

– Отдам! все отдам! – с каким-то почти злобным криком отвечала Марья Петровна. – Нет моих сил! нет моих сил! Слушай ты меня: вот я какое завещание составила!

Марья Петровна отперла денежный ящик и вынула оттуда бумагу.

– Да ведь вы мне уж несколько раз это завещание читали, – иронически заметил Митенька.

– Нет, это я другое... я то переменяла.

– Ну-с, читайте.

– «Во имя...» ну, там все, как следует, по-старому... «первое, сыну моему Семену, как непочтительному...»

– Кто же вам поверит, что Сенечка был к вам непочтителен?

– Да мне какое дело, поверит ли кто или нет; я мать, я и судья – имение-то, чай, мое, благоприобретенное...

– Ну-с, хорошо-с...

– «Сыну моему Семену – село Вырыпаево с деревнями, всего триста пятьдесят пять душ; второе, сыну моему Дмитрию – село Последово с деревнями, да из вырыпаевской вотчины деревни Манухину, Веслицыну и Горелки, всего девятьсот шестьдесят одну душу»... – Марья Петровна остановилась и взглянула на Митеньку: ей очень хотелось, чтоб он хоть ручку у ней поцеловал, но тот даже не моргнул глазом. – Да что же ты молчишь-то! что ты, деревянный, что ли! – почти крикнула она на него.

– Позвольте, маменька, дайте же до конца прослушать.

– «Третье, сыну моему Федору – сельцо Дятлово с деревнею Околицей и село Нагорское с деревнями, а всего тысяча сорок две души».

Митенька пускал дым уже не кольцами, а клубами. Он знал, конечно, что все эти завещания вздор, что Марья Петровна пишет их от нечего делать, что она на следующей же неделе, немедленно после их отъезда, еще два завещания напишет, но какая-то робкая и вместе с тем беспокойная мысль шевелилась у него в голове. «А ну, как она умрет! – говорила эта мысль. – Ведь все эти бредни, пожалуй, перейдут в действительность». Справедливость, однако ж, заставляет меня сказать, что ни разу не пришло ему в голову, что, каково бы ни было завещание матери, все-таки братьям следует разделить имение ее поровну... В этом отношении он очень хорошо понимал, что долг его повиноваться воле матери, тем более что повиновение это для него выгодно.

– Ну-с, – сказал он.

– Вот и все; там обыкновенно, формальности разные...

– А капитал?

– Какой же у меня капитал? а коли и есть капитал, так ведь надо же мне, вдове, прожить на что-нибудь до смерти!

– Да ведь это завещание, а не отдельный акт...

– Неужто ж вы потребуете, чтоб я последнее отдала? чтоб я и рубашку с себя сняла?

– Это завещание, маменька, а не отдельный акт...

– Ну, нет! не ожидала я этого от тебя! что ж, в самом деле, выгоняйте мать! и поделом старой дуре! поделом ей за то, что себе на старость лет ничего не припасала, а все детям да детям откладывала! пускай с сумой по дворам таскается!

– Извините меня, маменька, но мне кажется, что все это только фантазии ваши! и напрасно вы с этим делом обратились ко мне! («Это она Федьке весь капитал-то при жизни еще передать хочет!» – шевельнулось у него в голове.) Вы лучше обратились бы к Сенечке: он на эти дела мастер; он и пособолезновал бы с вами, и натолковался бы досыта, и предположений бы всяких наделал!

И действительно, в то самое время, как между Марьей Петровной и Митенькой происходила описанная выше сцена, Сенечка лежал на кровати в Петенькиной комнате и, несмотря на ощущаемую в желудке тяжесть, никак-таки не мог сомкнуть глаза свои. Предположения и планы, один другого чуднее, один другого разнообразнее, являлись его воображению. То видел он, что Марья Петровна умирает, что он один успел приехать к последним ее минутам, что она прозрела и оценила его любовь, что она цепенеющей рукой указывает ему на шкатулку и говорит: «Друг мой сердечный! Сенечка мой милый! это все твое!» То представлялось ему, что и маменька умерла, и братья умерли, и Петенька умер, и даже дядя, маменькин брат, с которым Марья Петровна была в ссоре за то, что подозревала его в похищении отцовского духовного завещания, – и тот умер; и он, Сенечка, остался общим наследником... То видится ему, что маменька призывает его и говорит: «Слушай ты меня, друг мой сердечный, Сенечка! лета мои преклонные, да и здоровье не то, что было прежде»... и в заключение читает ему завещание свое, читает без пропусков (не так, как Митеньке: «там, дескать, известные формальности»), а сплошь, начиная с «во имя» и кончая «здравым умом и твердой памятью», и по завещанию этому оказывается, что ему, Сенечке, предоставляется сельцо Дятлово с деревнею Околицей, и село Нагорное с деревнями, а всего тысяча сорок две души...

– А капитал, милый друг мой, маменька? – мысленно спрашивает Сенечка.

– А капитал, друг мой, Сенечка, я тебе при жизни из рук в руки передам... Только успокой ты мою старость! Дай ты мне, при моих немощах, угодникам послужить! Лета мои пришли преклонные, и здоровье уж не то, что прежде бывало...

Пасмурная и огорченная явилась Марья Петровна ко всеобщей. В образной никого из домашних не было; отец Павлин, уже совершенно облаченный, уныло расхаживал взад и вперед по комнате, по временам останавливаясь перед иконостасом и почесывая в бороде; пономарь раздувал кадило и, по-видимому, был совершенно доволен собой, когда от горящих в нем угольев внезапно вспыхивало пламя; дьячок шуршал замасленными листами требника и что-то бормотал про себя. Из залы долетал хохот Феденьки и Пашеньки.

– С дорогими гостями, – приветствовал отец Павлин. – Начинать прикажете?

– Начинай, батюшка, начинай! Да что ж это Сенечки нет! Девки! позовите Семена Иваныча!

По обыкновению, и в этом случае Сенечка служил, так сказать, очистительную жертвою за братьев. За всеобщей он должен был молиться. Но на этот раз ему как-то не молилось; машинально водил он рукой по груди и задумчиво вглядывался в облака дыма, изобильно выходящие из батюшкинова кадила. Тщетно заливался дьячок, выводя руладу за руладой, тщетно вторил ему пономарь, заканчивая каждый кант каким-то тонким дребезжаньем, очень похожим на дребезжанье, которым заканчивает свой свист чижик; тщетно сам отец Павлин вразумительно и ясно произносил возгласы: Сенечка не внимал ничему и весь был погружен в мечтания, мечтания глупые, но тем не менее отнюдь не имевшие молитвенного характера. Марья Петровна, любившая, чтоб Сенечка за нее молился, тотчас же заметила это.

– Помилуй, мой друг, – сказала она ему, – что ты это рукою-то словно на балалайке играешь! Или за мать-то и помолиться уж лень?

Вообще весь вечер прошел как-то неудачно для Сенечки, потому что Марья Петровна, раздраженная послеобеденным разговором, то и дело придиралась к нему. Неизвестно с чего вздумал вдруг Сенечка вступить за чаем в диспут с батюшкой и стал доказывать ему преимущество католической веры перед православною (совсем он ничего подобного и не думал, да вот пришла же вдруг такая несчастная мысль в голову!), и доказывал именно тем, что в католической вере просвиры пекутся пресные, а не кислые. Батюшка, с своей стороны, разревновался и стал изобличать Сенечку в ереси.

– Позвольте, – говорил он, – ведь таким манером и лютерцев оправдывать можно!

– Я не об лютеранах говорю...

– Нет, позвольте! я спрашиваю вас, оправдываете ли вы лютерцев?

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
– Да ведь мы...

– Нет, прошу ответ дать! заслуживают ли лютерцы, по вашему мнению, быть оправданными? – повторял батюшка, и, повторяя, хохотал каким-то закатыстым, веселым хохотом, и выказывал при этом ряд белых, здоровых зубов.

– И охота тебе, батька, с ним спорить! – вмешалась Марья Петровна. – Разве не видишь, что он с ума сбрендил! Смотри ты у меня, Семен Иваныч! ты, пожалуй, и дворню-то мне всю развратишь!

Тем этот достославный спор и кончился; Сенечка думал удивить маменьку разнообразием познаний и полетом фантазии, но вместо того осрамился прежде, нежели успел что-нибудь высказать. После того он несколько раз порывался вернуть еще что-нибудь насчет эмансипации (блаженное время! ее тогда не было!), но Марья Петровна раз навсегда так дико взглянула на него, что он едва-едва не проглотил язык.

Оставалась одна надежда на подарок, который Сенечка приготовил маменьке для дня ангела, но и та обманула его. Проснулся он очень рано, да и вообще дурно спал ночь. Во-первых, его осаждала прискорбная мысль, что все усилия, какие он ни делал, чтоб заслужить маменькино расположение, остались тщетными; во-вторых, Петенька всю ночь метался на постели и испускал какое-то совсем неслыханное мычание; наконец, кровать его была до такой степени наполнена блохами, что он чувствовал себя как бы укутанным крапивою и несколько раз не только вскакивал, но даже произносил какие-то непонятные слова, как будто бы приведен был сильными мерами в восторженное состояние.

Узнавши, что маменька только что встала, что к обедне еще не начинали благовестить и что братцы еще почивают, Сенечка осторожно вынул из чемодана щегольской белый муар-антиковый зонтик и отправился к маменьке. Но каково же было его удивление, когда он застал ее за письменным столом в созерцании целых трех зонтиков! Он сейчас же догадался, что это были подарки Митеньки, Феденьки и Пашеньки, которые накануне еще распорядились о вручении их имениннице, как только «душенька маменька» откроет глаза. Сенечка до того смутился, что даже вытаращил глаза и уронил зонтик.

– Здравствуй, друг мой!., да что ж ты на меня вытараща глаза смотришь! или на мне грибы со вчерашнего дня выросли! – приветствовала его Марья Петровна.

– Я, маменька... позвольте мне, милый друг мой маменька, поздравить вас с днем ангела и пожелать провести оный среди любящего вас семейства в совершенном спокойствии, которого вы вполне достойны...

– Благодарствуй, благодарствуй! да что это, ты словно уронил что-то?

– Это, милая маменька, я желал принести вам слабую дань моей благодарности за те ласки и попечения, которыми вы меня, добрый друг маменька, постоянно осыпаете!

– Да что вы, взбесились, что ли? все по зонтику привезли! – напустилась на него Марья Петровна при виде новой прибавки к коллекции зонтиков, уже лежавшей на столе. – Смеяться, что ли, ты надо мной вздумал?

– Я, милая маменька, всею душою...

– Сговориться вы, что ли, между собой не можете, или и в самом деле вы друг другу не братья, а звери, что никакой между вами откровенности нет?

– Я, милая маменька...

– Это все ты, тихоня, мутишь! Вижу я тебя, насквозь тебя вижу! ты думаешь, на глупенькую напал? ты думаешь, что вот так сейчас и проведешь! так нет, ошибаешься, друг любезный, я все твои прожекты и вдоль и поперек знаю... всё вижу, всё вижу, любезный друг!

– Я, маменька, никаких прожектов не имею...

– Ты... ты... ты всей смуте заводчик! Если б не доброта моя, давно бы тебя в Суздаль-монастырь упечь надо! не посмотрела бы, что ты генерал, а так бы

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru вышколоила, что позабыл бы да и другим бы заказал в семействе смутьянничать! На-тко, прошу покорно, в одном городе живут, вместе почти всю дорогу ехали и не могли друг дружке открыться, какой кто матери презент везет!

– Маменька! чем же я виноват, что Феденька не хочет мне почтения делать?

– Да что ты, обалдел, что ли? какое тебе почтение! Ведь ты ему, чай, брат!

– Я, маменька, старший брат, и Феденька обязан мне почтение оказывать!

Бог знает, чем бы разыгралась эта история, если б в эту минуту не заблаговестили к обеду. Марья Петровна так и осталась с раскрытым ртом, только махнула рукой на Сенечку. Но зато после обеда она, можно сказать, испилила его всего. Не только братьям рассказала, что Сенечка требует, чтоб ему было оказываемо почтение, но даже всех соседей просила полюбоваться четырьмя зонтиками, подаренными ей в один день, и всю вину складывала на Сенечку, который, как старший брат, обязан был уговориться с младшими, какой презент маменьке сделать. Вследствие этого Феденька целый день трунил над Сенечкой, называл его «вашим превосходительством», привставал на стуле при его появлении и даже один раз бросился со всех ног, чтоб пододвинуть ему кресло, но в рассеянности тотчас же выдернул его из-под него. Все это было очень остроумно и возбуждало всеобщий смех, к которому оставался равнодушен только Митенька. И таким образом прошел целый мучительный день, в продолжение которого Сенечка мог в сотый раз убедиться, что подаваемые за обедом дупеля и бекасы составляют навсегда недостижимый для него идеал.

А Марья Петровна была довольна и счастлива. Все-то она в жизни устроила, всех-то детей в люди вывела, всех-то на дорогу поставила. Сенечка вот уж генерал – того гляди, губернию получит! Митенька, поди-ка, какой случай имеет! Феденька сам по себе, а Пашенька за хорошим человеком замужем! Один Петенька сокрушает Марью Петровну, да ведь надо же кому-нибудь и бога молить!

С своей стороны Сенечка рассуждает так: «Коего черта я здесь ищу! ну, коего черта! начальники меня любят, подчиненные боятся... того гляди, губернатором буду, да женюсь на купчихе Бесселендовой – ну, что мне еще надо!» Но какой-то враждебный голос так и преследует, так и нашептывает: «А ну, как она Дятлово да Нагорное-то подлецу Федьке отдаст!» – и опять начинаются мучительные мечтания, опять напрягается умственное око и представляет болезненному воображению целый ряд мнимых картин, героем которых является он, Сенечка, единственный наследник и обладатель всех материнских имений и сокровищ.

Пашенька на другой же день именин уехала, но Сенечка все еще остается, все чего-то ждет, хотя ему до смерти надо в Петербург, где ожидают его начальники и подчиненные. Он ждет, не уедут ли Митенька с Феденькой, чтоб одному на просторе остаться с маменькой и объяснить ей, как он ее обожает. Но проходит пять дней, и ожидания его напрасны. Мало того что братья не уезжают, но он видит, как мать беспрестанно с ними о чем-то шушукается, и как только он входит, переменяет разговор и начинает беседовать о погоде. «Это они об духовном завещании шепчутся! – думает Сенечка и в то же время неволью прибавляет: – Да для какого же черта я здесь живу! ну да! ну да!»

Митенька первый сжалился над ним и предложил вместе ехать в Петербург. Феденька так и остался полным властелином материнского сердца.

Едет Сенечка на перекладной, едет и дремлет. Снится ему, что маменька костенеющими руками благословляет его и говорит: «Сенечка, друг мой! вижу, вижу, что я была несправедлива против тебя, но так как ты генерал, то оставляю тебе... мое материнское благословение!» Сенечка вздрагивает, кричит на ямщика «пошел!» и мчится далее и далее, до следующей станции.

III РАЗМЫШЛЕНИЯ

До какой степени может доходить противоречие между мыслью и поступками, до какой степени может быть доведено, с одной стороны (в мысли), полное признание долга, с другой (в практике) – совершенное забвение его, это почти невероятно. Из приведенного выше примера уже само собой явствует, что здесь все действующие лица являются людьми недостойными: Марья Петровна – недостойною матерью, не понимающею, что долг всякой матери повелевает равно любить детей своих, Сенечка,

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru Митенька и Феденька – недостойными детьми, не понимающими, что долг повелевает им уважать мать, хотя бы она была дурною матерью, а также взаимно любить друг друга. Все эти лица смотрят на природную связь, их соединяющую, как на что-то горькое, почти несносное; все только и ждут минуты, когда можно будет эту связь порвать! А между тем спросите у Марьи Петровны или у самого Сенечки: что такое союз семейственный? Марья Петровна ответит: «Как, батюшка, уж ты этого-то не понимаешь!» Сенечка же скажет: «Семейственный союз – это зерно союза гражданского, это алтарь, это краеугольный камень!» И, наверное, скажет это с полным убеждением, ибо очень хорошо сам понимает, что не лжет. Но если это алтарь, так и служи же ему! если это краеугольный камень, так и наблюдай же за его неприкосновенностью! Ясно ли?

Но чтобы читатель вполне был мною доволен, приведу здесь еще несколько фактов, в которых поразительно высказывается то вредное жизненное двоегласие, о котором идет речь.

Рассказывают про одного откупщика следующее. Откупщик этот был из евреев одной из западных наших губерний, но впоследствии разбогател, окрестился и, конечно, совсем бы забыл о своих патентах на иерусалимское первенствующее сословие, если бы ежечасно не напоминало об этом некоторое чудосочие в прононсе. Откупщик уже назывался настоящим человеческим именем, говел весьма аккуратно, и не иначе как в соборе, водил знакомство с протопопами и по праздникам угощал обеденным столом генералов. Словом сказать, был человек до того благонамеренный, что даже сам губернатор об нем отзывался, что этакого ревнителя и в некотором роде столба – просто свет не производил. И вдруг в одно прекрасное утро к этакому-то вельможе является из]М. огилевской губернии – отец! Всполошились хамы в передней, увидев испуганную, похожую на мордочку умирающего зайца, физиономию еврея, и окончательно растерялись, когда узнали, что эта робкая фигурка, украшенная пейзажами, принадлежит родителю самого вельможи, владельца раззолоченных палат.

– Папаша ваш пришел! – нерешительно докладывает откупщику лакей, как бы инстинктивно понимая все неприличие своего поступка.

– Какой папаса! нет у меня папасы! я сирота! – отвечает откупщик, вскакивая как ужаленный из-за украшенного резьбою письменного стола.

Однако делать нечего, выходит в переднюю и видит, что действительно перед ним стоит отец. Даже лица у них совсем одинаковые, только у одного похоже на зайца погибающего, а у другого – на зайца торжествующего.

– Ты кто таков? – наскокивает сын на отца.

– Я твой отец.

– Нет, ты мне не отец; ты зид... Ты пейзаховую водку пьёс... какой ты мне отец!

– Ицек! кость от костей моих! – пискнул было старый еврей.

– Какой я Ицек! нет здесь Ицека! толкай же этого сумаседсего в сею! ты зид, ты скверный зид, а не отец!

Старого честного еврея выгнали, а молодой и изворовавшийся еврей долго ходил в волнении по белорамным залам своего палаццо и долго внушал лакеям, что это совсем не отец его, а просто гнусный попрошайка, хотевший пощечиться на счет его доброго сердца.

Как ни прискорбен этот анекдот, но я должен сказать, что сам был однажды очевидцем факта, очень близко к нему подходящего. В нашем уездном суде служил секретарем некто Семен Петрович Попков. И так как у меня было в суде тяжёлое дело, то весьма естественно, что я сошелся с Попковым довольно близко. Это был еще молодой малый и пользовался репутацией человека с направлением, то есть не пьющего и берущего взятки с осмотрительностью. Судья, человек сырой и ленивый, говаривал, что за ним можно спать, как за каменной стеной, и действительно, спал очень исправно и, несмотря на это, ни разу не попал под суд. Однажды мне понадобилась справка по делу, и, само собой разумеется, я обратился за нею к секретарю.

– А что, ихняя справка готова? – обратился он к одному из чиновников.

– Попков-второй! справка готова?

– Нет-с еще, через полчаса допишу, – раздался из глубины комнаты робкий, дрожащий голос.

– Снять с Попкова-второго сапоги! – совершенно равнодушно решил секретарь. – Через полчаса наведаетесь, все будет исполнено, – любезно прибавил он, обращаясь ко мне.

– Однако вы довольно строго поступаете с своим однофамильцем, – сказал я, угрызаемый совестью, что из-за меня чиновник на целый день лишается свободы и лучшего ее украшения – сапогов.

– Это мой родитель-с, – отвечал он, не моргнув ни одним глазом.

Я долгое время смотрел на него, ничего не понимая, да и впоследствии, когда я уже очнулся, первая мысль, которая меня посетила, была довольно глупого свойства. «Отчего же он Попков-второй?» – подумал я, как будто эту арифметическую формальностью исчерпывался весь вопрос.

– Отчего же он Попков-второй? – бессознательно повторил я вслух.

– По старшинству-с; я старший Попков, он второй-с... с ними никак нельзя лаской поступать-с, – прибавил он, как бы угадывая, в чем именно заключалось мое недоумение. – Они постоянно этим малодушеством занимаются, так надо же их как-нибудь ограничивать!

– Да вы уж хоть на этот раз простите папеньку-то! мне, право, совестно, что он из-за меня пострадал!

– Нет-с, уж это позвольте-с. Первое, другим чиновникам может показаться обидным, что я родителю своему снисхождение делаю, а второе, в этом их же собственная польза состоит.

Эти отношения так меня заинтересовали, что я решился заняться ими. В тот же день, вечером, я зашел к Попкову-старшему на дом и, по обыкновению, застал его за письменным столом, нагруженным и делами и бумагами. Повторяю: это был человек с направлением, жил чистенько и трудолюбием равнялся муравью. Воспитание он получил в местном канцелярском училище, следовательно, не только недостаточное, но, так сказать, глупое, и если, несмотря на это, сумел-таки «сделаться человеком», то этим был единственно обязан самому себе. Он это вполне сознавал и потому в обращении был даже несколько заносчив и вообще не любил ни с кем сближаться, как и большая часть людей, устроивших себя собственными силами. Ненависть к месту своего воспитания питал страшную и, конечно, не без основания полагал, что если б судьба не подрезала его жизни в самом корне, то он, по своим способностям и стойкости, мог бы пойти довольно далеко.

– Что-с, справочку получили-с? – спросил он меня, предварительно усадив на диван.

– Получить-то получил, да не об справке дело, Семен Петрович! Нельзя ли как-нибудь родителя-то вашего... ну как же это, в самом деле!..

– Что же такое-с?

– Да согласитесь сами, ведь он ваш отец!

Попков-старший смотрел на меня не то чтобы с недоумением, а как будто с неудовольствием.

– Да-с, это точно-с; в простом народе это бывает-с, – сказал он совершенно спокойно.

– Помилуйте! ведь это же закон естественный, равно обязательный для всех!

– Не чувствую-с.

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

– Как не чувствуете? ведь вам, чай, с малолетства толковали, что почитать родителей есть первая обязанность детей!

– Толковали-с.

– Ну, и что ж? Неужели же вы станете против этого спорить?

– Ни отнюдь-с. Это даже в законах изображено-с.

– Так как же вы против закона поступаете? а ну, как родитель-то ваш пожалуется?

– Этого он не может никогда сделать-с; да опять-таки, если б и пожаловались, ничем они себя против меня не оправдают...

– Как так?

– Я ихний начальник-с. Если они ведут себя благопристойно, моя обязанность есть перед начальством их аттестовать, а если они в чем проштрафились, моя обязанность их наставить и с них взыскать-с.

– Да закон-то, любезный друг! закон!

Попков-старшим задумался.

– Я так полагаю, – сказал он после минутного размышления, – что законы эти больше простолюдинов имеют в виду!

– То есть каким же это образом?

– Так точно-с. Чтобы теперича обыватель завсегда для себя узду видел. А потому для всякого звания свой закон-с, то есть смотря по тому, как кто существо веществ понимать может...

– Да ведь в законах же изображено, что они для всех равно обязательны?

– Это так-с; это на всякий случай-с...

Он опять остановился. Очевидно, у него была мысль, но он не умел ее формулировать.

– Вот извольте видеть, – наконец сказал он, – закон вообще пишется-с... Берется, значит, рассуждение; по разуму оно правильно – ну, пишется-с. Потому как большая часть теперича, можно сказать, в натуральном состоянии находится, обязанностей своих понимать не может, так оно для них и необходимо... чтоб узда, значит, была...

– Понимаю. Следовательно, вы полагаете, что закон не есть что-либо вытекающее из свойств и требований человеческой природы, а, напротив того, есть нечто искусственно придуманное для обуздания этих свойств и требований? так?

– Так точно-с. Потому как наши страсти и слабости всему злу корень – это верно-с.

– Прекрасно. Но почему же вы одни предписания закона признаете для себя обязательными, другие – нет?

– Помилуйте, как это я смею сказать-с! Закон-с... известно, – закон-с! Я говорю только, что один человек понимать может-с, а другой понятия этого не имеет...

– Стало быть, если б теперь к вам в суд поступило дело о жестоком обращении сына с отцом, сына, находящегося в таком точно положении, в каком вы теперь находитесь, какое бы вы постановили решение?

– По закону-с.

– Вы не приняли бы в соображение, что для этого сына закон о непочтении отца не обязателен?

– Помилуйте-с?

– Как же это, однако, у вас выходит?

– Потому так и выходит, что, значит, этот человек без понятия-с...

– Объясните, пожалуйста.

– Потому, если б он был человеком с понятием, то, значит, не допустил бы себя до этого... жизнь человеческая есть механика-с, в которой каждый должен действовать, как ему соответственно.

– Понимаю; значит, вы признаете преступником только того преступника, который попадается!

– Закон исполнить надлежит-с.

– Ну, а общественное мнение?

– Что же-с? общественное мнение всегда за меня будет-с, потому как я человек с направлением, родители же мой занимаются малодушеством... всякий даже со стороны меня пожалеет, а не их! Теперича, извольте разобрать это дело без пристрастия: какую же они для меня компанию составить могут! Я человек занятой, а они, кроме безобразия, ничего даже в предмете не имеют; стало быть, если я, пришедши из присутствия, за бумаги сяду, они мне только мешать будут... ведь уж и то я из милости их в суде у себя держу!

Затем он рассказал мне, как однажды папаша дело у него со стола стянул и в кабаке пропил, как в другой раз он в пьяном виде чуть уездного суда не спалил, как он, Попков-старший, вследствие этого вынужденным нашелся просить начальство, чтоб родителя его выгнали из службы, и как само начальство, в уважение к его собственным заслугам, уговорило его не настаивать на этом предмете.

И за всем тем он все-таки не отрицал, что права родителей должны оставаться неприкосновенными. Черта похвальная, но ясно, что тут было какое-то двоегласие в мыслях, ясно, что обязательность долга допускалась здесь лишь как отвлеченное понятие, как фундамент, на котором строится целое здание, но фундамент, очевидно, заложенный на песке. Коли хотите, и это в своем роде недурно, потому что все-таки лучше иметь хоть какой-нибудь фундамент, чем совсем без фундамента.

Резоны эти я не преминул сообщить Попкову-старшему, и хотя он, по-видимому, смутился ими, однако остался в своем поведении непреклонным. Мало того: через месяц или полтора после описанного выше разговора он сам пришел ко мне и сказал:

– Запали мне в душу ваши слова, да что ж будете делать! – не могу-с! Старался я, всячески старался преодолеть себя, – ничего, как есть, не выходит!

– А вы попробуйте еще!

– Нет, уж видно, так тому делу и быть!

При том и остался.

Был у меня также приятель один, истинно хороший и достойный молодой человек. Насчет правил этих – просто, доложу вам, стена: как ни стучи, ни до чего не достучишься! Начнешь, бывало, с ним разговаривать обо всех этих предметах, на которых мир стоял, стоит и будет стоять, так и засыплет силлогизмами и цитатами из Неволлина, Рождественского и других ревнителей! Словом сказать, человек был благонадежный.

Вот только пришлось ему жениться. Жена у него была молоденькая, хорошенькая, по-французски изъяснялась безошибочно, – просто, как говорит лейтенант Жевакин, розанчик.

Радовался я на них безмерно и все думал: ну, эти, по крайней мере, не изменят моему идеалу и навсегда останутся верными служителями долга! То есть, коли хотите, настоящий-то мой идеал и не совсем таков (настоящий-то идеал составляют: безобразный и злой муж и милостивая, добрая жена, и наоборот, ужасные и неблагонамеренные родители и покорные и благонамеренные дети, и наоборот: тут

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru больше пищи для истинного смиренномудрия), но, насмотревшись всякой всячины, я уж и сам сделался на этот счет снисходительнее и забочусь о том только, чтобы хоть какой-нибудь идеал да отыскать в жизни.

Для полноты характеристики моего приятеля я должен сказать, что он был человек очень занятой (ежеминутно исполнял обязанности) и небогатый; привычки имел простые, хотя воспитание получил весьма утонченное, многолюдных собраний не любил, хотя танцевал отлично; к довершению всего, относительно пищи был неприхотлив и предпочитал щи из кислой капусты лучшему французскому супу и кусок доброй солонины – всевозможным соте и волованам.

И действительно, не было, казалось, предела их счастью: он был неугомоним, она, с своей стороны, понимала это. Бывало, собирается он утром на службу, она к нему: «Возьми меня, друг мой, с собой в департамент»; воротится со службы, сядет за дела, и она против него сядет, ничего не делает, только в глаза ему глядит; станет заказывать повару обед: «Сделай ты мне, братец, щи с кашей, поросенка под хреном и жареного гуся с капустой», она сейчас: «А я, душенька, хотела тебя просить заказать молочную лапшу, шпинату немного и миндального пирожного» – нечего делать, хоть поморщится, но закажет, что ей хочется. Очень, очень приятно было на них смотреть.

Только на днях приезжаю я в Петербург (это было через два года после женитьбы моего приятеля) и, разумеется, сейчас к моим счастливым.

– Ну что, в каком положении райские селения? – спрашиваю я его. Вижу: он смотрит как-то угрюмо.

– Никаких тут райских селений нет! – говорит.

– Может ли быть?

– Помилуй, любезный друг! я уж целый год только об том и думаю, как бы нам разойтись прилично.

– Да что же такое?

– Да просто покоя ни на минуту нет; не могу ни работать, ни есть, ни пить... все мои привычки нарушены!

– А ты уступи, мой друг!

– В чем тут уступать? Ведь ни в чем, ни в чем, как есть, никакого согласия ни в мыслях, ни во вкусах нет!

– Но ведь ты понимаешь, что такое семейный союз! ты понимаешь всю важность этого слова!

– Знаю и понимаю... но ведь я спать хочу! понимаешь ли ты это: я спать хочу!

– Вспомни Неволлина, друг мой!

– О, черт возьми! да разве я что-нибудь против этого говорю! разве я не знаю, что жизнь есть долг! Но ведь это долг обоюдный, это, так сказать, всеобщая игра обязанностей, а не исключительное бремя, взваленное на плечи одного!

– Ты бы ей объяснил это, друг мой!

– Объяснял, не один раз объяснял! Да только одного и добился от нее: «Стану я... скука какая!»

– А ведь как между тем это понятно, мой друг!

– Еще бы! величественное здание, – и больше ничего!

– Нет, да ты пойми, как это хорошо! я исполняю свой долг, ты исполняешь свой, она свой... ведь если все-то! если все-то! ведь это почти что как будто бы мы делали то, что нам приятно!

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
– Еще бы! Если мы все делаем, что нам не хочется, то это совершенно точно то же, как бы мы делали то, что нам хочется. Минус на минус дает плюс – это истина математическая,

– Так почему же ты не хочешь себя принудить?

– А почему же она себя не принуждает?

– Однако же пойми, мой друг, что в мире встречаются разных сортов люди: одни исполняющие свой долг, другие не исполняющие, первые называются добродетельными, вторые – порочными...

– Все это я понимаю.

– И что дурной пример, подаваемый нам другими, ни в каком случае не может служить для нас оправданием...

– И это я понимаю.

– И что ж?

– Но я понимаю также, что исполнение обязанностей тогда только может быть легко и удобно, когда существует, так сказать, всеобщая игра обязанностей...

– Ты говоришь: легко и удобно, но разве таковы условия того, что мы разумеем под словом «обязанности»?

Приятель мой молчал.

– Разве самая сущность этого слова не указывает тебе, что как скоро что-нибудь достигается легко и удобно, то оно вместе с тем уже перестает быть обязанностью?

Приятель мой, казалось, желал меня съесть.

– Вспомни Неволлина, друг мой! вспомни, что жизнь наша совсем не танцкласс, но горькое препровождение времени, что это, так сказать, временная тюрьма души...

– О, черт побери!

– Что мы только твердым перенесением испытаний (обязанностей то есть) достигаем...

Приятель пожал мне руку: он был видимо тронут. Я, с своей стороны, ушел от него с облегченным сердцем, потому что ведь и я, коли сказать по правде, исполнил свой долг, а когда я его исполняю, то всегда чувствую себя облегченным. Тем не менее справедливость требует сказать, что приятель мой через две недели все-таки не исполнил своего долга, то есть разошелся с женой окончательно.

Все это привело меня в совершенно мизантропическое состояние. Возвращаясь в Москву по железной дороге, я встретил в вагоне кавалера и даму, сидевших рядом; кавалер смотрел налево, дама взирала направо. И поверите ли, я так был расстроен, что уверил себя, что это непременно сидят муж и жена, не исполняющие взаимных обязанностей. В моей голове сложился за них даже целый мысленный разговор, ибо, вследствие нервного раздражения, я сделался почти ясновидящим.

«А я в Москве увижу мсьё Кормилицына!» – думала дама (она этого не думала, но я знаю наверное, что думала).

«А я в Москве увижу мадам Попандопуло!» – думал кавалер (и он тоже не думал, но думал).

И насилу-то мог я успокоиться в Москве чтением «Московских ведомостей».

Признаюсь, все это сильно меня озабочивает, ибо в этих фактах я вижу признаки крайнего упадка нравственности. Общество, лишённое нравственности (а что такое нравственность, как не непрерывное служение долгу?), на что может быть годно? Оно годно единственно на то, чтобы распространять семена самой пагубной безнравственности. Определение это, конечно, похоже на каламбур, но ведь, в

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru сущности, что же такое каламбур? В сущности, каламбур есть сама истина, но только оклеветанная. Если я скажу, например, что добродетельный человек всегда добр – по-видимому, это будет каламбур, но на самом деле, что же может быть святее этой истины? Вообще, истину я разумею так, что она определяется сама из себя: стоит только из существительного сделать прилагательное – вот и истина. Мерзец мерзок, скверней скверен, милка мил и т. д. и т. д.

Для разъяснения своих сомнения я обращался к самым, что называется, присяжным людям безнравственности, к тем, для которых сказать, что долг – пустяки, что нравственность – химера, точно так же легко, как мне плюнуть и растереть. И что же, вы думаете, они ответили мне на это! А просто ответили, что есть у всякого человека свое дело, которое может быть привлекательным или непривлекательным. По их понятиям, если общество находится в нормальном положении, то никакое дело не может быть непривлекательным, ибо нет того человека, который бы в данную минуту не был расположен к какому бы то ни было делу. Надобно, говорят они, только воспользоваться разнообразием человеческих способностей и склонностей и тем почти бесконечным дроблением, которому может подлежать человеческий труд.

На это я шепнул им на ухо такое занятие, одним названием которого надеялся привести их в смущение. К удивлению моему, они, однако ж, не смутились и отвечали: во-первых, что на мой аргумент, как на глупый, не следует и внимание обращать; во-вторых, что исключение, если б это и было исключение, не может быть признано за общее правило; в-третьих, что потребность в подобных занятиях, с введением различных технических усовершенствований, с каждым днем делается все меньше и меньше, и в-четвертых, наконец, что если мы будем глубже вникать в существо человеческих способностей, то, конечно, и для этого рода занятий найдем деятелей.

Да, «деятелен»; так и сказали: «деятелей». Да еще прибавили: «Ведь находятся же люди, способные исполнять должность публицистов, – ну, вот эти люди и займутся тем делом». Ну, скажите на милость!

Нет надобности, я полагаю, говорить, что все это не что иное, как пошлое остроумие, на которое и отвечать не стоит. Ибо не безызвестно всем и каждому, что есть, именно есть в природе такие занятия, которых никто, даже публицисты исполнять не согласятся. Поэтому – то занятия сии производятся исключительно ночью, поэтому – то люди, предающиеся им, называются людьми худородными. А по-вашему, как? Не считать ли уж их героями? Не венчать ли лаврами? Тьфу!

Желал бы я знать, каким образом они объяснят отношения Марьи Петровны Воловитиновой к ее детям? Знаю. Они скажут, что если Сенечке приятнее быть с своими начальниками, нежели с матерью, то пусть и будет он с своими начальниками; что если Марье Петровне больше буян Феденька, то это значит, что между ними есть сходство характеров и что, стало быть, она совершенно в своем праве; что все взаимное недовольство, поселившееся в этом семействе, именно и происходит вследствие тех принудительных отношений, которые их связывают. Ну, а наследство – то как, милостивые государи! наследство – то? «А наследство», – скажут они...

Тьфу!

Знаю я также, что они и поступки Попкова-старшего с своей точки зрения найдут удовлетворительными, да и приятеля моего (того, который с женою разошелся), к стати, оправдают. «Все эти люди, – скажут они, – каждый сам по себе!» Сами по себе! а дети – то, милостивые государи! детей – то куда ж девать? «А детей», – скажут они...

Тьфу!

По этой ужасной теории, всякий человек живет не для исполнения своего долга, а для удовольствия; даже дети, малолетние дети составляют свое особое общество, как и взрослые, и родители не только не смеют их наказывать, но и советовать могут только умеренно, а отнюдь не надоедать... Да и кто эти дети? Кто эти родители? О, боже! отцы большею частью неизвестны!

Тьфу, тьфу и тьфу!

В ДЕРЕВНЕ

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Летний фельетон

Давным-давно известно, что самая благодатная вещь на свете – это лето в деревне. В самом слове «деревня» звучит что-то невинное; как-то переносишься мыслью в те приятные и злачные места, в которых гуляли наши прародители, пока не вкусили от древа познания добра и зла. Конечно, им было ловчее нашего, потому что они ходили совсем без одежд, кушали самые сочные фрукты и вообще жили на всем на готовом; но и нам, их потомкам, недурно: недаром же с словом «деревня», кроме понятия о невинности, соединяется еще понятие о просторной одежде и о прекрасной еде.

Иногда я думаю: как это, право, досадно, что наши прародители преслушались! Если б они не преслушались, мы и сейчас гуляли бы себе беспечно по садам, кушали бы прекрасные фрукты, ходили бы без одежд, не пахали бы, не сеяли... Но, стало быть, красив же был тот плод, который рос на древе познания добра и зла, если одного вида его достаточно было, чтобы возбудить со стороны человека такое ужасное действие, как послушание! Да, много горя и бед наделали нам прародители из одного любопытства! Но если уж наделали, то, стало быть, и говорить об этом нечего.

По понятиям простолюдинов, мало вникающих в существо вещей, житье самое близкое к прародительскому есть житье нашего русского землевладельца летом, в деревне. В самом деле, если судить поверхностно, тут есть своя доля правды. По-видимому, землевладелец только и делает, что гуляет, кушает фрукты и ходит в просторной одежде; который умеет сочинять стихи, сочиняет стихи, который обучен на скрипке или виолончели, выводит смычком серенаду Шуберта. Но, повторяю: суждения эти поверхностны, ибо простолюдину, конечно, непонятно, какие заботы и соображения обуревают в это время землевладельца. Может быть, он изобретает уже изобретенный Ньютонов бином? Может быть, он измышляет законы вечного движения? Может быть, он доходит собственным умом до разрешения вопроса о том, что такое комета и отчего у ней хвост? Как приделан этот хвост и зачем он надобен? Все это в его руках, потому что у него имеется достаточно досуга, да притом он съел, по крайней мере, девять десятых того яблока, которое росло на древе познания добра и зла, простолюдину же оставил только с капельку. А потому он все это знает, а простолюдин ничего не знает.

Нынешнее лето было особенно отрадно в деревне. Не потому, чтобы оно было само по себе хорошо, – нет, нынешнее пасмурное и дождливое лето было усладительно разве для одних лягушек и грибов, – а потому просто, что можно было убежать в деревню и забыть город. Вот, например, я сижу в настоящее время в двадцати пяти верстах от Москвы и знаю, что там, в Москве, как в котле, кипит, и ни до чего-то мне дела нет. В деревне я бодр, здоров и весел; в деревне мною обладает решительная словобоязнь. Я вижу, что вокруг меня все работает, все занято делом, а не переливаньем из пустого в порожнее, и ненависть к словоизвержению до того охватывает всем моим существом, что день получения газет становится днем тошноты. «Господи! думаешь, да неужто ж есть на свете такая обязанность, чтоб каждый божий день приниматься все за ту же сутолоку, каждый божий день заниматься тем, чтоб из вчерашнего существительного делать сегодняшнее прилагательное, и наоборот?»

Да, есть такие занятия; они существуют в той пыльной и душной сфере, где, с одной стороны, беспокойно реет над жизнью жадное до падали литературное воронье и надрывающим душу голосом выпрашивает жертв для своей плотоядности, а с другой – ключом кипят кисленькие споры о различии между Русляндией и Русью, где с одной стороны тупоумие и хвастовство признаются за единственную руководящую истину жизни, а с другой – неудержимым потоком вырываются из самых человеческих внутренностей метафоры о фореиторе, оторвавшемся с выносными лошадьми от экипажа (фигуральное изображение Русляндии). Это мир почти фантастический, мир, где все обуславливается или подачкой, или вдохновением, которое, как известно, не признает никаких условий. Прямое назначение людей этого мира – сочинять мадригалы и конфетные билетки, но судьба странно играет смертными и из уроденного сочинителя триолетов делает плохого и невразумительного публициста. Говорят, будто бы и между деятелями этой категории следует различать «искренность», то есть занимающихся политическими и экономическими «рондо» по внушению невинного и слишком горячего сердца, от тех, которые пишут таковые без всякого сердечного влечения, но, признаюсь, я не хорошо понимаю, в чем, собственно, заключается преимущество первых над последними. Результат в обоих случаях одинаков, но в первом он достается даром, во втором – с помощью некоторого труда, – стало быть, разница не в сущности дела, а в личных качествах действующего лица, которые до публики нимало не касаются. Вдохновенные глупцы

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru едва ли даже не вреднее, нежели плуты, промышленяющие ложью с сознанием. От последних еще можно освободиться, от первых – ни пестом, ни крестом... Как бы то ни было, но убежать хоть на время от этого мира – сущее наслаждение.

Городской житель, который говорит себе пред наступлением весны: вот я уеду на лето в деревню и там займусь, там окончу такой-то труд, жестоко ошибется в своих расчетах. Для нас, людей, прикованных ремеслом к городам и лишь временно счастливающих деревню своим посещением, труд возможен только в городе, и притом зимою, когда все прилажено так, чтобы держать человека скованным; деревня нам дается единственно для того, чтоб лениться. В городах мы привыкли мерять большую мерю; в деревне, напротив того, все группируется около грошей и копеек, вся жизнь расходуется по мелочам; поэтому истинно деревенское дело представляется ничтожным. Ущерб и уроны, случающиеся на каждом шагу, важны лишь в своей совокупности; будучи взяты каждый отдельно, они кажутся столь мизерными, что городской житель невольным образом пропускает их мимо глаз. Все эти вопросы о потравах, порубках и проч. сводятся в большей части случаев к вопросам о двугривенных, полтинниках и целковых, на которые городской житель, даже с довольно ограниченными средствами, привык смотреть более или менее легко; следовательно, поднимать из-за этого бог весть какую возню, уличать, подозревать, ловить – решительно не стоит. Да если б, наконец, человек и решился предпринять подобный труд, то скоро он убедится, что труд этот отвлек его от другого, более производительного, и что в конце концов, так или иначе, но усилия его все-таки останутся напрасными. Следовательно, вам остается покориться своей участи и сквозь пальцы смотреть, как в вашем хозяйстве пошаливают. Вот первая причина, по которой городской житель является неспособным к деревенскому делу. Вторая причина заключается в том, что городской житель и в это дело вносит тот гуманный и снисходительный взгляд, к которому решительно не способен коренной обыватель деревни. Зрелище труда тяжкого и изнурительного, каким вообще представляется всякий труд деревенский, совсем не такого свойства, чтобы производить умиляющее впечатление; напротив того, оно заставляет страдать даже и постороннего человека, не принимающего в труде непосредственного участия; здесь тяжесть слишком наглядна, чтоб дать место каким бы то ни было фантазиям, а потому на городского жителя, удосужившегося и самый труд свой поставить в условия некоторой комфортабельности, подобная египетская работа действует раздражительно. Недоделки, недосмотры и лукавые уклонения со стороны рабочего народа представляются до такой степени естественными, что и на них, точно так же, как и на те вселенские вопросы о потравах и проч., о которых говорено выше, приходится смотреть сквозь пальцы. А между тем, судя по сказаниям сведущих людей, в этих-то недоделках и уклонениях и заключается именно вся сила деревенского дела. Огрех в пашне, неравномерный посев, несвоевременная и небрежная уборка сельских произведений не только производят чувствительный ущерб временный, но подрывают сельское хозяйство в его будущем. А потому коренной обыватель деревни смотрит на это дело совсем другим оком. Оттого ли, что право собственности, как осязательное, доступнее его пониманию, нежели всякое другое право иной, высшей сферы, или оттого, что ежедневное столкновение с известными формами жизни делает человека менее чувствительным к тем шероховатостям, которые в них кроются, – как бы то ни было, но, в смысле технического выполнения труда, сельский человек точен до неумолимости и требователен до жестокосердия. Никто не сумеет так заставить работать, как мужик мужика. Только разве особое какое-нибудь соображение вынудит его на минуту отступить от своей аккуратности, но чувство снисхождения все-таки не примет в этом случае никакого участия. Наконец, третья причина, делающая усилия городского жителя войти в деревенское дело ничтожными, заключается в том, что дело это обширно и в то же время разбросанно. Лично принять участие во всех разнообразных и крайне мелочных его операциях, лично за всем присмотреть – нет никакой возможности, да если б таковая и оказалась, то здесь труд, по своей утомительности и крайне невидным его последствиям, самому стоит дороже; если же нанимать таких людей, которых присмотр, хотя не вполне, заменял бы хозяйский, то это будет стоить так дорого, что результат никогда не вознаградит издержек. Да и никогда (за самыми разве редкими исключениями) от подобных надзоров никаких улучшений в деревенском деле не бывает, потому что ненатурально заставить наемного человека смотреть на чужое дело, как на свое собственное; и как бы вы ни интересовывали его в вашем предприятии, участием ли в прибылях, прекрасным ли обхождением, все-таки не найдется такого математика, который бы сумел доказать, что два равно единице или что единица больше двух. А поверять действия такого надзирателя, следить за ним шаг за шагом просто не хватает духа. Во-первых, измучишься в этом бесплодном труде точно так же, как будто и действительно что-нибудь работал; во-вторых, на каждом шагу встречаешься с вопросом: да неужто ж вы мне не доверяете? вопросом,

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru делаемым иногда с едва скрываемою иронией. И напрасно вы будете уверять и самого себя, и вашего доверенного, что учет этот заводится вами совсем не из недоверия, а в видах проверки собственных ваших средств; внутри вас все-таки шевельнется что-то вроде сомнения: «а ведь я и в самом деле ему не доверяю»; в нем же хотя и не шевельнется никакого подобного вопроса (он положительно уверен, что недоверие есть, и, в сущности, считает его законным), но от зоркого его взгляда не укроются ни ваше смущение, ни ваши извороты – и вот тут-то настоящий источник той иронии, которую он не старается даже скрыть. Нелепее и даже безнравственнее таких отношений ничего не может быть. Вся штука, стало быть, в том, что городской житель, вовлекающийся в деревенское дело, увлекается в этом случае таким занятием, которое ему не сродно, за которое он не имеет ни охоты, ни умения, ни, наконец, выгоды взяться как следует. А отсюда прямое следствие то, что деревенское дело выгодно и занято только для того, кто принимает в нем участие непосредственным своим трудом. Да, не командованием только, не «печалованием», а именно личным, тяжелым трудом.

Приведу один, очень маленький пример – содержание домашней птицы. Утверждают люди сведущие, что крестьянину это содержание ничего не стоит, да этому можно и поверить. Тут всякая крошка идет в дело; все, что хотя и негодно для непосредственного употребления крестьянской семьи, в общем обороте хозяйства представляет статью далеко не бесполезную. Напротив того, в помещичьем хозяйстве (по упразднении крепостного права) вырастить птицу дома стоит гораздо дороже, нежели купить такую же на базаре, если не лучше. Теперь не такое время, когда птицам и другим домашним животным полагалось питаться остатками от скудной трапезы дворовых людей; теперь этих остатков не полагается; поэтому птица, хотя бы это была даже курица, освобождается от обязанности крохоборствовать (своего рода эмансипация), а требует особой и притом определенной дачи корма. «Так вот ты и увидишь, батюшка, во что оно тебе вскочит!» – говорила мне по этому случаю добрая моя знакомая, г-жа Падейкова. Да, и увидел; и вскочило.

Все замеченное выше приводит к тому, что самый рьяный и востренький горожанин на первых порах хоть и потопчется-потопчется на месте, хоть и возьмется за дело с бойкостью истинно изумительною, но изумит мир не столько очевидными результатами этой бойкости, сколько неумелостью и происходящими отсюда утомлением и раздражением. Везде-то он увидит себя одиноким, ни к какому-то делу не найдет себя приурочить – ну, и отойдет потихоньку прочь.

Таким образом, из всего деревенского дела горожанину остается одна только отрасль – сбориание грибов. О вы, которые смотрите высоко на это невинное занятие, будьте снисходительны к нему именно во уважение его невинности! Вспомните, что человек, предающийся ему, никого не убивает, не подрывает ничьей репутации, ни на кого не клеветает. Беспечно бродя с лукошком по лесу, он может обдумывать, что ему угодно, может воображать себя гражданином вселенной, может возвыситься даже до мысли о бессмертии души... покуда не блеснет ему из мха ярко-оранжевая головка осинника или не заставит взыграть в нем сердца иссиза-палева шапка белого гриба! Недаром же замечено, что люди, у которых охота к собирианию грибов доведена до страсти, бывают наклонны к мыслям о бесконечном, и притом самые пламенные консерваторы. Постоянно находясь на лоне природы, взявши на себя роль присяжных свидетелей ее творчества, они находятся в непрерывном умилении и до того отождествляются с наблюдаемым ими грибным строем, что переносят его и на весь остальной мир. Ясно, что из этого ничего, кроме хорошего, произойти не может; ясно также, что если помещики русские захотят послушаться моего совета, то оставят всякие заботы о недоступном для них сельском хозяйстве и примутся за собириание грибов. Они поймут, что, при известных условиях, это занятие самое настоящее, и что когда человек не расположен, не может или не умеет найти себе дело не столь невинное, то ничто так не помогает убивать время, как беседа с грибами. А в чем же и вопрос, как не в том, чтоб убить время? Конечно, тогда грибы сделаются нипочем, но ведь не возить же на базар продавать результаты трудов своих... фуй!

Поэтому каждый землевладелец-горожанин должен убедиться, что в этом смысле он не без пользы может направить всю свою деятельность. Не надо думать, однако ж, что такая деятельность не может быть плодотворною; напротив того, и в этой сфере возможны открытия весьма полезные, хотя и скромные.

Грибов бывает множество сортов; самыми лучшими считаются: белые, подосинники (в иных местах их называют боровиками) и черные березовики; отваренные в уксусе или зажаренные в сметане, грибы эти составляют равно лакомое кушанье и для вельможи

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru и для поселянина; худшие сорта грибов: волнушки и многочисленные сорта сыроежек; наконец, никуда не годные: валуи, мухоморы и поганки. Насчет мухомора существуют, однако же, мнения весьма противоречивые: некоторые признают их совершенно негодными к употреблению, другие, напротив, видят в них завидное лакомство. В записной книжке одного моего знакомого я встретил: «Не знаю, отчего гриб мухомор пользуется такую дурною репутацией между охотниками до грибов, – что до меня, то я всегда любил собирать эти красивые, большие грибы и потом, обжарив их в сметане и посыпав перцем, кушал не только без всякого вреда, но и с большим удовольствием».

Но искание грибов, как и все на свете, сопряжено с своего рода тревогами и столкновениями и сопровождается хитростями, компромиссами и уступками. Это и понятно, потому что кто же когда-нибудь мечтал о том, чтобы найти розу без шипов? Первый и заклятый враг гриба есть русская баба, которая чутьем слышит гриб и истребляет его почти в утробе земли-матери, начиная благородным белым грибом и кончая тощею и незвратною сыроежкой. Естественно, что она же должна явиться страшною соперницею землевладельца и на этом поприще. Землевладелец-горожанин просыпается поздно, баба встает с восходом солнца, обшаривает все кусты и как ни в чем не бывало уже занимается обычной работой в то время, как землевладелец, потягиваясь в постеле, мечтает о том, как он будет, под сению дерев широковетвистых, срывать грибы наслаждения. От этого соперничества не упасут его ни канавы, ни убеждения; нет той канавы, через которую не перелезла бы русская баба, нет того увещания, которого бы она послушалась, когда дело идет об интересах ее ненасытной утробы!

Другой, еще более жестокий враг грибов – это сухое, бездождное лето, ибо тайнобрачные любят нежиться в мягком и влажном ложе. Отцы наши умели, однако ж, устранять и этот недостаток, окружая себя людьми, которые имели способность находить грибы даже в такую сухмень, когда и от болот несло гарью. Я очень хорошо помню в нашем доме одного дворового человека, Палладия, который именно разыгрывал относительно грибов роль благодетельного дождя. Бывало, маменька, как истинная хозяйка, даже закручинится, что вот нет да и нет грибов!

– Да что ж ты, душенька, Палладку в лес не пошлешь! – молвит ей папенька.

И все лица оживают, все сердца расцветают. Призывают Палладия, вооружают его обширным лукошком... и к вечеру он является с полным кузовом самых отборных белых грибов. Из этого факта я имею право заключать, что кто желает с успехом охотиться за грибами, тот должен искать их не столько по лесам и рощам, сколько в собственном сердце своем.

Охотники до грибов сказывают, что существуют даже известные заклинания, очень много помогающие при собирании их. Обращаются в этих заклинаниях к одному из многочисленной семьи леших, Шикале-грибодавцу. Вот один образчик подобного заклинания: «Шикалу-ликалу! царь бородавок! сила грибная! Иду я раб (имярек) по твоему темному царству, запутанному государству; вижу я три гриба: вижу гриба ала, гриба светла, гриба изумрудна» и т. д. Говорят, что при этих словах грибы вырастают, как грибы; но говорят также, что человек, который прибегает к подобным заклинаниям, погубляет свою душу... из-за грибов! Поэтому мой совет таков: лучше совсем откажись от грибов, но душу свою соблюди!

«Господи! про какие это он, однако ж, пустяки говорит!» – наверное скажет читатель, пробежав предыдущие строки. Но позвольте, читатель; об чем же, как не о грибах, прикажете говорить в такое мочливое, грибное время, каково нынешнее? Да притом разве я говорил о грибах для грибов только? Нет, я указал на роль, которую они должны играть в будущем значении землевладельцев с городскими наклонностями, и ярко поставил цель, к которой эти последние должны стремиться. Кажется, это заслуга не малая. Сверх того, сюжет этот мне по душе и по тому одному, что я знаю, что он ни под каким видом не может встревожить сердце моего милого цензора. Или и он может встревожить? Не найдет ли здесь цензор каких-нибудь намеков? Не заподозрит ли он, что я под «тайнобрачными» разумею некоторых газетчиков? Не увидит ли он в Палладке намека на неискренних администраторов, которые и в неблагоприятное для грибов время умеют отыскать и съесть гриб? А мне что за дело, если он даже все сие увидит и заподозрит? ведь ничего этого нет, следовательно, и совесть моя должна оставаться спокойною.

Итак, если нет грибов, если воздух сух и душен, что остается делать в деревне землевладельцу? Ему представляется отличный случай наблюдать за нравами

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru простолюдинов, приобщаться к их играм и забавам и вообще затеять в обширных размерах игру в сближение сословий. Это дело отменно хорошее, но не могу скрыть, что и здесь встречается на пути множество препятствий, которые преодолеть довольно трудно. Первое препятствие со стороны самого простолюдина, который дик, застенчив и мало любит, чтоб за ним подглядывали. Сверх того, он убежден, что для землевладельца его простолюдинские игры слишком мало изысканны, что они оскорбляют его изящное чувство; и потому, как только подходит к нему землевладелец, он исчезает в подворотню. Второе препятствие заключается в стыдливости самого землевладельца, и это я совсем не шутя говорю. Надобно иметь совершенно чугунный лоб, чтоб лезть туда, где вас не спрашивают, чтобы напоминать об вашем существовании людям, которые об нем если еще не забыли, то, во всяком случае, вспоминать не любят. Положим, что вы приходите туда, где шумит простолюдинское веселье; веселье это самое искреннее, и потому оно резво, и нельзя сказать чтоб очень чинно; но с вашим приходом вы видите, что вдруг все изменяется: песня спускается тоном-двумя ниже, смех умолкает; праздник, бывший в полном разгаре, внезапно замирает. Точно тень какая-то набежала на все лица, точно укор какой стремится к вам отовсюду за то, что вы смутили общую радость. И если в вас осталась хоть капля совестливости, вы повертите, повертите тросточкой и уйдете, поджавши хвост, домой. Отсюда правило: не затевай игру в сближение сословий, ибо такая попытка поведет лишь к бесплодной трате времени, конфузу и позднему раскаянию.

Таким образом, из рук землевладельца ускользает не только живое сельское дело, но и непосредственное наблюдение над ним. Самые грибы находятся в заговоре и следуют общему настроению умов. Остается, стало быть, устроиться в деревне по-городскому, то есть перенести с собой ту же душную, политико-административно-сплетническую атмосферу, которая, словно свинцовый туман, тяготеет над городами. Большею частью так оно и делается... в намерении; но здесь оппонентом землевладельцу является сама природа. Скажите на милость, есть ли какая-нибудь возможность запереться наглухо в душевной комнате в такое время, когда все зовет и манит на воздух? Есть ли возможность предаться какому-нибудь кабинетному занятию, когда вся природа говорит о тепле, свободе и наслаждении? В комнате положительно не сидится; даже тот, у кого нет никакого дела, вызывающего его из дома, и тот бежит на волю, чтоб побродить, послоняться без всякой цели. Днем его манят тенистые аллеи парка своими прохладами; ночью – манит сама ночь своими бесчисленными звездами, своим фантастическим лунным освещением, своею торжественною, глубокою тишиною. Все располагает к кроткому безделью и тихой мечтательности. Мысли и образы пробегают по душе, не останавливаясь и не цепляясь за те слишком живые струны сердца, которых сотрясение более или менее болезненно действует на весь организм человека. Блаженная, безмятежная радость чувствуется во всем существе; думается много, но ни о чем в особенности; воспоминания прошлого, представления настоящего, предвидения будущего – все это сливается в одну массу, все это проходит без ясных, определенных очертаний, проходит затем только, чтобы утонуть в каких-то сумерках, совершенно подобных тем, которые царствуют в тенистых аллеях, по которым гуляет беспечный, нигде не находящий себе места землевладелец. Вновь спрашиваю: возможно ли при таком положении вещей какое-либо другое занятие, кроме занятия собственной ленью?

Правда, прежде было еще занятие у русских землевладельцев – это занятие либеральничаньем, но нынешним летом оно прекратилось, ибо за сим строго наблюдали «Московские ведомости» и «День».

Известно, что из млекопитающих всевозможных пород самым либеральным всегда был и будет русский землевладелец. В области свободномыслия и свободных художеств это просто ненасыть какой-то. Послушать их, то все эти реформы, которые отчасти осуществились, а отчасти имеют осуществиться, ко благу нашей родины, уже давным-давно бродили в их головах, и если не вышли оттуда во всеоружии, то единственно потому, что общество, для которого они измышляли свои проекты, еще не созрело, а созрело оно тогда, когда захотело того правительство. И в доказательство указывают вам на такого-то А., который, еще при существовании крепостного права, устроил у себя чуть-чуть не конституцию, или на такого-то Б., который, еще гораздо прежде отмены телесных наказаний, уже написал проект о замене рылобития устностью. Либерализм очевидный и тем более похвальный, что сам сознавал свою слабость и потому заявлял себя с полною скромностью.

Чтобы показать, до чего мог доходить русский землевладельческий либерализм, я приведу здесь случай, бывший со мной самим.

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Каюсь: в бывалые времена (то есть до отмены крепостного права) я был знаком с одним таким землевладельцем, который был до того либерален, что даже наводил на меня трепет своим свободномыслием. Несмотря, однако ж, на этот трепет, мне было до крайности лестно считаться в числе друзей «опасного» человека; но что касается прочих соседей, то они положительно избегали его. Во-первых, с таким проказником, чего доброго, как раз в беду попадешь; а во-вторых, он хоть и без толку, но все же болтает о какой-то эмансипации: того гляди, еще смуту в умах дворовых людей поселит. Звали моего друга Николаем Петровичем Многоболтаевым.

Однажды я был у него в гостях, и, по обыкновению, мы занимались либеральничаньем.

– У меня, mon cher, – говорил он, – не то, что у других сиволапых патриархов! у меня всё это они сами... Все эти права записаны, утверждены и выставлены под стеклом на стене! Mais venez, je vais vous tout montrer![13] Алеша (камердинер либерального моего друга)! сходи в контору и скажи, что мы сейчас будем!.. У меня, mon cher, даже суд и все такое... все это в порядке: вот увидите!

И он привел меня в контору, на которой красовалась вывеска «Дом общественного управления села Многоболтаева с деревнями». Мы вошли в просторную и довольно опрятную комнату, среди которой стоял стол, а за столом сидели: на президентском месте рослый и несколько рыхлый мужик с лоснящимся лицом и жиденькою белокурою бородкою, которого сам барин, в знак уважения, называл Иваном Парамонычем, по бокам два мужичка видом пожиже и помизернее. При появлении нашем присутствующие встали с своих мест, причем председательствующий остался у стола, а заседатели отошли к стене.

– Вот это мой президент! – обратился ко мне либеральный мой друг, трепля председателя по плечу. – Он один только и представляет здесь мои интересы... и эти вот (он указал на стушевавшихся мужичков) – от них!

Президент осклабился и произнес нечто вроде: рады стараться вашему здоровью! Мужички обдернулись.

– Ну что, как у вас тут? – продолжал либеральный мой друг. – Бывают споры... столкновения? (Он хотел моргнуть в мою сторону одним глазом, как будто хотел мне сказать: vous verrez nous allons rire![14])

Председатель и мужички осклабились, как бы выражая полную готовность.

– Ну-ну-ну! трудитесь! трудитесь! – сказал мой приятель, причем полегоньку вздохнул и, обращаясь ко мне, прибавил: – А вот и условия наши!

На стене висели две золоченые рамки, в которых под стеклом красовалось изложение прав и обязанностей крестьян села Многоболтаева с деревнями. Изложение было сделано правильным и весьма приятным слогом и переписано самым отличным почерком. Тут на первом плане значились всякого рода свободы: во-первых, свобода отлучек для заработков, что, как известно, в крестьянском нашем быту составляет статью первой важности, во-вторых, свобода семейных разделов, на что крестьяне наши хотя и посматривают несколько косо, но что тем не менее составляет предмет самой настоятельной потребности, в-третьих, свобода раскладки повинностей по усмотрению общества и проч. и проч. Обязанностей на крестьянах лежало, собственно, две: платить исправно оброк и быть благонравными.

– Эге! да у вас тут... тово! – сказал я, прочитав условия и тут же припомнив те клеветы, которые во время оно взводились на землевладельцев.

Приятель мой был так тронут, что даже застыдился.

– И хорошо это у вас идет? – продолжал я, обращаясь на этот раз к председателю.

– Обстоит благополучно-с! – отвечал председатель, пощипывая себя за жиденькую бородку.

– Гм... так идет хорошо? – обратился я к мужичкам.

– Что такое идет? что такое идет? – залотошил один из них испуганным голосом и озираясь по сторонам.

– Mais laissez, mais laissez donc! – вступился мой приятель. – Ce sont des enfants de la nature... est-ce-qu'ils savent, est-ce-qu'ils comprennent ces choses là! [15]

И действительно, прожив у приятеля моего более месяца, я имел случай убедиться, что «дети природы» положительно ничего не понимают и что многоболтаевские условия исполняются самым оригинальным образом. Несколько раз обращался я к многоболтаевским крестьянам с вопросом, знают ли они, что у них есть права, и всюду встречал непроходимейшее на этот счет невежество.

– Какие такие права? – спрашивали меня крестьяне с некоторым остолбенением.

– Ну, хоть бы, например, насчет отлучек? имеете ли вы право во всякое время отлучиться для заработков?

– Да коли взнес вперед оброк, можно!

– Ну, а еще когда?

– А еще, коли ты не пьяница!

– Ну, а еще?

– А еще, коли ты ни в чем не замечен!

– Как ни в чем не замечен?

– Так, не замечен, да и все тут! а коли замечен, так и вида на отлучку ни в жизнь не дадут!

Признаюсь, этот последний ответ несколько смутил меня и охладил мой энтузиазм к многоболтаевскому либерализму. Что такое значит «ни в чем не замечен»? – долго ломал я себе голову и, конечно, едва ли пришел бы когда-нибудь к удовлетворительному разрешению этого вопроса, если б в одно прекрасное утро меня сама собой не осенила счастливая мысль, что «ни в чем не замечен» просто означает «ни в чем не замечен» – и больше ничего.

В самом деле, кто может исчерпать всю глубину иронии, заключающейся в этих словах? кто может провидеть все разнообразие случайностей, которое в них скрывается? Ты отставил вперед ногу – замечен («где у тебя ноги? где у тебя ноги?»); ты тряхнул кудрями – замечен («что ты, стоять, что ли, спокойно не можешь?»); ты заявил в голосе некоторую крамольную хрипоту – замечен («ишь ты! ведь и голос-то у них... словно вот змея шипит... словно вот так пронизать и хочет!»); ты походкой изобразил некоторое волнение чувств – замечен («куда, куда ты так бежишь! затылком, что ли, нагрубить хочешь!»). Ясно, что при таких условиях всякие вольности могли процветать во всей безопасности. Мало того, процветать: они могли даже не процветать вовсе, и никто бы этого не заметил...

Однажды из окна барской усадьбы я увидел перед «домом многоболтаевского общественного управления» огромную толпу. Спрашиваю: что это такое? отвечают: многоболтаевская сходка – ну, как же не взглянуть!

– У меня все это, mon cher, в порядке, – сказал мне при этом мой либеральный друг, вместе со мной любовавшийся видом размахивавшей руками толпы, – у меня ничего по имению, ничего без них не делается! обо всем они должны свое слово сказать! У меня, mon cher, по-старинному... вот как!

Мучимый любознательностию, я осторожно подошел к толпе, чтобы не спугнуть ее своим появлением и не мешать выборным людям многоболтаевской земли свободно выражать их мысли и чувства. Но увя! сходка уже подходила к концу, и я мог слышать только заключительные слова речи, которую произносил Иван Парамонич:

– Рожна, что ли, вам надобно! черти вы! право, прости господи, черти!

Выборные молчали; только по местам слышались какие-то глубокие, сосредоточенные вздохи.

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
– что ты вздыхаешь! что ты вздыхаешь! утробу, что ли, до свету набил, –
обращался Иван Парамоныч, прозорливо подмечая, из чьей груди вылетал
карбонарский вздох. – Вот я те набью!

– что набивать-то! чем набивать-то! – слышалось в ответ.

– То-то «набивать»! Вас милуют, так вы и тово... на дыбы сейчас! пошли вон,
подлецы!

Сходка начала медленно расходиться, но зато через два часа перед приятелем моим
стоял Иван Парамоныч и докладывал ему следующий приговор: лета 18... мая «» дня,
я, помещик и коллежский ассессор Николай Петров Многоболтаев, приказал, а
выборные положили: имел рассуждение, что для пополнения запасных хлебных
магазинов собирается ежегодно со всех многоболтаевских мирских людей хлебная
пропорция и что сие неудобно, заблагорассудили ввести у себя общественную
запашку отныне навсегда, для чего определяют и т. д. и т. д.

– Однако ведь они, mon cher, совсем не желают этого! – возразил я, все еще питая
некоторую веру в многоболтаевские вольности.

– Mais laissez donc, laissez donc, mon cher! [16] разве они понимают! – сказал
мне мой либеральный друг, смотря на меня уже с некоторым негодованием.

– Нешто они что разумеют! – поддакнул, с своей стороны, Иван Парамоныч.

И приговор был подписан, но я все-таки не мог успокоиться. Несмотря на
присшествие с приговором, я все чего-то доискивался, все еще продолжал делать
наблюдения.

Увы! я должен сказать правду, что мало утешительного вынес из этих наблюдений.
Во-первых, я убедился, что выборные многоболтаевцы, занимавшие должности в
общественном управлении, проводили время, собственно, в том, что топили печи в
доме общественного управления и по очереди в нем ночевали, совокупляя таким
образом в себе и должности сторожей. Во-вторых, я узнал, что они не только не
гордились честью участвовать в многоболтаевских делах, но даже положительно
тяготились ею.

– И для чего только нас держут! – сказал мне один из них, внезапно обнаруживая
какую-то тоскливую доверчивость.

– Как же для чего, мой друг (защитникам многоболтаевских интересов я всегда
говорил не иначе, как «мой друг» или «голубчик»)! Ведь вот теперь вам дал
Николай Петрович права...

– Права-то?

– Ну да, права... как же ты, голубчик, не понимаешь этого?

Заседатель от земли смотрел на меня, выпучив глаза.

– Ну? – сказал он.

– Ну да, права, – повторил я.

– А Иван Парамоныч-то что? – спросил заседатель.

Я смешался еще более.

«Однако вы таки бестии!» – подумал я и на первый раз так на этом и порешил, все
еще надеясь, что когда-нибудь, со временем, «бестии» все-таки придут в себя.

Но мне не пришлось этого дожидаться. Через полгода я встретил Николая Петровича в
Петербурге и, натурально, сейчас же обратился к нему с вопросом:

– Ну что, как ваши деревенские дела?

Николай Петрович махнул рукой.

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
– Гм... – сделал я.

– Бросил! – отвечал мой приятель.

Признаюсь, я готов был обвинить моего друга в ретроградстве, в недостатке энергии, в совершенном отсутствии инициативы... Я почти готов был задушить его!

– Mon cher! не обвиняйте меня! – сказал он кротко.

– Да нет, Николай Петрович! это была ваша обязанность! вы должны были персеверировать!

– Нельзя! – возразил он мне самым решительным тоном. – Они ничего не понимают!

И вслед за тем он рассказал мне трогательную историю своих усилий и их непониманий.

– Бестии! – произнес я решительно.

– C'est le mot![17]

– Что ж вы сделали?

– Велел Ивану Парамонычу действовать решительно...

. . .

Так вот каков был наш землевладельческий либерализм. Мудрено ли, что он и поприскучил наконец! – Тем более прискучил, что то, что составляло предмет его, уже осуществилось, а нового предмета для переливания из пустого в порожнее мы еще не выдумали, да вряд ли и выдумаем когда-нибудь.

Но, возвращаясь вновь к землевладельцу, добровольно заключившему себя на лето в деревню, я все-таки нахожу, что положение его очень затруднительно. Сельским делом он заниматься не может, потому что это не его дело; грибы брать не может, потому что на этом поприще его обижают русские бабы; кабинетным делом заняться не может, потому что летом дома не сидится, да и неестественно; либеральничать не может... Стало быть, остается лениться и гулять, что землевладельцы и исполняют, что исполнял и я в течение всего минувшего лета.

В чем же, однако, состоит это «сельское дело», к которому никак не может пристроиться землевладелец, и что за люди, которые им занимаются? Я могу отчасти отвечать на эти вопросы, потому что и гуляя все-таки успел кой-что заметить.

«Сельское дело» – не веселое дело, читатель! Все оно вертится около земли и заключается в разнообразном уходе за нею. Если вы видите человека, идущего за сохой или бороною, возящего навоз, копающего канаву, разрабатывающего торф и т. д. и т. д., то можете с уверенностью сказать себе: это человек, который занимается сельским делом! Картина простолюдинов и простолюдинок, собравшихся для исполнения своих обязанностей, всегда бывает довольно привлекательна. Вот, например, мужички рассыпались группами по пашне; рубашечки на них белые, порточки синие; ветер играет их волосами; ходят они, ходят себе по пашенке... ну, вот так и кажется, что гуляют! Или вот вам жнитво; опять живописные группы поселянок в длинных белых рубашках, быстрые и дружные взмахи серпов, золотые колосья ржи... Господи! да, никак, и они гуляют! Даже когда поселяне длинной вереницей тянутся на пашню с навозом, даже и тогда можно скомпоновать очень миленькую картинку, потому что навоз ведь на картинке не пахнет, да и пейзаж-то уж кстати изображается в миниатюре, а не в натуральную величину (в натуральную-то величину принято изображать баталии, а не сельские виды, за что я и похваляю живописцев, потому что они в этом случае следуют прямым указаниям эстетического чувства).

Но пускай зритель не слишком увлекается очаровательною картиною, пускай он раз навсегда убедит себя, что глаза его лгут, что художник, срисовавший картину, тоже делает дело несправедливое, и что в сельской жизни нет ни прелестных пейзажей, ни восхитительных *tableaux de genre*, [18] а есть тяжелый и невзрачный труд.

Дабы читатель вполне мог освоиться с этою мыслью, опишу здесь некоторые из

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
поселянских занятий.

Сенокос. Когда поселянин приступает к сенокосу, то у него после первого же опыта до такой степени начинает болеть правое плечо, что он несколько дней чувствует его как бы вывихнутым. По-видимому, находясь в таком положении, он не может продолжать свою работу, однако он ее продолжает и впоследствии даже перестает ощущать боль, из чего остроумный медик может вывести заключение, что самое лучшее средство от вывиха есть постоянное повторение того же вывиха. Кроме этого неудобства, есть еще другое: чтобы косить успешно, необходимо с каждым взмахом косы употреблять известное усилие, равняющееся, по крайней мере, тому, которое употребляет человек при поднятии пудовой тяжести. Таким образом, предположив, что простолюдин косит в день шесть часов (работа эта производится обыкновенно ранним утром, пока роса не обсохла) и что он в течение каждого часа, с прохладой и разговорцем, сделает только сто взмахов косой, то из этого следует, что он в какие-нибудь шесть часов времени: а) вывихнет себе плечи и б) сделает усилие, равняющееся поднятию шестисот пудов тяжести. Цена: тридцать копеек серебром (цене красная, потому что за круглый день работы поденщик получает не более 75 к. сер., а постоянный работник и того не получает). Следовательно, если глаз в это время нам показывает, что эти люди гуляют, то он самым постыдным образом врет: эти люди не гуляют, а предаются самому тяжкому мучению для того, чтобы после двух часов отдыха предаться другому, еще более тяжелому.

Сушка сена. Производится в течение целого дня, начиная с девяти часов утра, то есть с той минуты, когда обсохнет роса, и часов до восьми вечера, когда воздух вновь начинает делаться влажным.

Вся работа, за исключением отдыхов, продолжается часов восемь. Бабы, убравшись дома (встают они, неугомонные, часов с трех и успевают до девяти и в лес за грибами и за ягодами сбегать, и коров подоить, и пищу для всей семьи приготовить) и, вооружившись граблями, выходят на скошенный луг и начинают сушить сено. Когда время бывает хорошее (и это случается именно тогда, когда солнце палит во всю мочь), то бабы бывают мокры и изнурены от жара и усилий, делаемых ими при непрерывном взбрасывании клочьев сырого сена. Предположив, что каждый взмах грабелей равносителен усилию, делаемому при поднимании 10 фунтов (самые грабли весят не менее), и что подобных взмахов, при быстроте работы, баба делает до 180 в час, окажется, что в течение восьми часов работы она поднимет тяжести до трехсот шестидесяти пудов. Согласитесь, что для особы прекрасного пола, набегавшей при этом целое утро по домашнему хозяйству, это цифра весьма почтенная, в особенности если принять в соображение, что во время полдневного жара и гулять-то тяжеленько. Тем не менее когда бабы возвращаются вечером с сенокоса домой, то всегда дербят песни. Это я приписываю их простосердечию.

Разработка торфа. Во время этой операции простолюдины, в ней действующие, находятся по пояс в густой и клейкой массе, которую и утапывают ногами. Находясь постоянно в сырости и вдыхая болотные испарения, эти люди к концу лета почти теряют человеческий образ. Операция эта до того отвратительна, что наши москвичи положительно ею гнушаются и предоставляют ее дикарям – калужанам и рязанцам.

Рубка леса и дров. Присутствующий при этой работе явственно слышит, как одновременно с каждым ударом топора раздается какой-то особенный звук, не имеющий себе подобного в мире звуков. Это охает сама утроба работающего, это стонет его нутро от натуги и напряжения.

И т. д. и т. д.

Нет сомнения, что я долго не кончил бы, если б вздумал перечислять одно за другим все обычные телесные упражнения, которым предается простолюдин вообще, и русский в особенности, но думаю, что и приведенных выше примеров весьма достаточно, чтоб убедить читателя, что здесь дело идет совсем не об гулянье.

Гораздо более интересным представляется вопрос: как принимает простолюдин все эти упражнения? ропщет ли на судьбу свою? Но признаюсь откровенно, я имею слишком мало фактов, чтоб отвечать на эти вопросы вполне положительно. Однако же, судя по тому, что бабы, возвращаясь с работ, дербят, а мужики горланят, я полагаю, что для них это положение кажется не вовсе горьким. Это хорошо. Во-первых, звуки песни разнообразят деревенскую обстановку и услаждают слух; во-вторых, несравненно приятнее, если крестьяне простосердечны, разговорчивы и

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru веселы, нежели тогда, когда они смотрят исподлобья и угрюмо помалчивают, да еще, сохрани бог, грубят. Почти совершенное отсутствие грамотности, думаю я, служит в этом случае прекраснейшим подспорьем для придания простолюдину бодрости и содержания его постоянно в хорошем расположении духа. Ибо известно, что как только простолюдин начинает понимать буки-аз-ба, то он в то же время незаметно и постепенно наполняется ядом, так что когда дело дойдет до ижицы, то из прежнего кроткого и доверчивого весельчака образуется фиал, наполненный ехиднейшим ядом. Это не я первый говорю; это еще прежде меня выразил известный знаток русской народности Г. Даль.

Итак, должно заботиться о том, чтоб простолюдины постоянно сохраняли добрый и беспечный вид. А для того, чтоб достигнуть этого, самое лучшее средство – это внушать простолюдинам, что праздность есть мать всех пороков. Они насчет этого народ толковый – поймут сразу; тем скорее поймут, что ведь за них ихней работы никто не сработает. Так им и можно это объяснить: «Послушай, милый Иван! вот ты третьего дня гулял – кто же за тебя пашню-то вспашет?»

Некоторые думают, что хорошо также по временам доставлять простолюдинам некоторые недорогие удовольствия. Указывают в особенности на вино, как на такое средство, которое ближе других достигает цели. Я сам думаю, что это хорошо, да и мужички, кажется, согласны со мной, потому что каждый раз, как я проезжаю мимо любого питейного дома, вижу на крыльчке толпу простолюдинов, до того разбурянных Вакхом, что издали кажется, будто бы лица их обожжены молнией. В этом положении простолюдин любезен и приветлив, но в то же время не совсем твердо стоит на ногах. Разумеется, однако, что, ввиду главной цели, на это последнее обстоятельство не следует обращать никакого внимания. Главное, чтоб простолюдин был приветлив и не кручинился, а как это в нем происходит и шатается ли он или не шатается – до этого, конечно, дела нет.

Надо сказать правду: наш мужичок не чувствует никакого отвращения к вину. С тех пор как объявлена ему воля, он часто празднует и, по своему простосердечию, праздники эти ознаменовывает преимущественно употреблением вина. По этой-то, быть может, причине в настоящее время почти нет деревни, сколько-нибудь похожей на деревню, в которой бы не бросилась в глаза вывеска: «Навынос и с распитием». По крайней мере, так оно ведется у нас в Московской губернии, и нет сомнения, что заведется со временем и в других, так как Москва вообще дает тон в делах этого рода и сверх того приючает у себя на лето сотни тысяч захожих мужиков из Калужской, Тульской, Рязанской, Тверской и Владимирской губерний, которые сначала являются совершенно необнатуренными, но потом мало-помалу присматриваются и, по врожденной русскому человеку переимчивости, возвращаются домой совершенно вышліфованными.

Когда существовало крепостное право, мужички наши совсем не знали праздников. Барщина и различные другие требования делали то, что свободного времени оставалось у них чрезвычайно мало, и потому работать в праздник грехом не считалось. Понятно, что как скоро получилась возможность управляться дома с большею свободою, то и праздник стал соблюдаться строже. Сверх того, мужички наши, когда были крепостными, совсем ни об чем не думали, а думал за них помещик; теперь же завелись у них свои мужицкие дела, которые и решаются преимущественно в праздник. Решаются они по большей части таким образом: соберутся мужички на сходку (обыкновенно поближе к вывеске, если таковая есть, или к какому-нибудь отставному солдатику, который держит вино про себя, но с удовольствием ссужает им за деньги и своих односельцев) и ждут, не провинится ли кто-нибудь. Заведут этак тонким манером речь об запасной магазее и ожидают, не обзовет ли кто-нибудь хлебного смотрителя вором. Разумеется, на миру не без желчных людей; сейчас же выщется такой, который не вытерпит и скажет: «Да ведь Егор Антипов известен вор!» Не успеет он это вымолвить, как его тут же сграбастают и в питейный дом: ставь четверку или полведра, тогда простим, а не поставишь – засудим! И ставит желчный человек, и благо ему, если он сам тут же не напьется, ибо в противном случае он непременно обругает мир чертями, жидами и кровопивцами, – ну, тогда и опять ставь четверку или полведра. Не знаю, правда ли, но сказывали мне, что бывают такие бедные макары, которые почти каждый праздник подобной операции подвергаются, и что в то же время выискиваются такие смышленные люди, которые рта не разожмут на сходке и все поджидают, все поджидают, не провинится ли кто-нибудь. И бывают эти смышленные люди каждый праздник отлично пьяны на чужой счет и потом целый день слоняются по деревне и всё ругаются: и ворами, и чертями, и кровопивцами – это ничего, это можно, потому что не на сходке.

Случалось мне иногда говорить мужичкам: уж если у вас, мои милые, такое пристрастие к штрафам, так не лучше ли штрафовать деньгами в пользу школы или другого общепольного устройства? Но всегда на мои увещания встречал одинаковый, лаконичский ответ: «дерьма-то!»

Когда не бывает провинившихся, то представляется и другое средство для выпивки – это помочь. Работать в праздник грех, но помогать ближнему – дело благое, особливо если впереди предстоит за это выпивка. Здесь вполне выразился любвеобильный славянский характер, и разумеется, не я буду порицателем этой любвеобильности. Преимущественно делают помочи помещики, потому что есть такие хозяйственные работы, которых с помощью ограниченного числа своих вольнонаемных рабочих ни под каким видом не выполнишь. Таковы, например, кошение и уборка сена, где, для успеха дела, требуется одновременное участие нескольких десятков рук. Помочи обходятся довольно дешево и притом в настоящее цивилизованное время не представляют никаких хлопот. Прежде нужно было в подобных случаях посылать за несколько верст за вином, печь пироги, варить щи; нынче все это упрощено: кабак всегда под рукою, и мужички приглашаются прямо туда; там разлюбезный целовальник поднесет им вина и подаст закуску в виде черствых французских булок; бабы получают или пиво, или чай, что стоит никак не дороже 7 копеек на человека. Из этого следует, что наши землевладельцы и донны еще вынуждаются прибегать к пособию соседей и что поэтому действительный расчет в наших хозяйствах составляет еще весьма большую редкость.

Теперешние питейные дома совсем не то, что прежние. Это просто харчевни или постоянные дворы, в которых совсем нет казенного характера и в которых мужички собираются побеседовать по душе. Это почти что клубы, но, разумеется, обстановка их не так великолепна, как в московском английском. Прежний целовальник был почти что чиновник, нынешний – не больше как приятный собеседник. От этого в клубах царствует совершенная непринужденность. Кроме вина, имеется чай, пиво и закуска, заключающаяся в неизменной селедке. Только такой селедки не приведи бог никому есть. Я убежден, что селедки эти родятся, исключительно имея в виду русского простолюдина, и что только этот последний может оказывать им внимание. Какие цены берет с простолюдинов любезный целовальник – об этом даже сказать непристойно. Вино, например, он покупает в Москве по 3 р. 5 к. за ведро, а с провозом до места оно обходится ему до 3 руб. 14 к.; продажная цена: навывнос 3 р. 80 к., с распитием – 5 р., а так как больше всего продается вино с распитием, то барыш оказывается почти неслыханный. Селедка обходится содержателю в покупке не больше 2 к. с., а в продажу пускается по 5 к.; фунт чаю стоит 90 к. (от этого чаю вяжет во рту, как от черемухи), а три фунта сахара 75 к., по разделении же на пары этот материал продается, по крайней мере, за 5 р. В одной деревне, где прежде не было питейного дома и откуда, следовательно, мужичок, желавший напиться, должен был дожидаться базарного дня и ехать в Москву, с апреля месяца нынешнего года открыто заведение и в нем продано вина, в течение каких-нибудь 5-ти месяцев, с лишком 8 бочек. На одном этом предмете содержатель получил, стало быть, барыша около 350 р., а между тем патент стоит 10 р., а арендная плата за помещение 100 р. в год; следовательно, за свой труд содержатель с женой имеют полное право рассчитывать на годовое вознаграждение до 600 р. на одном только вине. А в этой деревне нет ни фабрик, ни заводов, ни многочисленного пришлого народа.

Кто же выпил такое огромное количество вина? – А всё свои мужички, по милости божией, выпили-с, отвечают вам. А своих мужичков и всего-то наберется не больше полутора ста душ, да в соседних деревнях около того же количества – вот и думайте тут! Для того чтоб привлечь к себе мужичков из соседних деревень, содержатели питейных домов употребляют хитрость: жертвуют на деревню от полуведра до ведра вина и таким образом на целый год приобретают себе обязательную практику и получают возможность продавать вино по той цене, какую бог на душу положит. Мужички, пропившие этим порядком свою деревню, свято соблюдают обязательство и строго надсматривают друг за другом: чуть у кого прочую косушку вина, купленную не в заветном кабаке, сейчас тому суд и расправа, и волокут его, раба лукавого, в тот же кабак, и идет у них тут пир горой до поздней ночи.

Собираясь в своих клубах, мужички занимаются оживленною беседой, но обыкновенно беседуют отрывисто и маловразумительно.

– Говорю тебе, любезный друг, – сказывает один, – уж я коли что сказал, так ты этому слову верь! Уж коли я тебе, то есть, одно слово, так ты супротив него не

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru моги... ну!

– Это так точно.

– Потому, коли я теперича тебе одно слово, а ты мне десять, ну и я, значит, на оборотку тебе двадцать... ну!

– Это правильно.

Такой приятный разговор продолжается нередко по несколько часов сряду, и замечательно, что беседующие, если не всегда понимают друг друга, то во всяком случае всегда удовлетворены.

Но довольно о пьянстве; поговорим о забавах и увеселениях. Им предается преимущественно женский пол, потому что мужчины, даже и молодые, праздники проводят или в Москве на базаре, или в местном питейном доме. А потому в деревнях, где население не очень большое, увеселения имеют характер до того мизерный, что в них принимают участие даже десятилетние девочки. Самое видное место в этих забавах занимает хоровод, но песня уже поется не та, какая певалась в бывалые времена. Нет ни «Веселой беседашки, где батюшка поет», ни «Дуная», ни «За морем за синим»; место их заступили: «Ты, Настасья, ты, Настасья!», «Он меня разлюбил!», «Ты не поверишь!» и прочая чепуха в этом роде. Очевидно, что галиматья эта занесена в деревни фабричными молодцами, которые не один раз на своем веку наслаждались пением московских цыган. Поятся эти романсы отвратительно, и со всевозможными коверканиями. Так, например, в известном романсе «Ты не поверишь» кем-то присочинен бессмысленный припев:

Я очень верю, я очень верю!

я вас люблю!

Эта бессмыслица принимается самым серьезным образом, и даже в сию минуту, когда я пишу эти строки, до меня долетают безобразные звуки хора, отхватывающего «Настасью».

Странная судьба всего русского: даже для того, чтобы прослушать русскую песню, надобно нанимать цыган...

На этом покамест кончу. В следующем месяце надеюсь встретиться с читателем – в городе..

ЖУРНАЛЬНАЯ ПОЛЕМИКА НЕИЗВЕСТНОМУ КОРРЕСПОНДЕНТУ

Письмо ваше, которым вы приглашаете меня отказаться от немногих слов, сказанных в последней общественной хронике относительно «нигилистов», я получил. На сей раз не могу, однако ж, исполнить ваше желание, и совсем не потому, чтоб это было больно для моего самолюбия, а просто потому, что вы сами, очевидно, не сознаете, чего именно желаете. Но объясниться я не прочь, тем более что, кто знает, быть может, и помимо вас найдутся люди достаточно ограниченные, чтоб обвинять меня в намерении «выругать огулом молодежь», как вы выражаетесь. Такого намерения не было, и я надеюсь доказать это в очень немногих словах.

Как бы объяснить вам, к кому именно могло относиться заподозренное вами место моей хроники? Попытаюсь. Быть может, вам памятно то время, когда в русском обществе шли горячие толки о народности и славянофилы были в большом ходу. Тогда, рядом с людьми, относившимися к этому делу совершенно серьезно и искренно (я говорю не об достоинстве самого дела, а об отношении к нему его сторонников), находились и такие, которые потому только мнили себя быть славянофилами, что понашили себе поддевок, мурмолок и рубах с подоплеками, но этих людей никто, однако, не называл «славянофилами», а называли гороховыми шутами. Другой пример: если я встречаю человека, который говорит, что он материалист, и доказывает это тем, что каждый день обжирается и напивается, а вечером ходит в танцкласс к Ефремову, то я говорю ему: нет, ты не материалист, а свинья. Третий пример: если я встречаю человека, который для того, чтоб доказать, что он не имеет предрассудков (это, кажется, единственный, сколько-нибудь разумный признак, к которому хотя бы приурочить себя так называемые нигилисты), выбежит голый на улицу, то говорю ему: нет, тут совсем не о предрассудках идет речь, а о том, что ты очень бойкий глупец. Всякое дело, всякая мысль, всякая партия имеют своих

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru *enfants terribles*, своих юродствующих и вислоухих – вот этих-то «юродствующих» и «вислоухих» и имела в виду моя статья, и я не вижу в этом случае никакой ошибки, потому что по совести нахожу, что люди эти существуют единственно для того, чтоб портить дела самые лучшие: как мухи летом в одну минуту засиживают самые драгоценные произведения искусства, так и эти люди делают неузнаваемым всякое дело, до которого они прикасаются.

Но вы говорите, что я употребил слово «нигилисты» в смысле оскорбительном для целого молодого поколения, – нет, это положительная ложь. Признаюсь вам, я даже плохо понимаю это слово и всегда думал, что оно заключает в себе совершеннейшую бессмыслицу и столь же мало может характеризовать какое бы то ни было поколение, как и блаженной памяти слово «фармазоны». По мнению моему, если оно и начинает приобретать в нашем обществе некоторое право гражданственности, то в этом виноваты именно те «вислоухие», которые, по-видимому, очень жадно ухватились за него и сделали из него какое-то для себя знамя. Можете после этого представить себе, как должны быть противны для меня эти люди, которые добровольно откликаются на бессмыслицу. Но, может быть, вы возразите, что, в первоначальном своем употреблении, это слово имело смысл обширный и злостный, но разве это доказывает что-нибудь? Если бы, например, Г. Тургенев или кто другой известную часть русского общества обозвал «дураками», неужели же нашлись бы люди, которые ухватились бы за это выражение и начали бы говорить: «вот мы, «дураки», «вот у нас, «дураков» и т. д.? Я думал и думаю, что слово «нигилисты» совершенно столько же бессмысленно в настоящем случае, как и слово «дураки»; и те, которые с гордостью повествуют о себе: «мы нигилисты», или не понимают сами, что говорят, или сознательно говорят чепуху. И если вы дадите себе труд подумать об этом, то, конечно, согласитесь, что в моих настоящих словах нет ни малейшего намерения остроумничать или извернуться.

Затем, прощайте. Желаю вам больше способности понимать то, что вы читаете, и больше думать о том, что вы болтаете. Поверьте, что пошлые ругательства, которыми вы наполнили ваше письмо, отнюдь его не украсили и что я, с своей стороны, тоже знаю очень много ругательных слов, но никогда к ним не прибегаю, потому что не нахожу в них не только доказательной силы, но даже смысла.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ МЕЛОЧИ

При определении достоинства людей и вещей очень часто приходится выслушивать такого рода разговоры:

- Послушайте, ведь это дрянь!
- Ну... все не такая же дрянь...
- Но сообразите хорошенько!
- Нет; все-таки это совсем не такая дрянь!

Последнее произносится даже с некоторою строгостью, словно и невесть какая неопровержимая премудрость заключается в словах «не такая дрянь».

Если мы вникнем ближе в смысл подобных словопрений, то увидим, во-первых, что спор возникает преимущественно оттого, что обе стороны не умеют отчетливо формулировать то значение, которое в их умах сопрягается с словом «дрянь»; во-вторых, что то свойство, которое обеим сторонам известно под именем «дряни», оставляется спорящими неприкосновенным, и что протеста на то, что такого-то человека или такую-то вещь следует назвать «дряню», никем не предъясняется, и в-третьих, что, следовательно, тут речь идет совсем не о том, дрянь или не дрянь у нас перед глазами, а о том, «такая» это дрянь или «не такая».

Посмотрим, в какой степени все это основательно.

Что такое дрянь? В просторечии слово это прилагается преимущественно и даже исключительно к явлениям мира вещественного. Всякое вещество, вследствие разложения или принятия в себя чуждых примесей потерявшее свой естественный, здоровый вид, называется «дряню». «Не тронь, батюшка, это «дрянь»!» – говорит заботливая няня своему питомцу, когда он, движимый любознательностью, хочет прикоснуться к какой-нибудь слякоти или к чему-нибудь гниющему. Но как ни права няня в своем определении, она все-таки не исчерпывает сущности предмета, о котором говорит. Понятие, заключающееся в слове «дрянь», чрезвычайно обширно и

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru из мира вещественного очень удобно переносится в мир нравственный и умственный. Если б няня знала, что известный ей какой-нибудь Петр Иванович или Иван Петрович совершенно такая же «дрянь», как и то гниющее вещество, на которое она сейчас указывала, то она точно так же предостерегла бы своего питомца: «Не тронь, батюшка, Петра Иваныча: это дрянь!»...

Умение делать подобные применения уже свидетельствует о некоторой степени умственного развития и о привычке обращаться с явлениями более сложными. Возникает потребность прилагать слово «дрянь» к людям и их делам; образуются соответствующие выражения, как, например: «вот человек дрянь!» или: «дело просто дрянь выходит!» Тем не менее если мы хорошенько разберем, о чем тут идет речь, то увидим, что в этом случае слово «дрянь» прилагается уже чересчур разнообразно, а потому не всегда определено и основательно. Тут безразлично разумеется: и злонамеренное скотство, и бессознательная глупость, и «дрянь» действительная. Поэтому необходимо опознаться в этом разнообразии и критически очистить слово «дрянь» от всех ненужных примесей.

Начнем с людей. Слово «дрянь» обыкновенно прилагается безразлично ко всем «нехорошим» людям, то есть злонамеренным, глупым или таким, от которых, что называется, ни шерсти, ни молока. По-моему, однако ж, тут есть значительная ошибка, которая может показаться обидною даже для тех лиц, которые непосредственно в этом деле заинтересованы. Злонамеренный человек, которого назовут дрянью, скажет: «Нет, ты врешь, я не дрянь, а я скотина!», глупец, в свою очередь, возразит: «Да помилуйте, какая же я дрянь – я просто дурак!»; один тот, от которого «ни шерсти, ни молока», смолчит, ибо почувствует, что в глазах его при слове «дрянь» действительно как будто бы что просветлело. Таким практическим указанием пренебречь невозможно.

В самом деле, и у злонамеренного и у дурака имеются свои определенные убеждения и свои определенные обязанности. Злонамеренный человек всегда обладает миросозерцанием, хотя и ограниченным, но в то же время совершенно ясным. Это эгоист в самом мизерном значении этого слова, эгоист недалёковидный, ставящий свои личные выгоды выше всего на свете и не понимающий, что выгоды эти находятся в теснейшей зависимости от выгод других подобных ему людей. Поэтому он прежде всего старается о своих личных интересах и об интересах тех людей, которые до того близко к нему прикасаются, что он не может ступить без них ни шагу; по своей неразвитости или по недостатку знаний, он не понимает, что в таком сложном механизме, каким представляется жизнь, нет и не может быть людей далеких; он не понимает, что, придавая значение своим личным интересам насчет интересов других, он не приобретает этим никакой положительной выгоды для себя, а только устраивает для себя и для своих присных непрерывную и утомительную борьбу, в которой, конечно, когда-нибудь да погибнет. Тем не менее человек этот, вследствие уродливого своего взгляда на жизнь, действительно поставлен в необходимость приносить сколь возможно большую сумму вреда другим, а потому его совершенно справедливо называют скотиною, ибо это служит стигматом его недалёковидности. Но дрянью его назвать никак нельзя, потому что, при совершенной определенности его убеждений и занятий, подобное название может только спутать.

Точно то же самое следует сказать и относительно дурака. У него тоже есть свое миросозерцание, сущность которого заключается в том, что вселенная представляется ему собранием разнокалиберных предметов, существующих без всякой между собой связи. Предметами этими мыслительная его сила поражается отрывочно, а потому он всякую минуту подавляется разнообразием впечатлений, и ни одного из них не удерживает прочно. Для него всякая штука представляет, так сказать, новизну, и с этой стороны он, конечно, может назваться счастливецом, ибо никогда не чувствует ни ипохондрии, ни утомления. Но, с другой стороны, глупость может иметь и неприятные последствия, из которых самое горшее заключается в невозможности пользоваться указаниями опыта и в этом смысле постоянно находиться в положении новорожденного. Таким образом, даже в совершенно безопасном месте люди эти не имеют права считать себя вполне безопасными, ибо могут принять воду за сушь и наоборот. Пользу, конечно, они приносят не в состоянии (напротив того, сами требуют пристального за собой ухода), но тем не менее и у них имеются свои обязанности, прямо вытекающие из их миросозерцания. Обязанности эти заключаются в том, чтобы всему безразлично удивляться, все прославлять и относительно всего ощущать панический страх. Обязанности, как видится, не головоломные, но и они имеют в жизни свое место и свое значение, в особенности же когда с этим вместе сопрягается вдохновение. Поэтому-то такого сорта людей

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru «хорошими» никто не называет, а совершенно справедливо называют дураками (простыми или вдохновенными, смотря по роду глупости); но и «дрянь» их именовать нельзя, опять-таки потому, что если есть для предмета ясное и вполне удовлетворительное название, то всякая прибавка к нему может произвести только путаницу.

Все это значительно облегчает нашу задачу и помогает нам приступить к безошибочному определению слова «дрянь» в применении к человеку. И если слово это должно непременно относиться к одному из видов обширного семейства «нехороших людей», и к тому же не может быть приложено ни к так называемому «скотине», ни к «дураку», то очевидно, что имеется в природе еще особый вид «нехороших людей», которому оно должно быть совершенно к лицу. И действительно, таких людей мы встречаем.

Есть люди, совершенно подобные тому козлу, о котором сложилась древняя русская поговорка: ни шерсти, ни молока. Это какие-то унылые недоноски, одинаково не способные ни на добро, ни на зло, постоянно колеблющиеся между «да» и «нет», постоянно стремящиеся нечто выразить и никогда ничего не выражающие. Нет в них ничего яркого, выдающегося, ничего такого, за что можно было бы ухватиться и сказать: ну вот, наконец-то я тебя поймал! Самое яркое из их качеств – это непрерывная чепуха, которую они из себя источают; но тут яркость уже до того велика, что ослепляет и отшибает. Вы можете целую жизнь прожить обок с таким человеком и быть уверенным, что ни одна минута не выдаст вам секрета его мысли, его желаний и ожиданий. Его нельзя употребить ни на какое дело, не потому, что он его искоренит, а потому, что он ничего не сделает; его нельзя даже послать в лавочку за квасом, потому что он непременно зазевается и квасу не принесет. Если такие люди соберутся и начнут по душе толковать, то разговор их может довести до мысли о самоубийстве, но если они (чего боже сохрани!) к тому же пожелают еще иметь свой литературный орган и начнут посредством его производить над публикой опыты фильтрации чепухи, то такое действие может угрожать даже государственной безопасности. Государство начнет зевать, постепенно прекратит всякую производительность и предастся размышлениям о суете и бренности сего мира. Таких людей невозможно назвать злыми, потому что в действиях их ничего положительно злого не усматривается; их нельзя назвать глупцами, потому что и в действиях и в речах их примечается только бесцветность, безвкусица и белиберда, а не глупость. Подобно дрянным ублюдкам, на первый взгляд обманывающим неопытного ценителя то красотою хвоста, то породистостью ушей, эти люди тоже обманывают его то взятою напрокат и на веру мыслью, то заимствованным выраженьицем; но, само собою разумеется, как только этот человек повернется к вам всею своею физиономией (а это он сделает, по необходимости, в самом непродолжительном времени), то обаяние хвоста исчезнет немедленно, и слово «дрянь» само собой слетит с языка. Да, это «дрянь», это та действительная, настоящая «дрянь», которую просторечие так часто и так неосновательно смешивает с понятиями хотя и родственными, но, во всяком случае, существенно от нее отличающимися.

Точно то же следует сказать о вещах. Есть положения злые, есть положения глупые, и есть положения просто дрянные. Злые и глупые положения всегда имеют сзади себя некоторую систему, которая их объясняет и в то же время делает возможным противодействие. Напротив того, дрянные положения отличаются совершенным отсутствием системы, поэтому-то они живучее и злых и глупых положений, это те самые положения, которыми никто не доволен, но которые терпеливо выносят из опасения попасть или в глупое, или в злое положение. И тут имеется своего рода хвост и уши, которые на первый взгляд пленяют, но разумеется, что здесь обаяние имеет смысл еще более вредный. Если мы временно обольщаемся дрянным человеком, то это не налагает на нас никаких обязательств, кроме одного: отвернуться от такого человека, как только мы убедимся, что он дрянь; но когда мы обольщаемся дрянным положением, то хотя бы это обольщение было и временное, но последствия его будут гораздо ощутительнее, потому что связь с положением захватывает человека гораздо глубже и разностороннее и, следовательно, действует на него несравненно растлительнее, нежели связь с изолированной дрянной личностью.

Итак, «дрянным» следует называть такого человека или такое положение, которого свойства ясно представить себе невозможно, на которых нельзя ни в каком случае рассчитывать, в которых совестно видеть что-либо враждебное, но в то же время немислимо находить что-нибудь и симпатичное. Затем, определив таким образом значение слова «дрянь», мы естественно приходим к вопросу: может ли быть дрянь «такая» и дрянь «не такая»?

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru Нет, «дрянь» всегда одинакова и всегда равна самой себе, и единственно возможный относительно ее образ действия заключается в том, чтобы показать, что тот породистый хвост, которым она иногда обладает, служит не к украшению, а к вящему ее обезображению. Даже возможность такого выражения, как: «ну, все-таки это не такая дрянь», показывает, что человек, от которого оно исходит, сам носит на себе все признаки «дряни», что он потому только и изобрел выражение «не такая», что сердце его неудержимо тянется к «дряни» и ищет оправдать ее насчет злобы и глупости.

Есть много на свете людей, злобных, глупых и дрянных, первых следует усмирять, за вторыми иметь наблюдение, дабы они не повредили себе, с третьими не следует связываться. Но во всяком случае, не различать их нельзя...

Давно ли я заявлял опасения (и даже, к стыду моему, совсем не серьезно), что в скором времени нельзя будет купить фунта балыка, чтобы вслед за тем не последовало обвинения в сепаратизме в пользу Земли Войска Донского, как уже «Московские ведомости» поспешили оправдать мои опасения. В 89-м № этой газеты появилась статья «Донской сепаратизм», в которой, со слов некоего г. Краснова, изображаются злокозненные стремления к обособлению Земли Войска Донского от империи...

Конечно, г. Краснов, первоначально напечатавший свою невинную статью в «С.-Петербургских ведомостях», говорит в ней совсем не о сепаратизме, а об устарелости и бесполезности некоторых исключительных привилегий, которыми пользуется Земля Войска Донского, и только по неловкости, свойственной всем вообще литераторам-обывателям, объясняет эту привязанность донца к привилегиям каким-то «местным патриотизмом». Но г. Краснов человек простой и потому и смотрит на дело просто, то есть, описавшись словом «патриотизм», все-таки продолжает говорить о привилегиях; «Московские же ведомости» на все дела сего мира имеют взгляд сугубый, а потому и в упражненьице г. Краснова усмотрели нечто сугубое. А так как достоверно известно, что прозорливость «Московских ведомостей» почерпается из чистых источников, то «Донской сепаратизм», пройдя сквозь горнило ее, уже приобретает силу факта, которому нельзя не верить под опасением лишения некоторых литературных прав.

Донцы-молодцы! куда же вы стремитесь? И где тот Кулиш, который будет сочинять для вас буквари? где тот Костомаров, который будет издавать их? И на каком языке будут сочиняться эти буквари? кому известен язык Земли Войска Донского? Есть ли в нем слова «хиба», «вже» и проч., совершенно необходимые для образования сильного и самостоятельного языка? Обладает ли донская литература песенкой подобной той, которую некогда сочинил И. С. Тургенев для малороссиян:

Грае, грае, воропае!
Гоп! Гоп!

Все это покрыто мраком неизвестности. Известно только, что в 1814 году донцы-молодцы были в Париже и, быть может, действительно позаимствовались там несколькими выражениями, вроде записанных тем же г. Тургеневым: «пардон, севуплей!» и «нет тебе севуплею!». Следовательно, вопрос заключается в том, могут ли эти немногие выражения послужить основанием для сепаратизма, и возможно ли с помощью их одних сочинять буквари? «Московские ведомости» опасаются, что да, и я не смею не верить этой вдохновенной газете, ибо опять-таки знаю, что она черпает свое вдохновение из чистых источников.

Страшно... что-то будет! что-то будет! спрашиваю я себя: все-то мы врознь! все-то мы разлезаемся! Судя по корреспонденциям «Волянца», помещаемым в тех же «Московских ведомостях», следует заключить, что «сепаратизм» до того овладел г. Костомаровым, что он собственную свою квартиру принимает за особое государство и там собственно для себя и на собственном своем языке сочиняет собственные свои буквари. И если примеру его последует г. Кулиш, то неизвестно даже, что может произойти! Самое малое, что может из этого выйти, — это то, что гг. Костомаров и Кулиш не поймут друг друга.

Но, по моему мнению, «Московские ведомости» все-таки недостаточно еще прозорливы; я прозорливее их, ибо усматриваю в русской жизни гораздо более «сепаратизмов». Назову некоторые из них.

Мещане имеют право производить известные промыслы и торговать в розницу

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru шнурочками, на что крестьяне прав не имеют, – сепаратизм.

Купцы первой гильдии имеют право посылать за море свои собственные корабли (чем они, впрочем, пользуются с похвальной умеренностью), на что купцы второй гильдии и мещане прав не имеют, – сепаратизм.

Чиновники имеют право состоять на службе, на что огромное большинство населения Российской империи прав не имеет, – сепаратизм.

«Московские ведомости» имеют право прозревать, прорицать, догадываться и недоумевать, на что другие, менее прозорливые органы русского слова прав не имеют, – сепаратизм.

«Московские ведомости» собираются воспользоваться факультативной цензурой, тогда как прочие русские журналы и газеты правом этим ни под каким видом воспользоваться не могут, – сепаратизм.

«Московские ведомости» ставят «День» «под защиту Российской империи», а себя из-под этой защиты тщательно выгораживают, – сепаратизм.

«Московские ведомости» постоянно доказывают, что в Петербурге царствует «растленная атмосфера» и что только в Москве, и именно на Страстном бульваре, можно воистину насладиться «благорастворением воздуха». Ясно, что этим они стремятся отделить от Петербурга Москву вообще, и Страстной бульвар в особенности, – сепаратизм! Сепаратизм даже горший донского и костомаровского.

Если все эти сепаратизмы заговорят своим собственным языком и начнут сочинять свои собственные буквари – что может из этого выйти?

«Позволительно думать», что из этого не выйдет ничего.

А я пересчитал еще только миллионную часть российских «сепаратизмов»! Сколько есть таких людей, которые охотно стали бы употреблять в пищу говядину, но, вследствие стремлений к сепаратизму, питаются одним толконком? сколько есть таких литераторов, которые, подобно г. Феоктистову (см. письмо г. Касьянова в 16 № «Дня»), желали бы участвовать на первом рауте, бывшем прошлой зимой у какого-то «князя, истинного мецената», и между тем, вследствие стремлений к сепаратизму, на этом рауте не участвовали?

Впрочем, относительно г. Феоктистова я еще колеблюсь, кто тут сепаратист: он ли, бывший на «первом рауте у князя, истинного мецената», или прочие русские литераторы, на этом рауте не бывшие. По крайней мере, до сих пор (кроме славянофилов) я знал только одного литератора, которому рауты были не недоступны, – это именно фельетониста «Московских ведомостей» г. Пановского, который и разумелся за самого злого сепаратиста. Теперь к этой единице еще прибавляется цифра – боюсь, как бы из этого чего-нибудь не вышло!

Истинно сожалею, что г. Касьянов слишком мало распространился в своем письме об этом знаменитом обстоятельстве. Он позаимствовал сведения о нем из газеты «Весть», в которой, по всей вероятности, происшествие это расмаковано во всей подробности, но о существовании которой, к прискорбию, никто в Петербурге не знает, а потому и справки навести негде. Господин же Касьянов рассказал это дело кратко: просто, был г. Феоктистов на рауте– и все тут.

Разумеется, меня это не удовлетворяет. Я желал бы знать, в чем был одет г. Феоктистов, какие были у него воротнички, на каком диалекте он объяснялся, как держал в руках шляпу и в какой мере походил на г. Пановского (это последнее сведение необходимо для определения силы «сепаратизма»). Одним словом, я хотел бы иметь портрет г. Феоктистова не в виде публициста, редактирующего «Русский инвалид», а в виде любезного человека, произносящего комплимент.

Тем не менее даже и это краткое известие весьма меня обрадовало, потому что в нем заключается зерно сближения между русской публицистикой и так называемым обществом. Это, конечно, все-таки сепаратизм, но уже сепаратизм полезный, имеющий в виду благотворную объединительную централизацию. Сначала оно, разумеется, как будто совестно; все кажется, что вокруг тебя говорят: вот человек! посмотрите, он в выростковых сапогах, он в замасленных перчатках, он в

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru фуражке, он сморкается в фуляровый платок – и между тем это публицист, в руках которого участь миллионов людей ему подобных! но когда поосмотришься и попривыкнешь, то дело очень скоро войдет в свою обычную колею. Во-первых, тотчас же все убедятся, что на публицисте сапоги не выростковые, а лаковые, что в руках у него не фуражка, а шляпа, которою он очень ловко пользуется для изъяснения своих чувств, и т. д.; во-вторых, окажется, что ничьих судеб он в руках своих никогда не держал и не держит и что сам он просто чудеснейший малый – и больше ничего.

Да, надо, надо знакомить общество с русскими публицистами, и если бы я был человеком денежным, то каждый день приглашал бы к себе публицистов кушать: вы, дескать, меня будете просвещать, а от меня станете заимствоваться благовоспитанными манерами! И пошло бы у нас это дело колесом.

Во всяком случае, я решительно не постигаю, что может в этом обстоятельстве возмущать добродетельного, но непрозорливого г. Касьянова? Повторяю: я очень хорошо понимаю, тут есть сепаратизм, но если представить себе, что примеру г. Феоктистова последует сперва г. Краевский, а потом, быть может, и сам г. Касьянов (если же он славянофил, то я уверен, что он еще прежде г. Феоктистова поседал рауты и что у г. Пановского можно даже найти подробные об этом сведения), то мало-помалу литература до того объединится с обществом, что скоро мудрено будет даже отличить литератора от прохвоста...

Итак, это знак добрый, и хвала г. Феоктистову, положившему начало сближению русской публицистики с русским обществом. И я уверен, что он поступил в этом случае целесообразно и осмотрительно, то есть был одет как следует и был достаточно мил, чтобы обворожить всех дам своим истинно публицистским обхождением...

Самозванство всегда было одною из самых характерных черт собственно русской национальности. Если припомнить всех лже-Дмитриев и лже-Петров, которые некогда свирепствовали на Руси, и всю кутерьму, которую они наделали, то можно дойти даже до восторженности: вот до какой степени русский человек способен. Но так как гг. Семевский, Есипов и другие собиратели русских исторических анекдотов свидетельствуют, что эта способность все-таки пагубная и никогда своих обладателей к добру не вела, то из этого следует заключить, что пора нам одуматься и решиться называться каждому своим собственным именем.

Тем не менее способность эта осталась за нами и по настоящее время, и в особенности прижилась в русской литературе. Стоит появиться г. Костомарову (Н. И.), известному историку, обвиняемому «Московскими ведомостями» в сочинении своих собственных букварей, как рядом с ним возникает лже-Костомаров (Всеволод), известный своими трудами не столько по части истории, сколько по части политической токсикологии. Одним словом, ни один писатель не может безнаказанно выступить на литературное поприще, чтобы не подвергнуться опасности встретить себе созию.

Есть настоящий Крестовский (к сожалению, псевдоним) и есть псевдо-Крестовский (Всеволод, к сожалению, не псевдоним); есть Григорьев настоящий (П. П., актер и автор «Героев преферанса») и есть псевдо-Григорьев (А. А., автор различных «веваний»); был настоящий Катков, переведший «Юлию и Ромео», и есть псевдо-Катков, издающий теперь «Московские ведомости»; был настоящий Георгиевский (П. П., сочинитель «Краткого руководства к изучению российской словесности»), и есть псевдо-Георгиевский, который не знает, где у него начало, в Каткове или Леонтьеве, и где у него конец, в Феоктистове или Романовском; был настоящий Краевский, автор «Бориса Годунова» и «Письма из-за границы», и есть псевдо-Краевский, который ничего не пишет, а только внушает г. Альбертини; есть настоящий Достоевский (Ф. М., автор «Мертвого дома» и «Бедных людей»), и есть псевдо-Достоевский (М. М., автор «Старшей и Меньшой» и предприниматель журнала «Эпоха»); есть настоящий Зайцев, который ничего не пишет, есть псевдо-Зайцев, который, вместе с Кузьмой Прутковым, собирается написать драму под названием: «Мальчик, у которого фосфор не в голове, а на голове»...

Нужен ли закон против этих злоупотреблений? Это такой темный вопрос, которого я, не будучи ни Страховым, ни Косицей, разрешить не в состоянии.

Точно так же, как между гг. Страховым и Косицей я никак не могу различить: кто из них лже-Страхов и кто лже-Косица... Грустно.

Еще одно слово. Весь петербургский чиновничий мир взволновался: экзекуторы в страхе, провинциальные секретари и сенатские регистраторы мнутятся, как домашние животные перед землетрясением. «Исправится ли девица Инна Горобец, поймет ли она, где ее истинные доброжелатели?» – вот вопрос, который, словно пожаром, охватил головы этих невинных людей. В ожидании разрешения его дела остаются в запустении и в бумагах допускаются бесчисленные орфографические ошибки. Пользуясь этим смятением, молодые и вольнодумные чиновники даже вовсе перестали ходить на службу и с утра до вечера сибаритствуют себе в музыкальном кафе-ресторане купца Наумова.

С другой стороны, петербургские прогрессисты тоже взволнованы, но уже с некоторым оттенком уныния. До сих пор они носились с Инною, как некогда носились с Базаровым; они искренно увлекались ею и говорили: ну да, вот это наши люди, ибо на них почивает наша печать! Даже философ Кроличков – уже на что, кажется, человеконенавистник! – и тот, сказывают, одобрил сцену, когда Инна, лишенная одежды и сидя по горло в воде, знакомится с графом Бронским. «Право, хоть бы и мне так поступить!» – воскликнул он, забыв, что у него совсем не те атуры, которые могут сообщать подобному положению надлежащий интерес. И вдруг все эти прогрессисты теперь увидели, что Инна всегда только на волосок стояла от того, чтобы пасть в русановские объятия! Какое разочарование! Только что было приискали Базарову подругу жизни, и вдруг эта подруга изменяет ему – и для кого изменяет? для тихо курлыкающего каплуна Русанова!

Итак, весь Петербург взволнован – взволнован чем? – будущими судьбами девицы Инны Горобец! Разве это не любопытно?..

Давно уже «День» не занимал моих досугов. Все это время он как-то либеральничал; то объяснял, что Россия не в Москве, а в России, то уверял, что ничего из этого не будет, потому что слуг настоящих нет, то убеждал всех соединиться и стать кругом. Все это было, конечно, очень резонно, но как-то до того уже распушено, до того утопало в море тропов и фигур, что только, бывало, рукой махнешь и за дальнейшими разъяснениями обращаешься уже к «Московским ведомостям». И действительно, только там можно получить истинное понятие о том, что в «Дне» представляется в виде отрывочном, беспорядочном и, так сказать, эмбрионическом; только там является настоящая популяризация тех пожеланий, которыми «День» хочет наэлектризовать свою публику, но которых он сам еще хорошо не сознает. И хотя оба эти почтенные органа очень часто между собою препираются, но распрю эту я отношу исключительно к недоразумению и нахожу, что вина в этом случае всею своею тяжестью падает на редакцию «Дня», которая, по какому-то непонятному капризу, никак не хочет признать солидарность, существующую между ею и старейшею московскою газетой.

Но в 16-м № этого почтенного журнала произошло нечто такое, что своею предусмотрительностью и преднамеренностью разом превзошло все «действительные меры», когда-либо предполагавшиеся «Московскими ведомостями». На страницах этого № вновь появился г. Касьянов (тот самый г. Касьянов, который в прошлом году беспокоил публику своими «письмами из-за границы» и который ныне витает уже в пределах обширного нашего отечества и чуть ли даже не на лоне самой Спиридоновки) и от нечего делать повел речь о нигилистах. Я умолчу о том факте, который заставил взяться г. Касьянова за перо, да он и не нужен здесь, потому что нигилисты сами по себе представляют уже факт достаточный и, по мнению всех московских публицистов, требующий мероприятий. В этом одинаково согласны и «Московские ведомости», и сам «День»; разница между ними заключается только в характере этих мероприятий и большей или меньшей их действительности. «Московские ведомости» желают действовать посредством устрашения и усекновения, «День» – посредством убеждения; «Московские ведомости» стоят на стороне таких мероприятий, которые действуют со всею скоростью и строгостью («отзвонил, да и с колокольни долой»), «День» – на стороне таких, которые действуют хотя медленно, но прочно; «Московские ведомости» утверждают, что нигилисты суть не что иное, как «жулики», что это растленные плоды «растленной петербургской атмосферы»; «День», напротив того, допускает, что это заблудшие овцы одного и того же стада, и не отчаивается сделать из них со временем полезных членов общества.

Основываясь на всех этих соображениях, г. Касьянов предлагает в своем письме особого рода педагогический прием. Припомнив себе стихи знаменитого

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
поэта-славянофила:

И ты, когда на битву с ложью
Восстанет Правда дум святых,
Не налагай на правду божью
Гнилую тяжесть лат земных.
Доспех Саула – ей окова.
Ей царский тягостен шелом,
Ее оружие – божье слово,
А божье слово – божий гром! –

он находит, что в этих стихах находятся самые удовлетворительные указания насчет характера предстоящих мероприятий, и обращается ко всем известным и неизвестным с просьбой действовать против нигилистов именно посредством этого не им изобретенного оружия.

На первый взгляд намерения г. Касьянова поражают своею учтивостью, и нигилисты (которые понеопытнее) готовы будут признать в нем отца родного, подобно тому как признали такового же в г. Тургеневе, изобразившем для них Базарова. Но я, с своей стороны, нахожу педагогический прием г. Касьянова не только не благодетельным, но даже сугубо принудительным и истязательным. Для того чтобы убедиться в этом, следует только пристальнее вникнуть в сущность предлагаемой им меры.

Никакие «действительные меры» не палят так нестерпимо, как паление словесное; ничто так не ожесточает человека, как паление словесное; ничто не ожесточает человека так сильно, как неумеренное казнение посредством восторженной ерунды, вроде сейчас выписанных стихов. Настоятельнейшее и притом совершенно законное право всякого истязуемого лица заключается в том, чтобы, по крайней мере, понимать цель прилагаемых к нему истязаний. Система усекновения, проповедуемая «Московскими ведомостями», по крайней мере, понятна; скажу более: своею очевидною резкостью она может даже приносить утешение. При виде этого постоянно и преувеличенно разверстого зева «Московских ведомостей», до того уже разверстого, что и сомкнуть его нет средств, голову может посетить мысль даже освежающая: «Пускай, дескать, человек потормошится, а мы посмотрим!» Никаких такого рода шансов не представляет система, предлагаемая г. Касьяновым, ибо она стремится вписать не тело, но самую бессмертную человеческую душу.

Представьте себе такую картину: сидит благонамеренный педагог и декламирует:

И ты, когда на битву с ложью
Восстанет Правда дум святых... –
– Понимаешь, дружок? – ласково спрашивает он у своего ученика.

– Не-нет... не понимаю! – отвечает ученик, которого ласковость педагога вовсе не ободряет, а, напротив, заставляет заподозривать нечто сугубое.

– А? не понимаешь, мой друг?! ну, повторим сначала!

И ты, ког-да на бит-ву с ло-жью
Вос-ста-нет Пра-вда дум свя-тых...
– Понимаешь, дружок?

И так до бесконечности. Что может предпринять ученик против этого стиховного наказания? Куда уйдет он от своего ласкового и благонамеренного учителя? Что будет, если он, наконец, не догадается и не скажет: «понимаю»? Что будет, если сам педагог наконец не выйдет из терпения и не закричит не своим голосом: «А ну-те, подайте-ка нам сюда розог»? Поистине я недоумеваю, какой может быть выход из этого трагического положения! ведь это все равно что объять необъятное, что изречь неизреченная, что стараться уловить свой собственный кукиш.

Но даже если ученик и догадается сказать «понимаю», то и тут он обязан употребить известную сноровку, то есть уметь сказать это весело, твердо, без колебаний в голосе. Ибо педагоги такого рода, как г. Касьянов, очень прозорливы: сейчас усмотрят малейшее дрожание в голосе, и тогда опять пошла писать:

И ты, когда на битву с ложью
Восстанет Правда дум святых...
Но даже и тогда, когда педагог достаточно раздражителен, чтобы выйти из себя при

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru в виде отчаянной непонятливости ученика, он обязывается высказать эту раздражительность как можно поспешнее, потому что при малейшем с его стороны замедлении ученик может дойти до окончательного озлобления и сделать над собой что ни на есть очень скверное. Ибо, повторяю: ничто так упорно не отстаивает свои права на неприкосновенность и невсписываемость, как бессмертная человеческая душа.

Мы, русские, в особенности не терпим душевных испытаний. Мудрая Екатерина понимала это и наказывала своих придворных тем, что заставляла, по мере вины, выучивать по нескольку стихов из Телемахида. Г-н Касьянов хочет применить эту методику в размерах уже несравненно более обширных, но ведь надобно, чтоб он предварительно объявил вину, за которую россияне должны понести столь тяжкое наказание.

С своей стороны, я свое дело сделал: я предупредил господ нигилистов, чтобы они не слишком-то радовались, что г. Касьянов намеревается действовать с ними посредством убеждения, и не торопились бы подносить ему титул «родного отца», которым они почтили г. Тургенева.

Передо мною две книги «Эпохи», и хотя я один в комнате, но очень явственно слышу, что вокруг меня раздаются какие-то рыдания. И чем дальше я углубляюсь в журнал, тем слышнее и явственнее становятся эти рыдания, точно сто Громек разом ворвалось в мое скромное убежище, точно несметное полчище сокращенных мировых посредников невидимо присутствует при моих занятиях.

Но нет, это рыдают не Громеки, это рыдает «Эпоха» устами всех своих редакторов и сотрудников. Рыдает Косица, рыдает Аполлон Григорьев, рыдает Федор Достоевский, рыдает Горский, рыдает Страхов. Один главный редактор, г. Михаил Достоевский, молчит, но это и понятно: он вдоволь нарыдался в объявлении, и затем, рыдания его уже должны подразумеваться во все дни существования «Эпохи». «Не роди ты меня, мать сыра-земля», – умиленно-унылыми голосами вопиют все эти бескорыстные труженики и в то же время присматривают, как бы им так приноровиться, чтобы всех прельстить смиренством да «тихим, кротким поведением».

Из всех этих рыданий я понял только рыдания г. Аполлона Григорьева. Он рыдает о том, что дошел до той степени умопомрачения, что не может отличить Ничкину от Белотеловой (известные лица из комедий Островского). Положение действительно трудное; но нового, собственно, оно представляет мало. По крайней мере, я имею в актере Славине живой пример того, что можно не только не различать Ничкину от Белотеловой, но, вместо: «наливай мне чару зелена вина», выговаривать: «наливай мне чару велена зина». И никто на г. Славина не жалуется, никто на него не ропщет, потому что никто от произвольной его перестановки слогов ничего не теряет. Кто слушает г. Славина, когда он ораторствует на сцене Александринского театра? Кто читает г. Григорьева, когда он ораторствует во «Времени», в «Якоре» или в «Эпохе»? Никто, ибо всякий себе говорит: «Ну, это то самое... знаю!» – и начинает в это время разговаривать с своим соседом. Следовательно, никто тут ничего не теряет, никто даже ничего и не подозревает. Пропускают целые сцены, оставляются нечитанными целые печатные листы, не потому совсем, чтобы зритель или читатель ожидали встретить там что-нибудь неприятное, а, так сказать, инстинктивно, на том только основании, что ничего этого ни слушать, ни читать совсем не следует. Стало быть, стоит ли тут беспокоиться, извиняться, оправдываться, а тем более рыдать?

Но о чем рыдают прочие редакторы и сотрудники «Эпохи», – этого я решительно понять не в состоянии. Вижу, что они изо всех сил друг друга поощряют, чувствую целый ряд усилий и потуг, слышу хор голосов, вопиющих: «бодрей! смелей!» – и все-таки остаюсь в совершенном недоумении. Что хотят совершить эти ужасные люди? намереваются ли они превзойти «Русский вестник» или же, подобно Купидоше (см. комедию Островского «В чужом пиру похмелье»), замышляют только «удивить мир коварством»?..

В заключение считаю не лишним представить на суд читателей драматическое произведение одного начинающего писателя, очевидно имеющее иносказательный смысл. Страхусь сказать, но думаю, что молодой драматург в своем произведении имел в виду едва ли не «Эпоху», журнал, в который, по-видимому, перешли все орнитологические тенденции «Времени». Вот этот драматический опыт.

СТРИЖИ

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Драматическая быль

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Стриж первый, редактор журнала.

Стриж второй, философ.

Стриж третий, эстетик.

Стриж четвертый, беллетрист унылый.

Стриж пятый, беллетрист веселый (находится в отсутствии). Стриж шестой }
стихотворцы.

Стриж седьмой

Нетопырь первый, служащий при редакции.

Нетопырь второй, сторож.

Несколько крыс.

Театр представляет заустелый, сырой погреб, на дверях которого красуется вывеска: «Главная редакция журнала «Возобновленный Сатурн»; по стенам полки; на одной из них несколько упраздненных кадешек, на которых сидят стрижи. По полу бегают голодные, тощие крысы.

Стриж первый. Прежде всего, господа, нам необходимо оглянуться на наше прошедшее. За что они нас обидели?

Все стрижи (вместе). За что они нас обидели?

Стриж первый. Целых восемь месяцев эта идея ни на минуту не покидала меня: за что они нас обидели? В течение двух лет с лишком все обличало в нас стрижей! мы собирались, толковали, проводили время, ловили мух... Казалось бы, каких еще гарантий надо! И вот, в одну ужасную минуту, Стрижу второму пришла несчастная мысль слетать в злополучный некоторый край...

Стрижи (вместе, кроме второго). «Вдруг вздумал странствовать один из них, лететь»...

Стриж первый. В это время некто Петерсон, имея достаточно свободных минут... Но за что они нас обидели?

Стриж второй (оправдывается). Я единственный стриж из бесчисленного множества стрижей, который занимался философией; и потому, будучи учеником и последователем Гегеля, я полагал...

Голос сверху. Впредь не полагай! (Стрижи в ужасе.)

Стриж второй (бессознательно продолжает свою речь). Я полагал...

Стриж первый. Довольно. (С горечью.) Очевидно, здесь даже оправдания не допускаются (голос сверху: «А ты думал как?»), а потому забудем прошлое (в сторону: «За что они нас обидели?») и займемся исключительно настоящим. Прежде всего, я полагаю, нам следует условиться насчет программы. Стриж седьмой! так как вы в настоящее время линяете, то выдерните из себя перо и передайте его Нетопырю первому. Итак, господа, что скажем мы в нашей программе? Откровенно говоря, мне хотелось бы предоставить это дело на волю наборщиков типографии! (Стрижи испускают слабый писк.) Вас это удивляет? Но я очень хорошо помню, как в годину основания «Отечественных записок» некто Андрей Премудрый говорил мне: «Друг мой! Хотя ты и стриж, но когда будешь издавать свой журнал, то помни...»

Раздается тихая музыка; с улицы доносится голос г. Альбертини, поющего на мотив: «*Jadis régna en Normandie*»: [19]

В одном пространном государстве

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Жил некогда мудрец Андрей;
Воспитан не в шелку, не в барстве,
Просил он несколько рублей,
Не по третям, а поскорей!
Голос в отдалении умирает; стрижи впадают в забытие; первый приходит в себя
Стриж второй и робко осматривается, не видать ли где Петерсона.

Стриж второй. Несмотря на многозначительное совпадение этой песни с словами моего почтенного друга и сострижа (я говорю не о внутренней сущности той и других, но о том, что в обоих случаях упомянуто знаменитое имя Андрея Премудрого), я полагаю, что совершенно положиться в этом случае на прозорливость наборщиков все-таки нельзя. Во-первых, наборщики, в видах сокращения труда, могут позволить себе брать буквы не по порядку, а горстями; во-вторых, они могут, назло нам, напечатать в программе, что журнал наш издается «для веселого чтения», и тогда кто может поручиться за последствия такого поступка!

Стриж третий. Да, тут может вновь произойти неприятное вейянье!

Стриж второй. И мы тем успешнее можем избежать всего этого, что имеем живой пример в глазах: журнал «Эпоху», издающийся с начала настоящего 1864 года. Подобно ей, мы можем сказать, что направление нашего журнала достаточно определяется уже тем, что его издают стрижи...

Стриж четвертый. И что недалеко то время, когда достаточно будет сказать слово «стрижи», чтобы всякий понял, что оно означает именно стрижей, а не орлов!

Стриж первый. Прекрасно. Я сам всегда утверждал, что мы стрижи – и ничего более. (В сторону.) За что они нас обидели? (Вслух.) И если бы Петерсон знал...

Голос сверху. Он знает! (Стрижи в ужасе.)

Стриж первый. Итак, программа написана. Теперь остается поговорить собственно о статьях. Стриж седьмой! готово ли у вас приветствие к публике?

Стриж седьмой (скромно). Я назвал свое приветствие: «Снова здорово». Песня эта должна изобразить радость молодого стрижа по случаю весеннего прилета птиц на старые гнезда. (Декламирует.)

В темный день!
В светлу ночь!
Собирались стрижи!
Собирались молодцы!
Уж как стрижики сидят-стоят!
Уж как молодцы молчат-говорят!
Чик-чибирики!
Чик-чибирики!
Веселые-мрачные стрижики! [20]

Стриж первый. Достаточно. Я полагаю, господа, что это стихотворение еще больше выяснит направление нашего журнала. Ибо что, в сущности, хотим мы сказать, спрашиваю я вас?

Все (отвечают хором).

Чик-чибирики
Чик-чибирики!

Стриж первый. Именно. Следовательно, все, что я могу заметить молодому нашему поэту и сострижу, заключается в том, что он без нужды заканчивает каждый свой стих знаком восклицания!

Стриж третий (обращаясь к Стрижу седьмому) Отдавая справедливость вашему «чик-чибирики!», я, в качестве критика орнитологических искусств, не могу не заметить, что мне гораздо более нравится ваш романс, начинающийся стихами:

На днях летая. Над Фонтанкой?

Я жажду. Утолить желал...

Правда, что знаки препинания расставлены здесь совсем уж несообразно, но от этих

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru стихов, если позволено так выразиться, разит «Ершами» Всеволода Крестовского, тогда как от вашего «чик-чибирики!» разит собственно вами.

Стриж первый. Вообще, Стриж седьмой, вам вменяется на будущее время в обязанность писать стихи без знаков препинания, которые расставит за вас корректор. Итак, одно стихотворение готово. (Стриж седьмой в восторге чистит носиком перышки в хвосте.) Ну-с, теперь вы-с! Господин Стриж шестой!

Стриж шестой (развязно). Стихотворение, которое я сейчас прочту, должно изобразить печаль стрижа средних лет при виде житейских треволнений. (Читает.)

Давно не катался я в лодке по Мойке...
Страшился... но вдруг пожелал!
И сладко забывшись, в той лодке, как в койке,
На дне ее смиренно лежал!
Взяв щепочку в лапки, я мнил, что сражаюсь,
Что сто океанов шумит подо мной!
Что я даже в лодке готовым являюсь
Сразиться с гнетущей судьбой!
Но ах! неуклюжая барка с навозом
Задела мой бедный челнок –
Чуть-чуть не погиб я! как будто морозом
Безвинно побитый цветок!
Собравши остатки, я челн свой исправил,
Замазал, заклеил, как мог!
И к Средней Мещанской я бег свой направил:
Там сказочный некий чертог
У Банкова моста, в огнях весь сияет...[21]

Стриж первый. Довольно, благодарю вас. (В сторону.) За что они нас обидели? (Вслух.) Одно только смущает меня: «собравши остатки»... какие остатки? чего остатки? Что разумел Стриж шестой, выражаясь таким образом?

Стриж шестой (запинаясь). Я... я разумел... я просто думал...

Стриж второй. Быть может, вы разумели какие-нибудь органические остатки?

Стриж третий. Быть может, вы разумели остатки прежнего нашего направления? (В сторону.) За что они нас обидели?

Стриж первый. Вот этого-то я и боюсь всего более. Признаюсь, я даже сомневаюсь, возможно ли при нынешних обстоятельствах печатать такое стихотворение, которое может дать повод к различным толкованиям... Конечно, если б меня удостоверял Петерсон, что можно...

Голос сверху. Можно! (Общая радость.)

Стриж первый. Прекрасно. Следовательно, нам остается засим перепечатать из «Эпохи» стихотворение Майкова, и мы будем вполне обеспечены. Теперь поговорим насчет беллетристики. Я полагаю, господа, что нам прежде всего следует перепечатать из той же «Эпохи» новое произведение И. С. Тургенева.

Стриж третий. Я полагаю даже, что не худо будет перепечатывать его в каждой книжке нашего журнала.

Стриж первый. Это так; это нас обеспечит. После того я полагаю поместить процесс под названием «Нечаянное убийство некоторого стрижа во время сражения при Сольферино» и еще интереснейший рассказ под названием «Старые и новые стрижи», присланный мне из провинции. Затем я с горестью должен сказать, что хотя друг наш, Стриж пятый, прислал нам целых десять романов, но они оказались подмоченными. Нетопырь первый! прочтите письмо нашего русского Купера!

Нетопырь первый (читает). «Был в Полтаве и облетел всю; написал роман и полетел в Харьков; в Харькове Кулиш устроил для меня танцевальный вечер; были дамочки... Тут только вспомнил: как жаль, что я не успел побывать в Полтаве...»

Стриж первый (в сторону). Ну, за что, за что они нас обидели?!

Стриж второй. Позвольте, однако; ведь он за две строки перед сим писал, что

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru облетел всю Полтаву, а теперь жалеет, что не успел быть в ней?

Стриж первый. Ах, Стриж второй! неужели же вы не знаете, что у него такая привычка!

Стриж третий. А я так нахожу даже, что это привычка совсем непередосудительная, потому что искусство без некоторой чертовщины не может и существовать!

Стриж первый. Во всяком случае, наше положение очень неприятно, потому что во всех десяти романах можно было явственно разобрать только следующее: «На высокой скале, обмываемой бурными водами тихой Лопани, гордо высится огромный белый замок, со всех сторон окруженный рвом. В этом замке живет старый маркиз де-Шассе-Крузе с дочерью своей, прекрасною Оксаной»... затем можно было с величайшими усилиями угадать еще следующее: «ро... ро... ро... путник в штиблетах... однажды мы с Гербелем, Григоровичем и Федором Бергом обедали у Тургенева»... и больше ничего!

Стриж третий. Это жаль; но нас выручит, конечно, Стриж четвертый, которого произведения читаются с жадностью не только стрижами, но и всем вообще пернатым миром!

Стриж четвертый. Новое произведение, которое я написал, носит название «Записки о бессмертии души». Для стрижей это вопрос первой важности, а так как нам надобно прежде всего показать, что журнал наш есть орган стрижей, что он издается стрижами и для стрижей, то весьма естественно, что я сообразовался с этим и при выборе сюжета. Записки ведутся от имени больного и злого стрижа. Сначала он говорит о разных пустяках: о том, что он больной и злой, о том, что все на свете коловратно, что у него поясницу ломит, что никто не может определить, будет ли предстоящее лето изобильно грибами, о том, наконец, что всякий человек дрянь, и до тех пор не делается хорошим человеком, покуда не убедится, что он дрянь, и в заключение, разумеется, переходит к настоящему предмету своих размышлений. Свои доказательства он почерпает преимущественно из фомы Аквинского, но так как он об этом умалчивает, то читателю кажется, что эти мысли принадлежат собственно рассказчику. Затем следует обстановка рассказа. На сцене ни темно, ни светло, а какой-то серенький колорит, живых голосов не слышно, а слышно сипение, живых образов не видно, а кажется, как будто в сумраке рассекают воздух летучие мыши. Это мир не фантастический, но и не живой, а как будто кисельный. Все плачут, и не об чем-нибудь, а просто потому, что у всех очень уж поясницу ломит... (Чихает от волнения и умолкает.)

Стриж первый. Что скажете вы об этом, Стриж третий?

Стриж третий. Я еще не понимаю... то есть, я и понимаю, и боюсь понимать!.. Это... это, так сказать, албинизм мысли... тут что-то седое... да! С одной стороны, потрясающее *furioso*, с другой – сладостное *cantabile*! С одной стороны, демоны увлекают Дон-Жуана в ад; с другой стороны – за сценой раздаются «По улице мостовой»... страшно! страшно!

Некоторое время стрижи молчат и не могут прийти в себя.

Стриж первый (Стрижу третьему). Все, что вы сейчас заметили по поводу нового произведения Стрижа четвертого, изложите, пожалуйста, в форме письма ко мне и приготовьте для второй книжки журнала. Это будет у нас отдел критический. Затем, господа, что касается собственно до текущей части журнала, то надеюсь, что мы будем руководствоваться в этом случае примерами прошлых лет. Вы будете писать ко мне письма, а я буду молчать; потом вы будете писать письма друг к другу – и таким образом год пройдет у нас незаметно! Конечно, вы уж приготовили, господа, что-нибудь в этом роде?

Стриж второй. Я приготовил письмо, в котором прошу вас объяснить мне, об чем я говорю...

Стриж первый. Прекрасно. Я думаю, что при нынешних обстоятельствах нужнее всего именно такие статьи, в которых преобладал бы элемент, так сказать, чревоушительный. (Спохватившись.) Позвольте, однако ж... ведь вы очистились?

Стриж второй. Принес покаяние и получил прощение.

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Стриж первый. Так и надо. Это значит, вы понимаете, что если человек провинился, то необходимо, чтоб он испросил прощения. Вы, Стриж третий?

Стриж третий. А я написал статью о влиянии чревного недуга на состояние драматического искусства в Петербурге.

Стриж первый. Отлично. Итак, господа, мы обеспечены, и я надеюсь, что отныне никто нас никогда не обидит... (В сторону.) И за что они нас обидели? (Вслух.) С одной стороны, мы убедим окончательно публику, что мы стрижи, с другой стороны...

Раздается треск. В погреб сходит М. Н. Катков, освещаемый сальным огарком. Крысы дохнут. Стрижи кричат «виноваты!» и падают в кадушку.

Запах.

(Занавес опускается.)

СТРИЖАМ

(Послание обер-стрижу, господину Достоевскому)

Я понимаю ваше огорчение. До сих пор вы жили довольно покойно; хотя читатель и видел, что в вас есть что-то уморительное, что вы пропагандируете отчасти розовую магию, отчасти столоверчение, но как назвать это уморительное, какое имя присвоить его усердным производителям, не знал или затруднялся. Вас называли «почвой», но это было слишком много и серьезно для вас, потому что вы не стоили и такого названия; затем называли вас «птицами», сидящими в роще и мирно толкующими, но это было слишком неопределенно, потому что птицы бывают разные, даже умные и полезные, к коим вас, конечно, нельзя причислить. Весь мир затруднялся, какое имя дать вам; я вывел его из этого затруднения: «Это стрижи», – сказал я, и все стало ясно. Ясно не только для читателя, но и для вас самих. Теперь ни один из вас по улице не может пройти, чтоб не услышать кругом досадного возгласа: «А это вот стриж идет». Теперь ни одному из вас нельзя посмотретья в зеркало, чтоб не сказать себе: «В этом зеркале я вижу стрижа». Сознаюсь, это положение горькое, и хоть кого, даже каменного человека, оно может подвинуть на кровную месть тому, кто поставил его в такое положение, – и вы решились отомстить.

«ЗАМЕТКА»

В последнее время петербургская журналистика, по-видимому, сильно заинтересована мною и моими отношениями к «Современнику». В «Русском слове» и в «Эпохе» появились статейки в высшей степени пошлого свойства, стремящиеся очернить мою личность, а последний журнал, сверх того, выдумал целый роман насчет моих отношений к журналу, в редакции которого я принимаю участие, роман, которого гнусность смягчается лишь его тупоумием.

Нисколько не удивляясь тому, что журнальная моя деятельность подала повод к трогательному союзу между семейством стрижей и не менее обширным семейством человекообразных, я предоставляю себе поговорить особо о всех злокозненностях, измышленных против меня в упомянутых выше журналах. Теперь же, в отвращение недоразумений, могущих возникнуть вследствие преднамеренных инсинуаций «Эпохи», считаю нужным объявить:

1) Что вся история о разладе моем с редакцией «Современника» выдумана и представляет не что иное, как продукт сплетнических способностей стрижей.

2) Что хотя ни в июньской, ни в июльской книжках «Современника» сего года действительно нет ни одной моей статьи, но это происходит совсем не от каких-либо разладов, а просто оттого, что я в настоящее время не нахожусь в Петербурге. Точно то же было и в прошлом году.

3) Что за всем тем, ни я к редакции «Современника», ни редакция ко мне не привязаны никакими крепостными узами, и ежели бы действительно обстоятельства заставили меня прекратить участие в трудах редакции этого журнала, то, само собой разумеется, об этом было бы прежде всего извещено в самом «Современнике».

4) Продолжаю ли я быть вкладчиком «Современника» или не продолжаю – об этом и

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru публика, и упомянутые два журнала могут узнать из последующих книжек этого журнала.

Журнальный Ад

Журнальный ад – самый незлобивый и приятный. В нем горят неугасимые огни, которые никогда никого не опалили; в нем бегают из угла в угол комолые и бесхвостые черти, которые никогда никого не уязвили; в нем раздаётся родительская брань, которая не задевает ни родителей, ни потомков; в нем являются на сцену выпрашивающие милостыни и сожаления журнальные семейства – и никто не требует от них удостоверения в убожестве; в нем дают представления целые стада «человекообразных», которые во что бы то ни стало хотят притвориться людьми и которых никто не останавливает, никто не говорит: «Погодите, ваша очередь еще не пришла». В довершение всего роль сатаны неожиданно присвоил себе известный попрошайка, Макар Алексеич Девушкин, тот самый Девушкин, который из гоголевской «Шинели» сумел-таки выкроить себе, по малой мере, сотню дырявых фуфаек.

Представьте себе Девушкина, сидящего в сатанах! Вместо пламени из глаз его лезет гной; вместо змеиной короны на голове у него колтун; вместо яда уста источают помой. «Ма-тинька вы моя! Простите вы меня, что я так кровожаден. Матинька вы моя! Я ведь не кровожаден, а должен только показывать, что жажда убийства не чужда душе моей, матинька вы моя! Я бедный сатана, я жалкий сатана, я дрянной сатана, матинька вы моя! не осудите же, простите вы меня, матинька вы моя!» Так непрерывно вопиет этот прокаженный вельзевул, и, несмотря на свои немощи, несмотря на то что весь так и пропитан попрошайством и лизоблюдничеством, все-таки лезет в драку: я, дескать, исправляю должность сатаны.

Поистине жалкий и смешной ад. Так и хочется сказать этому слепенькому, пыжащемуся сатаненку: «О чем ты стужаешься, бедный пичуга? к чему прудишь целые пруды своими помоями? не в свое ли собственное ложе прудишь ты? зачем тебе бездыханное тело твоего врага? и кто твой враг, кто этот праздный человек, которому до того нечего делать, что даже гной глаз твоих, даже твоё умильное попрошайство – и те его смущают и представляются предметами достойными противодействия?»

Игрушечный мастер Бакинский должен непременно воспользоваться подобным положением и устроить на продажу картонный литературный ад; с своей стороны, благонамеренные родители обязываются нарасхват раскупить эти игрушки, дабы показать детям своим, что самый ад может быть дрянным, незлобивым и безобидным.

Отчего ж он жалок? отчего смешон? Ответ на этот вопрос совсем не так мудрен, как кажется с первого взгляда. Оттого, просто, что над русской журналистикой висит целая туча бездельничества.

Под «бездельничеством» я отнюдь не разумею что-либо преступное или такое, за что занимающийся этим ремеслом подлежал бы лишению прав состояний; нет, «бездельничество» означает здесь лишь полное отсутствие какой-либо живой руководящей мысли, означает занятие таким делом, до которого ровно никому дела нет. Зритель смотрит на картонные турниры, в которых принимают участие картонные рыцари, вооруженные картонными мечами, – смотрит и недоумевает. «О чем они? К чему они? Птицы-то, птицы-то зачем тут?» – вот единственный вопрос, который он может себе задать по этому поводу и на который ни под каким видом нигде не отыщется ответа.

Откудашла на русскую журналистику эта туча, я не берусь разрешить; но полагаю, что для уяснения себе этого вопроса не нужно лазить ни в историю, ни в розыскание современного положения общественного темперамента, ни даже в анализ наличных литературных сил. Гораздо проще, по моему мнению, будет, если мы примем это явление, как факт глухой, как знаменье особенного божьего гнева, над нами тяготеющего.

В самом деле, если посравнить русскую литературу и журналистику за пять и даже менее лет перед сим с теперешней, то невольно придешь в недоумение. Пять лет перед сим в ней было заметно если не самое дело, то, по крайней мере, стремление к делу, попытки взять это дело за ухо, положить на стол и приступить к его рассмотрению. Правда, что тут было много праздных, а еще более наивных слов, правда, что тут на арену выступило множество таких микроскопических деятелей, а на алтарь отечества посыпалось бесконечное число до такой степени вдовьих лепт,

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru что в большинстве случаев невозможно было удержаться от смеха, но ведь первый блин всегда комом бывает, а при разборе отечественного мусора дело конечно, не могло обойтись без некоторого микроскопического самохвальства. По крайней мере, читатель видел, что здесь идет речь о чем-то для него не безынтересном, и затем сам уже имел возможность между множеством копошащихся пигмеев выбрать того, который приходился ему по вкусу. Сверх того, не подлежит сомнению и то, что пигмеи эти (были между ними, впрочем, некоторые и побольше ростом), будучи предоставлены самим себе, при помощи взаимного побивания, со временем все-таки очистили бы литературную арену от излишнего накопления деятельных сил и таким образом сделали бы невозможным дальнейшее вторжение ненужных элементов. Но посмотрите, что делается теперь! прочтите нагло-истерически-пустопорожние статьи московских публицистов, прислушайтесь к хладно-умеренно-размазистым разглагольствованиям петербургских газет, наконец, приблизьте к вашему носу сплетнические извержения стрижей и человекообразных! Что вынесете вы из этого сумбура? – увы! вы не вынесете даже представления, о чем тут идет речь.

И опять-таки повторяю: я вовсе не желаю входить в изыскание причин, породивших такое явление, а просто констатирую факт. И ежели кто меня спросит, почему же такое многообещающее начало привело к таким истинно жалким последствиям, тому я скажу: ищи сам, будь сам настолько остроумен и любознателен, чтобы догадаться, в чем тут дело. Я же, с своей стороны, могу присовокупить, что вдаваться в разрешение подобных вопросов значит добровольно обрекать себя на ту самую работу, за которую, по свидетельству Гоголя, брался известный Кифа Мокиевич.

Что статьи московских публицистов можно читать без ущерба для них и сверху вниз, и снизу вверх – это вещь не новая и всем известная. Гораздо более достойно замечания то, что они не только не стыдятся этого, но даже высказывают публично, что подобное поведение вовсе не постыдно, что над ними ничто не тяготеет, что они душедрянятуют и умонелепствуют по собственному своему усмотрению, состоя, так сказать, в твердой памяти и здравом рассудке. Ужаснее положения этих людей я не знаю. Каждый день быть вынужденным выжимать все один и тот же выжатый лимон, каждый день выматывать из себя миллион аршин лент, миллион раз уже вымотанных миллионом других не менее искусных престижигаторов, каждый день заштопывать и починивать все одну и ту же дыру, и при этом сохранять веселое выражение в лице, улыбаться, уверять: «Это я, это я сам», грациозно покачивать головкой или, в знак искренности, вдохновенно закатывать глаза, – воля ваша, это должно быть такое страшное испытание, которого не выдержат самые огнепостоянные натуры. В действительности, оно так и выходит. Как ни сверхъестественны усилия, делаемые московской публицистикой, чтобы заявить себя убежденною и убеждающею, она успевает в этом только до некоторой степени, да и то лишь относительно наружной отчеканки своей бесконечной работы. Снаружи-елейная раздутость фразы, снаружи – истинно соловьиная способность незаметно переходить из «трели» в «оттолчку», из «оттолчки» в «юлу», внутри – прах, прах и прах. Впечатление, производимое этим истерическим красноречием, можно сравнить только с впечатлением, которое производит зеленый, совсем назревший дождевик. Издали он кажется привлекательным, как будто даже устойчивым; кажется, что это словно какое-то оригинальное растение, но подойдите к нему ближе, дотроньтесь пальцем – и увидите, что из него вылетит целая туча черного, дрянного праха. Все эти «форейторы», сломя голову скачущие вперед», эти букеты, пускаемые по части чувств, эти воззвания к невежеству, ненависти, злобе, мести и т. п., – все это темный прах, который ни к чему не приводит, кроме ощущения очень неопределенного и вполне безотчетного. Но разве это результат? разве результаты ясные, положительные и прочные достигаются обращением к темным и бессознательным силам, временно или постоянно господствующим в обществе? Но предположим даже, что все эти букеты как раз придутся по плечу большинству, но ведь и это еще далеко не результат. Не надо забывать, что большинство забывчиво, что оно, хотя и способно приходить в восторженное состояние от хмельной фразы, но удерживает в своей памяти все-таки одно дело. А этого-то дела именно и нет, и как ни улыбаются почтенные публицисты, как ни прикидываются развязными, они не могут не сознавать, что недалеко то время, когда внутреннее их убожество раскроется само собою. Когда не будет повода для фразы, когда необходимость в тропах и фигурах исчезнет, что станется с тобою, бедная московская пресса? И вот что ужасно: вчера эти люди выжимали выжатый лимон, сегодня выжимают, но ведь и завтра, и послезавтра придется им делать все ту же операцию, и так до бесконечности все выжимать, все выжимать. И ежели идея о вечности имеет свойство пугать человеческое воображение, то еще больше пугает она его, обставленная такими поистине истязательными обстоятельствами.

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru Несколько иной наружный вид имеет хладно-размазистое красноречие публицистики петербургской. Это прах сдержанный, в противоположность умильно-развязному праху публицистики московской. Петербургская журналистика выжимает все так же выжатый лимон, но не говорит при этом: «Это я, это я сама», а делает гримасу, как будто ей противно. Конечно, один бог, видящий сердца наши, может знать, до какой степени непритворна эта похвальба, но, во всяком случае, уже то одно делает не малую честь петербургской журналистике, что она обнаруживает некоторые признаки томной стыдливости. Притворно переполняться так называемую «гражданскую скорбь», конечно, не похвально, но все же лучше, нежели непритворно снять с себя все покровы благопристойности и в голом виде расхаживать по отечеству. В первом случае, по крайней мере, не имеется соблазна, тогда как во втором наглый гистрион может найти тысячи похотливых собак, которых хлебом не корми, да покажи обнаженное человеческое мясо. Однако, как ни сдержан вид петербургской публицистики, как ни старается она намекнуть, что со всех сторон обижена и угнетена, все-таки публика ничего от этого не получает и получить не может. Какое дело читателю до того, что публицист о чем-то помалчивает, что он явно выставляет себя казанским сиротой, что сквозь каждую его строчку так и сочится: «Я не виноват: поймите, что я не виноват!» – читатель нетерпеливо прислушивается ко всем этим недомолвкам и обинякам: он пропускает мимо ушей полуфразы, полуслова, он все еще надеется нечто понять, к чему-нибудь прицепиться – и в результате получает прах!! Да, тот же прах, потому что сущность его, будет ли это прах стыдливый или самодовольно-нахальный, все-таки такова, что из нее не выжмешь не только дела, но и намек на дело. А ежели судить строго, то в этом случае прах приобретает даже сугубый характер. Ничего нет тяжелее, неловче положения публициста стыдящегося, с скрещенными на груди лапками вымаливающего себе прощения и снисхождения: он путается во фразах, он виляет языком, он делает объезд в тысячу верст, чтоб избежать употребления неприятного для его уха слова или чтоб поместить то малое слово, которое особенно дорого его уязвленному публицистскому сердцу, – и все усилия его тщетны. Публика видит насквозь его игру, видит, что игра эта затеяна собственно в видах личной защиты, что она скрывает за собой фразу: «Поймите! ведь я совсем не так глуп и невежествен, как кажусь!» – и нимало не трогается его мольбами. Она просто-напросто говорит: «А кто же тебя знает! может быть, ты и в самом деле невежествен и глуп!» И публика права, потому что ежели она мало получает от публицистики нагло-восторженной, то еще менее может получить от публицистики сдержанно-размазистой, ибо последняя обязывается совсем, совсем-таки молчать о деле, чтобы не выйти из своего характера. Положение ужасное. Публицист, который в душе, быть может, готов был горло всякому встречному перегрызть, должен сидеть смиренно и потихоньку да полегоньку выжимать себе да выжимать давно выжатый лимон. И при этом никогда не видеть конца своей работе, не иметь возможности вымолить облегчения этому каторжному занятию.

Наконец, есть еще третий оттенок литературной деятельности – это так называемая стрижиная деятельность. Надо сказать правду, стрижи первые сделали попытку, чтобы доказать, что можно мыслить без головы, с помощью одних крыльев. Здесь найдете вы и хныканье, и злобство, и сплетни, сплетни без конца; одного не найдете – дела. Стриж забывает самого себя; сию минуту он говорил нечто, говорил изобильно, хотя и не резонно; через мгновение он все забыл, забыл не только то, об чем говорил (этого-то, собственно, и упомнить нельзя), но и то, говорил ли он или молчал. Он безразлично подбирает все негодные объедки, выбрасываемые из прочих журналов, и, не входя в разбирательство, могут ли они стоять рядом или не могут, пичкает ими свой безобразный винегрет. Причина такого безразличного пичканья заключается в совершенном отсутствии памяти и известном последствии этого отсутствия – невозможности делать сравнения, сопоставления и выводы. Стриж всему изумляется, по поводу всего раскрывает рот, ибо факты представляются ему изолированными и потому всегда новыми. Вчера он видел известное явление и изумлялся ему; сегодня он уже забыл об этом явлении и, видя его вновь, вновь изумляется. Одно только слово «почва», словно типун, засело у него на языке, и им-то старается он прикрыть свой бессмысленный винегрет. Но, с одной стороны, слово это пошло, потому что до бесконечности растяжимо; с другой стороны, оно растяжимо, потому что до бесконечности пошло. Надо думать, что оно и придумано, собственно, затем, чтобы можно было во всякое время юркнуть и спрятаться под сению его. Ибо самый величайший мудрец, встретившись с ним, что же может произнести, кроме: фу! а хитрый стриж между тем клует себе да плетет свои сплетки под защитою этого своего рода непроходимого болота. Собственно, это даже и не литературная деятельность, а просто словесные упражнения, без подлежащего, сказуемого и связки, но надо было упомянуть об нем для того именно, чтоб читатель видел, до какого растленного положения может доходить, при известных

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru условиях, печатное слово, эти геркулесовы столпы, далее которых литературный прах идти не дерзает. Это литературный прах искренний, сознающий себя таковым и вполне убежденный в своей законности.

Итак, вот отношения журнального ада к делу. Нет ни одного вопроса, в оценке которого можно было бы не заподозрить или неискренности, или уклончивости, или, наконец, глупости. Можно после этого судить, каково должно быть влияние этого ада на общество.

А между тем вопросов этих стоит на очереди множество; по крайней мере, так утверждает «День». «Какие же это вопросы?» – добывается от них любознательный читатель. «Множество», – опять отвечает «День», а за ним и другие восторженные органы печатного слова, и с огорчением в сердце ждут, пока внешняя жизнь не выблюет им этих вопросов на растерзание. Тогда-то они покажут себя, тогда-то они явят себя истинными сынами отечества.. И не покажут и не явят ничего!..

О! ежели бы они знали, что лучше возбуждать один самодельный, но определенный вопрос, нежели разглагольствовать о «множестве», разгуливающим инкогнито! если бы они знали, что выгоднее совсем умолчать о «множестве», нежели систематически раздувать этим словом и без того уже раздутое тщеславие праздных зевак! Ибо не надо ошибаться, что для многих и очень многих самое слово «множество» имеет очень большую обаятельную силу, которая вполне удовлетворяет их. «Эге! да у нас «множество» вопросов, – говорят они, – стало быть, мы не спим, стало быть, мы прогрессируем!» И, успокоившись на этой мысли, идут себе на печку спать.

Да; нет более ужасного литературного яда, как тот, который высказывается в неопределенных, напыщенных и в то же время глубоко праздных выражениях. Очень немного таких читателей, которые могут отличить деланные восторги от настоящих, порожнее словесное гудение от дела. Большинство даже любит деланные восторги, как любит вообще все то, что отрывает внимание от обычной, серенькой обстановки жизни и дает возможность остановить взоры на иной жизни, быть может, и мишурной, но тешащей своим разнообразием. Нам известно, какие бывают последствия такого мишурного возбуждения чувств. Последствия эти: сегодняшнее опьянение, завтрашнее похмелье и на послезавтра – забвение для натур сильных и продолжительное безобразие для натур слабых и податливых на всякого рода искушения.

Таким образом, или «ничего», или «очень скверно» – вот действие, которое имеет журнальный ад на публику. И надо сказать правду: публика наша до сих пор показывает себя в высшей степени терпеливою и снисходительною, в особенности же относительно «ничего». Она с похвальной настойчивостью выписывает журналы, в которых когда-то нечто было говорено, она верит именам, которые когда-то нечто обещали, она вдумывается в смысл каждого слова, подбирает разбросанные там и сям крохи журнальной трапезы, «вообще ждет и в ожиданье поддерживается». Могут ли подобные отношения быть прочными и надежными? Отвечать на это возможно только сомнением. Искусство для искусства, которое некогда занимало самое видное место в нашей литературе, пало безвозвратно и заменилось искусством тенденциозным и публицистикой. С своей стороны, эти последние очутились в такой странной колее, из которой они никаких тенденций обнаружить не могут. А между тем публика требует чтения, а между тем того чтения, которое было бы пригодно для взрослых людей, нет, да и нет неоцененного искусства для искусства, которое могло бы занять досуг и прогнать скуку в ожидании настоящего чтения. Последствия такого положения вещей должны быть следующие: во-первых, читающая публика может наконец утратить всякое терпение и обратиться к тем затхлым мелодиям печатного русского слова, в которых она встретит, по малой мере, хоть беззастенчивость; во-вторых, та же публика (в том случае, если она будет продолжать оказывать терпение и кротость), приученная к загадкам и междустрочному чтению, рискует в своих толкованиях впасть в такой произвол, который, в свою очередь, поведет к распадению.

Итак, с одной стороны отупение, с другой междоусобие, напоминающее бурю в стакане воды, междоусобие, не захватывающее ни одной жизненной струны, пошлое, мелочное... вряд ли подобный результат может казаться желательным кому бы то ни было.

Представьте себе публику, которая окончательно убедилась, что царь фараон в непродолжительном времени выйдет из Чермного моря и полонит вселенную; или представьте другую публику, которая без усталости толкует о том, какое значение следует придавать такому-то словечку, употребленному в таком-то журнале или

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru газете... ведь это почти что сумасшедший дом! А это будет, будет несомненно, если в самом непродолжительном времени литературно-журнальный ад не поспешит устроиться на иных основаниях. Снова возвращаюсь к воспоминаниям о недавно прожитом нами коротком литературном периоде и снова говорю: там было много наивного, незрелого и даже негодного, но в то же время было и зерно чего-то такого, что, однако ж, не взшло. Отчего не взшло? – оттого, что не взшло. Желал бы я за всем тем воротиться к этому времени? – да, желал бы.

Не потому желал бы, что вижу там идеал, а потому просто, что вижу возможность, вижу то самое зерно, которое не взшло. Почтеннейшая публика! ужели же ты не видишь, что литературная нива наша положительно оскудевает, что она грозит в самом непродолжительном времени сделаться совсем-совсем непроизводительной! В самом деле, что произошло на этой ниве за последние три-четыре года? – Стрижи, стрижи и стрижи! О, смех и посрамление! Что будет, если журнальный ад вконец сделается в нем сатаной? Что будет, если мир всецело исполнится бессмысленными кликами стрижей или истерическими воплями московских публицистов? ежели эти две уморительные силы предъявят серьезную претензию утвердить вселенную? Украсится ли тогда любезное наше отечество? Будет ли оно внушать страх врагам внешним, снисполет ли мир в души врагов внутренних, тех врагов, о которых без устали твердит нам московская пресса? Почтеннейшая публика! размысли об этом.

«Но вывод, практический вывод всей этой длинной иеремиады?» – спросит меня читатель. Сознаюсь откровенно, этого вывода нет и не будет. Но дабы не оставить читателя совсем без вывода, предлагаю вместо одного следующего заключение.

Я начал статью мою словами: «Журнальный ад – смешной, незлобивый и приятный ад». Для тебя, публика, это действительно смешной ад, который может служить даже моделью для замысловатой игрушки; но для делателей этого ада, для тех, которые, по воле рока, осуждены на пребывание в нем, это ад, полный тяжких и непереносных мук. В нем нет обязательного лизания раскаленных сковород, но есть толчение воды, в нем нет железных клещей, вынимающих ребра, но есть витье из песку веревок, в нем нет огненных орлов, прилетающих клевать сердца грешников, но есть бестолковая птица стриж, которая может в одну минуту напакостить столько, сколько во всю жизнь не напакостит самому расстроенному желудком орлу... Суди же сам, благоразумный читатель, какие мучения следует предпочесть.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ КУСТЫ

«Спрятался в кусты» – выражение это обыкновенно употребляется, когда говорят об зайцах. Когда заяц убеждается, что ему грозит беда, что за ним гонятся, что ему нельзя маскировать своего пахучего следа, он бросается в кусты. Не потому он бросается, чтобы сознавал себя виноватым – в чем же заяц может быть виноват! – и не потому, чтоб надеялся, что кусты могут его защитить, даже заяц понимает, что кусты никогда никого защитить не могут, – а просто потому, что его влечет туда инстинкт животного самосохранения, что он теряет голову и, по своему малодушию, уже при жизни, так сказать, предвкушает муки предсмертной агонии.

До сих пор в русской литературе не существовало обычая прятаться в кусты; предполагалось, что литератор, как человек достаточно развитый в умственном отношении, более другого может понимать как содержание своего поступка, так и последствия, к которым он ведет, а следовательно, более другого обязан нести и нравственную ответственность за свои действия. Конечно, и литератор, как и всякий другой человек, мог впасть в ошибки, мог увлечься; бывали даже образчики литераторов очень блудливых. Все это в порядке вещей, и за такие поступки иногда крепко доставалось согрешившим. Но никогда не бывало, чтоб уличаемый <не> отпирался от своего действия, чтоб он не оправдывался, не объяснял своего поступка, не сознавался в грехе или, по малой уже мере, не отвечал на справедливые обвинения упорным молчанием. Если ошибка была следствием ложного убеждения и обвиняемый продолжал оставаться при прежнем мнении, то он настаивал на своей правоте посредством целого ряда доказательств и вообще старался обставить себя наиболее выгодным образом; если ошибка была следствием простого неразумия, то согрешивший или сознавался, или молчал. Но никогда никто не говорил: «Помилуйте! Я этого не делал! Это не я, это кошка сделала!» Никто таким образом не говорил, потому что подобные ответы несовместны с достоинством сколько-нибудь уважающего себя человека, что они могут быть извинены только в ребенке, да и то в ребенке забитом, постоянно находящемся под страхом розги.

Обычай прятаться в кусты и ссылаться на кошку, вместе с другими глупыми

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru обыкновенными, как-то: говорить речи без подлежащего, сказуемого и связки, подсматривать, подслушивать, соперничать и т. п., впервые введен у нас «Эпохой». Этому всемирному органу стрижей предстояло совершить великий подвиг в русской литературе; ему предстояло доказать, во-первых, что в литературных занятиях могут участвовать и птицы и, во-вторых, что при помощи этих птиц литература может на время превратиться в урну, переполненную сплетническими помоями. Подвиг этот «Эпоха» совершает неуклонно и с упорством, достойным лучшей участи. Ничто не удерживает ее на этом пути: ни литературная совесть, ни обязательная опрятность литературной формы. Она сама как бы сознается, что на нее следует смотреть совершенно особенным образом, что к ней ни под каким видом нельзя прилагать принцип вменения, подобно тому как это делается относительно всякого другого литературного органа. Она сама как бы говорит: «Сегодня я сделала пакость, а завтра от нее отопрусь – кто с меня взъщит? – всякий плюнет и отойдет прочь!» Расчет, быть может, и верный, но в то же время положительно неслыханный и невиданный в русской литературе до появления «Эпохи». В этом смысле она действительно составила эпоху.

Чувство полнейшего негодования овладевает при чтении августовской книжки «Эпохи» за текущий год. Можно защищать фальшивую мысль, можно быть парадоксальным, можно даже, во что бы то ни стало, быть преданным известному порядку идей – все это явления, конечно, очень печальные, но которые человеческий разум потому уже допускает, что их можно оспаривать, а следовательно, и победить; но никак не позволительно являться в люди с одной искреннею нелепостью, с одним непроходимым малодушием.

«Эпоха» начала свое существование тем, что в 1–2 №№ выпустила на счет «Современника» сплетню; дело шло о каких-то несогласиях, будто бы возникших между «Современником» и другим журнальцем, который «Эпоха», по свойственной ей пронизательности, считает солидарным с «Современником»; над этими несогласиями «Эпоха», разумеется, веселенько подсмеивалась. Конечно, вся эта история была выдумана затем единственно, чтобы кормиться ею как можно долее (ибо где никогда не было согласия, там, естественно, не может быть и несогласия); но спрашивается: если б и в самом деле мнимо-существовавшее между двумя литературными органами согласие вдруг превратилось в несогласие, – есть ли тут повод для хихиканья и настоят ли надобность показывать в кармане кукиш? Очевидно, что повода нет и надобности не настоят и что роль третьей стороны в подобном деле заключается единственно в оценке мнений обеих враждующих сторон и в произнесении своего собственного суждения. Однако «Эпоха» предпочла показать кукиш. На этот кукиш «Современник» отвечал комедией «Стрижи». Статья эта не относилась ни к одному из сотрудников «Эпохи» в частности, не имела даже специально в виду ни одной статьи этого журнала; но она заключала в себе полную характеристику таких намерений и воззрений, которые по своей сущности вполне заслуживали наименования птичьих. – Этого было достаточно, чтобы каждый из пернатых в особенности и все пернатые в совокупности почувствовали себя уязвленными.

Я понимаю: полемический прием «Современника» действительно заключал в себе мало лестного. «Эпоха» тщательно скрывала свое родоприсхождение; она с мучительным беспокойством, хотя и неуместно, следила за тем, чтоб на листах ее не было заметно следа перьев или пуха; она уже обольщала себя надеждой, что обманула вселенную; она видела в числе своих сотрудников Островского и Тургенева; мало того: она даже сама постепенно привыкла не думать о том, что пернатость есть то непременно качество, которое должно фаталистически преследовать все ее действия. И вдруг... «стрижи»! Все вспомнили; все сказали: ну да, это они, это «стрижи». Чье же злодейское перо выдало секрет, начинавший приходить в забвенье? кто тот ужасный человек, которого не тронула даже искренняя нелепость, который не остановился даже перед столь естественным желанием, как желание скрыть свое стрижиное происхождение?

«Эпоха» всполошилась; она пустила в ход все зависящие средства и узнала-таки имя ненавистного незнакомца. Плодом этого соглядатайства была статья: «Раскол в нигилизме, или Отрывок из романа Щедродаров» (читай: Щедрин).

Гадостнее, презреннее этой статьи по содержанию, тупоумнее, бездарнее по форме трудно что-нибудь представить себе. Вообразите себе древнехолопскую сплетню, рассказанную древнехолопскими устами, приправленную древнехолопскими прибаутками и сопровождаемую секретным древнехолопским злорадством, – и вы будете иметь понятие лишь о сотой части того древнехолопского романа, которым так и обдаёт

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru упомянутая выше статья. Дело идет опять-таки о сплетне, намеченной даже не против журнала и его направления, а исключительно и лично против одного из сотрудников этого журнала, против того сотрудника, который, по достоверно полученным сведениям, напомнил читающему миру, что «Эпоха» издается стрижами.

Чтоб уязвить чувствительнее, «Эпоха» становится на почву убеждений. Она знает, что человеку свойственно обладать тем, что на человеческом языке называется убеждением; она слышала, сверх того, что человек, составивший известного рода убеждения, не легко расстанется с ними, что они ему дороги. Но все это известно ей только по слухам и, в сущности, кажется до того забавным, до того несходным с привычками пернатых, что она задумала разутешить себя и свою публику легким и игривым разговорцем по части убеждений. Разумеется, Щедродаров (Щедрин) представляется тут в самом уморительном виде: он то отстаивает свои убеждения, то покоряется какой-то таинственной силе, над ним тяготеющей, то вновь возмущается против насилия и т. д. Представьте себе, в самом деле, человека, который имеет свои убеждения – хи-хи! представьте себе человека, который, обладая известными убеждениями, считает, однако ж, полезным и своевременным до известной степени и при известных условиях подчинить их убеждениям идущих с ним рука об руку в общем умственном труде – ха-ха! представьте себе, наконец, этого самого человека, который, несмотря на необходимость уступки, все-таки тяготится ею – хо-хо! Вот какую трагикомическую трилогию угостила «Эпоха» своих читателей. Повторяем: все это она выдумала, насплетничала и наклеветничала, но при этом не рассчитала одного: что впечатление, производимое ее статьею, совсем не достигает тех целей, которые она имела в виду. В самом деле, из статьи ее получается только один совершенно определенный вывод, а именно, что и Щедродаров и прочие редакторы «Современника» имеют убеждения. «Что же тут смешного?» – спросит себя удивленный читатель и в сотый раз убедится, что смешного тут нет ничего, кроме бессмысленного хихиканья захмелевших стрижей.

Выпил рюмку, выпил две –
Зашумело в голове, –

вот единственное заключение, которое может сделать читатель по прочтении статьи.

«Современник» счел долгом ответить и на эту статью, и притом ответить серьезно. Это была ошибка. Толковать с стрижами, разъяснять им непохвальность их поведения совершенно излишне. Стрижи не поймут убеждений разума, потому что для них «убеждение», «разум» – слова совершенно новые, неслыханные, над которыми можно только смеяться веселым стрижиным смехом. Сверх того, они могут возгордиться тем, что вот и с ними заговорили наконец серьезным тоном. К стрижам можно относиться только в художественной форме, которой они больше всего опасаются. Характеристические черты стрижиного мирозерцания обладают тою неуловимостью, которая ускользает от анализа; но для художника эта неуловимость и, так сказать, мутность – чистый клад. Поэтому самым лучшим полемическим приемом в этом случае было бы отвечать стрижам новой комедией.

Как бы то ни было, но дело сделано, и в сентябрьской книжке «Современник» совершенно ясно и вразумительно доказал стрижам, до какой степени мелка и омерзительна была до сих пор их полемическая деятельность; что она никогда не имела в виду что-либо существенное, а всегда кружилась около личностей; что она отличалась неслыханной непринужденностью выражений и самою пошлою веселостью по поводу предметов, никакой веселости не возбуждающих. Доказал это «Современник» с номерами «Эпохи» и «Времени» в руках, доказал обстоятельно, добросовестно, хотя и несколько длинно.

Что же делает «семейство М. М.. Достоевского» при виде такой напасти? Уличенное, посрамленное, застигнутое врасплох в своих собственных укреплениях, эпохино семейство не унывает. Стрижи обращаются в зайцев и, припомнив, что есть на свете кусты, спешат укрыться под их ненадежною защитой. «Это не мы, это кошка сделала!» – пищат они хором. «Нас трогают не личности, а идеи!» – свищет один. «Мерзит нам личная полемика, и не понимаем мы, как можно позорить бранью и сознательной клеветой людей за то только, что те не согласны с нами в мыслях!» – подсвистывает другой.

И все это свищется и подсвистывается после «Сказания о Дураковой плешу», свищется в то время, когда в воздухе еще столбом стоит отвратительный запах, пущенный «Отрывком из романа Щедродаров»! О стрижи! о ветреное и несообразительное племя! Ужели ты и впрямь думаешь, что никто тебя не увидит, если ты прячешь голову под крыло?

Идеи, мысли... так вот вы чему хотите противодействовать, стрижи! Гм... это очень любопытно. С каким же запасом человекоубийственных орудий идут эти особого рода крестonosцы на войну против идей и мыслей? Каким военным кличем поддерживают они храбрость и готовность в рядах своих? Увы! вместо орудий в руках у них обглоданные кочерыжки, выбрасываемые из псевдославянофильской поварни «Дня»; вместо военного клича их подстрекает на драку с идеями карканье «Московских ведомостей», претворенное в слабый писк при помощи стрижиных слюней!

А чтобы доказать вам, что запас ваш именно так ничтожен и скромн, как о том говорится выше, возьмем на выдержку несколько измышлений ваших из той урны идей, которую вы угостили почтеннейшую публику под видом объявления об издании «Эпохи» на 1865 год.

Во-первых, вы все еще вооружаетесь против «западников». Что, собственно, вы понимаете под этим выражением, этого вы не можете объяснить и сами; вы видите, что оно красуется на столбцах «Дня», и берете его напрокат. Но в «Дне» борьба против западничества составляет застарелую болезнь, завещанную ему предками; «День» в этом случае уподобляется тем часам, которые за несколько лет перед тем остановились, положим, на десяти часах; встретилась надобность пустить их в ход и сразу поставить на двух часах, а они все-таки продолжают бить с десяти часов, и много требуется терпения, чтоб восстановить правильный бой их. Борьба между так называемым славянофильством и западничеством имела место несколько лет тому назад и не только не лишена была смысла, но даже имела значение гораздо более широкое, нежели то, которое ей приписывается близорукими ее судьями. Дело шло по наружности о реформах Петра I; одни порицали тлетворное влияние Запада, сделавшееся неутешительным вследствие этих реформ; другие именно потому и хвалили эти реформы, что вслед за ними почувствовалось тлетворное влияние Запада. Но все это, повторяем, было только по наружности: и реформы Петра, и влияние Запада выводились на сцену только для красоты слога и как повод для того, чтобы высказать другую мысль. Мысль эту можно в настоящее время формулировать таким образом: следует ли допускать участие разума в жизни, или же оставить ее в подчинении у темных сил? «Западники» утверждали, что участие разума в жизни может только украсить ее, и, указывая на Запад, не объясняли вполне своей мысли, а предоставляли читателю самому додумываться до результатов; «славянофилы» же говорили: «Нет, участие разума может только портить жизнь», – и указывали на пример допетровской Руси, которая жила единственно с пособием веры, надежды и любви и не погибла. Петровская и допетровская России нужны были в этом споре не как доказательства, а как доступные в то время формы доказательств. И действительно, когда явилась возможность согласиться насчет реформ Петра, то споры об этом предмете прекратились очень скоро, а вслед за тем и название «западников» утратило свой смысл.

Спор вошел в те границы, в которых ему всегда следовало быть, и получил свое естественное содержание. В наше время не только нет «западников», но даже самое слово «западничество» заглохло в литературе. Есть в Российской империи люди благомыслящие, есть люди просто преданные, есть люди вдохновенно-преданные, есть нигилисты, есть ерундивы, есть стрижи. А «западников» нет.

А вы против них-то и вооружаетесь, да еще придаете «западничеству» самый простой, нехитрый смысл: смешиваете его с обезьянничеством. О, стрижи!

О ты, что в горести напрасно
На бога ропщешь, человек?

О чем вы стужаетесь? Какие «западники» вас обидели? успокойтесь! все они или спят в могилах, или возродились в виде сельного крина на столбцах «Московских ведомостей». Ужели вы и против них секретно коварствуете?! О, ежели это так, то

О герой! кто тебе равен!

О герой! кто столько славен!

Но все-таки вспомни, герой! против кого ты поднял руку? против кого ты коварствуешь? – Вспомни и прикуси язык. Итак, пункт первый решен. Вы направляете ваши стрелы против того, что не существует, вы сражаетесь с мельницами.

Во-вторых, в вашем объявлении встречаем мы следующую фразу: «Ни одна земля от своей собственной жизни не откажется и скорее захочет жить туго, но все-таки жить, чем жить по-чужому и совсем не жить». В этой фразе заключается вся сущность вашей мудрости, ибо все дальнейшее есть не что иное, как самая грубая и

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru несносная амплификация сейчас выписанного изречения. Но ежели мы всмотримся пристальнее в смысл этой фразы, то найдем, что она именно смысла-то никакого и не имеет, что она есть набор случайно подобранных из лексикона слов, что она, в свою очередь, есть амплификация чего-то такого, чего вы не сказали, ибо сами не знаете, что хотите сказать. Прежде всего, нужно полагать, что вы упоминаете о земле не в смысле геологическом, а в смысле народа, страны, государства. Не говорите, что мы придираемся к выражениям; ведь вы, стрижи, хитры, и с вами надо вести дело начистоту, ибо вы тотчас же скажете: мы совсем не о том говорили, вы не поняли; это кошка говорила, а не мы. Итак, предположим, что вы сказали: «Никакой народ» и т. д. Теперь спросим себя, что такое жизнь вообще, и для объяснения возьмем в пример жизнь отдельного человека. Человек является, на свет ребенком, и притом при таких органических условиях, которые дают очень мало поводов заключать о будущем его развитии. Затем начинается для него уже новая жизнь, то есть воспитание телесное, умственное и нравственное. Он получает понятие о среде, его окружающей, о вещах и людях, эту среду составляющих, приучается сравнивать, различать и делать выводы. Он скоро, очень скоро начинает понимать, что стрижи не люди, а люди не стрижи. В этом сложном процессе всестороннего развития человека заключается вся его жизнь, и чем более приобретает он знаний, тем шире и яснее становится его умственный кругозор. Что в этом процессе свое и что чужое? С одной стороны, все чужое, потому что не будь этого «чужого», не было бы и своего; с другой стороны, все свое, потому что не будь этого «своего», то не существовало бы (для данного человека) и чужого. Не одной счастливо одаренной организации обязан человек своим развитием, но и тому, в какой мере он находится в соприкосновении с людьми и с внешней природой, да еще с какими людьми, с какою природой. Точно то же должно сказать и о жизни общества, народа, государства или страны: на них внешний мир влияет таким же образом, как и на отдельного человека. Никакое общество не может сказать: я буду жить хоть по-глупому, да по-своему, во-первых, потому, что выражение «жить по-своему» есть вообще выражение пустое, не имеющее никакого содержания, во-вторых, потому, что по-глупому жить ни в каком случае не выгодно, а в-третьих, потому, что обок с этим обществом существует другое общество, которому глупая жизнь его соседа может мешать, ибо человеческие интересы в конечном результате везде и всегда солидарны. Затем спрашиваем вас: каким образом вы ухитрились разрубить жизнь на две половинки, из которых одну называете своею, а другую чужою и которые, по вашему мнению, постоянно должны находиться друг с другом на ножах? И как следует после этого истолковать вашу фразу, «жить туго, но все-таки жить», «жить по-чужому, и совсем не жить»? Ведь у вас рядом идут два такие понятия, которые взаимно друга исключают, ибо разве возможно жить и не жить вместе? Что означает подобная не имеющая смысла фраза? А вот что: она означает стрижиную страсть к реторике, она означает ту ненависть к ясности и определительности, которая составляет непрременную принадлежность всего, что само не понимает, чего желает и о чем плачется. Если б в вас не было этой ненависти, вы, конечно, выразили бы вашу мысль так: «Глупый живет по-глупому; к глупому не пристанет чужое умное, к умному не пристанет чужое глупое». И было бы понятно.

Итак, пункт второй: существенная цель, к которой, по вашим же словам, стремится ваш журнал и которая должна составлять его содержание, представляет собой полное оскорбление здравого смысла. Посмотрим теперь, что вы скажете о средствах, при помощи которых вы предполагаете достигнуть этой цели.

Вопрос об этих средствах составляет пункт третий. Вот что вы говорите об этом предмете. «Хвалить дурное и оправдывать его из-за принципа мы не можем и не хотим. Издавать журнал так, чтобы все отделы его пристрастно составлять из одних подходящих фактов; видеть в данном явлении только то, что нам хочется видеть, а все прочее игнорировать и умышленно устранять; называть это «направлением» и думать, что это и правильно, и беспристрастно, и честно, – мы тоже не можем». Прежде всего, в этих немногих словах поражает детская манера беседовать с читателем о каких-то похвалах и порицаниях. Кому нужны ваши похвалы, кто обращает внимание на ваши порицания? Вы все еще думаете, что назначение журнала не в том заключается, чтоб говорить дело, а в том, чтобы «хвалить» или «порицать»? О, ветреное племя! Вы забыли, что мы уже не в двадцатых годах живем и что в настоящее время задача похвал и порицаний не только упрощена, но даже совсем выброшена за негодностью за окно. Но довольно об этом; поговорим собственно о том, что вы называете «направлением» и против чего вооружаетесь.

Когда люди соединяются вместе для общего умственного труда, то они прежде всего обуславливаются между собой о предмете этого труда, о тех разнообразных

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru последствиях, которые могут из него вытекать, и о тех условиях, в которых ведение этого труда поставлено обстоятельствами. Не сговориться насчет этого невозможно, потому что это значило бы заранее обречь общий труд такого рода случайностям, которые подкопали бы его в самом корне. Из этих подготовительных совещаний вырабатываются так называемые общие начала, приступить или не приступить к которым предоставляется на волю каждого, и затем приступившие – остаются в деле, а не приступившие – отказываются от него. От приступивших также ничего не требуется особенного; они не обязываются ни клясться, ни есть землю, ни даже, по древнееврейскому обычаю, класть руку под стегно, в знак преданности; предполагается, что они достаточно связаны добровольно сознанию ими разумностью дела, чтобы не отступить от него без особенно важных побудительных причин. Чем большую сферу жизненных требований и условий захватывают эти общие начала, чем они дальновиднее, тем более они представляют залогов прочности и устойчивости. Невозможно себе представить таких общих начал, которые бы ничего не предвидели и останавливались перед всяким фактом. Такого рода начала следовало бы назвать не общими, а ёрническими, подобно тому как ёрником называем мы такого человека, который не крадет, когда нельзя украсть, и крадет, когда украсть можно. Таким образом, общие начала определяют не только систему, но и значение в этой системе возможно большего числа частных явлений и фактов. Тем не менее нельзя не заметить, что общие начала в дальнейшем своем применении и развитии могут встретиться, во-первых, с фактами совсем непредвиденными и, во-вторых, с такими фактами, которые хотя и были предусмотрены, но обойдены, так как они не разрушают общей разумности принятых начал, а лишь временно, в виде исключения, затрудняют их применение. В первом смысле новые факты не могут быть ни значительны, ни многочисленны; нельзя себе представить, чтоб люди взрослые и не лишенные рассудка, договариваясь между собой о столь важном деле, как общие начала, могли пропустить факт сколько-нибудь крупный. Если даже предположить, что эти люди совсем бесчестны, что они намеренно обходят факты, – все-таки нужно, чтобы они условились, по крайней мере, насчет того, как лучше обойти факт. Следовательно, в этом случае возникновение явлений непредусмотренных может послужить лишь к поправке и пополнению общих начал, а не к коренному их изменению. Что же касается до явлений второго разряда, то отношение к ним общих начал несколько сложнее, ибо тут дело идет уже не о пополнении общих начал, а о согласовании их с теми кажущимися противоречиями, которые представляются жизнью. Так, например, мы в смысле общего начала можем написать на нашем знамени следующее изречение: прогресс никогда не прерывающийся есть неперенное условие жизни человеческих обществ. На это история, конечно, может возразить рядом фактов очень значительных, может указать на целые эпохи, в продолжение которых человечество, как бы одержимое безумием, положительно действовало наперекор своему собственному благу. Но возражение это будет все-таки недействительное. Мы, в свою очередь, и весьма основательно, можем доказать истории, во-первых, что прогресс, несмотря на кажущиеся колебания, есть факт для всех слишком очевидный, чтобы можно было придавать значительный вес частным отклонениям, совершенно утопающим в общем разумном движении жизни; во-вторых, что она совершенно напрасно присваивает себе титул истории человечества, тогда как, в сущности, рассказывает лишь историю незначительного меньшинства; в-третьих, что ежели жизнь этого меньшинства и может вследствие случайных условий колебаться между прогрессом и застоем, то этого невозможно сказать о человечестве в общей массе, так как на это последнее, по его громадности и разнообразию составляющих его элементов, случайные причины никакого решительного действия иметь не могут, и, в-четвертых, наконец, что то уродливое меньшинство, которое усиливается остановить прогресс, в сущности, нимало его не останавливает, а только приготовляет своими усилиями собственную гибель. Другой пример. Предположим, что А и В руководятся в своей деятельности одними и теми же началами, но В вследствие страстности своей природы нередко впадает в преувеличения, возбуждает ужас в неопытных сердцах резкостью своих действий и суждений и вообще поступает так, как бы ему предстояло не привести к себе вселенную, а отогнать ее от себя. Как ни прискорбен этот факт, но он отнюдь не может противоречить нашим общим началам, ни подрывать их. Людям, указывающим нам на него как на доказательство нашей несостоятельности, мы можем сказать: вы очень недобросовестны, милостивые государи, если не умеете отличить истину от тех временных преувеличений, которые нацепляются на нее энтузиазмом и увлечением; сверх того, вы и близоруки, ибо не видите, что энтузиазм В составляет в общей экономии жизни один из необходимейших жидительных элементов, что в нем заключается источник инициативы, столь драгоценной для успеха всякого дела, и что тем не менее тот же самый энтузиазм, сделавши свое дело, непременно придет к отрезвлению, ибо непременно же убедится, что с одним энтузиазмом никакого дела к концу привести нельзя.

Итак, вот значение общих начал, вырабатываемых людьми, собравшимися для общего умственного труда. Совокупность этих начал составляет то, что называется направлением, и так как (об этом объяснено выше) в этом случае направление предвидит и исчерпывает собою возможно большую сумму жизненных явлений, то оно имеет полное и бесспорное право требовать от людей, к нему присоединившихся, сообразного с его содержанием образа действий.

Эти последние слова отнюдь, однако ж, не означают, чтоб «направление» говорило: «Подбирай факты только подходящие, такие-то факты игнорируй, а такие-то усматривай», – подобную речь могут держать только стрижи. Но направление может и имеет право сказать: «Старайся осмыслить встречающиеся тебе факты, а не суйся с ними как угорелый; согласуй их с общими началами, дающими жизнь и силу твоей деятельности, а не поступай подобно стрижам, которые, встречая забор, поют: «вот забор!» до тех пор, пока не встретятся с березой и не запоят: «вот береза!» – умей определить их значение в общей системе выработанного тобой мирозерцания, а не кричи без стыда: «Мы, дескать, и без мирозерцания как-нибудь изживем расширотскую нашу жизнь!»

Без «направления» никакая деятельность невозможна, ибо оно дает смысл этой деятельности, обнажает слабые и сильные ее стороны, делает возможным спор и в результате порождает истину. Вот против этого-то и вооружается семейство М. М. Достоевского, издающее «Эпоху». Спрашивается, чем же оно само руководится в своей литературной деятельности?

На это оно отвечает: «Не так разумеет направление», и далее разъясняет: «Мы не боимся исследования, света и ходячих авторитетов». Но разве это ответ, разве в этом наборе слов заключается что-нибудь похожее на дело, на мысль? что такое эти «исследования, свет и ходячие авторитеты», которых можно бояться и не бояться? следует ли их бояться? боится ли их кто-нибудь? об чем «исследования»? какой «свет»? и что за «ходячие авторитеты»? Увы! отвечать на эти вопросы можно только известным стихом:

Ничего в волнах не видно...

Ибо и тут, по обычаю «Эпохи», мы встречаемся лишь с фразами и стрижиного дрянною риторикой. Помилуйте, сироты! Неужели вы не понимаете, что определять таким образом «направление» все равно что сказать: «мое направление состоит в том, что я не боюсь ни воды, ни огня, ни стихий небесных, или в том, что я прячусь в дупло всякий раз, как только слышу первые раскаты грома». Ведь такое определение свидетельствует лишь в пользу личной вашей храбрости («Посмотри, папаса, какой я хляблй!»), и отнюдь не более. Какое это направление – это высокопарная ерунда, и больше ничего.

Итак, пункт четвертый: вы не имеете средств достигнуть вашей цели (которой вы, впрочем, тоже не имеете), потому что не имеете направления и не чувствуете даже потребности иметь его.

Вот самые рельефные пункты вашей премудрости. Целых восемь страниц прикидываетесь вы сиротами, просите читателей о милосердии и то храбритесь, то колотите себя в грудь в знак раскаянья – и ведь ни одной-то мыслью, ни одним недохлым словом не проговорились на пространстве целого печатного полулиста!

Неужели же это не обглоданные кочерыжки?

НО ЕСЛИ УЖ ПОШЛА РЕЧЬ ОБ СТИХАХ..
<Отрывок незаконченной статьи>

Но если уж пошла речь об стихах, так вот и еще один образчик.
Конечно, презирать не трудно
Отдельно каждого глупца,
Сердиться также безрассудно
И на отдельного срамца;
Но – чудно!

Всех вместе презирать их трудно!

Пушкин, написавший эти стихи, конечно, не имел в виду сказать, что даже «срамцы», несмотря на свое срамство, могут производить нравственное огорчение на человека; он не мог сказать это уже по тому одному, что «срамцы», как ни

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru принимать их, каждого ли в отдельности или всех в совокупности, все-таки останутся срамцами, и количественное их умножение может содействовать лишь количественному же умножению того «срама», который они из себя источают и который всецело падет на их же собственные головы.

А потому, вникая ближе в смысл пушкинских стихов, я полагаю, что великий поэт хотел сказать следующее: «срамцы» вообще народ презренный и в то же время ничтожный, ибо действуют беспокойно не на внутреннего человека, а лишь на его эпидерму; следовательно, действия их тогда только могут иметь некоторый успех, когда они производятся одновременно целым множеством отдельных «срамцов», заключивших между собой дружественный союз. Ибо тогда человек, против которого направлены «срамные» усилия, подвергается опасности почувствовать в теле неприятный зуд.

И действительно, «срамцы» – своего рода паразиты; чтоб уничтожить каждого из них поодиночке, слишком много даже и щелчка, но представьте себе целую тучу паразитов, нападающих на вас и сзади, и спереди, и с боков, – тут поневоле воскликнешь: да,

Всех вместе презирать их трудно!

В прошлом лете я именно был жертвой такого рода дружных усилий «срамцов». Человекообразные соединились с стрижами, эти последние, в свою очередь, подали лапку амфибиям. Некоторый молодой гиббон (скорее, впрочем, лемур, нежели гиббон) написал, в шутовском, но пакостном тоне, мою биографию; некоторый чимпандзе обратился ко мне с серьезным увещанием, что лучше было бы, если б я перестал заниматься беллетристикой, а принялся бы за естественные науки; даже сам старый горилла (портрет его зри в сочинении Гёксли: «О положении человека в ряду органических существ», где можно получить и интереснейшие сведения о всех человекообразных вообще) – и тот воспылил ко мне гневом и ненавистью и вознамерился зубами сокрушить конец пера, которым я пишу. Еще более занимались мною «стрижи». Один из них (впоследствии он назвал себя, но я все-таки не хочу повторять здесь его имя, до того презрителен и недостоин названия его поступок) написал даже целый роман, в котором пошлым и клеветническим образом изобразил мои отношения к редакции «Современника». Наконец, амфибии и те пискнули в своем мрачном, покрытом плесенью болоте.

На сей раз я займусь одними «стрижами». Причина тому очень ясная. «Човекообразные» все-таки ратуют из-за каких-то убеждений; они вообразили себе, что я распространяю «ненависть и презрение» к естественным наукам, и не сообразили при этом даже того, что тому, что они разумеют под естественными науками, они обучались у Кузьмы Пруткова, который, как известно, никогда не бывал естествоиспытателем, а всегда был изрядным эстетиком и моралистом (в чем и имеет от Московского общества любителей российской словесности за печатную диплом). Они не различили того, что понятие об естественных науках само по себе, а понятие о паскудном и нелепом отношении к ним – само по себе; но, в качестве человекообразных, они имели даже право не различать, ибо им не дано того, что необходимо для подобного рода различений. Притом же человекообразные все-таки пользуются большими шансами относительно возможного развития, нежели стрижи и т. п., и, следовательно, со временем и сами собой могут понять то, чего теперь не понимают. Об «амфибиях» тоже не стану говорить, не потому, чтобы они были хуже «стрижей», но уж очень в ихнем болоте тоскливо... мухи мрут; ну, а в стрижевском садке всё словно повеселее: одного щебету сколько услышишь! Итак, обращаюсь к стрижам.

«Современник» вас обманул, стрижи! Статью «Стрижи, драматическое представление» писал действительно я, хроникер «Современника», а не «Посторонний Сатирик». Я не только не имею желаний скрывать от вас этого (впрочем, и скрывать было бы бесполезно, потому что вы слишком исправных имеете вестовщиков, от подслушиваний и подглядываний которых никаким манером не уберезься), но даже в особую себе заслугу вменяю это писание, ибо в сем маленьком произведении искусным образом заключено все ваше мирозерцание. И потому все сказанное «Посторонним Сатириком» в статье «Стрижам» о том, что отныне вам нельзя в зеркало посмотреться, чтоб не сказать: «В этом зеркале я вижу стрижа», – принимайте, как будто это сказал я сам. Я знаю, что это правда и что вы, после моей пьесы, сами себе стали ненавистны.

Вы обиделись, стрижи! Охотно вам верю. Вы обиделись, во-первых, тем, что я в

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru кратких словах изобразил всю вашу сущность (да ведь так, что и спора никакого не может быть), и, во-вторых, тем, что я никак-таки не хочу разговаривать с вами серьезно. На первое могу вам ответить, что истину на ваш счет открыл не я, а она сама собой открылась, и я был только выразителем общего голоса. Я хвалю вашу скромность: вы никогда не претендовали на то, что не принадлежите к царству пернатых, вы еще в прошлом году согласились с этим: «Ну да, что ж делать? птицы так птицы – шила в мешке не утаишь!» – сказали вы, и поступили правильно. Но ведь птицы бывают разных пород – и вот этим-то обстоятельством хотели вы воспользоваться, чтоб обмануть публику. Вы прикидывались то пеночками, то горихвостками, то скворушками, то... даже орлами (а ведь орел все-таки птица, а не человек, стрижи!). Но публика видела, что тут что-то не то, что от вас отдает погребом, сыростью, темнотою, ночными похождениями... В эту самую минуту, когда публика была в недоумении, я произнес слово «стрижи»... Чем же я виноват, что оно пришлось как раз в меру? что оно определило не только цвет ваших перьев, но и духовную сущность вашу?

Что касается до второй причины обиды, то и она столь же мало основательна, как и первая. Я очень хорошо понимаю, чего вам от меня хочется. Вам хочется, чтоб я по душе с вами потолковал, чтоб я всякую вашу нелепость посмаковал, взвесил и обсудил. Вы не были бы даже в претензии, если б я и пожурил вас порою за ваши нелепости, но только бы потолковал... ради бога, потолковал! Но это невозможно. Не потому невозможно, чтоб я был человек совсем без сердца, чтоб я не желал быть снисходительным к птичьему щебетанию (вы не раз уже обвиняли меня в жестокосердии), а просто потому, что ума не приложу, как этого достигнуть. Я несколько раз принимался за вас, с целью ежели не определить, то, по крайней мере, угадать, о чем вы толкуете, но усилия мои постоянно оставались без успеха. Не думайте, чтоб это происходило от того, чтобы я не мог понимать то, что действительно понятно, а знайте, что причина такого явления заключается в совершенной сумбурности вашего щебетанья. Вот-вот, думаешь, идет дело о польском вопросе, – ан нет, речь идет об индюшках, ан нет, об антиспатах, ан нет, о фейербахе. По-видимому, вы хотите усвоить себе славянофильские воззрения, но усваиваете только помой этого воззрения, и ни один славянофил, конечно, не взглянет на вас без сожаления. Вы суетитесь, хлопчете, топчетесь, желаете что-то учинить, но в результате оказывается лишь крошечная литературная погадка. Виноват, оказывается и еще нечто – это хорошее, кроткое ваше поведение, засвидетельствованное «Московскими ведомостями». Так знаете ли вы теперь, почему я не могу по душе потолковать с вами? Потому, что не о чем толковать. Вы напоминаете тех ученых чижииков, которые из крохотных колодчиков вытаскивают миниатюрненькие ведёрки с водой, вытаскивают и опять погружают, и опять вытаскивают... И разве я один смотрю на вас таким образом? Укажите мне хоть один орган, хоть один случай, когда бы хоть кто-нибудь сказал: вот стрижи то-то говорят, и из того, что они говорят, то-то правильно, а то-то неправильно? Нет, вы не укажете мне ни на один случай: никто ничего подобного не говорил, ибо вы сами никогда ничего не сказали. Правда, что в самом начале вашего литературного поприща баловался с вами «Современник», все думал, не выйдет ли из вас что-нибудь, но и тот бросил, потому что труд сделался не по силам. Правда также, что в прошлом году некто г. Петерсон нечто усмотрел в вас, но и здесь есть причина: г. Петерсон не литератор, а просто пронизательный человек. Судите же сами, виноват ли я, что не могу относиться к вам иначе, как в художественной форме?

Однако же вы обиделись. Не говорю уже о том, что это величайшая с вашей стороны несправедливость, но не скрою, что этим вы только утвердили меня в той мысли (признаюсь, я доселе считал ее несколько самонадеянною, но теперь вижу, что был слишком скромн), что я что захочу, то с вами и сделаю. Захочу – приведу в восторг; захочу – доведу до испуга; захочу – накажу; захочу – помилую. Мне стоит сказать: «Вы совсем не стрижи, а заправские литераторы», – и вы возрадуетесь; но вслед за тем я могу сказать: «Нет, я обманул вас, стрижи! вы совсем не литераторы, а стрижи!» – и вы закручинитесь. Вы знаете, что судьба ваша всегда в моих руках, – зачем же вы бунтуете, зачем храбритесь? Когда-нибудь я одно из моих обозрений закончу словами: «Эпоха»... но об этом журнале поговорим когда-нибудь в другое время» – и вы целый год с замиранием сердца будете ожидать: что-то он скажет? каким еще неслыханным манером он покарает нас? Ведь вы изноете, похудеете, вы не в урочное время потеряете все ваши перья! Для чего же вынуждаете вы меня на такую меру?

Но нет, вы даже не сердите меня: мне просто весело. Истинно вам говорю, весело. Мне нравится и ваша злоба, и ваше шипение именно потому, что все это

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru сдается самым искренним тупоумием. Знаю, что вы не виноваты, знаю, что природа, быть может, совсем неповинно наказала вас, – и за всем тем не могу унять веселия сердца моего. Разумеется, мичман Петухов поступал очень неосновательно, что смеялся, когда ему показывали палец, но согласитесь сами, что ежели этот палец показывают вам постоянно и безустанно, и притом с полным убеждением, что это не палец, а голова, – согласитесь, что тут и не рассмеяться нельзя.

Но как бы то ни было, основательно или неосновательно, а вы обиделись. Что же вы сделали, чтоб отомстить за причиненную вам обиду? Вы позаимствовались комками грязи, кинутыми в меня «Русским словом», вы разузнавали бог весть каким путем (а всего вероятнее, через служителей) о том, что происходит в редакции «Современника», и из всего этого устроили целую лохань помоев, которыми облили – верьте, не меня, а своих читателей.

Что написанный вами роман о Щедродарове есть сборник самых гнусных, самых презренных, а сверх того, и самых глупых сплетен – в этом убедится всякий, в ком есть хотя малая доля здравого смысла. Тем не менее я до сих пор не заклеил это произведение орнитологического искусства надлежащим именем, потому что мне было не до того. Все прошлое лето я отдыхал на лоне природы и, между прочим, занимался наблюдениями и за стрижами, не за теми стрижами, которые задыхаются от злобы в сырых и темных погребах, а за теми, которые хотя по ночам вылетают на вольный воздух, чтоб поиграть на свободе и половить мух.

Какая разница – стрижи на воле и стрижи в заточении! Какая свобода движений у первых и какая вялость, почти дохлость у вторых! Как непринужденно веселы первые (веселы, потому что сознают себя исполнившими свой долг и не сующими своих носов в те дела, где их не спрашивают) и как уныло, могильно, затхло-злобны вторые (ибо их мучит совесть, что они не за свое дело взялись, что они улетели от родных колоколен и чердаков и таким образом изменили своему стрижиному призванию)! С какою ловкостью кубарем слетает с ветки стриж вольный, с каким проворством подхватывает на лету муху, и как беспорядочно-вяло хлопает общипанными крылышками стриж-склав, как лениво долбит он носиком всякий мусор и хлам, вываленный в погреб за негодностью из различных редакций! Да; только теперь я узнал, что стриж на воле – птица милая, не чуждая даже прозорливости относительно ловления мух и имеющая лишь два недостатка: несоразмерно короткие ножки и преступную страсть к ночным шатаниям.

Итак, я до сих пор не занимался вашими летними подвигами, потому что мне было не до того. Но в настоящее время я свободен, и потому с моей стороны было бы даже бесчеловечно, если б я отказал вам в наставлении.

ГГ. «СЕМЕЙСТВУ М. М. ДОСТОЕВСКОГО,
ИЗДАЮЩЕМУ ЖУРНАЛ «ЭПОХА»
ММ. ГГ.

Вы продолжаете заниматься мною (зри «Заметки Летописца», октябрь), несмотря на все «последние сказания», несмотря даже на то, что я до сих пор не отвечал ни одним словом на ваши детские упражнения, направленные против моей личности. Такая настойчивость вынуждает меня на ответ.

Я всего два раза в течение моей недолговременной журнальной деятельности имел удовольствие беседовать об вас, и, могу сказать смело, обе статьи мои имели «некоторый успех». Я не нападал в них ни на ваши «идеи», ни на ваше «направление» (ни тех, ни другого я и до сего дня усмотреть не могу), но это-то, по-видимому, и было причиной успеха моих статей. Я отнесся к вам в художественной форме; я заставил вас говорить самих за себя – и публика поняла в совершенстве, что в известных случаях эта манера есть единственно возможная. И, заметьте, я ни одним словом не оскорбил ни всех вас в совокупности, ни кого-либо из вас в частности; я даже не посягал на изображение каких бы то ни было «литературных отношений», как выражается ваш семейный летописец; я просто имел в виду наглядно и безразлично изобразить вашу журнальную сущность, ваше журнальное мирозерцание – и, разумеется, успел в этом как нельзя лучше. Однако вы оскорбились. Сначала вы обозвали меня злым человеком, тогда как вся моя злость в том только и заключается, что я охотно смеюсь, когда вижу что-нибудь очень смешное. Потом, ссылаясь на г. Фета, вы объяснили читателям, что «стриж» птица совсем не постыдная, а кроткая, занимающаяся ловлением мух и даже предвещающая хорошую погоду (ну, не прелестны ли все эти ваши разъяснения?), – но ведь я и не

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru желал слову «стриж» придать какой-нибудь непохвальный смысл; я просто хотел сказать, что стрижи не орлы – и ничего более. Наконец, вы выпустили на мой личный счет целую эпопею под названием «Щедродаров, или Раскол в нигилистах»... Говорю, положив руку на сердце, упражнение это нимало не оскорбило меня. Прочитавши его, я ощутил только чувство глубочайшего омерзения к перу, излившему зараз такую массу непристойной лжи, и в то же время мне показалось, что я наступил на что-то очень ехидное и гадкое. [22] Столько лжи, клевет и самых недостойных сплетен, пущенных в упор, в виде ответа на оценку, быть может, и резкую, но все-таки чисто литературного свойства, – воля ваша, а это уж слишком игриво! Это должно быть признано чересчур игривым даже в том случае, если постоянно держать в памяти стих г. Фета:

Стрижи мелькают и звенят...

Ныне вы, или, лучше сказать, ваш семейный летописец, вновь обращает на меня внимание почтеннейшей публики. Он подвергает разбору всю мою журнальную деятельность в «Современнике» и приходит к следующим выводам: 1) к изумлению перед моею плодовитостью; 2) к убеждению, что моя журнальная деятельность свидетельствует лишь о «необыкновенной легкости в мыслях»; и 3) к недоумению насчет моих отношений к роману «Что делать?».

Постараюсь удовлетворить, насколько могу, и изумлениям, и глумлениям, и недоумениям г. Летописца.

Начну с плодовитости. Да, я писал в 1863 году очень много. Расчетливо ли я поступал, работая таким образом, – это другой вопрос; но дело в том, что и публика и вы – действительно видели, что я работаю много. Но почему же и вы, и публика это видели? Почему, например, в то время, как под бременем трудов рук гг. Страхова, Косицы, Дм. Аверкиева и других полки в книжных магазинах ломятся, публика положительно убеждена, что они совсем-таки ничего не пишут? Напрасно оказывают они беспримерное трудолюбие, напрасно сочиняют втроем целые книги «Эпохи», напрасно под одними статьями подписывают свои собственные имена, под другими псевдонимы (я, например, убежден, что «К. Бибиков» есть псевдоним г. Косицы), – не только публика, но даже литература не хочет знать, что пишет г. Страхов и что г. Дм. Аверкиев, а просто говорит: все это писали «стрижи». Откуда это явление? – Смеем думать, мм. гг., что оно оттого происходит, что публика имеет способность различать авторскую деятельность, имеющую хоть какое-нибудь значение для нее, от таковой же, представляющей собой детскую стряпню из песку, мелу и слюней. И, пожалуйста, не подумайте, чтоб слова мои заключали в себе самовосхваление, но примите их единственно как доказательство того, что ежели писатель и действительно одержим страстью «прудить» (выражение это принадлежит не мне, а «Эпохе»), то и этот недостаток ему легко прощается, лишь бы он «прудил» не в собственное свое ложе.

Затем, на очереди вопрос о «легкости в мыслях». Замечу мимоходом, что вы, мм. гг., и острить как-то не умеете своими словами, а все с помощью Гоголя либо Островского, а не то так и у меня позаимствуетесь. Слова нет, что иногда подобные заимствования не лишни, однако неумеренное употребление такого приема нередко свидетельствует и о скудости собственных средств заимствователей... Итак, вы находите во мне сходство с тем гоголевским персонажем, который говорит о себе: «У меня легкость в мыслях необыкновенная». Прекрасно. Я, разумеется, всего менее оспариваю у вашего журнала право относиться к моей деятельности по ближайшему его усмотрению, но мне кажется странным одно обстоятельство: как это вы, г. Летописец, сделавши такой нелестный обо мне отзыв, забыли, что за несколько строк перед тем сами же упоминаете о «неистовом терзании» мною некоторых идей и сюжетов, а в одном из моих сочинений усматриваете даже (шутка сказать!) вариацию на теорию страстей, положенную в основание универсальной ассоциации? И еще: как забыли вы, что за месяц или за два перед сим вы сами, и в том же журнале, выражались так: «Не личности нас трогают, а идеи, проводимые гг. Щедриным, Антоновичем и Пыпиным»? Какой смысл после этого может иметь вопрос ваш: «Что сказал или хотел сказать г. Щедрин в продолжение года?» И не имею ли я права отвечать вам на это таким образом: «Я сказал и хотел сказать то самое, что сказал и хотел сказать весь «Современник», я проводил те самые идеи, которые вы, купно с прочими стрижами, собрались преследовать»? Полагаю, что имею такое право, а еще полагаю одно из двух: либо вы, собираясь в поход против «идей, мною проводимых», не понимали, о чем говорили, либо, деляя, после этих сборов, отзыв о моем «легкомыслии» и отрицая с моей стороны всякую заслугу перед делом мысли, сами поступали весьма легкомысленно. И не возражайте на это, что под легкостью

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru мыслей вы разумели именно их несостоятельность; нет, это вопрос совершенно особый; несостоятельность моих идей, их антипатичность вы будете преследовать, со всеми стрижками, потом; теперь же преследуете собственно мое легкомыслие... и, воля ваша, выставляете напоказ только легкомыслие ваше собственное. Положим, что «идея» о теории страстей и т. д. – идея несостоятельная, но легкою ее все-таки назвать нельзя; положим также, что я «терзал не нравящиеся мне сюжеты» без строгой связи, что я более, нежели желательно, прибежал к намекам, так ведь, во-первых, на это есть обстоятельства, вполне меня оправдывающие и вам совершенно известные, а во-вторых, несмотря даже на темноту изложения, читатели все-таки очень хорошо понимали, о чем и как я говорил. Очень может быть, конечно, что я и действительно успел сказать немного, но это немного все-таки больше, нежели «мелькать», «звенеть» и «предвещать ясную погоду». Затем г. Летописец, в подтверждение моего легкомыслия, задает себе еще вопрос: почему мне, Щедрину, никто не отвечал, несмотря на постоянное «терзание» не нравящихся мне некоторых идей и сюжетов? На это могу отвечать одно: журнальная моя деятельность обнимала 1863 и начало 1864 года, а в это время российские журналы и газеты совсем не об «идеях» и «сюжетах» заботились, а о том, в ком из них больше приятности; ежели же и встречались в них различные «сюжеты», то именно такие, которых в «Современнике» совсем не было...

Наконец, хотя я и очень желаю разъяснить «Летописцу» мои отношения к роману «Что делать?», но успею ли в этом, ручаться не могу. Прежде всего, из чего он вывел заключение о враждебности моих отношений к роману? Если из моего отзыва о вислоухих и юродствующих, так ведь там говорится отнюдь не о самом романе, а об известном на него взгляде и о тех поучениях, которые, под влиянием этого взгляда, из него извлекаются. Что же касается до моего собственного мнения, то разъяснить его я могу только ссылкой на мое сочинение «Как кому угодно». «Летописец», упоминая об этом сочинении, усматривает в нем известное намерение (вариации на теорию страстей и т. д.). Не желаю спорить с проницательным критиком, но утверждаю, что ежели и было подобное намерение, то оно стояло на весьма отдаленном плане. Ближайшая и для всех понятная мысль заключалась в следующем: в обществе господствуют некоторые идеи, на которые все ссылаются, но которых сила, даже на практике, весьма сомнительна; спрашивается и т. д. Мысль, как видится, очень скромная, гораздо скромнее того намерения, которое приписывает мне г. Летописец, но, не скрываюсь, имеющая с этим намерением ближайшее родство. Но потому-то именно, что мысль эта скромна и даже ограничена, проведение ее казалось мне делом, прямее ведущим к цели. Очень возможно, что я и не прав, но таково мое убеждение, что, действуя в известном смысле, следует начинать не с намерений, а с разбора самых простых и ходячих общественных истин. Автор «Что делать?» полагал иначе, но из чего же следует, что мои отношения к этому роману враждебны? Не следует ли, напротив того, заключить, что тут идет речь единственно о практических путях?

Удовлетворив таким образом вашего Летописца, считаю долгом обратиться к вам, гг. Семейство, еще с одним разъяснением. Вы не раз обличали меня в том, что я принимал участие во «Времени» прежде, нежели был закрыт «Современник». Да, это правда; утверждая противное, я ошибся. Но теперь могу даже припомнить все обстоятельства, при которых началось мое участие во «Времени». В 1861 году я приезжал в Петербург и случайно свиделся с ф. М. Достоевским, который, между прочим, весьма убедительно пригласил меня к участию, даже, так сказать, упрекал в равнодушии к вновь возникшему журналу. Имея в виду, что «Время» в ту пору питалось ухвостьями идей «Современника», подобно тому как «Эпоха» питается ныне ухвостьями ухвостей «Дня», я согласился на сотрудничество и послал «Недавние комедии». Затем, по закрытии «Современника», я послал во «Время» еще несколько очерков и получил от М. М. Достоевского письменное приглашение сотрудничать далее, с предложением каких угодно условий... И после этаких-то льстивых слов вдруг оказаться и легкомысленным и негодным! Впрочем, успокойтесь; это не первый пример горькой непоследовательности: г. Зайцев в 1863 году обращался ко мне с статьями, и когда они не были приняты, уж костил же он меня, костил в «Русском слове»! Г-н Дм. Аверкиев делал мне честь поднесением некоторой гишпанской трагедии (вроде «Мамаева побоища»), которая тоже не была принята – ну, и он попробовал на мне свои зубы... О ужас! даже в объявлении об издании «Русского слова» на 1863 год не усматриваю ли я своего имени в числе прочих, долженствовавших украсить своими трудами этот журнал, – а теперь! Вот где легкомыслие-то, действительное, заправское легкомыслие!

В заключение позвольте один совет: никогда не следует говорить неправду. Вы притворяетесь, что не прочли последних статей «Современника», направленных

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru против вас, и в то же время называете их «оправдательными». Но если вы их не читали, откуда же знаете, что они оправдательные? Или опять какая-нибудь птица-вещунья сказала? Так не верьте вы этой обманщице и прочтите обе статьи с прилежанием. Увидите, что они имеют характер совсем не оправдательный, а обвинительный и даже поучительный.

СТАТЬИ 1856–1860 гг
СТИХОТВОРЕНИЯ КОЛЬЦОВА

Москва, 1856 г

Новое издание стихотворений Кольцова не имеет никаких отличий от прежнего, явившегося десять лет тому назад.

О Кольцове было писано довольно; между прочим, имеются две весьма замечательные статьи, из которых одна принадлежит покойному Белинскому, а другая Валериану Майкову. Тем не менее мы не думаем, чтобы они вполне исчерпывали эту замечательную личность. Интерес статьи Белинского чисто биографический, и с этой стороны она не оставляет желать ничего лучшего; но оценка таланта Кольцова носит характер исключительно эстетический, и с этой точки зрения едва ли достаточна. Что же касается до статьи Майкова, то хоть и нельзя отрицать, что она имела в свое время большое значение по вопросам, в ней возбужденным, но Кольцова собственно все-таки касалась мало. Поэтому мы не думаем, чтобы голос наш об этом вполне русском поэте был лишним в русской критической литературе.

Прежде, однако ж, нежели мы приступим к самому Кольцову и его произведениям, считаем не лишним сказать несколько слов о том, что мы разумеем под словами «художественность» и «народность» – словами, с которыми нам не раз придется встретиться в продолжение настоящей статьи.

Вопросу о художественности дана в последнее время слишком обширная область. Он сделался чем-то вроде вопроса о трех знаменитых единствах. Что же разумеют под словом «художественность» наши эстетики? Это, говорят одни, та прирожденная сила, которая дает художнику возможность всецело обладать избранным предметом, проникать все его подробности и самому проникаться ими; одним словом, способность отождествляться с избранным предметом. Что же это за предмет? откуда он? приходит ли извне или порождается собственной фантазией художника? Наконец, каким путем приходит художник к обладанию «избранным» предметом? На все эти вопросы мы не встречаем никакого положительного разъяснения. Можно, однако ж, догадываться, что творческою силою в художнике признается собственно сила созерцательная и что, следовательно, путь созерцания есть единственный, которым художник приходит к обладанию предметом. Таким образом, здесь сразу исключается из области искусства все добытое анализом; мало того, область анализа и область созерцания строго разграничиваются, так как первый составляет основу науки, второе – искусства. [23] К такому же и даже более крайнему результату приходит и г. Майков в статье своей о Кольцове, напечатанной в «Отеч. записках» 1847 года. Он признает необходимость особой художественной мысли, отличной от мысли обыкновенной, общечеловеческой. «Чистая мысль, – говорит он, – есть вывод последствий из аксиомы или, по крайней мере, из того, что тот или другой принимает за несомненное; художественная мысль – не что иное, как чувство тожества, чувство общения какой бы то ни было действительности с человеком. Как всякое чувство, оно возникает бессознательно: но может случиться и так, что художник успеет разложить его анализом и объяснить себе значение мысли, кроющейся под его оболочкой». Последние слова, очевидно, составляют противоречие сказанному выше. Очевидно, в понятии г. Майкова, художественная мысль есть не мысль собственно, а чувство, возникающее бессознательно, то есть тем же путем созерцания.

Ясно, что оба эти представления дают искусству область, находящуюся вне действительного мира и, следовательно, фантастическую. Белинский идет далее и, определяя свойства «гения», наделяет его правом и способностью возвещать людям новую жизнь.

Способность созерцания – способность синтетическая. Она дает нам возможность усматривать строй и гармонию в разрозненных данных, добываемых анализом, группировать их и вообще обращаться с ними, как с матерьялом, преисполненным жизни и значения. Откуда же добываются эти факты? Ужели может быть допущено такое напряженно-творческое состояние духа человеческого, в котором фантазия является силою самодеятельною, творящею вне пространства и времени? Предположить возможность такого состояния значило бы допустить и все последствия его,

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru допустить ряд таких произведений ума человеческого, в которых нет ничего общего с жизнью, значило бы поставить художника на такую высоту, в которой для него самого нет ничего занимательного, отрешить его от всякого участия в труде действительности и современности. Такое лицо могло бы быть интересным явлением патологическим, но для живущего и развивающегося нет до него никакого дела. Мы тогда только интересуемся произведением науки или искусства, когда оно объясняет нам истину жизни, истину природы. Чем ближе к нам объясняемый жизненный факт, чем более касается он наших интересов, тем понятнее, тем ценнее делается для нас и самое объясняющее его произведение. И художнику, и служителю науки равно и вовсе не случайно нужен анализ, эта разлагающая сила, которая лежит в основании не только искусства и науки, но и вообще всякого действия человеческого. Нельзя даже сказать, чтобы в нормальном состоянии человека какая-нибудь из этих двух способностей (аналитическая или синтетическая) являлась преобладающею. Обе они взаимно друг друга питают и объясняют. С одной стороны, всякий факт, добытый анализом, заключает в себе зерно жизни, и эта жизненная сила так велика, что поглощает простого исследователя и претворяет его в художника. С другой стороны, над чем будет оперировать художник и ученый, если у него нет факта, взятого из действительности? Где та земля, на которую ему придется опереться? Следовательно, силы, присущие труду художника и труду ученого, в существе своем одни и те же, и мысль художественная в действительности не что иное, как мысль общечеловеческая.

Но, сказавши, что факт дается искусству жизнью действительной, а не фантастической, мы должны принять и все последствия этого положения. Обыкновенно сравнивают искусство с солнцем, которое равно освещает как темные, так и светлые стороны природы. Мы согласны на это сравнение, если смотреть на искусство с точки зрения чисто отвлеченной; в таком случае действительно нет явления, которое не могло бы служить предметом для искусства. Но такой отвлеченный взгляд едва ли может быть истинным, потому что искусство тогда только становится делом, когда оно проявляется в личности, которая им обладает. С понятием об искусстве неразделимо понятие о лице художника, и весь вопрос заключается в том, может ли последний быть равнодушным к явлениям природы и жизни, или, лучше сказать, может ли он в одинаковой степени симпатизировать всем им? Такое предположение могло бы быть допущено, если бы можно было вообразить себе художника не человеком, а существом вне влияния страстей и внешнего мира, если бы жизнь художника развивалась под другими условиями, нежели жизнь прочих личностей человеческого общества. Но на деле не так; на деле развитие художника есть продукт той же общественной среды, в которой он живет; он принимает все ее страсти, все ее стремления; одним словом, печать современности вполне над ним тяготеет. Разница между ним и личностью обыкновенной заключается в том единственно, что последняя подчиняется влиянию современности бессознательно, тогда как художник обладает возможностью уяснить себе ее явления, анализировать их и на основании этого анализа делать свои выводы. Ипотеза чистого художника такой же абсурд, как ипотеза человека, для которого было бы возможно перестать быть человеком. Восхваляемое творческое бесстрашие, которое из учтивости называют беспристрашием, есть вещь человечески невозможная, и человек, который равнодушными глазами может смотреть на ложь и зло, не только не заслуживает названия служителя искусства, но, в строгом смысле, не может быть назван даже человеком.

Вообще, нам кажется, что теоретики искусства для искусства, защищая свои теории, увлекаются преимущественно тем спокойствием, которое разлито в творениях великих художников, каковы, напр., Гомер, Шекспир, Гёте и пр. Мы думаем, однако ж, что это спокойствие – отнюдь не бесстрашие; скажем более, оно не что иное, как знание дела, результат той уяснительной работы, того анализа, который есть принадлежность труда художественного. Мы не думаем утверждать, чтобы назначение художника заключалось в том, чтобы орать и коверкаться при всякой горести, при всяком печальном зрелище – вовсе нет! Мы, напротив того, признаем, что ближайшее объяснение явлений жизни в их соотношении и последовательности может убедить художника лишь в той истине, что общий их смысл и направление никогда не перестают быть разумными и что масса добра все-таки тяготеет над массою зла. Эта-то сознательная уверенность и дает художнику право быть спокойным и употреблять все усилия, всю энергию на водворение в мире добра и истины и искоренение зла.

Признав, таким образом, художника представителем современной идеи и современных интересов общества, мы должны принять и ту мысль, что лишь такое явление, которое носит на себе все признаки современности, может служить, без ущерба для

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru самого искусства, предметом его. Обращаться к формам жизни отжившим или же придуманным значило бы задать себе такую же работу, как наполнение водой бездонной бочки или витие веревки из песка. Нам возразят, быть может, что таким образом мы подчиняем вечное преходящему, абсолютную истину – истине относительной, – искусство ставим в зависимости от страстей минуты. Добро и истина вечны, скажут нам, а современное направление общества нередко представляет уклонение от того и другого. Да, они вечны, ответим и мы в свою очередь, но почему? не потому ли именно, что они всегда живут в человечестве, что они всегда с нами и что ими проникаются все стремления наши? Нам кажется нередко, что человечество уклонилось от этого пути, что законы, которые им управляют, далеко от осуществления той идеи добра, которая председательствует в мире, и мы с великолепным презрением говорим о страстях минуты, о преходящем, не догадываясь, что это уклонение только кажущееся, что оно лишь исторический факт, оно та внутренняя борьба, которая служит к утверждению в мире добра и истины, к приведению их в общее сознание. Не догадываемся мы, что эта борьба, это зло, как мы его называем, есть уже само по себе добро, и добро положительное, и что, следовательно, как наука, так и искусство равно должны служить обществу в его вечном искании. Скажем более: в этом-то благородном служении и лежит значение науки и искусства; оно одно узаконяет их право на существование; без него они низшли бы на ступень пустой и праздно забавы. Нам говорят, что наука должна быть чистой, искусство чистым, но разве служение обществу и его целям может сделать науку и искусство не чистыми?

Замечательно, что вопрос о чистой художественности навязывается у нас преимущественно критикой, которая до сего времени еще охотно занимается делами детскими. В сущности же, на практике, ни один из писателей никогда не следовал и, вероятно, не будет следовать этой теории. Байрона, Шиллера все признают величайшими поэтами всех времен и народов, а между тем ни тот, ни другой не могут назваться чистыми художниками в том смысле, как понимает это наша критика. Ссылаются чаще всего на Гёте, в котором как бы воплотилась идея чистого искусства, но и это неверно. Действительно, последние произведения Гёте поражают необыкновенным спокойствием, каким-то безучастием, которое равнодушно смотрит на проходящие перед глазами его явления, объясняя себе только связь и смысл их. Но, во-первых, мы не видим в этом явлении (если б оно и было) ничего, говорящего в пользу чистого искусства (мы уже выше высказали наше мнение о спокойствии художника); во-вторых, если взглянуть на дело ближе, то и тут Гёте никогда не являлся чем-то своеобразным, отрешенным от окружающей его среды, а был, напротив того, полнейшим выразителем одной из сторон народности германской. Вообще говоря, куда бы мы ни хотели бежать от жизни, она везде с нами, везде преследует нас, доказывая, что самое желание освободиться от нее есть желание нелепое, свидетельствующее только о чрезмерном развитии самолюбия.

Везде необходима мысль, полная животрепещущего интереса, и художник, непричастный труду современности, может быть создателем лишь бесцветных и в высшей степени странных созданий. Ссылки на исторические романы, историческую живопись и т. п. вовсе ничего не доказывают, ибо и история может иметь свой животрепещущий интерес, объясняя нам настоящее, как логическое последствие прежде прожитой жизни. Мы искренно убеждены, что отчуждение от современных интересов и непонимание их может повести только к созданию различных кунштуков и *tours de force*. [24] К сожалению, некоторые весьма талантливые писатели не внемлют этому, и нам нередко случается видеть, как много потрачивается таланта à propos des bottes [25] Одни на нескольких печатных листах серьезно доказывают вам превосходство одного корнета перед другим; другие посвящают свой труд изображению гибельных последствий обжорства или пристрастия к женскому полу, – как будто в действительности нет живой струны, которая представляла бы достойнейший предмет для таланта. Чему приписать это? Узкости ли умственного кругозора или же преднамеренному желанию высказать, что вот, дескать, какой у меня талант: возьму я навозную кучу и опишу ее, и будет прекрасно, и все вы будете читать и похваливать. Во всяком случае, и то и другое предположение грустно.

Восстают против непосредственной наставительности в произведениях искусства. Ссылаются в этом случае на Гоголя и на автора комедии «Свои люди – сочтемся», говоря, что там, где они переставали быть чистыми художниками и являлись просто умными людьми, там, где хотели быть наставниками, они впадали в ошибки и утрачивали способность давать ясное выражение физиономиям. Упрек этот довольно справедлив в отношении к Гоголю и г. Островскому, но, говоря вообще, не имеет никакого основания. Свойство талантов этих двух писателей таково, что для них

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru возможна роль наставников только путем отрицательным – путем сатиры. Если принять в соображение еще и то обстоятельство, что народная жизнь сама по себе не без труда и усилий выработывает что-либо положительное, что это дело времени, [26] то сделается понятным, почему писатель, желающий отыскивать положительные стороны жизни там, где их нет, ставит себя в фальшивое отношение к ней и сразу признает себя несостоятельным и поставленным именно в то положение, в которое ставит художника распространяющееся у нас понятие о чистом искусстве.

Изложенное выше, как нам кажется, довольно ясно определяет наш взгляд на искусство и наши требования в отношении к нему. Но дабы не могло быть ни малейшего недоразумения, повторим здесь вкратце свои понятия. Во-первых, мы требуем от искусства, чтобы оно было проникнуто мыслью, и мыслью исключительно современною. Эта мысль добывается не чутьем художника, как хотят уверить нас многие, а деятельною и добросовестною разработкою фактов, действительным участием в труде современности. Могут возразить нам, что истина может чрезвычайно разнообразно проявляться в обществе и что, следовательно, художник найдется в крайнем затруднении относительно выбора этих проявлений. Но в том-то и заключается величие таланта, чтобы уметь различить истинное проявление от ложного, абсолютное от условного, чтобы определить тот путь, по которому идет человечество. Иначе, где же была бы заслуга и в чем заключалось бы преимущество талантливого человека от обыкновенного? Во-вторых, необходимо для художника полное сочувствие к этой идее, без чего невозможно полное обладание ею, невозможно выражение ее в живых и всем доступных формах. Наконец, в-третьих, каждое произведение искусства необходимо должно иметь свой результат, и результат не отдаленный и косвенный, а близкий и непосредственный. Мы не думаем сказать этим, чтобы художник обязан был произведением своим высказать голословно придуманное им нравоучение, доказать известную аксиому; мы требуем только, чтобы произведение имело последствием не только праздную забаву читателя, а тот внутренний переворот в совести его, который согласен с видами художника. Каким путем достигается этот результат – отрицанием ли или исканием положительных и идеальных сторон жизни, – это все равно; дело в том, что результат непременно должен быть – в противном случае искусство теряет весь свой благотворный характер и становится на степень простого акробатства.

Сказанное нами о современной мысли и ее выражении в искусстве прямо приводит нас к вопросу о народности. На этот счет господствуют мнения совершенно противоположные; одни требуют искусства исключительно русского и науки русской; другие, напротив, утверждают, что и искусство и наука – достояние общечеловеческое и что, следовательно, воззрение на истину, ими добываемую, не должно носить на себе характер национальной исключительности. Есть, наконец, и третье представление, допускающее рядом с национальным воззрением и общечеловеческое. Этот последний взгляд, впрочем, не что иное, как благовидная формула, которую стараются прикрыть нелепым стремлением к национальной исключительности.

Подобными толками о воззрениях наполняются книжки наших журналов. Принесли ли они какую-нибудь пользу для науки или искусства? выиграл ли то или другое, если мы примем одно из объясненных выше воззрений за истинное? Сомнительно, потому что тут дело идет, собственно, не о науке или искусстве, а только о воззрениях на то и другое. У нас нет еще, в строгом смысле, ни науки, ни искусства, а между тем имеется бесконечное множество воззрений на ту и другое. Нельзя без тягостного чувства читать эти прения, возникающие не по поводу дела, а по поводу каких-нибудь воззрений, от которых делается, наконец, тошно читающему люду. Они принимают иногда и драматическую форму. В последнее время явилось драматическое представление, в котором изображается господин, помышляющий о введении между русскими крестьянами благотворительных хороводов и тому подобных нелепостей. Это, извольте видеть, сатира на тех, которые будто бы обращают глаза свои на Запад. Но сатира, по нашему мнению, тогда только достигает своей цели, когда она бьет по больному месту, когда она поражает не эксцентриков, а действительных представителей известного воззрения. В противном случае это решительно все равно что являться в публику в вывороченном наизнанку фраке и думать, что это смешно. Конечно, оно смешно, но здесь смех возбуждается не самым фактом, а единственно личностью, породившею этот факт.

Откинем всякую заднюю мысль, отнесемся к жизни прямо, с глазами невооруженными, примем скромно то, что она нам дает, и не будем заранее заботиться о том, какие выйдут из этого результаты, будут ли они соответствовать нашим тайным симпатиям или нет. Примем за правило или, пожалуй, и за воззрение (если это слово

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru необходимо) одну добросовестность, то есть добросовестную разработку тех материалов, которые должны дать прочную основу нашей науке и нашему искусству. Кто знает, быть может, при таком взгляде на дело оно пойдет успешнее...

Требование исключительно национального направления в искусстве ведет к вопросу о каком-то идеальном обращении художника к народной жизни. По мнению теоретиков национального искусства, [27] в этой жизни нет (читай: не должно быть) ни диссонансов, ни фальшивых звуков. Смотрите, говорят они, какое смирение, какая чистота семейных нравов, какое уважение к приговорам искусства, какая вера в провидение! Вслушайтесь в народную песню – там изображается, например, жена, которую бросил муж, но она не волнуется этим, она не эманципируется, как женщина, изуродованная цивилизацией; нет, она с терпением и верою ждет, пока буйное разгулье мужа кончится. Всмотритесь, с другой стороны, в эту физиономию первобытного человека: черты ее искажены отчаянием, из груди его вылетает глухой вопль ропота, рука судорожно сжимает нож, готовый пресечь нить ненужной жизни, – и вот слышатся звуки колокола; человек жадно прислушивается к ним; грудь его тяжело поднимается, но стон, вылетающий из нее, есть уже стон раскаянья и примиренья с жизнью; глаза наполняются слезами; нож далеко летит прочь, и человек, весь обновленный, бодрый и свежий, возвращается к жизни. Все в глазах этих защитников первобытности и непосредственности принимает радужные цветы. В предрассудке и закоснелости, свойственной всему малоразвитому, они видят не исторический и переходный факт, а факт абсолютный, достойный уважения, знаменующий глубокую привязанность к преданиям старины. Слова нет, прошедшее уже по одному тому заслуживает всякого уважения, что оно усыновлено историей, что оно существовало как живой и законный факт; но остановиться на нем, навсегда приковать к нему жизнь какого бы то ни было народа – не значит ли отказать человечеству в прямой и самой законной его потребности – потребности постепенного развития?

Напрасно вы будете говорить, что если и есть тут привязанность к преданиям, то не к духу (что имело бы, по крайней мере, некоторый смысл), а лишь к букве их, и, следовательно, привязанность, в основании которой лежит одно празднословие: вам возразят целыми рассуждениями о важности буквы народных преданий, о неприкосновенности бороды и кафтана. Любопытно было бы горячие панегирики чистоте семейных нравов <сравнить> с целым циклом песен, в которых преимущественно говорится о совсем недвусмысленных отношениях старого свекра к молодой невестке, где слышатся беспрепятственные жалобы на свекровь-злодейку, на золовок и т. д. И вместо того чтобы подумать об искоренении тех причин, которые породили такое состояние, вместо того чтобы пробудить в массе сознание, которое сделало бы для нее самой настоятельной потребностью те качества, которыми мы заблаговременно и так легкомысленно ее наделяем, мы убаюкиваем ее и наивно мечтаем о возвращении времен кошихинских...

Мы думаем, что до тех пор, пока наука и искусство не приступят к разработке русской жизни без предубеждений, пока жизнь эта не будет исследована в ее мельчайших изгибах, – у нас не может быть ни науки, ни искусства. Конечно, роль современного художника и ученого весьма скромна, – это роль почти монографическая, но такова потребность времени, и идти против нее значило бы, несомненно, власть в ложь и преувеличение. Посмотрите на Гоголя: он до тех только пор остается истинно великим художником, покуда относится к русской жизни в качестве простого исследователя; то же самое должно сказать и о г. Островском. В «Свои люди – сочтемся» и отчасти в «Бедной невесте» он является художником потому именно, что изображает истину жизни; все прочие произведения не выдерживают самой снисходительной критики, и виною этого явления то новое слово, которое г. Островский усиливался сказать, новое слово, взятое не из жизни, а выдуманное самим автором. А между тем это «новое слово» сказано именно в «Своих людях», который <!> до сих пор один <!> и упрочивает за г. Островским право на почетное место в истории нашей литературы.

Однако же, – скажут, быть может, нам, – как согласить эту монографическую деятельность с тем требованием современной идеи, направления и поучительности, которое мы поставили как необходимое условие всякого художественного произведения. Мы находим, однако же, что в словах наших нет никакого противоречия. Мы думаем, что самая идея монографической деятельности есть идея вполне современная и что такая деятельность вовсе не исключает возможности направления, которое составляет несомненную ее принадлежность, как жизнь составляет принадлежность факта, и что наставительность и поучение истекают из добросовестной разработки материалов, как неперенное ее следствие, даже в таком

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru случае, если б автор на самом деле и не высказал никакого наставления.

Высказавши таким образом наш взгляд на искусство и народность, мы можем приступить к обзору поэтической деятельности Кольцова.

Жизнь Кольцова, столь увлекательно описанная Белинским, есть одна из тех ежедневно повторяющихся драм, в которых талант и жажда преуспевания являются в постоянной и иссушающей борьбе с невежеством, самодовольством и косностью. Любопытных мы отсылаем к самой статье Белинского, согретой истинным и теплым чувством симпатии к этой замечательной личности. Что касается до нас, то мы вкратце расскажем только то, что необходимо для уразумения дальнейших наших выводов. По рождению Кольцов принадлежал к сословию мещан, следовательно, к такому сословию, которое не представляет особенно счастливых условий для чьего бы то ни было развития. И действительно, даже элементарное образование его было до крайности скудно; десяти лет он был уже взят из уездного училища, в котором пробыл не более четырех месяцев. Полагали, вероятно, что уже достаточно учен, а между тем дома лишний человек не помеха, хоть бы для того, чтобы приучить его к торговле в том смысле, как ее понимает класс мещан. Отец Кольцова был человек не бедный и промышлял стадами баранов, что нередко требовало поездок в степь, куда он брал с собою и десятилетнего сына. Этим поездкам в степь обязан был Кольцов первым знакомством своим с природою, которая, в свою очередь, пробудила в нем первоначальное поэтическое настроение души. Мало-помалу развилась в нем страсть к чтению, но к чтению бестолковому, которое может скорее убить талант, нежели развить его. Присоедините к этому то обстоятельство, что домашние не совсем доброжелательно смотрели на стремления пылкого юноши к образованию, прибавьте всю непривлекательную сторону исключительно материальных интересов, которыми охвачена была жизнь его, – и вы получите картину той глухой борьбы, которую должна была вынести эта светлая, артистическая натура. А впрочем, кто знает? не пройди он этой жизни, не выстрадай своего таланта всеми нравственными страданиями, вышло ли бы что-нибудь из него? Светлыми минутами его жизни могут быть названы только дни знакомства его с Серебрянским и Станкевичем. Что же касается до поездок в Москву и Петербург, то мы полагаем, что знакомство с литературными знаменитостями того времени могло преисполнить душу Кольцова только полынью и горечью.

Вообще положение русского литератора весьма незавидно и до настоящего времени, и тот, кто приближается к святилищу литературы с надеждой получить там насущный кусок хлеба, горько ошибется в расчете. Вампир журнализма вопьется в него всеми своими клыками, высосет весь талант, заставит кривляться и насиловать воображение и бросит, как ненужную ветوشь, когда производительные силы действительно ослабеют от неумеренного возбуждения. От этого первая вещь, обдуманная и написанная с любовью, не под влиянием неотступно грызущей нужды, остается навсегда лучшею вещью; все дальнейшее носит отпечаток поспешности и заказа: так и видишь, что автору есть хочется. Надобно быть или очень сильным талантом, или иметь средства к жизни, независимые от литературного труда, чтоб выдержать это чисто механическое давление журнализма. Куда, например, исчез Бутков, автор «Петербургских вершин»? Конечно, он был не то, что обыкновенно называют сильным талантом, но тем не менее у него был талант, и талант несомненный, в этом сознавались все. Другой экземпляр подобного же положения представляет Белинский. Кольцов, как видно, очень хорошо понимал положение русского литератора и предпочел остаться в обществе тем, чем поставила его судьба. Он понял, что тут все одно – дело торговое: салом ли, баранами ли, книжками ли – дело только в виде торговли, а genre остается один и тот же. Не красна, но, по крайней мере, материально обеспечена текла его жизнь среди домашних хлопот, среди общества, члены которого смотрели на него как на умника, то есть как на человека с поврежденной головой и практически бесполезного. Тем не менее жизнь эта доставляла ему возможность не умереть с голоду, что также чрезвычайно не лишнее, потому что умирать никому не лестно. Вот как писал он об этом одному петербургскому знакомцу (литератору?), звавшему его в столицу: «Но, приехавши туда (то есть в Петербург), что я буду делать? Положить надежду на мои стишонки: что за них дадут! И что буду за них получать – пустяки: на сапоги, на чай и только». И далее: «Что, если в сорок лет придется нищенствовать?» И действительно, надежды были не блестящие; но смерть разрешила все сомнения; письмо было писано в начале 1842 года, а 19 октября того же года Кольцова не стало.

В произведениях своих Кольцов является выразителем исключительно народных инстинктов и стремлений. Инстинкты эти могут быть общи всем народам, принимая

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru здесь слово «народ» в смысле массы, в смысле коренного и основного населения известной страны. Главный характер их заключается в стремлении к материальному благосостоянию, стремлении весьма естественном, потому что довольством материальным обеспечивается довольство духовное, потому что первое служит источником всякой независимости, без которой нет ни сознания собственного достоинства, ни уважения к своей человеческой личности. Оттого-то в народных, или, лучше сказать, простонародных песнях, всего чаще слышатся отголоски той будничной жизни, которая со всех сторон охватывает простолюдина. Там говорится и о косе, и о пашне, и об урожае, и о трудовом поте; словом, обо всем, к чему мы, люди порядочные, так не привыкли и на что смотрим несколько свысока. И между тем – странное дело! – в книжках эта будничная жизнь кажется нам и оригинальной, и привлекательной! Откуда же в нас это пристрастие к ней? Мы думаем, что источник его заключается в той несомненной истине, что как бы мы ни отдалялись от природы, как ни искусственно было бы наше развитие, все-таки в душе нашей остается неприкосновенным запас искренней привязанности к природному, первобытному состоянию. При самом слабом намеке на него нам делается как-то отраднее и мы вновь воображаем себя на лоне природы, в глуши деревенской, среди зелени лугов, и нам становится особенно любезен и дорог тот, кто воскресил в нас эти неясные побуждения.

В русской простонародной жизни сверх этого общего стремления есть еще свои характеристические черты, усвоенные ей историей и составляющие как бы необходимый продукт всей совокупности обстоятельств, среди которых мы живем и развиваемся.

И здесь, во-первых, мы обратимся не к смирению, не к чистоте семейных нравов, а к той беспечности, тому всемогущему русскому «авось», которое составляет как бы необходимую принадлежность наших экономических отношений: легкости материального труда, не требующего глубоких соображений и пр. и пр. Это может служить [28] для многих источником глубоких умилений; думают, что мы рождены затем, чтобы жить на всем готовом, что нам не нужно никакого труда, чтоб стать на ту высоту, которая другими народами достигается ценою многих усилий и чрезмерной работы мысли. К сожалению, привычки народные, в основании которых лежит какая-то фаталистическая надежда на внешнюю помощь, с излишеством оправдывают эти странные соображения. Кольцов в совершенстве выражает в своих песнях этот задушевный инстинкт народа. Прочтите обе песни «Лихача-Кудрявича», и вы вполне убедитесь, что нужно было самому с молоком матери принять эти инстинкты, чтоб выразить их так верно и отчетливо. Радость и горе, удачу и неудачу – русский человек все привык сваливать на судьбу. С одной стороны:

Что шутя задумал –
Пошла шутка в дело;
А потрянул кудрями –
В один миг поспело.
С другой:

Зла беда, не буря –
Горами качает,
Ходит невидимкой,
Губит без разбору.
От ее напасти

Не уйти на лыжах:
В чистом поле найдет,
В темном лесе сыщет.

Очевидно, тут нет даже поползновения освободиться от какой-то слепой, неизвестно откуда являющейся необходимости, посылающей и беду и счастье. Тут все пассивно, хоть и нет собственно равнодушия. Неравнодушно смотрит Лихач на постигшее его несчастье; он страдает и тяготится им, но пошевелиться-то ему нету моченьки, а потому и страдание выражается у него не как-нибудь деятельно, а только предъявляется толпе в виде бесплодной и бесполезной жалобы. И действительно, что ж и за жизнь, когда никто не хочет за нас ни подумать, ни сварить, ни испечь, ни выпить: всё, говорят, делай сам. Посудите же, добрые люди, где ж тут самому к чему-нибудь приступить, когда

И щемит и ноет,
Болят ретивое:
Все – из рук вон – плохо,
Нет ни в чем удачи.

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Положение поистине горестное; ничего не остается делать иного, как сидеть, да жаловаться, да призывать все имя господне. Впрочем, Лихач-Кудрявич не унывает; не без основания надеется он, что

...Там бог уродит,
Микола подсобит.
(«Размышление поселянина»)

Это чувство воспитано в нем самую жизнью, не представляющую ничего, кроме случайностей, которых нельзя ни предотвратить, ни предвидеть. При таком положении вещей равнодушие к будущему и непредусмотрительность делаются явлениями, вполне нормальными и логически последовательными. Совершенно понятны становятся для нас тогда следующие слова песни:

Мы, гуляя, – все потратили,
Молодую жизнь, до времени,
Как попало – так и прожили!
(«Перепутье»)

Действительно, жизнь бьет таким обильным ключом в этой крепкой, неиспорченной натуре, что является настоятельная потребность каким бы то ни было образом истратить ее, и так как разумно-деятельного поприща для нее не представляется, то безрасчетная трата сил становится явлением законным, оправдываемым самой необходимостью. И нельзя сказать, чтобы Лихач-Кудрявич не сознавал хоть изредка всей неестественности этого положения. Нет, он сознает его, но и самое это сознание выражается у него как-то не положительно, а в виде иронии, которую, пожалуй, можно с непривычки принять и за довольство самим собою и своим положением. Раздумывая о своей доле, он как будто и не без некоторой гордости говорит:

Куда глянешь – всюду наша степь;
На горах – леса, сады, дома;
На дно моря – груды золота;
Облака идут – наряд несут!..
(Там же)

Именно так! облака, одни облака, принесут наряд твой, Лихач-Кудрявич!

Эта надежда на что-то случайное, внешнее, неразумное составляет одну из характеристических черт народа, находящегося еще в младенчестве. Кольцов необыкновенно живо подметил эту черту и выразил ее, как истинный художник, в ясных и отчетливых образах, не примешивая никаких рассуждений от своего лица, не пускаясь в изыскания причин такого странного явления.

Тем не менее так как народный характер слагается не из одной только стихии, так как, напротив того, элементы, его составляющие, чрезвычайно сложны и разнообразны, то они необходимо должны были отразиться во всей полноте и в поэзии Кольцова, возвращенной на почву народной. Прочтите его «Песню пахаря», и вы убедитесь, что русскому человеку доступно не только отрицательное и ироническое, но и прямое и плодотворное отношение к жизни. Не можем себе отказать в удовольствии выписать вполне эту чудную «Песню».

Ну, тащися, сивка,
Пашней, десятиной,
Выбелим железо
О сырую землю.
Красавица зорька
В небе загорелась,
Из большого леса
Солнышко выходит
Весело на пашне;
Ну, тащися, сивка!
Я сам-друг с тобою,
Слуга и хозяин.
Весело я лажу
Борону и соху,
Телегу готовлю,
Зерна насыпаю.

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

Весело гляжу я
На гумно, на скирды,
Молочу и вею..
Ну! тащися, сивка!
Пашенку мы рано
С сивкою распашем,
Зернышку сготовим
Колыбель святую.
Его вспоит, вскормит
Мать-земля сырая;
Выйдет в поле травка –
Ну! тащися, сивка!
Выйдет в поле травка –
Вырастет и колос,
Станет спеть, рядиться
В золотые ткани.
Заблестит наш серп здесь,
Зазвенят здесь косы,
Сладок будет отдых
На снопах тяжелых!
Ну, тащися, сивка!
Накормлю досыта,
Напою водою,
Водой ключевою.
С тихою молитвой
Я вспашу, посею.
Уроди мне, боже,
Хлеб – мое богатство!

Как глубоко поняты здесь отношения поселянина к природе! с какою благодарностью смотрит он и на землю, его кормилицу, и на сивку, участника в его благосостоянии! Благодатно и животворно действует на душу эта тихая песня; она заставляет любить и творца ее, и всю эту толпу труждающихся, о которых в ней говорится. Чувствуется, сколько силы и добра посеяно в этой толпе, сколько хороших возможностей заключает она в себе! В целой русской литературе едва ли найдется что-либо, даже издали подходящее к этой песне, производящее на душу столь могучее впечатление. Вслушайтесь в нее ближе и пристальнее, и перед вами встанет вся жизнь поселянина, со всеми ее заботами, с ее скромными надеждами, со всеми ее скудными радостями. Тем не менее обаяние, производимое ею, несмотря на всю его могущественность, никогда не подействует на душу вашу обманчиво. Здесь предметы вдохновения слишком конкретны, слишком обыденны, чтобы дать большой простор фантазии читателя, чтобы породить в душе его ложное самодовольство. Чувство его, готовое расплыться, необходимо сдерживается представлением сурового труда, и в этой-то именно истинности образов, в этом глубоком отвращении от всякого преувеличения и заключается вся тайна таланта нашего автора.

Все стихотворения Кольцова, для которых предметом послужил упорный труд поселянина, дышат тою же грустной симпатией трудящемуся, тою же любовью к природе. Возьмите, например, «Урожай», прочтите хоть следующие двенадцать стихов:

И с горы небес
Глядит солнышко,
Напилась воды
Земля досыта.
На поля, сады,
На зеленые,
Люди сельские
Не насмотрятся:
Люди сельские
Божьей милости
Ждали с трепетом
И молитвою.

Везде человек на первом плане; везде природа служит ему, везде она его радует и успокаивает, но не поглощает, не поработает его. Тем именно и велик Кольцов, тем и могуч талант его, что он никогда не привязывается к природе для природы, а везде видит человека, над нею парящего. Такое широкое, разумное понимание отношений человека к природе встречается едва ли не в одном Кольцове. При всем уважении к таланту г. Аксакова, нельзя не сознаться, что его великолепные

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru картины природы как-то подавляют читателя. Неосмысленная присутствием и трудом человека природа является чем-то недоконченным, недоговоренным. Это хаос, коли хотите, полный жизни, но все-таки не более как хаос. Что природа хороша – Кольцов чувствует это более, нежели кто-либо другой, потому что ей он обязан лучшими, светлыми минутами своей жизни, она была его первой наставницей, она воспитала в нем ту свежесть сердца, которая, в свою очередь, заставила его симпатизировать всему доброму, прекрасному и истинному. Но тем не менее он совершенно верно угадывает, что как бы ни была хороша природа, она все-таки второстепенный член в искусстве, что все-таки прямым предметом искусства должен быть человек. Поэтому-то рядом с успокаивающими картинами сельской природы и жизни он вызывает иные картины, в которых эта же сельская жизнь является уже не в столь привлекательных формах, в которых уже слышатся фальшивые звуки, как будто портящие гармонию целого. Знакомство с этими картинами спасительно; оно не допускает нас расплываться в нашем стремлении к дешевому примирению с жизнью; оно, как *memento mori*, [29] вечно стоит на страже нашего чувства. Замечательнейшие стихотворения Кольцова этой категории, по нашему мнению, следующие: «Что ты спишь, мужичок», «Не на радость, не на счастье», «Доля бедняка» и «Размышление поселянина». Содержание их небогато: чужой угол и горькая доля. Вообще оказывается, что жизнь поселянина не изъята своего рода тревог и волнений, хоть, быть может, они и не бьют в глаза какому-нибудь туристу, проезжающему на почтовых мимо деревни и превращающему мысленно каждую хижину в приют мира и любви. Оказывается, что

У чужих людей
Горек белый хлеб;
Брага хмельная –
Не разымчива.

И бел-ясен день
Затуманится,
Грустью черною
Мир оденется.
И сидишь-глядишь
Улыбаючись,
А в душе клянешь
Долю горькую.

Стало быть, в этих хижинах живут не все Филемоны и Бавкиды... Понятие о силе и объеме этих маленьких горестей относительно. То, что для нас кажется мелким и ничтожным, будучи перенесено в иную сферу, неожиданно приобретает чрезвычайные размеры. Поэтому весьма естественным делается стремление освободиться от этих покалываний и пощипываний, совокупность которых составляет истинное и действительное горе. Благо тем, для кого эти стремления разрешаются удовлетворительно, но горе тому, кто не находит ничего более, как сказать:

Но куда умом ни кинуся –
Мои мысли врозь расходятся,
Без следа вдали теряются,
Черной тучей покрываются...
Всего замечательнее в этом отношении стихотворение «Что ты спишь, мужичок». Мы выписываем его здесь вполне:

Что ты спишь, мужичок?
Ведь весна на дворе;
Ведь соседи твои
Работают давно.
Встань, проснись, подымись,
На себя погляди:
Что ты был? и что стал?
И что есть у тебя?
На гумне – ни снопа,
В закромах – ни зерна;
На дворе, по траве –
Хоть шаром покати.
Из клетей домовом
Сор метлою посмел;
А лошадок за долг
По соседям развел.

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

И под лавкой сундук
Опрокинут лежит,
И погнувшись изба.
Как старушка, стоит.
Вспомни время свое:
Как катилось оно
По полям и лугам
Золотою рекой!
Со двора и гумна,
По дорожке большой,
По селам, городам,
По торговым людям!
И как двери ему
Растворяли везде,
И в почетном угле
Было место твое!
А теперь под окном
Ты с нуждою сидишь,
И весь день на печи
Без просыпу лежишь.
А в полях, сиротой,
Хлеб нескошен стоит.
Ветер точит зерно,
Птица клюет его!
Что ты спишь, мужичок?
Ведь уж лето прошло,
Ведь уж осень на двор
Через прясло глядит.
Вслед за нею зима
В теплой шубе идет,
Путь снежком порошит,
Под санями хрустит.
Все соседи на них
Хлеб везут, продают,
Собирают казну,
Бражку ковшиком пьют.

Стихотворение это поражает нас своею истиной. Нам не объяснены положительно причины нищеты, в которую впал человек, но мы чувствуем их. Для нас кажется смешным говорить о каких-нибудь копейках, тогда как мы в один вечер равнодушно проигрываем тысячи рублей, а между тем эти копейки служат иногда источником глубоких несчастий. Некоторые подробности жизни кажутся нам до того в натуре вещей, что мы говорим об них, не изменяя даже интонации нашего голоса, а между тем сколько слез, сколько вздохов, сколько обманутых надежд за этими, по-видимому, ничтожными мелочами.

Столько же хорошо и стихотворение «Размышление поселянина», неизвестно почему отнесенное Белинским к числу слабых стихотворений Кольцова.

Покуда мы слышали только жалобу, жалобу, полную грусти, но еще сдержанную. Однако ж не всякая личность может остановиться на ней, приняв ее за нормальное состояние. В большей части случаев от этой жалобы прямой переход или к отчаянью, или к буйному веселью, к оргии. Русская народная поэзия имеет в себе целый обширный отдел песен разбойнических, содержанием для которых служит дикий и необузданный разгул человека, почувствовавшего себя без узды. Кольцов, как истинно русский человек, явился толкователем и этой стороны народного духа; у него имеется целый ряд стихотворений, в которых этот разгул, эта жажда необузданности и безобразия являются на первом плане. Жгучее чувство личности, не умеренное благотворным сознанием долга, разрывает все внешние преграды и, как вышедшая из берегов река, потопляет, разрушает и уносит за собою все встречающееся на пути. Таковы стихотворения: «Удалец», «Измена суженой», «Песнь разбойника», «Тоска по воле» и «Дума сокола». Душная сфера поселянских работ делается недостаточною; она томит душу, теснит грудь удальца; ему нужен воздух, нужен лес, а не прогорклая атмосфера избы. «Мне ли», – говорит он:

Мне ли молодцу
Разудалому
Зиму-зимскую
Жить за печкою?

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

Мне ль поля пахать?
Мне ль траву косить?
Затоплять овин,
Молотить овес?
(«Удалец»)

И вот является в воображении его идеал той жизни, к которой манит его разгоряченная и долго сдерживаемая фантазия;

Если б молодцу
Ночь да добрый конь,
Да булатный нож,
Да темны леса!
Снаряжу коня,
Наточу булат,
Затяну чекмень,
Полечу в леса.
Стану в тех лесах
Вольной волей жить,
Удалой башкой
В околотке слыть.
(Там же)

Или:

Знать, забыли время прежнее,
Как, бывало, в полночь мертвую,
Крикну, свистну им из-за леса –
Аль ни темный лес шелохнется...
И они, мои товарищи,
Соколья, орлы могучие,
Все в один круг собираются
Погулять ночь, пороскошничать.
(«Тоска по воле»)

Этот разгул, порождаемый избытком матерьяльной силы, является разрешителем всех горестей, всех сомнений. Изменила ли «Лихачу-Кудрявичу» суженая, – он, правда, горюет и падает духом, но не надолго. Если от этой измены и может на время «замутиться свет в глазах его», то не менее справедливо и то, что тут же является у него и всемогущее средство, чтоб избавиться от грызущей его тоски, и это средство – тот же буйный разгул, то же искание приключений, которое при всяком огорчении является ему на помощь, как врач душевный и телесный. Тотчас после постигшего его страшного горя он уже говорит:

В ночь под бурей я коня седлал;
Без дороги в путь отправился –
Горе мыкать, жизнью тешиться,
С злою долей переведаться...
(«Измена суженой»)

Или:

Забушуй же, непогодушка,
Разгуляйся, Волга-матушка!
Ты возьми мою кручинушку,
Размечи волной по бережку...
(«Песня разбойника»)

Всего полнее выражает это стесненное, ненормальное состояние души стихотворение «Дума сокола». Вот оно:

Долго ль буду я
Сиднем дома жить,
Мою молодость
Ни за что губить?
Долго ль буду я
Под окном сидеть,
По дороге вдаль

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

День и ночь глядеть?
Иль у сокола
Крылья связаны,
Иль пути ему
Все заказаны?
Иль боится он
В чужих людях быть,
С судьбой-мачехой
Сам собою жить?
Для чего ж на свет
Глядеть хочется,
Облететь его
Душа просится?
Иль зачем она,
Моя милая,
Здесь сидит со мной,
Слезы льет рекой;
От меня летит,
Песню мне поет,
Все рукой манит,
Все с собой зовет?
Нет, уж полно мне
Дома век сидеть,
По дорожке вдаль
Из окна глядеть!
Со двора пойду.
Куда путь манит,
А жить стану там,
Где уж бог велит!

Вот те стороны русской жизни, которых объявителем явился Кольцов. Употребляем слово «объяснитель» потому собственно, что действительно ничто не объясняет лучше читателю известного явления, как представление его в живом образе. Был бы только образ, не искаженный идеально, но верный действительности, объяснительная работа родится сама собой в уме читателя. Везде, где Кольцов удалялся от русской жизни, в тесном значении этого слова, везде, где он хотел стать на точку зрения общечеловеческую, он падал и утрачивал ясность своего взгляда. И это понятно: он не был достаточно образован для такой точки; как бы ни были велики природные способности человека, все-таки они, как улитка, заключены в тесноте домашней раковины, которая со всех сторон угнетает их. Только знание, только наука и сопряженная с нею возможность сравнения могут расширить умственный кругозор человека, сделать его вполне человеком. Лучшим доказательством служат «Думы» Кольцова: что означают они, кроме немощного желания вывести мысль из той тесной сферы, в которую она заключена обстоятельствами? Что такое все эти вопросы, которые задает себе тревожимый сомнениями поэт, как не риторическая амплификация, собрание слов, доказывающее только ту несомненную истину, что поэт не умел даже формулировать свои сомнения? Конечно, нельзя строго винить Кольцова в том, что он не умел совладать с своими сомнениями: как человек глубокого ума и горячей души, он не мог, без тяжкого и оскорбленного чувства, видеть, что книга природы и жизни по воле независящего обстоятельства навсегда закрыта для него. И вот он ищет проникнуть в этот запертый для него храм, но увы! двери его остаются по-прежнему холодны, глухи и немые, и эта печальная картина тревожных сомнений и стремлений к разрешению их имеет лишь тот результат, что делается драгоценным достоянием для биографа Кольцова, объясняя ему внутренний мир души его. И чем разрешаются эти тревоги?

Подсеку ж я крылья
Дерзкому сомненью,
Прокляну усилья
К тайнам провиденья!
Ум наш не шагает
Мира за границу;
Наобум мешает
С былью небылицу.
(«Неразгаданная истина»)

Или:

Ужели в нас дух вечной жизни

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Так бессознательно живет,
Что может лишь в пределах смерти
Свое величье сознавать?..
(«Лес»)

Какой же это ответ? Это более ничего как бессилие, и притом бессилие, к сожалению, публично высказанное. Очевидно, что Кольцов берется здесь не за свое дело; его дело ограничено было тою небольшою средой, в которой он жил и которую по этой причине постигал в таком совершенстве. И зачем пускаться вдаль, зачем тревожить прах усопших, когда вблизи нас, между живыми, все еще так мало объяснено и даже не тронут? зачем искать драм на луне, когда в семействе какого-нибудь Ивана Федотова совершается драма с большим спектаклем?

Точно так же несамостоятельным и несостоятельным является Кольцов и в тех своих произведениях, где он обращается к идеальным сторонам русской жизни. Таковы, например, стихотворения: «Люди добрые, скажите», «Первая любовь», «Совет старца», «К ней», «Поминки», «По-над Доном сад цветет» и множество других. Все эти стихотворения явно говорят о подражании и даже фактурой своей напоминают фактуру сентиментальных романсов времен Дельвига и Мерзлякова.

Для подтверждения наших слов приведем одно из них;

Люди добрые, скажите,
Люди добрые, не скройте:
Где мой милый? вы молчите!
Злую ль тайну вы храните?
За далекими ль горами
Он живет один, тоскуя?
За степями ль, за морями
Счастлив с новыми друзьями?
Вспоминает ли порою:
Чья любовь к нему до гроба?
Иль, забыв меня, с другою
Связан клятвой вековою?
Иль уж ранняя могила
Приняла его в объятья?
Чья ж слеза ее кропила?
Чья душа о нем грустила?
Люди добрые, скажите,
Люди добрые, не скройте:
Где мой милый? вы молчите.
Злую тайну вы храните!

Кольцов велик именно тем глубоким постижением всех мельчайших подробностей русского простонародного быта, тою симпатией к его инстинктам и стремлениям, которыми пропитаны все лучшие его стихотворения. В этом отношении русская литература не представляет личности равной ему; он первый обратился к русской жизни прямо, с глазами, не отуманенными никаким посторонним чувством, первый передал ее нам так, как она есть, со стороны ее притязания на жизнь общечеловеческую.

Трудно определить степень влияния Кольцова на русскую литературу, тем более трудно, что у него не было непосредственных подражателей, кроме разве Г. Никитина. Тем не менее влияние это несомненно. Мы не думаем и не намерены утверждать, чтобы настоящее направление русской литературы обязано было своим началом единственно влиянию Кольцова. Однако ж, если сравнить литературу, современную Кольцову, в которой все было так чуждо коренной русской жизни и мысли, с позднейшею деятельностью наших писателей, то нельзя не признать, что голос его раздавался не втуне. Он обогатил поэтический язык, узаконов в нем простую русскую речь, и в этом смысле он является в истории нашей литературы, как бы пополнителем Пушкина и Гоголя, и, несмотря на свою малую производительность, должен быть поставлен рядом с ними, как человек, давший нашей поэзии новую и чрезвычайно плодотворную точку опоры. Достаточно прочесть его «Косаря», чтобы вполне убедиться, как живо и до сих пор влияние Кольцова на нашу литературу. Весь ряд современных писателей, посвятивших свой труд плодотворной разработке явлений русской жизни, есть ряд продолжателей дела Кольцова. Это дело принимает все более обширные размеры; отсюда слышатся голоса, полные жизни и мощи; чувствуется, что мы как будто тверже стоим на родной почве, что мы сознаем себя уже не в гостях, а дома. Но если бы в

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru настоящее время шаги наши на этом пути были робки и нетверды, то мы еще не так стары, не так изношены, чтоб не надеяться на будущее. Таково наше искреннее и крепкое убеждение, и мы с глазами, полными надежды, глядим на нашу молодую литературу, которой попытки обещают в будущем так много прекрасных и благотворных результатов.

СКАЗАНИЕ

О СТРАНСТВИИ И ПУТЕШЕСТВИИ ПО РОССИИ,
МОЛДАВИИ, ТУРЦИИ И СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ
ПОСТРИЖЕННИКА СВЯТЫЯ ГОРЫ АФОНСКИЯ
ИНОКА ПАРФЕНИЯ

В 4-х частях. Издание второе с исправлениями. Москва

Направление, принятое русскою литературой последних годов, заслуживает в высшей степени внимания. Русский человек, с его прошедшим и настоящим, с его экономическими и этнографическими условиями, сделался исключительным предметом изучения со стороны литераторов и ученых. Всякий стремится посильною разработкою явлений русской жизни уяснить для себя загадочный образ русского народа; всякий, с нетерпеливою поспешностью, спешит наворожить младенцу-великану блестящую и благоденственную будущность. Несмотря на эту, быть может, преждевременную и юношескую запальчивость и нетерпеливость, нельзя сомневаться, что настоящее литературное движение скрывает в себе зачатки, весьма плодотворные по своим последствиям. Нельзя сомневаться, что даже и в настоящее время мрак, обнимавший многообразные проявления русской жизни, начинает мало-помалу рассеиваться, ибо мы в течение немногих последних лет приобрели уже достаточное количество материалов для знакомства с характером и внутренним бытом русского народа, и если процесс этого ознакомления еще не вполне завершился, то нельзя не иметь крепкой надежды, что молодая русская литература, став однажды на твердую стезю изучения русской народности, не собьется с нее и довершит начатое дело. Делается очевидным для всякого, что потребность познать самих себя, со всеми нашими недостатками и добродетелями, вошла уже в общее сознание: иначе нельзя объяснить ту жадность, с которою стремится публика прочитать всякое даже посредственное сочинение, в котором идет речь о России. Не далее как лет десять тому назад книжки журналов безнаказанно наполнялись переводными статьями и компиляциями, в которых русского были только слова; в настоящее время, можно утвердительно сказать, что существование журнала, составленного таким образом, было бы весьма печально. И это стремление изучить самих себя, воспользоваться почти нетронутою сокровищницею народных сил, чтобы извлечь из них все, что может послужить на пользу, заметно не только в сфере литературы и науки; оно проникло в практическую деятельность всех слоев нашего общества, и всякий, кого сколько-нибудь коснулся труд современности, кто не празднично живет на свете, волею или неволею, естественным ходом вещей, должен убедиться, что если мы желаем быть сильными и оригинальными, то должны эту силу и оригинальность почерпать в той стране, на которую доселе, к сожалению, мы смотрели равнодушными и поверхностными глазами заезжего туриста.

И действительно, давно ли, кажется, было в ходу то сонное полуидиллическое воззрение, которое смотрело на народ как на театральную толпу, в известных случаях являющуюся на помост, чтобы прокричать заветную фразу, вроде «идем!», «бежим!», или как на кордебалет, отплясывающий где-то у воды. Давно ли считалось необходимым условием, выводя на сцену русского мужика, заставить его несколько раз произнести слова: «кормилец», «шея лебединая, брови соболиные» и т. д., и затем все литературные формальности относительно этого неопрятного субъекта, set ours ma! Teché, [30] считались соблюденными? Давно ли, не на нашей ли памяти, процветало и наслаждалось жизнью это прискорбное воззрение, и между тем как далеки мы от него! Мы убеждены, что в настоящее время труды Полевых, Кукольников и прочих усердных выводителей русского народа на сцену Александрийского театра ни на чьем лице даже улыбки возбудить не могут, – до такой степени они наивны и невинны.

Перед нами лежит сочинение, которое, по значению своему в сфере разъяснения внутренней жизни русского народа, мы не обинуясь ставим рядом с «Семейною хроникой» г. Аксакова. Многим, быть может, странным покажется такое сопоставление двух сочинений, которые и по предмету и по изложению не могут иметь между собою ничего общего. В действительности же эта невозможность только кажущаяся, ибо и г. Аксаков, и многоуважаемый отец Парфений, конечно, в различных сферах, имеют в виду одну и ту же цель – правдивое изображение известных сторон народного быта, известных народных потребностей; оба они одушевлены одною и тою же любовью к своему предмету, одним и тем же знанием его,

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru вследствие чего и самое изображение у обоих приобретает чрезвычайную ясность и полноту и облекается в художественные формы.

Участие, возбуждаемое «Сказанием», делается еще более понятным, если принять в соображение, что главный интерес его заключается не столько в защите известных богословских положений, – для того чтобы достойно оценить достоинство и значение последних, необходимо быть специально к сему приготовленным, – сколько в том, что оно делает читателя как бы очевидцем и участником самых задушевных воззрений и отношений русского человека к его религиозным верованиям и убеждениям. Одним словом, предметом сочинения о. Парфения служат: паломничество и раскол, два явления, которые и по настоящее время не утратили своего значения в русской народной жизни. Почтенный автор, будучи сам смолоду раскольником, видел лицом к лицу все тайные и явные условия, которые объясняют возможность существования раскола и делают это явление фактом весьма замечательным в истории русской цивилизации; он с юных лет был обуреваем жаждою внутреннего, духовного просвещения, с юных лет искал разрешить сомнения, тяготившие его душу, и только пройдя через все искушения, через все испытания, достиг наконец того состояния, в котором человек может смотреть на свет и истину глазами невооруженными. Автору, таким образом приготовленному и обладающему сверх того большим запасом того внутреннего жара, который в избранном предмете заставляет заставить его лучшую, симпатичнейшую сторону, нельзя не верить на слово: воспроизводимые им образы, описываемые им дела красноречивее всяких математически точных доказательств говорят в пользу того дела, на защиту которого он вооружился.

Нельзя сказать, чтобы наша духовная литература была бедна сочинениями, направленными против заблуждений «глаголемых старообрядцев». Из новейших мы можем в особенности указать на сочинения высокопреосвященного Григория, нынешнего митрополита С. Петербургского, [31] и преосвященного Макария, епископа Винницкого. [32] С догматической стороны, в сочинениях этих так называемое старообрядчество опровергнуто на всех пунктах, с замечательною ясностью и знанием дела; нельзя думать, чтобы раскольник, как бы он ни был озлоблен и закоснел в своей злобе против св. церкви, не сознал своей неправды при столь положительных и неопровержимых обличениях, и если результат, в противность всем ожиданиям, оказывается не вполне решительный, то очевидно, что такое явление имеет свою причину не столько в религиозных догматах, сколько в целом круге понятий и требований самых разнообразных; очевидно, что в самой сущности раскола есть нечто особое, что дает ему живучесть и силу, несмотря на всю неопровержимость доводов, представляемых против него святителями православной церкви. Это «нечто», эту особенную силу заставляет нас предполагать и о. Парфений, когда рассказывает нам на стр. 97–130 1-го т. своего сочинения прение на соборе, созванном в молдавском раскольническом селении Мануиловке против него и друга его Иоанна за уклонение из раскола. Обличения, говоренные автором, до такой степени не только ясны и просты, но, что важнее всего, согласны с свидетельством Св. писания и отеческих преданий, что нет материальной возможности не согласиться с ними, – и между тем каков оказался результат собора? Тот, что «некоторые воздыхали и плакали, а некоторые распыхались сердцами и роптали», и решили наконец все-таки на том, чтобы с уклонившимися из раскола никому не разговаривать и не иметь никакого сообщения.

Подобно сему, многозначительны и следующие два случая, рассказанные почтенным автором. Первый имел место в стародубских раскольнических монастырях, куда автор, тогда еще раскольник, пришел в чаянье найти таких для себя наставников, которые «проходят строгую иноческую жизнь» и которые «победили страсти и достигли совершенства». На вопрос странствующего о таких подвижниках стародубские раскольники с полною откровенностью отвечают: «Брат! далеко ты лезешь! Мы про страсти и про совершенство почти и не слышали; а в нынешние времена какие дары духа святого?» Другие советовали жить как живется или указывали на таких старцев, которые оказывались или малограмотными, или вовсе безграмотными и пользовались уважением только потому, что «ни с кем не пьют, не едят, и всеми гнушаются, и всех хулят, и всех осуждают и даже своих единовверных; и всех считают грешниками, а только себя святыми; и толкуют день и ночь, а о иноческой жизни и не знают, в чем она состоит». Второй случай имел место в Константинополе, где автор встретился с некоторыми раскольническими монахами, проживавшими вместе с ним в Молдавии в Мануиловском скиту. О. Парфений повел их в патриаршую церковь и указал на древнюю икону пресвятыя богородицы, на которой благословляющая рука превечного младенца изображена именованно. Древность иконы не подлежит сомнению: она принесена была из Иерусалима царицею Еленою, потерпела много от огня и иконоборцев, ввержена была в море и чудесно спаслась;

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru свидетельствование такой иконы не могло быть, следовательно, сомнительным для раскольников, и между тем на деле оказался результат совершенно противный. «Они (раскольники) подошли к ней, – рассказывает о. Парфений, – и стали смотреть; но мой знакомый монах Дорофей вдруг отскочил от нее и, переменявшись в лице, с дерзостью сказал: «Не только мы этой иконе не поверуем, но если бы и сам Христос нам явился и сказал, что эта церковь правая, и то не поверуем». Эти три случая заставят призадуматься всякого. Очевидно, что раскольники не только не могут выдерживать состязания о вере с лицами, которые могут доказать им неправоту их понятий по сему предмету, но даже не хотят допускать подобные состязания из опасения, что могут «посрамиться». Очевидно, что если за всем тем упорно отстаивается ими свое собственное неправое убеждение, то причина такого упорства должна лежать не в самом этом убеждении, а, как мы сказали выше, в целом круге иных понятий и явлений, составляющих для главного, выставляемого напоказ и, так сказать, официального убеждения нечто если не совершенно постороннее, то, во всяком случае, не существенно с ним связанное.

Предпринимая разбор сочинения отца Парфения, мы заранее считаем нужным оговориться, что не можем и не считаем себя вправе касаться той стороны его, которая заключает в себе защиту святой православной церкви против раскольников. Мы не признаем себя достаточно приготовленными для такой оценки, и притом правота православия составляет для нас факт столь несомненный, что распространяться об нем значило бы только испестрить предлагаемую статью ссылками и выписками из сочинений лиц, специально посвятивших себя делу обличения неправды раскольников. А потому мы ограничиваемся здесь лишь упоминанием двух названных нами сочинений, а также сочинения протоиерея Андрея Иоаннова «о стригольниках», о котором мы, впрочем, предоставляем себе поговорить впоследствии подробнее, по тому уважению, что оно, во многих отношениях, представляет разительное сходство с «Сказанием» о. Парфения.

В последнее время, на развалинах сонных и водевильных понятий о русской народности, сложилось много самых разнообразных и оригинальных воззрений на этот предмет. Однако ж пальма первенства между ними, по оригинальности, бесспорно принадлежит тому воззрению, которое, видя в русском человеке осуществление всех человеческих совершенств и наделив его жаждою внутреннего просветления, семейными добродетелями, смирением, кротостью, благодушием и всеми качествами, которые приводят в результате к благоденственному и мирному житию, награждает его сверх того аскетическими поспешениями. Нельзя не сознаться, что, при такой ловкой обстановке, вопрос поставлен на такую почву, на которой всякое противоречие или спор о народности становится неудобным и даже невозможным. Претерпевая постоянные и довольно горькие неудачи на всех прочих пунктах, относящихся до различных добродетелей, воззрение благоразумно прячется за конопляниками аскетизма и оттуда смело кричит своему противнику: «Найди меня в этой трущобе!» Уловка эта, впрочем, далеко не новая. Пресловутый французский журналист Louis Veillot в пресловутой газете «Univers» давным-давно подвизается на этом поприще, и наши ненавистники лукавого и гниющего Запада не имеют в этом отношении никакой иной заслуги, кроме той, что с Запада же переносят готовое и вдобавок противуполитическое воззрение.

Нельзя, однако же, не отдать полной справедливости той строгой последовательности, с которою пересадители на русскую почву воззрений Veillot и комп. проводят принцип аскетизма через все человеческие отношения. В сфере семейной – аскетизм младших в пользу старших, слабых в пользу сильных; в сфере гражданской – аскетизм отдельных личностей в пользу общины, мира, живых и действительных интересов в пользу интересов искусственных, и, наконец, в сфере высших духовно-нравственных интересов – полное отречение от всего, что смягчает жизнь человека, составляя ее прелесть и красоту, от всего человеческого в пользу принципа безграничной духовной свободы, принципа мрачного и безжалостного по своим противоестественным последствиям. Само собою разумеется, что при таких условиях жизнь утрачивает свою цельность и делается лишь подвигом послушания; общество, в котором живет человек, перестает быть средою, представляющею наиболее спешествующих условий к удобнейшему удовлетворению его законных потребностей; напротив того, оно является тесно замкнутым кругом, который все отдельные личности, его составляющие, поработает своему отвлеченному эгоизму, в котором до потребностей отдельного лица никому нет надобности, где всякий должен жертвовать своими живыми интересами в пользу интересов искусственных.

И за всем тем не здесь еще геркулесовы столпы аскетического воззрения. Проводя принцип презрения к личности до крайних его последствий, воззрение необходимо

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru должно прийти к тому заключению, что как бы оно ни поработило частную личность в пользу личности высшей и коллективной, все-таки первая, живя в обществе и составляя одну из деятельных единиц его, невольным образом вынуждена будет предъявить свои эгоистические притязания. Как бы ни предусмотрительно, как бы ни искусственно была придумана форма общежития, в которую мы хотели бы втянуть личность человека с целью сделать ее безгласною, каким бы духом самоотвержения ни были одушевлены самые личности, согласившиеся принести себя в жертву общежитию, все-таки хоть в слабой степени, хотя в мелочах, личный принцип найдет для себя исход и возможность протестовать против подавляющих притязаний общежития. Очевидно, следовательно, что порабощение частной личности в пользу общины, мира, есть только половина того нравственного подвига, на который осужден человек, очевидно, что тут нет еще полного аскетизма, ибо как бы мы ни дисциплинировали волю человека, живущего в обществе, все-таки самое поверхностное понятие о значении последнего предполагает уже существование каких бы то ни было отношений, в которых отдельная личность непременно должна выразиться. Где же искать таких благоприятных условий, где найти ту среду, в которой человек являлся бы почти в абстрактном состоянии, отрешенным не только от внешнего мира, прелестного и многомятежного, но, так сказать, от самого себя или, по крайней мере, от своей чувственной природы, где самый подвиг жизни мог бы иметь значение лишь в смысле упорной, безустанной борьбы человека с самим собою? Очевидно, что эта среда находится в лесу, в ущелиях, пещерах и что переход от общества к вертепу делается весьма логически.

Из всего сказанного выше ясно усматривается нелепость воззрения, которое мы не обинуясь назовем аскетическим. Только необычайная слепота и крайнее фанатическое изуверство может приурочить целую народную массу к такому противообщественному стремлению и сделать сие последнее не переменным условием будущего преуспевания этой массы. Но не оправдывается ли оно, по крайней мере, тем, что корни его лежат в народных обычаях, в духе народа? Нет сомнения, что в историческом развитии народов встречаются такие моменты, когда аскетические воззрения на отношение человека к самому себе, к обществу и к высшему существу являются как бы преобладающими. Это те моменты, когда все другие интересы жизни до того скудны, до того неразвиты, что не могут удовлетворить даже самым невзыскательным требованиям, когда личность и самые материальные условия существования человека до такой степени не обеспечены, что ему нечего терять, когда, вследствие совокупного действия всех обстоятельств, среди которых живет человек, мысль его, не находя окрест ничего успокоивающего, освежающего, невольным образом отвращается от настоящей жизни, как от жестокого искусства, служащего лишь тесным преддверием к иной, лучшей жизни. Но такое воззрение не составляет исключительной собственности одного какого-либо народа; напротив того, все члены семьи человеческой имели свою эпоху аскетического фанатизма. Крестовые походы и религиозные войны, которые так долго составляли все содержание истории Западной Европы, всегда будут неотразимым опровержением обвинения в религиозном индифферентизме, в котором заподозрена образованнейшая часть человеческой семьи со стороны воззрения, столь щедро наделяющего русский народ аскетическими добродетелями. Нам скажут, быть может, что на Западе это было явление искусственное, возбужденное, результат высшей политики пап, но это едва ли основательно, ибо чьи бы ни были соображения, они не могли бы иметь таких паразитических результатов, если бы в основании их не лежала общая и настоятельная потребность века. Толпе, которая шла за Петром Пустынником, не было дела до высших потребностей; она шла, одушевленная действительным энтузиазмом к предпринятому святому делу освобождения гроба господня; она смотрела на этот подвиг как на исключительную цель всех стремлений жизни, нисколько не доискиваясь посторонних пружин, двигавших этим делом.

Тем не менее подобное напряженное состояние целого общества не может продолжаться неопределенное время. Самое торжество христианской идеи делает уже фанатические порывы ненужными и даже крайне вредными.

Какая же причина, какие факты могут заставить предполагать, что Россия была причастна этому явлению в сильнейшей степени, нежели прочие народы Западной Европы? Что оно выразилось у нас в иных, своеобразных формах – это вопрос другой, но тем не менее принцип явления был один и тот же как для России, так и для Западной Европы. Затем, что заставляет предполагать, что этот принцип и для России не есть уже принцип отживший, исчерпавший все свое содержание? С того времени, когда он безраздельно властвовал над обществом, воды утекло так много, что нельзя думать, чтобы одни аскетические воззрения остались незыблемы и неприкосновенны. Бесспорно, что мы встречаем и в истории и в особенности в

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru памятниках народной старины несомненные свидетельства этого воззрения (об этом будет говорено ниже), но ведь потому-то и называются эти памятники «старину», что в настоящее время они уже утратили то значение и смысл, которое имели в эпоху своего появления. Где в настоящее время пустыни, где вертепы, где леса, населенные странниками, где, наконец, эта богатая народная литература, проникнутая аскетическими воззрениями? Осматриваясь кругом себя, мы видим гражданское общество, видим много недостатков, много порочных людей рядом с людьми, проникнутыми самыми благими побуждениями, – одним словом, все то, что встречается во всяком гражданском обществе, но не видим ни пустынных, ни вертепов. Стихи аскетического содержания стали уже достоянием нищих, которые передают их от поколения в поколение, не придавая этому факту никакого особенного значения. Одним словом, если еще и существуют где-нибудь аскетические воззрения на жизнь, то исключительно в небольших группах раскольников, и то самых закоснелых, которые и до настоящего времени убеждены, что царство антихриста уже настало и что спасение возможно не иначе как под условием жительства в горах, вертепах и рассединах земных, в плачах бесчисленных.

Но посмотрим, однако же, в каких формах являлось у нас аскетическое воззрение по свидетельствам памятников нашей старины.

Дошедшие до нас памятники народной русской поэзии сохранили в себе много следов этого воззрения. Изданные г. Киреевским русские народные стихи духовного содержания (Чт.<ения> в имп.<ераторском> общ.<естве> ист.<ории> и древн.<остей> росс.<ийских>, № 9) будут служить нам значительным пособием для раскрытия того, в чем заключалось и обнаруживалось это воззрение. Возьмем для примера стих о царевиче Иоасафе, входящем в пустыню. Молодой царевич Осафий покидает свое царство, «свою каменную палату» и приходит в пустыню. Стих не объясняет даже причин такого решения: до того просто и естественно кажется для слагателя это явление; видно только, что юноша просит пустыню:

Научи ты меня, мать-пустыня,
Волю Божию творити!
Да избави меня, мать-пустыня,
От злыя муки от превечной!
Приведи ты меня, мать-пустыня,
В небесное царство!

Напрасно пустыня напоминает ему о царстве, о каменных палатах, которые он хочет оставить, напрасно, с другой стороны, предостерегает его, что

Нет во мне царского ества,
И нет во мне царского пойла;
Есть-воскушать – гнилая колода;
Испивать – болотная водица.
Осафий отвечает ей:

Не стражай ты меня, мать-пустыня,
Своими великими страстями!
Могу я жить во пустыне,
Волю Божию творити,
Есть гнилую колоду:
Гнилая колода

Лучше царского ества!

Испивать болотную водицу

Лучше царского пойла!

Житье наше, мать, часовое;

А богатство наше, мать, временное!

Напрасно также пустыня, в противоположность лишениям и «страстям», представляет ему картины природы, которых прелесть должна обаятельно подействовать на впечатлительную душу юноши; напрасно говорит она ему:

Придет мать весна красна,

Лузья, болоты разольются,

Древа листьями оденутся,

И запоют птицы райски

Архангельскими голосами;

А ты из пустыни вон изыдешь,

Меня, мать прекрасную, покинешь!

Решение его неизменно. «Не прельщусь», говорит он,

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

Не прельщусь я на все благовонные цветы!

Оброшу я свои власы

По могучие плечи

И не буду взирать я на вольное царство;

Из пустыни я вон не изыду

И тебя, мать прекрасная, не покину!

. .

Тогда только мать-пустыня принимает его на свое кроткое, безмолвное лоно, тогда только она решает наградить «свое милое чадо» «золотым венцом» и «взять его на небеса царствовать». И все, прибавляет от себя слагатель, «все святые, все пустынные жители младому царевичу Осафью вздивовались, премногому царскому смыслу». [33]

Стихотворений, подобных приведенному выше, ходит множество в народе. В недавно открытом древнем русском стихотворении «Повесть о Горе-Злосчастьи» герой ее, после многих тревог и волнений, приходит к тому же «спасенному пути», на который указывает и «Стих Асафа-царевича». Содержание всех этих «стихов» исключительно аскетическое. Явно, что в представлении народном «пустыня» получала совершенно особый смысл, что в ней русский человек находил удовлетворение всем своим грубо мистическим стремлениям. Действительно, раздолье и беспредельность пустыни, тишина, царствующая окрест, – все это как-то особенным образом настроивает все душевные силы человека, отрешает их от всего временного и ограниченного и устремляет исключительно к вечному и беспредельному. Мир изображается исполненным растления, а о жизни говорится как бы для того только, чтобы напомнить о ее скоротечности и представить в перспективе человеку ожидающую его смерть.

Но здесь-то именно и высказывается вся несостоятельность народного воззрения. Покуда представление народное оставалось лицом к лицу с одною природою, на лоне которой возросло и укрепилось, оно находило и простоту и неизысканность красок для изображения ее, оно само, так сказать, проникалось тою чуткою, поэтической струею, которая необходима для того, чтобы достойным образом воспроизвести красоты первобытной девственной природы. Но вы уже по тону «стиха» подозреваете, что природа с ее красотами тут дело постороннее, что все эти обращения к ней как будто только арабески, которыми слагатель вирш хотел украсить свою задушевную мысль. И вот он действительно предьявляет нам ее, с ее скудным и однообразным содержанием, которое составляют: скоротечность земной жизни и награды и наказания, ожидающие в жизни будущей. Но, перенесясь из сферы ему близкой, сферы конкретной в сферу отвлеченную, он не может совладать с своим положением. Все его представления о добре и зле так материальны, так младенчески грубы, что он и будущую жизнь не может сознать иначе, как в «плотной», темной форме.

В чем же заключается, по этому представлению, заслуга и подвиг жизни? Для объяснения этого обращаемся к «Стиху о нынешнем веке и будущем». Здесь исчисляются, с одной стороны, все добродетели, за которые следует вечное блаженство, а с другой – все грехи и преступления, за которые следует вечная мука. Большинство тех и других заимствовано из св. Евангелия (глава о Страшном суде), но слагатель не ограничивается этим и, обращаясь к праведникам, прибавляет:

Скитались вы в горах, в вертепах, во пустынях,

Всё ради меня, ради господа;

Вы всякие нужды принимали

От человека неподобного

Всё ради меня, ради господа.

Закупали вы пищу райскую,

Ели гнилую колоду,

А пили болотную воду

Всё ради меня, ради господа...

Затем грешникам говорит:

Дьявольские помышления

Вы всегда помышляли.

Вы в гусли, во свирели играли,

Скакали, плясали

Всё ради его, ради дьявола.

В другом «стихе» («Прощание души с телом») душа, расставаясь с телом, предрекает себе бесконечную муку. «Почему ж ты, душа, себя угадываешь?» – спрашивает тело.

Потому я, тело белое, себя угадываю:
Что как жили мы были на вольном свету,
Мы на вольном свету, на прошедшем веку,
Не имели мы ни среды, ни пятницы,
Ни великого поста, понедельничка,
Ни трехденного воскресеньца;
Мы по середам, по пятницам платье золovali,
Платья золовали мы, льны прядовали;
Из чужих мы коров молоко выдаивали,
Мы из хлеба спорынью вынимывали,
Не ходили ни к обедне, ни к заутрени;
Мы не слушали звона колокольного,
Мы не слушали пенья божьего, церковного...

Таковы представления о грехе и заслуге; последствия того и другого, выражающиеся в возмездии, ожидающем человека в будущей жизни, вполне соответствуют этому представлению. В особенности, наказания столько же неумолимы, сколько материальны, и с этой стороны совершенно противоречат духу кротости и любви, проникающему христианское учение. Таким образом, грешникам обещается:

Всяким грешным
Будет мука розная:
Иным будет грешникам
Огни негасимые;
Иным будет грешникам
Зима зла студеная;
Иным будет грешникам
Смола зла кипучая;
Иным будет грешникам
Черви ядовитые и т. д.

Очевидно, что такого рода представления могут родиться только в голове человека, в котором еще слишком слабо сознание внутренней красоты добра и внутреннего безобразия порока, которого все действия, хорошие и дурные, обуславливаются лишь грубыми, материальными побуждениями, ожиданием внешней осязаемой награды или наглядного и жестокого наказания. Очевидно также, что при таком воззрении жизнь не может являться напуганному воображению человека иначе как в форме сурового подвига, лишенного даже своего поэтического покрова. И в самом деле, как голо, как непривлекательно и безжизненно это холодное, безучастное перечисление мук и страданий самых бесчеловечных! Где тут судия праведный и строгий, но вселюбящий и всепрощающий? Здесь не может быть места ни одному из тех наслаждений, которые, не содержа в себе ничего противоестественного или противозаконного, составляют всю привлекательность и красоту жизни, ибо все, что не подходит под узкие требования аскетизма, беспощадно и безвозвратно предается проклятию. Более всего пострадала от этого воззрения бедная женщина, которая вообще в памятниках нашей старины изображается как начало злое, скверное и язычное. Конечно, в народных сказаниях об этом предмете встречается изображение доброй жены, которая представляется как муравей в доме, и доброй дочери, но памятники как-то чересчур уж умеренны на этот счет: им привольнее говорить о жене злой, которая «всякого зла злее», которую ни с чем иным сравнить нельзя, как с «козю неистойой, сатанинским праздником, гостиницею жидовской». Самая жена добрая, в древнем представлении народном, есть не что иное, как работница, «муравей в доме», и если она не удовлетворяет этому представлению (а не удовлетворить ему, по необычайной строгости требований, слишком нетрудно), то делается немедленно злою. Иногда даже вообще говорится о женщине, как о пагубе для души, как, например: «некто плакал по жене, приговаривая: не об этой плачу, а о том, что будет другая». [34] Стих «о грешной матери» коллекции г. Киреевского, во всей отвратительной наготе, выражает это неистово нелепое воззрение на женщину. Вот вкратце его содержание. Сын спрашивает у матери, почему она едет «среди огненной реки на змее трехглавом огненном»:

Жила я была на вольном свете –

Любила я кататися
На добрых конях любодеевых.
Сын спрашивает, почему «крыса скрежет главу» матери:

Жила я была на вольном свете –
Носила я кокошники всё любодеевы.

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Вопрос: почему в ушах сидит по мыши проклятой, которые «выедают из главы мозг»;
ответ:

Жила я была на вольном свете –
Носила сережки любодеевы..
И так далее, все кресчендо. Надеемся, что от картин такого рода с отвращением отвернется воображение, привыкшее к самому мрачному разврату. Даже странно как-то, следом за этими циническими образами, прочесть следующее поэтически-наивное троестишие, оканчивающее «стих», которое кажется будто позднейшею прибавкою: до такой степени оно мало гармонирует с общим складом целого стиха:

Речет ему мати рожденная:

«Сыне мой возлюбленный!
Не можно ли тебе за меня помолиться?»
Но еще более простора находит себе древнеаскетическое воззрение в сказаниях об антихристе, которого царство, в большей части случаев, изображается уже наступившим. Как мы увидим ниже, беспрестанное ожидание антихриста, в некоторых сектах раскольнических, и доньше возведено на степень догмата. Но в чем же заключают признаки появления антихриста? На это отвечает нам «стих о антихристе»:

Народился злой антихрист,
Во всю землю он вселился,
Во весь мир он вооружился;
Стали его волю творити:
Власы, бороды стали брители,
Латынскую одежду носить,
Распроклятую траву пити.
Эти признаки весьма замечательны, и мы предоставляем себе высказать ниже наше мнение о них, теперь же посмотрим, какое средство дает слагатель, чтобы избежать пагубного влияния антихристов. Эти средства опять леса, пустыни и вертепы; «вы бегите», говорит он:

Вы бегите в темныя леса,
Зарывайтесь песками,
Рудожелтыми хрящами;
Помирайте вы голодом:
Вы не умрете – оживёте,
Моего царствия не минёте! [35]
Везде вертеп, везде пустыня, везде явное нарушение всякого гражданского общества и замещение общественных обязанностей какою-то дикою свободою, более приличною зверям, нежели людям.

Но куда все эти воззрения остаются только воззрениями, куда неумолимое, ядовитое жало аскетизма не проникло в самую жизнь, они внушают только отвращение, не принося существенного и положительного вреда. Совершенно в ином виде представляется дело, когда аскетический фанатизм делается принадлежностью жизни, принимает живой образ. Тогда нет пределов зверскому безобразию его.

Одним из разительнейших выражений аскетического воззрения является раскольническая секта так называемых «странников» или бегунов.

«Странники, говорит преосвященный Макарий, автор «Истории русского раскола» (стр. 280–283), принимая все начала беспоповщины, смотрят на церковь русскую, как на отступническую, еретическую, и веруют, будто антихрист уже пришел и царствует на земле... Посему – единственным путем ко спасению эти сектанты почитают не только совершенное отчуждение от русской церкви, но вместе совершенное непризнание над собой царской и всякой земной власти и, при невозможности бороться с нею, бегство от антихристового владычества, удаление от семейства, общества, от подчинения каким бы то ни было гражданским законам и странствование в лесах и пустынях... Секта странников состоит из двоякого рода членов: из действительных странников и так называемых жилых христиан или странноприимцев. Действительными странниками признаются те, которые, разорвав все узы семейные и общественные, бродят из места в место, проживают в лесах, пустынях, а часто в городах или селениях, только скрытно, и считают такое странничество единственным условием для спасения в настоящее злополучное время

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru антихристовая владычества. От желающего поступить в согласие странников требуется: а) прежде всего, чтобы он бежал из того общества, к которому принадлежит; б) чтобы устремил пашпорт или документ о звании, который считается выдумкою антихриста; и в) наконец, чтобы принял новое крещение. Сан свой странники считают иноческим... Брак совершенно отвергают и признают большим грехом, чем блуд, говоря, что общения с законною женой не осудят, потому с нею легче и грешить, а блуд осуждают, и тем отчасти искупляется грех... Эти сектаторы, постоянно скрываясь, даже при простой встрече с кем-либо не объявляют своего звания, следуя правилу: «аще кто спросит: откуда – ответствуй: граду не имею, но грядущего взыскую»... Жилыми христианами называются те, которые, еще не вступив в странничество, только приготовляются к нему, живут в мире и принимают у себя странников, разделяя их верования. Как находящиеся еще во власти антихристовой, странноприимцы могут записываться притворно в ревизских книгах или раскольниками разных сект или даже православными... Под конец жизни странноприимцы и сами уходят в странство; в случае же тяжкой болезни их выносят из домов куда-нибудь в лес или пустыню для того только, чтобы зачислить их состоящими в бегстве и дать им возможность умереть в звании странников, хотя бы они скончались «и в самом близком расстоянии от собственного дома». [36]

Как ни уродливыми, как ни бессмысленными кажутся нам такие противообщественные стремления, тем не менее мы должны сознаться, что не им предоставлено довести аскетическое воззрение до его крайних пределов. Нам очень прискорбно огорчать читателя такими картинами из той давно минувшей русской жизни, которой предания сохраняются лишь в разрозненных и осиротелых группах закоснелых раскольников да в запоздалых и безусловных защитниках русской старины, но мы не считаем себя вправе оставить этот предмет, не исчерпав его до глубины.

Понятия раскольнической секты, известной под именем филипанов, о самосожжении и самоубийстве составляют как бы палладиум аскетизма. Подвиг самоубийства возводится филипанами на степень высочайшей христианской добродетели и самоотвержения, и если эта секта в настоящее время, сколько нам известно, почти не существует, то менее чем за два столетия тому назад она была до такой степени распространена, что составляла действительную и страшную общественную язву.

Послушаем рассказ протоиерея Андрея Иоаннова об этом раскольническом толке, помещенный в сочинении его «Полное известие о древних стригольниках и новых раскольниках».

«К самоубийству (филипане) столько склонны, что всегда навевываются, где, когда и сколько сожглось или запостилось самовольно. Старики и старухи, увидя какой-нибудь дом или покой, на их вкус устроенный, со слезами взывают: «О, если бы в таком бог привел сгореть!» Они всякого новоприходящего уговаривают запоститься, чтоб получить венец мученический. Ежели кто согласится на то, таковым заповедуют четырехдневный пост. А как знают они, что человеческие силы без пищи сорок дней не вынесут и что человек жив быть не может, то, исповедав по потребнику сих постников, постригают их в монашество и, посхимив, сажают в пустую избу, а чтоб прежде времени не умертвили себя, снимают с них всю одежду и пояс и крест и приставляют нарочно к тому определенных, чтобы напоминали им обещание, ими принятое, сообразно Христу. Постники дотоле молчат, доколе силы их сносят, а как начнут ослабевать, то вообразить не можно того мучения, которое терпеть принуждены бывают; они, бедные, тоскуют, тысящекратно раскаиваются, проклиная день рождения своего и прельстивших их, сами себя кусают и терзают. Желают скорой смерти, но не обретают, ибо все способы отняты. Молят о свободе, но не получают. Просят жаждущей гортани каплю воды, но в ответ от приставов слышат: не дастся вам, не дастся, да не лишитесь венцов мученических... Напоследок, истерзавши сами себя, в неопisanном безобразии и отчаянье испускают бедную душу свою».

«В 1781 году, продолжает тот же автор, на светлой неделе пасхи, Киевской губернии, в слободе Злынке, один из филипан перекрестил жену свою беременную и троих детей, которых всех в ту же ночь сонных убил, для того, чтобы новокрещенных мучеников удобнее отправить в рай. Поутру же сам пришел в тамошнее правление и, дерзновенно объявляя о себе, говорил: «Я мучитель был своим, а вы будете мне; и так они от меня, а я от вас пострадаю; и будем вкуче за старую веру в царстве небесном мученики».

Еще более поучителен переданный в этом же сочинении рассказ о морельщиках некоего Ксенофонта, впоследствии обратившегося из раскола в недра православной

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru церкви. Речь идет о некоем Ионе, который запер двадцать человек в ригу, «и как стало им тошно, то они, взявши камни из каменницы, били в дверь и выбили доску и поползли вон, а мы (то есть ученики Ионы) камнями в головы их били, и тако двоих убили, и, заградивши дверь, донесли о том Ионе, что с ними велит делать? и приказал соломой ригу окласть и сожещи; что мы тогда ж и исполнили». Замечательнее всего, что за эту послугу Иона своим помощникам «дал по двадцати рублей».

Что эти рассказы не вымышлены, доказательством тому могут служить известия о самосжигателях, сохраненные официальными документами и другими историческими памятниками. Таким образом, в грамоте 24 августа 1685 года царей Иоанна и Петра Алексеевичей на имя новгородского митрополита Корнилия (Акты историч., том V, № 127) говорится, что в деревне Острове, вотчине монастыря Хутыня, собралось в овине и сгорело тридцать человек. В 1687 году сожглись добровольно раскольники, запершиеся в Полюстровском монастыре (Акты историч., т. V, № 157). В 1693 году произошел случай такого же самосожжения в Пудожском погосте, в деревне Строкиной (Акты историч., т. V, № 223). Более же всего страдала от фанатизма раскольников страна Сибирская, где случаи самосжигательства повторялись часто и иногда в огромных размерах. Так, напр., в 1679 году, вверх р. Тобола, на речке Березовке, сгорело разом 2700 душ, прельщенных учением бывшего попа, тюменца Дементьяна.

Замечательно еще, что основание учения филипан взято из Священного писания, и именно они приводят в оправдание своего фанатизма слова св. Евангелия: «Иже бо аще хочет душу свою спасти, погубит ю» (Марк., <гл. 8>, зач. 35[37]).

Но увы! и не здесь еще крайний предел аскетических воззрений на жизнь и подвиг ее. Так называемые скопцы превзошли морельщиков в фанатическом безобразии. К сожалению, мы имеем очень мало свидетельств об этой секте, замечательной как высочайшее уклонение человеческого разума. Впрочем, почтенный о. Парфений дает нам некоторое понятие о скопцах в своем «Сказании». Послушаем его:

«Когда мы приехали в Яссы, – говорит он, – то ясские скопцы, узнавши, что мы оставляем раскол и хотим ехать в Россию, захотели покушаться прельстить нас в свою погибель и желали иметь с нами разговор. Хотя я не соглашался входить с ними в разговор, потому что мне уже наскучили и свои толки и раздоры, и думал, что не успели мы еще из одной ямы вылезти, а уже другую бездну нам готовят, однако мой друг Иоанн согласился с ними войти в собеседование. Выбравши место, все сели; и я с ними. Отец Иоанн спросил: «Что хотите у нас спросить, или что хотите сказать нам?» Они отвечали: «Мы наслышаны, что вы оставляете свой раскол и хотите ехать в Россию; мы бы советовали вам лучше остаться здесь и присоединиться к нам». Иоанн: «На чем же вы утверждаетесь в своей вере и какое имеете свидетельство от Священного писания?» Скопцы: «Мы идем по Евангелию; ибо там сказано: суть бо скопцы, иже из чрева материя родишася тако; и суть скопцы, иже скопишася от человек; и суть скопцы, иже исказиша сами себе, царствия ради небесного (Матф. 19. 12). Вот на чем мы утверждаемся».

Опровергнув, устами друга своего Иоанна, нелепое учение скопцов, автор рассказывает кратко историю утверждения этой ереси в Молдавии. Скопцы переселились в Молдавию из России в царствование императора Александра I-го, но никто не принимал их там под свое покровительство. Напоследок, по усиленным их мольбам, принял их молдавский митрополит Вениамин, под условием, чтобы приходили в митрополитскую церковь, прислуживали как митрополитские слуги, причащались ежегодно св. таин по трижды и отнюдь никого не скопили. Но вскоре благодушие митрополита было самым печальным образом обмануто. Думая искушить их, он сделал для них обед, изготовив всю пищу мясную. Скопцы взбунтовались и едва не убили своего благодетеля. Митрополит отрекся от них и передал гражданскому начальству, а молдавский сенат приговорил: «Как людей непотребных и царству бесполезных, выгнать скопцов всех в поле и побить из пушек». Только заступничество русского консула, рассказывает о. Парфений, могло спасти их от исполнения этого решения. И с тех пор они живут в Яссах спокойно, обязавшись только подпискою никого впредь не скопить.

Мы надеемся, что ввиду этих фактов, едва ли кто-нибудь найдет возможным продолжать умиляться над аскетическими стремлениями древней Руси. Да и исчерпывали ли они всю древнюю жизнь нашу? Сомнительно, потому что рядом с «пустынею», рядом с «спасенным путем», встречаются «кони любодеевы», «сережки любодеевы», встречается та безобразная наклонность к пьянству и буйству, против которой так упорно и, к сожалению, почти безрезультатно ратовали святители

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru православной церкви. Не странно ли же связывать настоящее и будущее целого народа такими воспоминаниями и приковывать его навечно к такому бесплодному, невозвратному прошедшему? Не странно ли обвинять нас в том, что мы как будто бы лишены органа для понимания тех светлых подвигов веры и благочестия, о которых рассказывает нам почтенный автор «Сказания»? Нет, не эти подвиги, полные христианской любви к ближнему и светлой снисходительности к человеческим слабостям, не эти подвиги, допускающие суровость и неумолимую строгость лишь к себе самому; не эти подвиги для нас непонятны; но мы действительно не в силах понять, каким образом может совершиться возвращение к тому хладнокровному фанатизму, которое, не будучи умерено ни светом истинной веры, ни ясным представлением обязанностей человека и гражданина, дышит ненавистью ко всему, что ставит преграду этой противуобщественной страсти и, питаясь, так сказать, лишь собственным своим содержанием, доходит до неистовства и исступления.

Всякий без труда согласится, что между этими грубыми и уродливыми порождениями фанатизма и суровыми, но в высшей степени человеческими образами, вызываемыми отцом Парфением, целая бездна. Читая рассказы почтенного автора о подвижниках Афонской горы, чувствуешь, какому несомненному развитию подверглось воззрение на подвиг жизни и истинное благочестие. Стремление «переплыть многоволнистое житейское море» и «удалиться в тихие безмолвные пустыни» осталось, но оно не навязывается целой массе народной, а делается достоянием тех немногих избранных, которые считают себя способными и достаточно сильными, чтобы вместить этот безмерный подвиг. В существе своем, это стремление высказывает множество юношески теплых и симпатических сторон, чего ни под каким видом нельзя признать в цинических картинах древнего аскетического воззрения. Между тем и другим так же точно невозможно сближение, как и между побуждением, которое заставляет юношу с большим сочувствием отзываться на вопросы мира нравственного, нежели на требования обыденной материальной сферы, и циническим скептицизмом распадающегося от дряхлости старика, который громит жизнь и ее наслаждения потому только, что пресытился ими до отвращения. В первом случае юноша в одной своей вере в любовь всеисцеляющую и в истину всеразрешающую находит и самую любовь, и самую истину, и разрешение всех сомнений, и сладостное успокоение от всех тревог ума и сердца; во втором – человек находит только холодное озлобление и неумолимую строгость ко всему, что составляло всю прелесть и все содержание прежде изжитого существования.

Разъяснению этой – то могущественной, юношески светлой потребности любви и истины посвящает о. Парфений свое сочинение. Будучи сам причастным этой потребности, нося ее в своем сердце с самого детского возраста и целую жизнь проведя в отыскании, часто трудном и бесплодном, средств для удовлетворения ей, он находит, для изображения своего предмета, краски, поражающие самого обыкновенного читателя своею высокой поэзией, своею искренностью и свежестью. Воспитание и все обстоятельства, в которых возрос почтенный автор, сложились таким образом, чтобы возжечь в нем тот светлый огонь веры, который поддерживал его в многотрудных странствиях. Названные родители его были русские раскольники, поселившиеся в Молдавии; первоначальное воспитание автора было, следовательно, основано на правилах раскола, что не помешало, однако же, ему познать истинный страх божий и исполниться того ненасытного стремления к уразумению вечных истин Христовой веры, которое помогло преодолеть все препятствия, встречавшиеся на пути к такому уразумению. В самом деле, если мы примем в соображение, что с самых детских лет вокруг его слышались только постоянные жалобы на мир «суетный, прелестный и многомятежный», которому противопоставлялись картины «тихих и безмолвных мест, пустынь, гор и вертепов», в которых люди, «отложив всякое житейское попечение, посвятили себя на служение единому, истинному своему господу богу и воспевают его день и ночь»; если мы припомним, что подобные картины не случайные только слова, а составляют в известной среде постоянное правило, до такой степени действительное, что оно как бы слилось с жизнью, то нам сделается понятным это страстное желание укротить необузданную юность, прожить опасные младые лета и «переплыть многоволнистое и страшное житейское море, наполненное всяких опасностей душевных и телесных, чтобы достигнуть в тихое и небурное пристанище бесстрастия и там приобрести совершенную любовь к господу богу и к ближним своим, соединиться с богом и наследовать царствие небесное».

И вот, действительно, едва достигнув совершенного возраста, автор немедленно отправляется в странствие «на всю временную жизнь». Надо взвесить беспристрастно последние слова, чтобы вполне оценить все глубокое значение их, чтобы не раз задуматься над громадностью подъятого автором подвига. Тут, в этих немногих

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru словах, слышится полное отречение не только от всех житейских радостей, но даже от самого себя, от своей человеческой воли, и всецелое порабощение всего своего существа идее сурового долга, со всеми его лишениями и непрерывным трудом. Понятое в этом смысле, решение автора принимает действительно все размеры подвига, исполнение которого под силу только избранным личностям. И мы все, мы, люди, принадлежащие, по обстоятельствам, к миру суетному и, следовательно, стоящие вне этой страстной струи, которая проникает почтенного автора, мы тем не менее сочувствуем его горячему убеждению и с любовью и непрерывающимся интересом следим за его странствием, ибо в каком бы ни стояли мы отдалении от его убеждений, они оказывают на нас чарующее действие уже по одному тому, что в основании их лежит искренность и действительная потребность духа. Мы далеки от того, чтобы разделять воззрения почтенного автора на «суетный» мир, и между тем готовы сочувствовать ему в его отречении, в его искании тихих и безмолвных мест, в которых человек живет, отложив всякое житейское попечение. Причина этому очень понятна нам так отрадно встретить горячее и живое убеждение, так радостно остановиться на лице, которое всего себя посвятило служению избранной идее и сделало эту идею подвигом и целью всей жизни, что мы охотно забываем и пространство, разделяющее наши воззрения от воззрений этого лица, и ту совокупность обстоятельств, в которых мы живем и которые сделали воззрения его для нас невозможными, и беспрекословно, с любовью следим за рассказом о его душевных радостях и страданиях.

Убеждение, возведенное на такую степень, находит для выражения себя и слово, соответствующее этой энергии. Нельзя без особенного чувства умиления читать рассказы почтенного автора о жизни, проведенной им в пустынях, и о подвижниках, которыми наполнены эти пустыни, эти леса, где не бывала нога человеческая, где люди живут подобно птицам небесным, не зная, что обещает завтрашний день, но твердо веруя, что этот завтрашний день не обманет их, а напитает подобно всем прошлым дням подвижнической их жизни. Считаю не лишним, чтобы познакомить читателя с воззрением автора на жизнь в пустыне, сделать здесь выписку из его поэтического описания местности, в которой находится скит, служивший некоторое время убежищем для нашего странствующего. Скит этот расположен внутри Карпатских гор, в такой непроходимой пустыне, что трудно до него и пешему дойти.

«Проживая в том скиту немалое время, я часто ходил и странствовал по великим горам Карпатским, и по высоким холмам, и по непроходимым лесам; и много утешался, и радовался, и благодарил господу бога моего, царя небесного, что привел меня в такую тихую и непроходимую пустыню. Ибо совершенно закрылся от моих очей суетный и многомятежный мир со всеми своими прелестями и соблазнами. По Карпатским горам мало человеческая нога проходит; разве только одни те, которые ловят зверей. Весь Карпат покрыт великими и непроходимыми лесами и испещрен непрерывными горами и холмами. Внутри гор нет никакого жительствова, ни дорог. Ежели сойти между гор в долину, то и солнца мало увидишь; ежели взойти на высоту гор, то гора горы выше, и холм стоит на холме.

Над всеми же горами Карпатскими стоит, как отец выше детей своих, славная гора Щаглюй с плешивой своей головою.

Сколько ни высоки горы Карпатские, но против Щаглюя ничего не значат: видно его через горы за 200 подобно как за 10 верст. А стоит он внутри гор Карпатских, от преддверия два дня ходу, над рекою Быстрицей, близ самой границы австрийской. На него один день ходу; но мало бывает такого удобного времени, что можно на него взойти; потому что всегда ниже его стоят облака, и часто кругом его бывают дожди; верх у него плоск; на севере стоит гребнем. На верху горы весьма холодно; часто и летом выпадает снег. Внизу, кругом горы, при подошве находятся три монастыря. Но я сам близ нее не бывал, а жил от нее на один день ходу. Сказывали мне те, которые на ней бывали не по одному разу, что путь на нее труден и в ее неприступных пропастях и ущелиях много водится великих змей.

Карпатские горы тянутся от севера на юг и идут сквозь Австрию, Венгрию, Молдавию и Валахию до самого Дуная. За Дунаем называются горы Балканские. Карпатские горы имеют поперечнику 300 верст; ходу 6 дней; леса по горам больше сосновые и еловые, пихтовые, буковые и грабовые; довольно дубовых и березовых; в них множество родится разных грибов, груздей и рыжиков. И часто я ходил по горам и восходил на высоту гор утешать свои скорби любопытным зрелищем: посмотришь на все четыре страны – и ничего не видно, ни полей, ни городов, ни сел, только видны одни горы, покрытые лесами, и выше гор голые вершины; ровного места отнюдь нигде нет. Иные горы дымятся подобно как от пожара; иные испускают наподобие

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
дыму из труб: это всё исходят пары, и делаются облака, а из них идут дожди. Часто мне и сие случалось видеть, что на горе ведро и сияет солнце, а внизу между гор стоят облака и гремит гром, но только весьма глухо; и когда сойдешь вниз, в скит, то сказывают, что там был сильный дождь и гром, а мы на горе ничего не видали. Таковы горы Карпатские!»

Нельзя не остановиться перед этою просто, но ясно начерченной картиною природы. Многие, быть может, посетуют на автора за то, что некоторые штрихи картины как будто недостаточно развиты, что вся она слишком просто скомпонована, что нет тут ни «переливов света», ни «высей гор, теряющихся в безграничной синеве неба», и прочих витиеватых подробностей, которыми любят украшать современные рассказчики свои затейливые пейзажи. Но нам именно потому-то и нравится эта суровая картина, что в изображении ее все поражает своею умеренностью и трезвостью. Мы постоянно помним и сознаем, что ее воспроизводит нам человек, для которого все существенное, весь смысл жизни заключается в том суровом подвиге, на который он себя обрек; ясно, что этот человек и на природу смотрит с той точки зрения, с какой она споспешествует совершению этого подвига. Здесь, одним словом, на первом плане стоит не природа, а самый человек, и эта-то зависимость первой от последнего препятствует человеку находить в раскинутой перед ним картине иные краски, иные подробности, нежели те, которые заставляют его искать в ней внутреннюю потребность и настроение его духа. Чтобы сделать нашу мысль более доступною, позволяем себе сделать другую выписку из сделанного автором описания Афонской горы.

«Открылась нам восточная страна св. горы Афонския: множество гор и холмов и великих удолий; покрыты все темными лесами. Из-за гор выше всех холмов показывает свою обнаженную голову сам Афон. Но до него было еще далеко, более ста верст. У Афона самый верх голый и острый; сам он стоит выше всех гор и холмов, как отец выше детей своих. И мы ему поклонились, как отцу всея горы Афонския. Монастырей среди скитов ни одного не видим: они все спрятались под крылышки своей матери; стоят между гор в удолиях, в тихих, безмолвных местах. Мы же шли, радуясь и веселясь. Яко же агнцы на траве пасущися играют: тако мы, по св. горе Афонской идуще веселихомся. По левую сторону у нас было море, по правую страну св. гора, и впереди нас св. гора, и позади нас св. гора. Оставайся теперь ты, мир, со всеми своими прелестями и со всеми превратными и непостоянными своими красотою. Уже не боимся теперь твоих буйных ветров; не боимся твоих великих волн, ими же ты прельщаешь и уловляешь, разбиваешь и потопляешь рабов божиих, хотящих спастися. Уже мы теперь в тихом и небурном пристанище... И тако идохом по св. горе, радостные слезы испускающе и благодарственные гласы воссылающе. И шли мы всё с горы на гору: по обеим странам великие леса, больше сосновые и кедровые; попадалось много дерев прекрасного платану, но мы не знали, как называется, а только удивлялись его красоте и прекрасному листвию. По дороге всё камень. По сторонам много было разных цветов, и много цвело дерев, как в Молдавии весной, и много на деревьях плодов было, но мы не знали, как их звать, и боялись их вкушать. Это была комарня красная и белая».

Какая простота и умеренность в изображении картин природы, но зато как ярко и выпукло выступает перед читателем самая личность автора!

Но последуем за отцом Парфением, вступим с ним в тот мир, которого двери он нам отворяет. Нельзя без особенного и очень сильного чувства умиления читать рассказы его об этих суровых, но вместе с тем беззловидных и кротких подвижниках, которые отложили помыслы о всем земном и всецело посвятили себя богу. Мы сознаем, что жизнь эта как будто не по нас, что все коренные понятия наши о жизни и ее требованиях сложились совершенно иным образом, что мы не в состоянии были бы понести и тысячную долю тех нужд и лишений, которые добровольно приняли на себя эти странники моря житейского; мы сознаем еще – что всего важнее, – что через эту неспособность к высоким подвигам отшельнической жизни мы не делаемся ни преступными, ни недостойными членами христианского общества, что, оставаясь в мире, среди его соблазнов и искушений, мы совершенно удобно можем исполнить все обязанности, налагаемые на нас христианским учением; мы сознаем всё это, и между тем не только понимаем, но и всем сердцем сочувствуем этим людям, которые, по-видимому, умертвили в себе все страсти человеческие, отреклись от всего, чтобы исключительно проникнуться одною идеею сурового долга, одним желанием послушания. В конце четвертой части «Сказания» рассказаны жития знаменитейших подвижников св. Афонской горы. Пространнее прочих передана жизнь русского иеросхимонаха Арсения, который был духовником автора и, следовательно, ближе к нему, нежели прочие старцы афонские.

Родился он в г. Балахне Нижегородской губ. от мещан, но на двадцатом уже году оставил родительский дом и пошел странствовать. Посетивши множество святых мест русских и нашедши себе спутника Никиту, уроженца Тульской губернии, пришли оба в Молдавию и там пострижены в монашество. Но не здесь суждено было совершиться подвижнической жизни обоих друзей; внутреннее чувство призывало их на Афонскую гору, в те прекрасные и безмолвные пустыни, о которых с юных лет тосковало их сердце. И вот, преодолев все трудности, без денежных средств, питаясь мирским подаением, они достигают—таки своей цели и, пришедши в Афон, в то время совершенно разоренный турками, постриглись там в великую схиму. Дальнейшая их жизнь в уединенной келии, в непроходимой почти пустыне, протекла в служении богу и скромных подвигах добра. «Достигли они, — говорит автор, — в тихое пристанище душевного спокойствия и безмолвия, сиречь соединения ума с богом. Отцу Авелю (Арсению) дал господь дар рассуждения, вкупе и прозорливства; отцу же Никандру (Никите) — дар слезный: ибо плакал день и ночь до самой смерти». Этот «дар слезный» принимает иногда под симпатическим пером автора размеры глубоко потрясающие. Таков, например, рассказ о служении литургии. «Многажды мне случалось, — говорит автор, — взойти в притвор и слушать их громогласную литургию и музыкальное их пение, слезами растворенное. Вижду двух старцев, постом удрученных и иссушенных: один в алтаре, пред престолом господним стоит и плачет, и от слез не может возгласов произносить, только едиными сердечными воздыханиями тихо произносит; а другой стоит на клиросе и рыдает, и от плача и рыдания, еще же и от немощи телесной, мало что можно слышать».

Начало жизни своей они проходили по пустынному уставу, не занимаясь никаким житейским попечением, ни садом, ни огородом, ели единожды в день, а в среду и пяток оставались без трапезы. Пищу их составляли: сухари, моченные в воде, и черные баклажаны квашеные, посыпанные красным перцем. Ночь всю препровождали в молитве, и если сон превозмогал, то «сидя давали место сну, не более часу во всю ночь, и притом неприметным образом», разговоров между собой отнюдь не имели, а пребывали в молчании и беспрестанной умной молитве. Жить с собой они никого не принимали и говорили: «С нами жить никто не может. Мы едва в тридцать лет достигли в эту меру жизни, и теперь еще искушаемся и изнемогаем: хотя дух и бодр, но плоть немощна, аще не бы благодать божия подкрепляла нас». «Сии два старца, — прибавляет автор, — толико возлюбили господя своего, что ни на одну минуту не хотели с ним разлучиться, но всегда с ним беседу соуслаждались, умом и сердцем и устнами».

Это не тот черствый, беспощадный аскетизм, который поражает нас в памятниках древней русской жизни; здесь подвиг благочестия и самоотвержения, растворяемый любовью к ближнему и смягчаемый светом истинной веры, является читателю украшенным всеми своими симпатическими сторонами. Бескорыстие и готовность жертвовать собою на пользу ближнего возведены здесь на ту степень, где человек является как бы отрешенным от своей индивидуальности. Таков, например, рассказ о хиосском христианине, у которого турки увели в плен жену и детей и требовали за выкуп их пять тысяч левов. У отца Арсения было две тысячи левов, которые он, с учеником своим, долгое время и с великим трудом накопил, имея в виду поправить этими деньгами свою келью. Однако великий подвижник Христов ни на минуту не усумнился отдать их сполна бедному христианину и сам остался вновь ни с чем. Рассказ этот, под пером почтенного биографа, дышит необыкновенным благодушием и тою симпатическою теплотою, которая необходимо одушевляет истинную любовь христианскую.

В высшей степени замечательно также описание смерти другого подвижника Афонской горы, схимонаха Макария, родом грека. Причастившись св. тайн, он пришел к игумену и сказал: «Прости меня, отче святой, и благослови: я хочу умереть». Вышедши от игумена, пошел в больницу и просил койку, и на вопрос больничаря: «На что тебе, отец Макарий, койку?» — отвечал: «Умирать хочу». Потом со всеми простился, возлег на постель и скончался.

Таковы афонские отцы по рассказам почтенного автора, но кроме их, есть много и таких отшельников и пустынножителей, живущих кругом самого Афона, которых и в монастырях никто не знает. Живут они в пещерах, одежда на них обветшала, ходят полунагие или покрытые власами, питаются «саморастущими травами», а от людей укрываются. Заставши однажды одного такого пустытника, монахи узнали от него, что он уже сорок лет живет в пустыне, с небольшим числом пустытников, не видя никого, кроме своей братии. На вопрос «как проживали они в течение шести лет, когда Афонская гора была разорена и всюду ходили турки», он отвечал: «Ничего мы

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru не видели и не слышали».

Или вот еще изображение схимника Иоанна, жившего в келии, близ монастыря Вороны (в Молдавии): «Роста был он среднего, волосы на голове поседелые, белые, брада небольшая, белая; и так был сух, что крови и мяса неприметно, кроме кожи и костей; лицом светел и весел, и всегда очи его были наполнены слез, и никогда ничего не мог говорить без слез. Слово его было тихое, мягкое и кроткое, трогательное, так что мог всякого заставить с малых слов плакать; на ходьбе был легок; пищи употреблял мало, лакомства отнюдь никакого не имел; всех учил и наставлял наипаче терпению, послушанию, посту, смирению и любви; некоторых – и созерцательному богомыслию, но не всех; а наипаче всем внушал, чтобы истово ограждали лице свое крестным знамением».

Необходимо, однако ж, при этом сказать, что самая среда, в которой живут афонские отцы, и образ их жизни делают понятными те почти сверхъестественные подвиги, которых примеры приведены нами выше. Молитва и труд, и то и другое почти безустанно: вот обычное течение жизни иноков. Известный Святогорец, в своих письмах о св. горе Афонской, говорит, что там в простое время продолжается утренняя от 4 до 5 часов, а бдения продолжаются от 8 до 14 часов. Между прочим, первый вечерний псалом «благослови душу господа» продолжается... час с четвертью!!! (См. Письма Святогорца, ч. I, изд. 2, стр. 86.) После таких подвигов, которых ни один из иноков даже не считает за подвиг, делается понятным даже правило схимника Тимофея (Сказ. о стр., ч. III, стр. 67), который каждую ночь становился среди церкви на умную молитву и стоял двенадцать часов и более, как столп, недвижим.

«И от того стояния, – прибавляет почтенный автор, – ноги у него опухли и сделались весьма толсты».

Понятно, что при таком исключительном, особенном образе жизни, и ум и чувство человека приобретают своеобразный склад, совершенно отличный от понятий и чувств общепринятых. Здесь является особенный дар прозорливства, дар обонять то «благоухание», о котором так часто говорит о. Парфений, особенное пристрастие везде находить чудесное и всякое явление в природе объяснять вмешательством какой-то высшей, самостоятельно действующей силы. Так, например, старцы афонские почти все заранее предугадывают время смерти своей и при жизни еще делают как бы причастными откровению, которое раздирает для их глаз завесу будущего. С этим особенным направлением всех чувств и помышлений нас в совершенстве знакомит о. Парфений, передавая в книге своей как собственные впечатления, так и рассказы посторонних лиц о разных явлениях природы. Чтобы ознакомить читателя с этим взглядом, не излишним считаем сделать выписку из заключительных параграфов 4-й части «Сказания».

«От Афонской горы три дня ходу есть полуостров Кассандра. Там наш русский монастырь имеет водяную мельницу. Вода на мельнице удивительная: когда она сбегает с колеса, то претворяется в камень и замерзает сосульками, как лед чистый; но это не лед, а камень; также обмерзает и колесо, и часто его обрубает и очищают. Таковая же вода есть и в Афоне, в монастыре Хилендаре.

Болгары сказывают вещь неудобь вероятную, – что в Македонии, в двух местах, одно близ города Неврокопа, а другое от Солуни день ходу, стоят по целому обозу, один за другим, окаменелые люди, верховые и пешие, мужчины и женщины. А предание о них имеет такое: якобы в древние времена, когда еще были там идолопоклонники, ехали беззаконные свадебные поезда и окаменели. Мне самому видеть сего не случилось, а пусть рассуждает кто как знает.

Еще скажу следующее: шли мы из Иерусалима и стояли в карантине двенадцать дней, на острове Самосе, внутри гавани, подле монастырька; там, близу нас, из-под камня протекал большой источник воды холодной и сладкой, которою пользовались мы три дня, и благодарили бога, что привел стоять в карантине, подле такой воды благодатной. В тех странах ничто так не нужно, как добрая вода. Но в четвертый день утром, когда мы пришли взять воды, ни одной капли не нашли, и источник весь высох; видевши сие, мы весьма ужаснулись и много тому удивлялись, куда девался толь великий источник воды; плакали и говорили, что, видно, за великие наши грехи взял от нас господь эту благодать. Потом пришел игумен и сказал нам, что сия вода раза три и четыре в год престаёт течь, а после паки начинает течь. И мы три дня великую имели нужду в воде, а после паки она потекла по-прежнему: и мы много тому удивлялись. А отчего это происходит, никто сего не знает. А источник

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru «столь велик, что может быть пригоден для мельницы».

К этому же разряду воззрений относятся два рассказа, приводимые в «Письмах Святогорца». В одном идет речь о пустыннике, который, «пробудившись в полночь, засветил огня, и едва стал на молитву, вдруг услышал звуки труб и литавр, гам вооруженных людей и звон кровавой сечи; смутившись такою нечаянностью, пустынник с изумлением спросил себя: откуда и что здесь за война в глубокой пустыни? Действительно, война, и война жестокая, отвечал представший ему демон, ложись и спи; тогда и не будет войны, потому что я с ленивыми не борюсь». Другой рассказ заимствован из истории Георгия Кедрина. «Вшед проклятый Иулиан (богоотступник) в Персиду, посылает беса к Западу принести ему ответ оттуда скоро. Но сей бес воспышен был в шествии от некоего пустынника десять дней, и не могши шествовать далее, паки возвратился к Иулиану. Сей спросил беса о причине коснения. Бес ему ответствовал: и укоснел я и без всякого был действия. Ибо дожидался я некоего Пуплия пустынника, доколе докончит он свою молитву, и не скончав ее в десять дней, воспрепятствовал мне сотворить твою волю».

Но в то самое время, когда на юге, среди чуждой народности, совершаются указанные выше подвиги самоотвержения, тот же самый склад мысли, та же струя чувства и с тою же силою отзывается на отдаленном севере. Здесь выразителем их служит ссыльнокаторжный богомольского винокуренного завода (Томской губ.), Даниил Корнильев Дема. В этом заводе он находился несколько лет под ведением первого пристава, Егора Петрова Афанасьева, от которого претерпел много гонения. «Сей называл его святошею, – говорит о. Парфений, – и употреблял его в самые тяжкие работы. Но он все работы, возлагаемые на него, исправлял без опущения и по вся ночи стоял на молитве; пищи вкушал очень мало, и то только хлеб и воду. Среди дня, когда прочие отдыхали, он удалялся на молитву в уединенное место, где бы его не видно было. От того наипаче начальник Афанасьев на него сердился и насмехался, говоря ему: «Ну-ка, святоша, спасайся на каторге!» Однажды, в зимнее время, обнаженного его посадил на крышу дома своего, велел из машин поливать его водою и с насмешкой кричал ему: «Спасайся, Данил! ты святой!» Он ему ничего не отвечал, а молился только о нем же богу, чтобы не поставил сего ему во грех»...

Этот рассказ, заимствованный из достоверных источников, приводит нам на память другой подобный, переданный тем же Ксенофонтом, на свидетельство которого мы уже ссылались.

«1783 года. Познавши тоя волости (Вологодской губ. Устюжского уезда) священник, что много отверглось от сообщения святых церкви детей духовных, и наведавшись про нас, где живем и куда приходим, донес в духовную консисторию, а сия просила светское правление поступить с нами по законам. Вследствие чего, из губернии отправлен был капитан-исправник, который, приехавши к нам с командою ночью временем, и вначале взявши детей наших, допрашивал о нас с жестоким истязанием. Я в то время с дядею отлучился в жило для нужной потребы, а показанный Тимофей (живший вместе с рассказчиком) за несколько перед тем вышел к соседу. Дети при допросе показали, что нас дома нет, что мы отлучились в жило; а как капитан спрашивал и о Тимофее, то они показали, что и он с нами был. Когда же, по приходе нашем, увидел он, что с нами Тимофей нет, то начал допрашивать меня, где Тимофей, и как я его не показал и грубыми речью нарочно капитана раздражал, чтоб он меня начал бить и убил до смерти, то он так жестоко бил меня плетью, и так пробил тело на хребте моем, что оно висело лоскутами, а после, сгнивши, опало; от чего так тяжело было мне, что я не помышлял себе живому быть. Болезнь от побоев продолжалась более полугодом, через все же это время был я под стражею, и потому ниже лекарства принять было можно. А какие претерпел изнурения, будучи при допросах и скован по рукам и по ногам, то в своем Красноборске, то в Устюге и в Вологде, хотя бы все сие пострадал я, но не по разуму, поелику все то противно было богу и церкви, яко же и апостол пишет: «аще и постраждет кто незаконно, не венчается». Бог един ведает, что не было в моем разуме желать и искать суетной и тщетной славы человеческой, или скорогибнущего и суетного богатства, и потому вся сии мои страдания и внутренние и внешние ни во что полагал, понеже нельзя человеку, спасающемуся без сих великих искушений, в познание себя прийти, и аз многогрешный зело о сем радуюся, что через вся сия великая искушения познал себя и мать свою святую соборную и апостольскую церковь, которая меня издетска породила и воспитала, якоже мать питает сосцами любимое свое чадо; и хотя супостат и наветник душ человеческих, восхитив овцу от Христова стада, загнал в горы, во тьму заблуждения прелести своей; но создатель мой господь, видя скитающуюся по дебрям заблудшую овцу, сыскал ее и, возложив на рамена своя, привел в ограду словесных овец» (Полн. <ое> Истор. <ическое>

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru изв. <естие> о стригольниках и пр. протоиерея Андрея Иоаннова, изд. 5, ч. IV, стр. 115 и 116).

Хотя в последнем рассказе истязуемым субъектом является раскольник, тем не менее значение обоих фактов совершенно одинаково. С одной стороны, являются пристав Афанасьев и капитан-исправник, явления равно безобразные, равно убежденные в законности торжества матерьяльной силы над силою нравственною и во имя первой совершающие самые вопиющие бесчинства; с другой стороны, встречаем мы Даниила и Ксенофонта, которые, несмотря на все различие положений и убеждений, становятся в наших глазах представителями той великой нравственной силы, которая до того живуча, что, несмотря ни на какие препятствия, ни на какие утеснения, постоянно всплывает наверх. Здесь не может быть речи о том, находится ли заподозренный субъект в обладании истины или нет; здесь весь вопрос заключается в том, что субъект этот есть представитель известного убеждения, которое образовалось в нем не случайно, а вследствие продолжительной и трудной работы мысли, и что по этому самому обладатель такого убеждения не заслуживает того высокомерного презрения, с которым относятся к нему люди, убежденные в своем праве потому только, что обладают матерьяльными средствами, чтоб поддержать это право. Практическая мудрость всех времен и народов положительно доказывает, что такое вмешательство матерьяльной силы в сферу нравственных убеждений не только не уничтожает сии последние, но еще более раздражает их и возводит на ту степень ожесточения, которая преступает даже пределы самого слепого фанатизма. Вообще вопрос о том, какого рода должны быть отношения к такого рода явлениям мира нравственного, есть предмет, заслуживающий самого серьезного изучения, и мы намерены ниже коснуться его несколько подробнее. Здесь же можем только сослаться на обоих уважаемых нами авторов. Оба самым убедительным и, так сказать, наглядным образом объясняют нам не только явную бесполезность, но и совершенный вред насильственных мер в этом отношении. Убеждение, воспитанное работою целой жизни, до такой степени всасывается во все существо человека, сливается с ним, что даже в то время, когда уже начинает сознавать свою собственную ложность, оно не может вдруг отказаться от самого себя, потому что это значило бы отказаться от труда целой жизни, а такого рода подвиги совершаются не легко. За первыми возникшими сомнениями следует тяжелая и болезненная борьба, и благо тому, который найдет в себе достаточно силы, чтобы выйти из этой борьбы, сохранив в себе прежнюю свежесть и ясность души. В этой борьбе всякое возникающее сомнение вызывает за собою целый ряд новых сомнений, из которых каждое взвешивается не только с крайнею осмотрительностью, но даже с придирчивостью самую мелочную. Долгое время сердце остается на стороне старых, обветшавших убеждений, с которыми давно свыклось, и до тех пор длится это межумочное состояние, доколе разум, уже подкопавшийся под все основания старого здания, не нанесет ему решительного удара, от которого оно обратится в безобразные и не имеющие живого смысла развалины. Послушаем, например, что говорит о. Парфений о своем обращении в недра православной церкви:

«Получивши паспорт, мы отправились в путь через австрийское владение в Россию, с намерением ехать в единоверческий Высоковский монастырь, что в Костромской епархии. Вот сколько в человеке укореняется раскол (и не один раскол, прибавим мы от себя, а всякое убеждение, которого корни лежат в сфере нравственной) и как бы совершенно обращается в природу! Хотя мы непринужденно и по искренности своему расположению, истинно и добровольно обращались ко св. восточной греко-российской Христовой церкви и во всем ее признали справедливою, но в православные монастыри еще прямо поступить не пожелали, а только захотели присоединиться к единоверию. Что же сказать о тех, которые из раскольников присоединяются к св. церкви по принуждению или по какому-либо нечистому побуждению? Не только церковь иметь не будет от них какую-нибудь пользу, но они еще горшее сотворят. Я много таких знал».

Слова эти в полной мере подтверждаются и тем рассказом инока Ксенофонта, на который мы уже столько раз ссылались. Что должен был чувствовать этот Ксенофонт в то время, когда слишком усердный капитан-исправник, по энергическому выражению инока, «превратил в лоскутья тело у него на хребте»? Очевидно, что в уме его не могло крыться иной мысли, кроме той, что будь этот капитан-исправник, безобразный и пропитанный сивухой, в эту минуту в его руках, то, конечно, матерьялом для лоскутьев послужила бы иная спина, иное тело! И действительно, только разумное слово, только благодать и милосердие растворили сердце бедного, отуманенного лжеучением раскольника, только кротость и тихие, ласковые слова преосвященного митрополита Гавриила нашли доступ к этому ожесточенному сердцу, а терпение довершило остальное. Великие и милосердые святители православной церкви

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru всегда понимали, что человек, как бы ни была извращена его природа, все-таки носит на себе образ божий, и по этому одному уже заслуживает, чтобы к нему относились, по крайней мере, с терпением. Таким же образом действовали и благодушные монархи наши, как это будет показано ниже. Одни только капитаны-исправники XVIII столетия не умели отличить в человеке его человеческого образа.

Но обратимся к прерванному нами рассказу о жизни старца Даниила, извиняясь перед читателем в слишком пространном уклонении от этого рассказа. Отпущенный, за неспособностью к работе, на волю (на пропитание), он ни о чем уже не думал, кроме спасения души своей. Поселился он близ города Ачинска в деревне Зерцалах. Там была и келия его, «подобно гробу, выкопанному в земле, ширины – вершков двенадцать, вышины и длины – в его рост, а окошечко на восток самое маленькое». Пища его была хлеб, и то больше гнилой, да еще иногда картофель; одежда, по рассказам очевидцев, такая, что «если б бросить ее на улице, то никто бы не поднял», да и ее он оставлял в сенях, а сам пребывал в келии нагой. Молитва его была беспрестанная и духовная; он весьма любил молчание и даже нужное говорил кратко и мало и более притчами, «а разговоров мирских, политических и исторических даже отнюдь не терпел». Чтобы дать понятие о его подвижнической жизни, достаточно сказать, что пред вкушением пищи он под пояс себе забивал деревянный клин, чтобы менее съест. Незадолго перед смертью он снял с себя вериги, и на вопрос, почему он это сделал, отвечал, что они не стали уже ему приносить пользы, потому что тело его так привыкло к ним, что не чувствует ни тяжести, ни боли. Замечательно высказанное при этом следующее воззрение на подвижническую жизнь: «Тогда только полезна вещь, или подвиг, или добродетель для души, когда они наносят скорбь или обуздание телу... Пусть лучше говорят, что Даниил ныне уже разлеился и вериги с себя скинул: это будет для меня полезнее...» Нестяжание его было совершенное; милостыни не принимал, но и не подавал, потому что подавать было нечего; работал безмездно, к бедным ходил жать и косить, но преимущественно в ночное время, чтобы никто не мог его видеть. От постоянного молитвенного стояния на коленях его выросли струпы бугром, и под ними завелись черви.

Но остановимся здесь. Хотя многое в образе старца Даниила, начерченном автором «Сказания», неполно, а многое оставлено как бы необъясненным, тем не менее и по отрывочным данным, которые предлагаются о. Парфением, читатель удобно может воссоздать себе эту высокую личность. И нет сомнения, что, несмотря на всю ее суровость, читатель найдет в ней много таких сторон, которые вызовут все его сочувствие. И во-первых, эта незлобивость, эта кротость перед буйством матерьяльной силы, выразившейся во всей ее отвратительной наготе в лице пристава Афанасьева; во-вторых, это бесконечное нестяжание, соединенное с совершенною любовью к ближнему, – все эти факты ставят личность Даниила неизмеримо выше грубых порождений древнерусского аскетизма. Древнее воззрение на подвиг жизни носило характер несомненно противообщественный; это понятие и понятие о гражданском обществе не могут ужиться рядом; там, где человек порывается в леса и пустыни, там, где всякое подчинение гражданскому закону считается грехом и печатью антихриста, там, конечно, не может быть и речи о каком бы то ни было общественном строе, ибо здесь нет элементов, достаточных для устройства гражданского общества, а есть стадо, которого многочисленные единицы, не связанные между собою никакими взаимными обязательствами, стремятся окончательно эманципироваться в лесах, из которых им удобнее изрыгать свои хулы на человека. Напротив того, характер нынешнего благочестия православного не подрывает общества и, оставаясь в своей скромной сфере, оставаясь верным своему христианскому назначению, не бьет по глазам и не прокликает тех, которые не в силах вместить всей громадности подвигов, способность к которым дается в удел только немногим избранным натурам. Прекрасно стремление всецело посвятить себя на служение богу, в высшей степени симпатична эта жажда успокоиться на лоне природы и в утешениях молитвы от тревог и волнений жизни, но для удовлетворения этому стремлению нет надобности принимать звериный образ и разрывать всякую связь с обществом. Для этого существуют монастыри, в которых и жажда молитвы, и самое строгое благочестие могут вполне достигнуть своих целей. Скажем более: по мере выхода общества из младенческого состояния, по мере большего и большего заселения территории, древние, необузданные формы жизни делаются невозможными. Благоустроенное общество вправе требовать от каждого из своих членов, чтобы он, по крайней мере, не причинял ему вреда своими действиями, если уже не в силах принести положительную пользу. Кто может определить, для каких целей человек разрывает связи свои с обществом, кто может ручаться, что в этих пустынях, в этих лесах находит себе пристанище именно благочестие и жажда молитвы, а не

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru преступление и разврат. С своей стороны, мы никак не взяли бы на себя ответственности утверждать, что последние побуждения оказывают менее влияния на решимость человека необразованного, нежели побуждения чистые и светлые. Напротив того, мы практически имели случай удостовериться, что истинное благочестие не бежит света, что леса и пустыни скрывают нередко самые гнусные, самые безобразные преступления и что, наконец, в настоящее время, когда сознание гражданских обязанностей все ярче и ярче выступает вперед, беганье по лесам и пустыням сделалось делом исключительно одних фанатических сторонников раскола.

Все изложенное выше, по мнению нашему, достаточно удостоверяет в невозможности применения начал древней русской жизни к будущему развитию нашего молодого, но крепкого, исполненного жизни общества. Эти начала носят в себе так мало задатков чего-либо положительного, органического, они сами по себе так односторонни и бедны содержанием, что возвращаться к ним, в настоящее время, значило бы подвергнуть самих себя реформе самой насильственной и неестественной. Раскол служит тому самым убедительным и наглядным доказательством. Это единственное наследие, оставшееся как бы неприкосновенным от прожитой нами жизни. Но и здесь, и в этом явлении видим мы уже несомненные признаки разложения, которые явно свидетельствуют о его несостоятельности и предсказывают ему скорый и неизбежный конец.

Хотя мы и касались выше неоднократно этого предмета, но занимательность и важность значения его в сфере русской жизни таковы, что мы считаем не лишним подвергнуть его более подробному объяснению, тем более что рассматриваемое нами «Сказание» содержит в себе множество указаний, которыми мы и не преминем воспользоваться.

ЗАМЕТКА О ВЗАИМНЫХ ОТНОШЕНИЯХ ПОМЕЩИКОВ И КРЕСТЬЯН

Меры правительства, по изменению и устройству быта помещичьих крестьян, должны дать начало целому ряду новых отношений, доселе нам совершенно неизвестных. В настоящей заметке мы желаем коснуться исключительно одной категории этих отношений, и именно той, которая определяет будущее положение крестьянина в личных сношениях его с помещиком.

Прежде всего встречается здесь вопрос, какого рода могут быть отношения крестьянина к помещику: исключительно ли имущественные, как наемщика известного имущества к его владельцу, или вместе и имущественные и личные? Что касается до первых, то не может быть подвержено сомнению, что, по крайней мере, в продолжение первых двенадцати лет, когда крестьяне, за отведенные им в пользование помещиками земли, будут обязаны отбыв[ать определе]нные денежные или н[атуральные по]винности и когда вм[есте с тем] они будут лишены права переходить с места на место, между ними и помещиками должны завязаться весьма тесные сношения, имеющие характер имущественный. Но, несмотря на свою особенность, эти отношения не представляют существенного отличия от тех, какие могут существовать между кортомщиком и владельцем всякого другого имущества. Это отношения двух участвующих в контракте сторон, и хотя здесь нет контракта писаного, однако это несколько не изменяет существа дела, потому что обязательность имущественных отношений в этом случае так же действительна, как и обязательная сила контракта.

Совершенно другое дело отношения личные. Здесь мы видим, что обыкновенный или свободный наем частного имущества не обязывает нанимателя ни к каким личным отношениям к владельцу его, что они могут остаться лично совершенно чуждыми друг другу, лишь бы с той и другой стороны были соблюдены постановленные контрактом условия. Следует ли эту свободу и необязательность личных отношений перенести и в ту юридическую сферу, которая имеет образоваться, как необходимое следствие предпринятой правительством реформы? И ежели следует, то с какого именно времени, то есть с началом ли переходного состояния или только по окончании его?

Но предварительно необходимо дать себе отчет, в чем заключается истинное значение того состояния, которое называется переходным, и в каких видах оно является необходимым. Обращаясь к циркуляру г. министра внутренних дел, мы находим, что переходным состоянием называется тот период времени, в продолжение которого крестьяне должны выкупать свои усадьбы, а цель, с которою оно устанавливается, заключается в том, чтобы крестьяне оставались в это время крепкими земле. Крепкими земле должны остаться крестьяне как для того, чтобы устройство новых поземельных отношений произошло постепенно, без крутых и

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru внезапных потрясений, так и для того, чтобы предотвратить в сельском населении подвижность, которая в видах государственных признается преждевременною. Из этого возникают для крестьянина два рода отношений к помещику: во-первых, обязанность производить по частям уплату выкупной суммы, во-вторых, обязанность отбывать определенные повинности за право пользования пахотными землями. Отношения, как видится, чисто имущественные, которые могут быть сформулированы следующим образом: А. дает усадьбу, Б. выплачивает ему ее стоимость; А. отдает внаем участок земли, Б. уплачивает ему за это ежегодный оброк. Кажется, тут нет и не может быть недоумения. Но, возразят нам, отношения [эти не могут] быть названы в полном смысле слова юридическими, потому что они основаны не на обоюдном согласии договаривающихся сторон, а на обязательной силе высшего распоряжения, истекшего из начал государственной необходимости; следовательно, тут и норма оброка, платимого за землю, и самое количество земли, отводимой в пользование, – все определено заранее, так сказать, фаталистически. Согласно; тем не менее, однако ж, каким бы порядком ни были определены отношения крестьянина к помещику, они все-таки такого рода, что изменение их не зависит ни от той, ни от другой стороны; все-таки, значит, они имеют всю твердость юридических отношений, ибо помещик даже в продолжение переходного состояния не будет иметь право требовать отправления иных каких-либо повинностей, кроме тех, которые будут определены подлежащим Губернским Комитетом и утверждены правительством. Следовательно, приведенное выше возражение может вести лишь к тому, что для обсуждения столкновений, которые могут возникать из такого рода исключительных отношений, необходим также исключительный суд, но не более того. Удовлетворение этой потребности уже предусмотрено в предположении об учреждении особых уездных присутствий, которых назначение должно заключаться именно в разборе недоразумений между помещиками и крестьянами по их взаимным имущественным отношениям. Где же во всем этом предлог для продолжения личных отношений между крестьянином и помещиком, или лучше сказать, для продолжения личной зависимости крестьянина от помещика, ибо, при неравенстве условий, личные отношения без личной зависимости немыслимы.

Предлога этого (по крайней мере, внешнего) ищут в том, что «вотчинная полиция предоставляется помещику». Слова эти истолковываются весьма различно. Одни полагают, что на время переходного состояния необходимо вооружить помещика понудительными средствами или, точнее, правом наказания, как единственным путем для обеспечения исправного отправления повинностей. Но это толкование, очевидно, несостоятельно, ибо обязанности полиции не в том только состоят, чтобы наблюдать за выгодами помещика: помещик, делаясь полицеймейстером своего имения, становится вместе с тем и органом общей государственной полиции, и в этом качестве нередко должен будет найтись в явном противоречии с своими выгодами. Все это, как мы увидим далее, не только возможно, но и должно. Другие идут еще далее и смотрят на помещиков как на прирожденных полицеймейстеров в районе своих имений, которым принадлежит право полицейской расправы не только в тесной сфере отношений, образующихся между помещиком и крестьянином, но и в смысле более обширном, государственном, и не только на время переходного состояния, но и на вечные времена.

Посмотрим, в какой степени возможно применять к означенным выше словам, лишь в общих чертах характеризующим будущее устройство вотчинной полиции, подобные матерьяльные и даже [более чем] буквальные толкования.

Представим себе помещика, сделавшегося полицеймейстером своего имения. В чем могут заключаться его полицейские права и обязанности относительно крестьян, кроме права наказывать крестьян за неисправное отправление господских повинностей? По общим законам, обязанности полиции обнимают: охранение православной веры и прав церкви, охранение общественной тишины и спокойствия, наблюдение за нравственностью, за ненарушением правил, предписываемых особыми уставами о паспортах, о производстве торговли, о народном здравии и т. п. Из числа сих обязанностей, вполне только одна, а именно: наблюдение за нравственностью, и частью тоже одна: охранение общественной тишины и спокойствия, предоставлялись доньше помещикам и составляли одну из характеристических черт того, что мы называем крепостным правом; прочие же и доселе подлежали ведению общей полиции. Такой порядок вещей весьма рационален: вера, церковь, народное здравие, торговля – все это такие понятия, которые выходят из узкой сферы частных интересов, и как бы ни была велика сила обстоятельств, допускающая временное владычество частного на счет общего, тем не менее в сфере народной жизни все-таки найдутся такие явления, на которые нельзя смотреть иначе, как с высшей точки зрения, оставив в стороне все прошлое и

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru случайное. Как ни сильно пустило корни крепостное право во все общественные отношения, все-таки оно не могло проникнуть их до такой степени, чтобы связать с собою участь всего государственного организма, и овладело только одною, самонаименьшею частью одной из отраслей государственного управления: полицией. Правда, что все предметы полицейской деятельности так тесно между собою связаны, что нельзя уступить из них одного, чтобы прочие от этого не пострадали. Таким образом, мы видим, что, при возможности распоряжаться личностью крестьянина, помещики мало-помалу сделались судьями и в делах, подлежащих ведению общей полиции, потому что нередко от произвола их зависит или отдать известное преступное действие на суд полиции, или ограничиться относительно его домашнею расправою. Но все-таки это не более как злоупотребление, конечно, необходимо вытекающее из практики, но законом оно допущено не было и всегда подвергалось его преследованию. Да притом это положение вещей, которого корни питаются отживающим свое время крепостным правом, и не может служить образцом для будущего полицейского устройства, по той простой причине, что не будет тех условий, которые его породили. Нам скажут, быть может, что помещик, делаясь полицеймейстером в районе своего имения, этим самым становится на ту общую точку зрения, которая необходима для того, чтобы исполнять полицейские обязанности сообразно с требованием закона и общих государственных нужд. Мы и не отрицаем для помещика возможности лично стать на эту точку, но утверждаем, что эта возможность останется для него навсегда недостижимой, коль скоро он будет окружен теми условиями, в которые ставит его необходимость быть всегда готовым полицеймейстером именно той местности, к которой он привязан фаталистически. Не забудем, что именно здесь, а не в другой местности, имеются у помещика к крестьянам отношения имущественные, которые могут беспрестанно ставить его в положение истца. Кто поручится, что помещик эти отношения не будет вносить в сферу своей полицейской деятельности? Очевидно, что приманка слишком привлекательна, чтобы большинство не устремилось к ней, как к единственному средству, которое дает ему возможность по желанию и без хлопот устроить свои личные интересы. Очевидно также, что, при таком смешении понятий частного и общего, крепостное право не только не будет *de facto* уничтожено, но даже вся полицейская деятельность, в полном своем составе, сделается частною собственностью, и мы не замедлим возвратиться к средневековым воззрениям на существо и значение правительственных учреждений.

Но пойдем далее: допустим, что ни один помещик не увлечется до такой степени своими личными отношениями, чтобы упустить из виду обязанности, возложенные на него, как на орган общей полиции. Какая смесь разнообразных воззрений на существо полицейских обязанностей и на способы выполнения их представляется глазам нашим! Воззрений неуловимых и недостижимых ни для какого контроля, потому что как бы ни был сложен и искусно организован правительственный контроль, он никогда не может быть доведен до такой степени растяжимости, которая дала бы ему возможность простираť свое действие на все эти чуть заметные дробы, которые называются поместьями. Да притом, можно ли поручиться, что контроль этот действительно будет полезен? Не следует ли, напротив того, думать, что как скоро однажды допущен известный порядок вещей, то контроль над ним будет проникнут тем же политическим элементом, который присутствовал и при самой организации этого порядка. А сколько поводов к злоупотреблениям со стороны контролирующих чиновников? И кому поручить контроль? И какой контроль? контроль самый мелочный, самый придирчивый, влекущий за собой огромное бумажное производство, контроль, не приводящий ни к какому существенному результату, живущий, как паразит, на счет дела, к которому приставлен, но тем не менее совершенно независимый от него! Положение фальшивое и вместе с тем едва ли не безнравственное.

Все эти вопросы еще более усложняются, если мы вникнем глубже в различные условия и способы управления помещичьими имениями и в разнообразные качества управляющих. Во-первых, никто не будет отрицать, что и между помещиками, хотя они принадлежат к сословию, стоящему во главе просвещения, могут найтись люди не вполне благонадежные и что еще более найдется таких, которые если не совершенно незнакомы, то, во всяком случае, знакомы слишком поверхностно и с законами и с способами их применения. Как поступать в таких случаях? Оставлять ли исполнение полицейских обязанностей в жертву неспособности и самой неблагонамеренности? или заменять неспособных помещиков другими лицами по выбору от правительства? В первом случае весьма легко предвидеть, какие могут быть последствия; во втором вмешательство правительства будет явным нарушением прав помещика, ибо если сохранены между ним и крестьянином личные отношения, то очевидно, что судьбою в этих личных отношениях, столь тесно связанных с отношениями имущественными, может быть не кто иной, как сам помещик, и всякая замена, происходящая не с его

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru свободного и невынужденного согласия, есть нарушение не только личных прав его (за правами он, пожалуй, и не погонится), но и материальных выгод. Стало быть, в обоих случаях положение будет весьма странное, если не безвыходное. Во-вторых, как мы сказали выше, управление помещичьими имениями бывает весьма различно: в одних существует личное управление помещика, в других он управляет через доверенное лицо, в третьих, наконец, через выборных от самих крестьян, только под наблюдением или самого помещика или его управляющего. Есть и другие условия, которые оказывают решительное влияние на способы управления и которые не исчезнут даже с введением нового порядка вещей, а именно: в одних имениях существуют отношения барщинские, в других только денежные или оброчные. Наконец, явятся и такие имения, которых крестьяне посредством выкупа или иным путем приобретут себе от помещика участок земли в свою полную собственность. Если сохранить непосредственные личные отношения помещика к крестьянам, то для каждого из упомянутых выше условий управления потребуется совершенно особый устав, в котором нужно будет определить, в какой мере, в каждом из вышеприведенных случаев, помещик может простирать к крестьянам свое полицейское домогательство. И тогда странное зрелище представится глазам нашим; будут рядом существовать следующие полиции: полиция барщинских имений, полиция оброчных имений, полиция имений выкупившихся с землей, полиция казенных имений, полиция удельных имений, полиция горнозаводских имений, находящихся на пессимистическом праве, полиция горнозаводских казенных имений и пр. И над всем этим носится общая государственная полиция, которая теряется в этих подразделениях и недоразумениях, которая не может ни к чему приступить, не припомнив себе бездны различных изъятий, и которой действие на каждом шагу подрывается скрытым действием этих частных полиций.

Вот к каким результатам приводит нас буквальное толкование слов: «вотчинная полиция предоставляется помещикам». И напрасно будут нам говорить, что такое облечение помещиков полицейской властью обязательно только на время переходного состояния: во-первых, ни из чего не видно, чтобы обязательность этого правила простиралась именно на двенадцать лет, а не далее, а во-вторых, подобное положение вещей не только на двенадцать лет, но и на одну минуту не может быть признано возможным.

Утверждают, что необходимость [предупреждения неисправности] со стороны крестьян в [отбывании господских повинностей] есть уже достаточный повод для облечения помещиков личной полицейской властью. Но как же не [сознать, что предупреждение это принадлежит] к разряду отношений имущественных, не имеющих ничего общего с личными, что для разбора первых могут быть и действительно будут учреждены особые присутствия, которые вполне удовлетворят своему назначению, и что, наконец, имущественные отношения могут продолжаться и далее 12-летнего периода и что, следовательно, связывая их с отношениями личными, необходимо будет и для последних продолжить срок на неопределенное время.

Согласны мы, что, по существу и способу отправления полевых работ, там, где существуют барщинские отношения, не все равно, сейчас ли принять меры для понуждения крестьян или ожидать этого понуждения от сторонней полицейской власти. Но во-первых, это затруднение может быть устранено установлением таких штрафов, которые служили бы вместе и возмещением помещичьего ущерба, и предупреждением для крестьян на будущее время; во-вторых, с предоставлением помещику права наказания нельзя уклониться и от определения материальных способов этой расправы. В чем будет заключаться этот способ? если в телесном наказании, то он имеет ту невыгоду, что не вознаграждает помещика за ущерб, и сверх того, предоставленный усмотрению частного лица, он слишком напоминает о крепостном праве, чтобы желательно было удерживать его. Прибавляют, что наказание может быть окружено гарантиями для крестьян, как, например: мера его должна быть определена законом, оно должно совершаться в присутствии выборных с объявлением вины, и наконец, крестьянину должно быть предоставлено право жалобы на злоупотребления. Все это действительно представляет значительное усовершенствование против ныне существующих способов проявления помещичьей власти; однако существенной гарантии для крестьян мы все-таки не замечаем. Гарантия наказания заключается в его законности, в той сопровождающей его мысли, что оно является как орудие общественного или государственного суда, а не как орудие личного произвола, часто основанного на одном недоразумении. Определение меры наказания совершенно ускользает от власти закона, потому что в ежедневных мелочных отношениях одного лица к другому, там, где преступное действие является не столько в материальной положительно очерченной форме, сколько в намерениях, выражении лица, интонации голоса, недосказанных речах и т. п., есть столько

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru тонких оттенков, которые определить совершенно невозможно. Закон может наименовать преступным то или другое деяние, выразившееся в известной для всех видимой и понятной форме, но с улыбками, понижением или повышением голоса, выражением глаз и т. д. он не может иметь дела. Притом если бы закон и принял на себя такую власть, кому неизвестно, как растяжимо применение закона на практике, если правильность этого применения не гарантирована соблюдением известных законом же определенных формальностей. А именно присутствия этих-то формальностей и недостает в рассматриваемом случае, ибо совершение наказания при собрании выборных с объявлением вины никакой формальности не составляет и только без нужды привлекает сторонних людей к зрелищу не для всех приятному. Присутствие выборных тогда бы могло служить еще некоторою гарантией, если бы можно было положительно удостовериться, что выборные, находящиеся под личным влиянием помещика, не будут составлять массы безгласной, а утверждать это, при существовании личных отношений помещика к крестьянам, едва ли дело возможное. Наконец, право жалобы на злоупотребления власти помещика есть такое сомнительное право, которым не всегда может воспользоваться даже человек, вполне сознающий свое право. Всякая жалоба влечет за собою и проволочку времени, и ущерб для истца; следовательно, если крестьянину придется гнаться за каждым случайным тычком, то ему не останется на это ни времени, ни материальных средств. При этом, все-таки повторяем: не надобно забывать, что здесь личные отношения истекают из имущественных и что, следовательно, взаимное положение обеих сторон все-таки должно быть, по возможности, уравновешено, но какое же будет равновесие, если одной стороне мы предоставим право немедленно удовлетворять свои требования, а другой лишь право ожидать десятки дней этого удовлетворения от подлежащего судебного установления? Но если мы даже предположим, что крестьяне воспользуются этим правом, то какие могут выйти из этого результаты? Во-первых, соблазн будет так велик, что нельзя не ожидать, чтобы крестьянин не перетолковал себе права жалобы в самом преувеличенном виде и не стал пользоваться им на каждом шагу, и в деле и в безделье, а во-вторых, какая бездна дел должна возникать из этих ежемгновенных (и, надо добавить, натянутых, вызывающих взаимное раздражение) отношений? Очевидно, что никакое присутственное место не будет в состоянии с успехом удовлетворять всем требованиям.

Возвращаясь затем к главному предмету настоящей заметки, мы не можем не заключить, что все недоразумения, указанные нами выше, основаны на слишком буквальном, а потому и превратном толковании слов, которые мы неоднократно имели случай привести. Вместо того чтобы видеть в словах этих лишь зародыш будущего местного полицейского и административного устройства, зародыш, подлежащий дальнейшему развитию, хотят непременно видеть в них окончательную норму, в которой должно выразиться действие полицейской власти. Как будто тем, что полицейская власть оставляется в руках помещиков, уже все сказано? Как будто вслед за этим не надлежит положительно определить, под какими условиями, среди [каких учр]еждений, гарантирующих правильное ее действие, должна выражаться эта власть?

Здесь мы должны сказать несколько слов о том, с какой точки зрения мы смотрим вообще на различные системы применения административных начал. Но предупреждаем читателя, что и по объему и по характеру настоящей заметки мы можем коснуться этого предмета только слегка, предоставляя себе в непродолжительном времени, в особой статье и во всей подробности, развить взгляд наш на этот предмет. Вообще мы не принадлежим к числу приверженцев бюрократии; мы думаем, что она вовсе не способна ни понимать истинных интересов земства, ни тем менее управлять ими таким образом, чтобы это управление имело результатом действительную для дела пользу. Бюрократия имеет свое специальное назначение: оно заключается в том, чтобы охранять интересы государства от излишнего наплыва интересов местных. Назначение, как видится, чисто наблюдательное, и затем всякое вмешательство бюрократии в сферу исполнительную может быть допущено только в случаях чрезвычайных, то есть тогда именно, когда есть основательный повод думать, что от небрежности муниципальных властей известной местности могут страдать интересы государства или интересы других соседних местностей. Местное же управление должно быть основано на муниципальных началах; только тогда оно не будет служить обременением для края, только тогда может принести для него действительную пользу, когда в нем принимают участие все элементы, из которых составляется то, что в законе называется именем земства. До сих пор элементов этих у нас не было. Крепостное право наложило запрещение на целую половину народонаселения России (или около того), и потому весьма естественно, что муниципальные учреждения не могли у нас развиваться. Но мы впадем в большую ошибку, если и теперь, когда представляется полная нравственная возможность применить муниципальные начала к

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru нашей местной администрации, мы окружим эти учреждения всеми стеснениями бюрократической регламентации. Вспомним, что только то дерево бывает и крепко и здорово, которое растет на свободе, за которым нет бестолкового и случайного ухода всякого проходящего человека, произвольно принимающего на себя роль садовника. Допустим даже, что, быть может, вначале и действия, и приемы муниципального управления будут шатки, но не будем слишком поспешно выводить из этого неблагоприятные для него заключения, а напротив того, убедим себя раз навсегда, что ни один принцип, а тем менее принцип административный, обнимающий столько разнообразных интересов, не может сразу предъявить все свои результаты, и будем ждать с терпением. Часто случается нам слышать мнение (а в недавнее время оно выразилось и печатно), что злоупотребления чиновников имеют своим источником тот же строй понятий и воззрений, которые служат основой для крепостного права. В этой мысли есть своя справедливая сторона: если существует кормление законное, то никакая власть не в силах будет искоренить кормления незаконного, опирающегося на те же самые основания. Но не надо при этом забывать, что, вне этого строя понятий, есть еще иная, особая сфера понятий и воззрений, которая составляет принадлежность собственно бюрократии и которая осуждает ее на вечное бессилие относительно добра и пользы и, напротив того, вооружает ее страшною силою относительно зла и вреда. Эти понятия прямо истекают из положения бюрократии относительно управляемой местности. Считая себя представительницею интересов высших, государственных, бюрократия с пренебрежением смотрит на местные интересы, которые кажутся ей и ничтожными и вздорными, и с нетерпеливым презрением выслушивает даже самое легкое замечание или представление со стороны местных обывателей, не говоря уже о противоречии. Сверх того, действия ее ничем и никем не контролируются, ибо устройте какой угодно сложный контроль, окружите бюрократию коллегияльными учреждениями, требуйте от нее отчета в каждом ее действии, в каждом шаге ее служебной деятельности, результатов все-таки никаких не получится. Ибо и коллегияльный и даже одноличный контроль тогда только может быть действителен, когда он сосредоточен в иной разнокачественной среде, имеющей и возможность и интерес контролировать; если же он находится в руках представителей тех же самых начал, то в таком случае может произойти одно из двух: если контроль одноличный или иерархический, то контролирующее лицо будет вовлечено в огромную переписку, в бесчисленное множество бесполезных и нелепых действий, и все-таки будет обмануто, потому что обмануть лицо, ни с которой стороны не причастное интересам и выгодам земства, ничего не стоит; если же контроль будет коллегияльный, то коллегия эта будет только фикцией, служащей лишь к тому, чтобы бюрократическим злоупотреблениям и произволу придавать формы некоторой легальности, ибо бюрократия вся основана на началах дисциплины, и эта последняя столь необходима, что даже там, где высшая власть, для обуздания произвола, связанного с одноличным управлением, нашла полезным окружить своих агентов коллегиями, она вместе с тем была вынуждена вооружить председателей этих коллегий правом давать предложения, сразу уничтожающие все коллегияльные мудрования. Да и какое странное положение: с одной стороны, доверяй чиновнику, поручай ему управление целой местностью, с другой стороны, стесняй его на каждом шагу контролем другого лица, имеющего совершенно одинаковые с ним свойства и качества? И почему не А. контролирует Б., а именно Б. надзирает за А.? Кто поручится, что Б. действительно надзирает хорошо, и не нужно ли, в свою очередь, и к Б. приставить надзирателя?

Итак, невозможность, или, по крайней мере, почти безвыходная затруднительность контроля, соединенные с такою же неспособностью понимать интересы местности и с затаенною мыслью, что интересы эти так пошлы и вздорны, что можно и должно, без всякого зазрения совести, гнуть их в ту или другую сторону, смотря по личным воззрениям чиновника, порождает третье явление, которое окончательно делает бюрократию неспособною к административной деятельности. Явление это – произвол действий. Произвол этот сам по себе имеет столько привлекательного, что не нужно никаких посторонних более или менее сильных побуждений, чтобы он вполне не овладел всеми действиями чиновника. В какой бы мере ни увеличивали мы угрозу закона, запрещающего и карающего произвол, сила обстоятельств всегда возьмет перевес, и чиновник, раз вступив на стезю произвольных действий, употребит все усилия, чтобы подорвать действие закона и сделать его ничтожным. Во Франции, где не только не существует крепостного права, но где все граждане равны перед законом, мы тем не менее видим, до каких размеров может достигать бюрократический произвол. А там между тем существует и общественное мнение достаточно развитое, и гласность. Чему же приписать такое явление, как не недостаточной крепости муниципальных учреждений или, лучше сказать, безграничному подчинению их бюрократии?

Таким образом, мы естественным путем приходим к тому заключению, что из всех учреждений, которые могут быть установлены для управления местными интересами (ибо здесь нам об них только и предстоит вести речь), самым лучшим учреждением будет то, в котором все элементы земства найдут своих естественных представителей и защитников, и где значение бюрократии будет ограничено единственно сферой государственных интересов, из которой они не должны и выходить. Среди этих-то именно учреждений, которые могут иметь и свое иерархическое развитие, сословие дворян-землевладельцев должно занять принадлежащее им по праву место, но занять его не произвольно и исключительно, а совместно с представителями других сословий, имеющих в данной местности постоянную оседлость или постоянный промысел. Мы не должны при этом терять из вида, что в настоящее время дворянское сословие находится в выгоднейших, против земледельческого, условиях и со стороны образованности и со стороны материальных средств; следовательно, оно без труда, с помощью одних только этих средств, приобретет себе, если только захочет, то законное влияние на дела местности, которое было бы желательно предоставить ему и в котором только и можно видеть единственно твердую, а не мечтательную опору для дворянского сословия. Нам возразят, быть может, что страсти и сословные увлечения, по крайней мере в первое время по уничтожении крепостного права, могут заглушить самый голос рассудка и что в этом случае все предположения насчет законного влияния дворян-землевладельцев могут рушиться сами собою. Хотя опасения эти представляются иногда и в слишком преувеличенном виде, но нельзя отрицать, что в них есть своя доля справедливости. Но разве нет способов предупредить осуществление этих опасений? Во-первых, можно постановить, чтобы первенство дворян-землевладельцев в делах местного управления вообще и в делах местной полиции в частности было фактом обязательным. По мнению нашему, эту обязательность достаточно было бы распространить на тот период времени, который называется «переходным состоянием», потому что этого времени весьма достаточно, чтобы новые отношения, истекающие из настоящих мер правительства, определились вполне и восприяли свой законный, непринужденный ход. Во-вторых, если бы и этого оказалось недостаточным, разве правительство не имеет возможности продолжить эту обязательность отношений дворянского сословия к земледельческому до тех пор, покуда, по высшим политическим соображениям, окажется это действительно нужным и удобным?

Вот наше искреннее мнение о значении той меры, которая предоставляет помещику полицейскую власть над прежними крепостными. Понимать ее иначе – значило бы завязывать между помещиками и пользующимися его землями крестьянами такие искусственные отношения, которые повлекли бы за собою лишь взаимное и постоянное раздражение. Устранить последнее можно не иначе, как предоставив дворянам-землевладельцам ту же самую полицейскую власть, но не непосредственно, а окруженную известными гарантиями, которых присутствие сообщало бы ей законность и отняло бы у ней тот оттенок произвола и несправедливости, который составляет непрременную принадлежность всякой одноличной власти.

К этому не излишне будет прибавить и то соображение, что исполнение полицейских обязанностей в том составе, в каком они значатся в общем полицейском учреждении, требует и личного весьма хлопотливого труда, и материальных издержек, которые будут, в общей массе, тем значительнее, чем ограниченнее будут районы действия местных полиций. Если непосредственною полицейскою властью над крестьянами облечь землевладельцев-дворян, то на кого должны падать эти издержки? по справедливости, на помещиков, потому что предоставление им личной полицейской власти может быть допущено не иначе, как <в> видах ограждения их же выгод. Зогласятся ли помещики принять на себя эти издержки? очевидно, нет, потому что они для всех вообще тягостны, а для многих и совершенно разорительны. Остается, стало быть, или действовать на них принудительными мерами, что несправедливо, или же привлечь к участию в сих издержках те сословия, для которых самое учреждение полиции, в этом виде, не представляет ни гарантий, ни пользы, что не логично.

По этим основаниям, а также принимая в соображение, что нынешние крепостные крестьяне должны быть разделены на сельские общества, мы полагаем, что как внутреннее, так и полицейское управление этих обществ может быть, без затруднения и с большою для дела пользою, устроено на муниципальных началах. Участие помещика в этих учреждениях должно быть ограничено лишь делами, имеющими значение для всей местности, как, напр., делами общественного спокойствия и благоустройства, делами по учреждению училищ, благотворительных заведений,

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru ярмарок и т. п., в прочих же делах, касающихся исключительно интересов крестьян, составляющих сельское общество, как, напр., при раскладке податей и повинностей, отправлении рекрутской повинности, разделе семейств и земель и т. п., участие помещика может быть допущено не более как в качестве совещательном. Гораздо значительнее может быть участие дворян-землевладельцев во второй и третьей инстанциях полицейского управления. Вторую инстанцию должна быть волость, третью уезд. Необходимость волостного управления, устроенного на основаниях, гарантирующих правильное и законное действие полицейской власти, очевидна для всякого. Никто уже не отстаивает ныне существующие становые управления, как потому, что они, совершенно устраняя коллегияльное начало, дают слишком большую область одноличному произволу, так и потому, что они, по многим причинам, не удовлетворяют даже прямому своему назначению, то есть действительности полицейского надзора. Как в волостных, так и в уездных учреждениях, первенство может быть предоставлено дворянам-землевладельцам безо всякого ущерба или опасений, ибо соучастниками их по управлению будут и представители от других сословий, в нем заинтересованных. Само собою разумеется, что над всеми этими земскими учреждениями должен возвышаться контроль центральной власти, уравнивающий борьбу частных интересов.

Что же касается до столкновений, могущих возникать из имущественных отношений между помещиками и крестьянами, то способы разбора их уже указаны правительством. Тем не менее мы смеем думать, что этот исключительный порядок разбирательства не может быть обязательным на неопределенное время; с окончательным выяснением отношений свободного труда к общему экономическому строю, минуется и необходимость в исключительной для них юрисдикции; но до тех пор («переходное состояние» в истинном значении этого слова) она необходима. Но при этом мы, с своей стороны, полагаем бы полезным (и именно в видах устранения личной зависимости крестьян от помещиков), кроме уездных присутствий, учредить еще присутствия более местные, дабы через это достигнуть более скорого и доступного средства для разбора, в известных пределах власти, возникающих претензий и споров.

ЕЩЕ СКРЕЖЕТ ЗУБОВНЫЙ

(По поводу статьи: «Косвенные налоги на фабрики», напечатанной в «Вестнике пром.», 1860 г., № 2-й)

Читая в иностранных газетах рассказы о случаях и видах эксплуатации человека человеком, мы, русские, приходим всегда в столь сильное негодование, что сторонний зритель может подумать, что нас кровно обидели. Не говоря уже о торговле неграми, о несносном положении последних в Южных Штатах Северной Америки, нет, даже обыденное притеснение фабрикантом-капиталистом пролетария-работника производит в нас благородное волнение крови и непривычную суматоху мыслей. И это я говорю не о нынешнем дне, когда мы сделались... тово, и когда у нас на этот счет образовались понятия... тово, но о дне вчерашнем, когда между нами не слишком-то много было сочувственников тому порядку вещей, который в настоящее время выражается нами словом «тово». Разве уж какой-нибудь поистине заиндевший патриарх, слушая или читая подобные рассказы, воскликнет, бывало: «ишь шельма», или «ах ты бестия», но воскликнет таким голосом, который дает сразу понять, что под «шельмой» следует разуметь «голубчика» и что говорящий всей своей преисподней сочувствует глаголемому «бестии».

Поэтому нельзя не взирать без сожаления на те редкие случаи, когда мы отказываемся от привычной нам опрятности в словах, ежели не в мыслях и действиях. Подобный поразительный случай, к величайшему удивлению, встретился недавно на страницах «Вестника промышленности» (февраль 1860 года), в статье под названием: «Косвенные налоги с фабрик» по поводу некоего чудовищного дела, случившегося в городе Нововласьевске.

Любезные обыватели разных концов России любят посвящать свободные от отдохновения часы литературным потугам разного рода, результатом которых бывает сообщение публике некоторых узловатых и шишковатых дел. Стремление похвальное, и я отнюдь не намерен порицать его, ибо сам был неоднократно свидетелем того, как лезли глаза на лоб у некоторых администраторов при напоминании о замаранных их хвостах. Конечно, литературным этим опытам мешает то, что в них всегда присутствует какое-то странное балагурство à la половой или à la гостинодворец. Но и это опять не беда, если принять в соображение, что мы вообще народ не словесный и что недалеко еще то время, когда, кроме «папы» да «мамы», мы и слов других произносить не смели. Тем не менее не отыскивалось еще такого пишущего ироя, который взялся бы публично защищать аферу, основанную на человеческом

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru мясе, и столь же публично клеветать на тех, которые сию неприличную аферу называли принадлежащим ей именем.

В статье «Косвенные налоги на фабрики» рассказывается дело, положительно и близко мне известное во всех его гадких подробностях. Рассказывается оно следующим образом. В городе Нововласьевске некоторые добродетельные фабриканты задумали облагодетельствовать своих ближних. В этих мыслях они начали, благословясь, выкупать на волю у соседних помещиков мужичков и приглашать их к себе на фабрику, где «судя по тому, что всякая 12-ти летняя девочка зарабатывает от трех до пяти руб. в месяц, то сколько же должны получать совершеннолетние». Где «директор не брезгует русским народом» (вот-то достоинство особого рода), где «вникают в быт рабочих людей и помогают им в нуждах». Шутка сказать: ешь, пей и веселись. Тем не менее подобно тому, как невинного ребенка, доверчиво купающегося в волнах Нила, стережет из-за камышей крокодил, так и благодетельных купцов стерегли, среди их невинных занятий, не один, а два крокодила: некто Бесчленный и некто Лисичка. Виноват, в рассказе есть еще третий крокодил: Эмансипация. Этот последний крокодил, я думаю, был даже поважнее первых двух, потому что без него ни Бесчленный, ни Лисичка, будь они семи пядей во лбу, пороха бы не выдумали. И посмотрите, как все просто сделалось. Бесчленному и Лисичке понадобились деньги – ну, разумеется, к кому же и обратиться, как не к благодетелям рода человеческого. Однако «фабриканты, зная образ жизни просивших, отказали».

...Не говоря худого слова, Бесчленный и Лисичка призвали простодушных мужичков, да вдруг и объявили им: вы, дескать, вольные... или нет: вы, дескать, и без того будете вольные. Неизвестно, что померещилось нашим мужичкам, но они внезапно вообразили, что была между фабрикантом и помещиками какая-то темная стачка – «взяли да и подали просьбу, что их приписали к Нововласьевскому мещанскому обществу без согласия». Здесь является четвертый крокодил – губернатор, который назначает следствие, и, наконец, пятый крокодил – чиновник особых поручений, который производит следствие. Этот последний описан особенно уморительным образом. «Он должен быть польский жид, помесь с альбиносом, глаза – белые, с кровавыми оттенками, и тарашит их, как корова, которую ведут на бойню; нос крючком», и т. д. Увы, мы, русские, не можем обойтись без наружного остроумия. Если кто-нибудь сделал не по-нашему, то, наверное, у него или глаза коровьи, или нос крючком. Это не нами заведено, не нами и кончится: в этом состоит наш насущный обывательский юмор. Разумеется, этот г. Помесь действует самым гнусным образом: с первого же раза требует у фабриканта тридцать тысяч целковеньких (ах, если бы знал ты, злосчастный Помесь, о своих неумеренных требованиях! С каким бы удовольствием съехал бы ты хоть, ну хоть на одну тысячку), застрачивает людей (то есть тех же самых, которые возбудили все дело), сажает без всякой причины в острог некоего незнакомца Самознаева, единственно потому, что ему так от начальства приказано, [38] и к довершению всего (о глупый дурак!) рассказывает о своих подвигах всем и каждому, в том числе и ему, Проезжему. Разумеется, из всего этого выходит нечто чудовищное, ибо невинность страждет, а порок и злодейство торжествуют. Итак, вот как опасно, милые дети, купаться в Ниле благодетельным.

Рассказ, сверх того, украшен разными эпизодами. Во-первых, является городничий Банин, оторванный, по несправедливости начальства, от тучных пажитей Нововласьевска и брошенный на бесплодные скалы Горогорска. Этот Банин имеет мутные от слез глаза и, подобно Пояркову Печерского, поющему под тенью дерев «блажен муж, иже не иде на совет нечестивых», беспрестанно бормочет себе под нос «не бойся суда, а бойся судьи». Сверх того, он обливает слезами и беспрестанно целует часы, нечаянно подаренные ему растроганными нововласьевцами. Этот городничий – прелесть. Во-вторых, является губернатор, который купает в теплой воде своих малолетних детей. В-третьих, вся обстановка наивна и поэтична до крайности: действующие лица беспрестанно проходят по водочке, закусывают груздочками, слушают каких-то певич «Мои спюют тебе что-нибудь», – говорит некто г. Немилов. Кто это мои? Я подозреваю, что эти «мои» – те самые существа, которых в шутилом русском тоне называют «канарейками» и за излишнее разведение которых люди, подобные г. Немилову (а отчего же и не сам Немилов), попадают под опеку и выпивают целые партии шампанского.

И вот, можете себе представить, что дело происходило совершенно иначе, нежели рассказывает г. Проезжий.

Благоразумный читатель, еще при чтении самой статьи Проезжего, почувствует, что

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru есть в ней что-то неладное, как будто шитое живыми нитками. Откуда и с чего, например, эта внезапная злоба против благодетельных фабрикантов со стороны так называемых губернских властей? Может ли существовать на свете такая губерния, где губернатор занимается только купанием детей своих, и вице-губернатор послушен не совести своей, а приказаниям какого-то младшего секретаря губернского правления? Возможны ли, наконец, городничие, обливающие слезами подаренные им часы? Все это такого рода вопросы, которые могут смутить и не слишком дальновидного читателя, но не смутили Проезжего, который, по-видимому, совершенно доволен самим собой.

Я не хочу брать на себя защиту человека, именуемого помещью жида с альбиносом. Может быть, он хотел взять деньги с добрых фабрикантов, может быть, и не хотел – это тайна между ним и фабрикантами. Но что он не взял денег, это не подлежит никакому сомнению и явствует из самого простого изложения обстоятельств этого дела. Постараюсь быть кратким.

В апреле 1858 года некоторые вольноотпущенные от помещиков Нововласьевского и соседнего с ним уезда (назовем его хоть Сараевским) принесли жалобу местному начальнику губернии (кстати заметим, что как губернатор, так и вице-губернатор, о которых идет речь в рассказе Проезжего, были только что определены к своим должностям и не имели никакого понятия о благодетельных фабрикантах) на контору фабрики братьев Х. в том, что последняя, против их желания, причисляет их к Нововласьевскому мещанскому обществу, причем часть жалобщиков оглашала и то, что самое увольнение их от помещиков произошло без их согласия, а по принуждению и посредством угроз. На первый же спрос следователя вольноотпущенные крестьяне и дворовые люди показали: а) что помещики прислали их на фабрику для заработков и приказывали повиноваться директору фабрики, как самим себе, страшая, в противном случае, солдатством; б) что некоторым из них во время переговоров помещики их давали какие-то бумаги для подписания, но какие – им неизвестно; в) что о том, что они вольные, они узнали только по случаю производства 10-й народной переписи, когда их стали приписывать к Нововласьевскому мещанскому обществу; г) что от имени их заключены с конторою фабрики какие-то контракты на зажитие денег, внесенных за них фабрикантами, но они контрактов этих лично не заключали и о заключении их никого не просили и д) что содержание им выдается на фабрике скудное, директор фабрики притесняет их, а местный городничий (тот самый, который обливает слезами подаренные часы) жестоко их наказывает по первому требованию фабричного управления. В доказательство жестокого обращения на фабрике один из крестьян привел 18-го июня 1858 года к следователю своего двенадцатилетнего сына, и по свидетельству медика оказалось: на руке у него красная полоса в два вершка длиной и полвершка шириной, очевидно, происшедшая от удара ремнем. Из собранных следователем сведений от фабричной конторы и местных присутственных мест видно, что фабрика братьев Х. с половины 1857 года (о, эмансипация) по февраль 1858 года выкупила на волю 66 человек помещичьих крестьян, и притом в большинстве случаев не поодиночке, а партиями, так, например: у одного помещика выкуплено 31 человек. Прощения, при которых были явлены отпускные в уездный суд, в большинстве случаев, писаны и подписаны за крестьян, как за безграмотных, посторонними лицами; в получении отпускных расписывались тоже посторонние лица. Большею частью подписчиком является тот самый Самознаев, о котором упоминается в статье Проезжего. Были при этом такие случаи (и нередко), что при явке отпускной расписывалось, за неумением грамоте, постороннее лицо, а при получении (через несколько, впрочем, месяцев) расписывался сам получивший свободу. Из расчетных книжек выкупленных крестьян не видно, какая им производится ежемесячная плата, хотя в каждой из них есть особая страница с заголовком: «поряжен в работу на год с платою в месяц». Вообще, из этих книжек можно извлечь только сведение о той сумме, которую крестьянин должен заработать, и о том, сколько именно зачтено фабрикантом из заработной платы на погашение долга. В этом отношении есть указания весьма любопытные. Так, например, один крестьянин (назовем его хоть Константином Трифоновым), обязанный с женой и братом заработать 600 руб. сер., в течение полугода уменьшил свой долг на 32 руб. 15 к., но из этого числа вычтено конторою фабрики штрафных и на лекарство 17 руб. 55 к., так что Трифоновым погашено долга, в сущности, только 14 руб. 60 к. Если предположим, что он и впредь будет таким же образом действовать, то годовую его заработку следует считать в 29 руб. 20 к.; спрашивается теперь, во сколько лет это несчастное семейство освободится от тяготеющей над ним кабалы? Но возьмем более благоприятный пример: крестьянина Михаила Евстафьева. Крестьянин этот с братом и двумя женщинами, обязанный заработать 600 руб., в шесть месяцев заработал 42 руб. 25 к., из которых вычтено 5 руб. 85 к. Если семья эта вперед будет действовать столь же успешно,

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru то ежегодное погашение его долга будет выражаться суммой 72 руб. 80 к., и, следовательно, она освободится от кабалы лишь в течение восьми с половиною лет. Но идем дальше. Крестьяне показали, что от имени их заключены контракты, содержание которых им неизвестно; следовательно пожелал познакомиться с этим содержанием – что может быть естественнее. Контракты эти заключались в следующем: во-первых, от крестьян, принадлежавших одному и тому же помещику и привезенных на фабрику в одной и той же партии, всегда писался один контракт; во-вторых, крестьяне обязывались заработать внесенную за них сумму в течение 4-х лет «или более или менее» (тогда как закон положительно воспрещает заключать контракты на зажитие рабочими денег более, нежели на четыре года); в-третьих, предоставляли управлению фабрики право исправлять их полицейскими мерами, и, в-четвертых, ручались друг по другу относительно неперменной заработной внесенных денег, так что если бы кто из них умер, не заработавши своей части, то часть эта падала бы на остальных. (Любопытно знать, если бы, например, из пяти человек, заключивших контракт, четверо в течение первых двух лет умерли, то обязан ли был бы пятый, оставшийся в живых, контрагент заживать внесенные за всех деньги, и сколько времени потребовалось бы, чтобы достичь этой цели? В этом случае люди, употребившие свой досуг на составление контрактов, делали не только противозаконное, но, по мнению моему, даже просто глупое дело.) При этом весьма важно следующее: 1) что в большей части случаев контракты подписаны за крестьян, по безграмотству их, посторонними людьми, тогда как между крестьянами многие грамоте знают, и 2) что контракты писаны от имени крестьян, как вольноотпущенных, тогда как по делу доказано, что во время заключения контрактов отпускные контрагентов не только не были выданы им, но даже не были явлены в суде.

При дальнейшем расследовании некоторых темных обстоятельств этого дела оказались следующие диковинные вещи.

Некоторые крестьяне не были даже в Нововласьевске в тот день, когда по документам уездного суда они значатся бывшими в суде для явки отпускных, и этот факт основан не на голословном показании самих крестьян, а на неоспоримых доказательствах, как, например: на свидетельстве книг фабричной конторы, по которым значится, что крестьяне те не были в тот день на работе; на присяжных показаниях крестьян той деревни, где отпущенники в то время находились, и т. д. Но еще поразительнее то обстоятельство, что некоторые крестьяне значатся явившими лично свои отпускные не в Нововласьевском, а в Сараевском уездном суде, в тот самый день, когда они, по книгам фабричной конторы, числятся наличными работниками. Что крестьяне были отправляемы из деревень на фабрику не добровольно, это доказывается следующими фактами: а) присяжными показаниями односельцев крестьян г. У., которые засвидетельствовали, что означенных отпущенных на волю крестьян увозили в г. Нововласьевск насильно и что они горько плакали, расставаясь с родной деревней; б) некоторая г-жа З. дала директору фабрики подписку в том, что за выданную девке Устинье вольную получила 250 руб., и ручалась, что девка та внесенные за нее деньги заработает, если же почему-либо не в состоянии будет выработать, то обязывалась девку Устинью взять обратно и поставить вместо нее другую, подобную же: [39] она же, г-жа З., посылая к директору отпускную Устиньи, особым письмом убедительно просила не выдавать ее Устинье в руки, а в случае незаработка ею денег прислать отпускную обратно к ней, помещице; в) некто г. В. просил директора фабрики прислать ему денег, обещаясь выслать за это на фабрику еще «девок», «от которых для него больше выгод, нежели от мужчин»; г) некто г. Н. (отчего же и не Немиллов), отдавая в заработки на фабрику своего крестьянина за 300 рублей, в восторге от своей сделки, передает конторе свои права над упомянутым крестьянином (можно ли передавать кому-либо какие-либо, а тем более «свои» права над свободным человеком, г. Проезжий) и даже – где, дескать, наше не пропадало – обещает в помощь к упомянутому крестьянину прислать еще двух «девок»; д) некоторая г-жа П., заслышав в своем отдалении (совсем в другом уезде, говорите после этого, что добрая слава лежит, а худая бежит) о благодетельности фабрикантов Х., пожелала также вкусить от плода благотворительности; но, должно быть, она мало была знакома с аферистами Нововласьевского уезда, и потому, не смущаясь эмансипацией, разочла только, что весьма, должно быть, выгодно, вместо получения с крестьян оброка по 10 рублей с души, отдать их на фабрику целым обществом, с тем чтобы контора вычитала в пользу ее у каждого из них из заработанных денег по 2 рубля серебром в месяц: для этого она вызвала крестьян в свою усадьбу (за несколько верст от деревни) и объявила, что так и так, друзья мои, в деревню вам возвращаться незачем, а ступайте-ка вы прямо отсюда в Нововласьевск. К прискорбию, крестьяне отошли несколько верст и разбежались, а сделка

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru ограничилась тем, что г-жа П. получила в задаток от фабрикантов полтораста рублей; и е) сам директор фабрики, англичанин, отвечал следователю, что мысль об этой мерзостной операции истекла не от крестьян, а от владельцев, которые неоднократно его о том упрасивали. В предупреждение же могущего быть возражения, вроде того, что директор фабрики англичанин и не знал по-русски ничего, кроме «сейчас» и «будилька пива», считаю долгом заявить здесь, что директор отвечал по-английски и вопросы ему были предлагаемы тоже по-английски бывшим при следователе переводчиком, преподавателем английского языка при губернской гимназии.

Вот голый остов той драмы, которой узел завязался в одном из трактиров города Нововласьевска. Прибавьте к этому, что весь цвет как служащих, так и выгнанных из службы подьячих принимал в этом деле живейшее участие, и вы получите полное понятие о всей обстановке.

Но есть и отдельные темные пункты в этой драме, а именно: 1) отречение фабрикантов от права на дальнейший вычет из заработной платы отпущенников; 2) о страданиях и гонениях, невинно понесенных городничим Баниным, и 3) о неправильном заключении в тюрьму крестьянина Самознаева. Постараюсь разъяснить и эти эпизоды.

I. Вы говорите, г. Проезжий, что губернатор обещал фабрикантам прекратить дело, если они согласятся оставить свою денежную претензию на крестьянах. Не знаю, обещал ли губернатор что-либо подобное или нет, но и вы, г. Проезжий, и сами фабриканты должны знать, что губернатор не полновластный паша, который, по усмотрению своему, может начинать и кончать дела. Губернатор не мог и не имел права прекратить дело, во-первых, потому, что о прекращении его просила лишь одна из участвующих сторон, во-вторых, потому, что прекращению этому противятся закон и общественная совесть, приказывающие обнаруживать и преследовать уголовные преступления, хотя бы они были совершены не только устроителями бумагопрядильных фабрик, но и самим Аркрайтом, и, в-третьих, наконец, потому, что в деле этом открывались бесчисленные подлоги и преступления со стороны должностных лиц, и притом такие, которые не могут быть терпимы не только в благоустроенном, но даже и в расстроеном государстве. Довольно ли этих оснований? Но вы, быть может, не удовлетворитесь этим, и спросите меня: зачем же фабрикантам было соваться вперед с пожертвованием их денежных претензий на отпущенников, если они не имели положительного обещания, что дело этим будет прекращено. На это могу вам отвечать, что мысль о пожертвовании могла быть внушена, во-первых, присущим всем русским фабрикантам убеждением, что деньгами они могут поразить и привести в параличное состояние мыслительные способности всякого человека, а во-вторых, желанием смягчить свое нечистое участие в нечистом деле в глазах будущих судей своих.

II. Хотя вы, г. Проезжий, утверждаете, что городничий Банин пострадал напрасно, но это совершенно неверно. Понятия о долге бывают разные; может быть, г. Банин действительно думал и был убежден, что обязанность городничего состоит только в том, чтобы угождать фабрикантам г. Нововласьевска, но это убеждение крайне ложно, ибо городничему не мешает иногда думать и о тех, которые находятся под фабрикантами. В этом последнем отношении с его стороны было замечено крайнее забвение обязанностей, потому что не только жалобщики, но и полицейские служители под присягой показали, что Банин, принуждая отпущенников приписаться к Нововласьевскому мещанскому обществу, сек их жестоко (доходя до 80 ударов розгами), сажал их в арестантскую, и притом не давал ни пить, ни есть. Конечно, здесь действовал не столько сам Банин, сколько управление фабрики, над ним тяготевшее, но разбор побуждений и прочих больше или меньше смягчающих вину обстоятельств входит уже в круг обязанностей судебного места, а не административной власти, которая могла оказать лишь одно снисхождение г. Банину, а именно, не удаляя его вовсе от службы, перевести в другой город, где не может существовать подобного рода столкновений.

III. Самознаев был заключен следователем в тюрьму, как человек заведомо фальшиво подписавшийся на актах за людей грамотных, из которых притом некоторые находились в то время в отлучке. Однако ж губернское правление при рассмотрении следствия, обсуждая, между прочим, и действия следователя относительно пресечения Самознаеву способов уклоняться от суда и следствия, нашло, что действия эти не только преждевременны, но и пристрастны, ибо, по заключению следователя, Самознаев является как бы главным обвиняемым в деле лицом, между тем как, по всем раскрытым обстоятельствам, оказывается, что он был лишь орудием

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru других, более виновных лиц. Поэтому губернское правление и сделало распоряжение о немедленном освобождении Самознаева из-под стражи.

Спрашивается, к каким заключениям можно прийти ввиду всех рассказанных выше фактов и действий? А вот к каким.

Г-н Проезжий утверждает, что жалоба не была бы возбуждена крестьянами, если б не замешались здесь внушения злонамеренных людей. Не бывши на месте и не имея сведений о закулисной или, лучше сказать, о сплетнической стороне этого дела, я, конечно, не могу положительно удостоверить, собственным ли движением крестьяне подали жалобу на действия фабричного управления или по чьему-либо внушению, но знаю, что у нас вообще всякое жалующееся лицо охотно называют ябедником. Может быть, и действительно нашелся человек, который взял на себя труд объяснить крестьянам, что нет такого закона, который бы разрешал отдавать людей в кабалу на неопределенное время. Если он сделал это, руководствуясь единственно побуждениями правды и добра, – тем более чести для него; если же к этому примешивалось чувство мести или другое какое-нибудь неблагоприятное побуждение, то это относится лишь к личности внушителя, но ни на волос не умаляет важности самого факта. При обсуждении какого-либо дела мы вообще любим заниматься более околичностями, нежели самым делом; в обществе беспрестанно приходится слышать возгласы вроде следующего: «Да, если б не такой-то, то все было бы тихо и мирно». Причем «такому-то» посылаются иногда весьма сильные эпитеты. Нам хотелось бы обделывать наши делишки в веселии сердца своего; мы желали бы, чтобы вокруг нас царствовало милое безмолвие, которым грады и веси цветут. Пора, однако ж, нам разуверить себя и приготовиться к иному порядку вещей. Пора отвыкнуть от мысли о старинных «делишках», или же, если не можем отвыкнуть, то стараться обделывать их так, чтобы иголки под нас подточить было нельзя. Для нас в этом деле важно не то, кто внушил и почему внушил крестьянам жаловаться, но важно самое дело. Вы, быть может, скажете, г. Проезжий, что крестьяне очень хорошо знали сами о происходившей между помещиками и фабрикантами стачке. На это могу только заметить, что справедливость предположения вашего более нежели сомнительна. Ежели б крестьяне знали, а главное, если бы принимали добровольное участие в стачке, то к чему было бы управлению фабрики поднимать на ноги весь этот арсенал подлогов и угроз.[40] И притом мало ли что допускается людьми по неведению прав своих, и неужели, ежели права эти, на некоторое время находившиеся под спудом, были впоследствии, хотя бы даже и случайно, обнаружены, то обиженный должен быть лишен возможности протестовать против попраiania их потому только, что он сам, неведением своим, допустил это поправление? Нет, и тысячу раз нет. Если человек, у которого отняли вершок земли, может отыскивать этот вершок в течение десяти лет, то тем более сохраняет право искать тот, у которого отняли лучшее благо жизни – его свободу. Но вместо того чтобы обвинять крестьян в каком-то лукавстве и недостатке рыцарства, не лучше ли поискать другую, более естественную причину их молчания до апреля 1858 года. Я, например, более склонен думать, что крестьяне ни во время производства стачки, ни долго после нее, действительно не знали о своей свободе,[41] а были, напротив того, убеждены, что они просто-напросто отданы в кабалу на фабрику, чтоб заработать выданные за их труд вперед деньги, и что этим не прекращалось их крепостное состояние. Что открыло им глаза? Случайное ли обстоятельство, заключавшееся в 10-й народной переписи, или зародившиеся в городе слухи, или же чье-нибудь непосредственное внушение – до этого нам нет дела. Но нам кажется странным, почему крестьяне, если б они действительно знали о свободе, дожидались именно апреля месяца, а не жаловались ранее, тогда как многие из них были в этом положении уже около года.

Проезжий с умилением говорит о приятном содержании рабочего класса на фабрике, о том, как вникают в его нужды и даже не брезгают им. Однако дело показывает совершенно противное. Оно говорит, что содержание (по крайней мере, отпущенникам) давалось самое скудное, а именно, не более как от трех до пяти рублей в месяц на взрослого человека, что, при дороговизне жизни в Нововласьевске, очевидно недостаточно. Кроме того, в отношениях фабричного управления к этим людям царствовал полный произвол, тем более преступный, что последние не могли, подобно свободным работникам, выбирать между работой на фабрике или работой на стороне. Да и в жестоком обращении недостатка не было, и полиция (не говоря уже о домашних средствах исправления) во всякое время со всеусердием повергала посильные средства свои к услугам фабрикантов. Замечательно то, что один из надзирателей, спрошенный о причине удара ремнем, полученного упомянутым выше мальчиком, отвечал, что он смотритель, а потому и считает себя вправе бить ремнем нерадивых. Можно себе представить, что за кагал

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru должна представлять из себя фабрика, управляемая посредством ремней. Вот вам и свободный труд, претворяемый, по манию благодетельных фабрикантов, в каторгу.

Проезжий лишь слегка говорит о помещиках, принимавших участие в этой операции, но из тона всей статьи видно, что они возбуждают его полное сочувствие. Напротив того, все факты, добытые следствием, доказывают, что участие это было основано единственно на корыстных побуждениях. Некоторые из них даже положительно знали, что предпринимает дело незаконное, и в следствии есть, например, подписка г. У. в получении от фабричной конторы денег, в которой он делает такого рода оговорку: если уездный суд встретит препятствие к утверждению отпускных, то деньги обязуюсь возвратить. Спрашивается, какие препятствия мог встретить суд, если бы люди шли на сделку добровольно. И к чему такая зоркая предусмотрительность, если дело шло о чем-либо действительно законном. Но уездный суд не встретил препятствий и деньги могли быть удержаны г. У. без дальнейших затруднений. Итак, не филантропия и любовь к ближним служили основным мотивом этой трагической симфонии, а... Поверите ли вы мне, г. Проезжий, если я вам скажу, что мотив этот лежал все в ней же, все в этой эмансипации, которая произвела такой переполох в наших умственных отправлениях. Любезные обыватели наши рассчитали недурно: «Не сегодня, так завтра наступает эмансипация, – сказали они себе, – а при новых условиях крепостной человек есть только лишнее бревно в глазу, поди еще, да наделяй его землею, да и соседство это безобразное останется. А между тем фабрика предлагает от 200 до 300 рублей за ревизскую душу совершенно голую, да не брезгает притом и неревизскими – сем-ко воспользуюсь: и земля будет моя, и деньги будут хорошие». И начали, таким образом, помаленьку заранее разрешать трудную проблему применения свободного труда к русскому сельскому хозяйству.

Фабрикантов Х. Проезжий положительно называет людьми благодетельными. Но обращаюсь к общественной совести, можно ли, без греха, назвать благодеянием такое действие, которое закабаляет на неопределенное время и труд, и свободу, и человека. Пусть рассудит это дело благомыслящий читатель, к которому обращаются настоящие строки, а я больше препираюсь об этом не стану, тем более что уже из самого изложения дела видно, что в ведении всей этой «механики» преимущественное участие принимало фабричное управление, стараниями и хождениями которого и приведена она к вожделенному концу. Но, зачеркнув слова «благодетельные люди» из статьи вашей, вы, быть может, скажете, г. Проезжий, что все-таки на поступок фабрикантов нельзя смотреть слишком строго на том основании, что дела подобного рода делались прежде на каждом шагу и не считались в общественном мнении ни безнравственными, ни преступными, и что, следовательно, фабриканты, живя под влиянием ходячих понятий о нравственности, могли и не подозревать, что делают дурное дело. На это отвечу вам двумя примерами. В Вятской губернии существует татарская деревня Агрызь, которой жители поголовно занимаются конокрадством и отнюдь не могут понять, что в этом могут находить дурного другие. Следует ли оставлять этих конокрадов безнаказанными? Другой пример. В известном мире злостное банкротство считается не бесчестным поступком, а ловкою аферой – следует ли оставлять злостных банкротов спокойно наслаждаться плодами мошенничества своего? Идя по этой покатоности, мы можем дойти, наконец, до нелепого, до смешения всех понятий; мы станем, например, утверждать, что подлецов следует окружать ореолом славы, а честных людей вешать. Но успокойтесь, г. Проезжий, даже подобное снисходительное толкование действий фабрикантов не может иметь места в настоящем случае. Может быть, и действительно, руководствуясь правилами ходячей нравственности, с первого раза они и могли, подобно татарам деревни Агрызь, принять предлагаемую им аферу за обыкновенное будничное дело, но впоследствии, когда дело пошло по судам, когда для успеха его потребовались подлоги, неужели не было времени одуматься?

Я кончил, но не могу не прибавить нескольких слов в защиту вице-губернатора, который выставлен Проезжим чем-то вроде шута, из которого делает все, что хочет, мифический младший секретарь губернского правления. Вице-губернатор этот мне очень близок, и я смею уверить Проезжего, что не только младший секретарь, но и весь губернский синклит не заставит его сделать что-либо противное его убеждению.

Если вы, г. Проезжий, знаете еще какие-нибудь дела, касающиеся этого вице-губернатора, то потрудитесь сообщить. Я готов отвечать.

ГАЗЕТНЫЕ СТАТЬИ
1861 г

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ МИРОВЫХ
ПОСРЕДНИКОВ

В № 11 журнала «Наше время» помещена статья г. Ржевского «Несколько слов о дворянстве». Статья эта указывает на то высокое положение, которое должно занять дворянство наше с разрешением крестьянского вопроса.

Не будем спорить с автором о том, что он говорит о дворянстве вообще во вступлении к своей статье. Спорить о том, будто умственная образованность есть привилегия высших слоев общества и что на этом основании последним должно принадлежать преобладание над прочими слоями, как это явствует из смысла всей статьи г. Ржевского, совершенно бесполезно. Эта истина всем известная, освященная мудростью веков и потому приобретающая преимущество бесспорности; она звучала в предостережениях наших нянюшек, когда они говорили нам: «Стыдись, сударь, не клади пальчиков в рот: так только крестьянские дети делают!»

Но все, что ни говорит автор о дворянстве, есть не более как вступление; сущность статьи заключается в указании того участия, какое обязывается принять дворянство в устройстве быта нашего сельского сословия на новых основаниях, положенных законодательством 19-го февраля.

Заметив весьма основательно, какое огромное значение должна иметь, при осуществлении предстоящего преобразования, должность мировых посредников, занятие которой почти исключительно предоставлено дворянству, автор указывает на ту выгодную обстановку, которую правительство признало полезным придать этой должности. В особенности хвалит он независимость мирового посредника, заключающуюся в том, что «каково бы ни было его решение, никакое начальственное лицо не имеет права не только выразить ему свое неудовольствие выговором или замечанием, но даже и косвенно дать почувствовать свое одобрение или неодобрение».

Но, при самом полном сочувствии к принципу независимости, действительно составляющему одно из самых завидных преимуществ вновь учреждаемой должности мировых посредников, невозможно, однако ж, смешивать с ним понятие о какой-то свободе от всякой личной ответственности за действия. Подобного рода смешение, вообще нетерпимое ни в какой сфере человеческой деятельности, было бы в особенности вредно в применении к тому великому делу освобождения, которому положено ныне столь счастливое и столь многожеланное основание. Пределы власти мировых посредников, по учреждению об них, до такой степени обширны, что многие не без основания думают, что успешное исполнение законодательства 19-го февраля тесно связано с вопросом о том, как примутся на нашей почве мировые учреждения. Представить себе такую власть без строгой ответственности за употребление ее точно так же немислимо, как и вообразить себе, что вся сущность предпринятой реформы заключается лишь в перенесении прежних помещичьих прав с одного лица на другое. Чувство человеческой справедливости не может быть удовлетворено тем, что то или другое негодное действие будет отменено: оно требует, чтобы самое лицо, недобросовестно допустившее это негодное действие, получило достойную кару за него.

Но требование строгой и немедленной ответственности за действия скажется еще яснее и настоятельнее, если мы взглянем на дело с точки зрения практического его применения, если примем в соображение ту трудность, которая сопряжена с выбором лиц для занятия должности мирового посредника. Как известно, выбор этот предоставлен губернаторам, по соглашению с губернским и уездными предводителями дворянства, и притом среда, из которой могут быть выбираемы посредники, стеснена ограничениями. Сознаем вполне, что правительство, установляя и этот порядок, и эти условия выбора, не могло поступить иначе по многим причинам. Оно не могло применить к назначению посредников выборное начало, покуда новое законодательство не будет усвоено обеими заинтересованными сторонами, покуда та и другая не придут к сознанию своих прав и обязанностей.

Но положение губернаторов отнюдь не делается от того легче. Практика доказывает, что в таком деле недостаточно «клик кликнуть», недостаточно убеждать «не уклоняться от труда и не пропускать случая, единственного в истории». На деле оказываются преткновения, корень коих лежит в нашем прошлом, в том духе распушенности, который еще живет среди нас, в тех обычаях удальства, кумовства и всенипочемства, от которых мы еще долго не отделаемся. Постараюсь указать на некоторые из этих затруднений.

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Первое важное затруднение представляет господствующий в нашем обществе взгляд, в силу которого всякое новое учреждение, каковы бы ни были его последствия для народной жизни, представляется нам лишь источником должностей, сопряженных с теми или другими материальными выгодами. Мы не даем себе труда размыслить о самом существовании обязанностей, сопряженных с отпращиванием известной должности, мы не исповедуем себя, мы не спрашиваем себя, достаточно ли мы способны и сильны, чтоб добросовестно исполнить принимаемую нами обязанность. Нет, сущность дела остается для нас чем-то посторонним, чем-то таким, что придет само собой, без особых с нашей стороны усилий; главный же вопрос заключается в окладах и преимуществах, присвоенных должности. «Сколько жалованья?» – вот вопрос, повторяемый толпой искателей, вот магическое слово, производящее переполох даже в таких людях, которые давным-давно отказались от всякой общественной деятельности и не прекратили дружественных сношений только с самыми близкими соседями: Сопиковым и Храповицким.

Еще недавно, на судебных следователях, мы видели поучительный пример подобного рода умения низводить вопрос до степени служения исключительно целям побочным. Кто не зарился на присвоенные этой должности тысячу рублей? Кто не считал себя способным занять эту должность, без малейшего на то права, на том только основании, что идут же в следователи и Иван Петрович и Петр Иванович, отчего же не идти и мне, Сидору Трифону? И зато как скоро обнаружилась несостоятельность этих Трифонов! Как скоро бросились они бежать от мест, искусивших их неопытность! И благо еще тем, которые бежали: это самые добросовестные, а сколько еще остается таких, которые упорствуют и до настоящей минуты, продолжая лаять следствия кое-как!

Второе, еще более важное затруднение заключается в крайне недостаточной подготовке той части общества, которая призвана к деятельному участию в великом деле преобразования. Нельзя, конечно, не сознаться, что формы этой части общества в последнее время действительно изменились к лучшему; они сделались мягче и благовоспитаннее; победоносные руки уже не стремятся вперед; слово ругательства и поношения хотя и в употреблении, но уже не пользуется почетом. Все это правда; правда даже и то, что к самому вопросу уже образовались в обществе если не всегда искренние, то по крайней мере стыдливые отношения. Но стыдливость и более приличные формы общежития еще не составляют признаков действительной подготовки к делу, которое для большинства и донне продолжает представляться более или менее приятною неожиданностью. Предоставляя всякому, читающему эти строки, положить руку на сердце, спросить себя, многие ли из нас с сердечным участием следили за постепенным развитием вопроса, многие ли старались уяснить себе то положение, которое должно вытечь из разрешения его? Помещиков наших можно разделить на две категории: одних, которые живут вдаль от поместий и пользуются своим положением, как синекурой; других, которые постоянно живут в своих имениях и входят в мельчайшие подробности управления. Первые вовсе не имеют никакого понятия ни о крестьянском быте, ни о нуждах его; понятия вторых нередко бывают превратны. Первые вообще более образованны, чем последние. Но отношения тех и других к крестьянскому быту чисто отрицательные. Эта последняя черта очень верно подмечена в нашей литературе, которая до сих пор выработала только два типа помещиков: или помещика, олицетворяющего собою самодурство и произвол, или помещика-мечтателя, подходящего к делу с доброю совестью, но не умеющего взяться за него. Типы, подобные гоголевскому Костанжогло, не удавались именно потому, что они не были вызваны жизнью, а скорее были навязываемы ей. Да и откуда было выработаться в нас положительным отношениям к жизни? Легкость получать возмездие навязала нам скверную привычку жить спустя рукава и смотреть на будущее, как на что-то вполне для нас обеспеченное, несомненно нам принадлежащее. Мы не видели конца нашему благополучию, и если наконец убедились случайно, что старые боги умирают, то остались верными заповеди и не сотворили себе новых кумиров. А без новых кумиров, без новых воззрений на жизнь, воля ваша, трудно идти по пути новому, неисследованному, да еще вести за собой большинство. Конечно, у нас теперь «мода ездить в деревню и идти в посредники», как выразился недавно «Русский вестник», но нельзя забывать, что мода всегда увлекается только наружною стороною дела, а не сущностью его. Самое применение моды к такому делу, в котором главным двигателем должно быть убеждение, уже доказывает, как мало уяснены нашим обществом его отношения к реформе.

Третье затруднение в выборе посредников заключается в самой многочисленности претендентов, которых должно вызвать учреждение подобного рода. Красивость положения мирового посредника, независимость его, которую большая часть смешивает с безответственностью, наконец, мода – все это составляет такую

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru приманку, которая, несомненно, привлечет к себе множество искателей. Какую бы пронизательностью, какую бы добросовестностью ни наделили мы лицо, обязанное во что бы то ни было сделать выбор между этими соискателями, все-таки должны будем сознаться, что, по свойственной человеческой природе ограниченности, невозможно не растеряться между сотнями лиц, со всех сторон рекомендуемых. Не дремлет Матрена Ивановна, не дремлет статский советник Стрекоза – оба неустанно строчат рекомендательные письма. Первая рекомендует своего protégé по причине *comme il faut*; второй своего за скромность, за то, что он с молодыми молод, со старцами стар. Матрена Ивановна хорошая женщина, и отличные приготавливаются у ней пироги; Стрекоза припоминает в письме о приятных минутах, проведенных вместе тогда-то и там-то, и заверяет, что минуты эти оставили неизгладимое впечатление в его сердце. Да, трудно, неловко отвечать отказом на такое учтливое, в душу лезущее пристаивание, а если прибавить к этому еще потребность уживаться, столь многими принимаемую как высшее выражение административной дальновидности, если взять в соображение естественное пристрастие к лицам, с которыми часто обращаемся в обществе, то возможность и даже необходимость ошибок и увлечений в выборе лиц делается очевидной.

Повторяем: в таком важном деле, каким представляется освобождение крестьян от крепостной зависимости, недостаточно клич кликнуть, недостаточно надеяться, что авось-либо выбор падет на людей порядочных и добросовестных. Напротив того, надобно заранее примириться со всякого рода случайностями, надобно сказать себе, что люди везде и во всякое время не изъяты слабостей и ошибок и что корректив этой человеческой погрешимости должен заключаться в самой обстановке мирового учреждения.

Этим коррективом, по нашему мнению, при тех условиях, в которые поставлены мировые посредники Положением 19-го февраля, может быть только возбуждение строгой ответственности за их действия. Правительство, давшее столь несомненные доказательства заботливости своей о благе общем, очевидно, не могло упустить из вида и это обстоятельство. Оно оградило мировых посредников от придирчивого влияния местной административной власти на их действия и убеждения, но не сняло с них ответственности за последствия тех и других.

В самом Положении о губернских и уездных учреждениях по делам крестьян мы встречаем несомненное указание на ответственность, которой могут быть подвергаемы посредники, не исполнившие добросовестно обязанностей своих. Указание это изложено в 21 статье Положения, по смыслу которой посредники подлежат взысканиям в том же порядке, как и уездные предводители дворянства. Конечно, нам могут возразить, что подсудность правительствующему сенату есть нечто отдаленное, выходящее из ряда обыденных явлений административной сферы, делающее самое возбуждение ответственности актом крайне трудным и сомнительным; но возражение едва ли верно.

Оно неверно уже потому, что в нем слышится наше стародавнее воззрение на права и преимущества административной власти, в силу которого действия ее и производ являлись понятиями совершенно однозначными. Мы до такой степени привыкли видеть административную власть, действующую, так сказать, наотмашь, что введение даже самонаименованного препятствия, самонаименованной обрядности, ограничивающей ее производ, ставит нас в тупик и порождает мысль, что лицо или учреждение, в отношении которого допущено ограничивающее начало, уже поставлено, в некотором смысле, выше закона. Мы не хотим понять, что здесь ограничение касается лишь форм, в которых возбуждается ответственность, но не самого начала ответственности, которое во всяком случае остается в своей силе. Конечно, отношения местной административной власти к мировым посредникам сложнее и деликатнее, нежели к исправникам и станovým приставам; но это доказывает совсем не то, что посредники могут, ничтоже сумняся, делать всё, что пожелают, а то, что в настоящее время условия административной деятельности труднее прежних. Еще недавно некоторые администраторы действиями своими прообразовали полет, то есть летели всё прямо и прямо; нынче этого недостаточно; нынче искусный администратор обязывается прежде всего сесть на крышу и там в уединении обдумать, как бы таким образом пролететь, чтоб и воробья не спугнуть; а спугнуть, так спугнуть дельно. Возьму, для пояснения моей мысли, пример из следственной практики, близко подходящий к настоящему делу. Во всех государствах, где развита гражданственность, привлечение граждан к следствию составляет акт, требующий величайшей осмотрительности; затем, один из самых тяжелых следственных обрядов, домашний обыск, почти не допускается вовсе. Следует ли из этого вывести заключение о безнаказанности преступления в таких государствах? Отнюдь нет. Напротив того, мы

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru положительно знаем, что там гораздо менее остается преступлений нерасследованных, нежели в таких государствах, где привлечение гражданина к следствию нередко составляет предмет игривой затеи полицейского чиновника, а домашний обыск до того вошел в привычки следователей и даже самих обывателей, что без него и следствие как будто не в следствие. Итак, стеснение административной власти в формах ее сношений с мировыми посредниками отнюдь не лишает ее права вчинать иск к сим последним при всяком случае, когда в том будет настоять действительная надобность. Губернские начальства, которые не воспользуются этим правом, очевидно не исполняют обязанности, возлагаемой на них самим законом.

Но если бы и действительно ответственность мировых посредников оказалась слабою или сомнительною, то и тогда найдутся средства поддержать этот существенный принцип.

Мысль, которую мы намерены предложить в видах достижения этой цели, не новая, и была уже частью применена в отношении к судебным следователям в одной из наших внутренних губерний. Мысль эта заключается в устройстве периодических съездов всех посредников одной губернии в губернском городе, но не только для взаимного обмена мыслей и разъяснения общим советом частных вопросов и недоразумений, возникших в той или другой местности, но и для представления подробного отчета о всех действиях каждого посредника по вверенному ему участку.

Представление этих отчетов много облегчается правилом, изложенным в 69 ст. Пол. о губ. и уезд. учр. по крест. делам, в силу которого о всех производимых каждым посредником делах должно быть записываемо или в журнал, или в книгу и т. п. Этот журнал сам по себе должен составлять неподкупную отчетность, из которой каждый участвующий в губернском съезде может получить ясное понятие о том, каким образом тот или другой посредник воспользовался предоставленными ему правами. Поэтому журналы эти должны быть всегда налицо и предъявляться по первому требованию съезда, а еще было бы лучше, если б журналы посредников одного уезда были подвергаемы проверке посредников других уездов, с тем чтоб отчет об этой проверке был представляем съезду.

Сверх того, было бы желательно: во-первых, чтобы в губернских съездах мировых посредников участвовали в качестве свидетелей члены уездных мировых съездов, определяемые от правительства; во-вторых, чтобы к участию в совещаниях были приглашаемы члены губернских присутствий; в-третьих, чтобы съезды были организованы благообразно, то есть имели своего председателя и секретаря, и чтобы самый порядок совещаний был установлен не такой, первообразом которого служат наши сходки, а тот, какой существует во всех совещательных собраниях, более или менее благоустроенных; и в-четвертых, наконец, чтобы результаты совещаний и проверки отчетов были публикуемы в местных «Губернских ведомостях».

Мы думаем, что только при такой обстановке начало ответственности будет тем действительным, гарантирующим началом, которого необходимость, при исполнении законоположений 19-го февраля, неоспорима. Нельзя сомневаться в плодотворных последствиях, которые повлечет за собою устройство подобных съездов: оно даст крепость и силу мировому учреждению, оно навсегда изгонит из него негодные элементы произвола и коснения, оно сообщит ему привычки законности и сделает доступным для развития. Мы убеждены даже, что одна мысль о возможности подобной проверки действий много очистит этот рождающийся у нас институт. Не один из сторонников идеи самоуправления, переложенного на русские нравы, задумается при мысли об этой возможности; не один из тех, которые в юношеском восторге поверяют друг другу: «*mon cher! nous serons indépendants!*», [42] оставит свою затею и удалится восвосяи пасти гусей.

Зато те, которые останутся, те, которые сознают в себе силу выдержать искусы, те будут действительно хорошими и полезными мировыми посредниками.

К КРЕСТЬЯНСКОМУ ДЕЛУ

На основании Положения о губернских и уездных по крестьянским делам учреждениях, в каждой губернии учреждается особое губернское присутствие, на обязанности которого лежит не только окончательное разрешение споров и недоразумений по делам крестьян, вышедших из крепостной зависимости, но и определение всех подробностей, относящихся до приведения в действие законодательства 19-го февраля. Независимо от коронных членов, в состав этого присутствия входят четыре члена из местных дворян-помещиков, которые, как люди, не несущие на себе никаких

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru других служебных обязанностей, и должны представлять собою, так сказать, ядро губернского присутствия.

Несомненно, что самое большое затруднение при исполнении нового законодательства представится в слишком недостаточном распространении грамотности в народе и в тех привычках недоверия, которые поселены в нем крепостным правом. То спокойствие, с которым встретили крестьяне столь давно желанную весть об отмене крепостного права, служит достаточным ручательством, что с их стороны нельзя опасаться в будущем беспорядков. Но нельзя отвергать, что в некоторых помещичьих имениях, где в особенности чувствительно заявляло себя действие крепостного права, недоразумения не только возможны, но даже и естественны, как вследствие уже упомянутых нами причин, так и вследствие неясного понимания силы и значения законодательства, дающего права массе до сих пор бесправной. [43]

Желательно было бы, чтоб эти недоразумения, эти ошибки принимались за то, что они есть на самом деле, и чтобы к представлениям о них не примешивались те гнусного свойства опасения, выражение которых и до сей поры нередко случается слышать в обществе. К сожалению, общество наше довольно склонно к преувеличениям и опасениям; в самомалейшем противоречии, в самом законном желании простолюдина уяснить себе известное требование или дело оно уже видит заднюю мысль. При малейшем шорохе, при самом ничтожном замешательстве являются на сцену пессимисты-каркатели гнусностей и бодро поднимают головы. «А что, говорили мы! предсказывали мы!» – повторяют они.

Надо надеяться, что губернские власти не последуют примеру этих пессимистов и взглянут на дело с другой, более человеческой точки зрения. При всех недоразумениях подобного рода, особую, неоцененную услугу могут оказать им те дворяне-помещики, которые назначаются ныне членами губернских присутствий. При тех выгодных условиях, в которые они поставлены Положением, при том знании дела и крестьянского быта, которое всякий вправе предполагать в них, действие их, с целью личного разъяснения крестьянам их прав и обязанностей, представляется не только желательным, но даже совершенно необходимым.

Случаи, требующие этого действия, не могут быть многочисленны. Нельзя сомневаться, что большая часть недоразумений будет без труда устранена в самом начале деятельностью мировых посредников; следовательно, участие членов губернских присутствий потребует в немногих случаях недоразумения упорного, которое, по каким-либо причинам, не поддается действию местной, уездной административной власти. Обращаться в подобных случаях к содействию полицейских мер было бы не только несправедливо, но и нерасчетливо. Во-первых, участие полиции, со всеми ее атрибутами, является необходимостью лишь при существовании действительных беспорядков, а не там, где существует только замешательство, требующее для своего прекращения одного толкового и терпеливого разъяснения дела; во-вторых, полиция не может быть даже компетентным судьей в таком деле, к участию в котором она вовсе не призвана.

Повторяем: деятельное участие членов губернских присутствий (дворян-помещиков) в случаях подобного рода совершенно необходимо. Они более, нежели другие лица губернского и уездного управлений, способны внушить доверие крестьянам; они более, нежели кто-либо, могут уяснить себе и самый дух нового законодательства и ту обстановку, среди которой оно приводится в исполнение. То, в чем полицейские власти могут видеть неповиновение, беспорядок и сопротивление букве закона, в глазах добросовестного члена губернского присутствия может принять характер события, которого основа лежит, быть может, в неясном понимании обязанностей с одной стороны, а быть может, и в старании удержаться на прежней почве произвола – с другой. Законоположения 19-го февраля не уполномачивают начальников губерний обращаться к содействию членов губернских присутствий в делах такого рода, но и не воспрещают этого обращения. Мы думаем даже, что губернаторы имеют полное право требовать этого содействия, ибо существенное в деле освобождения крестьян заключается в том, чтобы великое преобразование, предпринятое правительством, совершилось спокойно и беспрепятственно, а не в бесплодных словопрениях о том, прилично или нет тому или другому члену присутствия принять на себя обязанность, с исполнением которой в деле нашем до сих пор соединялось представление о полиции.

Да и сами члены губернских присутствий, надеемся, поймут, что обязанность их заключается не в одном только канцелярском разборе жалоб и дел, но и в живом воздействии на крестьян, жаждущих только слова добра и истины, чтобы с

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru достоинством и твердостью идти по новому пути, указанному рукой царя-освободителя. Всякие споры и пререкания по этому поводу были бы не только бессмысленными, но являлись бы положительным преступлением против общества, и герои, которые рассуждают, что «я, дескать, не за тем призван, чтоб заменять станового, а за тем, чтобы рассуждать в мире и безмятежи», заслуживают того, чтобы имена их были занесены на страницы истории крестьянского дела, как назидательные примеры чванства и неуместной умственной мягкости.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ ИСТИННОМ
ЗНАЧЕНИИ НЕДОРАЗУМЕНИЙ
ПО КРЕСТЬЯНСКОМУ ДЕЛУ

Представьте себе несчастного петербургского чиновника, который, в течение тридцати и более лет своей службы, ежедневно прохаживался из Галерной гавани в тот департамент, где он имел честь состоять писцом, и который давным-давно забыл мечтать о том, что есть на свете места помощников столоначальника, дающие человеку возможность износить в год лишнюю пару сапогов; представьте себе этого чиновника, с надсаженною грудью, с поблекшим сердцем, с посрамленною вечным механическим трудом душою, и потом предположите, что этот забитый и загнанный судьбою человек совсем неожиданно получает известие, что где-то в Якутске скончался некто Прижимистый, который доводится ему чем-то вроде седьмой воды на киселе, и что, по этому случаю, ему достается наследство в миллион рублей. Как поступит, как поведет себя бедный труженик?

Что касается до меня, то я живо представляю себе его положение. Прежде всего, думаю я, он не поверит полученному известию, и сомнения его рассеются уже тогда, когда объявляющий ему эту весть квартальный поручик назовет его «сиятельством». Потом, я полагаю, он сочтет первым долгом наглубить своему столоначальнику и не встать с места при появлении начальника отделения. Потом, он примется переписывать брошенную ему на стол бумагу, но работа пойдет худо и неспоро, и он, не окончив ее, сбежит из департамента туда, в свое отечество, в свою любезную гавань. Там он, что называется, закричит благим матом, созовет товарищей своего прежнего безотрадного существования и учинит дебош, о которой долго, между гаваньцами, будут переходить из рода в род преувеличенные рассказы.

С точки зрения людей благонамеренных, мой бедный, загнанный герой, конечно, должен бы поступить совершенно иначе. Он должен бы был, прежде всего, отправиться в храм божий, потом сходить в баньку и вымыться, потом отправиться к своим добрым начальникам и испросить у них отпуска, потом, пожалуй, созвать своих сослуживцев и т. д. Одним словом, тихо и добропорядочно совлечь с себя ветхого человека и кротко и не брыкаясь прокрасться в новую жизнь.

И тем не менее я отнюдь не удивляюсь, что герой мой идет не в баню, а в трактир, не просит отпуска, а бежит с поля сражения самовольно. Не удивляюсь я по следующим, довольно основательным в моих глазах, причинам. Во-первых, думаю я, в жилах этого человека течет кровь, а не слякоть; весть, которую он получил, так доброгласна, что сердце неволью в нем заиграло, а в таком расположении души что может быть естественнее, как подпрыгнуть до потолка и показать, в некотором роде, язык своему прошедшему? Во-вторых, я не упускаю из вида и того, что в Галерной гавани о приятных и приличных манерах имеются понятия весьма смутные и что тамошнее *somme il faut* совсем не похоже на *somme il faut* Английской набережной; следовательно, рассуждаю я, отчего же герою моему не напиться отечественного, не отпраздновать своей радости по-своему, сообразно с теми привычками, на которые указывает вся проведенная доселе им жизнь?

Поведение героя моего тем более кажется мне естественным, что оно безобидно, что, в сущности, оно даже не задевает никого. Я убежден, что пройдут дни увлечения, выбродятся дрожжи, произведшие первое брожение, – и жизнь по-прежнему войдет в естественную свою колею. Кто знает? Быть может, прежняя, нужная гаваньская жизнь будет представляться ему даже в розовом цвете? Быть может, попривыкнув к яствам Донона и беседуя с бывшим своим сослуживцем, не получавшим наследства и потому живущим еще в гавани, он даже вздохнет полегоньку и скажет: «А ведь вы, каналы, там очень счастливы, в гавани-то?» Кто знает?

В подобном, или приблизительно подобном, положении, как этот внезапно разбогатевший труженик, находятся в настоящее время наши крестьяне, воспользовавшиеся благодеяниями дарованной им свободы. Припомянув всю горечь условий, в которых они находились доселе, и взвешивая те последствия, которые влечет за собою для них нынешняя реформа, невольным образом спрашиваешь себя:

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru возможно ли и естественно ли, чтоб сердца их не раскрылись при вести о новом воскресении, о новом сошествии Христа во ад для освобождения душ их? Возможно ли, чтоб эта добрая, неслыханная весть не потрясла их до глубины души, чтобы при получении ее они сохранили всё благоразумие, всё хладнокровие?

Конечно, было бы приятно и весело слышать, что крестьяне, выслушав эту весть, оделись в синие армяки, а крестьянки в праздничные сарафаны, что они вышли на улицу и стали играть хороводы, что, проиграв кротким манером до вечера, спокойно разошлись себе по домам и заснули сном невинных, с тем чтобы на другой день вновь благонаравно приняться за исполнение старых обязанностей. Но, увы! как ни соблазнительна подобного рода идиллия, едва ли, однако ж, она возможна на деле. Всякий благоразумный помещик поймет, что требование такого ненарушимого благонаравия не только неуместно, но даже несправедливо; что оно не согласно с условиями человеческой природы и что ход и развитие жизни не могут быть ни столь плавными, ни столь идиллическими уже по тому одному, что в числе условий этого развития немаловажное место занимают невольные ошибки, неприготовленность и неожиданность. Благоразумный помещик поймет возможность увлечения в таком горячем деле; он сознает, что для крестьянина, преисполненного новым для него чувством свободы и довольства, трудно воздержаться от того, чтобы даже не предьявить чего-нибудь лишнего, и на этом основании снисходительно взглянет на могущие возникнуть недоразумения, устранение которых невозможно без жертвования частью материальных выгод. Зато, мы уверены, и крестьяне скоро поймут такого помещика.

А между тем люди, предьявляющие, относительно крестьян, ожидания и требования букволического свойства, выискиваются нередко. Этим господам хотелось бы подменить человеческую природу и сделать из нее, хоть на время, хоть на два годочка, исключительное хранилище чувств благонаравия и благодарности. Понятно, что, заручившись однажды этою мыслию и заранее определив, на основании ее, будущий ход событий, они не могут оставаться хладнокровными, не могут не сердиться, видя, что жизненные явления на каждом шагу противоречат утопии. Им кажется, что жизнь идет не так, как было бы желательно, и не потому не так идет, что она не может и не должна так идти, а потому, что есть какое-то преднамеренное озорство, которое засело там-то и там-то (называют даже по именам) и которое необходимо следует истребить. Отсюда вопли, отсюда внезапный, диковинный переход от идиллии к драме.

Нельзя не сознаться, что ввиду этих воплей, ввиду этих внезапных переходов от идиллии к драме, положение наших мировых учреждений и губернских присутствий до крайности затруднительно. Чтоб действовать с успехом, для них необходимо с первого же раза приобрести свободное доверие крестьян, а им указывают на угрозу, на страх наказания, забывая при этом, что окончательная и истинно разумная цель преобразования быта сельских сословий заключается не только в улучшении материальных условий этого быта, но преимущественно в нравственном перевоспитании народа.

Очевидно, однако ж, что и приобретение народного доверия, и нравственное перевоспитание народа могут быть достигнуты в том только случае, если всякий благомыслящий человек согласится, что в настоящее время все усилия должны быть направлены к тому, чтобы предпринятая правительством реформа прошла спокойно, без потрясений, и чтобы плодом ее было сближение двух заинтересованных в деле сословий, а не разъединение их. Но результат такого рода, единственный прочный и плодотворный результат, может быть приобретен не иначе, как путем неторопливого и мирного согласования взаимных прав и обязанностей, а отнюдь не силою. Конечно, с точки зрения избавления от тягостей умственного труда, решение возникающих вопросов при посредстве полицейских мер представляет значительные удобства; но мы твердо убеждены, что соблазн подобного рода не увлечет наши уездные и губернские учреждения по крестьянскому делу. Мы твердо убеждены, что они вполне проникнуты святостью лежащих на них обязанностей и потому не остановятся ни перед огромностью предстоящего им труда, ни перед значительностью сопряженных с этим трудом жертвований. Не на завладение ферулой, а на искоренение понятия о необходимости ее из наших административных обычаев и нравов должно быть обращено ревнивое внимание этих учреждений, и в этом заключается одно из завидных преимуществ их плодотворной деятельности. И они, несомненно, достигнут этого результата, если, вместо того чтоб наскокивать на факт недоразумения, так сказать, с налету, они будут входить в разыскание причин этого факта и сумеют отличить его действительное значение от тех наносных преувеличений и украшений, которые придаются ему страстями минуты. Считаю не лишним сказать здесь

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru несколько слов по этому поводу.

Мы уже упомянули выше о тех причинах, которые на первых порах могут произвести брожение в массах. Причины эти заключаются в самой новости положения и в естественности увлечения, отсюда истекающего. Ошибаться насчет истинного смысла этого явления, не признавать, что оно, по самому свойству своему, должно необходимо и притом в самом скором времени притупиться и уступить обычному, трезвому ходу жизни, было бы непростительно. Здесь самый лучший и самый верный корректив – время. Но нельзя отрицать и того, что, в некоторых случаях, к этой естественной и неопасной причине брожения могут примешаться элементы, в сущности ей посторонние, но сообщающие ей прискорбный характер упорства и горечи. Тут на первом плане стоит, с одной стороны – недостаточное распространение грамотности в массах народных, а с другой – неискренность, с которою заинтересованные в деле стороны выступают на новый, широкий путь, указываемый реформой. Для устранения первого из этих явлений нет иного средства, кроме терпеливого и толкового разъяснения крестьянам их прав и обязанностей. Никакие полицейские меры не могут в один час поправить то, что запущено веками; никакие полицейские меры не совмещают в себе ни силы убеждения, ни силы доказательства. Уголовное законодательство наше объясняется на этот счет совершенно определенно, причисляя к разряду обстоятельств, уменьшающих вину и наказание, невежество, а равно и раздражение, произведенное обидами, оскорблениями и иными поступками лица, против которого направлено известное действие, признанное незаконным. Но ежели закон поставляет судье в обязанность согласоваться с этим воззрением на побуждения, которыми руководится человек в своих действиях, при обсуждении преступлений действительных и юридически доказанных, то тем большую силу должно оно иметь к таким действиям, преступность которых главным образом заключается в настроении минуты, настроении столь общем, что невозможно ни уловить, ни определить его источников. Теоретически говоря, невежество в этом случае есть не только уменьшающее, но и отпускающее вину обстоятельство, тем более что самое существование невежества, как побудительной причины действия, вовсе не зависит от произвола тех лиц, которые наиболее от него терпят. К тому же результату придем мы, если будем смотреть на дело и с точки зрения исключительно практической, ибо кому неизвестно, что невежество бесхитростно, несмотря на кажущееся его упорство, что оно не заключает в себе никаких истинно жизненных стихий, из которых могло бы выделиться что-нибудь связанное и сильное, и что по этому самому оно не может долго противостоять богатым и разнообразным средствам, которыми обладает сторона, имеющая в свою пользу все преимущества цивилизации.

Что касается до второго из поименованных выше явлений, то есть неискренности, с которою вступают на путь реформы заинтересованные в деле стороны, то оно довольно важно, чтобы остановиться на нем с некоторою подробностью.

Законодательство 19-го февраля на два года оставило крестьян, относительно отбывания господских денежных и смешанных повинностей, в том же положении, в каком они были прежде. Мера эта, очевидно допущенная в видах устранения замешательства в помещичьих хозяйствах, может дать повод к превратным толкованиям и в некоторых (конечно, немногих) личностях возбудить желание остаться хоть на время на прежней почве крепостного права.

Чтобы доказать тщету подобных надежд, достаточно припомнить одно: что и при существовании крепостного права не всякая повинность признавалась законною и не всякое требование – подлежащим удовлетворению. В уставе о пресечении и предупреждении преступлений (Св. Зак., XIV) заключается целый ряд законоположений, имеющих предметом именно устранение излишних и стеснительных для крестьян требований. Следовательно, если в то время, при полном произволе помещичьей власти, закон все-таки устанавливал некоторые меры ограждения в пользу крестьян, то, разумеется, невозможно предположить, чтобы новое законодательство, вносящее начало законности и правомерности в сферу отношений крестьян к помещикам, допускало не только на два года, но даже на минуту, положение худшее против того, которое существовало доселе. Это так ясно, что не нуждается даже в доказательствах. Но дело в том, что при прежнем порядке вещей, благодаря безгласности, на которую осуждены были крепостные крестьяне, случаи стеснительного для них управления всплывали на поверхность довольно редко; теперь же, когда крестьянам даны личные права, когда с них снята тяжесть безгласности, стеснительность повинностей в тех имениях, где она действительно допускается, очевидно должна обнаружиться с первого же раза. И здесь-то именно может заключаться, по нашему мнению, единственный источник столкновений действительных и серьезных, против которых могут оказаться бессильными всякие

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru убеждения. Как поступить в таком случае? Устранить ли самую причину, породившую столкновение, или же, в угодность букве закона, требовать неперменного выполнения прежней повинности, хотя бы излишество ее было признано и компетентными в этом деле судьями? Мы думаем, что ответ на этот вопрос не может быть сомнителен. Конечно, сами помещики убедятся, что невозможно в настоящее время оставаться при том порядке вещей, который и прежде сносился лишь скрепя сердце; но если бы убеждения этого места не последовало, то очевидно, что в это дело вынуждена будет вмешаться административная власть, в видах охранения общественного спокойствия и устранения прискорбных беспорядков.

Но, помимо приведения в ясность причин, произведших беспорядок, необходимо, как мы сказали выше, поставить самый факт в его истинном свете, очистить его от наносных преувеличений и украшений. Кто испил на деле чашу провинциального, захолустного существования, тот, без сомнения, достаточно испытал на себе, какое огромное и решительное значение имеют в нем так называемые мелочи жизни. При оценке известного явления, выделяемого этой жизнью, отнюдь не следует упускать из виду эти мелочи, ибо, только окруженное ими, оно становится перед глазами нашими в надлежащем свете. При том полном затишье, какое царствует в наших деревнях, всякое слово взвешивается пудами, всякий вершок кажется с аршин. Особливо в таком бойком, горячем деле, как освобождение крестьян. Какая-нибудь ключница Мавра донесет барыне, что дядя Корней, лежа на печи, приговаривал: «Мы-ста, да вы-ста» – вот уж и злоумышление. Какой-нибудь староста Аким подольстится к барыне, что «у нас-де, сударыня, Ванька-скот давеча на всю сходку орал: а пойдем-ка, братцы, к барыне, пускай она нам водки поднесет» – вот уж и бунт. И барыня Падейкова пишет туда, пишет сюда, на весь околодок визжит, что честь ее поругана, что права ее попораны... И вместо того, чтоб унять ее, ей вторит целое воинство, и Ванька-скот летит в станковую квартиру, а дядя Корней записывается в книжечку, как будущий зачинщик и подстрекатель.

Но могут быть, скажут нам, такие случаи, когда, несмотря на теоретическую несправедливость применения полицейских мер, необходимость тем не менее заставляет прибегнуть к ним, как к единственному средству для пресечения в самом начале беспорядков, грозящих разлиться на значительное пространство. Это случаи так называемых примеров и подражаний. Мы и с своей стороны не отрицаем возможности такого рода случаев, но при этом считаем не лишним оговориться. Прежде всего, главная причина подобных явлений все-таки заключается в беспечности местных властей, которые, вместо того чтоб захватить беспорядок в его зародыше, то есть тогда, когда он наиболее доступен мерам убеждения и соглашения, обращают на него внимание уже в то время, когда он успеет, так сказать, организовать. Конечно, уследить за этими чуть приметными зачатками беспокойств довольно трудно, но ведь и власть не для того существует и не для того называется властью, чтоб действовать спустя рукава. Следовательно, местные власти отнюдь не должны быть избавляемы от ответственности в делах подобного рода. Но пойдём далее; допустим, что вследствие той или другой причины, то есть единственно ли по вине крестьян, или же с примесью посторонних обстоятельств, но факт беспорядка уже совершился: каким образом действовать для прекращения его? Смеем думать, что действие мерами, не выходящими из пределов закона общего (порядком следственным и судебным), принесет в этом случае пользу несравненно более действительную и прочную, нежели употребление мер экстренных. Убеждение это мы основываем на следующих соображениях. Во-первых, спокойное исследование дела даст возможность отличить раздражение действительное и злостное от возбуждения, вызванного подражанием, не имеющего собственной почвы и потому скоропреходящего; одним словом, оно даст возможность ограничить развитие беспокойств тем именно районом, где они имеют, так сказать, причину бытия. Для этого не нужно ни особенной проницательности, ни особенной сметки, не требуется даже слишком много времени. Сами обстоятельства, с первого же раза, положительно укажут на центр беспорядков; самый поверхностный разбор дела на месте выяснит, куда именно обращаются все взоры, куда тянут все умы. Все остальное, в глазах добросовестного исследователя, есть не что иное, как аксессуар, имеющий значение только до тех пор, пока заявляем о своем существовании действительно большое место. Очевидно, что, следуя этому методу, лицо, действующее против беспорядка и беззакония, значительно облегчит себе задачу и что самые размеры беспорядка весьма уменьшатся в глазах его, так как оно будет иметь дело уже не с безразличной, недоступной разумным убеждениям, толпой, а с отдельными личностями. Во-вторых, употребление силы, как средства к прекращению беспорядков, хотя и имеет за себя быстроту и действительность первого производимого им впечатления, но вместе с тем имеет и против себя скоропреходимость этого впечатления, не укрепленного сознанием. Напротив того,

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru действие путем исследования хотя и кажется на первый взгляд медленным и неудовлетворительным, тем не менее всегда приводит к результатам благоприятным и прочным. Здесь самая проволочка дела имеет свою выгодную сторону, ибо дает время раздражению притупиться, а лицу, действующему против этого раздражения, представляет возможность оглядеться и приступить к искоренению зла с полным знанием его сущности.

Оканчивая беседу нашу с читателем, мы позволяем себе заявить здесь одно желание, а именно, чтобы заседания наших губернских присутствий по делам крестьян происходили публично. Законодательство 19-го февраля не разрешает определительно этого вопроса, но мы думаем, что ежели принцип гласности допускается при обсуждении дел мировыми посредниками и уездными мировыми съездами, то нет причин не допускать благодетельного его действия и в отношении к губернским присутствиям.

Проницательный читатель поймет, что утвердительное или отрицательное решение этого последнего вопроса отнюдь не чуждо тому, что составляет главный предмет настоящей статьи.

ОТВЕТ Г. РЖЕВСКОМУ

Когда покойный Ф. В. Булгарин намеревался уязвить кого-нибудь из современных ему писателей, то руководился при этом следующим любезным правилом: подбери из сочинений подлежащего уязвлению автора несколько отрывочных фраз, без всякой связи с последующим и предыдущим, оболги автора по мере убогих сил своих, и затем придай статье своей форму доношения.

Я не напомнил бы читателю об имени этого прискорбного публициста, если бы на днях со мной не произошло случая, который живо перенес меня в эпоху дней давно минувших.

В № 91 «Московских ведомостей» нынешнего года я напечатал статью об ответственности мировых посредников. Цель статьи заключалась в том, чтоб указать на непрочность учреждений, основанных на одной вере, и из этих указаний вывести необходимость применения к мировым посредникам начала ответственности, как единственного обеспечения правильности их действий. Тут вовсе не было речи ни о подчинении мировых посредников административной власти, ни о «поставлении их в одно положение с исправниками и становыми приставами» (какая обида!); тут шло дело лишь о праве, не только правительства, но и общества, контролировать действия посредников – ни больше, ни меньше. Полагаю, всякий согласится, что в этом требовании не заключалось ничего излишнего.

Но в статье моей я коснулся воззвания г. Ржевского, напечатанного в № 11 журнала «Наше время», под заглавием: «Несколько слов о дворянстве». Упомянул я об этом воззвании мимоходом, как о довольно странном выражении довольно странных поползновений, и этого было достаточно, чтобы навлечь на меня гнев г. Ржевского. [44] Ответ его помещен в № 22 «Современной летописи Русского вестника».

Приемы, посредством которых он изливает на меня этот гнев, напоминают точь-в-точь манеру Булгарина. Тут есть и злостное перетолкование слов; нет недостатка и в инсинуациях; допущены даже некоторые усовершенствования в духе новейшем.

Усовершенствования состоят в том, что г. Ржевский обносит меня именем «бюрократа». Небезызвестно мне, что в понятиях наших Собакевичей, Маниловых и Ноздревых это – ужасно ругательное слово, все равно что «моветон» в понятиях Земляники и Тяпкина-Ляпкина. Слушать, как рассуждают эти господа о централизации и бюрократии, поистине поучительно. Один доказывает, что децентрализация заключается в учреждении сатрапий, другой мнит, что децентрализация в том состоит, чтобы водку во всякое время пить. «Что такое бюрократ?» – спрашивает Фетюк-Мижухев. «А вот, братец, – объясняет Ноздрев, – хочу я, например, теперь водки выпить, а тут бюрократ: стой, говорит, водку велено пить в двенадцать часов, а не теперь».

Меня, однако ж, это слово отнюдь не пугает. Во-первых, я знаю, что оно выражает собою принцип, в котором ничего нет постыдного или паскудного и которого участие в жизненных отправлениях государства в известной мере необходимо и не устраняется развитием земства; а во-вторых, я сомневаюсь, чтобы даже

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru наиученейшие из Ноздревых могли удовлетворительно объяснить, какое отношение имеет понятие о бюрократии собственно к русской почве. Где взяли, откуда вывели эти господа русскую бюрократию, отдельную от русского дворянства, – это тайна, разгадку которой следует искать в трущобах сердец ноздревских. Быть может, их сбило с толку наше подьячество; но, во-первых, подьячество представляет собою пародию на адвокатуру, а отнюдь не подходит к тому, что обыкновенно разумеется под именем бюрократии, а во-вторых, подьячество есть явление своеобразное, принадлежащее нашей жизни наравне с такими явлениями, как юридические, калики перехожие и т. п.; в самом чиновничестве (дворянство тоже) оно стоит таким особняком, что служит для первого лишь предметом потех и насмешек.

Очевидно, г. Ржевский, обнося меня бюрократом, сам не сознавал, что употребляет выражение, которому в русской жизни нет соответствующего представления. У нас как между служащим дворянством, так и между дворянством неслужащим (но служившим) могут быть отдельные личности с такими или иными воззрениями на условия развития народной жизни, личности, проводящие эти воззрения и в сфере своей деятельности; но бюрократии, как корпорации дисциплинированной, служащей определенным политическим целям, нет и не может быть, по той естественной причине, что нет еще в виду земства. Ужели, например, гоголевский губернатор, отлично вышивающий по канве, может претендовать на название бюрократа? Ужели этот добродушный человек когда-либо помышлял о каких-то государственных целях, преследуемых бюрократией? Нет, воля ваша, это совсем не бюрократ; это просто патриарх, отец семейства, беседующий с пасомым им стадом в халате, запросто, и только в указанные дни натягивающий на себя досадный мундир. По всей вероятности, и г. Ржевский понимает это дело точно таким же образом, но ему было нужно слово «бюрократ», и нужно совсем для других целей. Позднее, когда я буду говорить об инсинуациях, читатель ближе увидит, что именно подразумевает г. Ржевский под этим словом.

Обозвав меня бюрократом, г. Ржевский для подкрепления своей правоты прибегает к булгаринству. Но прежде, нежели начать речь об этом, я должен оговориться. Статья моя «об ответственности мировых посредников» напечатана в «Московских ведомостях» не совсем в том виде, в каком была мною написана, а выражения «найдутся средства», на которое так сильно нападает г. Ржевский, даже вовсе в ней не было, и ежели я не счел нужным протестовать в свое время, то это произошло от того, что истинный смысл статьи все-таки был сохранен.

Затем продолжаю.

Булгаринство г. Ржевского может быть рассматриваемо с двух сторон: во-первых, с точки зрения искажения чужих мыслей, и во-вторых, с точки зрения инсинуаций.

Рассмотрим сначала искажения.

Г-н Ржевский утверждает, что я поступаю не согласно с истиной, приписывая ему мысль, что «мировые посредники поставлены вне всякой ответственности». Но я этой мысли г. Ржевскому не приписывал, хотя, судя по тону статьи его, и имел полное на это право. Я ограничился выпискою одного места из его статьи и даже не разобрал его; я воспользовался этим местом лишь для того, чтоб опровергнуть ошибочное мнение, к сожалению, весьма распространенное в нашем обществе, о какой-то мнимой безответственности мировых посредников. Я именно так и выразился: «но при самом полном сочувствии к принципу независимости (слова эти могут относиться к статье г. Ржевского)... невозможно, однако ж, смешивать с ним понятие о какой-то свободе от всякой личной ответственности за действие (чье понятие? г. Ржевского, или кого-либо другого? об этом не сказано ни полслова)». Слова эти могли бы еще, по нужде, быть приняты за дальнейшее развитие мысли г. Ржевского (чего, однако ж, не было), но отнюдь не за опровержение ее. Опять-таки повторяю: я не имел ни малейшего желания опровергать г. Ржевского; статья его есть воззвание, напоминающее собой объявления некоторых журналов по случаю открытия подписки на будущий год. Над подобными объявлениями, составляющими литературный курьез, позволительно посмеяться, но опровергать не позволительно.

Г-н Ржевский, называя меня адвокатом благоусмотрения начальствующих лиц, говорит, что я хлопочу о том, чтобы распространить на мировых посредников неделикатные отношения, на которые губернские власти имеют будто бы право во всем, что касается исправников и становых приставов. Однако ж это выдумка, принадлежащая собственному игривому воображению г. Ржевского. Всякий, кто хотя поверхностно читал мою статью, мог убедиться, что я не только не распространяю

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru ни на кого неделикатных отношений, но и настаиваю на необходимости искоренения и тех неделикатностей, которые действительно еще продолжают жить в наших административных обычаях. Г-н Ржевский напрасно даже приписывает употребленному мною выражению «деликатность отношений» то значение, которого оно не имеет. У меня говорится о сложности и деликатности отношений, и если б он, с умыслом или без умысла, не выпустил слова «сложность», то, конечно, никому бы и в голову не пришло придавать слову «деликатность» то дикое значение, которое придает ему г. Ржевский. И за всем тем, я все-таки остаюсь при своем выражении, что отношения местной административной власти к мировым посредникам сложнее и деликатнее, нежели к исправникам и станovým приставам, ибо последние находятся в прямом подчинении к губернским административным властям и обязаны исполнять их указы и предписания, а первые не обязаны, что, однако ж, не лишает административную власть права вчинать <иск> к мировым посредникам, точно так же как имеет она право вчинать иск к предводителям дворянства, с тем, разумеется, непременным условием, что право признания основательности или неосновательности начатого иска все-таки остается за правительствующим сенатом.

Г-н Ржевский обвиняет меня в том, будто бы я возбуждаю вопрос об ответственности посредников в видах облегчения положения начальственных лиц. Это тоже выдумка. Фраза: «положение губернаторов отнюдь не делается от того легче» – вырвана г. Ржевским с крайнею недобросовестностью. У меня она служит только приступом к рассуждению о затруднениях, которые могут быть встречены губернаторами при выборе лиц в мировые посредники, рассуждению, оканчивающемуся словами: «в таком важном деле... недостаточно клич кликнуть, недостаточно надеяться, что выбор авось-либо падет на людей добросовестных. Напротив того, надобно заранее примириться со всякого рода случайностями» и т. д. Очевидно, здесь шла речь вовсе не об облегчении положения начальственных лиц, а о том, что невозможно и легкомысленно было бы требовать, чтобы выбор этих лиц был вполне безошибочен, и здесь я, конечно, являюсь менее бюрократом, нежели г. Ржевский. Что же касается собственно до этого мнимого облегчения, о котором так много ораторствует мой оппонент, то я не только не хлопочу о нем, но даже выражаю об этом предмете весьма определенно: именно, в статье моей говорится: «Еще недавно некоторые администраторы наши действиями своими преобразовали полет ворон, то есть летели всё прямо и прямо; нынче искусный администратор обязывается прежде всего сесть на крышу и там, в уединении, обдумать, как бы таким образом пролететь, чтобы воробья не спугнуть, а спугнуть, так спугнуть дельно». Есть ли тут что-нибудь похожее на мысль об облегчении положения начальственных лиц?

Г-н Ржевский не может понять, почему я нахожу поучительным пример на судебных следователях, и находит, что пример этот совершенно опровергает мои бюрократические тенденции. Сверяюсь с статьей своей и нахожу, что там пример судебных следователей введен эпизодически, как доказательство «господствующего в нашем обществе взгляда, в силу которого всякое новое учреждение, каковы бы ни были его последствия для народной жизни, представляется лишь источником должностей, сопряженных с теми или другими материальными выгодами». Одним словом, примером этим я заявлял опасение, чтобы тот же взгляд, то же умение низводить вопросы общие до степени служения исключительно целям побочным – не были перенесены и на должности мировых посредников. Думаю, что в этом опасении не слышится никаких бюрократических тенденций, если же г. Ржевский отыскал их, то виноват в этом не я.

Но главное обвинение, на которое преимущественно упирает г. Ржевский, обращается к словам моей статьи: «если б и действительно ответственность мировых посредников оказалась слабой или сомнительной, то и тогда найдутся средства поддержать этот существенный принцип». «Найдутся средства!» – подчеркивает г. Ржевский; «посмотрите, что написано: найдутся средства!» – повторяет он, мысленно обращаясь к Ноздреву: «какие это средства?» Но ведь вы опять-таки позабыли доложить г. Ноздреву, что фраза «найутся средства» непосредственно предшествует развитию моей мысли об учреждении губернских съездов. Само собой разумеется, что в этой мысли заключается и разгадка таинственных средств. А вы, быть может, думали, что я предлагаю бить или сечь?..

Таким образом, опровержения г. Ржевского оказываются направленными против положений мнимых, им же самим придуманных. Инсинуации г. Ржевского... но прежде чем изложить их содержание, считаю не лишним сказать несколько слов об исконном характере инсинуации вообще.

Инсинуации, как во времена Булгарина так и в нынешние, всегда обращаются к

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru третьему лицу. Что это за третье лицо, кто этот таинственный незнакомец, какие его права на суд и расправу – никогда не объясняется, но читатель чувствует, что есть что-то неладное, что есть, непременно есть тут третье лицо, которому предлагается принять участие в деле. Булгарин доносил обыкновенно о неблагонамеренности писателя или журнала вообще и о недостатке преданности в особенности; в настоящее время ни для кого не тайна, к кому он взывал при этом. Нынче неблагонамеренность и недостаток преданности, как термины, утратившие свой жизненный характер, оставлены в стороне; взамен их приисканы выражения более сильные, и принято за правило приглашать к участию в деле не того прелестного незнакомца, к которому простирал руки Булгарин, а незнакомца другого, не менее прелестного и не менее сильного, хотя и вопиющего, будто бы его со всех сторон обидели.

По этой методе поступает и г. Ржевский. Он не обвиняет меня в неблагонамеренности, а только дает слегка почувствовать, что был, дескать, на свете француз Бабёф и русский полковник Скалозуб, что бывают заблуждения, проистекающие из увлечения «направлением известной школы реформаторов, желающих во что бы ни стало благодетельствовать низшим классам» и т. д. (вот оно, истинное-то значение слова «бюрократ»!). Спрашивается, какое дело Бабёфу и реформаторам в вопросе о мировых посредниках? И какое право имеет кто-либо доискиваться в словах писателя не того смысла, который ими буквально выражается, а другого, который почему-либо, в данную минуту, считается контрабандой?

Это одна инсинуация г. Ржевского, а вот и другая. Он говорит: «по мнению г. Салтыкова, выбор лиц в мировые посредники будет дурен». Однако я никогда ничего подобного не утверждал; я только что сказал: «в вопросе о выборе посредников надобно заранее примириться со всякого рода случайностями», что, однако ж, вовсе не обозначает, чтобы выбор лиц в посредники был непременно дурен. Очевидно, г. Ржевский, переиначивая мои слова, хотел сказать: «посмотрите-ка, господа, из вас нельзя выбрать даже одного хорошего мирового посредника!» Не похвально.

Но кроме переделок моих мыслей и выражений на собственные г. Ржевского нравы, в рассматриваемом «ответе» имеются и другие опровержения против некоторых высказанных мною положений.

Г-н Ржевский сердится на то, что я «советую губернским начальствам шиканировать мировых посредников вчинанием противу них исков»; он настаивает на том, что посредники подсудны только правительствующему сенату и что вчинание исков может иметь место только в случае совершения ими преступления: «именно преступления, – прибавляет он в скобках, – потому что ошибки исправляются решениями высшей инстанции». На первое я могу возразить, что никогда не настаивал и не настаиваю на том, чтобы посредники были подсудны какому-либо иному правительственному учреждению, кроме сената (на этот счет слова закона вполне ясны), а утверждаю и утверждаю, что было бы странно и противно здравому смыслу предполагать, чтобы губернское начальство, отвечающее за спокойствие губернии, имеющее ежедневно дело с распоряжениями мировых посредников, не сохраняло за собой права, при виде явной и упорной незаконности действий, представлять о них правительствующему сенату. На это мне могут возразить, что преступные действия мировых посредников могут быть обжалываемы сенату самими обиженными сторонами. Конечно, так, и я отнюдь не отвергаю этого способа обжалования, но считаю при этом долгом обратить внимание читателя, что деятельность должностного лица никогда не может представляться с тою ясностью, как в то время, когда она рассматривается в своей совокупности. Жалоба Ивана, взятая отдельно, может и не произвести на судью особенного впечатления, но если этих Иванов окажется множество, то сомнение в правильности действий должностного лица усиливается невольным образом. Вот эта именно связь, этот общий характер деятельности мировых посредников и не может быть никем указан столь верно и определительно, как местною административною властью. И об этом только я и говорил, это только и хотел выразить в статье моей, а вовсе не хлопотал об изменении подсудности, как внушает г. Ржевский. На второе отвечаю, что ошибки бывают различные по своим последствиям, ибо и медведь, ударивший пустынника камнем в лоб, в сущности сделал только ошибку, а не преступление. Как поступить в том случае, если деятельность посредника будет лишь рядом ошибок (предупреждаю, что это только предположение, а не утверждение с моей стороны)? Уволить его нельзя (предупреждаю, что я вовсе не сожалею об этом), сам он не уходит, а между тем, помимо того что высшие инстанции будут заняты только исправлением ошибок, эти последние неминуемо влекут за собой и материальный ущерб для обиженной стороны, ибо исправление ошибок сопряжено с хождением по делу, и, сверх того, во множестве случаев они могут быть немедленно

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru приведены в исполнение (а там поди жалуйся!), а отсюда новый процесс, отыскивание убытков и т. д. Неужели это ошибки не вредные и неужели лицо, допускающее их, не должно отвечать перед судом?

Г-ну Ржевскому не нравится мое предложение о губернских съездах мировых посредников, и в особенности то, что я требую, чтобы на этих съездах поверялись действия мировых посредников. «Что будет делать губернский съезд? – спрашивает г. Ржевский, – перечитывать тетрадки или книги мировых посредников, гладить по головке тех, у кого тетрадки чисты, просить других быть старательнее, писать четче, не капать чернилами и т. п.?» Что касается до мысли о губернских съездах, то она может нравиться и не нравиться г. Ржевскому, это его дело; мне, собственно, она нравится, потому что в ее осуществлении я вижу самый действительный в настоящее время корректив против распространения ноздревских понятий о децентрализации и против ноздревских же поползновений мыть наше грязное белье втихомолку. Но если уже допустить однажды возможность и пользу подобных съездов, то вопросы о том, что они будут делать, крайне забавны. Конечно, они будут собираться не затем, чтобы досыта наболтаться, досыта наедаться и досыта напиваться (что и бывает с нашими сходками), а затем, чтобы разъяснить частные недоразумения и поставить некоторые общие меры, и затем поверить действия каждого мирового посредника в отдельности. Что может служить основанием для этой поверки? Очевидно, журналы или книги посредников и, наконец, свидетельства прочих мировых посредников того же уезда, уездного предводителя дворянства и т. д. Очевидно также, что тут идет речь вовсе не о закапании листов чернилами, а о проверке живой деятельности посредников, могущей повести лишь к плодотворным результатам. Вообразим себе, например, что такой-то мировой посредник замечается в излишнем пристрастии к телесным наказаниям: губернский съезд одним своим молчанием может весьма красноречиво выразить свое неодобрение подобному пристрастию. Вообразим себе, что некоторый посредник, вместо того чтобы действовать путем соглашения и убеждения (что особенно важно на первое время), слишком охотно прибегает, для разрешения недоумений, к вмешательству полиции: губернский съезд может сделать только «гм», и, конечно, посредник, о котором идет речь, хорошо поймет значение этого «гм». Нет, г. Ржевский, воля ваша, а я имею более доверия к совестливости и деликатности мировых посредников, нежели вы, которые всё чего-то опасаетесь, всё как-то не спокойно себя чувствуете, когда идет речь о возможности требовать отчета в их действиях и распоряжениях. И заметьте, что я нигде не высказывал желаний, чтобы мысль об учреждении губернских съездов шла каким-нибудь официальным путем.

В заключение настоящего ответа не лишним считаю остановиться на следующих двух обстоятельствах:

Во-первых, г. Ржевский ставит мне в укор, что я подражаю «великим писателям, украшающим своими произведениями «Свисток». Не знаю, имею ли я сходство с этими «великими писателями», но убежден, что свистать во всяком случае приятнее и для себя и для других, нежели злостно сопеть. Как иначе можно назвать, например, как не сопением, сопоставление Бабёфа и Скалозуба? Француз Бабёф и русский полковник Скалозуб, как это зло! Бабёф и Скалозуб! Да Ноздревы, пожалуй, животики надорвут от смеха!

Во-вторых, г. Ржевский думает уязвить меня словами одного из действующих лиц моего очерка «Неумелые». По всей вероятности, он мнит, что слова эти противоречат направлению моей статьи о мировых посредниках, да, сверх того, не прочь, пожалуй, внушить читателю, что противоречие это есть плод мечтаний о крутогорском губернаторстве. Смее, однако ж, уверить г. Ржевского, что в убеждениях моих не последовало никакой перемены, что я именно желаю того самого, что выражено в заключении очерка «Неумелые», но что г. Ржевский только не желает понять меня. О крутогорском же губернаторстве я столько же помышляю, сколько он, г. Ржевский, тоскует о губернаторстве, например, орловском.

Заверяю г. Ржевского, что я даже не возражал бы на его «ответ», если бы документ этот не был напечатан в таком журнале, как «Русский вестник».

Надеюсь, однако ж, что читатели оценят мой труд, ибо каково же в самом деле отвечать на обвинения в небылицах?

ГДЕ ИСТИННЫЕ ИНТЕРЕСЫ
ДВОРЯНСТВА?

Покуда наши наивные публицисты приглашают дворян воспользоваться каким-то

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru единственным в истории случаем, чтоб утвердить свое политическое преобладание над прочими сословиями, благоразумнейшие из дворян помышляют совсем не о преобладании, и даже не о том, чтоб удержаться, так сказать, на поверхности возникающего земства, а о том, чтобы просто-напросто сделаться членами этого земства, и членами не случайными, признающими за собой только права, а не обязанности, но членами действительными и деятельными, связанными с земством всею совокупностью условий, налагаемых этим званием.

Такая заботливость весьма понятна. В самом деле, какими бы привилегиями ни было ограждено известное сословие, какими бы правами оно ни пользовалось, действительная сила государства все-таки лежит в земстве. Там источник его материального могущества и благосостояния, там же залогом и дальнейшего его политического и умственного развития. Оторваться от всего этого значило бы оторваться от общей жизни государства, значило бы стать в класс бобылей. Ибо как бы ни было громадно внешнее значение искусственно созданных прав и преимуществ, как бы ни были настойчивы меры, предпринимаемые к поддержанию этих прав, все-таки они останутся фактом без внутреннего содержания и без всякого отношения к свободному развитию жизни.

В настоящее время, кажется, нет надобности распространяться о том, что государство может правильно развиваться только под условием дружного содействия всех сил, как материальных, так и нравственных, совокупность которых оно собою представляет. Нам еще слишком много остается желать в этом смысле.

Лучшие люди русского дворянского сословия сознают, что сила их должна заключаться не в предании, а в тесном общении с народом. Сословные интересы дворянства, если мы будем рассматривать их только с точки зрения содержания, которое они получили от крепостного права, очевидно утратили свое прежнее значение. Принцип изменился, изменилась и почва для действия; то, что прежде уступало напору силы, может в настоящее время уступить только личной работе, личному достоинству каждого гражданина. Лучшие люди знают, что для них общение с народом будет и легко и скоро достижимо, а потому не выставляют вперед никаких внешних преимуществ, хотя бы эти последние и действительно состояли в высшей степени общего уровня образованности одного сословия перед другим и в более твердом сознании прав гражданских. В глазах их эти преимущества не дают им никаких беспрекословных прав на преобладание, а предоставляют лишь благоприятный шанс более плодотворным и прочным образом влиять на общество, нежели влияет, например, какой-нибудь мироед или горлан.

Признаки такого общения дворянства с народом уже начинают сказываться. Газеты не редко передают известия не только об удовлетворительно поконченных расчетах между помещиками и их бывшими крестьянами, но и о случаях искреннего и действительного доверия одних к другим. Стало быть, была сила, которая, и при существовании крепостного права, столь враждебного духу общения, сохранила это общение в целостности! [45] И этого явления для нас достаточно, чтобы на основании его сделать посылку к будущему.

Сближение дворянства с народом составляет в настоящую минуту предмет размышлений всех мыслящих людей России. В одной из наших статей «Об истинном значении недоразумений по крестьянскому делу» («Московские ведомости» № 128) мы развивали ту мысль, что первым шагом к сближению должно служить прямое и не преувеличенное воззрение на те естественные недоразумения, которые необходимо должны возникнуть из самого существа реформы. Сеем думать, что предположение наше оправдалось и что в тех местностях, где дворянство, а рядом с ним и местные власти выказали более гуманный взгляд на дело, волнений не было. Однако ж это только первый шаг, после которого заинтересованные стороны все-таки остаются в выжидательном положении относительно друг друга.

Необходимо сближение деятельное, сближение действительное.

Средство к такому сближению одно. Оно представляется в том, чтобы помещик стал сам членом того сельского общества и той волости, в районе которых находится его поместье.

Это участие в делах сельских и волостных обществ с каждою минутой приобретает для помещиков значение более и более настоятельной нужды. И не только в смысле общения с народом, но и в смысле охранения своих собственных материальных интересов. Прочтите исчисление предметов, подлежащих ведению сельского схода.

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Откинув те из них, которые имеют к помещичьим интересам отношение лишь отдаленное, нельзя не остановиться на таких, как, например: выбор сельских должностных лиц, составление приговоров об удалении из общества вредных членов его, увольнение из общества членов и прием новых, совещания и ходатайства о нуждах общества, раскладка повинностей и пр. Более нежели очевидно, что помещик не может оставаться равнодушным к такому или иному разрешению упомянутых дел, что они составляют жизненный вопрос по отношению к его материальному благосостоянию. К тому же результату придем мы и при исчислении предметов ведомства сходов волостных.

Но если участие дворянства в делах крестьянских обществ выгодно и необходимо для дворян, то оно не менее выгодно и необходимо для самих крестьянских обществ. Нельзя не согласиться, что сознание права, в массе крестьянского сословия, находится еще на весьма слабой степени развития, а при таком положении дела невозможно не дать места опасению, чтобы те свободные учреждения, те начатки самоуправления, которым дало жизнь законодательство 19 февраля, не замерли преждевременно, не принесли желанного плода. Мало этого: можно опасаться, что, благодаря грозному присутствию в каждом сельском обществе в каждой волости писаря, они подпадут под влияние приказных или иных лиц, столь же мало имеющих отношений к земству, как и приказные. В этом смысле не только голос, но даже простое присутствие лица, сознающего независимость общества, очевидно принесет неисчислимую пользу. Но, кроме сего, нельзя не обратить внимания и на то нравственное влияние, которое может иметь такое лицо как на течение общественных дел, так и на отдельные лица, составляющие общество. А это нравственное влияние получится непременно, если только будет желание и умение приобрести его. Упомянем, для примера, вопрос об учреждении сельских школ, о призывании неспособных работников, об искоренении пьянства и, наконец, столь жизненный для всего крестьянства вопрос об улучшениях по части сельского хозяйства и домашней экономии.

Итак, обоюдная польза деятельного сближения дворянства с крестьянами неоспорима. Но здесь мы должны оговориться. Сближение это только тогда может быть плодотворно, когда оно с обеих сторон будет искренно. Не скрываем, что со стороны дворян это качество тем более важно и необходимо, что на их долю выпала наибольшая сумма нравственной силы и материальных средств. Следовательно, чтобы не скомпрометировать на первых же порах дело сближения, мало одних слов, – нужно самое дело.

В этих видах, мы желали бы, чтоб участие помещиков в делах сельских и волостных обществ было обставлено условиями, которые отнимали бы у него характер случайности, а напротив, делали бы его как бы необходимым следствием самого существа дела. Условия эти, по нашему мнению, в общих чертах, должны касаться: во-первых, участия помещиков, наравне с прочими членами обществ, в платеже государственных податей и земских повинностей, лежащих на обществе, и во-вторых, совершенного, при посредстве выкупной сделки, окончания всех расчетов, которые возникли между крестьянами и помещиком вследствие обнародования законоположений 19 февраля.

Соблюдение первого из этих условий необходимо уже на основании общего закона, гласящего, что всякое право влечет за собою и обязанность. Право быть членом какого бы то ни было общества и участвовать в распоряжениях его было бы насильственным правом, если бы, со стороны претендующего на него, оно не было подкреплено обязательством подчиниться всем тем условиям, которым подчинены и прочие члены общества. На этом основании помещик, по всей справедливости, должен принять участие в платеже состоящих на ответственности сельского общества податей и земских повинностей, и притом участие, соразмерное с количеством оставшейся у него во владении земли. Когда податная и земская повинность переложена будет с душ на землю, то, без сомнения, при этом будут приняты в расчет и земли, оставшиеся во владении помещиков, но и до того времени не может встретиться препятствия к немедленному принятию помещиками участия в столь прекрасном деле, ибо степень этого участия легко может быть определена по сравнению количества земли, владеемого помещиком, с таковым же, отведенным в надел крестьянам.

Что же касается до второго условия, то есть до совершенного окончания расчетов между помещиком и бывшими его крепостными крестьянами, то необходимость его столь очевидна, что мы не считаем даже нужным останавливаться на этом предмете. Без соблюдения этого условия не может быть равноправности в отношениях, а

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru следовательно, не может быть и доверия.

СТАТЬИ
ИЗ «СОВРЕМЕННОГО»
1863 г
МОСКОВСКИЕ ПИСЬМА

I

Я не знаю отчего, но всякий раз, как я проезжаю мимо нашего Малого театра, мною овладевает какой-то священный ужас. Мне все кажется, что там не играют, а совершают какие-то таинства, производят какие-то возлияния. Мне кажется, что там в темном углу стоит стыдливая богиня искусства, что Рассказов сметает с нее пыль, что Садовский стоит в одеждах верховного жреца и нюхает табак, окруженный Шумским, Самариным и Никифоровым, что Дмитревский произносит возгласы, а М. С. Щепкин, в виде старого причетника, сдавшего дьяческое место дочери, дрожащим от слез голосом поет:

Мы искусству честно служим,
Даже денег не берем!
Мы, не евши день, не тужим,
И не евши ж, спать идем! [46]

Впрочем, Москва вообще производит на меня это подавляющее впечатление. Еду ли мимо университета, мне кажется, что там, перед лицом Науки, г. Никита Крылов возлагает руки на г. Бориса Чичерина, причем гг. Бабст, Бодянский и Капустин поют:

Не увлекшись прогрессом,
Ты, продукт родной страны,
Служишь скромно интересам
Государственной казны! [47]

Еду ли по Спиридоновке, мимо редакции «Дня», мне чудится, сквозь тьму, царствующую в ее окнах, что там есть какой-то храм, в котором стоит богиня Народности, перед которой преклоняет колена И. С. Аксаков и приносит в жертву цыпленка, приготовленного *à la polonaise*, [48] а гг. Погодин, Бессонов и Беляев поют:

Ты, Аксаковым воспетый,
О, славян могучий род!
Что-то выйдет из атлета?
Мускулистейший урод! [49]

Знаете ли что? Даже когда я проезжаю мимо Лоскутного трактира – и тогда мне кажется, что там не готовят, а молебны Молоху служат. Мне чудится, что стоит главный повар и обдумывает, каким бы образом устроить, чтобы целого слона в кастрюлю уложить; стоят кругом повара и, разиня рот, ожидают, что вот-вот главный повар скажет предиду, и вдруг вода закипит в кастрюлях, и вдруг начнут с боку на бок переворачиваться на сковородках чудодейственные поросята и до отвращения откормленные индейки. Даже когда я проезжаю по Арбату, Плющихе и проч., мимо всех этих запустелых и не освещенных домов, то и тогда мне кажется, что там скрываются безвестные, покрытые пылью богини и боги, вокруг которых стоят почтенные московские обыватели и поют гимны Праздности...

Каких результатов достигло и из-за чего хлопочет в Москве поклонение Науке, Народности, Молоху и Праздности – об этом я расскажу вам в следующих письмах; теперь же буду говорить исключительно о театре.

Как ни строго впечатление, производимое на меня московском театром, я, не далее как на этих днях, решился, однако ж, войти туда. Вхожу – как будто пахнет неким куревом: что сей сон значит? «Это, – объясняет мне спутник мой, – еще Михайло Семеныч закурил, да как забыл закрыть курильницу, так она и чадит с тех пор». Хорошо. Осматриваюсь кругом – всё сидят персоны строгие, сосредоточенные, которые как будто говорят: а ну, попробуй-ка ты сыграть скверно, попробуй-ка не понять мысли автора, попробуй-ка не разжевать каждого выражения представляемого тобою лица – вот мы тебя уже! расславим на весь московский трактир!

– Неужто это всё действительные статские советники? – спрашиваю я моего спутника, не поняв сначала, в чем дело.

– Нет, это всё любители и ценители искусства! – отвечает мне спутник.

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Хорошо.

– Черт возьми! стало быть, сегодня артистическое торжество какое-нибудь? стало быть, дают Гоголя или Островского? а может быть, встал из гроба Мочалов и принес с собою Гамлета или Отелло?

И я с наслаждением потираю себе руки, как потирает себе руки голодный, который думает: вот-то сейчас славно пообедаю!

Ничуть не бывало: смотрю на афишу и вижу – «Пасынок»! Что за «Пасынок»? чей «Пасынок»? и откуда взялся этот «Пасынок»?

С литераторами случаются иногда прекуръзные вещи. Представьте себе на минуту, что вы литератор, читатель. Сидите вы, например, в клубе или в ресторане за обедом; подле вас поместился какой-то приятный незнакомец. Мало-помалу между вами завязывается беседа, и наконец дело доходит до того, что незнакомцу очень было бы приятно знать, с кем он имеет удовольствие говорить. Вы называете себя.

– Ах, так это вы! – восклицает незнакомец, слегка приподнимая центр тяжести, – ах, как приятно! ах, как приятно!

Вы несколько сконфужены, но самолюбие ваше не страдает; напротив того, оно даже как будто играет.

– Это тем приятнее, – продолжает между тем незнакомец, – что ведь мы собраты! Как же! Как же! И я тоже служу златокудрому богу и ветреным богиням! ведь и я тоже... как же! как же! некогда стихи в «Библиотеке для чтения» пописывал!

Оказывается, что это автор такой-то повести, автор таких-то стихов и что вы ни о повести, ни о стихах не имеете никакого понятия. Оказывается, что у вас есть братец, которого ваша мама, неизвестно почему, держала до сих пор en pougгiсе. [50] Оказывается также, что весь этот разговор, вся эта история затеяны приятным незнакомцем именно для того, чтобы заявить во всеуслышание, что он не кто другой, а литератор. Если б, паче чаяния, случилось, что вы не литератор, а статский советник, он и тут нашелся бы.

– Ну, а я литератор такой-то, – сказал бы он вам, слегка вздохнувши, – я написал такую-то повесть, напечатал такую-то интермедию... да нет! хочу бросить!

Или, например, идете вы справиться по своему делу в какой-нибудь департамент; вам указывают на начальника отделения, седого старца, который в скором времени ожидает себе отставки за возрастием. Старец озлоблен и принимает вас с каким-то плотоядным недружелюбием.

– Что нужно? – спрашивает он.

Вы рассказываете.

– фамилия?

Вы называете себя. Происходит внезапная метаморфоза. Старец простирает руки; старец чуть-чуть не проливает слез.

– Да ведь мы собраты! – говорит он, предлагая вам стул, – прошу покорно, собрат! Как же! как же! Пописывали... пописывали!

И вы узнаете, что любезный старик действительно когда-то пописывал в «Северной пчеле» и что еще недавно послал статейку в «Северную почту» под названием «Нечто о нигилистах, или Новая проделка наших агитаторов», но почему-то ее не печатают.

И вы идете домой, раздумывая, что бы такое означал сей факт, что в русской литературе существуют литераторы, которых никто не знает, публицисты, которых никто не читает, и поэты, которых стихов никто не кладет на музыку? Каким образом эти поэты, публицисты и литераторы залезли в литературу? И главное, каким образом они в ней прижились так, что и печей словно не топят, и кушанья не варят, и не умываются, и в баню не ходят, – одним словом, никаких-таки признаков жизни не обнаруживают. Cur? quomodo? quando? quibus auxilliis? [51]

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Это тайна русской литературы, прямо указывающая на младенческое ее положение. Это доказывает только, что литература наша нуждается еще в деятелях хотя бы для одного счета, что она, как мужицкое горло или как суконное бёрдо, – все мнет. В литературе более зрелой все эти личности исчезли бы сами собой немедленно после первых попыток и занялись бы ремеслами полезнейшими; у нас они не пугаются ни равнодушия публики, ни ореола неизвестности, который их окружает; они продолжают работать с трудолюбием неслыханным и, соорудив какой-нибудь литературный мавзолей, действуют действительно. «Ты меня в книжке читать не хотел, так я заставлю тебя слушать меня, смотреть меня, обонять меня... публично!»

Нынче таких литераторов развелось очень много, потому что и самый доступ в литературный цех значительно облегчен. Литераторы эти – народ легкий, тяжелый, веселый, угрюмый, горячий, равнодушный, ученый, невежественный – всего в них наложено понемножку. Одного в них нет – идей своих нет, а потому они заимствуют таковые из свода законов; возьмут на выбор статью да и начнут роман или драму такого содержания строчить, что вот, дескать, жил на свете Иван Иванович, который очутился в таком-то положении (обыкновенно украл, но украл-то не он, а Петр Петрович); что к нему применена такая-то статья свода законов, и применена совсем несправедливо. Разумеется, к этому приплетается какая-нибудь Марья Ивановна, которая или плачет, или смеется, смотря по тому, в каком расположении находится автор, а в конце непременно следует резолюция: Ивана Иваныча простить, а об законе подумать. Отсюда главная специальность этих авторов – помогать правительству, а как таланта у них никакого нет, то они заменяют его усердием. Их никто не просит помогать, – они помогают; им говорят, что и без них давно заметили несообразность такой-то статьи, – они помогают; им говорят, что усердие их запоздало, – они помогают! Невиннее этих людей нет ничего на свете.

Велико было мое удивление, когда я узнал, что автор «Пасынка» не какой-нибудь новичок, вроде, например, Г. Устрялова, автора знаменитой драмы «Слово и дело», но литератор уже искусившийся. [52] «Что он создал? какую статью свода законов применил к Ивану Иванычу?» – мучительно спрашивал я себя, и спрашивал бы напрасно, если б спутник мой не объяснил мне, что автор «Пасынка» есть вместе с тем автор двух повестей, из которых одна была напечатана в «Современнике», а другая произвела впечатление в «Русском вестнике».

Признаюсь откровенно, я не читал этих повестей; из знакомых моих, к кому я ни обращался, тоже никто не читал их; экземпляры номеров «Современника» и «Русского вестника», в которых были они напечатаны, все затеряны; статьи свода законов, которые, вероятно, в них разбираются, несомненно исправлены; в довершение всего журналистика не сказала об этих произведениях ни полслова. Одним словом, публика их игнорирует.

Теперь автор напоминает о себе публике драмой. Игнорировать больше нельзя, уже по одному тому, что он сам действует настойчиво.

Дело заключается в следующем:

У помещика Николая Петровича Оловянного (г. Дмитревский) есть дочь Софья Николаевна (г-жа Медведева) и пасынок Сергей Иванович Бурцев (г. Шумский). Оловянный вдов, и жена его, умирая, оставила ему в пожизненное владение все свое имение (вот она, статья-то свода законов!); разумеется, пасынок до крайности недоволен этим распоряжением – отсюда драма. Пасынок этот глупейшее, пустейшее и притом развратнейшее существо на свете; он воспитывался в каком-то корпусе, и в голове его вмещаются только три представления: ресторан Дюссо, рысаки и камелии (не найдете ли, дескать, удобным пересмотреть устав военно-учебных заведений?). Отчим, с своей стороны, ничем особенным не отличается, кроме того, что очень много кашляет и еще больше плюет.

Драма начинается тем, что на сцене сидит Софья Николаевна и стонет; она вдова, но, натурально, у нее есть друг, который вместе с тем и воспитатель ее сына. Софья Николаевна стонет о том, что она вдова, стонет о том, что у нее есть друг, о том, что у нее есть отец, о том, наконец, что у нее есть единоутробный брат. Стон всеобщий, повсеместный; нет той поры в этой женщине, нет той жилки, которая бы не стонала; стон тем более огорчающий, что производить его поручено госпоже Медведевой, которая действует в этом случае вполне неукоснительно. Приходит Михаил Афанасьевич Любанович, друг Софьи Николаевны и воспитатель ее сына; они говорят. Потом приходит помещик Оловянный; он кашляет, плюет, стучит палкою и вообще изображает дряхлого старика. Потом являются: Владимир Григорьевич

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru Полубов, уездный судья (г. Никифоров), с супругой Агафьей Петровной (г-жа Акимова) и объясняют, что они приехали, потому что мимо ехали. Наконец уходят все, кроме Софьи Николаевны. Является Бурцев и рассказывает, что он оставил военную службу, потому что прожился окончательно и задолжал двадцать тысяч; что он покуда остановился на постоялом дворе, чтоб не озадачить сразу своим приездом кашляющего отчима; что двадцать тысяч ему нужны до зарезу, потому что его всякую минуту могут посадить за долги в тюрьму, и что вследствие сего он поручает Софье Николаевне склонить старика отчима заплатить эти долги. Софья Николаевна говорит, что постарается, но что, впрочем, ручаться не может. Бурцев просит водки, и занавес падает.

Во втором действии отчим с пасынком свиделись; они ругаются в какой-то беседке, а из окон виднеются кусты роз. Пасынок говорит: мне мало двух тысяч в год, которые вы мне даете; отчим говорит: довольно. Пасынок говорит: имение-то ведь мое; отчим говорит: врешь! Одним словом, происходит сцена возмутительная, сколько по содержанию своему, столько же и по выполнению. Этаких сцен автор, мало-мальски одаренный трудолюбием, может писать десятки ежедневно.

Например:

Он. Я пойду есть устрицы к Елисееву.

Я. Нет, не пойдешь ты есть устрицы к Елисееву.

Он. Да почему ж мне не пойти есть устрицы к Елисееву?

Я. А потому, что ты вчера ходил есть устрицы к Елисееву и т. д. и т. д.

Или:

Он. Я куплю себе новое пальто!

Я. Зачем тебе новое пальто: ходишь и в старом!

Он. Помилуйте, в старом пальто все швы уж истерлись.

Я. Ничего, ходишь и в старом! и т. д. и т. д.

Присутствовать при подобных сценах тяжело; совестно за пьесу, совестно за театр, совестно за автора, совестно за актеров, совестно за зрителей. Слышишь крики и спор на сцене, и ничего-то человеческого в этих криках, ни одного-то светлого промежутка; словно бред внезапно овладел всеми актерами, словно вдруг перенесся в дом умалишенных и слушаешь, как один из них уверяет, что он дух долины, а другой ему возражает: врешь! ты не дух долины, потому что я сын фараона!

Но вот и опять приезжает Полубов с женою; и опять они заехали потому, что мимо ехали. Несколько минут по очереди говорят и потом уходят обедать; остается на сцене г. Шумский и произносит монолог, где он рассказывает нечто о камелиях и о рысаках; монолог длинен, даже очень длинен, но это не мешает ему быть и бесцветным и вялым. Ни одной типической черты, ни одного меткого слова, кроме каких-то: «едешь этак, черт побери, по Невскому», или «приедешь этак к Дюссо, спросишь себе» и т. д. и т. д.. [53] Опять на сцену возвращается Оловянников, и опять Бурцев начинает грубить ему; Оловянников кашляет и стучит палкой; среди всего этого сумбура приезжает Григорий Иванович Крюков, становой пристав (г. Садовский), по какому-то касающемуся до Оловянникова делу. Оловянников просит Григория Иваныча выгнать от него пасынка, но Григорий Иваныч отвечает, что не может этого сделать, потому что имение принадлежит собственно роду Бурцевой, а Оловянников – лишь временный владелец его. «Пьяная рожа!» – кричит на него Оловянников.

«Рожа, – отвечает Григорий Иваныч, – это так, но пьяная – никогда!»

Крюков – это комик пьесы; на нем автор сосредоточивает все свое остроумие, точно так же как на Софье Николаевне – всю свою чувствительность, а на Бурцеве – все свое негодование. Таким образом выходит, что когда на сцене г-жа Медведева, то следует плакать; когда на сцене Бурцев, то следует говорить: «ах, мерзавец!», а когда на сцене Крюков, то следует смеяться. В самом деле, не остроумно ли, например, что этот Крюков однажды на следствии шубу съел? Не остроумно ли, что

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru после такой необыкновенной пищи Крюков каждую минуту плюется? Сверх того, он рожа; сверх того, он заикается. Соединение всех этих качеств делает из него очень приятного собеседника в обществе и очень эффектное явление на сцене. Ходит человек по сцене и плюется – ха-ха! ходит человек по сцене и ни одного слова произнести не может, чтоб не захлебнуться и не щелкнуть языком – хи-хи! А рожа-то, рожа-то какая! а пальцы-то, пальцы-то какие! а штаны-то, штаны-то!

Писатели, которых игнорируют, но которые не желают, чтоб их игнорировали, прибегают к наружному комизму как к единственно доступному для них средству разутешить почтеннейшую публику. Не будучи в состоянии доискаться до комизма внутреннего ни в отдельной человеческой личности, ни в целом общественном организме, они щедро снабжают своих героев всякого рода противоестественными телесными упражнениями. Что ж? по-моему, они правы. В драме, где действуют люди сумасшедшие, в драме, где действующие лица уходят и приходят как будто затем только, что платки носовые забывают, в драме, где одно действующее лицо хочет уйти, а другое идет ему навстречу и не пускает: «Погоди, дескать, дай же и мне поговорить», – в такой драме персонаж, подобный Крюкову, есть явление отдохновительное, почти отрадное.

Надо отдать справедливость добросовестности г. Садовского: он сыграл свою роль отвратительно. Он именно производил телесные упражнения, то есть плевался и заикался – и ничего больше. Ничего больше он не мог и сделать, ничего больше и не требовалось. Автор должен быть совершенно доволен им, так как и собственные его замыслы не шли далее изображения человека плюющегося и заикающегося.

В продолжение всего третьего акта я просидел в фойе и потому не знаю, что происходило на сцене. Слышал, однако ж, что в течение этого акта Бурцев задушил или иным образом лишил жизни Оловянного, в чем достаточно и изобличен. Я спрашивал моего спутника, какие же были уважительные причины, заставившие молодого человека решиться на такое страшное дело, но не мог добиться никакого толку. «Просто, говорит, сначала ругались, потом отчим пошел спать, а пасынок остался на сцене да и говорит: убью я его! Ну, и убил! и представьте, даже предосторожностей никаких не принял, точно стакан воды выпить отправился, – такой болван!»

Четвертый акт застает нас у судьи Полубова, который оказывается величайшим мошенником. Кому слезы, а ему смех; кто плачет и стонет, а он все радуется да радуется. Теперь его занимает одно очень смелое предположение: каким бы образом так устроить, чтобы «привлечь» Софью Николаевну к делу об убийстве отца ее и сделать ее сообщницей в преступлении единоутробного ее брата. Если он успеет достигнуть этого, то богатое имение Бурцева достанется малолетнему внуку Оловянного и, до его совершеннолетия, поступит в опекуновское управление, а там... там можно будет «около опеки лакомиться», как выражается Григорий Иванович Крюков (да пересмотрите же, ради бога, законы об опеках! – умоляет автор).[54]

Хорошо обдуманно, но исполнение еще легче. Точно как в старинных повестях: «Теперь я поведу вас, читатель, – говорит, бывало, автор, – в такое-то подземелье, не потому чтоб это было нужно, а потому что я автор и имею право ходить всюду». Ну, и поведет в подземелье, что с ним поделаешь! Открывается, что Софья Николаевна в испуге созналась, что Бурцев как-то проговаривался при ней, что убьет отчима. Разумеется, Бурцев проговаривался об этом в минуту мальчишеской запальчивости; разумеется, на ерунду, которую автор влагает ему в уста, не только не должно обращать ни малейшего внимания, но даже и запомнить ее нельзя, но судье Полубову и автору нет никакого дела до этого. Им нужно сделать Софью Николаевну сообщницей, и они выполняют злодейский свой замысел. И замечательно, что решение, состоявшееся в этом смысле, прошло через три инстанции и везде получило санкцию. Что ж это такое? Не только не нашлось во всех трех инстанциях ни одного человека, который потщился бы различить ерунду от дела, но даже сама обвиненная, сами защитники – и те ничего знать не хотят, и те молчат себе да слегка стонут! Но куда Полубов облизывается на будущую опеку, к нему приходит Крюков. Оказывается, что он гнусен только по наружности, а впрочем малый чудесный; жаль только, что глуп ужасно. Представьте себе: сам же он производил следствие об убийстве Оловянного, сам же глупейшим образом записал показание Софьи Николаевны, которым она наклепала на себя такую ужасную напраслину, и теперь сам же приходит заступаться за нее и даже предлагает судье деньги, чтоб только оставил «этого ангела» в покое. Мало того что предлагает деньги: он угрожает, он даже плачет. Какая причина такой полицейской чувствительности – это тайна автора, который в этом случае действует наперекор

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru Гоголю и показывает сквозь видимые слезы невидимый миру смех. Но судья не трогается (в следующей пьесе автора, конечно, судья будет хороший человек, а становой – мошенник: все это в его руках), ибо имеет в предмете опеку. Крюков уходит, приходит бурмистр бурцевского имения и предлагает судье, от имени крестьян, две тысячи рублей тоже за то, чтоб не привлекал добрую барыню Софью Николаевну, но судья и этим не трогается (даже деньги не берет), ибо имеет в предмете опеку. Какой, подумаешь, дальновидный! Но вот, наконец, опять приходит Софья Николаевна, и поднимается стон. Она стонет до такой степени, что даже вынуждена сесть, чтоб легче было стонать. И тут происходит нечто столь удивительное, что сразу переносит нас в сумасшедший дом. Производится передопрос подсудимой – передопрос в квартире судьи! Правда, судья оговаривается, что такого рода дела производить в частных квартирах не велено, – и все-таки передопрашивает. Даже призывает секретаря и шепчет ему что-то на ухо: поди, дескать, запиши! Этот секретарь – прелесть! Если можно прожить <?> московским молебнам богине искусства, то именно в пользу этого секретаря. Я вижу его, как живого, я осязаю его. Он безгласен, он не зависит от автора, но он жив! Это просто собственное создание г. Ермолова 1-го; это создание балетное, если вы хотите, но все-таки создание, и притом безукоризненное.

Весь пятый акт есть бледное и неловкое подражание драме г. Дьяченко «Жертва за жертву». [55] Этот акт изображает привал арестантов. Он состоит из стонков; кончается пьеса тем, что г-жа Медведева получает прощение.

Итак, вот эта пьеса, по поводу которой я спрашивал самого себя:

Какое торжество готовит древний Рим?

Вот пьеса, которую наши актеры играют совершенно серьезно и из которой слиятся даже сделать нечто художественное.

Я понимаю трагическое положение актеров. Иметь возвышенные чувства – и тратить их на «Пасынка»; воспитывать в груди целый океан любви – и обращать эту любовь к «Институтке»! Ведь это совершенно то же, что иметь огромный капитал и употреблять его на витье из песку веревок. Что московские актеры должны любить искусство, благоговеть перед искусством, даже трусить перед искусством – это разумеется само собою. Такая уж вышла им линия. Вся Москва благоговет, вся Москва перед чем-то цепенеет; на это она имеет неотъемлемейшее из всех прав – право праздности. Но посредством какого таинственного процесса московские актеры приурочивают благоговейное служение искусству – к «Пасынку», к «Институтке», каким образом они даже находить могут, что слово «искусство» может быть не чуждо «Пасынку», – это вещь очень любопытная.

Я понимаю, что можно и преклоняться, и чародействовать, и вообще серьезничать, но надо знать всему меру. Нельзя, например, выпивая стакан воды, насупливать брови, драть на голове волосы и вообще показывать вид, что выпиваешь яд. И г. Славин (сей презент Москвы Петербургу) не все же в златотканых одеждах ходит, но, пришедши домой, тоже халат, чай, надевает. Надо следовать его скромному примеру.

Между актером и лицом, которое он изображает на сцене, должно быть самое близкое соотношение. Какого бы нравственного уroda ни представляло собою изображаемое лицо, но ведь не все же оно сплошь урод, ведь и в нем должны же отыскаться человеческие стороны, ведь и в нем основа – то человеческая. Вот на этих-то человеческих сторонах, на этой-то человеческой основе и мирится актер со своею ролью. Если этой основы нет, лицо делается недоступным для воплощения; то есть, коли хотите, оно и можно играть, если такая уж горькая судьба вышла, но это будет уже не искусство, а водевиль с переодеванием.

Плохие, малодаровитые актеры так и поступают. Чем ничтожнее и пустее роль, тем для них лучше; они могут стараться, они могут гримировать себя, они могут переодеваться, сколько душе угодно. Это ничего, что они изобразят перед вами не человека, а тирольца или жида: в том-то именно и состоит, по мнению их, искусство, чтобы исковеркаться так, чтобы живого места не осталось и чтобы как можно меньше дать чувствовать зрителю общечеловеческие основы роли. И зритель понимает это; насильственно воспитанный на водевилях с переодеваниями, он любит, чтоб ему давали пишу легкую и притом знакомую; он хлопает коверкающемуся актеру и кричит: протей!

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
По моему мнению, глупые пьесы следует играть как можно сквернее: это обязанность всякого уважающего себя актера. От этого может произойти тройная польза: во-первых, прекратится систематическое оболъщение публики каким-то мнимым блеском, закрывающим собой положительную дребедень; во-вторых, это отведит плохих авторов от привычки ставить дрянные пьесы на сцену, и, в-третьих, через это воздастся действительная дань уважения искусству. Даровитые актеры, как, например, Г. Садовский, так точно и поступают. Они плюют там, где написано: плюет, они потирают руки там, где написано: потирает руки; одним словом, не играют, но состоят при исправлении своих должностей. Публика даже удостоила Г. Садовского вызовом после четвертого акта, – только не знаю я, за что именно: поняла ли она, что Г. Садовский с умыслом играет не хорошо, и хотела поощрить его именно за этот умысел, или же просто нашла, что игра Садовского есть новое возлияние искусству, тому искусству, которое находится под сохранением в Москве и поклонение которому производится отчасти в Малом театре, отчасти в московском трактире.

Но не так поступил другой даровитый актер московской сцены, Г. Шумский. Это московский протей, точно так же как Г. Самойлов – протей петербургский. Г-н Шумский нашел-таки способ и возможность отнестись к роли Бурцева, и, надо отдать ему справедливость, выбрал способ самый верный, если не единственно возможный. Он отнесся к ней посредством ловко сшитого сюртука и отменно сидящих брюк. Запасшись этими задатками, он сыграл свою роль отлично: он изобразил хорошо одетого мужчину и говорил те самые слова, какие может говорить только такой негодяй, как Бурцев. Мало того: он горячился, он увлекался; очевидно, он принял Бурцева за что-то серьезное.

Скажите мне, пожалуйста: отчего Г. Шумский так охотно берет за подобные роли, и именно только за подобные роли?

Я полагаю, оттого, что он – протей.

Но скажите же на милость, отчего нам, москвичам, в течение целого сезона почти ни разу не дали ни одной пьесы Островского, а потчуют все «Пасынками», да «Ветошниками», да «Извозчиками», да «Испорченными жизнями»?

Неужели и тут замешались протей?

Итак, вот каких результатов достигло в Москве служение искусству; вот по поводу чего великие московские актеры произносят возгласы, поют молебны и творят возлияния! Кто мог бы поверить этому?

Ведь это все равно как если бы кто-нибудь, лет десять тому назад, стал уверять, что московская наука, покинувши университетские твердыни, раскинет свой лагерь на толкучем рынке и выберет себе последним убежищем убогую газетку «Наше время»?

Ведь это все равно как если бы кто-нибудь стал уверять, что практический результат многолетнего московского служения Народности ограничивается тем, что на вывеске Лоскутного трактира славянскими буквами написано: Лоскутный трактир?

Кто же поверит этому?

II

На этот раз побеседуем о московской публицистике.

Московские газеты волнуются. Все их занимает, ничто им не чуждо. Прусско-русская конвенция вызывает в них чувствительность, датско-голландский вопрос наводит на соображения. Император Наполеон III не может слова сказать без того, чтоб этого слова не подхватили московские публицисты и не похвалили его: очень уж хорошо действует! По-видимому, великие политические деятели для того только и существуют, великие политические события для того только и совершаются, чтобы доставить московским публицистам случай выказать прозорливость! Одних они порицают, других поощряют... «В прусско-русской конвенции, говорят, поступлено прекрасно, а в голландском вопросе и того лучше»... Точно им кто-нибудь кого-нибудь защищать поручил! точно они и в самом деле газеты! точно они и не афишки!

Мало того что волнуются: заключают притворные союзы, производят притворные ссоры.

– Постой, – говорят «Московские ведомости» «Нашему времени», – я сначала задеру о прусско-русской конвенции...

– А я буду молчать, – отвечает «Наше время».

– А если тебя спросят: зачем ты молчал?

– А я скажу: я ждал!

Или:

– Надо нам поссориться! – говорят «Московские ведомости».

– Будем ссориться! – отвечает «Наше время».

– Надо нам доказать, что мы не одного поля ягоды!

– Будем доказывать!

– Что мы не из одного источника пьем воду!

– Да ведь мы из одного?

– Это нужды нет, что из одного, а мы будем доказывать, что не из одного!

– Будем!

И начинают доказывать, начинают спорить и соглашаться, и опять спорить, и опять соглашаться! Точно они и взаправду газеты! точно они не афишки!

Но все это волнение происходит лишь по вопросам внешней политики; по вопросам же внутренней политики все обстоит тихо. О мирной агитации, которую некогда возбуждал «Русский вестник», нет и помину; очевидно, что все вопросы уже исчерпаны, очевидно, русская жизнь уже обставилась, по инициативе «Русского вестника», надлежащими гарантиями, очевидно, теперь остается только пользоваться плодами и молчать. Так и поступают московские газеты.

Но так как без вопросов и времяпрепровождения все-таки обойтись нельзя, то и пресса наша предположила до поры до времени заняться мирной агитацией по следующим трем существенным вопросам:

1) По вопросу об опаздывании поездов Николаевской железной дороги.

2) По вопросу о дурном поведении машиниста московских театров г. Вальца.

и 3) По вопросу о выборах в члены нового московского городского управления.

Что поезда Николаевской железной дороги опаздывают – это вообще весьма прискорбно; но еще прискорбнее то, что они не привозят в Москву ни «Русского инвалида», ни «Северной почты». Московские газеты теряются, ибо лишаются вдохновения (16 февраля «Московские ведомости» заявили об этом с особым негодованием). В самом деле, не из головы же сочинять руководящие статьи! не выдумывать же самим факты вроде того, что в таком-то селении, такого-то уезда и губернии семилетняя крестьянская дочь Прасковья Тимофеева съедена свиньей! А ведь факты эти драгоценные, ибо доказывают нравственное состояние русского народа! И не столько этим еще полезны, сколько тем, что, при помощи их, можно наполнить целый столбец газеты... безвозмездно! А приказы о производстве в чины? А распоряжения разных ведомств? «Разве мы взаправду газеты! – кстати догадываются при этом московские газеты, – разве мы не афишки!»

И. С. Аксаков в 7 № «Дня», с свойственным ему огорчением (Иван Сергеевич вообще очень любит огорчаться: он огорчается и тем, что везде царствует ложь, и тем, что за построение в западных губерниях православных церквей наградили г. Четверикову орденом, и тем, что г. Батюшков не так его понял), говорит, что «современная русская журналистика напоминает, в большей части своих представителей, бывшие оркестры музыкантов, которых помещики старались выдавать за вольных артистов». Это правда, но решительно не понимаю, что же тут

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru огорчительного? Напротив того, это очень приятно. По крайней мере, тут нет ни напускной важности, ни чародейства, ни всех тех декораций, до которых такие страстные охотники москвичи. Тут дело ясное: крепостные музыканты – и все тут; всем так и известно, что крепостные музыканты. И никому не придет даже в голову предположить, что это музыканты вольные: ведь не верил же никто, когда помещики божились, заверяя, что их крепостные музыканты суть вольные артисты, – ну и в настоящем случае никто не поверит! Это факт – и больше ничего. Такая ясность и определительность положения делает отношения весьма легкими. Знаешь, с кем имеешь дело, знаешь, зачем и куда идешь, и не путаешься. В прошлом моем письме я говорил о чувстве трепета, которое меня объемлет при одном упоминании о различных московских заведениях. Отчего же этот трепет никогда не овладевает мною, когда я проезжаю, например, мимо редакций тех журналов, которые г. Аксаков так остроумно назвал «крепостными музыкантами»? А оттого и не овладевает, что я знаю, что тут нет ни возлияний, ни жертвоприношений, что тут работают люди, чьих сердец столь же прозрачны, как бы они из стекла были сделаны! Это, быть может, единственное исключение из всех явлений московской жизни, которое рекомендует себя просто и определительно. Я знаю, что здесь я не могу ошибиться: я знаю, что никто мне не будет выдавать за философию то, что в действительности не более как балет, в котором неизвестное принимается за известное, да потом посредством этого неизвестного-известного и объясняются дальнейшие судьбы действующих лиц. Я знаю, что никто не будет мне заволакивать глаза народностью, тогда как, чуть дело коснется практики, то эта «народность» оказывается, право, ничем не хуже государственности, даже краше ее.

Напротив того, мне прямо так и скажут, что философии нет, а балет есть, и что он покамест необходим («разумеется, для масс, милостивый государь! для масс, а не для нас с вами!» – объяснят мне – не скроют даже и этого!); что народность вздор, а вот государственность не вздор, потому что необходима.

Вот, например, и теперь: я читаю в «Московских ведомостях», что «Русского инвалида» и «Северной почты» в Москву не доставлено, – ну и знаю, что московская пресса на этот раз исключительно займется полемикою гг. Пановского и Арновского с г. Вальцем и московскими городскими выборами. Это меня радует, потому что и сам я больше склонности чувствую к маленьким вопросам, нежели к большим. Ну их, эти большие вопросы! еще беды с ними наживешь! Станешь рассуждать, пожалуй, – и вдруг тебе скажут: врешь, не так рассуждаешь... ну их!

О вы, которые любуетесь на сцене Большого театра великолепно поставленными балетами, вы, перед глазами которых летает и носится пернатый рой корифеек, исчезают и появляются целые леса и долины, увядают и распускаются целые кусты роз! Быть может, вы думаете, что все это точно так и происходит, как вам представляется? что корифейки эти действительно духи долин, равнин, гор, рек, озер, света и тьмы, что кусты роз действительно распускаются и действительно увядают? что г-жа Богданова действительно плавает, а г-жа Лебедева действительно летает?

Увы! благодаря неисправной доставке «Северной почты», вы должны во всем этом разочароваться! Вот уже несколько недель сряду фельетонисты «Московских ведомостей» и «Нашего времени» всеусерднейше доказывают почтеннейшей публике, что духи совсем не летают, цветы совсем не распускаются, но что это все производит г. Вальц, который, однако ж, производит это так плохо, что даже они, фельетонисты, это заметили.

Славно этому г. Вальцу жить в подпольном его царстве! Велика, почти безгранична власть этого подпольного духа! Представьте себе, он не только может любой танцовщице переломить ногу или руку, но даже имеет право любую из них прищемить или иным образом лишить жизни! И по всему видно, что он пользуется этою властью во всем ее пространстве – по крайней мере, так удостоверяют гг. Пановский и Арновский, по свидетельству которых г. Вальц, в течение прошлого зимнего сезона, уже распорядился изувечением нескольких танцовщиц. Если верить г. Пановскому, стоит только танцовщице не понравиться г. Вальцу, как он тотчас же и распорядится: или прищемит ее, или повредит ей руку. Это же самое подтверждает и г-жа Надежда Богданова, которая собственным опытом убедилась, что идти против г. Вальца дело рискованное, и потому решила оставить балет и сделаться публицисткою.

Какие виды имеет г. Вальц, делая свои членовредительные распоряжения? Ужели он удовлетворяет этим только природной неучтивости своего сердца? Или, напротив

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru того, он этим удовлетворяет учтивости своего сердца?

Не знаю, как г. Вальц, но будь на его месте я, – я удовлетворял бы только учтивости своего сердца! Помилуйте, да ведь это больше, нежели оболение! Прищемить! переломить ногу! да кто же устоит против такого оболения!

Г-н Вальц, разумеется, оправдывался; он говорил, что во время представления балета «Наяда и рыбак» был в Петербурге, – оказалось, что он и из Петербурга должен был усматривать; он говорил, что танцовщицы ломают себе руки оттого, что не слушаются режиссера, – оказалось, что г-жа Богданова слушалась; он говорил, что для него все танцовщицы равны, – оказалось: гм... ну, гм... ну, всяко бывает! он говорил, что состоит машинистом чуть ли не тридцать лет, – оказалось, что это ничего; он говорил, что многие иностранцы видели машины московских театров, удивлялись им, – оказалось, что и это ничего...

Одним словом, г. Вальц был разбит на всех пунктах, а московская пресса провозгласила: ну вот и еще маленькая победа! вот и еще маленький труп, растерзанный посредством мирной агитации!

Вот главнейшие результаты, которых достигла московская публицистика, по части внутренней политики, в течение последних двух месяцев. Все эти прусско-русские конвенции, все эти политические вопросы, – все было примерное, притворное, допущенное с единственной целью как-нибудь различиться от простых афиш. Собственно задор и полемическая страстность только и выказались по вопросу о г. Вальце.

Не знаю, посещает ли г. Юркевич балеты и следит ли он за полемикой, возникшею по поводу самовластных распоряжений г. Вальца, но если он посещает балеты и следил за полемикой, то открытия, сделанные гг. Пановским и Арновским, должны были задать ему трудную задачу.

Подтверждают ли балеты его философскую систему или опровергают ее? Может ли он сослаться на них во время публичных лекций о философии, которые предполагает прочесть в течение великого поста?

С одной стороны, подтверждают, потому что в философской этой системе, точно так же как и в балете, есть свое подпольное царство, в котором сидит своего рода Вальц и приводит в движение всю эту механику.

С другой стороны, опровергают, потому что Вальц балетный есть существо конкретное и, стало быть, осязаемое, а Вальц г. Юркевича есть существо, которое он сам уловить до сих пор не успел.

Но во всяком случае, г. Юркевич должен убедиться, что посредством Вальца всякие балетные упражнения объясняются с легкостью изумительною.

Но балетная полемика, по-видимому, уже истощилась. Г-жа Надежда Богданова нанесла последний удар г. Вальцу и доказала положительным образом, что этот властелин подпольного царства, нанося танцовщицам раны и увечья, ничем не руководствуется, кроме своего усмотрения. Совсем другое зрелище представляет полемика, возникшая по поводу городских выборов: она решительно угрожает быть нескончаемою.

Признаться сказать, мы несколько оплошали на выборах. Чтоб было ясно, до какой степени мы оплошали, надо вас предупредить насчет того, что для нас сделано. Для нас сделано то, милостивые государи, что мы, московские обыватели, относительно прав состояния сравнены с петербургцами! Нового, собственно, конечно, ничего, но ведь в этом-то и важность, что ничего нового. Значит, мы можем шествовать по следам старого, и притом шествовать, не отступаясь. И, сверх того, мы можем служить примером для других городов, которые, однако ж, никакого внимания на нас не обращают. Известно, например, нам, что в Петербурге новая система городского управления, введенная в 1846 или в 1847 году, породила в обществе какие-то толкования, вот мы, москвичи, и мотаем теперь себе на ус, чтоб этого у нас не было. Известно нам также, что в Петербурге, несмотря на толкования, дело обошлось как нельзя лучше, то есть городское управление осталось городским управлением, а не деженерировало во что-то другое, – вот мы, москвичи, и мотаем себе на ус, чтоб и у нас было то же самое. По-видимому, похвальнее таких намерений быть ничего не может.

Сверх того, не надо забывать, что, наподобие петербургского самоуправления, мы приобрели для себя одно весьма важное право: деятельными членами нашего городского общества сделались домовладельцы-дворяне; стало быть, от нас теперь зависит, если пожелаем, стать под команду гг. Каткова или Леонтьева, которые, в качестве московских домовладельцев, имеют право быть и московскими воеводами. Эта последняя мысль соблазнила даже И. С. Аксакова; по крайней мере, в 7-м № «Дня» он только о том и хлопочет: «Выберите, говорит, городского голову из дворян! увидите, каких он вам дел наделает!..»

И все-таки оказывается, что сердца наши недостаточно приготовлены даже для таких похвальных намерений: не могут их вместить. Представьте себе, что из тысячи шестисот с лишком дворян-домовладельцев, имеющих право голоса на выборах, воспользовалось этим правом менее трехсот человек, а прочие сословия выказали равнодушие даже большее. Чем можно объяснить себе подобное явление? тем ли, что у москвичей есть вкус (чувство гадливости), или же тем, что Москва ни примера с кого бы то ни было брать не хочет, ни сама кому-либо примером служить не желает? «Буду, говорит, брать пример с самой себя, да и служить примером тоже только самой себе буду: хоть и яичница у меня, однако своя собственная!»

Как бы то ни было, но те москвичи, которые воспользовались своим правом, оказались именно такими гражданами, какими быть москвичам надлежит. Например, дворян-избирателей собиралось в залу благородного собрания от 150 до 280 человек, и из них предстояло выбрать сто выборных; ясно, стало быть, что господа избиратели могли действовать широкой рукой: ты выбери меня, а я выберу тебя. Это первое (зачем же они шары-то класть трудились?). Во-вторых, они клали друг другу шары, сопровождаемые какими-то провожатыми, но и тут-таки ухитрились так устроить, что у некоторых избранных оказывалось шаров вдвое более против наличного числа избирателей. Значит, вышло тут чудо, и, что чуднее всего, чудотворами оказались те самые провожатые, которые именно должны были наблюдать, чтоб никакого чуда не было. В особенности изрядным чудотвором выказал себя некто К-н, который и был от этой должности немедленно отрешен. Я этого К-на знаю: ничего, мужчина хороший! До сих пор он избегал всяких историй, однако тут не избег: стало быть, нельзя было – глядели! До сих пор он попадал всюду, куда попадать хотелось, однако тут не попал: стало быть, нельзя было – не пустили! Это напоминает мне разговор, происходивший между двумя почтенными гражданами по поводу одного спорного платка.

– А вы бы, Иван Петрович, его полегоньку в кармашек схоронили!

– Нельзя, братец! глядят!

– Так вы бы, Иван Петрович, сами полегоньку в публику схоронились!

– Нельзя, братец! не пускают! говорят: иди в часть!

В-третьих, москвичи, уставши класть шары или проголодавшись, без церемоний уезжали домой и там облекались в халаты. От этого происходило, что в начале собрания шли несколько монотонно, а под конец оживлялись. «Мне три шара! мне четыре шара!» – раздавалось со всех сторон. Ну, разумеется: бери хоть девять, только клади! В-четвертых, некоторые сословные первым делом устроили у себя буфеты, в которых и поздравляли Москву с новым управлением. Это тоже очень помогало делу, ибо придавало ему разнообразие и какой-то пестрый вид. Сказывают, что один купец баллотировался в выборные и почтен был этого звания 6 избирательными шарами против 161 неизбирательного. Однако он не впал в уныние; вышел из буфета в залу и закричал «ура!». Развеселились. Разумеется, выбрать все-таки не выбрали, однако развлеклись-таки порядочно. Что ж, и на том спасибо, что полезное с приятным соединяют!

При виде подобных фактов на многих напало раздумье. М. Н. Катков скорбит, однако не говорит; Н. Ф. Павлов радуется, но до поры до времени тоже не говорит. Оба они предпочитают, чтоб в их газетах происходили непрестанные турниры, которые, как известно, вознаграждения не требуют, а журналам все-таки придают оживление. Когда полемизаторы истощат свои убеждения, когда доведут дело до той степени темноты, что читателям ничего разобрать нельзя будет, тогда наши знаменитые публицисты скажут и свое слово. М. Н. Катков скажет: «Кто же мог этого ожидать?»; Н. Ф. Павлов скажет: «Ну, вот и дали! ну, вот и дали!» И целый год будет таким образом дразниться в доказательство того, что давать никогда ничего

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru не следует.

Если вы меня спросите, какого я мнения об этом предмете, я откровенно отвечу вам: не знаю. Думаю, однако ж, что все замешательства и даже некоторые робкие опыты пресидигаторства произошли от того, что мы, москвичи, еще не умеем: никто нам этого, как следует, не показал. Впрочем, худого от этого еще не бог знает что произошло: самое худшее, что могло выйти, – это то, что лица, которые в действительности не были выбраны, оказались выбранными, а те лица, которые были выбраны, оказались невыбранными. И только.

Само собой, однако, разумеется, что эту легкую неисправность устранить необходимо. Конечно, мы не можем, мы не должны, мы не имеем права терпеть равнодушно, чтобы даже малейшая тень легла на наше самоуправление. Поэтому мы обязаны изыскать средства: средств этих много.

Во-первых, можно лучших из москвичей (излюбленных граждан) послать на казенный счет за границу, чтобы там наглядным образом научиться, каким образом шары сами собой переходят с правой стороны на левую.

Во-вторых, можно из Англии выписать несколько лордов (я уверен, эта идея понравится М. Н. Каткову), которые покажут у нас нам дома, каким образом следует производить выборы.

В-третьих, наконец, можно и должно закрыть при залах собраний буфеты.

Это последнее условие необходимо выполнить немедленно. А то помилуйте: сам себе кричит человек «ура!» – на что ж это похоже!

В этом покамест состоит вся наша общественная жизнь; на этом же сосредоточивается и вся деятельность наших публицистов по части внутренней политики. Поэтому, если письмо мое вышло мало разнообразно, прошу не осудить меня. Я хотел писать вам о московской науке, о московской народности, о московской праздности, о московском обжорстве, но нельзя же упустить такой факт, как зачатки московского самоуправления. Наука, народность и обжорство от нас не уйдут, а самоуправление – то, еще бог знает, что скажет! А ну, как Н. Ф. окажется прав? А ну, как нам, вслед за ним, придется только повторять: «Ну, вот и дали! ну, вот и дали!»

Стало быть, об науке – до следующего письма; теперь же заключу мое послание несколькими мелкими слухами.

* * *

Носится слух, что, по старости лет г. Пановского, должность фельетониста «Московских ведомостей» не может быть при нем оставлена. А так как он обладает большою наблюдательностью и несомненным изяществом манер, то и решено: отпускать его на балы с тем, чтобы, по возвращении оттуда, пересказывал все виденное Байбороду, который уже и будет сообщать публике о том, кто где был, что ел и с кем шептался.

* * *

Носится слух, что некто, увидев в английском клубе М. Н. Лонгинова, сказал: «Сей человек утонул, распух, да с тех пор в оном виде и остался».

* * *

О трудах Михаила Николаевича известно следующее: во-первых, он на днях издал исследование по поводу слов: *la legalité nous tue*. [56] Оказывается, что их сказал во Франции депутат *Vienné* (он же академик и баснописец), который, однако ж, их не говорил. Во-вторых, он ждет, не соврет ли еще кто-нибудь чего-нибудь, чтобы тотчас же написать еще новое исследование. В-третьих, он приготовляет к изданию полное собрание сочинений А. А. Краевского и изыскивает средства для составления его биографии.

* * *

Для того чтоб эта последняя была сколь возможно полнее, Михаил Николаевич не жалеет никаких издержек. С этою целью: 1) он командировал г. Геннади в гор. Чебоксары, чтобы узнать, не был ли там Андрей Александрович, а если был, то что говорил и что ел; 2) в самое лоно редакции «Отечественных записок» подослал

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru библиографа Эфинова, который обязан, под видом сотрудничества, собирать на месте различные черты из жизни ученого редактора и сообщать их Михаилу Николаевичу; 3) чтобы маскировать этот подсыл и поселить в редакции «Отечественных записок» неограниченное доверие к г. Эфинову, завел с ним библиографический спор.

* * *

Носятся слухи, что скоро последует окончательное примирение между М. Н. Катковым и Н. Ф. Павловым. Необходимым условием признано, чтобы первое свидание происходило ночью и в неосвещенной комнате.

* * *

Носятся слухи, что примирения этого не будет, потому что М. Н. Катков требовал, чтобы при первом свидании непременно присутствовал П. М. Леонтьев.

* * *

Носятся слухи, что примирение уже последовало.

* * *

Носятся слухи, что примирения не было и не будет.

* * *

Носятся слухи, что книжек «Русского вестника» ни за январь, ни за февраль, ни за март, ни за апрель, ни за май не будет. Первая книжка будет за июнь, но и она выйдет в октябре.

* * *

От этого один из подписчиков, получив книжку в октябре, подумает, что на дворе еще июнь, и пойдет купаться. Искупавшись, схватит горячку и умрет.

* * *

На похоронах будет М. Н. Лонгинов, который скажет, что только бог его спас от подобной же участи.

* * *

Носятся слухи, что М. П. Погодин скажет речь, а М. С. Щепкин заплачет. По этому случаю М. П. Погодин и еще скажет речь, а М. С. Щепкин и еще заплачет. Н. Х. Кетчер уведет Михаила Семеныча домой и упрекнет Михаила Петровича: ведь вы совсем старика расстроили!

* * *

Носятся слухи, что М. С. Щепкин в настоящем году возьмет последний бенефис и выйдет в отставку.

* * *

Носятся слухи, что МГГ. Шумский и Самарин прослезятся.

Носятся слухи, что М—Если вы, Михаил Семеныч, оставляете сцену, то и мы выходим в отставку!

Носятся слухи, что М—Служите! служите, молодые люди! на вас вся моя надежда! — ответит Михаил Семеныч и будет плакать вплоть до самой квартиры Н. Х. Кетчера.

* * *

Носятся слухи, что гг. Шумский и Самарин останутся на сцене, потому что М. С. Щепкин тоже, с своей стороны, подумывает, не послужить ли ему еще годик, другой.

* * *

Носятся слухи, что, по случаю избрания М. Н. Каткова в выборные по городскому общественному управлению, будет в английском клубе устроен парадный обед, на котором будут подавать скунксовую кулебяку и жареного швейцара. М. Н. Катков не будет ничего есть.

* * *

Носятся слухи, что издателю «Искры» г. Степанову заказана картина: на горе стоит М. Н. Катков, по бокам у него гг. Леонтьев и Георгиевский; внизу, в овраге, стоит г. Пановский и не знает, что ему делать; в стороне почивает М. Н. Лонгинов, рот у него облепили мухи; вдали поспешает г. Геннади (одежда празелень, борода до чресел, внизу раздвоенная): боится, чтобы М. Н. не потускнел

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru без него; еще далее виднеется пламя, среди которого мучится Н. Ф. Павлов. Если г. Степанов сумеет выполнить эту задачу хорошо, то ему обещана та самая июньская книжка «Русского вестника», которая выйдет в октябре, с предупреждением, что купаться в день получения не следует.

* * *

Носятся слухи, что М. Н. Катков каждую ночь видит самого себя во сне.

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТЕАТРЫ

<«Слово и дело». Комедия в пяти действиях Ф. Устрялова

«Карл Смелый». Опера в трех действиях, музыка Дж. Россини.>

Я семнадцать лет не был в Петербурге. Я оставил этот город еще в то время, когда г-жа Жулева впервые появилась в «Новичках в любви», когда г. Самойлов играл иудеев и греков, но в то же время еще старался заслужить расположение публики, когда для русской Мельпомены и русской Талии существовал только один храм – Александрийский театр, когда не было обольстительного г. Бурдина, когда г. Каратыгин изображал смешных чиновников, а г. Григорьев смешных помещиков, в то время, наконец, когда о театральном комитете и в помине не было и драматическое искусство ведалось чуть ли не капельдинерами.

Теперь все это миновалось. Г-жа Жулева оставила «Новичков в любви» для высшей комедии, но, с непривычки, все еще делает жесты, не соответствующие изображаемому действию, полагая, вероятно, что чем несоответственнее жесты, тем выше будет комедия. Г-н Самойлов хотя по-прежнему играет иудеев, греков и тирольцев, но уже не заискивает в публике, а, напротив того, дает ей чувствовать, что он удостоивает играть на театре единственно из снисхождения. Гг. Григорьев и Каратыгин играют бояр, полководцев и гротескнейших и увеселяют публику не какими-нибудь сверхъестественными носами, лысыми и бородавками, но величием жестов и благородством манер. Г-н Славин из Гамлета сделался простым Юстинианом, из Кина – герольдом Гронтенгельма и от горести до того сконфузился, что не только произносит одну речь вместо другой, но даже переставляет слоги в словах; так, например, вместо «долг красен платежом» – произносит «долг платен краснежом».

Но что всего удивительнее – это театральные комитеты. Признаюсь, это известие даже испугало меня. «Как, – думал я, – даже и туда проник конституционализм! даже и капельдинеры и те уступают частицу своего всемогущества!» И долго бы я волновался, если б мне не сообщили, что это такой комитет, в котором президентствует г. Юркевич и вице-президентствует г. Краевский, а заседают гг. Стороженко, Василько-Петров и Манн.

«Ну, слава богу, – сказал я себе, – стало быть, все остается по-прежнему! стало быть, Россия долго еще будет наслаждаться «Новгородцами в Ревеле» и «Ермаком Тимофеевичем»... слава богу!»

Однако комитет не вполне оправдал мои ожидания. Увы! и он заразился новым духом, и он счел невозможным не заплатить долга мальчишеству! Рядом с «Новгородцами в Ревеле», служащими как бы продолжением прежней, капельдинерской традиции, он выпустил... шутка сказать! драматическую рефутацию мсье Базарова! он, с помощью г. Устрялова, потщился доказать г. Тургеневу, что действительный представитель нынешнего молодого поколения называется не Базаровым, а Вертяевым... О, мальчишки! вот до какой степени пронзителен яд ваш, что даже члены театрального комитета – и те заразились им, и те сочли долгом протестовать в вашу пользу! Как хотите, а это прогресс! Конечно, мы идем вперед шагами неслышными, однако же нет-нет да кого-нибудь и продолжим!

Пьеса, о которой идет речь, называется «Слово и дело». Расскажу вам содержание ее.

По поднятии занавеса на сцене сидит Лавинский (г. Нильский). Этот Лавинский идеалист, но идеалист в вицмундире; он поклонник Фихте и Канта, но в то же время не прочь и обществу пользу принести; одним словом, такой идеалист, каких в настоящее время шатается по Петербургу великое множество. Все у него в порядке: и письменный стол, за которым он, по-видимому, проводит бессонные ночи, и шкапы с книгами, да с какими книгами! все *in quarto* да *in folio* – страсть смотреть! Лавинский этот сидит и говорит о том, как сладко трудиться и как сладко любить. Люблю и тружусь, тружусь и люблю; сегодня тружусь, завтра люблю, а послезавтра

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru опять тружусь, опять люблю, опять тружусь... Господи! да что ж это за масленица! Через пять минут, однако, он встает и надевает вицмундир: чувствует, что настало время пользу приносить. Но тут приходит некто Бродко (г. Пронский) и спрашивает, будете ли, мол, вы у Мартовых. «Разумеется, буду!» – отвечает Лавинский. Потом приходит Вертяев и сразу объявляет, что не верит ни в чувство, ни в бессмертие души, а верит в одно мыло. Оказывается, что Вертяев – тот же Базаров, потому что и Базаров, с своей стороны, не верил ни в чувство, ни в бессмертие души, а верил в лягушек. «А ведь я влюблен!» – говорит между тем Лавинский. «Быть не может! – возражает Вертяев, – ведь это вздор, пойми ты меня!» – «Нет, – говорит Лавинский, – я влюблен – это верно!» – «Вздор, говорю я тебе! – настаивает на своем Вертяев, – вздор, потому что разум и чувство исключают друг друга! Свежи ты меня к твоей невесте, и я докажу тебе, что все это вздор!» Слыша такое предложение, идеалист Лавинский искоса посматривает на испачканное и закапанное пальто Вертяева. «Я сюртук надену!» – спешит разуверить Вертяев, угадывая мысль своего друга. Потом приходит некто Лушин (г. Яблочкин), потом он с Вертяевым куда-то уходит, потом опять приходит, и Лушин напивается пьян. Первое действие кончилось; благонамеренные зрители довольны, потому что надеются, что вот-вот сказнят нигилиста; неблагонамеренные зрители тоже довольны, потому что ждут: что-то сделает этот человек, не верующий ни во что, кроме мыла.

Второй акт в доме Мартовых. Это семейство состоит из старухи Мартовой, дочери Наденьки и госпожи Репиной, которая введена автором в пьесу единственно для того, чтобы доказать, что в природе могут существовать и тетки. Эти дамы сидят и говорят, что Лавинский хороший молодой человек; потом приходит к ним Лушин, потом приходит Бродко, и наконец приходят Лавинский с Вертяевым. Само собой разумеется, что Вертяев хотя и надел сюртук (допустил, значит, компромисс), но, как нигилист, все-таки без перчаток и в фуражке и, кроме того, не умеет ни сесть, ни стать. Г-н Самойлов отлично выразил это томное состояние души человеческой, не умеющей дать определительного положения обременяющему ее телу. Вместо того чтобы несколько сробеть на первый раз (хоть бы он вспомнил настоящего Базарова, как тот сробел перед г-жою Одинцовою!), он как-то неглиже кивает головой, он всенародно вертит в руках свою фуражку (знай, дескать, наших!) и вообще заявляет ежеминутную готовность наругать. Собравшись таким образом, эти господа начинают между собой разговаривать, а потом оказывается, что они собрались затем, что теперь именно следует объявить Наденьку невестой Лавинского. Приносят шампанское и предлагают тосты. Лавинский, Бродко и Лушин, как люди простые, предлагают и тосты простые: кто за любовь, кто за разум, кто за веселье; но Вертяев, как человек сугубый, и тосты предлагает сугубые, то есть подхватывает темы своих сопьяниц, и начинает и начинает! Веселье, дескать, хорошо, но тогда только, когда при этом не оставляется без внимания, что есть на свете несчастные труженики, и т. д. и т. д. Открывается также, что Лавинский куда-то уезжает из Петербурга, и еще открывается, что Наденька слушала-слушала речи Вертяева (и говорил-то, злодей, всего две минуты!), да и задумалась. «Что ты как будто задумчива?» – спрашивает ее мамаша. «Нет, я ничего, мамаша!» – отвечает Наденька, и отвечает неправду, потому что яд нигилизма и веры в мыло уже заполз в ее маленькое сердце. Занавес опять опускается; вызывают г. Самойлова, который выходит и кланяется боком, обращая глаза на одну ложу; публика хочет, чтоб он и ей поклонился, и вызывает другой раз; г. Самойлов опять выходит и опять кланяется боком; публика начинает понимать, что это так и должно быть.

Содержание третьего акта рассказать нельзя, потому что его нельзя понять. Сначала Бродко получает Лушина подсмотреть за Наденькой и Вертяевым, и Лушин действительно подсматривает и видит, что Наденька отдает письмо Вертяеву; потом Бродко пересказывает об этом Лавинскому, который, в свою очередь, говорит Вертяеву: «Вон из этого честного дома, соблазнитель!» Устроив эту штуку, Лавинский думает, что из нее выйдет дуэль, и добывает секунданта. Занавес опускается снова; благонамеренные торжествуют и в восторге кричат: наша взяла!

Содержание четвертого акта также нельзя рассказать, и опять потому, что его нельзя понять. Это я совсем не шутя говорю; память решительно отказывается следить за происшествиями, сменяющимися одно другое без всякой разумной причины, которая объясняла бы, почему на сцене стоит Бродко, а не Лушин. Происходит нечто странное: оказывается, что письмо не письмо, что Вертяев не Вертяев, то есть не гаер и не наглец, каким его обзывал в третьем акте Лавинский, а преданный друг и преисполненный всяких чувств человек. Все это как нельзя больше к стати подслушала Наденька Мартова, которая до того заразилась нигилизмом, что, без спросу мамаша, убежала к Лавинскому. В довершение всего, Лавинский должен

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru драться не с Вертяевым, а с Бродко. «Так я и знал!» – говорит сидящий подле меня начальник отделения и сладко вздыхает в уверенности, что в пятом акте Вертяев поступит на службу.

Однако надеждам благонамеренной части публики не суждено осуществиться. Пятый акт застает нас в Гейдельберге.

Пятый акт – это прелесть, пятый акт – это благоухание всей пьесы. Вертяев скрывается в Гейдельберге от любви своей, Вертяев учится или, лучше сказать, скромно трудится. Он готовит России, в лице своем, чернорабочего, что заставляет зрителя думать, что идея о мыле продолжает, несмотря на тревожения любви, быть властительницей дум его. Он с презрением отзывается о Париже («Вы лучше поезжайте в Париж!» – говорит он Лушину, который в комедии обязан быть выражением пустого человека) и с чувством говорит о Гейдельберге, потому что в нем есть довольно много хороших людей.

Посреди разговоров Вертяев узнает от комика Лушина, что Лавинского нет на свете и что Наденька находится в Гейдельберге по случаю болезни своей маман. Но вот и сама она.

«Наденька! вы ли это!» – «Вертяев! вы ли это!» Следуют объяснения. Наденька признается; она говорит, что она все та же, что полюбила Вертяева с первой минуты знакомства, что теперь, когда нет никаких препятствий, и т. д. Вертяев, который, как истинный мыловар, ни об чем до сих пор не догадывался, в первую минуту трогается наивным признанием Наденьки и выказывает чувства почти человеческие, но потом... Что происходит потом, того не в силах выразить язык человеческий! В то время, когда все сидящие в зале чиновники берутся за шляпы, в уверенности, что из всего этого выйдет гимней и что Вертяев, подобно прототипу своему, Манилову (от Базарова к Манилову – каков скачок?), за хороший образ мысли будет произведен в генералы, этот мыльный идолопоклонник оказывается одержимым колером. «Не хочу жениться, хочу учиться!» – восклицает этот самозванный представитель молодого поколения, подобно тому как представители старого поколения некогда восклицали: не хочу учиться, хочу жениться! «Да почему ж вы не хотите жениться?» – спрашивает, чуть не плача, Наденька. «А так, говорит, потому что я чернорабочий! – И, раз попавши на эту линию, уж не сходит с нее до конца пьесы. – Ты, говорит, сама не знаешь, что такое чернорабочий! – ведь это ужасный человек! Если я отказываюсь от тебя, так это потому, что не хочу погубить тебя! Ты пойми, как мне-то, мне-то должно быть это тяжело – ведь я люблю тебя! И вы, зрители, поймите всю великость приносимой мною жертвы – ведь я жертвую своею любовью, своим счастьем для счастья любимой женщины!»

– Пошел вон, идиот! – восклицает Наденька, и занавес опускается.

Но нет, она не восклицает этого, и занавес опускается просто посреди полнейшей анархии здравого смысла. «Автора!» – кричат благонамеренные люди, думая, что пьеса написана в пику нигилистам. «Автора!» – кричат нигилисты, думая, что пьеса направлена против благонамеренных. Выходит, что называется: всем угодил!

Очевидно одно: пьеса действительно для чего-то написана, действительно усиливается нечто провести, нечто доказать. Это одно, впрочем, и заставляет говорить об ней, потому что во всех других отношениях вся пьеса есть не что иное, как ряд диалогов, более или менее бесцветных, более или менее бессвязных.

Посмотрим же, в чем заключались собственно намерения автора.

Во-первых, пьеса обязана своим появлением «Отцам и детям» г. Тургенева. «Вы напрасно думали изобразить нынешнее молодое поколение в лице Базарова, – говорит г. Устрялов г. Тургеневу, – нет, это не Базаровы, это Вертяевы!» Но здесь-то именно и заключается первая ошибка г. Устрялова. Он, очевидно, принимает Базарова за что-то серьезное, тогда как серьезного в нем нет ровно ничего.

В самом деле, чем Базаров заявляет о своей серьезности? Тем ли, что хвастается своим нигилизмом перед старичками Кирсановыми? тем ли, что приударяет за госпожой Одинцовой? Но разве тут есть что-нибудь серьезное, заслуживающее опровержения? Хвастливость и способность к приударению, конечно, суть свойства не чуждые человечеству, но, сколько нам известно, никогда не составляли типического признака какого бы то ни было поколения, ни древнего, ни нового. Над хвастунами смеются чуть ли не со времен Аристофана, а об охотниках до клубнички

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru существует такая разнообразная литература, что сам г. Лонгинов затруднился бы написать ее библиографию. По нашему мнению, г. Тургенев именно так и понимал это дело: он просто писал свою повесть на тему о том, как некоторый хвастунишка и болтунишка, да вдобавок еще из проходимцев, вздумал приударить за важную барыней, и что из этого произошло. Все остальное, как-то: словопрения с братьями Кирсановыми, пребывание юных нигилистов у старого нигилиста (Базарова-отца) – все это не больше как эпизоды, которые искусный писатель необходимо вынуждается вставлять в свою повесть для того, чтобы она не была короче утиного носа. Вольно же было людям, во всем доискивающимся сокровенного смысла, доискиваться этого смысла и в романе г. Тургенева. А если этого смысла нет, то, стало быть, сочинение, имеющее задачей опровергнуть Базарова, есть сочинение мнимое, сочинение, выступающее с целым запасом смертоносных орудий затем, чтобы умертвить клопа.

Но, быть может, мне возразят, что дело не в том, какие имел цели г. Тургенев, а в том впечатлении, которое произвела его повесть. Ибо небезызвестно всем и каждому, что нынче название нигилистов распространено безразлично на все молодое поколение. Ну, вот это другое дело, и желание противоборствовать такому странному действию во всяком случае заслуживает похвалы. Но для того, чтобы достигнуть этого, для того, чтобы уничтожить или ослабить тот вред, который нечаянно нанесен г. Тургеневым, что было нужно? Нужно было или разобрать произведение г. Тургенева серьезно и серьезно же доказать добрым людям, принимающим Базарова за представителя современного молодого поколения, что он совсем не имеет нужных для того качеств, что он точно такой же материалист, как, например, Ноздрев, которого именем, однако ж, никто и не мнил клеймить никакого поколения; или же нужно было нарисовать другой образ, образ действительного представителя молодого поколения, его стремлений, его деятельности и его надежд.

Эта последняя цель и была второю целью г. Устрялова; она же была и второю его ошибкою. Прежде всего, он непоследователен. В начале пьесы он заставляет Вертяева рабски подражать Базарову, в конце – делает из него нечто вроде Кирсанова-отца; недостает только дать ему скрипку в руки и заставить наигрывать, в ночной тиши, хоть не «Ritter Toggenburg», а какую-нибудь песню о сладостях труда или, пожалуй, хоть английскую песню «о рубашке». Ибо идеализм совсем не в том состоит, чтобы веровать непременно в Шиллера и ненавидеть Бюхнера; можно любить и признавать Шиллера величайшим поэтом и в то же время не быть идеалистом, как равно можно быть последователем Бюхнера и в то же время быть яростнейшим идеалистом; тут все дело заключается в отношении лица к предмету своих симпатий и антипатий. Итак, хотя Вертяев, в конце пьесы, и продолжает настаивать на вере в мыло, но это не мешает ему вести себя как идеалисту самого нелепого свойства. Истинные сыны века сего вообще приносят жертв мало, но в особенности таких жертв, которые сопряжены с поруганием законности их человеческих стремлений и требований. Они женятся и посягают, как и прочие смертные, и в этом не видят никакой помехи для предстоящего им труда, ибо от любимой женщины считают себя вправе требовать одного: чтоб она не становилась между ними и трудом, чтоб она не представляла в их деятельности начала ослабляющего или растлевающего. Совершенно противное явление представляет Вертяев: он чурается женщины, ибо видит в ней конфету или, еще хуже, прелесть бесовскую, ибо он внутренне презирает женщину, ибо в самой жизни усматривает не жизнь, а упорно скромное толченье воды, которое, по его мнению, требует и усидчивости и сосредоточенного, ничем не отвлекаемого внимания. Это идеализм мрачный, идеализм аскетический, но все-таки идеализм. Многие находят, что конец пьесы безобразен, что он противоречит началу; я, напротив того, нахожу, что весь шик пьесы заключается именно в последнем акте, что вся пьеса написана на тему: «Вот человек, который имеет все наружные признаки Базарова, а между тем смотрите, какой он Кирсанов!», что здесь, наконец, начало противоречит концу, а не конец началу.

Посмотрим, однако ж, каково это молодое поколение, которое изобразил г. Устрялов.

В противоположность Базарову, хвастливому, на словах поднимающему горы, а на деле слоняющемуся из угла в угол и умильно посматривающему на богатое тело г-жи Одинцовой, Вертяев весь предан труду, до того предан, что самую жизнь с ее требованиями и разнообразием считает помехой для себя. Что ж это за труд? Увы! Вертяев никому не рассказывает об этом; из слов его явствует только, что труд этот скромный, что он маленький, производящий результаты с булавочную головку, и что, наконец, это труд ни для кого не подозрительный. Таким образом, судя по тому

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru роду занятий, о котором Вертяев заявляет в начале пьесы, зритель вправе предположить, что он в Гейдельберге занимается изобретением какого-нибудь нового, чудодейственно смягчающего кожу мыла.

Отсюда три главных качества, определяющих Вертяева: скромность, некоторое тупоумие и ни для кого не подозрительность. Новый Молчалин, он надеется с этими качествами прожить скромно, тупоумно и ни для кого не подозрительно.

Спрашивается теперь, что такое эта скромность труда? Чем она определяется: отношением ли к труду трудящегося лица или самым предметом труда, результатами, им добываемыми? Это различие очень важно, ибо в первом случае про трудящегося человека говорят: какой скромный молодой человек, а какой ученый! во втором случае говорят: какой трудолюбивый молодой человек, и как жаль, что из этого ничего не выходит! В первом случае скромность есть качество приятное для глаз, хотя и не всегда полезное, во втором – скромность есть качество для глаз неприятное да и в существе своем мало полезное. Трудиться дни и ночи, потеть и напрягать свои силы затем только, чтобы плюнуть маленькую-маленькую капельку в сосуд общего преуспевания – вещь, конечно, никакими законами не воспрещаемая, но характеризовать подобным трудом деятельность целого поколения совершенно непозволительно. Это просто значит сказать в глаза целому поколению, что оно, подобно знаменитой Закхеевой смоковнице, поражено бесплодием, что оно навсегда осуждено на большие труды и на малые результаты. Каков комплимент!

Мне кажется, что автор положительно зарвался; он увлекся благонамеренною своею целью; он хотел смыть с молодого поколения пятно совершенно им не заслуженное; он хотел наглядным образом показать кому следует, что мы, дескать, совсем не такие подозрительные люди, какими нас прославили, мы просто милые дети, любящие читать хорошие книжки, – и больше ничего. Все это очень похвально и благонамеренно со стороны г. Устрялова, но вряд ли молодое поколение, которое он таким образом защищает, поставит ему за это монумент.

Выходит, что автор хотел объяснить стремления и потребности молодого поколения – и не объяснил; хотел защитить молодое поколение – и не защитил; хотел получить благодарность – и не получил. Он затевал что-то обширное и съехал на полицейскую точку зрения: спрашивается, не здесь ли настоящая-то, действительная Закхеева смоковница?

Гг. актеры исполнили свое дело как следует, то есть каждый из них играл свое амплуа. Г-н Самойлов в первом акте играл амплуа дикого мыловара, во втором – амплуа грубияна, в третьем – амплуа непризнанного друга, в четвертом – амплуа друга признанного, в пятом – амплуа мыловара, которого дикость дошла до воспаления в мозгу. Г-жа Жулева играла амплуа старухи, г. Нильский – амплуа серьезного *jeune premier*, г. Яблочкин – амплуа беспутного *jeune premier*, г. Пронский – амплуа коварного друга. Я, признаюсь, всего больше смотрел на тонкую игру г. Пронского: этот актер, с помощью верхней губы и указательного пальца правой руки, изображает какие угодно чувства.

Всем известно, что г. Самойлов – актер великий, но он актер всех стран и времен, а преимущественно всех костюмов. В штатском платье ему не по себе: тесно. Хорошо еще, если это штатское платье представляет собой какой-нибудь старинного покроя фрак (еще лучше, если при этом сапоги с отворотами), сильно потертый по швам, как, например, в давнишней пьесе «Отставной музыкант и княгиня», – ну, тогда играть можно, ибо старинный костюм есть эмблема старинного же человека; следовательно, тут и гримировать себя можно самым искусным образом, и кашлять можно, и плакать чаще, нежели того требует человеческий организм, находящийся в нормальном состоянии. «Старик, – говорят себе зрители, – что с него и взискать-то!» Недурно также, если штатское платье позволяет изобразить сильно иззябшего человека, как, например, в роли Любима Торцова («Бедность не порок»). Но беда, если штатское платье обыкновенное и если притом изображаемое в этом платье лицо не пьяно, не иззябло и фамилия его не оканчивается на ский (как, например, Кречинский). Подобная роль, очевидно, не может быть благодарною.

Г-н Самойлов в высшей степени обладает этою способностью приурочивать свои роли к какой-нибудь национальности, к какому-либо возрасту, а по нужде даже и какому-нибудь исключительному состоянию человеческого организма. Даже в «Короле Лире» он играет лишь очень-очень дряхлого старика и с этой точки зрения обдумывает свою роль до такой степени добросовестно, что зритель действительно ни на минуту не может усомниться, что перед ним очень-очень дряхлый старик. Но

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru смертных, простых, бескостюмных и не старых смертных он играть просто не может, потому что это прямо противно его артистической натуре, потому что простой смертный не представляет никакого наружного сучка, за который можно было бы сразу схватиться, потому что простого смертного надобно еще допрашивать и раскапывать, чтобы допроситься и докопаться до того, что составляет его сущность. Поэтому он и Вертяева играет вяло, хотя и старается к чему-то приурочить его, то есть делает из него поочередно: грубияна, дикого мыловара и т. д. и т. д. Но воображаю я, как был бы хорош г. Самойлов в балете!

Г-жа Снеткова усиливалась отыскать в своей роли что-нибудь человеческое и действительно сделала из нее нечто весьма грациозное, хотя это было очень трудно. Личность Наденьки вообще бесцветная и даже несколько глупенькая: например, она, во втором акте, в первый раз видит Вертяева и, по пьесе, должна тут же влюбиться в него. За что влюбиться? за то ли, что он сказал несколько строк общих мест? за то ли, что он ходит без перчаток? Положение очень трудное, но г-жа Снеткова выходит из него с честью; она уже в половине акта начинает задумываться, и задумывается очень мило, как-то по-детски задумывается.

Теперь следовало бы, по-настоящему, сказать несколько слов о театральном комитете, но что могу рещи об нем? Что, кроме того, что я уже сказал в начале настоящей статьи, то есть что он представляет собой ограничение капельдинерской власти и что благодаря ему капельдинерская традиция на нашем театре не только не прекращается, но даже наипаче процветает?

Сошлюсь на возобновление таких пьес, как «Ермак Тимофеевич», как «Маркитантка», «Параша сибирячка» и мн. др.

Сошлюсь на постановку таких пьес, как «Новгородцы в Ревеле», как все пьесы гг. Дьяченко и Чернышева.

Сошлюсь, наконец, на то, что ни г. Юркевич, ни г. Краевский, ни гг. Манн, Василько-Петров и Стороженко никакого отношения к русской литературе не имеют.

Или, быть может, все это псевдонимы?

Или, быть может, кто-нибудь из них написал «Цырульника на Песках»?

Или, быть может, они все вместе «Цырульника на Песках» написали?

А быть может, что они статские и действительные статские советники?

А быть может, они оставшиеся за штатом чиновники бывшего инспекторского департамента гражданского ведомства?

А быть может, это просто добрые малые, которые не знают, куда деваться от скуки?

Вот сколько вопросов, которые предстоит разрешить благосклонному читателю.

Тем же, которые желают в подробности ознакомиться с действиями театрального комитета, мы рекомендуем прочитать в журнале «Время» (сентябрь, октябрь и ноябрь 1862 г.) весьма приятные статьи под названием «Современное состояние русской драматургии и сцены». Там все очень ясно изложено.

P. S. Не успел я кончить мое обозрение, как получил от одного из провинциальных моих знакомцев письмо, в котором он описывает впечатления, вынесенные им при представлении оперы Россини «Вильгельм Телль», дающей на петербургском театре под названием «Карла Смелого». Я не обременил бы внимания читателя этим письмом, если бы в нем шла речь единственно об опере; но в нем говорится об одном из весьма ярких проявлений современной общественной жизни и, сверх того, довольно определенно высказывается одна из двух сторон, наиболее заинтересованных вопросом об общественном преуспеянии.

Вот это письмо.

«Государь мой!

Вы желаете знать, какое впечатление производят на меня ваши столичные

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru увеселения; исполняя желание ваше тем охотнее, что, будучи сам человеком благонамеренным, уверен и в вас найти такового же. Вообще скажу, что нынешний Петербург, против прошлогоднего, мне больше понравился. Хотя нигилизм еще распространяет крыле свои, но в то же время и благонамеренность не скрывается стыдливо в колодцах и помойных ямах, куда было загнано ее нахальство мальчишек, но появляется на стогнах града бессрамно, с лицом улыбающимся и торжествующим. Одним словом, всякий может исполнять свои гражданские и семейные обязанности свободно, не опасаясь, что его застанет на месте преступления нигилист и начнет стыдить и увлекать в соблазн. Поэтому и театры посещать стало не в пример против прежнего безопаснее. Затем приступаю к настоящему предмету моего письма, то есть к театру.

Доныне видел я две пьесы: «Карл Смелый» и «Боярин Матвеев». Но наперед изложу вам мой общий взгляд на театральные зрелища. По мнению моему, на зрелища сии, как и вообще на все, принадлежащее к области искусств, можно взирать с двух точек зрения: с точки зрения общественного благоустройства, коим заведует полиция, и с точки зрения собственно искусства, коим никто не заведует. В большей части случаев эти обе точки зрения составляют нечто тождественное, ибо полиция, в противность принятому у нас мнению, не только не враждебна искусствам, но даже, по сущности своих занятий, им доброжелательна. Все дело в том, чему служит искусство. Если оно служит искусству же, то очевидно, что оно, только иными путями, стремится к тем же целям, к коим стремится и полиция. Цель искусства – красота, цель полиции – порядок; но что такое красота? что такое порядок? Красота есть гармония, есть порядок, рассматриваемый в сфере общей, так сказать, идеальной; порядок, в свою очередь, есть красота... красота, так сказать, государственная. В сем смысле искусство и полиция не токмо не делают друг другу помешательства, но, напротив того, взаимно друг друга питают и поддерживают. Искусство, отвращая взоры человечества от предметов насущных и земных и обращая их к интересам идеальным и небесным, оказывает полиции услугу; полиция, с своей стороны, принимая в соображение, что занятие интересами небесными ничего предосудительного в себе не заключает, оказывает искусству покровительство. И таким образом сии две власти идут рядом, не ссорясь и взаимно друг друга ободряя.

Таково, повторяю, должно бы быть естественное отношение искусства к общественному благоустройству, если бы фальшивые мудрования современности не напустили и в это дело своей пагубы. Благодаря этим последним, ныне положительно должно различать точку зрения полицейскую от точки зрения искусства и даже нередко забывать сию последнюю. В этом я убедился, присутствуя недавно при представлении «Карла Смелого».

Отнюдь не ожидал я, государь мой, чтобы пришлось мне на сию оперу взирать с точки зрения общественного благоустройства. Зная ее почти наизусть и весь проникнутый небесною сладостью ее мелодий, я никак не подозревал, чтобы она заключала в себе зерно безнравственности, беспочвенности, безверия и беспорядка, одним словом, всего того, до чего так лакомы нигилисты. Я мнил, что Тамберлик поет: до-ре-ми-фа-соль-ля-си, – оказывается, что он напоминает публике об *lex agraria*; [57] я думал, что он поет:

Oh, Mathilde! o mon idole! [58]
оказывается, что он доказывает необходимость эманципации женщин! Можете себе представить восторги нигилистов и горькое чувство, овладевающее людьми благонамеренными!

Начать с того, что я помещен был весьма невыгодно; кресло мое приходилось рядом с ложей первого яруса, в которой помещалась девица, предъявлявшая такое изобилие телесных форм, которое невольным образом отвлекало меня от представления. Не спорю, что, с точки зрения общественного благоустройства, подобное соседство может иметь даже свою полезную сторону; красота (я признаю красоту во всех проявлениях, даже в виде приятно развитого женского бюста) развлекает человека; она вызывает его из угрюмой и вредной сосредоточенности и поселяет в организме несколько не лишнюю в наше время игривость; следовательно, в отношении к нигилистам красота может служить даже как отличное административное средство. Но я не нигилист, и потому соседство этой женщины возбуждало во мне беспокойство совершенно напрасное. Во-вторых, рядом со мной, в кресле, помещался некоторый гусарский штаб-офицер, которого я, судя по мундиру, принял за благонамеренного, но который впоследствии оказался величайшим нигилистом. К довершению всего, озираюсь кругом и решительно не узнаю обычной оперной публики. Одного только и

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru заметил я зрителя в чине действительного статского советника, все же прочие – и сверху, и внизу, и сзади, и спереди, и по бокам, – все поголовно нигилисты! Но буду рассказывать по порядку.

Увертюра. Вам известна эта прелестная вещь, но неизвестно, конечно, что сделали из нее нигилисты и какие сообщили ей тенденции. Мы видели в ней адажио, анданте и аллегро, нигилисты же видят любезное им безначалие. Вследствие сего: адажио выслушивают с презрением, анданте – с сожалением и все свое неистовство, всю наглость сосредоточивают на аллегро. Изумительны, государь мой, и сожаления достойны эти крики: *bis!* *фора!* которыми надсаживаются сии молодые груди! Чего хотят они и что мнят видеть в этом аллегро, которое потому только и аллегро, что всякая правильно составленная увертюра должна иметь и адажио, и анданте, и аллегро? Не уподобляются ли они, с своими видениями, тому несчастному, который, каждый день читая календарь, воображал себе, что он через то получил личное знакомство со всеми иностранными герцогинями и принцессами, о коих в том календаре говорится? Жалкое, поистине жалкое состояние! Но буду продолжать.

Занавес открывается; на сцене поселяне, которые поют песни, прядут, молятся богу и вообще занимают приличными поселянскому званию занятиями. Нигилисты молчат. Посему можно было бы слушать со вниманием, но препятствует девица, предъясняющая изобилие форм. Приходит рыбак и поет песню – нигилисты все молчат; приходит старик Мельхаль, поддерживаемый сыном; соседние нигилисты скрежещут и шепотом доказывают друг другу, что такого старика не поддерживать следует, а пришибить. Я, со своей стороны, не прочь от этого, потому что Г. Чеккони, который изображает Мельхаль-старика, поет свою партию таким голосом, как бы он целую неделю не ел. Затем все уходит, приходят на сцену Дебассини и Беттини и начинают вести с Тамберликом беседу, из которой образуется прелестнейшее трио. Оказывается, что Дебассини и Беттини увлекают Тамберлика в нигилизм, а Тамберлик беспрерывно восклицает: «*Oh! Mathilde!*» – и не идет. Тем не менее нигилисты аплодируют, и именно Тамберлику, что должно приписать незнанию итальянского языка. Потом Тамберлик уходит, а на сцену опять приходят поселяне; начинаются браки, поют, молятся богу... как вдруг врываются австрияки под предводительством некоторого Пальтриньери. Австрияки говорят: «Убирайтесь вон!», швейцарцы отвечают: «Не хотим, ибо мы занимаемся невинными занятиями!» Выходит скандал; австрияки вынимают мечи и дуют ими поселян по головам; поселяне бегут, но в то же время грубят... Нигилисты режут и плещут руками, потому что в этой свалке убит Г. Чеккони.

Мы с вами, бывавшие в этой опере неоднократно и неоднократно же наслаждавшиеся бессмертными ее красотами, ни об чем об этом не имели понятия. Мы думали, что Тамберлик есть Тамберлик, а Дебассини – Дебассини, что они поют арии, дуэты, трио, потому что они солисты и ангажированы на сей именно конец театральной дирекцией. Мы думали, что поселяне обязаны петь хоры и что вынимание мечей есть не что иное, как обстановка пьесы, служащая приятным разнообразием для глаз. Нигилисты сумели увидеть совсем другое; они, посредством какого-то анафемского чутья, сумели распознать австрияков от поселян и из поведения первых вывели заключение, что они заботятся не об учреждении воскресных школ, а о чем-то другом.

Буду откровенен: я не оправдываю поведения австрияков в этой опере и не могу разделять их политических убеждений. По моему мнению, постоянно драться, и только драться – большая политическая ошибка. Народ, видя, что, вместо того чтобы вводить какие-нибудь непредосудительные улучшения, победители думают только о том, как бы побольше плюх надавать, может прийти в сомнение и даже... наругать. Дальновидный победитель знает это и сообразно с сим устраивает свою политику так, что не только не мешает поселянам забавляться, но даже сам изобретает забавы, так как забава есть самое верное средство, которым может воспользоваться общественное благоустройство для предотвращения общественного неурядиства. Но, скажите на милость, из-за чего нигилисты-то режут и неистовствуют? Чтó они швейцарцам, чтó швейцарцы им? И откуда эта ненависть к австриякам? Или они думают применить? Но разве они забыли, что в нашей стране покорения-то не было, а было призвание? Да! Призвание, государь мой, призвание!

Однако сюжет сей столь важен, что не могу воздержаться, чтобы не поговорить о нем подробнее. Нынче пошла мода на национальности. Итальянцы не хотят знать австрийцев, венгерцы не хотят знать австрийцев, славяне не хотят знать никого. А там шевелятся голштинцы, а там где-то пискнули ирландцы... Хвалю, хвалю сих людей, потому что, занимаясь вопросом о национальности, они тем самым предъясняют миру,

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru что сердца их волнуются не какими-либо разрушительными интересами, какова, например, так называемая свобода, но интересами возвышенными, политическими. Например, итальянцы почти освободились от австрийцев – это очень приятно; голштинцы также, вероятно, в скором времени освободятся от датчан – и это будет приятно. Почему приятно? а потому, что из всего этого никакой другой перемены не произойдет, кроме некоторой в географических учебниках сумятицы. Скажу даже более: чем больше в данное время возбуждено интересов политического свойства, тем приятнее для общественного благоустройства; ибо в руках опытного охранителя общественного благоустройства политический интерес может быть доведен даже до степени интереса небесного и служить самым лучшим отвлечением от интересов ближайших, земных. Посему нигилисты в этом отношении кажутся мне лишенными всякой прозорливости. Чему они хлопают? По какому поводу стонут? Они хлопают швейцарцам и целым театром требуют очищения свободной швейцарской земли от австрийков... Ну, и пусть хлопают!

Во втором акте мы видим даму приятной наружности в прекрасной амазонке и с хлыстиком в руке. Нигилисты молчат, потому что, как объясняет мне сидящий подле меня гусарский штаб-офицер, дама эта принадлежит к лагерю филистимлян – австрийков; это та самая Матильда, в которую влюблен Тамберлик, о которой он так сладко вздыхает в первом акте: oh! Mathilde и которая, расслабляющим образом влияя на своего возлюбленного, вместе с тем тормозит и партию действия. Г-жа Бернарди поет свою прелестную арию, но поет совершенно иным образом, нежели г. Чеккони. Сей последний поет, как голодный, г-жа Бернарди, напротив того, поет, как бы только что пообедала и в горлышке ее еще остался кусочек, о который задевает ее крошечный голосок. Слушая ее, думаешь, что она разом поет две арии: одну полутоном выше, другую – полутоном ниже, аплодировал ей только действительный статский советник, но и сей оробел. Приходит Тамберлик и поет с г-жою Бернарди дуэт; нигилисты молчат; штаб-офицер даже видимо не одобряет Тамберлика, потому что говорит шепотом: «Как жаль, что голос его слабеет!» Но вот, наконец, наступает момент настоящего, непрерывного нигилистского торжества. Матильда ушла; на сцене Тамберлик, Дебассини и Марини; два последних общаются первому, что австрийки напали на безоружных поселян, начали бить их мечами по головам и что в этой свалке убит его отец... восхитительное анданте! Что делать Тамберлику? Сыновнее сердце кричит: vendetta![59] а правила музыкальной композиции не только не препятствуют этому, но даже положительно требуют, чтобы за анданте непосредственно следовало аллегро. И вот из груди его вылетает фраза, которая повергает в неописанное умиление всех нигилистов. Все дело в том, что фраза эта кончается словом *libertà*, [60] словом, которое, как известно, первый выдумал наш известный публицист М. Н. Катков. Но в устах г. Каткова оно имело смысл весьма благоприятный и означало лишь умеренность и аккуратность. С этой точки зрения *libertà* не только не заключает в себе ничего предосудительного, но даже может служить прекрасным административным средством. Но нигилисты ничего этого не поняли и все перепутали. Вследствие сего им померещилось черт знает что. «Bis!» – стонут они на все лады – Тамберлик повторяет с удовольствием. «Bis!» – стонут опять на все лады – Тамберлик опять повторяет с готовностью. И, конечно, этому позорищу не было бы скончания, если бы в скептические умы нигилистов не заползло сомнение. «Как жаль, – формулирует это сомнение сосед мой, гусарский штаб-офицер, – что такое славное движение родилось не вследствие внутренней потребности духа, а вследствие смерти отца!» Как бы то ни было, но крики умолкают; начинается трио... Вы помните это трио, государь мой, вы испытали на себе то тихое очарование, которое всецело охватывает человека, которое, так сказать, подавляет его, изгоняет из него всякую мысль, всякую деятельность ума и всего наполняет блаженством, одним блаженством! Что это за звуки! что за звуки! И ласкают-то они! и жгут-то! и истомой томят! Театр не шелохнется, словно дремлет; словно весь мир исчез перед глазами, весь мир с его политическим и неполитическим озорством, с его благонамеренными и неблагонамеренными тревогами... остались звуки, одни властительные, сладкие звуки... одна гармония, то есть порядок! Надо отдать справедливость нигилистам – они не шевелятся, ибо и они люди. Быть может, со временем и эти остатки первородной благонамеренности в них утратятся, но пока еще они существуют (повторяю, опытный и ревностный охранитель общественного благоустройства может сим качеством воспользоваться с большою для себя выгодой). Неистовство начинается уже в то время, когда потухает последняя фраза трио. «Bis!» – кричат нигилисты, тогда как я и действительный статский советник все еще сидим на своих местах недвижимо, как бы упоенные и озадаченные. И трио повторяется, но нигилисты уже сморкаются; увлечение небесными интересами охладело; выступает на сцену пресное резонерство; хладный календарский утопизм окончательно вступает в права свои. «Все это хорошо, – бормочет штаб-офицер, – только в таких вещах адажио никуда не годится; тут надо

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru аллегро, да еще какое *allegro!*» И вследствие такого рассуждения полный и действительный восторг выказывается только в то время, когда начинают собираться *amici della patria*[61] и на сцену вполыхах вбегают г. фортуна и рассказывает о какой-то новой проделке австрийской политики. «All'armi!»[62] – восклицает толпа хористов... Но что тут произошло, какой конфуз, какое бешенство – того не в силах изобразить скромное перо мое! Довольно того, что друг мой, действительный статский советник, державший себя дотоле скромно, не вытерпел и, повернувшись всем корпусом к публике, явно выразил ей свое неодобрение и даже угрозу. «Ну, вот это так! Это так!» – шептал штаб-офицер, потирая руки. «Что так-то?» – хотел я спросить, но не спросил. Одним словом, весь театр одобрял поведение швейцарцев, весь театр требовал для них конституции! Скажите на милость! кто бы требовал, а то театр требует! театр, государь мой, требует – поймите вы эту штуку! да ведь этак скоро Палкин трактир, скоро Адельфинкино заведение потребуют конституции... для швейцарцев! вот и поди тогда с ними!

Разумеется, никакой конституции им не дали, и вот в третьем акте мы видим толстого австрияка. Австрияк занимается именно тем, чем следует заниматься образованному австрияку в мужицкой земле, то есть заставляет мужичек петь и плясать.

Но и здесь позволю себе некоторое отступление: не могу одобрить и плясательной австрийской политики. Не потому, чтобы она сама по себе была ошибочна, но потому, что она, как и всякое другое административное средство, должна быть употребляема в меру. Австрийцы же, очевидно, пользовались этим средством до пресыщения и употребляли его столь же неразумно, как и тот весьгонский барин, о котором недавно писали в газетах и который вместо того, чтобы занимать своих временнообязанных, в барщинские дни, трудами полезными, заставлял их плясать и играть на гармонике. Ибо и мужик, как бы ни был он груб и по природе своей склонен к плясательному времяпрепровождению, может, наконец, утомиться и в часы дозволенного отдыха (разумеется, другое было бы дело, если б можно было заставлять плясать без отдыха!) спросить себя: неужели же я, мужик, только на то и рожден, чтоб выворачивать ноги перед его светлостью австрияком! И таким образом в голову мужика заползает ядовитая змея резонерства, а вместе с тем уничтожается и возможность продолжать плясательную администрацию.

Но не буду утруждать вас дальнейшим изложением содержания этого третьего акта, тем более что конец оно изложен даже в истории Кайданова. Скажу одно: я вышел из театра словно в чаду. Ночь была морозная: извозчики и кучера хлопали руками у горящих костров; взирая на них, я восклицал: невинные извозчики! Вы счастливы, ибо вас не волнуют страсти! Вы счастливы, ибо между вами нет нигилистов! И вместе с тем, ощущая на себе самом действие мороза, я не мог не прийти к заключению, что и мороз мог бы в руках опытного и ревностного охранителя общественного благоустройства составлять прекрасное средство администрации, ибо он предохраняет человеческий ум от мечтательности и сосредоточивает его на одной заботе: на заботе отогреть ознобленные члены тела. И я невольно воскликнул: как жаль, что начальство не имеет возможности устраивать мороз по своему усмотрению!

Итак, вот впечатления, вынесенные мной из этого достопамятного вечера! Я вспомнил 1844, 1845 и 1846 годы, я вспомнил незабвенную Виардо, незабвенного Рубини, незабвенного Тамбурины, вспомнил горячие споры об искусстве, вспомнил теплые слезы, которые мы проливали, читая «Историю двух калаш» и «Аптекарьшу», слушая потрясающее «*maledetto!*», [63] которым в Лючии оглашал своды Большого театра великий Рубини... Вспомнил и заплакал.

Ничего этого теперь нет; в сердце холодно, в голове смутно, во рту скверно...

Скверно, несмотря даже на «Боярина Матвеева», хотя, с точки зрения общественного благоустройства, пьеса сия безукоризненна. Вот все, что могу я сказать об этом приятном произведении, автор которого едва ли не родной брат того Ободовского, который сочинил весьма полезный географический учебник. Всякому свое.

Р. С. Сейчас получил приятное известие из Москвы: на днях был там конгресс, на котором присутствовали редакторы журналов: «Наше время», «Московские ведомости», «Русский вестник» и «Современная летопись». М. Н. Катков предложил вопрос: «Привлекать ли в настоящем 1863 году к сотрудничеству в названных журналах лондонских агитаторов?» Рассудили: привлечь. Затем П. М. Леонтьев предложил следующее: «Платить ли лондонским агитаторам за таковое их сотрудничество?»

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Рассудили: не платить.

Первое представление новой драмы г. Островского 23 января, на Мариинском театре, было первое представление новой драмы А. Н. Островского «Грех да беда на кого не живут». Мы не будем говорить здесь об этой драме, потому что она составляет в нашей литературе такое явление, касаться которого в летучей заметке неуместно. Но не можем отказать себе в удовольствии высказать от лица всех дорожащих успехами русского сценического искусства глубокую признательность гг. актерам и актрисам, участвовавшим в пьесе, за отчетливое и вполне талантливое исполнение ролей. В особенности же г-жи Линская и Снеткова 3-я и г. Самойлов подарили нас минутами действительного и глубокого наслаждения. Даже у г. Бурдина вырвались два-три движения весьма недурных.

Мы слышали, что г-жа Снеткова 3-я совсем оставляет сцену. Это потеря покамест незаменяемая.

«Горькая судьбина». Драма в 4-х действиях А. Писемского Появившись в 1859 году в печати, «Горькая судьбина» произвела на публику очень мало впечатления. Большинство смотрело на нее, по малой мере, как на обмолвку со стороны автора, в котором привыкли видеть одного из талантливых представителей русской беллетристики. Зачем заставил автор двигаться эти фантазмагорические тени? – спрашивали себя недоумевающие читатели, – зачем заставил их выть, скрежетать зубами, наконец совершать убийства? Хотел ли он изобразить, какие на свете бывают уголовные преступления, и с этою целью разжидил и раскрыл на акты и явления краткое известие, почерпнутое из Костромских губернских ведомостей (по-видимому, место действия происходит в Костромской или ближайшей к ней губернии)? хотел ли доказать, что русский мужик грубиян, подобно тому как недавно он того же самого мужика представил в виде пошлого дурака? Хотел ли, наконец, написать нечто в пику г. Григоровичу (который изображал крестьянство с точки зрения благоуханной и которого поэтому барыни называли l'auteur d'Anton[64]), подобно тому, как в недавнее время он же, в пику «Искре», написал целый шеститомный роман? Мы не беремся разрешить эти вопросы, но думаем, что драма написана именно в пику кому-то или чему-то и что другого резона для ее существования нет и не может быть.

Несколько лет эту драму не давали на театре, – вероятно, все собирались с духом, как бы не слишком ошеломить публику, – но наконец-таки решились. Оказалось, что публика осталась к пьесе, поставленной на сцене, точно так же равнодушною, как и к пьесе, некогда погребенной на страницах «Библиотеки для чтения»; оказалось, что в ней нет ни гремучего серебра, ни других разрывающих составов, которые в ней предполагались. Пьеса прошла тихо, не возбуждив ничего, кроме недоумения и тех же самых вопросов, которые слышались при первоначальном появлении ее в печати.

Никто из самых рьяных поклонников Писемского, конечно, не возьмет на себя доказывать, что талант этого писателя симпатичен. В нем прежде всего поражает необыкновенная ограниченность взгляда, крайняя неспособность мысли к обобщениям и замечательная неразвитость. По-видимому, все, что выходит из ряда самой простой, обыденной жизни: умыванья, одеванья, питья, еды и половых влечений, совершенно недоступно ему и возбуждает в нем насмешку и недоверие. Отношения автора к создаваемым им образам и рассказываемым происшествиям имеют характер темный и, так сказать, плотяный. Он удачно ловит внешние признаки и лепит из них фигуры, по большей части довольно выпуклые, но глаза у этих фигур всегда оловянные, а той тонкой струи жизни, которая именно и заставляет выхваченный из действительности образ двигаться, радоваться, страдать и трепетать, здесь нет и в помине. Можно сказать, что г. Писемский относительно героев своих постоянно исправляет роль гробовщика; подобно статуе командора в «Дон-Жуане», эти лица проходят мимо глаз читателя и стучат своими каменными ступнями.

Даже в нашей, насквозь проникнутой реализмом литературе г. Писемский представляет явление крайнее и исключительное: он и в ней стоит особняком, несмотря на то что, с точки зрения внешних признаков, вполне принадлежит ей. Всякий, самый неважный писатель реальной школы, принимаясь за свое дело, знает, что он хочет сказать; в самом ничтожном рассказце этой категории читатель чувствует отношение автора к факту, видит мысль, видит свет. Г-н Писемский положительно не знает, что он хочет сказать и в какие отношения может стать к предмету; он выкладывает перед читателем груды человеческих тел и говорит: вот тела, которые можно было бы назвать мертвыми, если б в них не проявлялось

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru некоторых низшего сорта движений, свойственных, между прочим, и человеческим организмам. Отсутствие идеала выходит полное, мирозерцания никакого, и в результате – страшная духота. Читатель страдает, но совсем не от того, что автор выводит его из состояния бессознательного очарования и заставляет делать посылки от действительности художественной к действительности настоящей, а просто от того, что его вынуждают несколько времени оставаться в злокачественной, зараженной тлением атмосфере. Ясно, что талант, обладающий такими грубыми свойствами, может заявить свою силу только в создании известного рода диковин и что интерес, возбуждаемый этими диковинами, совершенно удовлетворительно объясняется простым чувством любопытства.

Жить в тюрьме еще не значит понимать весь ужас этого положения; быть поставленным в необходимость копать в навозе и нечистотах еще не значит сознавать, что эти нечистоты суть действительно нечистоты и что роль изыскателя в настоящем случае есть роль ненормальная и даже в высшей степени противная. Общественное значение писателя (а какое же и может быть у него иное значение?) в том именно и заключается, чтобы пролить луч света на всякого рода нравственные и умственные неурядицы, чтоб освежить всякого рода духоты веяньем идеала. Каким путем эта цель может быть достигнута – это зависит от интимных свойств каждого отдельного таланта, но дело в том, что писатель, которого сердце не переболело всеми болями того общества, в котором он действует, едва ли может претендовать в литературе на значение выше посредственного и очень скоропреходящего.

Да не подумает, однако ж, читатель, что мы требуем от писателя изображения людей идеальных, соединяющих в себе все возможные добродетели; нет, мы требуем от него совсем не людей идеальных, а требуем идеала. В «Ревизоре», например, никто не покусится искать идеальных людей; тем не менее, однако ж, никто не станет отрицать и присутствия идеала в этой комедии. Зритель выходит из театра совсем не в том спокойном состоянии, в каком он туда пришел; мыслящая сила его возбуждена; обок с запечатлевшимися в его уме живыми образами возникает целый ряд вопросов, которые, в свою очередь, служат исходным пунктом для умственной работы, совершенно особой и самостоятельной. Зритель становится чище и нравственнее совсем не потому, чтобы он вот-вот сейчас пошел да и стал благодетельствовать или раздавать свое имение нищим, а просто потому, что сознательное отношение к действительности уже само по себе представляет высшую нравственность и высшую чистоту. Тут дело совсем не в том, чтобы прописать человеку какой-нибудь буколический рецепт, вроде тех, которые прописываются в каллиграфических прописях и тех противных детских книжонках, которыми московское общество распространения бесполезных книг отравляет наших детей, а в том, чтобы напомнить человеку, что он человек. Все это очень верно, хотя несколько вычурно, изображено самим Гоголем в его «Разъезде», который мы не можем достаточно рекомендовать писателям, упражняющимся, подобно г. Писемскому, на поприще русской беллетристики.

Но, кроме этих внутренних отношений автора к изображаемому им миру, свидетельствующих, так сказать, о степени его личной силы, работа художника предполагает и еще много кой-чего, что также требует, с его стороны, величайшей осмотрительности. Таким образом, например, одна из главных обязанностей художника заключается в устройстве внутреннего мира его героев. Человек есть организм сложный, а потому и внутренний его мир до крайности разнообразен; следовательно, тот писатель, который населит этот мир признаками совершенно однообразными, который исчерпает его одной или немногими нотами, – тот писатель, говорим мы, быть может, нарисует картину очень резкую и даже в известном смысле рельефную, но вместе с тем намерное и безобразную. Нет того человека на свете, который был бы сплошь злодеем или сплошь добродетельным, сплошь трусом или сплошь храбрецом и т. д. У самого плохого индивидуума имеются свои проблески сознания, свои возвраты, свои, быть может, неясные, но тем не менее отнюдь не выдуманные порывания к чему-то такому, что зовется справедливостью и добром. Эта-то нравственная невыдержанность и составляет ту общечеловеческую основу, на которой художественное чувство, с одной стороны, мирится с безобразием известных жизненных типов, а с другой стороны, не допускает себя расплываться в море безразличия и отвлеченностей. Если художник не проникнется этим условием всецело, если он будет видеть в людях носителей ярлыков или представителей известных фирм, то результатом его работы будут не живые люди, а тени или, по меньшей мере, мертвые тела.

Это условие, равно обязательное как в жизни, так и в искусстве, соблюдается г. Писемским лишь в самой слабой степени. Он положительно смотрит на своих героев,

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru как на организмы совершенно простые, и потому неизменно заставляет их тянуть одну и ту же ноту сквозь всю цепь обстоятельств и происшествий, которыми он считает нужным обставить их существование. У него уж если женщина развратна (Софи Ленева), то развратна до конца и не может взирать на мужчину без особенных соображений; если мужчина самец (отец Леновой), то самец до конца. У него Калинович, пройдоха, зараженный грошовым честолюбием, делает всю жизнь те самые пошлости и подлости, которые грошовому честолюбцу делать надлежит; у него Ананий Яковлев... но об нем мы скажем после. Понятно, что честолюбцы выходят картонные, самки и самцы тоже картонные. Из этого очарованного круга хотя он и выходил иногда (и именно в тех произведениях, которыми начал свое писательское поприще), но до крайности редко.

Затем нам остается еще сказать об отношении г. Писемского к народу, или, лучше сказать, к той его части, которая называется простонародьем. Нет ничего удивительного, что для русских писателей эта среда составляет, так сказать, неизвестную землю; во-первых, она до сих пор сама по себе была до крайности замкнута, а во-вторых, большинство писателей наших принадлежит к таким общественным сферам, которые не имеют с народом ничего общего, и потому весьма естественно, что в их отношении к последнему невольным образом вносятся все недоумения и предубеждения, которые так свойственны кастам. Следовательно, здесь представляется обширное поле для всякого рода предположений, и писатель, поставивший себе задачу художественное восстановление народного образа, имеет возможность более, нежели во всяком другом случае, руководствоваться угадываньем или даже и произволом, не опасаясь быть уличенным в лжесвидетельстве. А если мы, сверх того, не забудем принять в соображение, что массы показывают себя только издали и притом исключительно со стороны внешних признаков, которые, вследствие самых условий обстановки, не могут быть особенно привлекательны, то пойдем без труда, что здесь свобода писателя почти всегда сопряжена с ущербом для истины, и притом далеко не в пользу исследуемому предмету. Тем не менее, и за эту свободой кроется известного рода узда, которая не допускает писателя делать слишком широкие размахи пера и удерживает его от искушений, граничащих с клеветой. Узду эту составляет, во-первых, чувство приличия и, во-вторых, известного рода сообразительность, которая и в неизвестном позволяет открывать черты, не противные законам вероятности. Чувство приличия, заставляющее писателя быть осторожным относительно сфер ему неизвестных, слишком понятно, чтобы нужно было много распространяться об нем; что же касается до сообразительности, то это то самое свойство ума человеческого, которое позволяет человеку, с помощью наведения, сравнения, анализа и отвлечения, приближаться к истине даже там, где последняя является неясною. Так, например, в рассматриваемом нами случае сообразительность должна указать, что хотя простонародье и составляет массу темную, но что массу эту составляют индивидуумы совсем не низшей и даже не иной породы, нежели та, к которой мы принадлежим сами, что самая многочисленность этих индивидуумов заставляет предполагать в массе большое разнообразие цветов и теней и что, следовательно, ни в каком случае недозволительно предполагать ее сплошь грубою, нелепою или пьяною. Все, на что мы можем указать в массах достаточно утвердительно, – это на их замкнутость и неразвитость, но эти существенные недостатки не мешают, однако ж, им жить своею оригинальною и притом очень разнообразною и совершенно человеческою жизнью. Вот к каким результатам и предположениям должна привести нас сообразительность, и если мы при этом припомним, что наша собственная жизнь есть не что иное (да и не может быть ничем иным), как продукт той же жизни масс, то необходимость относиться к этой последней со всевозможною осмотрительностью и полным вниманием делается для нас еще более ясною и настоятельною.

В произведениях г. Писемского, особенно же позднейшего, ближайшего к нам времени, такого рода узды совсем не примечается. Чувство приличия является до такой степени поправленным, что можно даже подумать, что автор лично чем-то огорчен. Мужик – грубиян, бахвал, дурак и пьяница, одним словом, мужик, – вот единственное представление, которое оставляют в уме читателя его так называемые народные типы. Выйти из этого порочного круга не помогает ему даже та сообразительность, о которой говорено выше, ибо г. Писемский, как кажется, возмнил себя писателем политическим, а политика, как известно, способствует развитию только страстей и огорчений, но отнюдь не сообразительности. Стоит только припомнить описание крестьянских волнений в последнем романе этого автора, чтобы понять, до каких пагубных последствий может довести недостаток проницательности и привычка останавливаться на одних внешних признаках. Из этого выходит такая ребяческая и смешная безурядица, что читатель решительно мог бы усомниться в существовании здравого смысла на свете, если б не спасало его в

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru этом случае то обстоятельство, что вся смешная и ребяческая сторона этого дела падает исключительно на голову самого автора, а отнюдь не на изображаемый им предмет...

Расскажем, однако ж, содержание самой драмы, подавшей повод к изложенным выше размышлениям.

Первое действие открывается разговором двух баб: Матрены и Спиридоньевны. Из разговора видно, что у Матрены есть дочь, Лизунька, которая находится замужем за крестьянином-питерщиком, Ананием Яковлевым, он же и герой драмы. Этого Анания теперь ждут в побывку домой, но ждут не радостно; оказывается, что Лизавета, в отсутствие мужа, слюбилась с помещиком, Чегловым-Соковиным, с которым прижила ребенка, и что Ананий об этом еще не знает. Наконец Ананий приезжает вместе с женою, которая ездила к нему навстречу, и с пьяненьким мужичонком Никоном, привезшим его на своей лошади. Анания старуха Матрена рисует так: «человек этакой из души гордый, своебышний», «родителю своему покориться не хотел», а «теперь, сам собой раздышамшись, поди, чай, еще выше себя полагает». А Спиридоньевна к этой характеристике прибавляет: «Сказывали тоже наши мужички, как он блюдет себя в Питере: из звания своего никого, почесть, себе и равным не находит... тоже вот в трактир когда придет чайку испить, так который мужичок победней да попростей, с тем, пожалуй, и разговаривать не станет». Мы нарочно привели здесь эту характеристику, потому что в ней, как увидим ниже, заключается вся разгадка несложного характера Анания. Начинается сцена поклонов и целований; Ананий раздает подарки, причем Лизавета и прочие бабы целуют у него руки (драгоценная черта, которую, конечно, не преминет воспользоваться русская этнография). Садятся обедать; Ананий говорит всё умные речи, рассказывает про чугунок, про пар, про машины при употреблении торфа; но рассказывает до того уж умно, что зрителю делается неловко, начинает даже казаться, что тут есть что-то глупое. Никон, как мужичонко пьющий и притом малодушный, разумеется, сразу напивается и начинает хвастаться, как он в молодости тоже в Питер хаживал и как однажды с сорокасаженной вышины свалился; «барин тут сейчас из военных был: приведите, говорит, его, каналью, в чувство; и сейчас привели... он мне два штофа водки дал, я и выпил». Зрителю опять делается как-то неловко и словно совестно, и мы не только понимаем это чувство, но можем даже разъяснить его. Дело в том, что весь этот разговор решительно форменный, что сценическим пейзажам исстари положено говорить таким, а не иным образом. Подобно тому, как французская сцена свято хранит известные сценические предания и передает из поколения в поколение даже жесты и интонацию голоса, наше русское драматическое искусство передает из поколения в поколение стереотипную форму разговора, который должны вести между собою простодушные дети природы. Тут-то обыкновенно полное раздолье всевозможным изобретениям досузей праздности, выражающимся в анекдотах о немце, который «самого дьявола к своему делу приспособил», о русском мужичке, который соскочил с сорокасаженной вышины и не расшибся, и т. д. и т. д. И из-за всех этих противных анекдотов непременно выглядывает личность самого автора, который так и режет в глаза читателю или зрителю: послушайте, дескать, что толкуют эти бедные, глупые люди, и поймите, как я тонко над ними подсмеиваюсь! Слово за слово, речь заходит о том, какое звание выше, торговца или купца; подгулявший Никон начинает городить совершенную бессмыслицу; умный Ананий обижается этой бессмыслицей и, в свою очередь, чем-то оскорбляет Никона. Тогда Никон окончательно раздражается и говорит, что хотя он и мастеровой человек, а уж бабе его не надуть; что у него полна изба ребят, а все его, все Никоньчи; и наконец прямо объявляет Ананию, что он, Ананий, «барский свояк». Ананий узнает горькую истину; наступает момент, который мог бы быть исполнен драматизма, если бы драматический элемент хотя на сколько-нибудь входил в число условий таланта г. Писемского.

По всем требованиям мышления, на этом открытии должна бы была разрешиться развязка всей драмы. Ибо что, в сущности, может составлять содержание драмы вообще? Это содержание может составлять исключительно протест, протест, быть может, и не формулирующийся определенным образом, но явственно выдающийся из самого положения вещей, из того невыносимого противоречия, в котором находится действие или требование, послужившее для драмы основой, с его обстановкою. Есть требования и действия, которые сами по себе не идут вразрез ни указаниям здравого рассудка, ни общим законам человеческой природы, но которые тем не менее, вследствие известных условий общественного развития, признаются незаконными. Сила естественная и (с точки зрения драматурга) разумная, но вследствие разных причин поправная и непризнанная, представляется в борьбе с силою искусственной и (тоже с точки зрения драматурга) неразумною, но, вследствие тех же причин, торжествующею и установившеюся – вот единственный

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru материал, из которого может возникнуть действительное драматическое положение. Но такое содержание неминуемо должно иметь влияние и на самое развитие драмы. Отовсюду окруженное враждебностью и препятствиями, всякое требование такого рода на первых порах невольным образом облекает себя известной таинственностью и, прежде чем придет к мысли о необходимости открытой борьбы с враждебными силами, внутри самого себя испытывает известную борьбу. Эта внутренняя тайная борьба, предшествующая борьбе явной, отнюдь не может быть названа продуктом человеческого малодушия или слабости – это просто законная потребность человеческого духа, в силу которой человек прежде всего ищет ориентироваться и уяснить свое положение. Затем уже следует переход борьбы из тайной в явную, затем развязка, то есть кара, то есть посрамление. Таков обычный и естественный ход драмы. Если она пропустит хотя один из названных выше моментов, то в результате получится впечатление отрывочное и спутанное.

В противоположность такому естественному ходу, г. Писемский начал свою драму именно с конца, то есть взял за исходную точку тот момент, где основа драмы уже совершенно исчерпана. Мы уже не говорим о том, что факту, на котором он построил все свое произведение, не дано никакого развития, что он представляется во всей своей наготе и грубости и что вследствие этого в зрителе возбуждается не интерес, а только смущение, но мы невольно спрашиваем себя, что может автор сказать об этом предмете более того, что уже сказано им в первом акте? Куда может он повести зрителя далее того, до чего он довел его в конце первого акта? Какой ряд насильств изобретет он, чтоб поддержать погасший в зрителе интерес? или же все дальнейшее развитие драмы будет уже представлять ненужную тавтологию, неловкое переливание из пустого в порожнее, свидетельствующее о тяжелой необходимости, чем бы то ни было и во что бы ни стало наполнить остальные четыре акта?

Да; г. Писемский именно находился между этими двумя печальными необходимостями и выбрал из них последнюю. Остальные три действия именно составляют не более как неловкую пришивку к драме, не начинавшейся, но уже совершенно закончившейся в первом акте, и притом пришивку, решительно ничего не поясняющую и не проливающую никакого света ни на характеры, ни на отношения действующих лиц.

Но виноваты: мы еще не досказали содержания конца первого действия. Ананий призывает жену к допросу и, дознавши от нее, что и как, начинает срамить ее. С известной ограниченной точки зрения он прав: он любил Лизавету, по-своему, горячо; он взял ее из бедного семейства, он поссорился из-за нее с отцом, он для нее терпел в Петербурге всякого рода лишения... все это совершенно естественно могло вспомниться ему в эту горькую минуту, и всего этого, для неразвитого его ума, весьма достаточно, чтобы получить право истерзать бедную женщину, оказавшуюся недостаточно твердою в той вере, в которой так тверд сам герой пьесы. А потому мы и не виним г. Писемского за то, что он заставил своего героя разгневаться на Лизавету; мы вовсе не требуем, чтоб он сделал из него Жака или Лопухова; но мы положительно ставим ему в вину, что он не сумел воспользоваться даже теми примирительными элементами, которые сами собой напрашивались под перо его и с помощью которых искаженный образ его героя мог бы быть возведен на степень образа человеческого. Очевидно, наш драматург задался мыслью, что пишет драму оригинальную, русскую и что русский человек никакого душевного движения не может выразить иначе, как посредством ругательства, и вследствие такого решения просто-напросто превратил, на время, душу Анания в лексикон отборных ямских слов. Сцена вышла поистине возмутительная. По наружности Ананий волнуется и находится под влиянием величайшего пароксизма гнева и негодования, но, в сущности, все это беснование есть не что иное, как холодная злость и преднамеренное резонерство, украшаемое выражениями вроде: «шкура ободранная», «криворожая», «шельма бесстыжая», «лукавая bestия» и т. п. В результате дело кончается чем-то вроде сделки, выражающейся в следующих словах Анания: «Одного стыда людского теперь обегаячи, за неволю на себя все примешь, и по крайности для чужих глаз сделать надо, что ничего аки бы этого не было: ребенок, значит, мой, и ты мне пока жена честная! Но ежели что, паче чаяния, у вас повторится с барином, так легче бы тебе... слышишь ли: голос у меня захватывает... легче бы тебе, Лизавета, было не родиться на белый свет!.. Кому другому, а тебе пора знать, что я за человек: ни тебя, ни себя, ни вашего поганого отродья не пощажу, так ты и знай то!.. это мое последнее и великое тебе слово!» Каково само по себе достоинство подобной сделки, и также представляется ли возможность вывести ее оправдание из действительной жизни, – это вопрос покамест посторонний, но дело в том, что на ней, на этой сделке, драма совершенно исчерпывается. Ананий высказывается тут вполне; он является чем-то вроде Жака, но, разумеется, с

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru примесь крепостного права, то есть: за прошлое не взыскивает, но впредь грешить не разрешает. Мораль известная, хотя, при условиях крепостного права, и довольно трудно выполнимая, ибо крепостное право тем-то именно и было характеристично, что оно проявляло себя необыкновенно цельно, резко и определенно и что при подобной обстановке не могло быть места для сделок, а было ли, нет ли место, так или для совершенной приниженности, или для явного и резкого протеста. Но г. Писемский пожелал продолжать драму и тем в миллионный раз доказал, что ежели желание сильно, то его одного достаточно, чтобы заменить всевозможные основания и поводы.

Второе действие застаёт нас в доме помещика Чеглова-Соковина, того самого, который нехитрыми мерами успел обворовать Лизавету. Что это за личность – даже определить невозможно. Из того, что он сидит, потупивши голову, надобно заключить, что он человек слабый, из того, что он говорит вздор, – что он человек глупый, а из того, что между этим вздором прорываются сентенции в катковско-либеральном духе, – что он человек либеральный и если бы дожил до известной крестьянской реформы, то был бы, пожалуй, мировым посредником и удивлял бы Россию своею гуманностью. Тем не менее г. Писемский коснулся всех этих качеств только слегка и предпочел остановиться на четвертом, а именно, он изобразил Чеглова-Соковина человеком пьющим, – свойство души, как известно, тоже очень трогательное. Слабо-глупо-либерально-пьяный помещик беседует с зятем своим, г. Золотиловым (он же предводитель дворянства). Золотилев говорит, что не понимает, «чтоб из-за крестьянки можно было так тревожиться», что от бабы только и услышишь: «Ах ты, мой сердешненький! ах ты, мой милесенький!»; что, наконец, во всем уезде ходят слухи, что Чеглов пьет и что Лизавета поддерживает в нем эту страсть; на это Чеглов-Соковин отвечает (с горькой усмешкой): «Что ж тут непонятного?», откровенно сознается в пристрастии к чарочке (в доказательство чего тут же выпивает рюмку за рюмкой, рюмку за рюмкой), но с негодованием отвергает всякое подстрекательство со стороны Лизаветы к поддержанию в нем этой несчастной привычки и в заключение решительно отказывается перестать тревожиться. Одним словом, происходит один из тех разговоров, какие могут происходить между двумя благородными людьми, из коих один пьяно-либерально-глуп, а другой трезво-консервативно-ограничен. Приходит бурмистр, Калистрат Григорьев, и докладывает барину, что Ананий Яковлев «из Питера сошел», да «уж очень безобразничает», и что Лизавета пришла с жалобой. Тип бурмистра очерчен г. Писемским довольно метко; это именно один из тех пронырливых, в душу пролезающих людей, которыми так обильны были недра крепостного права. По-видимому, слабо-глупо-либерально-пьяный помещик больше с помощью бурмистра и приурочил к себе Лизавету; по крайней мере, мать ее именно так объясняет это дело. Во всяком случае, Калистрат Григорьев составляет лицо вводное, и потому мы на нем останавливаться далее не будем. Лизавета, вопреки сделке, заключившей первый акт, продолжает-таки похаживать к барину; она плачет, жалуется, что ей «очень опасно», что муж третью ночь не спит и все «глядит ей в лицо», и в заключение просит барина поговорить с Ананием лично. Чеглов разводит руками, говорит: «Послушай, не плачь, бога ради», и обещает принять меры. Призывают Анания: барин внушает ему, что связь его с Лизаветой была делом одной любви, что если он, Ананий, оскорблен, то это может очень просто разрешиться дуэлью, но что если он думает сделать жене своей какое-нибудь зло, то сделает это не иначе, как перешагнув через его, Чеглова, труп; затем Чеглов, пошатываясь от слишком частых возлияний Бахусу, уходит. Остаются на сцене Ананий и бурмистр и ругаются, причем последний обещается первому что-то «всучить». На этих ругательствах занавес опускается.

По крайнему нашему разумению, весь этот акт совершенно лишний. Он еще может быть терпим и понятен как отдельная живая картина, но отнюдь не как часть драмы. Все эти новые лица совершенно для драмы не нужны, все происходящее между ними разговоры не имеют с драмою ни малейшей связи, по крайней мере той связи, которая называется живою и органическою и которая в картине более или менее цельной одна только и может служить законным оправданием для введения тех или других подробностей. Правда, что личность Лизаветы, в первом акте очень сбита и спутанная, здесь несколько выясняется, но это выяснение такого рода, что, пожалуй, лучше бы, если б его не было вовсе. Зритель хочет узнать мотивы, из которых вытекла несчастная страсть, он думает понять и объяснить их себе, надеется, наконец, набрести на что-нибудь человеческое, уловить хоть какой-нибудь луч, который вывел бы его из тюрьмы на свет вольный, и, к полному своему разочарованию, вынуждается автором (впрочем, помимо воли последнего) остановиться на том предположении, что вся эта драма есть не что иное, как дело рук Калистрата Григорьева. И невольным образом выражения «шкура ободранная»,

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru «псовка» и т. д., которыми так изобилует первый акт, остаются единственным мериллом для определения этой загадочной личности.

В третьем акте Ананий Яковлев, все еще не решаясь на крайность (он только бил жену, но это, как известно, еще не составляет крайности), уговаривает Лизавету «образумиться», жить, как «прочие добрые люди», но бабу, очевидно, обуял сам сатана, потому что она на все ласковые и разумные слова мужа отвечает бессмысленною брехотнею. Во время этих переговоров является бурмистр с выборными и объявляет Ананию господскую волю взять от него Лизавету и с ребенком. Выборные скроены по известной мерке; они говорят всякий невнятный вздор и сплошь оказываются дураками, подлецами и трусами. Лизавета уже готова идти за бурмистром и уходит только за перегородку, чтобы взять ребенка, но Ананий бежит вслед за нею. Через мгновение раздается вопль и слышится голос Лизаветы: «Батюшки! убил младенца-то!» Ананий выбивает окно и убегает.

В этом акте есть действительно нечто похожее на драматическое движение, и характер Анания Яковлева получает, по временам, оттенки довольно человеческие. Но и здесь хорошие проблески совершенно утопают в куче разного ругательного мусора и бессмысленной, ничем не мотивированной Лизаветиной брехни. Во всяком случае, этот акт лучший и единственный, который вызывает в зрителе нечто похожее на мысль, хоть бы о том, что бывают же на свете такие разудивительные положения (оба положения здесь равно доказательны: и Лизаветы и Анания), что человек какою-то сверхъестественною силой устраняется от участия в своей собственной судьбе. Правда, что г. Писемский вводит зрителя в это положение путем чисто уголовным, но, судя по той закладке, которая положена в первых двух актах, мы и на это не имели права рассчитывать, а просто думали, что дело кончится тем, что Ананий кого ни на есть разразит, и разразит именно тем хладно-резонерским способом, к которому он так охотно прибегает в первом акте. Ну, а тут выходит, что убийство-то совершается словно как бы между делом. Стало быть, и на этом спасибо.

Третьим же актом второй раз оканчивается драма, потому что четвертое действие прибавлено единственно с целью выставить франта-чиновника из «новеньких», из сил выбивающегося, чтоб открыть в деле истину, и ограничивающего свое усердие разными пошлостями и гадостями. Тип этот нарисован широкой рукой, но увы! не мастерской; он носит на себе обычные недостатки манеры г. Писемского – крайнее однообразие тонов и происходящую отсюда утрировку. Ананий Яковлев добровольно является из бегов; следователь сажает его в острог; происходит сцена прощанья: бабы воют (Лизавета делает это почти в продолжение всего четвертого акта); занавес опускается в последний раз.

Таково содержание этой новой на сцене и не новой в печати драмы г. Писемского. Мы рассказали его со всеми подробностями, без всяких ужимок, которые могли бы подать повод к обвинению в преднамеренном искажении мысли автора. Содержание оказывается скудное, мотивы для драмы – ничтожные, развития драматического нет вовсе, характеры действующих лиц однообразны и монотонны, и притом вылеплены на скорую руку и из самого грубого материала. Одним словом, драма, не заключая в себе никаких элементов, из которых могла бы родиться действительная драматическая коллизия, не имеет никакой разумной причины существования, кроме воли автора.

Понятно, что даже наша снисходительная публика, строгими мерами приученная терпеливо выносить разных «Неровней» да «Бедных племянниц», – и та пришла в какое-то недоумение от произведения г. Писемского и отнеслась к нему если не враждебно, то, во всяком случае, совершенно равнодушно...

Но есть в этом произведении еще одна сторона, которой мы до сих пор не касались, – это именно его так называемый реализм.

Русская публика видит в г. Писемском одного из самых сильных представителей реального направления в русской литературе и, между прочим, к числу произведений, порожденных этим направлением, относит и «Горькую судьбину». Что реализм есть действительно господствующее направление в нашей литературе – это совершенно справедливо. Она, эта бедная русская литература, столько времени питалась разными чуждыми, фальшивыми, отчасти даже и нечистыми соками, что время отрезвления настало наконец и для нее. Действуя под влиянием какого-то одуряющего чада, живя чужими страданиями, более напускными болями, литература не могла не ужаснуться своей собственной пустоты и, убедившись в ней, весьма

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru естественно пожелала освежиться. Попытки в этом смысле делались постоянно от времени до времени, но решительным образом освежение это начато Гоголем и с тех пор продолжается непрерывно. Гоголь положительно должен быть признан родоначальником этого нового, реального направления русской литературы; к нему, волею-неволею, примыкают все позднейшие писатели, какой бы оттенок ни представляли собой их произведения. Исключения в этом случае представляют лишь такие гениальные писатели, как Д. В. Григорович и П. И. Мельников, из коих первый доселе питается французским мирозерцанием, а последний – татарским. Но дело в том, что мы иногда ошибочно понимаем тот смысл, который заключается в слове «реализм», и охотно соединяем с ним понятие о чем-то вроде грубого, механического списыванья с натуры, подобно тому как многие с понятием о материализме соединяют понятие о всякого рода физической сытости.

Это, однако ж, не так. Мы замечаем, что произведения реальной школы нам нравятся, возбуждают в нас участие, трогают нас и потрясают, и это одно уже служит достаточным доказательством, что в них есть нечто большее, нежели простое умение копировать. И действительно, ум человеческий с трудом удовлетворяется одною голою передачей внешних признаков; он останавливается на этих признаках только случайно, и притом лишь на самое короткое время. Везде, даже в самой ничтожной подробности, он допытывается того интимного смысла, той внутренней жизни, которые одни только и могут дать факту действительное значение и силу. Очевидно, что если б реализм не отвечал этой потребности, то он ни под каким видом не мог бы войти в искусство как основной и преобладающий его элемент.

И в самом деле, истинный реализм не только не потворствует исключительности и односторонности, но даже положительно враждебен им. Таким образом, имея в виду человека и дела его, он берет его со всеми его определениями, ибо все эти определения равно реальны, то есть равно законны и равно необходимы для объяснения человеческой личности. Обращаться с ними грубо, выставлять напоказ только те из них, которые сами по себе выдаются наиболее резко, он не имеет права, под опасением впасть в противоречие с самим собою, под опасением оказаться совершенно несостоятельным перед тем делом, которое, собственно, и составляет его задачу. Точно таким же образом, приступая к воспроизведению какого-либо факта, реализм не имеет права ни обойти молчанием его прошлое, ни отказаться от исследования (быть может, и гадательного, но тем не менее вполне естественного и необходимого) будущих судеб его, ибо это прошедшее и будущее хотя и закрыты для невооруженного глаза, но тем не менее совершенно настолько же реальны, как и настоящее. Конечно, очерчивая таким образом значение реализма в искусстве, мы очень хорошо понимаем, что рисуем идеал очень трудно достижимый, но дело не в том, в какой степени легко или трудно достается та или другая задача искусства, а в том, чтобы отыскать мерило, которое дало бы нам возможность с большею или меньшею безошибочностью обращаться с произведениями человеческой мысли, и отдавать себе отчет в том впечатлении, которое они на нас производят.

В смысле всего изложенного выше г. Писемский является реалистом весьма сомнительным, а рассматриваемая его драма едва ли может удовлетворять требованиям строгой критики. Выведенные в ней лица не только не имеют в себе никаких задатков действительной жизненности, но скорее напоминают собой деревянные фигуры, к которым прибиты ярлыки с надписями: «бахвальство», «тупоумие», «пронырливость», «пагубная страсть к пьянству» и т. д. Самый язык является верным только со стороны внешних признаков, но ни силы, ни меткости, ни юмору, ни поэзии (какими, например, отличается язык простого русского человека в комедиях Островского, в рассказах Тургенева, Слепцова и друг.) в нем не найдется и следа. Поэтому г. Писемский совершенно напрасно причисляется к сонму реалистов. В произведениях его проглядывает какой-то темный саддукеизм – и ничего более.

В заключение скажем несколько слов об исполнении пьесы на петербургской сцене. Положение актеров, а в особенности исполнителя роли Анания Яковлева, довольно тяжелое. В продолжение четырех актов тянуть все одну и ту же ноту, и притом ноту грубую и фальшивую, в продолжение целой пьесы не играть, а все, так сказать, приготовляться к игре – как хотите, а это ремесло совершенно несносное. Поэтому игры, собственно, никакой и не было, а было точное и неуклонное исполнение обязанностей. Г-н Васильев 2-й (Ананий Яковлев) отчеканивал свои ругательства в самом лучшем виде и говорил каким-то неестественным басом, г-жа Петрова (Лизавета) мучительно выла; прочие подругивались и подвывали с полным усердием. Неслышанные ругательства и бессмысленное вытье оглашали сцену в продолжение трех

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru часов сряду, и зритель, вместо живого образа, вместо мысли, уносил из театра довольно значительный запас бранных, но неострых слов.

«Наяда и рыбак». Фантастический балет в трех действиях и пяти картинах
Соч. Ж. Перро; музыка Г. Пуни

Нет сомнения, что самую характеристическую черту современного искусства составляет стремление его к реализму. Искусство начинает сознавать, что, отрешенное от жизни, гадливо вззирающее на ее подробности (как на что-то деловое, прозаическое и, следовательно, не входящее в область поэзии), оно не может обстоятельно выполнить даже ту задачу, выполнение которой издревле считалось первейшей и священнейшей его обязанностью: не может возбуждать благородных чувств. Значение и характер «благородных чувств» странным образом изменились. По мнению Павла и Николая Кирсановых (да простит мне Г. Тургенев, что я, быть может, слишком часто ссылаюсь на этих милых, но выдохшихся старичков), благородство чувств заключается в рыцарски вежливом обращении с дамами; по мнению Базарова, «благородство чувств» ни в чем не заключается. Есть третьи, которые думают, что «благородство чувств» есть такая рубрика, которую можно оставить с пользой и под которою следует разуметь ряд полезных, добропорядочных и целесообразных действий. Быть может (да и наверное), есть еще четвертые, пятые, десятые и т. д., которые и еще кой-что разумеют под «благородством чувств» и, конечно, находят, что правы они, а не братья Кирсановы и не Базаров. И таким образом выходит, что для того чтобы выказать себя «благородными», Кирсановы играют на виолончели, говорят об «даже», купаются в душистых ваннах и вообще предъявляют «благородные манеры», очень наивно принимая их за «благородные чувства»; для этой же цели Базаров режет лягушек; для этой же цели третьи, не отрицая игры на виолончели, отдают свое время преимущественно полезным и добропорядочным делам. Но во всяком случае, ни те, ни другие, ни третьи не суть люди, лишенные прав состояния, а потому имеют право пользоваться своими понятиями о «благородстве чувств» по усмотрению и без всякого со стороны начальства помешательства.

Но искусство не частный человек и потому на задачи свои смотреть «по усмотрению» не может, под опасением действительного лишения за это прав состояния. Оно и радо бы, например, век свой идти рядышком с братьями Кирсановыми, но не смеет, ибо знает, что эти чистенькие, но выжившие из ума старички не поддержат его. Пискнет искусство по старой привычке, в лице какого-нибудь запоздалого шутника-поэта, песенку о вежливом отношении к природе, к Аглаям и Хлоям, ее населяющим, да так и останется при своем писке: никто не ответит на него, даже Кирсановы застыдятся. А какая причина такого явления? А причина та, что ниву человеческую со всех сторон загромождали мужики, а братья Кирсановы так-таки и затонули в этом мужицком приливе. Мужики говорят искусству: смотри! стань на эту точку, да на этой линии и вертись! а братья Кирсановы молчат и только исподтишка презрительно улыбаются, но до того уж исподтишка, что никто, даже само искусство, этих их презрительных улыбок не замечает.

Впрочем, на первых порах искусство еще возражает. «Позвольте, господа! – говорит оно мужикам, – я согласно стать на почву реальную (еще бы!), но ведь я все-таки искусство, и потому мои реальные основы общечеловеческие!» И затем начинает доказывать, что «благородные чувства», хотя и не имеют права отрываться от действительности, тем не менее все-таки должны носить характер общечеловеческий и в этом смысле оставаться до некоторой степени безразличными. Одним словом, что «благородство чувств» все-таки должно быть «благородством чувств» – и ничем более. Но мужики, несмотря на свое невежество, очень сообразительны. Они говорят искусству: «Погоди! хотя ты и правду говоришь, но ты врешь! Это правда, что искусство, как и всякая другая истина, должно опираться на общечеловеческие основы. Но ведь эти общечеловеческие основы надобно еще отыскать, а для того, чтобы их отыскать, нужно, между прочим, принять в счет и нас, мужиков, – потому что только тогда эта основа будет невыдуманная и только тогда ты, искусство, не впадешь в то бесстыдное вранье, которому ты до сего времени предавался!»

Одним словом, мужики ответили искусству точь-в-точь то же самое, что они же в свое время отвечали ловким политико-экономам и администраторам, которые предлагали им готовые, свежее испеченные экономические и административные теории... pour leur bien. [65]

А так как мужики все-таки сила, то искусство послушаться их не осмелилось и приступило к «возбуждению благородных чувств» совсем на другой манер, нежели прежде. Оно обуздало себя, временно ограничило свои цели, специализировалось и

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru перестало действовать подобно тем детям-сочинителям, которые преимущественно стремятся к изображению таких впечатлений и чувств, о каких даже приблизительно понятия не имеют. Не теряя из вида основ общечеловеческих (без всякого спора, составляющих конечную его цель), искусство приняло характер национальный, обратило свое исключительное внимание на воспроизведение той особенной жизни, которая ближе всего находится у него под руками.

Один балет благополучно избежал этого общего переворота, и не только у нас в России избежал, но и вообще в целом образованном мире. Можно сказать утвердительно, что европейский балет находится в состоянии еще более младенческом, нежели, например, поэзия гг. Майкова, Фета и проч. В произведениях этих, доселе еще привилегированных русских поэтов все-таки замечается некоторое стремление выйти на реальную почву, некоторые попытки пройтись хоть по части «благоденствующего» русского мужичка, некоторый стыд, наконец... а в балете даже и стыда нет. И до сих пор он с непостижимым нахальством выступает вперед с своими «духами долин», с своими «наядами», «метеорами» и прочую нечистую силой. Все это до такой степени противно и нестерпимо, что положение балетного посетителя можно сравнить разве с положением человека, внезапно очутившегося в обществе полоумных спиритистов или вынужденного читать журнал «Эпоха» и следить за полетом «стрижей». Он видит, что перед ним выделяются всевозможные па, раскрываются таинственные раковины, поднимаются ноги, двигаются цветы, отворяются и затворяются трапы, он сознает, что все это самое непробудное невежество, самая беспардонная гиль – и остается подавленным – именно громадностью этого невежества и гили. Судите, например, возможно ли относиться равнодушно к следующей пошлости, представляемой на петербургском Большом театре под названием «Наяда и рыбаки»?

Действие происходит неизвестно где; перед глазами зрителей берег моря и толпа поселян и поселянок. И те и другие очень мило одеты, хотя обнаженные (обтянутые трико далеко не безукоризненной чистоты) их ноги свидетельствуют, что по временам им должно быть довольно холодно. Поселяне и поселянки пляшут. Зачем пляшут? Пляшут потому, что починивают сети; пляшут потому, что вытаскивают сети из моря; пляшут потому, что они поселяне и в этом качестве должны плясать... Приходит Джианина, делает несколько курбетов и этим выражает, что ждет жениха, который наконец и является. Маттео, с своей стороны, вертится на одной ножке и этим выражает, что сегодня назначен сговор с Джианиной. Все уходит. Маттео остается один, и вдруг в глубине сцены что-то разевается: это раковина, из которой выходит Ундина. Ундина также делает множество курбетов, которые должны выражать, что она влюблена в Маттео. Надо сказать правду: Ундина, изображаемая г. Муравьевой, очень мила, и надо удивляться, что Маттео может хотя на минуту колебаться, чтоб не предложить ей руку и сердце. Все возвращаются и опять ни с того ни с сего начинают плясать; к этой пляске присоединяется и Ундина, которая, по выражению балетной программы, «как бы каким-то чудом» появляется между танцующими группами. Потом Ундина бросается в воду, потом (опять как бы каким-то чудом) появляется на вершине скалы. Зрители не понимают, но аплодируют.

Картина переменяется; декорация представляет рыбацью хижину, в которой размахивают руками и ногами: Джианина, Маттео и мать его, Тереза. Джианина делает несколько курбетов, что означает: «Милый! о чем ты задумался?» Маттео тоже делает несколько курбетов, что означает, что ему тошно. Вдруг отворяется окно, и в хижину влетает Ундина. Начинаются прыжки и курбеты – Ундина исчезает; Джианина и Маттео становятся на колени.

Картина переменяется. «Молодые, прекрасные наяды, вышед из воды, играют и резвятся на прибрежном песке, подражая телодвижениями плавному течению и струям родной стихии» (так гласит программа). Появляется Гидрола (и откуда г. Сен-Леон таких имен набрал!), «легкая и стройная царица наяд». Она машет руками в знак того, что нечто повелевает. Опять прыжки, и опять Ундина. Она становится на носки, переходит на носках всю сцену, и это означает, что она «любит Маттео». Все пляшут. Приходит Маттео, вертится на одной ножке и, как алебастровый кот, мотает головой – это значит, что он «с упоением прислушивается к песне соловья». Он рвет цветы: сорвет один – отставит ногу и прижмет руку к сердцу, сорвет другой – отставит ногу и прижмет руку к сердцу. Пот льет с него градом, ибо непрерывно отставлять ногу утомительно; белила и румяны ползут с его лица, на котором обнажаются старческие морщины. Вдруг со всех сторон налетают наяды и между ними Ундина, которая во что бы то ни стало хочет отнять у Маттео букет цветов, нарванный им для Джианины. Происходит танец, который г-жа Муравьева исполняет с надлежащим усердием, а затем является «веселая толпа рыбаков»,

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru которая и уводит Маттео.

Картина переменяется. Брачный пир на дворе деревенского трактира. Пляшут... Но здесь действие до такой степени спутывается и перепутывается, что следить за ним нет возможности. То есть, собственно, действия даже нет совсем, а есть непрерывные, бессмысленные появления и исчезновения. Дело кончается тем, что Ундина все-таки увлекает Маттео, который и бросается вслед за нею в озеро. Все пляшут.

Вот содержание балета. Конечно, я рассказал его не во всех подробностях, но смысл передан верно. Скажите на милость: о чем эти картонные куклы печалются, чему они радуются, зачем пляшут, с какого повода приходят и уходят? Cur? quomodo? quando? quibus auxiliis?[66] ни на один из этих вопросов не ответит ни один из самых заматерелых философов, кроме, быть может, г. Юркевича. Почему няяды принимают участие в жизни человека, какого рода это участие, до какой степени это справедливо, почему именно няяды, а не лешахи?... Замечательно, что ни один из зрителей не задает себе подобного вопроса, замечательно, что зала театра всегда полна, замечательно, что ни один из присутствующих не отвернется с омерзением от всей этой галиматши...

Стало быть, эта галиматши нужна, стало быть, она как раз в меру нашего роста. Конечно, мне могут сказать, что в деле привлечения зрителя к подобным зрелищам не последнюю роль играет поднятие ног, обнажение плеч и прочие более или менее возбуждающие балетные ингредиенты. Но в таком случае будем же откровенны: будемте услаждать наши взоры (если уже для этого необходимо поднятие ног), но зачем же искажать нашу мысль? зачем засорять наше и без того уже засоренное воображение еще новыми сплетнями разнузданной спиритуалистическо-трансцендентальной фантазии?

Знаю, что балет, как и спиритизм, как и философские упражнения г. Юркевича, как и бездонное словоизвержение «Московских ведомостей», есть в некотором роде «средство». Знаю я это, милостивые государи, знаю! Но если уже необходимо, в видах отвлечения, устремлять человеческое внимание на поднятие ног, то нельзя ли устроить это последнее по поводу несколько менее бессмысленному, ближе подходящему к нашим существенным интересам?

Я полагаю, что можно, ибо поднимать ноги отнюдь не возбраняется по какому угодно поводу. Проникнутый этой истиной, я счел за надобное подкрепить мою мысль ясным и для всех очевидным доказательством, то есть сочинил программу балета, которая, по моему мнению, должна удовлетворить всем требованиям. Лыщу себя надеждою, что представители Санкт-Петербургских театральных искусств не только не посетуют на меня за мой труд, но, напротив того, поспешат воспользоваться им и поставят балет моего сочинения на сцену с великолепием, вполне соответствующим его достоинству.

Вот моя программа:

МНИМЫЕ ВРАГИ,

или

ВРИ И НЕ ОПАСАЙСЯ!

Современно-отечественно-фантастический балет в 3-х действиях и 4-х картинах. Соч. хроникера «Современника»; музыка соч. г. Серова; машины и полеты гг. Юркевича, Косицы и Ф. М. Достоевского; костюмы того самого портного, который, взамен полистной платы, одевает сотрудников «Эпохи».

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Отечественно-консервативная сила, скрывающаяся под именем Ивана Ивановича Давилова. Иван Иванович Обиралов

Иван Иванович Дантист } наперсники и друзья Давилова.

Отечественный либерализм, скрывающийся под именем Ивана Александровича Хлестакова. Пасынок Давилова.

Анна Ивановна Взятка, женщина уже в годах, но вечно юная; напрасно полагает себя вдовою.

Аннета Потихоньку–Постепенная, молодая женщина; напрасно полагает себя девицей.
Лганье

Вранье

Излишняя любознательность

Чепуха } Отчественно–анакреонтические фигуры.

Эпохино семейство

Мужики. Полицейские, солдаты. Внутренняя стража. Стрижи.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

КАРТИНА I

Обширная комната в городе Глупове. Посредине стоит стол, покрытый серым сукном. На столе беспорядочно валяются кипы бумаг.

I

Толпа мужиков, около которых суетятся и исполняют свое дело Обиралов и Дантист. Мужики с радостью развязывают кошельки и подставляют шеи. Давилов сидит у стола, погруженный в чтение бумаг. Он думает: «Сегодня придет моя милая Взятка, и мы соединимся с нею навеки; мы пойдем в Большой московский трактир и там славно закусим и выпьем!»

II

Внезапно чернильница, стоящая на столе, разбивается вдребезги, и из нее вылетает Аннета Потихоньку–Постепенная. Она стоит некоторое время на одной ножке, потом с очаровательною грацией ударяет пальчиком Давилова по лысине. Давилов в изумлении простирает руки, как бы желая поймать чародейку. «Кто ты, странное существо, и какое зло сделала тебе эта бедная чернильница, за которое ты так безжалостно разбила ее?» Но Аннета смотрит на него с грустною и в то же время кокетливою улыбкою. «Пойми!» – говорит она и исчезает тем же путем, каким появилась. Чернильница появляется на столе снова и в прежнем виде. Давилов хочет устремиться за очаровательницею, но вместо того попадает пальцем в чернильницу. «Пойми!» – повторяет он в раздумье. «Что хотела она сказать этим «пойми»?

III

Между тем Обиралов уже выпотрошил мужиков, а Дантист обратил в пепел множество зубов. Обиралов легким прикосновением руки выводит Давилова из раздумья. Но Давилов долго еще не может прийти в себя и, беспрестанно повторяя: «пойми!», устремляется к тому месту, где скрылась очаровательница, но снова попадает пальцем в чернильницу. В это время из рук Обиралова внезапно выпархивает Взятка и разом овладевает всеми помыслами Давилова. Происходит

Танец Взятки

Взятка порхает по сцене и легкими, грациозными скачками дает понять, что сделает счастливым того, кто будет ее обладателем. Она почти не одета, но это придает еще более прелести ее соблазнительным движениям. Давилов совершенно забывает о недавней незнакомке и с юношескою страстью устремляется к новой очаровательнице. Он старается уловить ее; движения его порывисты и торопливы; ловкость поистине изумительна. Но Взятка кокетничает и не дается; вот-вот прикасается он к ее талии, как она ловко выскользает из его рук и вновь быстро кружится в бешеной пляске. Наконец, утомленная и тронутая мольбами своего любовника, она постепенно ослабевает... ослабевает... и тихо исчезает в карман Давилова. Обиралов и Дантист, умиленные, стоят в почтительном отдалении и слегка подтанцовывают.

IV

Мужики, видя, что сердце начальников радуется, сами начинают приходить в восторг и выражают его благодарными телодвижениями, которые постепенно переходят в

Большой танец Лаптей

В танце этом принимают участие: Давилов, Обиралов и Дантист.

V

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
«Спасибо, друзья!» – говорит Давилов мужикам и обещает им дать на водку, когда будут деньги. Затем обращается к Обиралову и Дантисту и говорит: «Друзья! вы лихо поработали сегодня! Теперь пойдете в Большой московский трактир и там славно закусим и выпьем!» Он уже застегивает вицмундир и хочет взяться за шляпу, как чернильница вновь разлетается вдребезги, и на столе опять появляется Аннета Потихоньку-Постепенная. Она по-прежнему стоит на одной ножке, но вид ее строг. «Слушай! – говорит она Давилону, – я предупреждала тебя, но ты не внял словам моим и продолжал безобразничать с паскудной Взяткою. Итак, буду ясна: вызови немедленно из заточения твоего пасынка, Ивана Александрыча Хлестакова, – или... ты погибнешь». Сказавши это, Аннета исчезает, оставляя всех присутствующих в ужасе и стоящими на одной ноге. Картина.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

КАРИНА II

Пустынное местоположение. Болото, по коему произрастают тощие сосны. В глубине сцены секретная хижина. На соснах заливаются стрижи:

Сироты ли мы, ах, сиротушки!
Забубенные мы, ах, головушки!
А и нет у нас отца с матушкой!
А и есть у нас только детушки!
А и первой-ет сын несмысленочек,
А второй-ет сын да дурашливый,
А и треть-ет сын – хуже первого,
А четвертой сын – хуже третьего,
А и пятой сын – самой жалконький,
Самой жалконький, вовсе гнусенький,
И проч. и проч.

I

Из самой глубины трясины появляются три отечественно-анакреонтические фигуры: Лганье, Вранье и Излишняя любознательность. Некоторое время они как бы не узнают друг друга, но через минуту недоразумение исчезает и друзья целуются. Начинается совещание. «Я буду лгать умышленно!» – говорит Лганье. «А я буду врать что попало!» – говорит Вранье. «И будет хорошо?» – «И будет хорошо». – «А я буду подслушивать», – скромно отзывается Излишняя любознательность. Лганье и Вранье останавливаются, пораженные находчивостью своей подруги, и с некоторою завистью смотрят на нее. «Вы будете мне помогать, будете, так сказать, популяризировать меня», – еще скромнее прибавляет Излишняя любознательность и эту приветливостью возвращает на лица собеседниц беспечное выражение. «Не станцевать ли нам что-нибудь, покуда не пришел наш добрый друг и начальник Иван Александрыч?» – предлагает Вранье. «Пожалуй, – соглашается Лганье, – но где он так долго пропадает, бедненький?» – «Внимайте! я поведаю вам ужасную тайну», – отвечает Излишняя любознательность.

II

Начинается

Секретный танец Излишней любознательности

«Прошлую ночь, – так танцует она, – я, по обыкновению своему, тихо-тихо, скромно-скромно, чутко-чутко последовала за ним. Все покровительствовало мне: и испарения, поднимающиеся от нашей трясины, и отсутствие луны, и тихое, усыпляющее щебетание стрижей. Однако я шла и озиралась: что, думала я, если меня поймают! Что сделают со мной? закатают ли до смерти или просто ограничатся одним шлепком?

Однако я шла, готовая вынести побои и даже самую смерть... и что же? На верху неприступной скалы я увидела чертог, весь залитой светом! Тихо-тихо, скромно-скромно, чутко-чутко приложила я глаза и уши к скважине... и что же? я увидела нашего Ивана Александрыча, который, вместо того чтобы стоять на страже, покоился в объятиях девицы Потихоньку-Постепенной!»

III

Протанцевав все вышеизложенное, Излишняя любознательность вдруг останавливается. Она догадывается, что сделала дело совершенно бесполезное и даже глупое, что Иван Александрыч ее друг и руководитель и что, следовательно, подсматривать за ним нет никакой надобности. «Зачем я подслушивала! зачем подглядывала!» – говорит она и в негодовании на свой собственный поступок высоко поднимает одну

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru ногу.

IV

«Теперь слушайте же и меня!» – говорит Лганье и начинает

Танец Лганья

«Я тоже внимательно следило за нашим другом и покровителем Иваном Александрычем и, видя его грустным, от всей души соболезновало. Однажды, узрев его гуляющим на берегу нашей трясины, я не вытерпело и подошло к нему. «Покровитель! – сказало я, – отчего так грустен твой вид?» – «Мой верный слуга! – отвечал он мне, – я грущу, потому что оказываюсь неблагодарным. Я достойно наградил всех моих слуг: ни Излишняя любознательность, ни Вранье не могут жаловаться на мою расчетливость... одно ты, бедное Лганье, осталось без награды! Но я надеюсь поправить это. Бог даст, с твоею помощью, успею вконец оболгать любезное отечество, и тогда...» Он умолк, но я поняло его мысль и не могло не облизнуться!»

V

Протанцевав вышеизложенное, Лганье останавливается в недоумении, ибо догадывается, что лгало своим и о своих же и, следовательно, лгало напрасно. «Зачем я лгало?» – с грустью спрашивает оно себя и в негодовании высоко поднимает одну ногу.

VI

«Нет, послушайте-ка вы меня!» – вступает, в свою очередь, Вранье и вслед за тем начинает

Танец Вранья

«На днях я встретило нашего милого Ивана Александрыча в самом оригинальном положении: он лежал животом кверху на берегу нашей трясины и грелся на солнце. «Что ты, топ чер, тут делаешь? – спросило я его (ведь вы знаете: я с ним на ты), – и что означает эта оригинальная поза?» – «Молчи! – отвечал он мне, – я сочиняю либеральные учреждения! Ты знаешь, – продолжал он после краткого молчания, отерев слезы, струившиеся из его глаз, – ты знаешь, друг, что я сделался главноуправляющим отечественной благонамеренности... и... и...» Тут он вновь залился слезами, и сквозь всхлипыванья я могло разобрать только следующее: «До тех пор не успокоюсь, покуда не переломаяю все ребра!»

VII

Протанцевав это, Вранье спохватывается, что оно врало своим и о своих же и, следовательно, совершило бесполезный подвиг. В унынии оно высоко, поднимает одну ногу.

VIII

Таким образом, все трое стоят некоторое время, каждый с одной поднятой ногою. Все трое телодвижениями выражают:

Зачем я { Подслушивала?

Лгало?

Врало?

В глубине сцены является Чепуха. Быстрым и смелым скачком она перелетает всю сцену и становится между упомянутыми тремя анакреонтическими фигурами. «Вы потому совершили столько ненужных подвигов, – говорит она, – что с вами была я!» Начинается

Большой танец Чепухи

«До тех пор, – танцует она, – покуда я буду с вами, вы не будете иметь возможности ни подслушивать, ни лгать, ни врать безнаказанно. Все ваши усилия в этом смысле будут напрасны, потому что всякий, даже не учившийся в семинарии, разгадает их! Вы будете подслушивать, лгать и врать без системы, единственно для препровождения времени. Всякий, встретившись с вами, скажет себе: будем осторожны, ибо вот это – излишняя любознательность, вот это – постыдное лганье, а это – безмозглое вранье! Вы думали, что уже эмансипировались от меня, – и горько ошиблись, потому что владычество мое далеко не кончилось! Вы не уйдете от меня нигде, не скроетесь даже в эту трясины; везде я застигну вас и буду

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru руководящим началом всех ваших действий! Вы спросите, быть может, зачем я это делаю?..»

IX

Чепуха останавливается и в недоумении спрашивает себя: зачем, в самом деле, она так делает? В ответ на этот вопрос она высоко поднимает ногу. Начинается

Танец Четырех поднятых ног,
который прерывается

Чрезвычайным полетом стрижей,
как бы возвещающим прибытие некоторых важных незнакомцев. Незнакомцы эти суть не кто иные, как Давилов и Хлестаков. Они проходят с поникшими головами через сцену и скрываются в секретную хижину. Стрижи свищут: «Вот они! вот наши благодетели!»

210

КАРТИНА III

Внутренность секретной хижины.

I

Давилов и Хлестаков предаются воспоминаниям. Оба растроганы. «Сколько лет я томился в изгнании! – говорит Хлестаков, – оторванный жестоким вотчимом от чрева любимой матери, я скитался по этим пустынным местам, но и среди уединения посвящал свои досуги любезному отечеству!» – «Прости меня, мой друг! – отвечает Давилов, – ведь я думал, что ты либерал!» – «Как «либерал»? но теперь, в сию минуту, разве я не либерал?» – «Кхе-кхе!» – делает Давилов. «Так позвольте вам сказать, милый папенька, что вы не понимаете нашего отечественного либерализма!» Сказавши эти слова, Хлестаков дает знать музыке умолкнуть, а стрижам повелевает свистать. Начинается

Большой танец Отечественного либерализма

«Что такое отечественный либерализм? Это нечто тонкое, легкое, неуловимое, как то па, которое я выделяю. Это шалунья-нимфа, на которую можно смотреть издали, как она купается в струях журчащего ручейка, но изловить которую невозможно. Это волшебный букет цветов, который удаляется от вашего носа по мере того, как вы приближаетесь, чтобы понюхать его. Это милая мечта, которая сулит впереди множество самых разнообразных яств, в действительности же кормит одну постепенностью. Это тот самый кукиш, которого присутствие вы чувствуете между вторым и третьим пальцами вашей руки, но который уловить все-таки ни под каким видом не можете! Поймите, какая это умная и подходящая штука! Как она угодна нашим нравам и как мы должны гордиться ею! Мы ничего не выдумали – даже пороха! – но выдумали «либерализм» и сразу стяжали вечное право на бессмертие! Жгучий и пламенный с виду, он не жжет никого, но многим позволяет греть около себя руки. Грозный с виду, он никого не устрашает, но многим подает утешение. Всякий ждет, всякий заранее проливает слезы умиления – и никто ничего не получает. И опять все-таки ждет, и опять проливает слезы умиления, ибо ждать и проливать слезы – есть удел человека в сей юдоли плача!»

Хлестаков падает в изнеможении на пол.

Большая трель Стрижей

II

«Гм... я убеждаюсь, что ты совершеннейшая... то есть что ты благороднейший человек, хотел я сказать, – говорит Давилов, – и потому вот что я придумал: забудем прошлое и заключим союз!» – «С охотою, но предварительно я должен предложить тебе несколько условий, без соблюдения которых никакой союз между нами невозможен». – «Слушаю тебя с величайшим вниманием». – «Во-первых, ты должен прекратить пагубные сношения с Взяткою (отрицательное движение со стороны Давилова)... не опасайся! я вовсе не требую, чтоб ты отказался от секретного с нею обхождения, но ради самого создателя, ради всего, что тебе дорого! не показывайся с нею в публичных местах и делай вид, что она тебе незнакома! Ты не знаешь... нет, ты не знаешь! сколько вреда приносит откровенное обращение с Взяткою! Это бросается в глаза всякому; самый малоумный человек – и тот понимает под Взяткою что-то нехорошее, несовместное с либерализмом. Всякий, встретившись с тобой на дороге, говорит: вот взяточник, и никто не скажет: вот либерал! До сих пор ты брал взятки и давил... продолжай и на будущее время! но сделай так,

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru чтоб никто не смел называть тебя ни взяточником, ни Давиловым!» – «Стало быть, потихоньку можно?» – робко спрашивает Давилов. «Потихоньку... можно; (с жаром) все потихоньку можно!» – «Однако ж... ты требуешь, чтоб я отказался от моей фамилии... я Давилов, любезный друг! и надеюсь...» – «Не я требую, а система! и ежели она потребует, чтоб ты отказался от материнского чрева, – откажись!» – «Ну-с... второе условие?» – «Второе условие: удали из числа твоих приближенных Чепуху!» – «Эту за что ж?» – «Друг! Чепуха опаснее даже Взятки. Если Взятка марают отдельного человека, то Чепуха кладет свое клеймо на целые группы людей, на целый порядок, на целую систему! От Взятки мы можем отделаться секретным с ней обхождением; от Чепухи – никогда и ничем. Она сопровождает нас всюду, она отравляет все наши действия... она делает невозможную Систему! Наконец, сознаюсь ли тебе? – я сам, сам, как ты меня видишь... сам не свободен до некоторой степени от Чепухи!» – «Но ведь Чепуха сколько раз спасала меня, выручала из беды?» – «Это нужды нет; отныне тебя должна спасать Неуклонность...»

Начинается

Большой танец Неуклонности,
который отличается тем, что его танцуют не сгибая ног и держа голову наоборот.

III

Друзья задумываются и полчаса молчат. В это время стрижи чистят носы, как бы приготовляясь запеть по первому требованию. В самом деле, момент этот наступает. Хлестаков выходит из задумчивости и говорит: «Третье условие – ты должен уметь танцевать «танец Честности».

Начинается

Большой танец Честности,
во время которого стрижи поют:

Ах, когда же с поля чести
Русский воин удалой...

Но «танец Честности» решительно не вытанцовывается. Напрасно понуждает Хлестаков свои ноги; напрасно стрижи то ускоряют, то замедляют темп, с целью прийти в соглашение с их покровителем, – ничто не помогает. Опечаленный неудачей, но в то же время скрывая оную, Хлестаков развязно говорит: «Все равно, будем, вместо этого, танцевать

Большой танец Московской благонамеренности»,
который и танцует, под свист стрижей, поющих:

По улице мостовой...

IV

«Это все?» – спрашивает Давилов. «Покамест все, и ежели ты согласен, то мы можем приступить к написанию взаимного оборонительно-наступательного трактата». – «Согласен!» – «В таком случае идем в секретную комнату...» – «Но я думал, что это именно и есть секретная комната?» – «Да, это действительно секретная комната, но секретная вообще (на ухо Давилову): в ней есть еще секретнейшее отделение!!» Давилов изумляется; открывается трап, и друзья исчезают. Стрижи поют:

Тихо всюду! глухо всюду!
Быть тут чуду! быть тут чуду!

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

КАРТИНА IV

Прелестное местоположение; в глубине сцены храм Славы.

Содержание этой картины составляет процесс Чепухи с Излишнею любознательностью, Лганьем и Враньем. Судьи: Хлестаков и Давилов; ассессор: Обиралов; протоколист: Дантист. Чепуха доказывает свои права и опирается преимущественно на то, что она одна в состоянии смягчить слишком суровую последовательность прочих анакреонтических фигур. Последние, однако ж, оправдываются и говорят, что малый их успех происходит единственно от участия Чепухи. Хлестаков колеблется, но Давилов явно склоняется на сторону подсудимой. Выходит решение: «Подсудимую Чепуху сделать от суда свободною и допустить по-прежнему в число отечественно-анакреонтических фигур». В народе раздаются крики восторженной радости. Стрижи хлопают крыльями. Сами судьи взволнованы. Затем происходит

Шествие в храм Славы

Дошедши до порога храма, Хлестаков и Давилов, «как бы волшебством каким», сливаются в одно нераздельное целое и принимают двойную фамилию Хлестакова-Давилова. С своей стороны Взятка и Потихоньку-Постепенная тоже сливаются в нераздельное целое и принимают тройную фамилию Взятки-Потихоньку-Постепенной. Начинается

Апофеоз

Хлестаков-Давилов стоит на возвышении, освещаемый молнией. По сторонам народ, полицейские, солдаты и преобразованная внутренняя стража. Перед Хлестаковым-Давиловым на коленях Взятка-Потихоньку-Постепенная преподносит

Изящнейший портсигар из черной юфти. На одной стороне крупными бриллиантами славянской вязью изображено:

Ивану Александровичу Хлестакову-Давилону.

На другой стороне, тоже крупными бриллиантами, сделан герб Хлестаковых-Давиловых Римский огурец.

Вдали, в костюме слесарши Пошлепкиной, просит прощения аллегорическая фигура «Эпохино семейство», окруженная стрижами.

Занавес падает.

А с ним вместе естественно прекращается и мой отчет о петербургском балете.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ПО ПОВОДУ «ЗАМЕТКИ», ПОМЕЩЕННОЙ В ОКТЯБРЬСКОЙ КНИЖКЕ «РУССКОГО ВЕСТНИКА» ЗА 1862 ГОД

Наше время есть время самых разнообразных и существенных преобразований. Блистательно начатый отменой крепостного права, ряд этих преобразований не истощается, но продолжается непрерывно. Укажем на опубликованные уже основания нового устава о судоустройстве и судопроизводстве, на предполагаемое создание земских учреждений, на готовящиеся изменения в организации полиции, в податной системе и т. д. Нельзя не быть благодарным правительству за такую очевидную заботливость о благе отечества, как равно и за то, что к участию в этих коренных преобразованиях и к составлению многочисленных проектов, сюда относящихся, призываются особенно назначаемые просвещенные чиновники, которых беспристрастие в делах этого рода тем обеспеченнее, что они не имеют в них никакого своекорыстного интереса, могущего затмить в их глазах истину.

Наряду с названными выше преобразованиями, правительство наше обратило внимание и на положение русского книгопечатания. Известно, что литература наша до сих пор состоит под покровительством цензуры, но, быть может, не всякому известно, что покровительство это заключается не столько в расширении свободы печатного слова, сколько в снисходительном ограждении его от разного рода излишеств. Оказывается, что в настоящее время эту последнюю обязанность может принять на себя само общество, которое уже достаточно созрело для того, чтобы различить вредные и антисоциалистские учения от невинных и социалистских. Оказывается также, что цензура, как учреждение попечительное, не только ставила литературу в условия стеснительные и несоответствующие ее нынешнему развитию, но даже не достигала и той предупредительно-полицейской цели, для которой она была создана.

Писатели с антисоциалистскими намерениями находили способ проводить свои идеи под покровом идей социалистских; мысль скрывалась, нельзя было ничего разобрать... Мало того: мысль до такой степени сжилась с различными покровами и изворотами, что даже откровенно приняла их за единственно нормальный способ выражения; литература до такой степени приучила публику читать между строками, что не было того темного намека, который оставался бы для нее тайною, не было полуслова, которого бы она не прочла всеми буквами и даже с некоторыми прибавлениями. Прохаживался ли, например, «Русский вестник» насчет Австрии – публика знала, что это хоть и не опечатка, однако нечто вроде опечатки; восхвалял ли «Русский вестник» австрийского министра Брука – публика понимала, что это значит:

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru посмотрим, дескать, что-то у нас делается... Одна цензура ничего не понимала, да, по строгому, добросовестному толкованию цензурного устава, и не имела права понимать. Если верить «Русскому вестнику» и Г. Громеке, от этого выигрывали только нигилисты, которых речь, по милости беспрерывных преград, приобрела какую-то не лишнюю заманчивости таинственность и даже силу. Если верить тому же «Русскому вестнику», эта сила должна сама собой уничтожиться, как только ей дана будет возможность высказаться. Тогда всякий поймет, что это не сила, а ложь, и всякий же получит средство «легко справиться с ней без всяких карательных мер». Вполне разделяем такое мнение «Русского вестника», радуемся его радости и будем ожидать.

Таким образом, в обществе созрела мысль о необходимости пересмотра действующих законов о книгопечатании, и правительство сочло нужным удовлетворить этой потребности. Мы не имели случая читать подлинный проект нового «устава о книгопечатании», составленный особо назначенной для того комиссией, но знаем о содержании его из «Русского вестника». Вот каким образом пересказывает этот журнал своим читателям основные начала, принятые комиссией в соображение при исполнении возложенного на нее труда (октябрь 1862 года. «Заметка»).

Новая законодательная мера должна, сколько нам известно, существенно изменить положение нашей печати. Предполагается совершить переход от старого к новому со всевозможною осторожностью. Старое не будет разрушено прежде, чем успеет образоваться и утвердиться новый порядок. Предупредительная цензура останется, но она утратит свое исключительное господство. Кто не решится принять на себя полную и нераздельную ответственность за свое сочинение или издание, тот может оставаться под цензурой; но для других откроется возможность выйти из-под опеки предварительной цензуры; свободы печать еще не получит; свобода печати, как и вообще всякая общественная свобода, состоит в ответственности перед одним законом, то есть перед одним судом. Но суд только что еще устанавливается у нас, и потребуются время, пока новая организация его вступит окончательно в действие; еще более пройдет времени, пока эта новая великая сила окажет все свое влияние на нашу общественную жизнь и совершенно с нею освоится; а в ожидании этого было бы неблагоприятно оставлять нашу печать в ее нынешнем неудовлетворительном положении. Условное освобождение, под контролем административным, будет состоянием переходным; оно ближе ознакомит и правительство, и общество с истинными потребностями дела и приготовит литературу к состоянию более полной свободы.

Как предупредительная цензура, так и административный контроль над печатью должны, по новому проекту, сосредоточиться в министерстве внутренних дел. От главы этого министерства будут зависеть и цензурные комитеты, и разрешение новых изданий, равно как и освобождение от предварительной цензуры. Отсюда будет исходить предостережение журналам и определенные взыскания. При министре внутренних дел предполагается особый совет или особое управление по делам печати; но тем не менее вся ответственность по этому управлению должна сосредоточиться в лице министра. Одно из самых важных начал, принятых в основание нового проекта, состоит в том, чтоб управление по делам печати не прикрывалось высочайшим именем и не вовлекало в свои распоряжения верховную власть. Нельзя не оценить великой важности этого правила, которое еще так ново у нас и без которого администрация никогда не может развить в себе чувство полной ответственности. Верховную власть не должно смешивать с администрацией; она простирается над всем и есть или источник, или утверждение всякой власти; к ней восходит не одна администрация, но и судебная власть. Нигде и ни в чем она не должна быть замешанною партией; управляющие и управляемые должны быть равны перед нею. Все распоряжения министра внутренних дел по делам печати (кроме запрещенных повременных изданий) будут производиться им под своею собственною ответственностью, и в этом одном будет уже не малое обеспечение для печати.

Затем «Русский вестник» прибавляет, что «нынешнему министру внутренних дел достанется трудное, тяжкое, но с тем вместе и славное дело», что все «будет зависеть от его проницательности и твердости, от его распорядительности и умеренности» и что «успех его управления будет тем славнее, что во многих случаях ему достанется быть вместе партией и судьей»... Одним словом, «Русский вестник», в радостных попыхах, сам не замечает, что он зарпортовался. В начале статьи говорит о какой-то созревшей жизненной силе, а под конец сводит эту силу к министерству внутренних дел; в начале говорит: «Подайте нам их, этих глашатаев лжи, — мы с ними справимся и без карательных мер!», а под конец возлагает всю надежду на министра внутренних дел; одним словом, и радуется читателя и тут же

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru отравляет его радость. Очевидно, что тут что-нибудь есть, что при написании этой статьи автором руководила цензуробоязнь, и мы, привыкшие читать между строками, вполне понимаем, что вся статья эта есть не что иное, как горький памфлет, язвительный плод обманутой надежды, что вот-вот так и выдадут «Русскому вестнику» головой всех этих мальчишек и нигилистов, кощунствующих над святыней науки, и он, «Русский вестник», будет мять и топтать их и производить над ними всяческие телесные упражнения.

Итак, из изложения «Русского вестника» явствует следующее:

- 1) что заведование делами книгопечатания переходит из министерства народного просвещения в министерство внутренних дел.
- 2) что реформа будет приводиться в исполнение не сразу, но постепенно.
- 3) что предварительная цензура остается, но утрачивает свое исключительное господство.
- 4) что печатное слово будет подлежать не только ответственности перед законом, то есть перед судом, но и контролю административной власти.
- 5) что контроль над печатью сосредоточивается в министерстве внутренних дел; при лице министра внутренних дел предполагается особый совет, который и будет заведовать этого рода делами. Контроль заключается в следующем: в разрешении новых изданий, в освобождении от предварительной цензуры, в посылке журналам предостережений и в наложении определенных взысканий
- и 6) что управление по делам печати не будет отныне прикрываться высочайшим именем; все распоряжения будут производиться исключительно министром внутренних дел под собственною его ответственностью.

Разберем эти положения:

I. С точки зрения практической, для литературы, конечно, все равно, в каком ведомстве будет сосредоточен контроль по делам книгопечатания, то есть в ведомстве ли министерства народного просвещения, где он ныне находится, или в ведомстве министерства внутренних дел, куда предполагается его перевести. Тут все зависит от того, каков личный взгляд на литературу того или другого министра, и таким образом литература может почувствовать себя хорошо, будучи под начальством министра внутренних дел, и худо – под начальством министра народного просвещения, и наоборот. Но с рациональной точки зрения это совсем не так безразлично. Не надо забывать, что литература есть один из могущественнейших рычагов народного просвещения и что, напротив того, в министерстве внутренних дел, в том составе, в каком существует это учреждение в России, сосредоточивается высшая полицейская власть. Какое отношение может существовать между литературой, как органом просвещения, и полицией, как органом охранения государственной безопасности, угадать хотя и не трудно, но не трудно именно вследствие той перепутанности понятий и определений, которая в последнее время, вследствие разных случайных причин, так сильно господствует в обществе нашем. Сфера действий полиции, сама по себе очень почтенная и заслуживающая полного сочувствия людей благомыслящих, есть вместе с тем сфера совершенно особая и притом строго ограниченная; она сообщает всей ее деятельности особенный характер и даже особенные привычки. Постоянно имея дело с противообщественными попытками и наклонностями самого грубого, несложного и незамысловатого свойства, полиция и в действиях своих против них обнаруживает некоторую грубость, несложность и незамысловатость. Теперь же она будет поставлена лицом к лицу с преступлениями мысли, преступлениями свойства деликатного и почти неуловимого, преступлениями, уже по тому одному относящимися к особому разряду, что при обсуждении их невозможно не принять высший против обыкновенного умственный и нравственный уровень совершивших их лиц. Полиция, очевидно, затруднится. Привыкнув иметь дело с врагами общества, она, неслышно для самой себя, и на литературу перенесет это воззрение; обращаясь с фактами грубыми, конкретными, не имея надобности прибегать ни к анализу побуждений, ни к более или менее тонким толкованиям содержания этих фактов, она тотчас же почувствует свою несостоятельность в отношении преступлений слова и постарается заменить ее чем-нибудь. Что, если она, по свойственной человечеству слабости, не захочет сознаться в этой несостоятельности и заменит ее подозрительностью и придирчивостью? Конечно, это только предположение, но всякий сознается, что в нем ничего нет

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru неправдоподобного. Конечно также, что и во Франции делами книгопечатания заведует министерство внутренних дел, да ведь какое же нам дело до Франции? Поэтому мы думаем, что с рациональной точки зрения было бы удобнее, чтобы делами книгопечатания заведовало по-прежнему министерство народного просвещения, хотя, с точки зрения практической, не имеем причин соболезновать и о том, что заведование это переходит в министерство внутренних дел.

II. Что реформу предполагается произвести не сразу, а постепенно – это, разумеется, и правильно, и понятно. Мало того: отсюда может выйти несомненная польза и для самой литературы. Русская литература столько десятков лет притворствовалась и уклонялась, что нельзя сразу дать ей возможность выложить на стол накопившиеся в ней сокровища, ибо легко может быть, что и сокровищ-то совсем нет.

Следовательно, пускай высказывается постепенно. В этом отношении мы желаем только одного: пускай эта постепенность прилагается ко всем равно; пускай не будет того, например, что один журнал обязывается пройти сквозь все фазисы, все колебания строгой школы постепенности, а другой журнал, при самом своем рождении, уже предполагается прошедшим сквозь постепенность. Здесь равенства требует простое приличие, и мы уверены, что ничего подобного такой вопиющей несправедливости и не будет. Иначе мы придем к вопросу о единоторжии мысли, к вопросу об исключительности права печатать казенные объявления, которую с такою восторженностью защищала «Современная летопись Русского вестника» против «Нашего времени». Мы понимаем, что обращение журнала к «постепенности» может служить репрессивной мерой, но только репрессивной – никак не больше. Мы даже очень жалеем, что «Русский вестник» пропустил этот важный вопрос без внимания; мы тем более жалеем об этом, что в последнее время «Современная летопись» начала что-то заговариваться о редакторах, заслуживающих доверия, и редакторах, доверия не заслуживающих. Мы желали бы также, чтобы принцип постепенности не был слишком преувеличен. Ведь, читая слабонервные протестации «Русского вестника», можно подумать, что и невеста какой яд заключается в наших журналах, что и невеста какую опасностью грозят они обществу. Если верить этому, то придется, пожалуй, и усугубить «постепенность». Но не надо забывать, что протестации эти суть плод невинного желания как можно скорее сравняться в «рвении» с «Нашим временем». [67] Не надо забывать, что литература русская относится к русскому правительству точно так же, как Гулливер к тому великану, который где-то нашел его в траве. «Он схватил меня, – рассказывает Гулливер, – поперек тела большим и указательным пальцами и поднес к глазам, чтобы ближе рассмотреть. Я не противился; я позволил себе только поднимать к небу глаза и складывать руки умоляющим образом, ибо я опасался, чтоб он нечаянно не раздавил меня». Сравнение не лестное, но правдивое и притом способное успокоить самую раздражительную подозрительность.

III. Предупредительная цензура остается, но она утрачивает свое исключительное господство. Так говорит «Русский вестник», и, признаемся, мы не понимаем его слов. Что значит: «предварительная цензура остается»? и что, рядом с этими словами, означает: «утрачивает исключительное господство свое»? Одно что-нибудь: или остается, или не остается. Или, быть может, она не будет существовать для сочинений известных размеров, известного характера, известного направления, для всех же прочих остается в прежней силе? или, быть может, она устранивается и для журналов, но тогда только, если со стороны последних исполняются известные обязательства? Какие это обязательства? К сожалению, «Русский вестник» выражается насчет этого очень темно; он говорит только, что тот, «кто не решается принять на себя полную и нераздельную (?) ответственность за свое сочинение или издание, тот может остаться под цензурою; но для других (?) откроется возможность выйти из-под опеки предварительной цензуры». Кто эти «другие»? Что это за «возможность»? Каким путем она может «открыться»? Обо всем этом «Русский вестник» умалчивает. Стало быть, и мы, с своей стороны, не будучи знакомы с канцелярскими подробностями этого дела, можем судить об нем только гадательно, теоретически. Первый вопрос, который представляется в этом случае, есть следующий: какой встречается повод к оставлению в ее силе предварительной цензуры, когда рядом с нею признается возможность и действительность цензуры карательной? Таких поводов может быть три: во-первых, можно сослаться на то, что даже и в тех государствах, где свободные учреждения и изустные парламентские прения воспитали политический смысл народа, даже и там одни репрессивные меры оказываются недостаточными, но возбуждается потребность в полицейских предупредительных распоряжениях; во-вторых, относительно периодических изданий можно сказать, что они действуют непрерывно систематически, образуя таким способом целое направление, которое невозможно формально преследовать, потому

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru что оно не представляет частных осязательных случаев, доступных для преследования; в-третьих, относительно тех же изданий, можно сослаться на то, что газеты и журналы могут, в отношении к преследующей власти, принять особую систему, и именно: не нарушая явно важнейших предписаний закона, тем не менее выходить из пределов дозволенного, утомляя силы преследующей власти и связывая ее непрерывным опасением неудачи или скандала. Подобного рода умозрения случалось нам выслушивать неоднократно, но, прежде нежели будем возражать на каждое из них порознь, позволяем себе сделать одно общее замечание. Мы положительно думаем (это преимущественно относится к последним двум умозрениям), что правительство крепкое, прочно установившееся не может иметь подобных соображений. Действия, в основании которых лежит такого рода праздное умоизвитие, могут приличествовать разве каким-либо темным корпорациям, пролагающим себе пути подземною работою. Правительство сильное, опирающееся на сочувствие народа, не имеет надобности руководиться иезуитизмом: оно действует открыто, то есть открыто дозволяет и открыто же что-либо запрещает. Но, отвергая таким образом вообще аргументацию задней мысли, мы не можем оставить без опровержения и каждый аргумент в частности. Первый аргумент не составляет для нас новости, но не составляет и убеждения. Он ложен в самом зерне своем, потому что имеет в предмете указать на Францию. На это можно сказать одно: Франция, с конца прошлого столетия и до настоящего времени, представляет собой страну брожения, страну, развивающуюся под влиянием панических восторгов и столь же панических страхов. Если это положение еще и можно оспаривать относительно самой страны, то никак нельзя – относительно правительств, которые, одно за другим, ее эксплуатировали. Вполне свободных учреждений, свободных парламентских прений в ней никогда не было, а тем менее они существуют теперь, и отношения нынешнего французского правительства к стране слишком известны, чтобы допустить какое-нибудь двусмысленное в этом случае толкование. Зачем же эти вечные ссылки на Францию? зачем этот вечный кошмар? Во Франции такой порядок мог установиться вследствие особых, ей одной свойственных причин; во Франции, сверх того, порядок, сегодня установленный, может быть завтра развеян по ветру: что для нас Франция? что мы для нее? Но ведь и там все-таки предупредительной цензуры нет, и там все-таки оставлена писателям хотя незавидная свобода, но все-таки свобода: свобода грешить и подвергаться за грехи наказаниям. Отчего же не предоставить и русским писателям этой свободы? Ведь русская литература все-таки не больше как Гулливер: пускай же и наслаждалась бы свободой находиться между большим и указательным перстами великана! Что мы, русские, не имели до сих пор свободных учреждений и не пользовались парламентскими прениями – тут, конечно, хорошего мало, но политический смысл наш разве более будет воспитываться, если ко всему этому мы прибавим еще и отсутствие свободы печатного слова? Сомневаемся, потому что к свободе человек может воспитываться только в свободе. Второй аргумент, быть может, и очень замысловат, но производит впечатление тяжелое. Что такое это направление, которое ни в чем, в частности, не выражается, но которое все чувствуют, которое нельзя формулировать, но которое предстоит необходимость преследовать? Воля ваша, а

Это темно, непонятно,
Очень что-то мудрено!

И особенно мудрено, когда речь идет о журналах и газетах, имеющих дело с фактами положительными, с подробностями общественной жизни. Связанные этим, они должны, волею или неволею, высказываться вполне определенно, так как, в противном случае, потеряют всякое значение для публики. Нет слова, что, при настоящем положении русской литературы, со всех сторон стесненной и цензурными и внецензурными условиями, встречается возможность чего-то похожего на действие посредством так называемого направления, которое всецело заключается в употреблении фигуры умолчания, в чтении за строками, в неясных намеках и проч. Но если представить себе русское слово освобожденным от предварительных истязаний, то всякая мысль о направлении, понимаемом в указанном выше смысле, падает сама собой, ибо кто же из читателей будет столь невинен, чтобы подписываться на журнал, который потчует его одним направлением, тогда как рядом с ним стоит другой журнал, рассказывающий жизненный факт ясно и безбоязненно? Положительно можно сказать, что направление есть плод предупредительной цензуры, что обаятельная сила его будет существовать дотолы, покуда будет существовать предупредительная цензура. Мало того: сила эта будет существовать и в таком случае, если изъятие от предупредительной цензуры будет допущено только для известных журналов, а другие останутся под ее влиянием... Что касается до третьего аргумента, то он положительно не требует серьезного опровержения. В самом деле, неужели наша литература имеет такое громадное развитие, что может даже утомить силы преследующей власти? И что, наконец, можно

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru подумать об этой преследующей власти, которая так скоро утомляется? Ведь нельзя же так жить, чтоб все доставалось даром: желаете преследовать – ну, и потрудитесь.

Но, кроме этих общих замечаний о предварительной цензуре, статья «Русского вестника» возбуждает множество других вопросов, ставящих читателя в недоумение. Первый вопрос: для кого именно («для других», говорит «Русский вестник») «откроется возможность выйти из-под опеки предварительной цензуры»? Если это будет делаться вследствие чьего-нибудь выбора, то нельзя не опасаться пристрастия и стремления к тому, что мы назвали выше единоторжием мысли. Если это изъятие будет допускаться по очереди – это будет странно; если по жребию – будет еще страннее. Одним словом, «Русский вестник», очевидно, ошибается; в таком важном, существенном интересе, каков интерес литературный, привилегий не может быть: есть предварительная цензура – она есть для всех; нет предварительной цензуры – ее нет для всех. Действовать в противоположность этому коренному принципу справедливости значило бы намеренно и насильственно умерщвлять одни органы русской мысли с тем, чтобы упитать на счет их другие. «Русский вестник», конечно, далек от такого рода инсинуации. Второй вопрос – что означают эти слова: «Кто не решится принять на себя полную и нераздельную ответственность за свое сочинение или издание, тот может остаться под цензурою»? Из этих слов можно вывести только одно заключение: будет известный разряд сочинений (чем он определится: размером или самым содержанием сочинений – неизвестно), который абсолютно освободится от влияния предварительной цензуры. Если это так, то предоставление писателям добровольно подчинять себя опеке предварительной цензуры кажется нам излишнею роскошью. Во-первых, не представляется надобности предлагать опеку для всех нищих духом, точно так же как не представляется надобности в учреждении какой-либо особой палаты для управления теми имениями, которых владельцы не умеют извлечь из них всех выгод. Во-вторых, если издатели сочинений этого разряда встретят сомнение в своей благонамеренности, то могут посоветоваться с своими приятелями, не затрудняя правительства. В-третьих, наконец, подобный легкий способ избавляться от ответственности может породить в литературной и издательской деятельности дурные привычки. Может в литературном лагере произойти междоусобие, угодничество и фискальство, ибо всегда найдутся люди, охочие заявлять о своем смиренстве, даже когда заявления эти и не надобны никому. Все это может ввести в заблуждение и само правительство насчет характера подобных заявлений. Третий вопрос, совершенно обойденный «Русским вестником», формулируется так: если сочинение или журнал пропущены предварительной цензурой, то избавляются ли затем авторы и издатели от всяких дальнейших преследований, в случае если впоследствии, то есть по выходе книги в свет, оказалось в ней что-либо недозволенное? И если правительство найдет нужным изъять из продажи пропущенное цензурой и отпечатанное уже сочинение, то кто будет отвечать перед автором и издателем за материальный ущерб, нанесенный им таким правительственным распоряжением? Важность этих вопросов несомненна, и нет сомнения, что первый из них самим правительством будет разрешен тем гуманным путем, которому оно постоянно следует, то есть освобождением авторов и издателей от всякой личной ответственности. Второй вопрос несколько труднее для разрешения, потому что здесь замешивается интерес материальный. Нет сомнения, что автор и издатель должны быть вознаграждены: они свое дело исполнили, то есть представили сочинение в цензуру, и затем все остальное до них не касается; но на чей счет они должны быть вознаграждены? Коренной закон говорит, что если должностное лицо своими действиями по должности наносит ущерб казне или частному лицу, то оно, кроме личной ответственности по суду, подвергается и взысканию всей суммы материального ущерба в пользу казны или частного лица. На этом основании, вознаграждение авторов и издателей в приводимом случае должно падать на цензора, но в таком случае или должность цензора сделается невозможною, или же опека цензурная станет невыносимою. Цензор постоянно будет под ударом и личной ответственности, и совершенного разорения: очевидно, что, при таких условиях, главною его заботою сделается не разумная свобода слова, но слепая к ней ненависть, внушаемая естественным чувством самосохранения.

Но, быть может, такого рода ущерб положено будет принимать на счет казны – тогда возникает вопрос: чем же казна тут виновата? Это тоже одно из немалых неудобств существования предварительной цензуры.

IV. Кроме ответственности перед законом, то есть перед судом, печатное слово будет подлежать контролю административной власти. Очевидно, здесь речь идет о сочинениях и изданиях, освобожденных от предварительной цензуры; таким образом,

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru мы приходим к цензуре карательной, которая, по сказанию «Русского вестника», будет действовать двояко: путем судебного преследования и путем административных взысканий. Очевидно, это та же самая система преследования, которая, с легкой руки Франции, существует, относительно прессы, на всем европейском континенте, за малыми исключениями. И мы, собственно, не имеем ничего сказать против них, кроме того, что устроить правильную систему административных взысканий нам кажется не только трудно, но даже совершенно невозможно. Трудно, очень трудно отбиться от попользования к произволу, особенно когда сам закон подает к тому легкий повод, особенно когда лицо, которому предоставляется карательная власть, действует единично, особенно когда оно, как выражается «Русский вестник», может быть в этом деле и партией и судьей. Поэтому-то мы совершенно согласны с «Русским вестником», когда он говорит, что министру внутренних дел предстоит тяжкое, трудное, но славное дело; позволяем себе пожелать только одного: чтобы это было дело менее тяжкое. Достигнуть этого и избежать ни в каком случае не заслуженного нашим правительством упрека в желании заменить произвол беспорядочный произволом, так сказать, узаконенным – можно очень легко, и именно: отказавшись от системы административных взысканий и оставив один путь преследования вредных сочинений – путь судебный. Повторяем: опасность вовсе не так велика, и влияние и круг деятельности нашей литературы вовсе не так обширны, как это изображают слабонервные и легко пугающиеся органы русской прессы. Следовательно, отказавшись от легкого права быть в деле партией и судьей, правительство не только ничего не рискует, но даже выигрывает, ибо за ним останется то обаяние беспристрастия и спокойствия, которое так решительно действует не только на людей, душою и телом преданных правительству, но и на таких, которые почему-либо ставят себя в разряд недовольных. Против этого могут быть два возражения: первое, приводимое «Русским вестником» (из головы или из проекта устава – не знаем), заключается в дурном устройстве наших судов. «Суд только что устанавливается у нас, говорит этот журнал, и потребуются много времени, пока новая организация его вступит окончательно в действие, еще более пройдет времени, пока эта новая великая сила окажет все свое влияние на нашу общественную жизнь и совершенно с нею освоится; а в ожидании этого было бы неблагоприятно оставлять нашу печать в ее нынешнем неудовлетворительном положении».

В этих немногих словах очень много опечаток. Во-первых, дурная организация судов все-таки не мешает им производить суд по преступлениям всякого рода, и было бы очень рискованно сказать, чтобы нашлось много преступников, которые, несмотря на все недостатки существующего судопроизводства и судопроизводства, согласились бы заменить решение суда, все-таки руководствующегося чем-то прочным, усмотрением административной власти. Во-вторых, сроки, которые считает нужными «Русский вестник» для освобождения русского печатного слова из-под административной ферулы, как-то слишком уж отдаленны: сперва пусть правильный суд установится, потом пусть эта новая сила совершенно освоится с русской жизнью: даже и не соблазнительно. В-третьих, ведь все-таки будет такой разряд преступлений по делам книгопечатания, за которые взыскание, и при дурном устройстве суда, не иначе может быть полагаемо, как по суду, ведь они теперь есть, эти преступления? Отчего же только некоторые, а не все преступления? где граница между преступлениями, подлежащими взысканию административному, и преступлениями, подлежащими взысканию по суду? Сообразите только, как легко тут можно запутаться! В-четвертых, наконец, в словах «Русского вестника» слышится недостаток логики; выходит нечто вроде того, что так как суд устроен в настоящее время неудовлетворительно, то лучше пусть будет бессудность. Второе возражение, упущенное из вида «Русским вестником», но часто раздающееся в различных слабонервных кружках, заключается в том, что вчинение судебного иска против литературного сочинения есть дело рискованное. «Прежде чем начать подобный иск, – говорят обыкновенно, – необходимо обсудить все возможные последствия его, недостаточно оценить одну степень применимости закона к совершившемуся нарушению, но нужно принять в соображение и другие обстоятельства, как-то: состояние умов, нравов и верований». Первую часть этой аргументации мы решительно не понимаем, хотя и чувствуем, что она вносит в судебную практику не совсем чистый элемент. Очевидно, что тут дело идет о какой-то осторожности, но не о той осторожности, которая ограждает обвиняемого от тревог, сопряженных с ответственностью перед судом, но о той, которая ограждает саму преследующую власть от возможности неудачи. Но если преследующая власть, обсудив известное действие, найдет в нем признаки преступления и если она при этом уважает себя, то зачем ей тревожить себя мыслями о воображаемых неудачах? Она отдает обвиняемого суду, она делает свое дело – и больше ничего. Ведь этак можно до такой степени растревожить себя, что наконец принять за постоянное правило

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru действовать одним административным путем: суд-то, мол, еще бог весть что скажет! Если же преследующая власть, обсудив действие, усумнится в преступности его и вследствие этого предпочтет оставить дело под спудом, то подобная осторожность не только не может представлять вредных последствий и кого-либо компрометировать, но даже заключает в себе замечательную и отнюдь не лишнюю для литературы гарантию. Поэтому и было бы в высшей степени желательно, чтобы правительство приняло один путь преследования преступлений и проступков, совершаемых посредством печати, – путь преследования судом. Он единственно справедливый и единственно совместный с достоинством самого правительства.

V. Контроль над печатью сосредоточивается в особом совете, который имеет быть учрежден на этот конец при министре внутренних дел. К сожалению, «Русский вестник» не входит ни в какие подробности по этому случаю, так что не видно, что это будет за совет, из кого он должен состоять, какой будет образ его занятий и какие присвоятся ему пределы власти. Все это, однако ж, очень важно. Если определение и увольнение членов совета будет зависеть от произвола того лица, которому вверен высший надзор за печатью, то, очевидно, они не будут иметь самостоятельности. Эту самостоятельность необходимо, однако, им дать как по крайней важности поручаемого им дела, так и потому, что, лишенные самостоятельности, эти члены сделаются или просто добрыми чиновниками, занимающими пенсионные места, или же такими вымуштрованными удальцами, которые на лету будут ловить полуслова, полунамекы и созидать из них целые системы, целые направления. Полезно было бы, по крайней мере, увольнение членов совета устранить от влияния случайностей. Потом, какую силу будут иметь суждения совета: решительную или только совещательную? Признаемся, мы скорее на стороне решительной силы, по той простой причине, что как-то спокойнее живется, когда дело на миру делается. Если один и скажет что-нибудь неподобающее, ну, бог даст, другой поправит, третий, быть может, покраснеет, а четвертый и совсем застыдится. Иногда из этого выходит и путное нечто. А одному и обнять-то всё, право, как-то трудно. Да притом же, зачем и совет такой учреждать, которому можно, без дальних рассуждений, говорить: не так, а вот так. Наконец, в чем будут заключаться занятия членов совета, будут ли они только членами совета, призванными обсуждать дела уже приготовленные, или же вместе с тем будут и чиновниками, призванными не только обсуждать дела, но и изыскивать, но и возбуждать... Нам кажется, что последняя обязанность не придаст особенного блеска новому учреждению. Затем остается сказать о существе самого контроля. Он имеет характер отчасти предупредительный, отчасти карательный. В первом отношении, прежде всего нам бросилось в глаза, что и на будущее время к изданию нового журнала нельзя будет приступить иначе, как с разрешения. Казалось бы, правительство вооружено достаточно репрессивной силой, в особенности относительно журналов, но, очевидно, и этого мало, если предполагается увеличить эту силу правом во всякое время полагать предел журнальной деятельности. Любопытно было бы знать, чем обуславливается разрешение или неразрешение журнала? Принята ли будет австрийская система, требующая от редактора и издателя одного условия: безукоризненной нравственности? Оставлена ли будет ныне существующая в России система, требующая свидетельства местных губернских начальств о благонадежности просителей, о несостоянии их ни под следствием, ни под судом, ни под надзором полиции?

Или будет просто предоставлено министру внутренних дел разрешать или не разрешать по личному его усмотрению? Признаемся, мы больше на стороне австрийской системы; во-первых, она очень похожа на то, что уже существует у нас в настоящее время; во-вторых, она все-таки представляет какие-нибудь гарантии, не зажимает прямо рта и дает возможность апеллировать. Нас могут спросить: каким же образом может прийти правительство до убеждения в этой нравственности? Отвечаем: это и очень трудно, и очень легко. Это трудно, если правительство изъявляет претензию проникать в тайники души человеческой; напротив того, это очень легко, если правительство удовольствуется удостоверениями в официальной нравственности просителя. Тут дело ясное: неопороченность по суду – вот вся безукоризненность; вне этой сферы дело идет уже не о том, чтобы претендент на редакторство доказывал правительству свою нравственность, а о том, чтобы правительство, буде желает, доказало претенденту его безнравственность. Но каково же будет положение будущих деятелей русской журналистики, если ни им не придется ничего доказывать, ни власти не захотят ничего доказывать? если придется выслушивать только голое «да» или «нет»? Ведь это положение хуже нынешнего, потому что ныне, в случае отказа, можно подать на министра жалобу в правительствующий сенат. Ведь из этого может произойти следствие двойного рода: или лицо, в руках которого сосредоточен будет высший контроль над печатью,

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru будет разрешать новые периодические издания только при известных условиях, и тогда все журналы будут петь в унисон, или же журнальные деятели, которых образ мыслей более или менее известен, будут скрываться за подставными лицами. И в том и в другом случае достигается неловкое положение – и ничего больше. Поэтому будем надеяться, что эта преграда к распространению журнальной деятельности в России будет устранена. Что касается до контроля карательного, то «Русский вестник» говорит только о «предостережениях» и каких-то «определенных взысканиях». «Предостережения» мы знаем: они существуют во Франции, и любопытно было бы знать только, вполне ли будет принята французская система. Гораздо большую пищу для любопытства представляют упоминаемые «Русским вестником» «определенные взыскания». Дано ли право апелляции или не дано? Какой взгляд внесла комиссия в новый устав на журнальную собственность, то есть приравняла ли она ее со всякой другой собственностью или сообщила ей характер исключительный? Всё это вопросы очень важные, но, не зная, в чем заключаются постановления комиссии об этом предмете, мы можем только заявить наше скромное желание, заключающееся в том, во-первых, чтобы было обеспечено право апелляции, и во-вторых, в том, чтобы собственность журнальная, как и всякая другая, была выведена из-под влияния административной власти.

VI. «Управление по делам книгопечатания не будет отныне прикрываться высочайшим именем, все распоряжения будут производиться министром внутренних дел под собственной ответственностью». Рассуждения, которые делает по этому поводу «Русский вестник», приведены нами выше, и мы с ними вполне согласны. Жаль только, что журнал этот поленился объяснить, в чем именно будет заключаться ответственность министра? ведь из того, что он дальше говорит, что министр будет вместе «и партией и судьей», не много видно. Но, быть может, «Русский вестник» понимает ответственность перед собственной совестью, – тогда, конечно, нельзя не согласиться, что это ответственность великая, ибо совесть есть высший трибунал в этом отношении.

Заканчивая статью нашу, повторяем сожаление, что мы не имели возможности ознакомиться лично с проектом нового устава о книгопечатании и что, по этому случаю, наша статья имеет вид размышлений по поводу «заметки», напечатанной в московском журнале, «заметки», быть может, характера тоже весьма гадательного, хотя и сквозит в ней некоторая олимпийская уверенность.

НЕСЧАСТИЕ В ПОРХОВЕ

Корреспондент газеты «Мировой посредник» (1862 г., № 25) следующим образом рассказывает это происшествие:

«26-го ноября (1862 г.) был в Порхове бал, танцевальный или семейный вечер; назовите как хотите, потому что не в названии дело. Вечер этот устроен был нарочно и по подписке: приглашенные съехались в так называемый «дворянский дом». Приглашены были, разумеется, только истые дворяне, и то не все, – распорядители, по своему соображению, сделали строгий выбор и из дворян пригласили только отборных. А знаете, чем окончился этот вечер, составленный из отборных порховских дворян? К концу вечера десять или двенадцать из отборных гостей, по данному знаку, напали на одного из приглашенных и избивали его до полусмерти! Побоище это продолжалось, как говорят, часа полтора; на другой день в зале видны были еще кровавые пятна, следы этой достохвальной битвы, в которой двенадцать человек бесстрашно двинулись на одного.

Вот вам факт во всей его наготе. А что скажете вы, когда узнаете, что и самый бал устроен был для такого финала? Что об этом знали наперед, сговаривались и старались устроить все так, чтобы этот вечер никак не обошелся без предположенного побоища, – это будет несомненно, когда узнаете, что несчастную жертву такого гнусного и наглого насилия всячески старались заманить на этот праздник, старались вывести ее из терпения, распуская разную клевету, – а когда вывести из терпения не удалось, ринулись толпой на беззащитного человека. Грустнее всего то, что из присутствовавших на этом вечере, из не бойцов, никто не решился стать между жертвой этого насилия и рыцарями кулачного права, никто не решился, хоть бы во имя дворянской чести, о которой так много толкуют в Порхове, высказать пьяным бойцам, что бесчестно нападать двенадцати на одного.

Жертвою описанного мною насилия был один из порховских мировых посредников – г. Володимиров; рыцарями же кулачного права явились на этот раз человек десять или двенадцать сорванцов, постоянно выставлявших себя отчаянными головорезами, которых сословный гонор до сих пор не может переварить, что вместо прежнего,

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru крепостного произвола, между ними и их бывшими подданными стал закон в лице мировых учреждений. Я мог бы назвать имена этих господ, но не считаю этого пока приличным, так как все это дело необходимо подвергнется судебному исследованию. Да впрочем, имена их и не представляют особенной важности: эти господа были, как я слышал, простым орудием, марионетками в руках более кляузных людей, которые, оставаясь сами в тени, выпустили этих сорванцов на предмет своей ненависти.

К чести мировых посредников Псковской губернии, или по крайней мере северной половины этой губернии, надо сказать, что они до такой степени умели с самого начала отрешиться от сословного духа, от эгоизма того сословия, к которому они принадлежат по происхождению, что на первых же порах им удалось овладеть совершенным доверием крестьян. Как люди независимые по своему положению, мировые посредники предпочли оставаться независимыми и по духу, по направлению, стать выше сословных интересов, как это прилично всякому образованному человеку, и приводить в исполнение Положение 19 февраля в том самом духе, который создал его. Оттого-то и не могут простить псковским мировым посредникам некоторые из дворян. Из мировых посредников Порховского уезда г. Володимиров и еще другой посредник (которого я не назову, потому что он хотя и случайно, но остался в стороне от приготавливавшегося и для него побоища), – пользуются особенным нерасположением той горстки ретроградных дворян, которых не коснулся дух времени.

Люди ретроградской партии есть везде, но в Псковской губернии едва ли не всего более представителей эта партия имеет в Порховском уезде. Тут ей удалось, в начале нынешнего года, поместить одного из своих коноводов в одну из значительнейших выборных должностей в уездах, и с тех пор началась кампания против ненавистных мировых учреждений. Заседания порховского мирового съезда публичные. Отборные представители ретроградской партии, те самые, которые 26 ноября так отважно ринулись в бой, стали постоянно являться на заседании съезда, чтобы поддержать там своего избранного и, по возможности, словом, жестом и присутствием своим попытаться устроить всех, не разделяющих их воззрения. Когда не удалась такая попытка внешнего тяготения на мировых посредников, тогда вздумали попробовать подорвать добрую славу порховских мировых посредников, заслуженное уважение, приобретенное ими как в обществе, так и между народом: стали распускать разные нелепости и клеветы. Сплетни, клевета, интриги – прирожденный грех наших уездных городов. Когда и это не удалось и клевета была публично разоблачена, а предводитель партии попал по этому случаю под суд, – тогда уже решились на насилие, чтобы хоть этим отомстить ненавистным посредникам и устроить остальных.

Над г. Володимировым люди ретроградской партии в Порхове, люди старых порядков, старались выместить похороненное крепостное право, о котором они втайне до сих пор сожалеют, – и для этого они не сумели выдумать ничего остроумнее физического насилия.

Если я не ошибаюсь, порховское происшествие есть первая попытка насилия над мировыми посредниками, первая попытка подействовать на мировые учреждения посредством устрашения. И замечательно, что первая попытка такого рода выходит из той среды нашего общества, которая и сама себя считает и другими признается высшим слоем, наиболее образованным и развитым сословием, тем, от которого всего менее следовало бы ожидать порывов такой необузданной дикости».

Таков факт. Почтенный корреспондент находит его диким и постыдным и надеется, что г. мировой посредник Володимиров примет в соображение эти свойства факта и не прекратит своей полезной деятельности.

Мы, с своей стороны, также находим поступок порховских наездников и диким, и постыдным, и также не видим в нем ничего обидного для г. Володимирова. Обижаться подобными выходками, по нашему мнению, было бы столь же неосновательно, как и претендовать на какой-нибудь локомотив, который нет-нет да и оторвет кому-нибудь руку или ногу, а быть может, и голову. Что с него возьмешь?

Но признаться, нам весьма хотелось бы уяснить в этой истории некоторые пункты, которые нам кажутся несколько темными.

Кто эти люди, которые дерутся?

Вследствие каких причин сделалось возможным проявление протестов в виде

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru физического насилия и во имя каких принципов допускается подобное проявление?

Какого рода поучительный пример в будущем можно извлечь из этого факта?

Ни для кого не тайна, что та часть русского общества, которая называет себя цивилизованною, находится в настоящее время в некотором волнении чувств: «Звон вечеревого колокола раздался – и дрогнули сердца новгородцев!» – сказал некогда Карамзин; то же самое действие произвело на сердца россиян уничтожение крепостного права. Произошел раскол в той самой среде, которая наиболее заинтересована этим вопросом; явились так называемые крепостники и так называемые эмансипаторы, явились ретрограды и либералы; отцы не узнавали детей, дети не узнавали отцов. Все это сгруппировалось в великом беспорядке около крестьянского вопроса, все это усиливалось вырвать вопрос из рук неприятельской партии и поближе прибрать к себе. Не надо ошибаться: в основании всей этой разладицы лежит крестьянский вопрос, один крестьянский вопрос, и ничего больше; все эти коммунизмы, анархизмы, нигилизмы и проч. – все это выдуманно впоследствии, все это только затейливые и не совсем невинные упражнения, сквозь которые проходит один мотив: упразднение крепостного права.

С одной стороны крепостники и ретрограды, с другой стороны эмансипаторы и либералы; вопрос заключается в том только, на какой стороне держатся отцы и на какой стороне – дети. Разрешив этот вопрос, мы легко уясним себе и то, кто, собственно, дерется.

Обращаясь к рассказу почтенного корреспондента «Мирового посредника», мы прямо видим, что драку произвели «люди старых порядков»; следовательно, это были крепостники. Но для того чтобы быть крепостником до такой степени, чтобы решиться защищать упраздненное право с помощью кулака, необходимо, чтобы человек, так сказать, всласть напился этим правом, проникся не только наружными красотоми его, но и тем тончайшим эфиром, который присутствует в самых сокровенных его тайниках. Очевидно, это возможно лишь при помощи долговременной и пристальной практики, и притом для тех только, кто не токмо семена сеял, но и жатву не один раз снимал. Все говорит здесь о долголетнем и благоденственном житии, все свидетельствует о старой, глубоко укоренившейся привычке. Молодое поколение не может иметь естественно-сочувственных отношений к упраздненному праву уже по тому одному, что оно практически не вкусило от плодов его: не успело. Для него не может даже существовать тех сложных и разнообразных причин любви, какие существуют для «людей старых порядков». Его понятие о сословном гонимом (если и сохраняются еще в нем такие понятия) держатся на иной почве, питаются иными соками; они умереннее уже потому, что не раздражаются присущими воспоминаниями о древнем великолепии. Таким образом, делается ясно, что крепостниками пылкими, ретроградами пламенными могут быть только отцы; ясно также, что и драться по поводу крепостного права могли только отцы.

Это делается еще яснее, если мы примем в соображение, что для отцов такое понятие не составляет даже ничего нового, что оно служит лишь продолжением старой традиции, гнездившейся в самом сердце крепостного права. Для того чтобы драться так, как дрались порховские наездники, то есть в продолжение полутора часов, и до такой степени, что «на другой день в зале были еще видны кровавые пятна», надобно иметь многое. Тут надо знать и теорию, и практику драки, надо иметь драку в крови, драку в мозгах. Ничем этим молодое поколение не обладает, да и обладать не может, по той простой причине, что не успело ни насладиться, ни наглядеться на тот порядок, в основании которого лежит драка.

Итак, первый вопрос решен: в Порхове дрались отцы; дрался Павел Кирсанов, позабыв, что в пылу драки могут смяться раздушенные и тщательно расправленные его усы; дрался Николай Кирсанов, позабыв, что в пылу драки он может повредить ту самую руку, посредством которой извлекаются тихие и сладостные звуки из прекрасного виолончеля. Дети не дрались – это верно; из слов корреспондента, напротив, можно заключить, что они даже уклоняются от всяких таких сонмищ, в которых может произойти драка, и, конечно, поступают очень благоразумно. Один г. Володимиров, к сожалению, не придержался этого правила.

Очевидно, стало быть, что в подобных случаях люди молодого поколения могут быть только жертвами (если они недостаточно осторожны, чтобы воздержаться от посещения слишком веселых сборищ), но отнюдь не жрецами.

Скажем здесь несколько слов об отношениях молодого поколения к этому великому

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru делу, которое провело такую резкую черту между нашим прошедшим и нашим настоящим. Положение «детей» очень странное. Ни в какой среде основная мысль Положений 19 февраля не встречала такого горячего сочувствия, как в среде «детей», и ни на кого не сыплется со всех сторон (даже и с той стороны, откуда всего менее можно было бы этого ожидать) столько упреков, сколько сыплется их именно на молодое поколение. Нигде не проявлялось такой страстной жажды служить делу именно в духе Положений 19 февраля, ниоткуда не пришло столько деятелей для нового дела, сколько пришло их из рядов именно молодого поколения, и ничья жажда не была столь мало удовлетворена, ничьим надеждам не предстояло столь решительного и горького разочарования.

Откуда это, милые молодые люди? или вы не прилежно занимаетесь?

Нет, они прилежны; они до такой степени прилежны, что даже немного идеальничают. Приступая к своему делу, они впадают в тон г. Громеки: чего-то трепещут, перед чем-то проникаются благоговением, закатывают глаза и даже подпевают тем кисленьким тенором, которым имеют обыкновение петь очень влюбленные пономари. Прилежание их примерное, преданность делу бескорыстная и беззаветная, честность самая строгая; стало быть, с этой стороны упрекнуть их нельзя.

Но, может быть, они зарываются? может быть, они увлекаются какими-нибудь тенденциями, идут дальше, нежели идет само Положение?

Нет, и этого сказать нельзя. Журналы и газеты, в изобилии передающие публике решения, состоявшиеся в мировых учреждениях по разным делам, и преимущественно по разным жалобам, свидетельствуют положительно, что, за малыми исключениями, не только закон уважается, но не допускается даже самомалейшего отступления от буквы его. Зная враждебность окружающей их среды, молодые мировые посредники действуют с осторожностью и благоразумием весьма похвальными, за исключением разве павлоградского посредника Р., о котором пишет в «Нашем времени» г. Герсеванов, будто бы он, как человек молодой и неопытный, увлекся сначала. Однако ж и он впоследствии, убежденный доводами павлоградских дворян, спokoялся, извинился и обещался исправиться. [68] Стало быть (за исключением опять-таки г. Р.), и от закона отступлений нет, по крайней мере таких отступлений, на которые можно было бы с удовольствием сослаться, как на капитальный обвинительный пункт.

А предубеждения против молодых мировых посредников все-таки существуют, и притом не только в тесной сфере так называемых крепостников, но и там, где, по-видимому, не должно бы и быть подобных предубеждений. Газета «Голос», неизвестно кем вдохновленная, уверяет, что это происходит от того, что посредники мало проникаются мнением «благоразумного большинства» («Голос», 1863 г., № 3). Но «Голос», очевидно, забывает, что большинства, и в особенности благоразумного, еще у нас не отыскано, а что то, что он называет большинством, в сущности, совсем не большинство, а уединенная корпорация, в последнее время сошедшая на степень секты.

Нам кажется, что причина разлада заключается вовсе не в недеятельности или недобросовестности молодых мировых посредников, и даже не в том, что они не проникаются мнением какого-то благоразумного большинства, а в том просто, что всякое истинно жизненное явление имеет свою неумолимую и неотразимую логику. Есть факты, про которые можно сказать: не человек обладает фактом, а факт человеком; есть факты, которые стирают жизнь целых поколений и выдвигают вперед совершенно новые, доселе прятавшиеся по закоулкам и захолустьям основы жизни. Они, в самом существе своем, уже заключают зерно бесконечного и безостановочного развития; этого развития нельзя остановить, как нельзя остановить логического развития мысли: если не допустить другого досказать эту мысль, сам доскажешь, или выищутся другие «другие».

Вот эта-то неотразимость последующего развития, собственно, и внушает опасения, хотя мы и сами не всегда сознаем ясно, что именно нас тревожит. Нам хотелось бы, чтоб явление остановилось в одном положении, а оно развивается, оно хочет исчерпать все последствия, которые естественным образом из него вытекают.

Нам хотелось бы, подобно Иисусу Навину, сказать: стой, солнце, не движься! а солнце все-таки движется, то есть не солнце, а земля (эту оговорку мы делаем, собственно, для «Русского вестника», чтоб он не обвинял нас в невежестве).

И вот мы сердимся и, не будучи в силах совладать с самым явлением, не имея

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru возможности остановить его развития, сваливаем всю вину на лица, которые к нему случайным образом прикосновенны. Ясно, что мы ошибаемся, ясно, что обвиняемые не только не управляют явлением, но, скорее всего, сами идут за ним, но потребность придирается, потребность обвинять и заподозрить кого бы то ни было так велика, что мы уже не рассуждаем и даже боимся рассуждать.

Во всяком случае, антагонизм существует, а недоверие к действиям мировых посредников (преимущественно молодых) выражается и часто, и ярко. Мы уже не говорим о формальных жалобах: жаловаться, конечно, всякий имеет право, хотя бы и без разумного основания, но не можем пройти молчанием протестов, которые для выражения своего нашли удобным избрать форму положительного насилия.

В последнее время примеров такого насилия рассказано в наших журналах три, один за другим.

Первый пример передан нами выше – это неслыханное зверство двенадцати порховских дворян.

Второй пример рассказан в 3 № «Голоса» за сей год. Дело заключается в том, что дворяне Сердобского уезда в особенности недовольны действиями мировых посредников Оз-на и Кр-ского. Г-н Оз-н жалуется, что в зале Сердобского городского клуба к нему подходили некоторые помещики и, громогласно выражая свое неудовольствие на его бездействие и нерадение к своим обязанностям, просили его выйти в отставку. Г-н Кр-ский жалуется, что его не только просили выйти в отставку, но один помещик, из отставных военных, вызвал его на дуэль. «Сердобский обыватель», который это описывает, хотя и оговаривается, что все это очень преувеличено, однако что-нибудь да было же в этом роде, коль скоро сам уездный предводитель сердобский, г. Ст-в, встревожился и, в качестве председателя уездного мирового съезда, писал к начальнику Саратовской губернии, что он находит невозможным открыть мировой съезд, «пока не только права, но и самая личность присутствующих (то есть посредников) не будут ограждены от неприятностей и оскорблений».

Третий случай рассказан очень трогательно г. Герсевановым в «Нашем времени» и произошел в Павлоградске. Дело в том, что там есть один ужасный мировой посредник Р., который куда-то все гнет, только не туда, куда хочется павлоградским дворянам. Покуда был в Павлоградском уезде «умный и гуманный предводитель дворянства, позволивший себе (?) одну минуту (??) вступить за г. Р.» (это подлинные слова г. Герсеванова), Р. кутил и увлекался напропалую; но вот «умный и гуманный предводитель» пал, а на место его избран Андрей Петрович Письменный. Кутить не стало больше возможности. В самом деле, на первом же мировом съезде г-ну Р. прочитали сильнейшую нотацию, а на другой день, на частном съезде дворян, прочитали ему нотацию еще сильнейшую, заключающуюся в том, что «офицер, боящийся выстрела, не может служить в рядах храбрых; хирург, падающий в обморок при виде крови, не может делать операцию; дворянин, лишенный примирительного характера, не должен быть посредником». Одним словом, г. Р. предлагалось оставить службу, и жаль только одного: г. Герсеванов не объяснил, что это был за частный съезд дворян, по какому случаю он происходил и где именно происходил? Кончилось дело тем, что г. Р., пораженный павлоградским красноречием, оказал павлоградское раскаяние и обещал на будущее время приложить павлоградское старание.

С первого взгляда факты эти могут показаться несколько загадочными не потому, чтобы встречалось какое-либо сомнение насчет существования насилия (в этом могут сомневаться только г. Герсеванов да «Голос»), а потому, что насилие действует что-то уж чересчур решительно и самоуверенно. По-видимому, и сила вещей, и сила закона – все на стороне мирового посредника; по-видимому, если он действует согласно требованиям закона и собственной совести, то может оставаться спокойным, если же и ошибается или даже против закона действует, то хотя и навлекает за это на себя взыскания, но все-таки взыскания, налагаемые в законном же порядке, а не вне его. Оказывается, однако ж, что все это теория и что теория у сердобских, павлоградских и порховских дворян сама по себе, а практика – сама по себе. Дворяне эти вообразили, что в них, как в некоем драгоценном сосуде, все совместились: и кротость голубя (особливо у порховских), и мудрость змия. Отчего они вообразили это?

Такого рода воображение может проистекать из двух равно важных источников.

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru Во-первых, может случиться так, что на стороне посредников находится только «видимая» сила, а на стороне их антагонистов – сила «тайная», покровительствующая, так сказать, под рукою. Это сила не высказывающаяся, но чувствуемая в воздухе, подобно едкой гари; это сила стыдящаяся и не формулирующая себя, но подстрекающая: «Держайте, дети, держайте! Я ничего не вижу!» Не предосуждая решение читателя, какой из этих двух сил отдать преимущество, мы, с своей стороны, находим, что сила тайная имеет на своей стороне ту выгоду, что ее нельзя ни уловить, ни поставить с очей на очи, ни уличить, и что, следовательно, она хотя и нейдет на пролом против законной силы, но подрывает ее беспрестанно, и притом самым воровским и изменническим манером.

Мы не называем эту силу по имени, во-первых, потому, что не желаем дразнить кого бы то ни было, а во-вторых, потому, что всякий читающий эти строки, наверное, может назвать ее сам. Цель ее – парализовать все добрые и плодотворные начала, заключающиеся в законоположениях 19 февраля, средство же, которое употребляется ею для достижения этого, весьма просто и состоит в том, чтобы всякими не хитрыми мерами отбивать охоту служить положению у тех, которые действительно этому делу преданы и, следовательно, могли бы принести ему наибольшую пользу.

Средство это, несмотря на всю свою незатейливость, весьма ловкое и притом совершенно национальное. Мы, русские, столько веков на разные манеры твердили, что

Законы святы,

Да исполнители лихие супостаты..

Мы до такой степени убедились в справедливости этого положения горькою практикой, что оно сделалось как бы непременным спутником пашей жизни, чем-то таким, без чего существование наше было бы не полно. Возьмите, например, павлоградский случай: наш «умный и гуманный уездный предводитель» – «и тот час же явились суд, правда и мир» (ирония это или не ирония – пускай судит сам г. Герсеванов). Прочитайте речь Андрея Петровича Письменного в изложении г. Герсеванова, вы увидите из нее, во-первых, что он «надеется, что павлоградские мировые съезды будут поистине мировыми» (мы, с своей стороны, надеемся, что они вместе с тем не перестанут быть и павлоградскими); во-вторых, он обращается к «благороднейшим дворянам» и говорит им: «В вас, благороднейшие дворяне, я должен иметь силу и значение для действия к общему благу». Одним словом, на первом плане стоит Андрей Петрович и «благороднейшие дворяне», они будут давать Андрею Петровичу силу, и он станет действовать. О Положениях 19 февраля Андрей Петрович совсем забыл, и это тем страннее, что в них-то именно, в них одних он, как председатель мирового съезда, должен был бы искать и опоры и силы. Любопытно было бы знать, во имя чего действовали павлоградские мировые учреждения при «умном и гуманном уездном предводителе»? Или тогда были все только супостаты?

Орудиями для отбивания охоты от службы неприятному делу являются обыкновенно те самые Ш-ны, Н-ны, М-ры и Ю-вы, о которых говорит сердобский обыватель. Личное их вмешательство в действия мировых посредников совершенно лишнее, по-видимому, они, наравне с прочими, могут найти для себя убежище и в законе, и в праве жалобы, и, наконец, в праве публичного оглашения неправильных действий, в котором никому и нигде не отказывается; но Ш-ны, Н-ны, М-ры и Ю-вы рассуждают не так; они думают: куда там еще с законами да с апелляциями да с оглашениями! закон в нас самих! И вследствие такого рассуждения призывают себе на помощь помещика из «отставных военных», который, по мнению их, заключает в себе и суд и расправу и который действительно «предлагает г. Кр-скому удовлетворение», то есть вызывает его на дуэль. И тут начинается целый ряд насилий, насилий смешных и невинных, по тем не менее в целом представляющихся невыносимыми. Произносятся остроумные речи, вроде того, что «офицер, боящийся выстрела, не может служить в рядах храбрых», начинаются кивания, мычания, визжания, предлагаются любезные вызовы на дуэль; одним словом, вчиняется безобразнейший *procès de tendance*, в котором общественный прокурор, вместо того чтобы формулировать обвинение, высовывает язык и делает угрозу носом. Почтенный корреспондент «Мирового посредника» говорит: «Если я не ошибаюсь, порховское происшествие есть первая попытка насилия над мировыми посредниками, первая попытка подействовать на мировые учреждения посредством устрашения». Но корреспонденты ошибаются; в этом его усерднейше разуверяют г. Герсеванов и сердобский обыватель, хотя они, по-видимому, и не подозревают, что воспеваемые ими подвиги павлоградских и сердобских обывателей принадлежат к разряду подвигов, именуемых насильственными. Конечно, порховское происшествие составляет в своем роде перл, но и сердобские судоговорения не дурны. Сердобские дворяне требуют, чтобы гг. Оз-н и Кр-ский

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru вышли в отставку, но где же они почерпали себе право выразить такое требование? Ведь Оз-н и Кр-ский даже не ими и выбраны! Помещик из отставных военных вызывает г. Кр-ского на дуэль... с какого повода, за что, зачем? Неужели это не насилие? Неужели тут есть какой-нибудь другой смысл, кроме смысла простого грубого гнета?

Итак, первая причина, обуславливающая возможность проявления всякого рода насилий против людей мирового института, заключается в существовании тайной силы, им покровительствующей и подрывающей силу открытую, законную.

Вторая причина легкой возможности проявления насилий лежит гораздо глубже и заключается, по нашему мнению, в совершенном отсутствии твердой почвы, на которую могли бы опираться мировые посредники. Конечно, самый закон, самое положение уже представляет опору, но выше мы сказали, что защита, которую можно бы искать в законе, постоянно парализируется какими-то скрытыми, но тем не менее совсем не вымышленными влияниями, какими-то закулисными колебаниями, которым нельзя даже прибрать приличного названия. Остается, следовательно, искать опоры инде, то есть там же, где ищет ее насилие. Вдохновенная газета «Голос» советует искать этой опоры в мнениях «благоразумного большинства», но гг. Оз-н и Кр-ский отвечают на это, что это мнение совсем не большинства, а «семейное мнение, образовавшееся в известных кружках». По-нашему, гг. Оз-н и Кр-ский правы; они очень хорошо понимают, что в таком деле, которое представляет собой непрерывный гражданский иск, должно принимать в расчет не одну, а обе стороны; они понимают, что мнение, собственно, составляется и высказывается одной стороной, а какое мнение имеет другая сторона – о том не только никто не интересуется знать, но даже никто и не говорит: точно его совсем нет и быть не может. Если бы оно и имело возможность высказываться с тою же ясностью, с какою высказывается мнение порховских, сердобских и павлоградских дворян, то, быть может, оказалось бы возможным найти в нем опору и противопоставить ее домогательствам противной стороны. Однако этого нет, и мировые посредники, волею-неволею, должны оставаться безмолвными даже против таких обвинений, как «хирург, падающий в обморок при виде крови, не может делать операций». Они не могут даже сказать, что обязанность их заключается не в том, чтобы защищать семейные интересы, а в том, чтобы служить общему делу всей русской земли: за такую продерзость их назовут нигилистами – и дело с концом.

Положение мировых посредников у нас и трудное, и новое. Мы привыкли всякого человека к чему-нибудь приурочивать: либо к сословию, либо к званию. Хоть коллежского регистратора, хоть отставного истопника, а нацепили-таки ему на шею; без этого нам как-то странно даже относиться к человеку, смешно на него смотреть. И вдруг являются люди, которые претендуют действовать во имя общих интересов земства, а не во имя миллионных частиц его, не во имя коллежских ассессоров, не во имя отставных истопников. Сверх того, эти люди и не чиновники (чиновников-то мы поняли бы), потому что деятельность их чисто специальная, внутренне устроительная и отнюдь не касается ни интересов казны, ни даже интересов общественного спокойствия. Там, где эти интересы выступают на сцену, посредники стушевываются и уступают место полиции. Понятно, что такое положение должно было перемешать все наши представления, понятно, что мы начали везде обонять измену, везде видеть «офицеров, не могущих служить в рядах храбрых». Но понятно также, как невыносимо должно быть такое положение для тех, которые в него поставлены, и как прав был г. сердобский уездный предводитель дворянства, утверждая, что личность мировых посредников не безопасна.

Вывести из этого положения мировых посредников крайне необходимо, и притом совсем не так трудно, как это представляется с первого взгляда. Для этого следует только пересмотреть «правила о лицах, имеющих право быть избранными в мировые посредники», и самый порядок избрания, существующий ныне, и, разумеется, пересмотреть их в тех видах, чтобы новым законом создать для них твердую нравственную опору, помимо той формальной опоры, которую предлагает сам закон. Это тем легче сделать, что самые правила, о которых мы говорим, суть правила временные, допущенные в виде опыта на три года.

Лицо, служащее мировому институту, в нынешней ли ограниченной его сфере, или в сфере более обширной, во всяком случае, не может быть ни чиновником, ни представителем семейных интересов; оно должно быть живым словом земства. Но это тогда только возможно, когда оно будет обязано своим появлением на поприще общественной деятельности избранию, и притом когда избирательной системе даны будут самые широкие основания. Тогда только избранное лицо будет пользоваться действительным доверием, и тогда только оно получит для действий своих не

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru мнимую, но положительную опору. Здесь уместно было бы нам коснуться вопроса о цензе, которым в прошлом году так усердно занималась наша журналистика, но об этом мы предпочитаем поговорить особо; теперь же мы исполняем только ту часть нашей задачи, которая заключается в исследовании действительных причин странного и исключительного положения мировых посредников в той среде, где им суждено действовать. Теперь посмотрим, в чем заключаются, собственно, обвинения, взводимые на мировых посредников (опять-таки в особенности на молодых). Несмотря на все их разнообразие, сквозь все эти обвинения звучит одна нота: гнет в одну сторону! Что это за «одна сторона», в которую гнет посредник, – это понятно и без объяснения; обратимся лучше к самому существу обвинений. Во-первых, нас прежде всего поражает общность и преувеличенность обвинений. Общность эта выражается бедностью фактов и какою-то кабалистической их неосвязаемостью. В то время, когда мы практически прикосновенны были к этому делу, нам случалось читать обвинения поистине жалкие: «Ставив, говорит, меня, коллежского асессора, на очные ставки с временнообязанным крестьянином, требовал, говорит, каких-то свидетелей в подтверждение моей жалобы», «вызывал, говорит, меня, коллежского асессора, в волостное правление и в присутствии моем предложил старшине сесть, сажал и меня, но я не сел»... Что прикажете сказать о таких обвинениях и как уверить жалобщика, что его обвинения не суть обвинения? Как вы ни уверяйте его, как ни сморгайте ваш отказ от разбирательства подобных сплетен, он не внемлет и будет говорить одно: да нет, это вы намеренно защищаете посредника, потому что вы – враг дворянского сословия вообще! Он готов и правительство заподозрить во враждебности интересам дворянского сословия! Тут есть какой-то камень в голове, который раздолбить совершенно невозможно и который препятствует пониманию самой обыкновенной идеи. Но это бы еще ничего, если бы дело ограничилось только такими обвинениями; есть другие обвинения, обвинения злостные, наводящие на мысль о какой-то революционной пропаганде. Нечего и говорить, что в этих обвинениях столько же смысла, как и в тех, которые возникли летом 1862 года, по поводу происходивших в Петербурге пожаров, и которые тщались инсинуировать, что пожары эти – дело молодого поколения, горький плод влияния, оказываемого молодою русскою литературою. [69] Нечего и говорить, что эти обвинения суть не более как развитие тех же общих обвинений, о которых было упомянуто выше, и что революционные тенденции и действия, на которые указывают обвинители, заключаются исключительно в том, что мировые посредники сажают старшин, а не заставляют их, в присутствии своем, стоять на ногах. Во всяком случае, обвинения эти действуют и производят впечатление. Почему они действуют? Не потому ли, что мы все, сколько нас ни есть, давая известному явлению право гражданственности, вовсе не думаем ни о сущности его, ни о тех прямых последствиях, которые оно влечет за собою? не потому ли, что, принимая реформу, мы все-таки питаем сокровенную надежду, что все останется по-прежнему, что реформа будет чем-то внешним, каким-то шутовским нарядом, которым прикроется древняя распущенность? И вот, когда оказывается, что надежды наши обмануты, мы кричим: «пожар!», несмотря на то что пожара совсем нет, и все происходит на строгом законном основании; мы обвиняем кого-то в революционных и коммунистических тенденциях и ни разу не спросим, кого же мы обвиняем, кого хотим мы распинать! Неблагодарное паразитическое, но благодарное; непредусмотрительное нелепое, но спасительное.

Во-вторых, никто не хочет принять в соображение то положение, в которое поставлен посредник обстановкою самого дела, которому он служит. Говорят: «посредник гнет в одну сторону»; несмотря на нелепую форму такого обвинения, вы чувствуете, что в нем может быть частица правды, вы чувствуете это тем яснее, чем ближе знакомы с практической стороною дела. Утверждая это, мы вовсе не думаем щеголять перед читателями каким-нибудь дешевым парадоксом; нет, мы очень положительно и очень серьезно утверждаем, что дело не может произойти иначе и что иное течение его тем невозможнее, чем честнее и чище представляется нам личность мирового посредника. Не надо никогда забывать, что посредник имеет дело с двумя сторонами. Одна сторона письменная, называющая сама себя цивилизованою и в самом деле пользующаяся известною долей образованности; эта сторона и средств больше имеет, да и формулировать свои домогательства в состоянии. Другая сторона – безграмотная, имеющая о вещах своеобразные понятия, которые, благодаря вековому сословному разединению, сделались даже недоступными для цивилизованного меньшинства; эта сторона, скудная средствами, легко пугающаяся, затрудняющаяся даже в способах объяснить толково свои желания и претензии. Обе стороны предъявляют перед посредником иск друг на друга; одна говорит бойко и вразумительно, другая хочет нечто сказать в ответ, но путается; путается не потому, чтобы она не чувствовала своего права, но просто потому, что ей впервые привелось предъявить это право, как право, что ее смущает непривычная обстановка, в которую она внезапно вовлечена. Неужели посредник имеет право

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru воспользоваться неумением и неведением? Неужели он не обязан вызвать сознание права там, где право в действительности существует, а нет только сознания его?

Нет, он не может пользоваться неведением, он обязан вызвать сознание права там, где его нет, во-первых, потому, что если и нет в данную минуту этого сознания, то никак нельзя ручаться, чтобы возможность этого сознания не явилась никогда. Она явится, быть может, позже, быть может, раньше, но явится – это несомненно. И тогда факт поправа бесспорного права принесет плоды горькие и далеко не безопасные: тогда начнется бесконечный и желчный процесс, и чем дольше и упорнее будет продолжаться непризнание права, тем желчнее и резче будут домогательства его. Кто может предвидеть, чем они разрешатся? Следовательно, в этом смысле, посредники являются не пропагандистами революционных идей, но предусмотрительными и благоразумными умиротворителями; следовательно, в этом смысле, чем откровеннее и яснее действия посредника, тем больше они обеспечивают будущее. Во-вторых, посредник обязан вызвать на свет скрывающееся и несознанное право и потому, что это дело всякого человека, имеющего понятие о чести и совести. Пользоваться неведением и простотою могут только люди, составившие себе из этого профессию, но никак не люди совестливые и честные; еще менее позволительно пользоваться простым неумением формулировать право, неумением, дающим иногда также широкое поле произвольным толкованиям и извращениям.

Нам скажут, быть может, что крестьянам предоставлено право действовать через поверенных, но это возражение едва ли можно назвать основательным. Не говоря уже о той затруднительности, с которою сопряжено отыскивание дельных и честных поверенных, мы просто отсылаем желающих знать, в каком положении находится у нас адвокатура по крестьянским делам, к статье г. Громеки, напечатанной в ноябрьской книжке «Отечественных записок» за 1862 год. Из нее читатель увидит, что это за адвокатура и до какой степени может быть приятна профессия адвоката. [70]

Таким образом, мировой посредник, незаметно для самого себя, одною силою вещей, делается и судьей, и ходатаем... Конечно, в таком отношении к делу не может быть строгой правильности, но кто же виноват в этом? Виноваты ли гг. Оз-ны и Кр-ские, и не поступили ли бы гг. Ю-вы, Ш-ны, Н-ны и М-ры точно так же, как и они, если б были поставлены в подобное же положение?

Как бы то ни было, но обвинения противу мировых посредников существуют, легкость противодействия им тоже не подлежит никакому сомнению. Странно было бы, если б протест замедлил своим изъяснением.

И он не замедлил; насилие явилось во всех видах и со всеми атрибутами, насилие дикое, позорное, вооруженное кулаками. Почтенный корреспондент «Мирового посредника» выражает удивление, что такого рода насилие выходит «из той среды нашего общества, которая и сама себя считает и другими признается высшим слоем, наиболее образованным и развитым сословием, тем, от которого всего менее следовало бы ожидать порывов такой необузданной дикости». Но г. корреспондент, очевидно, забывает, что драка только и возможна именно для этой среды, что для другой-то среды подобный исход деятельности невозможен физически.

Мы, с своей стороны, не удивляемся. Мы старались, по мере сил наших, изложить положение дела и взаимные отношения заинтересованных сторон; результат этих изысканий следующий: да, вражда возможна, протест возможен. Затем, в каких формах является этот протест, час ли продолжается драка или полтора часа, до этого нам нет надобности, ибо это дело домашнее. Это явление до того отвратительное, что омерзение, которое оно поселяет, мешает нам даже приблизиться к месту сражения и освидетельствовать его.

Одно можем сказать мы: порховские обыватели явили себя изрядными хирургами, и павлоградские обыватели могут смело дать им патент на делание операций – они не упадут в обморок при виде крови.

Гораздо важнее для нас другой вопрос: какого рода поучительный пример в будущем можно извлечь из порховской драки? Корреспондент «Мирового посредника» поднимает перед нами край завесы, скрывающей это будущее, и нам ничего не остается, как заключить настоящую статью словами его. «Худой пример подаете вы, господа, – говорит он, обращаясь к порховским обывателям, – вы беретесь за плетень, а что, если, глядя на вас и подражая вам, другие возьмутся за обух?»

С этим, действительно, нельзя не согласиться: худой пример!

Вл. Торопцев.

Примечание редакции. Статья г. Торопцева была уже напечатана, как мы получили из Полтавской губернии известие о новом скандале, происшедшем между мировым посредником Григорием Павлычем С. и помещиком Александром Павлычем Б. Статья, трактующая об этом деле, подписана псевдонимом «Не тронь меня» и напечатана в «Современнике» быть не может, как потому, что она очень многословна для такого пакостного дела, так и потому, что слишком резко идет вразрез требованиям грамматики (вероятно, это последнее происходит от того, что она переписана не совсем грамотным переписчиком). Но мы не считаем себя вправе передать здесь содержание этой статьи. Дело в том, что мировой посредник, поручик С. и помещик, поручик Б., жили сначала очень дружно, «говорили друг другу ты, истребляли вместе наливку и другие вина, позволяя себе при этом разные вольности (?)». Однако ж между ними пробежала черная кошка; почему пробежала эта кошка – корреспондент не объясняет, однако ж можно догадываться, что кошка пробежала именно потому, что поручик С. сделался посредником, а поручик Б. остался помещиком. По словам корреспондента, посредник начал притеснять Б. и бунтовать его имение (это обыкновенное обвинение, которым корреспонденты уязвляют мировых посредников); однако ж, хотя в действиях С. и замечает г. «Не тронь меня» притеснение, тем не менее по произведенному исследованию оказалось, что Александр Б. действительно обходится с крестьянами дурно, за что и предан суду. Стало быть, г. С. не совсем не прав, и следовательно, за сим оставалось бы только предоставить дело законному его течению. Но вышло не так. Посредник С. приезжает к помещику З. для введения в действие уставной грамоты; по окончании этого дела помещик З. приглашает посредника отобедать; на обеде присутствуют родственники г. З., исправник и братья Александра Б. Егор и Степан. Во время обеда является к З. помещик Александр Б. и просит братьев своих возвратиться в дом, куда будто бы требует их отец (какова военная хитрость и какова вместе с тем засада!). Естественно, З. (его следовало бы за сию штуку полководцем сделать!) приглашает Александра Б. остаться обедать: «У меня этого не водится, – говорит он, – кто приехал ко мне к обеду, садись! – иначе обидишь!» Делать нечего, Александр Б. садится, и начинается то развратное театральное представление, которого жертва облюбвана и обречена заранее. Александр Б. начинает обращаться к С. с разными деловыми вопросами; С. ему отвечает, что он не имеет удовольствия его знать. По нашему мнению, С. совершенно прав: никто не имеет права тревожить его вопросами, касающимися его должности, в то время, когда он ест и находится в частном доме в качестве частного человека. Но Александр Б. не смущается этим и впутывает какую-то Марью Степановну.

– Зачем, – говорит он, – вы распускаете слухи, что Марья Степановна была в кабинете у Александра Павлыча? вы мерзавец! вы вор!

«Надобно заметить, – прибавляет корреспондент, – что эта женщина очень хорошенькая и притом необыкновенной нравственности».

С. не отвечает (желательно было бы видеть хозяев – свидетелей этой сцены! чай, «хи-хи-хи! да ха-ха-ха!»). Тогда Б. повторил это несколько раз, «и ответа не последовало». Затем приводим подлинником слова самого корреспондента. «Когда же Б. отошел от него (от посредника), то посредник С. бросившись на Александра Б., ударил его по уху. Александр Б., подвернувшись, схватил посредника Григория Павловича С. одною рукою за волосы, другою колотил по зубам; потом, бросивши его на пол, еще повторил ту же самую зубную операцию. Михаил Иваныч Б. (письмоводитель посредника) и сам хозяин З. бросились оборонять; последний из них от испуга упал в обморок (догадался!), дамы (так тут и нежный пол присутствовал?) подняли крик. Посредник С., лежа в объясненном положении, стремился сделать выстрел из револьвера, но Степан Б. (брат дантиста Александра Б.) вырвал из рук таковой (истинно братская любовь!), а у него вырвала из рук какая-то дама»...

Мы не думаем, чтобы нужно было выводить какое-либо заключение из этого факта. Но не можем скрыть, что нам, в этом деле, всего более жалким кажется г. «Не тронь меня».

ДРАМАТУРГИ-ПАРАЗИТЫ ВО ФРАНЦИИ
Les ganaches[51], par Victorien Sardou.

Le fils de Giboyer, par Émile Augier.

Пускай нам доказывают, пускай убеждают нас, что человечество не может останавливаться в своем развитии, а тем менее падать, и что в этом смысле выражение: «падение древнего мира», сопоставленное выражению: «наступление эпохи варварства» – есть не более как близорукий парадокс, не более как фраза, лишенная всякого значения. Мы верим этим убеждениям только отчасти, то есть в той мере, в какой они относятся до истории человечества в ее общих очертаниях, в ее конечных результатах. Тут действительно выходит так, что результаты оправдывают средства и что, на практике, как бы осуществляется пресловутое изречение доктора Панглосса: все идет к лучшему в лучшем из миров! Тут самая неурядица, самая нравственная анархия, характеризующие некоторые эпохи истории человечества, кажутся легко объяснимыми вторжением новых сил, новых жизненных элементов, которые еще не опознали себя и потому пребывают некоторое время в брожении. Да, хорошо живет человечеству... в общем фокусе! всё-то успех, всё-то движение вперед! Даже тьма, даже искажение человеческого образа, даже полнейшее нравственное рабство – и то движение вперед!

Но увы! идея «человечества» едва-едва начинает проникать только в историю человечества, но и не думает еще заглядывать в самую жизнь человечества. Увы! человечество живет не общими чертами, питается не отдаленными результатами, которые когда-нибудь оправдают близкие страдания. Увы! оно живет даже не всею своею массой, а только осколками этой массы, роковою силою взлетающими на верх... Оно выносит на себе, оно выкупает ценою своей крови все эти замешательства, все эти нравственные анархии, которые в будущем сулят богатую жатву, все эти «средства», которые, впоследствии, будут «оправданы результатом»...

Вот в этом-то ближайшем и незаносчивом смысле, выражение «владычество варварства», следующее непосредственно за выражением «падение общества», становится уж совсем не столь фальшивым, как это кажется с первого взгляда, и если несправедливо употреблять его в абсолютном значении, то весьма и весьма позволительно применять к данному моменту общественного развития.

Быть может, читателю покажется несколько странным, что мы начинаем так громко по поводу столь негромких явлений, как гг. Сарду и Ожье, однако ж слова наши вовсе не заключают в себе ни напыщенности, ни преувеличения. Если явления эти и действительно ничтожны сами по себе, то они занимательны для нас, как характеристические признаки, как порождение известного жизненного строя, и в этом смысле чем они ничтожнее, чем беднее содержанием, тем драгоценнее для наблюдателя. Это явления, неизгладимыми и постыдными клеймами ложащиеся на целую эпоху.

Мысль человеческая, с той самой минуты, как она сознает в себе стремление обмирщиться и сделаться общим достоянием человечества, постоянно ищет преодолеть все преграды, которые представляются ей на пути к этой цели, неустанно ищет свободы. Но эта свобода достается не легко, и борьба, которая ей предшествует, проходит через многие фазисы.

Прежде всего, мысль, еще робкая и слабая, имеет дело с простым и несложным гнетом грубой силы. Тут мелодия развивается просто: с одной стороны ясное и не терпящее отговорки запрещение, вооруженное целым арсеналом карательных мер, с другой стороны – покорность и безмолвие. Как ни тяжки подобные моменты в истории мысли, но в них есть, по крайней мере, какая-то мрачная логика. Мысль преследуется гуртом, без различия оттенков ее; принимается за исходный пункт, что мысль, какова бы она ни была, заключает в себе яд. Конечно, такой взгляд на мысль безотраден, но, по крайней мере, он имеет за себя достоинство определительности. Он даже, может быть, не безвыгоден и для самой мысли, в том смысле, что вынуждает ее опознаться и окрепнуть. Мысль безмолвствует, но не умирает; во всяком случае, она не растлевается. Общество, на котором отражается тот же гнет, который царит и над мыслью, чувствует и понимает это. И, несмотря на темные извороты, к которым прибегает мысль для своего выражения, несмотря на покровы, которыми она одевает себя, чуткое ухо общества схватывает на лету недозвучавшую ноту, чуткий ум невольно подсказывает недосказанное слово...

Но как ни силен, как ни всемогущ кажется гнет грубой силы, а и он не может быть вечным. То неразнообразное внутреннее содержание, с помощью которого обеспечивалась живучесть силы, исчерпывается само собою, исчерпывается потому, что дело скоро доходит до геркулесовых столпов, дальше которых идти некуда. Гнет сам растлевается потребностью уступок, потребностью некоторой свободы, на

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru крупичах которой он хочет поставить для себя пьедестал в новом вкусе. Этот второй период, в который вступает мысль, самый для нее пагубный; быть может, что в общем ходе вещей он и представляется прогрессом, но сам по себе, но в данный момент этот период есть период самого тяжкого, самого неистового мысленного разврата. Мысль, бывшая до тех пор силой, несмотря на слабость свою, мысль, которая до тех пор группировала около себя, во имя своего угнетения, все лучшие соки общества, мгновенно мельчает и растлевается; она становится более ясною и доступною (однако не вполне же ясною, не вполне же доступною), но вместе с тем нисходит на степень ремесла, делается орудием в руках проходимцев и выжиг, утрачивает свою чистоту и брезгливость, одним словом, становится доступною каким-то особенным соображениям, которые в просторечии именуется подкупом. Как ни горек столь быстрый переход от полного безмолвия к полному разврату, но он не необъясним. Потребность свободы слишком живая потребность, чтобы не желать воспользоваться этим даром хотя в той степени, насколько возможно это физически, а так как свобода дается только на известное расстояние и на известных условиях, то и последствия принятия подобной свободы очевидны. Тут, собственно, нет свободы мысли, а только есть снисхождение к известному оттенку мысли, есть попытка допустить именно этот, а не другой оттенок к участию в общем течении жизни. Естественно, что, однажды став на эту покатость, однажды приняв свободу не как законный дар, а как подачку, мысль спускается все ниже и ниже, следуя в этом случае единственно законам тяготения; естественно также, что она соблазняется и, вместо того чтоб иметь в виду одну истину, одну справедливость, увлекается совсем другими соображениями; вместо того чтоб анализировать явления жизни, она принимает тон исключительно дифирамбический. Поднимается общий гвалт; являются публицисты, которые знать ничего не хотят; являются беллетристы, которые знать ничего не хотят; все сыты, все накормлены, все пляшут, потому что нет ниоткуда отпора, потому что высказываться ясно может только один паразитский, сыто-ликующий унисон... Образуется даже особый какой-то слог для выражения мыслей; всё «позволительно думать», да «смеем надеяться», да еще «не знаем, смеем ли мы надеяться»; одним словом, сквозь каждое слово так и сочится: «мы, дескать, может быть, и врем, но, если нужно, мы будем врать и наоборот!» А честная мысль все-таки не умирает; несмотря на свое безмолвие, она протестует своим отсутствием из общего игрища, устроенного подкупною мыслью; она подрывает унисон уже тем, что предоставляет его собственному однообразию, собственной его пошлости. Унисон видит это; он даже желал бы, чтоб ему возражали, чтобы можно было устроить нечто вроде примерного сражения, но честная мысль благоразумно от этого воздерживается и не без удовольствия усматривает, как унисон падает под тяжестью собственного бессилия.

Тогда наступает третий период развития мысли...

При настоящем положении дел во Франции, слово (отныне мы будем употреблять это выражение) именно находится во втором моменте своего пути к полному освобождению. Там есть и наемные публицисты, и наемные беллетристы; недоставало наемных драматургов – явились и они. Откуда идет этот систематический подкуп лучших, умственных сил народа; кто виноват в нем, отдельные ли лица, имеющие возможность задавать тон обществу, или самое общество – об этом мы рассуждать не станем, тем более что мы, пожалуй, не прочь свалить вину и на общество. Дело в том, что растление дошло до крайних пределов и что Франция, которая всегда казалась каким-то недостижимым идеалом всякого рода порываний и благородств, внезапно упала в этом отношении на самую низшую ступень.

Какое-то нравственное и умственное каплуновство тяготеет над страной, каплуновство, выражающееся то в томных и заискивающих, то в злобных и остервенелых дифирамбах полному, безапелляционному доволствию существующими формами жизни. Или цикл тревог истощился? невольно спрашивает себя изумленный зритель этого озлобленного торжества; или уже и искать больше нечего?

Чувство каплуновского удовлетворения проникло все классы общества, все возрасты. Даже молодежь, которая всего менее способна удовлетворяться, даже и та подписала свое удовольствие не только без борьбы, но даже и без возражения. Так, по крайней мере, свидетельствует об этом Прево-Парадоль; он уверяет, что не только в общей массе молодежи не замечается никакого стремления к политическим интересам (то есть к свободе), но даже и в меньшинствах (то есть отдельных кружках) ее.

«Тем с большим удивлением и грустью, – говорит он, – мы видим, что политический индифферентизм овладел даже разумным и трудящимся меньшинством нашего молодого

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru поколения, и думаем, что ни одна из существующих во Франции партий не будет достаточно близорука, чтобы радоваться этому явлению. Мы знаем молодых ученых, которые хвалятся именно тем, что они только ученые, молодых литераторов, которые ни о чем другом не думают, кроме как о литературе, молодых философов, которые, закрывая глаза и затыкая уши, с самодовольством говорят, что они не хотят ничего знать, ни об чем заботиться. Никто не думает о том, что наука и искусство нисколько не теряют от того, что любят и занимаются интересами страны. Отчуждаясь от них, избранники молодого поколения ставят сами себя на один уровень с толпой; добровольно осуждая себя на неведение того, о чем некогда красноречивый голос говорил, как о великих судьбах человечества, они делаются достойными того нравственного падения, в котором находятся, они достойны того, что честные люди считают их погрязнувшими в бездну разврата и невежества. При этом общем индифферентизме лучшие люди смешиваются с худшими; всем чудится, что Франция породила нечто чудовищное: выкинула из утробы своей каких-то иностранцев. Некоторые из них пришли к нам, чтобы научиться, большая часть – чтобы забыться в вихре материальных наслаждений; всех так и хочется спросить, откуда они пришли и в какой части света находится их отчизна?»

Читая эти проникнутые законной горечью строки, читатель с некоторым изумлением спрашивает себя: ужели в самом деле время политических интересов миновало? ужели французы в самом деле до такой степени счастливы, что могут спокойно предаваться спокойному труду? Ужели возможны и там какие-то безличные Вертяевы, [72] всласть твердящие о труде скромном, о труде неслышном?

Нет, это только самообольщение; нет, это сон. Конечно, везде могут найтись люди, которые охотно смеются над интересами политическими, и смеются не просто по страсти к зубоскальству, а во имя других, более плодотворных интересов, которые будто бы затмеваются политическими; однако ж здесь забывается одно весьма важное условие, а именно, что разработка политических интересов prepares почву для тех «других», о которых так много заботятся. Здесь, очевидно, забывается то, что, отклоняя политические интересы, мы вместе с тем отдаляем и «другие». Ясно, что тут есть ошибка, ошибка, быть может, непреднамеренная, но все-таки ошибка.

Эта ошибка тем горче, что гораздо больше выигрывают люди, которые воспользуются ею для целей совершенно особенных, воспользуются с полным сознанием, что это ошибка. Франция, в этом случае, может служить живым и поучительным примером. Если молодое французское поколение обманывается, если разочарованное полувекowymi волнениями и страданиями, не принесшими никакого непосредственного плода, оно искренно пришло к убеждению, что политические интересы бесплодны в самой своей сущности, то с другой стороны находятся тысячи выжиг и проходимцев, которые отнюдь в этом не уверены, но пользуются всякого рода недоумениями, всякого рода упадком энергии совсем для иных целей.

Как бы то ни было, но факт существует, и непризнание его тем менее возможно, что он имеет сзади себя целый арсенал орудий, которые могут без больших издержек убедить сомневающихся. Нива парламентских прений, нива журнальной прессы захламощена легионами различных *chevaliers d'industrie*, [73] поочередно бывавших и легитимистами, и орлеанистами, и республиканцами; Вероны, Ла-Герроньеры, Лимейраки и Грангилье, в расписанных золотом ризах, являясь перед публикой и с неслыханным нахальством кричат цыц на тех, кто смеет в чем-либо сомневаться или быть чем-либо недовольным. Доктрина доктора Панглосса возводится на степень официальной; каждый год, в одно и то же время, в одних и тех же выражениях повторяется уверение, что господствующий порядок, вызвавший из щелей всех этих Грангилье, есть порядок переходный, нечто вроде временного кошмара, необходимого для того, чтобы «увенчать здание»; но годы идут, сменяя друг друга обычной чредой, а здание не увенчивается, Лимейраки озлобляются всё больше и больше, а кошмар делается чем-то вроде хронической болезни, которая до тех пор не оставит организма, пока не разрушит его окончательно.

Нельзя, однако ж, не сознаться, что положение французского официального публициста очень трудное и очень скользкое. Он постоянно должен раздражаться по поводу чужой мысли, чужого вождения; отдавши внаймы посильное свое дарование, он обязывается по поводу чужого интереса курлыкать с таким же озлоблением, как бы интерес был его собственный. Он может и умиляться и огорчаться, может надеяться и обманываться в своих надеждах, по, проявляя разнообразные чувства, он прежде всего обязывается не забывать, что чувства сии не более как колеса хитро придуманной машины, которые начинают действовать только тогда, когда заводятся постороннею рукой. Покуда ему позволяют жить – он живет и заявляет о

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru своим существованием самую беспутную, самую наглою болтовню, но вдруг, среди бесстыдных вакханалий слова, раздается голос: Грангилью, умри! – и Грангилью умирает безотговорочно, хоть он и жив. Конечно, это дает ему возможность, под предлогом угнетения его самостоятельности, требовать известного вознаграждения за свое притворство, но и самое это вознаграждение, думаем мы, не может выкупить всех неприятностей, сопряженных с званием наемного публициста.

Ибо не надо ошибаться: несмотря на то что появление подобных публицистов оправдывается вполне нравственным настроением самого общества, это последнее все-таки презирает их. Оно смотрит на них, как на лакеев, которые ни в каком случае, ни в каких обстоятельствах, никогда и нигде противодействия оказать не могут; оно видит в них слепые орудия для исполнения какой бы то ни было воли, для достижения каких бы то ни было целей. Если господствующее направление изменится – изменится и их направление, в том не может быть ни малейшего сомнения. Об этом их никто не спрашивает, этим никто и не интересуется. Одним словом, облако общественного презрения постоянно идет по пятам за этими живыми сосудами насущных истин и неблагоприятных сделок с торжествующею силою.

Но кроме того, что наемный французский публицист обязывается раздражаться чужою мыслью и в награду за это пользоваться презрением даже тех, которые его с этою целью нанимают, есть и еще одно не малое неудобство в его положении: он постоянно находится под страхом не угадать действительной мысли своего нанимателя, под страхом выказать или излишнее усердие, или излишнюю осторожность. Случается это весьма просто. Паразит-публицист не всегда имеет дело с фактами уже совершившимися; если бы обязанность его состояла именно в этом одном, то она была бы легка и проста: пой повальные дифирамбы всему и всем – и дело с концом; но в том-то и трудность, что в некоторых случаях он должен, так сказать, прозревать, он должен раздражаться и дифирамбировать на счет будущего. Это происходит отчасти от того, что совершившихся фактов, достойных общего внимания, иногда в данную минуту не бывает, отчасти же потому, что читатель желает иметь сведения не об одних частных фактах, но и о целом строе, о всей системе, которая способна породить подобные факты. Вот тут-то обыкновенно и обсекаются наемные публицисты; увлеченные отдельным каким-нибудь фактом, они начинают выводить из него всевозможные узоры, начинают завихриваться в полетах своей собственной фантазии, выводить заключения, обещать и надеяться. Объясним это примером.

Положим, что французское правительство сочло возможным уничтожить какой-нибудь тягостный для народа налог; натурально, наемный публицист приходит от этого в умиление. Он начинает свою речь свысока; он говорит, что существование налога, о котором идет речь, равно как и других налогов, имеющих подобный же характер, показывает младенческое состояние финансовой системы; что правительство видит всю их несправедливость, и потому позволительно надеяться, что на будущее время, при выборе финансовых способов, будет обращено внимание на большую и большую их равномерность. Одним словом, дается издавека понятие, что задание, о котором так часто во всеуслышание объявлялось, недалеко от увенчания. Министр финансов читает эту униженно-дифирамбическо-политико-экономическую галиматью и не верит глазам своим. Он только что выработал с своей стороны проект об увеличении другого подобного же налога! да и уничтожая первый налог, он отнюдь не думал об увенчании здания, но просто сделал лишь уступку слишком настоятельно выразившемуся общественному мнению! И вдруг этот вынужденный акт его деятельности связывают с какою-то системой, – и в какую минуту? в ту самую минуту, когда для него это всего менее желательно! и кто связывает? Грангилью, тот самый Грангилью, который в понятии всей образованной публики слывет за вдохновенного свыше!

Натурально, Грангилью призывают и дают ему реприманд; натурально также, что министр не унывает и, несмотря на надежды, возбужденные наемной газетой, приводит в исполнение свое новое предположение. Грангилью, с своей стороны, тоже не унывает; он надеется, что читатель, ежедневно забрасываемый грязью его дифирамбов, уже забыл, что было писано в газете несколько номеров тому назад, и начинает петь дифирамб новой мере с тем же умилением, с каким он накануне предсказывал невозможность ее.

Говорят, будто Грангилью поступает таким образом не из корыстных каких-либо видов, а просто из усердия, а также потому, что хочет доказать читающему люду, что он протей. Но это невероятно; ибо всякому очень понятно, что нельзя играть целую жизнь какой-то неслыханный политический водевиль с переодеванием, не

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru возбудив к себе полного и самого беспощадного презрения. А подобного рода положения даром не принимаются.

Итак, с одной стороны, бесконечное самоуничужение, сопровождаемое общественным презрением, с другой стороны, страх переусердствовать или недоусердствовать – вот две мучительные альтернативы, между которыми наемный публицист обязывается вести утлую ладью свою. Но унижение наемника возвышается иногда до героизма, когда он, в выгодах своего нанимателя, считает долгом высказать ему несколько горьких истин. Разумеется, это такого рода истины, которые приятны нанимателю, но в сочувствии к которым ему, до поры до времени, совестно сознаться. Иногда наниматель желал бы предпринять какое-нибудь лихое дело, но почему-то колеблется; что ему всеми внутренностями хочется учинить это дело, – в том не может быть сомнения, но он еще боится, он опасливо осматривается по сторонам, чутко к чему-то прислушивается и все ждет, не будет ли откуда-нибудь приятного насилия, опираясь на которое можно было бы сказать: «Я не хотел этого, но меня заставили так поступить раздающиеся со всех сторон голоса, меня просто изнасиловали!» Наемные публицисты в этом случае более нежели драгоценны, ибо они-то именно и представляют эти раздающиеся со всех сторон голоса; они и басами заливаются, и дискантами подвизгивают, и хотя, в сущности, все это исполняет один и тот же Грангильо, но издали кажется, что их много.

Предположим, например, что Австрия, утомленная непрерывными попытками Венецианской территории к освобождению из-под чужеземной власти и к слиянию с Итальянским королевством и убеждаемая общественным мнением Европы если не в законности этих попыток, то, по крайней мере, в естественности их, решается, наконец, сделать сама и добровольно то, что, быть может, когда-нибудь она вынуждена будет сделать недобровольно. Разумеется, ей жаль расстаться с одним из алмазов, украшающих корону габсбургского дома, разумеется, прежде нежели приступить к этому, она еще осматривается и прислушивается. И вот тут-то является на сцену драгоценный австрийский Грангильо, который ни с того ни с сего начинает грубить и выказывать преданнейшую продерзость. Он доказывает, что предполагаемая мера противна не только австрийскому патриотическому чувству, но и выгодам самих венецианцев; он раскапывает историю Венеции и находит, что истинной свободы там никогда не бывало, что свобода существовала только для сильных мира, слабые же находились в постоянном угнетении, и что только австрийское владычество положило предел такому вопиющему порядку вещей; он обращается к последним событиям и усматривает, что они произошли не вследствие народного желанья, но вследствие интриг и происков одной партии; он обращается к Венеции с самыми бесцеремонными ругательными выражениями, зная, что Венеция не может отвечать и не ответит ему. Он не понимает и не может понять, что бывают в жизни народов такие торжественные минуты, когда голос честного человека, хотя бы даже патриота-австрийца, обязан умолкнуть, когда ни один порядочный человек не позволит себе ни тени предосуждения в пользу той или другой стороны, а тем менее оскорблять или обвинять ту из них, которая слабее. И вот, благодаря презренному паразиту журналистики, народная распря продолжается, а австрийское правительство, само забыв, что голос паразита наемный и что подобные выражения национального консерватизма покупаются сотнями за самые малые суммы, откладывает свою решимость далее и далее и медлит сделать то, что могло бы в данную минуту сделать с полным сохранением своего достоинства и что когда-нибудь сделает без сохранения достоинства.

Очевидно, что такого рода паразиты суть самые опасные враги страны и правительства и что кажущиеся их услуги тем более ничтожны, что они шиты белыми нитками, что смысл их понятен всем и каждому и что отвращение, которое они поселяют, ни для кого не тайна.

Паразит всегда на стороне сильного против слабого, угнетателя против угнетенного, богатого против бедного. Это одно уже характеризует достаточно его деятельность и рисует его личность.

Недавно нам случилось прочесть в одной русской газете следующую оценку деятельности политических изгнанников.

Отчуждение от своего отечества есть одно из величайших несчастий для человека, – говорит неизвестный автор. Что придумает изгнанник-иностранец (дело идет об иностранцах-изгнанниках) сказать о свободе, когда уже на нее потрачено столько красноречия, умознаний? Он станет осмеивать и проклинать тех, которых считает угнетателями своей страны, но это уже сделано до него другими, на других языках,

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru понятных его соотечественникам, и сделано лучше, с жаром негодования, с большим блеском таланта (почему же с большим? будто у изгнанника не может быть и таланта?). Он коснется общественного быта, учреждений, укажет на раны отечества, предложит врачевание их, но обличителей и докторов являлось уже и до него в неимоверном числе, людей с специальными знаниями, с долголетним изучением предмета, с любовью к нему, с терпением, мужеством, ясною мыслью (непонятно, почему всего этого нельзя предположить у изгнанника?).

За что он ни хватится, все было уже в человеческих руках, везде вспаханное поле, в каждое подземелье проник какой-нибудь луч света с родного или чужого неба. Несчастье не послужит ему заслугой, изгнание не вменится ему в преимущество, свободная речь не причислится к мудрости.

Как простой солдат, он должен вступить в битву с армией соперников и если грудь его не вынесет напора страшной силы, то, изгнанник он или нет, дома или на чужбине, ветер разнесет его слова, гробовое равнодушие будет ему ответом.

Несмотря на кудреватую напыщенность этих слов, мысль, положенную в основание их, нельзя не признать правильною.

При известных обстоятельствах действительно может быть плодотворною только практическая деятельность, которая недоступна политическому изгнаннику. Совсем не потому не может он проявить своей деятельности во всей ее силе, чтоб у него было менее таланта, или чтоб мысль его была не ясна, а просто потому, что он оторван от родной почвы, что эта последняя составляет организм живой, непрестанно изменяющийся и развивающийся, и что человек, не присутствующий при этих изменениях и развитии, не находящийся в самой середине их, не может усвоить их себе органически. Но еще с большею основательностью можно применить слова неизвестного публициста к публицисту-паразиту. Этот последний – тот же политический изгнанник, хотя живет и дома. Обязанный быть чуждым развивающейся жизни и даже нередко идти вразрез новым требованиям, ею выработанным, он положительно уравнивает сам себя политическому изгнаннику, он чужой между своих, он мертвец между живых и, сверх всего этого, покрыт еще вонючею слизью презрения, которая, как своего рода броня несокрушимая, защищает его от слишком чувствительных прикосновений. Про него с гораздо большим основанием можно сказать, что «ветер разнесет его слова, гробовое равнодушие послужит ему ответом»...

Но довольно о публицистах-паразитах. Это явление отвратительное и горькое, но оно все-таки еще ничтожно, по своей нравственной сущности, в сравнении с тем, которое представляют паразиты-художники.

Как ни презренно и горько паразитство в области публицистики и памфлета, все же его чем-нибудь можно объяснить себе и помимо гаденьких и мелочных побуждений личности. Таким образом, в виде облегчающего обстоятельства можно выставить вперед, что публицист сделался сам жертвою неустойчивости и крайнего колебания современного общественного и политического положения, что это колебание может хоть кого вовлечь в ошибку и заблуждение, что, раз ставши на ошибочную точку, публицист невольно делается жертвою волны, уносящей его все вперед и вперед по тому же ложному направлению; а там примешается оскорбленное самолюбие, а там желание поставить на своем, и так далее, без конца. Конечно, все это не составляет еще оправдания, тем не менее в глазах людей снисходительных может служить к облегчению вины. В самом деле, политическая сфера, при настоящем положении вещей, совсем не то, что сфера нравственная. Если в последней встречается некоторая запутанность в определении понятий самых существенных (как, напр., понятия о преступности действия, о зловредности или благотворности участия страсти в человеческих действиях и т. п.), то, во всяком случае, тут гарантируется полная свобода во взгляде на известный жизненный акт, принадлежащий к нравственной сфере. Это и понятно; вопросы, возникающие из этой сферы, не таковы, чтобы требовали разрешения немедленного и запутывались ежеминутно всплывающими наверх мелочами жизни; это вопросы вечные, к которым можно относиться спокойно и которые от разности взглядов не затемняются, но разъясняются, не проигрывают, а выигрывают. Напротив того, вопросы политической сферы требуют разрешения немедленного, почти ежедневного, представляют работу до того мелочную и сбивчивую, что в ней мудрено опознаться. Не только те, которые систематически и злостно посвятили себя дифирамбическому служению известным интересам, хотя бы то было и во вред стране, но и те, которые действительно посвящают себя исключительному служению стране, могут впадать в произвольные

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru грубые ошибки. Все это делает преступление паразитов-художников гораздо более тяжким, нежели преступление паразитов-публицистов. Все это делает также, что число первых, даже в тех обществах, где политический разврат дошел до крайних своих пределов, всегда ничтожно сравнительно с числом последних. Кроме того, что паразитство само по себе противно чистому нравственному принципу, оно противно еще и потому, что фаталистически осуждено преследовать доброе, если оно угнетено, и защищать злое, если оно торжествует.

Но французы ухитрились – таки внести паразитство и в сферу искусства. Оно явилось туда не в виде сатиры, бичующей общественные или людские пороки, не в виде плача над гибнущим обществом, не в виде крика в пользу угнетенного и забытого добра, но в виде безусловного дифирамба грубой силе, в виде оскорбления, брошенного не могущим защищаться побежденным.

Явились два комедианта: гг. Ожье и Сарду, которые не постыдились отнестись к побежденным политическим партиям с наглостью, тем более неслыханною, что она ничем не подкрепляется, которые, позабыв всякий этикет, не нашли ничего другого сказать по поводу побежденных, кроме голословного и площадного ругательства. Для достижения этой цели они выбрали форму наиболее удобную: форму комедии. В сочинении, где на первом плане стоит чистая мысль, надо было бы доказывать, надо было бы сравнивать; в комедии – достаточно нацепить известное количество смешных и нелепых качеств на одно лицо и известное количество добродетелей на другое, и подвиг совершен. Авторам нет надобности до того, что в их произведении нет ни малейшей тени жизненной правды, что лица, ими изображаемые, на каждом шагу противоречат самим себе; им нет дела до того, что их комедии, кроме фантазмагорической их нелепости, представляют еще и весьма гадкий поступок; им даже и до того нет дела, согласен ли этот поступок с их собственными мыслями и убеждениями. Идол, которому они кланяются, находится не внутри их, но в той развратной толпе наемных или обезумевших от торжества клакеров, которые неизменно следуют за всяким успехом и которые своим прикосновением делают омерзительным всякое дело.

Мы не станем рассказывать содержание обеих комедий (в настоящее время они уже даются в Петербурге на Михайловском театре), но заявляем об них, как о факте. Парижская публика бегаёт смотреть на них толпами и не знает, которой отдать преимущество, но ведь не надо забывать, что та же публика бегала некогда смотреть на Фредерика Леметра в «Chiffonier de Paris» и не знала, как превознести г-жу Рашель, когда она произносила знаменитую марсельезу.

Но мы не можем оставить без внимания нескольких строк, написанных г. Прево-Парадолем по поводу комедии г. Ожье: *Le fils de Giboyer*, как потому, что строки эти замечательно сильны, так и потому, что они показывают, до какой степени дошла распущенность политического смысла во Франции, что даже гистрионы, подобные гг. Сарду и Ожье, могут внушать серьезные опасения.

Хотя никто не думает смотреть серьезно на политические убеждения г-на Ожье, мы, с своей стороны, без труда верим, что он демократ; правда, что демократизм ему ничего не стоит, что он демократ настолько, насколько это дозволяется прихотью минуты, но мы допускаем, что он имеет искреннее отвращение к легитимистской партии в том смысле, как он ее понимает, к старым порядкам в том виде, как он их себе представляет, и к католической партии, той самой католической партии, которую он некогда изучал и ненавидел в газете *Univers*. [74] Эти невинные чувства, соединенные с искушением воспользоваться представляющимся случаем попасть в тон сегодняшней действительности, заставили его написать свою пьесу. Живя во времена полнейшего владычества демократии (допустим и это), но удаленный от различных оттенков либеральной оппозиции, он не мог предвидеть, и, конечно, не предвидел, какое действие должна была произвести его комедия. Ввиду того волнения, которое она производит, удивление и огорчение автора должны быть искренни, и с нашей стороны было бы несправедливо не принять их в соображение при суждении об нем. Будем откровенны: могли ли мы сами предвидеть, что почувствуем себя до такой степени уязвленными? Знали ли мы, что мы (то есть все политические оттенки, оскорбленные комедией г. Ожье) до такой степени солидарны друг другу? Сознали ли мы вполне то сближение, которое десять лет слишком ясных уроков и слишком сильных испытаний произвели не между массами приверженцев (увь!), но между избранниками различных либеральных мнений? А так как наши личные впечатления должны быть мерилом в этом случае, то я невольно обращаюсь к самому себе с вопросом, знал ли я, прежде нежели испытал это на самом деле, что удар, направленный в правую сторону от меня, будет для меня столько же

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru чувствителен, как и удар, направленный налево, что он будет столько же чувствителен, как и удар, направленный против меня самого?

Тому назад десять лет слово «легитимист» заставило бы меня улыбнуться: ныне я знаю, благодаря г. Ожье, что это слово, сделавшееся упреком, содержит в себе воспоминание о первом опыте либерального правительства, которым пользовалась Франция. Точно так же месяц тому назад, благодаря г. Сарду, я узнал, что тщетны будут старания сделать в глазах моих смешным республиканца; как ни велики были усилия сделать из него что-то вроде бывшего повитчика (greffier) революционного трибунала, слово «республика» не будило во мне воспоминаний о беспорядке и эшафоте, но пробуждало память о людях добра, которые, будучи облечены, на другой день после непредвиденного падения Июльской монархии, доверием Франции, оставили ей свободу управлять самой собою и которые ни на минуту не остановились на мысли о насилии даже в то время, когда во главе государства было поставлено лицо, которое своим именем и своим прошедшим, казалось, было призвано лишь для того, чтобы разрушить их дело и их самих рассеять в изгнание или в безвестность. Вот уроки, которые дает нам театр, когда он направляет свои удары на нас или вокруг нас; вот что он открывает нам об нас самих. Не следует быть неблагодарными тем, которые, сами того не зная, оказывают нам подобные услуги... даже если бы эти услуги скрывали за собой намерение и не совсем похвального свойства.

С этим нельзя не согласиться вполне. Каково бы ни было основное различие партий угнетенных, как бы резко ни отличались они друг от друга со стороны внутреннего содержания, но одинаковость их отношений к насилию должна служить для них звеном соединения. После, когда насилие будет упразднено, они могут сосчитаться между собою, но ввиду общей опасности, одинаково грозящей всему, что заражено искренностью убеждений, старым обидам и чувству политической щепетильности не должно быть места. Все партии, признающие необходимость сильного и искреннего убеждения, как основной принцип всякой уважающей себя доктрины, должны подать друг другу руку не для того, чтобы выработать какой-то бессмысленный политический эклектизм, но для того, чтобы поразить общего врага. С этой стороны взгляд Прево-Парадоля очень замечателен, и мы совершенно верим, что он, человек орлеанистской партии, мог быть возмущен до глубины души тем безнаказанным плеванием, которое позволяет себе шайка паразитов, относительно легитимистов и республиканцев. Но, признаемся, мы не понимаем, каким образом он мог дойти до тех упреков, которые он делает г. Ожье на последующих страницах своей статьи. Дело идет о том, что люди, на которых нападает этот жалкий драматург, не могут отвечать ему.

Мы не сомневаемся, – говорит Прево-Парадолль, – что г. Ожье искренно убежден, что ему можно отвечать. Он, вместе со многими, вовлечен в этом случае в заблуждение тщетным звоном человеческого слова и думает, что у всех язык развязан, потому что всяк говорит громко и даже кричит. Но если он вдумается в то, что говорится кругом него, он, конечно, почувствует, что волна бесполезных слов тогда только течет свободно, когда не прямо ударяется в вопрос, но обходит его стороною. Защищайтесь, но защищайтесь мягко; нападайте, но не указывайте на слабые стороны вашего противника; конечно, вы ни к чему не придете, но таковы неизменные границы, в которых дозволено процветать вашей свободе защиты... Какая возможность, например, победоносно доказать, что автор, обвиняя легитимистов в абсолютизме, делает ошибку и несправедливость? Доказательства теснятся под пером моим, а я должен выбирать из них те, которые наиболее слабы...

В наших глазах эти опасения, эти жалобы кажутся преувеличенными. Мы задаем себе вопрос, стоит ли г. Ожье, чтобы обороняться от него? и спокойно отвечаем: нет, он не стоит того. Все эти паразиты-публицисты, паразиты-драматурги заключают в самих себе будущую казнь свою. Это тля, которая не должна обращать на себя ничьего честного внимания: взойдет солнце, прогонит серые тени... вместе с светом, без возражений и без следа, исчезнет сама собою и тля...

НЕСКОЛЬКО ПОЛЕМИЧЕСКИХ ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ

Из письма в редакцию

Журнальная полемика – вещь не только хорошая, но и очень полезная. Это все равно что в обыкновенной жизни болтовня. Кажется, всё слышишь вещи пустые и малополезные; кажется, что слуховой орган болезненно поражается чем-то вроде переливания из пустого в порожнее – ан нет: смотришь, что-то как будто рисуется вследствие этой болтовни, что-то как будто обозначается и уясняется, словно некоторый нравственный образ мелькает. Это мелькает образ самого болтуна, образ

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru правдивый и неподкрашенный, это обозначается нравственная его суть. Искусный наблюдатель может извлечь из этого обстоятельства не малую для себя приятность и даже не без пользы для публики. Посредством болтовни можно восстановить физиономию не только известного лица, но даже целого города, целого общества. Прочитайте, например, в «Современнике» «Письма об Осташкове». По-видимому, там нет ни таблиц, наполненных цифрами, ни особенных поползновений на статистику; по-видимому, там одна болтовня. Люди закусывают, пьют ужаснейшую мадеру, несут великий вздор о старинных монетах и жетонах; однако за всей этой непроходимой ахинеей читателю воочию сказывается живая жизнь целого города с его официально приглашенностью и внутренней неумытостью, с его официальным благосостоянием и внутренней нищетой и придавленностью.. Журнальная полемика другим путем достигает тех же результатов: она рисует нравственный образ журнала. Покуда «Русский вестник» воздерживался от полемики, кто мог подумать, что почтенный журнал этот издается отчасти под наитием Ивана Яковлевича Корейши, отчасти же под влиянием благодарных воспоминаний о Ф. В. Булгарине? Решительно никто. Все полагали, напротив, что журнал этот издается обществом милых людей, которые желают приятно провести время. Но вот, в прошлом году, он пустился в полемику; он начал писать письма к каким-то прежде бывшим подругам, с которыми он был дружен в то время, когда они еще были институтками, и читатель, к крайнему своему огорчению, вдруг прозрел. «Да, это он! – сказал читатель, – это он, это Фаддей Венедиктович, с некоторым лишь прибавлением Павла Ивановича Мельникова!»

Следовательно, журнальная полемика и неизбежна, и полезна. Если не в том смысле она полезна, что прибавляет какие-либо новые знания в сокровищницу отечественного просвещения, то, по крайней мере, в том, что вызывает наружу тот внутренний визг, который до поры до времени сохраняется в редакторской груди в скрытом состоянии.

Нынешний год принес русскому читающему люду много новых газет, да и старые-то газеты почти все до одной переименовали хозяев. Все эти органы печатного русского слова, малые и большие, хорошенькие и гаденькие, сразу так и ринулись на полемическую арену. Быть может, это и не совсем для них полезно, быть может, это отнимет у них и те немногие копейки, которые они получили бы, если б вели себя скромно, но, с точки зрения общего движения русской мысли, это хорошо, потому что отрезвительно. Пускай же выбалтывают себе сразу все визги, какие у кого припасены.

Разумеется, самая ожесточенная полемика, самые наизаботливейше выхоленные визги всегда были, есть и будут направлены против «Современника». Это ничего; это даже очень хорошо, потому что означает, что «Современник» обращает на себя внимание и что в нем есть действительно нечто, что следует заподозрить, разорить, истребить и уничтожить, с тем чтобы, по выполнении этого, воспользоваться богатым наследством. Но разумеется также, что и «Современник» не должен оставаться равнодушным к полемическому визгу, что он обязывается определить оттенок каждого визга, уловить сродство, существующее между визгами, по-видимому, противоположными, показать, например, что Н. Ф. Павлов есть хладный С. С. Громека, а С. С. Громека, в свою очередь, есть взволнованный Н. Ф. Павлов, что М. М. Достоевский есть не что иное, как проживающий инкогнито Петр Иванович Бобчинский, которого роль должна бы, собственно, в том заключаться, чтоб «петушком-петушком» за кем-нибудь подпрыгивать, но который, вследствие знакомства своего с Хлестаковым, возомнил, что может быть самостоятельным и иметь право на знакомство с министрами.

Не решаюсь советовать вам, мм. гг., но думаю, что «Современник» не может пренебрегать полемикой даже в таком случае, если б она исходила и из таких мест, которые, по всей справедливости, пользуются названием литературных помойных ям. Поставив себе задачей сколь возможно полное и подробное выяснение общественных добродетелей и недугов, стремлений и колебаний, «Современник» не может же не признать, что журнальная полемика есть такой же драгоценный факт для физиологии русского общества, как, например, избивание некоторых мировых посредников, идущее рядом с заявлениями о развитии в россиянах чувств законности и гражданственности. Все это на пользу; из всего этого будущий историк нашего тревожно-болтливо-пустопорожного времени может, впоследствии, устроить изрядный винегрет.

Но, решаясь не уклоняться от полемических турниров, «Современник» ни в каком случае не должен забывать, что он обязывается иметь при этом свою особую тактику. Известно, что полемика, кроме обнаружения истинного характера

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru известного журнального визга, имеет еще свойство знакомить с этим визгом публику и даже заинтересовывать ее. Читатель усматривает, например, из привычного своего журнала, что в другом подобном же издании доказывается, якобы помещики очень довольны упразднением крепостного права. Читатель, разумеется, сначала не верит глазам своим, но мало-помалу, особенно так в послеобеденные сумерки, когда желудок бывает отягощен яствами, а душа делается способною к восприятию мягких впечатлений, он начинает раздумываться. «А что, если и в самом деле помещики рады упразднению крепостного права? – думает он, – а постоя-ка я посмотрю, что это за чудачки такие, которые взялись пережеголять самое «Не любо не слушай, а лгать не мешай!». И, принявши однажды такую решимость, читатель посылает в редакцию заинтересовавшего его журнала от 3 до 15 рублей. И, таким образом, полемика, вместо того чтоб ослабить действие журнала, самым невинным образом посылает ему пятнадцатирублевое подкрепление.

Разумеется, этого не должно быть. Полемизаторы никак не должны забывать, что некоторые журналисты только из-за того и хлопочут, чтобы приобрести эти пятнадцать рублей, из того только и надседаются, чтоб их как-нибудь в кровь избили или так обругали, чтобы перья врозь посыпались. «Ты меня только побей! – умиленно вопиют они, – а уж там я и сам как-нибудь с публикой справлюсь!» Главное, скандал сочинить и приобрести во что бы то ни стало известность.

Есть, например, в Петербурге газетка, которая, между прочим, собирается между строками в других газетах и журналах читать и вместе с тем предупреждает, что она не остановится даже и перед доносом. Газетка эта гнусная и смрадная; имеет она всего девяносто подписчиков. Разумеется, что ей хочется, чтобы хоть кто-нибудь об ней побеседовал. Во-первых, это послужит ей вместо объявления, а во-вторых, от радости у ней стеснится в зобу дыхание, и она, пожалуй, с таким самозабвением вопьется в своего благодетеля, что после никакими средствами ее и не оттащишь. И выйдет тут потеха: ты ей слово, а она пятьсот, ты ей: цыц, шавка! а она: ан лау! ан лау! ан лау!.. Каково в публику-то показаться с таким провожатым!

Но каким же образом так устроить, чтобы, не прекращая действия полемики, устранить только выгодные последствия ее для вредных и ненужных публике журналов?

По моему мнению, это довольно легко. Для достижения такого благоприятного результата следует только окрестить вредные и ненужные журналы какими-нибудь псевдонимами, да потом и начать уже изобличать их со всею безопасностью! Публика от этого нимало не потеряет, ибо ее, в сущности, может интересовать только то, имеются ли в обращении какие-либо поганые мысли и какие именно, а совсем не то, из какой именно помойной ямы эти мысли выходят. Напротив того, редакция ненужной газеты, очевидно, обманется в своих соображениях. Она наверное рассчитывала получить лишние три рубля, чтоб искупить на них некоторое количество литературной сулемы, – и не получит их, потому что публика даже не будет знать об ее существовании. Смотришь, ан газета поскрипела месяц, другой, да и скончалась, подобно «Атенею», истощив все свои два двугривенных в борьбе с равнодушием публики!

Объясню это примером той же смрадной газетки, о которой я уже говорил выше. Пусть она так и будет называться «Смрадным листком». Основные убеждения «Смрадного листка» вертятся около следующей темы: «быть обскурантом в настоящее время очень трудно, потому что обскурант, за свои действия, получает не столько поощрения, сколько различные нравственные подзатыльники. Посему человек, решающийся быть обскурантом, тем самым заявляет свету, что могут существовать люди, которые доводят личную храбрость даже до презрения к подзатыльникам». Исходя из этого убеждения, «Смрадный листок» начинает доказывать: а) что истинно храбрый человек не должен уклоняться от доноса; б) что истинный обскурант обязывается не быть чуждым и клеветы и в) что означенный герой имеет право читать между строками и простирать свое нахальство до того, чтобы совать смрадный свой нос в самое святилище мысли писателя.

Таковы убеждения и таков образ действия «Смрадного листка». «Современник» должен прежде всего обратить на это внимание, как на факт, представляющий достаточно характеристически образчик так называемых «поганных» мыслей, чтобы не бесполезно было познакомиться с ним читателя. Затем «Современник» может даже не входить в обсуждение этого факта; он просто против одного положения отмечает: гнусно, против другого – глупо, против третьего – даже и не довольно подло, против

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru четвертого – да кто ж тебя туда пустит? – и более ничего. Но настоящего названия «Смрадного листка» он не должен ни в жизнь открывать, хотя бы «Смрадный листок» сам себя сразу узнал и даже истощился в доказательствах, что он, «Смрадный листок», именно и есть тот «Смрадный листок», о котором говорится в «Современнике». На все эти настояния «Современник» может, во-первых, отвечать ему: «Помилуй, любезный! Какой же ты «Смрадный листок»! Ты совсем не «Смрадный», ты «Пакостный листок» – и больше ничего!» Если же «Современник» не захочет отказаться от того, что «Смрадный листок», о котором в нем говорилось, есть именно тот самый, который так горячо хлопочет о восстановлении своей тождественности, тогда он может отвечать: «Ну да! успокойся! ты тот самый «Смрадный листок» и есть!»

И затем, пускай «Смрадный листок» волнуется или не волнуется, читает между строк или не читает – до этого ни публике, ни «Современнику» нет никакого дела. Главная цель достигнута: публика не знает настоящего «Смрадного листка», а следовательно, не имеет поползновения и подписываться на него. А если и найдется такой чудак, который вышлет в почтамт 3 руб. с тем, чтоб его познакомили с «Смрадным листком», то почтамт эти деньги возвратит с уведомлением, что никакого «Смрадного листка» не издается. Нет, да вы представьте себе трагическое положение редакторов «Смрадного листка»! Они знают, что каждый день приходят новые и новые требования на их газету, что публика жаждет литературной сулемы, которую они предполагали обкормить всю читающую Россию, что все эти трехрублевые бумажки, которые благодатным дождем сыплются в почтамт, несомненно принадлежат им... и не могут доказать этого! Они уже решаются примириться с своей участью, они уже соглашаются откровенно принять для своей газеты наименование «Смрадного листка», которое подарил ей «Современник», как вдруг имя «Смрадного листка» исчезает с страниц «Современника», а вместо оногo заявляется о существовании какого-то «Пакостного листка»!

Смею уверить вас, мм. гг., что необходимым последствием подобной полемики для «Смрадного листка» будет вернейшая его смерть. Быть может, он попросит прощения, быть может, он обещается исправиться – ну, тогда еще можно открыть читателям, что «Смрадный листок» не настоящее имя, а псевдоним такой-то газеты. Но и то в таком только случае дозволяется делать эту уступку, если «Смрадный листок» даст положительное обязательство сравняться в либерализме, по крайней мере, с М. М. Достоевским.

Итак, пускай же отныне в «Современнике» под собственными своими именами будут являться только те названия журналов и газет, которые, вследствие недостатка полемической тактики, уже упоминались в нем (что делать! прошлого не воротишь!). Прочие же газеты и журналы пускай будут скрываться под псевдонимами до тех пор, покуда добрыми нравами и хорошим поведением не заслужат открытия настоящих их имен.

Такого же рода полемический прием можно с успехом употреблять относительно некоторых публицистов. Так, например, я уверен, что Виктор Ипатьич Аскоченский не приобрел бы и сотой доли своей известности, если б «Искра» называла его не Аскоченским, а только «скромным автором полногрудой Лурлеи».

На вашем месте я именно так и поступал бы относительно темных публицистов, стремящихся во что бы то ни стало сделаться известными. Исключение на сей раз сделаю для г. Юхманова (кто такой этот Юхманов? разве есть писатель Юхманов?), но и то только на сей раз, но и то только для того, что мне нужен пример для объяснения моей мысли. Известно, что этот публицист ужасно заботится о том, что об нем думают и какое значение придает публика его воробыиной деятельности. Я, собственно, ничего об г. Юхманове не знаю, а потому ничего об его воробыиной деятельности и не думаю. Но знаю, что если б я только имел счастье состоять хоть чем-нибудь в редакции «Современника», то, не желая, чтоб имя г. Юхманова пользовалось известностью, стал бы называть его то Аскоченским, то Павловым, то Громекою, то Анною Дараган, ибо это решительно одно и то же. И поверьте, что вы скоро сами убедились бы в неотразимости такой тактики; я даже не далек от мысли, что г. Юхманов в самом непродолжительном времени принес бы в ваш журнал статью, в которой стал бы горько оплакивать свои прежние заблуждения, беспощадно осмеивать свои прежние надежды и обещался бы, в течение одного месяца, вырасти в меру г. Косицы.

Итак, вот какие благотворные последствия может повлечь за собой хорошо понятая и удачно выполненная полемическая тактика. Она имеет в виду не только ограждение

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru материальных интересов публики от излишней траты денег на покупку ненужных книг и журналов, но и нравственную экспиацию множества субъектов, бессознательно и, быть может, безвинно погрязающих среди разъедающих миазмов литературной сулемы! В этом есть что-то подвижническое. Читатель думает, что я забавляюсь, а я совсем не забавляюсь, а исхищаю из ада погибающую душу! Читатель думает, что я кого-то гоню, кого-то преследую, а я совсем не гоню и не преследую, а, напротив того, подманиваю: поди, дескать, сюда! Мой подвиг скромн и даже не благодарен, но это подвиг – в том не может быть никакого сомнения.

Да не подумает, впрочем, читатель, что описанный мною полемический прием, служащий к вразумлению заблуждающихся, есть единственный в этом роде. Нет, тут целая система, представляющая столь же великое разнообразие форм, сколь великое разнообразие представляет и сама человеческая изобретательность. И все они имеют в виду одну великую цель – секвестр человеческих заблуждений в тесных границах того душного и темного места, в котором они зародились. И все они, кроме этого, имеют в виду и еще одну великую цель: восстановление, посредством временного тюремного заключения, безвинно попраченного нравственного достоинства человека...

Дабы показать читателю, как велика может быть сила полемических приемов, опишу, для примера, еще один из многих.

Известно, что в русских газетах и журналах нередко помещаются статьи самого нелепого свойства, с единственной целью действовать на публику посредством скандала. К числу таких гнусно-нелепого свойства статей могут быть отнесены, например, прошлогодние летние походы некоторых органов русской литературы против нигилистов, по поводу происходивших в Петербурге пожаров; к числу такого же рода статей относятся все руководящие занятия г. Аскоченского, а также некоторые каникулярные упражнения «Русского вестника». Что статьи эти нелепы – в том нет никакого сомнения, что статьи эти забавны – в том тоже сомневаться нельзя; но главное и драгоценнейшее их качество заключается в том, что они кратки. Эта краткость позволяет перепечатывать их.

Если принять в соображение, что весь интерес подобных статей заключается только в том, что они производят скандал, что они и вкривь и вкось толкуют о предметах, которые почему-либо живо интересуют публику, то ясно будет, что если отнять у них этот интерес скандала, если устроить так, чтобы публика всем этим скандалом могла насладиться в одном общем фокусе, не развлекая своего внимания между множеством журналов и газет, то пристрастие публики к этим изданиям охладится немедленно. В самом деле, какая надобность публике выписывать, например, какой-нибудь «Смрадный листок» для того, чтобы прочесть в нем в течение года одну веселую статью о нигилистах-поджигателях, когда она будет уверена, что все перлы «Смрадного листка» можно прочесть, например, в особом, нарочно для того отведенном отделе «Современника»? Решительно, надобности никакой нет.

А потому представляется возможным и еще один очень удачный полемический прием, который изображает собой нечто тоже очень похожее на тюремное заключение. Прием этот заключается в следующем: собирать всевозможные литературные курьезы, имеющие в объеме не более печатного листа, и издавать их при журнале в виде особой хрестоматии. Никаких замечаний на эти курьезы делать не надо, потому что тут дело ясно говорит само за себя; следовательно, умственного труда почти нет никакого, а материальные выгоды несомненны. Издание подобной хрестоматии соединяет в себе все условия дешевизны, ибо влечет за собой издержки только за набор и бумагу; читатель, за самую умеренную цену, даже просто в виде подарка или премии, приобретает чтение веселое и необременительное и притом разом получает все самое замечательное, что он должен был бы разыскивать по разным журналам и с пожертвованием немаловажных издержек. Сверх того, связь, существующая между различными терминами одного и того же направления, обнаруживается наглядно, и стало быть, устраняется всякая возможность обвинить в проведении каких-либо злостных параллелей... одним словом, и дешево, и мило, и – главное – полезно. Ибо, помимо забавной хрестоматии, хороший журнал дает еще читателю значительный запас хорошего и здорового чтения, которого одного уже достаточно, чтобы уничтожить действие, производимое вредными и нелепыми статьями. Читатель прочитывает и то и другое, и так как он предполагается одаренным здравым смыслом, то и выбор его не может подлежать никакому сомнению. Статьи знаменитых псевдонимов сначала будут производить в нем веселый хохот, но мало-помалу наконец опротивеют. Тогда можно будет прекратить и издание хрестоматии.

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Все эти предположения я делаю, мм. гг., вовсе не из одного удовольствия делать предположения более или менее забавные. Нет, я твердо убежден, что если бы «Современник» с будущего месяца приступил к изданию предлагаемой мною хрестоматии, то знаменитые псевдонимы тотчас же и значительно понизили бы тон свой. Скажу более: я уверен, что они даже теперь, под влиянием одной моей слабой угрозы, сделаются скромнее, и что «Смрадный листок», с следующего же номера, почувствует в себе отвращение к постыдному и безвыгодному ремеслу чтения между строками...

ФЕЛЬЕТОНЫ И ЮМОРЕСКИ
ИЗ «СВИСТКА» 1863 г
ЦЕНЗОР ВПОПЫХАХ
(Лесть в виде грубости)
ПРЕДИСЛОВИЕ

Я давно уже помышляю, любезный читатель, о возможности предъявить публике такое произведение человеческого слова, в котором грубость (грубиянство, обличение) являлась бы в приятном сочетании с лестью и которое, в одно и то же время, удовлетворяло бы требованиям современности и не противоречило намерениям начальства. Если существуют на свете прогрессивные ретрограды и ретроградные прогрессисты, то почему же не существовать лести в виде грубости и грубости в виде лести! думал я, и думал, надеюсь, правильно. Нет сомнения, что грубость в диком состоянии, грубость абсолютная, в государстве, пользующемся покровительством законов, не возможна; по, с другой стороны, не подлежит сомнению и то, что публика настоятельно требует, чтобы писатели грубили как можно сильнее. Посему задача писателя знаменитого обрисовывается сама собою. Он должен действовать, так сказать, двуутробно: одною утробою изливать яд и хулу, другую – источать тонкую паутину лести. Я знаю, что и до меня некоторые отличнейшие писатели выказывали в этом смысле намерения, заслуживающие всякого поощрения, но считаю, что опыты их были не совсем удовлетворительны, ибо лесть буйствовала в них слишком исключительно и притом во всей своей наготе. Я же, напротив того, думаю, что в литературном упражнении лесть должна быть распространена в виде тончайшего эфира. Поэтому, замечая за собой такой правильный образ мыслей, я решился. Я нарочно взял, для испробования своих сил на этом поприще, предмет самый, по-видимому, неприступный: думаю, пусть выйдет, что выйдет, но пускай же ведают россияне, что для россиян ничего неприступного не может быть. Вышло хорошо.

Примечание редакции «Свистка». Все примечания к этой статье составлены самим автором.

Бьет час ночи. [75] В одной из блестящих частей города, в великолепной и роскошно убранной квартире, [76] развалясь на гамбовском мягком патё, полулежит цензор и читает журнальные корректуры. Глаза его следят за корректурой, а мысли витают в эмпиреях государственного благоустройства. [77] Он думает о серьезном характере лежащих на нем обязанностей; он думает, что, с одной стороны, он не должен стеснять силы верноблагонамеренных излияний, а с другой стороны, не должен стеснять самого себя в мерах к ограждению молодых и неопытных писателей от могущих последовать для них неприятностей. [78]

– Моя задача двойственна, – говорит он, лениво опуская руку, державшую корректуру, – и между тем она единотождественна. Я преследую две цели, а между тем обе эти цели составляют, в сущности, одну и ту же цель.

Успокоенный этою мыслью, цензор снова принимается за корректуру и вдруг вскакивает как ужаленный.

– Что это они пишут! что это они пишут! – вскрикивает он и, как бы не веря глазам своим, подносит корректуру к богатой бронзовой лампе, в которой весело пылает блестящее пламя фотогена. Чтобы лучше увериться, он начинает читать вслух, с точным соблюдением всех знаков препинания.

«И потому, принимая в соображение, что, в существе вещей, общество привлекается к обсуждению сего предмета в размерах весьма благонадежных, мы думаем, что упомянутый выше проект представляет залогом преуспевания весьма изрядного...» [79]

– «Мы!»! кто это «мы»? – прежде всего восклицает [80] взволнованный цензор, – ты, ты, ты – и никто больше!

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru Но мало-помалу чувства цензора утихают и принимают серьезное направление. Дело в том, что нынче «мальчишки» так писать изловчились, что сам черт их не разберет. Хвалят они или издеваются, сочувствуют или только так время проводят – определить это можно разве только посредством «ключа к таинствам природы». Мало того что сами писать изловчились, но и цензуру к такому своему противоестественному слугу приучили и постепенно (вот где пригодилась постепенность!) достигли наконец того, что вещи отлично благонамеренные, но писанные слогом размазистым, весьма часто не проходят, а вещи противоестественные, написанные слогом, так сказать, вывороченным наизнанку, проходят весьма благополучно. [81]

– О черт возьми! что он хочет сказать этим? – рассуждает цензор, ходя по комнате и зажавши себе обеими руками уши. Он знает, что когда человек желает пристальнее сосредоточить на чем-нибудь свое внимание, то непременно должен зажать себе уши. [82]

– Что он хочет сказать этим? – повторяет цензор, – «сего предмета»! какого это предмета!

Некоторый тайный голос шепчет цензору, что для того, чтобы знать, какое значение скрывается в словах «сего предмета», надобно прочесть фразу с самого начала. Он следует совету тайного голоса и читает.

– Ну, «сего предмета» – это ничего; это просто означает: «предмета сей статьи»... но что он хочет сказать посредством: «в размерах весьма благонадежных»? Любезничает он или ругается? [83]

С одной стороны, слово «благонадежный», как доказывает это присутствие в нем слова «благо», имеет смысл совершенно благонадежный. С другой стороны, мало ли случалось в истории примеров, когда слова самые благонадежные оказывались впоследствии самыми неблагонадежными? Так, например, в древности, Тиверий (см. драму. Г. Костомарова «Кремуций Корд») всегда выражался, по-видимому, весьма благонадежно, но впоследствии всегда же оказывалось, что он принадлежал к тайной секте «свистунов».

«А какое имеешь ты право давать словам автора непрямые толкования?» – шепчет тайный голос. [84]

– Черта с два! «право»! – отвечает цензор тайному голосу, – чай, у меня жена и дети есть! [85]

В голове его зреет проект: для рассмотрения нигилистских сочинений определить цензора из нигилистов; разумеется, такого нигилиста, который понимал бы нигилистские диалоги, но, в сущности, был бы человеком благонамеренным. Посредством такой комбинации достигалась бы двоякая цель: во-первых, всегда был бы под руками человек, который нигилистскую кабалистику мог бы читать à livre ouvert, и во-вторых, в лоно благонамеренности поступала бы лишняя заблудшая овца. [86]

– А что, если никто не пойдет?

Ну, тогда можно прибегнуть к другому средству; можно, например, взять малолетнего сына каких-нибудь бедных родителей и отдать его в обучение к нигилистам, а когда он всем их приемам научится, то определить в цензоры.

– А что, если он так там и погрянет?

– Ну нет! шалишь! этак и проектов, пожалуй, совсем нельзя писать будет! – рассуждает цензор и снова принимается за корректуру.

– «Залогии преуспеяния весьма изрядного»! гм... «изрядного»! Что такое «преуспеяние изрядное», да еще «весьма изрядное»! Что они со мной делают! Не пропустить – не могу!.. ну, нет, врешь, могу!

Цензор опять обращается к корректуру и начинает выправлять ее. Вследствие поправок выходит следующее: «И потому, принимая в соображение, что, в существе вещей, обществу привлекается к обсуждению сего предмета, мы думаем, что упомянутый выше проект представляет»...

– И точка, – говорит цензор, – ну да, и точка. Дальше! «а так как при сем имеется в виду учредить надлежащий бдительный надзор, то, взирая с доверчивостью на настоящее, не теряем упования и в будущем».

– Вон куда метнул! те-те-те... знаем, как вы «не теряете упования в будущем»! и ведь как он это подвел!

Цензор уже не задумывается и зачеркивает властно, уверенною рукою, оставляя только «упование в будущем».

– Ну вот и прекрасно! и с предыдущим связь соблюдена! стало быть: «упомянутый выше проект представляет упование в будущем». Отлично! Но ведь как он подъехал! и статью-то, злодей, как озаглавил! «Сомневаться или верить»! а! (Зачеркивает заглавие.) Верить, милостивый государь, верить! (Пишет на место зачеркнутого: «И еще предлог к сочувствию».) Ну-с, что ж дальше? А дальше: «Ну, конечно». Эту фразу я полагаю оставить... да, ее надо оставить! Что она обозначает? О черт возьми... что она обозначает? Ну да, она обозначает... «ну, конечно»... то есть «конечно»... ну да... фу ты, черт! (Зачеркивает.) [87]

– George! ты будешь с нами завтракать, друг мой? – спрашивает в эту минуту жена цензора, входя в его кабинет. [88]

– Мой друг! я голоден, но я есть не хочу! [89]

– Это странно, George!

– Я сам знаю, что это странно, мой друг, но если б ты прочитала вот эту статью (указывает на корректуры), то поняла бы, что можно потерять аппетит, не потерявши его!

Жена цензора очень миленькая, белокуренькая немочка, с быстренькими, голубенькими глазками, в которых выражается любознательность. Она берет корректурные листы и не столько читает, сколько играет ими.

– George! что такое «упование»? – спрашивает она.

– «Упование», мой друг, – это такое слово, которое нарочно пишется, чтобы показать, что упования не должно быть!

– Зачем же ты, George, такие слова пропускаешь?

– А разве я пропустил? (Читает.) «представляет упование в будущем»... гм... да!

– Ведь этак мы, друг мой, можем нашего места лишиться! – соображает жена. [90]

– Что ж, стоит только вычеркнуть!

– Ведь этак мы, друг мой, легко можем нашего места лишиться! – пристает жена.

– Ну что ж, и вычеркну!

– Потому что ведь этак, друг мой, мы очень легко можем нашего места лишиться! – повторяет жена.

– Отстань, сударыня! зачеркну! (Зачеркивает.) [91]

– Но этого для меня мало!

Цензор начинает сердиться.

– Что ж тебе нужно, сударыня?

– Но этого для меня мало!

– Да объяснись же, мой друг!

– Ты меня запер в четырех стенах этой великолепной квартиры! ты заставил меня

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
бодрствовать по ночам!

– Что же я должен сделать, мой друг?

– Что ты должен сделать? ты спрашиваешь, что ты должен сделать? он спрашивает!

Вбегают Коля, [92] розовенький и свеженький мальчик, очень похожий на мамашу; в глазах его также выражается любознательность.

– Папаша! ты будешь завтракать? – спрашивает он.

– Коля! друг мой! – говорит взволнованный цензор.

– Ты спрашиваешь, что ты должен сделать? – пристает жена.

Вбегают Джипси, резвая и милая левретка; она не спрашивает цензора, будет ли он завтракать, но лижет ему руки и веселыми прыжками, очевидно, доказывает, что ей было бы приятно, если б цензор пошел завтракать.

– Вот все мое семейство! – задумчиво грезит цензор, – что с нами будет, если мы лишимся нашего места!

– Ты спрашиваешь, что ты должен сделать? – опять надоедает жена.

И она ловким движением руки разрывает корректуры пополам.

– Блаво, мамаса! – кричит Коля, хлопая ручонками.

Джипси радостно лает.

Цензор стоит в некотором изумлении.

– Что ты сделала, несчастная! ты обезобразила казенную вещь! – шепчет он, приходя наконец в чувство.

Не знаю, как ты, читатель, но я положительно нахожу, что цензура очень полезная вещь. Охраняя общество от наплыва идей вредных, она вместе с тем предостерегает молодых и неопытных публицистов от могущих случиться с ними неприятностей. Все это так верно, так верно, что у меня даже слезы навертываются на глазах от благодарности. Но для того, чтобы она достигала своей высокой цели, для того, чтобы устранить из ее решений характер случайности, я полагал бы: цензоров, во время исполнения ими обязанностей, запирать на ключ.

МОСКОВСКИЕ ПЕСНИ
ОБ ИСКУШЕНИЯХ И НЕВИННОСТИ
I

Не искушай ты меня!
И без того я уж слаб!
Ласку всем сердцем ценя,
я и без денег твой раб!
Не искушай же меня!
И без того уж я слаб!
Если ж ты хочешь помочь,
Хочешь субсидию дать,
То приходи нынче в ночь:
Ночью ни зги не видать...
Не искушай ты меня!
И без того я уж слаб!
Днем как-то совестно мне,
Днем «Современник» не спит!
Стыдно мне! весь я в огне,
Сребреник руки палит!
Не искушай ты меня!
И без того я уж слаб!
Ночью ж хотя и темно –
Свет будет в наших сердцах;
В ночь и краснеть мудрено,
Дремлет и совесть впотьмах!

Не искушай ты меня!
И без того я уж слаб!
Я принесу свой журнал,
Преданной полн сулемы,
Ты ж принесешь капитал,
И обменяемся мы...
Я принесу свой журнал,
Ты ж принеси капитал!
И разбежимся сейчас...
Будем бежать до утра!
Только боюсь я как раз –
Ну, как в кармане дыра!
Я принесу свой журнал,
Ты ж принеси капитал!
Что, если эта дыра?
Что, если сей капитал?
Буду искать до утра,
Не поручусь, чтоб сыскал!
Я принесу свой журнал,
Ты ж принеси капитал!
Ты согласишься ль тогда
Мне возратить мой покой?
Или же молвишь мне: да!
Брат! не надуешь дырой!
Брат! не надуешь дырой
Хоть и с дырой, а все пой!
II

ГИМН ПУБЛИЦИСТОВ

Мы говорили: мы согласны,
Но надо ж нас и поддержать!
Теперь уж дни не так-то ясны!
Продукты стали дорожать!
Нам говорили: вы прекрасны,
И мы не прочь вас награждать;
Не пропадет ваш труд напрасно,
Но сколько ж дать? но сколько ж дать?
Мы говорили: мы довольны
Крупницей малой от стола,
Нам по плечу тулуп нагольный:
Не для красоты, а для тепла!
Нам говорили: это больно!
Мысль ваша слишком несмела!
Боимся мы, чтобы невольню,
С своей хламидою нагольной,
Она в трущобу не зашла!
Мы говорили: публицисту,
Чтобы не спали телеса,
Не много нужно: воду чисту
Да сена клочок... чуть-чуть овса...
Нет спора, яры нигилисты,
Свирепы, страх, их голоса!
Они здоровы, мускулисты,
Но нам помогут небеса!
Нам говорили: силы неба
Полезно принимать в расчет...
Но воин, съев краюшку хлеба,
Всегда ходчее в бой течет!
И если с вами, дети феба,
Случится скверный анекдот,
Не говорите нам: тебе бы
Подумать надобно вперед!
Мы говорили: так позвольте
Нам предварительно пропеть,
И если скверно, так увольте:
Мы всё готовы претерпеть!
Нам говорили: ну, извольте!
Все разом! громче! не сопеть!
Мальчишкам наглым не мирвольте:

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

Сопеть – еще не значит петь!
Остались пробою довольны,
Заметили кой-что не так,
Одели нас в тулуп нагольный,
Пожаловали четвертак!
И с этих пор, в хламиде скверной,
Не скрывшей даже наготы,
Стоим мы крепко, служим верно,
Поем сподряд все страмоты!

III

ЭЛЕГИЯ

Страшно! нет голоса больше умильного!
Ясность души промотал!
Встанет Грановский из плена могильного,
Спросит: где взял капитал?
Целую ночь в болтовне провожаючи,
Я с бюрократами пил!
И невзначай им невинность, играючи,
Кажется, я подарил!
Слабое сердце пленилось манерами,
Ядом французских речей,
Голосом ласковым, строгими мерами...
Не устоять – хоть убей!
Страшно! что, если сонubio[93] мрачное
Горький свой плод принесет?
Встретит ли почву готовую, злачную
Иль без следа пропадет?
Что-то случится? Антихриста ль злобного,
Иль эфиопа рожу?
Или Л...ва злого, трехпробного?..
Весь-то дрожу я, дрожу!

IV

В голове всё страх да бредни!
Весь покой свой растерял!
Грежу даже у обедни:
Унесут мой капитал!
Капитал тот, что намедни,
С страшной клятвой, что последний,
Поддержать чтоб мой журнал,
Подарил мне генерал!
И болтлив же я не в меру!
Даже детям рассказал,
Что всем прочим для примеру
Получил я капитал!
Капитал тот, что на веру,
За прекрасную манеру,
За прекрасный мой журнал
Подарил мне генерал!
И шептал он мне, вручая:
Сохрани сей капитал,
В нем таится сила злая,
Хоть объемом он и мал!
Ох, боюсь, чтоб, карт алкая
И субсидией играя,
Ты ее не проиграл!
Так шептал мне генерал...
И, изрыгнувши проклятье,
Мелочь на пол он бросал...
Вздумал руку лобызать я –
Уж плевал же он! плевал!
Но успел поцеловать я,
Хоть изгадил он мне платье!
«Я не думал, чтоб ты взял!»
Так, сквозь слезы, он шептал!
С той поры, взыграв душою,
Я на карты не взирал;
Мучим преданностью злою,
Все язык свой изъязвлял!

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

Обкормлю всех сулеюю!
Восклицал я (что ж, не скрою),
Будет разом всем финал!
Спи спокойно, генерал!
Но наказан я ужасно!
Я того не рассчитал:
Не могу же я всечасно
Стеречи свой капитал!
Отойти – боюсь, опасно!
Не предвидел, чтоб так страстно
Взор домашних пронизал
Всюду, где бы я ни клал
Подаренный капитал!
И с тех пор всё страх да бредни!
Весь покой я растерял!
Грежу даже у обедни:
Унесут мой капитал!
Капитал тот, что намедни,
С страшной клятвой, что последний,
Поддержать чтоб мой журнал,
Подарил мне генерал!
НЕБЛАГОВОННЫЙ АНЕКДОТ
О г. ЮРКЕВИЧЕ, ИЛИ ИСКАНИЕ РОЗЫ
БЕЗ ШИПОВ

Недавно московские газеты оповестили о необыкновенном происшествии, случившемся в столичном городе Москве. Героем происшествия был г. профессор философии, Юркевич, жертвою его – неизвестный материалист. Известно, что нынешним постом г. Юркевич предположил себе прочесть московской публике популярный курс философии; известно также, что в этих лекциях он преимущественно казнит материалистов и приводит в неописанный восторг всех прихожан Николая Явленного, Спиридония, Старого Вознесения и т. д. Причину этих восторгов разъяснить совсем не трудно. Нынче в Москве вовсе нет хороших певчих да нет интересных служителей, как прежде бывало, что иное слово проглотит, а другое протянет, или выйдет к народу и в то же время обращается к дамам посредством французского диалекта; следовательно, прежние увеселения сделались скучными. Все это заменил теперь отчасти г. Юркевич своими философскими лекциями, отчасти г. Лонгинов своими представлениями чревоущания и восточной магии в Обществе любителей русской словесности: понятно, что все это должно казаться московской публике *charmant*, [94] хотя некоторые старики и толкуют себе втихомолку, что у Семиона Столпника все-таки не в пример благолепнее бывало. Несмотря, однако ж, на общее увлечение лекциями г. Юркевича, нашлись и недовольные ими. Московские газеты удостоверяют, что эти недовольные суть те самые материалисты, которых г. Юркевич, на живописном и несколько простодушном своем языке, называет «безголовыми»; я же, с своей стороны, подозреваю, что это чуть ли не те вздыхающие о Семионе Столпнике старички, которые на сей раз переоделись материалистами. Как бы то ни было, но один из этих «безголовых» баловников написал к г. Юркевичу письмо, в котором угрожал ему, если он будет продолжать нападки на Бюхнера, подвергнуть его освистанию.

Так рассказывают об этом деле М. Н. Лонгинов и И. С. Аксаков. В публике, по прочтении их статей, остается впечатление, что г. Юркевич – нечто вроде русского Наполеона III, учреждающего государственный наряд, а неизвестный материалист (или старичок, переодевшийся материалистом) – нечто вроде Орсини, государственный наряд ниспровергающего.

Но не так передает дело какой-то москвич, написавший об этом происшествии статью в «Очерках», блаженной памяти. Он говорит, что 9 марта г. Юркевич, взойдя на кафедру, объявил, что хотел было читать о чувствах, но на днях получил несколько анонимных писем, на которых считает не лишним остановиться. Отрывки из одного письма он действительно прочитал тут же, а из отрывков этих явствовало, что неизвестный не удовлетворен доказательствами профессора против материализма; что профессор не был в состоянии, например, объяснить, почему имеющие поврежденный мозг не мыслят и почему в то же время новорожденные дети, одаренные мозгом, также не могут, однако ж, мыслить. В заключение неизвестный выражал надежду, что г. Юркевич прекратит чтение своих лекций, так как, при подобной слабости доказательств, он может возбудить неудовольствие слушателей, которое, пожалуй, выразится и свистками. Через несколько времени неизвестный напечатал свое письмо к г. Юркевичу; содержание письма действительно согласно с показаниями статьи в

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru «Очерках». В письме говорилось г. Юркевичу: «В ваших лекциях много жетолкований и нелепостей, для опровержения коих нужно столько же лекций. Чем можете вы оправдать хоть сколько-нибудь ваши цинические отзывы о материалистах? Ничем. Если и материалисты ошибаются, то и вы не свободны от ошибок. Потому имею честь предупредить вас, м. г., если в следующих лекциях вы не оставите цинизм, не будете с достоинством относиться к материалистам, то услышите уже не шиканье, а свистки».

Понятно, что это письмо должно было огорчить г. Юркевича, и вопрос заключается только в том, как должно было выразиться у него это огорчение. Если б он заплакал – он показал бы себя чувствительным человеком, но не философом; если б он принялся опровергать «неизвестного» – он выказал бы недостаток душевной стойкости, которая именно в том и состоит, чтобы оставлять возражения без ответа; если б он вздумал издеваться над анонимным письмом – он опять-таки показал бы себя свистуном, но не философом. Одним словом, г. Юркевичу необходимо было поступить как философу – он так и поступил. То есть он повторил публике зады, а того, почему люди, имеющие поврежденный мозг, не мыслят, а только ругаются, все-таки не доказал и, в досаде на самого себя, назвал Бюхнера глупцом... И затем, продолжает корреспондент «Очерков», свернув читанное им письмо и кладя его в карман, он с улыбкою прибавил, обращаясь к публике: «А из письма этого я вправе сделать такое употребление, какое найду пригодным». Эти слова, прибавляет корреспондент, сказанные в присутствии почти полной аудитории, в которой находилось более 1/3 дам и девиц, к удивлению нашему, получили одобрения: посыпались аплодисменты, и увы! аплодировал усердным образом даже редактор одной почтенной газеты московской.

Есть речи – значенье
Темно иль ничтожно,
Но им без волненья
Внимать невозможно...

Таким именно значеньем полна приведенная нами речь г. профессора. Для разъяснения этих таинственных слов необходимо было бы знать, на каком языке, на «языке ли физиологов или психологов» произнес г. Юркевич эти слова, и потом сделал ли он, произнося их, какой-нибудь соответственный жест, то есть приблизил ли руку к желудку (в знак того, что страдает чревным недугом), или откинул ее как-нибудь назад. Корреспондент «Очерков» об этом умалчивает, но, вероятно, мы скоро будем свидетелями страстной и оживленной полемики по этому предмету. «Наше время» будет доказывать, что сделал («Наше время» эти жесты любит), и, следовательно, произнес слова на языке физиологов; «День» будет ссылаться на очевидца, что не сделал («День» целомудрен) и что слова сказаны на языке психологов; «Московские ведомости» будут колебаться между целомудрием и тайною мыслью: «А ведь хорошо, что он это сделал!»; «Русский вестник» будет убеждать, что ничего в том необыкновенного нет, что сделал, что это вообще жест, свойственный всякому философу, и что слова сказаны на языке физиологов и психологов вместе.

Я, признаюсь заранее, держу в этом случае сторону того мнения, которое имеет выразить «Наше время». Во-первых, в таком деле нет судьи более компетентного, как этот почтенный журнал, а во-вторых, мне прежде всего представляется вопрос: если бы г. Юркевич не делал жеста и говорил на языке психологов, то с какой же стати московская публика осыпала бы его такими восторженными рукоплесканиями? с какой стати дамы, даже дамы приняли бы участие в этом спиритуалистическом торжестве? [95]

Что московские дамы впечатлительны, в этом я имел случай убедиться лично, присутствуя на одной из лекций г. Юркевича, которую он посвятил толкованию снов. Покуда он объяснял, что «сознание, в этом разе, носится на волнах душевного настроения», дамы только благоговели, но когда он, в подкрепление этого ношения на волнах душевного настроения, стал говорить, что если видишь во сне воду, то это значит, что тебя душит мокрота, а если видишь во сне пожар, то это значит, что у тебя где-нибудь воспаление, – лица дам заметно оживились (значит, чувствуют!). И еще более оживления заметно было, когда профессор, в доказательство силы, какую может иметь воображение, привел, что слабая девица, которая обыкновенно не может пройти и полуверсты, чтобы не изнемогнуть от усталости, на балу незаметно в один вечер вытанцовывает несколько немецких миль. Слушая это, девицы даже с изумлением переглянулись между собою («*ma chère!*»), и по всей аудитории пронеслась какая-то невинная, легкая веселость...

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Следовательно, если и дамы участвовали в рукоплесканиях, то нет сомнения, что было что-нибудь образное.

Но того, что однажды уже совершилось, никак нельзя сделать несовершившимся, – это афоризм, которого не отвергнул бы даже Кузьма Прутков. С грацией ли совершил свой подвиг г. Юркевич или без грации (я думаю, что с грацией), жестоко ли он поразил им материалистов или не жестоко (я думаю, что не жестоко) – это не может быть предметом настоящей статьи, во-первых, потому что это личное дело г. Юркевича, а во-вторых, потому что «Свисток» вообще не занимается поступками, от которых пахнет. «Свисток», как известно, имеет слабость везде отыскивать «вопросы» и, отыскавши таковые, неумоимо предаваться разработке их.

На этот раз вопрос заключается в том, имел ли г. Юркевич право и основание поступить так, как он поступил?

Мне кажется, что для разрешения этого вопроса вовсе нет надобности прибегать к пространным толкованиям ни о разумно-свободной человеческой воле, ни о самодеятельности человеческой души. Поступком своим г. Юркевич блистательно опроверг самого себя и раз навсегда доказал, что, во время совершения его, душа его положительно бездействовала. Душа человеческая есть нечто тонкое, эфирное и притом действующее независимо даже от повреждения мозга, а тем более от повреждений желудочных. Душа мыслит, но мыслит, так сказать, мысли возвышенные, а не такие, которые могут засорять желудок. Душа требовала, чтобы г. Юркевич доказал, почему она мыслит независимо от повреждения мозга, желудок, напротив того, требовал доказать, почему он мыслит независимо от душевного повреждения. Победителем остался желудок, – и что же можно сказать, чем разрешить эту странную прю? Можно только сказать словами самого г. Юркевича, что «в этом разе сознание его носилось на волнах не столько душевного, сколько желудочного настроения».

Следовательно, не здесь, не в свободно-разумной воле, не в самодеятельности человеческой души нужно искать разъяснения загадки... Человеческая душа ничего подобного измыслить не может.

Этого разъяснения следует искать в чрезвычайной исправности профессорских нервов, передающих желудку получаемые ими внешние ощущения. Откуда, в этом разе, получают нервы ощущения? от внимающей профессору публики. Какое, в этом разе, должно быть произведено в желудке впечатление вследствие переданных нервами ощущений? впечатление о степени развития внимающей профессору публики, развития, выражающегося отчасти в благоговении, а отчасти в сонливости, когда идет речь о ношении сознания на волнах душевного настроения, и в легкой веселости, когда дело касается девицы, протанцевавшей в один вечер несколько немецких миль. Профессор, в этом разе, есть не что иное, как зеркало внимающей ему публики, и сознание его носится на волнах не собственного его профессорского душевного настроения, а на волнах душевного настроения публики.

С своей стороны, ту же самую исправность нервной системы примечаем мы и в публике. Ее нервы получают ощущения от говорящего перед нею профессора и, передавая эти ощущения куда следует, производят там впечатление о нравственном образе того же говорящего перед нею профессора. Стало быть, публика, в этом разе, представляет собой некоторое духовное зеркало, в которое глядится сам профессор, и сознание ее носится не столько на волнах собственного ее душевного настроения, сколько на волнах душевного настроения г. профессора.

Многие, быть может, заметят мне, что у меня «духовное настроение» перемешивается с «настроением желудочным» и что я этим самым доказываю, что не усвоил еще себе истинной философской терминологии. Но я уверен, что, размысливши хорошенько, читатели сами найдут, что в этом деле строгое различие самодеятельности желудка от самодеятельности души не только затруднительно, но даже просто невозможно. Нет сомнения, что в основании всей кутерьмы лежит самодеятельность желудка, но все-таки как-то кажется, будто и душа тут не прочь поучаствовать. Может быть, это оттого мне кажется, что я еще не отвык от предрассудков, что настоящая философская терминология еще недостаточно выработалась, но как-то легче становится на душе, когда это слово лишний раз скажешь.

И таким образом, публика и профессор, получая друг от друга ощущения и впечатления, находятся, так сказать, в непрерывном взаимном соответствии. Профессор сделает усилие – публика рукоплещет ему; вследствие этого профессор

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru усугубит усилие, а публика, разумеется, усугубит рукоплескания. Сочувствие публики поднимает уровень душевного настроения профессора и наоборот. Тут публика равна профессору, профессор равен публике, нуль равен нулю..

Если б г. Юркевич был спиритуалистом действительным, он не толковал бы снов посредством накопления мокрот, он не изъясил бы из сферы душевной самодеятельности целой области снов, области, в которой этой самодеятельности представляется наиболее простора и независимости; наконец, он не сказал бы, что делает из бумажки, на которой написано возражение его антагониста, известное ему употребление. Если он все это допускает, то этим самым доказывает, что он материалист, и притом материалист весьма дешевого свойства, материалист вроде тех, которые наивно полагают, что материализм заключается в обжорстве, половых отправлениях и в приготовлениях к тому процессу, о котором он так остроумно намекнул в своей лекции.

С другой стороны, если б перед г. Юркевичем была другая публика, менее зараженная материализмом дешевым, то она не поощрила бы профессора. Не найдя сочувствия своей выходке, профессор, конечно, только пискнул бы и покраснел. Быть может, он принял бы за возражения своего противника, быть может, он и доказал бы их опрометчивость, ибо кто же знает, какая мысль носится у г. Юркевича на волнах душевного настроения? А теперь вот, сложил бумажку да и думает, что вконец поразил своего противника!

Увы! тут все правы! прав г. Юркевич, ищущий популярности посредством складыванья бумажки, и права публика, поощряющая такие искания популярности посредством складыванья бумажки. Прав даже редактор «одной почтенной московской газеты», принимающий участие в рукоплесканиях. Все они из своего мирозерцания не вынесли ничего иного, кроме хладного озлобления, все они еще насквозь пропитаны тем страшным потом ненависти, который, будучи неопрятным сам по себе, заражает тою же неопрятностью и все то, до чего он хотя случайно прикоснется...[96]

СЕКРЕТНОЕ ЗАНЯТИЕ

Комедия в четырех сценах

СЦЕНА I

Театр представляет кабинет М. Н. Каткова; посредине стоит огромный письменный стол, за которым сидит сам Михаил Никифорович, перед ним на столе лежит кусок колбасы, завернутый в клочок «Нашего времени»; но из открытого среднего ящика стола выглядывает развернутый № «Современника», который М. Н. пожирает с такою жадностью, что даже не замечает, как в комнату входит обойщик.

М. Н. Катков (бормочет). Ну да! ну да! ну, и что ж!

Обойщик. Гардины вешать прикажете?

М. Н. Катков (выходя из оцепенения). А! Это ты, простолюдин!

Обойщик. Гардины вешать прикажете?

М. Н. Катков. Вешай! Вешай! (Любезно.) Ну что, теперь вы свободны?

Обойщик. Слава богу, ваше благородие.

М. Н. Катков (хочет что-то сказать, но не решается). Гм... ну да! (Наконец решается, но говорит краснея.) А ведь это я! (Обойщик смотрит на него с изумлением.) Да, это я!

Обойщик. Так-с.

М. Н. Катков. То есть что вы свободны-то... ну да, это я!., то есть, ты понимаешь, сделал-то не я, а я настоял!

Обойщик. А как же, ваше благородие, ребята сказывали, что это Александр Иванович Кошелев!

М. Н. Катков. Ребята врут, любезный простолюдин! Это я да Василий Александрович Кокорев – вот кто!

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Обойщик. Покорно вас благодарим, ваше благородие!

М. Н. Катков. Ничего... ничего! вешай гардины, добрый простолюдин! (Снова углубляется в чтение «Современника»; обойщик принимается за работу; в это время сзади чуть слышно подкрадывается Н. Ф. Павлов.)

Н. Ф. Павлов (громко). Ух! и это не стыдно!

М. Н. Катков (поспешно задвигая ящик). Что? что такое? что такое я сделал?

Н. Ф. Павлов. И вам не стыдно читать?

М. Н. Катков. Я ничего не читал... я ничего не читал! я... я просто ел!

Н. Ф. Павлов. Еще запирается! а ну-те, покажите-ка, что у вас там, в среднем-то ящике!

М. Н. Катков. Нет, я, право, ничего не читал! то есть я читал... (чуть слышно.) я читал... «Колокол»! (в сторону.) Даже стен боюсь! (вслух.) Только вы, ради бога!

Н. Ф. Павлов (ласково грозясь). Проказник! (Уходит.)

СЦЕНА II

Театр представляет кабинет П. М. Леонтьева; обстановка почти та же самая, что и в предыдущей сцене, с той лишь разницей, что место М. Н. Каткова занимает П. М. Леонтьев. Точно так же подкрадывается сзади Н. Ф. Павлов и неожиданно щекотит у П. М. под мышками.

П. М. Леонтьев (быстро вскакивая). Что это за шутки!

Н. Ф. Павлов. Нет, это не шутки, а позвольте-ка узнать, чем вы занимаетесь?

П. М. Леонтьев (быстро задвигая ящик). Чем? вы видите, ем колбасу и читаю «Наше время»!

Н. Ф. Павлов. Еще запирается! Эх, господа, господа! точно вы маленькие! да в ящике-то у вас что, государь мой?

П. М. Леонтьев (заикаясь). А в ящике у меня... а в ящике у меня... а в ящике у меня... (хочет вынуть ключ от ящика) ну да, у меня в ящике колбаса!

Н. Ф. Павлов. Ничто мне так не противно, как притворство! Показывайте, государь мой!

П. М. Леонтьев. Но уверяю вас, Н. Ф., уверяю вас... (Решительно.) Ну да, я читал, я читал (чуть слышно), я читал... «Колокол»! Но только вы, ради бога!

Н. Ф. Павлов (ласково грозясь). Проказник! (Уходит.)

СЦЕНА III

Театр представляет кабинет Н. Ф. Павлова; обстановка та же, что и в предыдущих сценах, с тем исключением, что героем является Николай Филиппович и что на столе лежит не колбаса, а селедка, завернутая в клочок «Московских ведомостей». Сзади неслышными шагами подкрадываются М. Н. Катков и П. М. Леонтьев.

Н. Ф. Павлов (фантазирует). Основский! где теперь может быть Основский! (Наклоняется и читает; некоторые его волосы встают дыбом. Опять фантазирует.) Быть может, Основский теперь на небесах! (Читает; встают дыбом остальные немногие волосы; вздыхает.) Основский! зачем ты не взял меня с собою!

Тень Основского (появляется вдруг; М. Н. Катков и П. М. Леонтьев, стоящие в глубине сцены, закрывают себе лицо руками). Затем, чтоб ты в сей жизни казнил! (Быстро исчезает.)

Н. Ф. Павлов (простирая руки). О, тень любезная!

П. М. Леонтьев (сурово). Позвольте узнать, милостивый государь, что вы здесь делаете?

М. Н. Катков (язвительно). Да, уж позвольте!

Н. Ф. Павлов (проворно задвигает ящик, запирает его и прячет ключ в карман). Селедку ел, господа, и читал «Московские ведомости»!

М. Н. Катков и П. М. Леонтьев (в отчаянье). О, этого человека никогда никто ни в чем не уличит!

Тень Основского (появляется снова). Скажите Пановскому...

В это время машинист Вальц, услышав имя г. Пановского и припоминая обиды, понесенные им от этого фельетониста, намеренно перемешивает все декорации и на мгновение усыпляет действующих лиц. Тень Основского, не досказав речи, скрывается вверх; раздаются крики, оказывается, что актер, игравший «тень», прищемлен.

СЦЕНА IV

Театр представляет все три кабинета в одной комнате. За тремя письменными столами сидят все три публициста и поглядывают в средние ящики, в которых лежат развернутые экземпляры «Современника». Проходит несколько минут без всякого признака движения со стороны действующих лиц, но это очарованное состояние прекращается одним манием г. Вальца, который заставляет публицистов одновременно поднять головы. Публицисты смотрят друг на друга с изумлением и долго не понимают, в чем дело.

Все (с ужасом). Об этом надобно сообщить Юркевичу!

Землетрясение; отворяются два люка, из которых выходит М. Н. Лонгинов и ищет глазами М. П. Погодина и И. С. Аксакова; он думает, что попал в Общество любителей российской словесности.

(Занавес опускается.)

ЛИТЕРАТУРНЫЕ БУДОЧНИКИ

(Размышления, навеянные чтением № 67 «Моск. вед.» и № 66 «Нашего времени»)

Обвиняют так называемых «свистунов» в высовывании языка. Я не видал, как они это делают, но, должно быть, у них оно выходит не дурно. Я рассуждаю так потому, что «свистуны» народ молодой, веселый, добродушный, следовательно, если и высовывают языки, то именно тем, кому следует, и тогда, когда следует. Притом же и языки у них востренькие, чистенькие, как есть человеческие языки. Видеть такие языки даже приятно.

Но представьте себе, что перед вами неожиданно высовывает язык будочник; представьте себе, что это язык старый, желтый, распухший, покрытый слизью; представьте себе, что будочник злой и остервенелый, что он озлился именно вследствие того, что не имеет возможности отойти от своей будки, и высовывает язык всему, что ходит на свободе, что не приковано к будке... Какое чувство должно возбудить подобное высовывание языка? Где найти объяснение этому высовыванью? посредством какого рода самодеятельных умозаключений самодеятельная будочникова душа допустила язык сделать такую штуку? Не знаю, как в ком, а во мне подобное явление пробуждает только чувство сожаления. Одаренный от природы достаточным воображением, я в состоянии представить себе довольно живо ту досаду, которая должна накопиться в будочнике при мысли о том, что вот народ божий и идет, и едет, куда кому надобно, и руками болтает, и вообще держит себя более или менее непринужденно, и один он, злосчастный будочник, не имеет права ни гулять, ни руками болтать, а должен стоять смиренно и держать в руках алебарду. Я понимаю, что высовыванье языка означает здесь вовсе не обиду мне, проходящему и ничем не обидевшему его лицу, а просто ропот самодеятельной души на всесильную судьбу. Я воображаю и понимаю все это, и за всем тем все-таки отворачиваюсь – так противен для меня желтый, распухший, покрытый слизью будочнический язык!

Но это чувство гадливости принимает во мне совсем иные размеры, когда я вижу, что роль будочника добровольно берет на себя человек, которого никто не заставляет быть будочником, и когда этот мрачный будочник-самозванец до того входит в свою роль, что сам себя приковывает к своей будке, сам по этому случаю приходит в озлобление и начинает высовывать язык всему, что не приурочило себя к

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru будке, что чувствует себя настолько свободным, насколько это возможно в благоустроенном государстве. Приходя мало-помалу в какой-то хладно-остервенелый энтузиазм, будочник-самозванец высовывает язык не только настоящему, но высовывает его прошедшему, высовывает будущему... нет той области, которая могла бы освободиться от этого высовыванья, нет той человеческой души, в которой ужасный будочник не замыслил бы сделать полицейский обыск! Какое чувство может возбудить подобное явление? не знаю, как в ком, а во мне оно производит омерзение...

Новый 1863 год внес и новый элемент, новые привычки в русскую литературу: элемент полицейский, привычки будочничества. Как и следовало ожидать, первый пример подала Москва – золотые маковки, устроившая очень ходко два частных дома, из которых литературное будочничество отпускается оптом и в розницу за весьма дешевую цену; за нею поспешил последовать и Петербург, в котором также появилось несколько будок, но это будки скверные, презренные, о которых не стоит и говорить, потому что торговля, в них производящаяся, едва-едва дает на хлеб будочникам. Петербургские литературные будочники ходят в сермягах и высовывают язык, собственно, в подражание тем нищим, которые показывают прохожим изуродованные руки и ноги, чтобы возбудить отвращение и выманить копейку.

Все эти литераторы-будочники защищают какие-то принципы, приносят себя кому-то в жертву, перед кем-то изъясняются в любви. То пустятся в глумление, то зальются лаем против мнимых врагов, то начнут сентиментальничать с мнимыми союзниками. Но как ни усиливаются они возвыситься до ругательного лиризма, как ни стараются умягчить свои сердца до лести даже тому, что в действительности составляет предмет их ненависти, однако и сквозь лай, и сквозь сентиментальничанье все-таки сочится одна нота – нота пошлого, напускного глумления. Это единственно естественная форма для выражения всех их мыслей и чувствований на ней они должны и остановиться.

Но будемте говорить серьезно, господа будочники! Вы охотно производите обыски и в душах людей вам не единомысленных, позвольте же произвести обыск и в ваших душах. Нет сомнения, что вы защищаете принцип справедливый (кто же имеет право усумниться в этом?), но как вы это делаете? Вы делаете это самым неловким, самым враждебным для принципа образом. Прежде всего, вы полагаете, что здесь достаточно одной злобы, но ведь сплошная злоба не убеждает, а напротив того, производит одно отвращение. И еще вы прибегаете к хвастовству, но ведь и хвастовство разве убедительно?.. и какое хвастовство, какое гнусное, подкаретное хвастовство! Когда читаешь эти злобно-бесстыже-хвастливые выходки, делается стыдно за вас, делается страшно за то дело, которого защиту вы приняли на себя. Что такое? что такое? спрашиваешь себя в изумлении, и невольно приходишь к заключению, что вы первые враги того дела, что вы намеренно взяли за него, чтобы подкопаться и обесчестить!

«Вот тебе и «братцы, братцы, поцелуйтесь»! Вот тебе и «божественная Оливинска»! «И ништо!» – восклицает какой-то веселый будочник. «Моя личность наводит панический страх», – повествует другой будочник характера мрачного. По поводу чего вы так расплясались? Рады вы, что ли, тому, что льется человеческая кровь? Подписчиков, что ли, вам это прибавляет?

Есть люди, которые даже к великим событиям и великим принципам не могут относиться иначе, как с точки зрения своих маленьких, карманных интересов. Это мошки, которые роями вьются около живого организма, чтобы напитаться кровью. Они изо всех сил жужжат, что поражают врагов живого организма, но, в сущности, поражают лишь самый организм. Это глашатаи ненависти, это сеятели междоусобий, это люди, которых должно остерегаться, ибо, с помощью их, никогда никакое дело покончено быть не может, ибо у них всегда наготове какая-нибудь застарелая вражда, какой-нибудь давно забытый, но не разъясненный счет.

Усердные пропагандисты стачек, всегда готовые на всякого рода соглашения с тем, что обещает им выгоду, эти люди не понимают только одного рода стачки – стачки с добром.

Это целый, особый мир. Как смотрят эти люди на свет божий? какие у них знакомые? питаются ли они хлебом и мясом или пожирают мышьяк? Пьют ли они вино и воду или безвредно утоляют жажду синильною кислотой? Все это вопросы любопытные, которых разрешение сделало бы честь любому естествоиспытателю.

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
СОПЕЛКОВЦЫ
(Отрывок из частного письма)
Сопцы и народ молвящ.

«Вся Москва крайне заинтересована появлением какой-то новой секты, о которой уже и прежде ходили темные слухи. Приверженцы ее называют себя «сопелковцами», производя это слово от глагола «сопеть», так как они все действия свои, по какому-то странному обычаю, сопровождают сопением. Само собой разумеется, что появление сопелковцев сейчас же породило в Москве самые странные слухи. Рассказывают, что они поклоняются Абракадабре и всякого вступающего в их согласие заставляют предварительно разжевать раскаленный уголь, – и при этом произнести ту страшную клятву, которую произносит в «князе Серебряном» колдун мельник: «Шикалу! ликалу! слетаются вороны издалека, кличут друг друга на богатый пир, а кого клевать, кому очи вымать, и сами не чуют, летят да кричат! шагадам! шагадам!» Прибавляют, что человек, выдержавший такое испытание, может свободно читать «Наше время», употреблять в пищу разваренные в сулеме «Московские ведомости» и запивать их раствором в синильной кислоте «Русским вестником». Уверяют даже, что они ловят по улицам людей, увлекают их и потом, разрезав жилы, пьют из них кровь; на днях даже говорили, что нечто подобное в страстную пятницу (сии люди всегда лопают скоромное!) случилось с одним нигилистом, беспечно гулявшим в сумерки по Страстному бульвару. Будто бы в ту минуту, когда он поравнялся с университетской типографией, напали на него какие-то люди, одетые в непромокаемые плащи из листового железа, и увлекли несчастного во двор университетского дома. Как бы то ни было, но простой народ встревожен. Один говорит, что видел белесоватого упыря с темно-фиолетовыми губами, который за отсутствием пищи грыз собственную свою руку; другой говорит, что видел чудовищного горбуна, который от голода в одну ночь перегрыз зубами сетку Страстного монастыря и по дороге срезал языком до пятидесяти толстых лип на бульваре... Одним словом, все боятся, все в страхе. Старожилы сравнивают настоящее положение Москвы с теми временами, когда, бывало, наезжал в нее покойник Шешковский, но М. Н. Лонгинов утверждает, что нынче хуже, ибо тогда был один Шешковский, а теперь их несколько.

Какая цель появления «сопелковцев» и какое учение проповедают – все это еще тайна, потому что нельзя же в самом деле согласиться, будто они существуют для того только, чтобы сосать человеческую кровь. Замечательно, что еще Кузьма Прутков предрекал появление подобных людей. «Погоди! – говорил он мне на смертном одре своем, – будут еще не такие люди! будут люди с песьими головами! Эти люди будут говорить, что самое приличное для человека место есть отходная яма!» И с этими словами прозорливый старец скончался. Я не могу забыть этих слов, потому что, действительно, самое ясное, что до сих пор высказали «сопелковцы», – это то, что «приличнейшее для человека место есть отходная яма».

<ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ НОМЕРОВ «СВИСТКА»...>

Для следующих номеров «Свистка», между прочими, имеются в виду следующие статьи:

1) «Прогулка в роще, или Птицы без перьев». Ученое исследование, написанное для журнала «Время», но редакцией его отвергнутое.

2) «Опыты самораздиранья». Рассказ очевидца.

3) Стихотворная элегия на кончину «Времени», начинающаяся стихами:

Здесь Достоевских прах, и, вместо мавзолея,
Косица меж гробов, от страха цепenea,
Стоит...

4) «Несколько слов о неподозрительности патриотических чувств», монография, составленная по «Русскому вестнику».

5) «Самонадеянный Федя», детская сказка в стихах.

Федя богу не молился,
«Ладно, мнил, и так!»
Все ленился да ленился...
И попал впросак!
Раз беспечно он «Шинелью»
Гоголя играл, –
И обычной канителью

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Время наполнял.

Сказка эта обширностью своею превосходит все доньше написанное.

6) «Опыты сравнительной этимологии, или «Мертвый дом», по французским источникам». Поучительно-увеселительное исследование Михаила Змиева-Младенцева.

7) «Обоюдоострый Громека», размышления по поводу разглагольствований о «независимых журналах и людях», помещенных в «Современной хронике России» «О. З.» за март месяц сего года.

8) «Не устроить ли нам колбасную?», политико-экономическое рассуждение о том, что всякое коммерческое предприятие, как журнальное, так табачное, колбасное или полпивное, может тогда только пользоваться заслуженным успехом, когда: а) на каждое из них затрачен особый капитал и б) по каждому ведется свое особое счетоводство.

9) «Опыты отучения сотрудников от пищи и бесплатного снабжения их одеждою». Из записок одного неопытного литератора.

10) «Чувства циника в ту минуту, когда он начинает понимать, что сделался от старости глупым». Стихотворная московская исповедь, с эпиграфом: «как будто тухлое разбилось яйцо»; начинается стихами:

На Малой Дмитровке дом высится прекрасный,
При доме конура, в ней циник жил ужасный;
Ходил он нагишом, лишь будочников знал
И совесть отродясь ничем не умывал.
Однажды, получив письмо из Могилева...

11) «Невинные занятия общества Тирсисов на Спиридоновке», московская стихотворная идиллия, начинающаяся стихами:

Ах! отчего мы не можем понять,
Что мы так страстно желаем!
Други! что делать? лобзать иль кусать?
Тщетно мы к братьям взываем!
В чувствах разлад, в голове дребедень,
Сердце распухло от боли!..
Ах! издавая от праздности «День»,
Что мы за чушь напороли!

12) «Ничего в волнах не видно», рассуждение по поводу 75 № «Моск. ведомостей», в котором доказывается, что и в волнах можно что-нибудь усмотреть.

13) «Безумная заметка о сумасшедших впечатлениях». фельетон нового мормона за все время одержания бесами; с эпиграфом из сочинений г. Ф. Берга («Время» 1863 г., № 3).

Не отнимут люди, не отнимут –
Тупоумье будет вечно с нами;
И за что б ни стали люди биться,
Тупоумьем вряд ли соблазнятся:
Тупоумье будет вечно с нами!

По прочтении этой статьи редакция «Времени» даст клятвенное обещание никогда не печатать стихов г. Ф. Берга и статей г. Ф. Достоевского. Клятву, данную относительно непечатания литературных упражнений г. М. Достоевского, «Время» исполняет с тою стойкостью, с какою «Отечественные записки» выполняют подобную же клятву относительно статей А. А. Краевского.

СТАТЬИ
(1868–1883)

НАПРАСНЫЕ ОПАСЕНИЯ

(По поводу современной беллетристики)

В последнее время все чаще и чаще случается слышать в обществе сетование на бедность нашей литературы (разумея под этим словом собственно беллетристику). С одной стороны, читающую публику поражает отсутствие новых замечательных талантов, которых появление составляло бы более или менее яркое событие; с другой стороны, не меньше приводит в недоумение и то обстоятельство, что беллетристика заговорила каким-то новым, совершенно отличным от прежнего языком, да и предметы для своих исследований стала почерпать из чуждого или, по крайней

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru мере, мало известного для публики мира. Конечно, общество и ныне с удовольствием останавливает свое внимание на новых произведениях своих давнишних любимцев: Тургенева, графа Л. Н. Толстого и немногих других, но так как эти писатели действуют на литературном поприще уже довольно продолжительное время, то публика не без горечи предусматривает тот момент, когда, вследствие естественного или случайного прекращения их деятельности, она надолго останется без хорошего литературного чтения.

Чтобы оценить эти сетования по достоинству, необходимо прежде всего взглянуть на состав нашей читающей публики. Элементы, составляющие эту публику, так разнообразны и притом обновляются с такою медленностью, что можно сказать почти утвердительно, что современный русский читающий люд совершенно тот же, какой был десять – двадцать лет тому назад. Ядро его находится и донныне в той небольшой и замкнутой среде, к которой мы издавна до такой степени привыкли приурочивать все проявления нашей умственной деятельности, что, в строгом смысле, и самую литературу нашу можно почти назвать кастическим достоянием. Нет сомнения, что семена самосознания, брошенные в последнее время на почву русской жизни, значительно расширят границы этой среды в будущем, но покамест мы можем говорить об этом только гадательно. В настоящем, читают и интересуются судьбами русской литературы все те же (или, по крайней мере, того же закала) люди, которые читали, интересовались во времена самого сильного разгара славы автора «Рудина» и «Дворянского гнезда».

Воспитание, образ жизни и общественное положение кладут неизгладимую печать на политические и литературные убеждения людей. Наше общество сороковых годов (или, лучше сказать, мыслящая его часть), составляющее и донныне главный контингент читающей публики, не могло похвалиться особенною ясностью своих стремлений. В людях того времени (все-таки в лучших) было в высшей степени развито чувство неудовлетворенности окружающею средой, но в этом чувстве замечалось так много смутного и беспредметного, что мысль, не будучи в состоянии определенно наметить для себя ясные исходные пункты, не могла не только прийти к какому-либо разрешению, но даже не чувствовала потребности и доискиваться их. Недовольство питало само себя; оно служило самому себе и причиной и разрешением; это было не более как приличное занятие, тщету которого мы начинаем понимать только теперь, когда в мнении читающей публики вдруг совершился крутой поворот и прежнее недовольство внезапно превратилось в самое невозможное довольство.

По-видимому, в нашем обществе сороковых годов чувствовался известного рода умственный и нравственный разрыв, который проводил между поколениями границу довольно резкую, но, в сущности, разрыв этот далеко не был так глубок, как это кажется с первого взгляда. Этот кажущийся разрыв не дотрогивался до оснований, а ограничивался одними внешними формами. Оба поколения, то есть и отцы и дети тогдашние, стояли на одной и той же идеально-политической почве, и вся разница, их разделяющая, заключалась только в том, какое имя носила та нравственная или политическая утопия, которой держались в том или другом лагере. Если одних еще удовлетворяли патриархальные отношения даже в такой форме, как крепостное право, и если другие начинали уже тяготиться ими, то это не мешало сходиться обеим сторонам в том чувстве кастической отчужденности, которая, даже в самых порывах великодушия, не идет далее отвлеченной справедливости и никогда не отождествляет себя живому делу настолько, чтобы нельзя было заметить в их попытках в этом смысле признаков свойства чисто механического. Если одни подчиняли все свои действия посредничеству внешних сверхъестественных сил и ежели другие уже не удовлетворялись объяснениями такого рода, то это нисколько не мешало этим другим прибегать к объяснениям, хотя и имеющим внешний вид, различный от первых, но, в сущности, столь же нетвердым и произвольным. Одним словом, если не сходились люди в подробностях, степени развития и формулах своих убеждений, то основания, из которых выходили эти убеждения, и сфера, в которой они замыкались, были вполне одинаковы.

Вспомним типы, созданные литературой того времени, и мы увидим, что все они носят отпечаток касты; одни из них осуществляют ее уродливости, другие – ее неопределенные стремления к чему-то лучшему, но, во всяком случае, не подлежит сомнению, что и те и другие должны были народиться и перейти в литературу только из такой среды, которая обильна досугом. Трудно было ожидать, чтобы в этой среде, навсегда обеспеченной от черной работы (по крайней мере, она полагала себя навсегда обеспеченною), могла серьезно возникнуть мысль о деловом, реальном отношении к жизни, но, взамен того, в ней могли и должны были постепенно возрасти требования характера эстетического и отвлеченного. Чем отвлеченнее

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru ставились вопросы, чем менее вторгалось в них жизненных счетов и подробностей, тем успокоительнее было их действие, тем большую полноту придавали они человеческому времяпрепровождению. Это было какое-то праздничное существование, нечто среднее между сном и бодрствованием, в котором не чувствовалось потребности ни в деятельности, ни в практических применениях. Даже типы Гоголя – и те нравились именно потому, что в них проводились, в отрицательной форме, те же эстетические и отвлеченные требования, которые, в более положительной и привлекательной форме, проводились и в типах Тургенева. Это же объясняет, почему могли привлекать внимание публики даже такие произведения, как псевдонародные романы и повести Г. Григоровича, несмотря на то что в них трактовалось о рекрутских наборах, оброках, неурожаях и тому подобных мужицких невзгодах, то есть о реальнейших из реальных. Вокруг этих реальностей царствовал такой мягко-идиллический тон, что, казалось, не доставало только пирожного, чтобы сделать их вполне привлекательными. Читатель сладко вздыхал и, разнеженный идиллическими горестями Антона-горемыки, внутренне радовался, что на нем лично не лежит никаких недоимок, и что он, не опасаясь рекрутских наборов, может вполне беспечно удовлетворять своим эстетическим и умственным потребностям.

Никто полнее не выразил стремлений этого времени, как Тургенев; никто не показал нам с большею ясностью, на что способен и до каких рубежей может дойти умственный дилетантизм, составляющий естественное последствие слишком обеспеченного досуга. Сомнение – вот та крайняя грань, далее которой он не может идти; сомнение и, вместе с тем, полнейшее бессилие. Лучшие люди этого царства досуга не находят иного выхода, кроме сомнения, и хотя с первого же раза ясно, что тут нет, собственно, никакого выхода, но те отвлеченные извороты, та умственная игра, которые являются неизбежными спутниками неустановившейся и не имеющей прочной опоры мысли, до того привлекательны, что очень многих заставляют забывать о бессилии, которое ими прикрывается. Происходит умственный мираж; кажется, что сомнение уже само по себе составляет известную поправку к жизни, что можно прожить целую жизнь, не имея никакой иной ноши, кроме болезненных колебаний мысли, и что в результате получится не просто зубоскальство, но нечто существенное, имеющее все признаки серьезной и плодотворной работы. Трудно найти в какой-либо литературе типы более блестящие, нежели Рудин, Лаврецкий и множество других, созданных талантливым пером Тургенева; скажем даже: трудно найти типы, более способные возбудить симпатию; но взгляните на них пристальнее, взвесьте их поступки и действия, и вы легко убедитесь, что это не более как люди распутия, люди скучающие, не видящие в жизни целей, не потому, чтобы этих целей не было в действительности, и даже не потому, чтобы очень трудно было определить их, а потому просто, что они не находят особенной надобности вызывать их наружу. Конечно, им до известной степени уже неловко жить в той обязательной среде, которая их окружает, но иго этой нравственной неловкости, по-видимому, не настолько еще нестерпимо, чтобы разрешиться чем-нибудь иным, кроме легкого и, в сущности, очень незлобивого будирования.

Публику привлекали тургеневские типы потому, что они принадлежали к той среде, которая ей всего ближе была знакома. Она видела в этих типах себя саму, да, пожалуй, еще в таких праздничных одеждах, о которых знала только понаслышке. Ни Рудин, ни Лаврецкий не противоречили никаким основным ее убеждениям, не оспаривали ее права на досуг; они только вносили в этот досуг новый и очень приятный элемент изящества. Насколько чувствовал себя бессильным каждый член читающей толпы, настолько же оказывались бессильными и герои Тургенева; но эти последние представлялись в таком всеоружии изящества, что читатель, вместо того чтобы анализировать и доискиваться, привыкал видеть в них свои идеалы. Притом же в этом будировании слышалось столько хороших и честных слов, что на людей, свободно произносивших эти слова, нельзя было смотреть без особенной сердечной симпатии. Это были слова, несомненно, новые, впервые произносившиеся в нашем обществе, но не такие, однако ж, которые озадачивали бы это общество, которые не нашли бы в нем некоторой подготовки. Умственному взору настроенного этими словами читателя открывалась целая обширная область, целая безграничная картина, в которой, на общем фоне досуга, красовались слова: «изящное» и «интеллигенция». Таким образом, право на досуг не только не отрицалось, но даже как бы оправдывалось. А ежели мы еще припомним ту обаятельную обстановку, которую так богаты произведения Тургенева, то без труда поймем, почему этот писатель так всецело завладел вниманием нашей читающей публики.

Мы нимало не желаем обвинить Тургенева в том, что у него везде на первом плане стоит «лишний человек». Он сам придумал такое меткое определение для своих героев, и, конечно, придумал его не с тем, чтобы льстить. Среда, которую

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru изображал этот писатель, действительно ничем так не изобильна, как «лишними людьми», а взаимная разница между этими людьми заключается единственно в том, что одни сознают себя лишними, а другие не сознают. Сознание своей ненужности, успокаивающееся в самом себе, конечно, не заключает в себе ничего особенно плодотворного, но оно уже имеет то несомненное преимущество, что человек, обладающий им, по крайней мере затрудняется своею ненужностью, совестится видеть в ней нечто непреложное, к чему должно обязательно прилаживаться все остальное, не страдающее умственными и нравственными колебаниями. Мы, конечно, знаем по опыту, что и это сознание может со временем обратиться в привычку и в этом качестве утратить все признаки совестливости, но покуда эта метаморфоза не совершилась, покуда сознание живо и искренно, и покуда, сверх того, в нем заключается последнее слово, до которого додумалось цивилизованное общество, оно может даже принести известную долю пользы. Уяснение типа ненужного человека необходимо должно вызвать потребность в уяснении типа человека нужного; правдивое изображение среды, страдающей болезненными раздражениями мысли, неизбежно приведет к представлению возможности такой среды, где подобные раздражения допускаются только как исключения. Какими бы симпатичными чертами ни рисовали мы «лишнего человека» – все же это явление болезненное, а не нормальное. Здравый смысл человека никак не примирится с тем, чтобы судьбы мира могли находиться в руках людей, останавливающихся перед всяким живым делом в положении хемницеровского «Метафизика». Ведь идет же как-нибудь этот мир, делается же в нем какое-нибудь дело, непременно подскажет этот здравый смысл, стало быть, есть в нем какие-то другие люди, которые хотя не сильны по част метафизики, но могут делать настолько, что и сами живут, да и метафизикам жить дают. Но, повторяем, независимо даже от этого отдаленного результата, тип человека, сознающего себя лишним, имел право на симпатию по одному тому, что сознание это само по себе уже к чему-то обязывало, и с этой точки зрения Тургенев, конечно, имел полное право относиться к нему сочувственно.

Такова была наша публика сороковых годов. Обеспеченная относительно твердости внешних рамок, в которых замыкалось ее существование, проникнутая убеждением, что на ее долю выпало представлять собою интеллигенцию страны, напитанная совершенно своеобразными понятиями о существе и обязанностях этой интеллигенции, она вынесла из своего воспитания полнейшее чувство гадливости ко всему, что напоминало о так называемом черном труде. Отсюда безграничное благоговение пред искусством, отсюда – страсть к метафизической гимнастике. Предполагалось, что это занятие благородное, чистоплотное, способное не только украсить, но и оправдать досуг. Никто не вспоминал о предках, никому не приходило на мысль, что и они не без услад проводили досуговую жизнь, что и у них были: и псовая охота, и медвежьи травли. Нравы настолько смягчились, что для всех стал ясен «звериный обычай» этих услад; неясно было только одно: что на первом плане новых услад стояло все то же слово «украшение», все то же понятие «досуг», что из них, этих новых, изящных услад, как ни усиливайтесь, никаких иных слов и понятий не выжмете.

Доказать, что и те и другие украшения различествовали только в форме, а не в сущности, очень нетрудно. Эти доказательства представила нам самая жизнь. Все эти «лишние люди», так меланхолически сетовавшие на свою ненужность, покуда ничто не препятствовало им услаждать себя этими сетованиями, оказались, как только время предъявило некоторые притязания на их досуг, такими преестественными зверобоями, что сразу сделалось ясно, что способность эта только спала в них, окончательно же никогда не умирала...

Те внешние причины, совокупность которых обуславливает тот или другой характер вкусов и требований публики, всегда оказывают свое действие с чрезвычайною медленностью. Мы часто видим, что формы жизни существенно изменяются, но тот живой состав, который (иногда даже по преимуществу) привлекается к этим новым формам, остается прежний, то есть тот же, который присутствовал и при измененных порядках. Измените общественное положение человека, ограничьте условия, которые обеспечивали его досуг, поставьте его в необходимость признавать правопособность там, где он ее никогда не признавал, – вы этим не достигнете нравственного перерождения человека, вы не сделаете его ни трудолюбивым, ни предусмотрительным, не оградите его от поползновений вторгаться в пределы чужой правоспособности. В более или менее отдаленном будущем все эти результаты, конечно, и возможны и неизбежны, но на первый раз все, чего можно ожидать – это того, что представление созданного Тургеневым типа «лишнего человека» встанет перед человеком с большею отчетливостью, нежели прежде, и притом обнаженное от тех украшений, которые когда-то сообщали ему некоторый кажущийся живой смысл.

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

Предположим даже самый благоприятный случай: предположим, что человек, которого коснулась жизненная реформа, настолько развит, что понимает всю законность и справедливость ее; может ли он, за всем тем, идти далее признания этой справедливости, может ли подчиниться ей в такой степени, чтоб она стала для него не сегодняшним, а давним делом, вошедшим в его плоть и кровь? Очевидно, такое предположение само по себе уже так рискованно, что ответа на него не может быть другого, кроме отрицательного. Конечно, высокое чувство справедливости, да и то не иначе как при помощи постоянной работы над собственным своим развитием, может до известной степени сгладить те привычки, которые укореняются в нас жизнью, но отказаться от старых привычек, прийти к убеждению в необходимости согласовать их с новым строем жизни – все это еще не значит принять новые привычки, сделаться новым человеком. Притом же не следует забывать, что, заводя речь о чувстве справедливости, мы тем самым ограничиваем наш кругозор весьма немногими единицами и неизбежно исключаем из него большинство, которое этого чувства не сумело или не успело в себе воспитать. Мы часто видим людей, не только обладающих одинаковыми внешними формами, но даже стоящих, в сущности, на одинаковой ступени умственного развития, которые, за всем тем, очень мало интересуются друг другом потому только, что их разделяет какая-то совершенно незаметная, метафизическая кляуза – что же должно ожидать от сопоставления друг другу таких элементов, которые ни по внешним формам, ни по характеру интересов, ни по внутренней их сущности никаких общих точек соприкосновения между собою не допускают. Ясно, что тут может идти речь только о чувстве справедливости – не более не менее. Положим, что на первый раз мы ничего больше и требовать не вправе, но самое это присутствие и даже преобладание идеи справедливости, одной этой идеи, уже доказывает, что обладающий ею человек может удовлетворять своим ближайшим интересам, вовсе не ощущая нужды привлекать к этому те новые формы жизни, которые вызваны требованиями справедливости. Он может оставаться при прежних привычках, при прежних вкусах и наклонностях, и ежели ограничит их в угоду голоса жизни, то сделает это не без тайного огорчения. Он как будто говорит: хорошо! я признаю за новыми стихиями то право на жизнь, которого они до сих пор не имели, я признаю за ними даже право устроить эту жизнь на совершенно иных основаниях, но оставьте меня в покое, не требуйте, чтоб я смешивался с этими стихиями, дайте мне умереть посреди тех привычек и верований, которые воспитало мое прошлое. Необходимо родиться в известном порядке вещей или, по крайней мере, войти в него из условий сравнительно неблагоприятных, чтобы усвоить себе его совершенно просто и естественно. Иначе, на какой бы недостижимой нравственной высоте мы ни стояли, даже если бы мы сами, всю свою предыдущую деятельность, призывали новый порядок вещей, все же найдется известная капля горечи, которая, против нашего желания, отравит теоретическую непогрешимость наших сбывшихся надежд.

Таково отношение к новым формам жизни даже той части публики, которая хотя и воспитана в преданиях, понятиях и привычках старого времени, но все-таки не может не возбуждать наших симпатий своею относительно нравственною развитостью. Эти отношения исчерпываются всецело словом «справедливость», нимало не захватывая в себя всего человека. Но, как мы сказали выше, в подобного рода отношения может свободно стать только очень незаметное меньшинство; затем, есть еще большинство, которое относится к этому делу несколько иначе. Это большинство (опять-таки предупреждаем, что и под этим словом мы разумеем только бывшее, мыслящее меньшинство читающей публики сороковых годов), быть может, с не меньшим нетерпением звало новые порядки, но вместе с тем показало совершенное отсутствие теоретической твердости и последовательности и совершенно неожиданное обилие практической чувствительности относительно тех существенных изменений, которые привели за собой эти порядки.

Дело в том, что это большинство меньшинства если и призывало какие-то новые порядки, то делало это бессознательно, с чужого голоса. Члены этого большинства были даже не «лишние люди» тургеневского закала, а только прихвостни их. Притом же, ограничиваясь предположениями и выводами свойства исключительно априористического, эти люди легко могли и не предвидеть тех практических последствий, которые необходимо влекло за собой исполнение их желаний. Так, например, в великой реформе, упразднившей крепостное право в России, их пленяла только красивая сторона дела, то есть устранение безнравственных и бесправных отношений человека к человеку; затем, личность народа, его практическое устройство оставались в тумане по-прежнему, а о тех ограничениях, которые естественно вытекали из устранения бесправных отношений, не могло быть и помину. Казалось, что останется то же самое, что было и прежде, только прежние принудительные отношения примут характер добровольный, что, конечно, несравненно

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru приятнее. Относительно судебной реформы опять то же пристрастие не к существенной, а к красивой стороне дела, то есть к гласности и устности, которые дают больший простор талантам. Понятно, с каким изумлением должны были увидеть эти господа, что живое дело никогда не ограничивается одними красивыми сторонами, а прежде всего выступает наружу тем внутренним существом, которое в нем заключается. Наиболее смелые и рискованные их предположения вдруг оказались настолько опереженными самой скромной действительностью, что на некоторое время недоумение было исключительным чувством, овладевшим этою псевдолиберальною толпою. Но ежели люди до того близоруки, что не могут предвидеть самых простых последствий призываемого ими дела, то ясно, что они не могут и руководить им, что они не в силах овладеть им настолько, чтобы привести его к доброму концу. Отсюда первое кровное оскорбление в бессилии и неумелости. Мы призывали, мы бились изо всех сил, и вот это самое детище, которое мы так лелеяли, оказалось, при самом рождении своим, вышедшим из меры того роста, который мы ему предназначали! Однако и с этим бы еще можно примириться; но оказывается, что детище наше не только чересчур долговязо, но еще неблагодарно. Оно не признает за нами способности воспитывать его, – пусть так! Но оно не хочет даже благоговеть перед нами, не хочет понять, что мы все-таки статья особая, которая всем этим жизненным дрызгам ни под каким видом причастна быть не должна. Это вторая кровная обида. И вот все эти люди, столь недавно еще казавшиеся самыми несомненными либералами, вдруг делают еще более несомненными злопыхателями и начинают поносить те самые явления, в которых они когда-то усматривали украшение и культ всей своей жизни.

Такова другая часть нашей мыслящей публики, той публики, с понятием о которой мы привыкли связывать представление о всех проявлениях нашей умственной жизни. Ясно, что если первая часть этой публики, не подчиняясь вполне новым явлениям жизни, все-таки сохраняет к ним отношения справедливости, то в другой ее части не может быть речи даже и об этих последних отношениях. Тут просто является чувство слепого негодования, которое тем более разжигается, чем сильнее в прошедшем питалось чувство самонадеянности в каждом отдельном субъекте ее.

Таковы отношения к новым формам жизни той публики, которой мнения считаются имеющими какой-нибудь авторитет в обществе. Теперь посмотрим, каковы должны быть эти отношения со стороны литературы, и каковы они суть на самом деле.

Говоря теоретически, требования литературы относительно какого бы то ни было жизненного вопроса не могут оставаться позади требований публики. Взятая в общем фокусе, литература есть тот очаг общественной мысли, который служит представителем не только насущной физиономии и насущных потребностей общества, но и тех стремлений, которые в данную минуту хотя и не вошли еще в сознание общества, но тем не менее существуют бесспорно и должны определить будущую его физиономию. Она приводит эти стремления в ясность, она отыскивает для них надлежащие формы, и в особенности важны ее заслуги в этом смысле там, где замечается недостаток в публичности и где, следовательно, общество представляет собой не что иное, как собрание разрозненных единиц. Очень понятно, что такого рода задача может быть выполнена только под условием известной умственной подготовки, и потому весьма естественно, что к литературному труду привлекаются лучшие силы общества и что, в строгом смысле, общественной интеллигенцией может быть названа не другая какая-нибудь среда, а именно и исключительно среда литературная.

Поэтому, если мы замечаем в обществе движение в смысле расширения сферы его самостоятельности, то можем сказать безошибочно, что литература не только относится к нему сочувственно, но что и самое движение, прежде всего, было вызвано ею. В литературах самых забитых, самых бедных инициативой, мы замечаем несомненные признаки этого почина, и ежели они не бросаются нам в глаза со всею яркостью, то потому только, что мы не всегда обладаем способностью обобщения и применения. Но этого мало: возбуждая в обществе потребность самосознания и самостоятельности, литература не успокаивается на тех видимых явлениях, которые возникают как естественное следствие ее пропаганды. Прежде всего, она определяет действительное значение и объем возникшего, а затем указывает на его способность к дальнейшему развитию и на те новые стихии, которые оно призывает к жизни. В этом-то, собственно, и заключается самая существенная и плодотворная сторона ее деятельности. Таким образом, работа литературы представляется нам тою непрерывною, самооплодотворяющею работою, в которой одно определившееся явление неизбежно вызывает целый ряд иных, еще не определившихся, но уже возможных явлений. Те новые стихии, которые после каждой победы мысли призываются

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru литературой к участию в жизни, могут дать повод к таким бесчисленным общественным комбинациям, которые в глазах непосвященной уличной публики должны казаться не более как безобразными призраками, но которые литература обязана не только предусматривать, но и регулировать.

Таковы нормальные отношения литературы к явлениям жизни. Признаки этих отношений мы замечаем и в русской литературе; они проходят через нее непрерывно с самого начала ее существования, они делятся и теперь. В прошедшем мы можем указать на таких деятелей, как Фонвизин, Новиков, Белинский, Гоголь, Тургенев, которые, без сомнения, оказали русскому самосознанию услуги неоцененные; в настоящем... но об этом речь впереди. Во всяком случае, если и можно назвать таких отдельных представителей современной нашей литературы, которые, ввиду нового фазиса движения русской мысли, не находят ничего более, как разделять по поводу его недоумение публики, то это все-таки не более как единицы, присутствие которых нимало не изменяет инициаторского характера русской литературной деятельности.

Теперь сделаем общий вывод из всего сказанного нами. С одной стороны, в нашей жизни в течение последнего десятилетия произошли такие существенные изменения, которые отчасти превзошли ожидания цивилизованного меньшинства, отчасти же хотя и встретили его сочувствие, но только в смысле справедливости и законности. С другой стороны, мы видим те же изменения и рядом с ними литературу, которая не только сочувствует им, но усматривает в них несомненную способность к дальнейшему развитию. Таким образом, относительно одного и того же явления образуются двоякого рода отношения, совершенно противоположные. Ясно, что они не могут стать друг к другу иначе, как враждебно, или, по малой мере, индифферентно. Что для одних представляется торжеством разума и справедливости, то для других однозначнее с победою безумия, насильства и других темных сил. А так как тот общественный элемент, в котором заметно наименее сочувствия к новым формам русской жизни, составляет вместе с тем и главный контингент читающей публики, то понятно, с какой точки зрения должна смотреть эта последняя на нашу литературу, то есть на ту ее часть, которая с особенным вниманием следит за общественным движением. Все в этой литературе должно казаться странным нашей туго поддающейся публике сороковых годов: и ее симпатии, и те новые люди, которых она выводит на сцену, и тот новый язык, которым она начинает говорить. Все это или до крайности мало интересует ее, кажется мелким, не захватывающим ни в глубину, ни в ширину, или же представляется чем-то задорным, вызванным с единственною целью тревожить ее самолюбие, разбереживать ее раны. Отсюда жалобы на бедность литературы, на то, что силы ее видимо иссякают, а на поверку, очень может статься, выйдет, что не литературные силы беднеют и поражаются бессилием, а чутье читающей публики делается все менее и менее состоятельным.

Но, скажут нам, каким образом могло случиться, что новые основания жизни, которые вывели на сцену столько новых стихий, скрывавшихся доселе за кулисами, не оказали в то же время почти никакого влияния на обновление состава читающей публики? Нет ли тут преувеличения? Или, быть может, эти новые стихии такого сорта, что для них литература даже вовсе не составляет необходимого условия жизни?

Ответ на эти вопросы заключается в некоторых особенностях, под влиянием которых воспитывается и выделяется читающая публика вообще.

Выше мы указали на те причины, вследствие которых публика, дотоле обнаруживавшая видимое участие к судьбам литературы, может сделаться совершенно равнодушною к ней; те же самые причины, аналогически, оказывают свое действие и относительно той новой публики, которая имеет образоваться вследствие нового строя жизни. Если в первом случае главным агентом равнодушия является недостаток живой связи с измененными основами жизни, то во втором таким агентом представляется недостаток самосознания. Не следует забывать, что хотя за всякими новыми порядками необходимо врываются в жизнь и новые делатели, но нужно немало времени, чтобы эти последние, так сказать, натурализовались в неизвестном и непривычном для них мире, чтобы они усвоили себе его основания и извлекли из них все выгоды, которые они могут дать. Первый предмет, который в этом случае привлекает внимание нового человека, — это выгода непосредственная, выгода, которую можно понимать и осязать, не имея надобности прибегать к каким-нибудь отдаленным соображениям. Но так как этих простых, кидающихся в глаза выгод очень много, так как без достижения их невозможно думать ни о каких иных выгодах и так как это достижение дается не совсем легко, то проходит довольно много времени, прежде чем переход от выгод непосредственных к выгодам более сложным делается

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru естествен и возможен. Скажем более: эти простые выгоды, которые представляются наиболее доступными самому неразвитому пониманию, суть в то же время и те, которые на практике всего более возбуждают затруднений. Мы поймем это, если примем в соображение, что эти простые выгоды вместе с тем и самые дорогие, то есть такие, без которых нельзя сделать в жизни шагу. Среда, которая обладает ими, поступается ими гораздо туже, нежели выгодами гораздо более сложными, каковы, например, выгоды образования, различных политических прав и т. п. Но, с другой стороны, понятно и то, что на них-то преимущественно напирал и та среда, от которой, до случая, эти выгоды были заперты на ключ. Она не может идти дальше, прежде нежели запасется этими простыми и на первый взгляд грубыми выгодами. Это первая причина, вследствие которой новые люди остаются равнодушными не только к литературе, но и к другим, менее сложным, но тем не менее существенным стихиям жизни цивилизованного общества. Вторая причина заключается в недостаточной умственной подготовке новых участников жизни. Гораздо труднее объяснить равнодушие к судьбам новой русской литературы со стороны тех людей, которые все-таки дошли хоть до понимания типа «лишнего человека», нежели со стороны тех, которые воспитаны на сказаниях о «пупе земли» и «голубиной книге». Литература, как высшее выражение стремлений общества, требует задатков весьма разнообразных от тех, которые хотят в ней найти для себя поучение, и хотя для того, чтобы принять духовное участие в ее интересах, нет особенной необходимости проработать на практике, в виде переходной меры, бессилием и сомнениями «лишнего человека», но все же необходимо, по малой мере, освободиться от ошеломляющей теории «трех китов» и других подобных несообразностей. Подготовительная работа подобного рода идет довольно медленно, и по большей части от нее совершенно ускользают ближайшие поколения, по той причине, что у них, как сказано выше, и без того много насущного дела. И, таким образом, оказывается, что если старая публика успела уже утратить чутье к интересам литературы, то публика новая не успела еще воспитать его.

Одним словом, дело принимает оборот совершенно другой, нежели тот, который дают ему наши литературные соболезнователи. Бедность действительно существует, но не там, где ее предполагают. Она поразила не литературные силы, а саму публику, которая не хочет или не может изменить свои взгляды на жизнь даже тогда, когда сама эта жизнь изменяет себя во всех своих подробностях.

То, что отстраняет от новой литературы наших мистиков сороковых годов, то именно и дает ей право на живучесть и силу. Это – новые типы, которые она пробует выводить, это – новое дело, о котором она говорит, это – новый язык, с которым она нас знакомит. Все, что проходило перед нами в тумане, весь этот люд, который представлялся нам не иначе как в качестве декорации и мимо которого мы проходили без всякой мысли, – все это встает перед нами живое и своеобразное, все это, несмотря на грубость форм, предъявляет свое несомненное право на признание в нем человеческого образа, а в этом качестве – и на самую жизнь.

Читатель, может быть, спросит: где же эти новые талантливые деятели, на которых можно бы сослаться, как на представителей действительности литературного поворота? Отвечаем: этими деятелями прежде всего являются, во-первых, общее направление современной молодой литературы и, во-вторых, то служение правде, которым оно всецело проникнуто.

Читатель сороковых годов, который примирялся с литературой только под тем условием, чтобы она изображала ему человека, посвящающего свой досуг упражнениям в благородстве чувств, не хочет принять в соображение, что тип этот исчерпан до дна и, следовательно, потерял даже право на самостоятельное существование. А между тем это самая вопиющая истина. С благородным досугом мы дошли до глухой стены, до совершенной невозможности приладиться к какому-нибудь делу. Бессилие привело нас к бесконечным сетованиям, и сетования эти оказались до того однообразными, до того бессодержательными, что даже нас самих по временам приводят в негодование. Мало того что мы везде чужие, что куда бы мы ни обратили наши взоры, всюду как будто «не наше дело», мы до того безразлично смотрели до сих пор на все окружающее, что не можем даже указать, откуда следует ждать нам помощи, где та среда, в которой делается какое-нибудь дело. Мы не можем делать сами, не можем указать и другим на дело. И это бессилие еще тем усугубляется, что даже и оно не оригинальное, а бледный сколок с различных Рене, Оберманов, Чайльд-Гарольдов и Вертеров. В этой игре сомнениями для сомнений, в этом гордо выставляемом напоказ разочаровании слышалась какая-то наглая комедия, в которой не было ни одного своего чувства, ни одного своего слова. Спрашивается: при всем пристрастии к этому типу, можно ли развивать его далее?

Нет, нельзя. Он сделал свое дело, он даже принес свою посильную пользу, в том смысле, что выставил в настоящем свете то так называемое цельное мирозерцание, представителями которого служили Собакевичи и Ноздревы, и положил ему предсл. Далее он идти не мог, потому что дальше уже почувствовалась потребность в правде, в той живой правде, к которой некогда стремился Гоголь, безуспешно отыскивая положительные стороны русской жизни и русского человека.

Литература наша – и это приносит ей величайшую честь – никогда не предавалась неправде сознательно; напротив того, она постоянно обнаруживала в этом отношении похвальную брезгливость. Типы, созданные Гоголем и Тургеневым, были, несомненно, представителями реальной правды своего времени; все дело в том, что круг этой правды был слишком ограничен, чтобы дать место достаточному разнообразию мотивов. Нам могут возразить, что человек сам по себе, в каком бы тесном кругу мы его ни заключили, представляет такой разнообразный нравственный мир, в котором легко найдется место для всевозможных качественных определений. Но это положительно несправедливо, ибо, исходя из этой теории, мы можем дойти наконец до дикого человека, до тюрьмы. Чем меньше разнообразия представляет среда, в которой обращается человек, тем менее дает она ему впечатлений и тем скуднее развивается его нравственный мир. Некоторые качественные определения могут развиваться не вполне, другие – получить развитие фальшивое, третьи – совсем заглохнуть. Постепенно уединяясь, человек может наконец дойти до крайней умственной и нравственной ограниченности, которая едва ли и не составляет единственный источник разочарования и озлобления, нередко замечаемого в людях, к удивлению, признаваемых даже стоящими выше толпы. Следовательно, не вина писателей, а ограниченность самого круга правды, трудность, с которой сопряжен был доступ в него освежающей струе, – вот действительная причина бедности мотивов, которую страдала наша литература сороковых годов... Но приемы их были верны, отношение к изображаемому миру честно, и в этом смысле предания, которые она оставила молодому литературному поколению, заслуживают полного уважения. Эти предания гласят нам: во-первых, что с словом надобно обращаться честно; во-вторых, что есть нечто худшее, нежели самая худая действительность, – это преднамеренная ложь на нее. Можно ли сказать что-нибудь более этого? Можно ли наметить задачу более серьезную и более трудную для выполнения?

Молодая наша литература приняла и сохранила эти предания вполне. Если мы и видим в области печати уклонения от честного обращения с словом и от правдивого отношения к действительности, то уклонения эти принадлежат исключительно остаткам старой литературы. Они одни, по какому-то горькому недоразумению, явились отступниками от завещанных ими же самими нравов и обычаев литературной честности, на них же одних должна пасть и вся ответственность за такое отступничество. Это отступничество может со временем тоже составить своего рода предание, но будем думать лучше, что прецедент этот умрет вместе с теми, которые вольно или невольно явились его создателями.

Положение современной русской литературы можно сравнить с положением исследователя, которому предстоит уяснить совершенно новый вопрос. Отправный пункт найден, правильные приемы для исследования сознаны, но в то же время материал, находящийся под руками, так разнороден и так мало подвергался даже поверхностной разработке, что проникнуть в ту сокровенную сущность, которую заключает в себе каждое звено его, составляет затруднение очень существенное. Для литературы стало ясно, что дело отрицания утратило не только свою относительную жизненную полезность, но даже перестало быть привлекательным, и что тип человека, задумавшегося на распутии, исчерпан сполна; потом, сделалось не менее ясно, что затем следует уже искать типов положительных и деятельных и отнести к ним с тою же правдивостью, с которою литература предшествующего периода относилась к типу человека, страдающего излишним досугом. Весь вопрос в том, где искать этих деятельных и положительных типов. Очень может статься, что та среда, в которой они обретаются, представляет собою грубую и неприятную на взгляд массу, изнемогающую под игом разнородных темных сил; очень может быть, что это даже и не масса, а просто безобразная агломерация единиц, тянущих в разные стороны и не сознающих никакой общей цели. Все это, пожалуй, очень вероятно и даже несомненно, но не менее несомненно и то, что иной среды, от которой можно было бы ждать живого, не заеденного отрицанием слова, покуда еще не найдено, а потому литература не только имеет право, но даже обязана обратиться прежде всего к исследованию именно этой грубой среды и принимать даваемый ею материал в том виде, как он есть, не смущаясь некрасивою внешностью и не отвращаясь от темных сторон, которые ее обуславливают.

Такого рода работа отнюдь не включает в себе признаков отрицания, как это обыкновенно истолковывается недоброжелательным к литературе меньшинством; нет, это просто работа подготовительная, разъясняющая публике, на первый раз, ту слишком часто забываемую истину, что всякое дело следует начинать с начала. Необходимо прежде всего опознаться в материале, уяснить его частности, а потом уже отыскивать в нем ту объединяющую нить, которая создает типы. Этих типов еще нет, или, лучше сказать, они не найдены, но литература, уважающая свое народное и общечеловеческое призвание, никогда не забывает, что возможность типических очертаний не может иссякнуть, покуда не иссякнет самая жизнь, точно так же как естествоиспытатель не может сказать, что то или другое открытие, как бы громадно ни было его значение, закрывает собою книгу природы и полагает предел дальнейшим исследованиям. В строгом смысле, нельзя даже безоговорочно утверждать, что нет типов; а можно сказать только, что они нам неизвестны и что их необходимо вызвать из мрака, в котором они ютятся, необходимо очистить от случайных наносов для того, чтобы разглядеть то нравственное изящество, которое они в себе заключают.

Новая русская литература не может существовать иначе, как под условием уяснения тех положительных типов русского человека, в отыскании которых потерпел такую громкую неудачу Гоголь. В этом предприятии ей значительно споспешествует то расширение арены правды, арены реализма, о котором мы говорили выше. Как бы скептически мы ни относились к успехам последнего времени, все-таки невозможно не признать, что, в виду всех, рост русского человека несомненно увеличился, и ежели мы и доньше относимся к этой истине с недоверием, то источником такого недоверия служит то, что мы этого увеличения роста ищем совсем не там, где его искать следует. Мы все чего-то ждем от валаамовой ослицы, все думаем, что именно она, а не другой кто может заговорить, и оттого упускаем из вида тот подлинный источник, из которого должна истечь струя нового, живого русского слова. Об этом-то источнике мы и намерены поговорить с нашими читателями.

Рассматривая общество в его составных элементах, мы убеждаемся, что эти элементы двоякого рода: во-первых, элемент, скопляющий знания, распространяющий их и воспитывающий, и, во-вторых, элемент воспитываемый и в то же время дающий материал для знания и поправляющий его. Общество сороковых годов не представляло никаких признаков подобного различия. В нем не имелось воспитывающего элемента, потому что не было иного знания, кроме стоящего на метафизической основе и, следовательно, для воспитываемой среды мало пригодного. С другой стороны, воспитываемая среда была безмолвна и равнялась нулю. Нечего было воспитывать, да и нечем. Бессилие всех общественных сфер было одинаково, и давление их одной на другую было возможно только в одном смысле – в смысле бессилия. В настоящее время хотя полнота и достоверность накопленного знания и может подлежать спору, но несомненно, что отыскан путь для уяснения истины, и, следовательно, сделалось доступным и самое знание. Вместе с тем та среда, которая необходима для того, чтобы знание не осталось достоянием кастической исключительности, и которая доставляет для него наибольшую массу материала, сделалась гораздо доступнее вследствие освобождения ее от внешних тенет, которые спутывали ее движения.

Вот в каком виде представляется нам современное русское общество, как предмет изучения для литературы. Посмотрим теперь, в какой степени этот материал способен выделять из себя положительные типические определения.

Начнем с той части общества, которую мы назвали воспитывающею. Направление, которое приняла ее деятельность в последнее время, неутомимость, с которою она всю себя посвящает распространению в публике положительных знаний, составляют явление до того общеизвестное и фактически засвидетельствованное, что долго останавливаться на нем излишне. Для одних это явление представляет лишь пищу для безобразных и злобных глумлений, для других оно составляет предмет самых серьезных надежд; во всяком случае, оно слишком типично само по себе, чтобы можно было сделать малейший шаг в деле изучения общества, не коснувшись его. Люди, наиболее чуждающиеся современного направления русской мысли, очень хорошо понимают, что тут уже есть живой и своеобразный тип, на который они охотно клеветают и взводят небывлицы, но которого обойти не могут. Попытки их по части уяснения этого типа, хотя всегда сопровождаемые некрасивою заднею мыслью, можно назвать, в известном смысле, даже полезными. Правда нуждается иногда даже в клевете и в преувеличениях, чтобы вполне определить себя, а так как положительные признаки этого нового типа покуда намечены еще весьма слабо, то

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru отрицательное отношение к нему может послужить весьма нелишней подготовительной работой. Как ни велико озлобление, как ни сильно старание забросать грязью современное молодое поколение, все-таки и сквозь мутную воду, столь тщательно собираемую нашею положительно-нигилистическою беллетристикою из всех петербургских подземных труб, видно нечто такое, что заставляет наших *enfants terribles*[97] сороковых годов останавливаться в недоумении и прерывать начатую фразу на половине. Отбросьте комки грязи (они очень легко отчищаются), и перед вами откроются признаки весьма почтенные, над которыми могут глумиться или только очень близорукие люди, или люди преднамеренно озлобленные. Возьмем, например, хоть один из этих признаков: непринятие на веру тех или других предположений потому только, что они принадлежат известному авторитету. Признак этот в современной положительно-нигилистической литературе известен под именем «неуважения к авторитетам», а в литературе полицейско-нигилистической под именем «неуважения к начальству». Под этими характерными наименованиями он, конечно, представляется чем-то дерзким, необычным и потому пугает. А в сущности, тут вовсе нет никакого «неуважения», а просто одно естественное желание относиться к авторитетам сознательно и сознательно же усваивать себе то, что они утверждают. Мы полагаем, что от привлечения этого элемента сознательности выигрывают обе стороны: и та, которая сознает, и та, которую сознают, ибо только та связь и может считаться прочно установившеюся, из которой, по возможности, устранены недоразумения и колебания – эти неизбежные спутники всякой бессознательности. Сознательное отношение к авторитету даже нимало не подрывает уважения к общему характеру его деятельности, ибо авторитет утверждается на основании не одного какого-нибудь факта, не одного какого-либо подвига, но на основании целого ряда фактов и подвигов, и, следовательно, случайная или частная ошибка нимало не может повредить общему, достойному уважения, характеру деятельности авторитета. Конечно, если авторитет вдруг почему-нибудь свихнется и начнет врать изобильно и систематически, это может подорвать и самое уважение к нему, но и тут не произойдет ничего другого, кроме совершенно естественного и должного. Возьмем другой признак: искание более твердой почвы для человеческих убеждений и действий и, как следствие этого искания, стремление в область естествознания и недоверие к метафизике. В современной положительно-нигилистической литературе признак этот известен под именем непризнания благороднейшей, духовной природы человеческого существа, в полицейско-нигилистической литературе – опять-таки под именем «неуважения к начальству». А в действительности, тут вовсе нет никакого непризнания духовной природы, а есть только иной взгляд на нее и иное ее разъяснение. Теряет ли сущность дела от того, что проводимый метафизиками дуалистический взгляд на природу человека будет заменен другим, более рациональным? До того ли сладки плоды, к которым привели нас метафизические увлечения, сущность которых заключается в том, что они держат общество в постоянном брожении, чтобы следовало держаться за них всеми силами, даже вопреки свидетельству здравого смысла? И, наконец, возможно ли, по совести, видеть что-то угрожающее и анархическое в тех попытках, которых единственная цель в том только и заключается, чтобы положить предел умственным и нравственным колебаниям и внести в общественные отношения характер твердости и прочности? Возьмем третий признак – это бодрость и смелость, с которою деятель нового закала приступает к вопросам жизни и которая на литературно-нигилистическом языке называется нахальством, а на языке полицейско-нигилистическом опять-таки неуважением к начальству. Но мы, конечно, очень долго не кончили бы с исчислением подобных признаков, если бы для наших целей не было достаточно и этих. Повторяем: за комками грязи, за восторженностью дурацкого удивления всегда можно различить очень простую и вовсе не заслуживающую удивления действительность, и результат этот тем легче будет достигнут, чем гуще тот слой красок, к которым обыкновенно прибегают клевета и непонимание. Следовательно, в строгом смысле, на обличения, направленные против нового типа русского человека, не только нельзя быть в претензии, но можно даже не без пользы эксплуатировать их. Положим, что в основании их лежат почти исключительно одни наносные слова без смысла и без содержания; но если среди ливня лжесвидетельств мы можем найти хотя малейшую крупичку правды, то и ею не имеем права пренебрегать и ее обязаны принять в соображение.

Со стороны той части русской литературы, которая сочувственно относится к новому типу русского человека, также были сделаны некоторые попытки к объяснению его, но должно сказать правду, что попытки эти были не весьма удачны. Причина этих неудач скрывается главным образом в том, что литература наша и до сих пор не может вполне освободиться от отрицательного отношения к жизни, которое столько времени властвовало в ней. На положительные типы мы до сих пор смотрели с недоверием, и с представлением об них связывалось представление о какой-то

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru добродетели, над которою так язвительно и резонно смеялся Гоголь. Поэтому новые литературные деятели, поставленные между необходимостью создавать положительные типы и тем рутинным понятием о добродетели, которое при этом навязывается само собою, приходят к результатам не только совершенно неожиданным, но и противоречащим тому основному убеждению, в силу которого искусство должно иметь в виду только реальную правду. Герои положительного закала являются перед публикой или преждевременно состарившимися кадетами, которые не могут приступить к делу по той причине, что не умеют даже назвать его, или какими-то очень нищими духом аскетами, которые всю суть дела видят в нелепой проповеди воздержания. Все эти люди очень мало выражают себя в действии и, напротив того, слишком много предаются теоретизированию различных поступков и действий; они не поступают, а только толкуют о том, как поступать должно, и этим справедливо навлекают на себя упрек в безжизненности и невыношенности. Таким образом, классическое понятие о том, что истинный герой должен быть непременно снабжен добродетелями, остается во всей силе, да и самое изображение этих добродетелей не только не противоречит учению Гоголя о тех приятных отношениях, в которых находится добродетель с пошлостью, но даже в значительной степени подтверждает его.

Но, кроме укоренившихся привычек, препятствующих отысканию положительных типов в той среде, которую мы называли воспитывающею, немаловажное затруднение в этом случае представляет, во-первых, сравнительная сложность этих типов, а во-вторых, те условия, среди которых развивается их деятельность. Автор, желающий изобразить положительного русского человека, должен не только стоять на известной нравственной высоте, но и обладать достаточною суммою знаний, без помощи которых невозможно объяснить те особенности языка, приемов и отношений, совокупность которых собственно и составляет живое лицо. Насколько незначителен внутренний запас человека отрицательного направления и насколько эта внутренняя бедность облегчает изучение его, настолько богат реальным содержанием внутренний мир нового человека и настолько делается менее доступным его изучение. Первое и самое обязательное условие для каждого писателя-художника – это стоять, по малой мере, на одном уровне с изображаемым лицом. Объяснение типа человека праздного легко достигается при помощи одной талантливости, но объяснение типа человека дела, человека профессии уже требует, кроме талантливости, еще известной подготовки. Для пояснения нашей мысли возьмем вопрос, который еще очень недавно привлекал к себе внимание нашей мыслящей публики, – вопрос о положении женщины в обществе. Для полного разъяснения этого вопроса недостаточно одних априористических построений, а также недостаточно ни благодушия, ни даже отвлеченной идеи справедливости. Эти общедоступные, паллиативные приемы могут, конечно до известной степени, видоизменить положение дела, но окончательно устроить его не могут, потому что в настоящем случае разрешение достигается только путем положительного наблюдения, то есть тем единственным путем, который исключает всякую бессознательность. Теперь представьте себе человека, который пришел к уяснению себе этого вопроса именно этим последним путем – очевидно, что те общие выводы, которых он при этом достиг, необходимо должны отразиться и на его собственных, личных отношениях к женщине и что отношения эти будут несколько иные, нежели те, которые мы привыкли видеть и которые образовались под влиянием известных исторических преданий. С другой стороны, представьте себе этого человека, как предмет наблюдения в глазах такого наблюдателя, который совершенно чужд предварительному процессу, послужившему основанием для нового взгляда на женщину, – что может из этого выйти? Ясно, что под углом зрения этого наблюдателя новые формы отношений мужчины к женщине легко примут размеры странности, так что ежели это наблюдатель, настроенный враждебно, то у него, как результат наблюдений, выйдут картины цинического разврата; если же это наблюдатель, расположенный симпатически, то у него выйдут картины не менее нелепого аскетизма. В обоих случаях ложь и совершенное непонимание той средней, естественной свободы отношений, в которой и заключается вся сущность дела. Точь-в-точь такие же затруднения встретим мы, конечно, и по всем другим подробностям жизненной обстановки нового человека. Везде необходимость стоять на одном уровне с изображаемым предметом, везде необходимость дойти до этого уровня путем личной серьезной подготовки, – вот те затруднения, которые прежде всего обязан устранить наблюдатель. Мы не говорим, чтобы эти затруднения были непреодолимы; они даже и теперь, по мере постепенного распространения в обществе положительных знаний, уже делаются менее и менее существенными, но, во всяком случае, существования их весьма достаточно, чтобы объяснить, почему среда наблюдающая оказала еще слишком мало успехов в разъяснении положительного типа русского человека.

Не менее, ежели не более, затруднений к уловлению типических черт представляет и

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru та внешняя обстановка, среди которой действует новый человек. Эта обстановка почти не существует, или, лучше сказать, она до такой степени стеснена, что представляет собой только раздражающую и преисполненную всяких опасностей приманку. Общество слишком неприязненно к новому типу, чтобы предоставить ему какое-нибудь деятельное участие в жизни, оно слишком мало подготовлено к тому, чтобы допустить, что те жизненные отношения, которые созданы новым человеком, не только рациональны, но и вполне практичны. При таком настроении большинства новый человек делается невольным теоретиком, то есть таким лицом, которое недостаток практической деятельности невольно возмещает теоретическими об ней рассуждениями. А так как искусство, имеющее предметом объяснение человеческого образа, ведает исключительно поступки, а не абстрактные взгляды, то понятно, какую ощутительную пустоту должно представить для него то фаталистическое условие, которое преградило или, по малой мере, затруднило для изучаемого субъекта возможность свободного внешнего проявления. За какие типические черты может ухватиться художник-наблюдатель, когда эти черты почти неприступны в своей абстрактности, когда для них немыслима та свободная игра, которая могла бы служить им воплощением? Да хорошо еще, если эти черты только неприступны, а если они, сверх того, еще до известной степени извращены отсутствием света и воздуха? как угадать их, как восстановить их действительный характер? как отличить действительность наносную от истинной? Очевидно, что если подобно рода работа и возможна, то для нее требуется такая сумма пронизательности, которая нигде не встречается иначе, как в виде исключения...

Итак, с одной стороны, укоренившееся предание предубеждение в пользу типа отрицательного, с другой стороны, внутренняя сложность нового типа и бедность его внешней обстановки – вот те препятствия, с которыми боролась и до сих пор борется новая русская литература в своих поисках за положительными сторонами русской жизни. Борьба трудная, и потому очень естественно, что результаты, которые добыты ею до сих пор в этом направлении, не могут назваться вполне удовлетворительными. Но не надобно забывать, что литература всегда и неизбежно отражает на себе признаки своего времени. Наше время, по справедливости, называется переходным, то есть таким, которое не столько дает готовые ответы на вопросы, сколько собирает материалы для этих ответов. Этот же переходный характер необходимо признать и за литературным движением последнего времени. Результаты его не поражают блеском – это правда; но важно то, что сознана необходимость положительного отношения к жизни, что уже намечены основные черты нового типа и в то же время неутомимо собирается материал, необходимый для дальнейшего всестороннего определения его. Этих результатов совершенно достаточно, чтобы признать за современным литературным движением характер движения плодотворного. Остальное придет само собою, оно придет как естественное последствие усилий той самой жизни, возбуждение которой принадлежит бесспорно литературной инициативе.

Но для того, чтобы убедиться, что ожидания наши нимало не преувеличены, необходимо коснуться здесь отношений новой русской литературы к той части нашего общества, которую мы назвали выше воспитываемую.

Попытки знакомить читающий люд с народными русскими типами или, лучше сказать, с элементами этих типов, ведут в нашей литературе свое начало довольно издавна. Еще Державин приглашал публику взглянуть:

Как в лугу весной бычка
Пляшут девицы российски
Под свирелью пастушка...

Но должно думать, что танец российских девиц был или не к месту, или слишком неотчетливо вытанцовывался – во всяком случае, публика того времени не могла вынести от него никаких для себя поучений, да и для потомства не прибавилось от того никаких мужицко-хореографических данных. Затем, последовательно «показывали» русского мужика писатели карамзинской школы, но и у них слово «мужик» как-то не выговаривалось, и публика пришла к убеждению, что слово это неудобное и что таково свойство литературы, что она одним прикосновением к мужику немедленно превращает мужика в пейзажника. Первый писатель, которому удалось возбудить в публике вкус к мужику, был Г. Григорович. Он первый дал почувствовать, что мужики не всё хороводы водят, но пашут, боронят, сеют и вообще возделывают землю; что, сверх того, беспечная поселянская жизнь очень нередко оттеняется такими явлениями, как барщина, оброки, рекрутские наборы и т. д. Но такова была елейная ограниченность этого писателя, до того несомненно было жорж-зандовское происхождение его повествований, что даже те бесспорно русские

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru явления, около которых, по-видимому, сосредоточивается весь интерес рассказанных им драм и о которых мы сейчас упомянули, никого не заставили задуматься. Дворянину-читателю казалось, что все это пишется только к примеру, что рассказы эти не более как попытка ввести в русскую литературу новый жанр, уже пользующийся успехом за границей, и что все эти оброки, барщины и наборы представляют собой лишь своеобразные средства для построения драмы. И действительно, общий фон измышленных г. Григоровичем повествований о судьбе и быте русского крестьянина был до того безразличен, что русские слова утопали в нем почти бесследно, и ежели публика останавливалась перед этими картинами, то обнаруживала при этом не более участия, как и при виде литографий вроде: «Le convoi du pauvre» или «Le violon brisé», [98] выставляемых в окошках магазинов эстампов. Наконец, г. Григорович до того надоел своим идиллически-пейзанским хныканьем, что вызвал реакцию; на сцену явился г. Н. Успенский. Этот писатель вышел из принципов, совершенно противоположных Григоровичу; он находил, по-видимому, что действительность требует не украшения, а правды, и начал говорить эту правду настолько, насколько хватало у него сил. Но и тут вышло нечто совершенно неожиданное: оказалось, что под углом зрения г. Н. Успенского русский крестьянский мир представляет собою не более не менее как обширное подобие дома умалишенных. Мужик этого писателя не имеет в голове ни одной мысли, ни одной серьезной заботы; это какое-то нелепое животное, которое вечно празднует, вечно пьянствует, а в промежутках говорит глупые слова. Автора еще спасала несколько та веселая струя, которая была разлита во всех его рассказах, но и за всем тем изображение организованной бессмыслицы, без начала и без конца, оказалось до того смелым, что даже самые смешливые люди с трудом мирились с ним. Подражателей у г. Н. Успенского не нашлось, а если таковые и были, то вовремя остановились.

Кроме этих двух писателей, мы должны бы были упомянуть еще о Тургеневе, но, к сожалению, бесспорно талантливая деятельность этого писателя на поприще разработки народных типов проявилась эпизодически и была слишком заслонена последующей литературной его деятельностью, чтобы оказать решительное влияние на характер и направление нашей литературы в этом смысле.

Результаты всех упомянутых попыток, как в идиллическом так и в юмористическом роде, были самые скудные. Физиономия русского простолюдина не только не выяснилась, но еще более утонула в тумане, благодаря балетно-идиллическим украшениям с одной стороны и поверхностно-карикатурным обличениям с другой. А вместе с тем осталась скрытою от глаз читателей и тайна русской жизни, та горькая тайна, которая до того спутывает все понятия, до того морочит глаза, что и впрямь позволяет первому встречному наблюдателю утверждать, что русский крестьянский мир есть мир бессмысленных и ничем не объяснимых движений. Поэтому, как ни усиливались писатели разжалобить или развеселить публику насчет русского мужика, впечатление, производимое их усилиями, было слабое и скоро проходящее. Лишенные всякой цельности, а следовательно, и художественной правды, измышленные ими образы столь же мало трогали нас за живое, как и те зипунники, мимо которых мы безучастно проходим каждый день по городским улицам и площадям. Все это не более как картина, в которой шевелятся и группируются какие-то фигуры, но что это за фигуры и имеют ли какой-нибудь внутренний смысл их движения, мы этого не знаем, да, признаться, не очень-то и добиваемся знаний такого рода.

Первым толчком, который вывел русского простолюдина на арену деятельности, который показал, что в физиономии этого субъекта есть нечто осмысленное, позволяющее ему пользоваться благами свободы, была реформа 19-го февраля 1861 года. В виду ее, со стороны литературы оказалось уже совершенно невыносимым то бессознательное отношение к простолюдину, которым она пробавлялась до тех пор. Потребовалось взглянуть на него пристальнее и притом признать предварительно, что та внутренняя его сущность, которая подлежит изучению, не есть какая-нибудь особенная и курьезная, а сущность общечеловеческая, почерпающая свою оригинальность исключительно из внешней обстановки.

И действительно, со времени крестьянской реформы русский мужик делается в нашей литературе как бы героем дня. Целая фаланга молодых писателей исключительно посвящает ему всю свою деятельность; большинство старых писателей тоже считает долгом сказать об нем несколько лестных слов. Посмотрим теперь, легка ли была для литературы подобная задача и в какой степени она успела овладеть ею.

Прежде всего, мы должны сказать, что, несмотря на то что крестьянский мир всегда у нас перед глазами и что мы уже имеем в прошлом некоторые попытки, сделанные с

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru целью исследовать его, он все-таки имеет для нас всю приманку новизны. Много было таких предметов, на которые мы смотрели и не видели, таких слов, которые мы знали наизусть и не понимали. *Amnis, anguis, axis...* все это были латинские грамматические исключения, все это было какое-то сонное видение. Сучок, Ермолай, Бирюк, Касьян и другие типы, созданные рукою Тургенева, нимало не знакомили нас с крестьянской средой, не потому чтоб это не были типы вполне живые, а потому что они представлялись нам уединенными, стоящими в положении исключительном и преисполненным недомолвок. Нужна была целая крестьянская среда, нужна была такая картина, в которой крестьянин являлся бы у себя дома и настолько свободным, чтобы стесняющие его искусственные грани, по крайней мере, не делали для него обязательною немому языка, не заставляли его на всяком шагу озираться и оговариваться. Очень могло случиться, что такого рода картина напишется рукою мастера второстепенного, что в ней поразит знатока отсутствие изящества, но, во всяком случае, не подлежало сомнению, что даже и тогда картина должна дать более полное и отчетливое понятие об искомом предмете, нежели даже мастерские типы Тургенева, при помощи которых перед нами раскрывалась только какая-то таинственная, недоступная глубь.

Проникнуть в эту среду, постичь побудительные поводы, которые обуславливают ее движения, определить ее жизненные цели – дело далеко не легкое. Хотя крестьянская реформа и сняла с нее то иго, которое наиболее тяготело над нею, все же эта среда таинственная, по преимуществу зараженная недоверием. Над нею лежит бремя бедности, бремя невежества, бремя предрассудков и множество других зол, совокупность которых составляет своего рода завесу, делающую ее почти недоступною для непосвященного человека. И ежели за всем тем литература нашла-таки искомый доступ, если она успела проникнуть в сокровенное святилище этой бедной и темной жизни, то это одно уже составляет с ее стороны заслугу неоцененную.

Мы очень хорошо понимаем, что стремиться к этой задаче было для литературы вполне обязательно, так как в противном случае она изменила бы своему воспитательному призванию и, кроме того, рисковала бы оставить неразработанным единственный элемент, который был способен внести в нее живую струю; но дело не в том, вольна ли была литература идти или не идти по этому пути, а в том, что она пошла по нем, и пошла с тою бодростью, которая служит ручательством за совершенный успех в будущем. Не надо забывать, что среда литературная и та среда, которую она в настоящее время исследует, почти не имеют между собой никаких точек соприкосновения, и что, следовательно, единственная основа, на которой они могут сходиться, есть основа общечеловеческая. Но это-то именно и дает нам меру той нравственной высоты, на которой должен стоять деятель, чтобы сквозь грубые покровы, застилающие исследуемый предмет, суметь показать человеческий образ во всей его полноте.

Но, могут опять-таки спросить нас, где же эти пресловутые литературные деятели, на которых мы имели бы право указать, как на подтверждение сказанного нами выше? На это мы опять-таки ответим: главным деятелем в этом случае является вся молодая русская литература, ее общий тон и общее направление. Если нельзя без оговорок указать на тот или другой роман, ту или другую повесть, в которых вполне уяснились бы нам положительные типы русского простолюдина, то можно сказать без оговорок, что уяснение это вполне достигается совокупностью множества литературных произведений, непрерывно следующих одно за другим. В этом отношении молодая наша литература достигла результатов гораздо более действительных, нежели относительно типа русского человека, принадлежащего к среде воспитывающей. Она познакомила нас не только с тою обстановкой, в которой живет наш простолюдин, но и с тем, как выносятся эта обстановка и какое оказывает воздействие на нравственный мир живущего в ней человека.

Повторяем: русская литература нашла уже путь, и путь прямой и правильный; если же на этом пути мало встречается деятелей, поражающих своими талантами, то это еще беда небольшая. Главное дело современных литературных деятелей заключается в подготовке почвы, в собирании материала и в честной разработке его, и эта скромная, но нелегкая задача исполняется ими с полным сознанием и с замечательною добросовестностью.

Но этого мало даже сказать: с добросовестностью. Если мы взглянем на литературу глазами непредубежденными, то без труда найдем в ней такие отдельные таланты, которые даже теперь, в наше трудное время собирания, стоят выше обыкновенного уровня. С особенным основанием мы можем указать в этом смысле на г. Решетникова,

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru которого литературная деятельность, как нам кажется, далеко не ценится нашей публикой по достоинству.

Мы, конечно, взяли за перо не с тем, чтобы слагать хвалу кому бы то ни было из новых вкладчиков нашей литературы, тем более что не скрывали и не скрываем, что преобладающий характер их деятельности очень скромный, но не считаем себя вправе пройти молчанием такие замечательные попытки, как, например, «Подлиповцы», «Где лучше?» и многие другие, в которых, по преимуществу, сказался тот плодотворный поворот нашей беллетристики, о котором идет речь в настоящей статье. Мы понимаем, что в людях прихотливых, избалованных яркими картинами беллетристики сороковых годов, произведения Г. Решетникова не должны встретить большого сочувствия. Беллетристы сороковых годов сами помогали читателю, сами предрасполагали его к тем или другим ощущениям; они сознательно прибегали к известным вспомогательным средствам, которые сообщали их произведениям тот тон, который в данном случае был желателен. Г-н Решетников подобной помощи не дает вовсе; скорее можно даже сказать, что неумением распорядиться своим материалом он положительно вредит самому себе; но, в то же время, он чувствует правду, он пишет правду, и из этой правды до того естественно вытекает трагическая истина русской жизни, что она становится понятною даже и без особенных усилий со стороны автора.

На этом покамест мы остановимся. Цель нашей статьи заключалась не в характеристике деятельности того или другого из современных писателей, а в разъяснении вопроса, насколько основательны и справедливы те сетования на бедность нашей литературы, которые раздаются в обществе. Думаем, что мы вполне достигли этой цели, указав, что никогда еще деятельность русской литературы не была так плодотворна и так правильно поставлена, как в настоящее время, и что ежели и за всем тем она не удовлетворяет вкусам и требованиям читающей публики, то причина такого явления заключается едва ли не в недостаточной умственной подготовке самой этой публики.

НОВАТОРЫ ОСОБОГО РОДА *[99]

Жертва вечерняя. Роман в двух книгах и четырех частях
П. Боборыкина («Всемирный труд», 1868 г.)

Могут ли представлять для литературы достаточный интерес биографии пустых и ничтожных людей? Вопрос этот разрешается нашей современною беллетристикою весьма разнообразно; должно, однако ж, сознаться, что в последнее время в ней заметна была наклонность разрешить его скорее в отрицательном, нежели в утвердительном смысле.

Как ни переворачивайте умственный и нравственный хлам человека, все же это будет не более как хлам, то есть явление простое и малосодержательное. Исследуя его, анализ слишком скоро истощается и приходит к своему последнему слову; искусство, воспроизводящее жизнь, также не находит в нем достаточного материала для объяснения разнообразия жизненных положений. Есть такие положения, в которых присутствие ничтожества даже немислимо, и именно те положения, которые представляют собою наиболее плодотворную сторону человеческой деятельности. Не лучше ли же оставить в стороне и предать забвению это бесполезное ничтожество, тем более что на изучение его и без того потрачено не мало труда и времени?

Несмотря на абсолютную верность этого взгляда, мы думаем, однако ж, что в нем есть весьма важная недомолвка, а именно: в нем упущено из вида то влияние, которое оказывает на жизнь общества присутствие в нем всякого рода праздных, скучающих, исковерканных и пораженных язвою мельчайшего самолюбия людей. Сам по себе взятый, хлам, конечно, не больше как хлам, но замечательна его историческая устойчивость, важно то, что нельзя сделать шагу в жизни, чтобы не запутаться в нем или, по крайней мере, не почувствовать его под ногами. Все это заставляет думать, что мир ничтожества, стремлений, пошлости идеалов и распущенности мысли далеко не упразднен окончательно. Все, что можно допустить в этом смысле, — это то, что он постепенно разлагается и утрачивает ту кажущуюся творческую силу, которую он некогда выставлял вперед, как оправдание своего бытия; но отрицательное влияние его на успехи общества все еще громадно и даже едва ли не увеличивается в той же мере, в какой уменьшается влияние положительное.

Если мы примем на себя труд определить главные жизненные принципы, выработанные этим умирающим мирозерцанием, то легко убедимся, что все они вращаются около самого ограниченного числа представлений, между которыми едва ли не самую видную роль играют: необузданность воли, стремление подавить сознательную работу мысли,

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru трудобоязнь и, наконец... клубника во всех видах и формах, как отдохновение от подвигов по части необузданности. Конечно, с таким запасом нельзя рассчитывать на многое в смысле положительном и творческом, но можно и даже очень можно воспользоваться им, как метательным орудием, весьма пригодным для затруднения общественного хода. Мало сознавать, что истина и право, в окончательном результате, всегда торжествуют; не надо упускать из вида, что за правом и истиной стоят живые люди, которые могут страдать и погибать, и что самый мир истины и права есть мир нарождающийся и потому окруженный обстановкою настолько колеблющеюся, что она еще слишком мало ограждает его от притязаний своеволия и необузданности.

Сопоставить эти два мира, показать их взаимное друг на друга давление – это задача не только не лишняя, но и поучительная. Почему пошлость и необузданность всегда и неизменно торжествуют? почему, за всем тем, это торжество только кажущееся, выражающееся исключительно во внешних результатах? Почему сознательное искание истины и права всегда и неизменно затрудняется? почему, за всем тем, оно столь же неизменно торжествует? Все это такие вопросы, уяснение которых далеко не может быть безынтересным для общества. Самая борьба, которая неминуемо возникает из этого сопоставления, представляет такой животрепещущий материал, из которого сама собою зиждется драма со всеми ее потрясающими и воспитывающими поучениями.

В этом смысле, несомненно, нет того нищего духом нахала, который не был бы достоин изучения, нет такого страдающего разжижением спинного мозга эстетика-клубниста, которого изображение можно было бы считать излишним. Все они не только существуют, но и торжествуют и, следовательно, имеют полное право удержать свое место в общей картине. Не один придаток они составляют в ней, не в роли действующих лиц без речей являются они, но в роли героев, защищающих право, признанное преданием. Трагическая судьба этих сторонников отжившего предания и бессознательности столь же несомненна, как и таковая ж судьба тех, которые борются с бессознательностью; она только менее бросается в глаза. Если последние гибнут непосредственно под грубыми, почти механическими ударами судьбы, то первые погибают путями более косвенными: они гибнут в своих детях, гибнут жертвою той горькой очевидности, что сколько они ни употребляли усилий для защиты своих пенатов, все-таки, в их глазах, в их собственные святилища успели проникнуть и водвориться иные пенаты.

Предмет романа, сочиненного г. Боборыкиным, составляет именно тот хлам, о котором мы сейчас говорили. Но мы сомневаемся, чтобы он руководился высказанными нами соображениями относительно значения этого материала; напротив того, нам кажется, что он взглянул на хлам совсем не так, как на признак известного общественного строя, а просто как на хлам, и в этом качестве нашел его достойным изучения. Сверх того, из всего ныне действующего хлама он признал наиболее любопытным тот, который, по-видимому, всего меньше дает материала для каких бы то ни было выводов, а именно: нимфоманию и приапизм.

Прежде всего, будем справедливы: г. Боборыкин исполнил свою задачу, по мере возможности, довольно удовлетворительно, и роман его читается очень легко. Есть известные рутинные приемы, несоблюдение которых делает чтение некоторых беллетристических произведений (особенно начинающих писателей) чрезвычайно затруднительным. Таковы, например: самоповторение, излишество подробностей, несоразмерность частей, желание остановить внимание читателя на известных взглядах и мыслях, облюбованных автором, и т. д. Всех этих недостатков г. Боборыкин избежал весьма счастливо. Роман его проглатывается почти мгновенно, сколько благодаря своему веселому содержанию, столько же благодаря и тому, что он не представляет совершенно никаких преткновений для мысли. Автор не повторяется, потому что ему нечего повторять; он избегает несоразмерности частей, потому что там, где, в строгом смысле, нет целого, не может быть и частей; он не допускает излишества в подробностях, потому что в вопросе о нимфомании чем больше подробностей, тем удобнее делается он для проглатывания; наконец, он не навязывает насильно читателю никаких взглядов, потому что какие же могут быть взгляды, когда весь интерес романа рассчитан на то, чтобы помутить в читателе рассудок и возбудить в нем ощущение пола? Повторяем: всю эту рутину автор овладел вполне; роман его не тяготит, не ломает рук и может читаться и страница за страницей, и через страницу, и с начала до конца, и с конца до начала, во всяком месте, во всякое время, лишь бы нечего было делать другого. Действие будет наверное всегда одинаковое, ибо, что в нем всего драгоценнее – это та чрезвычайная определенность и ясность слога, та завидная

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
прозрачность мысли, до которой можно возвыситься только при совершенно тщательном изучении и даже, так сказать, самоотожествлении того беспокровного мира, в котором владевает петербургская лоретка под благосклонною сению божка Приапа.

Роман написан в форме дневника молодой вдовы. Она дебютирует тем, что вспоминает о покойном своем муже, и первое, на чем останавливается ее мысль, – это его ласки. «Не знаю, пишет она, говорил ли он мне что-нибудь про себя, когда ухаживал. Все, кажется, больше поводил зрячками. Я сейчас же всем своим телом поняла, что это такое значит, когда мужчина так на вас смотрит... Он был такой неистовый в своих ласках, так все и кидался». Затем, она рассуждает о том, как глупо, что русские женщины делаются матерями «оттого только, что гвардейскому адъютанту понравились их перси». «Я думаю даже, прибавляет она, что если бы этих самых «персей» у женщин не было, мужчины были бы гораздо умнее». Рядом с этими игриво-философскими мыслями идут воспоминания о канкане, сравнение русского канкана с французским, причем отдается решительное предпочтение последнему.

Таким образом, с первого же раза вы видите перед собой женщину, которой образ мыслей установился вполне и которая в нравственном отношении совершенно созрела. Эта женщина не только всем своим телом понимает безделицу, но даже любит посмаковать ее, любит порассказать об ней себе самой. Вам делается любопытно знать, какой будет роман этой женщины: поведет ли ее автор по каким-нибудь мытарствам или же сразу водворит в доме терпимости и там бросит.

Молодая вдова принадлежит к числу тех обыкновенных русских досужих женщин, у которых с ранней молодости все помыслы направлены к «срыванию цветов удовольствия». Конечно, мы не имеем повода отвергать, что такого рода барыни, по большей части, предаются этому занятию до самозабвения, но тем не менее, ежели бы мы сказали, что в этом усердном служении участвует хоть капля сознательности, то, конечно, сочли бы себя виновными в преувеличении. По нашему мнению, при обыкновенном ходе вещей телесный разврат есть результат праздности, распушенности и темперамента – и ничего больше. С этой точки зрения, героиня романа Г. Боборыкина составляет исключение даже в ряду самых рьяных пропагандисток учения о безделице; она не только ощущает, но мыслит себя как идолопоклонницу Приапа, а между этими двумя формами бытия, по крайней мере, такая же разница, как между простою кражей и кражей со взломом. К сожалению, Г. Боборыкин не показывает нам, каким образом его молодая вдова дошла до этого взлома; он просто представляет ее уж достигшею того состояния «приятной женщины», когда канкан делается звездю-руководительницею всех человеческих действий и единственною духовною пищею, которая принимается без отвращения.

После очень прозрачного описания, как молодая вдова застала свою приятельницу Софи на коленях у «обезьяны в преображенском мундире» и как они, при входе ее, «разлетелись в разные стороны», автор сводит свою героиню с некоторым синим чулком в лице Г-жи Плавиковой, и тут она встречается с какою-то литературною «сélébrité» [100] по фамилии Домбрович. Эта сélébrité – такая слизистая гадина, до которой нельзя дотронуться, чтобы не почувствовать потребности обтереться. Но на гадину – гадина, и гадина более гадкая, как и всегда, побеждает и поглощает менее гадкую. Увы! в мире мерзостей тоже имеются своего рода неотразимые силы, в которые мерзости менее сильные впадают, как небольшие реки в многоводный океан.

Г-н Боборыкин не дает подробных известий, к какой именно школе следует причислить его литературную сélébrité, Домбровича, но не скрывает, что он принадлежит к породе «эстетиков». Этих эстетиков мы довольно хорошо знаем, они толпами шатаются между первым и пятым часами по Невскому и походя изнывают при виде прогуливающихся кокоток. Это те самые чистокровные шалопаи, которые на изображение мадонны не могут взирать, чтобы не припомнить при этом «L'oiseau envolé», [101] которые не могут видеть красивой женщины без слюнотечения.

Судя по признаниям Домбровича, его религия – искусство; но слова иногда захватывают более своего действительного значения. В сущности, религию Домбровича составляет не искусство, а безделица, которая до того помutilа его голову, что не оставила в ней даже самого маленького местечка для здравого смысла. «Мы никаким вопросам не сочувствуем, переплетных заведений не заводим... мы не мудрствовали, не разрушали основ... мы обожали искусство... я ничего не понимаю во всех этих реализмах, социализмах, нигилизмах», – так говорит о себе этот пламенный обожатель безделицы. Эти неистово-бессмысленные слова, конечно, ни о чем более не свидетельствовали и не могут свидетельствовать, как о высшей

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru степени разжижения спинного мозга у произносившего их субъекта, но за всем тем они оказались достаточными, чтобы пробудить в молодой вдове то чувственное вожделение, которое, со смерти мужа, было разлито в ее организме в скрытом состоянии. На поверку вышло, что даже это непроходимое самохвальство тупоумием и пошлостью все-таки составляло шаг вперед в сравнении с тем «поваживанием зрачками», которым потчевал ее покойный муж.

Решительный шаг, или падение героини, совершается просто. В одну из своих прогулок по петербургским улицам вдова внезапно чувствует болезненный припадок; попадает под руку Домбрович и увлекает ее к себе на квартиру. Является завтрак, шампанское. Домбрович показывает вдове на образцы голов и торсов и говорит, что природа лепила ее с них. Потом начинаются поцелуи, объятия; шампанское и чувственный разговор делают свое дело неотразимо. Но предоставим слово самому автору.

Я пала... но пала против своей воли!.. Да, тысячу раз да! Теперь говорю самой себе. Мне не перед кем ни оправдываться, ни стыдиться. Я защищалась, как могла. Правда, можно было кричать; но я себя не помнила. Это был припадок сначала нервной веселости, потом изнеможения. Он это видел, он это знал лучше меня...

Нет таких слов высказать, что чувствует женщина, когда с ней поступят, как с вещью! Кто дал нам такую проклятую натуру? И это делается среди белого дня... Тонкий, цивилизованный человек поступает с нами, как с падшею женщиною.

Когда я очнулась, если бы тут был ножик, если бы тут было что-нибудь, я бы зарезалась, удавилась. Я как была на кушетке, так и замерла. Этакого ужаса, такого омерзения я и вообразить себе не могла! Господь бог приготовил нам особые приятности! Мне кажется, если бы рыдания не хлынули целой волной, я бы задохнулась. Но чем сильнее я плакала, тем ядовитее, тем горче делался мой позор... Все обиды, какие только злодей может выдумать, ничего в сравнении с этой... И как легко обойтись с женщиной *galamment!* [102] Просто выбрать получше минуту, схватить ее покрепче и «сорвать цветы удовольствия». О-о! теперь я понимаю, что значит эта адская фраза. Вот они, эти умники. Вот как они обожают красоту!.. Батюшки мои! Что бы мне совершить с этим мерзавцем?..

Вот к какому неожиданному результату приводит иногда так называемый обмен мыслей. Позволительно, однако ж, сомневаться в искренности негодования, выражаемого веселою барыней по поводу претерпенного ею поражения. Она слишком усердно штудировала учение о безделице, чтобы ближайшее применение его могло застать ее врасплох; она получила слишком всестороннее в этом смысле образование, чтобы не понять, что приглашение Домбровича посетить его квартиру не могло иметь иных последствий, кроме описанных выше.

И действительно, очень скоро стихает это напускное негодование, и вдова вновь возвращается к спокойному созерцанию клубники. Посетивши через месяц (после многих увеселительных сеансов у себя на дому) квартиру Домбровича, она уже отмечает в своем журнале: «увидела я кушетку, и расхохоталась, как я на нее злобствовала; все мне в этом кабинете было нечто свое, родное». С своей стороны и Домбрович не теряет золотого времени; он постепенно развивает эстетические наклонности своей пациентки, давая ей читать «*Liaisons dangereuses*», «*Mon poviciat*» и других классиков. От этого назидательного чтения следует быстрый переход к *Soupers à la régence* или попросту к афинским вечерам; затем – полная анархия плоти.

Тут, по всей вероятности, следовало бы автору остановиться. Описанием вечеров, в которых каждая из участвующих пар («*un chacun avec une chacune*», «моншер с машерью», как выражается Домбрович) применяет на практике теорию житья «в свое удовольствие» тем, что, потрудившись на поприще канкана, удаляется для отдыха в отдельную комнату, он вполне достигнет тех самых результатов, которые достигаются и пресловутыми «*Liaisons dangereuses*»; но ему показалось этого мало. Разоблачив перед нами клубнику, он предпринял труд познакомить нас с клубникою, так сказать, трансцендентальною.

Из области афинских вечеров молодую вдову освобождает некто Степа, товарищ ее детства. Он приезжает из-за границы и узнает о подвигах своей подруги от горничной Ариши, которая не раз видела свою барыню возвращающуюся с вечеров в пьяном виде. Автор рекомендует читателю этого Степу, как человека, от рождения осужденного сидеть между двумя стульями. Он не принадлежит ни к поколению

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru сороковых годов, ни к поколению шестидесятых годов. Он сам по себе, одною собственной персоной составляет целое поколение, которое можно безошибочно назвать поколением азов, так как он ни о чем так охотно не говорит, как о необходимости самовозрождения посредством азов. Чтоб утвердить в этой мысли свою приятельницу, он подвергает ее опыту довольно интересному. Оказывается, что в Петербурге существует какое-то общество, которое имеет целью нравственное возрождение так называемых жертв общественного темперамента. Легкомысленные афинянки, составляющие это общество, убеждены, что этого «возрождения» можно достигнуть, нимало не касаясь общественного строя, одним пересказыванием своими словами некоторых более или менее интересных азбучных истин. Туда-то именно и направляет героиню романа новый человек Степа.

Начинается бездонное дилетантское пустословие с какою-то Лизаветой Петровной, специалисткой по части падших женщин, о силе любви, о чудесах, ею производимых, о том, что все люди братья и что дух погибнуть не может. Разговоры перемежаются посещениями приютов терпимости, в которых Лизавета Петровна совершает свои подвиги и которые, по этому случаю, описываются довольно обстоятельно. Каким образом эта несчастная женщина может надеяться достигнуть каких-нибудь результатов от своей пустопорожней болтовни – понять совершенно невозможно. Она не только ничего не делает путного в продолжение всей третьей части, но даже и говорит только пустяки, одни пустяки. Любая из «падших» заткнет ее за пояс здравостью своего смысла, любая из них может ей доказать всю бессмысленность и ненужность ее праздно-мистического переливания из пустого в порожнее, – но она не остановится перед этим, она все будет продолжать растравлять своим наглым прикосновением чужие, и без того наболевшие, раны, все будет приставать со своим: «Брось! я тебя поцелую за это!»

Наконец даже молодая вдова поняла, в какой степени это занятие нагло, безобразно и нестерпимо.

Мы не станем утверждать, что этот опыт вторжения героини романа в область нравственного возрождения падших женщин допущен автором в видах ознакомления публики с обычаями и обстановкою домов терпимости (описание одного из них, аристократического, сделано очень удачно); допустим даже, что он задуман не автором, а собственно Степом с коварною целью доставить торжество теории азов. Что же это за теория такая?

Разъяснение ее принимает на себя сам представитель и изобретатель ее, Степа. Будучи поставлен вопросом своей подруги: кто он такой и не нигилист ли? – в необходимость объясниться, он вполне разоблачает перед нею свои верования. И он был литератором; и он обличал и будил общество; и он писал по печатному листу в день. И вдруг, после довольно продолжительной будительной деятельности, убедился в одном: что он знает только то, что он ничего не знает. Мало того: он убедился даже, что не умеет целесообразно говорить, что он уподобляется в этом отношении тому злосчастному французскому актеру, который, имея сказать в пьесе всего одну фразу: «*s'en est fait, il est mort*», [103] произнес: «*s'en est mort, il est fait*». [104] Тогда им овладела лихорадочная страсть к грамматике и арифметике, для удовлетворения которой он отправился за границу и там устроил для себя свое собственное, так сказать внутреннее, училище азов. В минуту появления его на сцену он, с трудом перетащившись во второй класс этого училища, прибыл в отечество с тем, чтобы, «еще поучившись, поездивши и поживши с разным людом, учить детей говорить».

Мы знаем, что есть грамматические исследования очень почтенные, и вовсе не имеем намерения издеваться над тем, что человек, по каким бы то ни было причинам, решился посвятить себя этого рода специальности. Мы не понимаем только одного: каким образом занятие грамматикой и арифметикой может сделаться типическою чертою какого бы то ни было поколения? Между тем Степа утверждает, что это так и что грамматическая лихорадка может не только характеризовать деятельность целого поколения, но, по временам, делается до того сильною, что оказывает решительное влияние даже на такие жизненные вопросы, как, например, отношение мужчины к женщине.

Как ни воспламенила молодую вдову теория Степиных азов, все-таки теория Домбровича о срывании цветов удовольствия не настолько уже утратила своей силы, чтобы оставить ее спокойною зрительницей самодовольно развивающейся перед нею грамматической лихорадки. И вот она начинает слегка экзаменовать познания своего друга по части клубнички.

Оказывается, что он в этом деле чистейший профан и что грамматика убила в нем всякую возможность мечтать о любовных радостях. «Где мне мечтать о любовных радостях и о семейном довольстве, когда мне еще несколько лет (?) надо пошататься по белу свету, а потом сделать всех детей моими собственными, – говорит этот новый Зенон азов и потом прибавляет: – Наша беда, по части любви, вышла от того, что мы очутились между двумя поколениями: люди сороковых годов были специалисты по части клубнички; люди шестидесятых годов будут делать дело и вовремя соединять его с личным довольством». «Бедный Степа! что же тебе остается по части амуров?» – восклицает легкомысленная вдова, не выдерживая тяжести азов. «Что же остается, Машенька? По части греховных побуждений остается то, что и каждый холостой человек находит»...

Эта грамматическая непреклонность, это скромное сознание в неумении предаваться вовремя «любовным радостям» приводят нас в умиление. Это геркулесовы столпы той теории азов, для изучения которой, по мнению Степы, необходимо посвятить, по крайней мере, сорок лет человеческой жизни. «Но ведь это гадко, Степа?» – замечает молодая вдова. «Некрасиво, мой друг!» – возражает ее собеседник и вдруг, по какому-то вдохновению, предлагает ей выбрать, не касаясь его, другой объект, у которого «есть чем любить». – «Дурак!» – отвечает ему героиня романа.

Наконец, в лице Кроткова, является этот объект, у которого есть чем любить. Это совсем уже новый человек и сидит на своем стуле твердо, то есть смотрит в глаза прямо и провещевает самые обыденные речи, как будто бы в них заключался глубочайший смысл. Он говорит только то, что нужно сказать, не любит слова «принцип» и остроумно издевается над «эманципацией женщин»; он не прочь и привязаться к женщине, но не просто привязаться, а тогда, когда эта привязанность нужна. И вот этот осколок египетского сфинкса учащает свои визиты к молодой вдове, волнует ее воображение до того, что она задыхается, и, наконец, начинает даже сам чувствовать, как его сфинксово существо начинает смягчаться, смягчаться... Но тут – о, ужас! – героиня романа убеждается, что Домбрович и афинские вечера сделали свое разрушительное дело слишком успешно и что ей более нечем любить! Убедившись в этом, она отравляется, заканчивая свой журнал словами Гамлета:

T'is a consummation
Devoutly to be wished! [105]

Вот краткое, но правдивое изложение содержания нового романа г. Боборыкина. Мы сделали только одну, и притом небольшую, выписку из него и должны сознаться, что ограничились этим единственно по чувству приличия. Удостоверяем, впрочем, читателя, что в романе есть очень много таких мест, которые, специальностью своего содержания, не только не уступают, но далеко превосходят приведенное нами описание падения этой, так сказать, от рождения павшей героини клубницизма.

Попытка узаконить в нашей литературе элемент «срывания цветов удовольствия» не нова и ведет свое начало от Баркова.

Сочинения этого достойного писателя, впрочем, для публики неизвестны, хотя мы положительно не понимаем, какое может быть препятствие к обнародованию их после обнародования «жертвы вечерней». Затем, традиция плотского цинизма хотя и не прерывалась, но проявлениям ее все-таки не удалось сделаться общим достоянием по причине их крайней наготы. В последнее время она начинает мало-помалу вторгаться в литературу под видом учения о милой безделице, и мы можем указать на гг. Стебницкого и Авенариуса, как на ревностнейших пропагандистов этого учения. За ними последовал г. Боборыкин и сразу подарил публику таким трактатом, с которым ничего доселе написанное по этой части сравниться не может.

Нам возражат, быть может, что г. Боборыкин не может быть сравнен ни с г. Стебницким, ни с г. Авенариусом; что эти последние изображали «срывание цветов удовольствия» совершенно наивно, потому что им по сердцу был самый этот сюжет; что г. Боборыкин, напротив того, хочет быть моралистом, что он прямо указывает на ту бездну, к которой может вести слишком радикальное поклонение безделице, и что, наконец, он в то же время показывает нам и обратную сторону медали, а именно в лице Степы предъявляет образец ненависти к клубничке, а в лице Кроткова – образец ее умеренного и своевременного употребления. Мы, однако же, не можем согласиться с этими доводами по той очень простой и совершенно законной причине, что как Степа, так и Кротков до такой степени лишены всякой жизненности и занимают в романе относительно столь ничтожное место, что представляются нам не

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru более как авторскими приемами, употребленными с целью, чтобы яснее показать, в каком отношении может быть учение о безделице, в первом случае – к непреклонному пропагандисту теории азов, во втором – к простому осколку египетского обелиска. Действительно живыми лицами можно назвать только героиню романа и Домбровича. Только они одни знают намерения, чего хотят, только они одни не допускают сомнений насчет своих намерений и действий. Как ни старается автор уверить читателя в нравственном возрождении своей героини, кончившемся ее трагической смертью, – читатель даже в этой смерти не может видеть ничего другого, кроме крайнего выражения учения о срывании цветов удовольствия. Ведь находили же фанатики разных сект удовольствие в том, что сожигали себя; отчего же подобного явления не допустить и для фанатиков секты клубничизма. Это сектаторское «владце уязви мя» – и более ничего.

Повторяем, автор задался целью очень непохвальной: он хотел перенести на русскую почву «Liaisons dangereuses» и возбудить в нашей публике вкус к подобным, произведениям. На этот гнуснейший из всех современных общественных хламов он взглянул даже не как на материал, могущий, в связи с другими материалами, служить для характеристики общества в данный момент; нет, он увидел в нем нечто достолюбезное, обладающее способностью привлекать и притягивать своим собственным содержанием. Быть может, попытка его и будет иметь успех, но, во всяком случае, этот успех можно и должно назвать прискорбным.

Еще одно слово: г. Боборыкин относит своего литератора Домбровича к числу эстетиков сороковых годов. Мы не возражаем против того, что в сороковых годах могли быть и даже были эстетики-литераторы вроде Домбровича, но утверждаем, что в то время не могли появиться, а ежели бы даже и могли, то не имели бы успеха, произведения, подобные «Жертве вечерней». Ведь это тоже своего рода успех, заставляющий задуматься. Не идут ли в нашем отечестве эстетические наклонности, подобные изображенным г. Боборыкиным, все более и более развиваясь? Можно ли назвать в настоящее время человека, подобного Домбровичу, исключением, как это было в сороковых годах, и не есть ли это, напротив того, в нашей богатой досужеством и эстетически цивилизованной среде явление до того уже обыденное, что оно нимало даже не считает нужным маскировать свои эстетические поползновения?

ЛИТЕРАТУРА НА ОБЕДЕ

Не все коту масленица.

Русская пословица

Я знаю тебя, милый мой россиянин, от первых ногтей юности твоей, знаю все твои входы и исходы, и для меня ясно нутро твое. Напрасно ты хочешь отвести мне глаза, обморочить меня разными заморскими убранствами, которые нахватал ты из заморских книг и даже просто из газет. Когда ты прикидываешься передо мною ученым, умирающим над наукою, цитируешь целый ворох разных европейских светил науки, я знаю, что твоя ученость все-таки не восходит выше учености покойного «Свистка». Когда ты разыгрываешь роль государственного человека, политика, притворяешься изучившим в тонкости положение всей Европы, я твердо убежден, что твоя политическая мудрость идет никак не далее передовых статей «Московских ведомостей» и «Русского инвалида». Высказываешь ли ты мне мрачный взгляд на мир, являешься ли самым ярым материалистом и социалистом, для меня это – ясный знак, что твоя карьера доселе была безуспешна и что тебе нигде не удалось даже прихватить займы порядочный куш денег; когда ты начинаешь говорить о необходимости веры, о святости собственности, для меня делается очевидным, что ты уже приобрел хорошую обстановку и денег давать никому не намерен. Я не верю даже в искренность твоего космополитизма и патриотизма, ибо иначе отчего бы в целой России не было ни одного космополита в штаб-офицерских чинах? Наконец, мне просто смешно, когда ты начинаешь либеральничать необузданно и беспардонно, ничего определенно не желая и ничего определенно не отвергая, нося и на языке и в сердце вечную гражданскую скорбь о необходимости улучшений и на деле противодействуя всеми возможными способами всяким улучшениям и таким образом являясь каким-то нескладным протестом против самого себя, ходячим возражением против разумности человеческой природы. Я знаю, что стоит только сесть тебе за обед, выпить много два-три тоста, и спадут с тебя все лохмотья либерализма, и явишься ты истинным, неподдельным россиянином, каким ты есть и каким должен быть по законам непреложной судьбы.

История России, в особенности новейшей, есть история ее обедов, и напрасно тот будет стараться разгадать и понять хитрого россиянина, непрестанно меняющегося,

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru подобно хамелеону, кто не будет наблюдать за ним во время торжественных обедов.

С этой целью мы решились занести для будущего историка на страницы нашего журнала историю смоленского торжественного обеда по случаю открытия Орловско-Витебской железной дороги.

В России немного можно насчитать городов, которые могут поспорить с Смоленском своей знаменитостью. Смоленск существовал, когда еще не было и в помине Русского государства. Константин Багрянородный знает его уже цветущим и богатым. В XII веке Смоленск уже блистал классическим образованием, изучая греческий и латинский языки. Когда основалась Москва, Смоленск сделался, по выражению наших предков, дорогим ожерельем России, которым, впрочем, не менее Москвы дорожила и Литва. Смоленск поочередно переходил то к той, то к другой и катался как сыр в масле. Перейдет к Литве – Литва его награждает вольностями, правами и льготами; перейдет к Москве – Москва хотя по обычаю и искоса посматривает на эти вольности и права, но подтверждает их и холит своего любимца. Надобно отдать честь Смоленску, что он всегда горел патриотическим жаром к тому отечеству, в котором находился; потому с усердием бил Литву и ляхов, когда был в пределах Москвы; и с таким же усердием бил русских, когда попадался к Литве. Поэтому, когда Смоленск окончательно присоединен был к России, он сделался правою рукою Москвы по патриотизму. Он разверзал длань свою на всякого врага, покушавшегося на Москву, и сжимал ее в кулак, чтобы проводить его, когда его начинала гнать Москва.

Г-н Скарятин, вблизи видевший этот патриотический кулак, не без основания догадывается, что почтенные строители Орловско-Витебской железной дороги, генерал А. К. Казаков и П. И. Губонин, для торжества открытия дороги выбрали Смоленск не по чему другому, как по глубине и древности его патриотических чувств.

Знаменитости избранного для торжества места, само собою разумеется, должна была соответствовать и знаменитость самого торжества. И действительно, даже русские летописи железных дорог доселе не заносили на свои страницы ничего подобного. Мы говорим: даже русские; ибо иностранные, например немецкие, открытия железных дорог обходятся не дороже десяти талеров; из этой суммы восемь талеров употребляются на пиво и два талера на бутерброды, – других развлечений для гостей не полагается. Празднество открытия Орловско-Витебской дороги стоило 50 000 рублей серебром. Для приготовления обеда выписан был из Петербурга в Смоленск Дюссо, и обед с винами, кроме, впрочем, шампанского, обошелся в 6000 рублей. Но этот обед нисколько не помешал гостям, возвращаясь из Смоленска в Петербург в числе 70 человек, прообедать снова на псковской станции 2800 рублей. По счету содержателя псковского буфета, 70 человек смоленских гостей выпили в четверть часа на псковской станции 80 бутылок шампанского, 50 бутылок лафиту, 50 бутылок сотерна, 50 бутылок хереса, 50 бутылок мадеры, 200 бутылок пива, всего 480 бутылок, то есть каждый гость в четверть часа выпил почти семь бутылок. И хозяева смоленского празднества беспрекословно заплатили этот счет??!! Не могу не благоговеть перед широкой русской натурой, равно великой и в уменье сколотить деньгу на шарамышку, и в уменье разбросать ее на ветер, хотя внутренно не могу не сочувствовать великому скряжничеству великого русского царя, который целую жизнь не мог забыть, что рижские немцы взяли с него два червонца за десяток яиц. Для увековечения смоленского торжества в потомстве хозяева праздника выбили для всех почетных гостей своих жетоны, из которых каждый стоил 50 рублей серебром, а три жетона, назначенные дамам и украшенные бриллиантами, стоили по несколько сот.

По сему краткому очерку читатель может понять, что подобное торжество не могло состояться без присутствия в нем литературы. Так взглянули на это дело и почтенные устроители торжества и просили разные редакции украсить их празднество. Само собою разумеется, что редакции не имели никаких причин отказать устроителям празднества в таком законном их желании.

И вот четверо от четырех газет, а именно: Скарятин от «Вести», Марков от «Инвалида», Панютин от «Голоса», Незнакомец от «Петербургских ведомостей» отправились в Смоленск.

Посадили их в вагон с другими почетными гостями и повезли... По-видимому, ничего, как и быть следует. Но уже дорогою они начали примечать, что генерал Казаков, сопровождавший гостей, ценит их не особенно высоко. Так, по крайней мере, понял свое и других положение Незнакомец, но нисколько этим не огорчился; всю дорогу

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru он, видимо, благодушествовал, освежая себя впечатлениями природы, а в Пскове даже древностей не забыл. Невнимание же к себе и другим генерала Казакова объяснил себе тем, что генерал, даже по самому свойству своего чина, не мог несколько не игнорировать литературы, чиновности, как известно, не блистающей.

Но вот прибыли наконец в Смоленск. От станции железной дороги до дома дворянского собрания, где приготовлен был обед, расстояния версты четыре. Представители журналов стали искать приготовленного для них экипажа, так как для всех званных гостей экипажи были приготовлены заранее предусмотрительными хозяевами; но экипажа для них не оказалось. Они бы хотели принанять на свои деньги, но все извозчики были уже заранее наняты для гостей.

Таким образом, и Скарятин от «Вести», и Марков от «Инвалида», и Панютин от «Голоса», и Незнакомец от «Петербургских» должны были отправиться на празднество пехтурой. Пройти расстояние в четыре версты, конечно, не бог весть какая вещь, тем более что петербургская литература привыкла делать пехтурой и не такие расстояния.

Но неприятно было то, что хозяева в этом случае позабыли позаботиться о своих литературных гостях. Этого уже нельзя было приписать одному генералу Казакову. Тут оказывалось уже невнимание общее. После этого можно было всего опасаться, можно было опасаться даже и не пообедать. Все это должно было приехавшую в Смоленск литературу навести на грустные мысли относительно ее значения в общем и целом. И так как несчастья вообще скоро соединяют людей, то нет ничего удивительного, что хотя она состояла и из весьма разнородных элементов, решилась на этот раз быть, как выражались наши предки, в одиначестве, действовать за один.

Пришедши в залу дворянского собрания, литература поместилась совокупно за одним из пяти боковых столов. Более почетные гости сидели за столом поперечным.

Начался обед; затем пошли тосты; с тостами, по русскому обычаю, полилась и речь.

Возник вопрос: говорить ли литературе или молчать?

Не странно ли молчать представителям слова? сказали в сердце своем Скарятин от «Вести», Марков от «Инвалида», Панютин от «Голоса» и Незнакомец от «Петербургских» и порешили: «говорить».

Возник второй вопрос: говорить с тенденциозностью или без тенденциозности?

И сказали себе в сердце своем: Марков от «Инвалида», Панютин от «Голоса», Незнакомец от «Петербургских»: «если скажем: говорить с тенденциозностью, упечет нас Скарятин; скажем лучше: без тенденциозности», и сказали: без тенденциозности. И сказал Скарятин: «да будет так».

И пошел Скарятин и взял позволение на слово, и встал, чтобы говорить. Но вот Скарятин ростом мал, с заднего стола, где сидела литература, никому не виден, и раздались голоса: «На стул, на стул», и Скарятин взлез на стул. «По собранию, говорит Незнакомец, прошел какой-то гул, не то – в знак изумления, не то – в знак одобрения».

И Марков от «Инвалида», и Панютин от «Голоса», и Незнакомец от «Петербургских» находились в претрепетном ожидании последующих событий.

Вероятно, еще более в беспокойном положении был Скарятин. Потому он решился затаить на этот раз в душе своей свои поворотные убеждения и высказывать одни только бесповоротные.

Смысл высказанного Скарятиним бесповоротного убеждения состоял в том, что через строящиеся ныне железные дороги русские силы и русский дух напрут на окраины и враждебный дух окраин не устоит против этого напора.

Услышав это, сказали себе в сердце своем: Марков от «Инвалида», Панютин от «Голоса», Незнакомец от «Петербургских»: «Нет, не упечет нас Скарятин», и стали от радости рукоплескать и кричать «браво». В это время вблизи их раздалось злое слово: «Довольно». Но крик был слабый и робкий. Полагая, что это крик каких-нибудь ничтожных провинциальных зоилов, – и Марков от «Инвалида», и

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru Панютин от «Голоса», и Незнакомец от «Петербургских» ответили на него шиканьем и в то же время снова прокричали Скарятину «браво». Но крики «довольно» стали усиливаться, превратились в шум. Скарятин возвысил было голос, чтобы перекричать... но это было невозможно... Патриоты, видимо, усилились. Скарятин замолк, – но шум не прекращался, и только заигравшая музыка положила ему конец. Скарятин не знал, что ему делать – оставаться ли на стуле или сойти. Несколько мгновений, говорит Незнакомец, он «все еще оставался здесь совершенно смущенный и расстроенный».

Незнакомец не рассказывает, какие чувства наполняли в это время его самого, и Маркова от «Инвалида», и Панютина от «Голоса». Но, видимо, становилось небезопасно для всех. Раз взволнованное патриотическое чувство трудно было ввести в пределы, тем более что тосты продолжались. А это патриотическое чувство уже и прежде до того было взволновано, что совершенно не поняло из речи Скарятин, в чем он убежден бесповоротно. Ему почудилось, что Скарятин считает «окраиной» Смоленск и думает, что на него надо напирать русским духом.

Когда кончился обед, образовались кружки, которые начали рассуждать о происшедшем. В разных местах послышались голоса, что бывшего «довольно» для Скарятин не довольно. В кружках слышалось злополучное «окраина». И хотя некоторым удалось кой-где убедить шумящих, что речь Скарятин не понята, что бесповоротное убеждение его совсем не то, но никто не хотел верить в искренность этого убеждения. Припомнили его прошедшую деятельность; припомнили, что «он крепостник, что он утверждал солидарность русского общества с Каракозовым, что он проповедовал гибельность реформ». Следствием всех этих дебатов было то, что какой-то голос прокричал: «А ба, Скарятин!» Тогда: «А ба, Скарятин! долой, вон Скарятин!» раздается по всей зале. В это время одни из смолян бегут из залы, другие продолжают кричать, но уже с сверкающими глазами. Минута становится критическая.

Один господь только может спасти – в подобные минуты. А Скарятин все думает пронять патриотов красноречием. Он бросается к стулу и жестом требует себе позволения говорить. Но «он стоял, говорит Незнакомец, поникнув головой, бледный, убитый, готовый разрыдаться». Это умиротворило патриотов, далее они не дерзали.

Этим и окончилась история великого смоленского скандала.

Передадим теперь те впечатления, которые произвел этот скандал на разные органы нашей прессы.

Первое известие о скандале, бывшем на смоленском торжестве, сообщил сам Скарятин в своей газете «Весть». Замечательно, что он, несмотря на то что играл роль жертвы, отнесся к происшествию самым благодушным образом. Передав своим читателям сведения о том, как прервана была его речь криками «довольно», и сообщив самую речь, Скарятин пускается в патетическое восхваление древних патриотических подвигов Смоленска и рассыпается в благодарности устроителям праздника за то, что они устроили торжество в таком знаменитом своим патриотизмом городе.

«Забудем ли Смоленск, – так говорит Скарятин в заключение своего изображения доблестей Смоленска, – этот многострадальный и славный город летописи русской? Не нам пренебрегать славнейшими именами русской истории. Забудем ли нашу славу, станем ли прятать ее? Напротив, гордо и славно понесем ее на радость друзьям, на страх врагам!

Итак, избранием Смоленска хозяева праздника заслужили искреннюю признательность своих гостей, затронув в их русских сердцах одну из лучших струн летописи нашей славной, великой, единой Руси».

Иной зоил, прочитав статью Скарятин о смоленском торжестве и сличив ее с действительным ходом бывших там событий, может подумать, что Скарятин, обжегшись на своих бесповоротных убеждениях на смоленском обеде, поет теперь Лазаря перед смоленским дворянством. Мы этого не скажем. Мы, напротив, более склонны думать, что, смущенный на обеде в самом начале своей речи, потом окончательно сконфуженный, расстроенный, Скарятин не вполне понял суть случившегося с ним, а многое, может быть, не приметил или запомнил... Да и как было не запомнить. Дело было жаркое. Легко было запомнить, тем более что, по словам Незнакомца,

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru Скарятин, отправившись из дворянского собрания немедленно после скандала в вагон, упал с платформы и ушиб себе ногу так сильно, что всю дорогу принужден был лежать. Нужен очень сильный организм, чтобы, перенесши массу самых сильных впечатлений, потрясений, ощущений самого неприятного свойства и сверх того страшную боль физическую, удержать все в памяти в стройном порядке и последовательности, как то было в действительности. Потому нет ничего удивительного, что Скарятин забыл, как ему кричали: à bas, вон, долой Скарятин, – и не сказал ничего об этом в своей первой статье, поэтому же крики: довольно он понял совсем иначе, чем Незнакомец. По той же причине, Скарятин был в заблуждении, как мы видели уже, и в последнем действии скандала, когда сверкающих очами смолян хотел остановить потоком своего красноречия.

В другом положении, чем Скарятин, находился на смоленском празднестве Незнакомец. Психическое состояние его было, может быть, и не вполне безмятежно во время скандала, но, по крайней мере, настолько спокойно и здраво, что он мог все видеть и все понять. Поэтому, рассматривая все дело в целом, он не относится так благодушно к смолянам. Правда, и он, как поэтическая душа, предается некоторым словоизвержениям насчет древних доблестей смолян, но это служит ему только точкою отправления для того, чтобы прочитать строжайшую проповедь тем современным смолянам, поступок которых с Скарятиным он ничем не отличает от известного поступка пермских мужиков в прошедшем году с Сен-Лораном.

Еще жестче к смоленскому происшествию, чем Незнакомец, отнесся редактор «Нового времени» Юматов. «Смоленское происшествие поставило теперь, говорит он, весьма рельефно вопрос о том, что журналисты в России не могут на патриотических обедах считать себя вне опасности. В перспективе им грозит даже публичное избиение; и если настроение людей известной фракции не остынет, то можно опасаться, что журналисты сделаются на обедах таким же редким зверем, как волк в Англии, и так же немые, как рыбы... Есть люди, в присутствии которых нужен для поддержания порядка не только обычный президентский колокольчик, но не будет лишней и кавалерийская нагайка, как оружие обороны. Это те лица, которые на умеренное слово отвечают призывом к физической расправе. Кавалергардский оркестр на роскошном банкете вещь хорошая, но несколько здоровых вахмистров могут быть еще нужнее для предупреждения некоторых печальных недоразумений».

Так отнеслась к смоленскому происшествию петербургская пресса. Московская взглянула на дело совершенно иначе.

По смыслу двух статей, написанных по поводу смоленского происшествия «Московскими ведомостями», надобно удивляться не тому, что такое происшествие случилось с Скарятиным, а надобно бы было удивляться и, пожалуй, сожалеть о том, если бы оно не случилось. Ибо ведь кто такой Скарятин? Человек, который основал особый орган для того, чтобы служить враждебным России силам. Кто тормозит русскую силу в польском деле, содействует и радуется успехам его, нападает на патриотов, страдающих от интриг поляков? – Все это делает Скарятин. И пускай бы он действовал открыто. Нет, он старается обморочить общество, представляется говорящим от имени всего русского дворянства, поддерживающим будто бы интересы последнего. Не должно ли было или, лучше сказать, могло ли дворянское общество, бывшее на смоленском обеде, общество, представлявшее собою лучшую русскую интеллигенцию, не показать Скарятину, что у него нет ничего общего ни с русским обществом, ни с русским дворянством, от имени и во имя которых он проповедует? Скарятин не мог не предвидеть этого, и, начав говорить, он сам этим обрек себя на неизбежный скандал.

Так или почти так рассуждают «Московские ведомости», и рассуждают, по нашему мнению, весьма здраво и основательно. Но, становясь вполне на их точку зрения, мы не можем, однако ж, не сделать некоторого упрека цвету русской интеллигенции, присутствовавшему на смоленском торжестве.

Нельзя не заметить, что они действовали не довольно энергически, можно сказать, даже вяло, даже апатично. Как! Перед ними стоял человек, тормозящий русское дело, служащий польским интересам, одним словом, изменник отечеству, и ограничиться только тем, что прокричать ему только à bas, долой, вон! И больше ничего??!! Пощадите, бога ради! Да где ж тут патриотизм? Разве так должен патриот поступать с изменниками, и особенно с изменниками, которые хотят замаскировать себя, одурачить все общество, которые являются пред глазами общества в качестве людей добропорядочных и начинают говорить патриотические речи? И что ж, ввиду такого-то обстоятельства, смоленский патриотизм ограничился

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru только тем, что остановил речь Скарятин и потом прокричал ему: à bas! вон! Но и это было сделано вяло, не единодушно! Крики: довольно! начались слабо, едва слышно, в одном только месте, и потом уже только были поддержаны значительным числом голосов. Но очевидно, что и такое легкое выражение патриотизма понравилось не всему обществу. Ибо после обеда начались дебаты о том, хорошо ли это сделано. Были люди, которые не одобряли кричавших и защищали Скарятин, – и их, как кажется, было не мало. Потому что, когда наступила решительная минута, когда некоторые крайние порешили кричать: à bas! вон! тогда зала, по свидетельству Незнакомца, значительно опустела. Кричащих и сверкающих глазами осталось немного.

Такое не единодушное, вялое действие смолян сильно, по нашему мнению, повредило делу смоленского патриотизма. Ведь вот уже и теперь Скарятин говорит, что довольно кричали не все, другие, напротив, требовали продолжения речи, и что музыка прервала речь его вовсе не по приказанию распорядителя праздника, который удостоверил Скарятин лично, что он этого приказания не давал. Скарятин думает, что музыке велел играть какой-нибудь из врагов его, очевидно, потому, что не надеялся с своими единомышленниками перекричать тех, которые требовали продолжения речи Скарятин. О криках: à bas! вон! Скарятин убежден, что они были произведены только несколькими единичными голосами. Таким образом, он скандал смоленский вовсе не принимает за выражение общественного мнения относительно него, а приписывает его небольшому, враждебному для него, кружку лиц. И, прибавим мы, имеет право на это, потому что скандал происходил так недружно, так робко, что его никак нельзя признать единодушным желанием всех. Юматов идет еще дальше. Он думает, что не только число участвовавших в скандале было очень незначительно, но что и родовитых дворян тут вовсе не было, а произвели скандал «какие-нибудь однодворцы и приказные, которых в прежнее время и не принимали даже в хорошем провинциальном кругу, но теперь, благодаря недавним успехам, которые сделало наше общество на пути равенства, упомянутые люди могли быть допущены на обед в виде опыта, но, однако ж, оказалось, что вводимое равенство еще преждевременно». «Русские ведомости» идут еще дальше Юматова. Они просто-напросто говорят, что скандал был произведен людьми пьяными. «Вино, разумеется, – говорят они, – лилось рекою, и по мере того, как опорожничались бутылки, умы собеседников воспалялись, язык развязывался и развязался, наконец, до того, что перелил границы приличия и самоуважения».

Вот какая образовалась путаница мнений об одном и том же предмете. Не правы ли мы, когда говорим, что смоленское общество поступило не довольно энергически или, что то же, не довольно патриотически. Учини они скандал дружно, единодушно, с натиском, с одушевлением, даже с остервенением, да прихвати при этом и остальную литературу, бывшую на обеде, тогда для всех были бы ясны патриотические мысли и желания смолян, а их действия для всех были бы поучительны. Теперь же какая из всего скандала польза, когда даже люди пострадавшие, как Скарятин, нисколько им не вразумлены? Да и вразумить нет никакой возможности. Разве все бывшие на обеде дадут собственноручные подписки в том, что скандал учинен был с общего согласия? Да и такое единогласие нисколько не убедит теперь Скарятин. Он скажет, что они все увлечены к такому согласию толкованием «Московских ведомостей», что самый ход скандала доказывает совершенно противное.

А если для самого Скарятин скандал в том виде, как он был, не имеет вовсе никакого поучительного значения, то тем более такая полумера не может иметь ничего внушительного для литературы. Ведь порази смоляне Скарятин единодушно, да прихвати при этом и бывшую в Смоленске литературу, – тогда вся петербургская литература поняла бы, что в провинциях патриотизм не дремлет, что он всегда жив и действителен для того, чтобы опочить на хребтах врагов. Тогда, конечно, ни один петербургский литератор не посмел бы показать носа в провинции, а не то что выставляться там на парадных обедах и говорить речи. Не потому, конечно, чтобы петербургские литераторы были не патриоты, а потому, что слово «патриот» в наше время очень скользкое и неопределенное и чуть ли еще не более имеет смыслов, чем сколько во время Гоголя имело слово: «добродетельный человек». За примерами ходить недалеко. Ведь вот в Петербурге нет ни одной редакции, которая бы не оскорбилась, если бы ее назвали непатриотической, и нет ни одного литератора, который бы не считал себя самым горячим патриотом. А между тем давно ли Москва сомневалась не только в патриотизме всей петербургской литературы вообще, а даже в патриотизме и самого Петербурга? А в провинции, быть может, и патриотизм самой Москвы находят еще подозрительным. Кто ж бы туда поехал, если бы смоляне энергически проявили свой патриотизм? А теперь... будет открываться опять

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru где-нибудь железная дорога, опять празднество и опять поедут туда: и Марков от «Инвалида», и Панютин от «Голоса», и Незнакомец от «Петербургских», и Скарятин от «Вести». Скарятин?? – Может ли это быть? спросит изумленный читатель. Верно, не поедет? – То-то поедет. Он уже заявил об этом, почитая как бывший, так и всякий имеющий быть с ним скандал в будущем венцом своего общественного служения.

«Люди, – говорит он, – выступающие на публичную арену, должны быть заранее готовы на всякие случайности, которые зависят от состава и настроения духа публики, их слушающей. В странах, где публичность вошла в нравы и обычаи, общественные деятели, по очереди, не смущаясь, или терпят поражение, или вызывают рукоплескания. Общественный деятель, сегодня в таком-то городе вызвавший рукоплескания, завтра терпит поражение в другом городе». (Гм! поражение! то есть как? Боксом?)

«Одна из газет, – говорит он далее, – высказала мнение, что после случая в Смоленске представители печати сделаются таким же редким зверем на торжественных обедах, как волки в Англии, и немые, как рыбы. Мы, напротив, убеждены, что русское общественное мнение оценит по достоинству настоящий скандал и что редким зверем на этих обедах сделаются не представители свободного слова, а его ненавистники».

«Ну, что ж за беда, что поедут? Пусть едут», – скажет читатель. Как что за беда? Ведь опять что-нибудь случится, опять прокричат «довольно» какому-нибудь литератору, прокричат, может быть, *à bas*, вон, а может быть, выведут и, наконец, мало ли что может быть. Кто может предвидеть, до каких пределов может дойти разгоряченный патриотизм?

Ввиду всего этого редакции, отправляющие своих сотрудников на празднества, не могут оставаться безучастными к их положению.

Вот Юматов и теперь говорит, что на подобные торжества не худо бы отправлять вахмистров. Редакции менее воинственных воззрений позаботятся с своими сотрудниками, отправляющимися на празднества, посылать хоть не вахмистров, а здоровых молодцов на всякий непредвиденный случай. Наконец, самые бедные редакции, и те, вероятно, будут снабжать своих сотрудников хотя железными масками. Вот ведь к чему все это ведет.

Когда я написал эти слова, ко мне вошел мой хороший знакомый и полюбопытствовал узнать, что я пишу. Я ему прочитал.

– Совсем вы не то пишете, что следует, – сказал он мне, выслушав мою статью. – Вы забываете самое главное, именно то, что скандал у нас есть пока единственный двигатель мысли общественной и литературной.

– Как! и литературной даже? – спросил я с изумлением.

– А вы думали как? Разве может какая-нибудь серьезная публицистическая литература (о ней главным образом я говорю) быть в стране, где нет полной свободы слова, где некоторая свобода слова дана только для опыта, и то избранным. Все ваши газетные передовые статьи и рассуждения ни дать ни взять те челобитья, которые в древнее время писали государевы сироты. Сироту пооброчили не по силам и не по животам, у сироты землишку отняли, сироту воевода пообидел, ну – садится сирота и строчит. И каждый сирота излагает свою собственную нужду и горе, до общего ему нужды нет. Так и у вас в литературе каждый газетный сирота сидит и строчит свое собственное челобитье и только старается прикрыть его общественной нуждой. А какая общественная нужда, когда все газетчики поют обыкновенно врознь! Один вдруг ни с того ни с сего начинает говорить о смертной казни, когда другой в это же время пишет о необходимости новой кодификации свода законов, третий о замыслах Наполеона на Пруссию и т. д. Одним словом, нет того, чтобы статьи в газетах вызывались самым положением вещей, были ответом на вопросы дня, и на вопросы дня не второстепенные какие-нибудь, а фигурирующие, настоятельные, неотразимые. Ведь вот возьмем к примеру крестьянский вопрос. Он теперь основной вопрос всего нашего будущего развития, судьбы всех наших новых учреждений, всех наших чаяний и надежд в будущем. От такого или другого разрешения его зависит все наше будущее. А ведь что мы о нем знаем? Положительно ничего. Кой-где встретится заметка в газетах, что тут-то, дескать, описаны крестьянские именья за недоимку в столько-то тысяч или что по какой-нибудь

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru губернии недоимки возросли во столько-то сотен тысяч, и ничего больше. Прошу вас представить себе: так ли бы действовали газеты, если бы крестьянский вопрос разрешался, например, в Англии? Там, верно, в каждой деревне сидели бы газетные репортеры и изо дня в день давали бы известия о ходе дел.

Я было открыл рот, чтобы возразить на этот поток красноречия. Но мой знакомый остановил меня и снова продолжал:

– Знаю, знаю, что вы хотите сказать, – что наши газеты лишены совершенно возможности заниматься своим делом. Но мне до этого дела нет. Я только констатирую, – как любят у вас выражаться в литературе, – факт, говорю, что все ваши передовые статьи и рассуждения только сиротские хныканья, над которыми читающие умирают от скуки и которые сами сироты пишут только с горя. Потому-то я и говорю, что скандал пока почти единственный возбудитель и двигатель нашей мысли, не только общественной, но и литературной. Когда случится скандал, разумеется, крупный, он немедленно делается фигурирующим явлением дня в литературе. Об нем начинают говорить, его начинают обсуждать все газеты. И как говорят, как обсуждают!.. Это уже не те сиротские челобитья, которые пишутся обыкновенно. Тут является и задор, и жар, и страсть, и всесторонняя оценка фактов, и оценка движущих все воззрений и принципов, – и все это, не говорю, прочитывается, а проглатывается публикою с жадностью, как никакая другая газетная дребедень. Думаете ли вы, что все это остается без сильного нравственного влияния на публику? Верьте, нет. По поводу смоленского скандала и всего, что написано о нем, оглянутся на себя не только смоляне, но и другие провинции, оглянется на свою деятельность сам Скарятин, оглянутся даже «Московские ведомости», – и все более или менее умягчатся.

Я засмеялся.

– Верьте, умягчатся в нравах. Если бы это нужно было, я бы вам исторически мог доказать, что мы цивилизуемся посредством скандалов. Да и как вы хотите иначе в обществе, где только по поводу крупного скандала мысль приходит повсюду в пробуждение, начинает всматриваться во все окружающее, анализировать себя и других, понимать известные воззрения и принципы; одним словом, делаться чем-то действительно сознающим? Теперь спрашивается: кому причиняется вред скандалами? Одной только жертве скандала. Жертва эта бывает всегда невольная, очень нередко совершенно невинная, но зато всегда почти очистительная для общества, то есть посредством своего моментального страдания вносящая известную дозу света и добра в общественное сознание. В виду великого общественного блага, в виду поднятия уровня общественного сознания хоть на одну линию, стоит ли жалеть о такой ничтожной в сущности жертве? Если чем мне Скарятин понравился на смоленском скандале, то это тем – философским взглядом на свое отношение к подобного рода сюрпризам. Он справедливо говорит, что общественный деятель всегда должен быть к ним готов, что они в его служении неизбежны...

– Итак... – сказал я.

– Да здравствует всякий крупный скандал, очищающий нравственные миазмы в нашей общественной атмосфере! – заключил речь свою мой знакомый.

– Вы думаете, что чем крупнее, тем лучше, и даже... – спросил я.

– Гм! Ну, нет... я не тово... не в том смысле, – замялся мой знакомый. – Ведь не киргизские у нас, в самом деле, степи!!

УЛИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ *

(По поводу 6-й главы 5-й части романа «Обрыв»)

Если вам случается, читатель, слышать в так называемом обществе, с одной стороны, сетования на слишком широкие размеры, принимаемые жизнью, с другой стороны, разнообразные предположения по части укорочения ее – вам, конечно, могут подобные бессознательные толки в значительной степени опротивить, показаться несносными, нелепыми, но ни в каком случае они не удивят и не приведут вас в негодование. Мало ли всякого люда шатается по улицам? Разве можно за всяким усмотреть, всякого переспорить, всякого вразумить? Да и вразумлять этот «шлюющийся народ» – далеко не легкое дело; это значило бы с каждым проходящим начинать с азбуки, что, очевидно, может быть с успехом выполнено только приходскими училищами, которые с тою целью и устроены, чтобы в них обучались люди всякого рода «начаткам».

Поэтому, когда вы слышите на улице голословные изветы против якобы господствующего в современном поколении духа отрицания; когда вы слышите, что людей, ищущих отнестись к жизни сознательно, называют чуть-чуть не негодьями и разбойниками; когда вы видите людей малосмысленных, бессмысленно вращающих глазами по поводу таких вопросов, которых они даже изъяснить себе не могут, – вас может это встревожить только с точки зрения абстрактной и гуманной. Быть может, вы были убеждены, что сумма знаний, увеличиваясь непрерывно, вместе с тем делается более и более доступною и для масс; что факты, которые в прежнее время стояли под защитою темных и голословных аксиом, отнюдь не перестали быть фактами оттого только, что они переменили эту ненадежную защиту на более прочную защиту разума, – и вот уличная толпа уверяет вас в противном. Она громко заявляет себя сосудом не в смысле накопления знаний, а в смысле накопления невежества; она протестует против вмешательства разума в дела мира сего и становится на сторону бессознательности, случайности и произвола, как таких форм, в которых наиболее удобным образом укладывается человеческая жизнь. Это вас огорчает. Но, повторяем, ваше огорчение в этом случае имеет чисто абстрактный характер. Взятый в отдельности, ни один из членов невежественной толпы не может возбудить вашего негодования. Вам заранее известно, что все, что там ни делается, в этой темной пучине, делается или по привычке, или по неведению. Вы знаете, что если эта уличная толпа, с которой вы на каждом шагу встречаетесь, и обучалась когда-то каким-то «начаткам», то она давно забыла их и даже это скудное знание заменила так называемую житейскую мудростью или, попросту, рутиною; в противном случае, она, конечно, не приходила бы в ужас от таких, например, истин, что гром есть явление объяснимое и что реки текут не к источникам, а к устьям не по чудьему велению, а по причинам, удовлетворительно раскрываемым законами природы.

Сказавши себе раз навсегда, что толпа обогащается знаниями медленно, вы легко можете установить свои отношения к ней. Что бы она ни говорила, как бы ни шипела против пытливости человеческого разума – все это будет для вас делом посторонним, не требующим ни возражений, ни препирательств. Вы идете по улице и говорите себе: я иду тут, потому что мне нельзя сделать иначе; покорюсь этой необходимости и постараюсь сделать так, чтобы как можно меньше слышать, как можно меньше видеть, как можно меньше обонять. Заручившись таким благоразумным решением, вы, в согласность ему, принимаете меры, которые наиболее действительным образом могут оградить вас от неприятных ощущений. Вот все, к чему вы обязываетесь в видах самосохранения.

Но когда мирозерцание, совершенно понятное и уместное, если вы знакомитесь с ним в таком философском трактате, как, например, «голубиная книга», проникает в литературу; когда эта последняя, вместо того чтобы пробуждать общество, ищет усыпить его, вместо того чтобы сеять в нем мысль о необходимости сознательного отношения к жизни, еще более усиливает и без того сильные опасения тех откровений, которые влечет за собой беспристрастный анализ понятий, явлений и форм, – тогда, говорим мы, равнодушие становится делом гораздо менее легким. Литература и пропаганда – одно и то же. Как ни стара эта истина, однако ж она еще так мало вошла в сознание самой литературы, что повторить ее вовсе нелишнее. Всякая светлая мысль, брошенная литературою, всякая новая истина, добытая ею, находит слишком большое количество прозелитов, чтоб можно было не дорожить этим присущим ей качеством побеждать мрак и покорять людей, наиболее упорствующих в предрассудках. Точно то же приблизительно должно сказать и о заблуждениях. Литература, пропагандирующая бессознательность и беспечальное житие на авось, конечно, не может иметь особенных шансов навсегда покорить мир своему влиянию, но она может значительно задерживать дело прогресса и наносить ему по временам такие удары, которые будут тем чувствительнее, что представители прогресса все-таки люди и в этом качестве к перенесению ударов не всегда равнодушны.

В особенности важно, в смысле образовательном, влияние той отрасли литературы, которая называется беллетристикою, потому собственно, что эта отрасль есть наиболее доступная пониманию большинства. Конечно, беллетристика не дает читателю той полноты и уверенности знания, к которым приведет его наука путем доказательств, но влияние беллетристики все-таки может быть благотворным в том отношении, что она предрасполагает к исканию истины и заставляет читателя скептически отнестись к тем несознанным аксиомам, которыми он до того руководился. По нашему мнению, это заслуга немаловажная, и только совсем лишенные смысла люди могут называть беллетристику, как орудие пропаганды, литературою легкого поведения. Эти люди, очевидно, не понимают, что дело совсем

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru не в названии и что можно, пожалуй, отыскать и науку легкого поведения, то есть ту самую, которая служит популяризированию первоначальных истин, без знакомства с которыми невозможно, однако ж, дальнейшее движение общества на поприще знания. И беллетристика, и наука в этом случае, конечно, заслуживают название «легких», но воспитательное их значение от того нисколько не умаляется.

Каждое произведение беллетристики, не хуже любого ученого трактата, выдает своего автора со всем его внутренним миром. Читая роман, повесть, сатиру, очерк, мы без труда можем определить не только миросозерцание автора, но и то, в какой степени он развит или невежествен. Ошибочно думают те, которые утверждают, что интерес беллетристического произведения исчерпывается одной художественной стороной, одной авторской способностью живо схватывать признаки того или другого явления. Выбор явления в этом случае далеко не индифферентен, как равно не индифферентно и отношение к нему автора. Мы можем, пожалуй, назвать довольно отечественных беллетристов, которые, со стороны художественной ценности, наделены не меньше, например, Шпильгагена, но в то время, как последний представляет нам человека цельного, определившего свои отношения ко всем разнообразным стихиям, из которых в данную минуту слагается общественная и индивидуальная жизнь – первые рисуют ряд простых организмов, озабоченных исключительно потребностями питания и половых отправлениях. Ясно, что область, которую захватывает Шпильгаген, обширнее, нежели та, которую берут русские талантливые беллетристы, что эта область включает в себе большее разнообразие явлений, что она представляет повод для значительнейшего числа комбинаций, и что ежели мы примем во внимание только одно последнее условие, то есть разнообразие и большую сложность комбинаций, то и тут окажется, что интерес беллетристического произведения, при равных художественных силах, всегда пропорционален степени умственного развития автора.

Что касается до миросозерцания, то хотя, в большей части случаев, благодаря еще ходячему учению, будто художественная сила сама по себе индифферентна, оно не высказывается столь резко, как умственная развитость и неразвитость авторов, но так как ледяная кора, дававшая возможность скрывать человеческие симпатии и антипатии, с каждым днем, с каждым часом становится тоньше и тоньше, то и шансы утаивать их делаются все менее и менее доступными. Олимпийское равнодушие к текущим (или, как обыкновенно говорится, временным) интересам действительности понятно только тогда, когда интересы эти устраиваются сами собою, идут своим чередом, по раз заведенному порядку (так было у нас при крепостном праве); но когда действительность втягивает в себя человека усиленно, когда наступает сознание, что без нашего личного участия никто нашего дела не сделает, да и само собою оно ни под каким видом не устроится, тогда необходимость сознать себя гражданином, необходимость принимать участие в общем течении жизни, а следовательно, и иметь определенный взгляд на явления ее представляется настолько настоятельною, что едва ли кто-нибудь может уклониться от нее. И чем пристальнее художник вникает в эти текущие интересы, которые он не без презрительной улыбки именовал временными, тем более убеждается, что это суть интересы не менее важные, нежели те, которые он, переносясь в другую сферу, несколько напыщенно называл вечными, и что, в конечном анализе, не может существовать того мелкого человеческого интереса, который бы не был интересом вечным уже по тому одному, что он интерес человеческий.

Эта необходимость относиться к явлениям жизни под тем или иным углом зрения, укрепленная воспитанием и всею совокупностью жизненных условий, нимало не может служить стеснением для творческой деятельности художника, а напротив того, открывает ей новые горизонты, оплодотворяет ее, дает ей смысл. Художник становится существом не только созерцающим, но и мыслящим, не только страдательно принимает своею грудью лучи жизни, но и резонирует их. Ничто в такой степени не возбуждает умственную деятельность, не заставляет открывать новые стороны предметов и явлений, как сознательные симпатии или антипатии. Без этой подстрекательной силы художественное воспроизведение действительности было бы только бесконечным повторением описания одних и тех же признаков. Нам могут, конечно, сказать, что в этих симпатиях и антипатиях именно и находится источник всевозможных преувеличений, – такое возражение, конечно, во многих случаях, не лишено будет правдивости, но в том-то и дело, что от этих преувеличений должно предостеречь писателя то чувство меры, то критическое отношение к жизненному материалу, в которых, собственно, и заключается мерило истинной силы художника. Как бы то ни было, однако ж, впадет ли художник в преувеличения или остережется от них, это обстоятельство может иметь влияние только на критическую оценку его произведения. В первом случае произведение будет менее совершенно, во втором –

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru более. Но закон, в силу которого писатель-беллетрист не может уклониться от необходимости относиться к действительности под определенным углом зрения, остается непререкаемым, и избежать его имеет право лишь тот, кто в то же время заявляет право и на полное невнимание публики.

Переходя от этих общих соображений собственно к русской беллетристике, мы встречаем и в ней, за последнее время, несомненное стремление, во-первых, расширить ее содержание введением новых элементов, которые в прежней беллетристике не принимали никакого участия; во-вторых, поставить читателя на известную точку зрения, на которой стоят сами авторы и в которой, по мнению их, заключается благо. Отсюда – разделение героев на сочувственных и несочувственных автору не по одному тому, что они ленивы или прилежны, строптивы или добродушны, то есть не по одним их домашним качествам, но и по тому, что они имеют тот, а не другой образ мыслей. Отсюда – целые тирады, в которых авторы прямо от своего лица выражают известный взгляд на вещи, не стесняясь тем, что подобная догматика, особенно ежели содержание ее детское, может серьезно повредить художественной стороне их произведений.

По какому-то странному недоразумению, решившись знакомить публику с своим мирозерцанием, все известнейшие русские беллетристы высказали взгляды совершенно однородные, все стали на сторону уличной морали, на сторону заповеданного, общепринятого и установившегося против сомневающегося, неудовлетворенного и ищущего. На первый взгляд это обстоятельство может казаться загадочным. Мы помним беллетристику сороковых и начала пятидесятых годов, помним, при каких тяжелых условиях и какие действительно неоценимые услуги оказывала она пробуждению общественной совести. Она была неизменно представительницей и распространительницей гуманных стремлений в русском обществе; она образовала поколение людей, взявших на себя впоследствии почин в одном из величайших дел нашего времени, в деле освобождения крепостных крестьян; имея во главе лучшего своего разъяснителя, Белинского, она косвенно или прямо, но всегда неутомимо, всегда не меньше того, сколько позволяло механическое давление извне, преследовала ложь и зло во всех проявлениях. Нам скажут, что ее гуманность очень близко граничила с туманностью, что гуманность сама по себе есть нечто в высшей степени неопределенное, трудно формулируемое и потому не достигающее существенных результатов. Пусть так, но в то время уже и то было немаловажно, что находились люди, которые всегда стояли на стороне хорошего и всегда против дурного. Это постоянство действия заставляло предполагать, что то туманное и недосказанное, которое затемняло лучшие произведения тогдашней литературы, было не органическим ее недостатком, а только временной, недобровольно принятой формой, и что, принимая эту форму, представители литературной мысли тем не менее имеют вполне твердые основания пропагандировать те стремления, которые под нею скрываются, что они, пробуждая в публике желание добра, сами понимают это добро в полном его объеме.

На поверку вышло, однако ж, что проповедуемое добро есть добро только отвлеченное, что едва потребовало оно применения для себя, как уже оказалось вышедшим из начертанных для него границ, что литература охотно бралась воспитывать общество, но с тем, чтобы оно не делало из этого воспитания никаких практических приложений. Люди, которых жизнь была непрерывным сеяньем, побуждением и подстрекательством, отвернулись от самих себя и прокляли в других тот кумир, которому сами так исправно служили. Не правда ли, нужно, чтобы случилось что-нибудь очень прискорбное для объяснения подобного переворота и чтобы это прискорбное отразилось не только на личном существовании того или другого индивидуума, а чтобы существование целого общества было потрясено им.

Случилось, однако ж, не более того, что периодически случается на нашей шаткой и мало подготовленной почве, а именно что люди, проводившие литературным путем в русское общество гуманные идеи и стремления, были, за некоторыми исключениями, люди убежденные, люди, не органически воспитавшие в себе идею добра, а принявшие ее ради ее красоты, ради того прекраснотушия, которое она приносит с собой. В этом-то собственно и заключалась ошибка, в то время, впрочем, совершенно извинительная; ибо кто же мог помышлять в сороковых годах, что идея добра когда-нибудь сделается идеею воинствующей, не останавливающейся, что она заявит претензию исчерпать свое содержание во всех применениях и комбинациях, что ей когда-нибудь надоеет служить только красивым обрывком, годным для украшения той или другой головы? Ужас при виде разрушения монополии проповеди добра был велик; но надо сказать правду, что он все-таки не столь сильно действовал на проповедников, как то обстоятельство, что проповедь все-таки

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru продолжалась и в дальнейшем развитии, по-видимому, предположила себе совсем другие цели, нежели прежде, и, во всяком случае, не хотела ограничиться теми неопределенными порываниями, тем успокоивающим дилетантизмом, каким отличалась проповедь сороковых годов.

Но то, что, в сущности, было дорого только как украшение, естественно утратило всякую ценность, как скоро перестало быть им. При прежнем характере проповеди нельзя было остаться не потому, чтобы недостаточность ее признана была самими проповедниками, а потому, что ее никто не слушал. На первых порах в пользу старых учителей устраивали торжества, на них возлагали надежды, видели в них своего рода Лафайетов и Дюпон де Лёров, которых имена как-то необходимо связываются со всяким движением в смысле добра. И это были действительно Лафайеты и Дюпон де Лёры, но только до того уже своеобразные, что они даже не могли понять чисто почетных свойств своих ролей. Вместо ожидаемой скромности в них прежде всего выступило вперед желание первенствовать и замыкать рты другим, желание, не оправдываемое ни законами справедливости, ни пониманием потребностей времени. Оказалось, что это совсем не Лафайеты, а просто мухи, от которых надлежало отмахиваться.

Мы не сомневаемся, что беллетристы сороковых годов на менее либеральны теперь, нежели в то для всех памятное время, когда они, вслед за Белинским и Грановским, занимались проповедью гуманных стремлений. Но дело в том, что эти стремления, оставаясь только стремлениями (чем, собственно, и исчерпывалось содержание тогдашней либеральной проповеди), очевидно, не могли уже удовлетворять в такое время, когда сама жизнь ставила вопросы, требовавшие не одного сочувственного отношения к ним, но и действительного разрешения в либеральном смысле. У большинства деятелей сороковых годов на такой подвиг не оказалось ни подготовки, ни достаточной решимости. Метафизические основания, с которыми это большинство подходило к новому делу, совершенно не клеились с ним, ибо это дело не ограничивалось одними внешними покровами свободы, одной отвлеченной идеей ее, но проникало дальше, захватывало те практические и не всегда легко дающиеся условия, без овладения которыми свобода не может быть ни действительной, ни прочной. Для гуманистов сороковых годов казалось достаточным объявить во всеуслышание, что свобода есть благо, чтобы всяк и каждый удовлетворился уже одним тем, что провозглашена такая прекрасная истина; на деле, однако ж, выходило, что это, так сказать, только первая половина предложения, что самые лучшие истины мало питательны, ежели они не получили приложения к действительности и ежели, сверх того, это приложение не обеспечено против наплыва всяких зловредных случайностей. Нет ничего желательнее, например, чтоб все люди были добры, чтоб они не подкапывались друг под друга, не вредили друг другу, но какую сложную обстановку нужно придумать, чтобы достигнуть такого результата? Ясно, стало быть, что одно заявление прекраснейших принципов (и притом заявление, лишенное реальных оснований и делаемое с бесчисленным множеством оговорок) очень скоро должно обнаружить свою несостоятельность и показать себя тем, чем оно всегда было: громкою, щегольской фразой, очень мало подвигающей дело общественного прогресса.

Повторяем: было время, когда, конечно, и просто щегольская фраза, проникнутая либеральным духом, уже сама по себе представляла благо и выражала борьбу; но теперь и арена действия, и самый характер борьбы изменились, а этого-то именно и не поняли деятели сороковых годов. Если б они были проникательны, то сознали бы, что им предстоит одно из двух: или примкнуть к дальнейшему движению мысли и начать разрабатывать жизненные вопросы на той реальной почве, на которую выводило их неумолимое время, или же оставаться в почетном положении Лафайетов и доживать свои дни под защитой прошлого. Думаем, по крайней мере, что так поступили бы те знаменитые покойники, которые некогда были их руководителями и которые, конечно, никогда не могли бы себе представить человеческую мысль остановившуюся. Но большинство рассудило иначе; оно долго упорствовало остаться при своем распутье, но под конец сила вещей одолела, то есть доказала, что время торжества фразы миновалось безвозвратно. Тогда оно предпочло лучше пойти назад, нежели примкнуть к движению, указывавшему вперед. Предпочло, быть может, не злостно, а просто вследствие недоразумения, вследствие того, что новое движение застало его врасплох, а пастыря доброго у него не было.

Вот мысли, на которые мы невольным образом были наведены чтением пятой части романа Г. Гончарова «Обрыв». Тем не менее мы взяли за перо вовсе не с тем, чтобы дать читателю оценку нового произведения знаменитого нашего беллетриста – это будет выполнено в одной из ближайших книжек нашего журнала, – а желаем

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru сказать здесь несколько слов только об одной составной части этого романа, и именно о философии почтенного автора.

Этой философии посвящена почти вся шестая глава пятой части «Обрыва». Г-н Гончаров до сих пор воздерживался от ясного заявления каких-либо политических или социальных взглядов на современность, и, сознавая откровенно, мы видели в этом признак того такта, который всегда отличал этого писателя. В «Обломове» усматриваются скорее даже зачатки мысли, побуждающей вперед, зачатки, правда, очень неопределенные, но, во всяком случае, не заключающие в себе ничего противоречащего преданиям сороковых годов. Но теперь, очевидно, предания кончились; «Обломов» может служить для будущего историка русской литературы только уликой того, как непрочны бывают всякие начинания и как легко они сводятся на нет.

Чтобы понять всю суть философии г. Гончарова, необходимо хоть в общих чертах познакомить читателя с физиономией одного из действующих лиц его романа (одного только), Марка Волохова. Волохов есть представитель так называемого молодого поколения и тех идей, которые оно внесло или стремилось внести в нашу жизнь. Немного красок потратил г. Гончаров, чтобы нарисовать этого грубого мужчину, и мы имеем право думать, что это сделано не без умысла, потому что на палитре этого автора обыкновенно имеется большое обилие и разнообразие красок. Когда живописцы изображают Тайную вечерю, то почти всегда следующим образом рисуют Иуду: фигура темная, мрачная, не выражающая никакой внутренней борьбы, а одну тупую решимость. Благочестивые живописцы делают это, конечно, с расчетом: в их намерении – внушить омерзение к Иуде, а так как они знают, что всякий признак внутренней борьбы уже исходит из себя начало примирения, то и избегают всего, что могло бы напомнить о человеческом образе при взгляде на эту отверженную фигуру. Точно так поступил и г. Гончаров; он сказал себе: Волохов – это пятно нашей современности, а потому и надлежит рисовать не человека, а только пятно. Согласно с этими соображениями он заставляет и действовать своего героя. Волохов входит в дома, в большинстве случаев, не иначе как в окошко и через забор; он спит в телеге, покрытой циновкою; он занимает деньги, предупреждая, что не отдаст их; он не признает бессрочной любви и довольствуется любовью срочною. Все это черты, которые, по мнению г. Гончарова, характеризуют нового человека, черты, впрочем, не новые, образцы которых мы видели у гг. Стебницкого и Авенариуса, не говоря уже о г. Писемском, который в «Взбаламученном море» представил такое образцовое руководство к познанию нигилистов, что даже при самом тщательном труде едва ли кому-нибудь придется сравниться с ним в деле собирания всякого рода нигилистических черт.

Почему г. Гончаров желает, чтоб герой его входил к своим знакомым не через дверь, а через окно, чтоб он спал в телеге, покрытой рогожею, почему он видит в этом признаки типа, и притом типа современного передового человека, – это одному богу известно. Российская империя никогда не оскудевала людьми, входившими в дома через окна, и не только выходившими, но даже вылетавшими тем же путем обратно, точно так же как не оскудевала и всякого рода киниками, спавшими и в телегах, и на погребницах, и под рогожами, и просто в натуральном виде. Нельзя отрицать, что это были типические черты довольно резкие, но никто никогда не думал приурочивать их к известной современности, никто никогда не связывал их с тем или другим образом мыслей. Скорее всего, на подобные выходы способны были люди, именно страдавшие отсутствием образа мыслей, нежели наоборот, как, например, всякого рода забулдыги, лихачи-кудрявичи, ухари и т. п., которыми и доднесь едва ли оскудела русская жизнь и которые в неистовствах и необычных видах видят подвиг всей жизни.

Очень легко может статься, что г. Гончаров, заставляя Волохова лазить в окна и спать под циновкой, хотел иносказательно наметить следующие типические черты: во-первых, пренебрежение к формализму, предлагающему окольные пути (по мнению почтенного автора, вероятно, излишние) там, где существуют пути прямые, и во-вторых, отсутствие потребности в самых первых удобствах жизни и преднамеренное хвастовство этим качеством. Если это так, то подобное иносказание может подать повод ко многим соображениям, вовсе не столь диким, как это представляется в новом романе. Что жизнь делается проще, что она мало-помалу освобождается от лишних формальностей – это выдуманно не Волоховым, а засвидетельствовано историей развития человеческих обществ. Те наружные действия и поступки, которые налагаются на людей так называемыми светскими приличиями, видоизменяются и упрощаются совершенно пропорционально степени развития общественного. Имея первоначально целью обузывать дикого человека, они, с

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru исчезновением этой дикости, теряют свой смысл, и ежели почему-либо еще удерживаются, то становятся лицемерием. Поэтому они с течением времени все-таки падают сами собою и уступают место приличию внутреннему, то есть такому образу действий, который подчиняется только критерию разума и совести. Если в этом естественном ходе вещей и есть что-нибудь смешное, то это смешное представляет только форма, в которой г. Гончаров заставляет Волохова выразить свой протест против общественного формализма. А между тем автор изображает своего героя человеком умным (только ум у него не настоящий, а развращенный), и вдруг этот умный человек не понимает, что способ вхождения в чужие дома через окно не только не самый короткий и удобный, но, напротив того, самый длинный и неудобный. Во-первых, можно перепугать хозяев дома и даже от самого терпеливого получить неприятнейший реприманд; во-вторых, можно быть принятым за вора и, не успев еще привести в исполнение своего намерения осчастливить приятеля таким оригинальным способом вхождения в его квартиру, быть застигнутым хожальми и сведенным в полицию. Все это влечет за собой такие проволочки времени, которые никак не свидетельствуют ни в пользу рассудительности Волохова, ни в пользу нетерпеливого его желания освободиться от окольных путей. И ежели подобная черта и может быть признана действительно типическою, то, во всяком случае, выражение для нее выбрано очень неудачное. Точно то же должно сказать и о спанье под циновкою. Основное правило всякого человека, сознающего свое достоинство, – это принимать свое положение в том виде, как оно есть, и не стыдиться его. Положения не всегда добровольны и не всегда заслуженны. Были времена, когда людей подымали на дыбу, заставляли ходить на спицах, и даже не за преступление какое-нибудь, а просто с целями юридической любознательности. Ужели такое положение само по себе недостаточно мучительно, чтоб усугублять его еще совсем не идущую к делу стыдливостью? Нет, требование такого рода, если б оно и было возможно, заключало бы в себе или утонченную жестокость, или легкомысленное надругательство. Волохов, как видно из романа г. Гончарова, находился если не совсем в положении человека, ходящего по спицам, то в положении приблизительно подходящем. Он не добровольно лишил себя удобств (мы видим даже, что он несколько сибарит и с этою целью занимает без отдачи деньги), а потому, что эти удобства были ему недоступны. Смешного тут опять-таки нет ничего. Остается, стало быть, преднамеренная выставка этих неудобств напоказ, но здесь, во-первых, едва ли не большую роль играет так называемая красота слога, а во-вторых, стоит только отчетливо представить себе то развинченное существо, которое называется Райским и перед которым, собственно, и производится упомянутая выставка неудобств, чтоб понять, что со стороны Волохова это просто невинное желание посмеяться над великосветским разиною, а совсем не провозглашение каких-либо принципов.

Третий типический признак: Волохов берет взаймы деньги и не отдает их. Черта действительно резкая, хотя в истории и небеспримерная. Деньги – это воистину такой краеугольный камень, относительно которого непочтительное обращение составляет проступок чувствительный и не легко забываемый. Но все же, повторяем, это проступок не до такой степени беспримерный, чтобы чувствовалась необходимость положить его в основание типической черты, и притом не отдельного индивидуума, не Волохова как Марка, а Волохова как представителя известных стремлений современности. Шекспировский фальстаф положительно не различал своего от чужого и пользовался этою свободой смешения в самых широких размерах, но никому в голову не приходило присвоить Шекспиру намерение изобразить в этом простодушном бездельнике новатора и провозвестника каких-то начал общественного возрождения. Оказывается, однако ж, что Волохов именно новатор, что он отнюдь неспроста занимает деньги у знакомых, а в силу принципа. Он занимает и приговаривает. Мы думаем, однако ж, что подобная склонность связывать наиболее подвергающиеся порицанию человеческие действия с такою доктриною, которая еще не выяснилась окончательно или почему-либо в данную минуту антипатична обществу, есть склонность крайне предосудительная. Это склонность наносить удары в уверенности не встретить отпора; это склонность брать крепости без боя. Тем не менее даже и при подобной уверенности дело не всегда может кончиться благополучно для лица, обладающего ею. Очень может случиться, что читатель не удовлетворится одними темными инсинуациями и пожелает разъяснений. В каком положении очутится инсинуатор, если окажется, что он не имеет даже самых первоначальных понятий о том деле, которое думает разорить? Очевидно, ему будет стыдно. Мы, русские, благодаря цензурному гнету, долго над нами тяготевшему, в особенности обладаем какою-то несчастною способностью проглатыванья. Если мы чего-нибудь не знаем, то стоит нам только в надлежащем месте крякнуть, чтоб читатель подумал, что за этим кряканьем таится и невесть какая ученая глубина. Однако пора бы, кажется, вспомнить, что если во время оно и было согласно с видами цензуры, чтобы обстоятельное изложение некоторых доктрин не допускалось

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru даже под условием критического отношения к ним, то теперь этого стеснения не существует. Теперь можно свободно опровергать ту или другую доктрину шаг за шагом, нимало не стесняясь; можно даже бранить, выражать негодование и проч. Предполагается, что возражатели настолько убеждены сами, что могут и в других поселить те же убеждения. Это считается даже нелишним, потому что увеличивает круг людей, сознательно отвергающих учение, признаваемое ложным, а не подмигивающих только по поводу его. Сословие подмигивателей и без того распространено больше, чем нужно, но пользы от него нет; напротив того, очень часто случается, что подмигиватель самый ревностный, случайно и даже очень поверхностно просветившись, вдруг превращается в не менее ревностного пропагандиста. Этот народ тем легковвернее, тем менее устойчив против всякого рода соблазнов, чем сильнее укоренилась в нем привычка жить на веру, чем слабее в нем способность рассуждать. Вот почему казалось бы желательным, что если уж есть поползновение непременно установить связь между такими действиями, как, например, воровство, и такими доктринами, о которых русская публика имеет понятие довольно смутное, то было бы нелишнее, чтобы такого рода установители представляли какие-нибудь доказательства, что им, по крайней мере, небызвестно то, к чему они приравнивают то или другое человеческое действие, подлежащее, по их мнению, порицанию. Вот нам, например, ничего неизвестно о доктрине займа у приятеля денег без отдачи, а г. Гончаров, по-видимому, нечто знает о существовании ее. Очевидно, однако, что это не просто доктрина безвозвратных займов, а какая-нибудь особенная, и что безвозвратный заем денег есть только грубая и пошлая форма, к которой всякий встречный шалопай имеет возможность прибегнуть для прикрытия своего бездельничества. Но в таком случае, что же общего между этой особенной доктриной и таким пошлым ее извращением?

И ежели доподлинно известно, что существует такое учение, которое отвергает различие между твоим и моим, то для чего скрывать это? Для чего оставлять читателя в недоумении? Для чего потворствовать этой особенной доктрине – иначе мы не можем назвать подобный прием, как потворством, – прикрывая ее самым простым и общеизвестным житейским актом займа денег без отдачи? Помилуйте, скажет любой читатель, что же в ней особенного, в этой доктрине! Да у меня не дальше, как вчера, такой-то, Иван Иванович, занял побольше тех трехсот рублей, которые занял у Райского Волохов, и хоть я, и без его предупреждения, знаю, что он никогда мне их не отдаст, но у меня и в помышлении никогда не было и не будет называть, вследствие этого, Ивана Ивановича ни новатором, ни даже опасным человеком!

Вообще, по нашему мнению, если обличать человека нового, человека, одержимого современными тенденциями, то следует обличать его до конца. Сошлемся опять на того же Шпильгагена, на которого уж несколько раз ссылались (мы считаем его талантливейшим из современных беллетристов, дающим роману совершенно новое содержание). В романе его «Один в поле – не воин» мы встречаемся с действительным представителем новых стремлений, но этот представитель не ворует, как делают некоторые герои «Взбаламученного моря», и не занимает денег без отдачи, как это делает Волохов, а устраивает ассоциацию работников, становится во главе социального и политического движения и заинтересовывает в своем деле даже таких лиц, которые всего менее имеют склонность и выгоду интересоваться вопросами подобного рода. Допускаем заранее, что все, что ни предпринимает этот новый человек, есть ложь, но эта ложь грандиозная, ложь, о которой стоит говорить, против которой не стыдно бороться. Люди порядочные и в врагах своих видят людей порядочных же, а не шалопайев, которые из-за четвертака или из-за не полученных ими выгодных кондиций готовы проклясть свою душу и выдавать и клеветать на своих единомышленников. А нам представляют мелких воришек платков и приглашают видеть в них демонов-искусителей и опасных новаторов – не странное ли это недоразумение!

Но, скажут нам, что же делать, если русская жизнь не представляет таких широких мотивов, какие мог без труда найти Шпильгаген в Германии? На это мы ответим, что такое возражение во всех частях неправильно. Что русская жизнь обладает мотивами очень разнообразными и весьма высокого разряда, в этом мы можем убедиться даже по роману г. Ключникова «Марево». Если автор опошил эти мотивы, украсив их разными Горобцами, – это не доказывает их несуществования, а доказывает только склонность романиста увлекаться легким способом отделяться от своих героев. На подобные же мотивы мы встречаем намеки в недавней повести г. Гл. Успенского «Разорение». Вообще, всякий, кому небызвестна история нашей общественности за последние восемь-девять лет, едва ли может сказать, чтоб она не содержала в себе достаточного материала для драмы. Самое обилие всякого рода неудач, ошибок и

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru разочарований уже достаточно указывает на это. Да и романисты наши, очевидно, понимают не только то, что нужно чем-нибудь оживить старый материал, но что и есть чем оживить его, да не знают, как сделать это.

Четвертый типический признак – протест против бессрочной любви, или, говоря словами не столь мудреными: Волохов не хочет жениться на Вере, предпочитая пользоваться одними удовольствиями любви без тех стеснений и обязательств, которые налагаются на это пользование общественными приличиями. И это признак типический только потому, что г. Гончарову угодно было дать ему такой характер, приурочив его тоже к какой-то доктрине и сделав доктринодержателем Волохова, этого невинного козла, на которого без всякого основания возложены прегрешения современности. А дело, между тем, объясняется очень просто. Существует так называемый «женский вопрос», то есть вопрос о положении женщины в обществе, о правах ее на участие в делах его, об отношениях женщины к мужчине и, пожалуй, коли хотите, о том, что г. Гончаров называет срочной и бессрочной любовью. Вопрос чрезвычайно обширный, требующий со стороны занимающегося им тщательной подготовки и встречающий в своем разъяснении множество очень серьезных препятствий, благодаря щекотливости предмета, возможности поставить его на самую неблагоприятную и исключительную почву и другим более или менее злокозненным инсинуациям. И вот Марк Волохов является воплощением этого вопроса с такою же точно готовностью, с какою, как показано выше, он взял на себя труд быть представителем доктрины, отрицающей собственность. Чем же он заявляет свое понимание женского вопроса? – А тем, и тем одним, что он во что бы то ни стало хочет соблазнить девушку, возбуждая в нем вождление! Как легко, подумаешь, представительствовать в этом злосчастном обществе, в котором никто ничего не может делать, кроме как разевать рот! Хочешь быть отрицателем собственности – займи денег и не отдай их; хочешь быть поборником прав женщин – соблазни девицу, сказав ей предварительно, что этот акт называется актом срочной любви.

Для всякого, однако ж, понятно, что между «женским вопросом» и поступком Волохова, соблазняющего Веру, связи нет никакой и что последний может быть совершен независимо от всякой прикосновенности даже к теории срочной и бессрочной любви. К сожалению, авторы-беллетристы не всегда различают, что практика отнюдь не всегда непосредственно следует за теорией и что последняя, в большей части случаев, значительно опережает первую. Вот почему исследования по какому бы то ни было социальному вопросу, производимые в области теории, никогда не могут быть связаны с идеею о «насилии», хотя бы они в известной степени и не сходились с действительностью. Иначе пришлось бы понятие о «наказании» применять ко всякому исканию истины еще не выяснившейся, но возможной. Пришлось бы оставаться неподвижным в ожидании, что истина объявится сама, а так как она сама никогда не объявляется, то люди, поставленные в невозможность искать ее, должны были бы довольствоваться только теми простыми ее зачатками, которые действительно сами бросаются в глаза. Но в то же время искание истины, даже самой необычной, самой противоречащей установившимся понятиям, вовсе не предполагает фаталистически чьего-нибудь несчастья или порчи чьей-нибудь жизни. Тот, кто признает преимущества срочной любви перед бессрочною, вовсе не обязан быть развратным и даже не обязан забыть, что, при известном образом сложившихся обстоятельствах, теория срочной любви, как бы она ни казалась верною, не может иметь непосредственного и немедленного применения иначе, как на собственный риск участвующих в деле сторон. Даже и тот злосчастный и очевидно заблуждающийся человек, который отрицает в принципе собственность, не только не обязан доказывать правоту своего убеждения воровством или безвозвратными займами денег, но даже может на практике пользоваться правом собственности, защищать эту собственность и воровства не одобрять. Вообще, люди, сильно занятые интеллектуальными интересами, реже решаются на такие поступки, которые могут только дразнить общественное мнение, не приводя к другим, более существенным результатам. Но еще менее допускаются ими подобные поступки в тех случаях, когда они ставят в фальшивое положение постороннее лицо, которое, быть может, сгоряча и примет это положение, но впоследствии может и не совладать с ним. Такого рода практика скорее свойственна тем негодным людям, которые лицемерно выполняют все предписываемые обществом формальности и в то же время подкапываются под его основания гораздо зловреднее, нежели тем, которые явно ищут новых форм жизни в видах согласования интересов всех и каждого.

Таким образом, связывая взбалмошное вождление Волохова с вопросом о взаимном отношении полов и о положении женщины в обществе и делая из этой связи типическую черту, рисуя представителя современных стремлений, г. Гончаров напрасно думает, что он что-либо доказывает и в чем-либо убеждает. Это только

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru его личное мнение, или, лучше сказать, плод его недоразумения, которое при нем, конечно, и останется. Тип женолюбца существовал издревле, и новый роман не прибавляет к нему ни одной новой черты. В произведении г. Гончарова стремление к женщине изображается в том же самом грубом и невозделанном виде, в каком оно встречается и может встретиться в любой из многочисленных российских весей. Попытки Райского насчет Марфиньки и Веры не меньше возмутительны, нежели попытки Волохова, – почему же автор не возмущается ими и смотрит на них, как на милую шалость? Не потому ли, что Райский богат, а Волохов беден, что Райский прилично одет, а Волохов едва прикрывает наготу свою? Не потому ли, наконец, что к Волохову надо было во что бы то ни стало пришить какую-нибудь этикетку, которая вышвырнула бы его еще далее за пределы признанного *société*?[106] Хорошо; но в таком случае все-таки надо было бы, по малой мере, предварительно прочитать эту этикетку и объяснить ее себе.

Таковы типические признаки, таковы действия человека, которого автор «Обрыва» выдает нам за представителя каких-то новых идей, представителя, в присутствии которого иметь на столе четвертак небезопасно. Понятно, что эти признаки заинтересовывают читателя, если не со стороны художественной правды, которой в них не обретаются, то, во всяком случае, со стороны оригинальности и смелости. Читатель желает узнать то великое и мудрое мирозерцание, во имя которого мог создаться столь непривлекательный антитезис, то мирозерцание, которое успокоило бы читателя, примирило бы его с жизнью и заставило забыть всех этих Волоховых, нагло берущих взаймы деньги без отдачи и вдобавок посещающих своих знакомых необычным путем – через окно. Изложению этого мирозерцания, как сказано выше, автор посвятил шестую главу пятой части своего романа; мы и займемся им теперь.

Вот его сущность, выраженная словами самого автора:

«После всех пришел Марк, и внес новый взгляд во все то, что она (то есть Вера) читала, слышала, что знала, – взгляд полного дерзкого отрицания всего, от начала до конца, небесных и земных авторитетов, старой жизни, старой науки, старых добродетелей и пороков... Она с изумлением увидела этот новый, вдруг вырвавшийся откуда-то поток смелых, иногда увлекательных идей, но не бросилась в него слепо и тщеславно, из мелкой боязни показаться отсталою, а пылливо и осторожно стала всматриваться и вслушиваться в горячую проповедь нового апостола.

Ей прежде всего бросились в глаза зыбкость, односторонность, пробелы, местами будто умысленная ложь пропаганды, на которую тратились живые силы, бойкий ум, и ненасытная жажда самолюбия и самонадеянности, в ущерб простым и очевидным, готовым уже правдам жизни, только потому, казалось ей, что они были готовые.

Иногда в этом безусловном рвении к какой-то новой правде виделось ей только неумение справиться с старой правдой, бросающейся к новой, которая давалась не опытом и борьбой всех внутренних сил, а гораздо дешевле, без борьбы и сразу, на основании только слепого презрения ко всему старому, не различавшего старого зла от старого добра, и принималась на веру от не проверенных ничем новых авторитетов, неведь откуда взявшихся новых людей – без имени, без прошедшего, без истории, без прав.

Она добиралась в проповеди и увлечениях Марка чего-нибудь верного и живого, на что можно опереться, что можно полюбить, что было так прочно, необманчиво в старой жизни, которой, во имя этого прочного, живого и верного, она прощала ее смешные, вредные уродливости, ее весь отживший сор. Она страдала за эти уродливости, и от этих уродливостей, мешавших жить, чувствовала нередко цепи, и готова бы была, ради правды, подать руку пылкому товарищу, другу, пожалуй, мужу, наконец... чем бы он ни был для нее – и идти на борьбу против старых врагов: стирать ложь, мести сор, освещать темные углы, смело, не слушая старых разбитых голосов... Но для этого нужно глубоко и невозвратно убедиться, что истина впереди.

Она шла не самонадеянно, а, напротив, с сомнениями, не ошибается ли она, не прав ли проповедник, нет ли, в самом деле, там, куда так пылко стремится он, чего-нибудь такого, чистого, светлого, разумного, что могло бы не только избавить людей от всяких старых оков, но открыть Америку, новый, свежий воздух, поднять человека выше, нежели он был, дать ему больше, нежели он имел? Она искала, ждала, прислушивалась к обещанным им благам, читала приносимые им книги, бросалась к старым авторитетам, сводила их про себя на очную ставку, но не находила ни новой жизни, ни счастья, ни правды, ничего того, что обещал, куда

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
звал смелый проповедник...

Дело ограничивалось беспощадным отрицанием всего, во что верит, что любит, на что надеется живущее большинство. Марк клеймит это враждой и презрением; но (?) вера сама многого не признает в старом свете. Она и без того знает и видит болезни: ей нужно знать, где Америка? Но ее Колумб, вместо живых и страстных идеалов правды, добра и любви, человеческого развития и совершенствования, показывает ей только ряд могил, готовых поглотить все, чем жило общество до сих пор. Это были фараоновы тощие коровы, пожравшие коров толстых, и не делавшиеся сами от того толще. Он, во имя истины, развенчал человека в один животный организм, отнявши у него другую, неживотную сторону. В чувствах видел только ряд кратковременных встреч и грубых наслаждений, обнажая их от всяких иллюзий, составляющих роскошь человека, в которой отказано животному. Самый процесс жизни он выдавал и за конечную ее цель. Разлагая материю на составные части, он думал, что разложил вместе с тем и все, что выражает материя. Угадывая законы явления, он думал, что уничтожал и неведомую силу, давшую эти законы, только тем, что отвергал ее, за неимением приемов и свойств ума, чтоб уразуметь ее. Закрывал доступ в вечность и к бессмертию всем религиозным и философским упованиям, разрушая, младенческими химическими или физическими опытами, и вечность, и бессмертие, думая своей детской тросточкой, как рычагом, шевелить дальние миры, и заставляя всю вселенную отвечать отрицательно на религиозные надежды и стремления «отживших» людей.

Между тем, отрицая в человеке человека – с душой, с правами на бессмертие, он проповедовал какую-то правду (дерзкий!), какую-то честность, какие-то стремления к лучшему порядку, к благородным целям, не замечая, что все это делалось ненужным при том, указываемом им, случайном порядке бытия, где люди, по его словам, толпятся, как мошки в жаркую погоду, в огромном столбе, сталкиваются, мнутся, плодятся, питаются, греются и исчезают в бестолковом процессе жизни, чтоб завтра дать место другому такому же столбу. «Да, если это так, – думала вера, – тогда не стоит работать над собой, чтобы к концу жизни стать лучше, правдивее, чище, добрее. Зачем? для обихода на несколько десятков лет? Для этого надо, как муравью, запастись зернами на зиму, обиходным уменьем жить, такую честностью, которой синоним ловкость, такими зернами, чтоб хватало на жизнь, иногда очень короткую, чтоб было тепло, удобно... Какие же идеалы для муравьев? Нужны муравьиные добродетели... Но так ли это? Где доказательства?»

А он требовал не только честности, правды, добра, но и веры в свое учение, как требует ее другое учение, которое за нее обещает – бессмертие в будущем, и в залог этого обещания дает и в настоящем просимое всякому, кто просит, кто ищет.

Новое учение не давало ничего, кроме того, что было до него, ту же жизнь, только с унижениями, разочарованиями, и впереди обещало – смерть и тлен. Взявши девизы своих добродетелей из книги старого учения, оно обольстилось буквою их, не вникнув в дух и глубину, и требовало исполнения этой «буквы» с такою злобой и нетерпимостью, против которой остерегалось старое учение. Оставив себе одну животную жизнь, «новая сила» не создала, вместо отринутого старого, никакого другого, лучшего идеала жизни.

Вглядевшись и вслушавшись во все, что проповедь юного апостола выдавала за новые правды, новое благо, новые откровения, она с удивлением увидела, что все то, что было в его проповеди и доброго, и верного – не ново, что оно взято из того же источника, откуда черпали и не новые люди, что семена всех этих новых идей, новой «цивилизации», которую он проповедовал так хвастливо и таинственно, заключены в старом учении. От этого она только сильнее уверовала в последнее и убедилась, что – как далеко человек ни иди вперед, он не уйдет от него, если только не бросится с прямой дороги в сторону, или не пойдет назад, что самые противники его черпают из него же, что, наконец, учение это – есть единственный, непогрешительный совершеннейший идеал жизни, вне которого остаются только ошибки.

Вере подозрительна стала личность самого проповедника»...

Что прежде всего поражает в этой бесконечно длинной обвинительной речи – это то, что содержание ее ни под каким видом нельзя собрать в один фокус, равно как невозможно расказать его своими словами. Это-то собственно и есть то пресловутое искусство проглатывания, о котором говорено было выше. Наговорено очень много, наговорено, по-видимому, даже очень красиво, и вместе с тем не

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru сказано ничего, что могла бы задержать память без исключительных усилий; не употреблено ни одного слова в его собственном значении, не выражено ничего такого, что относилось бы к делу прямо, а не бродило кругом да около. «Какой-то», «как будто» – вот любимейшие выражения автора, вот те орудия, при помощи которых он намеревается кого-то и в чем-то убедить.

Постараемся, однако ж, опознаться во всех этих неопределенностях, постараемся найти в них указание на ту истину, которую нам полезно руководиться в жизни, и на ту ложь, которой следует избегать. Как люди скромные и отнюдь не отворачивающиеся от того, что может иметь для нас последствием душевный мир и довольство собою (а пожалуй, даже и просто «тихое и безмятежное житие»), мы охотно воспользуемся всеми указаниями, которые будут нам даны в этом смысле. Если мы излишне строптивы, потщимся переломить и ускромнить себя; если наши страдания и жизненные неудачи происходят от того, что наша мысль дерзко переходит за те пределы, которые предназначены ей самой ее природою, – постараемся ввести ее в эти пределы. И будем счастливы.

До сих пор г. Гончаров объяснял созданный им тип нового человека делами его. Дела эти, как мы видели, не особенно мудреного свойства и даже не особенно типичны. Это дела, свойственные любому человеку старого закала, бессознательно отдающемуся потоку жизни, дела, с которыми мы на улице встречаемся чуть не на каждом шагу и ни в каком случае не обличающие новатора. Но в пятой части почтенный автор уже не ограничивается теорией безвозвратных займов и срочной любви, ибо понимает, что этого далеко не достаточно, чтобы испугать читателя. Поэтому он считает необходимым раскрыть перед нами ту закулисную сторону жизни Волохова, которую последний обнаруживает неохотно и не перед всеми; он вводит нас в самое святилище мысли своего героя.

Но прежде нежели мы приступим к подробному разбору «новых» мыслей, которыми снабдил г. Гончаров свое детище, мы встречаемся с вопросом: имел ли Волохов право так мыслить, как он мыслил или, по крайней мере, как заставил его мыслить автор «Обрыва», то есть мыслить, соображаясь единственно с собственным разумением и с тою степенью умственного развития, которой он достиг? Откровенно говоря, мы думаем, что право это принадлежало Волохову непререкаемо и что г. Гончаров, в художественном смысле, сделал большую ошибку, не признав за ним этого права. Разоблачая внутреннюю жизнь своего героя, он, по нашему мнению, поступил слишком уже просто, а именно: ограничился одним сухим перечнем его «новых» мыслей и затем вменил их ему в вину, не воплотив их в жизнь, то есть не дав практического исхода ни его дерзости, ни его отрицанию, ни его презрению «ко всему тому, что не носит на себе печати реальности». Искусство имеет не более прав на человека, нежели общество с его арсеналом законов, обычаев и условных приличий. Искусству не возбраняется, конечно, проникать во внутреннюю храмину человека, но экскурсии такого рода могут быть терпимы только в таком случае, когда художник намеренно знает, что он найдет в этой храмине то именно, что ему нужно, и когда плодом таких экскурсий будет доказательство, то есть соединение в одном живом образе таких типических черт, из которых ни одна другую не исключает, ни одна другой не противоречит. Если художник, вместо живого образа, находит только сухой перечень мыслей человека, то это значит, что он забрался в такую сферу, которая ему не под силу, ибо эта сфера, не изобилуя внешними признаками, поддается только самому тонкому наблюдению и во всяком случае требует, чтобы наблюдатель стоял на одном уровне с наблюдаемым. Что г. Гончаров находился именно в таком затруднительном положении относительно изображаемого им лица, это доказывается тем, что он не нашел в его внутреннем мире ничего такого, чего нельзя было бы отыскать в любой хрестоматии. «Перечни» мыслей обладают именно тем свойством, что их можно составлять, по произволу, короткие и длинные, и по произволу же приурочивать к любому субъекту, не прибавляя через то ни одной черты к его характеристике. Может быть, этот субъект и действительно мыслит так, как уверяет художник, а может быть, и не так, – где доказательства того или другого предположения? Мысль есть функция крайне неуловимая и колеблющаяся; чтобы иметь возможность с уверенностью сказать, что вот такая-то мысль составляет существо и жизненное достоинство такого-то субъекта (а только под таким условием она и может подлежать какому бы то ни было суду), надобно, чтобы она выразилась или в целом ряде повторительных действий, или хотя и в одиночном действии, но настолько характерном и решительном, что оно дает поворот целой жизни, или же, наконец, в полной и строго согласенной теории. Покуда художник не успел добыть ни первого, ни второго, ни третьего, дело его будет неверно, и как бы ни был пространен и разнообразен перечень мыслей, которыми он обогатит своего героя, какие бы он ни делал усилия, чтобы уверить читателя, что герой его мыслит

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru именно так, как об этом свидетельствуется в книжке, – читатель не поверит ему. Он скажет: я верю только тому, что вижу и в чем убеждаюсь; я не считаю себя вправе ни одобрять, ни порицать таких мыслей, которые ни в чем себя не проявили, которые могли зародиться случайно и умереть в следующую минуту после их зарождения.

Общество, которое в этом смысле можно назвать художником в высшем значении этого слова, именно так и поступает. Оно простирает свои притязания на внутренний мир человека только в той мере, в какой этот мир заявляет себя во внешности, и награждает или карает лишь то, что действительно обнаружило себя добром или злом. Конечно, нельзя отрицать его права останавливаться и на некоторых частных признаках этого внутреннего мира, но, подмечая эти частности, оно получает основание только для одного и притом самого недостаточного из всех актов, в которых выражается способность анализировать и обсуждать человеческие действия, а именно: для предчувствия, и много-много для подозрения. Как бы ни казалось вероятным предчувствие или подозрение, все-таки оно только вероятно, а не достоверно. Отсутствие этой достоверности делает очертания неясными, вводит в них враждебный элемент сомнения. Материал, добытый этим неверным путем, может дать повод к дальнейшему исследованию, возбудить желание увеличить ту сумму признаков, которая отчасти уже собрана, но ни в каком случае не будет достаточным и прочным материалом для суда. Поэтому общество, обыкновенно столь строгое к человеческим действиям, гораздо более осторожно и осмотрительно относительно человеческой мысли. Оно знает, что для действий нет ни возврата, ни поправки и что мысль, напротив того, воспитывается, развивается и, следовательно, сама себя каждоминутно поправляет.

Повторяем: приемы истинно художественной силы и приемы общественного суда в этом случае совершенно одинаковы. Как та, так и другой тогда только действительно овладевают своим предметом, когда из области гадательного и произвольного вступают в область достоверности. Подтасовать признаки, нанизать их целую нить легко может любой адвокат, но ложь этой подтасовки немедленно обнаружится в тех перерывах, которые всегда влечет за собой преднамеренная подтасовка и которых не наполнит искусство самое кропотливое. Мы знаем, что в азбуках найдется довольно всяких сентенций, с помощью которых можно и возвеличить и убить человека, но для этого надобно, чтобы эти сентенции, по малой мере, были предъявлены не в виде истрепанных листочков, случайно заблудившихся в письменном столе того человека, которого внутренний мир мы положили себе задачей раскрыть.

Посмотрим же теперь, какие это опасные мысли, какие те новые взгляды, которые Волохов нигде и ни в чем не высказывает, но которые автор романа находит у него в голове. Не забудем при этом, что г. Гончаров называет Волохова «новым апостолом» и что, следовательно, он придает его мыслям и взглядам значение далеко не шуточное.

Все сказанное по этому случаю г. Гончаровым может быть приурочено к следующим пунктам: 1) Волохов предъявляет «взгляд полного дерзкого отрицания всего, от начала до конца: небесных и земных авторитетов, старой жизни, старой науки, старых добродетелей и пороков»; 2) он неоснователен, зыбок, односторонен, не умеет «справиться со старой правдой, бросающейся к новой, добытой им без борьбы»; 3) он верит каким-то новым авторитетам «без имени, без прошедшего, без прав, без истории»; 4) он «развенчал человека в один животный организм и самый процесс жизни выдавал за конечную цель ее»; 5) он «разложил материю на составные части и думал, что разложил вместе с тем и все, что выражает материя»; мало того: «угадывая законы явления, он думал, что уничтожил и неведомую силу, давшую эти законы»; 6) он закрыл доступ в вечность религиозным и философским упованиям и «младенческими своими химическими и физическими опытами разрушил бессмертие»; 7) он указывал на какой-то случайный порядок бытия, где люди толпятся, как мошки, мнутятся, сталкиваются, плодятся, питаются, греются и исчезают в бестолковом процессе жизни; 8) он требовал честности, правды и добра в жизни и в награду за это ничего не обещал и, наконец, 9) он совершал подлог, выдавая за новое учение то, что, в сущности, содержалось и в старом учении, из которого он взял даже все девизы проповедуемых им добродетелей.

Как ни увесисты обвинения, изложенные в этих девяти пунктах, но они кажутся таковыми только на первый взгляд; в сущности, это не более как детские разглагольствования, в основании которых положено бессодержательное и давно уже всем приевшееся слово «отрицание».

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru Что такое «отрицание»? Очевидно, это уличное выражение, выдуманное только в пику науке и людям, занимающимся изучением явлений природы и жизни. Попробуйте выйти на улицу и сказать первому проходящему, что воздух может быть разложен на составные части, – он наверное ответит вам: э, какие вы пустяки городите! Ясно, что в этом случае прохожий отрицает; он отрицает науку, отрицает добытые ею результаты, но в то же время он думает, что защищает, а именно защищает целостность и неприкосновенность воздуха, которым он дышит. А так как тут все-таки кто-нибудь нечто отрицает, то он эту роль отрицателя возлагает на ваши плеча, а на свои собственные плеча кладет сладкое бремя «прочного, необманчивого, живого и верного». – Эге! скажет он, если можно разложить воздух, стало быть, можно разложить и материю вообще, стало быть, нет тайны, нет прочного, нет живого и верного! так ты вот кто! так ты, значит, отрицаешь все!

Вот мудрые глаголы, которые обыкновенно изрекает говорящая улица, и по поводу их мы можем только повторить совет, данный в начале нашей статьи, – как можно менее говорить на улице и предлагать только самые необходимые вопросы, например: как пройти в такой-то переулок или на такую-то площадь? Но людям, изъявляющим притязание на мышление и излагающим свои философствования на бумаге, необходимо разъяснить, в чем собственно заключается та работа мысли, которая в просторечии именуется «отрицанием». Это мы и сделаем.

Когда человек подходит к известному явлению или предмету, то первое и самое естественное его желание заключается в том, чтобы познакомиться не только с наружным его видом, но узнать и внутренние его составные части и качества. Это желание является в нем совсем не по капризу, но или вследствие чувства самосохранения – так как многие предметы и явления могут быть ядовиты и вредны, – или вследствие потребности извлечь из предмета пользу и тем увеличить сумму находящихся в его распоряжении удобств, или, наконец, вследствие потребности более утонченной, побуждающей человека удовлетворять своей любознательности. Возьмем хоть тот же пример о воздухе. Человек замечает, что в одном месте ему дышится легко, в другом – он задыхается и страдает; в одном месте свеча у него горит светло, в другом – едва-едва мерцает или совсем гаснет. Это явление уже по тому одному не может не интересовать его, что он от него терпит. Заручившись опытом, вынесенным им прямо из жизни, ценою страдания собственных легких, он невольно приходит к заключению, что воздух не просто воздух, а есть в нем что-то такое, что делает его иным в одном месте и иным – в другом. Вот этот-то первый акт возбужденной человеческой мысли и составляет то, что на улице слывет под именем отрицания. Очевидно, однако ж, что это совсем не отрицание, а именно только первый шаг к познанию истины, и что отрицанием приличнее было бы, напротив того, назвать такой акт человеческой мысли, который упорно отказывается от познания истины, который согласен, чтоб человечество гибло жертвою своего невежества, но отнюдь не выходило из своего *farniente*, [107] отнюдь не смело ударить пальцем о палец. Затем, когда этот первый шаг сделан, начинаются уже действительные исследования составных частей воздуха и тех влияний, которые оказывает преобладание той или другой из них. И чем глубже вдается человек в эти исследования, тем, разумеется, дальше удаляется он от так называемого «отрицания», так что под конец получается уже результат настолько положительный, что даже на улице начинают говорить о нем с похвалою, как это и случилось, например, с некоторыми применениями силы и свойств пара.

Но при этом дело мыслителя нередко усложняется еще побочным обстоятельством, не имеющим прямого отношения к его сущности. Может случиться, что найдутся такие люди, которые будут утверждать, что познание истины есть дело вредное, потому, дескать, что «ум за разом зайдет», или «поспешешь – людей насмешешь», или «много будешь знать – скоро состаришься»; одним словом, что познание одного явления ведет за собою необходимость познания другого, затем третьего и т. д., а так как, дескать, этих явлений бесконечное множество, то лучше и не трогать их, а жить как живется. Тогда этим людям, отрицающим необходимость элемента сознательности в человеческом существовании, приходится доказывать, что всякая вновь добытая истина непременно должна принести не вред, а пользу, и подтвердить это примерами вроде следующих: Иван, по неведению, наелся незрелых плодов и от того умер; в то же время Петр, знавший, что смерть может произойти от употребления плодов только в таком случае, когда они незрелы или ими объедаются неумеренно, съел точно такое же количество плодов, как и Иван, но зрелых, и остался жив и здоров. Нет никакого сомнения, что такого рода доказательство совершенно необходимо, но нельзя не сознаться, что именно этот-то побочный инцидент мысленного процесса и навлекает на себя преимущественное негодование улицы; ему-то, собственно, и присваивается название «отрицания».

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Уличная толпа обижается в этом случае сугубо, потому что здесь предлагается ей не та или другая истина, которую она, взятую без связи с другими истинами, принять по нужде может, а опровергается целое мирозерцание, разрушаются те отношения к жизни, которые заповеданы ей веками. Ясно, что она и не может отнестись к такому действию иначе, как заклеив его словом «отрицание», но для человека непредубежденного, для человека, поставившего себе задачей не играть словом, а обращаться с ним уважительно, будет-таки совершенно бесспорно, что тут нет никакого отрицания, а есть только доказательство.

Таким образом, ясно, что то общее употребление, которое делается из слова «отрицание», есть злоупотребление, которое по обстоятельствам и намерениям лиц, действующих этим оружием, может быть и добросовестным, и недобросовестным. Оно добросовестно, когда эти лица болтают, как говорится, зря, сами не понимая, о чем говорят, и недобросовестно – когда это делается сознательно и преднамеренно. Мы будем говорить только о злоупотреблении добросовестном.

Исходя из того положения, что всякое стремление понять и объяснить явление равносильно отрицанию этого самого явления, добросовестное непонимание законов мышления приходит к результатам весьма сильным. Произвольная и кабалистическая точка зрения не может дать иных выводов, кроме произвольных же и кабалистических. Отсюда, во-первых, «отрицание» начинает именоваться дерзким, во-вторых, с ним связывается оскорбление авторитетов. Сказать о человеке или о каком-нибудь человеческом действии, что оно дерзкое – значит сказать все, то есть все, что может служить ему во вред. Даже когда какой-нибудь пиита говорит: дерзаю петь, дерзаю хвалить, то и тут он рекомендует себя как человека строптивного и беспокойного. «Дерзаю петь – это в переводе на обыкновенный язык значит: я, ничтожный и непотребный пиита, я, червь, а не человек, до такой степени возмнил о себе, что из низменности, в которой нахожусь, дерзнул обратить взоры на твое, о солнце, сияние; но ты простишь мою дерзость ради того, что цель ее – похвала. Недаром же рассказывают анекдот, что когда один подчиненный, в разговоре с начальником, то и дело говорил: осмелюсь доложить, осмелюсь заявить, осмелюсь представить на благоусмотрение, – то начальник наконец серьезно обеспокоился этим и приказал смельчаку быть на будущее время скромнее. Из этого видно, какое значение придается слову «дерзкий» на языке общеупотребительном. Но что же общего между этим значением и естественным стремлением человеческой мысли к приобретению знания? Человек хочет учиться, хочет знать, как ему поступить, чтобы не отравиться, не задохнуться или иным образом не пропасть, он не грубит, не забиячит – ведь за это в школах похвальные листы выдают, а вы называете его дерзким! Но вы прибавляете: он не признает авторитетов, но позвольте, скажите, каких именно? Если он не признает авторитета улицы, то очень хорошо делает; если не признает и других, по-видимому, с большим основанием утвердившихся авторитетов, но ложность или сомнительность которых доказана, то также хорошо делает. А так как вы никаких авторитетов все-таки не называете (проглатываете), то, очевидно, весь спор сводится только на то, учтиво или неучтиво отзывается известный субъект о том или другом авторитете. Но ежели вы добиваетесь только учтивости в отзывах, то мы охотно уступим вам это, но в возмездие потребуем и от вас такой же учтивости к людям мыслящим и ищущим, которых вы голословно называете дерзкими попирающими авторитетов. Но вы говорите: у Волохова есть новые авторитеты, ничем не проверенные, без имени, без прошедшего, без истории, без прав. Если это авторитеты действительно «ничем не проверенные» – это очень важно. Это значит, что это авторитеты уличные, авторитеты Татьяны Марковны, Тычкова, Ватутина и прочей компании. Слово «проверка» представляет тут такой же плод недоразумения, как и множество прочих слов, употребляемых по неведению. Автор, очевидно, под проверкой авторитета разумеет давность его и заключает, что ежели известное правило существует давно, то это значит, что оно достаточно проверено. Но это неверно. Мы на каждом шагу встречаем целые поколения, живущие под гнетом одного и того же предания, и убеждаемся, что предание это предьявляет такую живучесть именно потому, что оно никогда не подвергалось процессу проверки. И живет оно до тех пор, покуда само собой не истощится его содержание и не перестанет давать людям то, что они до поры до времени от него получали. Так, например, существовало предание, что нужно только кой-как вспахать и взборонить землю и бросить в нее зерно, чтобы затем это зерно принесло все то количество хлеба, какое необходимо на потребу людям. И держалось это предание до тех пор, пока, с одной стороны, не увеличилось народонаселение, а с другой стороны, земля не истощилась до того, что перестала давать удовлетворительные урожаи. Тогда потребовалась проверка предания или авторитета, и оказалось, что хотя это предание жило весьма достаточно, но жило потому только, что не было надобности в его проверке. Следовательно, качество достоверности не составляет

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru неотъемлемой принадлежности старых или новых авторитетов, но есть качество особенное, свидетельствующее, что с прилагательными именами надлежит обращаться с большей разборчивостью, нежели та, с которою обращался повар Ноздрев с ингредиентами стола своего барина. Когда Коперник учтивым образом опроверг бывшие до него солнечные системы и взамен их дал новую, то выражение «проверенное», конечно, более приличествовало новой, чем какой-либо из старых систем; это факт, который отрицать нельзя под опасением попасть в число самых отчаянных отрицателей. Затем, если мы обратимся к последующим выражениям той же тирады: «без имени», «без истории», «без прошедшего», «без прав», то легко поймем, что нет даже большой нужды распространяться об них. Можем прибавить здесь только одно: нет такой новой теории, которая не имела бы своих корней в истории; теории берутся не с печки, а развиваются путем историческим; это до такой степени верно, что даже для такой диковинной теории, как теория безвозвратных денежных займов, можно отыскать некоторые исторические следы. Поэтому и авторитетов «без истории» не существует.

Новая правда! старая правда! последняя «бросается к первой» – первая глумится над последнею! Какая поразительная картина! какое поразительное зрелище великодушия старой правды и неблагодарной закостенелости новой правды! Картина эта, однако ж, существует лишь в воображении талантливом романиста.

Начать с того, что выражение «новая и старая правда» может быть правильно употреблено только по отношению к частным отраслям знания. Но тут, однако, нельзя сказать, что старая правда бросается к новой, а новая глумится над старой, а просто следует сказать, что новая правда, воспользовавшись тем материалом, которым обладала старая правда, и дополнив его новыми наблюдениями, заменила и вытеснила старую правду навсегда. Это будет не столь поэтично, но точно. В этом смысле новая правда астрономии заменила и вытеснила старую правду астрологии. Что касается до общей правды жизни, то она не старая и не новая, а всегда одна и та же, и слагается из тех итогов, которые дает новая правда частных отраслей знания, и той суммы невежества, которую противопоставляет этой новой правде слишком компактная уличная толпа. Следовательно, тут вся правда заключается в том, что одни стоят на стороне уличной толпы, а другие – на стороне испытующей мысли. Но если и признать первых сторонниками старой правды, а вторых – поборниками правды новой, то и тогда окажется, что взаимные их отношения друг к другу совсем не таковы, как представляет г. Гончаров в написанной им картине. Старая правда не «бросается» к новой, а, напротив того, преследует ее всеми силами, отстаивая свое существование; новая правда не глумится над старой, но употребляет неслыханные усилия, чтобы примирить ее с собою настолько, чтобы, по крайней мере, ей не было сочтено в преступление ее существование. Ужели г. Гончарову неизвестно это? ужели история недостаточно представляет доказательств, что не только так называемые «безумные новаторы», но даже простые труженики-изобретатели всегда проводили жизнь в борьбе с лишениями и нуждой и только от истории получали возмездие за дела свои? Если все это неизвестно из истории, то г. Гончарову стоило только обратиться к собственному своему роману, чтоб убедиться в этом. Этот самый Марк Волохов, которого он представляет новатором, даже не чуждым понятий о срочной любви, – в каком положении он находится? Ужели в лучшем, нежели бабушка Наталья <Татьяна> Марковна, которая теми же преимуществами срочной любви воспользовалась не в качестве новаторки, а в силу любезного уличного правила: хочу люблю, хочу – нет? Или в лучшем, нежели Райский, который на все роды любви готов, лишь бы они не связывали его, а представляли приятное препровождение времени? Нет, видно, и для Волоховых, несмотря на их детскую несостоятельность, новаторство не дешево достается; видно, и тут «старая» нелепость не очень-то охотно бросается в объятия «новой» ребяческой необдуманности.

Но чем дальше в лес, тем больше дров. Не довольствуясь постановкою обвинения в «дерзком отрицании», г. Гончаров усиливается определить подробнее «признаки?» этого опасного явления. Из этих усилий выходит следующее: если одного общего места мало, то примемся за тавтологию этого общего места; быть может, повторение сделает нашу речь более убедительною.

Однако ж общее место всегда остается общим местом, как бы ни были ядовиты его намерения. Дальнейшее развитие мысли г. Гончарова заключается в том, что Волохов «разложил материю на составные части и думал, что разложил вместе с тем и все, что выражает материя», что он «физическими и химическими опытами разрушил бессмертие», что он указывал на какой-то «случайный порядок бытия, где люди толпятся как мошки и исчезают в бестолковом процессе жизни»...

Читаешь и не веришь глазам. Химические опыты и «бессмертие души», разложение материи и «разложение того, что она выражает», толпящиеся мошки и «бестолковый процесс жизни»! Как все это укладывается рядом? как сводятся на очную ставку предметы столь разнородные, не имеющие между собой никаких точек соприкосновения?

Увы, читатель! все это слова, слова и слова! Слова, случайно взятые из лексикона и поставленные рядом по недоразумению. С незапамятных времен производятся физические и химические опыты, с незапамятных времен все усилия испытателей природы направлены к тому, чтобы разложить материю, – и вот оказывается, что все эти усилия имеют секретную целью подкопаться под бессмертие души и уничтожить самую душу! Что делать, скажите, как отворотить эту беду? Запретить ли химические и физические опыты, закрыть ли кафедры естественных наук, общества, съезды естествоиспытателей, или только заставить физиков и химиков, для успокоения подозрительности наших беллетристов, оговариваться, при производстве опытов, что это воистину химические и физические опыты, а не памфлеты, пущенные против бессмертия души? Но ведь тогда невозможны будут никакие лекции; если каждое слово надо будет приправлять оговорками, то, очевидно, даже самая речь человеческая до того загромоздится вставками, что сделается совершенно непонятною, и по всему лицу земли прекратятся словеса.

Но этого не будет, потому что и физик и химик, производя свои опыты, всего меньше думают о бессмертии души, а думают о тех непосредственных результатах, которые должны выйти из этих опытов. Как не сообразил г. Гончаров, что вопрос о бессмертии души есть вопрос, принадлежащий к области теологии, остающейся неприкосновенною и совершенно независимою от исследований, делаемых в области естественных наук. Бессмертие души есть догмат, который проповедуется в церквах, а не в химических лабораториях, и это не может быть иначе, потому что в последних он был бы совсем неуместен. Г-на Гончарова, очевидно, ввело в соблазн то, что новейшие физиологи у низших организмов признают душу и что наши ученые переводят трактаты об этом на русский язык; но он упустил из виду, что душа, признаваемая у этих животных, есть душа скотская, ни на какое бессмертие не претендующая. Может быть, его соблазнило еще то обстоятельство, что новейшая философия все больше и больше отдает предпочтение антропологическому принципу перед метафизическим и что книжки об этом также переводятся на русский язык; но антропология говорит только о том, каким путем достаются человеку ощущения, но до бессмертия души опять-таки не касается. Повторяем, бессмертие души составляет область особую и непререкаемую. Мы знаем множество отличнейших химиков и физиологов, которые весьма неленостно производят опыты над разложением и свойствами материи, но это нисколько не мешает им быть ревностными христианами. Вы скажете, может быть, что это химики благонамеренные, а есть химики неблагонамеренные. Прекрасно. Но так как химические опыты всегда одинаковы, всегда равны себе, то очевидно, что благонамеренность или неблагонамеренность лиц, занимающихся ими, не имеет никакой необходимой связи с предметом их занятия и зависит совсем не от опытов.

Остановить производство опытов нельзя; вы сами будете протестовать против этого, потому что, без этих предварительных опытов, случись вам быть больным, нельзя будет разгадать свойства вашего недуга, нельзя будет указать средства для его исцеления. О чем же, собственно, идет речь? О том ли, что Волохов имел минуту ребяческого удовольствия сказать, что он химик и в этом качестве не признает бессмертия души? С охотой уступаем ему эту минуту, но все-таки не можем признать за ним качеств типа, потому что слова его или, лучше сказать, слова, сказанные за него г. Гончаровым, составляют только случайную и ничем не подкрепленную выходку, которая ни в каком художественном произведении основанием для создания типа служить не может.

Агитирует Волохов, в обществе Веры и попадьи, против бессмертия души и в жару агитации забывает, что есть вопрос гораздо более простой и гораздо более близкий: вопрос о том положении, в котором он сам находится, и находится, конечно, не по своей воле. Мало того: в жару агитации он употребляет слова не в собственном их значении. Он говорит о толпящихся мошках и называет это «бестолковым процессом жизни»! Этот физиолог, химик и физик не понимает даже, что такой процесс жизни для мошек есть, напротив, самый толковый; для человека же он тоже бестолков, по той причине, что невозможен. Можно, конечно, себе представить уличную толпу, кружащуюся, подобно мошкаре, на солнечной стороне Невского проспекта, но нельзя сказать, чтоб это кружение могло сделаться

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru жизненным законом даже для толпы самой малосмысленной.

Но самый любопытный обвинительный пункт против Волохова заключается, конечно, в том, что он требовал честности, правды и добра в жизни и за это ничего не обещал. Как мы ни усиливаемся угадать, что бы такое мог обещать Волохов за честность и правду, – угадать не можем. Мы склоняемся к тому убеждению, что в его положении он не мог обещать даже годового оклада жалованья. Располагал ли он не только вечностью, которую никому из смертных располагать не дано, но даже самомалейшим правом обещать что-нибудь в будущем? Нет, потому что вечность и награды в будущей жизни может давать только учение, называемое откровением. Он был скромнен; он понимал, что есть сферы, за пределы которых переступить человеку нельзя, – он и не переступал. Он требовал, говорите вы, честности, правды и добра в жизни; но ведь это все, чего он имел право требовать, ибо то остальное, о чем вы беседуете, прилагается само собою, как естественное последствие честной или бесчестной жизни, доброй или злой. Вот Вера – та мыслит на этот счет посolidнее. Она в особенности думает о наградах и даже, по-видимому, знает, когда они даются, ибо говорит о чем-то таком, что заставляет человека работать над собою, чтобы именно к концу жизни стать лучше и правдивее. Однако, по нашему мнению, она думает так ошибочно. Действительно, есть нечто такое, что заставляет человека работать над собою, чтобы сделаться честным, добрым и правдивым, но не только к концу жизни, а и в продолжение всей жизни. Следуя теории Веры, можно попасть в большой просак; ибо известно, что бог в смерти и животе человека волен, и конца жизни никто определить не может; стало быть, если нравственное очищение готовить только как закуску к концу жизни, то можно пропустить удобную минуту и умереть неочищенным и непросветленным. Мы думаем даже, что теория Веры во всяком случае безнравственнее, нежели теория Волохова; она напоминает раскольничий догмат: несогрешивый не спасется, на основании которого человеку предоставляется делать всякие нравственные безобразия в чаянии замолить их. Мы с охотой соглашаемся, что молитва очищает, но ежели ее цель корыстна, если она повторяется только при известных и всегда однородных условиях, то становится обрядом, лишенным внутреннего значения. Затем наступает то неистовое махание, которому религия не только не придает значения добродетели и подвига, но даже преследует.

Таким образом, выходит, что г. Гончаров, желая раскрыть перед читателями некоторые стремления современности, желая ввести их в область того неверного, которое, по мнению его, царит над этими стремлениями, не пошел дальше области недозволенного, которую и смешал с неверным. Это и понятно, потому что признаки неверного очень сложны и, во всяком случае, не так легко достаются, как признаки недозволенного. Но замечательнее всего, что даже эту последнюю область (достаточно, впрочем, обширную) автор сумел запутать разными соображениями Веры, которые, во всяком случае, ни для кого не обязательны. Можно до известной степени понять (хотя и трудно), что общество недоверчиво смотрит на химические и физические опыты, на разложение материи, что оно видит в этом «дерзкое отрицание всего, от начала до конца», и, следовательно, не слишком поощряет подобного рода занятия; но что касается до того, как думает об этом кузина г. Райского и каких она ждет для себя от того последствий, – никому в голову не придет и справляться об этом. Область недозволенного достаточно велика, но она определена, и это, по крайней мере, избавляет от недоразумений тех, которые имеют надобность справляться с нею. Она не запрещает производство химических и физических опытов, она допускает разложение материи – вот все, что нужно знать. Никто, ни даже хорошенькая Вера, не вправе инсинуировать, что за физическими и химическими опытами скрывается разрушение чего-либо другого, а не невежества. Это не ее ума дело.

Но если стремление к познанию сил и свойств природы, стремление ввести в жизнь элемент сознательности может привести только к гибели, то что же, по крайней мере, может, по мнению Веры, спасти нас от оной? А вот что: прочное, живое и верное, заключающееся в старой жизни. Напрасно вы будете искать истолкования этих слов – в ответ вы получите те же слова или бесконечную перестановку их: что такое прочное? – это живое и верное; что такое живое? – это прочное и верное; что такое верное? – это прочное и живое. Почему одно прилагательное поставлено прежде, другое – после?

Темно всюду, глухо всюду.

Быть тут чуду, быть тут чуду!

Однако ж не только чуда, но даже и самого простого указания нет. Взгляните на всех этих людей, которые противопоставлены Волохову (он сам их же поля ягода; но

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru так как автору непременно хочется сделать из него демоническую силу, то мы невольно подчиняемся его намерению), и вы увидите, что нет ничего более непрочного, ничего более пораженного мертвенностью, более неверного, нежели их жизнь. Это даже не жизнь, а колеблющиеся шаги или ползание младенца. Бабушка ползает, Ватутин ползает, Райский ползает – все ползают, все щупают наугад и, нащупавши тряпицу, выброшенную людьми сороковых годов, воображают, что эта тряпица причина всех их несчастий. А несчастье их в том-то именно и заключается, что они ничего не видят, ничего не сознают, что их действия без начала и без конца, что они никогда не знают, куда идут и для чего предпринимают то или другое действие. Эту ли жизнь можно назвать прочною, живою и верною?

Но примиримся со словами; допустим, что пустой звук может иметь значение, что такие выражения, как «прочное», «живое» и «верное», могут нравиться сами по себе. Но ведь надобно же наполнить их каким-нибудь определенным содержанием? Каким же? – На это мы ответим: сознательным отношением к природе и жизни, стремлением раскрыть законы, управляющие ими, и умением воспользоваться этими открытиями. Вот единственный выход из области ползания и ощупывания и единственный способ найти «прочное», «живое» и «верное».

Защита невежества – вещь очень легкая и всегда сочувственная уличной толпе, но не думаем, чтоб мы находились в таком положении, когда подобная защита может считаться даже временно полезною. Везде она приносит только вред и может найти себе оправдание лишь в глазах очень близоруких людей; но у нас она принесет вред сугубый. Мы так недалеко ушли от воззрений «голубиной книги»; в нашей уличной статистике числится еще такое множество «пупов земли», что чуть ли не каждая губерния считает себя обладательницей своего собственного «пупа»; притом мы с такою неохотою расстаемся с воззрениями, завещанными нам преданием, с таким принуждением пристаем ко всему, что будит нашу мысль, что, право, больше нежели странно укорять нас в какой-то разнузданности, в каком-то стремлении ниспровергать кумиры и разрушать предания. Бросать камень в людей за то только, что они ищут, за то, что они хотят стать на дороге познания, за то, что они учатся, и бросать этот камень, не дав себе предварительного отчета, в чем заключается сущность стремлений этих людей, – вот подвиг, которого неловкость и несвоевременность, по нашему мнению, не может подлежать спору.

К сожалению, такого рода неловкий и несвоевременный подвиг совершил г. Гончаров своим романом «Обрыв».

НАСУЩНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ЛИТЕРАТУРЫ
(Свобода речи, терпимость и наши законы о печати, СПб. 1869)
Он как сирена сладкогласен,

И как сирена был опасен...

Ничем мы так не богаты, как толками о так называемых излишествах российской прессы. Они возникают и по случаю, и без всякого случая, возникают беспорядочно, и ежели по временам стихают, то для того только, чтобы вслед за тем воспрянуть с новою силою. По-видимому, литература уже дошла до той степени изнеможения, при которой невозможны ни вопросы, ни споры, ни возражения, а допускается лишь простое утверждение грубых уличных истин, вроде проповедуемых современными беллетристическими знаменитостями, но и это начинает казаться уже недостаточным. Памятуя свои недавние неудачи и отомщая их, торжествующая легковесность не довольствуется столь тощим результатом, как простое безмолвие. В самом молчании она начинает видеть протест и заподозривает «вредное направление». Мало, что литература не говорит; нужно, чтоб она приходила в энтузиазм или в негодование, смотря по тому, на какое из этих проявлений имеется требование на рынке.

Поборников уличных воззрений на литературу и ее призвание в обществе становится все больше и больше; они распложаются как головастики в тихих и забытых водах. Но, сознавая себя многочисленными и сильными, они не почерпают в этом сознании ни терпимости относительно чужих мнений, ни даже равнодушия, а почерпают только вящую злобу и притязательность. «Передайте журналистам, – писал Наполеон 1-й к Фуше, – что я буду судить о них не по тем вредным мыслям, которые они будут высказывать, а по тому отсутствию благонамеренности, которой они не выскажут» (Lanfrey. Hist. de Napoléon 1-er. T. III, ch. V). Эти чудовищные слова составляют весь кодекс легковесности, которая любит ссылаться на сильные авторитеты во всех случаях, когда идет речь о стеснениях.

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Что такое упоминаемая здесь «благонамеренность»? Это, очевидно, согласие истин, высказываемых литературой, с истинами, провозглашаемыми улицей. Скажем более: это не только согласие, а просто-напросто подчинение первых последним. Учение об авторитетах переворачивается вверх ногами; вопреки всем преданиям, не толпа идет за авторитетом литературы, но от литературы требуется, чтобы она шла слепо за авторитетом уличной недалёковидности, колебаний и переменчивости. Нигилизм, горший всех доселе открытых сортов нигилизма. И вот к такому-то нигилизму хотят привести русскую литературу наши легковесные, наши алармисты и наши обскуранты.

Ни для кого не может подлежать сомнению, что люди заурядные, которых жизнь не представляет поводов для серьезного умственного труда, люди, исключительно посвящающие себя кропотливым заботам об удовлетворении интересов дня, находятся в наименее благоприятных условиях относительно возможности выработать для себя идеалы или какие бы то ни было твердые руководящие истины. Идя ощупью, слепо доверяясь одним внешним признакам фактов, они не могут обладать ни критерием, при помощи которого раскрывалась бы внутренняя сущность явлений, ни возможностью делать из своих наблюдений действительно полезные и прочные применения. Истины, которые им известны, суть истины, добытые путем эмпирическим, истины бессодержательные, лишенные действительной достоверности и потому не приложимые ни к какому явлению, сколько-нибудь сложному. Голая и грубая конкретность, наружный вид вещей – вот материал для великого множества афоризмов, наполняющих сокровищницу практической мудрости. В числе этих афоризмов не отыщется ни одного, который представлял бы удовлетворительную исходную точку, ни одного, в котором можно бы отыскать малейший признак реальности. Все это общие места, не заключающие в себе ничего, кроме праха. Отсюда та горькая необходимость, которая заставляет неразвитого человека останавливаться в недоумении перед всяким новым явлением и заменять доказательства и выводы произвольными догадками и подозрениями; отсюда – сбивчивость и расплывчивость определений; отсюда, наконец, невозможность овладеть сущностью факта и произнести ему верную оценку. Слепота, нерешительность и страх неизвестного – вот неизбежные спутники умственной неразвитости. Но не голая слепота, а слепота авторитетная. «Стало быть, я право мыслю, – рассуждает неразвитый человек, обманываемый подтверждениями окружающей его конкретности, – если и А., и Б., и все соседи мои мыслят точно так же, как и я». И, подкрепленный таким силлогизмом, он не считает себя даже обязанным подвергать свои суждения какой-либо проверке, но прямо с негодованием и злостью взирает на всякое движение чьей бы то ни было мысли за пределы того эмпиризма, который составляет скудный умственный капитал его.

И вот эти-то люди, эти слепорожденные, которые шагу не могут сделать в жизни, чтобы не запутаться, они-то именно и считают себя вправе предъявлять претензию, чтобы литература была не чем иным, как бессознательным эхом их мнений и убеждений. С первого взгляда такого рода претензия может показаться странною, но увы! ежели мы вспомним, во-первых, что невежество до сих пор составляет компактную массу, на стороне которой находится материальная сила, во-вторых, что невежество, выработавши известные истины, в которых, по его мнению, заключается «прочное, живое и верное» жизни, инстинктивно все-таки понимает, что это «прочное» способно разлететься при одном прикосновении к нему анализа, и, в-третьих, что разрушение этого «прочного», в понятиях людей неразвитых и недалёковидных, непременно сопрягается с мыслью об ущербе для их благополучия, – то для нас сделаются понятными и те усилия, которые предпринимаются для умерщвления свободы слова, и те нетрудные успехи, которыми эти усилия обыкновенно сопровождаются.

Но все, что сказано выше о неразвитом человеке, как о неделимом, может быть буквально применено и к малоразвитым обществам, с тою лишь разницею, что тут недостатки неразвитости являются в громадных размерах и дают себя чувствовать с подавляющею силою. Общество, точно так же как и отдельный человек, может довольствоваться одною эмпирическою истиною и изнывать под гнетом неизвестности, которую влечет за собой неисследованность явлений природы и жизни и неопределенность отношений к ним. Все различие в том, что в первом случае мятется и волнуется страхами бессильная единица, а во втором – сильный и многовлиятельный легион.

Этим, однако ж, дело не ограничивается. И общество, и отдельный человек не остаются при одних требованиях, но стремятся сообщить этим требованиям обязательную силу, обеспечить их исполнение в жизни. Нелепое и близорукое убеждение ложится в основу целого порядка вещей, дает начало какой-то фантастической действительности, которая предъявляет все признаки

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru действительности заправской. Что нужды, что основы этой действительности принадлежат к числу тех, которые наиболее подвержены всякого рода колебаниям, – это нимало не устраняет обязательности признания их, а только усиливает трагичность положения. Ибо нет унижения более горького, как чувствовать, что гнет идет из ничтожества, и в то же время сознавать все бессилие освободиться от этого гнета. Чем больше колебаний представляют мнения толпы, тем капризнее и своенравнее становятся ее требования и тем тяжелее делается необходимость справляться с ними. Что вчера возбуждало похвалу, то сегодня становится предметом порицания – в силу чего? где тот общественный физиолог, который в состоянии распутать этот наглухо завязанный узел, найти выход в этом заколдованном круге? Такого физиолога еще нет, а пока он не народится, подобному явлению нельзя дать другого объяснения, кроме того, что тут и похвала, и порицание – одни пустые звуки, вызванные призраками, временно овладевшими толпой.

Очевидно, что при таком призрачном составе элементов, питающих общественное мнение, двигателем суждений и приговоров его может быть только беспрерывно запутывающийся в всевозможных противоречиях произвол. Нельзя ни к чему примениться, нельзя ничего предвидеть. Мысль не может определить, что постигнет ее в дальнейшем развитии, какие двери открыты ей, какие полуотворены и какие заколочены наглухо. Все отворены и все заколочены. Легковесность тем и страшна, что она ни от чего не предостерегает и ничего не объясняет, а только подстерегает и извращает. Если ей недоступна сущность мысли, то она подстерегает или способ ее выражения, или ту ее необычность, которая всего более возбуждает ее подозрительность. Это последнее качество, заключающее в себе несогласие мысли с ходячими убеждениями толпы, и составляет то, что слывет на уличном языке под названием «вредного направления».

Что подобное зависимое положение литературы совершенно истощает и подрывает ее силы – это всего лучше доказывается самими толками о «литературных направлениях», по поводу которых мы повели нашу речь. При всем своем разнообразии, они дают материал только для одного вывода – для вывода о невозможности существования литературы в виду произвольности того мерила, которое прилагается к ней ее самозванцами-ценовщиками. Уже одно то, что у нас как будто принято за правило не иначе относиться к литературе, как с затаенной мыслью в чем-то ее обвинить; одно то, что самым удобным содержанием для этих обвинений служат не факты, имеющие за себя, по крайней мере, вразумительность, а «направление», – выражение в высшей степени растяжимое, способное вместить в себя всевозможные страхи, накопившиеся в груди каждого досужего алармиста, – одного этого, конечно, достаточно, чтоб убедить, до какой степени у представителей нашего уличного мнения незрела способность доказывать и анализировать и с какой охотой они отыскивают противовес этой неспособности в легкой возможности прикрывать ее расползающимся во все стороны и лишенными точного смысла определениями. В глазах легковесности вся литература, за исключением тех ее органов, которые добровольно взяли на себя роль вместителей уличного праха, есть вертеп, в котором накапливаются всякого рода противообщественные коварства и измышляются всевозможные ковы против основных начал цивилизации. На чем основано такое мнение? какие доказательства его справедливости? – на эти вопросы, конечно, не сыщется ответа ни один алармист, так как вряд ли кто-нибудь из них даже понимает значение слова «цивилизация»; но и за всем тем, ни один из них не отступится ни от «вертепа», ни от «коварства», ни от «ков»: до такой степени выражения эти подходят к росту толпы. Изрекая свои приговоры, самонадеянная легковесность руководствуется не рассудком, а инстинктами и теми подтверждениями, которые дает этим инстинктам конкретность совершающихся фактов. Ей не надобно ни доказывать, ни обуславливать свои суждения; ей достаточно испустить хищный крик, самодовольно перечесать по пальцам бессодержательную номенклатуру того «прочного, живого и верного», которое составляет содержание уличной мудрости, чтоб улица всплеснула руками от умиления и все соседи до единого согласились: стоять твердо против набегов мысли.

Таков, в большей части случаев, бывает приступ к суждениям о литературе в тех общественных сферах, которые почему-то возмечтали, что право судить и рядить о ней им прирожденно; приступ, как видится, и сам по себе богатый обвинениями довольно капитального свойства. Но, увы! как ни усиливаются эти обвинения казаться увесистыми, литература все-таки не может уяснить себе их. На каждом шагу она встречается с ядовитым общим местом, слышит страшные слова, но, путаясь в их темном разнообразии, все-таки не приходит ни к какому положительному результату. На чем, в самом деле, остановиться? Не естественнее ли и не

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru согласнее ли с существом дела остановиться на мысли, что то неизвестное и смутно формулируемое, которое держит литературу в постоянной тревоге, в сущности, составляет только массу подозрений, не имеющих ни малейшего характера улики, ни тени реального основания? что, стало быть, не для чего и пытаться объяснять то, что само себя объяснить не может, а просто бьет сплеча, куда попало, когда попало и как попало?

Но делать нечего; каковы бы ни были мнения литературы насчет пускаемых в нее обвинений, надобно покориться. Надобно стараться не быть «вертепом», надо прекратить «ковы», надо придумать объяснение тому, что не находит слов для своего собственного объяснения.

В сумятице возгласов, толкований и обвинений, раздающихся по поводу литературы, можно различить одну господствующую ноту, а именно, можно понять, что дело идет об отношениях литературы к мирозерцанию, завещанному преданием и имеющему ход на рынке. Первый вопрос, с которым встречаются наши алармисты на этой почве, есть следующий: может ли быть допущено самое существование подобных отношений? Затем, в случае утвердительного разрешения этого вопроса, выступает второй: какого рода должны быть эти отношения? Постановка этих задач и способ их разрешения естественным образом делая наших алармистов на два лагеря: на радикалов, не желающих слышать ни о каких соглашениях, и на людей более податливых и в то же время более хитрых, которые охотно идут на соглашения, видя в том наилучший способ если не совершенно устранить, то, по крайней мере, отдалить опасный вопрос на неопределенное время.

Радикалы, как и всегда, откровеннее и в то же время последовательнее. Это по большей части современники «Аонид» и «Подснежников», люди, в сущности, очень кроткие, в тоске по Хлое влачащие последние дни своего существования, но воспользовавшиеся уничтожением крепостного права, чтобы ожесточиться. Они не различают ни злокачественности, ни доброкачественности литературных направлений; по их мнению, все направления одинаково злокачественны, одинаково растлевают литературу, потому что все предполагают непременно участие мысли. Мысль, каково бы ни было ее содержание, есть нечто разрушающее всевозможные твердыни, отмыкающее без ключа всевозможные замки. Если допустить мысль к составлению афиш, то она и тут найдет возможным отворить какую-то дверь, которую с первого взгляда невозможно даже заприметить. Из имени певицы Патти, актера Васильева она устроит протест, который будет тем опаснее, что никто его не поймет, и всякий станет придавать ему тот смысл, который подскажет большее или меньшее досужество. Литература должна быть проводником не мыслей, а приятных отдохновений. Это цветник, в котором каждый цветок в отдельности и все цветки в совокупности должны благоухать и радовать глаза разнообразием колеров, должны умирять ум и чувство человека, но отнюдь не действовать на них возбуждительно. Фет как стихотворец, Григорий Данилевский как романист, Шубинский как историк, Страхов как критик, и Фрол Скабеев как драматург – вот имена, любезные современникам «Аонид». Соберите эти цветки вместе, говорят они, посадите их в одну клумбу – и вы действительно получите цветник.

Люди соглашения, имея в виду тот же или почти тот же результат, приходят к нему путями более извилистыми. Они поняли, что радикальное отрицание участия мысли невозможно не только в сфере литературной деятельности, но даже при покупке домашней провизии, и потому говорят, что дело совсем не в наличности этого пагубного элемента, а в его регламентации и в отнятии у него средств быть пагубным. С этою целью они полагают устроить отношения литературы к действительности таким образом, чтобы в них не заключалось никаких попыток к анализу, а тем менее к обличению, и чтобы дело ограничивалось пропагандой всякого рода отвлеченностей, которые возвышают дух масс и скрывают от их внимания те вопросы, которыми им не следует заниматься. *Que les méchants tremblent, que les bons se rassurent!*[108] – восклицают поборники соглашения и смело обзывают друг друга либералами за то одно, что не подвергают мысль совершенному заточению, а предоставляют ей какую-то область, в которой она может упражнять свои силы сколько угодно. Кто эти «добрые», о которых идет речь? – Это те, которые стремятся к «прочному и верному», не спрашивая, в чем оно заключается. Кто «злые»? – Это те, которые требуют разъяснений и доказательств. Толпа любит отвлеченности не потому, чтобы они были действительно понятны, а потому, что они как будто понятны. Названия их так часто щекотали ее слух, что она, даже ничего не уразумевая, видит в них что-то родное и знакомое. Нужно пройти очень большой путь, нужно рутине самой, целым рядом неудач, убедиться в необходимости дать себе отчет в обладаемых ею истинах, чтобы та или другая

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru отвлеченность сошла с пьедестала и обнаружила свое ничтожество. Люди соглашения в совершенстве поняли этот вкус толпы и, вследствие того, все усилия направили к тому, чтоб поддержать его и в то же время парализовать те последствия испытующей мысли, которые могут приблизить катастрофу исследования. Пусть мысль не разоблачает фантастичности того, в чем толпа видит верное и прочное, пускай она питается теми же отвлеченностями, которые приходится по вкусу толпы, пускай придумывает для них наилучшую фразу – тогда она верно поймет свое назначение, и путь ее будет услан не терниями, а цветами. Ей простятся все излишества, все увлечения так называемого «направления», ибо это последнее, своею достолюбезностью, покрывает горечь увлечений. И не только простятся, но даже вменяются в добродетель, потому что иногда увлечения способны принимать некоторый вид независимости, а независимость, как понятие отвлеченное, тоже не противна толпе.

Само собой разумеется, что этот разлад между поборниками одних и тех же целей не обходится без некоторых разговоров и разъяснений.

– Не нужно совсем направлений! – восклицают современники «Аонид», – потому что, допустив однажды направление достолюбезное, вы не успеете оглянуться, как рядом с ним прокрадется другое, которое ничего, кроме хлопот, вам не принесет. Фет, Страхов, Фрол Скобеев – вот единственная литература, совместная с требованиями благоустройства!

– Позвольте, милостивые государи! – возражают люди соглашения, – страх увлекает вас слишком далеко. Вы забываете, что относительно вторжения вредных направлений мы достаточно обеспечены существованием всяких органов, которые поставили себе задачей отыскивать «вредное» в самых сокровенных изгибах человеческой мысли и всенародно указывать на него!

– Все это слова, слова и слова! – вновь вопиют радикалы. – Мудрость веков гласит так: если однажды допущена возможность обсуждать что-либо, кроме качества привозимых к Елисееву колониальных товаров, то трудно предположить, чтобы эта возможность удовлетворилась какими-либо иными границами, кроме тех, которые она отыщет себе сама!

– Но мудрость веков гласит и так: на нападающего бог! Взвесьте, милостивые государи, силу этого афоризма да пристегните-ка к нему целый арсенал всякого рода предупредительностей и карательностей, и вы увидите, что беспокоиться не об чем! – И т. д. и т. д.

Вот между каких двух старцев находится эта новейшая Сусанна, называемая русской литературой. И надо сказать правду: покуда литература сама спокойно, но энергически не заявит протеста против этого неестественного плена, или, по крайней мере, не выразит, что нахождение в плену отнюдь не представляет необходимого условия для ее процветания, – зависимости ее от грубых притязаний уличного консерватизма едва ли можно предвидеть скорый конец.

К счастью, современное бессилие русской мысли уже начинает тревожить литературу нашу в такой степени, что сетования на стеснение свободы речи делаются явлением довольно общим и громко свидетельствующим о настоятельности тех потребностей, которые за ним скрываются. Будут ли эти сетования настолько убедительны, чтобы привести за собой действительные облегчения – это вопрос другой, но несомненно, что они, во всяком случае, выводят общественное мнение из заблуждения и показывают ему, где заключается настоящий источник тех недоумений и недомолвок, среди которых путается наша литература.

К числу таких полезных заявлений, указывающих на действительные причины нашего литературного бессилия, а равно и на то вредное влияние, которое оказывает это бессилие на нашу общественную жизнь, принадлежит и книга, которой заглавие выписано нами выше. Мысли, которые неизвестный автор приводит в своем сочинении, изложены им в сжатом виде в предисловии к книге. Вот извлечение из этого предисловия:

Главная причина, почему многие не сочувствуют не только свободе речи, но даже вообще просвещению, состоит в том, что они видят в свободной речи и в просвещении уменьшение для своего счастья. Автор старается наглядно доказать, что, препятствуя развитию слова и просвещения, самые высокопоставленные лица уменьшают, собственно, свое счастье, что те, которые действовали таким образом,

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru делали это только потому, что не в силах были составить себе ясное понятие об условиях счастья. Другие опасаются, что свобода речи распространит чрезмерно быстро известные политические идеи и породит преждевременные стремления. Здесь доказываются фактами, что свобода речи не может ускорить распространения политических идей, а стеснение речи не может его замедлить; все, что может сделать свобода, состоит в том, что она распространяет идеи в более зрелом виде, при стеснении же они принимают характер непрактических восторженных мечтаний, и развитие государства делается болезненным и сопровождается потрясениями. Общество не может обходиться без умственного развития, достаточного, чтобы держать его на уровне самой высокой цивилизации. Здесь доказываются примерами, что, при недостатке такого умственного развития и при господстве духа нетерпимости, общества погибали, несмотря на самые мудрые социальные учреждения и обычаи... Затем показывается то нравственное состояние, к которому приводится общество через стеснение речи; оно порождает в народе страсть к заносчивой политике и в то же время совершенную неспособность принести жертвы, необходимые не только для заносчивой, но даже для самой умеренной политики; упадок патриотизма в народе прямо пропорционален степени стеснения слова... Доказывается историей, как подобное состояние приводит эти общества к тому, что в них большая часть государей делают великие реформы, прославляемые историей, и, несмотря на это, положение остается таким же безотрадным, каким оно было вначале. Далее разъясняется, почему в странах свободного слова более благоденствия даже при совершенном отсутствии реформ и почему политическое равновесие там устойчивее. Затем указывается на появление и распространение духа религиозной нетерпимости и показывается, что свобода слова – единственное средство для уничтожения религиозной и национальной вражды... Историей XVIII века доказываются, что государства, в которых свобода слова убивается окончательно, в самом скором времени доходят до азиатской бедности и азиатского варварства всех частей общества; там, где свобода эта стесняется только отчасти, порождается взаимная ненависть между различными слоями общества и всеобщее неудовольствие, государство отдается на жертву или внутренним беспорядкам, или внешнему завоеванию. Историей революционного периода конца XVIII и начала XIX века доказываются, что каждый раз, когда правительства хотели сделать или великое преступление, или великую глупость, они прибегали к стеснению речи, что это стеснение равнялось для них самоубийству и что бедствие было бы устранено, если бы сохранялась свобода. Те государства, которые в это время успели получить или сохранить <убеждение в необходимости свободного слова, не только сохраняли> полное спокойствие и правильное развитие, но от состояния постоянных внутренних мятежей и раздоров переходили к полному спокойствию...

По нашему мнению, в этих немногих словах очень верно указаны как причины, возбуждающие в неразвитых людях недоброжелательство к свободе речи, так и те задачи, которые может иметь в виду литература и выполнение которых, собственно, и навлекает на нее все гонения. Оговариваемся, впрочем, что мы разумеем здесь литературу в серьезном значении этого слова, а не те рыночные изделия и произведения печатного слова, которые не имеют с ней ничего общего.

Эти задачи, или, лучше сказать, единственная задача, которую имеет в виду литература, есть исследование истины. Иных задач нельзя даже предположить, ибо литература есть не что иное, как фокус, в котором сосредоточиваются высшие стремления общества; общество же, в свою очередь, в видах собственного самосохранения, не может желать ничего другого, кроме истины. Истина есть умиротворение общества, есть устранение тех неопределенностей и случайностей, от которых оно страдает; истина, наконец, есть открытие положительного закона, который имеет уяснить отношения человека к человеку и к природе, положив им в основание твердые и для всякого вразумительные начала. Человек самый незрелый не может иначе смотреть на это дело и ни в чем другом не ищет успокоения, кроме истины. Эта жажда примирения с возникающими на каждом шагу сомнениями так настоятельна, что она, и только она одна, заставляет его останавливаться на тех эмпирических афоризмах, которые хотя и не приносят действительных разрешений, но временно и по наружности все-таки кое-что улаживают. Спросите любого прохожего, желает ли он знать истину своего положения и правду тех средств, которые ведут к его улучшению, и вы, несомненно, услышите ответ утвердительный. Не по тому одному ответ этот будет благоприятен, что слишком бесцеремонное отречение от истины противно человеческой совести, но и потому, что обладание истиной приносит несомненную выгоду. Все заблуждения людей и обществ насчет несвоевременности и даже вредности истины происходят отчасти от того, что они, по своей незрелости, охотно довольствуются разрешениями мнимыми, а главным образом от того, что они желают обладать истиною готовою, иметь ее сейчас, и не

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru принимают в расчет того тяжелого процесса, который предшествует ее приобретению. Устраните мысленно это обстоятельство, устраните непривычку неразвитых людей обращаться в области мысли и тот гнет насущных потребностей, который не дает им ни минуты досуга, необходимого для спокойной умственной работы, и вы убедитесь, что даже в их глазах попытки, делаемые с целью обретения истины, не только не заключают в себе ничего предосудительного, но даже желательны.

Таковы действительные отношения человека и общества к истине, если очистить их от тех условий незрелости и невежественности, которые их запутывают. Ясно, что литература, которая ничего другого не делает, как формулирует требования человеческой и общественной совести и дает им надлежащую постановку, не может в этом случае стоять ниже уровня индивидуального и общественного. Но этого недостаточно; она всегда идет далее общества, всегда видит истину ближе, ибо, во-первых, обладает большею против него суммою знаний и, во-вторых, имеет в своем распоряжении более твердые и выработанные приемы, нежели та завещанная преданием рутинная, которую располагает большинство.

Но ежели истина составляет исключительную цель стремлений науки и литературы, ежели она в то же время призывается и общечеловеческою совестью, как единственное благо, которое может умиротворить общество и дать ему прочные основания, то очевидно, что исследование ее не может заключать в себе ничего опасного или подлежащего преследованию. И действительно, в целом мире едва ли мы сыщем такие законы, которые высказывались бы прямо, что искать и формулировать истину воспрещается, а воспрещается проводить и формулировать заблуждения. Принцип свободного исследования признается неприкосновенным относительно истины и ограничивается лишь тогда, когда идет речь о заблуждениях. Но здесь естественно возникает вопрос: что такое заблуждение? и может ли литература распространять такие заблуждения, которыми бы масса уже не обладала в сугубой степени?

При современном положении знаний ни литература, ни наука не могут, конечно, сказать, что они обладают идеальной истиной. Покамест дело идет только о разработке второстепенных вопросов, имеющих более или менее близкое отношение к истине идеальной, о постановке их на естественной их почве, о том, наконец, чтобы наметить тот путь, которому они должны следовать в дальнейшем своем развитии, и те комбинации, которым они имеют подвергнуться ввиду интимной связи, между ними существующей. Формула истины идеальной – счастье, гармония – слишком обширна, чтобы можно было ограничиться написанием ее на каком бы то ни было знамени, не рискуя при этом впасть в фразерство. Не потому фразерство, чтобы истина, сформулированная таким образом, была сама по себе бессодержательна, а потому, что содержание ее недостаточно выработано и приготовлено. Вот этой-то подготовке и посвящают себя литература и наука в их современном состоянии; но так как элементы этой подготовки до крайности сложны и разнообразны и, сверх того, требуют чрезвычайной дробности в распределении труда, нужного для их разработки, то весьма естественно, что эта разъединенность и дробность могут представлять обширное поприще для всякого рода недоразумений, заблуждений и ошибок.

Таинственность, которая облекает законы, управляющие природою, и те непрерывные поправки, которым подвергается знание с каждым новым открытием, не только имеют решительное влияние на подготовительную работу литературы и науки, но и видоизменяют воззрения на главную цель ее стремлений, на истину идеальную. Человек не иначе судит о будущем, как по тем задаткам, которые представляются ему в настоящем. Степень умственного развития каждого деятеля и большая или меньшая сумма приобретенных аксиом, конечно, занимают главную роль в этих воззрениях; но немалое значение имеет и та легкость, с которой один деятель может опровергнуть или, по крайней мере, заподозрить достоверность приобретений, сделанных другим. Отсюда великое множество направлений, преследующих одну и ту же цель, но понимающих ее каждое с своей точки зрения. Объясним нашу мысль примерами.

Есть люди, которые видят истину жизни в правильной организации человеческого труда и в равномерности распределения благ, производимых воздействием этого труда на творческие силы природы. Изучая историю человечества, они открывают в ней, что корни политических вопросов всегда заключались в экономическом положении тех стран, в которых они возникали, и что, следовательно, устранение общественных затруднений может быть достигнуто только при помощи разрешения экономических вопросов, и притом такого разрешения, которое удовлетворяло бы

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru ожиданиям заинтересованного в том большинства. Такое воззрение на истину жизни дает начало школе социально-экономической.

Есть другие, которые видят истину в расширении политических прав человека, а идеал общественного устройства – в политическом равенстве. Задачи, к разрешению которых стремится школа социально-экономическая, они относят к разряду второстепенных, и хотя не отрицают значения экономических вопросов, но подчиняют их отвлеченным целям свободы и равенства. Это люди школы политической, которая и поныне не утратила своего господства в Европе.

Третий пример – школа реалистов, которые поставили себе задачей определение отношений человека к природе, раскрытие законов, управляющих последнею, и освобождение общества от призраков, которые задерживают его развитие.

Четвертый пример – школа спиритуалистическая, утверждающая, что жизнь человека должна служить некоторым трансцендентальным целям, устранение которых было бы равносильно устранению поводов к самосовершенствованию. И т. д. и т. д.

Так как истина сама в себе не может быть столь существенно разнообразна, как это представляется в приведенных нами выше примерах, то не подлежит никакому сомнению, что большинство существующих ныне литературных и научных школ проповедует то, что на общепринятом языке называется заблуждением. Но ведь дело не в том, чтобы получить шаткое право голосовно называть заблуждение заблуждением, а в том, чтобы заменить заблуждение истиной. До тех пор, пока не совершится этот подвиг, заблуждение не только будет *de facto* [109] продолжать называться истиною, но и будет иметь на это несомненное право, во-первых, потому, что каждое из них заключает в своем основании частицу истины, а во-вторых, потому, что каждое имеет на своей стороне искренность. Таким образом, мнение, которое видит в так называемых заблуждениях явление, противодействующее истине и отдаляющее ее, по крайней мере, настолько же спорно, как и то мнение, которое утверждает, что заблуждение есть не что иное, как истина в элементарном, не переродившем состоянии.

Теперь посмотрим на вопрос с другой точки зрения; сравним те заблуждения, или, лучше сказать, недостаточные истины, которые проводятся путем литературы и науки, с теми положительными и грубыми заблуждениями, которыми обладают массы, и спросим себя: не представляют ли, во всяком случае, первые относительно последних значительный прогресс? На этот вопрос нам яснее всего ответит первый попавшийся пример: славянофилы, ультрамонтаны, спириты, националисты, то есть те направления, которые наиболее близки к понятиям масс. Все они в неведении и бессознательности видят необходимое условие цельности жизни, все они ставят человека в безусловную зависимость от таинственных сил и таким образом как бы узаконяют его вечное несовершенство. Несмотря на внутреннее согласие этой теории с практикою масс, мы должны, однако ж, сознаться, что упомянутые воззрения все-таки составляют шаг вперед противу грубых требований толпы. Уже одно то, что они вынуждены формулировать свои положения, оправдать их и до известной степени примирить с требованиями разума, представляет громадную разницу с воззрениями толпы, которая ничего не объясняет, ни на что не отвечает, а только упорствует и живет. Необходимость оправдываться и выслушивать возражения значительно очищает учения, преисполненные даже самых вопиющих предрассудков, и полагает первое звено для общения.

Но, скажут нам, не может ли прийти опасность от самого разнообразия истин, проводимых различными литературными школами? не могут ли эти школы вредно влиять на слишком простосердечные массы, утверждая их в таких убеждениях, из которых никогда не суждено родиться истине? не могут ли они, наконец, посеять в массах раздор, разделять их на разные лагеря и т. п.? На это можно возразить следующее: да, такой результат мог бы иметь место, если бы школы и направления, которые разрабатывают истину, шли параллельно, не встречаясь друг с другом в своих изысканиях. Но в том-то и дело, что этого не бывает; самые противоположные направления встречаются между собою на каждом шагу, ибо над всеми ими витает один общий вопрос: устройство отношений человека к человеку и к природе. На этой соединяющей почве возникают все споры и делается возможным устранение тех направлений, которые не представляют достаточной устойчивости и оправданий. Но очевидно, однако ж, что это устранение может быть достигнуто только при условии совершенной свободы исследования, ибо стеснениями мы не парируем никаких опасностей, а только отдаляем открытие истины и продолжаем ту нравственную и умственную смуту, которая, несмотря ни на какие карательные и предупредительные

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru меры, не прекратится до тех пор, пока будет существовать естественная причина, ее поддерживающая. Вот первая половина

109

нашего возражения, доказывающая, что раздоры и разделения в обществе происходят не от полноты свободы, даваемой направлениям, ищущим истины, а или от ограничения ее, или от искусственного поощрения одного направления на счет другого. Другая половина возражения заключается в том, что отношения литературы к массам суть отношения свободные, что литература убеждает, а не насилует и никому не угрожает. Угрожать могут люди, власть имеющие, литература же только развивает общество до высоты обладаемых ею идеалов. Она ничего не приказывает, не врывается в обычное течение жизни, не делает в пей никаких перерывов, но ограничивается воспитательной ролью. Памятуя, что жизнь сама приходит к постановке вопросов, из которых многие могут быть предвидены и подготовлены издавна, и что такая постановка, при исключительном участии жизни, не всегда обходится без потрясений, литература не считает себя даже вправе безмолвствовать, ибо подобное безмолвие противоречило бы ее достоинству, ее охранительной роли и тому значению высшего органа общественной мысли, которым она, по справедливости, гордится. Стало быть, и в этом отношении свобода исследования не только не приводит с собой опасности, а, напротив того, предупреждает ее, давая возможность стоящим на очереди вопросам выработываться спокойно и разносторонне.

Чтобы сделать нашу мысль более ясной, возвратимся на минуту к приведенным уже выше примерам различных направлений и посмотрим, не заключают ли они в себе действительно чего-нибудь такого, что может угрожать обществу опасностью. Для этого выберем то из них, которое, по-видимому, всего дальше отстоит от уровня общественного сознания, а именно, направление социально-экономическое. В какой степени основания его верны – это вопрос особый, разрешению нашему не подлежащий; но спрашивается: что может заключать в себе посягающего на спокойствие общества такая мысль, как та, которая лежит в основании этого направления и которая может быть резюмирована в трех словах: обеспечение человеческого труда? Не есть ли это, напротив того, цель в высшей степени желательная в глазах всякого? Достижима ли она и при каких именно условиях достижима? – это опять-таки вопрос, не подлежащий нашему разрешению, но, во всяком случае, это тот самый вопрос, разработке которого посвящает все свои усилия целая школа и в постановке которого не заключается никаких угроз. Но не заключается ли в этой мысли чего-нибудь похожего на мираж, который может тревожить общество и отвлекать его от интересов более существенных? Нет, не заключается, ибо, во-первых, школа не требует ни немедленного, ни насильственного осуществления исследуемого ею вопроса, а требует только неприкосновенности принципа свободного исследования, и, во-вторых, рядом с главною целью она выдвигает целый ряд других, более практических вопросов, которые отнюдь не имеют свойств миража, но могут прямо удовлетворять так называемым насущным потребностям общества. Таковы, например, вопросы о значении семейства в обществе, о положении права собственности и об ожидающем его будущем, о привлекательности или непривлекательности труда, о мотивах человеческих действий в отношении к вменяемости их и т. д.

Таким образом, с какой бы точки зрения мы ни посмотрели на дело, оказывается, что исследование истины есть дело само по себе непререкаемое, хотя бы некоторые взгляды на нее и не представляли совершенно твердого основания. Во-первых, эти взгляды не могут подвергнуть обществу ни малейшей опасности; во-вторых, они все-таки составляют прогресс в сравнении с заблуждениями большинства и, в-третьих, наконец, если б массы и желали опровергнуть неверности, неизбежные при исследовании истины, то они недостаточно для того компетентны и могут ожидать этого опровержения только от литературы. В этом отношении автор сочинения, по поводу которого мы ведем настоящую нашу беседу, представил такое богатство примеров, доказывающих, что политические перевороты во всех государствах Европы имели источником совсем не свободу речи, а, напротив, стеснение ее, что нам ничего другого не остается делать, как отослать читателя к самой книге.

Но как бы ни были сами по себе логичны и ясны некоторые выводы, они остаются долгое время неубедительными для масс, которые вообще легко осваиваются только с совершившимися фактами, а не с идеями. К числу таких выводов принадлежит и приведенный выше. Он ясен, но литература должна допустить его неясность; он

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru логичен, но литература обязывается признать его порочным. Она допускает и признает все это, потому что есть условия, в которых логично только нелогичное, ясно только неясное, возможно только невозможное.

Итак, допустим невозможное. Допустим, что, вопреки всему нами сказанному о близорукости людей, употребляющих свои способности на то, чтобы воспрепятствовать торжеству принципа свободного исследования, сладостное право обвинения само по себе исполнено такой неотразимой прелести (бывают случаи, когда на нем одном основывается положение человека в обществе), что исход для него необходим. Где искать этого исхода? Как пристроить эти мириады людей, для которых походы против литературы сделались почти второю натурою?

Ответ на это может быть один: на почве легальности, которая имеет дело только с фактами и не признает ничего подобного тому, что на языке алармистов слывет под именем направления. Это – единственный выход, который если не принесет литературе полной свободы, то, по крайней мере, укажет определенные границы и даст возможность отнестись с равнодушием к тем охочим людям, которые изнуряют ее своими набегами.

Самые естественные вопросы, которые должны возникнуть при этом, будут, очевидно, следующие: все ли направления одинаково безличны перед лицом легальности, или, следуя примеру алармистов, она имеет повод предпочитать одно направление другому, одно поощрять, другое преследовать? Может ли она, например, заявить, что для нее принцип национальностей приятнее принципа космополитизма, или наоборот? что принцип возрождения путем политическим полезнее принципа возрождения путем социально-экономическим? Может ли она допустить, что преимущественного поощрения заслуживает то направление, которое поддерживает и защищает истины, имеющие ход на рынке, а преследования и искоренения то, которое доказывает несостоятельность рыночных истин? Обладает ли она, наконец, такими средствами, которые позволяли бы ей не только произносить верную оценку различным направлениям, но даже отличить их одно от другого?

Конечно, если мы напишем на знамени легальности, что всякое стремление к чему бы то ни было, кроме утверждения в массах невежества, подлежит истязанию и каре, то задача ее значительно упростится. Стоит собрать вкупе алармистов всех возрастов и шерстей и поручить им составить примерную роспись всего, что имеет задачей противодействие невежеству, чтобы затем принять эту роспись к руководству – и цель будет достигнута. Всякий легковесный с радостью поспешит принести посильную лепту в общую сокровищницу мракобесия, и так как окончательная цель их совокупных усилий будет состоять в том, чтоб обшарить все отрасли человеческих знаний, то можно надеяться, что роспись получится и подробная, и достаточно язвительная. Это будет уже не просто заговор против свободы речи и свободы исследования, а заговор против знания вообще. Но, к счастью, самые решительные заговоры против мысли не так-то легко выполняются, как легко задумываются. Главный недостаток подобных заговоров представляется в отсутствии руководящей мысли и в невозможности какой бы то ни было системы, что само по себе уже противоречит представлению о легальности.

Прежде всего, каждый алармист, будь он самый отчаянный, как только начнет формулировать мысль, которая должна руководить его действиями, сейчас же ощутит потребность в таком количестве исключений, которые сразу подорвут все его намерения. Это – факт очень реальный, но мы не найдем в нем ничего удивительного, если примем в соображение, что алармист все-таки человек и в этом качестве не недоступен идее о пользе знания. Предположим, что он всею душой ненавидит химию (она, дескать, полагает конец прочному, живому и верному), но где же найдет он достаточно гражданского мужества, чтоб отрицать, например, порох, которого, однако ж, без содействия химии невозможно сфабриковать? И вот первое исключение в пользу химии. Далее: за недостатком естественных минеральных вод он употребляет искусственные, которых, без знания химии, тоже составить нельзя. Вот повод для второго исключения. Идя таким образом далее и далее, обращаясь в кругу лишь самых обыденных потребностей, он наталкивается на такое множество исключений, очищающих химию от взводимых на нее обвинений, что, наконец, говорит себе: «Нет, надо оставить ее в покое, а то как раз сам сделаешься утопистом». Конечно, он и тут может найти изрядное поприще для многих злокозненностей; так, например: может составить обстоятельное описание тех случаев, когда химия достойна поощрения, и тех, когда она подлежит преследованию, но это уже ни к чему не поведет. Главная цель усилий – истребление знания – остается недостигнутой; знание стоит неприкосновенным и

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru дразнит своего преследователя тем, что без его помощи он не может сделать ни шагу. А как скоро знание осталось неведимым, то нет той человеческой силы, которая могла бы положить ему границы. Каждое приобретение, сделанное наукой, не столько важно само по себе, сколько как звено, предполагающее приобретения последующие. Выводы знания естественны, неустойчивы и бесконечны, как неустойчива и бесконечна работа самой мысли, и сказать, например, химии: «Ты не должна искать ничего более, кроме практических применений к домашней кухне», значило бы то же, что сказать человеку: «Попробуй ни о чем не мыслить».

Но, независимо от тех уступок, которые каждый алармист вынуждается сделать в пользу знания, не подлежит сомнению, что самое невежество, как оно ни любезно, едва ли может быть безусловно поощряемо. Есть много таких родов невежества, перед которыми самые ожесточенные поборники пользы невежества отступают в некотором страхе. Так, например, в некоторых местностях массы верят, что свеча, сделанная из жира мертвого человека, имеет особенные, чудесные свойства; в других местностях массы убеждены, что воровать помещичий лес не грешно, потому-де, что лес божий, а не барский. Нет сомнения, что эти убеждения составляют то «верное, живое и прочное», которым эти массы в данный момент живут, и, следовательно, с точки зрения распространения невежества, ничего лучшего и желать нельзя. Однако едва ли найдется хоть один алармист (даже из тех, которые, что называется, походя ругают литературу), который стал бы открыто на сторону простодушных поклонников свечи, скатанной из человеческого жира, а тем более на сторону отрицателей неприкосновенности помещичьих лесов. Да, таких не найдется ни одного, хотя, быть может, каждый из порицателей названных предрассудков, в свою очередь, снабжен целыми тьмами других предрассудков совершенно того же закала. Отсюда – необходимость исключений во вред невежеству, исключений, допускающих в этой темной области степени большего или меньшего невежества и тем самым нарушающих самое драгоценное ее качество, ее цельность.

Естественным последствием таких колебаний будет нескончаемая разногласица, ибо алармисты самые опытные не в состоянии определить, где кончается невежество полезное и где начинается невежество вредное. А если мы примем, сверх того, во внимание, что каждый из них в свои оценки и определения непременно вносит и личный вкус, и личные наклонности и привычки, то убедимся, что сумятица из всего этого выйдет невообразимая и что алармисты в конце концов если не поедят, то непременно возненавидят друг друга.

Очевидно, стало быть, что заговор против знания должен потерпеть неудачу уже по тому одному, что почва невежественности, на которую он опирается, слишком зыбка, чтоб на ней можно было построить что-нибудь прочное. Но этого мало: преследование знания никогда не обходится даром тому государству, которое слишком охотно охраняет неприкосновенность невежества. Подобное государство очень скоро беднеет, теряет свое политическое значение и нередко и самую независимость. Примеры такого пагубного действия стеснения свободы исследования на развитие народной жизни и народного гения приведены автором рассматриваемого сочинения в таком числе и притом так решительны, что этого одного уже достаточно, чтобы внушить серьезные опасения самому отчаянному обскуранту. Тут не может быть места даже для той легкомысленной надежды, которая допускает задержку в умственном развитии народа в том чаянии, что задержанное и упущенное может быть наверстано и найдено впоследствии. Да; это упущенное найдется – это несомненно, но ценой каких жертв? В этом весь вопрос...

Во всяком случае, тот образ действия, на который мы указали выше, не имеет ничего общего с легальностью, и эта последняя не может сообразоваться с ним, если бы даже была слишком податлива на уступки.

В самом деле, ежели мы вникнем ближе в смысл того понятия, которое сопрягается с именем легальности, то увидим, что главные его признаки заключаются в признании или непризнании, утверждении или отрицании. Известное явление или действие признается законным, то есть совместным или, по крайней мере, не противоречащим интересам общества или частного лица; рядом с ним другое явление признается незаконным, то есть наносящим ущерб упомянутым интересам. Ни оговорок, ни сомнений тут не допускается, потому что полуутверждения и полуотрицания повлекли бы за собой совершенную невозможность согласовать с ними какие бы то ни было действия. Но для того чтобы легальность имела возможность что-либо утверждать или отрицать, необходимо, чтобы она сама прежде всего основывалась на знании. Мы не о том здесь ведем речь, что она должна непременно стоять на одном уровне с тем проявлением мысли, которое подвергается ее приговору, – вопрос, достигим ли

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru для нее такой уровень, будет изложен ниже, – а о том только, что легальность не имеет никакого повода быть враждебной знанию, так как оно составляет существенный элемент ее самой. Ни мысль, устремляющаяся к знанию, ни тот процесс, который предшествует его достижению, не могут подвергаться никакому отрицанию со стороны легальности, ибо в этих стремлениях она не может видеть ничего иного, кроме укрепления и обновления тех оснований, на которых она сама зиждется. Даже в тех случаях, когда истина едва мерцает сквозь мглу, ее облегающую, и когда открытие ее составляет проблему более чем сомнительную, – и тогда легальность не имеет ничего сказать против делаемых в этом смысле попыток, потому что преследование их было бы для нее равносильно самоубийству или уничтожению тех начал, которые ей самой дают жизнь. А может быть, проблема окажется и вовсе не недостижимой? а может быть, мгла рассеется и в конце ее блеснет то действительное благо, которое называется знанием? Все это такого рода возможные случайности, перед которыми легальность не имеет права не остановиться.

При таких благоприятных отношениях легальности к знанию невозможно даже допустить, чтобы первая нашла какой-нибудь интерес в тех услугах, которые может ей предложить подозрительность алармистов. Отданные в жертву всякого рода колебаниям, в одно и то же время и признавая знание и отвергая его, представители уличного мировоззрения могут служить орудием только для таких воззрений, которые нынче отрицают то, что признавали вчера, и которые сами не знают, что придется отрицать или утверждать завтра. Какие возможны точки соприкосновения между этой беспомощной расплывчивостью, между этими блужданиями наудачу и той определенностью, которая составляет существенный признак легальности?

Но прежде нежели приступить к более точному ограничению той области, в которой литература и наука, даже в том случае, если б принцип свободного исследования восторжествовал вполне, все-таки могут найтись настолько в противоречии с легальностью, чтобы возбудить ее преследования, постараемся очистить вопросы, поставленные нами выше.

Безличны ли так называемые литературные направления перед судом легальности, или же она имеет основание предпочитать одно направление другому и разделять их на любезные и нелюбезные? Вот первый вопрос, на котором легальность должна радикально разойтись с мнениями алармистов.

Ежели уличное мирозерцание имеет повод считать себя компетентным в деле оценки научных и литературных направлений, то это именно потому, что оно слишком невежественно, чтобы находить какие-либо задачи выше своего разума. Не имея ни одного прочного критерия, оно в то же время обладает множеством критериев произвольных, которые подсказываются ей ее временным настроением и теми ложно понятыми потребностями охранения во что бы то ни стало, которые представляются ей всегда стоящими на первой очереди. Из этого проистекает для нее всегдашняя возможность знать толк в апельсинах и всегдашняя готовность судить об них. Но легальность не имеет права быть ни столь самонадеянною, ни столь опрометчивою, потому что, с одной стороны, она обладает критерием действительным, который удерживает ее от колебаний, а с другой стороны, этот критерий настолько ограничен, что не может простираться на существо самой истины. Легальность – не кафедра эстетики или философии или политической экономии и т. д. Она не вмешивается в предположения и чаяния науки и не имеет нужных данных, чтобы стать суперарбитром между представителями различных научных и литературных воззрений и изрекать по поводу их несогласий какую-то официальную истину. Все эти воззрения в глазах ее одинаково искренни, потому что все они разными путями преследуют одну цель, не имеющую в себе ничего несогласного с интересами общества. Повторяем: все они суть не что иное, как представители того принципа свободы исследования, которому человечество обязано всей суммой обладаемого им добра. Ежели то или другое «направление» не всегда усматривает истину там, где она находится, то это еще не дает легальности повода для вмешательства, а доказывает только потребность вмешательства со стороны литературы и науки. Критерий легальности – истина, остановившаяся в своем развитии, истина, дающая возможность определить только наружное соответствие или несоответствие поступков человека с теми внешними признаками благочиния, которые в известный исторический момент признаются достаточными для удовлетворения охранительным потребностям общества. Можно ли, не выходя из подобного критерия и признавая для себя его обязательную непогрешимость, приступить к оценке такой истины, которая еще находится в процессе своего развития, которой действительные результаты могут

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru оказаться только тогда, когда этот процесс будет закончен? Может ли легальность заранее, и без достаточных данных, заклеить эти истины именем ереси, она, которая помнит, что даже те истины, которые в настоящую минуту служат для нее опорной точкой, тоже некогда назывались ересями и тоже призывали на себя стрелы преследования со стороны произвола и невежественности? В этом заключается вся сущность вопроса об отношениях легальности к литературным школам и направлениям, а так как нельзя себе представить никакого другого ответа на подобный вопрос, кроме отрицательного, то очевидно, что высказываемые нередко требования, чтобы легальность больше обращала внимание на сущность направлений, нежели на фактическое их проявление, равносильны требованию, чтобы легальность перестала быть легальностью, а или возвысилась бы до уровня литературы и науки, или снизошла до уровня уличного мирозерцания.

Таким образом, отсутствие данных для оценки внутренней стоимости искомой истины и невозможность заранее определить те результаты, которых она может достигнуть в будущем, ставит вопрос о безличности литературных направлений перед судом легальности вне всякого сомнения. Да, все направления одинаково безразличны и все снабжены одинаковыми правами на свободу развития, потому что все они не могут подлежать иной критике, кроме критики науки и литературы. Эта критика одна имеет возможность отличить истину от лжи, и имеет ее в достаточной степени, чтобы обеспечить общество от тех обольщений, которых оно, по-видимому, опасается. Но для того чтобы эта гарантия была не мнимая, нужно, чтобы общество доверилось ей вполне и не подрывало беспрестанными оговорками, колебаниями и урезываниями. Мало сказать: мы не препятствуем литературе; надо, чтоб эта беспрепятственность проникла в нравы, чтобы свободное течение мысли так же мало удивляло, как и свободное течение воздуха.

Но еще менее может подлежать сомнению разрешение другого вопроса, предполагающего, что легальность, в качестве общественного органа, имеет обязательное призвание защищать те литературные направления, которые поддерживают истины, дорогие большинству, и преследовать те, которые доказывают несостоятельность этих истин. Чтобы допустить возможность таких лицеприятных отношений легальности к литературе, необходимо прежде всего признать, что первая имеет какой-нибудь интерес в охране той отсталости, которой представителем служит большинство. Обыкновенно толпу называют консервативной, но это справедливо лишь в том смысле, что она до крайности упорна в сохранении тех эмпирических истин, которые именно и служат препятствием к ее развитию. В действительном значении слова, консерватизм ей неизвестен, ибо она не сознает, что движение вперед, собственно, и есть та охранительная сила, которая ограждает общество от потрясений гораздо действительнее, нежели всевозможные упорства и коснения в предрассудках. Ясно, что если легальность желает быть органом действительных интересов общества, а не одних его бессознательных прихотей, то она должна быть консервативна совершенно в другом смысле. Но, кроме того, увлечение вкусами и предрассудками толпы может представить для нее и другого рода опасность. Задавшись этим идеалом, легальность рискует не найти ни одного направления, которое бы вполне удовлетворяло ее требованию, которое так или иначе не подлежало бы преследованию, даже искоренению. Выше мы говорили, что нет такого сильного невежества, которое, роясь около себя, не встретилось бы с невежеством сугубым, с таким невежеством, перед которым оно не стало бы в тупик. Мы не называем здесь ни одного из наших литературных направлений, но просим читателя припомнить то из них, которое совершенно искренно и даже не без некоторых либеральных аллюров стремится погрузить русский народ в положение бессрочного детства и опутать его жизнь всевозможным историческим баснословием. Даже и там он встретит пункты, в которых направление расходится с воззрениями толпы, и ежели вникнет ближе в сущность дела, то убедится, что разлад происходит совсем не от недостатка логичности, а просто от того, что существует такого рода логичность, которая доступна только для толпы и которая незаметным образом растлевается, как скоро выходит на поприще литературы и науки. Стало быть, задавшись мыслью исключительно поддерживать мнения, дорогие толпе, легальность, кроме явного противоречия своим собственным задачам, может очутиться в самом неловком и неестественном положении. Она встретится лицом к лицу не с одним и не с несколькими, а вдруг со всеми литературными направлениями, и вынуждена будет признать себя обязанною преследовать их все с одинаковою силою. Обязанность трудная и едва ли даже исполнимая.

Но как ни элементарны мысли, высказанные нами по поводу отношений легальности к тому, что, собственно, составляет содержание литературных направлений, они, по-видимому, еще не приобрели настолько права гражданственности, чтобы сделаться

Еще не очень давно мы были свидетелями уличных толков по поводу преследования, которому подвергся один из органов русской печати. Что орган подлежал преследованию – на этот счет улица была единогласна. Почему подлежал? – этого, конечно, она не сумела бы объяснить, ибо сама понимала уместность преследования не рассудком, а инстинктом, и указывала совсем не на сущность дела, а на какую-то грубость и резкость тона, которая, дескать, ни в каком случае допущена быть не может. Но замечательнее всего, что, единогласная в порицании грубого тона, улица была в то же время столь же единогласна и относительно снисхождения к проштрафившемуся органу. «Этому органу сто раз простить следует, потому что он тысячу раз заслужит!» – говорили всякого рода гуляющие люди, очевидно намекая на то направление, которого представителем служит орган И действительно, это было направление, как раз приходившееся по вкусам толпы, направление, ничему столь ревностно не служившее, как распространению мысли об ограждении невежества, завещанного преданием. Но спрашивается: имела ли легальность основание, следовать в этом случае указаниям алармистов? имела ли она право допускать неравенство меры относительно отдельных фактов одинакового характера потому только, что один факт совершился в сфере одного направления, а другой – в сфере другого направления? Нет, потому что неравенство меры должно неминуемо нарушить равновесие в области мысли и в то же время подорвать самую легальность, уважение к которой, по крайней мере наружное, обязательно даже для самого яростного из бесноватых. Но, может быть, это-то именно и нужно алармистам? Может быть, легальность и есть то чудовище, которое они прежде всего желают сокрушить, дабы через ее труп найти ближайший путь к сокрушению знания, к сокрушению мысли, к сокрушению истины? Кто знает? – может быть, и так!

Но приведем другой пример, еще осязательнее рисующий отношения алармистов к легальности. Представим себе человека, который доказывал бы неудовлетворительность или обветшалость тех или других форм жизни, указывал бы на стеснения, ими производимые, и предлагал новые условия жизни, обещающие больше обеспечения для счастья человека. Никто, конечно, не будет отрицать, что такого рода задача настолько серьезна, что сама по себе уже заключает достаточные залого спокойствия и зрелости в обсуждении. Для того чтобы приобрести возможность доказывать, что известное положение ничего, кроме стеснения, представлять не может, надо многое видеть лицом к лицу, многое рассмотреть и обсудить. Все это требует труда, а известно, что ничто так не отрезвляет человека, как труд, и в особенности труд умственный, сопряженный с необходимостью непрерывного самонаблюдения. Литературная и научная практика всех стран и времен достаточно убеждает нас в этой истине, показывая, что так называемые новаторы никогда не были склонны к насилию, так как один из существеннейших принципов всякого новаторского дела именно заключается в отрицании насилия. И вот, рядом с этим новатором, на поприще печатного слова является другой деятель, который высшее выражение идеи справедливости видит, положим, хоть в том, что титулярные советники должны быть производимы в коллежские ассессоры своевременно, нелицеприятно и с соблюдением строжайшей очереди. Идея, конечно, невинная, но ведь идеи бывают всякие, и не нам, русским писателям, указывать те пределы, далее которых не может идти литературная невинность. Теперь представьте себе, что этот почтенный публицист по поводу обнаруженного им факта, что X. остается титулярным советником в то время, как сверстник его Z. уже давным-давно коллежский советник, вдруг начинает возбуждать граждан к мятежу против установленных властей и утверждать, что несправедливость, допущенная относительно X., может быть удовлетворена только кровью лиц, в ней виновных. Как должна отнестись легальность к деятельности того и другого из названных публицистов? в которой из них она имеет повод видеть какое-нибудь нарушение... ну, хоть нарушение прав тех игреков, которые могут не без основания заметить, что пролитие их крови – жертва слишком несоразмерная сравнительно с тою ценностью, которую представляет неудовлетворенное честолюбие самого заматерелого титулярного советника? Очевидно, что она должна отнестись к первому из названных деятелей совершенно спокойно и ожидать развития высказанных им положений; что же касается до последнего деятеля, то хотя совершенная им проказа имеет характер детский, но нельзя отрицать, что относительно его преследование все-таки приобретает хоть какой-нибудь признак легальности, чего в первом случае совершенно не имеется.

Но алармисты действуют совершенно наоборот. Они говорят так: «Вы сердитесь на А. – нет слова, он провинился! душа у него такова, что не может выносить зло, делаемое мухе! но ведь зато он только об мухах и думает! зато, посмотрите, какой

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru у него ангельский нрав во всех других отношениях! Как он славословит! какой курит фимиам! Простите же ему этих невинных мух во имя того броненосного невежества, которое он насаждает!» Это первая часть оправдательной речи, против которой мы, конечно, ничего не имеем возразить, а вот и вторая: «Вы лучше посмотрите, что делается, например, в лагере у Б., – продолжают алармисты уже зловещим шепотом, – ведь там каждое слово, каждое слово так и брызжет непризнанием авторитетов! вот на что обратите ваше просвещенное внимание и оставьте А. на свободе расползаться мух!»

Эта гнусная манера защищать одного, обвиняя другого, составляет ту невыносимую язву, которая бесконечно язвит нашу литературу. Нет сил оградить себя, нет средств уберечься от этой ватаги охочих людей, которые на клич: ребята! с нами бог! – готовы взять целую цепь незащищенных крепостей и отомкнуть сколько угодно незатворенных дверей. Стремление отличиться задаром, подставить ближнему ногу, ничем не рискуя и даже не обладая особенными познаниями в науке подставления ног, так велико, что никому из этих самозванных ценовщиков и в голову не придет сказать себе, что право на обвинение, как и всякое другое право, тогда только может претендовать на признание, когда ему предшествует труд. Никто не скажет в сердце своем: «Друг! ты сгораешь желанием обвинять – прекрасно! но потрудись же сначала понять то, против чего ты намереваешься метать стрелы! потрудись проанализировать оскорбляющий тебя вопрос, потрудись доказать себе его вредоносность – и тогда дерзай!» Нет, таких интимных разговоров никогда не бывает; почему не бывает? – не по тому одному, конечно, что сплеча кидать обвинения направо и налево легче, нежели придумывать для них твердое основание, но и потому еще, что есть опасение не выдержать роли обвинителя, есть опасение самому поддаться обаянию мысли. Да, зрелище разнузданности, которой предаются вчинатели всякого рода литературных тревог, бесспорно принадлежит к числу самых печальных и возмутительных. Если б мириады обвинителей, которые язвят литературу своими инсинуациями, на минуту остепенились и сказали себе, что всякое обвинение должно быть, во-первых, сознано самим обвинителем и, во-вторых, вразумительно для обвиняемого, то можно быть уверенным, что тысячи обвинений пали бы сами собою, за невозможностью быть приличным образом поддержанными. Явный пример той осторожности, к которой обязывает роль обвинителя, конечно, представляют так называемые обыкновенные преступления. Очень часто они бывают весьма тяжки, очень часто носят на себе очевидные признаки совершения их именно таким-то, а не другим лицом, и, во всяком случае, сопровождаются так называемыми вещественными доказательствами; но и за всем тем едва ли сыщется человек, который даже при подобных условиях решится требовать обвинительного приговора, не взвесивши предварительно всех доказательств pro и contra. [110] Что вынуждает его быть осторожным? Что заставляет его вдумываться в значение предстоящей ему роли, а нередко даже и тяготиться ею? Конечно, не один страх подвергнуться незаслуженной каре невинного, но и строгость к самому себе, внимание к предостережениям собственной совести. И что же! – один так называемый образ мысли, одно направление, то есть именно то, что наименее уловимо для общего оценочного уровня, что прежде всего поражает отсутствием ясных вещественных признаков и что требует со стороны обвинителя, кроме достаточной степени развития, наиболее строгого внимания к последствиям своих заключений, – это-то, собственно, и составляет изъятие из общего закона, это-то и отдается преданием в добычу уличным зевакам! И, по какому-то необъяснимому сцеплению противоречий, в этой, всего более для них чуждой, сфере наши зеваки и чувствуют себя как рыба в воде! Вместо того чтобы благоразумно уклониться и сказать себе: это не нашего ума дело! – они нигде так охотно не признают себя компетентными, ни о чем не принимают судить и рядить с такою беззастенчивостью. Чувствуете ли вы, читатель, к каким чудовищным результатам может привести подобная развязность и как тяжело должно быть положение умственного труда в виду ценителей, которые к воровству (на что уж, кажется, грех капитальный и общепонятный!) подходят с большею осторожностью, нежели к работе мысли!

Повторяем: ближайшее средство освободить литературу от подобных невежественных набегов заключается в том, чтобы отдать ее под защиту легальности, поставив притом эту последнюю в независимое положение от тех опасений, под гнетом которых томится мнение масс. Но для того чтобы легальность действительно могла считать себя свободною от примеси несвойственных ей элементов, необходимо, чтобы область ее действия была самым тесным образом ограничена, а не выражала собой лишь консолидированный произвол, и чтобы, во всяком случае, то, что составляет внутреннее существо мысли и что на общепринятом языке известно под именем «направлений», оставалось не подлежащим никакому другому суду, кроме суда литературы и науки. Этого требует не только рациональность, но и дальнейшие

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
судьбы человеческой мысли, с которыми тесно связано развитие народного гения.

Приведенные выше примеры прямо указывают на ту почву, на которой могут произойти столкновения между литературой и легальностью. Это почва благочиния, обязательного для всех вообще человеческих действий, приравнивающего проступки и преступления, совершаемые в сфере литературы, к проступкам и преступлениям, совершаемым во всех других сферах человеческой деятельности. Если признается возможным допустить, что поводом для преследования последних может служить только один признак – насилие и тот нравственный и материальный ущерб, который оно влечет за собой для общества или частного лица; если при этом, благодаря более очищенным юридическим понятиям, даже область так называемого «покушения» постепенно суживается до самых крайних размеров, то совершенно непонятно, почему подобного же рода взгляды не могут быть перенесены на литературу...

Возражения, которые обыкновенно делаются против такого приравнивания, можно разделить на три категории.

Во-первых, говорят, что мысль не представляет таких ясных признаков, какие легко можно отыскать в других человеческих действиях, и что поэтому оценка ее деятельности почти недоступна для обыкновенной легальности. Такого рода возражение исходит от алармистов, которые приводят его как доказательство, что подчинение литературы суду одной легальности равносильно ее безнаказанности. Странное дело! если принять это мнение за основательное, то придется прийти к заключению, что мнение улицы имеет больше средств произнести правильную оценку мысли, нежели легальность! Почему так? Да потому просто, что уличное мнение думает не столько о внешних проявлениях мысли, в которых может выразиться насилие, сколько о самом существе мысли, и только его и хочет настигнуть. Не умея формулировать признаки вредного проявления мысли и в то же время смутно чувствуя какую-то тревогу, оно проходит мимо проявлений и бьет самую мысль, говорит, что ее-то собственно и следует отдать на растерзание псам. Но допустим на минуту, что оценка преступлений мысли действительно представляет непреодолимые трудности – что же из этого может следовать? То ли, что мысль должна оставаться под контролем вечного недомыслия большинства? Нет, этого следствия отнюдь допустить нельзя, потому что опыт доказывает, что большинство способно только убить мысль, а не контролировать или направлять ее. Единственный вывод, к которому, в крайнем случае, могут дать повод упомянутые выше затруднения, есть следующий: если нельзя совершенно верно оценить признаки вредного влияния мысли на общество, то это значит, что ее вообще надо оставить в покое или что относительно ее следует действовать оружием равносильным, то есть оружием мысли же. Но это опасение, очевидно, преувеличенное, и юридическая практика всех стран самым положительным образом доказывает, что отношения легальности к литературе не только возможны, но и вполне осуществимы. Правда, что признаки литературных преступлений и проступков весьма немногочисленны, но они столько же реальны, как и признаки преступлений обыкновенных. Не они недоступны для легальности, а недоступно существо мысли, но в этом, конечно, заключается не опасность для общества, а самая существенная гарантия его прогресса.

Другое возражение выходит из того же лагеря и приводится в видах устрашения власти, на обязанность которой возлагается вчинение исков против всякого рода преступлений. Исходя из того же начала о трудностях, которые представляет верная оценка проявлений мысли, алармисты утверждают, что обязанность вчинения судебных исков против литературы сделается или совсем невозможной, или в высшей степени рискованной. Поэтому, заключают они, может произойти что-нибудь одно: или преследующая власть будет робка в своих действиях, или же она будет подвергаться непрерывным неудачам и в конце концов подорвет свое собственное достоинство. Такого рода воззрения на положение власти в обществе весьма в ходу между нашими уличными философами; удачи и неудачи власти ценятся не пропорционально недостигнутому ею добру, а пропорционально недостигнутому злу. Никому не приходит в голову, что люди власти находятся под действием тех же законов, под действием которых находится и все остальное, живущее в обществе; что они, как и все другие люди, действуют в известных пределах, которые не расширяются по желанию; что на них лежат определенные обязанности, исполнение которых мотивируется совсем не удачами или неудачами, а самым значением слова «обязанность», и что, наконец, если удача не есть неизбежное дополнение обязанности, то, стало быть, и неудача не заключает в себе ничего постыдного и подлежащего осуждению. Никому не приходит в голову, что для преследующей власти самая неудача все-таки гораздо сноснее, нежели даже удача для преследуемого

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru субъекта. Преследующая власть, потерпев неудачу, может утешиться удачами последующими и, во всяком случае, не имеет повода особенно огорчаться неуспехом, так как он не затрагивает лично никого из ее органов. Напротив того, для обвиняемого субъекта самая удача есть лишь меньшее зло, во всяком случае повлекшее за собою и потерю времени, и необходимость бороться против призрачных обвинений, и те нравственные страдания, которые всегда влечет за собою неизвестность исхода. Ничего подобного не приходит в голову возражателям-алармистам, которые не затруднились бы, пожалуй, целый мир привести на скамью обвиненных, лишь бы власть считала за собою лишнюю победу. Но власть, конечно, не имеет никаких оснований пугаться подобных предостережений; она выше соображений об ожидающих ее удачах или неудачах и делает свое дело не для того, чтоб удивлять мир победами, а для того, чтобы удовлетворить той обязанности, которую возлагает на нее закон. И ежели неуспех может повредить ей во мнении толпы (обыкновенно обвиняющей власть не за то, что она напрасно преследовала, а за то, что не сумела, дескать, преследовать), то это такого рода вред, который она может перенести, не почувствовав даже его тяжести.

Наконец, третье возражение представляется людьми совершенно противоположного лагеря и заключается в том, что, как бы мы ни старались ограничить область легальности в ее отношениях к литературе, признаки, которыми мы обозначим эти границы, никогда не могут быть настолько ясны, чтобы в более или менее короткое время не дать доступа для разъяснений более широких и имеющих тот же характер произвольности, которым страдает и мнение улицы.

Каким образом, например, воспрепятствовать, чтобы в иронии, в страстности выражения, даже в самой строгости и последовательности доказательств не усматривалось чего-то похожего на насилие? Каким образом доказать, что это не более как формы и орудия мысли, обвинять которые столь же мало основательно, как обвинять, например, синтаксис, просодию и т. п.? На это возражение, весьма, впрочем, основательное в своем существе, мы можем сказать одно: мы предъявляем наши претензии относительно обеспечения успехов литературы только в пределах возможного. Мы отнюдь не защищаем необходимости обвинения в каком бы то ни было случае, а становимся на точку зрения его неизбежности. Сверх того, в этом случае, довольно значительно облегчающее обстоятельство, по нашему мнению, может представлять та драгоценная гарантия, которую приобрела в последнее время русская жизнь. Это гарантия, обязывающая, с одной стороны, поддерживать обвинение ясными доказательствами, а с другой стороны, дающая возможность возражать против этих доказательств и опровергать их.

Таким образом, несмотря на возражения, оказывается, что выход к легальности (не экстраординарной, а обыкновенной) есть все-таки наиболее рациональный и наиболее обеспечивающий литературу от случайностей в будущем. Но, кроме того, он представляет и другую выгоду: не отнимает последнего утешения у тех, которым слишком тяжело было бы сразу расстаться с сладостным правом обвинения.

И в самом деле, нельзя же и их оставить без занятия. Свобода дается не сразу, а постепенно, – это правильно и понятно, а залогом такой постепенности именно и служат эти драгоценные люди, которыми, стало быть, пренебрегать ни в каком случае не следует. Мы и не пренебрегаем и даже не оспариваем принципа постепенности, который они представляют, но желаем только, чтоб он прикладывался ко всем направлениям одинаково, или, лучше сказать, не к самым направлениям, а к фактам, в которых они выражаются. Люди, видящие в литературе собрание всякого рода ядовитых и воспламенительных материалов, могут беспрепятственно оставаться при своих воззрениях – на то и свобода, чтобы даже нелепости могли ею пользоваться, – но пускай эти воззрения ни для кого не имеют ни обязательной, ни даже тревожащей силы. Пусть возможность обвинять литературу остается во всей своей неприкосновенности, но пускай обвинение выйдет из области «направлений», которой оно до сих пор упорно держалось, и вступит в область легальности и фактов. Пускай обвинители обвиняют по-прежнему, но пускай они стараются, пусть в поте лица снискивают хлеб свой. наговорить кучу грубостей и ругательств сплеча – это совсем даже и не блестящее дело, а вот блестящее будет дело, когда господа обвинители, не говоря ни грубости, ни пошлости, разберут вредоносные свойства литературы по ниточке и докажут... что она совсем ничего вредоносного в себе не заключает.

Вот мысли, на которые навело нас чтение книги «Свобода речи, терпимость и наши законы о печати». В заключение, чтобы ближе познакомить читателя с взглядами автора на дело литературы, считаем нелишним привести здесь то место его

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru сочинения, где он разбирает закон, имеющий предметом преследования за «возбуждение вражды в одной части населения против другой или в одном сословии против другого».

Слова «возбуждение ненависти и презрения», собственно говоря, вовсе не могут быть употребляемы, как юридические термины, в особенности в уголовном праве. Что такое ненависть и презрение, чем они возбуждаются? Пусть мне кто-нибудь даст на это юридически точный ответ. Ответ такой невозможен; так не варварство ли наказывать на основании закона, о котором не можешь себе составить даже точного понятия? Мало этого, для того, чтобы какой-нибудь поступок был преступлением, необходимо требуется основными понятиями юриспруденции, чтобы преступная цель поступка была вполне достигнута, а чтобы наказать за покушение на преступление – необходимо, чтобы преступником было совершено такое действие, которое без всяких натяжек и догадок неизбежно привело бы к преступной цели. Судья, который основывает свое решение на вероятных намерениях преступника, – это турецкий паша, герой произвола, а не европейский юрист. Кто подсыпал сахару в питье, воображая, что он подсыпает мышьяк, не может быть осужден, как покусившийся отравитель, потому что в этом случае решение пришлось бы основать на вероятной догадке, что обвиненный хотел совершить преступление, а догадки не могут служить основанием решения; чтобы человека признать покусившимся отравителем, необходимо, чтобы он дал выпить вещество, которое есть яд, на основании бесспорных данных науки. Чтобы осудить человека за возбуждение ненависти и презрения, необходимо, чтобы чувства эти действительно были возбуждены сочинением. Обвинитель должен представить в суд лиц, в которых чтение сочинения породило к кому-либо ненависть и презрение, и доказать, что порождение этих чувств было действительно целью автора. Чтобы осудить за покушение возбудить ненависть и презрение, необходимо, чтобы было доказано, что сочинение неизбежно произвело бы ненависть и презрение в своих читателях, непременно дошло бы до них и было бы ими прочитано, если бы намерение автора не было разрушено независимо от него. Все это должно быть доказано не какими-нибудь догадками или вероятностями, а данными бесспорного научного достоинства. Психология не дает нам никаких бесспорных научных данных, которыми мы могли бы руководствоваться при определении того, что возбуждает чувства ненависти и презрения, а юриспруденция возмущается мыслью осуждения человека к наказанию на основании догадок и вероятностей. Стоит вспомнить о средневековых приемах доказательства, о людях, сожигаемых за колдовство и пр., чтобы понять, какое большое место для юриста осуждение по догадкам и вероятностям..

С этим, конечно, невозможно не согласиться. В самом деле, каким образом привести в суд лиц, в которых чтение сочинения «возбудило к кому-либо ненависть и презрение»? Ведь таким образом, кроме сочинителя, придется, пожалуй, судить и самих свидетелей, в качестве совращенных? да и как обвинять? ведь для того чтобы обвинять с сознанием, надобно, чтобы сам обвинитель испытал на себе вредоносное действие сочинения, то есть ощутил ту ненависть и то презрение, которое оно к кому-либо порождает? Но ежели это так, ежели обвинитель действительно ощутил на себе это действие – может ли он обвинять?..

Вот заколдованный круг, из которого никогда не выходят и не могут выйти никакие обвинения, имеющие в своем основании преследование «направления».

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ

«Наши охранители и наши прогрессисты» В. П. Безобразова

(«Русский вестник», 1869 г., октябрь)

Скажи, кто ты?

«Руслан и Людмила»

(опера)

Г-н академик Безобразов начинает свой новый труд рассказом довольно замечательного свойства. Дело идет о нескольких стах крестьян отдаленных губерний, вовлеченных «разными льстивыми словесными обещаниями заподряжавших лиц», а равно и собственной «безграмотностью и доверчивостью», к заключению с одним из предпринимателей железнодорожного дела таких условий, которые, по словам автора, оказались и «противозаконными по своему содержанию и возмутительными по своим последствиям». В общих чертах, смысл этих условий таков, что подрядчик выговорил в свою пользу не только право назначать заработную плату «по своему усмотрению», но и право суда над рабочими в таких

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru преступлениях (воровство), которые подлежат ведению общих судов. Из этого вытекло, во-первых, то естественное последствие, что «после двух-трех месяцев тяжелой работы рабочие по счетам хозяина не только не имели получить ничего за свою работу сверх путевых издержек и задатков, [111] но оставались перед ним в значительных долгах», и, во-вторых, то, что «по истечении трех месяцев рабочие не могли добиться, по какой цене они работают».

Само собой разумеется, что такой оригинальный способ производства ценностей мог быть выгоден лишь для одной из заинтересованных сторон, а именно для подрядчика. Последний, конечно, имел полное основание быть довольным, ибо ему представлялся случай не только исполнить даром контрактные работы, но еще получить некоторую прибавку в виде налагаемых на рабочих штрафов за прогульные дни, за порчу инструментов, за грубые слова и т. д. Но рабочие взглянули на это дело иначе и после многих колебаний и проволочек обратились с жалобой к мировому судье. Вот тут-то именно и случилось то, что неизбежно случается во всякой судебно-административной драме, в которой с одной стороны, в качестве действующего лица, является предприниматель, а с другой стороны – рабочие. Первый всегда единоличен и потому объясняет свою претензию складно, без шума, не торопясь. Если по рассмотрении этой претензии она и окажется неосновательной, то дело могут решить не в его пользу, но ни в каком случае не назовут его ни дерзким, ни нахалом, ни бунтовщиком. Напротив того, рабочий почти никогда не является на суд в одном лице, а всего чаще рекомендует себя в виде целого легиона. В этом заключается, однако ж, очень большое неудобство, ибо людям робким при виде этого легиона всегда мерещится ежели не настоящий бунт, то, по крайней мере, попытка к бунту. Точно то же померещилось и в случае, описываемом г. Безобразовым. Когда толпа в сто пятьдесят человек явилась на улице, то робкие люди «сейчас подняли крик, что рабочие бунтуют, и начали осаждать мирового судью требованиями об усмирении бунта».

Дальнейшее движение этого дела очень любопытно. Первый мировой судья (почетный), у которого разбирался спор, во всем виновил рабочих и даже положил взыскать с них по 1 руб. 50 коп. за самовольное оставление работ («то есть за приход к мировому судье с жалобой», – прибавляет г. Безобразов, не знаем, серьезно или на смех); подрядчика же обязал только объявить рабочим в течение трех дней цены, по которым они работают. Как ни мало удовлетворительно это решение, однако рабочие подчинились ему, то есть начали работать; но подрядчик все-таки продолжал секретничать и цен не объявлял. Тогда рабочие стали уже отказываться от работы и потребовали выдачи паспортов. Появилось сознание права, которое было переведено словом «бунт»; выступила вперед полиция, «усилив себя местной военной командой», и «заставила несчастных людей работать под страхом ружейных выстрелов». В промежутках этих действий полиции рабочие узнали, что существует мировой съезд, и подали туда жалобу на решение мирового судьи. Съезд отменил решение и передал дело другому судье. Последний решил дело так: 1) подрядчик обязывается в течение трех суток выдать паспорта рабочим и рассчитать их по совести; 2) если он этого не исполнит, то рабочие могут обратиться снова к судебной власти...

«Но даже и эта мировая сделка, – продолжает чувствительный автор, – на которую рабочие согласились по чрезвычайному своему мягкосердечию, не была исполнена подрядчиком, который сам ее предложил и подписался. Паспорты рабочих пришлось получать не иначе как принуждением, посредством исполнительного листа, а расчет будет снова производиться судебным порядком, и можно даже сомневаться, чтобы рабочие когда-нибудь получили какое-нибудь вознаграждение за свою работу».

Последние подчеркнутые нами слова до того безнадежны (и, прибавим от себя, легкомысленно-бездоказательны), что едва ли самый «беззаветный свистун» (так именует г. Безобразов, на своем академическом языке, русских прогрессистов) решится написать их. Но в том-то ведь и дело, что настоящие «беззаветные свистуны» обитают совсем не там, где их, по преданию, ищут, а там, где они находятся в действительности, то есть в тех убежищах, где изготавливаются бесплодно-свистопляшествующие статьи о китайских ассигнациях, о мерах к распространению пролетариата и т. д.

Как бы то ни было, но факт, представленный г. Безобразовым, такого рода, что непременно требует заключения. Первое и непосредственное заключение, какое по прочтении этого рассказа должно представиться уму всякого непредубежденного читателя, формулируется так: может ли быть названо удовлетворительным положение, в котором рабочий, проработав три месяца в самых тяжелых условиях, в конце концов обязывается возвратиться домой не только без всякого вознаграждения за свой

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru труд, но даже и без надежды на оное?

Ответ на подобный вопрос может быть только один: нет, подобное положение удовлетворительным названо быть не может. Такой именно ответ дает и Г. Безобразов. Нет нужды, что тотчас вслед за сим он позабудет об этом ответе и отречется от него: в первую минуту истина до того поражает его своею ясностью, что иного ответа он дать не в силах. Рассказанный факт возмущает его до глубины души, и он не без раздражения отзывается о тех, которые могут к подобному вопиющему делу относиться иначе. «Нам говорили, – с горечью повествует он, – что крайне вредно объяснять русским рабочим, что они плохо живут, что они должны бы иметь лучшую обстановку своего быта». И далее: «Если бы и появились (между рабочими) неправильные желания относительно освобождения от исполнения законных контрактов, то разве такие же точно желания не бывают и в кругу самых образованных людей, помогающих нарушить невыгодные для них договоры? Разве подобные недобросовестные домогательства служили когда-нибудь поводом к отказу в правосудии по другим, законным домогательствам? Разве не желательно, чтобы в среде рабочего класса преуспевали законность, гражданское сознание своих прав и обязанностей, чтобы он научился опытом различать между трудом, налагаемым на него по противозаконному и по законному принуждению?» [112] Вот как беззаветно рассуждает Г. Безобразов, выказывая себя в этом случае совершеннейшим нашим сопрогрессистом и сосвистуном.

Но заключением столь простым вполне удовлетвориться все-таки невозможно. Сознавши неудовлетворительность известного положения, человек непременно будет искать выхода из него. Как бы ни был прогрессивен прогрессист или беззаветен свистун, но и он не лишен способности испытывать сущность вещей и идти несколько далее первых, непосредственно представляющихся уму вопросов. Может быть, найдутся внешние обстоятельства, которые помешают ему предложить по этому поводу «какую-нибудь совокупность государственных мер» (ниже мы увидим, что отсутствие такого рода предложений составляет один из упреков, делаемых Безобразовым свистунам-прогрессистам), но что он непременно спросит себя: какой тут может быть выход? – это не подлежит никакому сомнению.

Совершенно иначе взглянул на это дело Г. Безобразов. Оказывается, что он рассказал всю приведенную выше историю просто на смех, ради ее шикарности и пикантности. Это даже совсем и не история, а аллегория, которую он завел для того, чтоб привлечь к своему беззаветному суду «наших охранителей» и «наших прогрессистов», и о которой он тут же немедленно и забывает. Но каким же, по крайней мере, образом он связывает эту аллегория с действительным предметом своего исследования? Каким образом может быть по поводу ее заведена речь, например, хотя о прогрессистах, которых уже ни в каком случае нельзя заподозрить в равнодушии к рабочему классу? Станет ли автор обвинять их в подстрекательстве и в возбуждении рабочих к неповиновению? Или, напротив, обвинит их в постыдном равнодушии, скажет: вот что у вас под носом делается, а вы, называющие себя прогрессистами, стоите и хлопаете глазами?

Напрасные догадки. Органической необходимости привлекать к этой истории кого бы то ни было не существовало. Причина одна: погоня за шикарностью и пикантностью, то есть повторение того же явления, которое породило «Китайские ассигнации», «Меры к распространению пролетариата» и проч. Г-н Безобразов (мы говорим это совсем не на смех, а с глубоким прискорбием) принадлежит к числу тех круглописцев, в сочинениях которых никогда не замечается внутренней связи, а существует лишь связь внешняя. С одной стороны – то, с другой стороны – то, а в середине – ничто, с целою свитой «конечно», «смеем думать» и т. д.

Г-ну Безобразову понадобилось выразить следующую шикарную мысль: наши прогрессисты и наши охранители, несмотря на взаимное недружелюбие и даже ненависть, в сущности имеют одни и те же воззрения. С натяжкой и некоторой дозой недобросовестности (то есть придерживаясь исключительно внешних признаков сходства) такую мысль поддерживать можно. Но, к несчастью автора, у него в запасе оказалась история о бедствиях рабочих на одной из строящихся железных дорог. История эта совершенно противоречит его основному намерению, но она так пикантна, что почтенный академик не может сыскать себе покоя, покуда как-нибудь не обнародует ее. Каким образом связать с нею прогрессистов и охранителей? Доказать, что обе эти партии, по существу, смотрят на нее одинаково, – это нелепость, которая бросается в глаза с первого раза. Сказать, что обе партии смотрят разное, – это не удовлетворит второй задаче, шикарность которой именно в том и заключается, что и охранители и прогрессисты, в сущности, составляют одно

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru целое, расколовшееся лишь вследствие недоразумений. Как выйти из этого положения? – очень просто: взять, рассказать одну историю, потом забыть об ней и начать рассказывать другую историю. Так г. Безобразов и поступил.

Идея заставить две противоположные партии исповедовать одни и те же убеждения, несмотря на свою шикарность, далеко не нова. К подобным приемам обыкновенно прибегают публицисты, которые в исследованиях своих не идут далее внешних признаков явления и которые с ребяческим, а быть может, и с недобросовестным изумлением останавливаются на том, что люди разных убеждений могут говорить на одном и том же языке, употреблять одни и те же выражения и быть недовольными одним и тем же фактом. Поэтому мы и не останавливаемся на этой пикантной мысли, а обратим наше внимание единственно на те еще более пикантные подробности, которыми она обставляется. При этом мы будем говорить исключительно о самих себе, оставляя в стороне «охранителей» и даже предполагаемое наше сходство с ними.

Начнем с того, что г. Безобразов усматривает в нашей литературе три партии: «охранителей» или «лжеохранителей», органом которых он считает газету «Весть»; «прогрессистов», органом которых предполагаются «Отч. записки», и, наконец, третью партию, которую автор нигде прямо не называет, но к которой, по-видимому, принадлежит сам. Признаки^[113] этой последней партии обозначаются так: 1) она состоит из лучших представителей здоровой общественной среды, которые не принадлежат ни к какому кружку, ни к какому знамени, кроме знамени России и ее обновления, и 2) главное занятие ее состоит в твердой вере в прочность совершающегося перед нами дела и в зорком наблюдении за неблагонадежными материалами и неблагонадежными понятиями («Русск. вест.» № 10, стр. 786).

Откровенно говоря, мы не совсем понимаем, зачем понадобилось г. Безобразову окрестить нас названием прогрессистов. Конечно, если мы будем следовать только буквальному, действительному значению этого слова, то не увидим в нем ничего предосудительного. Что такое прогрессист? Это человек добра, человек, верящий в непрерывное нравственное и материальное преуспеяние общества. Против такого толкования протестовать было бы нелепо. Но в том-то и дело, что некоторые слова, кроме действительного значения, имеют еще значение искусственное, придаваемое им озорством и недобросовестностью и с изумительною легкостью усваиваемое практикою. В этом последнем толковании слово «прогрессист» имеет смысл не всегда безопасный, ибо означает по преимуществу «непризнание» и «разрушение», как качества, противоположные тому «признанию» и «созиданию», которые составляют существенный признак так называемых охранителей. Не может подлежать сомнению, что г. Безобразовым это выражение употреблено именно в этом смысле; но мы позволяем себе думать, что если даже он прибегнул к подобному приему только ради его шикарности, то и в таком случае ему надлежало бы воздержаться от него, ибо там, где начинаются пределы действия полицейского, не должно быть места для шикарности.

Мы, с своей стороны, полагаем, что в России существует только одна партия – охранительная. Но так как на дело охранения могут существовать различные точки зрения, то и в этой единой и сильной партии естественным образом намечаются некоторые оттенки, разнствующиe между собою во взглядах на существо охранения. Таких оттенков мы, подобно г. Безобразову, замечаем три. Один из них на всякий успех в жизни общества смотрит с недоверчивостью, как на шаг в область неизвестного, долженствующий расстроить те отношения, которые окрепли и выработались в прошедшем. Но, не будучи в состоянии не признать силы совершившегося факта, люди этого оттенка употребляют все усилия, чтобы, по крайней мере, сделать как можно более короткими те звенья, которые связывают настоящую минуту с предшествующей. Такого рода охранителей можно назвать – охранителями ретроспективными. Другой оттенок – охранители современности, которые современную минуту считают минутою окончательною, современное дело – делом окончательным, забывая при этом, что и минута предшествующая также когда-то считалась минутою окончательною. Эти охранители относительно людей третьего оттенка играют ту же роль, какую играют охранители первого оттенка относительно них. Наконец, охранители третьего оттенка суть те, которые думают, что творческая сила жизни не прекращается, что дело новое и благотворное представляет собой успех не только как упразднение заблуждений и ошибок предшествующей минуты, но и как свидетельство непрерывности преуспеяния вообще, обещающее в будущем не застой, а развитие и совершенствование. Охранители этого оттенка суть охранители по преимуществу, то есть люди, которые познали тщету поставляемых жизни преград и потому полагают, что искусственное построение

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru таковых может привести общество только к вредным и нежелательным потрясениям.

Вот три партии, которые мы видим в нашем отечестве. И все эти партии, то есть люди, к ним принадлежащие, суть не враги России, а верные ее подданные, что отнюдь не следует забывать публицистам, слишком легко вступающим в полемику с своими собратиями.

Виноваты, мы забыли еще третью <четвертую>, очень многочисленную партию. Это партия баламутов и несносных болтунов, которые назойливо втираются во всякое дело и никогда не могут свести концы с концами, которые не знают над собою другого ига, кроме ига грамматики и правописания, которые, выйдя из данного пункта, постоянно приходят к заключениям, прямо противоречащим ими же высказанной основной мысли. Но эта партия может быть любопытною только в психологическом смысле, политического же значения она никакого не имеет, а потому мы и оставляем ее в стороне.

О людях первой партии мы говорить не будем, так как указываемый г. Безобразовым орган ее, газета «Весть», конечно, сам сумеет объяснить действительный смысл обращаемых к нему инсинуаций.

Людей второй партии, к которой причисляет себя и автор разбираемой статьи, мы понимаем так, как они определены нами выше, то есть как охранителей современной минуты без всякого отношения (или, во всяком случае, с весьма слабым отношением) к прошедшему или будущему. Но так понимать, как определяет их г. Безобразов, мы затрудняемся. Прежде всего, определение его кажется нам слишком обширным и потому ничего, собственно, не определяющим. В самом деле, какое может иметь значение партия, которая заявляет себя «не принадлежащую ни к какому кружку, ни к какому знамени, кроме России и ее обновления»? Что можно найти в этом определении, кроме темного общего места, сказанного «на смех»? Что такое «знамя России»? – это такое выражение, которое, во всяком случае, нужно наполнить каким-нибудь содержанием, чтобы оно было понятно и предстояла материальная возможность об нем говорить. Если под этим выражением разуметь любовь к отечеству, то совершенно непозволительно, что находится такая партия, которая берет это чувство в исключительное свое заведование. По крайней мере, пишущий эти строки может заверить, что и он, и, конечно, редактор «Вести» г. Скарятин любят свое отечество не менее пламенно и не менее сознательно, нежели сам г. Безобразов. Затем, что такое «знамя обновления»? – это тоже выражение, которое необходимо чем-нибудь наполнить, чтобы оно было понятно. Всякий мыслящий человек желает и призывает обновление (нельзя же думать, что это привилегия одного г. Безобразова), – но всякий желает его с своей точки зрения, и притом не слова только, а действительного дела. Одни смотрят на эту задачу робче и нерешительнее, другие смелее и нетерпеливее. Необходимо выразить не мутными и ничего не значащими, а совершенно определенными словами, о каком обновлении идет речь и что в этом выражении заключается. Например, ежели вы рассказали историю о рабочих, не получивших расчета от железнодорожного предпринимателя, для того, чтобы вывести заключение, что такого рода порядки требуют обновления, – мы будем с вами согласны. Если же вы рассказали это только ради смеху, чтобы показать читателям, что в этом-то именно и состоит «обновление», то мы с вами не будем согласны. В том-то и дело, что надо наконец понять, что всякое выражение должно иметь смысл непререкаемый, ибо только тогда слово перестает быть медью звенящею и дает возможность для споров и обсуждений. И смеяться-то ведь надо со смыслом, а не только в силу одной бессовестной смешливости, как смеялся некоторый гоголевский лейтенант.

С другой стороны, определение г. Безобразова кажется нам уже слишком специальным. Обязанность «строго следить за неблагонадежными материалами и неблагонадежными понятиями», которую он возлагает на людей своей партии, есть обязанность непосильная и могущая увлечь ее в сферу совершенно ей чуждую (по крайней мере, в смысле литературном). Мы желали бы, чтоб здесь слово «неблагонадежность» было заменено словами: «неправильность» или «неверность». Неправильно смотреть на то или другое дело – вещь очень обыкновенная (*errare humanum est*[114]). В виду подобного факта, всякий правильно мыслящий человек, конечно, обязан неправильно мыслящего вразумить и наставить (что сим нами и исполняется), – но этим обязанности его и исчерпываются. Совсем другое дело – неблагонадежность. Неблагонадежность в деле литературы – ведь это преднамеренная агитация, это призыв к непризнанию установленных властей, к неповиновению им. Где, в какой русской литературной партии можно найти подобный чудовищный факт? – конечно, нигде! Ни на что подобное не укажет г. Безобразов, если б даже он и был

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru в состоянии проводить свои обвинения с самой строгой последовательностью. Зачем же понадобилось ему это несчастное, не имеющее никаких применений слово? Увы! Оно ему совсем даже не надобилось; оно сказалось просто, в одну из тех смешливых минут, когда требования шикарности и пикантности неудержимо становятся впереди требований простого здравого смысла справедливости. Ведь сказалась же история о рабочих – для чего сказалась?..

Затем, остается третий оттенок охранительной партии, определение которому также дано нами выше. Но г. Безобразов, окрестив людей этого оттенка наименованием «прогрессистов», нашел в этом прозвище самый естественный исход для своей природной смешливости.

Признаки, которые, по мнению его, характеризуют так называемых прогрессистов, суть следующие:

I. Невозможно уразуметь, серьезно или на смех они говорят. Самый естественный ответ на такое положение, по нашему мнению, есть следующий: ежели человек чего-нибудь не понимает, то он не должен о том и говорить. Так, конечно, и поступил бы г. Безобразов, если бы он предпринял свой новый труд не ради одного смеха, и мы могли бы только похвалить его в этом случае. Мы сказали бы: вот человек, который не понимает, но зато он настолько скромнен, что и не говорит о том, что ему недоступно. На этом бы дело и покончилось.

Но очевидно, что упомянутые выше слова сказаны г. Безобразовым опять-таки только ради одной пикантности и что, в сущности, ежели он действительно не понимает того, о чем говорят, то, во всяком случае, старается понять.

«Прогрессисты, – пишет он, – совсем не так страшно смотрят на все окружающее, как это кажется, и потому гораздо уживчивее, чем всякие охранители. Известно, что самые свирепые Базаровы, по собственному их признанию, вполне примиряются со всякою средою, если только получают в свое неограниченное распоряжение, для своих безжалостных секций, достаточное количество лягушек; надо надеяться, что не скоро истощится запас этих животных. А до тех пор мы можем с полным спокойствием смотреть на действия этих не слишком опасных инстинктов разрушения. Впрочем, сама публика уже свыклась с приемами «новых людей», и они уже не кажутся ей так страшны, как в былое время, тем более что, благодаря господствующему в прогрессивной печати тону, публика всегда, в самые трагические минуты негодования прогрессистов, может недоумевать, серьезно или на смех они говорят. Сатирический элемент занимает такое видное место в нашей прогрессивной литературе, что ее веселость смягчает ее нравы и удобряет самые злые ее вдохновения».

Что вся эта выдержка есть не что иное, как явный бунт (с оружием в руках) против здравого смысла – это доказано будет нами ниже; теперь же обращаем внимание читателя на тон выдержки. Читая ее, можно подумать, что так говорит знаменитость вроде Гумбольдта или Гегеля, у которой накопилась в сердце боль от слишком далеко зашедших школьничеств разрезвившихся учеников. Увы! таково печальное положение русской литературы, что этот тон позволяет себе брать г. Безобразов, то есть публицист, который на следующей странице забывает, что он сказал на предыдущей, который сам не умеет достаточно оправдать повода, который заставил его взяться за перо, который в состоянии написать около ста страниц убористой печати и ничего другого не высказать, кроме бесплодных поисков за шикарностью и пикантностью. Ужели это не безотрадное явление? Ужели не будет пределов этому бесконечному самохвальству и самозванству? Ужели мы навсегда осуждены на выслушивание громов, неизвестно откуда гремящих?

Но постараемся опознаться в этом взбаламученном море круглописания, постараемся помочь автору понять его собственную мысль. Очистив выписанную выше тираду от ее смешливой серьезности, мы увидим, что она заключает в себе четыре предложения: а) что прогрессисты совсем не так страшны, как это кажется; б) что они охотно примиряются со всякою средою, лишь бы эта среда доставляла достаточное количество лягушек для их безжалостных секций; в) что запас лягушек истощится еще не скоро и г) что сатирический элемент значительно смягчает нравы прогрессивной литературы.

Что люди, которых г. Безобразов называет прогрессистами, не страшны – в этом ничего нет удивительного, а тем более представляющего повод для насмешки. Страшны (в смысле угрозы для общества) насилие и грубость, страшно самодовольное

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru ничтожество, которое ни о чем не хочет слышать, ничего не хочет знать, кроме самого себя. Иногда это ничтожество взбирается на высоту и оттуда с беззаветной смешливостью, а иногда и с преднамеренной недобросовестностью кидает направо и налево пустозвонными обвинениями. Тогда действительно становится страшно за все живущее и мыслящее. Ничего подобного, разумеется, нельзя ожидать от прогрессистов, то есть людей добра, желающих нравственного и материального преуспеяния общества. Их свободно можно назвать не только не страшными, но даже и не сильными. Они составляют в обществе такое меньшинство, которое должно употреблять почти сверхъестественные усилия, чтобы заставить хоть отчасти выслушать себя. Натравить на это меньшинство толпу ничего не стоит, потому что для этого нужно только обратиться к некоторым темным инстинктам, которые всегда процветают в изобилии. Быть гласом, вопиющим в пустыне, повсюду встречать самый грубый *fin de non recevoir*[115] – это история, преемственно повторяющаяся и, конечно, очень мало соблазнительная. Все это так, все это суцая, хоть и весьма неприглядная правда, но трудно понять одно: где же тут повод для смешливости?

Что «прогрессисты» легко сживаются со всякой средой, в изобилии производящей лягушек, – это тоже явление успокоительное; но для чего приплетены сюда лягушки, где смысл этого загадочного речения – это опять-таки можно объяснить одну шикарностью, одним желанием мудрости академическую подкрепить мудростью тургеневскую. Опыты над лягушками производятся не со вчерашнего дня и притом вполне независимо от прикосновенности или неприкосновенности к ним российских «прогрессистов». Эти опыты, как известно, привели к очень полезным практическим и научным результатам, которыми воспользовались не только «прогрессисты», но даже и баламуты. Что же в этом смешного? и что в том презрительного, что люди предпочитают «уживаться с средою», производя невинные секции, нежели волновать общество по вопросу о выеденном яйце?

Что же касается до того, что запас лягушек не истощится, то это сказано весьма основательно. Мы убеждены в этом столь же твердо, как и в том, что никогда не истощится запас легкомысленных публицистов, над которыми точно так же легко «производить секции», как и над лягушками.

Наконец, нам следовало бы сказать нечто о сатирическом элементе, но претензия заставлять говорить писателей тоном идиллическим, лирическим, сатирическим и т. д. до такой степени наивна, что не стоит даже возражать против нее. Сатира узаконена всеми учебниками словесности, и всеми же учебниками словесности признано, что все роды литературной разработки жизненных вопросов хороши, кроме бессмысленного.

Таким образом, оказывается, что укоризна, обращенная к нам г. Безобразовым, может быть скорее применена к нему, нежели к нам. Читая его, конечно, легко понять, что то, что он говорит серьезно, должно возбуждать один смех, и напротив, то, что говорится на смех, может иметь довольно серьезные и даже им самим не предугадываемые последствия, но в результате дело все-таки сводится к тому, что он не понимает самого себя. Всякий человек, понявший какое-нибудь важное явление и приступающий публично к его разбору, прежде всего должен уяснить себе свои собственные отношения к рассматриваемому предмету. Но г. Безобразов даже этого не сделал; он не спросил себя, что с его точки зрения желательнее: чтобы прогрессисты были страшны или чтоб они были не страшны? Он сказал себе только: посмотрю, что за люди, называемые прогрессистами, и если они страшны, то закричу «караул», если же не страшны, то призову на помощь весь запас веселонравности, который во мне таится. Что за простота критических приемов! что за поразительная бесхитрость дилемм! Удивительно ли после этого, что «прогрессисты» примиряются, положим, не со всякою, а вот хоть с такою средою, которая допускает подобные приемы?

II. Преднамеренная безотрадность картин современности, представляемых прогрессистами.

Нащипав несколько литературной корпии из сочинений современных «охранителей», к которым впоследствии, ради шикарности, приурочиваемся и мы, г. Безобразов в негодовании восклицает:

«Читатель готов перекреститься, что он читает это сочинение внутри России, которая, по его непосредственным наблюдениям, еще не совсем разлагается, а не за границей, откуда он, прочитав эти мрачные строки, по всей вероятности, никогда не решился бы вернуться, если только в нем нет охоты быть свидетелем позора

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru своего отечества и заняться исключительно плачем по нем на груди его развалин!»

И далее:

«Окончательные и ближайшие результаты деятельности того и другого лагеря на литературной почве одни и те же: каждый по-своему силится подорвать доверие к новым общественным силам, только что получившим бытие благодаря условиям новой государственной эпохи».

Прежде всего, спросим себя, кто написал приведенные здесь строки. Их написал тот самый человек, который за несколько страниц перед тем нарисовал картину самого безнадежного бесправия, тот самый, который за минуту перед тем доказывал, что приведенный им пример бесправия не имел трагического выхода лишь по мягкосердечию одной из заинтересованных сторон. Но что может быть трагичнее этого мягкосердечия? Разве трагедия непременно должна кончаться побоищем? разве безмолвие во многих случаях не знаменательнее насилия?

Но г. Безобразов или позабыл об этом рассказе, или не сознал, для чего он ему понадобился. Он не понял, что он может быть уликой только для него самого, то есть выставить в полном цвете его собственное легкомыслие. Если б он обдумывал свои действия, то должен был или умолчать о виденном им случае, или же обратиться к «прогрессистам» и сказать: да, вы правы; хотя нынешние порядки неизмеримо выше прежних, но они все-таки далеки от идеального совершенства, и вот именно случай, которого они не могли вместить в себе и который доказывает, что реформы самые широкие и благодетельные подлежат развитию.

Вместо того г. Безобразов с самою бесцеремонною развязностью начинает уличать нас в тождестве с «Вестью», умышленно или наивно забывая, что ежели и мы и «Весть» рассматриваем одни и те же явления и ежели эти явления обоим органам одинаково кажутся не вполне удовлетворительными, то эта неудовлетворительность с нашей точки зрения совсем иная, нежели с точки зрения «Вести». Для чего могла понадобиться подобная подтасовка? – этого одного вопроса достаточно, чтоб смутить каждого. Несмотря на то что вся сила негодования автора, по-видимому, обращена не к нам, а к «Вести» (с нами он до некоторой степени пускается даже в снисходительное балагурство), нельзя не чувствовать, что «Весть» для него все-таки нечто вроде заблудшей овцы, которую он не отчаивается со временем обрести, и что спор между ним и этой заблудшей овцой совсем не существен, но раздут исключительно ложно понятием соревнованием, кому над кем начальствовать и под чьим предводительством на «прогрессистов» походом ходить. Не для того ли автор привлек нас, чтобы сравнением с нами постыдить «Весть»? Не для того ли он поставил нас на одну доску, чтобы сказать г. Скарятину и его сотрудникам: вы, которые покинули райские обитатели, оглядитесь, куда вы попали, и поспешите опять в рай!

Все это очень возможно, хотя мы и не беремся отвечать на эти вопросы вполне утвердительно. С своей стороны, мы можем только разуверить почтенного автора и сказать ему: а) что никому в райские обитатели вступать не препятствовали, хотя сами идти туда и не желаем; б) что во всех двадцати четырех книжках «Отеч. записок», изданных до настоящей минуты, наверное, не встретится картины настолько безотрадной, насколько безотрадна та, которую сплеча и вследствие одной необдуманности нарисовал г. Безобразов, и, наконец, в) что если даже из факта столь ясного, каким представляется рассказанная им история с рабочими, автор умеет делать выводы неосмысленные и беззаветные, то причина такого явления кроется уже в нем самом, а не в нас.

Затем, мы считаем совершенно излишним опровергать рассуждения г. Безобразова насчет «безотрадности» наших взглядов и насчет сходства их с взглядами «Вести». Пикантность этих ребяческих измышлений никого в заблуждение ввести не может и потому пускай всецело остается при авторе. Думаем, однако ж, что если в г. Безобразове уже так сильно желание «зорко следить» за чьею бы то ни было неблагонадежностью, то прежде всего он должен обратить свою подозрительность на самого себя.

III. «Прогрессисты» никогда не указывают не только на «какую-нибудь совокупность государственных мер», но даже на какое-нибудь направление их, которое могло бы удовлетворить их желаниям.

Прежде чем укорять кого бы то ни было из русских литераторов в отсутствии

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru инициативы относительно «какой-нибудь совокупности государственных мер», самая простая справедливость требует, чтоб был разрешен вопрос, в какой степени эта инициатива им доступна. Очень возможно, что это и заблуждение с нашей стороны, тем не менее мы совершенно искренно думаем, что русская жизнь и до сих пор разделена на довольно большое количество клеток или шестков, на которых как нельзя более вразумительно написано: всяк сверчок знай свой шесток. Да не подумает, однако ж, читатель, что мы желаем оправдаться или сознаваться; нет, мы настолько убеждены в том, что мы говорим, что считаем всякие оправдания и сознания вполне неуместными. Это правда – и больше ничего. Конечно, нам могут указать на сравнительно смелый и откровенный образ действий «Московских ведомостей»; но на это мы находим себя вправе ответить: как ни достойна уважения откровенность почтенной московской газеты, но мы все-таки не можем последовать ее примеру. Партия, которую г. Безобразов называет «прогрессивною» и которую «Москов. вед.» переименовывают уже в «лжепрогрессивную» (№ 245-й), существует не со вчерашнего дня, но ей почему-то никогда не случилось. Одни походы русской журналистики против нее в 1862 году практически стоили ей так много, что, очень может быть, даже и обессилили ее в значительной мере. Для того чтоб она высказалась определенно и без оговорок, нужно, чтоб в обществе, по малой мере, утвердилось мнение, что мысль человеческая, каково бы ни было ее содержание (мы говорим о мысли с точки зрения ее теоретического формулирования), не есть что-либо зазорное, и чтобы спор был возможен действительно в качестве спора, а не в качестве травли. Если даже теперь, когда г. Безобразов сам сознает скромное положение, занимаемое прогрессивною партией в нашей литературе, и когда мы, благодаря лишь этой скромности, имеем возможность дать ему отпор, он тем не менее не может воздержаться, чтоб не пустить ей несколько смешных слов в догонку, – то, конечно, его смешливости не было бы пределов, если б она была обеспечена полною безответностью с нашей стороны. Конечно, подобный бесцеремонный образ действия доказывает и большое легкомыслие, и значительную недобросовестность, и забвение всяких приличий, но иногда в самом воздухе бывает какое-то странное настроение, которое даже тяжелого на подъем человека приглашает порезвиться, и не ради чего-нибудь полезного, а ради одной шикарности и пикантности.

Повторяем: покуда у нас возможен не спор, а травля, мы ни на какую «совокупность государственных мер» указать не в силах, тем более что и разработка таковых мер принадлежит не нам, а министрам, сенату и Государственному совету. Конечно, мы знаем очень много людей, которые отнюдь не прочь помероприятничать, но, по нашему мнению, это люди, которые не понимают самой простой экономической истины, которая во всяком деле требует тщательного разделения труда и которая в России имеет особенную силу. Из всех занятий, какие существуют на свете, нам всегда казались наименее привлекательными занятия бесплодные, то есть такие, из которых, по обстоятельствам, ничего выйти не может, точно так же как из всех качеств, могущих определять человека, самым дурным и несносным – навязчивость. Видеть человека, который думает о себе, что он «везде поспел», и на этом основании готов во всякую минуту напрудить целый пруд всевозможными умственными объедками, украсив их именем «государственных мер», – ужаснее этого зрелища может разве представить зрелище другого человека, обязанного выслушивать этого везде поспевающего индивидуума...

На этом мы и покончим с г. Безобразовым. Во всей его статье, на протяжении целой сотни страниц, нет ни одной фразы, которая не втаптывала бы в грязь фразу предыдущую и фразу последующую. Это сплошная борьба, отчаянная борьба человека с самим собою, предпринятая даже без всякой надежды вывести из нее какой-нибудь назидательный смысл. Хочется и полиберальничать, хочется сказать «прогрессистам»: что вы там толкуете! вот послушайте-ка, что я расскажу! – но затем весь этот напускной пыл вдруг соскользает, и оказывается, что он тут так, ни при чем, спроста, что человек начал всю эту историю для того, чтоб изувечить самого себя...

Всего этого было бы, конечно, очень достаточно, чтоб избавить нас от разговоров с г. Безобразовым. К сожалению, редакция «Моск. ведомостей» нашла возможным (№ 245) сослаться даже на этот немислимый авторитет, как на что-то победоносное и разгромляющее. Явление это мы можем объяснить только недоразумением. Если б почтенная редакция с полным вниманием прочитала статью, о которой идет речь, то, конечно, убедилась бы, что это не более, как путаница, подобия которой трудно подыскать даже в нашей обильной всякого рода путаницами литературе..

ОДИН ИЗ ДЕЯТЕЛЕЙ РУССКОЙ МЫСЛИ *

(Тимофей Николаевич Грановский. Биографический очерк А. Станкевича,

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Москва. 1869 г.)

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ

Процесс, посредством которого либеральная мысль проникает в общество, сопровождается такими типическими признаками, которые повсеместно и во все времена повторяются с одинаковым постоянством. Самый существенный из этих признаков заключается в том, что мысль представляется нам действующей под покровом тайны, затемняемой множеством оговорок, окруженной со всех сторон враждебными элементами и сопряженной с значительными рисками и жертвованиями для ее представителей. Как ни ясны убеждения истории, доказывающей, что попытки либеральной мысли всегда были направлены единственно к тому, чтобы устранять различные недоумения, мешающие общественному развитию, что они всегда клонились к наилучшему устройству умственных и материальных (наиболее доступных пониманию большинства) интересов человечества, и что, наконец, они, во всяком случае, несмотря на противодействия, приобретали успех, и успех тем более спокойный и надежный, чем менее испытывалось противодействий, – установившаяся практика мало верит не только указаниям истории, но даже убеждениям таких фактов, которые случились у нее на памяти. На глазах ее проходят явления, которые вчера еще поражали своим либерализмом, а следовательно, и предполагаемую опасность, а сегодня уже сделались принадлежностью самого обыкновенного порядка вещей, но она и за всем тем остается при своем недоверии, обставляя его, для приличия, ссылками на несвоевременность, неподготовленность и т. д. Отсюда то прямое последствие, что, кроме чрезвычайной медленности, которую сопровождается укоренение цивилизующих идей в массах, до сих пор не выработано даже достаточно твердых рамок, в которых эти идеи могли бы спокойно формулировать себя и спокойно же выслушивать возражения. Почему-то предполагается полезным, чтобы мысль находилась в состоянии постоянной тревоги, чтобы она высказывалась не сразу, а только в размере сотой или тысячной доли, и чтобы в обществе царствовало умеренное невежество, в котором видится надежнейший залог его благополучия. Человек пытливый очень часто бывает несчастлив в жизни – практика подмечает это обстоятельство и, не вникая в его причины, выводит заключение, что истинное счастье состоит в возможно большем ограничении области знаний доступных и в возможно большем расширении области знаний, предполагаемых недоступными. Чтобы достигнуть этого счастья, да кстати привлечь к нему и соседей, которые, быть может, и не желают его, предпринимается целый ряд усилий, нередко имеющих очень чувствительное практическое значение.

Где кроется корень этой подозрительности? в исторических ли недоразумениях, которые составляют основной капитал всякой рутины, или в тех обобщениях, которые приносит с собой цивилизующая мысль и безграничная въедчивость которых не может не действовать устрашающим образом на неразвитые умы? – на эти вопросы может обстоятельно ответить только будущая история цивилизации человечества; но не подлежит сомнению, что недоверие к либеральной мысли принадлежит к числу тех непререкаемых фактов, которые представляют человеческому уму сами собой всякий раз, как он решается затронуть такие вопросы, которые освящены всемирным обычаем или просто обычаем какой-нибудь страны. Среди всеобщего господства рутины, дающей свободный приют всевозможным бессилиям, человек, вносящий в жизнь новую мысль, является в мнении масс не более как назойливою аномалией, стремящейся сдвинуть общество с наезженной колеи единственно ради удовлетворения личного болезненно развитого самолюбия. Призыв к сознательности считается на ряду с оскорблением; попытка анализировать данное положение становится чем-то вроде преднамеренного озорства, предпринятого не с тем, чтобы открыть обществу глаза, а с тем, чтобы породить в нем бесконечные волнения. Что нужды, что в конце концов от анализа все-таки никуда не скроешься, что он придет сам собою и будет тем неумолимее, чем внезапно произойдет его появление, – общественные массы слишком стеснены всякими насущными потребностями, чтобы так далеко простирали свою предусмотрительность. Даже и тогда, когда эта предусмотрительность приходит к ним со стороны, они смотрят на нее как на непрошеную помеху, которая отвлекает их от так называемых текущих интересов жизни и против которой никакие меры предосторожности не могут быть сочтены излишними.

Как бы то ни было, но на первых же порах, как только либеральная мысль вступает на арену деятельности, эта арена уже представляется ей стерегомой чем-то вроде зева чудовища, которое на каждом шагу угрожает поглотить деятеля. Опасности, с которыми приходится иметь дело, бесчисленны, но они все-таки были бы не столь непреодолимы, если бы приходили только извне, не затрагивая самой внутренней сущности мысли. Но в том-то и дело, что эти внешние опасности слишком скоро усложняют свой грубый характер множеством разного рода признаков чисто интимного свойства и приводят за собой целую свиту опасностей внутренних, с которыми

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru бороться уже гораздо труднее. Для примера укажем здесь на те из этих опасностей, которые имеют наиболее решительное влияние на успехи цивилизующей мысли. Опасности эти, по мнению нашему, заключаются, во-первых, в том, что изменяется самое содержание мысли; во-вторых, в том, что незаметным образом деятельное проявление мысли подчиняется такого рода приемам, которые значительно ослабляют ее влияние на общество, и, в-третьих, в том, что мысль постепенно изолируется и делается неспособною стоять на одном уровне с позднейшими успехами человеческого разума и понимать потребности той среды, к которой она обращается.

Что внутреннее содержание мысли может замениться другим, имеющим с ним очень мало точек соприкосновения, и даже на долгое время отодвинуться на задний план, – это объясняется тем, что одна из самых существенных потребностей мысли заключается в пропаганде. Пропаганда необходима не только в видах приобретения возможно большего количества прозелитов, но и в видах успокоения собственных колебаний мысли. Предоставленная исключительно самой себе или обращаясь в среде слишком однородной, мысль может достигнуть результатов болезненных, почти чудовищных. Таковы были некоторые проявления средневековой мысли, выразившиеся в религиозном фанатизме; таковы же проявления мысли в замкнутых корпорациях, почему-либо считающих себя отделенными от жизни, *extra muros*. [116] Целые поколения прозябают, довольствуясь скудной и, так сказать, загнившею духовною пищею, именно благодаря недостатку в освежении умственного материала, или тому, что освежение это происходит в пределах слишком ограниченной и исключительной среды. Но для того, чтобы пропаганда могла существовать не по имени только, необходимо сделать арену ее настолько свободною, чтобы вопросы и возражения формулировались во всем их объеме. Если одна из спорящих сторон имеет возможность высказывать свои положения без утайки, а другая высказывается только с примесью бесчисленного множества оговорок, то последствием такого рода обмена мыслей может быть лишь бесполезная трата времени. Отсюда то необходимое последствие, что первые шаги мысли неизбежным образом направляются к тому, чтобы обеспечить свободу действия и оградить от насильственных вторжений те рамки, в которых ей предстоит проявлять себя. Или, говоря точнее, первенствующее значение приобретает уже не действительное содержание мысли, а то, что по отношению к нему составляет не больше как побочное обстоятельство (инцидент). Это искусственное отвлечение лучших сил мысли к такому делу, которое важно лишь как вопрос регламентации, не только мешает своевременному выполнению главной задачи ее, но даже в значительной степени затемняет ее. Учение, имевшее в первоначальном своем источнике социальное или общефилософское основание, приобретает характер политический, совершенно ему чуждый. Одна задача или, лучше сказать, одно слово занимает все умы, это слово: свобода. Но что такое, в сущности, это слово? представляет ли оно какой-нибудь конкретный смысл? – Нет, оно имеет только значение рамок, которые необходимы для того, чтобы человечество без помехи и наилучшим образом могло обсудить и устроить свои интересы, но которые никак не могут служить сами по себе целью. Представьте себе какое-нибудь политическое или ученое общество, которое, вместо того чтобы разрабатывать те предметы, для обсуждения которых оно собралось, истощило бы все свои силы единственно на разрешение вопросов об устройстве и порядке своих заседаний, – что можно было бы сказать о таком обществе, кроме того, что оно пожертвовало своими прямыми целями в пользу вопросов, не имеющих никакого существенного значения? И вот, между тем, подобного рода препирательства, – только в громадных размерах, – идут от начала веков по поводу такого понятия, которого подразумеваемость во всяком деле должна считаться сама по себе непререкаемою истиною.

Нам скажут, может быть, что в настоящее просвещенное время, когда сфера политических прав постепенно расширяется, странно даже и говорить о каком-то непризнании принципа свободы. Но это странность только кажущаяся. Свобода, как принцип, действительно признается всеми, и все партии охотно пишут это слово на своем знамени, потому что привлекательность его освящена преданием. Но те же партии очень хорошо понимают и его растяжимость и знают, что оно ровно ни к чему не обязывает. Свобода в этих случаях принимается как нечто отвлеченное, совершенно независимое от того содержания, которым она наполняется. В этом смысле ее допускают действительно очень охотно. Но как только содержание начинает идти в разрез с господствующими мнениями и предрассудками, то никому не кажется ни предосудительным, ни нелогичным противодействовать ему не только путем доказательств и опровержений (против чего невозможно и протестовать), но и путем самой простой травли. Самый принцип свободы при этом представляется нетронутым, ибо он заслоняется тем содержанием, которое его наполняет; кажется, что попирается в этом случае не свобода, а то учение, которое благодаря ей

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru увидело свет и которое в данную минуту почему-либо считается неблагоприятным. Какой-нибудь мудрец московского Зарядья засел в свою мурию и протестует оттуда против непреодолимого хода человеческой мысли. Он ничего, собственно, не опровергает, а только цитирует и отдает на поругание; но спросите его, думает ли он при этом надругаться над принципом свободы мысли и слова, – нет, он представит вам тысячу доказательств, что слово «свобода» точно так же дорого для него, как и для вас, что он никогда и не предполагал ругаться над ним... Отчего же он, однако ж, на каждом шагу попирает его? а оттого просто, что он не понимает или не хочет понимать, что это слово не имеет самостоятельного существования, что люди держатся за него не в смысле окончательной цели человеческого прогресса, а только в той мере, в какой оно ограждает то существенное и самостоятельное, которое ставится под защиту его.

Подобные увлечения побочными отвлеченностями составляют первую внутреннюю опасность для цивилизующей мысли. Постоянная необходимость борьбы за принципы, чуждые существу мысли, производит прецеденты, от которых освободиться очень нелегко. Философ, экономист, натуралист превращаются в политических деятелей просто в силу одного обычая и очень часто истощают все свои силы для того, чтобы сказать только одну извечную истину: что арена мысли должна быть, по малой мере, свободна от травы. И опять-таки, сказать ее не прямо, а под покровом таинственности, которая даже и инциденту придает смысл неполный и значительно видоизмененный. Какие ущербы несет от подобных отклонений общество – это даже приблизительно определить невозможно, но что они существуют, мы можем в том убедиться, если представим себе такое положение вещей, в котором человек, вместо того чтобы производить ценности, проводил бы время в испрашивании себе разрешений на это производство. Нелепость подобного положения ясна всякому, но, к сожалению, очень мало мы видим людей, которые были бы способны делать по поводу его те применения и обобщения, которыми оно так богато.

Другая внутренняя опасность, которая сторожит цивилизующую мысль в ее развитии, заключается в сокращении приемов действия и в подчинении их принципу так называемого соглашения. Нет почвы более опасной и скользкой, как почва соглашений. Однажды попав на нее, человек незаметно для самого себя приобретает такое множество дурных привычек, что только чудо может спасти его от окончательного падения. Проповедуется снисходительность, терпимость и уступчивость (и, заметим в скобках, проповедуется совершенно правильно в смысле принципиальном), как такие качества, которые наиболее приличествуют характеру человеческих действий, и упускается из вида та обстановка времени и места, в которой эти прекрасные качества должны проявляться и которая может сообщить им характер совершенно неожиданный и нежелательный. И, что всего важнее, забывается, что уступчивость, как орудие тактики, тогда только может иметь действительное значение, когда она одинаково практикуется обеими заинтересованными в споре сторонами, а не тогда, когда одна сторона расширяет свои требования до бесконечности, а другая обязывается в такой же пропорции суживать свои. Нет сомнения, что терпимость есть действительно лучшая окраска человеческой деятельности, но не может быть спора и о том, что действие этого качества тогда только представляется существенно полезным, когда оно ограничивается формальным признанием общей свободы убеждений (хотя бы и невежественных), а не тогда, когда оно наносит ущерб цельности собственного убеждения лица, практикующего терпимость. В этом последнем случае терпимость, снисходительность и уступчивость нередко до такой степени изменяют свой характер, что делается трудным различить, действительно ли тут идет об них речь, как о принципах, или же они выставляются вперед только для прикрытия робости и малодушия тех, которые проповедуют эти качества. Обыкновенно человек начинает проповедью терпимости, а кончает тем, что один по одному обрывает лепестки того пышного цветка, который носит имя нравственного убеждения. Понятно, что в результате оказывается бесцветный остаток, незаметно приравнявший себя бродячей и бесцельно мечущейся толпе, которая ничего не знает, кроме преданий и завещанного ими кодекса бессодержательных истин.

И между тем эта скользкая почва соглашений есть та самая, на которую всего чаще указывает и суровость установившейся практики, и та неизвестность, которая со всех сторон охватывает дело либеральной мысли. Нужно обладать очень сильным и верным вооружением, чтобы пройти мимо упомянутого выше чудовищного зева, не отравив навсегда своей памяти воспоминанием об нем, чтобы сохранить неприкосновенным все свое нравственное убеждение, не отозваться в известных случаях незнанием и не слухавить перед своею совестью. Тем не менее объяснение вредной склонности к соглашениям с помощью одних внешних опасений все-таки не

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru исчерпывает факта во всем его объеме, а нуждается в других, более существенных подкреплениях. Что в деле соглашений деятельным агентом является не один страх перед неумолимостью практики, это доказывается тем, что на этой почве мы встречаем такие имена, с упоминанием которых в наших умах возникает представление об убеждениях совершенно определенных. Присутствие этих убеждений мы чувствуем, несмотря на все колебания; мы можем проследить их шаг за шагом, несмотря на запутанности, которыми они окружены. Люди, выработавшие себе вполне ясные идеалы, не могут уступать их ради одного страха перед внешнею обязанностью уже по тому одному, что самая выработка этих идеалов сопровождается опасностями настолько значительными, что человек, испытавший их, имеет полное право без недоверия относиться к своей нравственной силе. Тот решительный шаг, который дает окраску всей жизни человека, никогда не делается без тяжких жертв. Для многих он стоит радикальной перемены в самом образе существования, для многих – разрыва с той коренной средой, к которой они принадлежали и которая привязывает к себе не только силою воспоминаний и привычки (а кто не испытал на себе, как велика эта сила?), но и силою действительно оказанных услуг. Можно ли допустить, что человек, решившийся однажды на подобный шаг, есть человек робкий и легкомысленный; что он не сумеет поддержать свои убеждения с тою же твердостью, с какою к ним первоначально приступал? Нет, подобная мысль может быть допущена много-много как один из второстепенных мотивов, обуславливающих человеческие действия, а отнюдь не как единственное или даже характеристическое объяснение их. Этого последнего, очевидно, следует искать совсем в другом месте, а именно в тех целях, которые предполагается достигнуть путем соглашения.

Цели, которых обыкновенно предполагают достигнуть путем соглашений, в первоначальном, беспримесном своем виде всегда заключаются в ограждении интересов самой либеральной мысли. Если велики нравственные страдания, причиняемые борьбою с предрассудками и наивным (непреднамеренным) непониманием истин самых бесспорных, то они делаются еще более невыносимыми, когда устраняется самый вопрос о возможности борьбы и когда предрассудок стоит твердо, благодаря не внутренней своей силе (таковой никогда у него не обретается), а множеству внешних обеспечений, которые освобождают его даже от дачи каких-либо ответов и объяснений. Устрашает не опасность борьбы и даже не неминуемость поглощения (хотя и в этом нет ничего особенно привлекательного), но предвидение гораздо более горькое и существенное: предвидение той безгласности и бесплодности, которыми имеет сопровождаться поглощение. Перед деятелем мысли стоит очень большая область, которую он просто-напросто обязывается не трогать, и рядом с нею очень маленькая, в которой он может распоряжаться под опасением лишения огня и воды. Эта угроза, всегда присущая, всегда выражаемая с самою возмутительною ясностью, имеет изнурительное влияние не на один внешний образ действия, но и на внутренний строй убеждений. Начинает казаться, что соглашения могут нечто спасти; является надежда с их помощью отстоять хотя наружное бытие тех дорогих принципов, которые в противном случае рискуют быть совершенно затоптанными. Пускай мысль захиреет на время, думают ее поборники, пускай она живет жизнью неполною и далеко не нормальною, но, по крайней мере, она не навсегда будет вычеркнута из числа умственных ценностей, обращающихся в человечестве, и со временем, конечно, возвратит себе утраченную силу и достоинство. Таков силлогизм, который обыкновенно предшествует соглашениям, и, по нашему мнению, он заключает в себе единственно правдивое и добросовестное объяснение даже таких уступок, которые, на первый взгляд, возмущают нас.

И действительно, мы видим, что либеральная мысль хоть медленно, хоть черепашьими шагами, но все-таки проникает в общество и что мы, например, люди современной Европы, отстоим довольно далеко и от азиатского деспотизма, и от идей фаталистической неравноправности людей, царствовавших в древних республиках, и от религиозной нетерпимости средних веков. Когда Людовик XIV произносил свое знаменитое: *l'état c'est moi*, [117] то, конечно, были мыслители, которые очень хорошо понимали, что подобная фраза есть плод самого вредного тщеславия, однако ни один из них не решился выразить это прямо, и знаменитый король так и умер в том приятном заблуждении, что в его лице сосредоточивались и благополучия, и невзгоды всей Франции. Тем не менее с небольшим через полвека эта самая фраза, никем в свое время прямо не опровергнутая, все-таки встретила себе опровержение самое наглядное и бесповоротное. Не доказывает ли это, что при известной обстановке убеждение, высказанное, так сказать, в упор, может, без всякой для себя пользы, возбудить только слепой и авторитетный фанатизм и все ужасы сопряженной с ним ярости? Не доказывает ли это, что самая склонность к соглашениям заключает в себе своего рода упорство, которое даже не бесполезно для успехов мысли?

Что во всех этих предположениях есть известная доля справедливости – с этим невозможно не согласиться, особенно если мы не будем упускать из вида ту невыгодную обстановку, среди которой мысль обыкновенно проявляется, но в абсолютном смысле все-таки еще более справедливо, что ничто не действует на мысль столь растлевающим образом, как необходимость прибегать к оговоркам и уступкам. Учение, пораженное этой язвой, кроме того что бывает вынуждено делать продолжительные и бесполезные обходы, всегда принимает в себя столько примесей, которые делают его в значительной степени неузнаваемым. Разительный пример подобного извращения мы видим на идее человеческой равноправности, составляющей одну из главных задач христианского учения. Нет сомнения, что идея эта и сама по себе совершенно проста (так сказать, присуща пониманию каждого), да и вполне соответствует выгодам большинства, а между тем сколько прошло веков, сколько пролито человеческой крови для ее торжества, и все-таки твердых оснований, которые дозволяли бы предполагать, что она действительно вошла в общее сознание, не имеется и скорого конца борьбы за восстановление первоначальной ее чистоты не предвидится. Другой подобный пример, хотя и не столь разительный, представляет идея, ставящая прогресс человечества в зависимость от уяснения отношений человека к природе. Еще Сенека говорил *naturalia non sunt turpia*, [118] а мало ли даже в наше время найдется таких, которые в этом афоризме не видели бы посягательства на спокойствие общества, а в деятельности, проникнутой подобным направлением, не заподозрили бы элементов, стремящихся втоптать в грязь верования, которыми живут массы! Отчего происходит это вечное колебание, в котором находятся истины, по-видимому совершенно бесспорные? Очевидно, что причину его должно искать, между прочим, и в том невыгодном положении, которое обязывает мысль поступаться самою существенною частью самой себя и которое не только замедляет ход ее, но и самую ее сущность растлеывает множеством самых дурных привычек, обращающихся нередко в природу. Если и представляется вероятным, что соглашения до известной степени ограждают мысль от опасностей совершенного исчезновения, то не подлежит никакому спору, что они же делают ее малосильною и достигающею своих результатов медленным и мучительным путем.

Наконец, третью внутреннюю опасность представляет та изолированность, в которую становится мысль, вследствие долговременного разобщения с жизнью и ее действительными требованиями. Справедливость этого положения всего лучше объяснит нам следующий пример. Известно, что после декабрьского переворота во Франции для либеральной мысли наступили черные дни. Представители ее были рассеяны по лицу земли: одних сослали в Кайенну или в Алжир, других просто изгнали из Франции, третьи сами удалились за границу. Таким образом, очень значительная масса людей, стоявших во главе либерального движения (по свидетельству одного из апологистов декабрьского переворота, Гранье-де-Кассаньяка, этим порядком освободились от 26 000 человек), вдруг очутилась не только вне его, но и вне всякого практического участия в делах своей родины. Долгое время либеральные стремления Франции оставались без явных и сколько-нибудь ярких руководителей, но так как без остатка истребить либеральную идею все-таки невозможно, то она и жила под пеплом, постепенно приобретая себе более и более простора. Наконец, время убедило даже деятелей декабрьского переворота, что прежняя система стеснений представляет много таких неудобств, которые делают управление страной невозможным, и что самая необходимость указывает на осуждение правительственного механизма посредством привлечения к нему (разумеется, в возможно ограниченной степени) либеральных элементов, как на единственный исход, требуемый не только честным воззрением на дело, но и чувством самосохранения. Но тут-то именно и выказались плоды той изолированности, в которой долгое время находилась либеральная мысль. То, что случилось некогда с эмигрантами французской революции, возвращенными к деятельной жизни реставрацией, то же самое повторилось и над либералами 1848 года. Кажется, Гейне сравнивал первых с часами, которые, будучи однажды остановлены и потом, через несколько лет, вновь пущены в ход, начинают свой бой именно с того числа ударов, которое им приходилось выбивать в ту минуту, когда они были остановлены; это же сравнение можно применить и к настоящему случаю. Все современные известия удостоверяют, что французская либеральная партия, несмотря на сравнительно большой простор, полученный ею для своих действий, не может уладиться ни насчет своих требований, ни насчет своих вождей. Прежние вожаки оказываются оставшимися при тех же афоризмах, которые и до декабрьской катастрофы не дали никаких практических результатов; новые деятели оказываются не внушающими доверия по своей малоопытности и совершенному незнанию тех формальных приемов, которые, несмотря на свою бессодержательность, все-таки необходимы в борьбе с таким строем, который сам весь держится на формализме.

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Многие в этом видят повод, чтоб упрекать либеральную партию в бессилии и осыпать ее насмешками, но, кажется, справедливее будет, если мы отнесемся к этому факту как к явлению очень печальному, но совершенно естественному. Мысль живет и питается практическими применениями; если однажды нить этих применений прервана и устранена их преемственность, то само собою разумеется, что и самое развитие мысли прекращается или, по крайней мере, ослабляется очень значительно. Странно и даже возмутительно слышать эти легкомысленные упреки и недобросовестные насмешки. Сначала считают ни во что разорить мысль и довести ее до изнеможения, а потом, когда она, несмотря на это варварство, все-таки заявит о своем праве на существование, начинают бросать в нее камнями и плевками за то, что она не может сразу собраться с силами и овладеть делом. Но не достаточно ли свидетельствует в ее пользу уже то одно, что она осталась жива? Когда Сийеса спрашивали, что он делал во время террора девяностых годов, то он отвечал, что оставался жив. По нашему мнению, это – ответ, который с полною силой может быть применен не только к одной какой-нибудь форме террора, но и ко всем террорам вообще.

Как бы то ни было, но мысль, разобщенная с средою, которую она почему-либо считает для себя наиболее приличною, действительно утрачивает очень значительную долю своей энергии и плодотворности. Незаметно для самой себя она является в свет с устарелыми панaceaми, недействительность которых ясна для всех, кроме нее самой. Мало того: она не только продолжает верить в непогрешимость выработанных ею афоризмов, но идет еще далее, то есть развивает их до таких пределов, за которыми можно встретиться только с чудовищностью. Рассказывают, что некоторые французские изгнанники представляют в этом смысле примеры поистине поразительные, и этому легко можно поверить. Человек, сильно пораженный какою-нибудь идеей (особенно если эта идея имеет чисто политические основания) и лишенный всякой возможности для ее проверки, может дойти до мистицизма, до одно-предметной восторженности. Осложненное горечью неудачи, такое напряженное состояние духа делает невозможным не только ясное понимание частных ошибок, присущих каждому учению, но и вообще отделение истины от лжи, возможного от невозможного. И вот, доведенного до такого-то состояния человека вновь призывают к жизни; погребенного заживо, утратившего всякий смысл живой действительности, пробуждают из мира мечтаний и приобщают к миру практики и деятельности. И когда он начинает выбивать то же самое количество часовых ударов, которое он бил в ту минуту, когда его заживо замуровывали, над ним начинают глумиться, на него сыплются упреки и обвинения! Ужели тут есть какой-нибудь смысл, кроме того, что насилие столь же нахально в своих действиях, как и в своих оценках?

Таковы вообще условия того процесса, при помощи которого либеральная мысль проникает в общество. Они не могут быть названы благоприятными ни с точки зрения внешних опасностей, ни с точки зрения опасностей внутренних. Хотя же ответственность за эти последние и возлагается часто на того или другого из деятелей мысли, но, по мнению нашему, это делается, в большей части случаев, совершенно несправедливо, ибо, в сущности, и увлечения мысли несвойственным ей содержанием, и колебания, и ее разобщенность с действительностью – все это, вместе взятое, составляет не что иное, как неизбежное и вместе органическое последствие внешнего гнета, и не может быть отделено от него никакою действительно заметною чертой.

От этих общих воззрений обратимся к тому, что стоит к нам ближе, и посмотрим, в каком положении находится либеральная, цивилизующая мысль собственно у нас. Предупреждаем, впрочем, читателя, что мы будем говорить не о современной эпохе, а о том обществе, среди которого жил и действовал Т. Н. Грановский, по поводу которого мы и решились высказать настоящие наши мысли.

Чтобы выполнить нашу задачу по возможности обстоятельно, постараемся уяснить себе, во-первых, какими свойствами обладала та среда, которая выделяла из себя наших публичных деятелей; во-вторых, какого рода подготовку давала она им, и, в-третьих, при каких специальных внешних условиях должна была развиваться деятельность, имевшая какую-нибудь претензию на общественное значение.

Среда, выделявшая из себя наших общественных деятелей, была среда замкнутая, устроившаяся и обеспеченная. Лозунгом ее была привилегия, обуславливавшая и ее собственные эгоистические интересы, и ее отношения к общему течению жизни. Сравнивая свое нравственное и материальное положение с таковым же положением других слоев общества, она должна была считать первое удовлетворительным не потому, чтоб оно не дозволяло желать ничего больше, а потому, что оно все-таки довольно резко и выгодно выделялось из общего уровня. Эта сравнительная точка

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru зрения должна была иметь решительное влияние и на требования, которые среда простирала к жизни, сообщив им характер крайней немногосложности и ограниченности. Ничто так не принижает человека, не суживает до такой степени его умственного кругозора, как легкая возможность сравнивать собственную бесспорную бедность с бедностью еще более бесспорной и абсолютной. Тут беспрепятственно расцветают всевозможные лжи мелкого самолюбия и окрашивают своим непрочным, но ярким цветом действительность самую скудную и неприглядную. В таком именно положении постоянного самообольщения находилась и среда, о которой идет речь. Жизнь давала ей мало, но зато она оказывалась еще более скупой, как только выходила за пределы ее; никакими особенными благами она не была наделена, но зато, благодаря своей замкнутости, твердо держала в своих руках то малое, которое выпало ей на долю, и не гналась за благами высшими, так как не обладала достаточной суммой интеллектуальной развитости, чтобы видеть в этих благах не пустую прихоть, а необходимость. Но когда потребности низменные сами по себе и когда притом удовлетворение этих низменных потребностей не стоит никакого труда, то само собой разумеется, что и поводов к перенесению их из сферы интересов узко материальных в сферу интересов умственных существует чрезвычайно мало. «Лучше жить незатейливо, но зато обеспеченно и спокойно, нежели гнаться за какими-то идеалами, достижение которых обставлено всеми условиями неизвестности» – так обыкновенно рассуждает индивидуум, которого не терзает ни материальная нужда, ни другого рода нужда, именуемая душевным голодом. Так же точно рассуждает и целая среда, жизненный строй которой представляет нечто цельное, еще недостаточно предрасположившееся к разложению под влиянием мысли. Каждый шаг вперед пугает ее и кажется посягательством на ее привилегированное положение. Не движение составляет ее интерес, а, напротив того, охранение и застой. Застой внутри, – потому что движение одного общественного слоя неминуемо отзывалось и на прочих слоях; застой в прочих слоях, – потому что тут начавшееся однажды движение должно произвести уже не просто вызов из состояния косности, а окончательное поглощение привилегированной среды. Чувство самосохранения хотя и не дальновидно, но очень верно подсказывало ей, что дремотность есть именно то состояние, которое наиболее соответствует ее выгодам, и она слепо верила этому тайному голосу и спешила удовлетвориться тем малым, которое было дано ей в удел и все-таки представлялось чем-то громадным в сравнении с бесконечно малым, предоставленным в удел другим. Сверх того, она имела некоторое основание утверждать, что ее деятельность все-таки не вполне поглощается одними материальными интересами, но что для нее доступны и интересы умственные. Этот простейший вид духовной деятельности, на который она считала себя вправе сослаться, представлялся в тех отправлениях чиновничества, которые в продолжение долгого времени были единственным признаком, свидетельствующим о существовании в нашем обществе если не умственного движения в прямом смысле этого слова, то умственной изворотливости. Да, это была именно только изворотливость, не требовавшая ни подготовки, ни развитости, ни знаний; но дело не в том, до какой степени она была низменна, а в том, что ею довольствовались, что на нее считали возможным ссылаться как потому, что она очищала от упреков в умственной сонливости, так и потому, что с помощью ее упрочивалось влияние среды на общее течение дел, то есть опять-таки на общий застой и общую косность.

Спрашивается: могла ли подобная среда дать точку опоры для деятельности, освещенной мало-мальски живой мыслью? могла ли она защитить ее, дать отпор тем внешним наездам, которые так часто подрывают самые умеренные требования добра и истины? обладала ли она сама по себе достаточной устойчивостью, чтоб не рассыпаться в прах при малейшем столкновении с чем бы то ни было, имевшим на своей стороне материальную силу? Ответ на все эти вопросы, конечно, не может подлежать сомнению. Нет, не могла и не обладала – вот все, что приходится сказать по этому поводу. Но этого мало, что она не могла ни защитить, ни отстоять, что возлагать на нее какие-либо надежды было равносильно намерению еще более запутать и без того запутанное положение; оставаясь бессильной и неустойчивой в смысле отпора, она, сверх того, вынуждалась ко всякой осмысленной деятельности относиться как к злейшему своему врагу и всячески противодействовать ей.

И в самом деле, какую бы краской мы ни окрасили любую общественную деятельность, какое бы направление ни приписывали ей, но коль скоро в ней есть участие мысли, то первыми явлениями, против которых направится вся энергия ее разлагающей силы, будут: замкнутость и бессознательность. Это отправный пункт всякой мыслящей деятельности, это рамка, без которой невозможно ее дальнейшее развитие. Что будет далее, какое направление примет мысль впоследствии – все это может быть очень загадочным; одно несомненно: что она прежде всего поспешит обеспечить себе

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru свободу и сознательность. Но это – то именно и противно той среде, о которой идет речь. В разрушении замкнутости она видит неминуемость своего обеднения, угрозу стать еще ниже того низкого уровня, на котором она уже стоит; в падении бессознательности ей слышится угроза еще горшая, имеющая олицетворить себя в наплыве элементов совершенно новых, беспокойно предъявляющих претензию на право участия в жизни. Ввиду этих угроз делаются понятными не только опасения, но даже преувеличения. Вопрос о значении собственности связывается с вопросом о поголовной резне, вопрос о значении семейства – с вопросом о поголовном развороте. Сопоставления эти незаметно входят в обычный тон жизни, и ежели кто-нибудь из людей разумных удивляется им, то это означает только совершенное незнакомство с недалководными, но крайне упорными инстинктами среды. Нет спора, что она произносит свои сопоставления совершенно бессознательно, но инстинкт все-таки служит ей до известной степени верно, ибо во всех радикальных общественных вопросах хотя и нет речи ни о поголовной резне, ни о поголовном развороте, но, несомненно, есть речь о прекращении господства замкнутости и бессознательности, этих палладиумов, в которых непосредственно хранятся ближайшие и самые кровные интересы среды. С какой же стати ей окружать своими симпатиями такую деятельность, результаты которой прямо противоположны ее непосредственным выгодам? с какой стати ей рисковать, решаться на борьбу в пользу того, что должно положить конец ее собственному благополучию?

Очень может быть, что нам ответят на это примером, доказывающим, что среда не всегда руководится только инстинктами узкого эгоизма, и именно приведут пример Грановского, которого профессорская деятельность в Москве, по словам его биографа, была встречена общим сочувствием и имела немаловажное воспитательное влияние на общество. Но указание это едва ли может быть принято без оговорки. Мы не будем теперь касаться воспитательного значения Грановского (определение этого вопроса составит предмет следующих статей), но скажем только, что если оно и было, то захватывало не самую среду, в которой хранилась действительная сила того времени, но лишь те ее элементы, которые в качестве силы должны были выступить гораздо позднее, а в то время никакой реальной поддержки дать не могли. Одним словом, в районе воспитательного влияния Грановского находилась лишь молодежь того времени, а отнюдь не так называемое общество. Что же касается до «сочувствия» этого последнего знаменитому профессору Московского университета, то мы думаем, что в этом случае слово «сочувствие» несомненно принадлежало к числу тех, которые всего легче ускользают от точных определений и всего труднее переходят в действительную поддержку. Опираясь на самого Грановского, мы можем сказать, что и он, несмотря на общий снисходительный уровень своих требований, был не слишком-то лестного мнения об этом «сочувствии» московского общества. В одном из своих писем он выражается так: «Возможно ли веселиться (?) в обществе, которое страшно скучает, потому что у него нет никакого умственного движения, никакого живого интереса, которое употребляет всевозможные усилия, чтобы замаскировать эту скуку; я совершенно не понимаю, как эти люди не погибают от тоски». В другом письме, по поводу успеха читанных им публичных лекций, он прямо дает себе кличку «*boeuf à la mode*». [119] Наконец, в третьем письме, по поводу подобного же успеха, он говорит: «Публика многочисленна и внимательна, но есть и другие стороны: кривые толки, сплетни, клеветы, обвинения в том и другом и т. п. Мне кажется, что на эти мерзости приличнее всего отвечать молчанием. Есть споры, которые марают даже того, кто спорит даже за правое дело». Кажется, этого свидетельства совершенно достаточно, чтобы определить отчасти бессознательный, отчасти злостный характер того участия, которое пробудили в московском обществе лекции Грановского, и биограф покойного профессора совершенно напрасно старается усилить значение сочувственных отношений и умалить значение отношений злостных. На деле первые были вполне бессодержательны и обуславливались только скукою людей, «употребляющих всевозможные усилия, чтобы замаскировать эту скуку», тогда как вторые заключали в себе то узкое, но упорное понимание умственных интересов, которое вполне исчерпывало взгляды современной Грановскому общественной среды. Поэтому на первые рассчитывать было невозможно, тогда как со вторыми необходимо было считаться. По нашему мнению, разоблачение этого мнимого сочувствия не только не умаляет, но даже увеличивает значение Грановского, и усилия, делаемые его биографом в обратном смысле, кажутся нам не вполне уместными. Странно было бы, если бы это сочувствие существовало действительно, если бы в самом деле могла найтись какая-нибудь нейтральная почва, на которой могли бы встретиться: и в высшей степени гуманная личность профессора, и совершенно лишенные всякой гуманности стремления той среды, к которой он принадлежал по своему положению в свете. Допустить подобную мысль – значило бы приравнять эту среду к одному из лучших деятелей нашей мысли, что совершенно невозможно ввиду свидетельства

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru самого профессора о грубости и пошлости, в которых коснелось современное ему московское общество.

Да и чем могла заявить эта среда о своем сочувствии, кроме противно-бессмысленных возгласов, вроде *charmant! sublime!*[120] к которым она всегда прибегает для выражения своих беспричинных восторгов? где доказательства того, что «со времени публичных лекций Грановского московское общество сильнее, чем когда-нибудь (?), сознало свою связь с университетом?» В чем выражалась эта «связь» в то время, когда Грановскому внушалось, что «реформация и французская революция должны быть излагаемы с католической точки зрения и как шаги назад», и когда он вынужден был предложить не читать вовсе революции? Где была она в то время, когда Грановский по поводу своей диссертации «Аббат Сугерий» (кто бы мог подумать это!) должен был принести объяснения митрополиту Филарету? Как, наконец, она заявила себя в ту минуту, когда от Грановского требовалось составление руководства к изучению всеобщей истории, «написанного в русском духе и с русской точки зрения», и когда он вынужден был прибегнуть к целой системе уступок, чтоб удержать хоть частицу того, в чем заключалась сущность его исторического взгляда? Очевидно, что рассчитывать на такие симпатии, которые отсутствуют именно в ту минуту, когда их подкрепление всего более необходимо, все равно что рассчитывать на помощь тех оловянных солдатиков, которых в таком изобилии выделяет игрушечный мастер Ваханский.

Вот какова была эта мнимая популярность Грановского, эта мнимая «связь» его с современным обществом, о которой так много распространяется его биограф. Многие, впрочем, не видят еще большого зла в этом отсутствии популярности и охотно сравнивают популярность с «дымом», «пустым звуком» и т. д. Но это едва ли справедливо, или, лучше сказать, справедливо только в таких положениях, как, например, то, о котором идет в настоящее время речь. Мы действительно не знаем истинного значения слова «популярность», мы очень часто видим людей, которые вчера своею деятельностью обращали на себя всеобщее внимание, а нынче уж исчезли неизвестно куда, и нимало не формализуемся этим исчезновением. Привычка – на то, что не уважать авторитета, но топтать все, что можно топтать безнаказанно, – вот ужасная школа, в которой мы воспитывались. Но это доказывает только нашу нравственную несостоятельность и робость и в то же самое время наше желание увернуться от обращенных к нам обвинений посредством преднамеренного извращения действительного значения самых общеизвестных слов и понятий. Не рукоплесканиями захмелевшей толпы выражает себя популярность общественного деятеля, а тою материальною и нравственною поддержкою, которую дает общество и перед которою невольно задумывается самая нахальная беззастенчивость. Вот этой-то популярности у нас никогда не было, как не было и многого другого, о чем с такою напыщенностью трактуют наши публицисты, а заменялось все это дешевыми рукоплесканиями да трактирными спичами, одинаково готовыми петь хвалу и успеху деятеля, и его исчезновению с арены деятельности.

Такова была среда, из которой выходили наши общественные деятели и которую они волею или неволею должны были постоянно иметь в виду. Теперь посмотрим, какого рода умственную и нравственную подготовку она могла дать тем детям своим, которых выпускала на поприще публичной деятельности.

К какой исключительной цели направлено было все наше воспитание? Какую задачу предполагал разрешить отец или педагог при взгляде на сырой материал, называющийся ребенком?

Эта цель, эта задача определялась двумя словами: приготовить чиновника.

Никто, конечно, не станет оспаривать крайнюю исключительность и ограниченность этой задачи, но мы все-таки могли бы примириться с нею, если б она хоть с какой-нибудь стороны была причастна к знанию и требовала хоть малейшей умственной подготовки. Знание, как бы ни было ограничено его содержание, имеет стягивающую силу, и человек, вкусивший его, невольным образом делается наклонным к расширению его. Но в том-то и дело, что даже в общем, самом низменном сознании слово «чиновник» означало не что иное, как *tabula rasa*, [121] на которой прихоть и произвол как попало начертывали свои немудрые афоризмы. Чиновник, представлявший собой орган государства, мог свободно не знать, что такое государство, в чем заключаются те функции, которые отделяют его от общества и определяют его отношения к последнему; он обязывался иметь ясное понятие только о «начальстве», он знал только буквы «предписания» и даже не чувствовал ни малейшего поползновения уяснить себе ее смысл и ее отношения к действительности.

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru Чиновничество изображало собой организованное невежество не только по отношению к общей области знания, но и по отношению к той специальности, которой оно служило. Оно ничем не отличалось от среды, его производившей, оно прозябало одной с ней жизнью, с тою лишь разницей, что отдельные его члены за свои бессознательные действия отчасти награждались, отчасти отдавались под суд, тогда как бессознательность отдельных членов среды не подвергалась ни награждению, ни преследованию. Для того чтобы согнуть в бараний рог, упечь туда, куда Макар телят не гонял, ничего другого не требовалось, кроме некоторой доли изворотливости, которая помогла бы выполнить затеянное предприятие в лучшем виде. Никто не скажет, что это наука трудная, но никто же не будет и отрицать, что это та самая наука, которая составляла весь фонд нашего недавнего воспитания. Молодой человек, окончивший так называемый «курс наук», хотя и приобретал некоторые знания, но без всякой системы, не работая над собой и не ассимилируя их себе. Эти знания соскользали так же легко, как легко приобритались, тем более что ничто в дальнейшей деятельности не требовало ни повторения, ни применения их. В редких случаях они доставляли возможность убить время с большим или меньшим разнообразием, но гораздо чаще бывало так, что молодой человек, выходя из школы, считал себя счастливым, что делался свободным от наук. Уже Грановский заметил эту особенность нашего воспитания. «Студенты, – пишет он («Биогр. очерк», стр. 105), – занимаются хорошо, пока не кончили курса; по выходе из университета лучшие из них, те, которые подавали наиболее надежды, пошлют и теряют участие к науке и ко всему, что выходит из круга так называемых положительных интересов; их губит материализм и безнравственное равнодушие общества». Вот подлинные слова Грановского; к этой меткой характеристике мы можем прибавить только, что тогдашнюю молодежь губил совсем не материализм (выражение и донныне остающееся двусмысленным), а дешевая возможность дешевых удобств жизни, и не положительные интересы, а, напротив того, совершенное отсутствие интересов, кроме тех, которые насильно навязывались всеобщей скукою. Все это губило не только в будущем, то есть по окончании школы, но уже в самой школе, воспитание которой только случайно касалось знания, а всю свою сущность было направлено к тому, что Грановский неточно называл материализмом и положительными интересами и чему следует присвоить совершенно иные названия.

В самом деле, ежели мы вникнем в содержание нашего воспитания, то увидим, что в нем преобладал элемент спекулятивно-мистический, с совершенным почти исключением каких бы то ни было реальных знаний. Но если реальное знание по самой природе своей ограничивает человека в том смысле, что отнимает у него возможность выбора между множеством путей к прогрессу и сосредоточивает его внимание на одном, то ничто не представляет такой широкой арены для всевозможных фантастических концепций, как тот спекулятивный мистицизм, который царствовал в наших школах. Все, что идет вперед с завязанными глазами, что бьет наудачу, встречает себе готовый приют в нем; предположение самое странное, самое рискованное может надеяться хоть на время найти для себя возможность укрепиться в этом убежище всевозможных гадательностей. И при этом совершенное отсутствие всякой системы, дававшее возможность самым легкомысленным образом относиться к знанию и на каждом шагу менять взгляды на ту или другую его отрасль. Возьмем для примера хоть всеобщую историю: ее предполагалось возможным преподавать «в связи с успехами и открытиями естествоведения», но в то же время не отрицалась и другая возможность: излагать ее «в русском духе и с русской точки зрения». Что такое этот русский дух или русская точка зрения в науке – это очень вразумительно разъяснил нам, в конце пятидесятых годов, «Русский вестник» в опубликованных статьях «о народности в науке»; это же разъясняют нам в настоящее время «Московские ведомости», заявляющие (1869 г., № 184), что «истинно национальная политика может быть успешна только как последствие соответственного успеха в основной национальности государства», или, говоря словами более вразумительными, только та национальность может иметь влияние и силу, которая может представить доказательство действительной цивилизации. И это разнообразие взглядов, которое признавалось возможным прилагать к преподаванию истории человечества, прилагалось не к ней одной, а проникало всюду и везде давало возможность освещать знание не тем светом, который ему принадлежит, а тем, который признается наиболее удобным для требований, образующихся совершенно от него независимо. Подобная шаткость в столь важном акте человеческой жизни, как воспитание, имела последствием такую же шаткость в дальнейшем ее развитии. Приобретая знание в самом недостаточном количестве, и притом такое, которое не представляло никаких применений к действительности, молодой человек не задумывался над своим будущим, не искал в его неизвестности возможности каких-либо новых путей, но успокоивался на тех, которые были приготовлены жизнью и ее преданиями. Он прямо делался «чиновником», то есть человеком, которому

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru воспитание дает возможность жить на чужой счет, совершенно на одном уровне с любым из членов среды, в которой сосредоточивалась вся сумма наших тогдашних умственных интересов. Можно ли удивляться, что дело, начатое с подобными намерениями, приносило и результаты, вполне соответствовавшие этим намерениям? Можно ли требовать, чтобы «чиновник», оказывавшийся таковым чуть ли не на руках нянек, не продолжал быть и в дальнейших фазисах жизни тем же чиновником, то есть человеком, который ни в какой другой способности не ощущал нужды, кроме способности «гнуть в бараний рог»?

Нет; скорее можно удивляться тому, что даже подобные злосчастные условия иногда уступают перед силою даровитости и таланта. В доказательство сошлемся на воспитание Грановского, одного из тех представителей нашего недавнего прошлого, которые выражали собой лучшие стремления того времени. «В учении его не было никакой последовательности, никакого плана, – говорит его биограф, – оно велось отрывочно и случайно»; затем, хотя присутствие в его семействе некоторых светлых личностей (из них в особенности выдается г-жа Герито) и смягчало эти недостатки в том смысле, что благодаря этим личностям он успел воспитать в себе вкус к умственному труду, но стоит только заглянуть в лежащий перед нами «Биографический очерк», чтоб убедиться, чрез сколько колебаний и мытарств должен был пройти Грановский, прежде нежели вступил на ту стезю, на которой создалось впоследствии его благотворное общественное значение. Что доказывает эта нерешительность выбора между юридической, дипломатической и даже военной карьерами, которая ознаменовала первые сознательные шаги его в жизни? По нашему мнению, она доказывает только ту истину, что Грановский сам не знал, куда ему удобнее приютиться, и все профессии считал для себя равно доступными (заметим в скобках, что он был уже не ребенком, а довольно развитым юношей). В этом предположении утверждает нас и мысль о самоубийстве («Биограф. оч.», стр. 24), которая волновала Грановского в эту переходную эпоху. Биограф его справедливо видит в этой мысли следствие стремлений к задачам и целям жизни, без достижения которых существование теряет смысл и цену; даровитая и впечатлительная натура Грановского не могла примириться с тем безразличием, в которое бросала его воспитательная подготовка, и не могла не ужасаться при виде нравственных опасностей, представляемых этим безразличием. Кого из мыслящих людей не волновал этот вопрос и многие ли разрешали его для себя? Много ли найдется таких, которые не оставили в этой борьбе лучшей части своего нравственного бытия? Однако ж, скажут нам, Грановский все-таки разрешил эту задачу и нашел наконец такую область, которую вполне мог назвать своею. Да, это, пожалуй, отчасти и так, но кто же может сказать наверное, что, не будь случайного стечения благоприятных обстоятельств, он не очутился бы в лагере совершенно противоположном и, вместо того чтобы сделаться воспитателем современного ему поколения, не сделался бы просто способным и обладающим прекрасным пером чиновником? Даровитость его, конечно, и в этом случае осталась бы неприкосновенною, но ведь с точки зрения пользы общества важность вопроса не в этом, а в том, каким бы питалась содержанием эта несомненная даровитость и какое было бы ее влияние на жизнь.

Таким образом, выступая на арену общественной деятельности, русский деятель встречался, во-первых, с неопределенностью своей собственной воспитательной подготовки и, во-вторых, с совершенно ясным пониманием, что общество, которому он приносит свое служение, не только не даст ему никакой защиты, но даже при первом случае отвернется от него. Спрашивается, при каких же внешних условиях приходилось действовать двигателям русской мысли, столь недостаточно вооруженным и столь мало поддержанным?

Эти условия достаточно известны всем и каждому, чтобы нужно было распространяться об них. Вот каким образом г. Станкевич выражается об эпохе, непосредственно следовавшей за смертью Грановского. «В русском обществе, – говорит он, – около того времени начинало пробуждаться сознание. Оно начинало чувствовать необходимость перемен, невозможность оставаться в прежнем порядке вещей. Общественная нравственность, справедливость робко, неясно начинала поднимать свой голос, заявлять свои требования в лице лучших людей. Современному человечеству нельзя жить, забывая о добре, нравственности, чести, о началах, на которых зиждутся христианские общества, и это начинало понимать все большее и большее число людей. После мрачной ночи занималась прекрасная заря... Если это суждение может быть названо верным относительно эпохи нам современной, то из него, конечно, можно вывести весьма характеристическую посылку и к эпохе предшествующей. Окажется, что русские времен Грановского (ибо до «прекрасной зари» он не дожил) были люди, забывшие о добре, нравственности, чести и даже вообще о началах, на которых зиждутся христианские общества; что они походили на

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru тех персов и греков времен Александра Македонского, о которых Нибур (Соч. Грановского, т. II, стр. 119) произносит следующую меткую характеристику: «В это несчастное время злое начало в человеке пришло к спокойному и полному сознанию самого себя; все чистое, благородное, совесть, свойственный даже порочным людям стыд дурных и бесчестных дел исчезли». Жить в такое время, быть действующим лицом в подобной среде – участь далеко не завидная; но нам кажется, что характеристика г. Станкевича, как ни кажется она верною в общих чертах своих, все-таки применена не совсем туда, куда следует. Не говоря уже о том, что она странным образом противоречит его же свидетельству о сочувствии, которое встретил Грановский со стороны московского общества, мы думаем, что общество, которое «скушает», не может быть злым в прямом значении этого слова. Оно не имеет повода «забывать о добре» уже по тому одному, что никогда не было настолько знакомо с понятием о зле, чтобы иметь возможность провести ясную границу между ним и понятием о добре. Бессознательность, отсутствие каких-либо определенных задач, коснение – вот типические черты подобных обществ. Не к обществу следует отнести упреки, делаемые г. Станкевичем, а к тем его эманациям (историческим и всяким другим), которые хотя, бесспорно, исходят из общества, но с течением времени до такой степени обособляются и отверждаются, что могут быть рассматриваемы как нечто внешнее, в свою очередь воздействующее на свой первоначальный источник. Не в коснеющем и скушающем обществе заключается творческая сила зла, а именно в тех застывших и обособившихся его эманациях, с которыми специально должна была иметь дело мысль и которые встречали ее первый проблеск и неотступно следили за всеми дальнейшими ее проявлениями...

Из всего вышеизложенного с достаточною ясностью обнаруживается, что общее неблагоприятное положение, в котором находится цивилизующая мысль, в рассматриваемых нами условиях усложнялось еще многими другими обстоятельствами, которые принадлежали собственно времени и месту и ставили ее существование в пределы еще более тесные и зависимые от всякого рода случайностей.

Тем не менее и у нас, как и везде, мы видим, что действие цивилизующей мысли не прекращается. Несмотря на то что практика отвергает не только немедленные применения этой мысли – это было бы до известной степени объяснимо тем, что непосредственные применения затрагивают именно ту ближайшую обстановку, в которой человек живет в данную минуту и к изменению которой он недостаточно подготовлен, – но и теоретическую ее разработку, всегда, даже в эпохи самого непроглядного общественного ослепления, находят такие самоотверженные люди, которые, однажды убедившись, что в истине заключается действительное благо человечества, считают, что сокрытие ее несовместно с достоинством человека убежденного и сознающего свою нравственную силу. Обыкновенно подобных людей называют героями, но, в сущности, это только личности, которые в такой степени сознали верность выработанных ими начал, что последние вошли в их жизнь и сделались составною ее стихией наравне со всеми другими инстинктивными движениями. Но на этих-то людях, собственно, и зиждется то непрестанное движение, которое мы замечаем в истории.

С каждым днем все более и более приобретает себе авторитет та мысль, что история заключает в себе силу утешения не только для тех, которые занимаются ею как наукой, но и для всех вообще людей, вносящих в жизнь новую мысль, новое убеждение. Справедливость этой мысли нельзя опровергнуть, но тем не менее весьма заблуждался бы тот, кто полагал бы силу этих утешений только в противополжности добродетельных деяний гнусным, или в том, что история представляет множество примеров самоотвержения и твердо перенесенных страданий. Утешающее значение истории заключается, во-первых, в том, что она представляет картину не только постепенного распространения цивилизации, но и постоянного истощения сил, ей противодействующих, и, во-вторых, в том, что примеры героизма и самоотвержения, которыми и по настоящее время ознаменовывается каждый шаг на пути прогресса, обещают со временем сделаться вовсе ненужными. Несмотря на поборников бессознательности и произвола, человечество продолжает жить; несмотря на ненормальность такого явления, как самоотвержение, оно освещает от времени до времени историю не ради оправдания своей рациональности, а единственно ради объяснения своей условной уместности.

Что же заставляет этих героических людей, этих двигателей истории, действовать даже в такие минуты, когда мысль подвергается всякого рода искушениям, которые или насилуют, или запутывают ее? Что побуждает их покидать пути рутин, на которых их ждет спокойный и непререкаемый успех, и вступать на такие пути, где их подстерегают неизвестность и подозрительность? Прежде всего, как уже сказано

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru выше, их вынуждает к тому необходимость пропаганды, как неотъемлемая принадлежность самой мысли, ищущей проверки и успокоения собственных сомнений; но, кроме того, есть еще и другой возбудитель, который в этом случае является двигателем не менее деятельным и который носит имя общего блага.

Цивилизующая мысль, рассматривая человека, в равной степени признает право гражданственности за всеми его свойствами и определениями, то есть ни одного из них не стесняет, не преследует, не считает проклятым. Сверх того, она заключает в себе такую внутреннюю силу обобщений, которая постоянно захватывает все большую и большую область жизни. Признавая известное право нормальным и соответствующим пользам человека, она стремится перенести его всюду, где встречается возможность для применений. Предмет ее воздействий – не каста, не цех, а человечество вообще; значение этих воздействий не только цивилизующее, но и эманципирующее. Вот почему и предполагается заранее, что окончательный результат ее общее благо. То, что мы утверждаем здесь о свойствах и действии цивилизующей идеи, – совсем не умозрение; это истина, которая на каждом шагу подтверждается историей. Везде, где история записывает на страницах своих торжество либеральной или цивилизующей идеи, везде она в то же время записывает и факт распространения области пользования известными благами жизни. Напротив того, везде, где мы видим сокращение упомянутой выше области, мы можем быть уверены, что встретимся с мыслью совершенно иного свойства. Следовательно, идея цивилизующая и идея общего блага, в сущности, составляют одно нераздельное целое, которое мы делим только потому, что к такому делению обязывает нас свойство человеческого мышления.

Представление об общем благе обязывает цивилизующую мысль ко многому, и прежде всего к деятельному проникновению в массы. Правда, что процесс этого проникновения сопряжен для нее с весьма существенными опасностями, на которые мы указали выше и которые могут извратить самый характер и действие мысли. Но не следует ли смотреть на эти опасности как на неизбежных спутников всякой пропаганды, которые будут существовать до тех пор, покуда мысль не завоеует для себя условий более благоприятных? Но следует ли останавливаться перед этими предвидениями и оставаться в выжидательном положении до тех пор, пока не исчезнет возможность периодического появления их? Когда уничтожится эта возможность? Сама ли собой она уничтожится или падет под усилиями тех, которые выходят с намерением перейти вселенную из конца в конец, но, благодаря враждебным условиям, успевают удержать за собой только пядь земли?

Вопросы эти ставят нас лицом к лицу с теорией так называемого абстенционизма, о которой мы и предполагаем беседовать с читателем в следующей статье.

НАШИ БУРИ И НЕПОГОДЫ

Когда я сравниваю настоящее время с минувшим, – минувшим, которое было даже не очень давно, например, лет тридцать или сорок назад, то думаю, нам ли не жить счастливо, то есть спокойно, довольно, с светлым взглядом в будущее. Из бесчисленного множества поколений, населивших и обстроивших русскую землю, мы первые счастливы, которые имеем право называть себя не обывателями только, а некоторым образом гражданами русской земли, которым дана известная свобода мысли и самостоятельности, известная доля участия в управлении, дан народный суд, у которых, наконец, *de jure*[122] нет, не осталось и тени рабства нигде, ни даже в самых отдаленных и глухих уголках обширного отечества. Правда, все это только пока в начатках, но это такие начатки, об существовании которых не мечтали люди даже ближайших к нам поколений; это такие начатки, владея которыми можно безбоязненно и светло смотреть в будущее и работать с наслаждением. Если бы какой-нибудь герой «времен очаковских и покоренья Крыма» взглянул на наше настоящее, он, конечно, сказал бы с восторгом в простоте души: «Да у вас не мишура только, а действительно золото; вы настоящие европейцы; вам и умирать не надо». Он никогда не увидел бы, что мы, новоиспеченные европейцы, ничуть не блаженнее его, – бывшего раба или, что еще хуже, рабовладельца варварской России второй половины XVIII столетия, что мы часто гуртом не спим от таких вещей, от которых не был потревожен в своем безмятежном сне ни один из его современников, что, не пользуясь в действительности политическим существованием, мы то и дело терпим и переживаем политические бури.

Читатель понял, конечно, о каких бурях мы ведем речь. Он знает их так же хорошо, как и мы.

Живет себе русское общество спокойно и смирно; каждый сидит под виноградом своим

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru и под смоковницею своею, занимаясь своим делом; вообще, вся страна наслаждается, по выражению одного публициста, глубоким земским миром. На отечественном небосклоне всюду светло и ясно, никто не видит нигде и не предчувствует никакого признака невзгоды и беды. Как вдруг в это время, неизвестно откуда, вылетает, наподобие бомбы, некто Нечаев и с шумом и треском падает среди изумленного общества, приводя всех в страх и смущение.

Кто такой Нечаев? Что такое Нечаев? Чей он посланник? Во имя чего и к кому он явился? Какие его цели и намерения? Общество ничего этого не знает и до Нечаева нет ему, по-видимому, никакого дела. Нет, говорят, дело есть; Нечаев совершил преступление из п-о-л-и-т-и-ч-е-с-к-и-х целей, и у него есть сообщники в среде общества. Положим, так, но на это есть благоустроенная полиция, которой дано право не только преследовать, но и предупреждать преступления. Обществу опять-таки до этого нет никакого дела, и оно имело бы, по-видимому, полное право оставаться спокойным и заниматься своим делом.

Однако нет. Полиция, видимо, не знает ничего твердо определенного ни о замыслах Нечаева, ни о его сообщниках и чего-то ищет. По обыкновению, общество приходит в смущение. В чем состоит нечаевское дело, остается для всех неизвестным, и публика, естественно, старается поднять завесу с этой тайны. Но как удовлетворить этому любопытству? Единственное средство в ее руках – это собрать данные и из этих данных извлечь ключ к тайне. Но после долгих соображений оказывается, что из собранных данных ни к каким общим выводам прийти нельзя. Между арестованными находятся люди таких различных состояний, званий, занятий, привычек, вращающиеся притом в кружках до того разнообразных, что, очевидно, в большей части ни между ними самими, ни между ними и Нечаевым никаких связей быть не могло. Общество теряет единственную надежду, бывшую в его руках, для успокоения себя. Тогда является ему на помощь услужливая молва с своими догадками и производит решительное смятение. Начинают говорить, что Нечаев и некоторые из его сообщников, которых называют и по именам, – разумеется, одни одних, другие других, – обличены в важном политическом заговоре. И весь этот говор имеет в своем основании что-то смутное: толкуют о знакомстве, каких-то записочках, адресах, фотографических карточках и т. п. «Помилуйте, это дело невозможное, – говорят люди солидные, выслушивая такое показание молвы. – Ведь и Нечаев, и сообщники его были не преступниками назад тому два, три месяца. Мало ли с кем могли они иметь случайные сношения и отношения? Мало ли чьи могут быть найдены у них записки, карточки, адреса? Да, наконец., карточки, адрес могли попасть к ним даже без ведома того лица, которое они обозначают?» Но, говоря это, солидные люди втайне все-таки остаются не уверенны в своих предположениях и колеблются. В это время услужливая молва приливает с новыми сведениями. Начинают говорить, что родилось убеждение, что все зло в России происходит от размножения нигилисток; что поэтому к нечаевскому делу присоединяется дело о нигилистках. Но молва представляет такие недостаточные, малочисленные и шаткие факты и рго и contra[123] для своего известия, что никто не знает, на чем остановиться, – и от этого все приходят еще в большее смущение. Но молва не останавливается на этом. Быстро несет она новый поток сведений и слухов. Начинают говорить, что убедились, что зла нельзя будет никогда истребить, если не истребить причин, его порождающих. Эти причины – ультралиберальные, социалистические и коммунистические идеи, распространенные в обществе и посредством печати, и посредством разных обществ, и посредством устного слова. Это приводит в окончательное смущение всех. Как провести разграничительную черту между ультралиберализмом и просто либерализмом? Кто будет проводить эту черту? Что, далее, будет признаваться социалистической и коммунистической идеей и что не будет признаваться? Кончается тем, что все начинают прятаться по норам и каждый в уединенном самосозерцании и самоуглублении начинает себя испытывать: не написал ли он где-нибудь, не сказал ли в обществе чего-нибудь такого, что могло быть понято и растолковано другими за идею ультралиберальную, социалистическую или коммунистическую. О деле Нечаева начинают говорить с осторожностью и оглядкой, разве только при самых коротких друзьях; имя его произносится полушепотом, чтоб не услышала прислуга дома. Все, не чувствуя за собой никакой вины, начинают себя считать чуть не виноватыми. Паника доходит до смешного. Рассказывают, что один ех-профессор, отлучившийся из дому по делам очень рано и возвратившийся домой только к обеду, за обедом, с глазу на глаз с своей женой, попросил последнюю рассказать ему газетные новости этого дня. Жена рассказала разные новости и в числе прочих сообщила ему, что Нечаев убежал за границу. Как только ех-профессор услышал имя: Нечаев, то побледнел и затрясся. Поспешно встал он из-за стола, подошел к одной двери, посмотрел, нет ли кого за ней, подошел к другой, произвел и здесь ту же ревизию, – и только тогда, несколько

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru успокоившись, возвратился за стол и сказал жене глухим голосом: «Душа моя! мы не должны называть имени этого человека; если бы в газетах было напечатано, что разверзлась земля и поглотила его, мы должны бы сказать: что разверзлась земля и поглотила некоторого человека, – только, а не имярек». – «Отчего же?» – спросила с изумлением испуганная жена. «Оттого, душа моя, – отвечал ех-профессор, – что времена такие... у нас есть прислуга... Услышат фамилию, пойдут болтать...» – «Но ведь ты не виноват ни в чем!» – возразила было супруга. Но ех-профессор был, очевидно, менее ее доверчив в этом случае. «Не виноват, – отвечал он, – конечно, но прежде чем узнают, что я не виноват, придется, пожалуй, посидеть».

Я человек от природы характера самого робкого. Когда настает общественная паника, я начинаю трусить едва ли не более всех. Чувство трусости есть самое скверное чувство; это я имел случай испытать много раз в моей жизни. Но если природа наградила кого-нибудь этим чувством, то с ним ничего не поделаешь. Остается одно: быть вечно настоже против разных невзгод и принимать вовремя благопотребные меры. Так и веду себя я.

Еще с 1862 года убежденный И. С. Тургеневым, я порешил, что в наше время всякая связь с молодым поколением опасна, и поставил себе в священный долг не только не заводить вновь знакомств с людьми, не достигшими, по крайней мере, тридцатипятилетнего возраста, но раззнакомиться и прекратить всякие сношения даже и с теми из старых знакомых, которые моложе этих лет. Это решение исполняю я твердо и неуклонно. Сколько ни просят меня разные мои теперешние почтенные и уважаемые мною знакомые, имеющие по пятьдесят и более лет от роду, чтоб я позволил им ввести в мой дом их племянников, внучков и других молодых людей, аттестуя их как людей меня уважающих и вместе с тем вполне достойных и благонамеренных, – я отвечаю постоянно всем одно и то же: «Не могу; времена теперь не такие». Что касается до особ женского пола, то я положил допускать в мой дом: девиц и замужних женщин не ранее 30-летнего возраста, если только они не стригут своих волос и если моими почтенными знакомыми будет удостоверено, что они не заражены ядом нигилизма; если же стригут волосы, то, при должном ручательстве в их благонадежности, таковые допускаются не ранее сорока лет от роду. Далее, не имея за собою ни родового, ни благоприобретенного, проживая на маленькие средства, я решился чуть не половину зарабатываемого мною дохода употреблять на то, чтобы нанимать приличную квартиру с швейцаром. Дорогая квартира лежит тяжелым бременем на моем маленьком хозяйстве и стесняет меня на каждом шагу; у меня нет порядочного стула, на котором можно бы было сесть вполне безопасно, я отказываю себе иногда в необходимой для моего здоровья рюмке вина, мой туалет не лучше туалета немецкого бурша, но за все эти лишения меня утешает мысль, что у меня есть швейцар. Швейцар – великое дело в нашей жизни. Мимо него не пройдет ни один из идущих в мою квартиру. Но мне нравится особенно то, что бог одарил моего швейцара значительною дозой пронизательности, любопытства, памяти и что эти качества сохранились в нем во всей силе, несмотря на его преклонные лета. Он знает не только имена, звания, занятия, но даже места жительства всех моих знакомых. Я так доволен этим, что иногда доставляю себе особенное удовольствие слегка поэкзаменовывать его: твердо ли он всех знает, не позабывает ли, не перепутывает ли. Вот иду я домой с обычной прогулки моей после обеда; швейцар отворяет мне дверь и обыкновенно старается ради любезности сказать мне что-нибудь: «А что погода, кажется, все не поправляется?» – начинает он. «Да, – отвечаю я. – А был кто-нибудь без меня?» – «Была, – как ее, – не вспомню вдруг имени, – редакторша (так называет он сочинительниц), что живет на Невском в доме таком-то». Или: «Был старичок-сочинитель, который к вам ходит, небольшого роста, у которого жена такая-то (начинается описание жены); живет на Лиговке». – «А!» – говорю я улыбаясь и весело поднимаюсь вверх в свою квартиру. Но еще более мне нравится то, что швейцар мой находится в самой тесной дружбе с нашим околodочным. Последний то и дело торчит около него у подъезда, или они распивают вместе чай в каморке швейцара. «Ведь о чем-нибудь разговаривают же они, – думаю я про себя, – проводя целый день вместе? О чем же они разговаривают? Конечно, о жильцах, которые живут в доме, о знакомых, которые к ним ходят, о том, кто эти знакомые, и проч. Одним словом, околodочный знает все то, что знает и швейцар», – заключаю я и потираю себе руки от удовольствия. «Никто, значит, – продолжаю я думать, – не может заподозрить меня в знакомстве и сношениях с людьми неблагонамеренными: справка налицо; жизнь моя как на ладони». Но как ни завидно положение мое в сравнении с другими, прихотям смертного, как известно, нет пределов... Я желал бы, чтобы не только по наружности, но даже внутри моего жилища постоянно присутствовал какой-нибудь любопытный консерватор, который наблюдал бы за каждым моим шагом и движением, выслушивал каждое мое слово. До того я невинен, что мог бы, кажется, предстать во всякое время и

Казалось бы, мне ли не быть спокойным, что бы ни происходило в общественной жизни. И, однако ж, когда начинается общая паника, я впадаю в смущение, если не больше, то ничуть не меньше всех других. Голова начинает гореть, начинают шевелиться и бродить разные скверные мысли, так что ни о чем думать невозможно; в голове то и дело вертится вопрос: «Да невинен ли ты действительно? Не воображается ли только тебе, что ты невинен?» И вот я самоуглубляюсь и подвергаю себя самому строгому самоиспытанию. Я начинаю с того, что припоминаю всех заподозренных «Московскими ведомостями» лиц и спрашиваю себя: «Не был ли ты знаком с кем-нибудь из них даже когда-нибудь? Не знаешь ли их? Не встречал ли их где-нибудь?» По тщательном возобновлении в памяти всего прошедшего, на все такие вопросы получается ответ решительно отрицательный. Удостоверившись, что с этой стороны твердо, я перехожу к испытанию себя в отношении переписки: «Не писал ли ты кому-нибудь когда-нибудь писем с вольным духом или с неопределенными намеками, которые каждый может растолковать по-своему, не раздавал ли и не продавал ли своих карточек?» И с наслаждением снова удостоверяюсь, что и с этой стороны твердо. С ранней молодости моей я отличался отвращением к переписке. Писать письмо было для меня таким же мучением, как делать визит. С самыми лучшими друзьями я мог хранить упорное молчание в продолжение целых годов, если не представлялось настоятельной необходимости написать по делу, точно так же я мог не посещать по целым годам лиц для меня самых дорогих без крайней какой-нибудь нужды. Это много причинило мне огорчений и стоило многих потерь в жизни, ибо только немногие, очень близко знавшие меня друзья мои понимали, что это не что-нибудь преднамеренное, а таково свойство моей натуры. Было когда-то время, что я сам огорчался своею неподвижностью и по временам даже предпринимал твердое намерение исправиться, но этого твердого намерения никогда не хватало и на неделю. Теперь только я опытно понял, что это свойство, причинявшее мне столько огорчений в жизни, вовсе не дурное свойство, что многие, напротив, у которых руки так же слабы на воздержание от ненужного письма, как слаб язык на словоизвержение, должны сильно завидовать мне.

Затем я обратился к испытанию себя в самом наиважнейшем моменте человеческих грехопадений, в устном словоизвержении, но здесь почувствовал себя еще легче. «Язык мой – враг мой», – говорит пословица. Я мог бы сказать: «Язык мой – друг мой». Несмотря на мою словоохотливость и веселость, в жизни моей мне случалось терпеть неприятности от промахов умолчания, но никогда от словесной распушенности. Всю важность этого качества, которому я прежде не давал никакой цены, я понял только в последнее десятилетие. Трудно представить себе общество, где бы болезнь языконеистовства была так сильно развита и похищала столько жертв, как у нас. Целые политические процессы у нас велись и ведутся из-за словоизвержения, – и сколько погибло от этого сил! Есть люди, которые не могут хранить в себе ни одной зародившейся в их голове мысли, ни одного известия, услышанного от других. Пока они не опорожнятся, то есть не расскажут того, что у них имеется, по крайней мере пяти человекам, каждому особо, они не могут быть спокойны. Даже когда они, по-видимому, твердо решаются не говорить чего-нибудь другим, вообще сохранить тайну, они не могут этого сделать. Их лицевые мускулы и нервы, их телодвижения изменяют им. Сейчас видно, что их что-то прет изнутри и требует немедленного опорожнения. Ужасное несчастье!

Оставалось еще испытать себя относительно грехопадений по части литературы. Но, вступая в эту область, я чувствовал под своими ногами уже твердую почву. Во-первых, литература – дело публичное, совершаемое открыто перед всеми; во-вторых, за нею следят столько официальных надзирателей и столько литературных любопытных консерваторов, что в ней невозможно совершить преступления, если бы и хотел; в-третьих, для преступлений литературных существует особый следственный и судебный процесс, от которого никогда не отступают, да и отступить трудно, ибо литература – дело тонкое и преступление ее может понимать только специалист.

Получив из самого строгого самоиспытания такие блестящие результаты, я сделался так доволен, что готов был прыгнуть от радости. Во мне явилась потребность немедленно излиться в благодарных чувствах.

В это время вошла в кабинет подруга моей жизни и, увидев меня, каким не видала уже много дней, веселым и беззаботным, спросила:

– Что с тобой?

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
– Ничего, – отвечал я. – А знаешь что, сегодня погода отличная. Не прокатиться ли нам? Кстате заехали бы в Казанский собор, помолились.

– Что это значит?

– Да ничего, – отвечал я. – Давнехонько уж не были мы у чудотворной.

– Гм! однако ж почему именно сегодня напала на тебя страсть к богомолью? А у меня тоже есть дело к тебе. Ты знаешь, сегодня назначены дебаты об обществе распространения женского образования, и ты непременно должен ехать со мною.

Меня немножко передернуло при этих словах.

– Знаешь что? – начал я, – теперь не такие обстоятельства, чтобы думать об основании обществ. Да и сказать ли тебе правду, – я мало вижу толку в этих обществах. Они, мне кажется, убивают только и подъедают частную инициативу людей богатых. Ведь вон Пибоди – посмотри, как действовал. Даст тут миллион долларов, в другом месте два, в третьем – три, – смотришь, в одном месте, точно по щучьему велению, университет вырос, в другом – огромное благотворительное учреждение, в третьем... А будь общества, он, пожалуй бы, и внимания не обратил. Дескать, есть кому печься. Так и у нас. Не будь вашего общества, может, ныне же на женское образование дал бы Кокорев миллион, Утин – другой, Бенардаки – третий, Поляков – четвертый. Я называю этих богачей только к примеру, – а мало ли у нас таких? А учредите вы общество, они скажут: теперь есть кому и помимо нас думать о женском образовании.

– Однако ж до сих пор ведь никто ничего не дал? – возразила моя подруга.

– Конечно, не дал, но из этого не следует, чтобы не могли дать. А как заведете общество, так наверно уж не дадут.

– Ну, это еще бабушка надвое сказала, – отвечала она, – а ты все-таки со мною поедешь.

«Вот тебе и попал, – подумал я, отправляясь в свой кабинет. – Что тут будешь делать? Отказаться – нет никакой возможности. Заедят, со света сживут женщины. Ехать в собрание? Но ведь там, верно, человек двадцать, пожалуй, тридцать будет. Уж самый факт подобных собраний есть вещь незаконная. А там разнесется молва, что был в собрании, следовательно, рассуждал... затевал нечто, положим, законное, но... следовательно, все-таки человек некоторым образом недовольный, протестующий. И зачем это они у нас женское образование какое-то выдумывают? тут надобно бы и мужчин-то разучить, чтобы не высокоумствовали!»

Просто досада меня взяла; веселого расположения духа как не бывало. В то время, на беду мою, как раз шасть в двери Федя Горошков.

Федя Горошков мужчина лет сорока пяти, неуклюжий, длинный, как верста, желчный, ничего не делающий, но уверяющий всех, что он по горло завален работою и не знает отдыха. С утра до вечера он проводит время в том, что собирает разнообразные городские сплетни, преимущественно имеющие политический оттенок, разработывает их по своему вкусу и в украшенном и дополненном виде разносит по своим знакомым под названием новостей. Так как он темперамента меланхолического, то подбор новостей делает обыкновенно в печальном роде. Если вы находитесь в веселом настроении духа, он своею беседою непременно нагонит на вас тоску и скуку; если же вы и без того невеселы, тогда боже вас упаси от беседы с ним. В прежние времена, находясь в таком почтенном возрасте, Федя Горошков давно, конечно, понял бы, что он не более как сплетник, но в наше прогрессивное время он остается в том убеждении, что носит в душе своей *weltschmerz*, [124] и почитает себя политическим деятелем.

– Слышали вы новости? – спрашивал Федя Горошков, вваливаясь в мой кабинет.

– Какие новости? – говорю я.

– Аресты, батюшка, аресты, да ведь какие аресты! Уж тысячи три человек взято!

– Полно вам вздор говорить. Арестовано каких-нибудь человек десять, много пятнадцать, а вы валите целые тысячи! Да и какое нам дело до этих арестов?

– Вам-то какое дело?.. Как?.. Вы литератор – и вам нет дела?! Ну, нет, вы этого не говорите. Я вам историей докажу...

– Какой вы мне это историей докажете? – говорил я, чувствуя справедливость его слов и внутренне трусая, но храбрясь. – Историей, конечно, реакций?

– Та, та, та, – продолжал безжалостный Федя Горошков, не примечая моего смущения, – положим, что и историей реакций. А как вы узнаете, что теперь такое у нас: прогресс или реакция?

– Уж, конечно, не реакция, – пробормотал я.

– Гм, нет, – начал снова Федя Горошков. – А слышали вы, что Белоголового арестовали?

– Вздор, вздор, – отвечал я. – Я вчера видел Белоголового.

– Ну да, вчера вы видели, а сегодня в ночь взяли; и всех студентов, исключенных по истории Полунина, взяли, и самого даже Полунина взяли.

– Полунина-то зачем же? – спросил я, невольно улыбаясь.

– А для полноты сведений, – отвечал, не запинаясь, Федя Горошков.

– А слышали вы? – начал он снова...

Вестей, вроде представленных мною, рассказал мне Федя Горошков с три короба и, прощаясь, несколько раз повторил мне: «Нет, вы будьте поосторожнее, пообщитесь; не ровен случай». Все, что говорил Федя Горошков, было или просто нелепо, или невероятно, или сомнительно; рассуждения и соображения его были глупы, но когда человек находится под влиянием паники, его легковерие быстро возрастает, и всегда в обратном отношении к здравому смыслу. Он делается способен скорее поверить вещи самой нелепой, нежели тому, что естественно и очевидно. Так было и со мной. Я понимал всю несостоятельность речей Феи Горошкова, мог доказать нелепость, невероятность или сомнительность каждой его сплетни, видел глупость его соображений, а вместе с тем мне невольно думалось: «А ведь почему-нибудь говорят же? Кто ж его знает, что может быть?» В ушах у меня постоянно звучали прощальные слова Феи Горошкова: «Нет, вы будьте поосторожнее, пообщитесь; не ровен случай». Сначала я старался отогнать их от себя, но напрасно; они то и дело завладевали всеми моими мыслями, так что я стал привыкать к ним, вдумываться в них и, наконец, порешил: «Почему же и не самообискаться? Самообискивание есть ведь только восполнение самоиспытания, и восполнение некоторым образом даже необходимое».

Но здесь мне предстоял трудный подвиг. Мне не хотелось о своем намерении самообискания говорить жене. Потому что, как хотите, неловко как-то сказать жене или кому бы ни было, что я хочу обыскивать сам себя, или, что то же, хочу сам обыскивать свою квартиру. А между тем самообискивание нужнее было скорее всего для моей жены, чем для меня. Меня мало вообще интересовали разные запрещенные политические редкости, а она была равнодушна и к сочинениям заграничной печати и к карточкам великих, но запрещенных людей.

Жена моя прекрасная, цельная натура. В ней нет того раздвоения, к которому мы привыкаем с самых ранних лет. Она не разделяет мысли от слова, слова от дела; что она раз признала честным и хорошим, от того никогда не отречется, даже притворно, напротив, будет отстаивать всеми силами везде и всегда. Для истины всякая аккомодация к существующему положению дел, по ее убеждению, унижительна и преступна. Чем пламеннее делается натиск на то, что она привыкла считать честным и хорошим, тем суровее дает она отпор, невзирая ни на какие лица и обстоятельства. Это качество я глубоко ценю и уважаю в ней. Но читатель, знающий наши общественные отношения, согласится, что бывают случаи, когда означенное качество может причинять большие беспокойства.

Когда я вошел в кабинет своей жены, она сидела и читала «Мизераблей» В. Гюго.

– Что ты читаешь? – спросил я, будто не замечая.

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Она назвала книгу.

– Старенько, – сказал я. – Да и талант Виктора Гюго давно уже поизносился. Ныне и у нас можно найти много кой-чего гораздо поновее и поталантливее.

– Что же, например? – спросила она.

– Да мало ли что? Например: «Идиот» господина Достоевского. – Она сделала гримасу. – «Преступление и наказание» его же, – продолжал я с прежнею храбростью. – Некоторые критики очень хвалили этот роман именно за картинность, которую только и берет Виктор Гюго. – Она поморщилась. – А то вот, – снова начал я, – последние сочинения нашего романиста И. С. Тургенева: «Собака», «Лейтенант Ер...». – В это время я взглянул на мою супругу и не кончил слова. Ее глаза обращены были на меня с таким укором, что мне стало совестно продолжать. – Ну да, – начал я, – я ведь говорю это только к примеру, называю первое, что мне приходит на память. Мало ли что у нас есть хорошего? Во всяком случае, что тебе за охота читать эти размазанные, растянутые, надоевшие всем описания нищеты, вечные нападки на богатых...

– А тебе хотелось бы, – возразила моя супруга, – чтобы я читала нападения на бедных за то, что они притесняют богатых?

Я замолчал. «С какой стати, – думал я в это время про себя, – привязался я к этим Мизераблям. Пусть ее читает их на здоровье, если хочет!»

– Впрочем, это ведь я так, – начал я, – только между прочим и из патриотизма обращаю твое внимание на недостатки Виктора Гюго. А у него есть, конечно, много и достоинств, и если он тебе приходится по сердцу, отчего же его и не читать? А это что у тебя валяется? – сказал я, взяв одну из лежавших на столе книг, на которую давно уже были устремлены мои очи. – Ба! Заграничный исторический сборник. Ну, об этом нельзя сказать того же, что о Гюго. Это можно совсем не читать без всякой потери!

– Это почему? – спрашивала моя супруга, смотря на меня во все глаза.

– Да потому, – отвечал я, – что... что ж это такое? Не то роман, не то история. Иные акты, конечно, встречаются и любопытные, но они ничем не удостоверены; что же толку в том, что ты их будешь знать?

– А какие же акты удостоверены?

– Да все, – отвечал я, – которые издаются не за границей, а у нас дома. Здесь издается все на основании подлинных, несомненных документов; если бы относительно чего возникло сомнение, можно сейчас печатно возбудить вопрос, завести спор, и дело тотчас выяснится. Мне жаль, – прибавил я, – что, читая исторические акты, издаваемые за границей, ты не заглянешь никогда в те, которые издаются здесь. Есть, которые далеко будут полюбопытнее тамошних, – а насчет подлинности не может быть и тени сомнения.

– Какие же это, например?

– Да вот все, которые печатаются в «Архиве» Бартенева. С нынешнего года выходит еще одно такое издание Семевского. Архив я имею уже, а Семевского, если хочешь, также выпишу. Оба гораздо любопытнее «Исторического сборника». Впрочем, ты «Исторический сборник», вероятно, давно уже прочла. Не хочешь ли – я пойду прогуливаться и отнесу его. У кого ты его брала?

– А знаешь, что я тебе скажу, – сказала жена, пристально смотря мне в глаза, – тебе в душе должно быть очень стыдно!

– Отчего же? Я... только так, – бормотал я, конфузясь.

– Признайся, – продолжала она, – что ты меня обыскиваешь и поставлен в необходимость говорить разную дичь. Отчего не сказать было прямо, что ты немножко трусишь и желал бы, чтобы я очистила свою квартиру от некоторых книг и карточек, которые могут компрометировать.

– Ну да... быть осторожным – вещь, конечно, не лишняя, – говорил я с смущением, –

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru но я вовсе не думал... ты говоришь пустяки...

– Перестань... теперь я все понимаю и все негодные книги удалю. А карточки какие тебе не нравятся?

– Карточки твои все хороши, – говорил я, пересматривая ее альбом, – только вот, мне кажется, напрасно поставила ты в первую голову Фурье, Луи Блана, Прудона. Они, конечно, люди с талантами, но основательности в них не особенно много. Это не то, что Бэкон, Кеплер, Ньютон...

– Ты, пожалуйста, перестань об основательности. Не нравится тебе, – и я выброшу их.

– Нет, зачем же выбрасывать... Они, во всяком случае, светила, но ты только поставь их подальше. Да кроме того, у тебя коллекция замечательных лиц неполна, да и альбом с пустыми местами смотрит как-то некрасиво. Не хочешь ли, я дам тебе – для пополнения – нашу иерархию?

– Какую это иерархию?

– Да карточки наших преосвященных.

– Это зачем? Ты, пожалуйста, не прислуживайся. Уничтожать можешь, что хочешь, а пополнять тебе мой альбом не позволю. Можешь свой завести и помещать там, кого хочешь.

– Ну, где ж мне возиться с альбомом. Я и тебе посоветовал так, ради полноты твоего альбома.

– Не нужно советов. А что ты желаешь, будет исполнено в точности: не будет ни одной карточки с лицом неодобрительного политического поведения и ни одной книги с мыслями красноты неузаконенной. Иди и будь спокоен.

Совершив тяжелый подвиг объяснения с женою, я пошел в кабинет, чтобы совершить процесс самообыскания над собою. Я заглянул в свои книжные шкапы, в ящики письменного стола, в диванные ящики, в особые сундуки, назначенные исключительно для бумаг, – везде были груды, так что, если бы собрать все вместе, образовался бы, наверное, большой воз. Для основательного разбора этих бумаг несколько человек должны бы были убить, по крайней мере, месяц времени. Бумажный этот хлам копился у меня в течение более десяти лет. В нем было все – и целые статьи разных сочинителей, предназначавшиеся к печати и оказавшиеся неудобными для печатания, и бесчисленные черновые листы напечатанных сочинений, разбитые по страницам и перемешанные вместе из нескольких десятков сочинений, и разные счета, и бесчисленное множество писем, писанных в течение десяти лет на имя разных редакций – все это в течение более десяти лет никогда не разбиралось; при переездах с квартиры на квартиру, на дачи и с дачи складывалось охапками в простыни и из простынь таким же образом перекладывалось снова куда попало. Можно представить себе, какой хаос господствовал в этом хламе! Что было с ним делать? Сжечь? Но как сжечь без разбору? Среди хлама могли завалиться бумаги забытые и ненужные, но которые потом, по востребованию, могут оказаться весьма нужными. Разбирать все это? Но разбирать нужно самому и тщательно, а для этого пришлось бы просидеть за ними месяца три. Наконец, если бы на все махнуть рукой, решиться сжечь все без разбора и начать жечь, то таким аутодафе можно поставить на ноги всю прислугу, возбудить подозрение, что жжешь нечто преступное. И кто поручится, что может из этого выйти? Я, перекрестясь, решил на волю божию оставить хлам, как он был. Но мне хотелось полюбопытствовать хотя немножко, что в нем есть, и, так сказать, предвосхитить впечатление того, кому пришлось бы разбирать его. Я подошел к одной маленькой куче, лежавшей внизу книжного шкапа, вынул несколько ненапечатанных старых сочинений, пук всевозможного винегрета из разных отрывочных листов, счетов, писем; перекинул в последнем несколько листов, счетов, писем и вдруг, о ужас, нахожу следующую записку:

«Приходите сегодня в квартиру ул. д. № в 9 часов вечера, здесь соберется тесный кружок людей, посвященных в тайну, для совета по известному вам делу.

Вас ждут

Известные вам».

На записке не было никакой даты. Бумага и чернила сохранились так, как будто писаны были назад тому не более одного, двух месяцев. Прочитав эту записку, я обомлел от ужаса. Рука незнакомая. Когда и кем могла быть писана подобная записка? Я начал припоминать, думал, думал, но напрасно ломал голову; ничего не мог придумать. Боже! уж не подброшена ли мне кем-нибудь из любопытных консерваторов такая записка... Меня обдало холодом при этой мысли. Однако ж, поразмыслив немножко, я признал всю невероятность, нелепость подобного предположения. В это время, все продолжая раздумывать о записке, я машинально протянул руку к следующей бумаге, лежавшей в кучке под запискою, и на вынутом мною листе прочел список лиц. Тогда для меня все объяснилось. Этот список заключал в себе имена лиц, намеревавшихся издавать газету на паях назад тому десять лет. Предприятие это не осуществилось. Но собраний по нему было много; между прочим, были и интимные собрания человек шесть или семь, из лиц, руководивших делом, которые собирались предварительно для того, чтоб условиться между собою, что поддерживать в общем собрании. Записка написана была таинственно в шутку, из школьничества. Что, если бы эта записка, думал я, попала! Кто бы поверил такому простому объяснению дела? Ведь по ней можно подумать бог знает о каком кружке. Я, разумеется, немедленно сжег эту записку. Но мог ли я ручаться, что подобных записок нет еще в моем бесконечном хламе? А между тем делать с ним, как я уже сказал, было нечего. Волей-неволей надобно было махнуть рукой.

Кроме хлама, у меня было пачки три бумаг, действительно дорогих для меня. Это были письма моего покойного отца, письма разных близких ко мне, накопившиеся в течение не одного десятка лет, наброски мыслей, которые я делал по разным случаям, заметки и т. п. Бумаги эти лежали отдельно от всех других в особом помещении конторки. Что делать с ними? – думал я. Жечь их я не желал бы никоим образом. Они были слишком дороги для меня по воспоминаниям. Но в случае крайности я охотнее решился бы сжечь, нежели отдать их в посторонние руки. И это не потому, чтоб в этих бумагах было что-нибудь преступное, чтоб они могли компрометировать меня; ничего подобного, ни малейшего прикосновения к политической сфере в них не было. Но эти бумаги были некоторым образом ключом ко мне самому; они вводили в мир моей души, давали возможность следить за настроением моей мысли, угадывать мои симпатии и антипатии, изучать характер моих отношений к людям и т. п. А мне не хотелось, чтобы кто-нибудь влезал в мою душу. Куда деваться с этими бумагами? – думал я, где скрыть? Я припоминал имена бесчисленных моих знакомых. Много из них было, конечно, таких, у которых я мог надежно схоронить мои драгоценности. Но как было обратиться к ним с подобным предложением? Сказать им, что я чего-то боюсь, значило бы некоторым образом уже скомпрометировать себя в их глазах. Долго я думал, где бы мог скрыть мои сокровища, наконец меня озарила блестящая мысль.

При одной из петербургских церквей, в звании просвирни, процветала моя двоюродная тетушка Марья Осиповна Самопалова. Мы видались с тетушкой очень редко, не более шести, семи раз в год, но это не мешало нам взаимно любить и уважать друг друга. Тетушка была женщина добрейшая и с таким природным светлым умом, что хотя и не получила никакого воспитания, но догадкой доходила до понимания многого такого, что остается подчас непонятным самым развитым женщинам.

– Время ныне стало бойкое противу прежнего, – говорила она мне. – Все везде разбирают, все критикуют. Видно, что свету в миру, противу прежнего, гораздо прибыло. Только жить от этого не легче стало. Лбом стены не прошибешь. Свет попадает в немногие головы, и темноты по-прежнему все видимо-невидимо. Светлячки бедные и гибнут напрасно.

– Что? Дали трепку! Поприжмете теперь хвост-то! – говорила мне тетушка вскоре после одной бури, многих потревожившей. – Али не уйметесь? Будете строчить по-прежнему?

– Вы знаете народную примету, тетушка, – отвечал я шутя, – что кто раз начал строиться, тот будет строиться до гробовой доски; так и тот, кто начал писать, не перестанет до конца жизни. Да и чего нам бояться? Разве мы худое что делаем?

– Коли худое, но что ты сделаешь, когда люди не прозрели еще настолько, чтобы отличить хлеб от мякины?

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

– Так что ж вы думаете, тетушка, бросить писать?

– Зачем бросать? Всякий пусть делает, что может и умеет. А иначе мир не будет стоять. Я вот не бросаю же просвиры печь.

– Да вам хорошо просвиры печь, когда вас никто за это не трогает.

– А ты посмотри-ка по своим книгам, – отвечала мне тетушка, – так и увидишь, что было время, когда просвиры печь было опаснее, чем писать книги. Однако просвиры не бросали своего дела и пекли просвиры.

– Так что же?

– Ну, пишите и вы, – не боясь опасностей за чистое дело, – и достигнете того, что со временем и вам так же вольготно будет, как теперь просвирам.

Такова моя тетушка.

Связав в узелок драгоценные мне бумаги, я отправился к ней в твердой уверенности, что нигде безопаснее нельзя схоронить их на время, ибо никакие политические бури не могут достигнуть до мирного жилища никому не известной просвиры. Тетушка только что управилась, как она говорила, с печью, то есть вынула просвиры, и сидела за чаем.

– Вот неожиданный гость! – приветствовала меня она, едва я вошел в комнату. – Недаром у меня сегодня целое утро всё искры из печки выскакивали. Какими ветрами занесло?

– Что ж? Аль ныне пути к вам заказаны, что можно попадать только с попутными ветрами? – шутил я.

– Какое заказаны, – всегда рады гостям, да гости вы спесивые; к такой мелюзге, как мы, неповадно жалуете. Что это за кулечек привез? – спросила она, указывая на саквояж с моими драгоценностями.

– Это, – говорю, – кой-какие мои бумаги, которые я счел за лучшее на некоторое время положить к вам.

– Что, верно, опять трепка? – сказала тетушка, улыбаясь. – Слышала уж я. На днях дьяконица рассказывала, что какой-то ее знакомый из кутейников попался.

– За что же? – спросил я.

– А за то, что, не постригшись в попы, начал обедню служить.

– Это как?

– А так, умишку не набрался еще, в университете побыл всего без году неделю, а начал разные турсусы разводить о царствах и народах; болтать везде, что и это не так, и то не так, и что мы, дескать, собираемся устроить все лучше.

– И что ж?

– Да жаль беднягу. Хорошо, если удастся отвертеться одним сиденьем, а то придется за такую болтовню дорого поплатиться. У нас, ты сам знаешь, на этот счет строго, не так, как в иностранных землях...

– А вы, тетушка, кажется, сами не прочь заняться устройством царств, – сказал я шутя.

– Ах ты, крюк этакой, – отвечала она, смеясь, – что ж, доносить, что ли, пойдешь? Тогда у кого свой кулечек-то оставишь? Давай его сюда. Вишь, сколько настрочил. Чай, тоже все об устройстве царств хлопочешь?

– А вы боитесь?

– Да что мне бояться. Я не то что людей, я и чертей не боюсь; каждая просвира с крестом, – и они бегут от моего дома без оглядки.

Поболтав еще с тетушкой около получаса, я отправился домой. На душе у меня стало опять легко и ясно. Теперь, думал я, я стал человек, как есть: самоиспытан, самообмыт. Все неприятное удалено. Положим, что у меня остались груды неисследованных старых бумаг. Да ведь не на всякий же, в самом деле, хлам будут обращать внимание? Погода стояла отличная. Я с жадностью глотал свежий воздух. Мысль становилась все яснее и бодрее. Я стал думать, что дело, которое причиняет мне столько беспокойства, должно быть, какие-нибудь пустяки; что таким солидным людям, как мне, о подобных пустяках и думать стыдно. Я стал разбирать вышеприведенные догадки молвы, и мне стало совестно, что я мог хоть на минуту верить подобному вздору. Домой я приехал в совершенно спокойном и веселом расположении духа. Жена выбежала ко мне также вполне веселая и счастливая и, вытянувшись комически во фронт и приложив пальцы к своему чепчику, отрапортовала, что теперь в нашей квартире обстоит все благополучно, нет ни одной зловредной книги, ни одной компрометирующей карточки.

Но блаженство мое продолжалось недолго. Едва я вошел в мой кабинет, я увидел на столе целый пук «Московских ведомостей». Я выписал их ныне очень поздно и не получал в течение более недели после нового года, и очень скучал за ними. «Московские ведомости» составляют мое любимое чтение, потому что в них всегда есть нечто прyanое, подзадоривающее, раздражающее. В случаях же, когда они захотят кому насолить, они делаются просто прелестны. Читая их, иногда не веришь ни одному слову, которое написано, а между тем неприметно для себя самого увлекаешься, восторгаешься, чувствуешь, как пробивает в тебе шаг за шагом чувство кровожадной, татарской свирепости, которое мудрая политика московских князей вместе с монголами, соединенными усилиями, насаживала и воспитывала в русском народе, и которое, благодаря этим усилиям, так глубоко утвердилось в нем, что не заглохло до сих пор, несмотря на все гуманные помазания и врачевания последнего времени. Прочитывая подобную статью, находишь себя вдруг способным повесить весь мир ни за что ни про что. Я с жадностью бросился на лежавшие предо мною «Московские ведомости». Но прием прyanостей на этот раз был так силен, что через полчаса меня била уже лихорадка.

Невероятные вещи! Все, что я знал доселе о «нечаевском деле» – все становилось вверх дном! Все мои самоиспытания и самообмыкания не вели ни к чему. По уверению «Московских ведомостей», виновны вовсе не те, которые виновны, а виновата на первом плане петербургская литература, вожаками которой в злоумышлениях представляются Шелгунов, Суворин и Генкель. Я читал и не верил глазам своим. Возможно ли это? Возможно ли, чтобы эти почтенные граждане были конспираторами?

Если бы г. Шелгунов, думал я, и захотел сделаться петербургским конспиратором, он не может; он давно уже живет вне Петербурга, в изгнании. Суворин... но нет, кому же из читающих его фельетоны в «Петербургских ведомостях» может прийти на мысль заподозрить этого писателя в политических замыслах? – Наконец, не есть ли полнейший абсурд самая мысль о том, что в этих замыслах может принимать участие такой гражданин, как Генкель, вся деятельность которого есть неумолкающее свидетельство о его благонамеренности?

Так представлялось мне дело с одной стороны, и я, по-видимому, вполне убеждался, что «Московские ведомости» говорят вздор. Но немедленно ряд успокоительных мыслей вытеснялся рядом других, совершенно противоположного свойства. «Шелгунов не живет в Петербурге, – думал я, – но разве он не может приезжать сюда под чужими именами и видами и конспирировать? Разве у нас это так трудно? Разве не то же самое делал Нечаев? Суворин не может быть заподозрен в неблагонамеренности. Да так ли? Не он ли написал: Всякие, – сочинение, о котором г. прокурор судебной палаты Тизенгаузен, изучавший это сочинение, как он сам говорит, «с полным беспристрастием, требуемым правдою, во имя которой творится суд», выразился, что «оно, не представляя собой ничего полезного, может только вносить смуту в неопытные умы, возбуждая в них безотчетное раздражение против существующего порядка вещей и столь же безотчетное стремление к какому-то иному политическому и гражданскому строю»? Не есть ли г. Суворин потаенный, хотя и прикинувшийся «невинностью», Ильменев? Наконец, и в самом Генкеле глаз наблюдательный не может ли усмотреть некоторого скептицизма относительно прав литературной собственности, если примет во внимание недавнее упорное отстаивание им своего права на статью Марка Вовчка без всякого законного на то акта и невзирая на протест последней? Кто может знать, не имеет ли он коммунистических воззрений вообще на собственность? А собственность составляет, как известно, одну из первых основ существующего порядка».

Эти мысли склоняли меня снова на сторону «Московских ведомостей». Я вновь прочитывал их громовые статьи и думал, что все, что они говорят, возможно. Я соглашался даже с тем, что всякий литератор может быть заговорщиком, сам не зная и не подозревая того; он может быть кругом опутан интригой и мыслить под влиянием ее, самодовольно воображая при этом себе, что он мыслит вполне самостоятельно и независимо. Я начал сомневаться даже в самом себе. Я начал думать: действительно ли то, что я пишу, пишу по собственному убеждению? Не опутан ли я изменою, как и другие? Не заговорщик ли я?

Соглашаясь с этим, я неизбежно соглашался и с новою системою следствия, рекомендуемою «Московскими ведомостями». По закону арестуют обыкновенно тех, против кого есть несомненные улики относительно участия в преступлении. «Московские ведомости» держатся того мнения, что так ничего не разыщешь, поймашь только мелкоту, а корни – главные виновники – останутся скрытыми. По их мнению, надобно брать не по несомненным уликам, и даже не по уликам, а так просто по предположению или, точнее сказать, по вдохновению. Белоголовый пишет статью против Полунина, защищаемого советом Московского университета, – очевидно, он агитатор, его надобно взять. Шелгунов, Суворин, Генкель осмелились не соглашаться с «Московскими ведомостями» и даже непочтительно отозваться о их редакторе. А и «Московские ведомости», и редактор их суть столпы отечества. Следовательно, Шелгунов, Суворин и Генкель хотят потрясти столпы отечества и даже, может быть, выковырнуть их. Не ясно ли, что они не только вредные агитаторы, но некоторым образом враги отечества? Но они, то есть Шелгунов, Суворин и Генкель – только вожди. За ними стоят целые партии их единомышленников и пособников. Не очевидно ли, что для порядка было бы не худо и каждому из сих последних помочь в процессе самообследования и вместе с тем поэкзаменовать каждого из них в некоторой особой исповеди по вопросам: «С кем вы знакомы?», «Кого вы из ваших знакомых больше любите и у кого чаще бывали?», «О чем вы между собою разговаривали?», «Каких вы держитесь убеждений относительно религии, образа правления и т. п.?»

В словах моих теперь проглядывает, как замечает, конечно, читатель, некоторым образом скептическое отношение к рекомендуемой «Московскими ведомостями» системе следствия. Но когда я читал громоносные статьи «Московских ведомостей» и находился под их влиянием, тогда было не то. Мне думалось, что иначе и быть не может, и не должно быть; что так именно и должно производиться следствие, как они рекомендуют, что надобно захватить и посадить в тюрьму всех, кто занимается литературой в Петербурге, кто сочувствует ей, кто читает ее.

Из этого убеждения я стал несколько выходить только тогда, когда озлобленная «Московскими ведомостями» петербургская литература вооружилась на них почти поголовно. Поход предпринят был так удачно, так вовремя и к стати, что увенчался неожиданной победой. «Московские ведомости» смирились и раскаялись, но раскаялись так неопределенно и смутно, что трудно понять, в чем они раскаялись.

Вот почему я не могу не признаться, что победа над ними напоминает мне известную всем народную картину погребения кота мышами. Мыши вообразили себе, что кот умер, и высыпали из всех своих нор, чтобы праздновать свое торжество. Но кот не умер, а только притворился умершим, чтобы тем удобнее рассмотреть своих врагов и узнать их норы... Конечно, для мышей отдых и то, если кот на время только успокоился или, по крайней мере, явился приниженным, но отдых этот, как читатель сам поймет – недостаточно успокоительный. Правильно поставлено будет общество только тогда, когда в нем не будет возможности одним делаться котами, а другим – мышами...

А такая постановка общества зависит от перемены системы политического процесса.

Есть, впрочем, основание думать, что эта перемена уже начинается. По крайней мере, в «нечаевском деле» следствие производилось под наблюдением прокурорского надзора обыкновенными судебными следователями; аресты, говорят, также производились с согласия прокурорского надзора. Наконец, назначен, согласно судебным уставам, сенатор кассационного департамента для ведения всего следственного процесса, как такого, который должен будет поступить на рассмотрение верховного суда. Для спокойствия общества более ничего и не нужно, кроме того, чтобы каждый политический процесс производился на точном основании судебных уставов. По крайней мере, люди невинные не будут трепетать вместе с виновными, а с людьми слишком прозорливых, вроде, например, публицистов

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru «Московских ведомостей», снимется непосильное бремя отыскивания виноватых по градам и весям обширного нашего отечества. И наверное, они сами почувствуют себя не в пример против прежнего легче...

ТАК НАЗЫВАЕМОЕ «НЕЧАЕВСКОЕ ДЕЛО» И ОТНОШЕНИЕ К НЕМУ РУССКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ *

Двадцать седьмого августа окончилось так называемое «нечаевское дело», занимавшее внимание публики почти в продолжение двух месяцев. Под конец публика видимо охладела к этому делу, так что, войдя в одно из заседаний суда (речь шла о подсудимых 4-й категории), мы нашли уже самое ограниченное число посторонних слушателей. По-видимому, утомился и прокурорский надзор...

Толки, возбужденные этим делом в публике, по обыкновению разделялись на две категории. Одни ужасались, другие только удивлялись, но можно сказать утвердительно, что на сей раз, благодаря гласности судебных прений, ужасающиеся были в меньшинстве.

Главный результат процесса, по нашему мнению, выразился в том, что он дал случай нашей литературе высказать чувства, которые одушевляют ее.

Существовало мнение, что литературу нашу раздирают междоусобия, что деятели ее готовы грызться друг с другом даже из-за выеденного яйца. Теперь это мнение, по крайней мере, относительно вопросов существенных, оказывается положительно ложным. Какой, в самом деле, самый существенный в настоящую минуту вопрос для России? – Это, несомненно, вопрос об общественной безопасности. Накопление неблагонадежных элементов, ясное, как утверждают компетентные люди, даже для невооруженного глаза; попытки возмутить спокойное шествие страны по пути прогресса, повторяющиеся почти периодически; наконец, зреющие в школах обширные замыслы, одновременно стремящиеся и к ниспровержению существующего порядка, и к отделению от государства обширных частей (Сибири), и к распространению по всему лицу земли коммунизма и других вредных учений – все это возбуждает в публике толки и опасения. И вот литература наша, в качестве верного отголоска публики, и с своей стороны единодушно вооружается против грозящего зла; она понимает, что ей предстоит очень важная миссия, и смело становится на высоту своего призвания. «Московские ведомости» называют замыслы подсудимых жульническими; «С.-Петербургские ведомости» присваивают им наименование безумных; «Голос» сравнивает наших заговорщиков с парижскими коммуналистами. «Вестник Европы» говорит с презрением о «глупых преступлениях» и о ничтожестве участников тайного общества. В виду общей опасности распри забыты; фельетонисты и составители *Leading'ov*[125] взаимно подают друг другу руку, разумеется, удерживая за собой право немедленно расколоться, как только пойдет речь о вопросах не столь важных и непререкаемых, как настоящий.[126] Что означает этот факт? – По нашему мнению, он означает, что литературное междоусобие, по поводу которого так скорбит публика, видя в нем признак слабости и неустойчивости русской литературы, есть междоусобие мнимое; что литературные наши органы, будучи совершенно согласны по вопросу столь коренному и существенному, как общественная безопасность, лишь по недоразумению разногласят относительно некоторых подробностей, которые даже и в нашей небогатой политическим интересом жизни имеют значение весьма второстепенное. И что, следовательно, скорбеть об этом разногласии и указывать на него, как на признак чего бы то ни было, нет ни малейшего основания.

Существовало еще и другое мнение: что русская литература не вполне и не вся благонадежна, что некоторые органы ее фрондируют и подкапываются. Мнение это было до такой степени распространено, что большинству публики казались совершенно естественными те меры строгости, которые по временам принимались для обуздания литературного фрондерства. Теперь журналистика наша смыла с себя и это позорное клеймо, доказав свою благонадежность самым осязательным и непререкаемым образом. Ввиду единодушного, и притом совершенно свободного, взрыва негодования, последовавшего чуть не на другой день после первого заседания судебной палаты, представляется ли основание формализироваться сепаратными вспышками некоторых пламенных фельетонистов и репортеров по поводу некоторых несомненно важных, но все-таки второстепенных мероприятий, исход которых притом не только от них не зависит, но определен заранее, и притом бесповоротно, людьми вполне компетентными? Какой вред от того, что они предъявят миру свои соображения? И не полезнее ли, напротив, поощрять в них этот бескорыстный пламень, эту божью искру, дабы она никогда не угасала и, при случае, вспыхнула новым блеском, как, например, это и случилось теперь, когда литература наша встала на высоту почти

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru недосыгаемую? Нам кажется, что ответ на все эти вопросы не может быть сомнителен. Да, мнение не только о радикальной, но и об относительной неблагонадежности того или другого органа русской литературы должно упраздниться навсегда, упраздниться без следа. Фрондерство, инсинуации, подземные интриги, одним словом, все эти нездоровые элементы, в которых обвиняла литературу публика и в которых она отчасти обвиняла сама себя, – все это праздные слова, которые должны исчезнуть, как дым или как рой темных призраков перед светом литературного единодушия, заявившего себя так блестяще по поводу «нечаевского дела».

Ввиду всего изложенного выше, мы возытели мысль соединить в одном месте все, что было сказано в значительнейших органах нашей литературы о заседаниях судебной палаты по первому русскому политическому процессу, производившемуся гласно. В этом намерении нас руководили два существенных соображения: во-первых, собранное в один общий фокус, отношение русской журналистики к упомянутому делу получит для читателя несравненно большую ясность, и, во-вторых, будущему историку русской общественности легче будет отыскивать материал для своих трудов в одном месте, нежели рыться в разрозненных номерах журналов и газет.

Что касается до наших личных отношений к вопросу, о котором идет речь, то мы считаем долгом сказать по этому поводу следующее. Нам нередко ставили в вину наше молчание относительно текущих вопросов, которыми так изобилует наша общественная жизнь. Один талантливый фельетонист, успехам которого мы, впрочем, искренно радуемся, даже не без ядовитости назвал нас «братьями-молчальниками». Но позволяем себе думать, что почтенный зоил наш упустил из вида одно очень важное обстоятельство, которое, смеем надеяться, даже при всей его строгости к нам, до некоторой степени смягчит нашу вину в его глазах. «Отечественные записки» – издание ежемесячное, и потому не могут относиться к текущим вопросам с тем лихорадочным вниманием, с которым относятся к ним ежедневные газеты. Притом, чаще всего случается, что самое содержание этих вопросов исчерпывается столь скоро и находит себе разрешение столь независимое от всяких литературных обсуждений, что последние нередко оказываются просто-напросто «металлом звенящим». Мы, конечно, очень рады были бы поместить на страницах своих одну из тех «сотканых из пламени и света» статей, которые от времени до времени появляются на страницах «Московских ведомостей», но что же нам делать, коли эти статьи всегда оказываются уж напечатанными, прежде нежели мы успеем сделать соответствующее по сему предмету распоряжение? Подражать им – напрасный труд, ибо известно, что в статьях такого рода всего важнее оригинальность, подражания же всегда оказываются вялыми и безжизненными. Стало быть, остается только читать и поучаться. Вот почему и в настоящем случае мы ограничиваемся только простым заявлением о единодушии нашей литературы и, разумеется, посылкою нашей похвалой этому единодушию. Пусть укажут нам, что могли бы мы сказать о нечаевском процессе, что не было уже высказано в самых ясных и категорических выражениях всеми сколько-нибудь значительными органами русской литературы?

Обращаясь теперь к предпринятым извлечениям из русских газет и журналов, считаем долгом предпослать им следующие соображения:

- 1) Ранее всех (на другой день открытия заседаний) отозвались о процессе «СПб. ведомости».
- 2) Чаще всех возвращались к процессу те же «СПб. вед.» и «Голос» (первые – 5, второй – 6 раз).
- 3) Реже всех говорили о процессе «Биржевые ведомости» (всего 1 раз).
- 4) Полновеснее всех органов отнеслись к процессу «Московские ведомости». Они напечатали только две статьи; но в этих двух статьях выяснили дело вполне (хотя и с некоторою излишнею строгостью), заявив, что в подобных делах суд обязан произнести суждение не только о поступках и действиях обвиненных, но и о самом образе мыслей их.

Затем, печатаем и самые извлечения:

А) «Московские ведомости»

№ 161. «Наши судебные уставы ни в чем существенно не уступают соответственным учреждениям в других странах, а наша судебная практика цивилизованностью приемов

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru даже превзошла порядки, принятые во всех цивилизованных странах. У нас подсудимых, уличенных и сознавшихся в убийстве, не просто вводят, но приглашают в судебную залу. Английский или французский судья просто скажет: «Подсудимый, отвечайте». У нас скажут: «Господин такой-то, не угодно ли вам разъяснить...?» или: «Господин подсудимый! член суда такой-то (следует звание, титул и фамилия) желает спросить вас...» Председатель суда в других странах не скажет ничего подобного; таких утонченных оборотов речи, таких взаимных представлений, напоминающих салон, где собрались люди для приятной беседы, не допускается в судебной зале других стран, где нравы грубее. Там судья, если сочтет должным остановить подсудимого, сделает это просто и скажет: «Подсудимый, слова ваши неуместны и дерзки». Но ему не придет в голову сказать: «Подсудимый, ваши слова, смею сказать, дерзки». Везде подобные оговорки показались бы иронией, слишком жестокою в виду людей, над которыми висит обнаженный меч правосудия. А у нас это не ирония, не жестокость; у нас это цивилизация.

По политическому делу, которое только что окончилось в с. – петербургской судебной палате, четверо подсудимых приговорены к каторжной работе, трое – к тюремному заключению, четверо освобождены. Отпуская этих последних, с которыми суд достаточно ознакомился, английский судья сказал бы: «Ступайте, вы свободны; ваше действие не подходит под букву закона, на который сослалось обвинение. Но помните, вы были в опасном соседстве с преступлением...» Быть может, он не сказал бы ничего; но он наверное не сказал бы им с некоторою восторженностью: «Подсудимые! ваше место не на этой позорной скамье, ваше место в публике, ваше место среди всех нас». Если бы он и счел за нужное произнести что-нибудь в этом роде, то все-таки он сделал бы это как-нибудь иначе и избежал бы эмфатического[127] оборота речи, коим гг. Орлов, Волховской и другие как бы приглашались со скамьи подсудимых пересечь прямо в сонм судей. В обстоятельствах дела не усматривается поводов к подобному заявлению, и оно может быть объяснено только, как дань цивилизации, в настоящем случае, смеем думать, немножко излишняя.

Первый процесс кончился. Виновные подверглись заслуженной каре; невинные в деле, которое было предметом преследования, оправданы. Мы не считаем себя вправе обсуждать приговор по отношению к лицам; но мы полагаем, что, в качестве публики, мы не только имеем право, но и обязаны воспользоваться уроками, которые в таком обилии предлагаются делом, войти в некоторые возбужденные им вопросы, а главное, принять на себя защиту одного лица, которое может считать себя без вины оскорбленным. Это лицо есть здравый смысл, который не раз подвергался нападениям во время судебных прений. Не все гг. защитники ограничивались только защитой подсудимых, но многие из них считали нужным пускаться в общие оценки и излагать свои философские воззрения. При этих-то эволюциях здравому смыслу были наносимы оскорбления, и никто не вступился за него. Председатель палаты благодушно выслушал подсудимых и защитников, не прервав их никаким замечанием, когда они возносились в область идей; но он уволил прокурора от обязанности что-нибудь сказать по поводу общих воззрений, высказанных господами подсудимыми и защитниками. Публика осталась в некотором недоумении; на преступников обрушились кары, рассчитанные по такой-то и такой-то статье уголовного законодательства; но образ мыслей, лежавший в основе их действий, не только не подвергся порицанию, но даже прославлен. Нигилистов ссылают на каторгу, нигилистов сажают в тюрьму, а нигилизму пред лицом суда воздан некоторый почет.

Если в делах человеческих, даже при наилучших условиях, ничто не обходится без уклонений и если адвокат пред судом не всегда в состоянии соблюсти святую границу между правдой и неправдой, если слово его не может иногда не уклониться в пылу прений, из суетного ли желания одержать верх хотя бы над истиной, или из побуждения в источнике своем почтенного, из жалости к несчастному, вверившему себя его защите, – если он решается пожертвовать правдой, – то пусть же это будет в пользу преступника, а не преступления. Если уж так пришлось, выгораживайте человека и доказывайте, насколько дозволит вам совесть, что он непричастен делу или совершил его не в том смысле, как утверждается обвинением, – но нельзя дурное называть хорошим, нельзя в самом суде колебать закон, каков бы он ни был. Если вам не нравится закон, протестуйте против него в другом месте, как знаете; но не смейте делать этого в суде, который держится законом и не имеет смысла вне закона. Если ничто другое не удерживает вас, то есть правила простого приличия. Вы хотите же казаться цивилизованным человеком, вы умеете же разбираться, когда надеть фрак и когда сюртук, и не ездите с визитом без галстука; постарайтесь, по крайней мере, быть приличными. А если говорун ничем удержаться себя не может, то вы, господин судья, смеем сказать, смеем остановить его на

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru слове, которое владеет им более, чем он словом. Нет надобности плодить словопрения, неуместные пред зеркалом суда: достаточно замечания, сказанного с достоинством и авторитетом, чтобы произвести должное впечатление.

Но возвратимся к процессу, который происходил в с. – петербургской судебной палате на виду всей страны. Защитники говорили много, но не догадались бросить мужественное слово обличения в лицо тому духу лжи, который погубил их клиентов. Зато некоторые нашли возможным пококетничать с средою, откуда эти несчастные вышли. Правда, один отозвался презрительно и брезгливо о наших революционных элементах, о нашем нигилизме; но он говорил, как чужой, и находил, что в русском народе эти явления как нельзя более естественны и уместны.

Если бы господа ораторы с. – петербургской судебной палаты захотели взглянуть прямо в глаза обману, который разыгрывается над гнилою и расслабленною частью нашего общества, если бы они воспользовались безобразиями, раскрытыми делом, которое находилось на рассмотрении суда, и ударили бы в самый корень этой, так называемой русской революции, положение подсудимых, мы полагаем, выиграло бы от того. Чем решительнее было бы слово обличения против сущности зла, тем действительнее и сочувственнее звучало бы слово их в пользу личности обвиненных. Весь процесс принял бы иной тон. С преступниками легче примирилась бы общественная совесть, а главное – в их собственную душу, быть может, пало бы семя благодатного обновления. Это смутило бы дурную среду, из которой они вышли; это подействовало бы освежительно на все русское общество.

По окончании судебных прений дано было слово подсудимым. И вот один рявкнул стихами, а другой воспользовался случаем порисоваться перед судьями. Этот последний – молодой человек, двадцати двух лет, более всех преступный, но и более прочих отличающийся лоском мнимого образования. При других условиях развития, быть может, из него и действительно вышла бы хорошая русская сила. Обман изловил его на самолюбии и пленил его воображение мыслию стать героем революции. Судебные прения не смягчили его. Он только крепче завернулся в свой революционный плащ. Вместо того чтобы раскрыть свою душу, он пустился в холодную и отвлеченную контрверсу о значении пролитой крови в революционном деле. Эти люди убили своего товарища, сами не зная для чего. Кто-то во время прений сказал, что заговорщики, вероятно, думали, что пролитая кровь плотнее соединит их. И вот несчастный молодой человек, как опытный деятель по части революции, счел долгом объяснить в изысканных фразах ошибочность мысли о цементирующей силе пролитой крови, причем сослался на Брута и Кассия, между которыми в роковую минуту стала кровавая тень Цезаря; но вслед за тем, сам не замечая скачка своей мысли, заявил, что убийство Иванова было совершено в тех видах, чтобы революционное общество стало единомышленнее. Как все это было нужно знать судьям в грозную минуту приговора!

А знаете, кто бы ни был этот Нечаев и как бы ни был он лжив, все-таки в некотором отношении он искреннее и правдивее понимает свое дело, чем другие, которые тому же делу служат и о нем рассуждают. Другие обращаются к великодушным инстинктам молодости, толкуют о благе народном, о благородстве, о честности. Но гг. Бакунин и Нечаев, эти *enfants terribles* русской революции, говорят и поступают проще. Вы, господа, снимаете шляпу перед этою русской революцией; вы, не приученные жить своим умом и путаясь в рутине чужих понятий, воображаете, что у вас действительно есть какая-то крайняя партия прогресса, с которою следует считаться, и что русский революционер есть либерал и прогрессист, стремящийся ко благу, но слишком разбежавшийся и сгоряча перескочивший через барьер законности. В истории всех народов есть страницы, где повествуется о борьбе подавленного права с торжествующим фактом, и вот вы думаете и учите других так думать, что так называемая русская революционная партия хранит в себе идеалы будущего. Вы находите, что общество должно оставаться, по крайней мере, нейтральным в этой борьбе между существующим порядком и идеею, которую вы навязываете молодому, как вы обыкновенно выражаетесь, поколению, и всякий протест против этой крайней партии прогресса клеймите позором, как подлый донос. Но вот катехизис русского революционера. Он был прочтен на суде. Зачем спорить? Послушаем, как русский революционер сам понимает себя. На высоте своего сознания, он объявляет себя человеком без убеждений, без правил, без чести. Он должен быть готов на всякую мерзость, подлог, обман, грабёж, убийство и предательство. Ему разрешается быть предателем даже своих соумышленников и товарищей. Что обыкновенно не досказывается, распыляясь в неопределенных фразах, то приходит здесь к бесстыдно точному выражению; что другими не доделывается, то деятелями, вроде Нечаева, совершается с виртуозною отчетливостью. «Нечаев подлец, но я за это его

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru уважаю», – говорил один из его одурелых последователей. Не чувствуете ли вы, что под вами исчезает всякая почва? Не оступились ли вы в ужасной теснине, между умопомешательством и мошенничеством?

Но для чего нужна такого рода организация? Цель, говорят, оправдывает средства. Какая же тут цель? Катехизис объясняет: разрушение. Разрушение чего? Всего. Но для чего нужно это всеобщее разрушение? Для разрушения. Настоящий революционер должен отложиться в сторону все глупости, которыми тешатся неопытные новички. И филантропические грезы, и социальные теории, и народное благо, и народное образование, и наука – все это рекомендуется только как средство обмана, как орудие разрушения, которое одно остается само себе целью.

Революционный катехизис не оставляет ничего в туманной неопределенности. Он правдив и точен до конца. С кем в родстве эта революционная партия, руководимая людьми без правил и чести, не соблюдающими никакого обязательства даже между собой, имеющая целью разрушение, и только разрушение? Кто в русском народе ей пособники и союзники? Разбойничий люд, то есть грабители и жулики, говоря собственным наречием этих досточтимых деятелей. Вот, говорит катехизис, истинные русские революционеры.

Итак, вот куда по прямой линии вливается этот прогресс, у истока которого стоят наши цивилизованные либералы! Вот фазы этого прогресса: расслабленная жалким полубразованием и внутренне варварская часть нашего общества с чиновничьим либерализмом; затем отъявленный нигилизм с его практическим и теоретическим разворотом, который в сущности то же, что и программа Нечаева; затем формальная революционная организация, созидаемая людьми, свободными от предрассудков всякой нравственности и чести; наконец, лихой разбойничий люд, который обходится без всяких теорий. В самом деле, какая же существенная разница между революционером, как Нечаев, и тем, что называется жуликом? Впрочем, разница есть: жулики все-таки в своей среде соблюдают некоторые правила. Жулики лучше и честнее вожаков нашего нигилизма; они, по крайней мере, не выдают себя благовестителями и не употребляют софизмов для разворота незрелых умов.

Слава богу, в нашем народе не оказывается иных революционных элементов, кроме людей, которые незаметными переходами приближаются либо к дому сумасшедших, либо к притону мошенников!

И вот этим-то людям прямо в руки отдаете вы нашу бедную учащуюся молодежь!»

№ 162. «На днях в с. – петербургской судебной палате начался процесс второй серии подсудимых по «нечаевскому делу». Главным образом это слушатели Петровской земледельческой академии да несколько студентов Московского университета четвертого курса медицинского факультета, исключенных осенью 1869 года за сопротивление властям. Из обвинительного акта мы видим, что Петровская академия была самой податливой для Нечаева средою. Туда обратился он непосредственно; там учредил он свою главную квартиру, там он сформировал свой штаб и оттуда раскидывал мрежи для уловления университетских студентов. Подсудимые из числа слушателей Петровской академии почти все сознались в принадлежности к организации. Все они были приписаны к каким-либо кружкам. Что касается до студентов университета, то действие Нечаева, как видно из обвинительного акта, коснулось лишь нескольких исключенных студентов, и главным образом уроженцев Востока, кавказских воспитанников. Считаю нелишним припомнить обстоятельства дела, вследствие которого эти молодые люди были исключены из университета. По случаю отъезда за границу клинического преподавателя, факультет был в затруднении, кому временно передать его обязанности. Одни отказывались по болезни, другие по другим причинам, и лишь вследствие особенных настояний факультета принял на себя эту должность декан, который сам был прежде клиническим преподавателем. В «Правительственном вестнике» (№ 262-й 1869 года) было напечатано официальное изложение этого дела. Там приведены, между прочим, следующие слова, сказанные профессором Варвинским в заседании университетского совета 25-го октября того же года: «Члены факультета, предложив профессору Полунину клиническую кафедру на время, были глубоко убеждены, что Алексей Иванович, если только возьмет на себя этот труд, принесет огромную пользу учащимся и своим многосторонним медицинским образованием, и своими глубокими сведениями по предметам, входящим так тесно в состав клинического учения внутренних болезней, и по своей неутомимой деятельности. Таковы были убеждения членов факультета, таковыми они остаются и теперь, как показало последнее заседание факультета, в котором была речь о грустных, совершенно неожиданных

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru «Происшествия в клинике факультетской».

Никакого столкновения со студентами у профессора Полунина не было. Поводом к неявке их на его лекцию было распоряжение, чтоб одна больная была исследована в их отсутствии, что в клинике нередко бывает, особенно в женском отделении, по причинам, которые легко понять. Студентов пригласили ожидать профессора на мужской половине, но они отказались, не вышедши, однако ж, из клиники. Профессорская лекция не состоялась. Это было 17-го октября. Ректор, не принимая принудительных мер, поручил помощникам проректора разъяснить студентам частным образом предосудительность и незаконность их поступка и возвратит их, посредством увещаний, к исполнению их обязанностей. Но все увещания помощников проректора, некоторых профессоров и самого профессора Полунина оказались безуспешны. Студенты продолжали упорствовать и стоять на своем, что не пойдут на лекцию к профессору Полунину, хотя на прочие лекции ходили и хотя в разнообразных ответах на эти увещания они не могли дать твердого и определительного отчета, почему они так поступают. Большею частью смысл этих уклончивых объяснений состоял в часто повторяемом заявлении, что они уважают профессора Полунина и ценят его достоинства, но этим предметом будут заниматься под руководством другого профессора. Когда же им объявили, что они не будут допущены к переводному испытанию на следующий курс, то они отозвались, что они уже решились лучше потерять год, чем слушать профессора Полунина. В таких крайних, безосновательных заявлениях сильно выказывалось присутствие побуждений, посторонних для интересов науки.

20-го октября правление университета донесло о происшедшем университетскому совету, а между тем продолжались увещания, чтобы студенты одумались, что в противном случае они потеряют целый год и могут подвергнуться еще худшим последствиям. Ректор, проректор, все его помощники, многие профессора старались это разъяснить студентам. Надобно было думать, что студенты неправильно смотрят на дело, что они надеются на безнаказанность. Из официального изложения видно, что университетский совет, собравшись 25-го октября, сделал все возможное, дабы рассеять неосновательные надежды. Единогласно было постановлено, что если студенты не начнут посещать лекции профессора Полунина в продолжение ближайших трех дней, то четвертый курс медицинского факультета будет закрыт 29-го октября. Это постановление было представлено на утверждение попечителя, на другой день (в воскресенье) утверждено им, а на третий день, 27-го октября утром, объявлено студентам. Студентам было объяснено, что университет дошел в снисходительности к ним до последней позволительной меры, что они подлежали, на основании действующих правил, удалению или исключению из университета, но что мера наказания, в уважение к ходатайству профессора Полунина, смягчается и им объявляется лишь выговор со внесением в штрафную книгу. Таким образом, этим молодым людям «была еще раз предоставлена возможность возвратиться к порядку и исполнению долга», подвергшись легкому наказанию, но, с другой стороны, агитировавшие должны были видеть, что постановление совета отменено быть не может, что в случае дальнейшего упорства они подводят всех своих товарищей под большую неприятность, а получающих стипендии лишают куска хлеба. Возвращение к порядку было всячески облегчено; упорству противопоставлена мера бесповоротная. Всякому студенту должно было сделаться совершенно ясным положение дела. Дальнейшая агитация теряла смысл. Но тем не менее 29-го октября 18 студентов (в курсе, если не ошибаемся, было около восьмидесяти человек) объяснили, что не пойдут на лекции профессора Полунина. Этим они сами себя исключили из университета. Собравшемуся в тот день университетскому совету ничего более не оставалось, как постановить в этом смысле решение.

. . .

Мы ставим факт, но не объясняем его; мы не говорим, вследствие какого влияния началась эта история и почему она приняла такой ожесточенный характер. Быть может, поводом к тому послужила какая-нибудь домашняя интрига; [128] может быть, кто-нибудь захотел сделать личную неприятность профессору и подбил несколько студентов на демонстрацию; но очевидно, что движение, ожесточившееся без всякой причины, поддерживалось и усиливалось посторонними влияниями, для большей части студентов, конечно, неведомыми. Упорство молодых людей не имело смысла, но оно должно было иметь какую-нибудь причину, если не в университете, то вне его».

Б) «С.-Петербургские ведомости»

№ 180. «С сегодняшнего дня мы начинаем помещать в отделе «Судебной хроники» отчет о политическом деле, рассматриваемом в спб. судебной палате. Едва ли что

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru может быть поучительнее этого печального процесса, составляющего такое одинокое, ненормальное явление в нашей общественной среде. С поразительной наглядностью обнаруживает он, как жалки, как безумны попытки ничтожнейшего меньшинства людей, которые, отрешась от всякой действительности, думают, что можно мгновенно изменить, путем насилия и следуя лишь созданиям воображения своего, то, что является результатом исторической жизни целого народа. Политические процессы на Западе имеют большею частью глубокое, реальное значение. Там нередко подсудимыми бывают люди, олицетворяющие собою известные требования действительной жизни, – такие люди, за которыми стоят серьезные партии и многочисленные приверженцы. Подсудимых в настоящем деле можно назвать представителями лишь своей собственной разгоряченной фантазии, которую не успели обуздать ни серьезное образование, ни знание жизни. При взгляде на многих из них невольно приходит на мысль, что место им было бы в школе, за книгою, а не на скамье подсудимых».

№ 190 (фельетон). «В то время, когда разбирается так называемое политическое дело, когда все предаются чтению его с большим или меньшим усердием, обозревателю ежедневной жизни тоже необходимо говорить о нем; но суд еще не произнес своего приговора, и всякое мнение о лицах, сидящих еще на скамье подсудимых, было бы неуместно. Но есть одно лицо, не сидящее на этой скамье, хотя тут принадлежит ему первое место, и об этом лице не мешало бы сказать несколько слов, в виду тех мнений, которые высказываются о нем подсудимыми и публикою, читающей газеты. Большинство подсудимых говорят о нем, как о человеке с необыкновенной волей, с непреодолимою энергией, всепобеждающею логикой и даже с громадными знаниями. Один из подсудимых в особенности не щадит слова «громадный» и прилагает его постоянно к существительным без особой разборчивости. Мне кажется, что воля, энергия и логика измеряются волей, энергией и логикой тех, на которых действовал Нечаев, и воля, энергия и логика сего последнего постольку велики, поскольку велики воля, энергия и логика увлеченных им. Кроме того, энергия может быть весьма односторонняя и вовсе не рекомендовать с особенно хорошей стороны вообще интеллектуальных способностей. Сыщик может быть человеком громадной энергии, но из этого не следует, что у него большой ум и большое развитие.

Мне кажется, что Нечаев обладает именно энергией сыщика, а умственное его развитие и способности подлежат сильному сомнению, ибо прокламации его – просто глупы, революционная логика – списана с иностранных книжек и нисколько неприложима к нашей почве; приемы заговорщика – глупы тоже в значительной степени, ибо они – бумажные приемы, основанные на бланках и вообще на поличном. Вспомните, как поляки организовали свои тайные общества, перечитайте газетные статьи 1863–1864 годов, в которых раскрыта была польская организация, сравните ее с нечаевской – и вы тотчас увидите, что это – дюжинный человек, но обладающий дерзкой смелостью.

Внимательно прочитывая этот подробный, даже чересчур подробный, утомляющий незначущими вопросами и ответами, процесс, приходишь к тому убеждению, что Нечаев – лицо настолько же замечательное, насколько замечателен, например, Иван Александрович Хлестаков, с которым он имеет великое сходство. Это Хлестаков-агитатор, Хлестаков, сознательно бросившийся в обман и увлекшийся своей ролью, подобно бессмертному Ивану Александровичу. Сын полотера графа Шереметьева, сделавшийся учителем закона божия и попавший на студенческие сходки, он быстро увлекся этим шумным вопросом и повторял, что «хорошо бы сделать революцию», хорошо бы «это движение обратить в политическое дело».

Как это сделать, можно ли это сделать? Этим он не задавался. Ему просто хотелось это сделать, как Хлестакову хотелось хорошо пообедать. Когда хозяин трактира не давал ему есть, он злился и на хозяина трактира, и на все человечество. Нечаев злился на русское общество, что оно не хочет сделать революцию, и сердито ругал его за то. В своем легкомыслии и неразвитости он полагал, что революцию сделать немудрено и что если Россия не делает ее, то не делает по глупости. Он, как все ограниченные люди, воображал, что составляет нечто выдающееся и предназначен к высшей доле. На самом деле общество во сто раз его умнее и развитее. Г-н Прыжов говорил, что Нечаев начал учиться шестнадцати лет, а девятнадцати лет бежал уж за границу – этим г. Прыжов хотел указать на быстроту развития этого человека. Г-н прокурор, к сожалению, повторил в своей речи это показание, не имеющее никакой цены в виду показания г-жи Нечаевой, которой, как сестре, лучше известны лета брата ее. Она говорила на суде, что брату ее в 1869 году, когда он бежал за границу, было 23 года; стало быть, если он и начал учиться, то есть читать более или менее серьезные книги (грамоте он научился ребенком), в 16 лет, то перед ним

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru было семь лет времени, в которое легко нахвататься разных вершков и выучить наизусть даже некоторые страницы Канта.

Он действительно цитировал наизусть страницы из ученых сочинений – прием совершеннейшего Хлестакова, который стремился блеском наверстать отсутствие знаний. При этом и хлестаковская предусмотрительность: накуролесив, он приказывает Осипу поскорей укладываться. Нечаев тоже уложился, когда его призвали в полицию и сделали легкую нотацию. Это так его встревожило, что он вдруг исчез из Петербурга, сыграв, однако, перед отъездом роль жертвы, влекомой на заклятие. Отсюда начинается ряд обманов, сцепление самой невероятной лжи, которой могли верить только простодушные. Хлестаков, знакомый с посланниками, Хлестаков, которому караул выбегает отдавать честь, Хлестаков, написавший всю русскую литературу, – это прототип Нечаева, это великий образец, который Нечаев копировал с замечательным постоянством. Не зная французского языка, он, однако, производит стачку между бельгийскими рабочими, поступает в международное общество, где немедленно начинает играть роль, пишет прокламации, выдает себя Бакунину и другим эмигрантам за главного деятеля в студенческой истории и, конечно, уверяет их, что в России существует огромное революционное общество. С эмигрантами он ведет себя так же, как и в Москве, рассказывая им целую сказку о том, как он был арестован, как его мучили и как он бежал от своих палачей. На самом деле он никогда не был арестован, ни одного часу не сидел в Петропавловской крепости и бежал после первой угрозы, которую изрекла ему петербургская полиция. Бакунин треплет его по плечу и говорит: «Вот какие у нас люди есть»; Огарев пишет ему стихотворение, в котором изображает мнимые его страдания и даже мнимую смерть «в снежных каторгах Сибири». Вообразите себе эту потешную сцену, этого поэта, который слагает рифмы на тему из «не любо – не слушай, лгать не мешай!». Вообразите себе еще Огарева, Бакунина и Нечаева, составляющих заговор с надежным человеком, присланным в Женеву киевской администрацией (см. заявление одного из защитников в заседании 8-го июля). Этот посланный, очевидно, хорошо исполнил свою роль, для чего, впрочем, и не требуется никаких умений. Воображаю, как он хохотал, везя с собой пуки прокламаций, и какими мальчишками казались ему эти дальновидные устроители земли русской, так нехитро одураченные!..

С стихами же и прокламациями является и Нечаев в Москву, является «инкогнито» – «проклятое инкогнито!», как восклицает городничий – в качестве «директора от комитета», и продолжает одиссею лжи. Стихотворение, написанное ему Огаревым, должно бы, по-видимому, произвести хохот между слушателями, ибо герой, погибший «в снежных каторгах Сибири», был налицо; но, к удивлению, оно служит ему рекомендацией, и он сам сует его каждому: «Вот, мол, как обо мне пишут». Опять полнейшая хлестаковщина, приправленная рекламой плохого фигляра, который носит с газетным отзывом о нем, как с писаной торбой. Ума тут никакого я не вижу, но пошлости вижу много. Но, видно, Нечаев знал, с кем имеет дело. «Проклятое инкогнито» вывозило и нового Ивана Александровича. Малый сам по себе, он казался великим в ореоле своего самозванства. Как турецкий посланник в рассказе Хлестакова действует на простодушных обитателей мирного уездного городка, так Бакунин с Огаревым, в рассказе Нечаева, действуют на пламенных юношей. Бакунин потрепал по плечу Нечаева, Огарев написал ему стихи! Великий Нечаев! И вот, чем больше сочиняет он, тем больше ему верят, чем самоувереннее рассказывает он о мнимых своих похождениях, о мнимой силе своей, тем больше прибирает к рукам своих поклонников. Все, что ни скажет он – свято, что ни прикажет – исполняется. Он заводит целую канцелярию, и все эти заговорщики пишут походя, пишут без усталости, точно желают оставить как можно больше поличного. Даже своим разговорам протоколы ведут, и все это так усердно, что просуществовать это общество год, оно должно было бы нанять целую квартиру для архива. Если все это умно, то ум – ледащая вещь»...

№ 194. «Петербургская судебная палата произнесла приговор свой относительно первой категории подсудимых по «нечаевскому делу», состоявшей из одиннадцати лиц. Палата не признала никого из них виновным в составлении заговора, составленного с целью ниспровержения существующего порядка управления в России (так было озаглавлено дело), а приговорила пятерых к наказанию за устройство тайного общества, преследовавшего ту же цель. Заговор влечет за собой, как известно, более строгое наказание, чем тайное общество. Лица, участвовавшие, кроме того, в убийстве Иванова, приговорены к каторжным работам в размере, приближающемся к средней мере этого наказания. Подсудимые Дементьева и Ткачев признаны виновными в преступлении, не имеющем ничего общего с действиями остальных лиц, именно в том, что они распространяли по поводу студенческих

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru волнений воззвание, клонящееся к возбуждению неуважения и недоверия к распоряжениям правительственных установлений. Защита признавала также, что они только в этом и виновны. Ткачев, Флоринский и Дементьева будут, вероятно, освобождены из-под стражи до вступления приговора в окончательную силу, так как высшая мера пресечения способов уклоняться от суда лиц, приговоренных к тюрьме, – отдача на поруки. Четверо из обвиняемых вышли свободными из зала суда. Приговоры относительно Успенского и Прыжова представляются на высочайшее усмотрение, так как закон этого требует по всем делам, где дворяне и чиновники приговариваются к лишению прав состояния.

Председатель палаты, освобождая оправданных, обратился к ним с несколькими словами, сказанными, как видно, от сердца. Слова эти могут служить ответом тем людям, которые, стараясь с особым злорадством представлять всегда в дурном свете все, что делается в нашем обществе, утверждают, что, несмотря на оправдание судом, лицо, обвинявшееся в политическом преступлении, не освобождается от других, невыгодных для него последствий, что на такое лицо ложится навсегда какое-то клеймо, что оно будет признаваться в течение всей своей жизни «неблагонадежным». Нет ни малейшего сомнения, что такие заявления ни на чем не основаны. [129] Приговоры наших судов пользуются слишком большим нравственным авторитетом, чувство законности слишком проникло в разные сферы нашего общества для того, чтоб общество не присоединилось вполне к мысли, которая выражается в словах, сказанных председателем судебной палаты».

№ 195 (фельетон). «Речи адвокатов в том несчастном деле, первая серия которого только что кончилась, в течение целой недели служили обильной темой для разговоров. Подсудимые не только отошли на второй план, но их как будто не существовало. «Глубокие общественные вопросы» – беру выражение г. Арсеньева – вот что занимало читателей. Легковесность, призрачность самой этой «политической» затеи, исключая убийства, была уже признана прежде, выяснилась для публики из судебного следствия и даже из речи г. прокурора. Но то, что будет сказано «по поводу» этого дела – вот что интересно, что поучительно...» [130]

№ 216. «Когда в какой-либо стране вводятся учреждения, составляющие шаг вперед на пути цивилизации, но расходящиеся с тем, что имело прежде право гражданства в этой стране; когда в ней совершаются явления новые, идущие в разрез с теми представлениями, которые, под влиянием времени и разных застарелых привычек, сложились в умах значительного числа людей – тогда эти явления и учреждения, хотя и вызванные законами общественного развития, непременно возбуждают протесты, нарекания, жалобы в некоторых частях общества, переживающего реформы. Всегда находятся люди, которые, прикрываясь всевозможными благонамеренными стремлениями, говоря с пафосом, вызываемым будто бы опасностью, грозящей общественному порядку от вредных нововведений, стараются помешать успеху нового дела, вселить недоверие к нему, испортить его. Подобное явление, к сожалению, почти неизбежно.

Когда вводились в России новые судебные учреждения, то раздались голоса, вопившие, что наше общество находится в страшной опасности, что противообщественным элементам открыт широкий простор, что присяжные и адвокаты, что нестесняемые приказаниями начальства судьи поведут нас прямо в пропасть, откуда мы не выберемся, что исчезнут чиновничество и уважение к властям, что «мужику говорят вы», что чиновных людей заставляют стоять во время объяснений их с судом, что каких-то нигилистов выслушивают...

Теперь, когда рассматривается первый политический процесс в России при свете гласности, с надлежащими гарантиями правого суда, – теперь повторяется явление, весьма сходное с тем, о котором мы упомянули выше, хотя и в более слабой степени. Есть люди, которым кажется, что такое нововведение составляет будто бы нечто крайне ненормальное и вредное для нашего общества. Суд над государственным преступником, как им представлялось, всегда должен быть окружен величайшей таинственностью, всеми страхами фемгерихов. А тут гласность, свет, свободная речь, приговор, постановленный по совести! Чтoб к чему-нибудь придраться, они заявляют, что прокурор слаб, что судьи слабы, что защита пропагандирует революцию, что печать разносит эту пропаганду во все концы России, что подсудимые несколько не поражены торжественностью суда и не выражают никакого раскаяния. Прокурору следовало бы, по их мнению, громить не только преступные действия, совершенные подсудимыми и составляющие предмет дела, но и стараться залезть к ним в душу, разоблачить все тайные мысли их, глумиться над ложными убеждениями, которых они придерживаются. Судьи не должны оправдывать даже и

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru невиновных, так как этим подрывается авторитет следствия и так как суд в политическом процессе будто бы не должен заботиться о произнесении приговора по закону и совести. Защитникам подобало бы обращаться не к суду, а преимущественно к своим клиентам, и поражать в лице их тот дух лжи, который они собой представляют. Словом, все судебное разбирательство должно бы обратиться в так называемый «procès de tendance», где люди преследовались бы не только за то, что они совершили то или другое преступное деяние, но за то, что они так или иначе думают, где суд по возможности придерживался бы добрых, старых приемов.

Едва ли следует удивляться тому, что суждения вроде тех, которые мы изложили выше, высказываются кой-где в обществе. Общественные учреждения, политические нравы, понятия о гражданской свободе, которые уже давно установились на Западе, или не привились к нам, или слишком новы у нас. Мы, например, еще смутно понимаем, что свобода мысли и слова – это необходимое условие общественного развития – заключает в себе самое сильное противоядие против всяких заблуждений, увлечений и безобразий, что независимое судебное сословие служит гораздо лучше делу общественного порядка, чем всякое другое. Поэтому возгласы против суда, приведенные нами здесь, составляют явление почти неизбежное, объясняющееся той степенью развития, на которой еще находится некоторая часть нашего общества. Они, в сущности, и не удивляют нас. Но мы не можем относиться равнодушно к другому явлению – когда наша печать, в лице крупных органов своих, начинает оказывать услуги разным реакционерным побуждениям, когда она старается возбудить недоверие в обществе к лучшим из наших учреждений. При всем нашем знакомстве с образом мыслей и приемами «Московских ведомостей», статьи их о разбирательстве по «нечаевскому делу» (№ 161-й) повергли нас в некоторое изумление. Мы думали, что редакция этой газеты посовестится, по крайней мере, посягать на наш суд в ту минуту, когда на долю его выпала такая трудная и, если можно так выразиться, щекотливая задача, как первое применение гласного разбирательства по делу о государственном преступлении в России.

Нашлись, без сомнения, люди, искренно обрадовавшиеся статье «Московских ведомостей». Им как-то было не по душе то, что происходило в с. – петербургской судебной палате, и вот является статья, в которой обличаются и обвинители, и защитники, и судьи, где законная свобода речи именуется «неуместным словопрением», где говорится, что была «снята шляпа перед русской революцией», что «нигилизму перед лицом суда воздан некоторый почет». Да, было чему обрадоваться, прочитав эту лживую статью!

Но что же, в сущности, сказали «Московские ведомости»? Они стараются прежде всего обратить в смешную сторону приемы, которые употреблял председатель судебной палаты в обращении с подсудимыми. Они говорят, что «взаимные представления», «утонченные обороты речи», употребляемые, как им кажется, председателем, напоминают салон, что они неуместны в зале суда, и, как следует предполагать, особенно неуместны в политических процессах. Но что же доказывают эти жалобы московской газеты на слишком вежливое обращение с подсудимыми? Для того чтоб что-нибудь доказать этими жалобами, «Московские ведомости» должны бы проследить всю прежнюю деятельность г. председателя палаты и вывести из нее заключение, что он совершенно иначе обращается с прочими подсудимыми, что он изменил свои приемы для таких, которые обвиняются в государственном преступлении! С другой стороны, придирки московской газеты к словам председателя, обращенным к «нигилистам», так же нелепы, как сетования тех лиц, которым кажется ужасным, что «в суде мужику говорят вы». Мы думаем, что в настоящем деле приличие в обращении с подсудимыми было особенно уместно: оно отнимало у них желание и повод делать публично какие-либо резкие заявления, успокаивало страсти и побуждало их, в свою очередь, соблюдать приличие на суде, что и было вполне достигнуто.

«Московские ведомости» направляют всю силу своего слова, всю горячность своей речи против защитников подсудимых. Они, видите ли, поэтизировали русских революционеров, злоупотребляли свободой прений, протестовали в суде против законов, которыми держится все. Но подобные заявления содержат в себе положительную клевету. Конечно, не все защитники одинаково талантливо, не все одинаково умны, не все в одинаковой степени обладают тактом, не все равно искусны в своем деле; но ни один из защитников не сказал ничего такого, что не должно быть терпимо в стране, где сколько-нибудь уважается свобода мысли и слова, равноправность сторон на суде. Если защитники указывали на особые свойства политического преступления, на те признаки, которыми оно резко отличается от прочих преступных деяний, если они старались охарактеризовать без

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru злобных преувеличений ту среду, из которой вышли подсудимые, указать на те исключительные условия, которые благоприятствовали развитию отрицательного направления в них, то они только исполнили долг свой, способствуя всестороннему разъяснению дела. Пусть укажут нам «Московские ведомости» на те политические процессы на Западе, происходившие не перед революционными или военными, а перед правильно организованными судами, где бы защите не было предоставлено прав, подобных тем, которыми она пользовалась в «нечаевском деле».

«Московские ведомости» думают, что защитники должны были греметь против «нигилизма», «изобличить весь вред этого направления». Нам же кажется, что «ораторы с. – петербургской судебной палаты» – прокурор или защитники безразлично – поступили очень хорошо, что воздержались от полемики с теоретическими воззрениями лиц, сидевших на скамье подсудимых. Во всех образованных государствах людей наказывают не за то, что они держатся тех или других ложных воззрений, а за то, что они совершили известные деяния, положительно воспрещаемые законом. Если б кто-либо во время судебных прений стал особенно сильно напирать на вред «нигилизма», то трудно было бы, не нарушая основных правил равенства сторон перед судом, лишить подсудимых слова в защиту тех теорий, которых они держатся. И суд обратился бы отчасти в *debating club*[131] о пользе и вреде «нигилизма».

«Московские ведомости» попытались без всякого основания поколебать доверие к нашему суду в отношении к публичному разбирательству дел о государственных преступлениях. Они сослужили службу всем тем, кому разбор таких дел, на основании начал, установленных судебными уставами, был не по нутру и которые затрундялись только в подыскании сколько-нибудь подходящих аргументов. Московская газета заговорила о «русской революции» и «снятии шляпы перед нею», она пускает в ход призрак нигилизма подобно тому, как западные реакционеры вызывают так называемый «красный призрак», когда это может служить их целям. Мы сожалеем о таком образе действий одного из органов нашей печати, но думаем, что им серьезного вреда все-таки причинено быть не может. Правда возьмет верх. Несмотря на все статьи «Московских ведомостей», наше общество признает, что с. – петербургская судебная палата оказала услугу правосудию, внесши бесстрашие, человечность, справедливость и уважение к законной свободе слова в разбирательство нечаевского дела».

В) «Голос»

№ 183 (фельетон). «Такова[132] первая группа наших коммуналистов и интернационалистов – потому что, как видно из обвинительного акта, цель, которой они добивались, была почти тождественна с целью, провозглашенною Парижскою коммуною, то есть «разрушение государства со всеми его учреждениями, для того, чтобы освободить массы народа из рабства умственного, политического и экономического». Разумеется, о том, что поставить на место разрушенного, имелись самые смутные понятия, которые некоторым из членов вовсе и не сообщались; им указывали на таинственную брошюрку, написанную, по выражению обвинительного акта, на «неизвестном языке», то есть особенным шифром, и торжественно объявляли, что в ней заключается «вся программа». Средства, употреблявшиеся участниками открытого ныне заговора для вербования приверженцев, были совершенно те же, как и у членов «международного общества», то есть образовались маленькие кружки, из которых избирались члены «отделений»; эти, в свою очередь, посылали делегатов в центральный комитет и проч. Способы, которыми они надеялись достигнуть своих целей, также совершенно сходны с приемами покойной Парижской коммуны, то есть революция, убийства, пожары, грабежи. Гнусное, подлое, хладнокровно заранее обдуманное и совершенное без малейшего сострадания убийство студента Иванова показало ясно, чего можно было ожидать от таких коноводов, как Нечаев, Бакунин, Огарев. Притом, разумеется, главные виновники успели убраться в безопасное место или все время оставались в стороне, предоставив на произвол судьбы тех лиц, которых они употребляли как орудия. Негодяи вроде Нечаевых и фразеры вроде Бакуниных и Огаревых преспокойно живут себе в Женеве на деньги, собранные для «общего дела», подстрекая напыщенными фразами или громкими приказами несчастных простаков, которые, сами не зная, куда они стремятся, чего хотят, во имя чего и для кого действуют, усердствовали до тех пор, пока попадались наконец как кур во щи, и в награду за это удостоивались названия мучеников от г. Бакунина или стихотворения в их честь от г. Огарева. Жалкие и несчастные безумцы, которыми, как пешками, играли старые и опытные политические мазурики!

Нет сомнения, что судебные прения по этому делу, обставленные гарантиями

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru полнейшего беспристрастия, представят величайший интерес и раскроют перед нами полную картину тех махинаций и подземных происков, которые употреблялись заграничными «предпринимателями» политических движений для осуществления самой несбыточной мечты, когда-нибудь западавшей в головы этих пустозвонных болтунов, именно революции в России, стране, в которой связь между народом и правительством до того тесна, а любовь к монарху-благодетелю проникает до такой степени все слои общества, что их не поколебать не только таким беспардонным шарлатанам, как Бакунин и Огарев, но и всем революционным обществам всего света, соединенным вместе».

№ 188. «В настоящее время интерес публики сосредоточивается, главным образом, на процессе сообщников по так называемому «нечаевскому делу», который происходит в Санкт-Петербургской судебной палате. Толков о нем было весьма много, и толков крайне разнородных, потому что до самой последней минуты ничего определенного и верного не было известно... Нельзя не упомянуть по этому поводу об одном курьезном обстоятельстве. После подавления пресловутой Парижской коммуны французские публицисты и государственные люди ревностно старались доказать, что ответственность за это гнусное явление отнюдь не должна лежать на Франции, что Франция лишь случайно послужила ареною для подвигов диких демагогов, и что настоящим их притоном будто бы является не она, а другие государства. Исчисляя эти государства, г. Жюль Фавр счел нужным назвать в своем циркуляре и Россию. Некоторые из членов Версальского национального собрания пошли даже далее: они утверждали, будто бы международная ассоциация рабочих (Internationale) находится под руководством немцев и «русских». Все это немало изумляло нас. Положение нашего отечества известно нам, по меньшей мере, отнюдь не хуже, чем ораторам французских палат, и мы с изумлением задавали себе вопрос, где же эти русские революционные силы, которые так многочисленны, что не только будто бы колеблют спокойствие России, но даже угрожают потрясениями чуть ли не всей Европе? Или, быть может, мы ошибаемся; может быть, силы эти действительно существуют? До сих пор нам было известно, что русская заграничная эмиграция обречена на совершенное ничтожество, что она состоит из двух или трех десятков бродяг и искателей приключений, о которых сам Герцен, как видно из посмертной его книги, отозвался с крайним презрением, и которые, после его смерти, признают своими вождями окончательно сошедших с ума Бакунина и Огарева; но если за границу «русская революция» (?) представляет столько же отвратительное, сколько комическое зрелище по своему бессилию, то не обладает ли она внутри страны многочисленными адептами, хотя, повторяем еще раз, совершенно непонятно, откуда бы они могли явиться? Вот вопросы, ответом на которые должен послужить теперешний процесс сообщников Нечаева.

Конечно, мы считаем преждевременным говорить об этом процессе, пока он еще подлежит рассмотрению суда. Было бы в высшей степени неуместно произносить свое мнение о степени преступности лиц, над которыми тяготит обвинение, но, с другой стороны, показания, сделанные ими публично, настолько характеристичны и подробны, что можно составить понятие о среде, к которой обратился Нечаев, чтобы с помощью ее осуществить свои замыслы. Что же это за среда? В настоящее время на скамье подсудимых сидят люди, принимавшие, по словам обвинительного акта, главное участие в заговоре для ниспровержения установленного государственного порядка... Какие же цели имели они в виду и какими обладали средствами, чтобы достигнуть своих целей?

Некто Нечаев, преподаватель закона божия (!?) в приходском сергиевском училище в Петербурге, принимал участие в школьных беспорядках 1869 года, был арестован, бежал потом за границу с чужим паспортом и с чужим же паспортом вернулся в Россию. В Женеве он сошелся с Бакуниным, Огаревым и, быть может, был принят также в Международную ассоциацию рабочих, которая не брезгает, по-видимому, даже и таким добром, как наши туземные искатели революционных приключений. В Петербурге и Москве Нечаев приискивает себе сообщников. Мы знаем теперь главнейших из них: в числе их только одному г. Прыжову, который, как видно из его слов, вел весьма беспорядочную жизнь, было сорок два года; все остальные не более, как юноши от девятнадцати до двадцати пяти лет, или не учившиеся ровно ничему, или выгнанные из учебных заведений, или готовившиеся покинуть школьную скамью; исключение составляет лишь г. Ткачев, о котором в обвинительном акте сказано, что он кандидат Петербургского университета. «Либеральная личность» Нечаева явилась пред этою молодежью уже окруженная ореолом: как было не поклоняться этому человеку, когда, по его собственным словам, он удостоился высшей чести быть запямятым с Огаревым и Бакуниным и получил от них полномочие перевернуть вверх дном весь государственный и общественный строй

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru России! Нечаев не высказывал, впрочем, открыто своих замыслов: он окружал себя большою таинственностью и уверял, что действует от какого-то комитета, держащего все нити в своих руках и требующего безусловного повиновения. По словам Нечаева, революция должна была вспыхнуть сама собою, именно в феврале 1870 года, потому что Нечаев, а также школьники и проходимцы, связавшиеся с ним, считали себя столь близко знакомыми с настроением народа, что им казалось вполне несомненным, будто бы народ не замедлит прибегнуть к мятежу по прекращении переходного положения. Задачей революционных кружков было помочь восстанию, когда оно вспыхнет, «своими умственными способностями». В ожидании столь возделенной минуты, «всякий честный человек, – утверждал Нечаев, – обязан бросать учебные заведения и готовить себя на служение общему делу». Он старался уверить, что предприятие задумано как нельзя более искусно, что «громкая организация уже раскинулась по всей России», что она тысячами считает своих приверженцев и что все предвещает ей несомненный успех. Все это было чистейшей выдумкой, громадною нелепостью, однако и в Петербурге, и в Москве Нечаеву удалось обмануть несколько личностей, сделавшихся бессмысленным орудием в руках его.

Тогда началась возмутительная и жалкая комедия. На сходках постоянно толковали о «комитете», хотя этого комитета никто не видал в глаза и не знал даже, где он существует. Нечаев требовал от своих сообщников, чтобы они служили делу, или, вернее сказать, ему лично, двояким путем: 1) собиранием денег и 2) привлечением новых заговорщиков. Что касается денег, то очень скоро оказалось, что люди, вознамерившиеся произвести коренной переворот в пределах Российской империи, располагали лишь грошами, а относительно привлечения участников они, видимо, недоумевали, куда им обратиться, чтобы встретить какое-нибудь сочувствие. Г-н Прыжов, например, похвалялся, что ему известна чуть ли не половина Москвы, что он изведает подноготную всех кабаков и фабрик, и несмотря на то, по его же сознанию, он собрал денег «лишь самую малость». Другой из обвиняемых, г. Кузнецов, говорит, что он всячески хотел показать себя деятельным, но чтобы Нечаев поверил его деятельности, он вынужден был представлять ложные отчеты. «Чтобы незаметна была моя ложь, – показывал он на суде, – я старался каждый раз приносить в наши собрания деньги, будто бы собранные мною с лиц, изъявивших желание присоединиться к нам, но на самом деле эти деньги (по несколько рублей) я давал, большею частью, свои собственные». Один только из сообщников не захотел лгать и играть по дудке Нечаева: мы говорим об убитом Иванове, личность которого недостаточно ясна для нас из показаний его товарищей. Он отшатнулся от заговора и решил действовать особняком. Нечаев тотчас же предложил убить его, и главные адепты этого негодяя опять-таки рабски подчиняются его воле, хотя большая их часть протестует втайне против убийства, но не дерзает ослушаться своего вождя. Нечаев уверил их, что страшное злодеяние необходимо для успеха дела, что Иванов может повредить «громкой организации», что нечего дорожить жизнью одной личности, когда дело идет о безопасности целого легиона приверженцев задуманного «дела»... Вскоре после того, как совершилось преступление, начинают, однако, приступать к Нечаеву с вопросами: где же эта знаменитая «организация», где этот легион, действующий по распоряжению пресловутого комитета? и Нечаев должен сознаться, что если лгали его клеветы, то он лгал еще бессовестнее, чем они. «Правда, – говорит он с обычным своим нахальством, – я врал; но все средства хороши, чтобы завлечь людей в заговор. Этому правилу часто следуют за границей; между прочим, держится его и Бакунин: почему же и мне поступать иначе...»

Итак, умерщвление Иванова – вот факт, который бросает мрачный и ненавистный колорит на всю эту историю. Если бы не он, то можно было бы отнестись только с презрением и омерзительным чувством ко всему этому сумбуру понятий, к этому жалкому невежеству, к этой пошлой самонадеянности, которыми была проникнута среда, избравшая Нечаева своим руководителем».

№ 190 (фельетон). «Во всем этом процессе для меня кажется самым знаменательным то равнодушие, с которым наше общество относится к нему: в его глазах весь этот заговор – преступное, но глупое и бессильное мальчишество (конечно, за исключением убийства). Это равнодушие есть беспощадный общественный приговор над всеми такими попытками. Это равнодушие должно быть для всех таких заговорщиков более безотрадным явлением, чем если б народная ярость разорвала их на клочки: их не боятся, не ненавидят, против них даже не считают нужным разгораться яростью – их холодно и покойно игнорируют. Это – наказание более тяжелое и поучительное, чем Сибирь и каторга, [133] более унижительное, чем позорный столб. Наши заговорщики не имеют даже того утешения, чтоб поразить людей громадностью своего преступления и заставить мир интересоваться своею личностью. Я уверен,

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru что если б находились в продаже их фотографические портреты, то на эти карточки был бы крайне малый запрос, и фотограф остался бы в большом накладе»...

№ 197. «Никогда еще эта скамья в уголовном департаменте петербургской судебной палаты не привлекала к себе большего внимания, как в настоящем процессе, и это внимание возбуждают не только те лица, которые занимают скамью, но, может быть, еще в большей степени те, чьи места остаются незанятыми в силу обстоятельств, не зависящих от судебной палаты, – Нечаев, бежавший за границу, и Иванов, убитый Нечаевым.

Из числа восьмидесяти четырех лиц, привлеченных к ответственности по «нечаевскому делу», мы видели на скамье подсудимых одиннадцать человек, причисленных к первой группе, которую обвинительная власть признала наиболее преступною. Каждый из этих одиннадцати был знаком, разговаривал, видел, в крайнем случае слышал о Нечаеве, и решительно все упоминали о нем в своих показаниях. В один голос говорили они о глубоком впечатлении, которое производил Нечаев, о неотразимом, роковом влиянии, которое он имел на всех, с кем сталкивала его судьба, на всех, за исключением одного Иванова. Один Иванов не поддавался влиянию Нечаева, на одного его Нечаев не производил впечатления. Почему? Иванов не похож на подсудимых первой группы: «Это был, по словам Кузнецова, человек недоверчивый, требовавший прежде всего более или менее ясных доказательств»; Иванов относится ко всему сознательно; его нельзя принудить к слепому повиновению; он во всем дает себе отчет; он самолюбив, сосредоточен, и обмануть его трудно. «Я ошибся в выборе Иванова», – говорил Нечаев Кузнецову.

Это было единственное правдивое слово во всей массе лжи, окружающей личность Нечаева, которого нам хотят представить с какими-то демоническими чертами в характере и общем строе его натуры. Таким разумели его подсудимые первой группы, не таким считал его Иванов, и таким Нечаев никогда не был. Сын бедного ремесленника в селе Иванове, сын полотера графа Шереметьева, до шестнадцати лет ничему не обучавшийся и с юности выбившийся из колеи, трудом и потом проторенной для него отцом, Нечаев является вольным слушателем в университете, сперва в Москве, потом в Петербурге. Не науки искал он в университете, и наука не давалась ему: он усваивал себе лишь отдельные фразы помощью памяти, не мог уразуметь ни одной здравой мысли, ни одной идеи, которые требуют работы ума, и скоро дошел до отрицания всякого образования. «Ходить в школы учиться – ерунда», – говорил Нечаев Орлову, не подозревая, конечно, что высказывает этим главную черту, объясняющую его вполне, со всеми его недостатками, пороками, даже преступлениями. Это была натура грубая, не смягченная ни семьей, ни школой, – он бросает дома сестру в тифе и идет на сходку; он убивает Иванова и протягивает любимой женщине руки, на которых еще кровь не обсохла; это был неуч, прикрывавший свое невежество отрывочной, для него самого непонятной фразой. «Нечаев ни о чем не говорил обстоятельно, никогда не высказывался и пропускал лишь фразы сквозь зубы», – говорят о нем бывшие его поклонники. Это был, наконец, человек до крайности самолюбивый, увлекавшийся своею собственною личностью, как все малообразованные люди, любивший говорить о себе и слушать, как другие говорят о нем, желавший властвовать, наставлять других. Удовлетворяя эти потребности своей натуры, он был учителем сперва народной школы в селе, затем приходского училища в столице. Когда же, с годами, грубый инстинкт руководить, повелевать другими развился до стремления быть во что бы то ни стало передовым деятелем общества, Нечаев, не находя в себе положительных данных для подобной роли, не затрудняется в выборе средств и прибегает ко лжи, никогда не забывая, что лжет, и к обману, всегда сознавая, что обманывает.

Нечаев обладает одною положительною чертою, одною способностью, в которой ему никто не отказывал, – изворотливостью, пронырством, тою внешнею ловкостью, которая неминуемо поставила бы сына полотера во главе ивановских мошенников или московских жуликов, если б самолюбие не вывело его на иную, более широкую арену политических мазуриков...

Судя по Нечаеву, можно уже догадаться, из какой среды он мог набирать работников для своего «дела» – единственно из среды недоучившейся молодежи: из числа одиннадцати подсудимых только Ткачев окончил курс в университете и только Прыжов не может быть причислен к молодым людям – ему сорок два года. Общая сложность лет всех подсудимых первой группы, за исключением Прыжова, дает каждому из подсудимых, в среднем выводе, двадцать четыре года. Умственная развитость их очень низкого уровня; их положительные сведения слишком ограничены. Это, большею частью, семинаристы, слушатели земледельческой Петровской академии,

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru люди, как и Нечаев, поздно обратившиеся к умственным занятиям и оказавшиеся мало к ним способными...

Только слабостью умственного развития, которую нельзя скрыть никакой дерзостью мысли, хотя бы и не навязанной извне, только убожеством положительных знаний, которые не могут быть заменены заученными фразами из книг, хотя бы и хороших, только нелюбовью к труду можно объяснить успех Нечаева в среде подсудимых первой группы, которые, по их собственным словам, действовали совершенно бессознательно. Да и можно ли предположить сознательное отношение к делу у таких личностей, которые сегодня пишут оду в честь приезда государя императора во Владимирскую губернию, а завтра вступают в число заговорщиков для ниспровержения установленного порядка?..

К такому результату приводит внимательное изучение одиннадцати подсудимых первой группы»...

№ 197 (Фельетон). «Этот политический процесс представляет очень много поучительного... Кажется, чего-чего не говорили и не писали о панурговом стаде, а оно все еще живо и поражает грациозностью своих прыжков и красотой рогов. Вот льется речь, чистая польская речь, [134] где глумятся не только над всем прошлым, но и над всем настоящим России. Видите ли, все у нас пусто, сухо, голо, не на чем остановиться; а прошедшее Польши в пурпуре и злате, такое, что может очаровать польского демократа! Вы изумляетесь этой беззастенчивости, этой колоссальной неправде. Вот уж именно демократу, думаете вы, искать идеалов в старой Польше, этом позорном государстве, где масса была в самом ужасном рабстве у панов и жидов-арендаторов. Да хорош и пурпур! Это государство с 12 миллионами жителей пало почти без выстрела среди подкупов, разврата, усобиц, измены. Но, положим, с польской точки зрения надобно говорить, что это – все золото и пурпур даже и для демократа, а в России Петра, Екатерины, Александра II все пусто и голо. Сидите вы и слушаете, что будет дальше. Вот подымается одна из тонкорунных овец панургова стада и начинает прыгать за польскую речью с самым добродушным видом, приговаривая: «Хорошо, ай как хорошо! ай какая заслуга перед Россией!» И досадно, и жалко делается. Так и хочется сказать: «Бяшенька, бяшенька, назад! куда ты за волком прыгаешь! съест тебя!» Но нет, не остановите бяшеньку. Вслед за ней бежит другая овечка, припевая: «Ай хорошо, ай честно...» А там и в печати опять бляенье, и на вас же рогами тычут бараны, и бегут туда же. Остается махнуть рукой и отвернуться...

Процесс велся с величайшим беспристрастием, с самым строгим соблюдением устава уголовного судопроизводства; замечания защитников и подсудимых выслушивались без нетерпения, обсуживались внимательно. Но нельзя не заметить, что вежливость допрашивавших иногда переходила пределы; говоря с подсудимыми, они употребляли выражения: «вы изволили сказать, вы изволили сделать...»; а говоря о себе: «смею думать, смею сказать». Эти почтительные обороты неупотребительны ни в одном европейском суде, потому что они неуместны, потому что они могут подсудимому внушить ложную мысль о впечатлении, которое производит приписываемое ему преступление. Если убийцу судья будет спрашивать: «Вы изволили ударить топором по голове; поэтому, смею думать, что вы желали лишить жизни такого-то», то, пожалуй, тот подумает, что дело его весьма деликатного свойства и что сам он чрез него стал на весьма значительную высоту. Да и существующие у нас обычаи на суде вовсе не в тон с этой манерой. У нас в окружном суде зачастую не только обвиняемых, но и свидетелей, даже из высших общественных классов, называют просто: свидетель N, по одной фамилии. Впрочем, в таком деле, как только что разбиравшееся, лучше пересолить, чем недосолить».

№ 201. «Из подсудимых второй группы обвинительный акт ставит на первом плане трех лиц: двух бывших слушателей Петровской академии, Н. С. Долгова и Ф. Ф. Рипмана, которые, по словам акта, входили в состав первого кружка организации, и мещанку города Калуги, Е. И. Беляеву, которую акт относит к числу организаторов тайного общества. Как из обвинительного акта, так и из показаний, данных подсудимыми на судебном следствии вчера и сегодня, более и более выясняется, что они были лишь орудием в руках Нечаева, который сперва ложью и обманом успел поселить в них доверие к себе и затем поддерживал свое влияние устрашениями и угрозами. Ложь, к которой так часто и так бессовестно прибегал Нечаев, мало-помалу раскрывается...»

Г) «Биржевые ведомости»

№ 208. «Нечаевское тайное общество готовится разделить общую судьбу многих

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru новостей, обыкновенно привлекающих к себе внимание только в начале их появления. Далеко еще конец судебного разбирательства по остальным категориям подсудимых, а видимо ослабел уже интерес общества к этому делу, и показания подсудимых пробегаются далеко уж не с той лихорадочной внимательностью, с какою следили все за Успенским, Кузнецовым, Прыжовым, Николаевым и прочими участниками первой категории обвинения. Зато едва ли мы впадем в ошибку, если скажем, что впечатления и выводы, оставшиеся в обществе после первого периода судебных заседаний, укоренились в умах надолго и, быть может, еще не раз отзовутся в будущих явлениях общественной жизни.

Ряд уроков дало нам первое открытое разбирательство политического дела в России. Приговором суда о первой категории подсудимых брошен свет на предыдущие обстоятельства, сделавшие совершенно ясными некоторые особенные и знаменательные оттенки этого ряда молодых увлечений и легкомысленных ошибок, разразившихся, наконец, в преступление. Какой общий тон в показаниях подсудимых? Каждый из них более или менее желал «блага народу»; около этого знамени собрались они бороться, а если нужно – приносить нравственные жертвы и терпеть всевозможные материальные лишения. Но что же это за благо народа? Несомненно, существует в России народ; но разумеет под этим именем только серых мужиков или опивающихся рабочих неосновательно. Добиваясь бессловности, всесловного единства в жизни, – мы, однако же, не выкинули еще словности из своих понятий. Умственно, в русском народе мы воображаем себе два народа, и словесно более или менее интеллигентным противопоставляем кряжевую рабочую силу простолюдинов. Это ошибка, потому что в русском народе может быть только один организм, и как легко эта ошибка переходит из безвредного заблуждения в роковое увлечение, нечаевский процесс представил тому довольно примеров. Благо народное также существует несомненно, только не существует мифических благ, мыслимых независимо от современных гражданских и государственных установлений. Преступно предполагать в народе революционера по преимуществу, революционера исключительного. Опыт всех веков и всех стран доказал, что для умов, не стоящих на степени интеллигентной, власть предрержающая есть также и символ, и порука всех ожидаемых ими благ. Если бы народ русский способен был к гомерическому смеху, – он этим смехом ответил бы, конечно, всякому безумцу, который решился бы его убеждать, что без власти установленной он достигнет улучшения своего экономического и политического быта. Чрез насилие коренных убеждений простолюдина призывать его к насилию политическому – это смешно; мы скажем – это жалко. Затем, не лоскутья ли одни останутся от этого знамени, именуемого «благом народным», если бы его понимать согласно с большинством обвиненных».

Д) «Вестник Европы»

«В течение минувшего месяца в здешней судебной палате происходило разбирательство того дела, которое известно под именем «нечаевского». Сущность этого дела состоит в составлении политического тайного общества и в совершении убийства. Коснуться этого процесса в нашей месячной хронике мы считаем обязанностью, как по интересу, возбуждаемому им, так и по некоторым значительным его особенностям. Главная из последних та, что этот политический процесс происходит гласно; в зале суда присутствует публика и отчеты о заседаниях печатаются в официальной газете, откуда заимствуются и другими газетами.

Польза такой гласности столь очевидна, что нечего долго на ней останавливаться. Она возвышает уважение к суду, низводит тех, кто признан виновным, из положения «тайно пострадавших» в положение правильно осужденных за положительно доказанное преступление, обнаруживает ясно для всего общества нелепость полушкольнического, сопровождаемого изуверским действием, предприятия, остерегает в будущем молодых, неразвитых людей от сетей, расставляемых бессовестными и безумными агитаторами, наконец, выставляет на позор действия этих последних, сумевших избежать иной ответственности, кроме того негодования общества, которое будет их уделом, в то время как слепые жертвы их подвергаются карам закона.

Вот эта именно особенность, а именно гласность, впервые приданная разбирательству политического процесса мудростью правительства, и налагает на нас обязанность не умалчивать об этом деле. Если бы обвинение и разбирательство последовали вне порядка обыкновенного судопроизводства и вне гласности, то мы, без сомнения, предпочли бы сохранить молчание о всем деле, как бы велико ни было наше искреннее негодование против самого преступления и даже если бы мы были вполне убеждены в справедливости последовавшего затем приговора. Мы молчали бы и о нашем негодовании, и о нашем убеждении в справедливости кары просто потому, что нам совестно было бы выступать гласно перед обществом в качестве прокуроров,

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru когда слово защиты было бы скрыто от общества. Чувство нравственного приличия, понятное всем порядочным людям, не дозволяло бы нам употребить гласность для обсуждения вины, когда не признано было бы нужным воспользоваться гласностью для разъяснения этой вины и для смягчения ее защиты.

Эти оговорки относительно затруднительного положения, какое может создавать в печати наказание виновных вне обыкновенного судопроизводства и вне гласного разбирательства, не совершенно излишни в настоящее время, хотя они и не применяются к нынешнему процессу, происходившему в порядке обыкновенного и гласного судопроизводства. Чем больше простора будет для обсуждения подобных дел в печати, даже для защиты в ней некоторых подсудимых и для указания на неизбежные иногда упущения или ошибки в мерах преследования и розыска, тем полнее, свободнее порядочные, независимые органы печати станут выражать все свое отвращение и презрение к бесчестным людям вроде Нечаева, ложью и обманом увлекающим свои жертвы в нелепые, никуда, кроме преступления и гибели, не ведущие планы революционного шарлатанства. А такие предостережения со стороны печати, не заподозренной в шпионстве или продажности, имеют значение, которого никто в наше время ни в Европе, ни у нас отрицать не станет. Но для того, чтобы добросовестная печать могла энергично исполнять и эту обязанность, необходимо, чтобы она имела возможность относиться к подобным делам с полною свободою критики. Никто не согласился бы занимать должности прокуроров, если бы судебные уставы не давали всем обвиненным защитников. И печать, если бывало, что она умалчивала о каком-либо политическом деле, руководствовалась тем правилом, которое очевидно для всех порядочных людей: если свобода критики сводилась к свободе одного порицания хотя бы и справедливо преследуемых лиц, то лучше было не пользоваться и этим правом, чтобы не показалось обществу, что печать выслушивается, и не лишить ее именно того права на доверие, которое одно и дает слову ее нравственный вес. [135]

. .

Что же это было за тайное общество? Ничтожность, неразвитость его участников представляют новое и излишнее, конечно, свидетельство как о твердости существующего в России правительства, так и о шарлатанстве «мастеров» революционного дела, Бакунина и Нечаева. Если бы прочность нашего правительства, преданность ему всего народа и отвращение общества к затеям профессиональных революционеров нуждались в доказательстве, то доказательство им нашлось бы именно в положении и свойствах тех людей, из которых вербовали себе агентов Нечаев и Бакунин. Только таких людей они и могли найти для своих глупых преступлений. А факт, что, приискав таких людей, агитаторы с ними решились-таки вести свой призрак к какому-то безусловно невозможному осуществлению, доказывает именно, что Бакунин и Нечаев, если они не сумасшедшие, – такие бессовестные пройдохи, которые готовы жертвовать людьми для того собственно, чтобы доставить себе за границу хоть малейшую долю революционной «репутации». Но Европа может судить теперь об этом деле уже не на основании каких-либо темных, негласных преследований, и в настоящем случае, когда гласный суд изобличил пред Европою всю ничтожность людей, обреченных нашими революционными шарлатанами на жертву их болезненному самолюбию, она узнает из русских органов гласности, что общественное мнение в России произносит над Нечаевым и Бакуниным приговор глубокого презрения. Таким образом, нынешнее дело не послужит на пользу их самолюбию и за границу, и не одна Россия, но и Европа узнает в них людей нравственно павших, людей, от которых должен сторониться всякий, кто дорожит честным своим именем.

Не будем уже говорить о ничтожестве тайного общества по положению его членов, которое не давало бы им возможности действовать ни в образованном обществе, ни в массе народа, если бы даже у нас и была какая-нибудь возможность затевать нечто вроде революции, чего вовсе нет ни в обществе, ни в массе. Но самые личные свойства лиц, признавших себя главными соучастниками, таковы, что люди эти не могли бы сколько-нибудь годиться в агенты революции нигде, хотя бы в самой революционной из всех стран, в минуту хотя бы самую удобную для производства смятения; по бесхарактерности они становятся игрушками в руках Нечаева, который ведет их убивать человека против их воли и ругает их последними словами за то, что они не хотят помогать ему; а между тем они все-таки шли на это дело! Гласное разбирательство дела возбудит презрение к Нечаеву и Бакунину, а молодых людей в России предостережет от доверия к темным личностям, являющимся с таинственными, недосказанными планами и предложениями «организоваться» для дела неизвестного. Молодые люди убедятся, что «организоваться» не следует потому именно, что вся

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru цель таких проижд в том и состоит, чтобы прославить себя устройством ни для чего не годной «организации».

Таковы отзывы о «нечаевском деле» значительнейших органов нашей литературы всех оттенков. Надеемся, что читатель, пробежав эти отзывы, согласится с мнением, изложенным нами выше, что ими вполне и притом с полной свободой разъясняется не только самый факт, давший начало процессу, но и те отдаленные причины, которые породили этот факт.

ПЕРВАЯ РУССКАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА *

Нынешний год ознаменовался очень замечательным для русского искусства явлением: некоторые московские и петербургские художники образовали товарищество с целью устройства во всех городах России передвижных художественных выставок. Стало быть, отныне произведения русского искусства, доселе замкнутые в одном Петербурге, в стенах Академии художеств, или погребенные в галереях и музеях частных лиц, сделаются доступными для всех обывателей Российской империи вообще. Искусство перестает быть секретом, перестает отличать званных от незванных, всех призывает и за всеми признает право судить о совершенных им подвигах.

С какой бы точки зрения мы ни взглянули на это предприятие, польза его несомненна. Полагая начало эстетическому воспитанию обывателей, художники достигнут хороших результатов не только для аборигенов Чухломского, Наровчатского, Тетюшского и других уездов, но и для самих себя. Сердца обывателей смягчатся – это первый и самый главный результат; но в то же время и художники получат возможность проверить свои академические идеалы с идеалами чебоксарскими, хотмыжскими, пошехонскими и т. д. и из этой проверки, без сомнения, извлекут для себя небесполезные указания.

Что обывательские сердца смягчатся при взгляде на красивые линии – этому я видел поразительный пример не далее как 30-го сего ноября (выставка открыта 29-го числа). Перед картиною г. Мясоедова, изображающей Петра Великого, рассматривающего знаменитый ботик, который сделался впоследствии родоначальником русского флота, стоял цензор (не римский, а другой) и неутешно плакал. «Что с вами?» – спросил я его. «Помилуйте! – отвечал он мне, – посмотрите, как великий-то государь был любознателен! как он любил науку! с какою благородною алчностью следил за ее открытиями! А мы-то! а я-то!» Но этого мало: раз ставши на почву самоосуждения, мой добрый знакомец почувствовал потребность идти до конца, то есть принести публичное покаяние. К великому моему смущению, он встал посредине залы и без всякого постороннего наущения словами Феофана Прокоповича возопил: «Братия! что мы делаем? Петра Великого погребаем!»

Сказавши это, он изнемог и упал на грудь г. Мясоедова...

Но если такой подлинно испытанный человек, как мой знакомец, был уязвлен столь чувствительно, то каких же результатов не вправе мы ожидать относительно прочих обывателей. Переносюсь мыслью в город Кологрив и вижу: помещик стоит перед картинкой г. Прянишникова «Погорельцы» и потихоньку вынимает из кармана пятак, чтобы подать нищему; мировой судья смотрит на картину профессора Ге «Петр Великий, допрашивающий своего сына» и вдруг начинает совершенно отчетливо понимать, что значит суд скорый, милостивый и правый; поселянин вглядывается в этюд г. Крамского «Голова мужика» и восклицает: «Матрена! Матрена! смотри... рваный... это я!» И ежели, за всем тем, исправник все-таки изъявит намерение пребыть непреклонным, то непреклонность эта будет притворная. «Майская ночь» г. Крамского и на него подействует освежительно. По наружности он останется равнодушен, но в душе наверное скажет себе: «Вот рассказывают, будто крестьянам подати платить не из чего, а они, посмотрите-ка, какие удивительные балеты на картинках выделывают! Просто с жиру, бестии, бесятся!»

Как хотите, а для художника такая публика – сущий клад.

Кроме того что он может проверить на нем действительный эстетический уровень цивилизованного большинства, она представит ему неистощимый источник для разнообразнейших художественных этюдов. Пусть представит художник станкового пристава, стоящего перед Аполлоном Бельведерским – какая это будет чудесная картина! Аполлон, весь блистая красотой, равнодушными глазами смотрит на кишащих у ног его сеятелей и деятелей, а усердный исполнитель исправниковых велений с

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru видом знатока вглядывается в прекрасный торс, и из уст его невольно вырывается: «Хорош, бестия, а все против нашего губернатора не вышел!» Или: стоит судья перед статуей Фемиды и держит ей такую речь: «И что ты меня весами этими дразнишь! вот возьму, да куда захочу – туда они у меня и потянут!» Да и мало ли таких сюжетов явится; стоит только русским художникам почаще проверять свои идеалы с идеалами обывателей бесчисленных российских градов и весей.

А провинциальная пресса! Сколько она одна даст полезных указаний, с разрешения гг. начальников губерний! и указания эти, я в том уверен, будут настолько вески, что «Товарищество передвижных художественных выставок» наверное воспользуется ими. Прочитав их, оно воздержится от посылки в город Мензелинск картин вроде «Петра, допрашивающего своего сына», а просто-напросто возьмет напрокат у академии несколько десятков «Янов Усьмовичей» и пошлет их с рассыльным по принадлежности.

Такова мысль новорожденного «Товарищества»; теперь взглянем на ее выполнение.

Первая выставка, открытая в Петербурге, в залах Академии художеств, производит самое приятное впечатление. Количество картин небольшое, но на каждой из них внимание зрителя останавливается с удовольствием, а на некоторых даже и более нежели с удовольствием. Невольно припоминаются те массы крашенины, которые утомляли взор, прежде нежели он отыскивал хоть какую-нибудь точку, на которой мог успокоиться. Поэтому нельзя не похвалить «Товарищество» за то, что оно, при первом своем появлении на суд общества, избавило публику от крашенины; но спрашивается: может ли оно и на будущее время всегда действовать с тою же эстетическою сдержанностью, с какою действовало в этом первом своем опыте?

По моему крайнему разумению, разрешение этого вопроса очень сомнительно, и сомнения эти основаны на том соображении, что «Товарищество» в своей организации не отрешилось ни от одного из требований рутины, которая имеет свойство обращать самое полезное дело в пустую формальность. У него есть свое общее собрание, свое правление, своя баллотировка. Спрашивается: при тех преимущественно воспитательных целях, которые, по-видимому, имеет «Товарищество», какой смысл может иметь подобная организация? Ограждает ли она «Товарищество» от наплыва Моисеев, извлекающих из камня воду, Янов Усьмовичей и т. п.? Нет, не ограждает, ибо по уставу на звание члена «Товарищества» может претендовать всякий художник, «не оставивший занятий искусством»; хотя же прием новых членов обусловлен баллотировкой, но в сфере искусства баллотировка обеспечивает столь же мало, как и протекция или начальственное усмотрение. Тут явятся на сцену всякого рода сомнения и уступки: и опасение быть обвиненным в несправедливости, и просто чувство деликатности, воспрещающее устранять от дела лицо, которое, в сущности, быть может, и не даровито, но в глазах толпы пользуется значительною репутацией. А как скоро Яны Усьмовичи проникнут в «Товарищество», то они подорвут какую угодно воспитательную цель и вместо нее введут элемент разношерстности. Если, например, «Товарищество» преследует идею трезвости, простоты и естественности в искусстве, то стоит только забраться в «Товарищество» г. Микешину, чтоб совершенно упразднить эту идею. А отказать ему в праве на звание члена нет основания уже по тому одному, что он целую Россию покрыл сетью монументов. И как только он вступит в «Товарищество», то сейчас же изумит мир обликом и яркостью своих произведений, и уж, конечно, ни один становой пристав не остановится перед картиной Ге, если рядом с нею будет стоять ослепительное произведение г. Микешина. Спрашивается: что станет тогда с воспитательными целями «Товарищества»?

Я не отвергаю, что и к воспитательным целям могут быть применяемы соединенные усилия нескольких лиц, но для того, чтобы в этом случае был достигнут успех, необходимо, чтобы соединившиеся для одной цели лица были вполне друг другу известны и заранее с полною ясностью определили для себя все основания задуманного дела. Тут не баллотировка требуется, а полное единодушие, и ежели мне возразят, что подобное единодушие, в крайнем своем проявлении, может привести к односторонности, то, по мнению моему, и в этом еще не будет большой беды. Ведь никто же не мешает рядом с одним товариществом устраивать другие однородные товарищества с теми же целями, но с иными взглядами на их осуществление.

Но прекратим речь о будущем, которое во всяком случае гадательно, и обратимся к настоящему, то есть к тому первому опыту передвижной художественной выставки, который состоялся 29-го ноября.

На первом плане мы встречаемся здесь с картиною профессора Ге «Петр Великий, допрашивающий своего сына». Перед нами всего две фигуры и строго-простая обстановка, не имеющая ничего бьющего в глаза. Петр Великий не вытянут во весь рост; он не устремляется, не потрясает руками, не сверкает глазами; фигура его без малейшей вычурности и назойливой преднамеренности посажена в кресло, и даже ни один мускул его лица не сведен судорогой. Царевич Алексей не стоит на коленях с лицом, искаженным ужасом, не молит о пощаде, не заносит на себя рук и не ломает их, а просто и, на поверхностный взгляд, даже довольно спокойно, стоит перед отцом, отделенный от него столом, с несколько опущенною вниз головою. Тем не менее всякий, кто видел эти две простые, вовсе не эффектно поставленные фигуры, должен будет сознаться, что он был свидетелем одной из тех потрясающих драм, которые никогда не изглаживаются из памяти.

В этом-то именно и состоит тайна искусства, чтобы драма была ясна сама по себе, чтобы она в самой себе находила достаточное содержание, независимо от внешних ухищрений художника, от опрокинутых столов, сломанных стульев, разбросанных бумаг и т. д. А г. Ге именно тем и выделяется из массы собратий по исторической живописи, что он очень отчетливо отличает внешние, крикливые выражения драмы от внутреннего ее содержания и, пользуясь первыми лишь с самою строгою умеренностью, сосредоточивает всю свою художественную зоркость на последнем. Это драгоценнейшее свойство художника постоянно являлось во всех его картинах, доселе известных; оно же, с особенною силою, выразилось и в последнем произведении его кисти.

По-видимому, личность Петра чрезвычайно симпатична г-ну Ге, да оно и не может быть иначе, потому что в глазах художника воспроизводимое лицо лишь настолько привлекательно, насколько оно человечно, то есть насколько доступно всему разнообразию человеческих ощущений. Такова именно личность Петра Великого. Вся жизнь этого человека есть непрерывная эпопея, в которой царственное на каждом шагу смешивается с общечеловеческим, и притом смешивается не искусственно, не преднамеренно, а вполне естественно и свободно. Это такой же истинно простой в своих привычках и обыкновении, будничном обиходе человек, как и все его окружающие, и ежели он, за всем тем, тяготеет над этими последними, то не потому только, что у него в руках имеются все внешние средства для такого тяготения, но преимущественно потому, что в нем заключается неизмеримо высокий и вполне себя сознающий внутренний человек. Петр Великий прежде всего страстно предан своей стране, но в этой преданности первое место занимает не страстный темперамент, а сознательность, доведенная до страстности, которая и приводит к мысли о необходимости обновления и возрождения. Сознание этой необходимости овладевает всеми его помыслами, окрашивает всю его деятельность; ибо для него возрождение не просто плод отвлеченной мысли, а нечто такое, что он, так сказать, осязает, что выступает перед ним во всей ясности и со всеми подробностями. Поэтому он идет не останавливаясь даже тогда, когда его действия носят явный характер резкости и суровости. Он суров и даже жесток, но жестокость его осмыслена и не имеет того характера зверства для зверства, который отличает жестокие действия временщиков позднейшего времени.

Да, это личность, которой художник не может не симпатизировать даже в ее слабостях и недостатках, потому что это слабости человеческие. Ей следует симпатизировать не только во имя того, что она совершила, но еще более ввиду того, что она, конечно, совершила бы, если бы смерть не похитила ее. Многие из реформ Петра имели характер переходный и дисциплинарный и впоследствии послужили источником очень значительных неудобств; но это произошло совсем не по вине его, а оттого, что продолжатели его дела поддерживали только букву реформ и совершенно забыли разум их. Что Петр понял бы своим обширным умом, что дело возрождения есть дело по преимуществу движущееся и развивающееся – в этом убеждает его неутомимая, никогда не ослабевающая реформаторская деятельность, которая стояла для него выше личных соображений, выше семейных уз.

А в этом последнем отношении грядущее представлялось в очень мрачном свете, потому что личность царевича Алексея была такого рода, что не допускала даже сомнений. Допустим, что царевич был настолько лишен энергии и чужд властолюбия, что сам охотно отказался бы от приманок власти, «была бы только подле него Афросинюшка», но, во-первых, удостоверить полную искренность подобного отказа довольно трудно, а во-вторых, смутные времена с их Лжедмитриями были так недалеки, что и это заставляло задуматься. Задумав преобразование России, Петр естественно пришел к вопросу: кто будет продолжать и развивать начатое дело – и

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru с мучительной безнадежностью должен был остановиться на царевиче Алексее, который, во имя уз крови, становился между ним и делом всей его жизни. Отсюда – известная драма между отцом и сыном, окончившаяся смертью последнего.

Г-н Ге делает нас свидетелями одного из прелиминариев этой драмы. Петр Великий имеет в руках подавляющие документы, перед которыми Алексею остается только умолкнуть. Быть может, за минуту, между отцом и сыном произошла бурная сцена, исполненная гнева с одной стороны и робкой изворотливости – с другой, но теперь, в момент, избранный художником, вопрос для обеих сторон выяснился окончательно, и наступило затишье. Петр с мучительно-тоскливым чувством смотрит на сына; но во взоре его не видно ни ненависти, ни презрения, ни даже гнева. Это именно только мучительное чувство, где всего скорее можно видеть скорбь о себе, о поднятом, но неоконченном подвиге жизни, о том, что достаточно одной злополучной минуты, чтобы этот подвиг разлетелся в прах. Перед ним человек, до которого ему нет дела и которому, в свою очередь, нет дела до него, и между тем – это человек, с которым он связан своего рода гордиевым узлом, которому он должен оставить на поругание любимое, лелеянное дело, – человек, с которым он волей-неволей должен считаться, тогда как ему и говорить-то с ним не об чем. Эта мысль гнетет и убивает, убивает тем жесточе, что на настоятельный вопрос будущего еще нет никакого практического ответа. После он доищется этого ответа и найдет в себе решимость рассечь гордиев узел, но теперь он еще ничего не знает, он сам только жертва той мучительной уверенности, к которой привело его сейчас происшедшее объяснение. В лице его нет ни гнева, ни угрозы, а есть только глубоко-человеческое страдание, и сверх того, коли хотите, есть упрек, но упрек, обращенный ко всему, к чему угодно, но не к этому человеку-призраку, фаталистически ворвавшемуся в его жизнь. Рассматриваемая с этой точки зрения (мне, по крайней мере, кажется, что эта точка зрения правильна), фигура Петра представляется исполненной той светящейся красоты, которую дает человеку только несомненно прекрасный внутренний его мир.

Не менее выразительна, хотя и в другом роде, фигура царевича Алексея. И он договорился до конца, и для него настоящее свидание было полно нравственных тревог, но эти тревоги иного, несомненно низменного свойства. Его беспокойство скоропреходяще и все сосредоточено на одной мысли: я готов от всего отказаться, готов что угодно отдать, лишь бы уйти от этого взора, который так мучительно давит меня. И он действительно все отдаст, от всего откажется и даже забудет вынесенную им нравственную пытку, как только переступит за порог этой комнаты. Загородный увеселительный дом или тюрьма, привольная жизнь в Ярославле или тесное заключение в стенах монастыря – ему все равно в эту минуту, лишь бы уйти от этого человека, с которым у него нет ничего общего и которому он должен дать ответ о чем-то таком, что он даже в толк себе взять не может...

Вообще, впечатление, производимое картиною г. Ге, громадно, и публика постоянно окружает ее. О, пошехонцы, возрадуйтесь! ибо она будет и у вас!

И даже не одна она будет, но вместе с прекрасною картиною другого даровитого представителя исторической живописи, г. Мясоедова, который изобразил другой эпизод из жизни Петра Великого, а именно тот, когда он, еще юный, рассматривает знаменитый ботик, построенный Тиммерманом. Впрочем, в этой картине интерес сосредоточивается не столько на фигуре Петра, сколько на окружающих его боярах. В особенности интересны двое из них: боярин, стоящий за креслом, на котором сидит Петр, и другой, сидя выглядывающий из-за первого. Первый боярин – тип благосклонности, доброты и благодушия. Его румяное, улыбающееся лицо, с великолепной седой бородой до пояса, так, кажется, и говорит: не понимаю, но препятствовать не намерен, потому что в науках вреда не вижу. И ежели бы в те времена существовало «учреждение министерств», то, конечно, этот боярин был бы самым желательным министром по какой угодно специальности, ибо ежели он и ничего не знал, то ведь тогда и знать ничего не требовалось, а требовалось только доброжелательное отношение к знанию. Напротив, другой боярин смотрит на затею Петра с совершенно противоположной точки зрения: он ненавидит и кланет. Вся фигура его говорит: проклиная сатану и аггелов его, и в своем близоруком фанатизме он готов перенести эту ненависть и на цветущего юношу, с таким страстным увлечением рассматривающего ботик. Благодаря этим характерным фигурам и общему тону картины, она производит очень хорошее, здоровое впечатление, и я нимало не удивляюсь, что знакомство с нею довело моего приятеля (зри выше) до публичного покаяния.

Из представителей жанра на выставке упомяну о троих: о гг. Прянишникове, Перове

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru и Крамском.

Две картины Г. Прянишникова («Погорельцы» и в особенности «Мужики, возвращающиеся из города порожнячком») представляют своего рода перлы, которыми выставка может, по справедливости, гордиться. Каждая картина этого высокодаровитого художника представляет отрывок из действительности до такой степени трепещущий, что зритель невольно делается как бы непосредственным участником той жизни, которая воспроизведена перед ним. Несмотря на однообразно-унылую обстановку «Порожняков» (большая дорога зимой), трудно оторваться от этой картины. Всякому, конечно, случалось сотни раз проезжать мимо сцен, точь-в-точь похожих на ту, которая преображена в «Порожняках», и всякий, без сомнения, выносил известные впечатления из этого зрелища, но впечатления эти были так мимолетны и смутны, что сознание оставалось незатронутым. Г-н Прянишников дает возможность проверить эти впечатления. Вы видите перед собою ободранные санишки, шершавых, малорослых крестьянских лошадей, на которых громыается и дребезжит рваная сбруя; видите семинариста в пальто, не имеющего ничего общего с теплой одеждой, который, скорчившись, в санишках, очевидно, томится одним вопросом: доедет он или замерзнет на дороге? – вы видите все это, и так как сцена застает вас не врасплох, то имеете полную возможность вникнуть в ту сокровенную сущность, которая доколе убежала от вас. В этом умении обратить зрителя внутрь самого себя заключается вся сила таланта, и Г. Прянишников обладает этой силой в большом количестве.

Г-н Перов – тоже высокодаровитый художник, но, мне кажется, ему несколько вредит известная доля преднамеренности, высказывающаяся в его картинах. Особенно заметен этот недостаток в картине «Охотники на привале». Каждая фигура этой картины, взятая отдельно, есть верх совершенства, но взятые вместе, они производят впечатление не вполне доброкачественное. Как будто при показывании картины присутствует какой-то актер, которому роль предписывает говорить в сторону: вот это лгун, а это легковерный. Таким актером является ямщик, лежащий около охотников и как бы приглашающий зрителя не верить лгуну-охотнику и позабыться над легковерием охотника-новичка. Художественная правда должна говорить сама за себя, а не с помощью комментариев и толкований, так что если Б. Г. Перов устранил ямщика (несмотря на типичность этой фигуры), его «Охотники» не проиграли бы от того, а выиграли бы.

Г-н Крамской выставил одну большую картину: «Майская ночь», и два этюда: «Охотник на тяге» и «Голова мужика». Все эти картины прекрасны.

Затем имеется несколько очень хороших портретов и пейзажей. Из портретов укажу на портрет писателя Островского, работы Перова, и на портрет Г. Шифа, работы Ге; из пейзажей – на прелестную картинку «Грачи прилетели» Г. Саврасова. О прочих портретах и пейзажах, как не специалист, умалчиваю.

НЕКРОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

ЕГОР ПЕТРОВИЧ КОВАЛЕВСКИЙ *

Литература наша понесла одну из самых чувствительных потерь в лице Егора Петровича Ковалевского, скончавшегося в ночь с 20-го на 21-е сентября.

Деятельность покойного, как литературная так и служебная, была слишком разнообразна и поучительна, чтобы можно было исчерпать ее в тесных рамках некролога. Потому, в ожидании полной биографии этого замечательного русского человека, мы коснемся только главных черт его жизни.

Ковалевский родился в 1811 году в Харьковской губернии и воспитывался в Харьковском университете. В 1829 году он поступил на службу по горному ведомству и до 1835 года служил в Сибири, а в этом году перешел на Уральские горные заводы. С 1837 года сфера его деятельности расширяется, и он принимает немаловажное участие в сношениях России с Востоком и славянскими племенами. Это был, без сомнения, самый важный и поучительный период его жизни, о котором он сам оставил свидетельство в своих сочинениях «Четыре месяца у черногорцев» и «Странствователь по суше и морям», вышедших между 1839 и 1843 гг. Достопамятное время осады Севастополя Ковалевский состоял при главнокомандующем князе Горчакове. В начале нынешнего царствования Егор Петрович был назначен директором азиатского департамента, а в 1861 году сенатором.

Из литературных произведений покойного, кроме упомянутых выше, известны:

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru «Путешествие во внутреннюю Африку», «Путешествие в Китай», роман «Петербург днем и ночью», печатавшийся в «Библиотеке для чтения» и недоконченный вследствие цензурных затруднений, не мало повестей и рассказов, под псевдонимами: Нила Безымянного, Е. Го-рева и др. и «Граф Блудов и его время». Сверх того, известно, что Егор Петрович писал «Историю России в XIX столетии» и отрывок из этого сочинения, под названием «Восточные дела в двадцатых годах», был уже напечатан в одной из книжек «Вестника Европы» за нынешний год.

В последнее время Е. П. Ковалевский был почти постоянно избираем председателем общества Литературного фонда, и можно сказать без оговорок, что утрата, которую это общество понесло в его лице, едва ли в скором времени заменима. Покойный представлял собою образец тех доброжелательных отношений к литературе и ее деятелям, которые в особенности были драгоценны в наше, не совсем благоприятное для этого рода профессии, время.

Несомненная даровитость, многостороннее образование, меткий практический такт, приобретенный долгим опытом в многообразных сферах деятельности, неистощимая энергия и то серьезное, присущее самой натуре гуманное чувство, которое выразится не на словах, а на деле, – вот черты, характеризующие личность Е. П. Ковалевского, за которые многие любили его, уважали все.

И. С. ТУРГЕНЕВ *

Двадцать второго августа 1883 года русская литература и русское общество понесли скорбную утрату: не стало Тургенева.

В современной русской беллетристической литературе нет ни одного писателя (за исключением немногих сверстников покойного, одновременно с ним вступивших на литературное поприще), который не имел в Тургеневе учителя и для которого произведения этого писателя не послужили отправною точкою. В современном русском обществе едва ли найдется хоть одно крупное явление, к которому Тургенев не отнесся с изумительнейшею чуткостью, которого он не попытался истолковать.

Литературная деятельность Тургенева имела для нашего общества руководящее значение, наравне с деятельностью Некрасова, Белинского и Добролюбова. И как ни замечателен сам по себе художественный талант его, но не в нем заключается тайна той глубокой симпатии и сердечных привязанностей, которые он сумел пробудить к себе во всех мыслящих русских людях, а в том, что воспроизведенные им жизненные образы были полны глубоких поучений.

Тургенев был человек высокоразвитый, убежденный и никогда не покидавший почвы общечеловеческих идеалов. Идеалы эти он проводил в русскую жизнь с тем сознательным постоянством, которое и составляет его главную и неоцененную заслугу перед русским обществом. В этом смысле он является прямым продолжателем Пушкина и других соперников в русской литературе не знает. Так что ежели Пушкин имел полное основание сказать о себе, что он пробуждал «добрые чувства», то то же самое и с такою же справедливостью мог сказать о себе и Тургенев. Это были не какие-нибудь условные «добрые чувства», согласные с тем или другим преходящим веянием, но те простые, всем доступные общечеловеческие «добрые чувства», в основе которых лежит глубокая вера в торжество света, добра и нравственной красоты.

Тургенев верил в это торжество; он может в этом случае привести в свидетельство все одиннадцать томов своих сочинений. Сочинения эти, неравноценные в художественном отношении, одинаково и всецело (за исключением немногих промахов, на которые своевременно указывала критика) проникнуты тою страстною жадой добра и света, неудовлетворение которой составляет самое жгучее больное место современного существования. Базаровы, Рудины, Инсаровы – все это действительные носители «добрых чувств», все это подлинныя мученики той темной свиты призраков, которые противопоставляют добрым стремлениям свое бесконтрольное и угрюмое *non possumus*. [136]

Здесь не место входить ни в оценку написанного Тургеневым, ни в подробности его личной жизни. Первое – дело критики; второе – будет выполнено его биографами. Тургенев имел в литературном кругу много искренних друзей, которые не замедлят познакомить читающую публику с этою обаятельною личностью. Тем не менее и из личных наблюдений пишущего эти строки, и из того, что было в последнее время опубликовано о Тургеневе, можно заключить, что главными основными чертами его характера были: благосклонность и мягкосердечие.

Конец Тургенева был поистине страдальческий. Помимо неслыханных физических мучений, более года не дававших ему ни отдыха, ни срока, он еще бесконечно терпел и от назойливости гулящих соотечественников. В последние дни жизни раздражение его против праздношатающихся доходило до того, что приближенные опасались передавать ему просьбы о свидании, идущие даже от людей, которых он несомненно любил.

Заканчивая здесь нашу коротенькую заметку о горькой утрате, понесенной нами, мы невольно спрашиваем себя: что сделал Тургенев для русского народа, в смысле простонародья? – и не обинуясь отвечаем: несомненно, сделал очень многое и посредственно, и непосредственно. Посредственно – всю совокупность своей литературной деятельности, которая значительно повысила нравственный и умственный уровень русской интеллигенции; непосредственно – «Записками охотника», которые положили начало целой литературе, имеющей своим объектом народ и его нужды. Но знает ли русский народ о Тургеневе? знает ли он о Пушкине, о Гоголе? знает ли о тех легионах менее знаменитых тружеников, которых сердца истекают кровью ради него? – вот вопрос, над которым нельзя не задуматься.

Впрочем, это вопрос не исключительно русский, но и всемирный.

ПРИМЕЧАНИЯ

Вводная заметка к тому Е. И. Покусаева. Подготовка текста и текстологические примечания В. Э. Бограда.

Авторы комментариев: А. А. Жук – «Наша общественная жизнь», январь – февраль (I), март (II), апрель (III), май (IV) 1863 г.; Н. Ю. Зограф – «Наша общественная жизнь», ноябрь (VI) 1863 г. (участие в комментарии); В. Я. Кирпотин – «Современные призраки»; Р. Я. Левита – «В деревне»; С. А. Макашин – «Наша общественная жизнь», ноябрь (VI) 1863 г. (участие во вступительной заметке), апрель (XI) 1864 г. (вступительная заметка); В. А. Мысляков – «Как кому угодно»; Е. И. Покусаев – «Наша общественная жизнь», сентябрь (V) (участие во вступительной заметке), декабрь (VII) 1863 г. (вступительная заметка); П. С. Рейфман – «Наша общественная жизнь», январь (VIII), февраль (IX), март (X), апрель (XI) (при участии С. А. Макашина), октябрь (XII) 1864 г.; Л. М. Розенблюм – «Неизвестному корреспонденту», «Литературные мелочи», «Стрижам», «Заметка», «Журнальный ад», «Литературные кусты», «Но если уж пошла речь об стихах...», «Гг. «Семейству М. М. Достоевского, издающему журнал «Эпоха»; Г. Ф. Самосюк – «Наша общественная жизнь», сентябрь (V) (при участии Е. И. Покусаева), ноябрь (VI) (при участии С. А. Макашина и Н. Ю. Зограф), декабрь (VII) 1863 г. (при участии Е. И. Покусаева).

В шестой том настоящего издания входят публицистические произведения Салтыкова 1863–1864 гг.: а) хроникальное обозрение «Наша общественная жизнь»; б) тематически примыкающие к этому циклу статьи и очерки «Современные призраки», «Как кому угодно», «В деревне»; в) материалы журнальной полемики Салтыкова с «Русским словом» и «Эпохой».

Большинство вошедших в настоящий том статей и очерков осталось в журнальных публикациях, а некоторые произведения, по разным причинам не увидевшие света при жизни Салтыкова, – в рукописях или в корректурных гранках набора. Лишь отдельные фрагменты этих произведений позднее были включены автором в крупные очерковые циклы («Признаки времени», «Благонамеренные речи»).

Цикл «Наша общественная жизнь» – одно из самых блестящих творений русской демократической публицистики – разделит судьбу других статей настоящего тома. Отчасти объяснялось это строгостью критериев, с которыми подходил автор к решениям о переиздании своих произведений, находя некоторые из них либо слабыми, либо слишком приуроченными к политической «злобе дня» минувшей эпохи. Кроме того – и, возможно, это главная причина, побудившая оставить «Нашу общественную жизнь» в первопечатной публикации, – цикл оказался незаконченным из-за грубых нажимов цензуры, а также вследствие внутривыпускных споров и осложнений (см. подробнее: С. А. Макашин. В борьбе с реакцией. – ЛН, т. 67, М. 1959, стр. 327–328).

Впервые названные публицистические произведения Салтыкова были собраны в шестом томе изд. 1933–1941 (редакция текста и комментарии С. Л. Белевицкого). [137]

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
К настоящему времени обнаружено два новых произведения Салтыкова, относящихся к его публицистическим и полемическим циклам 1863–1864 гг. Это – вторая часть апрельской (XI) хроники «Нашей общественной жизни» за 1864 г. («Археологи свидетельствуют...») и полемическая статья 1864 г. «Литературные кусты» (ЛН, т. 67, публикация В. Э. Бограда).

Кроме того, для установления текста четырех хроник «Нашей общественной жизни», а именно II, VI, VIII и IX, использованы неизвестные ранее или не учитывавшиеся в изд. 1933–1941 источники – корректуры набора (чистые и с авторской правкой).

Большинство вошедших в настоящий том статей и очерков появлялось в печати без подписи. Относительно цикла «Наша общественная жизнь» это далее каждый раз не оговаривается.

Цензурные преследования, резко усилившиеся в условиях политической реакции, побуждали Салтыкова, занявшего (1863 г.) в «Современнике» после ареста Чернышевского место первого публициста, к широкому использованию всякого рода иносказаний, эзоповских прикрытий мысли, «фигур и уподоблений». Проистекающее отсюда своеобразие «тайнописи» салтыковской публицистики очень точно охарактеризовал И. А. Гончаров, в то время член Совета по делам книгопечатания.

«В моем отчете о рассмотренных журналах за последние шесть месяцев, – сообщал Гончаров Совету в январе 1864 г., – я упомянул о статье «Наша общественная жизнь», как замечательной по запутанности, темноте, очевидно проистекающей из желания автора сказать больше, чем позволяет цензура. Имея даже отчасти ключ к этой и другим статьям под тем же заглавием, я должен сознаться, что, благодаря обилию намеков, иносказаний и обходов, я многого в ней не понимаю. Ключ этот вот каков: еще в начале прошлого года, до учреждения Совета по делам книгопечатания, когда «Современник» выражался гораздо откровеннее, в одной из его книжек (если не ошибаюсь, в первой) [138] в подобной же статье автор враждебно высказался к старым поколениям и с сочувствием к новым, сославшись на то, что некогда болгаринская партия преследовала новых деятелей за тогдашние опасные мечты, которые между тем разрешались в реформах. Такой же исход автор предсказывает и нынешней борьбе двух направлений, отживающего и возникающего.

С тех пор во всех статьях под заглавием «Общественная жизнь» автор развивает ту же тему. Он перебирает явления общественной жизни желчно, местами злобно, всегда оригинальным языком и вообще с замечательным талантом. На литераторов, журналистов, на их старые идеи, особенно на вражду к новому, он нападает открыто, также на предрассудки, застой, порчу общества и т. п. Там же, где он проводит свой взгляд вообще на современный порядок вещей, свои идеи, он впадает в темноту, о которой я говорил, и делается совершенно непонятен». [139]

Эта «темнота», действительно имевшая причиной «желание автора сказать больше, чем позволяет цензура», не помешала, впрочем, Гончарову обнаружить в публицистике Салтыкова ее «ключ»: явную враждебность к «современному порядку вещей». «Ключ», найденный Гончаровым, раскрывает лишь самое общее содержание «Нашей общественной жизни» и других публицистических и полемических произведений настоящего тома. Демократический читатель – современник Салтыкова – за эзоповской оболочкой салтыковской сатиры и публицистики умел распознать ее сокровенный истинный смысл как в целом, так и в деталях. Читатель нашего времени для сколько-нибудь полного и ясного понимания «фигур и уподоблений», а также отдельных намеков публицистики Салтыкова нуждается в помощи детального комментария: реально-исторического и «толкового», раскрывающего наиболее трудные иносказания эзопова языка.

«Наша общественная жизнь» относится к тем произведениям Салтыкова 60-х годов, которые подверглись наиболее разрушительным ударам цензуры. Кроме того, авторские намерения в отношении некоторых статей как «Нашей общественной жизни», так и выступлений в журнальной полемике 1863–1864 гг., были осложнены внутриредакционными спорами этих лет в «Современнике». Наконец, текстовыми источниками для появившихся в печати хроник «Нашей общественной жизни», кроме публикаций «Современника», изуродованных цензурой, являются в подавляющем большинстве случаев только чистые корректуры набора. Ни автографы, ни правленные автором гранки не сохранились или не найдены (исключая лишь неполную рукопись IV хроники и частично сохранившиеся правленные корректуры хроник VI и X). Всеми этими обстоятельствами определяются значительные трудности текстологической подготовки материалов настоящего тома. В примечаниях указываются наиболее

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru существенные случаи освобождения первопечатного текста «Современника» от изменений цензурного происхождения.

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОМ АППАРАТЕ НАСТОЯЩЕГО ТОМА

С – «Современник».

ОЗ – «Отечественные записки».

Изд. 1933–1941 – Н. Щедрин (М. Е. Салтыков). Полное собрание сочинений в двадцати томах, М. – Л. 1933–1941.

ЛН – «Литературное наследство».

ИРЛИ – Институт русской литературы АН СССР (Пушкинский дом). Отдел рукописей.

ЦГАЛИ – Центральный государственный архив литературы и искусства.

ПРИМЕЧАНИЯ

Вводная заметка к тому С. А. Макашина

Авторы комментариев: Н. Ю. Зограф – «Первая русская передвижная художественная выставка»; Д. И. Золотницкий – «Перемелется – мука будет». Комедия в пяти действиях И. В. Самарина, «Мещанская семья». Комедия в четырех действиях М. В. Авдеева; В. Я. Лакшин – «Напрасные опасения»; Р. Я. Левита – «Человек, который смеется», «Задельная плата и кооперативные ассоциации Жюль Муру», «Движение законодательства в России Григория Бланка», «Записки о современных вопросах России Георгия Палеолога», «Дворянство в России от начала XVIII века до отмены крепостного права А. Романовича-Славянского», «Слияние сословий, или дворянство, другие состояния и земство»; С. А. Макашин – «Е. П. Ковалевский», «И. С. Тургенев»; П. С. Рейфман – «Литература на обеде», «Материалы для характеристики современной русской литературы М. А. Антоновича и Ю. Г. Жуковского». Л. М. Розенблюм – «Уличная философия», «Наши бури и непогоды», «Так называемое «нечаевское дело» и отношение к нему русской журналистики», «Гражданский брак». Комедия Н. И. Чернявского, «Засоренные дороги». Роман А. Михайлова, «В разброд». Роман А. Михайлова, «Новые русские люди». Роман Д. Мордовцева, «Светлов, его взгляды, характер и деятельность» («Шаг за шагом»). Роман Оммулевского, «Повести, рассказы и драматические сочинения Н. А. Лейкина», «Беспечальное житье». Роман А. Михайлова; К. И. Тюнькин – «Новаторы особого рода», «Насущные потребности литературы», «Один из деятелей русской мысли», «Бродящие силы» В. П. Авенариуса, «В сумерках». Сатиры и песни Д. Д. Минаева, «Новые сочинения Г. П. Данилевского», «Смешные песни» Александра Иволгина (Чижик), «А. Большаков». Роман И. Д. Кошкарлова, «Внучка панцырного боярина». Роман И. И. Лажечникова, «Воспоминания прошедшего». Автора «Провинциальных воспоминаний», «Меж двух огней». Роман М. В. Авдеева, «Говоруны». Комедия И. А. Манна. «Где лучше?» Роман Ф. Решетникова. «Повести, очерки и рассказы М. Стебницкого», «Сочинения Я. П. Полонского», «Недоразумение». Повесть Данкевича, «Нерон». Трагедия Н. П. Жандра, «Своим путем». Роман Л. А. Ожигиной, «Повести и рассказы Анатолия Брянчанинова», «Записки Е. А. Хвостовой» – «Прошедшее и настоящее» Ю. Н. Голицына, «Суета сует». Соч. Николая Соловьева, «Сноп». Стихи и проза Я. П. Полонского. «Мандарин». Роман Н. Д. Ахшарумова, «Ошибки молодости». Комедия Петра Штеллера, «Русские демократы». Роман Н. Витнякова, «Темное дело». Драма Дмитрия Лобанова, «Цыгане». Роман В. Ключникова, «Заметки в поездку во Францию, С. Италию, Бельгию и Голландию» Н. И. Тарасенко-Отрешкова, «Лесная глушь». Картины народного быта С. Максимова, «На распутье». Роман В. Г. Авсеенко, «Энциклопедия ума, или Словарь избранных мыслей авторов всех народов и всех веков Н. Макарова».

В девятый том настоящего издания входят литературно-критические и публицистические статьи и рецензии Салтыкова из «Отечественных записок», не включавшиеся им в отдельные издания и оставшиеся в первопечатных публикациях. Почти все материалы относятся к периоду 1868–1871 гг., когда в журнале существовал библиографический отдел «Новые книги», прекративший свое существование с исходом 1871 г. и возобновленный в 1878 г. Лишь три заметки относятся к более позднему времени: 1878 г. (2) и 1883 г. (1).

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Публикации размещены в томе, исходя из их жанра, в трех разделах. В первый входят статьи; во второй – рецензии на отдельные книги и произведения; в третий – некрологические заметки.

За исключением двух статей, подписанных известным криптонимом Салтыкова, буквами М. М. («Так называемое «нечаевское дело»...» и «Первая русская передвижная художественная выставка») и статьи «Насущные потребности литературы», подписанной С., все остальные материалы, входящие в том, появились в «Отечественных записках» без подписи. Рукописи этих публикаций неизвестны. Их нет ни в бумагах Салтыкова, хранящихся в Пушкинском доме и в других собраниях (единственное исключение – автограф рецензии на роман И. Д. Кошкарлова «А. Большаков»), ни в дошедших до нас фрагментах архива «Отечественных записок».

Вскоре после смерти Салтыкова его товарищ и соредaktor по «Отечественным запискам» Г. З. Елисеев писал: «Русская публика знает Михаила Евграфовича Салтыкова как талантливого сатирика, который мог писать только черным по белому, то есть имел способность бегло схватить различные неприглядные явления русской жизни и передать их в поэтических образах. Но она не знает того, что он был вместе с тем человек замечательно смелой и сильной мысли, что, когда было нужно по обстоятельству написать для журнала какую-нибудь экстренную публицистическую статью или рецензию на вышедшую в свет книгу, он брался и за это, и все подобные статьи, которых немало наберется в «Современнике» и «Отечественных записках» и которые до сих пор остаются неизвестны публике, были в своем роде шедевры, сообразно с теми щекотливыми обстоятельствами, по которым они писались» («Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников», стр. 207–208). Действительно, статьи и заметки Салтыкова, напечатанные в «Отечественных записках» без его имени были неизвестны дореволюционному читателю. Попытки выявить эти статьи и ввести их в собрание сочинений писателя хотя и делались, но даже ближайшие сотрудники Салтыкова по журналу не могли назвать его анонимные работы. В связи с подготовкой 4-го издания «полного» собр. соч. Салтыкова, т. н. «издания наследников автора», вдова писателя, Елизавета Аполлоновна, обратилась к Н. К. Михайловскому с просьбой составить список статей его мужа, помещенных в «Отечественных записках» без его имени. В ответном письме от 13 декабря 1898 г. Михайловский, назвав известные и раньше статьи, подписанные буквами «М. М.», [140] закончил письмо такими словами: «Затем Михаил Евграфович писал иногда (очень редко) небольшие рецензии в отделе «Новые книги» без всякой подписи. Но указать эти его мелкие работы я не берусь» (ЦГАЛИ, ф. 445, оп. I, ед. хр. 170, л. 1–1 об).

Выявление неподписанных статей и рецензий Салтыкова в «Отечественных записках» – заслуга советского литературоведения. Первый этап этой работы относится к 20-м годам, когда в трудах Вас. В. Гиппиуса, Р. В. Иванова-Разумника, В. Е. Евгеньева-Максимова и Н. В. Яковлева, были приведены доказательства и высказаны предположения о принадлежности Салтыкову ряда анонимных статей и заметок на страницах «Отечественных записок». Второй этап относится к 30-м годам и связан с именем С. С. Борщевского, поставившего перед собой задачу по возможности полного изучения вопроса на основе систематического обследования всех анонимных публикаций в «Отечественных записках» за 1868–1884 гг. Итоги этого большого исследовательского труда были подведены С. С. Борщевским сначала в книге «М. Е. Салтыков-Щедрин. Неизвестные страницы» («Academia», М. – Л. 1931) и в томе 13–14 «Литературного наследия» (М. 1934, стр. 81–96), а затем, на значительно расширенной основе, в восьмом томе изд. 1933–1941, вышедшем в свет в 1937 г. В этом томе и были впервые собраны все выявленные статьи и заметки Салтыкова, появившиеся на страницах «Отечественных записок» без его имени.

По основному своему содержанию девятый том (тексты Салтыкова) настоящего издания близок к своему предшественнику – восьмому тому изд. 1933–1941. Отличия по составу сводятся лишь к следующему: включены две некрологические заметки Салтыкова – о Е. П. Ковалевском и И. С. Тургеневе и исключена памфлетная статья «Письмо к графу Д. А. Толстому», появившаяся в зарубежной революционной газете «Вперед» и не принадлежащая перу сатирика. Научный сотрудник ИРЛИ Б. Л. Бессонов в 1969 году установил по архивным материалам, что автором памфлета был Д. А. Клеменц (см. письмо Клеменца к П. Л. Лаврову, датируемое весной 1875 г.: ЦГАОР, ф. 1762, оп. 4, № 219, лл. 8 об., 9).

Прямых доказательств принадлежности Салтыкову анонимных статей и рецензий в «Отечественных записках» относительно немного. Они найдены всего для шестнадцати текстов. Вопрос об авторстве Салтыкова в отношении всех остальных материалов

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru настоящего тома решается, как и в предыдущем изд. 1933–1941, атрибуциями С. С. Борщевского, основанными на текстуральных, языково-стилистических и идейно-тематических связях анонимных публикаций с аутентичными текстами писателя. Редакция настоящего издания приняла атрибуции С. С. Борщевского, предварительно рассмотрев степень их доказательности, а также аргументы сторон в полемике, возникшей вокруг этих атрибуций и их метода.[141] При этом в некоторые атрибуции были внесены те или иные коррективы. Только эти коррективы и приводятся в развернутом виде в атрибутивной части комментария. В остальных случаях даются отсылки к изданиям, в которых соответствующая аргументация или предположения были опубликованы впервые.

Установление автора безыменного произведения только на основании косвенных признаков не может, в принципе, считаться вполне окончательным, как бы ни были убедительны эти признаки; последнее слово принадлежит здесь прямым и документальным доказательствам, хотя слово это, возможно, и не будет никогда произнесено.

В настоящем издании материалы, принадлежность которых Салтыкову подтверждена объективными свидетельствами, печатаются с обозначением их знаком *. Авторство Салтыкова для статей и рецензий, не отмеченных указанным знаком, установлено на основании косвенных признаков.

За пределами настоящего тома и всего издания остались несколько статей и рецензий, приписанных Салтыкову одним из наиболее авторитетных исследователей творчества писателя Вас. В. Гиппиусом (Vasilij Hippus. Ergebnisse und Probleme der Saltykow-Forschung. – В изд.: «Zeitschrift für slavische Philologie». Hsg. v. Dr. Max Vasmer, B. IV, Lpz. 1927. Ss. 183–184). Большая часть указаний В. В. Гиппиуса, сделанных без развернутой аргументации, была впоследствии подтверждена системой доказательств, добытых С. С. Борщевским. Но ни С. С. Борщевскому, ни редакции настоящего издания не удалось найти убедительных подтверждений авторства Салтыкова для всех материалов, названных В. В. Гиппиусом. Было установлено лишь, что и в тех статьях и рецензиях, которые редакция не смогла признать за единолично-салтыковские, имеются фрагменты и «прослойки» текста, принадлежность которых перу Салтыкова не вызывает сомнений (см. особенно в статье «Попытки конкурировать с Америкой...» – ОЗ, 1881, № 6 и в рецензии на роман П. Мельникова «Княжна Тараканова» – ОЗ, 1868, № 6). По-видимому, эти характерно-салтыковские места возникли в результате редактирования Салтыковым чужого текста или соавторства. Очевидно, что изучение вопроса об анонимных статьях Салтыкова в «Отечественных записках» не может считаться завершенным и должно продолжаться.

Библиографии Салтыкова известно довольно много статей и рецензий из «Отечественных записок», приписанных ему ошибочно («мнимый Салтыков»). Списки таких неверных, совершенно бездоказательных «атрибуций» содержатся в следующих публикациях:

1 В. Дажук. Нов{и} стор{и}нки Салтыкова-критика. – «Л{и}тературна газета», 1937, 11 липня, № 32;

2 В. П. Вомперский. Неизвестная рецензия М. Е. Салтыкова-Щедрина. – В кн.: «Статьи по практической стилистике и литературному редактированию», М. Изд-во МГУ, 1957, стр. 5–18;

3 И. Т. Ищенко. Щедрин и народное творчество. – В изд.: «Науков{и} записки Льв{и}вского пед{и}нституту», 1958, т. XIII, стр. 109–122;

4 А. Кушаков. Неизвестная статья М. Е. Салтыкова-Щедрина. – «Орловская правда», 1962, 14 июня, стр. 3;

5 В. Осмоловский. Салтыков-Щедрин и украинская литература. – В сб.: «Радянське л{и}тературознавство», 1965, № 8.

В работах В. В. Виноградова, Б. В. Папковского, И. Т. Трофимова и некоторых других высказан ряд скептических замечаний по поводу атрибуций С. С. Борщевского, принятых, как сказано, и для настоящего издания. Однако ни одно из сделанных замечаний не сопровождается конкретным разбором предложенных доказательств и конкретными же контраргументами и опровержениями, которые бы «выводили» какую-либо определенную статью или рецензию из корпуса сочинений

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru Салтыкова. Сомнения и критика выражены всюду в самой общей форме и относятся собственно к принятому методу установления автора анонимных текстов, а не к результатам, полученным путем применения этого метода.

Комментарии к материалам настоящего тома написаны заново. Примечания, которыми эти материалы были снабжены в изд. 1933–1941, ограничивались задачами формально-атрибутивного характера. Главной и почти единственной целью их было установить авторство Салтыкова.

В настоящем издании каждая из статей и рецензий Салтыкова, многие из которых являются документами выдающегося историко-литературного и теоретического значения, впервые публикуются в сопровождении конкретно-индивидуального комментария. Поясняемая статья или рецензия изучаются по существу их содержания и в сопоставлении с теми произведениями литературы или событиями, которые послужили поводом для выступлений Салтыкова.

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В БИБЛИОГРАФИЧЕСКОМ

АППАРАТЕ НАСТОЯЩЕГО ТОМА

Изд. 1933–1941 – Н. Щедрин (М. Е. Салтыков). Полное собрание сочинений в 20-ти томах, М. – Л. 1933–1941.

ЛН – «Литературное наследство».

Неизвестные. страницы – М. Е. Салтыков-Щедрин. Неизвестные страницы. Редакция, предисловие и комментарии С. Борщевского, М. – Л. 1931.

Письма, 1924 – М. Е. Салтыков-Щедрин, Письма. 1845–1889. Под ред. Н. В. Яковлева. Л. 1924.

ОЗ – «Отечественные записки».

С – «Современник».

ИРЛИ – Институт русской литературы АН СССР (Пушкинский дом), Отдел рукописей.

ЦГАЛИ – Центральный государственный архив литературы и искусства.

Z. f. sl. Ph. – «Zeitschrift für slavische Philologie». Hsg. von Dr. Max Vasmer. V. IV, Doppelheft 1–2. Leipzig, 1927.

СТАТЬИ

СОВРЕМЕННЫЕ ПРИЗРАКИ 1

(Письма издалика)

При жизни Салтыкова напечатано не было. Впервые – ЛН, т. 11–12, М. 1934, стр. 214–232.

Сохранились: 1) черновая рукопись ранней редакции первого письма (вторая половина); 2) наборная рукопись второго письма (окончание его – от слов: «потомственно. Изъятие от участия в высших интересах жизни» – стр. 405, строка 31); 3) вторая чистая корректура статьи, набранная 24 апреля и адресованная А. Н. Пыпину (все в ИРЛИ).

В настоящем издании печатается по корректуре.

Среди вариантов черновой рукописи несомненный интерес представляет следующий. Вместо: «Я знаю это <...> гниет себе понемножку» (стр. 394, строка 41 – стр. 395, строка 12) – в рукописи было:

Я знаю это, но вместе с тем знаю и то, что имею дело с явлениями и вещами, прикосновение к которым требует величайшей осторожности. Вот почему я в самом начале вынужден оговориться, что буду говорить обиняками. Тут совсем дело не в трусости, но именно в желании достичь какого-нибудь результата. Что путного будет, если я стану называть вещи по именам? Положим, например, что какой-нибудь Василий Порфирыч (сын моего любезного знакомца Порфирия Петровича[142]) – казнокрад, мошенник и вор, но убедится ли он, если я назову его этими именами (черт возьми, да я, намекая, и называю)? Нет, он не убедится, но, напротив того,

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru рассердится на меня, ибо считает себя благонамеренным гражданином на том основании, что ходит в церковь и молится усердно богу и любить бога ему ничего не стоит, любить ближнего стоит дорого – он в расчете, и очень хорошо это понимает, но не желает, чтобы понимали другие. Поэтому не лучше ли будет, если я подступлю к нему аллегорически, если я ему докажу, что ремесло мошенника, имея свои несомненные выгоды, может сопровождаться другими и очень же несомненными невыгодами, как-то: подлейшей репутацией (отнимающей даже возможность мошенничать), наплеванием в глаза (производимым с такою быстротою и непрерывностью, которая не дает времени даже утираться), не говоря уже о ссылке в Сибирь и других более крутых средствах <?>.

В минуты своего разложения общество, как нарочно, выказывает наиболее щекотливость. Потому ли, что оно чувствует себя кругом виноватым, потому ли, что весь организм его покрыт язвами, – дело в том, как бы то ни было, но что оно положительно не допускает, чтобы в эти язвы, и без того уже растравленные, запускали любознательный скальпель. Я знаю, что гнию, говорит оно с каким-то дико-горделивым самодовольством, ну и гниет себе понемножку.

А там, будем скромны, будем воздержны. Достанет ли силы, чтобы выдержать подобную роль, – не знаю, но во всяком случае сознание ее необходимости существует.

При публикации статьи в «Литературном наследстве» она была неверно датирована 1865 г. Из разысканий В. Е. Евгеньева-Максимова известно, что статья должна была быть напечатана в № 5 «Современника» за 1863 г. (ценз. разр. – 27 апреля и 18 мая). [143] В изд. 1933–1941 статья отнесена С. Л. Белевицким также к 1863 г. Им же проведено дополнительное обоснование такой датировки: наличие отдельных текстуальных совпадений между двумя «письмами» «Современные призраки» и очерками «Как кому угодно», появившимися в августовском номере «Современника» за тот же год с примечанием автора: «Сочинению этому должны предшествовать два письма, которые, быть может, и появятся впоследствии». Если бы причиной неопубликования «Современных призраков» были разногласия внутри редакции, то такое заявление вряд ли могло быть сделано. Вероятно, статья не появилась в свет по причинам цензурного характера.

Салтыков следующим образом определяет основное для комментируемой статьи понятие «призраки»: «Рассуждая теоретически, это такая форма жизни, которая силится заключить в себе нечто существенное, жизненное, трепещущее, а в действительности заключает лишь пустоту», «это что-то внешнее, не имеющее никаких внутренних точек соприкосновения с обладаемым им предметом...» В философском отношении, таким образом, понятие «призраки» восходит к различению явления и сущности, к Канту и Гегелю. Гегель писал о «призрачной действительности». Терминология эта широко вошла в обиход русской публицистики и русской критики 40-х годов. Ею пользовался Белинский, называвший «призраками» все пережившее себя, мертвое, неразумное, ложное, но еще не разоблаченное ни в жизни, ни в идеологии. Салтыков сам отмечает: «Что миром управляют призраки – это не новость. Об этом давно уже знают там, на отдаленном Западе...» Писатель имеет в виду, кроме Канта и Гегеля, еще Бекона, Копта, Бокля, утопических социалистов и, конечно, Фейербаха, с особой убедительностью развеявшего призрак бога и вообще религиозно-идеалистического мировоззрения. В эзоповском обороте Салтыков отмечает, однако, что и русские, «люди восточного мира», обратили внимание на власть «призраков» и также дали их классификацию. Кроме Белинского, Салтыков мог подразумевать здесь еще Герцена, употреблявшего на равных началах с «призраками» термины «привидения», «кумиры», «идолы». В 40-х годах и Салтыков, вслед за Герценом, предпочитал слово «идолы». Например, в «Брусине» мы читаем: «Везде идолы, везде пугалы – и, главное, что обидно? Обидно то, что мы сами знаем, что это идолы, глупые, деревянные идолы, и все-таки кланяемся им». В дальнейшем, после 60-х годов, в словоупотреблении Салтыкова приобретает устойчивость именно понятие «призраки» (см. «Благонамеренные речи», «Господа Головлевы», «Круглый год», «Мелочи жизни» и т. д.).

Салтыков не ограничивается абстрактно-эзоповским определением понятия «призраков». Несмотря на цензурные трудности, он пытается указать конкретно, что имеет в виду, когда говорит о призраках. Призрак – это «честь, право, обязанности, приличия» господствующих, угнетательских и эксплуатирующих классов. Понятие «призраков» заставляет мыслить. Оно ставит вопросы: «Что такое долг? Что такое честь? Что такое преступление? Что семья? Что собственность? Что гражданский союз? Что государство?» Однако и это еще неполный «реестр»

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru призраков. За ним крылись два главных призрака, которые в прямой форме Салтыков назвать не мог: самодержавие и религия. Осторожно, с оглядкой на цензуру, но чрезвычайно настойчиво указывает он, что «явления, подобные Юлиам Цезарям, Александрам Македонским, утратили всякий жизненный смысл, а в пользу их еще и дондесь работает человечество». Имена римских императоров названы здесь в качестве цензурной замены имен Александра II, Наполеона III и т. д., да и самого института монархии. Особенно подробно, многократно, но каждый раз по-новому, доказывает Салтыков, что главным призраком является бог – Юпитер, или Минерва, или «дух долины» и т. д. («Дух долины» в качестве синонима мистических, ирреальных сил, управляющих будто бы миром и людьми, обязан своим происхождением балету Сен-Леона «Теолинда, или Дух долины», который шел в Петербурге в сезон 1862/63 г. В 1863 г. Салтыков написал сатирический «Проект современного балета», вошедший в цикл «Признаки времени», в котором проводится та же самая мысль, что и в «Призраках» в связи с «Теолиндой».)

Салтыков сжато, но убедительно показывает, как теология ведет к телеологии, к извращению представления о природе человека, к идеалистической психологии, дедуцирующей духовные способности человека из потустороннего мира.

Статья «Современные призраки» говорит об очень высоком уровне философского и исторического мышления Салтыкова. Она глубоко диалектична. К «призракам» нельзя относиться отвлеченно-отрицательно. Они не просто пережитки прошлого, они цепки, они держат в узде умы и души, они реальное препятствие для прогресса. «По-видимому, призрак только оболочка, из которой выветрилось содержание, – пишет Салтыков, – но все это только... в отвлечении, в теории: на деле же призрак так глубоко врывается в жизнь, что освобождение от него составляет для общественного организма вопрос жизни или смерти...»

Призраки сильны, потому что они результат не произвола, а исторического развития. Призраки обязаны своим происхождением многовековому процессу, болезненному, но закономерному. С ними связано множество реальных интересов. Человеку трудно разглядеть, что былое знамя, бывшие кумиры, которым поклонялись целые поколения, обветшали, что исчерпанный и переживший себя идеал необходимо заменить идеалом новым. «В особенности, – пишет Салтыков, – ощутительно дает себя чувствовать... трагическая сторона жизни в те эпохи, в которые старые идеалы сваливаются с своих пьедесталов, а новые не нарождаются. Эти эпохи суть эпохи мучительных потрясений, эпохи столпотворения и страшной разноголосицы».

Слова эти вводили весь круг рассуждений «Современных призраков» в громокипящую современность. 60-е годы и были такой переходной эпохой, вызвавшей у одних растерянность, у других иллюзии, а у третьих сознание необходимости «опять и опять идти, опять и опять искать». Реформы 60-х годов оказались лишь новыми «призраками». Новыми «призраками» оказывались и капитализм, приходивший на смену крепостничеству, и порожденный им буржуазный индивидуализм.

Философская и политическая зрелость Салтыкова не позволила ему закрыть глаза на некоторые «призрачные» моменты, заключавшиеся в идеалах и программах утопического социализма. Были утописты, ожидавшие «золотого века», в котором общественные отношения и отношения людей к природе установятся раз навсегда, на одном совершенном и неизменяющемся уже уровне. Другие, в том числе упоминающийся в статье Фурье и неназванный, по понятным причинам, Чернышевский в своем романе «Что делать?», не только предсказывали будущее, но и регламентировали его вплоть до мельчайших подробностей. Третьи, как Роберт Оуэн, например, также упомянутый Салтыковым, думали, что им удастся создать социалистические ячейки внутри господствующего капиталистического общества. Все это Салтыков считал нереальным, «призрачным». Мало того, он не видел ничего утешительного в перспективе жизни, раз навсегда регламентированной, вращающейся все по одному и тому же кругу. Остановка развития равнозначна смерти; «между тревожной жизнью и спокойною смертью – куда склонится выбор наш?» – спрашивал он. В идеалистически-романтических и утопических упованиях на будущее, в представлении о «золотом веке», замыкающем и приостанавливающим дальнейшее развитие, Салтыков также находил призрачность, мешающую ориентироваться в общественной борьбе.

Салтыков боролся с «призраками» для того, чтобы направить политические и социальные усилия революционной демократии по реальному пути. Людям движения необходимо развеять «призраки», пролить свет на истинное положение дел для того, чтобы успешно действовать. Вопросы, возникшие вследствие превращения былых «краеугольных камней» в «призраки», необходимо разрешить, по мнению Салтыкова,

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru «немедленно», «чем скорее, тем лучше».

Если господствующие не внемлют голосу разума, если низы будут слишком коснеть в пассивности, тогда кризис призрачной действительности будет «ликвидирован» стихийным всеобщим восстанием. Статья «Современные призраки» содержит «формулу» стихийной революции, как представлял ее себе Салтыков. «История, – писал он, – сама берет на себя труд отвечать на эти <неразрешенные> вопросы. Когда цикл явлений истощается, когда содержание жизни беднеет, история гневно протестует против всех увещаний. Подобно горячей лаве проходит она по рядам измельчавшего, изверившегося и исстрадавшегося человечества, захлестывая на пути своим и правого и виноватого. И люди и призраки поглощаются мгновенно, оставляя вместо себя голое поле. Это голое поле представляет истории прекрасный случай проложить для себя новое, и притом более удобное ложе».

Салтыков ставит вопрос о том, «можно ли предупредить подобные гневные движения истории», и говорит о естественности и законности попыток такого предупреждения. Больше того, салтыковские призывы к обществу «добровольно» и «полюбовно» свергнуть старые идола с их пьедесталов (своеобразная вариация просветительских иллюзий, сквозивших и в финале «Глуповского распутства», см. т. 4 наст. изд., стр. 560) несколько даже противостоят объективному смыслу статьи с ее широкими философско-революционными тезисами и заключениями.

Историко-философская концепция «Современных призраков» содержит и обоснование задач литературы, в частности, сатирической литературы. Цель литературы – установление истины, свободное исследование, ведущее к «исчезновению призраков». Призраков безобидных нет, «всякий призрак держит за собою целую систему», компромиссы с которой невозможны. В освобождении сознания масс от «призраков» сатира призвана сыграть особо действенную роль. На эзоповом, «фигурном» языке Салтыкова эта мысль выражена следующим образом: дикому «вотяку», уже переставшему верить в своего «идола», но еще не вполне «расквитавшемуся» с ним, надо доказать, что «освобождение <от «призрачной» власти идола> необходимо должно сопровождаться оплеванием, обмазыванием дегтем и другими приличными минуте и умственному вотяцкому уровню поруганиями и что тогда только расчет с идолом будет покончен, когда последний будет до такой степени посрамлен, что скверно взять его в руки, постыдно взглянуть на него».

Стр. 381. *Le globe est confié à l'humanité...* – Эпиграф к статье «Современные призраки» взят из книги Виктора Консидерана «*Destinée sociale*» (первое издание – 1837 г.), которая считалась наиболее совершенным и систематизированным изложением учения Фурье. Как и его учитель, Консидеран полагал, что план совершенного и гармоничного общественного устройства открыт и установлен в подробностях – остается его осуществить. Книга Консидерана произвела большое впечатление, в том числе и на русских социалистов 40-х годов. Она пользовалась особенной популярностью у петрашевцев и ее хорошо знал Салтыков.

Стр. 390. И еще не прав г. Тургенев, заставляя своего героя погибнуть жертвою случайности: такого рода люди погибают совсем иным образом. – Салтыков хочет сказать, что такие люди, как Базаров, герой «Отцов и детей», погибают не вследствие непредвиденной и нелепой случайности (в романе – от заражения трупным ядом при анатомировании), а в революционной борьбе или в результате правительственных кар. Об отношении Салтыкова к роману Тургенева см. т. 5 наст. изд., стр. 581–582, и наст. том. стр. 570.

Стр. 392. Успенский – Николай Васильевич.

Стр. 396...литературу великодушных порываний (*aspirations généreuses*), которая преимущественно пользуется кредитом во Франции... – Реформистская, социально-утопическая и социально-демагогическая литература, утверждавшая иллюзии о возможности мирного, безболезненного преобразования общества к выгоде и обездоленных и господствующих. В качестве одного из примеров можно назвать сочинения Жюль Симона, идеи которого популяризировались во «Времени» Ф. М. Достоевского и были поддержаны П. Л. Лавровым. Взгляды Жюль Симона подверг в 1860 г. критике Чернышевский в статье «Антропологический принцип в философии».

...так называемые *idées napoléoniennes*... – Наполеоновские идеи были пронизаны социальной демагогией, имевшей целью привлечь массы на сторону наполеоновской династии и Наполеона III.

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Стр. 399...руководит человеком... понятие о вменяемости преступлений или о вреде страстей... – Проблемы вменяемости или невменяемости преступлений и вопрос о природе человеческих страстей были пунктами спора между апологетами капитализма и утопическими социалистами. Салтыков хочет сказать, что идеологи, видевшие причину преступлений исключительно в злой воле преступника и считавшие человеческие страсти насквозь греховными, опираются в своей аргументации не на науку, а на религию.

КАК КОМУ УГОДНО

Рассказы, сцены, размышления и афоризмы

Впервые – С, 1863, № 8, отд. I, стр. 567–610 (ценз. разр. – 7 сентября).

Подпись: Н. Щедрин. Раздел «Семейное счастье» был включен впоследствии, с некоторыми изменениями, в цикл «Благонамеренные речи» (гл. X).

Сохранилась черновая рукопись, отличающаяся от текста журнальной публикации рядом разночтений (ИРЛИ).

В настоящем издании печатается по тексту «Современника» с устранением по рукописи двух цензурных замен (стр. 420, строки 16–17: вместо «однажды дьячку потихоньку косу обстриг, и как дьячок был» – «однажды батюшке потихоньку косу обстриг, и как батюшка был»; стр. 421, строки 20–21: вместо «каску, да войдет» – «каску с какими-то чудодейственными орлами на вершине, да войдет»).

Приводим два важнейших варианта черновой рукописи:

Стр. 407, строки 22–23. После «на которые устремляет свои взоры» – в рукописи было:

Причина, в силу которой такие алтари и краеугольные камни существуют, необъяснима, но, вероятно, они допускаются попечительной природой с той целью, чтоб каждый даже недалёковидный мог с удобностью на них во всякое время ссылаться и посредством них объяснить необъяснимое.

Стр. 408, строка 36. После «другим баловням природы дается даром» – в рукописи было:

Эти люди называются мужами совета и надежными скотоводами, ибо, быв сами в свое время хавроньями, они хорошо усвоили себе скотную суть и являются опытными в сем случае руководителями. Поразительный пример такого искусного самопрививания чумы я видел в Москве, в лице одного публициста. [144] Этот публицист долгое время был хавроньей, но потом за полтинник согласился переломить себя, и до такой степени в этом успел, что даже белокурые его волосы постепенно начали окрашиваться в черный цвет. Это доказывает, что от человека зависит все – даже сделаться красавцем.

Во время прохождения через цензуру очерки привлекли внимание цензора Веселаго, сделавшего о них доклад С.-Петербургскому цензурному комитету. По этому докладу 4 сентября было принято решение, дозволявшее печатание «с исключением некоторых резких мест, доложенных г. цензором». [145]

Цикл «рассказов, сцен, размышлений и афоризмов» под общим названием «Как кому угодно» был задуман Салтыковым как беллетристическое развитие статьи «Современные призраки» – тех самых «писем», о которых говорится в авторской сноске (см. стр. 381). «Оканчивая первое письмо мое, – свидетельствует писатель в тексте названной статьи, – я намеревался прямо приступить к тому, что мы называем обыденною, будничною жизнью» (см. стр. 395). Опасение в недосказанности побудило Салтыкова «объясниться» еще одним письмом и лишь после этого перейти к буднично-бытовому «сценам семейного счастья».

Тесная связь цикла «Как кому угодно» с «Современными призраками» позволяет определить время его написания весной – летом 1863 г. Сохранившаяся корректура «Современных призраков» помечена 24 апреля; конечная дата определяется публикацией цикла в августовской книжке.

Идейно-художественное задание «Как кому угодно» находится в прямой связи с теоретически сформулированным в «Современных призраках» требованием – помочь «дикому вотяку», то есть неразвитому в социально-политическом отношении «среднему человеку», освободиться от гипнотической власти «идолов» – «призраков»

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru – посредством беспощадного «посрамления» последних. Требование это заключало в себе определенный полемический смысл. Критическому анализу изживших себя общественных форм и установлений писатель придавал принципиальное значение иного, чем у мыслителей-утопистов, «практического» пути в пропагандировании социалистического идеала. Именно с «разбора самых простых и ходячих общественных истин», с расчистки почвы для будущего нужно начинать, полагал он, а не с попыток представить это будущее во всех деталях и подробностях. В условиях неразвитого общественного самосознания Салтыкову казалось тактической ошибкой наглядное противопоставление старых, «заповедных», и новых, непривычных жизненных принципов. По мнению писателя, верные и понятные в теоретическом изложении, мысли о формах и основаниях гармонического строя способны утратить свою привлекательность, вызвать недоверие и насмешку, будучи представлены «в живых образах» или же практически воплощены «среди общества, к принятию их не подготовленного». Напротив, сатирические, социально-критические художественные образы антагонистической действительности, со всею очевидностью обнажающие ее «двоегласие» и разлад, – эффективно свидетельствуют в пользу нового жизнеустройства. Отсюда и известное полемическое звучание «Как кому угодно» по отношению к «Что делать?» Чернышевского, отмеченное самим Салтыковым в статье «Гг. „Семейству М. М. Достоевского”...». При этом писатель не считает свою точку зрения единственно истинной и «непреложной» («Очень возможно, что я и не прав...»). Он признает «возможность другого образа мыслей», не выводя, таким образом, вопроса из сферы обсуждения. Надо полагать, что и самое название цикла определено такой «дискуссионной» установкой.

Резкая критика императива, «долга», порождающего «неестественную, насильственную жизнь», содержалась уже в первых произведениях Салтыкова, свидетельствовавших об увлеченном изучении их автором трудов утопических социалистов Запада (см., например, т. 1 наст. изд.). Теперь она приобретает характер целостной идейно-художественной концепции, социалистической по своим истокам. В статье «Гг. „Семейству М. М. Достоевского”...» писатель сам указал на фурьеристское происхождение «Как кому угодно». Салтыкову весьма близки взгляды французского мыслителя, считавшего, что «все эти философские прихоти, называемые обязанностями, не имеют ничего общего с природой... Надо изучить притяжение, одну лишь природу, никак не приемля долга». [146] В разоблачении нравственной несостоятельности требований «мертвой морали», социально-показного исполнения долга и обязанности Салтыков близок также Герцену – автору «Капризов и раздумья» (1843–1847) и повести «Долг прежде всего» (1847–1851). [147]

Сценами семейного «счастья» художественно иллюстрировалась мысль о «призрачности», относительности такого капитального института в жизни современного дисгармонического общества, как семья. Здесь Салтыков также близок Фурье, утверждавшему: «...Огромное большинство семей лишено его <счастья> при строе цивилизации: отцы, как и дети, оказываются здесь в ложном положении; добрый порядок покоится здесь только на более или менее прикрытом принуждении; принуждение же душит чувства привязанности, оно сводит их лишь к видимости связи». [148] Анализируя «взаимное недовольство», глухую вражду членов внешне добропорядочного семейства Воловитиновых, Салтыков указывает, что это «происходит вследствие тех принудительных отношений, которые их связывают». Семейное счастье оказывается на поверку истинной трагедией. С неотразимой художественной силой поведает об этом позже автор «Господ Головлевых».

Разоблачая «недействительность» «основ» и «алтарей» с точки зрения «присяжных людей безнравственности», то есть – в иронической эзоповской перифразе – приверженцев социалистического учения, фурьеристов, Салтыков в финальной части цикла – «Размышлениях» – прямо варьирует отдельные положения фурьеристского учения: о необходимом соответствии выполняемой человеком работы его склонностям и влечениям; о ликвидации принудительных отношений в семье; о свободном удовлетворении страстей как первом условии «гармонического строя», предполагающего полное наслаждение жизнью; об общественно-трудовом воспитании детей (об отношении Салтыкова к учению Фурье см. также в мартовской хронике «Нашей общественной жизни» за 1864 г. – стр. 324 наст. тома).

Острота идейной проблематики, социалистическое происхождение цикла сразу привлекли к нему внимание идеологических противников Салтыкова.

Н. Страхов, выступивший под псевдонимом Н. Нелишко, не разобравшись в смысле рассуждений Салтыкова или преднамеренно извратив их, приписал автору «Как кому угодно» стремление опровергнуть «всею силою своего сатирического ума» взгляды

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru передовых мыслителей «на долг и обязанности», в частности, «знаменитую теорию» страстей Фурье. «Давай-ка изображу я, думал Г. Щедрин, каких людей мучает раздвоение между потребностями и обязанностями. Давай-ка покажу в картинах и наглядно всю мерзость, которая копошится во внутреннем мире таких субъектов. Пусть полюбуются мыслители, мечтавшие о благе человечества, для каких людей они изобрели свою теорию потребностей; пусть увидят, какой нелепостью и гадостью является эта теория, когда ее прикинут к этим людям». [149] Под видом заботы о художественной стороне дела критик предложил «вовсе вычеркнуть» социалистические «объяснения и рассуждения» как портящую произведение голую тенденцию, подсказанную к тому же со стороны («писание на заданные темы дурно и вредно»).

Через год Страхов вновь отметил связь «Как кому угодно» с учением Фурье, но уже без приписывания Салтыкову полемических, по отношению к фурьеризму, заданий («Это была небольшая вариация на теорию страстей...»), и попытался скомпрометировать теоретико-публицистическую часть произведения: «Повесть вышла хорошая, но вариация оказалась никуда негодной и не только не как кому угодно, а всякому одинаково доказывала несостоятельность главной мысли». [150]

Критический выпад в адрес автора «Как кому угодно» и ноябрьской хроники «Нашей общественной жизни» за 1863 г. сделал и Достоевский в «Записках из подполья» (в первой части, печатавшейся в январско-февральском номере «Эпохи» за 1864 г.; ср. Ф. М. Достоевский. Собр. соч. в 10-ти томах, т. 4, М. 1956, стр. 147-148).

Отрицательное отношение Достоевского к вышеназванным салтыковским произведениям зафиксировано и в его записной книжке:

Как кому угодно.

Учитесь, милые дети.

Нет, не дается нигилизм Г-ну Щедрину, не дается. Он в таком же затруднении, поступив в нигилисты, как и генерал Зубатов, в его собственной повести, когда он хочет следовать за веком, биржу придумывает и даже выразиться не умеет, сам Г. Щедрин назвал такого сорта людей умиравшими. Нет, уж пусть Г. Щедрин пишет по-прежнему повести, не заботясь о нравоучениях к ним. Нравоучение ему всегда подскажут. [151]

Верно уловив революционизирующий смысл отрицания автора «Как кому угодно», Достоевский, подобно Страхову, попытался разъять единое целое произведения, иронически определив его «программные» части как «подсказанные нравоучения» и противопоставив им «повести».

Стр. 407. Всегда меня удивляло, как это люди не исполняют своего долга. – Благонамеренность этого и последующих рассуждений «я»-рассказчика о «долге» и «обязанностях» связана с двойственностью образа рассказчика в произведениях Салтыкова. «Я»-рассказчик в салтыковской сатире и публицистике заключает в себе и «голос» автора или идеологически родственного ему лица, и идейно противоположный «голос» обличаемого мира.

Стр. 408. Замечено еще, что люди смуглые и черноволосые усерднее к исполнению обязанностей, нежели белокурые и с белым круглым лицом. – Дискредитируя основанные на принуждении понятия «долга» и «обязанности», сатирик доводит до абсурда ходячую мысль об их благотворном воздействии, иронически ставя во взаимозависимости отношение к долгу и внешность человека, цвет его волос и т. д. См. также в рукописи текст об «одном публицисте», белокурые волосы которого «постепенно начали окрашиваться в черный цвет» (стр. 681 наст. тома).

Стр. 409. Почему, например, Базаров кончил столь несчастливо?.. Почему юный Виктор Басардин... непременно должен скверно кончить? – В представлении Салтыкова и Тургенев и Писемский, как автор «антинигилистического» романа «Взбаламученное море», предвзято отнесся к демократической молодежи, исказив подлинный смысл ее убеждений, произвольно привели своих героев к случайным трагическим финалам. Об отношении Салтыкова к «Отцам и детям» и «Взбаламученному морю» см. стр. 15-16, 107-109, 322, 192, а также т. 5, стр. 581-582.

Стр. 410..Марья Петровна Воловитинова.. – В образах помещицы Воловитиновой и ее детей явно проступают портретные черты членов семьи Салтыковых. Прототипом многократно варьирующегося у Салтыкова образа «женщины-кулака» является мать писателя – Ольга Михайловна (см. С. А. Макашин. Салтыков-Щедрин. Биография, т. 1, изд. 2-е, М. 1951, стр. 30-32 и след.). Содержащееся в воспоминаниях Е. И.

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru Жуковской сведение о том, что Салтыков как-то описал мать-стяжательницу «в одном из своих фельетонов» и что Ольга Михайловна, угадав себя, сильно рассердилась и даже предприняла по отношению к сыну недружелюбную акцию, по-видимому, имеет прямое отношение к «Семейному счастью» («М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников», М. 1957, стр. 80 и 694).

Стр. 412...училище правопедения – вместе с Царскосельским (потом Александровским) лицеем и Пажеским корпусом, наиболее привилегированное учебно-воспитательное заведение в России для дворянских детей (основано в 1835 г. в Петербурге).

Стр. 420...в Суздаль-монастырь упекла... – Спасо-Евфимьевский монастырь в Суздале был местом заточения религиозных и светских «ослушников», а также детей, нарушавших волю родителей. В семейной педагогике родителей Салтыкова «Суздаль-монастырь» был довольно распространенной угрозой «непочтительным» сыновьям. «...Если он, – писала Ольга Михайловна Дмитрию Евграфовичу о «постылом» – Николае Евграфовиче, – послушается меня и моей воли... упрячу его в Суздаль-монастырь...» (цит. по статье: Е. Макарова. О реальных источниках «Господ Головлевых». – «Литературный критик», 1939, № 5–6, стр. 109). «Суздаль-монастырь» приходит на ум и Арине Петровне Головлевой, решающей судьбу Степки-балбеса.

Стр. 424...корифейку... – Корифейки – ведущие артистки в кордебалете.

Стр. 440...так и засыплет силлогизмами и цитатами из Неволина, Рождественского и других ревнителей! – Салтыков часто иронически упоминает имя К. А. Неволина – наиболее авторитетного представителя официальной законоведческой науки, скрупулезно изучавшего историю порицаемых сатириком «краеугольных камней» (см., например, «О союзах семейственных», кн. 1-я. – К. Неволин. История российских гражданских законов, т. 1, СПб. 1851, а также некоторые разделы его двухтомной «Энциклопедии законоведения», Киев, 1839, в частности, раздел II – «О происхождении и постепенном образовании законов со стороны их содержания. Семейство. Род. Гражданское общество. Государство. Союз народов», т. 1, стр. 67–83); проводимая Неволиным идея «постепенности развития союзности» будет непосредственно «задета» сатириком в ноябрьской хронике «нашей общественной жизни» за 1863 г. Там же названы и другие «ревнители», в том числе преподаватель Салтыкова-лицеиста – Я. И. Баршев (см. стр. 173).

...лейтенант Жевакин – персонаж «Женитьбы» Н. В. Гоголя.

Стр. 444...я шепнул им на ухо такое занятие, одним названием которого надеялся привести их в смущение. – Пытаясь опровергнуть мысль о возможности свободного и привлекательного труда («travail attrayant»), противники социалистов-утопистов указывали на необходимость выполнения и в новых условиях всякого рода непривлекательных очистительных работ. По фурье, уборкой нечистот в свободном обществе будут заниматься трудовые отряды, «маленькие орды» детей, не смущающихся в силу возрастных привычек и склонности к самоотвержению характером исполняемого дела. Об этом и о связях этого вопроса с прогрессом техники Салтыков писал позже и в сочинениях и в письмах.

Стр. 445. «А детей», скажут они... – «Возмущение» рассказчика произрастает на почве искаженных представлений о принципах нового социалистического быта. Образец подобного возмущения, имеющего те же самые основания, находим, по предположению Е. Покусаева (см. «Салтыков-Щедрин в шестидесятые годы», Саратов, 1957, стр. 200–201), в неопубликованной в свое время статье В. П. Боткина и А. А. Фета о романе Чернышевского «Что делать?». «Не можем забыть, – писали они, – как один из светильников quasi-нового учения в нашем присутствии на вопрос о судьбе детей в женско-мужских коммунах ответил голосом, полным убеждения: „Детей не предполагается“» (ЛН, т. 25–26, М. 1936, стр. 489). В мемуарах фета имя «светильника» обозначено прямо. «Однажды, когда я в Петербурге сидел у Тургенева, Захар, войдя, доложил: «Михаил Евграфович Салтыков...» Вошедший стал бойко расхваливать Тургеневу успех недавно возникших фаланстеров, где мужчины и женщины в свободном сожительстве приносят результаты трудов своих в общий склад, причем каждый и каждая имеют право, входя в комнату другого, читать его книги, письма и брать его деньги и вещи.

– Ну, а какая же участь ожидает детей? – спросил Тургенев своим кисло-сладким фальцетом. – Детей не предполагается, – отвечал Щедрин» (А. А. Фет. Мои воспоминания, ч. 1, М. 1890, стр. 367–368; описываемая встреча имела место в

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru январе 1864 г.; см.: «М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников», стр. 754).

В такой «редакции» (на вероятность искаженной передачи фетом смысла салтыковских слов указала в свое время «Русская мысль», 1890, № 3, отд. XXI, стр. 149; см. также: «Из рукописей Г. З. Елисеева о романе «Что делать?» и «коммуне» В. А. Слепцова». – «Шестидесятые годы. М. А. Антонович и Г. З. Елисеев». М. – Л. 1933, стр. 488–489) вопрос о детях имеет заведомо отталкивающий вид. На самом деле идея фурьеристов не заключает в себе ничего «ужасного». По мнению автора «Нового хозяйственного и социетарного мира...», дети не только «полагаются» в ассоциациях, но и «являются главной пружиной социетарной гармонии и трудового притяжения» (Ш. Фурье. Избр. соч., т. III, М., АН СССР, стр. 336). В «гармоническом строе», основанном на свободном развитии и удовлетворении страстей, принуждение, считает Фурье, непригодно не только в области труда и распределения продуктов его, но и в сфере семейных отношений, в деле воспитания детей. Последнее должно носить не узкосемейный, а общественно-трудовой характер. Эти положения особенно часто извращались противниками социализма, окружались густой завесой утрировок и выдумок, вроде общности жен, печальной участи детей, не знающих своих отцов, и т. п. Автор «Как кому угодно» и высмеивает подобного рода проявления «высокоморального ужаса» (К. Маркс и Ф. Энгельс) защитников старых «основ».

В ДЕРЕВНЕ

Летний фельетон

Впервые – С, 1863, № 8, отд. «Современное обозрение», стр. 173–198 (ценз. разр. – 7 сентября). Без подписи. С некоторыми сокращениями и небольшой стилистической правкой фельетон входил в виде седьмого письма в первое и второе издания «Писем о провинции» («Признаки времени и Письма о провинции», СПб. 1869 и 1872). В последующие издания «Писем о провинции» не включался.

Рукопись и корректуры не сохранились.

Из цензурных материалов об очерке известна лишь запись в «Журнале заседаний С.-Петербургского цензурного комитета» от 4 сентября 1863 г., завершающаяся постановлением: «дозволить с исключением мест, указанных г. цензором».[152]

Очерк – «летний фельетон», как называет его автор, – написан летом 1863 г. в имени Салтыкова Витенево. Как по кругу тем, так и по литературной манере он примыкает к циклу «Наша общественная жизнь». Сам Салтыков предлагал рассматривать содержащееся в февральской хронике за 1864 г. описание крестьянского быта как продолжение «В деревне» (см. наст. том, стр. 266). Очерк тесно связан и с предшествующей ему апрельской хроникой за 1863 г.

В «летнем фельетоне» Салтыков излагает, преимущественно в ироническом ключе, свой взгляд на роль и место помещика и помещичьего хозяйства в пореформенной деревне. Помещичий лагерь устами А. Фета заявлял в 1863 г.: «Честной деятельности землевладельцев с каждым шагом открывается обширное и благодатное поле... Невозможно поверить, чтобы добросовестный и сознательный труд не принес наконец своих плодов...»[153] Салтыков же доказывает экономическую бесперспективность помещичьего хозяйствования в пореформенных условиях. До отмены крепостного права при любой, самой низкой производительности труда помещику всегда был обеспечен какой-то доход, ибо труд крестьян был даровым. Переход к наемному труду выдвинул перед помещиком проблему рентабельности, окупаемости затрат. В этих новых условиях отсутствие личной заинтересованности крестьянина в работе на чужом поле подрывает самую возможность доходного ведения помещичьего хозяйства.

Вопрос о сравнительной выгодности крепостного и вольнонаемного труда усиленно обсуждался в русской журналистике 50-х – начала 60-х годов. Этому посвящена, в частности, и статья Н. Г. Чернышевского «О новых условиях сельского быта» (С–, 1858, № 2). Тогда «Современник» отстаивал мысль, что крепостной труд «разорителен не только для крестьян, но и для самих помещиков». В предреформенный период такая постановка вопроса имела определенный агитационный смысл – ослабить сопротивление помещиков отмене крепостного права. В 1863 г. перед Салтыковым стояла иная цель. Утверждая невозможность рентабельного ведения помещичьего хозяйства на наемном труде, он защищал требование «трудового начала» в землевладении, требование ликвидации помещичьих латифундий. Задачей Салтыкова было доказать, что «деревенское дело выгодно... только для того, кто принимает в

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru нем участие непосредственным... личным тяжелым трудом». Было бы неверно, однако, рассматривать высказывания Салтыкова о бесперспективности помещичьего хозяйствования только как пропагандистский прием. Первые пореформенные годы ознаменовались крахом многих имений, не сумевших приспособиться к капиталистическим отношениям. Писатель, несомненно, учитывал эти факты, включая и свой собственный неудачный опыт хозяйствования в Витенева (см. его письма к А. Ф. Кабукову в тт. 18 и 19 наст. изд.).

«В деревне» переключается с апрельской хроникой за 1863 г. не только в оценке перспектив помещичьего хозяйствования, но и в критике «землевладельческого либерализма». Нарисованная Салтыковым картина управления «селоМ Многоболтаевым с деревнями» высмеивала либерально-славянофильскую программу преобразования всего государственного устройства на началах соединения самодержавия с сословно-представительными учреждениями. Идеализируя допетровскую Русь, славянофилы усматривали в ней образец сочетания власти государя и помещиков с волей народа. В этом смысле выразительна формулировка решений многоболтаевской сходимки: «помещик приказал, а выборные положили», пародирующая формулу решений боярской думы допетровских времен – «Государь указал, и бояре приговорили». Однако объективно салтыковская сатира выходила за пределы критики собственно славянофильского либерализма. В условиях подготовки земской реформы она показывала подлинную цену административно-помещичьего либерализма, готового в любой момент «бросить» и «велеть действовать решительно», то есть обратиться к репрессивным мерам.

Видное место в «летнем фельетоне» занимает постоянная для Салтыкова тема народной пассивности, «прекраснейшим подспорьем» которой, по замечанию сатирика, служит «почти совершенное отсутствие грамотности». В этой связи Салтыков возобновляет начатые еще в «Губернских очерках» атаки на В. И. Даля (см. т. 2 наст. изд., стр. 263 и 539), который выступил в конце 50-х годов с рядом статей и заметок о вреде грамотности для крестьян («Письмо к издателю А. И. Кошелеву» – «Русская беседа», 1856, кн. III; «Приписка к письму А. И. Кошелеву, по поводу возражений на него» – ОЗ, 1857, № 2; «Заметки о грамотности» – «СПб. ведомости», 1857, № 245 и др.). Выпады по адресу дореформенных статей Даля отнюдь не были в 1863 г. полемическим анахронизмом. В дворянско-консервативной публицистике первых пореформенных лет было немало высказываний, совершенно аналогичных далевским (см., например, «Заметки о вольнонаемном труде» А. Фета – «Русский вестник», 1862, т. 39, кн. 5; «Из деревни» его же – «Русский вестник», 1863, т. 44, кн. 3).

В связи с проблемой народной пассивности Салтыков подымал остро злободневный для тех лет вопрос о росте в деревне числа питейных заведений и распространении пьянства. Салтыков обвинял правящий класс в поощрении пьянства как средства увековечить безграмотность и темноту крестьянства, отвлечь его «от роптаний». Охранительная печать обычно лицемерно сокрушалась по поводу пьянства в народе, но на страницы реакционных изданий прорывались и откровенные панегирики распространению кабаков. Таким духом проникнута, например, опубликованная в мае 1863 г. в № 17 «Современной летописи» статья некоего Н-ова «Уездная летопись». Весьма возможно, что «летний фельетон» в рассматриваемой части представляет собой полемику с автором «Уездной летописи» – настолько близки по ходу изложения, по приводимым фактам, хотя и совершенно противоположны по их оценке, эти статьи. Иронические высказывания о «поверхностности» суждений простолюдина, считающего помещика бездельником, направлены против «Русского вестника»: анонимный автор статьи «Риль о народном труде» (1862, № 6) видит в таком «заблуждении» народа один из источников революции. Таким образом, «летний фельетон» насыщен скрытой, но понятной современникам полемикой с дворянско-консервативной литературой.

Стр. 446...который обучен на скрипке или виолончели, выводит смычком серенаду Шуберта. – Намек на Николая Петровича Кирсанова из тургеневских «Отцов и детей», игравшего на виолончели «Ожидание» Шуберта.

Стр. 447...с одной стороны... реет... литературное воронье... а с другой –...кипят... споры о различии между Русляндией и Русью... – Здесь и дальше сопоставляются, а по существу, сблизаются московские реакционно-официозные и славянофильские газеты, прежде всего издания и публицистика Каткова и Павлова («подачка») с одной стороны, а с другой – Ив. Аксакова («вдохновение»). О выражении последнего «Русляндия» и его же метафорическом образе «форейтор» см. прим. к стр. 116 наст. тома.

...конфетные билетки... – небольшие стихотворения галантного характера. В начале 60-х годов с публицистическими статьями консервативного толка выступили наряду с А. Фетом авторы альбомных романсов П. Кусков, Е. Зарин и др. О превращении авторов «конфетных куплетцев» в «невразумительных публицистов» писало и «Русское слово» (см. «Дневник темного человека» – «Русское слово», 1862, май; «Забытые уголки Парнаса» – «Русское слово», 1863, январь).

Стр. 447–448. Говорят, будто бы и между деятелями этой категории следует различать «искренность»... – По-видимому, подразумеваются слова Герцена по поводу позиции «Дня» в польском вопросе. «Вы, – обращался Герцен к И. С. Аксакову, – если и на патриотизме, то все же не на службе... Но, по несчастью, можно быть очень искренним и очень ошибаться... самый искренний человек под влиянием страстного увлечения может, любя истину, принимать за правду всякую ложь...» («„Колокол” и „День”»). – «Колокол», л. 167 от 10 июля 1863; ср. А. И. Герцен. Собр. соч. в 30-ти томах, т. XVII, стр. 203).

Стр. 450. Приведу один, очень маленький пример... – Пример этот заимствован у Фета («Заметки о вольнонаемном труде» – «Русский вестник», 1862, т. 39, № 5). Тот факт, что помещику дешевле купить крестьянскую птицу, чем выкормить ее в своем хозяйстве, Фет объяснял исключительно потравами: мужику корм будто бы ничего не стоит, ибо кормится его птица на помещичьем поле. Достаточно, по мнению Фета, ввести строгие штрафы, как помещичье хозяйство докажет свои преимущества.

Стр. 451...добрая моя знакомая, г-жа Падейкова. – Салтыков ссылается на слова героини своего рассказа «Госпожа Падейкова» из «Сатир в прозе» (см. т. 3 наст. изд., стр. 259 и след.).

Стр. 453. Вот один образчик подобного заклинания... – Установить фольклорный источник заклинания, приведенного Салтыковым, не удалось. По форме оно вполне аналогично заклинаниям, опубликованным этнографами того времени. Заклятие «Шикалу, ликалу!» встречается, например, у И. П. Сахарова («Сказания русского народа», т. 1, кн. 2, СПб. 1840, стр. 47), но, возможно, Салтыков заимствовал его из «Князя Серебряного» А. К. Толстого (см. т. 5 наст. изд., стр. 301).

...под «тайнобрачными» разумею некоторых газетчиков... – По принятой в то время ботанической классификации К. Линнея, тайнобрачными именовались растения, не имеющие цветов (грибы, мхи, лишайники и т. п.). Салтыков обыгрывает этот термин, намекая на «тайный брак», в который вступили с правительством некоторые органы печати, в том числе и либерального направления. См. т. 5, стр. 620.

Стр. 454...затеять... игру в сближение сословий. – О «сближении сословий» Салтыков подробнее писал в очерке «Глуповское распутство» (т. 4 наст. изд.), в статье «Где истинные интересы дворянства?» (т. 5 наст. изд.) и в апрельской хронике «Наша общественная жизнь» за 1863 г.

Стр. 455...нынешним летом оно прекратилось, ибо за сим строго наблюдали «Московские ведомости» и «День». – Имеется в виду шовинистическая кампания названных газет в связи с польским восстанием 1863 г.; в ходе этой кампании всякая, даже либерально-благонамеренная критика властей объявлялась результатом «польской интриги».

Стр. 459...для пополнения запасных хлебных магазинов... ввести у себя общественную запашку... – Запасной хлебный магазин – сельский зерновой склад, из которого выдавались ссуды зерна на посев и продовольствие в случае неурожая. Создавались и пополнялись запасы хлебных магазинов, как правило, за счет обязательных взносов зерном с каждой ревизской души, но был возможен и другой порядок: часть наделных земель выделялась для совместной обработки, и в запасы поступал урожай от этой «общественной запашки». Общественная запашка представляла в дореформенные годы одну из разновидностей барщины. Для заведования запасным магазином сельское общество избирало из своей среды или нанимало особого хлебного смотрителя (см. стр. 465 наст. тома).

Стр. 460...персеверировать – не отступить (от франц. – persévérer).

Стр. 465...другое средство для выпивки – это помочь. – Помочь (помощь) – один из сохранившихся в русской деревне XIX в. пережитков общинного строя: обработка «миром» земельных участков больных, сирот и т. п. Славянофилы видели в помощи

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru проявление особой черты русского национального характера. После отмены крепостного права обычай «помочи» нередко использовали в своих интересах помещики и кулаки (см. также «Сон в летнюю ночь» в т. 13 наст. изд.).

Стр. 467. Нет ни «Веселой беседушки»... место их заступили: «Ты, Настасья, ты, Настасья!», «Он меня разлюбил!», «Ты не поверишь!»... – см. т. 4, прим. к стр. 31. «Ты, Настасья» (или «Эх, Настасья») – русская цыганская песня. «Он меня разлюбил» – романс К. П. Вильбоа на слова Н. И. Пашкова. «Ты не поверишь, как ты мила» – романс П. П. Булахова на слова М. М. Оба последних произведения относятся к так называемым «городским романсам», популярным в мещанской среде и испытавшим сильное влияние цыганской песни.

ЖУРНАЛЬНАЯ ПОЛЕМИКА

1864

В публицистике Салтыкова 1863–1864 гг. заметное место принадлежит полемическим выступлениям против журналов «почвеннического» направления «Время» (январь 1861 г. – апрель 1863 г.) и «Эпоха» (январь 1864 г. – март 1865 г.).

Официальным редактором обоих журналов был М. М. Достоевский, но фактическим руководителем и идейным вдохновителем этих изданий являлся Ф. М. Достоевский, незадолго до того возвратившийся к литературной деятельности после сибирской каторги и ссылки. Идейными соратниками Достоевского, активными публицистами «Времени» и «Эпохи» стали Н. Н. Страхов и А. А. Григорьев.

«Почвенники» утверждали, что отмена крепостного права самим правительством знаменует начало эпохи социального мира, что реформа устраняет источники сословного антагонизма в стране и имеет для исторических судеб России провиденциальный смысл. Высшие классы, оторванные от народа в результате реформ Петра I, должны теперь преодолеть двухсотлетнюю обособленность и возвратиться в лоно народной жизни, на родную «почву». Народу же, чтобы осуществилось это слияние, нужны прежде всего грамотность и образование. «Книжность и грамотность» – так назывались программные статьи Ф. М. Достоевского во «Времени».

Метафорическое определение «почва» обозначало нравственные устои русского народа, русский национальный характер, будто бы в корне отличный от характера «западного человека». Если по отношению к Западной Европе исторически сложившееся разделение наций на антагонистические классы представлялось явлением закономерным, то по отношению к России такое разделение признавалось несущественным, легко устранимым в силу идеальных особенностей «почвы». [154] Революционная борьба объявлялась чуждой духу русского народа. Мирный способ ликвидации социальных противоречий на основе нравственности, заложенной в национальном характере, – вот то «новое слово», которое, по мнению почвенников, несет Россия всему человечеству.

В журнально-политической борьбе 60-х годов почвенники стремились занять некое среднее положение. При всем очевидном сходстве их идей со славянофильскими были здесь и существенные различия. Почвенничество (в особенности у Достоевского) – направление демократическое, с резко отрицательным отношением к крепостному праву. Всякая попытка славянофильской идеализации прошлого вызвала решительный протест Достоевского. Славянофильский консерватизм, барски пренебрежительное отношение к народу Достоевский не раз высмеивал в статьях начала 60-х годов. [155] В первое время он с большим сочувствием высказывается о «западниках», причисляя к ним и публицистов «Современника», называет их реалистами, не боящимися результатов анализа. [156] Однако когда он убеждается, что «результаты анализа» ведут руководителей «Современника» не к «почве», а к идее революции, он начинает упрекать их в незнании русской действительности, в «кабинетности», оторванности от народа, отсутствии патриотизма. В дальнейшем ходе борьбы противоречия между «Временем» и его наследницей «Эпохой», с одной стороны, и «Современником» – с другой, становятся все более резкими и непримиримыми.

Идейные разногласия между «Современником» и «Временем» обнаружилось уже в феврале 1861 г., когда появилась статья Достоевского «Г – бов и вопрос об искусстве», полемически направленная против некоторых литературно-критических суждений Добролюбова в статье «Черты для характеристики русского простонародья».

Острая теоретическая полемика между «Современником» и «Временем» началась в конце 1861 г. статьей М. А. Антоновича «О «почве» (не в агрономическом смысле, а

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru в духе «Времени»» (С, № 12). Антонович отмечает несостоятельность понятия «почва», бесплодность попыток примирить славянофилов и западников и, главное, невозможность изменить положение народа с помощью одного лишь образования. [157] Антоновичу отвечал Страхов (псевдоним – Н. Косица): «Пример апатии (письмо в редакцию «Времени» по поводу статьи г. Антоновича «О „почве“» («Время», 1862, № 1). В следующей статье, «О духе «Времени» и о г. Косице как наилучшем его выражении» (С, 1862, № 4), Антонович рассматривает парадоксальное обстоятельство – идейную зависимость почвенничества от западной философии: от дурно понятого гегельянства (Страхов) и шеллингизма (Ап. Григорьев). Антонович вскрывает социальный смысл почвеннической проповеди примирения, которая, несмотря на весь критицизм по отношению к славянофилам, имеет, в сущности, славянофильское происхождение: «под народностью они разумеют православие и основанное на любви и взаимном согласии отношение между властями и подчиненными, противоположное духу рабства и мятежа, господствующему на Западе». [158]

В связи с тем, что в июне 1862 г. издание «Современника» было приостановлено на восемь месяцев, полемика временно прекратилась. Она возобновилась в 1863 г., ведущая роль в ней принадлежала теперь Салтыкову. Общее обострение идейной борьбы в этот момент перелома в общественно-политическом движении 60-х годов отразилось и на полемике «Современника» с «Временем» и особенно «Эпохой». Она приобрела исключительно резкий характер и по содержанию и по форме.

Формально полемика возобновилась с появления рецензии Салтыкова «Литературная подпись...» (С, 1863, № 1–2), но предмет разногласий с журналом «Время» касался здесь лишь частного вопроса литературной этики и более общего значения не имел (см. т. 5, стр. 334–337). Вскользь позиций «Времени», нашедших выражение в объявлении о подписке на 1863 г. («Время», 1862, № 9), Салтыков коснулся в январско-февральской хронике 1863 г. (см. стр. 21). Однако начало нового этапа в идейной борьбе датируется мартом 1863 г., когда в «Современнике» в составе «Нашей общественной жизни» был напечатан фельетон «Тревоги „Времени“». Салтыков дал здесь обобщенную характеристику направления журнала, его почвеннической идеологии, опираясь на статью Достоевского «Необходимое литературное объяснение по поводу разных хлебных и нехлебных вопросов» («Время», 1863, № 1), основные положения которой восходят к программному документу почвенников – объявлению о подписке на 1863 г. Ключ к пониманию полемики дает сравнение общей настроенности Достоевского и Салтыкова по отношению к наступившей эпохе. Если оценка современности в «Объявлении» «Времени» выдержана в мажорном тоне, [159] то Салтыков, напротив, в мартовской хронике характеризует русскую действительность после событий 1862 г. как опустошенную, «картонную жизнь».

В «Тревогах „Времени“» Салтыков предостерегал почвенников, что их «благородство» граничит с благонамеренностью: «Вы начнете катковствовать в самом непродолжительном времени». Хроникер «Современника» резко выступает против попыток «Времени» клеймить деятелей враждебного лагеря именем «хлебных свистунов», то есть приспособленцев.

В февральском и мартовском номерах «Времени» 1863 г. появилось большое публицистическое произведение Достоевского «Зимние заметки о летних впечатлениях. Фельетон за все лето» – результат первой поездки писателя в Западную Европу. Страстное обличение буржуазного строя сочетается здесь с пропагандой спасительной роли русской почвы и с резкой критикой (впервые у Достоевского) французского утопического социализма. Вероятно, это последнее обстоятельство привлекло особое внимание Салтыкова. Намечая полемические темы для «Свистка» в апреле 1863 г., он дважды имеет в виду «Зимние заметки» («Безумная заметка о сумасшедших впечатлениях. Фельетон нового мормона за все время одержания бесами» и «Опыты сравнительной этимологии, или Мертвый дом, по французским источникам» – см. в наст. изд. т. 5, стр. 303–304, 624).

Запрещение «Времени» в мае 1863 г. (см. прим. к стр. 124) прервало полемику. Лишь с января 1864 г. братья Достоевские получили возможность возобновить журнал под названием «Эпоха», в первых же номерах которого было напечатано новое произведение Достоевского «Записки из подполья» – исповедь героя-индивидуалиста, ушедшего в глубокое душевное подполье, высмеивающего «высокие и прекрасные» идеи человеческого братства как несбыточные. Подпольный человек нападает на теории материализма и социализма, на высказывания идеологов «Современника», в том числе – на рассуждения Салтыкова о картине Ге «Тайная вечеря» и очерк «Как кому угодно» (см. наст. том, стр. 148 и 407). «Записки» как бы вызвали Салтыкова на продолжение спора, и Салтыков принял вызов. Сатирическому обличению

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru почвенничества и журнала «Эпоха» посвящена в основном статья «Литературные мелочи» с «драматической былью» «Стрижи» (С, 1864, № 5). Уже в «Тревогах „Времени“» Салтыков сравнил бессодержательность почвеннических теорий с птичьим гомоном. Новая «комедия» (то есть «Стрижи») «заклучала в себе полную характеристику таких намерений и воззрений, которые по своей сущности вполне заслуживали наименования птичьих» («Литературные кусты», наст. том, стр. 508). Заседание редакции «Эпохи» автор «драматической были» представил в виде слета стрижей в «запустелом, сыром погребе» (то есть «подполье»). Главное желание «стрижей» – не гневить больше предрержащие власти, печатать сочинения «тихие и кроткие». Тонко улавливая направленность «Записок из подполья», Салтыков называет их «Записками о бессмертии души», а подпольного человека «больным и злым стрижом». Сцена заканчивается появлением Каткова, чем еще более подчеркивается идейная зависимость «Эпохи», воображающей себя не подвластной никаким авторитетам, от «Русского вестника» и «Московских ведомостей».

«Литературные мелочи» явились также ответом на статью Страхова «Заметки летописца» («Эпоха», 1864, № 3), в которой впервые на страницах журнала почвенников затрагивался вопрос о разногласиях между «Современником» и «Русским словом». (На связь «Стрижей» с «Заметками летописца» указал в статье «Литературные кусты» сам Салтыков – см. стр. 507 наст. тома.) Эти разногласия обнаружались уже в 1863 г. и приобрели резкий характер в начале 1864 г. (о причинах и ходе полемики до марта 1864 г. см. в прим. к январской и мартовской хроникам «Нашей общественной жизни» за 1864 г.) В ответ на мартовскую хронику в апрельском номере «Русского слова» появились еще две неподписанные остропамфлетные статьи. В одной из них, под заглавием «Кающийся, но не раскаявшийся фельетонист „Современника“», автор – очевидно, редактор журнала Благодетель – прямо заявлял: «...есть границы унижения, за которыми возвратить прежнее сочувствие уже будет нелегко... Ведь нашло же «Русское слово» возможность не смешивать уважаемых нами сотрудников «Современника» с чужой овцой, попавшей в их круг». В другой статье-фельетоне с входящим в нее памфлетом под названием «Ты пойми, пойми, мой милый друг (Романс в действии)» – пародия на романские заглавия печатавшихся тогда рассказов из цикла «Помпадуры и помпадури» – Зайцев изображал жизненный путь Салтыкова как биографию некоего беспринципного служебного карьериста и честолюбца, случайно очутившегося в числе людей, «близких к редакции одного журнала», то есть «Современника».

Первоначальный текст ответа Салтыкова на памфлет Зайцева был и более резок и более пространен, о чем свидетельствует сохранившаяся корректура «Литературных мелочей» (см. стр. 698). Сокращения, с которыми статья появилась в печати, бесспорно сделаны по настоянию редакции «Современника». Трения между Салтыковым и редакцией по вопросам ведения полемики с «Русским словом» все более усиливались, так что от дальнейшего участия в ней он вынужден был отойти. Эта ситуация, ставшая известной во враждебном лагере не только по литературным источникам, но и по слухам, послужила темой статьи Достоевского «Господин Щедрин, или Раскол в нигилистах» с входящим в нее памфлетом «Отрывок из романа „Щедродаров“», который был ответом на комедию «Стрижи» («Эпоха», 1864, № 5, без подписи). В свою очередь, Салтыков написал новую статью, направленную против последнего выступления Достоевского, которая, однако, не была напечатана и, по-видимому, не сохранилась, кроме первой ее страницы (см. стр. 495), включенной в заменившую ее статью Антоновича «Стрижам (послание обер-стрижу, господину Достоевскому)» (1864, № 7). [160]

Не имея возможности из-за сложившихся внутривредакционных отношений ответить статьей на памфлет Достоевского «Щедродаров», Салтыков пишет «Заметку», предназначенную для августовской книжки, но также и по тем же причинам не появившуюся в «Современнике». В течение осени и зимы 1864 г. Салтыков, намереваясь продолжать полемику, написал еще несколько статей, но ни одна из них не увидела света при его жизни («Гг. „Семейству М. М. Достоевского“, издающему журнал, Эпоха», «Журнальный ад», «Но если уж пошла речь об стихах...», «Литературные кусты», «О добродетелях и недостатках...», «Петербургские театры. Няяда и рыбак»). Эти статьи и по содержанию, и по разнообразию стилистических средств представляют блестящие образцы творчества Салтыкова-полемиста. Емкий сатирический образ «Девушкина, сидящего в сатанах» – в статье «Журнальный ад» – как символ противоестественного соединения гуманистической темы маленького человека с философией «подполья» рисуется на фоне кромешного ада современной журналистики. В «Литературных кустах» Салтыков подробно разъясняет почвенникам, что с теоретической точки зрения их программные заявления есть «полное оскорбление здравого смысла», а в рецензии «О добродетелях и недостатках...» (т. 5

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru наст. изд.) прозрачно намекает, что «нестроптивная» «стрижиная» литература выгодна охранителям порядка и относится к числу «непредосудительных ремесел», так же как и «балет». Сравнение почвеннической философии с балетом, начатое еще в «Современных призраках», развернуто в статье «Петербургские театры» (см. т. 5 наст. изд.). На основе этого уподобления Салтыков создает программу «балета» «Мнимые враги, или Ври и не опасайся!», где «Эпохино семейство» стрижей ищет покровительства у Давилова (олицетворение консервативной силы) и у Хлестакова (олицетворение либерализма).

Хотя журнальная борьба между Салтыковым и Достоевским прервалась в 1864 г., внутренние полемические связи между многими темами их творчества продолжались и позднее (см.: С. С. Борщевский. Щедрин и Достоевский, М. 1956, а также прим. к рецензии Салтыкова на роман Омулевского «Светлов, его взгляды, характер и деятельность», т. 9 наст. изд.; литературу о «расколе в нигилистах» см. на стр. 640–641 наст. тома).

НЕИЗВЕСТНОМУ КОРРЕСПОНДЕНТУ

При жизни Салтыкова напечатано не было. Впервые – ЛН, т. 11–12, М. 1933, стр. 113–114.

Сохранилась чистая корректура статьи (ИРЛИ). Подпись: Хроникер «Современника».

Ответ на нападки «неизвестного корреспондента» (письмо которого не сохранилось или не разыскано) по поводу январской хроники «Нашей общественной жизни» за 1864 г., по-видимому, предназначался для февральской книжки «Современника», однако там не появился. Работа над письмом «Неизвестному корреспонденту» поэтому может быть датирована второй половиной февраля – началом марта 1864 г. (ценз. разр. январской книжки «Современника» – 8 января и 10 февраля; февральской книжки – 9 марта).

Более подробно, с буквальным повторением нескольких слов, Салтыков ответил неизвестному корреспонденту в мартовской хронике «Нашей общественной жизни» за 1864 г. в разделе «Вислоухие и юродствующие» (см. стр. 326 наст. тома).

ЛИТЕРАТУРНЫЕ МЕЛОЧИ

Впервые – С, 1864, № 5, отд. «Современное обозрение», стр. 1–26 (ценз. разр. – 14 мая и 10 июня). Без подписи.

Сохранились: 1) вторая чистая корректура первой редакции статьи под названием «Наши литературные мелочи», набранная 29 апреля и адресованная А. Н. Пыпину (еще без «драматической были» «Стрижи»); 2) отдельная корректура входящей в «Литературные мелочи» «драматической были» «Стрижи», без каких-либо помет, набранная где-то между 29 апреля и 15 мая и дающая первую редакцию «Стрижей»; 3) вторая чистая корректура окончательной редакции, с включением «Стрижей», набранная 15 мая и адресованная А. Н. Пыпину (все в ИРЛИ).

Печатается по тексту «Современника» с устранением цензурных купюр.

«Литературные мелочи» находятся в прямой связи с написанной для апрельского номера и не увидевшей света хроникой «Наша общественная жизнь» (собственно, со второй ее частью, начинающейся словами «Археологи свидетельствуют...»).

Убедившись в том, что апрельская хроника не будет напечатана, Салтыков перенес часть ее текста в новую статью «Наши литературные мелочи», название которой, возможно, должно было указывать на связь с циклом «Наша общественная жизнь» (от слов: «Вот, например, что повествует в 16 № «Дня» г. Касьянов...» до слов: «...а это явление любопытное...» – стр. 353, строка 23 – стр. 361, строка 25). Для окончательной редакции, озаглавленной «Литературные мелочи», текст «Наших литературных мелочей» был серьезно переработан и дополнен, в частности заново была написана «драматическая быль» «Стрижи». Со следующей июньской книжки «Современника» название «Литературные мелочи» было присвоено целому циклу критико-публицистических статей, автором которых был, однако, уже не Салтыков, а Антонович.

В корректуре «Наших литературных мелочей» имеется целый раздел статьи, посвященный Зайцеву-Кроличкову и не вошедший в журнальную публикацию (после «Грустно», стр. 483, строка 3). По-видимому, он был исключен по совету или настоянию редакции «Современника». Приводим этот текст:

Я мог бы многое сказать здесь о философе Кроличкове, но умалчиваю об этом только потому, что он Кроличков, а не Зайцев. Будь он мало-мальски Зайцевым, я, наверное, почтил бы его. Я рассказал бы о том, какие легенды сопровождают его рождение, о том, как он, еще припадая к сосцам своей матери, уже возмущался своею несамостоятельностью, о том, как он, начитавшись Молешотта, пожирал головки зажигательных спичек, в чаянии, что будет от того умнее, о том, как он рассуждал с публицистом Благомрачным, где им следует говеть, о том, наконец, как он, посетив некоторый благопристойный дом, явился туда во фраке, позабыв надеть панталоны, и т. д. и т. д. Но повторяю: я умолчу об этом, потому что я милосерд.

Однако не могу скрыть: Кроличков занимает меня. Это своего рода тип. Тип, правда, мизерный и ничего не доказывающий, но во всяком случае тип. Есть множество людей, которые положительно только бременят землю своим по ней шатанием, но опытный общественный физиолог не должен пренебрегать и ими в своих исследованиях, ибо они представляют собою те самые уродливости, которые свойственны именно такому, а не другому общественному строю.

И до такой степени отчетливо и ясно восстает этот тип передо мной, что много мне нужно над собой власти, чтобы преодолеть желание изобразить его. И уверяю вас, что это был бы совсем не гимназист Горобец или прогрессист кадетик из «Взбаламученного моря», нет, это был бы человек в полной мере и совершенно искренно убежденный, что употребление в пищу зажигательных спичек удвоит его умственные способности.

Когда-нибудь, впрочем, я предоставлю себе заняться этим типом в полное свое удовольствие, когда? – это другой вопрос, разрешение которого будет зависеть от времени и от степени досуга, которым я буду обладать.

Также, нужно думать, по совету или настоянию редакции «Современника» было исключено следующее место, имевшееся в корректуре «Стрижей» (после: «(Занавес опускается)», стр. 494, строка 36):

В одном из следующих номеров «Современника», БЫТЬ МОЖЕТ, будет напечатана:

Беседа философа Кроличкова с пустыней,

или

Мальчик, у которого фосфор не в голове,

а на голове

Драма-симфония.

Стр. 473. Что такое дрянь? – В рассуждении о дрянных людях можно усмотреть полемическим ответ Салтыкова на выступление героя «Записок из подполья» против автора очерка «Как кому угодно», который назван поклонником «гадчайшей и бесспорной дряни», то есть прежде всего идей Фурье о гармонии страстей (см. прим. на стр. 683). Салтыков же переадресовал этот упрек самим почвенникам с их литературным органом, созданным для «фильтрации чепухи». В статье «Господин Щедрин, или Раскол в нигилистах» Достоевский заявил, что полемический смысл этой части памфлета Салтыкова непонятен: «Ну скажите, в чем тут идея: что не одно то дрянь, что валяется на скотном дворе, а есть и люди дрянь. Но кто же этого не знал?» (Ф. М. Достоевский. Полн. собр. соч., т. 13, стр. 338).

Стр. 478...со слов некоего г. Краснова... – В корректуре этот текст был обширнее:

...со слов г. Краснова стремления к обособлению Земли Войска Донского от империи приписываются уже не каким-нибудь честным доброхотам, занимающимся печатанием азбук на местных наречиях, а – страшно вымолвить – самому войсковому начальству! Понятно, сколько нужно иметь проницательности и прозорливой уверенности, чтобы формулировать такое смелое обвинение!

В статье Н. Краснова, напечатанной в «С.-Петербургских ведомостях» (1864, № 83

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (saltykov-shchedrin.ru от 12 апреля) речь шла о выступлениях донских казаков против права иногородних основывать на Дону свои поселения.

... «Московские же ведомости» на все дела сего мира имеют взгляд сугубый... – В «Московских ведомостях» (1864, № 89 от 23 апреля) напечатан отклик Каткова на статью Краснова, в которой под видом борьбы с сепаратизмом отвергались малейшие притязания на развитие национальной культуры народов России.

Грае, грае, воропае! Гоп! Гоп! – В романе Тургенева «Рудин» Пигасов пародирует украинскую народную песню: «По-пид горою, по-пид зеленою, грае, грае, воропае! Гоп! Гоп!»

Стр. 479. Судя по корреспонденциям «Волынца»... – В «Московских ведомостях» 1864 г. за подписью «Малоросс-Волынец» были напечатаны две статьи («О новой фазе нашей хохломани. Письмо к редактору» в № 13 от 17 января и «Ответ г. Костомарову» в № 86 от 16 апреля), направленные против деятельности Н. И. Костомарова как украинского «сепаратиста», где, в частности, осуждалось решение Академии наук одобрить украинский перевод Евангелия.

«Московские ведомости» собираются воспользоваться факультативной цензурой... – В связи с подготовкой цензурной реформы (см. т. 5 наст. изд., стр. 596) «Московские ведомости» предполагали получить преимущественное право представлять материалы в Цензурный комитет для предварительного ознакомления до печати – в корректурных гранках набора. Как правило же, все издания поступали в цензуру уже в отпечатанном виде, то есть перед выпуском в свет. В случае неодобрения такое издание уже не могло быть исправлено и подвергалось запрету (так называемая карательная цензура).

Стр. 480...именно на Страстном бульваре... – См. прим. к стр. 272.

...подобно г. Феоктистову (см. письмо г. Касьянова в 16 № «дня») желали бы участвовать на первом рауте... – В № 16 газеты «День» от 18 апреля 1864 г. И. С. Аксаков (псевдоним – Касьянов) высмеял литератора Е. М. Феоктистова за участие в рауте у министра иностранных дел А. М. Горчакова.

Стр. 482...известный своими трудами не столько по части истории, сколько по части политической токсикологии. – Прямое указание на роль провокатора-предателя, которую сыграл поэт-переводчик В. Д. Костомаров в деле Чернышевского. Этот фрагмент отсутствует в журнальном тексте.

Созия – двойник (от лат. *Sosia* – по имени персонажа комедии Плавта «Амфитрион»).

...есть настоящий Зайцев, который ничего не пишет... – Намек на то, что Зайцеву, чтобы быть «настоящим», не следовало бы вообще ничего писать.

...псевдо-Зайцев... вместе с Кузьмой Прутковым... – См. прим. к стр. 376.

...«Мальчик, у которого фосфор не в голове, а на голове». – По-видимому, намек на то, что хотя фельетон Зайцева о Яше Злючкине, направленный против Салтыкова («Русское слово». 1864, № 4), появился без подписи, его автора легко узнать. «Фосфор... на голове» – в значении «На воре шапка горит».

...ни Страховым, ни Косицей. – См. прим. к стр. 44.

Стр. 483...девица Инна Горобец... – См. прим. к стр. 360.

...Россия не в Москве, а в России... – Ироническое упоминание о передовой статье И. С. Аксакова, напечатанной в № 15 газеты «День» от 11 апреля 1864 г., в которой автор писал: «Россия не в Москве: среди сынов она, говорится в одной старинной трагедии... Тогда как у других народов обладание столицею тождественно с обладанием всею странюю, и тот, например, кто господствует в Париже, тот господин и владыка над всею Францией, – у нас напротив: пожар Москвы только доказал миру воочию и въявь, что истинная сила России не в столице, а в русской земле...»

Стр. 484. На страницах этого № вновь появился г. Касьянов... и от нечего делать повел речь о нигилистах. – «Я нашел, что нигилизм в литературе очень присмирел», – писал Аксаков в № 16 «Дня» от 18 апреля 1864 г. «И поверьте, гг. публицисты,

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru фельетонисты и прочие, – нигилизм, который вас так пугает, скоро завянет на чистом свободном воздухе, от жгучих лучей солнца правды...»

И ты, когда на битву с ложью.. – См. прим. к стр. 354.

Стр. 486. «Телемахида». – См. прим. к стр. 355.

Стр. 487...не может отличить Ничкину от Белотеловой... – В статье «Русский театр. I» («Эпоха», 1864, № 2) А. Григорьев, описывая спектакль Александрийского театра «За чем пойдешь, то и найдешь» («Женитьба Бальзаминова»), заметил: «Даже Раиса и Анфиса хороши, а Ничкина так просто прелесть». Следовало написать: «Белотелова», Ничкина – тоже купеческая вдова, но лицо из первой части трилогии Островского о Бальзаминове – «Праздничный сон – до обеда». Свою следующую статью «Русский театр в Петербурге. II» Григорьев начинает с извинения: «Белотелову в «Женитьбе Бальзаминова» я назвал Ничкиной, в извинение чего не имею права сказать даже, как гоголевский городничий: „по неопытности”». Можно отметить, кстати, что «Женитьба Бальзаминова» была напечатана во «Времени» (1861, № 9).

...вместо... «...чару зелена вина»... «чару велена зина». – Высмеивается дефект речи актера А. П. Славина, часто переставлявшего слоги в словах. См. об этом также в статье Салтыкова «Петербургские театры» (I) – т. 5 наст. изд., стр. 163.

Стр. 488. Действующие лица: Стриж первый, редактор журнала – М. М. Достоевский; Стриж второй, философ – Н. Н. Страхов; Стриж третий, эстетик – А. А. Григорьев; Стриж четвертый, беллетрист унылый – Ф. М. Достоевский; Стриж пятый, беллетрист веселый – Г. П. Данилевский (псевд. А. Скавронский); Стриж шестой – поэт Н. Гербель; Стриж седьмой – поэт Ф. Берг.

...«Возобновленный Сатурн» – ироническое название «Эпохи».

...Стрижу второму пришла несчастная мысль слетать в злополучный некоторый край... – Намек на статью Страхова о событиях в Польше «Роковой вопрос», из-за которой было закрыто «Время».

...«Вдруг вздумал странствовать один из них, лететь...» – Несколько измененная строка из басни И. А. Крылова «Два голубя»: «Нет, вздумал странствовать один из них – лететь...»

Стр. 489...некто Петерсон... за что они нас обидели? – См. прим. к стр. 124.

Андрей Премудрый – А. А. Краевский – редактор-издатель «Отечественных записок».

Стр. 492...перепечатать из той же «Эпохи» новое произведение И. С. Тургенева. – Повестью Тургенева «Призраки» открывался первый номер «Эпохи» за 1864 г.

...рассказ под названием «Старые и новые стрижи», присланный мне из провинции. – «Старые и новые порядки (записки помещика)» О. Ержинского, напечатанные в «Эпохе», 1864, № 1.

...нашего русского Купера! – Речь идет о Г. П. Данилевском.

Стр. 493...ро... ро... ро... – первая строчка пародийного стихотворения Ф. М. Достоевского из статьи «Опять Молодое перо» («Время», 1863, № 3), направленной против Салтыкова.

Стр. 494...изложите, пожалуйста, в форме письма ко мне... – Критические статьи в форме письма в редакцию журнала постоянно помешались во «Времени» и «Эпохе», см., например, «Нечто об опальном журнале (письмо к редактору)» Н. Косицы («Время», 1862, № 5); «Нечто об авторитетах (письмо в редакцию «Времени»)» его же («Время», 1862, № 12); «Новое художественное произведение и наша критика (письмо в редакцию «Времени»)» его же («Время», 1863, № 2) и др.

Стриж второй. Принес покаяние и получил прощение. – Активная деятельность Страхова, принимавшего все меры, чтобы оправдать себя и редакцию «Времени» в связи со статьей «Роковой вопрос», была, очевидно, известна Салтыкову. Впоследствии Страхов писал в «Воспоминаниях»: «Со своей стороны, я делал все, что можно и что мне советовали. Я тотчас написал М. Н. Каткову и И. С. Аксакову, составил объяснительную записку для министра внутренних дел и предполагал подать

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru просьбу государю. Ничего не удавалось, ничего не действовало. И М. Н. Катков и И. С. Аксаков отозвались сейчас же и принялись действовать с великим усердием. Нужно было печатно объяснить недоразумение» (Ф. М. Достоевский. Полн. собр. соч., т. 1, 1883, стр. 254–255). «Ответ редакции «Времени» на нападение «Московских ведомостей» напечатать не удалось. «Решительный поворот делу», по словам Страхова, дала заметка, помещенная в «Русском вестнике» (1863, № 5). См. также прим. к стр. 521.

СТРИЖАМ

(Послание обер-стрижу, господину Достоевскому)

Впервые – С, 1864, № 7, отд. «Современное обозрение» (стр. 154–155 (ценз. разр. – 16 июля и 18 августа). Подпись: Посторонний сатирик, автор «Стрижей». К заглавию статьи дано следующее примечание редакции «Современника»: «Мы решительно не одобряем ни чересчур резкого тона этого «послания», ни его бесцеремонных полемических приемов, а печатаем его единственно во уважение его цели, которая действительно стоит того, чтобы для ее достижения употребить даже те неодобрительные средства, какие употребил автор послания».

Полемическая статья «Стрижам» написана Антоновичем, но первый абзац ее, по свидетельству секретаря редакции «Современника» А. Ф. Головачева, [161] взят из рукописи статьи Салтыкова, не увидевшей света и до сих пор не найденной. Той же рукописью, по-видимому, воспользовался Антонович и еще в одном случае. «Силу моего влияния на вас, – читаем в его статье, – я испытал на деле, и, кажется, она достаточна для того, чтобы постепенно видоизменить вашу натуру; я сказал: «стрижи!», и вы все всполошились, как ошеломленные, точно в вашу стаю сделали выстрел; но стоит мне сказать, что вы совсем не стрижи, а заправские литераторы, такие же люди и такие же журналисты, как и все, – и вы придете в восторг, ваше существо просияет...» [162] Этот текст соответствует следующим строкам полемического отрывка Салтыкова «Но если уж пошла речь об стихах...»: «...я, что захочу, то с вами и сделаю. Захочу – приведу в восторг; захочу – доведу до иступления; захочу – накажу, захочу – помилую. Мне стоит сказать: «Вы совсем не стрижи, а заправские литераторы» – и вы возрадуетесь; но вслед за тем я могу сказать: «Нет, я обманул вас, стрижи, вы совсем не литераторы, а стрижи!» – и вы закручинитесь» (см. наст. том, стр. 522). И текст Антоновича, и текст Салтыкова, надо думать, восходят к более раннему источнику, то есть все к той же статье Салтыкова, из которой извлек Антонович первую страницу своего «послания».

Так как статья Салтыкова «Литературные мелочи» (с «драматической былью» «Стрижи») не была подписана, Антонович объявил, что автором «Стрижей» был также он, «Посторонний сатирик». Мистификация была заподозрена Достоевским: «Только Стрижей не вы писали, – отметил он в записной книжке, – в Стрижах есть веселость. А что, если вы солгали?» [163]

ЗАМЕТКА»

При жизни Салтыкова напечатано не было. Впервые – в изд. 1933–1941, т. 18, стр. 379–380, с неверной датировкой (1863 вместо 1864). Перепечатана в т. 6 этого же издания (стр. 521–522) с исправлением даты: 1864 г. (стр. 567).

Сохранился единственный источник – рукопись, с подписью: М. Салтыков (Государственная Публичная библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина).

Причины неоявления «Заметки» в печати (она предназначалась для «Современника», 1864, № 8) освещены в письме Салтыкова к Некрасову из Витенева от 5 октября 1864 г. «Заметку мою в августовской книжке не напечатали, и я получил от Пыпина (уж после выхода книжки) письмо, в котором он пишет, что находит мою заметку слишком серьезною (?). Ну да черт с ними, а дело в том, что мне совершенно необходимо видеться с Вами и поговорить обстоятельнее. Ибо тут идет дело о том, могу ли я угодить на вкус гг. Пыпина и Антоновича».

ЖУРНАЛЬНЫЙ АД

При жизни Салтыкова не печаталось. Впервые – ЛН, т. 11–12, М. 1933, стр. 114–121) (публикация В. В. Гиппиуса).

Сохранилась чистая корректура статьи, не имеющая подписи автора и адресованная А. Н. Пыпину (ИРЛИ).

Судя по ссылкам на августовские газеты (прямая ссылка на статью «Дня» от 1 августа и вероятные ссылки на статью «Сына отечества» от 14 августа), В. В.

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru Гиппиус пришел к выводу, что статья написана в августе 1864 г. и предназначалась для сентябрьской книжки «Современника». Эта же дата повторена в т. 6, стр. 564, изд. 1933–1941. Между тем известно, что статья под таким заглавием, но без указания имени автора, предназначалась для № 10 «Современника» за 1864 г., но была запрещена цензурой. [164] Цензурные разрешения № 10 «Современника» были даны 9 и 13 ноября. Поэтому, вероятнее всего, Салтыков работал над статьей «Журнальный ад» не в августе, а в сентябре или октябре. Такое предположение подтверждается и записью от 4 ноября 1864 г. в «Журнале заседаний С.-Петербургского цензурного комитета»: «„Журнальный ад“ – статья, изображающая в резких и непристойных выражениях положение журналистика. Определено: запретить». [165]

Сатирик не видит существенной разницы между статьями московских публицистов (в газетах «Московские ведомости», «День») и петербургской публицистикой («Сын отечества», «Голос»). Те и другие «душедрянят и умонелепствуют», «выжимают все один и тот же выжатый лимон», только последние делают это с некоторой «гримасой томной стыдливости». Такое состояние русской журналистики, определяемое как «журнальный ад» или «сумасшедший дом», резко отличается от того, что было пять лет назад, когда в стране начинался мощный демократический подъем, вызвала революционная ситуация. С горечью констатирует Салтыков, что в том недалеком времени было «зерно чего-то такого, что, однако ж, не взшло». Наступившая реакция как нельзя более способствует процветанию «стрижей», чьи эклектические теории характеризуются как «бессмысленный» и «безобразный винегрет».

В соответствии со всей логикой статьи Салтыкова центральной фигурой «журнального ада» оказывается герой Достоевского, в котором своеобразно совмещены черты Макара Девушкина (из повести «Бедные люди») и «человека из подполья». Так возникает сатирический образ «Девушкина, сидящего в сатанах». По мнению Салтыкова, прежний гуманизм автора «Бедных людей», связанный с традицией Гоголя, судя по последним произведениям редактора «Эпохи», в значительной мере «издержался». Этот намек можно усмотреть в словах о Девушкине, который из гоголевской «Шинели» «сумел-таки выкроить себе, по малой мере, сотню дырявых фуфаек».

В заключении сатирической статьи ее глубоко драматический подтекст как бы прорывается наружу в словах о том, что для «делателей этого ада» он полон «тяжких и непереносных мук».

Стр. 497...журнальные семейства... – После смерти М. М. Достоевского (10 июля 1864 г.) право издания «Эпохи» перешло к его вдове Э. Ф. Достоевской и ее семейству. Фактическим редактором журнала по-прежнему оставался Ф. М. Достоевский.

...стада «человекообразных»... – Имеются в виду публицисты «Русского слова» и сторонники этой группы (см. выше, стр. 695).

Матинька вы моя... и т. д. – Здесь пародия на содержание исповеди «человека из подполья» («Я ведь не кровожаден, а должен только показывать, что жажда убийства не чужда душе моей») как бы «вставлена» в форму, пародирующую стиль речей Макара Девушкина: «...не осудите же, простите вы меня, матинька вы моя». Ср. также у Достоевского в «Записках из подполья»: «Я человек больной... Я злой человек. Непривлекательный я человек». И у Салтыкова: «Я бедный сатана, я жалкий сатана, я дрянной сатана, матинька вы моя!»

Стр. 498...картонный литературный ад... – Ср. с разделом мартовской хроники «Нашей общественной жизни» за 1863 г., озаглавленным «Картонные кушанья, картонные копы, картонные речи!».

Стр. 498–499...посыпалось бесконечное число... вдовьих лепт... – В данном случае евангельская притча о двух лептах вдовицы (Лука, XXI, 1–4) используется только в прямом значении – скромного дара.

...обрекать себя на ту самую работу, за которую, по свидетельству Гоголя, брался известный Кифа Мокиевич. – См. прим. к стр. 92.

Стр. 500. Все эти «фореиторы»... – См. об этой метафоре И. С. Аксакова выше, прим. к стр. 116.

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Стр. 501...гистрион... – Гистрионами называли актеров в Древнем Риме.

...тысячи похотливых собак, которых хлебом не корми, да покажи обнаженное человеческое мясо. – Имеется в виду роль московской прессы в развязывании шовинистической кампании.

Стр. 502. Стриж всему изумляется... факты представляются ему изолированными и потому всегда новыми. – Ср. характеристику «миросозерцания дурака», подразумевающую все тот же старинный «винегрет», в статье «Литературные мелочи»: «Предметами этими мыслительная его сила поражается отрывочно, а потому он всякую минуту подавляется разнообразием впечатлений, и ни одного из них не удерживает прочно. Для него всякая штука представляет, так сказать, новизну...»

...просто словесные упражнения, без подлежащего, сказуемого и связки... – Одна из излюбленных формул Салтыкова для характеристики бедности и неясности мировоззрения, в данном случае – почвеннической идеологии.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ КУСТЫ

При жизни Салтыкова напечатано не было. Впервые – ЛН, т. 67, м. 1959, стр. 372–381 (публикация и обоснование авторства В. Э. Бограда).

Сохранилась вторая, чистая корректура статьи, набранная 11 ноября и не имеющая подписи автора (ИРЛИ).

Датировка статьи «Литературные кусты» не представляет затруднений. В литературе о «Современнике» давно известно, что статья под таким заглавием, но без указания имени автора, предназначалась для № 10 журнала за 1864 г.. [166] Цензурные разрешения № 10 «Современника» последовали 9 и 13 ноября, а № 8 «Эпохи», в котором было напечатано «Объявление» о подписке на этот журнал в 1865 г. (ответом на это «Объявление» и является статья «Литературные кусты»), вышел в свет после 27 октября. Следовательно, статья «Литературные кусты» была написана в самом конце октября – начале ноября 1864 г.

Статья относится к последнему этапу полемики между «Современником» и «Эпохой». Почти одновременно с «Литературными кустами» Салтыковым были написаны статьи «Журнальный ад» (см. выше) и рецензия «О добродетелях и недостатках...» (см. т. 5 наст. изд.). Слова Достоевского в «Объявлении»: «не хулить, не осуждать, – а любить уметь – вот что надо теперь настоящему русскому» – были направлены против публицистов «Современника». Дело сводилось в конце концов к обвинению литераторов демократического лагеря в недостатке патриотических чувств. «Эпоха» вновь оправдывала пророчество Салтыкова 1863 г., что в ближайшем будущем почвенники начнут «катковствовать» (см. фельетон «Тревоги „Времени“», стр. 47 наст. тома).

Важность вопросов, затронутых Достоевским в «Объявлении», побудила Салтыкова, не ограничиваясь сатирическим осмеянием «стрижиных мыслей», непосредственно высказаться о путях исторического прогресса, о роли западников и славянофилов в русском общественном развитии.

Другим произведением Достоевского, которое парирует автор «Литературных кустов», был памфлет «Господин Щедрин, или Раскол в нигилистах» с «Отрывком из романа „Щедродаров“» («Эпоха», 1864, № 5).

Стр. 506. «Спрятался в кусты...» – Так оценивал Салтыков следующие и другие аналогичные заявления из «Объявления» «Эпохи», которые несколько ниже приводит почти текстуально: «...личной полемики мы положительно хотим избегать, хотя и не утверждаем, что до сих пор не были в ней, хотя и невзначай, виноваты. Мерзит это нам, и не понимаем мы, как можно позорить бранью и сознательной клеветой людей (на что решаются некоторые) за то только, что они не согласны с нами в мыслях». Подобные заявления после памфлета «Щедродаров», направленного лично против Салтыкова, последний не мог определить иначе, как попытку уйти в кусты: «Помилуйте! Я этого не делал!» (см. ниже).

Стр. 507. «Эпоха» начала свое существование тем, что в 1–2 №№ выпустила на счет «Современника» сплетню... – Первое упоминание о полемике между «Русским словом» и «Современником», которое имеется тут в виду, появилось не в №№ 1–2, как ошибочно пишет Салтыков, а в № 3 «Эпохи» 1864 г. в статье Н. Страхова «Заметки летописца» (подпись: «Летописец»). Под заголовком «Междоусобие» было написано: «Между

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru «Современником» и «Русским словом» с начала нынешнего года началась полемика, и обещает быть очень жаркою. До сих пор отношения этих двух журналов были таковы, что «Русское слово» постоянно выражало свое одностороннее с «Современником» и свое уважение к «Современнику»; «Современник» же, известный строгостью своих суждений, постоянно молчал о «Русском слове», что и служило для сего последнего знаком особой милости. Итак, начинающуюся перепалку по всей справедливости следует признать междоусобною битвою» (стр. 339). И далее: «Признаться, я вовсе не хотел было заносить этого факта в свои заметки и заносу его только потому, что для многих читателей он покажется весьма немаловажным. Я же уверен, что они в этом случае сильно ошибаются» (там же). Затем Страхов подробно излагает и цитирует статью Писарева о Щедрине «Цветы невинного юмора».

Стр. 508. На этот кукиш «Современник» отвечал комедией «Стрижи». – См. выше стр. 488–494

«Эпоха»... видела в числе своих сотрудников Островского и Тургенева... – В «Объявлении» о подписке на журнал «Эпоха» 1865 г. («Эпоха», 1864, № 8) говорилось: «А. Н. Островский положительно обещал нам в будущем году свою комедию. И. С. Тургенев уведомил нас, что первая написанная им повесть будет помещена в нашем журнале».

Стр. 509. «Современник» счел долгом ответить и на эту статью... – См. выше стр. 695–696, 702.

Стр. 510. К стригам можно относиться только в художественной форме... – То есть всерьез спорить с почвенниками невозможно из-за отсутствия у них мировоззрения; с ними можно разговаривать лишь языком «комедии», сатиры. Это заявление Салтыков повторяет затем в резких выражениях еще дважды – в отрывке «Но если уж пошла речь об стихах...» и в статье «Гг. „Семейству М. М. Достоевского“, издающему журнал „Эпоха”»

...в сентябрьской книжке «Современник» совершенно ясно и вразумительно доказал стригам... – Имеется в виду статья М. А. Антоновича «Стрижи в западне».

Стр. 512. О ты, что в горести напрасно... – Начальные строки «Оды, выбранной из Иова, главы 38, 39, 40 и 41» М. В. Ломоносова.

...амплификация... – подробное рассуждение, разъяснение.

НО ЕСЛИ УЖ ПОШЛА РЕЧЬ ОБ СТИХАХ

При жизни Салтыкова не печаталось. Впервые – ЛН, т. 11–12, М. 1933, стр. 121–125 (вступительная статья и публикация В. В. Гиппиуса).

Сохранился один лист черновой рукописи этой статьи (ИРЛИ), судя по нумерации которого можно предположить, что утерянное начало (на четырех листах) было весьма обширным. Статья, по-видимому, не была закончена. Отдельные части сохранившегося отрывка восходят к более ранней неизвестной статье Салтыкова (см. выше, стр. 703). Горячая – по живым следам только что услышанных обвинений – полемика с публицистами «Русского слова» также указывает на связь отрывка с более ранним источником.

Если учесть, что статья является ответом на помещенную в сентябрьской книжке «Эпохи» статью «Чтобы кончить» и написана до появления октябрьского номера этого журнала, то не остается сомнений, что Салтыков работал над нею между 28 ноября и 12 декабря 1864 г. По предположению С. С. Борщевского, раскрытие Салтыковым мистификации Антоновича об авторе «драматической были» «Стрижи» (см. стр. 520) явилось причиной того, что статья не была напечатана. [167]

В процессе работы над рукописью после слов «Всех вместе презирать их трудно!» (стр. 519, строка 4) Салтыков вычеркнул следующий текст:

Что хотел сказать Пушкин, написавший эти стихи (сим свидетельствую, что талант великого поэта имеет во мне одного из ревностнейших почитателей)? Хотел ли он сказать, что «срамцы» могут внутренне огорчать человека? или то, что совокупность «срамцов» производит действие более сильное, нежели то, которое производит каждый из них, взятый в отдельности? Полагаю, что ни то, ни другое, а просто думаю, что Пушкин под этими словами разумел, что дружественный союз срамцов может неприязненнее действовать на человеческую эпидерму, нежели

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru сепаратные усилия каждого из них, взятого в отдельности.

Стр. 518. Но если уж пошла речь об стихах... – В статье «Чтобы кончить. Последнее объяснение с „Современником”» Ф. М. Достоевский, защищая «стрижей», сослался на стихи Фета:

«Вспомните начало одного стихотворения:

Жди ясного на завтра дня:

Стрижи мелькают и звенят.

Предвещать ясную погоду – очень лестно, особенно теперь, в наше время». Видимо, об этих стихах шла речь в предыдущей, не дошедшей до нас части статьи Салтыкова.

...Конечно, презирать не трудно... – Черновой отрывок стихотворения Пушкина (см. А. С. Пушкин. Полн. собр. соч., изд. АН СССР, т. 3, 1948, стр. 471). Салтыкову был известен неточный текст отрывка, впервые опубликованного Анненковым в «Материалах для биографии А. С. Пушкина»: Сочинения Пушкина, т. 1, изд. Анненкова, 1855, стр. 336.

Стр. 519. Человекообразные соединились с стрижами... – В нападках на Салтыкова как на идеолога и художника, на его биографию, со стороны «Русского слова» и «Эпохи», было много общего. Упреки Салтыкову в дворянском либерализме, в навязывании «Современнику» чуждого ему направления, – все это охотно перенимала «Эпоха» («стрижи») из арсенала «Русского слова» («человекообразных»), где Писарев назвал сатирика «действительным статским прогрессистом», а его творчество «цветами невинного юмора». Поэтому Салтыков пишет далее, обращаясь к почвенникам: «Вы позаимствовались комками грязи, кинутыми в меня „Русским словом”». Имеется в виду прежде всего статья Достоевского «Господин Щедрин, или Раскол в нигилистах», а также выступления Страхова и Ап. Григорьева. Григорьев, например, в статье «Парадоксы органической критики» («Эпоха», 1864, № 5) писал: «...прав г. Писарев: взялся за гуж – можно сказать г. Щедрина – не говори, что не дуж, – или «не виляй хвостом», по его собственному любимому выражению».

Следует отметить в свою очередь, что нападки «Русского слова» на Салтыкова были во многом похожи на то, что ранее писалось во «Времени», в частности Достоевским в статье «Опять Молодое перо»: «Вас потянуло к нигилистам, и вы даже не усомнились, в самом ли деле это нигилисты и такие ли бывают нигилисты. Вы примкнули к ним, от души, веря, что они всех сильнее. Вы до сих пор не замечаете, до какой степени все это пробивается красненькой казенщиной...» (Ф. М. Достоевский. Цит. изд., т. 13, стр. 319). И там же: «Ваше творчество не сатира, а зубоскальство, а стало быть, и ваша деятельность не дело, а искусство для искусства».

...молодой гиббон...написал, в шутовском, но пакостном тоне, мою биографию. – Зайцев, написавший фельетон-биографию Яши Злючкина (см. выше, стр. 701).

...некоторый чимпанзе обратился ко мне с серьезным увещанием... – Речь идет о Писареве – авторе статьи «Цветы невинного юмора».

...сам старый горилла... и тот воспылил ко мне гневом... – Благодетель, автор статьи «Кающийся, но не раскаявшийся фельетонист „Современника”» (см. выше, стр. 696).

Один из них (впоследствии он назвал себя...) написал даже целый роман... – В статье «Необходимое заявление» («Эпоха», 1864, № 7) Достоевский объявил, что он является автором «Щедродарова»: «В июльском номере «Современника» помещены две чрезвычайные статьи, направленные против «Эпохи», очевидно, в отместку моей статье: „Господин Щедрин, или Раскол в нигилистах”» (Ф. М. Достоевский. Полн. собр. соч., т. 13, стр. 343).

Наконец, амфибии и те пискнули... – Речь идет об «Отечественных записках», «Библиотеке для чтения» и других умеренно либеральных изданиях и их откликах на полемику «Современника» с «Русским словом» и «Эпохой». В частности, «Отечественные записки» (1864, № 6) напечатали статью Е. Ф. Зарина (Incognito) под названием: «Начало конца. Очерк с претензией, вызванный расколом в нигилизме», а «Библиотека для чтения» (1864, № 1) поместила статью Н. Н. Воскобойникова (Н. В – ов), озаглавленную: «Что такое наши теперешние направления?».

Стр. 520...вы еще в прошлом году согласились с этим: «Ну да, что ж делать? птицы

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru так птицы...» – В ответной статье на фельетон «Тревоги „Времени“» – «Опять Молодое перо» – Достоевский, действительно, очень спокойно отнесся к сравнению почвенников с птицами. Он писал: «Хотел было я, правда, вам стихи сочинить, в pendant к вашим, в которых вы сравниваете нас с утками и с разными птицами. <Далее цитируются стихи Щедрина>. Да что, и ваши-то стихи я нахожу плохими, а уж у меня так ровно ничего не выходит» (Ф. М. Достоевский. Цит. изд., т. 13, стр. 321).

Стр. 521...думаешь, идет дело о польском вопросе – ан нет, речь идет об индюшках, ан нет, об антиспатах, ан нет, о Фейербахе. – Ироническое перечисление тем статей Страхова: «Роковой вопрос» («Время», 1863, № 4), «Об индюшках и о Гегеле» («Время», 1861, № 9), «Опыты изучения Фейербаха» («Эпоха», 1864, № 6). См. также прим. к стр. 49.

...хорошее, кроткое ваше поведение, засвидетельствованное «Московскими ведомостями». – О том, как «Московские ведомости» помогли реабилитировать редакцию «Времени» после закрытия журнала, вспоминал впоследствии Страхов: «Редакция «Московских ведомостей», чувствуя себя в некоторой мере виноватой, усиленно хлопотала о том, чтобы помочь беде, и после всяческих настояний у министра П. А. Валуева добилась наконец того, что ей, но только ей одной, дана была возможность объяснить возникшую путаницу. Это объяснение явилось в майской книжке «Русского вестника»... Заметка называлась «По поводу статьи „Роковой вопрос“» и отличалась обыкновенным мастерством. В ней я был осыпан упреками очень резкими по форме, но мало обидными по содержанию; решительно отвергались и опровергались все положения моей статьи, но вместе столь же решительно утверждалась и доказывалась ее невинность» («Материалы для жизнеописания Ф. М. Достоевского» в кн.: Ф. М. Достоевский. Полн. собр. соч., т. 1, СПб. 1883, стр. 255–256).

...в самом начале вашего литературного поприща баловался с вами «Современник»... – См. выше, прим. к стр. 45.

...Петерсон не литератор, а просто пронизательный человек – то есть доносчик. См. о нем прим. к стр. 124.

Стр. 522...мичман Петухов поступал очень неосновательно... – В комедии Гоголя «Женитьба» (д. II, явл. VIII) Жевакин рассказывает о мичмане Петухове: «Бывало ему, ничего больше, покажешь эдак один палец – вдруг засмеется, ей-богу, и до самого вечера смеется».

Стр. 523...склав – раб.

Гг. «СЕМЕЙСТВУ М. М. ДОСТОЕВСКОГО», ИЗДАЮЩЕМУ журнал «Эпоха»

При жизни Салтыкова напечатано не было. Впервые – в журнале «Минувшие годы», 1908, № 1, стр. 77–83 (по полученному от М. А. Антоновича автографу с некоторыми неточностями).

Беловая рукопись с правкой автора, с подписью Н. Щедрин, хранившаяся у Антоновича, находится в ИРЛИ.

Статья возникла, вероятно, в середине декабря 1864 г. (полемика с «Заметками летописца» Н. Страхова, напечатанными в октябрьском номере «Эпохи», вышедшем в свет 12 декабря) и, скорее всего, предназначалась для ноябрьско-декабрьского номера «Современника», получившего цензурное разрешение 25 ноября и 30 декабря. Существуют три версии ответа на вопрос, почему эта статья не появилась в печати. Первая исходит от М. А. Антоновича и отражена в сделанном к публикации примечании редакции: против напечатания статьи возражал Некрасов из-за резкого тона по отношению к Достоевскому. Эта версия была оспорена Р. В. Ивановым-Разумником: статья была запрещена самим Антоновичем, в интересы которого не входило раскрыть непричастность Салтыкова к июльским и сентябрьским «Литературным мелочам». [168] Анализируя эти точки зрения, В. В. Гиппиус приходит к более вероятному выводу: «статья была отвергнута по общередакционным соображениям, а не по личному произволу Антоновича». [169]

Статья эта, по замыслу Салтыкова, должна была завершить полемику с «Эпохой». Она явилась ответом на два выступления почвенников («последние сказания»): «Чтобы кончить. Последнее объяснение с „Современником“», Достоевского (без подписи) –

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru «Эпоха», 1864, № 9, и «Заметки летописца. Последние два года в петербургской журналистике», Страхова – «Эпоха», 1864, № 10. Итоговый характер статьи побуждает Салтыкова в ряде случаев отступать от своего обычного шутивно-пародийного тона в беседах с почвенниками и объяснять свою точку зрения обстоятельно и серьезно (например, об отношении к роману «Что делать?», о содержании своего произведения «Как кому угодно»).

Стр. 524. Я всего два раза в течение моей недолговременной журнальной деятельности имел удовольствие беседовать об вас... – Речь идет о фельетоне «Тревоги „Времени“» (в составе мартовской хроники «Наша общественная жизнь», 1863) и памфлете «Стрижи» (в составе статьи «Литературные мелочи», 1864). Другие написанные Салтыковым полемические статьи и заметки против «Эпохи» в «Современнике», как сказано выше, не появлялись (см. стр. 696).

...я даже не посягал на изображение каких бы то ни было «литературных отношений», как выражается ваш семейный летописец... – В «Заметках летописца» Страхов писал: «...«Эпоха» увлеклась дурным примером, который представляли «Стрижи», и поместила у себя статью под заглавием «Г-н Щедродаров, или Раскол в нигилистах». Статья эта, подобно «Стрижам», представляет фантазию из литературного мира, род произведений, в которых литературные отношения изображаются в лицах, в виде сцен между различными литераторами. Подобно «Стрижам», статья была карикатурой. Подобно «Стрижам», она заключала в себе намеки на чисто личные отношения. Подобно «Стрижам», она заходила дальше всем известного и публично заявленного» («Эпоха», 1864, № 10, стр. 6–7).

Сначала вы обозвали меня злым человеком... – В статье «Опять Молодое перо» Достоевский писал: «...к чему, к чему доходить до такого бешенства, до такого нервного сотрясения, до такой пены у рта!» (Ф. М. Достоевский. Полн. собр. соч., т. 13, стр. 311).

...ссылаясь на г. Фета, вы объяснили читателям, что «стриж» птица совсем не постыдная... и даже предвещающая хорошую погоду... – См. прим. к стр. 518.

Стр. 525...он <Достоевский> впоследствии сознался, что статья эта написана им... – См. на стр. 710 прим. к стр. 519.

...к изумлению перед моею плодovitостью... – В «Заметках летописца» Страхов отмечал: «История литературы, конечно, запишет на своих страницах и скрижалях, что редко какой-нибудь писатель писал так обильно, как г. Щедрин в 1863 году, и что этот год есть плодотворнейший год его авторского поприща» («Эпоха», 1864, № 10, стр. 1).

...что моя журнальная деятельность свидетельствует лишь о «необыкновенной легкости в мыслях». – Имеются в виду следующие слова Страхова: «У меня легкость в мыслях необыкновенная», говорит одно лицо в гоголевской комедии. Я всегда вспоминал об этой легкости, когда с обычным моим прилежанием следил за течением речи г. Щедрина» (там же, стр. 5).

...к недоумению насчет моих отношений к роману «Что делать?». – Касаясь полемики «Современника» с «Русским словом». Страхов спрашивал: «Что сказал или хотел сказать г. Щедрин в продолжение года? Зачем он напал на роман „Что делать?“» (там же, стр. 9). См. также стр. 324 и прим. к ней.

...«К. Бибииков». – В «Эпохе» печатался беллетрист К. И. Бабииков, автор романа «Глухая улица»; во «Времени» в 1863 г. выступал с публицистическими статьями («От Петербурга до Екатеринославля», «Территориальная военная система») П. А. Бибииков. Может быть, Салтыков намеренно спутал эти фамилии.

Стр. 526...усматриваете даже... вариацию на теорию страстей, положенную в основание универсальной ассоциации? – См. прим. к очеркам «Как кому угодно».

Стр. 527...журнальная моя деятельность обнимала 1863 и начало 1864 года, а в это время российские журналы и газеты совсем не об «идеях» и «сюжетах» заботились, а о том, в ком из них больше приятности... – В первой части этого текста Салтыков говорит о своей работе «хроникера» «Современника», то есть о своих обозрениях «Наша общественная жизнь», которые начали печататься в № 1 «Современника» за 1863 г. и закончились по не зависевшим от автора обстоятельствам в № 3 «Современника» за 1864 г. Во второй части комментируемого текста имеется в виду

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru шовинистический угар, охвативший большую часть прессы в связи с польским восстанием 1863 г.

Стр. 528. Вы не раз обличали меня в том, что я принимал участие во «Времени» прежде, нежели был закрыт «Современник». Да, это правда; утверждая противное, я ошибся. – «Противное» Салтыков утверждал о мартовской хронике «Нашей общественной жизни» за 1863 г., в фельетоне «Тревоги “Времени”» (стр. 47 наст. тома). Ошибка Салтыкова была немедленно замечена и указана Достоевским в № 3 «Времени» за 1863 г. в статье «Опять Молодое перо»: «...в апрельском номере «Времени» за прошлый год были помещены у нас две ваши статьи» (Ф. М. Достоевский. Цит. изд., т. 13, стр. 315). Действительно, в апрельской книжке «Времени» за 1862 г. (то есть еще до закрытия «Современника») были напечатаны две сцены Салтыкова из «Недавних комедий»: «Соглашение» и «Погоня за счастьем». В сентябрьской книжке «Времени» был напечатан «Наш губернский день».

В 1861 г. я приезжал в Петербург и случайно свиделся с Ф. М. Достоевским... – Салтыков приезжал в 1861 г. в Петербург из Твери. Вероятно, в конце октября – начале ноября Салтыков встретился с Достоевским и получил его приглашение печататься в журнале «Время».

Вы притворяетесь, что не прочли последних статей «Современника»... – Страхоб заявлял в «Заметках летописца»: «Статьи эти <то есть статьи «Современника» против «Эпохи»> правильным образом разделяются на два разряда: три первые – ругательные и две последние – оправдательные. Я читал ругательные, но оправдательных до сих пор не успел прочесть за недосугом; шутка ли – сто страниц!» («Эпоха», 1864, № 10, стр. 8). «Оправдательными» здесь названы статьи, в которых Антонович стремился несколько изменить тон полемики, ничего не меняя в ее существе (С, 1864, №№ 9 и 10 – «Стрижи в западне», «Любовное объяснение с Эпохой») и др.).

СТАТЬИ 1856–1860 гг

СТИХОТВОРЕНИЯ КОЛЬЦОВА

Впервые, в сокращенной редакции, – в журнале «Русский вестник», 1856, № 22, за подписью: М. С. (с послесловием М. Каткова: «Несколько дополнительных слов к характеристике Кольцова»). Автограф неизвестен. Полный текст опубликован лишь в 1959 г., в «Литературном наследстве» по корректурным гранкам журнала «Библиотека для чтения» (ЦГАЛИ, ф. 1296, оп. 2, ед. хр. 32, лл. 4–36). [170] На гранках имеются пометы цензора (отчеркивания и знаки вопроса на полях, подчеркивания в тексте) и три надписи: 1) на л. 1: «№ 8 Библиотеки для чтения 21 июля»; 2) на лл. 7, 9 и 11: «Статья эта не может быть пропущена. Цензор И. Лажечников. 24 июля 1856 г.» и 3) на л. 28 об.: «Отд. V «Библиотеки для чтения», № 8-й. Исправленное автором. Г. цензору Лажечникову». Корректурa содержит одновременно первоначальную авторскую редакцию статьи (если читать только наборный текст) и редакцию, выработанную Салтыковым применительно к замечаниям цензора (если читать наборный текст с учетом всех рукописных изменений). В настоящем издании статья печатается в первоначальной доцензурной редакции, за исключением нескольких мелких поправок, внесенных Салтыковым в гранки вне связи с цензорскими замечаниями и являющихся, таким образом, последними авторскими вариантами. Изъятия и замены в тексте, сделанные Салтыковым в соответствии с пометками цензора, как и сами эти пометки, – см. в подстрочных примечаниях к названной выше публикации В. Э. Богграда.

Комментируемая статья написана в связи с выходом в свет книги стихотворений Кольцова, выпущенной в Москве в конце марта 1856 г.. [171] Это было повторение издания 1846 г., осуществленного Н. Некрасовым и Н. Прокоповичем. При перепечатке новые издатели сохранили вступительную статью Белинского и на титульном листе обозначили его имя, находившееся под запретом в последнее семилетие царствования Николая I. [172] Преимущественно по этой последней причине книга сразу же оказалась в центре общественного внимания. Почти все журналы поместили о ней отзывы. Рецензия в «Современнике» – в майском номере – была написана Чернышевским. Он оценил появление нового издания Кольцова со статьей Белинского, как «одно из важных и самых отрадных событий в нашей литературной жизни за настоящий год». [173] Желая, по-видимому, привлечь большее внимание к явочному «амнистированию» имени Белинского в печати, Чернышевский свел свою рецензию к публикации нескольких отрывков из «превосходной статьи» критика, так как «напрасно было бы желание сказать что-нибудь более полное и верное». [174]

Не ставя перед собой такой тактической задачи, Салтыков, напротив того, взялся

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru за перо с намерением сказать о Кольцове то, что, по его мнению, не сказали о нем Белинский и Вал. Майков, чьи статьи он хотя и называет «весьма замечательными», но признает их недостаточными для оценки таланта поэта и ошибочными в некоторых исходных теоретических суждениях.

Статья Салтыкова была написана летом 1856 г. К середине июля рукопись ее была набрана. Статья предназначалась для августовского номера «Библиотеки для чтения» и должна была, таким образом, явиться первым выступлением Салтыкова в печати после возвращения из ссылки (печатание «Губернских очерков» начиналось со второй августовской книжки «Русского вестника»). [175] То, что выступление Салтыкова должно было состояться на страницах «Библиотеки для чтения», объясняется его приятельскими в ту пору отношениями с А. В. Дружининым. Последний уже принимал в это время участие в руководстве «Библиотекой...», хотя формально стал ее редактором с ноября 1856 г., вместо О. И. Сенковского и его помощника А. В. Старчевского.

Однако статья Салтыкова в «Библиотеке...» не появилась. Горячий демократизм автора и его призывы к писателям обратиться к насущным социальным вопросам современности испугали А. В. Старчевского, фактического руководителя издания вплоть до перехода его в руки А. В. Дружинина. Умеренный либерал по своим политическим симпатиям и «коммерческий литератор» по практической деятельности, А. В. Старчевский заявил издателю «Библиотеки...» В. П. Печаткину, что «такие статьи перевернут все вверх дном, погубят журнал и что он за такие статьи <...> не отвечает». [176] Одновременно А. В. Старчевский поделился этими своими опасениями со вновь назначенным цензором журнала писателем И. И. Лажечниковым и попросил его ознакомиться с уже набранной статьей. Как это видно из приведенных выше надписей на корректурных гранках, Лажечников прочитал статью дважды; второй раз – после того, как, следуя его замечаниям при первом чтении, Салтыков внес в текст много изменений и сокращений. Однако и сильно смягченная редакция не удовлетворила «робкого» (более позднее выражение Салтыкова) цензора-писателя, и статья была им запрещена.

По существовавшим правилам можно было просить о пересмотре решения цензора. Статья могла быть представлена редактором журнала в Петербургский цензурный комитет для коллегиального рассмотрения. Салтыкову так и предлагали поступить, но он отклонил предложение. [177] Уверенности в том, что Комитет занял бы иную, чем его цензор, позицию, у Салтыкова не могло быть. Начинать же после возвращения из ссылки писательскую деятельность официальным столкновением с органом политического контроля правительства над печатью ему, по понятным причинам, не хотелось. Салтыков перенес печатание статьи в Москву, в «Русский вестник», надеясь, видимо, на другое отношение к своему выступлению как со стороны редактора Каткова, так и со стороны либерального цензора Н. фон Крузе, с которым был знаком. Но если такие надежды имелись, они оказались тщетными. Хотя статья и появилась в журнале, но без своей важнейшей программно-теоретической части, с рядом других изъятий и смягчений и в сопровождении несколько «гувернерского» послесловия Каткова, скрыто полемичного (в оценке кольцовских «дум»), хотя внешне и комплиментарного, по отношению к Салтыкову, названному здесь «одним из даровитейших наших сотрудников». Подписанная лишь инициалами Салтыкова, эта публикация вплоть до 1930 г. не значилась в списке сочинений писателя, хотя не только сотрудники «Библиотеки для чтения», но и ряд других литераторов-современников знали имя автора. [178]

Появление статьи в печати осталось почти незамеченным критикой. Лишь В. Р. Зотов кратко отметил ее в «Сыне отечества», в своем анонимном «Обзоре периодических изданий». Среди «замечательных» статей 20 и 21 номеров «Русского вестника» Зотов упомянул и статью М. С. «Алексей Васильевич Кольцов»: «Хотя и трудно было после Белинского сказать что-нибудь об этом поэте, – говорится в «Обзоре», – но критик умел найти в нем некоторые новые стороны...» [179]

Статья о Кольцове, в ее доцензурной редакции, – важный программный документ Салтыкова, созданный им непосредственно при возобновлении – после ссылки – своей писательской работы. Статья вышла далеко за рамки суждений, относящихся собственно к поэзии Кольцова. В ней дано широкое изложение взглядов автора по общим коренным вопросам искусства и литературы, в связи с требованиями, предъявляемыми «современностью» – русской жизнью периода начинавшегося демократического подъема в стране. Статья представляет выдающийся интерес для понимания многих идейно-эстетических взглядов Салтыкова, впервые сформулированных им в момент вступления в «большую литературу», но сохранявших для писателя живое

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru значение и в дальнейшем.

Салтыков стягивает все затрагиваемые им в статье проблемы к двум основным вопросам – «художественности» и «народности». Разъяснение вопроса о «художественности» ведется в полемической форме. Оспаривается взгляд на этот вопрос «наших эстетиков», под которыми подразумеваются эстетики-идеалисты, теоретики «искусства для искусства», чьи воззрения господствовали тогда в литературе и обществе. Среди названных адресатов полемики – П. В. Анненков и его «теория чистой художественности», программно развернутая в незадолго до того напечатанной статье «О значении художественных произведений для общества» («Русский вестник», 1856, январь, кн. 1). Среди неназванных – А. В. Дружинин и его «артистическая теория», философской основой которой являлось мировоззрение крайнего идеализма.

Салтыков направляет свою критику на те представления, которые отводят искусству «область, находящуюся вне действительного мира» (первоначально было: «область внеобщественную»). К таким представлениям Салтыков относит, прежде всего, понимание «творческой силы» художника, как силы, всецело основанной на способности «созерцания», дающего будто бы возможность добывать «факты», то есть содержание, для искусства не из действительности, а из особого духовного мира, создаваемого воображением художника. «Теорией сошествия святого духа» называл Салтыков в письме к А. В. Дружинину (апрель – май 1856 г.) такое понимание творческой работы, имея в виду то самое выступление П. В. Анненкова, с которым он полемизирует в статье о кольцове. Этим спиритуалистическим концепциям, восходящим к романтизму и немецкому философскому идеализму, Салтыков противопоставляет материалистические принципы складывающейся эстетики русского революционно-демократического просветительства (для определения места салтыковской статьи в этом процессе следует помнить, что она написана до выступления в печати Добролюбова и лишь немного позже опубликования «Эстетических отношений искусства к действительности» Чернышевского). Единственный предмет искусства – утверждает Салтыков – «действительность» (понимаемая в социальном смысле и применительно к современности). Основной способ познания действительности, как в искусстве, так и в науке – «анализ».

Созерцание же определяется как вспомогательная к анализу синтезирующая способность художника.

В своем неприятии теорий «стихийного» творчества, возникающего в результате подсознательных импульсов художника или «самодетельной силы» его фантазии, Салтыков продвигается, в увлечении борьбы, дальше нужного рубежа. Доказывая необходимость для художника быть прежде всего «исследователем», аналитиком общественной жизни, он почти что отождествляет методы познания мира, которыми пользуются искусство и наука. «Силы, присущие труду художника и труду ученого, – утверждает он, – в существе своем одни и те же, и мысль художественная, в действительности, не что иное, как мысль общечеловеческая». Салтыков полемизирует здесь уже не с Анненковым или Дружининым и их единомышленниками. Он спорит с суждениями, а точнее, с формулировками Белинского и Валерьяна Майкова. «Искусство не допускает к себе... рассудочных идей, – писал Белинский, – оно допускает только идеи поэтические...» [180] В произведении искусства, – утверждал, со своей стороны, Вал. Майков, – не одна только форма, но сама «идея», «мысль» должны быть «художественны». [181] Салтыков полагает, что, выдвигая такой принцип, Вал. Майков не только солидаризируется с «внеобщественной» концепцией искусства, но и доходит до «более крайнего результата», чем сами эстетики-идеалисты. Еще дальше – по мнению Салтыкова – идет в том же направлении Белинский. Определяя свойства «гения», он – по словам Салтыкова – «наделяет его правом и способностью возвещать людям новую жизнь», то есть допускает будто бы возможность для художника творить в отрешении «от всякого участия в труде действительности и современности». А такое участие выдвигается Салтыковым в качестве главного требования, предъявляемого им к людям искусства. Салтыков полемически комментирует тут следующее место (не приводя его) из статьи Белинского о Кольцове: «Гений <в отличие от таланта. – С. М.> всегда открывает своими творениями новый, никому до него не известный, никем не подозреваемый мир действительности <...> Является гений – и возвещает людям новую жизнь...» [182]

Полемические заострения Салтыкова не означали, конечно, что он отказывал Белинскому и Вал. Майкову в понимании ими общественной природы и назначения искусства или что он действительно не делал различия между научным и художественным способами познания действительности, между мышлением понятиями и

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru мышлением образами. Как далеко, однако, шло в это время увлечение Салтыкова «практическим направлением» [183] в литературе и искусстве, видно из следующего сообщения Л. Н. Толстого в его письме к В. П. Боткину и И. С. Тургеневу от 21 октября – 1 ноября 1857 г.: «Салтыков даже объяснил мне, что для изящной литературы теперь прошло время (и не для России теперь, а вообще), что во всей Европе Гомера и Гёте перечитывать не будут больше». [184]

Эти заострения проистекали из характерного для личности Салтыкова, но также и для нового этапа в исторической жизни страны, страстного возвышения социально-действенной, практически-результативной роли искусства, а тем самым и места художника в общественном строю современности. Отсюда неудовлетворенность Салтыкова статьями Белинского и Вал. Майкова и упрек Белинскому в том, что его «оценка таланта Кольцова носит характер исключительно эстетический...». [185]

Салтыков стремится, таким образом, идти дальше Белинского в анализе литературы с точки зрения ее социального содержания и «практического направления». Но в целом, развиваемые им мысли об общественной природе и назначении искусства не только не противостоят общеэстетической концепции Белинского, но, напротив того, восходят к ней, как к одной из своих теоретических первооснов.

Другим источником, с которым связана программная часть статьи Салтыкова, является диссертация Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности» (1855). И общее направление статьи о Кольцове, и отдельные ее положения и формулировки не оставляют сомнения в том, что на Салтыкова, как и на многих современников, знаменитая диссертация эта произвела глубокое впечатление.

Как и Чернышевский, Салтыков выдвигает на первый план вопрос об отношении искусства к действительности, художника – к современности. Это главные проблемы. К ним, как радиусы к своему центру, сходятся все другие вопросы. Предлагаемые Салтыковым решения во многом напоминают те, которые дает Чернышевский. Вместе с тем они везде отмечены творческой индивидуальностью автора.

Из трех значений искусства, указанных в диссертации Чернышевского – передача действительности, объяснение ее и приговор над ней, – Салтыков сильно акцентирует два последних. Вместе с тем он предъявляет искусству еще одно требование, на его взгляд, важнейшее: «Каждое произведение искусства необходимо должно иметь свой результат, и результат не отдаленный и косвенный, а близкий и непосредственный». Ни у Белинского, ни у Чернышевского, ни впоследствии у Добролюбова нет таких решительных, далеко идущих формулировок, в которые облек Салтыков столь характерное для него устремление к действенности искусства, к социально-активной эстетике. Однако требование результативности искусства не следует понимать прямолинейно, как призыв к художнику находить своими средствами конкретные решения общественно-политических задач. Несмотря на очевидное тяготение к утилитарной эстетике, Салтыков далек от рецептов, низводящих искусство до служебной роли помощника в таких областях общественной практики, как государственная и административно-правовая. Салтыков вкладывает в свою формулу другой смысл. «Мы требуем только, – поясняет он, – чтобы произведение имело последствием не праздную забаву читателя, а тот внутренний переворот в совести его, который согласен с видами художника». Здесь отчетливо звучит голос Салтыкова – социального моралиста и просветителя, с его верой в преобразующую силу нравственного потрясения, вызванного правдой мысли и чувства художника – его «искренностью», требование которой признается безусловным.

От общего взгляда на «художественность» и на художника как носителя «современной мысли» Салтыков переходит к определению конкретных задач, которые современность ставит перед искусством. Важнейшая задача – «разработка русской жизни», которая должна удовлетворять двум условиям: вестись «без предубеждения» и быть «монографической». [186] Теоретические предпосылки этих принципов заключены в отношении к «народности» – главному, в представлении Салтыкова, критерию «подлинности искусства».

Для Салтыкова равно неприемлемы как требование «исключительно национального направления в искусстве», так и противостоящие этому требованию воззрения, согласно которым искусство в качестве «достояния общечеловеческого» не должно иметь на себе ярко выраженного национального отпечатка. Эти суждения полемически направлены: первое – против славянофильских и казенно-патриотических теоретиков национальной исключительности, непосредственно же против Тертия Филиппова и его статьи о комедии Островского «Не так живи, как хочется»; [187] второе – против

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru космополитических тенденций покойного Вал. Майкова, имя которого, однако, в данном контексте не упоминается. Здесь Салтыков продолжает, в новых исторических условиях, борьбу Белинского на два фронта, писавшего в 1847 г. по адресу тогдашних славянофилов и того же Валерьяна Майкова: «Одни бросились в фантастическую народность, другие – в фантастический космополитизм...». [188]

Салтыков ищет реалистического подхода к пониманию народности – вопросу давнему, но получившему новое значение в условиях демократического подъема второй половины 50-х годов. Главнейшим условием такого подхода является, по его мнению, необходимость осмыслить русскую народную жизнь исторически и отказаться тем самым от умозрительных представлений о ней. В этой связи Салтыков подвергает критике «идеальный» образ русского народа в патриархально-романтической утопии славянофилов. Критика эта представляет существенный интерес для идейной биографии писателя. В ней содержится первый публицистически изложенный набросок салтыковского взгляда на русскую народную жизнь (первый художественный набросок – в «Губернских очерках»). Главные положения этого взгляда или концепции Салтыков будет разрабатывать на протяжении всей последующей своей деятельности.

Основа концепции – демократизм; уже не в отвлеченно-гуманитарном аспекте «бедного человечества», как в 40-е годы, а исторически-конкретный, крестьянский, хотя и находящийся пока в его начальной стадии, поскольку представления Салтыкова о народной жизни еще лишены социально-исторической ясности и перспективы. Образ русского народа – «младенца-великана» – признается Салтыковым в это время «загадочным», многие проявления народной жизни – объятами «мраком», хотя и начинающим «мало-помалу рассеиваться». [189] Отсюда признание невозможности «делать какие-либо решительные заключения» о жизни русского народа и заглядывать в ее грядущее. «Будет ли она развиваться самобытно и своеобразно, – писал в это время Салтыков, – или подчинится законам развития, общим всем народам, – для нас это вопрос темный, хотя сознаем, что последнее предположение кажется нам более основательным». [190] Признание это имеет, возможно, в виду не только славянофилов, но и сторонников герценовского «русского социализма», с их верой в особые, самобытные исторические пути России, в особую роль крестьянской общины.

Исходя из убеждения, что для выработки общих «воззрений» на русскую жизнь время еще не настало, Салтыков, как сказано, выдвигает требование «монографического» исследования этой жизни. «Роль современного художника и ученого весьма скромна, – утверждает Салтыков, – эта роль почти монографическая, но такова потребность времени, и идти против нее значило бы впасть в ложь и преувеличение». Это и случилось, по мнению Салтыкова, с Гоголем, когда он перестал относиться к русской жизни «в качестве простого исследователя», и с Островским, когда, отойдя от изображения «истины жизни», он вознамерился сказать «новое слово, взятое не из жизни, а выдуманное самим автором». Хотя критикуемые произведения этих писателей не названы, нет сомнения, что в первом случае имеется в виду второй том «Мертвых душ» (появился в печати осенью 1855 г.) и «Выбранные места из переписки с друзьями» (1847), а во втором – комедия «Бедность не порок» (1854), написанная с «почвеннической» позиции группы «молодой редакции» «Москвитянина», идеологически враждебной Салтыкову.

Следуя провозглашенному им принципу смотреть на действительность «прямо», «без предубеждения», Салтыков строит свою концепцию русской жизни с реалистическим учетом не только ее положительных, но и отрицательных элементов. Но в трезвом восприятии враждебных писателю и отвергаемых им черт народного характера – пассивности, бессознательности, стихийности, фатализма и беспечности русского «авось» – еще не звучит, как впоследствии в «Истории одного города» и во множестве других произведений, трагическая нота, уже звучавшая в поэзии Некрасова. Салтыков еще оптимистичен, так как все отрицательные свойства народного характера с избытком объясняются им, с одной стороны, исторической молодостью русского народа, «находящегося еще в младенчестве», а с другой – «экономическими отношениями», то есть крепостным правом. Тем самым эти свойства признаются исторически преходящими, временными. Оптимистично поэтому и отношение Салтыкова к тому делу пробуждения народных сил, которое стоит на историческом череду русской жизни и которому служит «молодая» русская литература, идущая по пути Пушкина, Гоголя и их народного «пополнителя» Кольцова. «Весь ряд современных писателей, посвятивших свой труд плодотворной разработке явлений русской жизни, – есть ряд продолжателей дела Кольцова», – утверждает Салтыков, ставя тем самым свою собственную возобновляющуюся литературную деятельность в прямую преемственность с тем, что являлось, в его понимании, основой поэзии

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru Кольцова, – с ее народностью, крестьянским демократизмом.

Стр. 7...одна принадлежит покойному Белинскому, а другая Валериану Майкову. – Статьи о Кольцове Белинского и Вал. Майкова были напечатаны: первая – в сборнике «Стихотворения Кольцова», изд. Н. Некрасовым и Н. Прокоповичем, СПб. 1846 (перепечатано в рецензируемом Салтыковым издании 1856 г.); вторая – в «Отечественных записках», 1847, №№ 11 и 12 (вошла в сборник – Вал. Майков. Критические опыты. 1845–1847, СПб. 1889 и 1891).

Он сделался чем-то вроде вопроса о трех знаменитых единствах. – Единства «времени», «действия» и «места» были основополагающими требованиями в драматургии классицизма. Вокруг вопроса об этих «единствах» в течение длительного времени сосредоточивались споры с классицистами представителей новых литературных направлений – романтизма и реализма.

Стр. 14. В последнее время явилось драматическое представление, в котором изображается господин, помышляющий о введении между русскими крестьянами благотворительных хороводов и тому подобных нелепостей. – Имеется в виду комедия Константина Аксакова «Князь Луповицкий, или Приезд в деревню», напечатанная отдельным приложением к № 1 журнала «Русская беседа» за 1856 г. Пьеса проникнута славянофильской идеализацией крестьянства и его патриархальных отношений с помещиком.

Стр. 15. Вслушайтесь в народную песню – там изображается, например, жена, которую бросил муж... – Эта характеристика относится к цитируемой Т. Филипповым, в названной выше статье его, песне «Взойди, солнце, не низко, высоко!» («Русская беседа», 1856, № 1, стр. 88).

Стр. 16...наивно мечтаем о возвращении времен Кошихинских – то есть времен допетровской Руси, описанных в известном сочинении XVII в. Григория Котошихина или Кошихина.

...новое слово, которое г. Островский усиливался сказать, новое слово, взятое не из жизни, а выдуманное самим автором. – Писателем, сказавшим в литературе «новое слово», считал Островского Аполлон Григорьев. В соответствии со своим идеалом патриархальной самобытности, критик усматривал это «новое слово» в идеализации писателем русского купечества и его быта. Впервые выражение «новое слово» было употреблено Ан. Григорьевым в стихотворении «Искусство и правда», написанном по случаю представления пьесы Островского «Бедность не порок» и напечатанном в «Москвитянине» (1854, № 4). Но полемика Салтыкова с Ап. Григорьевым ближайшим образом относится к статье критика «О комедиях Островского и их значении в литературе и на сцене» («Москвитянин», 1855, № 3). В борьбе 60–80-х годов с реакционными направлениями «почвенничества», позднего славянофильства и националистическими течениями в официальной идеологии Салтыков часто иронически пользовался выражением «новое слово».

Стр. 24. При всем уважении к таланту г. Аксакова, нельзя не сознаться, что его великолепные картины природы как-то подавляют читателя... Это хаос, коли хотите, полный жизни, но все-таки не более как хаос. – Эти слова, относящиеся к «Семейной хронике» и другим сочинениям С. Т. Аксакова, были изъяты самим Салтыковым или редактором Катковым из текста статьи при печатании ее в «Русском вестнике».

Стр. 29. Лучшим доказательством служат «Думы» Кольцова: что означают они, кроме немощного желания вывести мысль из той тесной сферы, в которую она заключена обстоятельствами? – Здесь, как и в оценке стихотворения «Размышление поселянина» (см. выше, стр. 20–21), Салтыков существенно (не во всем, однако) разошелся во мнениях с Белинским. Салтыков безоговорочно осуждает кольцовские «думы» за их «несамостоятельность и несостоятельность». Белинский же находил, что «почти во всех его думах есть поэзия и мысли и выражения». В «думах» Кольцова, пишет Белинский, есть две стороны: «вопрос» и «решение». «В первом отношении некоторые думы прекрасны... Но во втором отношении эти думы, естественно, не могут иметь никакого значения». И дальше Белинский приводит для иллюстрации те же стихи из «думы» «Неразгаданная истина», которые приводит и Салтыков. В послесловии к статье Салтыкова Катков, скрыто полемизируя с ним, встал на сторону Белинского в оценке кольцовских «дум» (см. В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. IX, М. 1955, стр. 540, 538–539).

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
СКАЗАНИЕ О СТРАНСТВИИ И ПУТЕШЕСТВИИ ПО РОССИИ,
МОЛДАВИИ, ТУРЦИИ И СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ ПОСТРИЖЕННИКА
СВЯТЫЯ ГОРЫ АФОНСКИЯ ИНОКА ПАРФЕНИЯ

Незаконченная статья-рецензия. При жизни Салтыкова не публиковалась. Впервые напечатана В. В. Гиппиусом по автографу в 1937 г., в составе т. 5 Полн. собр. соч., изд. 1933–1941 гг. Рукопись черновая, сильно правленная автором. В ней два слоя, образующих две редакции статьи. Главное отличие их друг от друга в том, что в более поздней редакции значительно шире развернуты критические характеристики «аскетических воззрений древней Руси», что обусловило необходимость дополнительного обращения к материалу древней русской письменности и к определенным фольклорным источникам, а именно к духовным стихам. Соответственно сокращены и ослаблены, по сравнению с первоначальной редакцией, общие одобрительные отзывы о записках Парфения. Другое существенное отличие – отсутствие во второй редакции критики западнического – «раздражительно-желчного» – воззрения на русскую народность, имеющейся в редакции первоначальной. К этому направлению Салтыков склонен был в некоторой мере относить и себя.

В основном корпусе настоящего издания печатается вторая редакция статьи. В разделе Из других редакций впервые полностью воспроизводится текст первоначального слоя рукописи. (В публикации 1937 г. приведено лишь несколько важнейших вариантов рукописного текста.)

Статья о «Сказании... инока Парфения» отражает один из начальных этапов работы Салтыкова по «исследованию» духовной жизни русского народа – его мировоззрения и психологии. Для характеристики идейных позиций писателя периода его вхождения в «большую литературу», периода «Губернских очерков», это такой же важный документ, как и несколько более ранняя статья «Стихотворения Кольцова» (см. выше).

«Сказание... инока Парфения», напечатанное в четырех книгах-частях в Москве первым изданием в 1855 г. и вторым в 1856 г., принадлежало к числу «обличительных» сочинений против «раскола». Автор «Сказания...», сын русских старообрядцев за границей, занимавший видное место в старообрядчестве, потом вышел из «раскола», через несколько лет постригся в монахи в одном из православных монастырей на Афоне, а затем перешел на постоянное жительство в Россию, где принял активное участие, в том числе и пером литератора, в борьбе с вероучением, которого прежде придерживался.

Принадлежит к числу «обличительных», «Сказание...» сильно, однако, отличалось от многих полемических сочинений против «раскола», написанных в грубо-осуждающей манере и узкобогословских по своему содержанию. Автор претендовал не только на углубленное объяснение «раскольничьих заблуждений», но в известной мере и на уяснение характера религиозных настроений народа (крестьянства). Освещение догматических вопросов заняло в «Сказании...» ограниченное место. Напротив того, автор пространно описывал духовные искания и быт, идейные искания и брожения как в среде православных крестьян, так и, особенно, в среде живших за границей и внутри России старообрядцев, то есть в той части русского народа, к которой в середине XIX в. проявлялся повышенный интерес у представителей различных течений общественной мысли, включая революционно-демократические круги.

Выход в свет «Сказания...» оказался заметным фактом в литературной жизни 50-х годов. Журнальные рецензии на сочинение опубликовали Н. Г. Чернышевский, С. М. Соловьев и Н. П. Гиляров-Платонов. [191] Интерес к «Сказанию...» сохранялся и в последующие годы. Записки инока Парфения привлекли, в частности, внимание Л. Н. Толстого и не только произвели большое впечатление на Ф. М. Достоевского, но и заняли определенное место в творческой истории его крупнейшего романа «Братья Карамазовы». [192]

В 1856–1857 гг. о записках Парфения подготавливала большое выступление «Библиотека для чтения». С историей этого неосуществившегося редакционного замысла и связана, по-видимому, неоконченная статья Салтыкова. Тогдашний редактор журнала А. В. Дружинин отнесся к «Сказанию...» как к одному из примечательнейших явлений времени. Рекомендуя сочинение вниманию И. С. Тургенева, он писал ему: «Или я жестоко ошибаюсь, или на Руси мы еще не видали такого высокого таланта со времен Гоголя, хотя и род, и направление, и язык совершенно несходны. Таких книг между делом читать нельзя, – а если Вы еще прожидаете в деревне, то засядьте на неделю и погрузитесь в эту великую поэтическую фантазмагорию, переданную оригинальнейшим художником на

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru оригинальнейшем языке». [193]

В ответном письме Тургенев, уже знакомый, как оказалось, со «Сказанием...», дал ему и его автору не менее высокую оценку. «Парфения, – писал он Дружинину, – я читал... и нахожу Ваше мнение о нем совершенно справедливым; это великая книга, о которой можно и должно написать хорошую статью... Парфений – великий русский художник и русская душа». [194]

Однако старания Дружинина получить статью о записках Парфения не увенчались успехом. Статья была заказана весной 1856 г. Аполлону Григорьеву. Спустя полгода он извещал Дружинина о ходе работы: «Статья об о. Парфении представляет страшные трудности: об этой книге можно написать или гладенькую пристойную статью, каковых я писать не умею, или статью живую, выношенную в сердце: откровенно скажу Вам, что и она уже написана, но я ею недоволен. Потерпите – довольны будете!» [195] Но выработка удовлетворявшей автора редакции не давалась, и в январе 1857 г. Ап. Григорьев в ответ на неизвестное нам письмо Дружинина вынужден был согласиться уступить статью о «Сказании...» в «Библиотеке...» другому автору. Он писал Дружинину: «Если нельзя журналу до весны обойтись без статьи об отце Парфении – и если есть дельная и серьезная <статья> – катайте!» [196]

Более чем вероятно, что автором этой «дельной и серьезной статьи» (точнее сказать, «предполагаемой статьи») был Салтыков, который либо сам предложил Дружинину написать ее, либо получил такое предложение от Дружинина, с которым в ту пору находился в приятельских отношениях и в журнале которого дал согласие сотрудничать (см. выше, в прим. к статье о Кольцове, стр. 524).

Статья Салтыкова не датирована. Но в рукописи имеется зачеркнутая потом ссылка на рассказ «Старец» (из «Губернских очерков»), помещенный, как сказано в тексте, «в 22 № «Русского вестника» за прошлый год», то есть в ноябре 1856 г. Таким образом, статья датируется следующим 1857 г. Уточнить в пределах годовой даты время работы над статьей позволяет сопоставление ее с разделом «Богомольцы, странники и проезжие» из «Губернских очерков». Рассказы и очерки этого раздела появились в печати в августе 1857 г. и, таким образом, не могли быть закончены позже июля. Списанный Салтыковым в Нижегородской губернии стих об Асафе-царевиче и ряд духовных стихов из публикаций Киреевского приводятся как в статье о «Сказании...», так и в очерках «Богомольцы...». Кроме того, в этих очерках имеются и текстуальные совпадения со статьей о «Сказании...» (ср., например, абзац из «Сказания...»: «И действительно, давно ли, кажется...», стр. 34, с абзацем из «Богомольцев...»: «Давно ли русский мужик...», т. 2, стр. 115).

Эти текстуальные совпадения, так же как и совпадения цитируемых фольклористических материалов, книг и статей о «расколе», свидетельствуют, что статья о «Сказании...» писалась раньше «Богомольцев...». Лишь отказавшись от намерения закончить статью, а значит, и напечатать ее, Салтыков мог сделать ряд заимствований из ее текста для другой работы. Таким образом, статью следует датировать первой половиной 1857 г., не позже июня – июля. [197]

Статья Салтыкова о «Сказании...» является своего рода теоретической и публицистической параллелью к писавшейся почти одновременно и также оставшейся незаконченной серии художественных очерков «Богомольцы, странники и проезжие» (см. т. 2, стр. 111–162). В письме к С. Т. Аксакову от 31 августа 1857 г. Салтыков следующим образом изложил «мысль», которая преимущественно занимала его при работе над этими очерками. «Мысль эта, – писал он, – степень и образ проявления религиозного чувства в различных слоях нашего общества. Доселе я успел высказать взгляд простого народа <...> Затем предстоит еще много...» Интерес к религиозным настроениям масс был подсказан Салтыкову славянофилами. Именно они, в частности П. В. Киреевский, фольклористическими публикациями которого Салтыков пристально интересовался в это время, искали в «религиозном чувстве» народа основную стихию и сущность его миросозерцания. Отсюда повышенный интерес славянофильски настроенных историков, филологов, публицистов к различным формам и проявлениям религиозно-нравственного сознания народа. Большое внимание уделялось, в частности, старообрядцам, в которых славянофилы видели элиту русского крестьянского мира, [198] к таким явлениям народной жизни, как паломничество (богомолье), и к таким формам эпического и лирического песенного творчества, распространенного главным образом среди сектантов и у части старообрядцев, как духовные стихи с их религиозно-мистической тематикой.

В предпринятом Салтыковым в конце 50-х годов «исследовании» внутреннего мира

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru простого русского человека, его идеалов и «задушевных воззрений», всем этим предметам славянофильских интересов и изучений уделяется значительное внимание. Однако в принципиальной и конкретной разработке их Салтыков шел собственным путем, шел «по... дороге своего развития». [199] Корень расхождения в том, что, в отличие от славянофилов, идеализировавших в национальном характере и в истории русского народа проявления пассивности и послушливости, а в народном мировоззрении «аскетизм», Салтыков рассматривает эти элементы как социально отрицательные и в значительной мере наносные, а значит, и временные. Он объясняет их, с одной стороны, исторической молодостью русского народа («младенец-великан»), а с другой – воздействием на психологию и быт народа длительного господства крепостного права («искусственные экономические отношения»).

В поисках борьбы с враждебными и отрицаемыми элементами в народных воззрениях Салтыков стремится опереться на здоровые общественные силы самого народа. Он ищет такие силы во всех активных формах духовной жизни масс, в том числе и в явлениях, прикрытых покровом религиозных настроений и идеологии. Отсюда интерес к народной психологии религиозного подвига, рассматриваемого Салтыковым в качестве одного из видов «служения избранной идее». Пафосом такого подвига проникнуты многие страницы «Сказания...» Парфения. Салтыков подчеркивает, что он смотрит на это сочинение с точки зрения «этнографической» (а не религиозно-богословской). Главный интерес «Сказания...» заключается, по его мнению, в том, что оно «делает читателя как бы очевидцем и участником самых задушевных воззрений и отношений русского человека к его религиозным верованиям и убеждениям». Салтыков не раз подчеркивает свою отдаленность от этих верований и убеждений, персонифицируемых в фигуре Парфения и в его поисках «истинной веры». Тем не менее он заявляет о своем сочувствии искренности и страстности этих поисков и той силе «самоотвержения», которая порождается ими. «Причина этому, – пишет Салтыков, и это ключ к разъяснению его интереса к «Сказанию...», – очень понятна: нам так отрадно встретить горячее и живое убеждение, так радостно остановиться на лице, которое всего себя посвятило служению избранной идее и сделало эту идею подвигом и целью всей жизни, что мы охотно забываем и пространство, разделяющее наши воззрения от воззрений этого лица, и ту совокупность обстоятельств, в которых мы живем и которые сделали воззрения его для нас невозможными, и беспрекословно, с любовью следим за рассказом о его душевных радостях и страданиях».

Характерная для просветительских взглядов и просветительского же этизма Салтыкова тенденция придавать морально-психологическим категориям преувеличенное и универсальное значение, считать общественно ценными все убеждения, в основании которых «лежит искренность и действительная потребность духа», приводят его, несмотря на все оговорки, к идеализации религиозного чувства (особенно в первой редакции статьи). Его попытки классифицировать проявления «аскетизма» в народных воззрениях соответственно критериям «энергии духа» и его неподкупности оказались малоуспешными. Течения, в которых, по мнению Салтыкова, «преодолевалось аскетическое отторжение личности от общества» и которым он поэтому предсказывал «в будущем великие и бесчисленные последствия», очень нечетко отделялись от тех верований, где не усматривалось никакого положительного начала. В этом смысле показательны, например, колебания в оценке «страннического толка», получившего в двух редакциях статьи противоположные характеристики.

Создается впечатление, что, задумав статью с целью показать на материале повествования инока Парфения идеологически и психологически здоровые тенденции в религиозных настроениях масс, Салтыков в процессе работы над статьей пришел к принципиально другой оценке и этих настроений, и самого сочинения. Соответственно этому он начал переводить статью (правка рукописи) в другой ключ – в ключ резкой полемики с «аскетизмом» и его защитниками. О том, что Салтыков занял или склонен был занять отрицательную позицию по отношению к «Сказанию...», которое по значению своему в сфере разъяснения внутренней жизни русского народа он ставил вначале рядом с высоко ценимой им «Семейной хроникой» С. Т. Аксакова, – свидетельствует не только характер правки рукописи статьи-рецензии, но и одно мемуарное свидетельство. Оно принадлежит Ап. Григорьеву и находится в его известной работе 1864 г. «Парадоксы органической критики». Вспоминая об одном из своих наездов в Петербург – судя по контексту, весной 1857 г., – Ап. Григорьев писал: «...на одном из литературных вечеров <...> довелось мне завести речь о книге отца Парфения с человеком, которого я, судя по его деятельности, мог считать более компетентным судьей в отношении к народу и его быту, который тогда не только одни губернские сплетни рассказывал, но подчас к народу сильное

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru сочувствие высказывал и даже раскольников с некоторым знанием дела изображал, да и притом честно, а не ержно, как один знаток их быта... Компетентный господин в ответ на мою речь выразил только опасение насчет вреда подобных книг, что она, дескать, не развила бы слишком аскетического настроения». [200]

Особенный интерес для истории мировоззрения Салтыкова представляют те места статьи, преимущественно начало и конец второй редакции, где он говорит о «молодости» и о «будущем» русского народа, высказывает свое отношение к различным воззрениям на русскую жизнь и стремится выработать собственный взгляд на нее (см. об этом выше, стр. 530–531). Салтыков резко отрицательно отзываясь об уже отмирающем, «сонном полуидиллическом воззрении, которое смотрело на народ, как на театральную толпу», [201] имея здесь в виду теории официальной, или, по выражению Чернышевского, казенной, народности. Но главная его критика направлена против тех трактовок общественной и духовной жизни народа, в которых идеализировались разного рода формы ограничения живых и законных интересов личности в пользу искусственных интересов «личности высшей и коллективной». Здесь Салтыков выступает впервые против крестьянской общины, и, быть может, не только в славянофильском ее понимании. Но прежде всего его критика затрагивает славянофильские взгляды и защиту общинного строя.

Славянофилы, и в первую очередь Константин Аксаков, считали общину основой народной крестьянской жизни, формой, обеспечивающей раскрытие лучших сторон духовной и материальной жизни простого русского человека. Решительный противник «порабощения частной личности в пользу общины, мира...», Салтыков, напротив того, считал общину одною из отрицательных и потому отвергаемых им форм русской народной жизни. По его мнению, она сковывала развитие личности общинника и обрекала его во всех сферах деятельности и быта на ненавистный Салтыкову «подвиг послушания».

Заявленное, но ненаписанное или не дошедшее до нас продолжение статьи о «Сказании...», судя по заключительным словам публикуемой рукописи, должно было быть посвящено «подробному объяснению» значения «раскола», как одного из «капитальных явлений русской жизни».

Стр. 36. Селение Мануиловка – один из главных заграничных центров старообрядческого (поповщинского) движения близ города Яссы.

Стр. 36–37...благословящая рука... изображена именовсловно – то есть трехперстно, как это не признавали старообрядцы. Именовсловным такое сложение пальцев называли потому, что считалось, что оно воспроизводит начертание первых букв имени Иисуса Христа.

Стр. 37...сочинения протоиерея Андрея Иоаннова «о стригольниках», о котором мы... предоставляем себе поговорить впоследствии подробнее... – Это намерение не было осуществлено. Точное название книги: «Полное историческое известие о древних стригольниках и новых раскольниках, так называемых старообрядцах, собранное из потаенных раскольничьих изданий, записок и писем», в четырех частях. В 1794 г. вышло ее первое, в 1855 г. пятое издание. Автор книги – протоиерей одной из петербургских церквей, ранее был видным старообрядцем-беспоповцем поморского толка.

Стр. 38...воззрение благоразумно прячется за конопляниками аскетизма и оттуда смело кричит своему противнику: «Найди меня в этой трущобе!» – Под «конопляниками аскетизма» разумеются, видимо, самодержавие и православие. Защита этих институтов как теоретиками официальной народности, так и славянофилами политически затрудняла открытую полемику с ними. В этой связи уясняется и ссылка на французского католического писателя Луи Вейо (Veillot), крайнего реакционера. Выступая в редактируемой им ультрамонтанской газете «Univers» против прогрессивных общественных направлений, он неизменно характеризовал их как силы, непосредственно угрожающие официальной религии и бонапартистскому режиму. В вопросах религиозных он превозносил пользу для народа суеверий, предрассудков, насаждал веру в «чудеса».

Стр. 40. Толпе, которая шла за Петром Пустынником... – Речь идет о первом крестовом походе (1096 г.), вдохновителем которого был Петр Пустынный, или Петр Амьенский, военный, затем монах, аскет, фанатичный сторонник насильственного насаждения христианства.

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Стр. 42. Мы имели случай видеть... другой вариант этого замечательного стиха... – Приведенный текст стиха об Асафе-царевиче был списан Салтыковым с рукописи весной 1855 г. в одном из старообрядческих монастырей Нижегородской губернии, во время выполнения, вместе с П. И. Мельниковым (А. Печерским) служебных поручений по борьбе с «раскольниками». Это наиболее распространенная и полная редакция стиха; позднее она была издана П. А. Бессоновым (1861 г.). – См. «Литературное наследство», т. 13–14, 1934, стр. 502–503.

Стр. 43. «Повесть о Горе-Злосчастьи...» – открыта в 1856 г. А. Н. Пыпиным и тогда же опубликована им и Н. И. Костомаровым в № 3 «Современника».

Стр. 46...любопытные разыскания проф. Буслаева. – Статья Ф. И. Буслаева под названием «Повесть о Горе и Злочиастии, как Горе-Злочиастие довело молодца во иноческий чин. Древнее стихотворение» напечатана в журнале «Русский вестник» за 1856 г., т. IV, № 7, книги 1 и 2, стр. 5–52, 279–322.

Стр. 48...секта так называемых «странников» или бегунов – особый толк старообрядчества (беспоповщины), возникший в 60-х – начале 70-х годов XVIII в. Собственно, датой основания толка считается 1772 г., когда его зачинатель, дважды беглый с военной службы Евфимий (ум. в 1792 г., точное его имя неизвестно), сам окрестил себя в «странствующую церковь». Выделение из беспоповщины нового толка бегунов означало протест против обогащения верхушки старообрядцев и забвения ею принципов аскетизма и общности имущества. Толк получил преимущественное распространение в России в предреформенные десятилетия, особенно в Верхнем Поволжье, на Севере и в разных местах центрально-промышленной области.

Стр. 49. Имев случай практически изучать раскол... – в 1854–1855 гг., во время подневольной службы в Вятке, Салтыкову было поручено производство расследования по одному обширному делу о «раскольниках». См. об этом: С. Макашин. Салтыков-Щедрин. Биография, т. 1. Изд. 2-е, М. 1951, стр. 352–365.

...в учении сект: федосеевской и филипповской... – Федосеевский толк – одно из разветвлений беспоповщины, обособившееся на рубеже XVII и XVIII вв. на северо-западе Руси. Получил название по имени дьячка Крестецкого Яма близ Новгорода Феодосия Васильева. С 70-х годов XVIII в. главным центром федосеевцев стала Московская Преображенская община (Преображенское кладбище). Филипповский толк старообрядцев-беспоповцев возник в Поморье в 30-х годах XVIII в., как протест против компромиссной политики верхушки поморцев-старообрядцев по отношению к правящим властям. Назван по имени бывшего стрельца Филиппа. К самоубийству филипповцы, как и старообрядцы других толков, вынуждены были прибегать, не желая идти на соглашение с преследующими их властями.

Секта сопелковцев – так иногда называли толк бегунов или странников (см. выше) по названию села Сопелки близ Ярославля, одному из главных центров его обоснования.

Стр. 50. Филипани – так именовался филипповский толк (см. выше) в некоторых церковно-«обличительных» книгах XVIII–XIX вв.

Стр. 53. Афонская гора – восточная часть Халкидонского полуострова (Греция), где с давних времен были расположены в большом количестве православные монастыри.

ЗАМЕТКА О ВЗАИМНЫХ ОТНОШЕНИЯХ ПОМЕЩИКОВ И КРЕСТЬЯН

При жизни Салтыкова не было напечатано. Впервые опубликовано В. В. Гиппиусом и М. В. Нечкиной в «Литературном наследстве», № 11–12, 1933, по автографической рукописи из архива М. М. Стасюлевича.

Для настоящего издания текст заново сверен с автографом В. Н. Баскаковым. Отдельные элементы текста утрачены вследствие ветхости рукописи и воспроизводятся по публикации «Литературного наследства». Эти места отмечены квадратными скобками.

В рукописи зачеркнуты следующие два фрагмента:

Стр. 71, строка 16 сн., после слов «с своими выгодами»: «И притом какая надобность вооружать помещика понудительными мерами? не будет ли он через это

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru сделан судьей в своем собственном деле? сверх того, разве нельзя это право употреблять понудительные меры, право наказывать вручить третьему лицу или учреждению, которое непричастно интересам ни той, ни другой стороны?»

Стр. 76, строка 1 св., после слов «удержать его»: «Существует ныне вид преступлений, известных под именем неповиновения власти помещика, грубостей, ослушания и т. д. Эта категория преступлений проистекает из существа крепостного права и в этой среде имеет законное право гражданственности, но с уничтожением личной крепостной зависимости было бы странным анахронизмом оставлять в своей силе прежний вид «крепостных преступлений».

В рукописи имеется также несколько других, мелких вариантов чисто стилистического характера.

«Заметка...» не датирована. Но имеющееся в тексте скрытое цитирование статьи Б. Н. Чичерина, опубликованной в журнале «Атеней», 1858, часть первая, январь – февраль, кн. 8 (см. ниже, примечание к стр. 76 и 78), позволяет установить, что «Заметка...» написана не ранее марта 1858 г., когда вышла из печати указанная книжка журнала, и не позже 3 апреля того же года, когда Салтыков уехал из Петербурга на вице-губернаторство в Рязань и когда ему было не до писания статей.

Судя по имеющимся в тексте обращению к читателям и обещанию в непродолжительном времени следующей статьи, «Заметка...» предназначалась для печати. Возможно, что Салтыков намеревался поместить ее в «Русском вестнике», в котором сотрудничал и где как раз в это время, а именно со второй мартовской книжки, был открыт специальный отдел «Крестьянский вопрос». Но уже во второй апрельской книжке редакция журнала сообщила, что «по некоторым обстоятельствам отлагает в этом номере, а может быть и в следующем, продолжение открытого ею отдела...». «Обстоятельства», на которые глухо ссылалась редакция, заключались в следующем. 22 апреля 1858 г. в Главном комитете по крестьянскому вопросу был составлен и передан министру народного просвещения Е. П. Ковалевскому для подписания и исполнения циркуляр, в котором говорилось: «В некоторых периодических изданиях начали появляться статьи, относящиеся до предпринятого улучшения и устройства крестьянского быта, где предполагаются не те начала, кои указаны правительством, излагается необходимость освободить крестьян вполне от всякой зависимости помещиков и даже от полицейской их власти...[202] Государь император, признавая необходимым, чтобы при настоящем положении крестьянского вопроса не были решительно допускаемы к напечатанию такие статьи, в какой бы форме они ни были, кои могут волновать умы и помещиков и крестьян, рассеивая между ними последние нелепые толки и суждения, изволил высочайше повелеть: ни в каком случае не отступать от духа и смысла правил, указанных уже по сему предмету...»[203]

Основанное на императорском повелении распоряжение по цензуре от 22 апреля 1858 г. запретило в печати «критику главных начал, в высочайших рескриптах... указанных». [204] «Заметка...» Салтыкова целиком подпадала под это цензурное запрещение и, вероятно, именно по этой причине и не была опубликована.

17 декабря 1857 г. были обнародованы рескрипты Александра II виленскому военному, гродненскому и ковенскому генерал-губернатору В. И. Назимову от 20 ноября и санкт-петербургскому военному генерал-губернатору П. И. Игнатьеву от 5 декабря, в которых впервые публично было заявлено о начавшейся подготовке к отмене крепостного права. «Заметка...» Салтыкова является откликом на эти правительственные документы, привлечшие к себе напряженнейшее внимание всей страны.

Рескрипты намечали такие основные положения крестьянской реформы:

«1. Помещикам сохраняется право собственности на всю землю, но крестьянам оставляется их усадебная оседлость, которую они, в течение определенного времени, приобретают в свою собственность посредством выкупа; сверх того предоставляется в пользование крестьян надлежащее, по местным удобствам, для обеспечения их быта и для выполнения их обязанностей перед правительством и помещиком, количество земли, за которое они или платят оброк, или отбывают работу помещику.

2. Крестьяне должны быть распределены на сельские общества, помещикам же предоставляется вотчинная полиция...»[205]

Рескрипты предписывали открыть в губерниях комитеты для составления «проекта положения об устройстве и улучшении быта помещичьих крестьян».

Сопроводительные «отношения» к императорским рескриптам министра внутренних дел С. С. Ланского предусматривали, что крестьяне «...должны быть сначала, в состоянии переходном, более или менее крепки земле; а потом уже в окончательном, когда правительство разрешит им выход из одной местности в другую».[206] Переходное состояние не могло превышать 12 лет. Заведование делами обществ крестьян предоставлялось мирским сходам и составленным из крестьян мирским судам, но «под наблюдением и с утверждения помещиков». «Отношения» предусматривали организацию специальных уездных присутствий «для надзора за введением и соблюдением новых правил и для разбора недоразумений, могущих возникнуть между помещиками и крестьянами».[207]

«Заметка...» Салтыкова направлена в основном против того пункта в проекте реформ, которым предусматривалось предоставление помещику, на время «переходного состояния», полицейской власти в его имении («Помещикам же предоставляется вотчинная полиция»). Распоряжение по цензуре 16 января 1858 г. запрещало публикацию статей, «где будут разбирать, осуждать и критиковать распоряжения правительства», относящиеся к готовящемуся освобождению крепостных.[208] Поэтому Салтыков свою критику рескриптов облекает в форму их толкования. Подобный же прием был использован Н. Г. Чернышевским в его статье «О новых условиях сельского быта».[209]

По мнению Салтыкова, на время «переходного состояния» отношения крестьян и помещиков должны рассматриваться не как «личные», а как чисто «имущественные», как отношения арендатора и землевладельца. Отсюда делается вывод, что необходимость в полицейской власти помещика отпадает. Более того, предоставление помещикам сферы полицейской деятельности в их имениях означало бы, что «крепостное право... не будет de facto уничтожено». И Салтыков предлагает толковать слова правительственного проекта «вотчинная полиция предоставляется помещику» не буквально, а как данное «в общих чертах» указание на будущее административно-полицейское устройство. В основе такого устройства, по мнению Салтыкова, должны лежать «муниципальные начала», то есть участие в полицейском управлении всех сословий, в том числе и крестьян. В этой части «Заметки...» Салтыков развивает мысли, изложенные им в его служебной «Записке об устройстве градских и земских полиций», дошедшей до нас в изложении и в цитатах К. К. Арсеньева в его работе «Материалы для биографии М. Е. Салтыкова (Н. Щедрина)».

Хотя окончательный вариант крестьянской реформы во многом отличался от предложенного в рескриптах, пункт о вотчинной полиции сохранился в Положениях 19 февраля. Помещику было предоставлено право вмешиваться в дела крестьянской общины, против чего восставал Салтыков в «Заметке...».[210]

Стр. 69. Меры правительства по изменению и устройству быта помещичьих крестьян... – Даже приступая к подготовке реформы, царизм боялся открыто произнести слова «отмена крепостного права». Если в первом (секретном) сопроводительном отношении С. С. Ланского к рескрипту Назимову говорилось об «освобождении крепостного сословия», то во всех последующих, публиковавшихся отношениях это выражение было заменено термином «устройство и улучшение быта помещичьих крестьян».

Стр. 71. Одни полагают, что на время переходного состояния необходимо вооружить помещика... правом наказания... – Эта мысль неоднократно высказывалась в печати. Она развивается, например, в статье Л. К-ина «Предположение об устройстве крестьянского быта и помещичьих имений по Рязанской губернии» («Сельское благоустройство», отдел «Русской беседы», 1858, кн. I, № 1, январь).

Другие идут еще далее и смотрят на помещиков как на прирожденных полицеймейстеров в районе своих имений... – В том же выпуске «Сельского благоустройства», где опубликована указанная статья А. К-ина, помещена статья В. Лыкошина «Мысли бельского вотчинника по вопросу об устройстве быта смоленских крестьян», где утверждается, что помещик – идеальный полицеймейстер, с которым не может сравниться никакой чиновник. Народ, заявляет В. Лыкошин, свикся с тем, что помещик – заботливый блюститель порядка, а «мирские сходы, сельские суды не могут действовать с тем единством, которого требует самодержавная власть в обширном государстве».

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Стр. 74. Наконец, явятся... и такие имения, которых крестьяне... приобретут себе от помещика участок земли в свою полную собственность. – Ни царские рескрипты, ни сопроводительные к ним отношения С. С. Ланского не предусматривали такой возможности, но в печати этот вариант активно обсуждался (см., например, вызвавшую ряд откликов статью В. Ржевского «Несколько мыслей по вопросу о доставлении помещичьим крестьянам возможности приобретения поземельной собственности». – «С.-Петербургские ведомости», 15 марта 1858 г.). Официально возможность выкупа земельных наделов впервые была признана в «отношении» С. С. Ланского к начальнику Тверской губернии от 5 ноября 1858 г.

Стр. 74–75...полиция барщинских имений... оброчных... казенных... удельных... горнозаводских... находящихся на посессионном праве... – Как по формам эксплуатации, так и по правовому положению, дореформенное крестьянство не представляло однородной массы. В черноземных губерниях, в Поволжье, Белоруссии, на Украине в помещичьих имениях господствовала барщина: не менее трех дней в неделю крепостные обрабатывали барскую запашку своим скотом и инвентарем. В нечерноземных губерниях преобладала оброчная форма эксплуатации, при которой помещик извлекал доход в виде продуктов или денег, доставляемых крепостными. Казенные имения находились в ведении министерства государственных имуществ; административную власть здесь осуществляли чиновники при некоторых формальных элементах крестьянского самоуправления. Удельные имения принадлежали императорской фамилии или ее отдельным лицам; в отличие от других крепостных, удельные крестьяне не могли быть проданы. Имениями на посессионном праве назывались частные заводы, основанные на крепостном труде; производство здесь велось под правительственным контролем, а работники не могли быть проданы отдельно от заводов. Не продавались отдельно от заводов и приписанные к казенным заводам крестьяне.

Стр. 76. Прибавляют, что наказание может быть окружено гарантиями для крестьян... крестьянину должно быть предоставлено право жалобы на злоупотребления. – Салтыков здесь цитирует, не называя ее, статью Б. Н. Чичерина «О настоящем и будущем положении помещичьих крестьян»: «Наказание должно быть окружено гарантиями для крестьян; мера его должна быть определена законом, оно должно совершаться в присутствии мирских выборных с объявлением вины и, наконец, крестьянину должно быть предоставлено право жалобы на злоупотребления» («Атеней», ч. I, январь – февраль, кн. 8, 1858, стр. 512).

Стр. 77...мы не принадлежим к числу приверженцев бюрократии. – По терминологии того времени, бюрократия противопоставлялась местному самоуправлению как аппарат централизованной государственной машины. В этом смысле Салтыков характеризует «специальное назначение» бюрократии: «охранять интересы государства от излишнего наплыва интересов местных».

Стр. 78...то, что в законе называется именем земства. До сих пор элементов этих у нас не было. – В законодательстве предреформенной России термин «земство» упоминается исключительно как податно-фискальная категория. При этом под земством понимались «все обыватели губернии или области» независимо от сословий (см. Полное собрание законов Российской империи, собр. второе, т. XXVI, отделение первое, 1851, «Правила устройства земских повинностей», разд. 1, пп. 8, 9). Салтыков указывает, что как административно-политическое понятие земство, охватывающее все население, в крепостной России и не могло существовать.

Крепостное право наложило запрещение на целую половину народонаселения России (или около того)... – В письме И. В. Павлову от 15 сентября 1857 г. Салтыков также отмечал, что «половина России в крепостном состоянии». Эта цифра могла быть взята им из широко известной в те годы книги Л. В. Тенгоборского «Etudes sur les forces productives de la Russie», 1854, I, откуда она заимствована и Н. Г. Чернышевским (см. его статью «О новых условиях сельского быта». – «Современник», 1858, № 2). Другие источники указывали значительно меньший процент. По данным, собранным министерством внутренних дел в начале 1858 г. (опубликованы в мае), удельный вес крепостных в населении Европейской России составлял в 1857 г. 37,9 % (А. Тройницкий. О числе крепостных людей в России. – «Журнал министерства внутренних дел», 1858, ч. 30).

Часто случается нам слышать мнение (а в недавнее время оно выразилось и печатно), что злоупотребления чиновников имеют своим источником тот же строй понятий и воззрений, которые служат основой для крепостного права. – Имеется в виду и цитируется упомянутая выше статья Б. Н. Чичерина (см. прим. к стр. 76), в

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru которой говорится: «В настоящее время общество сильно восстало против злоупотреблений чиновников. По-видимому, здесь нет никакой связи с помещичьим правом; а между тем, если мы внимем поглубже, мы увидим, что оба происходят из одного источника... Лихоимец смотрит на свое место как на кормление, то есть как на источник частных барышей. Закон его за это преследует, а между тем самый же закон устанавливает в помещичьем праве общественную власть, основанную на частной прибыли. Может ли исчезнуть кормление беззаконное, когда рядом с ним существует кормление законное?» («Атеней», 1858, ч. 1, январь – февраль, кн. 8, стр. 489–490).

Стр. 79...даже там, где высшая власть, для обуздания произвола, связанного с одноличным управлением, нашла полезным окружить своих агентов коллегиями, она вместе с тем была вынуждена вооружить председателей этих коллегий правом давать предложения, сразу уничтожающие все коллегияльные мудрования. – Согласно «Общему учреждению губернских правлений», в губерниях был создан коллегияльный орган, подчиненный сенату, – губернское присутствие, в состав которого входили губернатор (на правах председателя), вице-губернатор и три советника. Но этот же закон устанавливал: «Если губернатор не согласен с постановлением присутствия, то... приказывает исполнить, что считает нужным и законным» («Свод законов Российской империи», изд. 1857 г., т. II, разд. II, стр. 187, ст. 785).

Стр. 82. Становые управления. – В дореформенной России во главе уездной полиции стоял земский исправник, избираемый на эту должность дворянством. Уезд делился на станы, возглавляемые становыми приставами, которые назначались губернским правлением преимущественно из местных дворян.

ЕЩЕ СКРЕЖЕТ ЗУБОВНЫЙ

Статья была запрещена цензурой и при жизни Салтыкова не печаталась. Опубликована в 1915 г. в № 9 журнала «Вестник Европы», по автографической рукописи, хранившейся у М. М. Стасюлевича. Последующая судьба рукописи неизвестна. Как явствует из публикации «Вестника Европы» и редакционного примечания к ней, в конце утраченного или неразысканного автографа статьи имелись подпись и дата – «М. Салтыков. 23 февраля 1860 г. Рязань», а на первом листе надпись Салтыкова: «Если статья напечатается, то просят отпечатать особо 25 оттисков» и помета над ней: «Не одобряется». Вс. Суходрев в статье «Неизданные произведения М. Е. Салтыкова-Щедрина» сообщает со слов М. М. Стасюлевича о другой карандашной пометке: «№ 90. Неудобно» («Новое время», 1910, № 12155 от 13 января). Но, по-видимому, «неудобно» и «не одобряется» – не две надписи, а одна, но только в первом или во втором случае неверно прочтенная.

История статьи такова. В февральском номере журнала «Вестник промышленности», издававшегося в Москве под редакцией известного финансиста Ф. В. Чижова, была помещена статья под заглавием «Косвенные налоги на фабрики», с подзаголовком «Рассказ проезжего», с подписью «Проезжий» и с эпиграфом «Не бойся суда, а бойся судьи». Статья в беллетристической форме описывала дорожные встречи автора и его беседу с городничим уездного города Нововласьевска, подвергшимся опале со стороны губернских властей и переведенного в другой уезд; потом автор, попадая в самый Нововласьевск, еще подробнее узнавал в нем о причинах опалы городничего. Причина, в изложении «Проезжего», заключалась в том, что некоторые добродетельные фабриканты этого города вместе со своим управляющим, англичанином, решили облагодетельствовать местных крепостных крестьян и взяли их к себе на фабрику рабочими, уговорив для этого помещиков, которым принадлежали крестьяне, дать им волю. Но губернское начальство злонамеренно вмешалось в это дело и стало преследовать как фабрикантов, так и местные власти, арестовывая ни в чем не повинных людей. Во враждебно-юмористических зарисовках губернского начальства особенно доставалось вице-губернатору, изображенному в образе бюрократа-формалиста, пляшущего под дудку своих подчиненных, чистота намерения которых в преследовании фабрикантов бралась под сомнение.

Статья «Проезжего» представляла собою весьма тенденциозное изложение так называемой «хлудовской истории» – преступной аферы с крепостными крестьянами группы помещиков Егорьевского и Зарайского уездов, Рязанской губернии, и богатейших фабрикантов этой же губернии Хлудовых. В раскрытии этого дела и передаче его в уголовно-следственное производство главную роль сыграл Салтыков, бывший в ту пору рязанским вице-губернатором. Статья «Проезжего» преследовала цель обелить виновников преступления и скомпрометировать Салтыкова. Автором статьи, скрывшимся под псевдонимом «Проезжий», был некто Н. Ф. Дубенский, старший советник Рязанского губернского правления и в этом качестве ближайший

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
сослуживец Салтыкова.

Естественно, что Салтыков не мог не отозваться на это выступление – на этот еще один «скрежет зубовой» «либерального обличительства», вставшего, накануне падения крепостного права, на защиту уголовно наказуемых махинаций крепостников-помещиков и фабрикантов-миллионеров (название статьи связывало ее с салтыковским очерком «Скрежет зубовой» – сатирой на либеральную гласность, – только что тогда появившимся в январской книжке «Современника» за 1860 г.).

Как это давно уже установлено и на расширенной основе подтверждено новейшими архивными разысканиями И. В. Князева, статья Салтыкова, несмотря на памфлетную заостренность, строго документальна. Она вся, включая мельчайшие подробности, построена на основе подлинных материалов следственного дела. [211] При этом, однако, Салтыков сохранил псевдонимические наименования лиц и местностей, которые были предложены в статье «Проезжего», и прибег к буквенным обозначениям других участников этого, по его определениям «чудовищного дела», этой «аферы, основанной на человеческом мясе». Все псевдонимы, сокращения и анонимные обозначения в статье полностью раскрываются при помощи архивных дел. Но для понимания сути статьи в таком детальном комментарии нет необходимости. [212]

По-видимому, Салтыков первоначально рассчитывал напечатать свой ответ «Проезжему» в том же издании, где появилась статья последнего. Такая информация содержится в письме Златовратского к Н. А. Добролюбову из Рязани от 18 марта 1860 г. [213] После отказа от этого намерения или неудачи предпринятой попытки – статья была передана в газету «Московские ведомости» и поступила в цензуру. Московский цензурный комитет статью запретил на том основании, что в ней давалось «описание злоупотреблений помещичьей власти, прикрытых формою законности». Салтыков опротестовал решение Комитета и потребовал нового рассмотрения статьи в Главном управлении цензуры. Требование это было удовлетворено. Статью переслали в Петербург, и чтение ее было поручено члену Главного управления А. Берте. Через пять дней, 24 марта 1860 г., Берте представил в Управление обширную записку. В ней он брал под защиту, как правильную и «безвредную», статью «Проезжего» (Дубенского) и резко осуждал ответ ему Салтыкова. Берте писал:

«Г-н Салтыков в своем возражении на статью Дубенского смотрит на все дело с другой точки зрения, он видит в помещиках и фабрикантах – посягателей на свободный труд крестьянина, аферистов на человеческое мясо... Его мысль одна – помещики, желая отпустить своих крестьян без надела землю, стараются сбыть их фабрикантам по контрактам с этими последними, даже неизвестным контрагентам... Его статья выставляет уголовный характер всего дела, требует юридического разбора; сожаление читателей первой безвредной статьи о фабрикантах, глупо впутавшихся в чужое для них дело, о невинно удаленном городничем, теперь превращается в сильное негодование против помещиков, сознающих только свои выгоды и забывающих об интересах крестьянина... Как ни полезно допускать в литературу печатание опровержения на обличительные статьи литературного характера, но нельзя согласиться на напечатание еще не разрешенного уголовного дела, на обнаружение важных злоупотреблений, еще не доказанных по суду и только скрепленных подписью известного литератора – перво-начальника обличительной литературы нашего времени. Тем более в настоящее время нельзя предать гласности действия помещиков, когда разрешение крестьянского вопроса требует строгой осторожности со стороны цензуры».

Главное управление цензуры согласилось с мнением Берте и 26 марта 1860 г. окончательно запретило опубликование статьи, о чем 31 марта и была послана соответствующая бумага в Московский цензурный комитет. [214]

Так как разоблачение «хлудовской истории» не смогло появиться в печати, Салтыков неоднократно пользовался ее материалами, чтобы в дальнейших своих произведениях довести до сведения читателей суть этого «чудовищного дела». Он обращался к нему не только в сатирах 60-х годов – «Соглашение» и «Литераторы-обыватели» (см. в т. 3 наст. изд., стр. 312 и 433 и прим. к ним), но и в произведениях поздних годов – в «Дневнике провинциала в Петербурге» и «Мелочах жизни».

Стр. 84...тому порядку вещей, который в настоящее время выражается нами словом «тово». – Речь идет об освободительных веяниях в идеологии и настроениях русского общества периода падения крепостного права.

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Стр. 85...два крокодила: некто Бесчленный и некто Лисичка. – Обобщенные обозначения группы рязанских помещиков, принимавших участие в «хлудовской истории» (Хотяинцев, Буковские, Афанасьев, Злобин, Введенский, Улитина, Алабин и др.).

Стр. 86...чиновник особых поручений, который производит следствие – чиновник особых поручений при Рязанском губернаторе Хросицкий. Он вел следствие по «хлудовскому делу» под непосредственным наблюдением Салтыкова.

...подобно Пояркову Печерского, поющему под тенью дерев «блажен муж, иже не иде на совет нечестивых». – Этот псалом поет герой одноименного рассказа П. И. Мельникова-Печерского, странник Поярков.

Стр. 87...как губернатор, так и вице-губернатор... были только что определены к своим должностям... – Определение М. К. Клинггенберга губернатором в Рязань, а Салтыкова – вице-губернатором состоялось в марте 1858 г.; приступили же они к исполнению своих должностей в апреле.

ГАЗЕТНЫЕ СТАТЬИ 1861 г

В течение апреля – октября 1861 г. Салтыковым были написаны шесть газетных статей по вопросам, связанным с проведением в жизнь крестьянской реформы. Пять из них были опубликованы. Одна статья («Ответ В. К. Ржевскому на статью в № 30 «Современной летописи») не была напечатана. О содержании ее – оно приводится ниже, на стр. 559, – известно лишь из цитат и пересказа К. К. Арсеньева, пользовавшегося для своих «Материалов для биографии М. Е. Салтыкова» черновыми автографами статей, впоследствии утраченными.

В настоящем издании статьи воспроизводятся по тексту первопечатных публикаций. Важнейшие варианты по «Материалам...» К. К. Арсеньева приводятся в примечаниях. Хотя почти все варианты возникли вследствие явно цензурных причин или цензурных же опасений самого автора, ввести эти варианты в основной текст не представлялось возможным, поскольку мы не располагаем ни подлинными рукописями, ни подробными сведениями о них, ни цензурными документами.

В составленном Н. В. Яковлевым «Хронологическом списке произведений М. Е. Салтыкова-Щедрина» (т. 1, изд. 1933–1941 гг.) указана еще одна – седьмая – статья под заглавием «О членах от дворянства в губернских по крестьянским делам присутствиях». Но это, очевидно, недоразумение, восходящее к ошибке К. К. Арсеньева, принявшего часть рукописи статьи «К крестьянскому делу» за самостоятельную заметку, «посвященную специально членам от дворянства в губернских по крестьянским делам присутствиях».

Несмотря на специальный характер вопросов, обсуждающихся в газетных статьях 1861 г., цикл этот представляет существенный интерес для характеристики отношения Салтыкова к крестьянской реформе и к тому соотношению классовых сил, которое обнаружилось в связи с проведением реформы в жизнь. Значительная часть дворянства, недовольная реформой, проявляет оппозиционное настроение по отношению к правительству, настаивая, чтобы последнее компенсировало дворянство за отмену крепостного права расширением дворянских прав и привилегий. На этой почве возникает крепостническая оппозиция, мечтающая об установлении олигархической конституции. Одним из представителей этой группы был В. К. Ржевский, орловский помещик и видный чиновник министерства внутренних дел. Полемике с Ржевским посвящены четыре из пяти опубликованных газетных статей Салтыкова 1861 г. и упомянутая выше статья, оставшаяся в рукописи. Салтыков знал Ржевского еще по Московскому дворянскому институту, где он служил в годы обучения Салтыкова инспектором и где зарекомендовал себя сторонником телесных наказаний. [215] В 1862–1863 гг. Ржевский выступал в «Северной почте» – газете министерства внутренних дел – под псевдонимом Василий Заочный против литературных произведений Салтыкова.

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ МИРОВЫХ ПОСРЕДНИКОВ

Впервые – в газете «Московские ведомости», 1861, 27 апреля, № 91. Подпись и дата: «М. Салтыков. 17 апреля 1861 г.». В «Ответе г. Ржевскому» (см. наст. том, стр. 121–130) Салтыков указал, что статья «Об ответственности мировых посредников» была напечатана в «Московских ведомостях» не совсем в том виде, в каком была написана, и что выражения «найдутся средства», за которое особенно ухватился в полемике Ржевский, «вовсе в ней не было» (см. стр. 123).

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Статья написана в связи с появлением заметки В. К. Ржевского «Несколько слов о дворянстве» в официальной и субсидируемой правительством газете «Наше время» (1861, № 11). Автор заметки выступил с «воззванием» о праве дворянства на политическое преобладание в государстве и о необходимости охранения всех прочих привилегий дворянства, как наиболее просвещенной части общества.

Конкретным предметом полемики с Ржевским Салтыков избрал актуальный вопрос о мировых посредниках. Институт их был учрежден Положением 19 февраля 1861 г. на обязанностях мировых посредников лежало практическое проведение в жизнь реформы и урегулирование отношений между помещиками и крестьянами. Мировые посредники назначались губернаторами из числа потомственных дворян-помещиков, удовлетворявших определенному образовательному и имущественному цензу. Они наделялись широкими полномочиями, в частности административно-полицейскими, и могли подвергать крестьян аресту на срок до 7 дней и наказанию розгами до 20 ударов.

Мировые посредники по своим правам были приравнены к уездным предводителям дворянства, которые были независимы от местной администрации и подвергались «замечаниям, выговорам и суду не иначе как с разрешения правительствующего Сената» (Свод законов, изд. 1857 г., т. III, «Устав о службе по выборам», разд. 1, стр. 269). Крепостническое дворянство увидело в независимости мировых посредников от местных властей ликвидацию каких-либо ограничений помещичьего произвола при проведении реформы в жизнь. В противовес крепостнической апологии независимости мировых посредников, пронизывающей статью В. К. Ржевского, Салтыков выдвигает вопрос об ответственности мировых посредников.

Главная цель выдвигаемых в статье предложений об учреждении губернских съездов мировых посредников, о публикации материалов работы этих съездов в местной печати и др. – поставить практику проведения крестьянской реформы под контроль не только правительства, но и общества, «гласности». Проекты Салтыкова направлены «против ноздревских поползновений мыть наше грязное белье втихомолку». Ржевский отнесся к статье Салтыкова как к резкому антидворянскому выступлению, каким она и была в действительности. Отсюда продолжение полемики статьей Ржевского «Ответ на статью г. Салтыкова об ответственности мировых посредников» в «Современной летописи» (1861, июнь, № 22) и статьей Салтыкова «Ответ г. Ржевскому» (см. прим. к этой статье на стр. 558–560).

Стр. 103...с теми или другими материальными выгодами. – Формально мировому посреднику жалованье не устанавливалось, но «на издержки по отправлению должности» в его безотчетное распоряжение отпускалось по 1500 рублей ежегодно.

Еще недавно, на судебных следователях... – Должность судебных следователей была учреждена в 1860 г. Ранее следствия по уголовным делам велись полицией.

Трифонычи – одно из обозначений дворян-помещиков в салтыковской сатире и публицистике.

Стр. 104. Легкость получить возмездие... – Здесь слово «возмездие» употреблено в его старинном значении: воздаяние, награда, средства к существованию.

...у нас теперь «мода ездить в деревню и идти в посредники», как выразился недавно «Русский вестник»... – В обзоре «Современной летописи» (изд. «Русского вестника») № 13 от 29 марта 1861 г., стр. 15, говорилось: «Теперь становится даже модой ехать в деревню и идти в мировые посредники. Всегдашние столичные жители оставляют столицы и хотят служить каждому своему краю. Такое настроение, распространившееся в высшем обществе обеих столиц, значительно облегчает начальникам губерний выбор людей, способных занять должности мировых посредников...»

Стр. 105. Не дремлет Матрена Ивановна, не дремлет статский советник Стрекоза... – В пьесе 1862 г. «Погоня за счастьем» («Сатиры в прозе») эти персонажи салтыковской сатиры также фигурируют в качестве влиятельных лиц, рекомендуемых кандидатов на должности мировых посредников. Эти персонажи выступают и в ряде других произведений Салтыкова, в том числе и позднейших («Помпадуры и помпадури» и др.). В «Матрене Ивановне» современники угадывали намек на Минну Ивановну Буркову, влиятельную в 50–60-е годы фаворитку министра двора гр. В. Ф. Адлерберга (см. подробнее т. 3 наст. изд., стр. 610).

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru ...выбор падет на людей порядочных и добросовестных. – Даже правительство первоначально было напугано крайней реакционностью многих мировых посредников, видя в ней одну из причин крестьянских волнений (см. доклад министра С. С. Ланского Александру II от 16 апреля 1861 г. в кн. «Отмена крепостного права. Доклады министров внутренних дел о проведении крестьянской реформы 1861–1862 гг.», М. –Л. 1950, стр. 15–18). Однако, как показало время, среди мировых посредников оказалось немало и либерально настроенных дворян, выступивших даже с коллективными отказами проводить в жизнь крепостнические Положения 19 февраля. Вследствие этого мировые посредники «первого призыва» были распущены и заменены людьми, целиком угодными властям.

Стр. 107...члены уездных мировых съездов, определяемые от правительства... – Согласно «Положению о губернских и уездных по крестьянским делам учреждениях» в работе мировых уездных съездов принимали участие специально назначенные губернатором чиновники (от двух до четырех на губернию), которые именовались «членами от правительства».

...члены губернских присутствий... – В состав губернского по крестьянским делам присутствия входили губернатор, губернский предводитель дворянства, управляющий палатой государственных имуществ, губернский прокурор, два местных помещика, назначенные министром внутренних дел, и два помещика, избранные предводителями дворянства.

К КРЕСТЬЯНСКОМУ ДЕЛУ

Впервые – в газете «Московские ведомости», 1861, 30 апреля, № 94. Подпись: «М. Салтыков». В «Материалах...» К. К. Арсеньева находим следующий вариант, место которого в тексте не обозначено, но предположительно может быть отнесено в самый конец абзаца, начинающегося словами: «Случаи, требующие этого действия...» (стр. 110): «Действие полиции, как оно до сих пор представлялось в понятиях народа, есть нечто не успокаивающее, но даже производящее результаты совершенно противоположные...»

Вряд ли можно сомневаться, что слова эти не попали в печать по причинам цензурного характера.

Обнародование Положений 19 февраля, начатое 5 марта в Петербурге и Москве, сразу же вызвало крутую волну крестьянских волнений в стране. Крестьяне были разочарованы «волей» и считали манифест царя о грабительской реформе поддельным документом, сфабрикованным помещиками. Уже в марте волнения происходили, по далеко не полным официальным данным, в восьми губерниях, а в апреле они охватили двадцать восемь губерний. [216] Наибольшую известность приобрело выступление крестьян в с. Бездна Казанской губернии 12–19 апреля, при подавлении которого 70 человек было убито, 21 человек получил смертельные ранения, а руководитель крестьян Антон Петров расстрелян. Хотя сообщение о безднинских событиях появилось (в официозной «Северной пчеле») только 15 мая, известия о кровавой расправе в Бездне сразу же широко распространились по России. Нет сомнения и в том, что по своему положению вице-губернатора Салтыков очень скоро узнал о событиях в Бездне, так же как о расстреле 18 апреля крестьян в селе Кандеевка, Пензенской губернии, из источников официально-служебной информации.

Насколько удалось установить, статья «К крестьянскому делу» была первым в подцензурной русской печати откликом на крестьянские волнения, вызванные обнародованием манифеста и Положений 19 февраля.

В своей статье Салтыков не только энергично протестует против полицейской расправы, но и проводит мысль о необходимости серьезных уступок крестьянству со стороны помещиков. Там, где крепостники искали «подстрекательство», Салтыков видел закономерное недовольство масс.

При оценке этой, как и других газетных статей, Салтыкова следует учитывать, что писатель, занимавший в то время видный административный пост тверского вице-губернатора, выступая под своим полным именем, должен был особенно тщательно «конспирироваться» в цензурном отношении. Так, вряд ли отражают действительные взгляды Салтыкова упования на благотворную роль губернских присутствий и надежды, что помещики сами позаботятся об уничтожении смешанной повинности. Практика проведения реформы даже в славившейся своим «либерализмом» Тверской губернии учила иному. Статья «К крестьянскому делу» опубликована 30 апреля, а 11 мая Салтыков пишет Е. И. Якушкину: «Губернское присутствие,

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru очевидно, впадает в сферу полиции, и в нем только и речи, что об экзекуциях... Крестьяне не хотят и слышать о барщине и смешанной повинности, а помещики, вместо того чтоб уступить духу времени, только и вопиют о том, чтобы барщина выполнялась с помощью штыков».

Одобрительный отзыв о статье «К крестьянскому делу» содержится в выступлении «Современной летописи» (1861, № 20, от 17 мая, стр. 17) по поводу безднинских событий.

Стр. 109...смешанная повинность... – то есть сочетание барщины (обработка помещичьей земли трудом крестьянина) и оброка (денежные взносы, которые крестьяне делали помещикам взамен барщины).

Стр. 110...число рабочих дней достигает 50 с тягла в год... – В крепостном хозяйстве единицей, с которой насчитывались повинности, было тягло – семья, состоящая из двух работников: мужчины (от 17 до 55 лет) и женщины (от замужества до 50 лет).

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ ИСТИННОМ ЗНАЧЕНИИ НЕДОРАЗУМИЙ ПО КРЕСТЬЯНСКОМУ ДЕЛУ

Впервые – в газете «Московские ведомости», 1861, 11 июня, № 128. Подпись: «М. Салтыков». При публикации текст подвергся цензурному вмешательству (см. А. Попельницкий. Специальная цензура книг и статей по крестьянскому вопросу в 1861–1862 гг. – «Русская старина», 1916, № 2, стр. 301).

«Материалы...» К. К. Арсеньева содержат следующие варианты доцензурного текста:

Стр. 112. После слов: «назовет его сиятельством» было продолжено: «и поцелует у него руку».

Вместо слов: «учинит дебош, о котором долго, между гаваньцами, будут переходить из рода в род преувеличенные рассказы» было: «...учинит дебош. Я даже не прочь от мысли, что он напьется пьян и что-нибудь напаскудит мимоходом».

Стр. 114. Вместо слов: «не предъявить чего-нибудь лишнего» было: «не попривередничать малость».

По-видимому, после слов: «А между тем люди, предъявляющие относительно крестьян, ожидания и требования буколического свойства, выискиваются нередко» в рукописи следовал текст, приведенный Арсеньевым без кавычек, то есть, возможно, в пересказе: «Они ужасно волнуются при мысли, что душою крестьянина чувство благодарности за дарованные права владеет не всецело. Отсюда те дикие вопли, которые нередко слышатся в так называемом образованном обществе; отсюда неистовые воззвания к насилию, как единственному убежищу против черной неблагодарности и единственному средству для насаждения надлежащих чувств в черствой душе крестьянина».

Стр. 115. Вместо слов: «Не на завладение ферулой, а на искоренение понятия о необходимости ее ~ этих учреждений» было: «Не на завладение ферулой, а на исторжение ее из рук прочих административных мест и на предание ее всенародно сожжению должно быть обращено ревнивое внимание крестьянских учреждений».

Стр. 118. После слов: «а дядя Корней записывается в книжечку, как будущий зачинщик и подстрекатель» следовало продолжение: «Кстати, о зачинщиках. Одна дама спрашивала некоторого глубокомысленного администратора, хвалившегося, что он в таком-то случае взял столько-то зачинщиков и поступил с ними по всей строгости (есть такие плоскодонные головы, которые и этим хвалятся!): «Скажите, пожалуйста, каким образом Вы умеете отличать зачинщиков? – Администратор вытаращил глаза и, по-видимому, изумился, как это ему никогда не приходил в голову подобный вопрос. – Вы, может быть, отличаете их по волосам: один раз зачинщики – белокурые, другой раз – брюнеты?» Администратор побагровел от злости, но удовлетворительного ответа не дал. Увы! Я и сам до сих пор не знаю, какие отличительные наружные признаки зачинщика. Мне все сдается, что зачинщик – время и что его-то именно и следует подвергнуть полицейскому взысканию. Очень может быть, что я ошибаюсь».

Стр. 120. В изложении Арсеньева статья заканчивалась отсутствующим в печатном тексте предложением, чтобы особые мнения, подаваемые членами губернских присутствий, доводились до сведения центральной власти.

Настоящая статья, как и предыдущая, «К крестьянскому делу», написана в связи с происходившими в марте и апреле 1861 г. почти по всей Европейской России крестьянскими волнениями, вспыхнувшими в связи с разочарованием в реформе 19 февраля.

14 февраля 1861 г. был введен новый порядок публикации статей по крестьянскому делу: все одобренные цензурой статьи допускались к напечатанию только с разрешения государственного секретаря (см. «Сборник постановлений и распоряжений по цензуре», СПб. 1862, стр. 457). После первых крестьянских волнений государственный секретарь В. Бутков дал указание цензуре не допускать в печати каких-либо рассуждений «о печальных событиях». Однако московский цензор, аттестуя статью Салтыкова как написанную «в тоне умеренном и хорошем направлении», просил в порядке исключения разрешения В. Буткова на ее опубликование, которое и было получено (см. А. Пепельницкий. Специальная цензура книг и статей по крестьянскому вопросу в 1861–1862 гг. – «Русская старина», 1916, № 2).

«Главный предмет» статьи состоит в том, чтобы, с одной стороны, убедить «проницательного читателя» в естественности и обоснованности тех «недоразумений», которые вызывают крестьянские волнения, а с другой, указать пути устранения причин этих «недоразумений» и рекомендовать такие средства к предупреждению и прекращению волнений, которые бы начисто «исторггли» из административной практики «ферулу» политического насилия. К всенародному сожжению этой «ферулы» Салтыков смело призывал в доцензурной редакции статьи (см. выше, вариант к стр. 115). Несмотря на вмешательство цензуры, Салтыков сумел провести в статье мысль, что причиной крестьянских волнений является неудовлетворенность крестьянских масс реформой. Но, настаивая на необходимости со стороны помещиков «пожертвования частью материальных выгод», он, однако, не касается главного требования крестьянства – ликвидации помещичьей собственности. Впервые в печати оно было поддержано Салтыковым после прихода в «Современник» (см., например, апрельскую за 1863 г. хронику «Наша общественная жизнь» – т. 6 наст. изд.).

Стр. 112. Галерная гавань – район на Васильевском острове в Петербурге, заселенный в середине XIX в. преимущественно мелким чиновничеством.

Квартальный поручик. – В полицейском отношении Петербург начала 60-х годов делился на 56 кварталов, во главе которых стояли квартальные надзиратели. До 1838 г. помощники квартальных надзирателей назывались квартальными поручиками. Вероятно, что Салтыков употребляет уже исчезнувшее из официальной терминологии наименование полицейского офицера, исходя из цензурных соображений.

Стр. 113. Английская набережная – парадно-аристократический район старого Петербурга; здесь находились посольства и особняки столичной знати.

Стр. 114...хоть на два годочка... – Для введения в действие Положений 19 февраля был установлен двухлетний переходный период, в течение которого крестьяне должны были отбывать на помещика повинности в прежних формах и размерах. Уже в первом докладе министра Ланского Александру II о ходе проведения реформы (31 марта 1861 г.) отмечалось массовое недовольство крестьян этим практическим сохранением крепостного права еще на два года.

Стр. 115. Ферула – хлыст, розга (лат. *ferula*).

Стр. 118...барыня Падейкова. – В рассказе 1859 г. «Госпожа Падейкова» Салтыков создал образ помещицы-крепостницы, испуганной и озлобленной слухами об отмене крепостного права (см. т. 3 наст. изд.).

ОТВЕТ г. РЖЕВСКОМУ

Впервые – в «Современной летописи» (приложение к журналу «Русский вестник»), 1861, 28 июня, № 26. Подпись и дата: «М. Салтыков. 10 июня 1861 г. Тверь». «Материалы...» К. К. Арсеньева дают два следующих варианта:

Стр. 123. Вместо слов: «У нас ~ в сфере своей деятельности» было: «В России, как между служащим дворянством, так и между неслужащим (но служившим), могут быть ерлашисты, могут быть преферансисты, могут быть даже люди весьма серьезные и начитанные...»

Стр. 124. По-видимому, вместо слов: «Всякий, кто ~ обычаях» было: «Отвращение, которое я питаю к неделекатным отношениям, достаточно доказывается всей моей литературной деятельностью, которая почти исключительно направлена к обнаружению их нелепости».

Статья написана по поводу полемического выступления Ржевского «Ответ на статью Г. Салтыкова об ответственности мировых посредников», напечатанного в «Современной летописи», 1861, № 22.

Прикрывая защиту помещичьего своеволия фразами о необходимости борьбы с бюрократической централизацией, Ржевский упрекает Салтыкова в измене взглядам на бюрократию и земство, выраженным в рассказе «Неумелые» из «Губернских очерков» (см. наст. том, стр. 129–130). Разумеется, Ржевскому было совершенно ясно, по какой причине Салтыков «вступился» за централизацию и бюрократию. Он усматривал в них силы в известной мере способные противостоять помещичье-крепостнической «земщине». Раскрывая в доносительно-булгаринской манере антидворянскую, демократическую суть статьи, Ржевский сближал ее с «направлением известной школы реформаторов, желающих во что бы то ни стало благодетельствовать низшим классам». В этой связи он называет французского утопического коммуниста XVIII в. Гракха Бабёфа – организатора тайного революционного «Общества равных», участники которого требовали народовластия и лишения гражданских прав тех, кто не трудится. В рецензии на книгу Б. Гильдебранда «Политическая экономия настоящего и будущего» («Русский вестник», 1861, март) Ржевский относит к школе Бабёфа Сен-Симона, Фурье и Энгельса, «опровержению» книги которого «Положение рабочего класса в Англии» посвящена в основном рецензия. Статья Ржевского носила характер политического доноса, и в таком качестве заклеил ее Салтыков. В № 30 «Современной летописи» Ржевский поместил «Письмо к редактору «Русского вестника» по случаю полемики с Г. Салтыковым». Подготовленный Салтыковым новый ответ по неизвестным нам причинам опубликован не был. В «Материалах...» Арсеньева сохранился следующий фрагмент из не дошедшей до нас полемической статьи Салтыкова, относящийся к тому месту выступления Ржевского, где давалось определение бюрократии: «беспрерывная регламентация, беспрерывное вмешательство в частную жизнь, стремление заменить не только жизнь, но и самую совесть предписаниями начальства». В ответ на это Салтыков писал:

«Гораздо справедливее и проще было бы сказать, что бюрократия представляет собою в государстве орган центральной власти, которая, в свою очередь, служит представительницей интересов и целей государственных... Г-н Ржевский напрасно берет на себя труд формулировать мою мысль так: везде, где нет земства, господствует бюрократия. Нет, я сказал и желал сказать: где нет земства, там нет и бюрократии, а есть чепуха, есть бесконечная путаница понятий и отношений, при существовании которых всякий отдельный общественный деятель получает возможность играть в свою собственную дудку».

«Отвергая обвинение в неуважении к общественному мнению, – излагает далее Арсеньев ход мыслей в статье, – Салтыков замечает, что и по отношению к общественному мнению не всегда подобает играть роль Молчалина». И затем вновь приводится цитата из салтыковской рукописи: «Бывают общества, где эксплуатация человека человеком, биение по зубам и пр. считаются не только обыденным делом, но даже рассматриваются местными философами и юристами с точки зрения права. Благоговеть перед мнениями таких обществ было бы не только безрассудно, но и бессмысленно».

Стр. 126–127... не того прелестного незнакомца, к которому простирал свои руки Булгарин, а незнакомца другого... вопиющего, будто бы его со всех сторон обидели. – Если Булгарин доставлял свои доносы в III Отделение – высший орган политической полиции самодержавия, то Ржевский, по мнению Салтыкова, апеллирует со своими инсинуациями ко всему дворянско-помещичьему классу, озлобленному реформой, усматривающему в отмене крепостного права крушение всего существующего порядка вещей.

Стр. 127... француз Бабёф и русский полковник Скалозуб... – В подготовленном сторонниками Бабёфа «Декрете об управлении» гражданскими правами безусловно пользовались лишь люди физического труда, занятые же наукой и преподаванием должны были для получения этих прав представить удостоверение о своей гражданской честности. На этом основании Ржевский сближает Бабёфа и грибоедовского Скалозуба, пытаясь доказать, что коммунисты – такие же противники

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru просвещения, как и Скалозуб. «Защита просвещения» служит у Ржевского помещичьим интересам: по его мнению, в общественно-политической жизни должны участвовать только лица, имеющие материальный достаток и образование, то есть дворяне-помещики.

Стр. 127. Шиканировать – прибегать к крючкотворству, придираться (франц. *chicaner*).

Стр. 129...ставит мне в укор, что я подражаю «великим писателям, украшающим своими произведениями «Свисток»». – Ржевский намекал тут на Некрасова и особенно на Добролюбова, бывшего душой «Свистка» – сатирического отдела «Современника».

...словами одного из действующих лиц моего очерка «Неумелые». – Имеются в виду заключающие очерк слова мещанина Голенкова (см. т. 2 наст. изд., стр. 258).

ГДЕ ИСТИННЫЕ ИНТЕРЕСЫ ДВОРЯНСТВА?

Впервые – в «Современной летописи» (приложение к журналу «Русский вестник»), 1861, 18 октября, № 42. Подпись: М. Салтыков. Из «Материалов...» К. К. Арсеньева следует заключить, что при публикации статьи текст ее значительно пострадал от цензуры и политическая острота его была существенно ослаблена. Приводим полностью рукописную редакцию статьи, как она дана в «Материалах...» – в цитатах салтыковского текста (в кавычках) и в его пересказе К. К. Арсеньевым (без кавычек). Текст, не попавший в публикацию «Современной летописи», набран курсивом:

«Покуда г. Ржевский приглашает дворян воспользоваться каким-то единственным в истории случаем, чтобы утвердить свое политическое преобладание над прочими сословиями, благоразумнейшие и образованнейшие из дворян помышляют не о преобладании и даже не о том, чтобы удержаться, так сказать, на поверхности возникающего в России земства, а о том, чтобы просто-напросто сделаться членами этого земства – членами не случайными, признающими за собой только права, а не обязанности, но действительными членами, связанными с земством всей совокупностью условий, налагаемых этим званием. И это весьма понятно. Какими бы правами ни пользовалось известное сословие, действительная сила свободного государства лежит в земстве. Там источник материального его благосостояния; там же залогом дальнейшего его политического и умственного развития. Оторваться от всего этого – значило бы оторваться от общей жизни государства, значило бы стать в класс бобылей, тот самый класс, в который некоторые благодетели человеческого рода так усердно хлопотали пристроить крестьян». В России необходимость дружной, единомысленной работы всех общественных сил понималась до сих пор довольно слабо: помехи и преграды такая работа встречала со всех сторон. «Тут сословия, там ведомства, тут чины, там гильдии и разряды; все топорщится, все представляет свои особенные права, ни к чему нельзя приступить, не сделавши наперед особенного и совершенно бессмысленного маневра. Однако русский человек покладист, привыкает ко всему. Привык и к маневрам, – так привык, что без них ему и жизнь не в жизнь: все равно что без клопов спать и без тараканов щи хлебать. И если бы расплодившиеся в Петербурге комиссии не доказали нам фактически, что мы ежечасно приносим в жертву наши интересы некоторому чудовищу, именуемому гилью, то мы и до сих пор были бы вполне довольны своей судьбой». Искусственные дробления, созданные администрацией, ею же могут быть и уничтожены. С этим уничтожением нелегко примириться большинству, а между тем примирение необходимо. С отменой крепостного права сословные интересы дворянства потеряли прежнее значение. «Напрасно толпа (увы! в каждом сословии, как бы высоко оно ни было поставлено, есть своя толпа!) старается удержаться за немногие крохи, упавшие с паскудной трапезы крепостного права и несметенные лишь по недоразумению; напрасно философы и юристы этой толпы усиливаются эскамотировать благодетельные последствия реформы, придумывая новые, обманывающие только зрение формы для упрочения того же крепостного права. Усилия эти останутся бесплодными уже потому, что они ставят дворянство вне общей жизни государства, а ему необходимо войти в самое сердце этой жизни». Констатируя признаки увеличивающегося сближения между народом и дворянством, Салтыков указывает на единственное средство упрочить это сближение, сделать его действительным и деятельным: помещик должен стать членом сельского общества и волости. Закон этого не требует, но и не воспрещает, предоставляя разработку вопроса времени и общественному мнению. Разрешение его в утвердительном смысле было бы одинаково полезно и для помещиков, и для крестьян под одним только условием: чтобы сближение было искренне. Крестьяне сумеют различить волка от сторожевого пса, и дело, испорченное одним, долго не поправится даже при

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru соединенных усилиях многих. Помещик, желающий вступить в состав сельского общества и волости, должен предварительно окончить, путем выкупной сделки, все расчеты с бывшими своими крестьянами, и затем участвовать наравне с прочими членами общества, в платеже податей и повинностей, лежащих на обществе.

Статья «Где истинные интересы дворянства?» является заключительным звеном полемики Салтыкова 1861 г. с защитником «дворянской идеи» Ржевским. Отголоски полемики имеются в очерке Салтыкова «К читателю» из «Сатир в прозе» (см. в т. 3 наст. изд., стр. 263, 595, 597 и 601) и в статьях Ржевского «Да или нет? По поводу статьи Н. П. Семенова «Освобождение крестьян в Пруссии» («Русский вестник», 1862, № 12, стр. 816–839), «Ответ на заметку в фельетоне № 50 «С.-Петербургских ведомостей» («Современная летопись», 1863, № 14).

Содержащиеся в статье призывы к сближению дворянства с народом были справедливо расценены в печатных откликах современников как совершенно нереальные.[217] Да и сам Салтыков вряд ли рассчитывал на то, что сколь-нибудь значительная часть помещиков искренне стремится к единению с народом. Позже, в 1863 г. в «Современнике» он язвительно высмеял «игру в сближение сословий» (см., например, апрельскую за 1863 г. хронику «Наша общественная жизнь» и очерк «В деревне» в т. 6 наст. изд.). Однако главное в статье Салтыкова – не просветительские апелляции к «благоразумнейшим из дворян», а заявленная в ней демократическая программа немедленной ликвидации наиболее вопиющих пережитков крепостничества.

Требование устранения общественно-политического господства помещиков в жизни страны, особенно деревни, отчетливо звучащее в статье, подкрепляется конкретными проектами экономических преобразований в интересах крестьянства. В дореформенной России дворянство было освобождено от уплаты государственных налогов, крестьяне же обложены подушной податью, которая к концу 50-х годов равнялась, по подсчетам директора кредитной канцелярии Ю. Гагенмейстера, поденной плате за 120 дней работы. Выдвинутый в статье Салтыкова проект реформы налогового обложения, переносающей основную тяжесть налогов на помещиков, был под его влиянием в феврале 1862 г. включен в известное письмо экстренного съезда дворян Тверской губернии Александру II (см. Н. Журавлев. М. Е. Салтыков (Щедрин) в Тверской губернии, Калинин, 1939, стр. 107–108). Не меньшее значение придавал Салтыков скорейшему осуществлению так называемой выкупной сделки. Согласно Положениям 19 февраля крестьяне наделялись землей не в собственность, а в пользование, и за надел должны были в барщинных имениях отработывать на помещика 70 дней в год, а в оброчных – вносить от 8 до 12 рублей ежегодно. По соглашению с помещиком крестьяне могли выкупить надел. До совершения выкупной сделки крестьяне именовались «временнообязанными». Выкуп наделов стал обязательным только с 1881 г., а подушная подать отменена лишь в 1887 г. Но в условиях революционной ситуации 1861 г. Салтыков рассматривал немедленную отмену податной сословности, ликвидацию «временнообязанных» отношений и ряд других экономических и политических преобразований как реально возможные уступки, на которые помещики вынуждены будут пойти под давлением крестьянских волнений.

Стр. 131...на поверхности возникающего земства... – Проект земской реформы, то есть перестройки местного управления на сословно-представительной основе, разработала в министерстве внутренних дел в 1859 г. специальная комиссия под председательством Н. А. Милютина. К работам этой комиссии привлекался и Салтыков. Введена была земская реформа с 1864 г.

...стать в класс бобылей. – Бобыль – юридический термин, обозначающий одинокого и не имеющего надела крестьянина. В быту бобылем называли всякого человека, живущего обособленно от общества. В рукописной редакции (см. выше) Салтыков обыгрывал двусмысленность термина «бобыль», намекая на попытки крепостников лишить всех крестьян надела, превратить их в «класс бобылей».

Стр. 132...сила их должна заключаться не в предании... – то есть не в опоре на исторически сложившиеся привилегии, которые определяются Салтыковым как «искусственно созданные права и преимущества».

Стр. 133. Прочтите исчисление предметов, подлежащих ведению сельского схода. – Это перечисление дано в «Общем положении о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости».

Стр. 134. Когда податная и земская повинность переложена будет с душ на землю... – Кроме подушной подати, поступающей в государственный бюджет, крестьяне должны

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru были вносить ряд так называемых земских сборов на внутригубернские нужды, а также выполнять натуральные земские повинности (дорожную, подводную и др.). Подушное обложение было введено еще при Петре I. О намерении отменить подушный принцип было заявлено правительством в 1859 г., но взимание подушной подати в Европейской России было прекращено лишь в 1877 г.

СТАТЬИ ИЗ «СОВРЕМЕННОКА» 1863 г МОСКОВСКИЕ ПИСЬМА

Впервые – в журнале «Современник», 1863, № 1–2, отд. II, стр. 163–176 (ценз. разр. – 5 февраля), и № 3, отд. II, стр. 11–12 (ценз. разр. – 14 марта). Подпись – К. Гурин. Псевдоним раскрыт А. Н. Пыпиным («М. Е. Салтыков», СПб. 1899, стр. 236); авторство подтверждено публикацией документов конторы «Современника» («Литературное наследство», т. 13–14, стр. 64–65, и т. 53–54, стр. 258–289). Рукописи не сохранились. Печатаются по тексту журнала.

Хотя точные данные об авторских планах «Московских писем» отсутствуют, из самого текста вытекает, что у Салтыкова был более обширный замысел, не осуществленный до конца. Очевидно, предполагался развернутый полемический цикл, в котором за первым письмом – о московском театре и вторым – о московской публицистике должны были последовать письма о науке, народности, праздности и чревоугодии в Москве. Такие обещания содержатся в существующих двух письмах, тесно связанных между собой. Например, во втором письме говорится: «Я хотел писать вам о московской науке, о московской народности, о московской праздности, о московском обжорстве... Наука, народность и обжорство от нас не уйдут... Стало быть, об науке – до следующего письма...» Это следующее, третье письмо не появилось.

Исходный объединяющий замысел цикла «Московских писем» вызван, как всегда у Салтыкова, обстоятельствами современного момента и заключался в задаче обличения той идеологической «Москвы», которая после реакционного перелома 1862–1863 гг. в общественном движении давала во множестве примеры отступничества от былого сочувствия передовой русской мысли и все больше превращалась в оплот консерватизма.

Сатирические атаки Салтыкова направлены на разные явления в общественной жизни той «Москвы», о которой Герцен писал 1 июня 1862 г. в «Колоколе»: «...Как же она изменилась с тридцатых, сороковых годов... вместо Белинского – Павлов, в университете – проповедь рабского повиновения...» [218] и т. д. Салтыков то прямо затрагивает кричащие признаки этой «дегенерации» (вырождения), то касается их обиняком.

Резко сдала позиции, пошла на попятную еще недавно либеральничавшая профессура. Университетский совет во второй половине 1862 г. передал газету «Московские ведомости» (собственность университета) на правах аренды М. Н. Каткову и его ближайшему сотруднику профессору П. М. Леонтьеву. Это сильно уронило общественный престиж университета и сыграло на руку реакции. Ибо Катков к тому времени уже полностью завершил свой поворот от недавнего либерализма к союзу с правительством. В июне 1862 г. Катков напечатал в «Современной летописи» (приложение к «Русскому вестнику») пасквиль на Герцена. Александру II пасквиль понравился. Вскоре после того как «Московские ведомости» перешли в руки Каткова, газета получила исключительное право печатать казенные объявления, что было одновременно и привилегией, и формой субсидии. [219] С этими фактами связан ряд сатирических выпадов в «Московских письмах». Например, и название выдуманного Салтыковым водевиля «Сила судьбы, или Волшебный четвертак», и куплет из этого водевиля об «интересах государственной казны», и некоторые «слухи» во втором «письме» подразумевают университетских профессоров, отдавших свою газету Каткову, и получение последним монополии на казенные объявления, что наделало тогда много шума. Скандал разросся после того, как Н. Ф. Павлов – издатель субсидированной правительством газеты «Наше время», прежде весьма дружественно относившийся к Каткову, – заявил о несправедливости такой монополии. Возникла ожесточенная полемика (см. «Наше время», 1862, №№ 231, 242, 254, 264, и «Современная летопись», 1862, №№ 44, 46, 48, 50), вызвавшая многочисленные насмешки демократической печати (см., например, в №№ 43 и 44 «Искры» в «Хронике прогресса» Г. Елисеева и в «трагической сцене» В. Курочкина «Лорд и маркиз, или Жертва казенных объявлений»). Об этом же эпизоде Салтыков упомянул на страницах «Современника» (1863, № 1–2) еще и в другой своей статье: «Несколько слов по поводу «Заметки», помещенной в октябрьской книжке «Русского вестника» за 1862 год» (см. наст. том, стр. 216). А в конце второго «письма» он издательски распространяет и муссирует «слухи» о «примирении» обоих «антагонистов», которое

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru все как-то не может состояться.

Другая тематическая линия «Московских писем» относится к обличению славянофилов и их газеты «День» (еженедельник), выходившей в Москве с 1861 г. под редакцией И. С. Аксакова. В начале своего существования газета выступала в качестве оппозиционного органа (с требованием созыва земского собора, свободы печати и др.) и подвергалась преследованиям цензуры. Но в дальнейшем она все больше сближалась с правительственной платформой.

Меру реакционного падения славянофильской группы «Дня» показало ее отношение к польскому восстанию 1863 г. «Друзья славянства» после неловких маневрирований выступили с поддержкой усмирителя повстанцев Муравьева-Вешателя и с нападками на Герцена, защищавшего на страницах «Колокола» демократические позиции в польском вопросе. С этой темой также связаны сатирические намеки Салтыкова: коленопреклоненный Аксаков, приносящий в жертву цыпленка, приготовленного à la polonaise, то есть по-польски, и др.

Таков общий исторический фон и главные сатирические темы незавершенного «московского цикла» Салтыкова.

I

Первое из «Московских писем», намечая тематическую перспективу всего цикла, специально посвящено Малому театру времен пореформенной реакции.

Салтыков высоко ценил реалистическое искусство Малого театра и в своей последней книге «Пошехонская старина» (глава XXIX) благодарно вспоминал о первых юношеских впечатлениях от этого театра в 40-е годы и о его тогдашних корифеях – Мочалове, Щепкине (см. также рецензию на «Записки и письма» М. С. Щепкина в наст. томе, стр. 436–439). Однако в «Московских письмах» он не ставил себе задачу характеризовать заслуги Малого театра перед русской культурой. Цель здесь сатирическая: резко противопоставить былое значение Малого театра как высокой общественной трибуны 40-х годов (в «письме» упомянуты Гоголь, Мочалов) его относительному упадку в первые пореформенные годы. Не претендует Салтыков и на оценку творчества Щепкина в целом. Недоверие Щепкина к Островскому, к новому этапу развития критического реализма воспринято писателем как признак дряхлости некогда могучего таланта.

Непосредственный повод для сатирических обличений в первом «письме» дала постановка в Малом театре пьесы Ф. М. Толстого «Пасынок». Правая печать встретила ее сочувственно. Газета Павлова «Наше время» 30 ноября 1862 г. (№ 259) посвятила ей статью С. П. (С. Д. Полторацкого) «Новая драма на московской сцене». Для Салтыкова не только пьеса, но и ее беспринципный автор – «Феофилка», как называл его сатирик в частных письмах и разговорах, – были явлениями резко отрицательными.

В молодости, в 1820–1830 гг., Феофил Толстой пробовал свои силы в сфере салонного музицирования и исполнительства. Потерпев неудачу на этом поприще, он сделался музыкальным критиком (под псевдонимом «Н. Ростислав»), публицистом, писал повести, романы, пьесы, стал своим человеком в булгаринской «Северной пчеле», получил придворное звание гофмейстера и вплоть до 1871 г. занимал влиятельный пост в цензурном ведомстве – был членом совета Главного управления по делам печати и в этом качестве имел прямое отношение к политическому контролю над изданиями, в которых печатался Салтыков. Вместе с тем Ф. Толстой пытался заискивать перед демократической литературой. Ему принадлежат произведения, в которых он пробовал приблизиться к прогрессивным позициям. Таковы глухо упомянутые Салтыковым «Три возраста. Дневник, наблюдения и воспоминания музыканта-литератора» («Современник», 1853, №№ 10–12) и «Болезни воли» («Русский вестник», 1859, №№ 9–10). О последней повести позднее сочувственно отозвался Д. И. Писарев в статье «Образованная толпа» (1867), [220] а В. Н. Фигнер отметила в автобиографии, что повесть эта сыграла известную роль в ее идейном воспитании. [221] Но Салтыков не сделал исключения и для «Болезней воли», саркастически заметив, что экземпляры журналов с обеими повестями «все затеряны». Реакционность содержания и художественную несостоятельность «Пасынка» Салтыков обнажает приемом памфлетно-сатирического пересказа пьесы. К. И. Чуковский – автор специальной работы о Ф. Толстом – указал, что и та страница салтыковского «письма», где рассказана встреча с посторонним литераторе «любезным стариком», также представляет собой памфлетный набросок с Феофила Толстого. [222]

Салтыковское «письмо» содержит вместе с тем не только негативно-критический материал. Позитивную эстетическую ценность представляют общие суждения писателя о принципах реализма в театре, в актерском искусстве. Салтыков требует, чтобы сценический образ соответствовал жизненной правде, взятой во всех многосторонних ее проявлениях, в светотенях, в сочетаниях уродливого и человеческого. «Вот на этих-то человеческих сторонах, на этой-то человеческой основе и мирится актер со своею ролью», – пишет он и отстаивает, в сущности, то качество актерской игры, которое ныне зовется внутренним перевоплощением. При всех оговорках, вызванных ничтожностью драматургии Ф. Толстого, Салтыков выделяет «даровитого актера» П. М. Садовского, отмечает реалистическую природу его искусства. Во имя торжества правды на русской сцене писатель высмеивает ремесло актерского внешнего «представления». Еще в «Губернских очерках» Салтыков писал (а потом повторял устами персонажа «Теней») про актеров, которые «играют кожей, а не внутренностями». В «письме» он иронически именуется их «протейями», относя к ним москвича С. В. Шумского, петербуржца В. В. Самойлова и некоторых других, менее крупных актеров. Близкие оценки современных актеров давали и другие русские писатели, например Островский, Тургенев, Писемский. [223]

«Московские письма», как и одновременно начатые печатанием статьи «Петербургские театры» (см. наст. том, стр. 163–215), – первые программные выступления писателя о сценическом реализме.

Стр. 139...М. С. Щепкин, в виде старого причетника, сдавшего дьяческое место дочери, дрожащим от слез голосом поет. – В быту русского сельского духовенства уходивший на покой по старости причетник «сдавал» свое место в приходе мужу дочери, также священнослужителю. Салтыков сближает это с ситуацией водевиля Д. Т. Ленского «Лев Гурыч Синичкин», герой которого, старый заштатный актер, добивается театрального дебюта для своей дочери.

Взято из водевиля «Гризетка Лизетта, или Нас не оставит бог!». – Такого водевиля (как и названных ниже двух других) не существовало. Салтыков пародирует названия репертуарных водевилей и куплеты из них в сатирических приемах «Свистка» (см. наст. том, стр. 275–304), насыщая их злободневными сатирическими намеками.

...г. Никита Крылов возлагает руки на г. Бориса Чичерина... – Пародируя обряд священнодействия, Салтыков намекает на «вольнодумство» профессора государственного права Б. Н. Чичерина; умереннейший либерал, он все же оказался единственным, кто возразил на университетском совете против передачи «Московских ведомостей» в аренду Каткову. Позднее Чичерин писал: «Можно утвердительно сказать, что этим роковым решением Московский университет сам наложил на себя руку» («Воспоминания Б. Н. Чичерина», Московский университет, изд. М. и С. Сабашниковых, М. 1929, стр. 81).

Еду ли по Спиридоновке, мимо редакции «Дня»... – На Спиридоновке (ныне улица Алексея Толстого) помещалась редакция славянофильской газеты «День», возглавляемой И. С. Аксаковым.

Стр. 140...проезжаю мимо Лоскутного трактира... молебны Молоху служат. – Лоскутный трактир – он помещался в одной из улочек снесенного теперь квартала (на месте нынешней Манежной площади) – был признанным «святилищем» знаменитого «чревоугодия» дворянско-купеческой Москвы. Образное сближение «сытости» с консервативным застоем – обычный прием салтыковской сатиры, разоблачающей «политику в быте» (М. Горький).

Стр. 143...вроде, например, г. Устрялова, автора знаменитой драмы «Слово и дело»... – Пьесу Ф. Н. Устрялова «Слово и дело» Салтыков критиковал в статье «Петербургские театры» (см. наст. том, стр. 163–172).

Стр. 144. Камелии – женщины легкого поведения.

Стр. 145...дух долины... сын фараона! – высмеиваются названия двух репертуарных балетов на музыку Цезаря Пуни, впервые показанных в 1862 г. в Петербурге: «Сирота Теолинда, или Дух долины» в постановке Артура Сен-Леона (6 декабря) и «Дочь фараона» в постановке Мариуса Петипа (18 января).

Стр. 147. Мы недоумеваем... нет прямого нисходящего потомства. – Это примечание Салтыкова, оспаривающее, так сказать, юридические мотивировки сюжета «Пасынка»,

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru вызвало особое негодование Ф. Толстого. Догадываясь об истинном имени своего критика, он писал в феврале 1863 г. Н. А. Некрасову: «что какой-то Гурин, критикуя пьесу, все переврал и ничего не понял, тут нет ничего удивительного», но «после этого и обер-обличитель Щедрин ничто больше как полицейский чиновник» («Литературное наследство», т. 51–52, стр. 580).

Стр. 148...подражание драме г. Дьяченко «Жертва за жертву». – Пьеса плодovitого драматурга В. А. Дьяченко «Жертва за жертву», поставленная в 1861 г. в Александрийском театре и в 1862 г. в Малом, имела успех у публики, особенно благодаря сцене, изображающей привал ссыльных по пути в Сибирь.

Стр. 149. Какое торжество готовит древний Рим? – начало стихотворения К. Н. Батюшкова «Умиравший Тасс» (1816).

...г. Славин (сей презент Москвы Петербургу) не все же в златотканых одеждах ходит... – Актер А. П. Славин, отличавшийся внешней картинностью игры, служил в 1839–1842 гг. в Малом театре и, уволенный по прошению, поступил в 1845 г. в Александрийский театр, где играл до года смерти (ЦГИАЛ, ф. 497, оп. 97/212, ед. хр. 10298). В 1863 г. среди его ролей были тень отца Гамлета («Гамлет» Шекспира), дож Венеции («Венецианский купец» Шекспира), император Юстиниан («Велизарий» в переделке П. Г. Ободовского), верховный воевода князь Дмитрий Трубецкой («Смерть Ляпунова» С. А. Гедеонова), Абдул-Гассан, калиф багдадский («Багдадские пирожники, или Волшебная лампа» П. Г. Григорьева 2-го), и т. п. «костюмные» роли.

Стр. 150. Протей – в греческой мифологии вещей старец, обитал в море и произвольно менял свой облик.

Стр. 151...почти ни разу не дали ни одной пьесы Островского, а потчуют все «Пасынками», да «Ветошниками», да «Извозчиками», да «Испорченными жизнями»? – Справедливо сожалеея, что ремесленные поделки, вроде «Пасынка» Ф. М. Толстого, исполнялись за счет хороших пьес, Салтыков все же не вполне точен. В 1862 г. в Малом театре шли четыре пьесы Островского (10 представлений), в 1863 г. – десять пьес Островского (63 представления). (См. Н. Кашин. Мартиролог Островского. – В сб. «Александр Николаевич Островский. 1823–1923», Иваново-Вознесенск, 1923, стр. 38). «Ветошник», точнее, «Парижский ветошник» – мелодрама Феликса Пиа (1847), поставленная Малым театром 5 ноября 1862 г. в переводе М. П. Федорова и Ф. А. Бурдина. «Извозчик» – двухактная комедия, переведенная с французского К. А. Тарновским и В. П. Бегичевым, впервые сыграна в Малом театре 7 декабря 1860 г. «Испорченная жизнь» – комедия И. Е. Чернышева, впервые показана в Малом театре 22 января 1862 г.

II

Второе, и последнее, из «Московских писем» посвящено московской публицистике периода реакционного натиска 1863 г. Показывая несамостоятельность ее выступлений по главным вопросам внутренней жизни, прямую зависимость от официальных мнений Петербурга, писатель сравнивает московскую прессу этой поры с оркестрами крепостных музыкантов, которых помещики только пытались выдать за вольных артистов.

«Понижение тона» бывшей либеральной печати Салтыков усматривает, в частности, в том, что страницы газет и журналов заполняются или далекими от интересов русской жизни иностранными сообщениями, или мелкими фактами и фактиками местной хроники, иногда скандального содержания, вокруг которых создается видимость полемики по принципиальным общественным вопросам. «Руководящие» же статьи московская пресса заимствует из петербургских официозов: сатирик не без яда предлагает читателям войти в затруднительное положение московских редакций, поскольку Николаевская железная дорога иногда с задержкой доставляет из Петербурга газету «Русский инвалид», ставшую с середины 1862 г. официозом военного министерства, или «Северную почту», выходящую с начала 1862 г. в качестве официоза министерства внутренних дел. Поэтому Салтыков и называет московские органы печати не более чем «афишками», то есть такими органами, которые публикуют полученные тексты, не высказывая по ним суждения, да и не имея его. Поэтому же он дает им и другое прозвище: «полицейская литература».

Как в первом «письме» Салтыков, иллюстрируя идейное и художественное убожество «Пасынка», пародировал пьесу в намеренно пустых диалогах об устрицах от Елисеева и о покупке нового пальто, так и во втором «письме» он пародирует образцы

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru мнимой, бессодержательной полемики между двумя главными газетами тогдашней Москвы – «Московскими ведомостями» М. Н. Каткова и «Нашим временем» его фактического единомышленника Н. Ф. Павлова, органами равно реакционными и законопослушными, равно боящимися иметь собственный взгляд даже на третьестепенные вопросы. Пародию на оригинальные материалы московских газет представляет собой заключительный раздел «письма», где в излюбленной газетами форме «слухов» сатирик высмеивает своих идейных противников, выступающих в качестве основных персонажей этих заметок. Подобный сатирический прием Салтыков однажды уже применил в отрывках из «Характеров», которые он печатал в июле 1860 г. в «Искре» (см. т. 4 наст. изд., стр. 197–201).

Но, пародируя мелкие пересуды московской прессы, иронически признаваясь, будто «и сам я больше склонности чувствую к маленьким вопросам, нежели к большим», Салтыков до известной степени и скрывается за их невинной внешностью для того, чтобы высказать такие свои идеи, какие изложить открыто было бы трудно в условиях того времени.

Например, одним из «маленьких вопросов» был «вопрос» о награждении почетного гражданина И. И. Четверикова орденом св. Владимира за рвение, проявленное при сборе икон, риз и т. п. для белорусских церквей. В связи с этим газета «День» 19 января 1863 г. (№ 3) поместила «Письмо к редактору «Дня» историка и публициста М. О. Кояловича и сопроводила публикацию «Ответом редакции», где указывала, что подвиги благочестия не требуют официальных наград. В № 5 «Дня», от 2 февраля, редакции возражал попечитель Виленского учебного округа П. Н. Батюшков (брат поэта К. Н. Батюшкова); его письмо вновь сопровождал «Ответ редакции». Салтыков справедливо упоминает об этом как о примерах пустопорожней полемики. И лишь мимоходом, казалось бы, затрагивая вопрос о славянофильском культе «народности», Салтыков приходит, однако, к глубокому и обобщенному наблюдению. Говоря, что «эта «народность» оказывается, право, ничем не хуже государственности», он отметил подстегнутое польскими событиями смыкание славянофильской идеологии аксаковского лагеря с правительственной идеологией и политикой. Наконец, возникла здесь и еще одна, самым Салтыковым поставленная тема. «...Никто мне не будет выдавать за философию то, что в действительности не более как балет...» – пишет сатирик, неожиданно сблизив «чудеса» идеалистической философии, ее спиритуализм с балетными «чудесами» и «духами». Дальше в «письме» это сближение конкретизируется, иронически снижая реакционные концепции философа-идеалиста П. Д. Юркевича.

Повод для постановки этой темы сам по себе опять-таки незначителен. 15 января 1863 г. во время представления балета Жюль Перро на музыку Цезаря Пуни «Наяда и рыбак» упала и несколькошиблась танцовщица Н. К. Богданова, исполнительница партии Наяды, что, впрочем, не помешало ей довести спектакль до конца. Инцидент был раздут в газетах. 22 января «Московские ведомости» (№ 17) поместили статью Н. М. Пановского «Бенефис г-жи Богдановой», где вина возлагалась на машиниста-декоратора Большого театра Ф. К. Вальца. 6 февраля газета (в № 29) опубликовала оправдательное письмо Вальца «По поводу статьи г. Пановского о бенефисе г-жи Надежды Богдановой». 13 февраля там же (в № 33) Богданова напечатала свой «Ответ г. Вальцу», а 15 февраля еще одно дополнительное «Письмо в редакцию»; его сопровождала длинная статья Пановского в защиту пострадавшей танцовщицы. На другие театральные темы попутно писал в той же газете Т. Арновский – то есть известный в будущем драматург К. А. Тарновский, сочинявший, между прочим, и балетные сценарии. Салтыков саркастически заключал, что московские газеты одержали «еще маленькую победу». Он воспользовался случаем опять показать их пустословие. Но главной его целью было сравнить с неправдоподобными фантазиями Вальца, давшими осечку, фальшивую философию Юркевича, который как раз в это время приехал в Москву со своими лекциями. Если «г. Вальц был разбит на всех пунктах», то, намекает сатирик, участь его суждена и Юркевичу. По замечанию С. С. Борщевского, «в «Московских письмах» публицист «Современника» заговорил о «балетной полемике» только для того, чтобы, воспользовавшись ею как поводом, нанести меткий удар по мракобесию в области идеологии, неотделимому от политической реакции». [224] Сатирические атаки на философию Юркевича посредством балетных аналогий Салтыков проводил и дальше, прежде всего в «задушенном» цензурой памфлете о балете «Наяда и рыбак» (см. наст. том, стр. 199–215) и в его позднейшей модификации – в «Проекте современного балета» (см. т. 7 наст. изд.).

Касаясь Юркевича и его лекций о философии в Москве (они начались 18 февраля 1863 г., и газеты их рекламировали), Салтыков исподволь подходит к теме третьего,

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru неосуществленного «письма» «московского цикла» – о науке. В подборке «слухов» сатирик предпринимает одну из первых атак на псевдонауку, на бездейственное гелертерство и фактографическое крохоборство. Сатира связывается с деятельностью и трудами известных библиографов М. Н. Лонгинова, Г. Н. Геннади и П. А. Ефремова (под псевдонимом А. Эфилов выступавшего в «Отечественных записках»), А. А. Краевского. Салтыков высмеивает, для примера, статейку Лонгинова с громким названием «Восстановление истины», напечатанную 8 февраля 1863 г. в «Московских ведомостях» (№ 31): там устанавливалось всего лишь, что французский поэт и политический деятель Жан-Пьер-Гийом Вьенне (Vienné) в 1833 г. заявил в палате депутатов не «La legalité nous tue» («законность губит нас»), а «La legalité actuelle nous tue» («нынешняя законность губит нас»). Другой пример «научного» вытеснения со страниц печати больших проблем «маленькими вопросами» – «текстологический» спор между Эфириным-Ефремовым и Лонгиновым в «Отечественных записках» (1862, №№ 7 и 12). В связи с этим спором Салтыков насмехается и над такой «наукой», и над издателем журнала Краевским. Подготовка полного собрания сочинений и биографии Краевского, который ничего не написал и ничего не совершил, – нелепица, выставляющая на смех участников этого придуманного сатириком предприятия. Насмешки над «библиографами», означающие, разумеется, не отрицание библиографии, а критику всякого узкоспециального беспроblemного подхода в науке, содержащаяся и в других произведениях Салтыкова. Вершины сатирического развития эта тема достигла в гл. VI и IX «Дневника провинциала в Петербурге» и в двенадцатом из «Писем к тетеньке» (см. тт. 10 и 14 наст. изд.).

Другой пример мелкотемья московских газет – шумиха, поднятая вокруг выборов в органы городского самоуправления. В 1862 г. Москва получила примерно такое же «Положение» об общественном управлении городом, какое имел с 1846 г. Петербург. В Московскую городскую думу наряду с лицами других сословий (кроме крестьян) могли теперь избираться и дворяне, прежде туда не входившие, число же избирателей было сильно ограничено высоким имущественным цензом. [225] «Нового, собственно, конечно, ничего, но ведь в этом-то и важность, что ничего нового», – иронизирует Салтыков по поводу «нового городского устройства». «Уравнение сословных прав» было показным и мнимым.

Катков в «Московских ведомостях» (30 октября 1862 г., № 236) отстаивал высокий имущественный ценз, усматривая «в лице собственника полезнейшего и ревностнейшего сотрудника на общую пользу». Ив. Аксаков в «Дне» ратовал за избрание городского головой дворянина. 16 февраля 1863 г. (в № 7) он поместил статью под названием «От забытого голоса (По поводу городских выборов в Москве)» и с подписью «Московский мещанин». К статье было прибавлено «Примечание редакции», в котором, в частности, говорилось: «...чтобы извлечь всю возможную пользу из нового преобразования, необходимо, по нашему мнению, по крайней мере на первое четырехлетие, выбор городского главы из дворян. Необходимо сдвинуть, своротить с колеи глубоко увязнувший в ней старый порядок, – а пусть мещане скажут, по совести, сами, имеют ли их кандидаты из мещан, ремесленников и купцов все потребные для того условия? Едва ли...»

Салтыков высмеивал выступления и Каткова и Ив. Аксакова. Он издевательски прочил «домовладельцу» Каткову будущность «московского воеводы», то есть городского головы, поскольку редактор «Московских ведомостей» вполне отвечал имущественному цензу, а сомнения в его благонадежности теперь не возникало. Сатирик пародировал призывы аксаковского «Дня». «Увидите, каких он вам дел наделает!..» – предвещал Салтыков, говоря об избраннике из дворян.

Разные «маленькие вопросы», заполнившие московскую печать с наступлением реакции, позволили Салтыкову поставить, в конечном счете, главный, крупный вопрос о половинчатости реформ, о показной, обманчивой сути вызванного ими «умиротворения», а также о том, что бывшие либералы оказались «подмяты» правительством и практически сомкнулись с ним.

Стр. 151. Прусско-русская конвенция... датско-голландский вопрос... Наполеон III... очень уж хорошо действует! – Салтыков показывает, что международные события намеренно раздувались в московской печати, находящейся в полной зависимости от официальной политики, и оттесняли насущные вопросы внутренней жизни. Газетные столбцы заполнялись пересудами о так называемой конвенции Альвенслебена, то есть о соглашении по польскому вопросу, подписанном 8 февраля 1863 г. в Петербурге министром иностранных дел Горчаковым с прусским уполномоченным Альвенслебеном. На все лады обсуждалась война между Данией, с одной стороны, Пруссией и Австрией, с другой, из-за провинции Шлезвиг-Гольштейн, расположенной на юге

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru Ютландского полуострова; год спустя, в 1864 г., Дания потеряла эту провинцию, вошедшую в число германских княжеств. Салтыков назвал «притворством» ажиотаж московских газет, обсуждавших в начале 1863 г. прелиминарии датской войны, перспективы послевоенного устройства. Газетные комплименты Наполеону III также вызывали скептическую усмешку сатирика, ибо отражали чисто официальную точку зрения: в то время царская дипломатия старалась сблизиться с Францией, рассчитывая на отмену ограничений, наложенных на Россию Парижским мирным договором 1856 г. после поражения в Крымской войне. Но курс на франко-русский альянс не оправдал себя, и в дальнейшем Горчаков перешел к политике союза с Пруссией.

Стр. 152. О мирной агитации, которую некогда возбуждал «Русский вестник», нет и помину... – Указание на недавнее прошлое «Русского вестника», когда этот журнал с момента своего основания в 1856 г. и вплоть до 1861 г., то есть до конца революционной ситуации, выступал за отмену крепостного права и сословных привилегий, за децентрализацию власти и т. д. Свою программу журнал осуществлял, по словам его редактора М. Н. Каткова, в формах «мирной агитации».

Стр. 156...в Петербурге, несмотря на толкования, дело обошлось как нельзя лучше... – Реформа петербургского городского управления в 1846 г. была враждебно встречена купечеством, поскольку впервые привлекла дворянство к участию в этом управлении. Петербургские купцы подали министру внутренних дел ходатайство об отмене нового городского положения, которое, по их мнению, несло «неудовольствие, вражду, мщение между торгующими, разорение, гибель многим семействам». Купцов пугала возможность назначения городского головы из дворян и использования дворянами городских сумм, в том числе и добровольных взносов, в своих интересах. Прошение не имело последствий. Однако тревога купцов была напрасной. Во всех составах Думы городской голова неизменно назначался из купечества. Дворяне были мало заинтересованы в работе такого неавторитетного органа, как Дума (С. П. Луппов и Н. Н. Петров. Цит. статья, стр. 609).

..деженерировало, или дегенерировало (от франц. *dégénérer*) – выродилось.

Стр. 158...опыты претидигаторства, или претидижитаторства (от франц. *prestidigitation*) – демонстрация фокусов, ловкости рук.

Стр. 159...можно из Англии выписать несколько лордов... – намек на англоманство М. Н. Каткова.

А ну, как Н. Ф. окажется прав? – Подразумевается Н. Ф. Павлов.

Байборода – соединенный псевдоним М. Н. Каткова и П. М. Леонтьева в «Русском вестнике».

Стр. 161...один из подписчиков, получив книжку в октябре, подумает, что на дворе еще июнь, и пойдет купаться. Искупавшись, схватит горячку и умрет. – Салтыков воспользовался здесь анекдотом Н. Ф. Щербины, где жертвой подобной трагикомической ошибки оказался подписчик «Москвитянина», получивший июльскую книжку журнала в декабре (Н. Ф. Щербина. Альбом ипохондрика. Гиз, М. –Л. 1929, стр. 102).

...М. С. Щепкин... выйдет в отставку... и будет плакать вплоть до самой квартиры Н. Х. Кетчера. – В 1855 г. Щепкин справил пятидесятилетний юбилей сценической деятельности и с тех пор не раз говорил о намерении покинуть театр, но все не решался на этот шаг. В «Московских письмах» Салтыков слегка подтрунивает над общеизвестной тогда слабостью Щепкина, который под конец жизни мог легко расчувствоваться и всплакнуть. В других своих произведениях, вплоть до «Пошехонской старины», Салтыков всегда уважительно отзывался о великом актере, особенно вспоминая 40-е годы. Тогда Щепкин находился на высшем подъеме творчества и был близок к кружку Белинского, Грановского, Герцена. В этот кружок входил и упоминаемый здесь и дальше поэт-переводчик Н. Х. Кетчер, позже порвавший с оппозиционными настроениями своей молодости. Щепкин до конца дней был близок с Кетчером. Строки Салтыкова написаны за полгода до кончины Щепкина.

...одежда празелень, борода до чресл, внизу раздвоенная... – текст из старинных (времен Московской Руси) руководств для иконописцев, где давались точные наставления, как какого святого надлежит изображать.

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТЕАТРЫ
«Петербургские театры» – всего лишь рубрика в журнале «Современник»; под ней печатались разные авторы. В 1863 г. Салтыков в этом разделе поместил (без подписи) три статьи. Четвертая, снятая в 1864 г. цензурой, осталась в гранках набора «Современника».

Четыре статьи Салтыкова о петербургских театрах, в отличие от «Московских писем» (см. выше), не связаны единством замысла. Но, не обладая единством в строгом значении слова, они близки по идейно-тематическим и жанровым задачам. Салтыков выступает в них как театральный критик, критик своеобразный, откликающийся на спектакли в форме острого фельетона, пародии, ядовитой сатиры.

Театром Салтыков интересовался смолоду. Еще в лицее и в послелицейские 1844–1848 гг. он часто посещал петербургскую драму и оперу, а когда бывал в Москве – Малый театр. Театральные впечатления тех лет отразились на страницах многих его книг – от юношеских повестей «Противоречия» и «Запутанное дело» и до «Пошехонской старины». В первой статье из цикла «Петербургские театры», как и в первом из «Московских писем», театр 40-х годов служит сравнительным, и чаще всего позитивным критерием для оценки театра середины 60-х годов, испытавшего на себе воздействие реакции.

В статьях, опубликованных под рубрикой «Петербургские театры», Салтыков вновь обращается к интересующим его конкретным проблемам современного репертуара и актерского мастерства, то есть к тому кругу вопросов, которые он освещал и в первом из «Московских писем».

Салтыков решительно осуждает «внешние» приемы игры, свойственные «протейам», актерам «наружного», «внешнего» перевоплощения, играющим только «Свое ампула». Взгляды Салтыкова на мастерство актера, его представления об эстетике актерской игры во многом складывались под влиянием искусства Щепкина. В качестве типичного «протей» Салтыков называет петербуржца В. В. Самойлова, артиста одаренного, но чрезмерно увлекавшегося внешним рисунком роли, – «актера всех стран и времен, а преимущественно всех костюмов». Актерам подобного склада, пусть даже талантливым, на взгляд Салтыкова, не дано исследовать сложный, «разнообразный» внутренний мир героев, им неведомы «общечеловеческие основы» роли, что обедняет художественный образ, а тем самым умаляет силу нравственного и эстетического влияния театра на общество. По мнению Салтыкова, усилиями драматургов-«протеев» и актеров-«протеев» искусство театра может быть низведено до уровня «водевиля с переодеваниями», «простого акробатства».

Современный реалистический театр Салтыков связывал с именем Островского. Слово для контраста, он «подверстал» к статье-памфлету о фальсификаторской ремесленной пьесе Ф. Устрялова «Слово и дело» отклик на первое представление драмы Островского «Грех да беда на кого не живет», которая по своим идейным и художественным достоинствам виделась Салтыкову разительной противоположностью «картонной» драматургии.

Салтыков выражает солидарность с главными положениями гоголевской драматургии, изложенными в «Театральном разъезде после представления новой комедии» – этой своего рода эстетической программе Гоголя. Как и Гоголь, Салтыков видит гуманистический смысл искусства и, в частности, театра прежде всего «в том, чтобы напомнить человеку, что он человек».

Статьи серии «Петербургские театры» представляют интерес и как произведения конкретной театральной критики Салтыкова, и как документы эстетического наследия писателя. В них продолжена разработка принципов реалистического искусства, сформулированных Салтыковым в программной статье 1856 г. «Стихотворения Кольцова».

Раздумья Салтыкова о роли мировоззрения и «общественном значении писателя», о необходимости идеала, его мысли о революционной природе драматического конфликта («содержание драмы может составлять исключительно протест»), о натурализме и реализме, о важности психологического анализа («одна из главных обязанностей художника заключается в устройстве внутреннего мира его героев»), развитые в третьей статье (о «Горькой судьбине» Писемского), его последовательно демократическое толкование народности, национальности и общечеловеческого смысла искусства (в статье четвертой) – являются образцами революционно-демократической эстетики шестидесятников.

Одна из сквозных публицистических тем статей «Петербургские театры» – полемика со сторонниками «чистого искусства». основополагающий тезис критика: искусство не может быть свободным от насущных социальных интересов народа, иначе оно оборачивается не добром, а злом, становится орудием реакции, а не передовых сил общества. «Искусство, – утверждает Салтыков, намеренно утрируя свою мысль, – отвращая взоры человечества от предметов насущных и земных... оказывает полиции услугу; полиция... оказывает искусству покровительство».

Театрально-критические статьи Салтыкова, как и все другие произведения его пера, насыщены общественно-политическим материалом текущей современности. В них нашла свое отражение борьба лагеря революционной демократии с крепнувшей послереформенной реакцией – политической и общественной – и непосредственно связанные с этой борьбой бурные идеологические споры начала 60-х годов: полемика «Современника» с «Русским словом» вокруг тургеневского романа «Отцы и дети» и вопроса о «новом герое»; полемика «Современника» с почвенническими журналами «Время» и «Эпоха»; споры о либерализме, о материализме и идеализме и т. п.

Салтыков придавал серьезное общественное значение своим «театральным» статьям. Позднее он возобновит свои театрально-публицистические выступления под той же рубрикой «Петербургские театры» в журнале «Отечественные записки».

<<Слово и дело». Комедия в пяти действиях Ф. Устрялова «Карл Смелый». Опера в трех действиях, музыка Дж. Россини> Впервые – в журнале «Современник», 1863, № 1–2, отд. II, стр. 177–197 (ценз. разр. – 5 февраля). Без подписи. Авторство указано А. Н. Пыпиным («М. Е. Салтыков», СПб. 1899, стр. 236) и подтверждено публикацией документов конторы «Современника» («Литературное наследство», т. 13–14, стр. 64, и т. 53–54, стр. 258). Автограф неизвестен.

Сохранились неправленные гранки набора статьи для «Современника» (ИРЛИ). По ним восстанавливаются следующие места, опущенные в журнальной публикации, вероятно, по цензурным причинам:

Стр. 164. После слов: «...и туда проник конституционализм!» восстановлена фраза, «даже и капельдинеры и те уступают частицу своего всемогущества!»

После слов: «...Василько-Петров и Манн» восстановлен абзац: «Ну слава богу...», перекликающийся с предшествующим упоминанием о Гротенгельме – персонаже «Новгородцев в Ревеле», а также с последующим абзацем (отделенным отбивкой). Там же, в следующем абзаце, восстановлены слова (набраны курсивом), продолжающие тему о «капельдинерах» – правителях репертуара: «Рядом с «Новгородцами в Ревеле», служащими как бы продолжением прежней, капельдинерской традиции, он выпустил...»

Стр. 175. Восстановлен эпитет «административное средство», который в журнале был заменен на «благоустрояющее».

Стр. 177. Восстановлен конец первого абзаца, со слов: «Или они думают применять?..»

Стр. 180. Восстановлены слова (набраны курсивом) в конце первого абзаца: «да ведь этак скоро Палкин трактир, скоро Адельфинкино заведение потребует конституции... для швейцарцев!..»

Стр. 180–181. В первом абзаце восстановлены слова (набраны курсивом): «...и мороз мог бы в руках опытного и ревностного охранителя общественного благоустройства составлять...» В конце того же абзаца восстановлено: «как жаль, что начальство не имеет возможности устраивать мороз по своему усмотрению!» В журнале набранные курсивом слова заменены одним: «невозможно».

На этой же стр. восстановлен заключительный абзац – постскрипtum.

Не восстановлены купюры, сделанные, очевидно, автором с целью сокращения. На стр. 173, во втором и третьем абзацах, перечень пьес был длиннее:

«Сошлюсь на возобновление таких пьес, как «Ермак Тимофеевич», как «Маркитантка», «Смерть Ляпунова», «Параша-сибирячка» и мн. др.

Сошлюсь на постановку таких пьес, как «Новгородцы в Ревеле», «Не по носу табак», «Легкая надбавка», как все пьесы гг. Дьяченко и Чернышева».

С упадком после 1862 г. освободительного движения, петербургскую казенную сцену наводнил поток верноподданнических пьес – старых и новых, «антинигилистических».

Салтыков остановился на комедии Ф. Н. Устрялова «Слово и дело», чтобы рассмотреть ее в ряду других «самоновейших произведений положительного нигилизма». Такую оценку он дал позднее, в 1868 г., пьесе Н. И. Чернявского «Гражданский брак» (см. т. 9 наст. изд.), говоря в связи с ней о «расцвете» целой школы, отличающейся «благонамеренностью дерзновения». Сторонники этой школы «проводят ту мысль, что в настоящее время не отрицать и обличать, а «любить» должно. И вот они принялись «любить» и отыскивать в русской жизни так называемые положительные стороны». Начало «расцвета» этой «необулгаринской» школы Салтыков датировал 1862 г., так что приведенная характеристика полностью относится и к пьесам Устрялова «Слово и дело» (1863) и «Чужая вина» (1864).

Как пишет С. А. Макашин, Устрялов в своих пьесах с позиций либерала «стремился противопоставить «отрицательным» героям «нигилистической» литературы (в первую очередь Рахметову) «положительный» тип новейшего «русского деятеля».[226] В своей первой пьесе «Слово и дело» Устрялов пробовал «выпрямить» и «улучшить» образ «нигилиста», предлагая смягченную версию темы тургеневского Базарова. На это указывала печать еще перед премьерой Александринского театра. 9 ноября 1862 г. газета «Современное слово» извещала: «12 ноября... идет новая пьеса соч. г. Устрялова «Слово и дело». Пьеса эта есть как бы продолжение романа г. Тургенева «Отцы и дети», в которой автор сделал из Базарова самую симпатичную личность наперекор ярых врагов нигилизма. Искренне пожелаем полного успеха новой пьесе».[227]

Устрялов пытался создать положительный образ представителя современной молодежи и сделал «нигилиста» поборником «скромного», «незаметного» труда или, как иронизирует Салтыков, труда «ни для кого не подозрительного». Другими словами, Устрялов задумал – и этот замысел сразу разглядел Салтыков – противопоставить своего «положительного» Вертяева «отрицательному» Базарову. «Личность Базарова до того заинтересовала меня, – вспоминал потом Устрялов, – что долго не выходила из моей памяти, и тогда-то, совершенно случайно, в голове моей из этого первообраза создался другой тип, другая личность, которая более подходила к моим воззрениям, была более для меня понятна, – и этот образ, переработанный моими задушевными убеждениями, выразился в Вертяеве...»[228]

Салтыков в статье «Петербургские театры» разоблачает объективную фальшь этой попытки, осмеивает чуждое революционной демократии вульгарное понимание проблемы положительного героя, называет Вертяева «новым Молчалиным», «верящим в мыло». И позднее сатирик возвращался к образу Вертяева, придавая ему даже некое распространительное значение. Например, в статье «Драматурги-паразиты во Франции» упомянуты «безличные Вертяевы, всласть твердящие о труде скромном, о труде неслышном» (см. наст. том, стр. 254).

В связи с проблемой современного героя на страницах статьи «Петербургские театры» возникает полемика и относительно образа Базарова – одно из центральных выступлений Салтыкова по этому вопросу (см. ниже, прим. к стр. 168).

Общественной роли и назначению театра посвящен второй раздел статьи – письмо-пародия некоего провинциального ретрограда, будто бы написанное им под впечатлением героической оперы Россини «Вильгельм Телль». Опера ставилась в петербургском Большом театре (с 1838 г.) с политически «нейтрализованным» сюжетом и под названием «Карл Смелый» (русское либретто Р. М. Зотова). Как «Carlo il Temerario» она шла и в итальянской опере в Петербурге с 1846 г.

Простодушно-циничные откровения провинциального меломана обнажают редкостное единство ревнителей чистой «красоты», «забав» и «охранителей общественного благоустройства».

В рассказе о спектакле присутствует «второй план» отчетливых иносказаний, где проводятся идеи революционно-освободительной борьбы: движение швейцарцев за свободу против австрийского ига прозрачно уподоблено революционной ситуации 1859–1861 гг. в России, борьбе крестьян за землю и волю. Отдельные мотивы в

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru описании спектакля непосредственно перекликаются с главой VIII юношеской повести Салтыкова «Запутанное дело», в которой разночинец Иван Мичулин восторженно воспринимает революционные образы той же оперы (см. т. 1 наст. изд., прим. к стр. 253 и 255). Совпадения объясняются, по-видимому, и тем, что как раз в то время Салтыков создавал новую редакцию текста этой повести для сборника «Невинные рассказы». Ср. также разговор Крестникова и Веригина на представлении оперы «Гугеноты» в повести «Тихое пристанище» (см. т. 4 наст. изд., стр. 280–283), а также рассказ «приятеля» в седьмом из «Писем к тетеньке» об инциденте на представлении оперы Беллини «Пуритане» (см. т. 14 наст. изд.).

Салтыков не одинок в оценке революционизирующего воздействия на демократических зрителей итальянской оперы. В особенности «Вильгельм Телль» воспламенял сердца. Герцен писал в дневнике 29 октября 1843 г.: «Есть места в «Вильгельме Телле», при которых кровь кипит, слезы на ресницах...» [229] Десятилетие спустя, 9 января 1853 г., сходное признание оставил в своем саратовском дневнике и Чернышевский: «Вильгельм Телль» приводит меня в восторженное состояние...» [230]

Стр. 163. Я семнадцать лет не был в Петербурге. – С точки зрения автобиографической, писатель чуть вольно обращается с хронологией. Но его воспоминания о петербургской сцене, которой он отдал дань увлечения в 1844–1818 гг., по существу совершенно точны.

...г. Самойлов... играл иудеев и греков... – Подразумевается одно из эффектных «переодеваний» В. В. Самойлова в шутке П. С. Федорова «Хочу быть актрисой! или Двое из шестерых», впервые представленной в Александрийском театре 16 мая 1840 г.

...для русской Мельпомены и русской Талии существовал только один храм. – В 60-х годах русские драматические спектакли шли не только в Александринском театре, как в 40-е годы, но также и в Мариинском театре. Мельпомена и Талия – музы трагедии и комедии в греческой мифологии.

...г-жа Жулева...оставила «Новичков в любви» для высшей комедии. – Е. Н. Жулева дебютировала на Александрийской сцене в январе 1846 г. В водевиле Н. А. Коровкина «Новички в любви» она играла роль сиротки Полиньки. От ролей инженеру и трагедии актриса перешла к 60-м годам на амплу пожилых женщин. К «высшей комедии» Салтыков иронически относит комедию Устрялова «Слово и дело», впервые шедшую в бенефис Жулевой. Актриса играла роль Мартовой, матери Наденьки.

...не было обольстительного г. Бурдина... – Ф. А. Бурдин вступил в труппу Александринского театра в 1847 г., незадолго до вятской ссылки Салтыкова. (О неприязни писателя к Бурдину см.: Екатерина Жуковская. Записки. Изд-во писателей в Ленинграде, 1930, стр. 242–243.) В свой бенефис 20 октября 1867 г. Бурдин сыграл роль Хрептюгина в «Утре у Хрептюгина» Салтыкова.

...когда о театральном комитете и в помине не было и драматическое искусство ведалось чуть ли не капельдинерами. – Театрально-литературный комитет был учрежден в 1856 г., первоначально для оценки пьес, написанных к столетию русского театра; в октябре комитет был объявлен постоянным совещательным органом при дирекции императорских театров. В том же 1863 г., что и Салтыков, о комитете так отзывался Островский: «Многие из лучших наших литераторов, принявшие сначала деятельное участие в комитете, впоследствии, убедившись в бесплодности своих занятий и в напрасной трате времени, мало-помалу вышли из него. Один за другим оставили комитет: Писемский, Майков, Дружинин и Никитенко; остались только люди или неизвестные в литературе, или не имеющие никакого авторитета. С таким изменением в составе комитет потерпел изменение и в принципе и сделался не только не полезен, но и положительно вреден для сцены...» (А. Н. Островский. Полн. собр. соч., т. XII, Гослитиздат, М. 1952, стр. 16). С 1860 г. председателем комитета стал драматург и театральный критик П. И. Юркевич. Под «капельдинерами» Салтыков здесь и далее подразумевает чиновников театральной дирекции, вплоть до высших, угодливо служивших двору, но не искусству, о котором они, как правило, не имели ни малейшего понятия.

Г-н Славин из Гамлета сделался простым Юстинианом, из Кина – герольдом Гротенгельма и от горести... переставляет слоги в словах... – Об актере А. П. Славине см. наст. том, прим. к стр. 149. О его склонности к обмолвкам на сцене Салтыков писал и в статье 1864 г. «Литературные мелочи» (см. в т. 6 наст. изд.). В мемуарах Боборыкина также упомянут «ужасный актер Славин, отличавшийся всегда

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru способностью перевирать слова» (П. Д. Боборыкин. Воспоминания, т. 1, Гослитиздат, М. 1965, стр. 134). Этот недостаток поясняет, почему от таких центральных трагических ролей, как Гамлет и Кин (герой пьесы Александра Дюма-отца «Кин, или Гений и беспутство», 1836), Славин был принужден перейти в начале 60-х годов к ролям второстепенным и эпизодическим, в частности к роли императора Юстиниана из драмы «Велизарий», переделанной с немецкого П. Г. Ободовским, и к роли герольда барона Гротенгельма из пьесы

А. А. Соколова и С. Егорова «Новгородцы в Ревеле», поставленной на Александринской сцене 24 октября 1862 г.

Стр. 164...наслаждаться... «Ермаком Тимофеевичем»... – Трескучая драма Н. А. Полевого «Ермак Тимофеевич, или Волга и Сибирь», прославляющая колонизаторскую политику царизма, была поставлена в Александринском театре в 1845 г., а 16 октября 1862 г. ее возобновили вслед за другими верноподданническими пьесами николаевской поры.

Рефутация (от франц. *réfutation*) – опровержение.

Стр. 165...Вертяев... всенародно вертит в руках свою фуражку... – Фуражка в 40–60-х годах была признаком демократичности. Некрасов писал о П. В. Анненкове: «За то, что ходит он в фуражке/ И крепко бьет себя по ляжке, /В нем наш Тургенев все замашки/ Социалиста отыскал».

Стр. 167. Вертяев скрывается в Гейдельберге... готовит России, в лице своем, чернорабочего... и с чувством говорит о Гейдельберге, потому что в нем есть довольно много хороших людей. – После того как из-за студенческих «беспорядков» осени 1861 г. правительство закрыло Петербургский университет, усилилась тяга русской молодежи к западноевропейским университетам, особенно к Гейдельбергскому, старейшему в Германии, славившемуся тогда блестящим составом профессуры. В Гейдельберге находилось немало русских, которые еще на родине принимали участие в студенческих кружках и революционных конспирациях. На их специфическом языке слова «чернорабочий», «хорошие люди» обозначали тех, кто посвятил себя общественно полезной деятельности. Тургенев в «Отцах и детях» иронизировал над русскими «нигилистами» из Гейдельберга; Устрялов пробовал за них заступиться, но, как показывает Салтыков, лишь компрометировал тему поверхностным подходом к ней.

Колер (от франц. *colère*) – гнев.

«Не хочу учиться, хочу жениться!» – слова Митрофана из «Недоросля» Фонвизина.

Стр. 168...принимает Базарова за что-то серьезное, тогда как серьезного в нем нет ровно ничего. – Оценки, данные здесь и далее Базарову, отражают тогдашнее отношение к тургеневскому герою всей группы журнала «Современник». Роман о «нигилисте», то есть, по расшифровке самого Тургенева, о революционере, появился, когда классовая борьба в стране достигла большой остроты и переросла в революционную ситуацию. Такой роман поэтому не мог остаться для читателей тех лет в пределах только литературно-эстетического восприятия. Русское общество глубоко переживало предвесья революции. В свете отношения к революции и в перспективе ее оценивались все явления общественной жизни.

Тургенев не верил в тогдашнюю готовность русского народа и общества к радикальной смене порядка вещей, и Базаров был для него трагической фигурой революционера без революции. В своем герое писатель персонифицировал новую силу русской жизни: она уже связана с народом, демократией, но осуждена в данной общественной и исторической ситуации на бездействие, стоит лишь «в преддверии будущего», виды которого неясны, обречена поэтому не только на «бесплодие», но и на гибель, и, в конечном счете, исполнена социально-исторического и философского скептицизма.

Напротив, русская революционная демократия в то время страстно ждала всеобщего крестьянского восстания и была глубоко враждебна всему, что внушало неверие в дело революции.

«Революционеры 1861 г.» (Ленин), чьи отзывы об «Отцах и детях» широко известны, принципиально расходились с Тургеневым в оценке исторического момента и его перспектив и были единодушны в своем тогдашнем неприятии Базарова. «Время, тип –

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru все было выбрано неудачно», [231] – писал Герцен. Вслед за Чернышевским, Антоновичем, Елисеевым, всей группой «Современника» Салтыков отказывал тогда Базарову в праве быть «действительным представителем нынешнего молодого поколения», видел в нем человека без подлинного дела, стремлений и надежд. Отсюда салтыковская характеристика «слоняющегося из угла в угол» «хвастунишки» и «болтунишки». Дополнительные жесткие акценты в эту резкую памфлетную характеристику привнесла острота полемики «Современника» с «Русским словом», в частности, с позицией Писарева, занятой по отношению к тургеневскому герою (статья «Базаров» в третьей книжке «Русского слова» за 1862 г. и др.). С Писаревым, как защитником Базарова, Салтыков расходился прежде всего в вопросах мировоззрения: естественнонаучный, механистический материализм Базарова был чужд Салтыкову. Разделяли их и вопросы тактики: научным занятиям Базарова – «лягушке», его культурничеству Салтыков противопоставлял необходимость борьбы, хотя бы и чисто идейной, за социально-политические цели.

Впоследствии, когда крах революционной ситуации обрек целые поколения русской демократии на трагедию исторического «без дела», Салтыков пересмотрел свой взгляд на «Отцов и детей» – взгляд, вызванный «истиной минуты» и заостренный журнальной полемикой. Салтыков высоко оценил роман Тургенева, писал о Базарове как об одном из «действительных носителей» «добрых чувств» и вместе с тем «подлинных мучеников той темной свиты призраков, которые противопоставляют добрым стремлениям свое бесконтрольное и угрюмое *non possumus*» (см. написанный Салтыковым некролог Тургенева; см. также в т. 6 по указателю имен). [232]

...сам г. Лонгинов затруднился бы написать ее библиографию. – Библиограф М. Н. Лонгинов сочинял скабрёзные стихи, ходившие в списках, из-за чего и поставлен в связь с разговором об охотниках до клубнички.

Стр. 169...дать ему скрипку в руки и заставить наигрывать, в ночной тиши, хоть не «Ritter Togenburg», а какую-нибудь песню о сладостях труда или, пожалуй, хоть английскую песню «о рубашке». – Салтыков допускает двойную ошибку: Кирсанов-отец играет на виолончели, а не на скрипке, и «Ожидание» Шуберта, а не музыкальную пьесу «Рыцарь Тогенбург» на тему баллады Шиллера.

«Песня о рубашке» – политическое стихотворение Томаса Гуда: переведенное в 1861 г. поэтом-революционером М. Л. Михайловым, оно было очень популярно у русской демократической молодежи шестидесятых годов.

Стр. 171...подобно знаменитой Закхеевой смоковнице, поражено бесплодием... – Здесь контаминация двух разных евангельских тем: Иисус проклял смоковницу, не найдя на ней зрелых плодов, и она засохла; мытарь Закхей взобрался на смоковницу, чтобы лучше видеть приход Иисуса в Иерихон.

Стр. 171–172. Всем известно, что г. Самойлов – актер великий... как был бы хорош г. Самойлов в балете! – Салтыков критически относился к В. В. Самойлову как актеру внешнего перевоплощения, хотя и хвалил его в роли Архипа из драмы Островского «Грех да беда на кого не живет» (см. наст. том, стр. 182). Здесь же писатель, говоря об архаичности внешних приемов игры Самойлова, вспоминает о нем в роли Пузыречкина из давней мелодрамы К. Д. Ефимова «Отставной театральный музыкант и княгиня», поставленной в Александринском театре 24 апреля 1846 г. Упомянув роль Кречинского в «Свадьбе Кречинского» Сухова-Кобылина, Салтыков имеет в виду, что Самойлов, ее первый исполнитель (премьера в Александринском театре – 7 мая 1856 г.), тщательно оттенял такую внешнюю черту характерности, как польский выговор своего героя.

За упреками, которые адресует актеру Салтыков, возможно, таится главный, не высказанный по цензурным причинам: он связан с тем, что, по некоторым свидетельствам, Самойлов играл Вертяева, загримировавшись под Герцена. Устрялов признавался потом, что облик Самойлова – Вертяева «представлял удивительное сходство с наружностью и чертами лица того знаменитого писателя, о котором в то время можно было говорить лишь втихомолку, – Герцена» (Ф. Устрялов. Воспоминания о русской сцене в шестидесятых годах. – «Исторический вестник», 1884, т. XVIII, ноябрь, стр. 372). Это не могло не возмутить Салтыкова и, очевидно, объясняет смысл его слов о том, что Самойлов «и Вертяева играет вяло, хотя и старается к чему-то приурочить его...».

Впоследствии отношение Салтыкова к Самойлову переменилось к лучшему. В статье 1868 г. о комедии И. В. Самарина «Перемелется – мука будет» Салтыков писал, что

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru Самойлов – «один из тех немногих сценических деятелей, которые могут украсить любую сцену» (см. т. 9 наст. изд.).

Стр. 172–173...капельдинерская традиция... процветает... «Маркидантка», «Параша-сибирячка» и мн. др...они все вместе «Цырульника на Песках» написали? – Речь идет о репертуарной политике, осуществляемой членами театрально-литературного комитета. С их согласия на Александринскую сцену хлынул поток старых верноподданнических пьес времен николаевской реакции. Псевдоисторическая драма Н. В. Кукольника «Маркидантка» с сюжетом из Петровской эпохи, шедшая в 1854 г., возобновлена 31 октября 1862 г.; драма Н. А. Полевого «Параша-сибирячка», поставленная в 1840 г., возобновлена 14 ноября 1862 г. Заодно упомянут – как характерный для уровня требований и вкусов комитета – водевиль П. Г. Григорьева (2-го) «Цырульник на Песках и парикмахер с Невского проспекта», шедший в Александринском театре с 1846 г. и исполнявшийся в сезон 1862/63 г. Пески – район в Петербурге, прилегающий к Неве около Таврического сада и Смольного; в ту пору считался окраиной.

Стр. 173...весьма приятные статьи под названием «Современное состояние русской драматургии и сцены». – Их точное название: «Русский театр. Современное состояние драматургии и сцены». Они принадлежали Ап. Григорьеву и печатались без подписи в журнале бр. Достоевских «Время» с сентября по декабрь 1862 г. и в февральском номере 1863 г. Отдельные конкретные оценки в этих статьях действительно совпадают с высказываниями Салтыкова и подкрепляют их.

Стр. 174.. нынешний Петербург, против прошлогоднего, мне больше понравился. – Для салтыковского сатирического персонажа – благонамеренного провинциала признание характерное. «С половины 1862 г. ветер потянул в другую сторону», – писал Герцен в статье 1864 г. «VII лет» (А. И. Герцен. Собр. соч. в тридцати томах, т. XVIII, изд. АН СССР, М. 1959, стр. 239), подразумевая момент, когда реакция перешла в контрнаступление против революционно-демократического натиска или, как выражается салтыковский ретроград, – против «нахальства мальчишек».

Доныне видел я... «Боярин Матвеев». – Верноподданническая драма П. Г. Ободовского «Боярин Матвеев, друг царя и народа», поставленная на петербургской казенной сцене еще в 1826 г., была возобновлена в декабре 1862 г.

Стр. 175...присутствуя недавно при представлении «Карла Смелого». – Оперу Россини в петербургском Большом театре в сезоне 1862/63 г., когда ее слушал Салтыков, исполняла итальянская труппа. В партии Арнольда выступал знаменитый драматический тенор Энрико Тамберлик. Остальные актеры, упоминаемые Салтыковым, пели следующие партии: Рита Бернарди – Матильду, Ахилл Дебассини – Рудольфа, Джеремиа Беттини – рыбака, Игнацио Марини – Вальтера, Чеккони – Мельхтала, Фортуна – Леутольда, Пальтриньери – капитана Кампобассо.

Стр. 177. Чтó они швейцарцам, чтó швейцарцы им? – Перифраза из «Гамлета» Шекспира (акт II, сцена II): «Чтó он Гекубе? Чтó ему Гекуба?»

...в нашей стране покорения-то не было, а было призвание? – У Салтыкова часто встречаются насмешки над так называемой норманнской теорией о призвании на Русь трех братьев-варягов. См. сатирическую разработку этой темы в рассказе «Гегемониев» (т. 3 наст. изд., стр. 11–12), «Истории одного города» (т. 8) и др.

...итальянцы почти освободились от австрийцев... голштинцы также, вероятно, в скором времени освободятся от датчан... – К началу 1863 г., когда Салтыков писал свою статью, в результате национально-освободительного движения от австрийцев были очищены все княжества Италии, кроме Венеции, освобожденной в 1866 г. Дания потеряла провинцию Шлезвиг-Гольштейн в 1864 г. См. выше, прим. к стр. 151.

Стр. 178...принадлежит к лагерю филистимлян-австрияков. – Филистимляне – здесь в смысле: коварные завоеватели.

Стр. 178–179...фраза эта кончается словом *libertá*, словом, которое, как известно, первый выдумал... М. Н. Катков. – Насмешка над былым либерализмом Каткова. *Liberta* (итал.) – свобода.

Стр. 180. «Ну, вот это так! Это так!» – шептал штаб-офицер... – Салтыков близко повторяет здесь эпизод из своей повести «Запутанное дело», где разночинец Мичулин слушает ту же оперу: «–Вот это так хорошо! так их!.. – шептал он...» и т.

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru д. (см. т. 1 наст. изд., стр. 253).

Адельфинкино заведение – дом терпимости.

Стр. 181...читая «Историю двух калаш» и «Аптекарь»... – повести В. А. Соллогуба, относящиеся к 1839 и 1841 гг.

...потрясающее «maledetto!», которым в Лючии оглашал своды Большого театра великий Рубини... – Белинский писал В. П. Боткину 30 апреля 1843 г.: «Слушал я третьего дня Рубини (в «Лючии Ламмермур») – страшный художник – и в третьем акте я плакал слезами, которыми давно уже не плакал. Сегодня опять еду слушать ту же оперу. Сцена, где он срывает кольцо с Лючии и призывает небо в свидетели ее вероломства, – страшна, ужасна, – я вспомнил Мочалова и понял, что все искусства имеют одни законы. Боже мой, что это за рыдающий голос – столько чувства, такая огненная лава чувства – да от этого можно с ума сойти!» (В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. XII, изд. АН СССР, М. 1956, стр. 158). «Лючия ди Ламмермур» – опера Гаэтано Доницетти (1835) по роману Вальтера Скотта «Ламмермурская невеста», в Петербурге исполнялась с 1840 г.

«Привлекать ли... лондонских агитаторов?» – Все названные в постскрипуме органы печати деятельно участвовали в походе против Герцена и Огарева и их «Колокола», издававшегося в Лондоне. Герцен разоблачал ренегатство своих идейных противников в «Письме гг. Каткову и Леонтьеву», в статье «Протест» и др. (А. И. Герцен. Собр. соч. в тридцати томах, т. XVI, изд. АН СССР, М. 1959, стр. 212–213; т. XVII стр. 215–217).

Первое представление новой драмы г. Островского
Впервые – в журнале «Современник», 1863, № 1–2, отд. II, стр. 197–198 (ценз. разр. – 5 февраля). Без подписи. Авторство установлено в книге: В. Боград. Журнал «Современник». 1847–1866. Указатель содержания, Гослитиздат, М. –Л. 1959, стр. 418 и 577. Автограф неизвестен.

В статьях 1863–1864 гг. Салтыков часто писал о силе реализма Островского. Он постоянно противопоставлял исполненные правды жизни пьесы Островского псевдообличительной современной драматургии (см., например, в наст. томе статью «Московские письма» – Письмо первое, рецензию на сб. сцен Н. А. Потехина «Наши безобразники»).

Салтыков дорожил участием Островского в «Современнике», как и в «Отечественных записках» в последующие годы. Пародируя в апрельской книжке «Современника» 1863 г., в обозрении «Наша общественная жизнь», чуть ли не все произведения из январской книжки журнала «Время», Салтыков «обошел» напечатанную в журнале драму «Грех да беда на кого не живет». «Только и не могу сочинить (то есть спародировать. – Д. З.), – признавался он, – одну драму Островского. Драма! драма! как ты в рошу попала?» Следующая пьеса Островского, «Тяжелые дни», появилась в «Современнике», в сентябрьской книжке того же 1863 г.

Стр. 182...на Мариинском театре... – Пьесу исполняла труппа Александринского театра. См. прим. к стр. 163.

...глубокую признательность гг. актерам и актрисам... – На первом представлении роли исполняли: Бабаев – А. А. Нильский, Краснов – Ф. А. Бурдин, Краснова – Ф. А. Снеткова, Жмигулина – Ю. Н. Линская, Архип – В. В. Самойлов, Афоня – И. Ф. Горбунов и др.

Даже у г. Бурдина вырвались два-три движения весьма недурных. – Об отношении Салтыкова к этому актеру см. прим. к стр. 163.

...г-жа Снеткова 3-я совсем оставляет сцену. Это потеря покамест незаменимая. – Ф. А. Снеткова покинула сцену в 1863 г. совсем молодой: ей было 24 года. За неполных семь лет (с 1856 г.) она сыграла ряд значительных ролей, в частности была первой исполнительницей Катерины в «Грозе» Островского (премьера – 2 декабря 1859 г.). Салтыков одобрительно отзывался об игре Снетковой даже в роли Наденьки из осмеянной им пьесы Устрялова «Слово и дело» (см. наст. том, стр. 172). Слова о незаменимой потере – высокая оценка в устах Салтыкова. Так он отзывался только о А. Е. Мартынове и А. М. Максимове (см. т. 9 наст. изд. по указателю имен).

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Горькая судьбина. Драма в 4-х действиях А. Писемского
Впервые – в журнале «Современник», 1863, № 11, отд. II, стр. 90–106 (ценз. разр. – 9 декабря). Без подписи. Авторство указано А. Н. Пыпиным («М. Е. Салтыков», СПб. 1899, стр. 236) и подтверждено публикацией документов конторы «Современника» («Литературное наследство», т. 13–14, стр. 64, и т. 53–54, стр. 259). Автограф неизвестен.

В Пушкинском доме хранятся неправоленные гранки набора статьи для «Современника». По ним восстанавливаются следующие места, опущенные или замененные в журнальной публикации, по-видимому, по цензурным причинам:

Стр. 183. После слов: «...с точки зрения благоуханной» восстановлен конец фразы: «и которого поэтому барыни называли l'auteur d'Anton».

Стр. 193. После слов: «...какие могут происходить» восстановлен первоначальный текст продолжения: «между двумя благородными людьми» (в журнале: «между двумя людьми»).

Стр. 195. После слов: «...даже наша снисходительная публика» восстановлено первоначальное продолжение фразы: «...строгими мерами приученная...» (в журнале: «публика, терпеливо выносящая»).

Стр. 196. В третьем абзаце восстановлены сатирические выпады против Григоровича и Мельникова: «Исключения в этом случае представляют лишь такие гениальные писатели, как Д. В. Григорович и П. И. Мельников, из коих первый доселе питается французским миросозерцанием, а последний – татарским».

Не восстанавливаются отдельные нападки на Писемского, смягченные в журнальной редакции, вероятно, самим автором; приводим лишь существенные разночтения, выделяя первоначальный текст курсивом:

Стр. 183. Вторая фраза первого абзаца звучала резче (набрано курсивом): «Большинство смотрело на нее как на мистификацию или, по крайней мере, как на обмолвку...»

Стр. 186. Вместо слов: «...и не может взирать на мужчину без особенных соображений» было: «...и не может взирать на мужчину без известных похотливых соображений».

Стр. 195. Вместо слов: «разных «Неровней» было: «разных «Пасынков».

Стр. 197. Вместо слов: «...его драма едва ли может удовлетворять требованиям строгой критики» было: «его драма едва ли не ниже всякой критики». Вместо слов: «деревянные фигуры» было: «деревянные чурбаны».

«Горькая судьбина» Писемского была впервые опубликована в ноябрьской книжке «Библиотеки для чтения» за 1859 г. Статья Салтыкова появилась лишь после премьеры пьесы 18 октября 1863 г. на Александринской сцене.

В годы пореформенной реакции Салтыков на страницах «Современника» упорно и последовательно вел борьбу за чистоту принципов реализма и выступал против вульгарного толкования его, как «грубого механического списывания с природы».

Критика псевдореалистических течений, в частности натурализма, которую Салтыков продолжит потом во многих своих выступлениях, впервые с большой полнотой была развернута именно в статье о «Горькой судьбине», что сделало эту работу новаторским вкладом в теорию критического реализма. «Когда Салтыков-Щедрин разбирал творчество Писемского, – пишет В. Я. Кирпотин, – ни общественная мысль, ни эстетическая литература не проводили еще разграничения между реализмом и натурализмом». [233]

Еще до появления «Горькой судьбины» Салтыков в письме к П. В. Анненкову от 3 февраля 1859 г. так оценивал талант автора «Тысячи душ» и «Тюфяка»: «Писемский как ни обтачивает своих болванчиков, а духа жива вдохнуть в них не может». Эта же мысль присутствует и в статье о пьесе: Писемский, по словам Салтыкова, «удачно ловит внешние признаки и лепит из них фигуры, по большей части, довольно выпуклые, но глаза у этих фигур всегда оловянные...»

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru Одновременно с «Грозой» Островского «Горькая судьбина» получила в 1860 г. Уваровскую премию и вызвала ряд высоких оценок в печати либерального лагеря (отзывы С. Дудышкина, А. Майкова и др.). Иными были суждения революционно-демократической критики. В статье «Луч света в темном царстве» (1861) Добролюбов писал об «исключительности», то есть нетипичности центральных образов пьесы – крепостного Анания и барина Чеглова: русская жизнь, по мнению критика, «так же мало способна развивать характеры, подобные Ананию, как и помещиков, подобных Чеглову». Добролюбов был крайне неудовлетворен тем, как разворачивается главный драматический конфликт пьесы. «...не эта сила рвется наружу из тайников русской жизни, – писал он, – и не таково должно быть ее проявление». [234] Салтыков, явно переключаясь с Добролюбовым, прямо говорит о нарушении жизненной логики в развитии драмы, о несовпадении поступков героя с обстоятельствами: «...крепостное право тем-то именно и было характеристично, что оно проявляло себя необыкновенно цельно... и что при подобной обстановке не могло быть места для сделок, а было ли, нет ли место, так или для совершенной приниженности, или для явного и резкого протеста».

Подлинный реализм, который «берет» человека со всеми его «определениями», исследуя не только настоящее, но прошлое и будущее героев, Салтыков отделяет от эмпирической «однозначности» натурализма, от его описательности, бессильной постичь «интимный смысл», «внутреннюю жизнь» действительности.

Задаваясь вопросом о том, не написана ли «Горькая судьбина» Писемского «в пику г. Григоровичу», Салтыков тем самым резко противопоставляет прежней поэтической идеализации русского крестьянина 40-х годов другую крайность: грубое, разрозненное изображение отталкивающих внешних подробностей быта и нравов. «Можно даже подумать, – говорится в статье, – что автор лично чем-то огорчен. Мужик грубиян, бахвал, дурак и пьяница, одним словом, мужик...» Салтыков глубоко расходился с Писемским во взгляде на мужика, на народ и его роль в общественном развитии России.

Писатель осуждает «ограниченность взгляда» автора «Горькой судьбины», отсутствие в его произведении широкого общественного идеала, «миросозерцания», «страстной руководящей мысли». Это капитальный недостаток в глазах Салтыкова.

Подобно выступлению Салтыкова по поводу «Отцов и детей» (см. наст. том, прим. к стр. 168), его полемика с автором «Горькой судьбины» в 1863 г. имела и непосредственно политические мотивы. Это был один из острых моментов борьбы между Писемским и лагерем «Современника». Писатель, близкий в середине 50-х годов к передовым кругам русского общества, автор «Тюфяка» и «Тысячи душ», которого Чернышевский называл художником гоголевской школы, в 1861 г. открыто заявил себя противником демократического движения, а несколько позднее опубликовал реакционный роман «Взбаламученное море». [235]

Полемическая горячность статьи Салтыкова подготовлена рядом предшествовавших выпадов Писемского против демократии. В серии фельетонов «Мысли, чувства, воззрения, наружность и краткая биография статского советника Салатушки» («Библиотека для чтения», 1861, №№ 1–3), написанных от лица либерала-карьериста, осмеянного автором, Писемский клеветал на прогрессивную молодежь, на круг «Современника». В декабрьской книжке той же «Библиотеки для чтения» – журнала, который редактировал тогда Писемский, – он выступил с еще более безудержной бранью в адрес демократов, подписав свой пасквиль «Старая фельетонная кляча Никита Безрылов». Этот поступок Писемского явился причиной общественного скандала. Г. З. Елисеев писал 2 февраля 1862 г. в «Искре» (№ 5), в «Хронике прогресса»: «Никогда еще русское печатное слово не было низведено до такого позора, до такого поругания, до какого низвела его «Библиотека для чтения» в декабрьском фельетоне своем...», и прямо причислял автора фельетона к пособникам реакции. В «Библиотеке для чтения» (1862, № 1–2) Писемский поместил весьма грубый «Ответ Никиты Безрылова своим врагам – фельетонисту «Северной пчелы» и хроникеру «Искры», после чего скандал разросся до того, что издатели «Искры» В. С. Курочкин и Н. А. Степанов вызвали Писемского на дуэль. Она не состоялась. Писемский признал себя побежденным. 4 марта 1862 г. он писал Тургеневу: «Партия «Современника» в полном торжестве...» [236]

Писемскому на время пришлось покинуть Петербург и отправиться за границу, а в январе 1863 г. он расстался с «Библиотекой для чтения», переехал в Москву и привез М. Н. Каткову шеститомный «антинигилистический» роман «Взбаламученное море», напечатанный в том же 1863 г. в «Русском вестнике», №№ 3–8.

Такова последовательность фактов. В их свете проясняются некоторые существенные полемические мотивы статьи Салтыкова.

В статье о «Горькой судьбине» последние произведения Писемского рассматриваются как продолжение политической борьбы, как ответ писателя «Искре», всему лагерю демократии. «...г. Писемский, как кажется, возомнил себя писателем политическим, а политика, как известно, способствует развитию только страстей и огорчений... Стоит только припомнить описание крестьянских волнений в последнем романе этого автора, – иронизирует Салтыков, имея в виду «Взбаламученное море», – чтобы понять, до каких пагубных последствий может довести недостаток проницательности...»

Иные памфлетные сгущения красок и резкости, допущенные Салтыковым в оценке «Горькой судьбины», отражают, как прежде в оценке Базарова, «истину минуты». Салтыков вообще отказывает автору в каком-либо сознательном творческом отношении к замыслу пьесы, не хочет видеть в ее героях даже проблесков живой жизни, а в развитии основного конфликта – драматизма. В своем стремлении «отлучить» Писемского от писателей реальной школы он категорически отождествляет объективный смысл «Горькой судьбины» и «Взбаламученного моря». Между тем пьеса Писемского, несмотря на очевидные натуралистические тенденции, безусловно давала актерам повод для создания антикрепостнического спектакля, для лепки драматических характеров. С конца 60-х годов «Горькая судьбина» прочно закрепилась в репертуаре главным образом провинциальной сцены. В истории русского театра исполнение ролей Анания и Лизаветы связано с именами Стрепетовой и Станиславского.

По прошествии ряда лет, когда конкретные поводы борьбы отошли в прошлое, когда Писемский прекратил сотрудничество с Катковым (свыше года он заведовал отделом беллетристики в «Русском вестнике»), возобновились его встречи с Салтыковым, а в 1875 г. Салтыков пригласил его сотрудничать в «Отечественных записках».

Стр. 183...по-видимому, место действия происходит в Костромской... губернии... – В воспоминаниях о Писемском «Художник и простой человек» П. В. Анненков сообщает, что основа пьесы «не была выдумана художником. Писемский встретился с подобным происшествием в 1848 году, будучи еще чиновником особых поручений при костромском губернаторе. Он имел в руках подлинное дело точно такого же содержания и в качестве следователя, командированного губернатором, принимал участие в его разборе сам» (П. В. Анненков. Литературные воспоминания, Гослитиздат, М. 1960, стр. 517).

...мужика представил в виде пошлого дурака... – Очевидно, подразумевается рассказ Писемского «Батька», напечатанный в журнале «Русское слово» (1862, № 1), где действует молодой крестьянин Тимофей.

Стр. 184. Пьеса прошла тихо, не возбудив ничего, кроме недоумения... – Спектакли «Горькой судьбины» шли в самый разгар общественного скандала, возникшего после опубликования «Взбаламученного моря», что и вызвало в значительной мере равнодушие публики.

Стр. 185...общество распространения бесполезных книг отравляет наших детей... – Салтыков иронически называет так Общество распространения полезных книг, основанное в 1861 г. в Москве для пропаганды в народе «полезных сведений в религиозно-нравственном направлении»; оно находилось под «высочайшим» покровительством императрицы. Об изданиях этого Общества Салтыков хотел высказаться специально. 15 августа 1863 г. он писал из Витенева своему соредктору по «Современнику» А. Н. Пыпину: «Я взял себе для разбора... несколько книг издания Общества распространения полезных книг» («Литературное наследство», т. 67, изд. АН СССР, М. 1959, стр. 467). Вслед за тем в рецензии на «Воздушное путешествие через Африку» Жюль Верна («Современник», 1864, № 2) Салтыков замечал, что журнал надеется в скором времени выступить «по поводу полезной деятельности Московского общества распространения полезных книг» (см. наст. том, стр. 435). Разбора таких книг в «Современнике» 1863–1864 гг. не появлялось.

Стр. 186. Софи Ленева, отец Леновой – персонажи «антинигилистического» романа Писемского «Взбаламученное море» (1863). Калинович – герой его же романа «Тысяча душ» (1858).

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Стр. 188. Стоит только припомнить описание крестьянских волнений в последнем романе этого автора. – Имеются в виду 11–13 главы из пятой части романа «Взбаламученное море», в которых тенденциозно изображена вспышка недовольства среди крестьян из-за реформы 19 февраля 1861 г.: крестьяне ведут себя крайне тупо и бестолково, смиряются после порки.

Стр. 191...мы вовсе не требуем, чтоб он сделал из него Жака или Лопухова... – Жак – герой одноименного романа Жорж Санд (1834); Лопухов – герой романа Чернышевского «Что делать?» (1863). И тот и другой отступают перед новым избранником, не желая мешать счастью героини.

Стр. 192–193...в катковско-либеральном духе... – очередная насмешка над осторожным свободолобием М. Н. Каткова, угасшим после 1861 г.

Стр. 195...публика, строгими мерами приученная терпеливо выносить разных «Неровней» да «Бедных племянниц»... – Poleмический выпад Салтыкова, поставившего «Горькую судьбину» чуть ли не ниже ремесленных пьес ходового репертуара. «Неровня» – комедия В. А. Дьяченко, впервые исполнена в Александринском театре 11 октября 1863 г. «Бедная племянница» – комедия И. Л. Грюнберг, шла первый раз на Мариинской сцене 3 января 1863 г.

Стр. 197. Саддукеизм... – Секта саддукеев, возникшая приблизительно за 150 лет до н. э., с исступленным фанатизмом придерживалась буквы иудейского вероучения.

Наяда и рыбак. Фантастический балет в трех действиях и пяти картинах
Соч. Ж. Перро; музыка Г. Пуни

При жизни Салтыкова первоначальная редакция статьи не публиковалась. Предназначенная для последней, двойной книжки журнала «Современник» за 1864 г. – № 11–12 (ценз. разр. – 25 ноября и 30 декабря), она была набрана, но изъята цензурой. [237] Следовательно, время ее написания определяется ноябрем – декабрем 1864 г. В январе 1866 г. Салтыков вновь пробовал напечатать статью, в качестве отклика на балет композитора Л. Минкуса в постановке А. Сен-Леона «Фиаметта», но цензура и на этот раз запретила публикацию сатиры. [238] Лишь в марте 1868 г. статья появилась в «Отечественных записках», притом в значительно измененном и урезанном виде, в форме рецензии на балет Минкуса и Сен-Леона «Золотая рыбка». Сокращенный «цензурный» вариант статьи (в сущности, это уже другое произведение) вошел в состав сборника 1869 г. «Признаки времени», «Письма о провинции».

Текст первоначальной редакции частично приводится в статье И. Т. Трофимова «М. Е. Салтыков-Щедрин о художественном мастерстве писателя» («Ученые записки Орехово-Зуевского гос. педагогического института», 1955, т. II, вып. I, стр. 75–111) и в названной выше книге С. Борщевского (стр. 149–157). Полностью пародию-фельетон Салтыкова в первоначальной редакции опубликовал С. А. Макашин в «Литературном наследстве» (т. 67, изд. АН СССР, М. 1959, стр. 388–402) по тексту корректурных гранок из бумаг Н. А. Некрасова (ЦГАЛИ, ф. 445, оп. 1, ед. хр. 101).

В настоящем издании статья печатается по несколько более полному тексту гранок, хранившихся в бумагах А. Н. Пыпина, а ныне находящихся в салтыковском фонде Пушкинского дома. Сообщение об этих гранках было сделано В. Э. Боградом в «Литературном наследстве», т. 67, стр. 363, 369.

На стр. 214 в последнем абзаце после слов: «...освещаемый молнией» восстановлена по гранкам ЦГАЛИ фраза: «По сторонам... стража».

В своей четвертой статье из серии «Петербургские театры» Салтыков продолжает борьбу за реализм «на два фронта»: как с теоретиками «искусства для искусства», так и со сторонниками примитивного утилитаризма и натурализма. В центре статьи – диалоги о назначении искусства между самим «искусством» и «мужиком». Отношение к мужику, к народу является пробным камнем правды в искусстве; подлинная, «мужицкая» народность или, как пишет Салтыков, национальность искусства определяет меру его общечеловеческой содержательности и ценности. Такая демократическая постановка вопроса о зависимости искусства от интересов народной жизни сделала эту статью неприемлемой для цензуры.

Сам Салтыков прочно связал практику собственного творчества с интересами и чаяниями мужика. С позиций мужицкой демократии он обличает и осмеивает не только

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru философскую реакцию, но и выдохшийся либерализм, «скрывающийся под именем Ивана Александровича Хлестакова», и, разумеется, «отечественно-консервативную силу» в образе Давилова – воплощении режима административного насилия, вместе с его подручными Обираловым и Дантистом – раздателем зуботычин, и т. д., устанавливает между всеми ими внутреннюю общность побуждений, задевая в результате и самую «Систему». «Вот моя программа», – пишет сатирик, начиная свою пародию-памфлет на пустые и легковесные балетные сценарии того времени, и эти слова о программе многозначительны. [239]

Статью-пародию Салтыкова, само собою разумеется, нельзя рассматривать как собственно балетную рецензию, хотя в ней и схвачены весьма точно кризисные черты балетного театра 60-х годов, времен заката романтического стиля. Как пишет историк русского балета В. М. Красовская, «если романтический балет эпохи расцвета привлекал сочувственное внимание Белинского, Герцена, Щедрина, то балет поры упадка для Щедрина и Некрасова уже не существовал как искусство, а являлся лишь одним из неприглядных «признаков времени». [240] Действительно, для сурового реалиста и демократа Салтыкова балет в 60-х годах – одна из отрицаемых им форм «чистого искусства», запоздало романтического, далекого от народа, отвлекающего общество от насущных задач жизненной борьбы и потому, в конечном счете, реакционного. Как и в «Московских письмах» (см. наст. том, стр. 153–156), как и в ряде более поздних публицистических выступлений писателя, критика балета часто служит лишь средством критики спиритуализма, всякого философского идеализма вообще. В статье «Современные призраки», относящейся к апрелю 1863 г. и при жизни автора не напечатанной, например, прямо утверждается: «Пускай философы-идеалисты... сходят в первый балет, какой будет даваться на сцене. Они увидят, они с краской стыда почувствуют, что целую жизнь свою посвятили не чему иному, а именно только сочинению балетов» и т. д. (см. т. 6 наст. изд.). Так и в настоящей статье. Образ балетной «галиматьи» помогает сатирику высмеять «галиматью» философскую, с прямым прицелом в философа-идеалиста П. Д. Юркевича и подобных ему воинствующих врагов материализма.

Статья Салтыкова написана в разгар ожесточенной схватки «Современника» с Достоевским и его журналом «Эпоха» и вся пронизана полемическими выпадами в этот адрес. В перечне персонажей «балета» Салтыкова фигурирует «Эпохино семейство»; потому «семейство», что издатель «Эпохи» М. М. Достоевский умер в июне 1864 г. и его права перешли к наследникам. Салтыков высмеивает «почвенническую» идеологию журнала, как вид ретроградства. Расплывчатость призывов к сближению с «почвой», то есть с исконными началами русской жизни, он уподобляет чириканью стрижей. «Стрижами» же в системе полемических иносказаний Салтыкова выступают, кроме братьев Достоевских, также А. А. Григорьев, Н. Н. Страхов («Косица») и др. (подробнее о полемике Салтыкова с «Временем» и «Эпохой» см. в т. 6 наст. изд., прим. к статье «Литературные мелочи» и др.; см. в наст. томе стр. 611–612, 623–627, 636–637, а также прим. к рецензии «О добродетелях и недостатках...»). Попутно Салтыков пародирует мнимо-обличительную журналистику «необулгаринского» толка, которая звала к реформистской «постепенности», усматривала корень зла во взятках и других нарушениях «безупречных» законов.

Стр. 199. «Наяда и рыбак» – балет выдающегося романтического хореографа и танцовщика Жюля Перро на музыку Цезаря Пуни. Впервые показан в Лондоне 22 июня 1843 г. под названием «Ундины, или Наяда». Петербургская премьера состоялась 30 января 1851 г. с участием Карлотты Гризи в роли Наяды и Жюля Перро в роли рыбака Маттео. 7 ноября 1863 г., после отъезда Перро из России, в партии Наяды впервые выступила М. Н. Муравьева; прочие роли исполняли: Маттео – Х. П. Иогансон, Джианина – В. А. Лядова, Гидрола – А. Н. Кеммерер, Тереза – Н. Н. Троицкая.

...да простит мне г. Тургенев, что я, быть может, слишком часто ссылаюсь на этих... старичков. – Об отношении Салтыкова к роману Тургенева «Отцы и дети» см. наст. том, прим. к стр. 168.

...Кирсановы... говорят об «даже»... – намек на умеренный либерализм «отцов» из тургеневского романа. Должно быть, Салтыков имеет в виду диалог братьев Кирсановых и Базарова в десятой главе «Отцов и детей» (И. С. Тургенев. Полн. собр. соч. и писем в двадцати восьми томах. Сочинения, т. VIII, «Наука», М. –Л. 1964, стр. 237–249). См. также в январской хронике «Нашей общественной жизни» (т. 6, М. 1941, стр. 47).

Стр. 201...балет находится в состоянии еще более младенческом, нежели, например, поэзия гг. Майкова, Фета и проч. – Салтыков посвятил специальные рецензии

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru «Стихотворениям» А. А. Фета и «Новым стихотворениям» А. Н. Майкова (см. наст. том, стр. 383–387 и 424–435).

...с своими «духами долин», с своими «наядами», «метеорами» и прочую нечистой силой. – Имеются в виду репертуарные балеты: 1) «Сирота Теолинда, или Дух долины» А. Сен-Леона на музыку Ц. Пуни, поставленный на петербургской сцене в бенефис М. Н. Муравьевой 6 декабря 1862 г.; 2) «Наяда и рыбак» и 3) «Метеора, или Долина звезд» А. Сен-Леона на музыку Пипта и Пуни, шедший в Петербурге впервые для бенефиса Н. К. Богдановой 23 февраля 1861 г.

Стр. 202...белила и румяны ползут с его лица, на котором обнажаются старческие морщины... – Исполнителю роли рыбака Маттео, выдающемуся петербургскому танцовщику Х. П. Иогансону, в 1864 г. было 47 лет.

Стр. 203. Cur? quomodo? quando? quibus auxiliis?.. от всей этой галиматши... – Салтыков иронически ставит простейшие, школярские вопросы латинской грамматики и логики, высмеивая реакционный спиритуализм (и намеренно смешивая его со спиритизмом) П. Д. Юркевича. С этой же разоблачительной целью сатирик устанавливает тождество между миром балетных «чудес» и «духов» и «философией духа» Юркевича, оказывающейся на поверку такой же фантазией.

Стр. 204. Соч. хроникера «Современника»... – Салтыков вел в «Современнике» 1863–1864 гг. постоянную хронику «Наша общественная жизнь» (см. т. 6 наст. изд.).

Стр. 213. Ах, когда же с поля чести /Русский воин удалой... – начало так называемого рассказа Собинина из первого акта оперы М. И. Глинки «Жизнь за царя», по тексту либретто барона Е. Ф. Розена.

Стр. 214...секретнейшее отделение!! – намек на III Отделение собственной его величества канцелярии – центральное учреждение политической полиции царизма.

Тихо всюду! глухо всюду! /Быть тут чуду! быть тут чуду! – стихи из второй части поэмы А. Мицкевича «Дзяды».

Стр. 214–215...на коленях Взятка-Потихоньку-Постепенная преподносит изящнейший портсигар из черной юфти. – Здесь и далее пародируются газетные отчеты о бенефисных подношениях танцовщицам.

Стр. 215...герб Хлестаковых-Давиловых Римский огурец. – Салтыков сатирически заостряет, как символ чудовищной лжи, образ из басни И. А. Крылова «Лжец», герой которой заявляет:

Вот в Риме, например, я видел огурец:

Ах, мой творец!

И по сию не вспомнюсь пору!

Поверишь ли? ну, право, был он с гору...

...слесарши Пошлепкиной... – персонаж из комедии Гоголя «Ревизор».

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ПО ПОВОДУ «ЗАМЕТКИ»,

ПОМЕЩЕННОЙ В ОКТЯБРЬСКОЙ КНИЖКЕ

«РУССКОГО ВЕСТНИКА» ЗА 1862 ГОД

Впервые – в журнале «Современник», 1863, № 1–2, отд. II, стр. 1–16 (ценз. разр. – 5 февраля). Подпись: Т-н (Тверянин?). Псевдоним раскрыт А. Н. Пыпиным («М. Е. Салтыков», СПб. 1899, стр. 235); авторство подтверждено публикацией документов конторы «Современника» («Литературное наследство», т. 13–14, стр. 64, и т. 53–54, стр. 258). Рукопись неизвестна. Но в ИРЛИ сохранились исправленные корректурные гранки (на них помета: «2 корр. Декабря 29» и надпись: «Его Высокоблагородию Александру Николаевичу Пыпину»). Они дают возможность восстановить тексты двух ядовитых выпадов против «Русского вестника», которые были исключены из журнальной публикации, по-видимому, по цензурным соображениям. Восстанавливаются тексты – стр. 218–219: «Одним словом... телесные упражнения»; стр. 221: Подстрочное примечание: «Когда-то «Современник»... не вышел».

В «Материалах...» К. К. Арсеньева приводятся сведения о хранившейся в бумагах Салтыкова, но впоследствии утраченной черновой рукописи под заглавием «Замечания на проект устава книгопечатания». К. К. Арсеньев усматривал в этом автографе набросок записки, предназначавшейся не для обнародования в журнале, а для

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru представления кому-то из лиц высшей администрации, причастных к разработке законодательства о печати. Документальные подтверждения такой догадки отсутствуют. Но если бы она и была доказана, это не помешало бы рассматривать «Замечания...» как первоначальный набросок тех мыслей и формулировок, которые в несколько измененном и сокращенном виде перешли затем в текст комментируемой статьи. К сожалению, однако, сведения из «Материалов...» К. К. Арсеньева не могут быть введены в корпус сочинений писателя. Немногие цитаты из салтыковского текста перемежаются здесь пересказами отдельных мест рукописи и комментарием К. К. Арсеньева.

Восьмого марта 1862 г. при министерстве просвещения была учреждена «Комиссия для пересмотра, изменения и дополнения постановлений по делам книгопечатания» под председательством князя Д. А. Оболенского. В октябре того же года комиссия закончила свою работу, подготовив том материалов «Первоначальный проект устава о книгопечатании». (Впоследствии этот проект был пересмотрен другой комиссией, учрежденной при министерстве внутренних дел, и послужил основанием закона о печати 6 апреля 1865 г.) Проект предусматривал введение карательной цензуры, но и сохранение элементов цензуры предупредительной. С материалами был ознакомлен Катков, который и написал, ориентируясь на них, свою «Заметку», вызвавшую отпор Салтыкова (см. М. Лемке, *Эпоха цензурных реформ*, СПб. 1904, стр. 210–218; А. Н. Пыпин. М. Е. Салтыков, СПб. 1899, стр. 32–35).

В связи с работой Комиссии в русской периодике 1862 г. оживленно обсуждался вопрос о преобразовании цензуры. В ходе дискуссии обнаружилось две основные точки зрения. За сохранение предупредительной цензуры не ратовал почти никто. И либералы и бывшие либералы, повернувшие в обстановке революционной ситуации вправо, выступали под знаменем борьбы за «свободу слова», против цензурных ограничений. Такие выступления часто оказывались неразрывно связанными с нападка на «нигилизм», с которым будто бы легче будет справиться, если он сможет высказаться открыто. «Если ложь, – заявлялось в журнале Каткова, – присутствует в умах, пусть лучше она выскажется со всем своим задором и без утайки; тогда с ней легко справиться без всяких карательных мер; она или сама себя уничтожит своею откровенностью, или вызовет в обществе отпор...» («Русский вестник», 1862, № 10, стр. 877). Издания этого лагеря с похвалой отзывались о намерениях правительства преобразовать цензуру, стремились представить проекты, планируемые властями, как подлинное освобождение слова, призывали принять участие в обсуждении вопроса о цензурной реформе. В то же время они старались оправдать те цензурные ограничения, которые предполагалось сохранить, говорили о важности постепенности в цензурных преобразованиях, о «государственной необходимости», мешающей иногда осуществить свободу слова (см., например, «Современную летопись», 1862, № 12, стр. 18). В отдельных случаях в высказываниях об изменении цензуры ощущались оппозиционные ноты, встречались критические замечания в адрес официальных проектов, но и здесь звучала вера в то, что от правительства можно ожидать подлинного освобождения слова, нужно лишь только доказать ему пользу такого освобождения («День», №№ 21–24; «Время», № 5–6, статьи «Законы о печати...» и др.). Иной была позиция демократической журналистики. Дело сводилось даже не к тому, что, критикуя официальные проекты, она требовала подлинной свободы слова. Главное заключалось в том, что, раскрывая реакционность различных цензурных систем, демократическая печать подводила читателей к мысли, что такие системы закономерны для абсолютистских правительств, автократических режимов, которые боятся подлинной свободы слова и могут существовать, лишь обуздывая ее. Обсуждение вопроса о цензурных законодательствах, по мнению демократического лагеря, практически не влияет на проведение цензурной реформы (правительство все равно проведет ее по-своему).

Но оно полезно, чтобы заставить понять сущность дела, разрушить всяческие иллюзии, показать несовместимость свободы слова и самодержавной власти. Подобного рода рассуждения высказывались в статьях Н. Г. Чернышевского «Французские законы по делам книгопечатания» («Современник», 1862, № 3), Н. Л. Тиблена «По делу о преобразовании цензуры» (там же), Д. И. Писарева «Очерки из истории печати во Франции» («Русское слово», 1862, № 3–5). Определяют они и содержание статьи Салтыкова. Следует учитывать, что его выступление воспринималось в общем контексте аналогичных материалов, опубликованных, в частности, в № 1–2 «Современника». В конце отдела «Словесности...» этого номера напечатана первая из серии статей А. Н. Пыпина «Процессы о печати в Австрии». Автор прямо указывает на связь своей статьи с прошлогодними толками о цензуре, с прежними выступлениями «Современника» о цензурных законодательствах. Рассказывая о преследованиях австрийской печати, о полной зависимости ее от «господ, имевших

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru в руках своих кулачное право» (стр. 436), Пыпин подчеркивает, что положение не может быть иным, «когда общество или не сознает, или не умеет поддержать своих прав; когда учреждения остаются абсолютными; когда законодательство не изменилось», «можно ли было ожидать другого положения печати при тех обстоятельствах, в которых находится внутренняя жизнь государства?» – спрашивает он (стр. 437). Сразу же после статьи Пыпина, в начале II отдела, редакция печатает статью Салтыкова. Пользуясь тем, что проект нового устава не был официально опубликован, делая вид, что спор идет лишь о катковской «Заметке», и одновременно намекая, что это не так, Салтыков подвергает уничтожающей критике подготавливаемую реформу. Он показывает, что новая система основана на желании заменить произвол беспорядочный произволом, так сказать, узаконенным», что «правительство сильное, опирающееся на сочувствие народа», не может руководиться подобным желанием. Отсюда напрашивается вывод, что ожидать свободы слова от царского правительства, не пользующегося поддержкой народа, наивно. Подобный вывод мимоходом делал и Антонович в «Кратком обзоре журналов за истекшие восемь месяцев», напечатанном в том же № 1–2 «Современника» (стр. 238).

Выступление Салтыкова по поводу «Заметки» привлекло внимание цензора О. Пржецславского, весьма раздраженно отзывавшегося о статье в своем докладе о январско-февральской и мартовской книжках «Современника» Совету министра внутренних дел по делам книгопечатания (см. «Литературное наследство», т. 13–14, М. 1934, стр. 139–140).

Стр. 216...чтобы различить вредные и антисоциалистские учения от невредных и социалистских. – Слово «социалистский» здесь следует понимать в смысле «общественный» (см. А. Н. Пыпин. М. Е. Салтыков, СПб. 1899, стр. 35).

Стр. 217. Прохаживался ли, например, «Русский вестник» насчет Австрии... – В «Русском вестнике» конца 50-х годов нередко встречались отрицательные оценки австрийских порядков (см., например, «Политическое обозрение», 1858 – № 4, кн. 2; 1859 – № 7, кн. 1, № 9, кн. 1, № 10, кн. 1). В журналистике того времени именно отклики на австрийские события чаще всего служили замаскированной формой критики русской действительности.

...восхвалял ли «Русский вестник» австрийского мистера Брука... – Редакция «Русского вестника» в какой-то степени противопоставляла австрийского министра финансов Карла Людвиг Брука остальным министрам, утверждая, что упреки за финансовый кризис следует адресовать «не столько к барону Бруку, сколько вообще к австрийской камарилье и бюрократии», Брук же «прославился своей финансовою находчивостью», «имя его будет всегда называться в финансовой науке, как имя весьма замечательное» («Политическое обозрение», 1859, № 10, кн. 1, стр. 264–265).

Если верить «Русскому вестнику» и г. Громеке... – Утверждения, что предупредительная цензура на руку нигилистам, см. в «Заметке...» «Русского вестника», написанной Катковым (1862, № 10), и в «Современной хронике» «Отечественных записок», которую вел Громека (1862, № 4, 11).

Мы не имели случая читать подлинный проект нового «устава о книгопечатании»... но знаем о содержании его из «Русского вестника». – Судя по рукописи «Замечаний на проект устава книгопечатания», бывшей в распоряжении К. К. Арсеньева (см. выше), это заявление не соответствует действительности и сделано, по-видимому, по цензурным соображениям.

Стр. 219. С точки зрения практической, для литературы, конечно, все равно, в каком ведомстве будет сосредоточен контроль по делам книгопечатания... – Намек на то, что, в сущности, нет никакой разницы между министерством внутренних дел, ведавшим полицию, и министерством просвещения, должен был задеть мнившего себя либералом министра просвещения А. В. Головнина.

Стр. 219–220. Какое отношение может существовать между литературой, как органом просвещения, и полицией, как органом охранения государственной безопасности... – Сближение цензуры и полиции задело цензора О. А. Пржецславского. В своем отчете (см. выше) он отмечал, что Салтыков смешивает понятие об «обыкновенной» полиции с понятием о «высшей полиции, о полиции слова».

Стр. 221...права печатать казенные объявления... против «Нашего времени». – О монополии, полученной Катковым на печатание казенных объявлений в «Московских

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru ведомостях», и о возникшей по этому поводу полемике с редактором газеты «Наше время» Н. Ф. Павловым см. прим. на стр. 564–565 наст. тома («Московские письма»).

...в последнее время «Современная летопись» начала что-то заговариваться о редакторах, заслуживающих доверия, и редакторах, доверия не заслуживающих. – В полемике с Н. Ф. Павловым редакция «Современной летописи» утверждала, что университет, передавая свою газету «Московские ведомости» М. Н. Каткову и П. М. Леонтьеву, считает «их образ мыслей особенно заслуживающим доверия», что само правительство, утверждая выбор университета, «признает за ними достаточные нравственные обеспечения и считает их людьми, заслуживающими доверия» (№ 46, стр. 22).

...сравняться в «рвении» с «Нашим временем». – В 1862 г. «Наше время» вело ожесточенную травлю «нигилистов», обвиняя их в поджогах и т. п. (см., например, № 122).

«Он схватил меня, – рассказывает Гулливер...» – цитата из «Путешествия Гулливера» Свифта, ч. II, гл. I.

Когда-то «Современник» назвал... «Русский вестник» подготовительным журналом... – Вероятно, имеется в виду оценка «Русского вестника» Чернышевским в статье «История из-за г-жи Свечиной» («Современник», 1860, № 6): «Мы думаем, что воззрения, излагаемые «Русским вестником», готовят людей к принятию воззрений, излагаемых нами... мы считаем его очень полезным для нас подготовителем серьезных людей к принятию наших понятий» (Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. VII, М. 1950, стр. 302–303).

Стр. 223...имеет в предмете указать на Францию. – Готовя цензурные преобразования, русское правительство в значительной степени ориентировалось на французские законы о печати. В связи с этим демократическая журналистика неоднократно резко критиковала французскую цензурную систему.

...что для нас Франция? что мы для нее? – ироническая перифраза слов Гамлета «Что ему Гекуба? что он Гекубе?»

Что мы, русские, не имели до сих пор свободных учреждений... тут, конечно, хорошего мало... – Смелое указание на то, что в государственном устройстве России отсутствуют элементарные конституционные свободы, вызвало неблагоприятный отзыв цензора Пржецлавского (см. выше).

НЕСЧАСТИЕ В ПОРХОВЕ

Первоначальная редакция статьи «Известие из Полтавской губернии» («Современник», 1863, № 1–2, отд. II, стр. 47–62), сохранившаяся в корректурных гранках «Современника». Подпись: Вл. Торопцев. Впервые опубликовано В. Е. Евгеньевым-Максимовым в кн. «Труды Московского Гос. института истории, философии и литературы», т. IV. Филологический факультет. М. Е. Салтыков-Щедрин (К 50-летию со дня смерти), М. 1939, стр. 165–179.

«Несчастье в Порхове» написано в конце декабря 1862 г. Поводом для статьи послужили события в Порхове, уездном городе Псковской губернии, о которых сообщалось в № 25 газеты «Мировой посредник» за 1862 г. в корреспонденции: «Еще пример дикости», подписанной инициалом «С.». Предназначалась статья для первой сдвоенной книжки «Современника» за 1863 г. «Вооруженное кулаками» насилие, учиненное порховскими помещиками-крепостниками над местным мировым посредником А. И. Володимировым^[241] за то, что при составлении уставных грамот он защищал интересы крестьян, Салтыков представил не изолированным уголовным деянием, а явлением типическим для тех условий и настроений, в которых проходила на местах реализация Положений 19 февраля 1861 г. После того как статья была уже набрана и сверстана, к ней было добавлено в качестве постскриптума «Примечание редакции», написанное, несомненно, также Салтыковым. В нем излагалось содержание только что полученного редакцией «Современника» письма из Полтавской губернии. Не очень грамотный автор письма, укрывшийся под псевдонимом «Не тронь мене», сообщал о кулачной расправе над местным мировым посредником будто бы «либеральным» «С.», избитым помещиком «Б.», будто бы «дурно обращавшимся с крестьянами».

«Несчастье в Порхове» и постскриптум к статье не появились в печати. Обнародованию этого резкого антидворянского выступления помешали «некоторые

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru «препятствия», как глухо сообщал об этом Салтыков в письме к А. Я. Конисскому от 1 мая 1863 г. Чтобы обойти эти «препятствия», Салтыков переделал статью. Он почти полностью – по существу и текстуально – сохранил разработку темы о преследовании крепостнической реакцией мировых посредников из числа либерально настроенного дворянства, но иллюстрировал ее теперь в основном фактами не из происшествия в Порхове, но аналогичными событиями в Полтавской губернии, о которых сообщалось в упомянутом письме «Не тронь мене». Соответственно этому было изменено название статьи. Под заглавием «Известие из Полтавской губернии» она появилась в № 1–2 «Современника» за 1863 г. Но уже в следующей книжке журнала, в № 3, Салтыков вынужден был поместить заметку «Дополнение к «Известию из Полтавской губернии»». В ней он сообщал содержание полученного «Современником» нового письма, из которого явствовало, что корреспондент «Не тронь мене» ввел редакцию, а тем самым и Салтыкова, в заблуждение и совершенно в превратном виде изобразил как посредника С., так и помещика Б. Месяца через полтора после опубликования разъяснений Салтыкова в «Современник» пришло еще одно письмо, выражавшее «негодование» по поводу защиты и оправдания в статье «Известие из Полтавской губернии» посредника С. Автором письма был упомянутый выше А. Я. Конисский, украинский писатель и общественный деятель, отбывавший в ту пору ссылку в Вологодской губернии. Конисский сообщил редакции «Современника» такие сведения о полтавском посреднике С., которые не только превращали его из либерала в яркого реакционера-крепостника, но и компрометировали политическую честность этого человека. На эту корреспонденцию Салтыков ответил частным образом в упомянутом выше письме Конисскому и публично – в майской книжке «Современника», в краткой реплике, озаглавленной «Еще по поводу «Заметки из Полтавской губернии» (имя Конисского, разумеется, названо не было).

Публикуя в 1939 г. «Несчастье в Порхове», В. Е. Евгеньев-Максимов высказал предположение, что статья была сначала «изуродована», а затем и вовсе запрещена цензором Бекетовым. В подтверждение исследователь ссылался на недатированную записку Салтыкова к Некрасову, начинающуюся словами: «Посылаю Вам, многоуважаемый Николай Алексеевич, изуродованную г. Бекетовым корректуру...» Однако нет никаких видимых оснований относить эту записку к гранкам «Несчастия в Порхове». Кроме того, как уже сказано выше, почти вся принципиальная часть статьи текстуально была перенесена в заменившее «Несчастье в Порхове» «Известие из Полтавской губернии», которое лишь с небольшими смягчениями текста было пропущено тем же цензором Бекетовым для той же январско-февральской книжки «Современника» за 1863 г.

Сличение «Несчастия в Порхове» с «Известием из Полтавской губернии» показывает, что из текста первой статьи, при ее переработке во вторую, было сделано два крупных изъятия. Во-первых, была устранена начинавшая статью обширная цитата из «Мирового посредника» о происшествии в Порхове. Причина этого изъятия остается неясной. Вряд ли она могла восходить к официальной цензуре. Ведь убиралась перепечатка газетной корреспонденции, то есть материала уже цензурированного. Во-вторых, были сняты все места, в которых обличение насилия крепостников-помещиков, учиненное ими над мировым посредником, связывалось с полемически-сатирическими стрелами в адрес тургеневских «Отцов и детей». (На вопрос статьи «Кто эти люди, которые дерутся?» давался ответ: «...в Порхове дрались отцы: дрался Павел Кирсанов... дрался Николай Кирсанов...» и т. д.) Допустимо предположение, что эти места Салтыков снял по рекомендации П. В. Анненкова, которому в это время показывал свои работы до их напечатания (см., например, записку начала 1863 г., в которой были такие слова: «Пользуясь Вашим обещанием, многоуважаемый Павел Васильевич, препровождаю при сем корректуру моей статьи...»).

Так или иначе, представляется несомненным, что законченное, подписанное к печати «Несчастье в Порхове» было переделано в «Известие из Полтавской губернии» не по авторской воле, а вследствие воздействия каких-то посторонних причин. В результате внесенных изменений, в статью, по собственной оценке Салтыкова, «произошла некоторая несвязность» (из цит. письма к Конисскому) и в нее проникли материалы из фальсифицированной корреспонденции «Не тронь мене». Эти ошибки Салтыкову пришлось исправлять в двух дополнительных публикациях. Вследствие всех этих обстоятельств в основном разделе настоящего тома печатается «Несчастье в Порхове», а вынужденно заменившие его «Известие из Полтавской губернии», «Дополнение к «Известию из Полтавской губернии» и «Еще по поводу «Заметки из Полтавской губернии» помещаются в разделе Из других редакций.

«Несчастье в Порхове» – один из публицистических откликов Салтыкова на практику

Страница 424

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru проведения крестьянской реформы и на деятельность созданного для реализации Положений 19 февраля института мировых посредников (см. об этом выше, в прим. к статье «Об ответственности мировых посредников»). Главное в статье – разоблачение «тайной силы» крепостнической оппозиции, «подрывающей» дело реформы, и выдвигаемый Салтыковым проект переустройства самого «мирового института». Салтыков предлагает заменить установленный Положением порядок назначения посредников губернатором из числа дворян-помещиков принципом выбора мировых посредников, выбора от всего народа данной местности, без различия сословий и без учета имущественного ценза («Лицо, служащее мировому институту, должно быть живым словом земства»). Этот проект в духе призывов к слиянию сословий дворянских либералов Тверской губернии, естественно, не мог получить в условиях тогдашней России практического применения.

Стр. 235. «Звон вечеревого колокола раздался – и дрогнули сердца новгородцев!» – начальные слова повести Н. М. Карамзина «Марфа-посадница, или Покорение Новгорода» (1803), несколько неточно цитируемые. В подлиннике: «Раздался звук вечеревого колокола, и вздрогнули сердца в Новгороде».

Стр. 237. «Наше время», № 3 за 1863 год – статья «Вести с южных полей».

«Голос» 1863 г., № 3 – передовая статья этого номера.

Стр. 238. «Стой, солнце, не двигйся!..» – слова из Библии: Книга Иисуса Навина, X, 12–13.

Стр. 239. Второй пример рассказан в 3 № «Голоса» за сей год – в статье за подписью «Сердобский обыватель», озаглавленной «За и против. К вопросу об антагонизме между помещиками и посредниками».

Стр. 240. Законы святы, /Да исполнители лихие супостаты... – не совсем точно приводимые слова Доброва из комедии В. В. Капниста «Ябеда» (действ. I, явл. 1): «Ах, добрый господин! ей, ей! Законы святы, /Но исполнители лихие супостаты».

Стр. 241. Procès de tendance – «Процесс о намерении»; процесс, возбуждаемый против писателя не за высказанное им, а за приписываемые ему намерения.

Стр. 243...правила, о которых мы говорим, суть правила временные, допущенные в виде опыта на три года. – Эти «временные» правила практически без изменений стали затем постоянными. См. в полном собр. законов Российской империи специальный раздел, посвященный институту мировых посредников (Собр. второе, отд. 1, т. XXXVI, СПб. 1861, стр. 202–213). В мировые посредники избирались потомственные дворяне, «владеющие удобной землей... в количестве не менее пяти сот десятин». См. в наст. томе прим. к ст. «Об ответственности мировых посредников», стр. 552–553.

Стр. 244...уместно было бы нам коснуться вопроса о цензе, которым в прошлом году так усердно занималась наша журналистика, но об этом мы предпочитаем поговорить особо... – Статья Салтыкова по вопросу о цензе неизвестна. Спор по этому вопросу возник в 1862 г. на страницах славянофильской газеты «День». Ее редактор И. С. Аксаков выступил в передовой статье № 11 против имущественного ценза, дающего право участвовать в деятельности тех или иных общественных учреждений, доказывая, что сама идея ценза есть западная идея, чуждая для России и неприменимая в ней. Ему возражал в № 18 «Дня» А. И. Кошелев, выступавший в защиту ценза как средства «опознания» людей, наиболее пригодных для «заведования общими делами». В своем ответе А. И. Кошелеву, помещенном в № 19 «Дня», И. С. Аксаков утверждал, что ценз не есть «мерило доброкачества и способности человека». Эта полемика вызвала ряд откликов и за пределами славянофильской печати. В защиту высокого имущественного ценза выступил, например, М. Н. Катков в № 236 «Московских ведомостей» от 30 октября 1862 г.

Стр. 244–245...в этих обвинениях столько же смысла, как и в тех, которые возникли летом 1862 года по поводу происходивших в Петербурге пожаров... – При прямом поощрении и участии правительства широкое распространение в обществе и в печати получила версия о причастности к огромным пожарам, происшедшим в Петербурге в мае 1862 г., революционеров и студентов, находящихся под влиянием революционно-демократической литературы, в первую очередь «Современника».

Стр. 245. По поводу этих пожаров образовалась у нас... целая обвинительная

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru литература, о которой мы в скором времени надеемся представить читателям «Современника» подробную статью. – Поскольку примечание это дано от имени редакции «Современника», неясно, имеет ли оно в виду, в качестве автора задуманной статьи, Салтыкова или какого-либо другого литератора. Так или иначе, специальной статьи на эту тему в «Современнике» не появилось. Но ей посвящены два абзаца в статье Салтыкова «Несколько полемических предположений» в «Современнике», 1863, № 3 (см. в наст. томе стр. 271–272), и ряд мест в его «хрониках» «Наша общественная жизнь» (см. в т. 6 наст. изд.).

Стр. 246–247...отсылаем желающих... к статье г. Громеки, напечатанной в ноябрьской книжке «Отечественных записок» за 1862 год. – Имеется в виду статья «Современная хроника России» в названной книжке «Отечественных записок». Статья не подписана, но автором ее действительно является С. С. Громека.

Стр. 247...для чего он взял на себя роль адвоката, которой ему никто не поручал, об которой его никто не просил? – В конце своей «хроники» – «грустном финале» ее, по определению Салтыкова, – Громека, бывший жандармский офицер, а затем обличительный литератор, выступил с защитой политики воздержания от публичной полемики с оппозиционными и преследуемыми течениями общественной мысли. Громека писал: «Честная и сколько-нибудь уважающая себя литература не может сражаться с мнениями, которые подвергаются преследованиям и запрещаются цензурой; разум не может подавать руки насилию. К тому же на Руси исстари ведется добрый обычай, по которому лежачего не бьют. Если б литература позволила себе нарушить этот обычай, она бы унизила себя в общественном мнении, лишилась бы всякого влияния на публику и только возвысила бы преследуемое мнение на степень мученичества... Когда преследуется целое литературное направление, тогда все прочие направления, бывшие с ним в споре, становятся в унижительное положение невольных доносчиков». В этой тираде Громека имел, несомненно, в виду правительственное закрытие на восемь месяцев «Современника» и «Русского слова», последовавшее 19 июня 1862 г. Демократический лагерь не хотел и не мог принять «адвокатских» услуг от Громеки, имея в виду его двойственную политическую биографию, в частности его выступление в 1862 г. против Герцена.

Стр. 248. «Худой пример подаете вы, господа...» – В «Мировом посреднике» это начало цитируемой фразы имеет продолжение: «Худой пример подаете вы, господа, меньшей братии...», и дальше, как в тексте.

ДРАМАТУРГИ–ПАРАЗИТЫ ВО ФРАНЦИИ

Впервые – в журнале «Современник», 1863, № 1–2, отд. II, стр. 63–80 (ценз. разр. – 5 февраля). Без подписи.

Принадлежность статьи Салтыкову установлена В. Е. Евгеньевым-Максимовым на основании документов конторы «Современника» (см. В. Е. Евгеньев-Максимов. В тисках реакции, М. –Л. 1926, стр. 133, см. также «Литературное наследство», т. 13–14, стр. 64, т. 53–54, стр. 258). Рукопись не сохранилась. Печатается по тексту журнала.

Внешним образом статья посвящена критике драматургов-апологетов Второй империи во Франции и вместе с тем обличению буржуазного общества, породившего насильственный режим Наполеона III. По существу, однако, Салтыков ни на минуту не упускает из виду политическую и общественную реакцию, восторжествовавшую в России в 1862–1863 гг. после краха революционной ситуации.

Слова «Франция, в этом случае, может служить живым и поучительным примером» и намекают на то, что во всей статье проводится эзоповская аналогия между бонапартистской Францией и реакцией в России.

Развернутое определение понятий «паразиты», «паразитство» Салтыков дал в «Признаках времени», в частности в очерке «Сила событий». «Паразитство», как общественное явление, писатель связывает с торжеством реакции и с ложным патриотизмом, являющимся прикрытием для беззастенчивой эксплуатации масс и всевозможных форм ограбления отечества. В области идеологии «паразитство» приводит к вытеснению подлинного искусства «зрелищами, возбуждающими чувственность, литературой, проповедующей низменность и пошлость, искусством, чуждающимся мысли и преследующим ее презрением и насмешкою» (см. т. 7 наст. изд.).

Публицистическое определение «паразиты» в комментируемой статье является

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru ступенью в процессе создания обобщенных художественных образов «хищников» и «пенкоснимателей», в позднейших произведениях Салтыкова («Господа ташкентцы», «Дневник провинциала в Петербурге» и др.).

Статья содержит в себе три плана: историко-философский, актуально-политический и литературный.

В историко-философской публицистике и полемике 60-х годов нередко проводилась аналогия между положением Западной Европы после 1848 г. и состоянием Римской империи накануне ее падения. Ими пользовались Джон Стюарт Милль, Герцен (например, в книге «С того берега», в статье «Русский народ и социализм»). Аналогия эта нередко распространялась и на Россию. Чернышевский решительно и убедительно отверг ее в статье «О причинах падения Рима» («Современник», 1861, № 5). В конкретных условиях 60-х годов историко-философский спор о судьбах западноевропейской культуры и образованности содержал в себе политический подтекст: славянофилы прямо утверждали, что демократия и социализм не могут спасти Европу от гибели, что демократия и социализм – форма ее предсмертной болезни и по этому одному уже неприемлемы для России. Чернышевский же доказывал, что пробуждение масс, победа демократии и социализма гарантируют европейскую и русскую культуру от гибели и вырождения.

В целом Салтыков примкнул в этом споре к Чернышевскому. И он считал, что приравнение социального кризиса современной ему Европы к разрушению Римской империи варварами есть не более как «близорукий парадокс». Однако, отвергая представление о цикличности исторического развития, по аналогии с зарождением, восхождением и крушением античного мира, Салтыков подчеркивал, ссылаясь на опыт и Франции и России, что подавление революционных сил и разгул реакции приводят к разложению общества и к упадку культуры и что в этом смысле выражения «владычество варварства» и «падение общества» становятся уж совсем не столь фальшивыми... и если несправедливо употреблять их в абсолютном значении, «то весьма и весьма позволительно применять к данному моменту общественного развития». Это уточнение было тем более необходимо, что Салтыков сам в «Глуповском распутстве» сравнивал крепостническую Россию с деградирующим Римом. По рукописным и корректурным материалам «Глуповского распутства» видно, как тщательно работал Салтыков, чтобы придать аналогии истории Глупова с историей Рима ограниченный конкретно-исторический (и сатирический) характер.

Славянофилы и «почвенники» использовали аналогию между гибнущим будто бы Западом и гибнущим Римом в узконационалистических целях. Противопоставляя «гниющему» Западу «патриархальную» Россию, они отрицали самую идею «человечества». Белинский писал: «Можно не любить и родного брата, если он дурной человек, но нельзя не любить отечества, какое бы оно ни было; только надобно, чтобы эта любовь была не мертвым довольством тем, что есть, но живым желанием усовершенствования; словом, любовь к отечеству должна быть вместе и любовью к человечеству». [242] Полемизуя с Белинским, Ап. Григорьев писал, что «в лице теоретиков <то есть в лице Белинского и его наследников Чернышевского, Добролюбова и их сторонников. – В. К.> мы... отрицаем от идеи национальности в пользу общей идеи, которая на языке благопристойном зовется человечеством, а на циническом, хотя в этом случае очень метком языке *рèре Duchesne*’я новейших времен – «человечиной» [243] «*Rère Duchesne* новейших времен» – Бурачек, крайний реакционер, издатель журнала «Маяк»». Несколько позднее Н. Я. Данилевский, бывший фурьерист и петрашевец, а затем «почвенник» и славянофил, писал в своей известной работе «Россия и Европа»: «Понятие об общечеловеческом... не имеет в себе ничего реального и действительного» <первоначально – в 1869 г. в журнале «Заря». Цитирую по третьему изданию, СПб. 1888, стр. 128>. Вот это-то противопоставление нации интернациональному понятию человечества и имел в виду Салтыков, когда писал, что идея «человечества едва-едва начинает проникать только в историю человечества...». Сам Салтыков вполне солидаризовался с Белинским. И для него любовь к родному народу и к родной стране была силой не разделяющей, а соединяющей народы, стремящиеся к «общему благу». «Идея, согревающая патриотизм, – писал Салтыков, – это идея общего блага... Воспитательное значение патриотизма громадно: это школа, в которой человек развивается к восприятию идеи о человечестве» (наст. изд., т. 7).

Поражение общественного движения 60-х годов вызвало в некоторых кругах русской общественности разочарование в политике. К тому же многие течения в утопическом социализме, и в Европе и в России, относились отрицательно к политической борьбе. После 1862 г. такие настроения стали оказывать влияние на Писарева, что

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru в скором времени сказалося в его статьях (например, в «Реалистах»). Вопрос о социализме и политической борьбе стал одной из самых главных проблем русского революционного движения 60-х и 70-х годов. Отвергали политическую борьбу Бакунин и Лавров. По вопросу об отношении к политической борьбе вторая «Земля и воля» раскололась на «Черный передел» и «Народную волю». Марксистское решение проблемы, применительно к русским спорам, впервые дано было Плехановым в брошюре, которая так и называлась «Социализм и политическая борьба» (1883).

Салтыков сразу же понял огромное, можно сказать, решающее, значение проблемы, от правильного решения которой зависели судьбы революции в России. Он проявил в обстановке начавшегося разброда и растерянности величайшую твердость и теоретическую зрелость, требуя сохранения линии заточенного Чернышевского, доказывая необходимость политической борьбы для свержения самодержавия и необходимость политической свободы, как предварительного условия для борьбы за социализм: «Ужели в самом деле время политических интересов миновало? – восклицал он... – Нет, это только самообольщение; нет, это сон... забывается одно весьма важное условие, а именно, что разработка политических интересов приготавливает почву для тех «других» <то есть социалистических. – В. К.>, о которых так много заботятся. Здесь, очевидно, забывается то, что, отклоняя политические интересы, мы вместе с тем отдаляем и «другие».

Салтыков пропагандировал необходимость единства всех сил, враждебных самодержавию, для общего натиска против него, для того, «чтобы поразить общего врага».

Предположительное рассуждение об отношении Австрии к Венеции содержит в себе эзоповское изложение взглядов Салтыкова на отношение царизма к угнетенной Польше. В январе началось польское восстание 1863 г. Салтыков воспользовался иносказанием для того, чтобы выразить свое сочувствие польскому делу.

Статья «Драматурги-паразиты во Франции» содержит в себе первое выступление в поддержку восставших поляков в русской легальной печати. В майской хронике «Наша общественная жизнь» (т. 6) Салтыков со страстным негодованием отмечает, что говорить по польскому вопросу могут только катковские органы, «Русский вестник» и «Московские ведомости», и что на уста всех инакомыслящих наложена печать насильственного молчания. И все же Салтыков в комментируемой статье и в ряде мест хроники «Наша общественная жизнь» сумел выразить свое сочувственное отношение к польскому вопросу и польскому восстанию, совпадавшее с позицией Герцена (см. также в наст. томе на стр. 387–390 не пропущенную цензурой рецензию на пасквильную брошюру П. И. Мельникова «О русской правде и польской кривде»).

Таким образом, статья «Драматурги-паразиты во Франции» вышла далеко за пределы критического обзора двух пьес «Les Ganaches» Викторьена Сарду и «Le fils de Giboyer» Ожье и приобрела значение программного выступления, разъясняющего политическую, социальную и культурную позицию возобновленного «Современника». Однако и в оценке смысла и формы пошлой и развлекательной буржуазной драматургии Салтыков точен, лаконичен и прав. В этом отношении он не был одиноким. Его предшественником является Герцен, давший отрицательный отзыв о вырождающейся буржуазной драме в «Письмах из Франции и Италии». Одновременно с Салтыковым Достоевский в «Зимних заметках о летних впечатлениях» («Время», 1863, февраль и март), исходя из своих собственных предпосылок, также подверг убийственному разбору пьесы тех же Сарду и Ожье, добавив еще к ним пьесы Понсара и Деланда.

Стр. 250. Пускай нам доказывают, пускай убеждают нас, что человечество не может останавливаться в своем развитии... – Полемическое начало статьи имеет в виду, по-видимому, Гизо и его «Историю цивилизации Франции от падения Западной Римской империи» или, точнее говоря, то изложение его взглядов на положительную роль отрицательных моментов исторического развития, которое дал Чернышевский в статье «О причинах падения Рима».

...все идет к лучшему в лучшем из миров! – В главе 1-й романа Вольтера «Кандид, или Оптимизм», доктор Панглосс утверждал, что все целесообразно «в лучшем из важнейших миров» и что «все к лучшему».

Стр. 253...высказываться ясно может только один паразитский, сыто-ликующий унисон. – Применительно к русской печати это, в первую очередь, «унисон» «Московских ведомостей» Каткова и «Нашего времени» Павлова; применительно к французской прессе – «унисон» официальных и официозных бонапартистских изданий, в первую

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
очередь: «Le Constitutionnel», «Le Pays (Journal de l'Empire)».

...«позволительно думать», да «смеем надеяться»... – намек на М. Н. Каткова, часто употреблявшего эти обороты в своих статьях, печатавшихся в «Московских ведомостях», а за одно и на всю трусливую и раболепную либеральную и консервативно-либеральную русскую публицистику.

Тогда наступает третий период развития мысли... – Для сравнения напомним, что Огюст Конт, философ, весьма популярный в России 60-х годов, делил историю человеческой мысли на три фазиса – теологический, метафизический и позитивный. Отсутствие характеристики «третьего периода» самим Салтыковым объясняется либо цензурным вмешательством, либо умолчанием, мотивируемым оглядкой на цензуру. Судя по контексту рассуждений Салтыкова, «третий период» – период развития мысли в условиях полной свободы и от гнета грубой силы, и от «внутреннего» рабства.

...Франция, которая всегда казалась каким-то недостижимым идеалом всякого рода порываний и благородств... – Салтыков напоминает здесь о громадном освободительном воздействии, которое оказывали на него и на его поколение французские революции, французские утопические социалисты и передовая французская литература (ср. «За рубежом», гл. IV, т. 14 наст. изд.).

Нравственное и умственное каплунство. – Термин «каплунство» восходит к неопубликованной при жизни статье Салтыкова «Каплуны» (1861–1862 гг. См. т. 4 наст. изд.).

Стр. 254. Вертяев – герой комедии Ф. Н. Устрялова «Слово и дело». Образ Вертяева, его идеология, его общественная позиция подробно разобраны Салтыковым в статье «Петербургские театры» (1) (наст. том., стр. 163–172).

Стр. 255. Вероны, Ла-Герроньеры, Лимейраки и Грангилье – имена французских журналистов Верона, Ла-Герроньера, Лимейрака и Грангилье употребляются как нарицательные. Для русских читателей они ассоциировались с именами М. Н. Каткова, редактора «Московских ведомостей», А. Краевского, редактора-издателя газеты «Голос» и др. Как и их французские собратья, Катков и Краевский меняли «вехи» в зависимости от политической погоды; как и у французских издателей, газеты их субсидировались правительством. Особенно охотно Салтыков ассоциировал имя «вдохновенного свыше» «протоя» Грангилье с именем «протоя» Каткова.

«Увенчать здание». – Либералы надеялись, что реформы 60-х годов приведут к «увенчанию здания» самодержавной государственности какой-нибудь умеренной конституцией – и «переходный период», грозящий постоянными революционными взрывами, сменится покойным «органическим» периодом постепенного буржуазного развития.

Стр. 259. Недавно нам случилось прочесть в одной русской газете следующую оценку деятельности политических изгнанников. – Политические изгнанники, о которых в цитате идет речь, это, в первую очередь, Герцен и Огарев. До 1862 г. имена обоих запрещены были к публичному упоминанию. С 1862 г. правительство разрешило реакционной и либеральной печати критиковать Герцена и Огарева поименом. Первой в легальной печати напала на Герцена, назвав его имя, катковская «Современная летопись», 18 апреля 1862 г. Салтыков в комментируемом тексте полемически цитирует статью «Г-н Герцен и г. Огарев (Русская литература за границей)» из «Нашего времени», № 8, от 10 января 1863 г. Статья редакционная, без подписи; редактором-издателем «Нашего времени» был Н. Ф. Павлов (источник цитаты установила С. Д. Гурвич). Салтыков взял под защиту Герцена и Огарева и в энергичных выражениях заклеил публицистов-паразитов, послушно воспринявших сигнал к публичной травле «лондонских» изгнанников. Вместе с тем для 60-х годов Салтыков считал уже нецелесообразным, без крайних оснований, политическую эмиграцию за границу; он полагал, что изменившиеся условия создают возможность для трудной, опасной, но все же успешной освободительной борьбы в самой России.

Стр. 260–261...понятия о преступности действия, о злобедности или благотворности участия страсти в человеческих действиях... – Намеки на учения утопического социализма. Все школы утопического социализма смотрели на преступление как на следствие неправильного устройства общества и учили, что для устранения преступлений нужно прежде всего коренным образом реорганизовать основы общественного бытия. Теория благотворности правильно направленных страстей принадлежит Фурье.

Стр. 261...вопросы, возникающие из этой сферы... запутывались ежеминутно всплывающими наверх мелочами жизни. – Сопоставление «вечных вопросов» с «мелочами жизни» имеет у Салтыкова и философское и художественно-методологическое значения. Понятие «мелочей жизни» восходит к Гоголю. Впоследствии Салтыков написал цикл «Мелочи жизни». Подробнее см. в книге В. Кирпотина «Философские и эстетические взгляды Салтыкова-Щедрина», М. 1957, глава «Мелочи жизни».

...ухитрились – таки внести паразитство и в сферу искусства. Оно явилось туда... в виде безусловного дифирамба грубой силе... – В статьях «Московские письма» и «Петербургские театры» (1) Салтыков приводит некоторые примеры «паразитства» в современной ему русской драматургии.

Стр. 262...они уже даются в Петербурге на Михайловском театре. – Премьера комедии Ожье «Le fils de Giboyer» состоялась в Петербурге, в Михайловском театре, 12 января 1863 г. Комедия «Les Ganaches» была представлена в первый раз в том же театре 19 января. В Михайловском театре играла французская труппа.

...публика бегала некогда смотреть на Фредерика Леметра в «Chifonier de Paris». – «Chifonier de Paris» («Парижский ветошник») – пьеса Феликса Пиа, участника революции 1848 г., впоследствии члена совета Парижской коммуны. Главную роль исполнял актер Фредерик Леметр. Спектакль пользовался огромным успехом. Анализ пьесы и игры Леметра дан Герценом в «Письмах из Франции и Италии», письмо третье (А. И. Герцен, Собр. соч. в тридцати томах, т. V, изд. АН СССР, М. 1955, стр. 42).

...публика... не знала, как превознести г-жу Рашель, когда она произносила знаменитую Марсельезу. – Описание исполнения «Марсельезы» Рашелью оставил Герцен: «Помните «Марсельезу» Рашели... Ее песнь испугала, толпа вышла задавленная. Помните?... Это был погребальный звон среди ликований брака; это был упрек, грозное предвещание, стон отчаяния среди надежды. «Марсельеза» Рашели звала на пир крови, мести...» (А. И. Герцен, Собр. соч. в тридцати томах, т. VI, изд. АН СССР, М. 1955, стр. 40).

Гистрион – шут, лицедей.

Стр. 263. Все партии... должны подать друг другу руку... – См. письмо к Н. Г. Чернышевскому от 29 апреля 1862 г. и программу журнала «Русская правда», в которой Салтыков писал: «...впоследствии времени мы сочтемся относительно основных принципов, но в настоящее время направим все усилия к тому, чтобы разработать почву и подготовить среду таким образом, чтоб в ней можно было свободно и без оговорок заявлять о дорогих нам принципах».

Стр. 264. Мы не сомневаемся, говорит Прево-Парадоль... – Цитата взята из статьи Прево-Парадоля «Le fils de Giboyer, par M. Emile Augier в «Revue de deux mondes», 1863, I, pp. 182–183.

НЕСКОЛЬКО ПОЛЕМИЧЕСКИХ ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ

Впервые – в журнале «Современник», 1863, № 3, отд. II, стр. 1–10 (ценз. разр. – 15 марта и 4 февраля 1863 г.). Без подписи. Авторство указано А. Н. Пыпиным («М. Е. Салтыков», стр. 236) и подтверждено публикацией документов конторы «Современника» («Литературное наследство», т. 13–14, стр. 64, и т. 53–54, стр. 259). Рукопись неизвестна, но сохранились гранки набора (ИРЛИ). Печатается по тексту журнала с восстановлением по гранкам, вслед за В. В. Гиппиусом (см. в т. 5 изд. 1933–1941 гг., стр. 439), первоначальных сатирических псевдонимов «Русского листка»: «Смрадный листок» и «Пакостный листок» (в журнальном тексте, несомненно, вынужденное смягчение: «Убогий листок» и «Плохой листок»). Кроме того, по гранкам же восстанавливается первоначальное определение антинигилистических статей реакционной печати, как статей «гносно-нелепого свойства» (в журнальном тексте: «нелепого свойства»).

Псевдоним «Юхманов» был введен в журнальный текст вместо подлинной фамилии Юматова, как было в гранках, и все соответственное место переработано. Значительно были сокращены для печати насмешки, разоблачающие единый по своей сути фронт реакционной и либеральной литературы. Вместо слов: «Но знаю... это решительно одно и то же» (стр. 270) было: «Но знаю наверное, что В. И. Аскоченский думает о нем, что он его крестный сын, Н. Ф. Павлов – что он его

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru племянник, г-жа Анна Дараган, что он ее кузен, а г. Громека – что он ему, во всяком случае, седьмая вода на киселе. Но знаю наверное, что публика, с своей стороны, убеждена, что Юматов есть псевдоним Аскаченского, Аскаченский – псевдоним Н. Ф. Павлова, Н. Ф. Павлов – псевдоним Анны Дараган, а Анна Дараган – псевдоним Громеки. Я, с своей стороны, если б только имел счастье состоять хоть чем-нибудь в редакции «Современника», то вполне доверился разуму и пронизательности публики и, не желая, чтобы имя г. Юматова пользовалось известностью, стал бы называть его то Аскаченским, то Павловым, то Громекою, то Анною Дараган».

Статья направлена против реакционной газеты «Русский листок», против призывов к литературным доносам, к травле «нигилистов». В то же время в ней настойчиво подчеркивается мысль о единстве, по существу, либеральной и реакционной журналистики, при внешнем различии этих направлений Салтыков стремится «уловить сродство, существующее между визгами, по-видимому, противоположными». Еще отчетливее эта мысль выражена в приведенном выше варианте корректурного текста.

Важную роль в статье играют иронические замечания, адресованные почвенническому журналу «Время». Полемика «Современника» с «Временем» как раз в начале 1863 г. была в полном разгаре. В № 1 «Времени» опубликована редакционная «Журнальная заметка о новых литературных органах и о новых теориях». В ней осуждалась революционно-демократическая журналистика. Одновременно редакция «Времени» критиковала реакционную периодическую печать, издания Каткова, резко отзывалась о «Русском листке», довольно подробно говоря о нем. Салтыков решительно отвергает претензии «Времени» на какую-то особую позицию, будто бы отличающуюся от взглядов и «нигилистов» и реакционеров. Он с иронией говорит о разнице между «Русским листком» и «Временем», требуя от сотрудников первого «сравняться в либерализме, по крайней мере, с М. М. Достоевским», в течение одного месяца «вырасти в меру г. Косицы». Аналогичные мысли о близости «Времени» реакционной журналистике см. в мартовской хронике «Нашей общественной жизни» (т. 6 наст. изд.), опубликованной в том же номере, что и «Несколько полемических предположений».

Статья обратила на себя внимание цензора О. Пржецлавского, отметившего, что она «отличается крайне резкими и неприличными выходками против некоторых журналов, именно тех, которые заявили направление реакционное». [244]

Стр. 265. Прочитайте... «Письма об Осташкове». – «Письма об Осташкове» В. А. Слепцова как раз в то время печатались в «Современнике» (1862, № 5, 1863, №№ 1–2, 4, 6).

Стр. 266... он начал писать письма к каким-то прежде бывшим подругам, с которыми он был дружен в то время, когда они еще были институтками... – По-видимому, здесь идет речь о статьях Каткова 1862 г., направленных против Герцена и Огарева (Салтыков пишет в 1863 г. «...в прошлом году»). Это были доносительские выступления на манер писаний Булгарина и дурно-обличительных статей П. И. Мельникова о расколе.

Нынешний год принес... много новых газет, да и старые-то газеты почти все до одной переменили хозяев. – С 1863 г. начали выходить газеты «Голос», «Иллюстрированная газета», «Мирское слово», «Очерки», «Воскресный досуг» и др. В то же время «Московские ведомости» перешли в руки М. Н. Каткова и П. М. Леонтьева, в редакцию «Русского листка» вошли В. Д. Скарятин и Н. Н. Юматов, редактором «С.-Петербургских ведомостей» стал В. Ф. Корш, изменилась редакция «Русского инвалида».

М. М. Достоевский... возомнил, что может быть самостоятельным и иметь право на знакомство с министрами. – В № 9 журнала «Время» (1862), издававшегося М. М. Достоевским при фактическом редакторстве Ф. М. Достоевского, было опубликовано редакционное объявление об издании журнала на будущий год. В нем, наряду с критикой реакционной журналистики, содержались резкие выпады в адрес революционных демократов. Эти выпады положили начало длительной полемике между изданиями Достоевского и «Современником». Они были истолкованы Салтыковым как стремление редакции «Времени» выслужиться перед властями, затушевываемое уверениями о своей независимости и самостоятельности. Аналогичное истолкование высказываний «Времени» см. в январской хронике «Нашей общественной жизни»: «Время» свистит и в то же время говорит: «Из чести лишь одной я в доме сем свищу!» (т. 6 наст. изд.).

Стр. 267... избиеение некоторых мировых посредников, идущее рядом с заявлениями о развитии в россиянах чувств законности и гражданственности. – По-видимому, имеется в виду передовая в № 1 газеты «Голос» за 1863 г., где говорилось про «ужасающий случай зверства против одного из порховских мировых посредников» и одновременно расписывалось расширение общественной инициативы, «законности общественного мнения», доказывалось, что против произвола «поставлены: закон и сила общественного мнения». Ср. в наст. томе статью «Несчастье в Порхове» и прим. к ней.

... в другом подобном же издании доказывается, якобы помещики очень довольны упразднением крепостного права. – См., например, передовую № 2 «Русского листка» за 1863 г., в которой говорилось об адресе дворян Орловской губернии, благодаривших царя за реформы: «Орловское дворянство благодарит государя за реформы... а в числе этих реформ главнейшее место занимает отмена крепостного права!»

Есть, например, в Петербурге газетка, которая... предупреждает, что она не остановится даже и перед доносом. – Имеется в виду газета «Русский листок». С начала 1863 г. руководящую роль в ней стали играть реакционные публицисты дворянского лагеря В. Д. Скарятин и Н. Н. Юматов (с 32 номера газета получила название «Весть»). Позицию своей группы они определяли словами «охранительные либералы». В № 4 была помещена статья «Печатные доносы», которую и имеет непосредственно в виду Салтыков. В ней, между прочим, заявлялось по адресу демократической журналистики: «Мы не пойдем доносить на вас в полицию, но всякий раз (знайте это!), когда вы станете проводить идею, которую мы считаем нелепой, ждите печатного отпора! Ждите стойкого отпора во всяком случае, даже если мы будем знать, наверное и заранее, что вследствие наших слов журнал ваш будет запрещен...» Аналогичные заявления см. в статьях «Трескучие ракеты в демократическом лагере» (№ 8) и «Правительство и оппозиция» (№ 11).

Стр. 268... от радости у ней стеснитса в зобу дыхание – неточная цитата из басни Крылова «Ворона и Лисица».

... скончалась, подобно «Атенею»... – «Атений» – журнал либерального направления, выходивший в Москве в 1858–1859 гг. Не пользовался успехом, неоднократно высмеивался другими изданиями и перестал выходить в начале 1859 г.

... «Смрадный листок» начинает доказывать... что истинно храбрый человек не должен уклоняться от доноса... – Утверждения о том, что доносительные статьи должны рассматриваться как своего рода выражение гражданской доблести, неоднократно встречались в «Русском листке». Так, например, в статье «Правительство и оппозиция» (в № 11 за 1863 г.) пропагандировалась «возвышенная доблесть гражданина», решающегося на донос. Редакция прямо заявляла: «Да, мы сделали донос...» – и обещала в дальнейшем продолжать «доносить перед общественным мнением» (стр. 195).

Стр. 270...скромным автором полногрудой Лурлеи. – Известный мракобес В. И. Асоченский, издатель журнала «Домашняя беседа», проповедник ханжеской морали и аскетизма; в молодости сочинял стихи, иногда эротические. Они были изданы в Киеве в 1846 г. Среди них было стихотворение «Лурлеин утес» (подражание «Лорелее» Гейне), в котором имелись такие строки: «В сладострастье тайно млея, /Слаще девственных сирен /Полногрудая Лурлея /Пела песенку свою». Об этом стихотворении вспомнила «Искра», и «Лурлея» стала предметом постоянных насмешек над Асоченским (см., например, В. Курочкина «Печальный рыцарь тьмы кромешной», «Легенды о куклеване»).

...в меру г. Косицы. – Косица – псевдоним Н. Н. Страхова, одного из ведущих сотрудников «Времени».

Экспиация – искупление (франц. expiation).

Стр. 271...летние походы некоторых органов русской литературы против нигилистов... – Подразумеваются обвинения «нигилистов» в поджогах (в связи с происходившими в Петербурге пожарами), высказанные летом 1862 г. в ряде реакционных изданий («Наше время», № 122, «Современная летопись», № 23, и др.).

...руководящие занятия г. Асоченского... – Видимо, его статьи в «Домашней беседе».

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

...некоторые каникулярные упражнения «Русского вестника». – Вероятно, имеются в виду статьи, опубликованные летом 1862 г. и направленные против «нигилистов» (например, «О нашем нигилизме...», № 7).

ФЕЛЬЕТОНЫ И ЮМОРЕСКИ ИЗ «СВИСТКА» 1863 г
Двадцать восьмого апреля 1863 г. вышел в свет девятый, и последний, номер «Свистка» («Свисток. Собрание литературных, журнальных и других заметок») – нерегулярного сатирического приложения к «Современнику» (№ 4, ценз. разр. – 20 апреля). «Свисток» был создан в 1859 г. Добролюбовым по идее Некрасова.

Главное участие в девятом номере принял Салтыков, ранее в «Свистке» не сотрудничавший. Ему принадлежат статьи, стихотворения и заметки – напечатанные без подписи и под псевдонимом «Михаил Змиев-Младенцев», – занимающие почти треть всего выпуска. Рукописные источники материала Салтыкова в «Свистке» неизвестны. Авторство Салтыкова установлено на основании его переписки с Ип. А. Панаевым (В. Евгеньев-Максимов. Новые материалы о сотрудничестве М. Е. Салтыкова-Щедрина в «Современнике». – «Литературное наследство», т. 13–14, стр. 61, 70). Из письма Салтыкова от 26 апреля 1863 г. следует, в частности, что ему в «Неблаговоном анекдоте о г. Юркевиче» принадлежит лишь первые шесть страниц (журнального текста), остальные же восемь – М. А. Антоновичу. Длительное время эта статья ошибочно приписывалась Салтыкову полностью (А. Н. Пыпин. М. Е. Салтыков-Щедрин, стр. 236).

ЦЕНЗОР ВПОПЫХАХ

Эта юмореска – одно из выступлений Салтыкова, направленных на дискредитацию царской цензуры и цензоров в их борьбе с революционно-демократической литературой и публицистикой. Непосредственным поводом для выступления явилась, по-видимому, реформа политического контроля власти над печатью, предпринятая в связи с общим реакционным курсом правительства, а также с польскими событиями. С января 1863 г. цензура из подчинения министерству народного просвещения перешла в ведение министерства внутренних дел. Тем самым она стала, по отзыву современника, «не чем иным, как полицией в области мысли и знания» («Отечественные записки», 1863, № 2, стр. 67).

Стр. 276...на гамбсовском мягком патé... – Гамбс – старинный мастер мебели; патé – род кушетки.

...посредством «Ключа к таинствам природы» – теософски-алхимическое сочинение Карла Эккартсгаузена, пользовавшееся большой известностью в России (первое издание на русском языке – в 1804 г.).

Стр. 277...в древности, Тиверий (см. драму г. Костомарова «Кремуций Корд») всегда выражался, по-видимому, весьма благонадежно, но впоследствии всегда же оказывалось, что он принадлежал к тайной секте «свистунов». – Критика сразу же обнаружила сходство ситуаций в драме Н. И. Костомарова с жизненными коллизиями недавнего времени и прежде всего с процессом Чернышевского и другими сходными с этим процессом правительственными «мерами» (см., например, «Наше время», 1862, 13 октября, № 220, стр. 3–4). Сам же Костомаров позднее сообщил, что «Кремуций Корд» написан был им еще в 1849 г., то есть в пору саратовской ссылки («Автобиография Н. И. Костомарова», М. 1922, стр. 357). Сближая исторические события, рассказанные в драме, с современностью, Салтыков распространяет это сближение и на одного из главных героев пьесы императора Тиверия, убийцы ни в чем не повинного, мужественного историка Кремуция Корда. Тиверий употребляет самые недостойные (под видом весьма благопотребных) средства для расправы с трезво, критически мыслящими людьми. Здесь несомненна салтыковская ирония по поводу принадлежности Тиверия «к тайной секте «свистунов». Не указывая инициалов автора драмы, Салтыков давал возможность современникам правильно воспринять язвительный намек и на Вс. Костомарова, позорно известного своими доносами на Чернышевского.

Стр. 279...лекции г. Юркевича о самодеятельности души... – см. прим. к «Неблаговоному анекдоту о г. Юркевиче».

МОСКОВСКИЕ ПЕСНИ ОБ ИСКУШЕНИЯХ И НЕВИННОСТИ

Цикл сатирических «песен» Салтыкова посвящен обличению политики самодержавия в области печати и самой печати, шедшей на сделку с правительством и реакцией за определенные материальные выгоды. Конкретными адресатами «песен» были в первую

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru очередь «Московские ведомости» М. Н. Каткова и особенно газета «Наше время» Н. Ф. Павлова. Газета эта выходила еженедельно, что и позволило Салтыкову вести речь о «журнале» («Я принесу свой журнал...»). В 1862 г. «Новое время» не только увеличило свой формат, но и круто переменяло направление с умеренно либерального на охранительное, что было непосредственно связано с получением Павловым правительственных субсидий.

Для понимания сатирического смысла и отдельных намеков «Московских песен...» имеют значение следующие записи в «Дневнике» министра внутренних дел П. А. Валуева, относящиеся к переговорам и «торговле» Павлова с правительством о субсидиях:

1861 год. 5 октября. «Моя мысль о приобретении органа прессы для правительства, по-видимому, осуществляется. На днях имел переговоры с Павловым. Его газета «Наше время» может сделаться «une feuille inspirée». [245] 20 октября. «Государь утвердил мои предположения о преобразовании журнала министерства и о сделке с Павловым насчет его газеты». 25 октября. «...был у меня Павлов, который начинает торговаться...» 1862 год. 7 апреля. «Утром был у меня Павлов из Москвы с новою просьбою о деньгах. Он уверяет, что без значительного пособия не может продолжать издание газеты «Наше время», и ставит меня этим в неприятное и затруднительное положение, ибо по моему ходатайству ему уже ссужено до 26 тыс. руб.» («Дневник П. А. Валуева», в двух томах, т. I, изд. АН СССР, М. 1961, стр. 117–118, 122, 123).

Строки из «Элегии»: «Я с бюрократами пил!..», «Ядом французских речей...», «Подарил мне генерал!..» – явно метят в видное сановное лицо, по-видимому, в самого Валуева.

Непосредственно перекликается с салтыковским стихотворением статья Герцена в № 170 «Колокола» от 1 сентября 1863 г. «В этапе»: «...Головнин и Валуев учредили открытые рынки, на которых покупались «мертвые души» литературного мира...»; в Москве «ни одной живой души не было после смерти Грановского и, следовательно, мертвых тьма-тьмущая» (А. И. Герцен, Собр. соч. в тридцати томах, т. XVII, изд. АН СССР, М. 1959, стр. 251). Ср. у Салтыкова: «Встанет Грановский из плена могильного, / Спросит: где взял капитал?» Здесь – намеки на прежнюю близость некоторых московских публицистов, в частности Каткова, к Грановскому, Белинскому, Станкевичу и на их ренегатство, на капиталы, нажитые ими ценой отказа от либеральных увлечений молодости. (Об этом см. т. 6 наст. изд., «Наша общественная жизнь», январь – февраль 1863 г.)

Стр. 285. Или л..ва злого, трехпробного?.. – Имеется в виду П. М. Леонтьев, сотрудник и единомышленник Каткова. «Трехпробный» – здесь: ядовитый, опасный, вредный. Ср. у Даля: «трехпробное вино – которого треть выгорает», то есть очень крепкое, с большим содержанием спирта.

Стр. 286. И шептал он мне, вручая... – сатирическая перифраза из стихотворения Пушкина «Талисман» (1827).

...карт алкая... – Сатирическая стрела в адрес Павлова, страсть которого к картам была общеизвестна.

НЕБЛАГОВОННЫЙ АНЕКДОТ О Г. ЮРКЕВИЧЕ,
ИЛИ ИСКАНИЕ РОЗЫ БЕЗ ШИПОВ

Статья, написанная Салтыковым в соавторстве с М. А. Антоновичем, [246] представляет собой одно из звеньев в полемике революционных демократов с русским идеализмом 60-х годов. Один из наиболее известных и вместе с тем политически реакционных представителей его П. Д. Юркевич в феврале – марте 1863 г. выступил в Москве с циклом публичных лекций, которыми решил дать бой материалистическим доктринам. Лекции Юркевича рекламировались консервативно-охранительной печатью как «одно из замечательнейших, небывалых явлений в нашей умственной московской жизни» («Наше время», 1863, 12 марта, № 54). Еще за полмесяца до начала лекций славянофильский «День» писал: «Бюхнер в особенности является всем отцам нашим каким-то страшным кошмаром, – и всем детям, всем отрицателям авторитетов, каким-то непогрешимым, недостижимым авторитетом. Развенчать этот кумир, показать, как мало заслуживал он преследования и страха, и тем менее поклонения – было бы немаловажною общественною заслугою со стороны г. Юркевича» (1863, 2 февраля, № 5, стр. 20).

Описанный в статье Салтыкова инцидент с оглашением письма «неизвестного

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru материалиста», происшедший на шестой по счету лекции Юркевича 9 марта, послужил поводом для оживленной дискуссии в ряде газет и журналов. М. Н. Лонгинов в «Московских ведомостях» расценивал «анонимные письма», полученные Юркевичем «от отечественных последователей материализма, грозивших ему свистками, если он осмелится впредь говорить против этой системы», как «угрозы», как стремление «насиловать чужое убеждение и заставить молчать противника» (13 марта, № 56). И. С. Аксаков в «Дне» называл автора письма Юркевичу «врагом всякой свободы мнений», утверждая попутно, что «всякий искренний материалист – враг свободы, приверженец и слуга деспотизма, проводник грубого физического насилия» (16 марта, № 11, стр. 2–3). Обе статьи были исполнены похвал в адрес Юркевича.

В газете «Очерки» (19 марта, № 76) и других изданиях демократического направления («Искра», 12 апреля, № 13, и др.) давалась резко отрицательная оценка как лекциям Юркевича в целом, так и эпизоду с письмом «Неизвестного материалиста» (в ходе дискуссии анонимность была раскрыта самим автором письма, напечатавшим его в № 93 «Очерков» за подписью «А. Рогов»).

Стр. 288...г. Лонгинов своими представлениями чревоуещания и восточной магии в Обществе любителей российской словесности... – С 1859 по 1864 г. М. Н. Лонгинов был секретарем Общества любителей российской словесности и постоянным оратором на его заседаниях. Н. П. Гиляров-Платонов так характеризует его секретарскую деятельность: «...Он искал, понуждал, торопил. Самый первоклассный режиссер театра мог позавидовать в рвении и искусстве, с каким Лонгинов ставил заседания – если можно так выразиться...»

Московские газеты удостоверяют... – См.: «Московские ведомости», 1863, 13 марта, № 56 (Михаил Лонгинов. «Письмо к редактору»); Там же, 15 марта, № 58 (И. С. «Несколько слов о публичном курсе г. Юркевича»); «День», 1863, 16 марта, № 11 (И. Аксаков. «Два слова о материализме и общественной свободе») и др.

Стр. 289...в «Очерках» блаженной памяти... – Издатель «Очерков» А. Н. Очкин, боясь ответственности за радикальный характер газеты (негласным редактором которой был Г. З. Елисеев), внезапно прекратил ее существование. «Очерки» выходили с 11 января по 8 апреля 1863 г. На это и намекает Салтыков, говоря об «Очерках» – «блаженной памяти».

Стр. 290...одной почтенной газеты московской. – Имеется в виду «День» И. С. Аксакова.

«Есть речи – значенье...» – начальные строки стихотворения Лермонтова (1840).

СЕКРЕТНОЕ ЗАНЯТИЕ

«Секретное занятие» – отклик на заявления «московских публицистов» – М. Н. Каткова и Н. Ф. Павлова о том, что «Современником» они не интересуются. Каждое из действующих лиц боится признаться, что читает «Современник», совсем недавно подвергшийся восьмимесячной «опале». В «комедии» разоблачалась политика замалчивания и принижения значения «Современника» реакционно-охранительной печатью, прежде всего «Московскими ведомостями» и «Нашим временем».

Лица, явившиеся непосредственными объектами сатиры, названы собственными их именами. В авторских ремарках заключены намеки на действительные злободневные факты. Неизменно подчеркивается, например, взаимная неприязнь Каткова и Павлова (ср.: на столе у Каткова – «кусочек колбасы, завернутый в клочок «Нашего времени»; у Павлова – «сеledка, завернутая в клочок «Московских ведомостей»). Известно, что два видных консервативных органа нередко полемизировали друг с другом, в частности, о роли дворянского сословия в России и т. п.

Стр. 295...теперь вы свободны? – намек на реформу 1861 г. В разговоре Каткова с «простолюдином» сатирически запечатлено стремление российских экс-либералов превозносить свою роль в крестьянской реформе.

...ребята сказывали, что это Александр Иванович Кошелев! – Примыкавший к славянофилам публицист А. И. Кошелев был активным участником Рязанского губернского комитета по освобождению крестьян.

Это я да Василий Александрович Кокорев... – В. А. Кокорев, питейный откупщик-миллионер, в конце 50-х – начале 60-х годов нередко выступал со статьями в либерально-аболиционистском духе на страницах «Русского вестника»

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Каткова. Подробнее об этом см. в т. 2 наст. изд., стр. 525 и 528.

Стр. 296–297. Быть может, Основский теперь на небесах! – Н. А. Основский, которого разорили его издательские дела, не мог расплатиться с рядом лиц, и ему угрожала долговая тюрьма. Это и дало Салтыкову повод назвать его «покойником», «тенью».

...машинист Вальц, услышав имя г. Пановского... – Об этой «полемике» Салтыков подробно писал во втором из своих «Московских писем». См. в наст. томе, стр. 154–156 и 570–571.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ БУДОЧНИКИ

Это выступление Салтыкова связано прежде всего с разгулом великодержавного шовинизма, с «патриотическим остервенением» (Герцен) в пору польского восстания 1863 г. «Глашатаем этого охватившего всех движения сделался Катков, который через это приобрел необыкновенную силу», – вспоминал Б. Н. Чичерин. [247] Восставших поляков «Московские ведомости» именовали не иначе, как «толпой ослушников», «шайкой», «мятежниками», «бунтовщиками». Катков стремился быть правее самого правительства, во всеуслышанье заявляя, что у поляков нет никаких «оснований требовать от России, чтоб она оставила за Польшей хотя бы обманчивый вид политической самобытности» («Московские ведомости», 1863, 29 марта, № 69). В номерах газет, на которые обращает внимание Салтыков, содержатся разглагольствования о силе русского войска, о раздорах «между различными польскими партиями», о «преследовании колонн мятежников» и т. п.

Охваченную шовинистическим угаром публицистику Салтыков называет «литературным будочничеством». (В дореформенной России полицейские, наблюдавшие за порядком на улицах, находились в специальных будках.) Сатирический образ этот был подсказан Салтыкову самими публицистами охранительного лагеря. Катков, например, заявлял: «Мы не откажемся также от своей доли полицейских обязанностей в литературе» («Русский вестник», 1861, № 1, стр. 483–484). «Почему, кому бы то ни было, и не стать у будки, если отечество того требует!» – вторило ему «Наше время» (1862, 7 июня, № 120). В 1862 г., в связи с предполагавшимися «преобразованиями состава нижних чинов московской полицейской команды» и упразднением некоторых будок в Москве, «Наше время» рассуждало так: «Упразднить следует только то, что бесполезно. Чтобы определить с достаточной верностью, в какой степени нужно упразднение будок, нам необходимо бросить взгляд на цель этого учреждения и на то, в какой степени цель эта достигается». Вслед за этим вступлением помещалось целое «исследование» о будках (С. Натальин. Полицейские будки в Москве. – «Наше время», 1862, 29 ноября, № 258). Подводя итоги литературного 1862 года, Н. Степанов писал в «Искре» о том, что год этот «примирил большинство журналов, сообщил им особенный запах и дал серенькую форму будочников» (1863, № 1, стр. 2). Герцен в «Колоколе» (л. 142 от 22 августа 1862 г.) именовал катковцев (в отличие от «явнобрачных блюстителей порядка», то есть самих полицейских) «тайнобрачными будочниками» и замечал при этом, что «тайнобрачные будочники и городовые начинают все хуже и хуже ругаться...» (А. И. Герцен. Собр. соч. в тридцати томах, т. XVI, изд. АН СССР, М. 1959, стр. 234).

Стр. 299. Новый 1863 год внес и новый элемент, новые привычки в русскую литературу: элемент полицейский, привычки будочничества. – Сходную мысль (уже после подавления восстания в Польше) высказал Герцен в статье «Виселицы и журналы», напечатанной в л. 169 «Колокола» от 15 августа 1863 г.: «1863 год останется памятным в истории русской журналистики и вообще в истории нашего развития»; литература «сделалась официальной, официозной, в ней появились доносы, требование небывалых казней и пр. Правительство, подкупая, поощряя всеми средствами поддавшиеся ему журналы, запрещало на французский манер органы независимые. Полицейская литература воспользовалась этим, она говорила не стесняясь, возражать ей в России никто не мог» (А. И. Герцен. Цит. изд., т. XVII, М. 1959, стр. 235).

...Петербург, в котором также появилось несколько будок, но это будки скверные, презренные, о которых не стоит и говорить, потому что торговля, в них производящаяся, едва-едва дает на хлеб будочникам. – К «литературному будочничеству» в Петербурге Салтыков относил несколько новых, начавших выходить в 1863 г., изданий охранительного направления, в числе которых были: «Весть» (орган дворянско-крепостнической оппозиции реформам 60-х годов), «Мирское слово» (газета «для народа», в которой большое место занимали «выражения признательности временнообязанных крестьян царю»), «Народная газета»

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru (реакционный орган, проповедовавший официальную точку зрения на все важнейшие вопросы современности), журнал «Якорь» (близкий к славянофильству и «почвенничеству») и др. Успеха у читателей эти издания не имели.

Стр. 300. «Вот тебе и «братцы, братцы, поцелуйтесь»! Вот тебе и «божественная Оливинска»! «И ништо!» – Салтыков цитирует строки из заметки (без подписи) «Франко-польско-русский куриоз», помещенной в № 67 «Московских ведомостей» за 1863 г. В заметке излагается по парижской газете «Le Temps» содержание письма французского офицера Брето. Француза поразило поведение в варшавском театре русского офицера («русского дикаря»), прибывшего в Варшаву с карательными целями. «Этот дикарь, в шумном изъявлении восторга, готов был лезть целоваться с танцовщицами на сцене...» «Поцелуемтесь, божественная Оливинская, – кричал он приме-балерине. – Взгляните, как мы вас любим...» В этом эпизоде, по словам «Le Temps», отразилось «исполненное противоречий, неопределенное и смутное положение просвещеннейших из русских по отношению к Польше, – русских, этих завоеванных завоевателей, этих покоренных и обольщенных варваров, исполняющих против воли жестокие приказания». Строки, которыми «Московские ведомости» прокомментировали это сообщение французской газеты, Салтыков переадресовывает самим «будочникам».

Стр. 300. «Моя личность наводит панический страх...» – В заметке «Нам пишут из Могилева» некое, по-видимому, официальное лицо делится с читателями следующими впечатлениями: «Моя личность наводит панический страх на всех без исключения поляков, в присутственных местах чиновники кланяются в пояс, а чуть выехал из города, так всеобщая тревога по уездам – помещики все пожгли, что у них было бесцензурного, что малейше указывало на сочувствие их центральному комитету; можно смело надеяться, что восстания не будет, даже присоединения к шайкам, если бы таковые прошли из Минской губернии» («Наше время», 1863, 27 марта, № 66).

Рады вы, что ли, тому, что льется человеческая кровь? – Возможный комментарий к этим словам см. ниже стр. 641–642.

СОПЕЛКОВЦЫ

В «Отрывке» передано впечатление от того «патриотического экстаза», в который ввергали себя публицисты ведущих московских печатных органов в период польского восстания. События 1863 г., по словам Герцена, вывели «наружу все татарское, помещичье, сержантское, что сонно и полузабыто бродило у нас; мы знаем теперь, сколько у нас Аракчеева в жилах и Николая в мозгу» («Виселицы и журналы». – Собр. соч. в тридцати томах, т. XVII, изд. АН СССР, М. 1959, стр. 236). Для обозначения этого явления Салтыков соединяет новообразование от глагола «сопеть» (в противоположность – «свистеть») с названием реакционной секты бегунов-странников, именовавших себя «сопелковцами» (от села Сопелково, ярославской губ.).

Стр. 301. Сопцы и народ молвящ – слова из Евангелия (Матф., IX, 23), в переводе с церковнославянского: «И пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельников и народ в смятении...» С эпитафией перекликается строка из «Отрывка»: «...но простой народ встревожен» (стр. 301).

...клятву, которую произносит в «Князе Серебряном» колдун-мельник: «Шикалу! ликалу! слетаются вороны издалека, кличут друг друга на богатый пир, а кого клевать, кому очи вымать, и сами не чувт, летят да кричат! шагадам! шагадам!» – Здесь сведены воедино заговоры, многократно произносимые колдуном-мельником в «Князе Серебряном» А. К. Толстого. На эту повесть Салтыков поместил в «Современнике» памфлетную рецензию (см. в наст. томе, стр. 352–362).

...случилось с одним нигилистом, беспечно гулявшим в сумерки по Страстному бульвару. – На углу Страстного бульвара и Б. Дмитровки помещалась типография, в которой печатались издания Каткова – «Московские ведомости» и «Русский вестник». Там же помещались редакции этих изданий.

...видел... упыря... – Под упырем подразумевается Катков.

Стр. 302...видел чудовищного горбуна. – Имеется в виду П. М. Леонтьев, который был горбат.

...сравнивают настоящее положение Москвы с теми временами, когда, бывало, наезжал в нее покойник Шешковский. – Наиболее реакционные периоды русской жизни ассоциировались в сознании Салтыкова с именем руководителя политического сыска

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru при Екатерине II, «кнutoбойца» С. И. Шешковского (ср.: «Письма к тетеньке», «Современная идиллия» и др.).

<для СЛЕДУЮЩИХ НОМЕРОВ «СВИСТКА»...>

Не вполне ясно, что представляют собой эти «наброски» Салтыкова: действительно ли план и «заготовки» задуманных статей для предполагавшегося продолжения «Свистка» или просто жанр сатирических миниатюр. Подобного рода «программы на будущее» часто встречались в сатирических изданиях эпохи, в частности, на страницах «Искры». См., например: 1863, № 1, стр. 15–16 – «Состав некоторых январских журналов и газет за 1863 год»; 1863, № 4, стр. 60 – «Содержание январской книжки «Русского вестника», которая «выйдет не в апреле (как было прежде объявлено), а в марте месяце» и т. п.

Стр. 303. «Прогулка в роще, или Птицы без перьев». Ученое исследование, написанное для журнала «Время»... – Первое такое «исследование» помещено Салтыковым в мартовской хронике «Наша общественная жизнь» (1863). Там, в фельетоне «Тревоги «Времени», пародируя стихотворение Ф. Берга «Птицы» («Время», 1863, № 1), он дает емкую сатирическую характеристику «птичьей» идеологии «почвенников», не имеющей твердых теоретических основ, межумочной, склонной к благонамеренности. Фельетон был первым шагом в создании Салтыковым образа «стрижей», которым публицисты «Современника» пользовались для борьбы с представителями «почвеннического» направления (об этой борьбе см. подробно в т. 6 наст. изд.). [248]

«Опыты самораздиранья». Рассказ очевидца. – В январской хронике «Наша общественная жизнь» (1863) Салтыков дал следующую характеристику современной русской журналистики: «Из загнанной и трепещущей она превратилась в торжествующую и ликующую, из скептической в верующую, из заподозренной в благонамеренную и достойную доверия. Деятели, целую жизнь дразнившие и уськавшие общественное мнение, всенародно бьют себя в грудь, всенародно раздирают на себе одежды...» (Подчеркнуто нами. – Л. Р.). В данном случае речь шла прежде всего о «Русском вестнике» М. Н. Каткова, но характеристика имела отношение и к журналу «Время», по поводу которого Салтыков заявлял, что он в ближайшем будущем начнет «катковствовать». В упомянутом выше фельетоне «Тревоги «Времени» Салтыков упрекает в страсти к «самораздиранью» уже «почвенников»: «Ведь вы до такой степени галлюцинации дошли, что сами же свои собственные внутренности раздираете...»

Стихотворная элегия на кончину «Времени»... – «Элегия» не была, конечно, откликом на факт закрытия журнала «Время». Она написана раньше: «Современник», № 4, где появилось произведение Салтыкова, получил цензурное разрешение 20 апреля, а правительственное распоряжение о запрещении издания «Времени» датировано 24 мая 1863 г. (Поводом к закрытию журнала Достоевских была помещенная в № 4 «Времени» статья Н. Н. Страхова о событиях в Польше – «Роковой вопрос». Резкий отзыв о ней в газете «Московские ведомости», 1863, № 109 от 13 мая, предрешил судьбу журнала.)

В пародийном стихотворении на кончину «Времени» Салтыков использовал стихотворный размер «Моей эпитафии» Пушкина.

«Самонадеянный Федя»... – В сатирическом стихотворении, относящемся к Ф. М. Достоевскому, интересна мысль Салтыкова о том, что туманность, бесплодность идеологии «почвенников» должна отозваться и на творчестве писателя, на характере его гуманизма, который может превратиться в «тысячекратно повторяемое трясение гоголевской «Шинели» (как это было замечено еще в «Тревогах «Времени»». Содержание пародии проясняет более поздняя статья Салтыкова «Журнальный ад» (см. т. 6 наст. изд.). «Под «бездельничеством», – говорит Салтыков, – я отнюдь не разумею что-либо преступное <...>; нет, «бездельничество» означает лишь полное отсутствие какой-либо живой руководящей мысли, означает занятие таким делом, до которого ровно никому дела нет» (ср. «Все ленился, да ленился... и попал прорасак!»). И далее: «Откуда нашла на русскую журналистику эта туча, я не берусь разрешить <...>. Гораздо проще, по моему мнению, будет, если мы примем это явление, как факт глухой, как знаменье особенного божьего гнева, над нами тяготеющего» (ср. ироническое: «Федя богу не молился, /«Ладно, мнил, и так!»). Здесь же вновь появляется образ обветшалой гоголевской «Шинели». Речь идет о герое «Записок из подполья», представляющем некий демонический вариант маленького человека – Макара Девушкина («Бедные люди»): «В довершение всего роль сатаны неожиданно присвоил себе известный попрошайка, Макар Алексеевич Девушкин,

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru тот самый Девушкин, который из гоголевской «Шинели» сумел-таки выкроить себе, по малой мере, сотню дырявых фуфаек».

Стихотворение Салтыкова запомнилось Достоевскому. В романе «Идиот» (1868) он использовал его в своих пародийных целях.

Лева Шнейдера шинелью
Пятилетие играл
И обычной канителью
Время наполнял... и т. д.
Эти стихи написаны нигилистами с целью скомпрометировать положительного героя романа, князя Мышкина.

Стр 303. «Опыты сравнительной этимологии, или Мертвый дом», по французским источникам... – Салтыков неизменно высоко оценивал «Записки из Мертвого дома» Достоевского. В хронике «Наша общественная жизнь» за март 1863 г., обращаясь к редакции журнала «Время», он писал: «А что, если мы докажем вам, что в вас только и есть русского что «Мертвый дом»?» В статье «Литературные мелочи» (1864) повторяется та же мысль: «...есть настоящий Достоевский (Ф. М., автор «Мертвого дома» и «Бедных людей») и есть псевдо-Достоевский (М. М., автор «Старшей и меньшей» и предприниматель журнала «Эпоха»)». Однако о связи «Мертвого дома» с «французскими источниками» упоминалось в первоначальном тексте мартовской хроники 1863 г. («Наша общественная жизнь»): «Самое русское из всего русского, в вас помещавшегося, ваш «Мертвый дом» написан на манер французского...» (Не хотели этим сказать Салтыков, что автор «Мертвого дома» более привержен идеям утопического социализма, чем полагалось бы убежденному почвеннику?)

Изображая царскую каторгу, Достоевский находил здесь много общего с тем, что происходит «на воле». «Записки из Мертвого дома» были восприняты современниками как приговор всей социально-политической системе самодержавной России, а образ острога приобрел широкий, обобщающий смысл. Но в «Зимних заметках о летних впечатлениях», опубликованных в журнале «Время», 1863, №№ 2, 3, Достоевский использует этот образ с совершенно иной целью. С острогом, лишаящим людей свободы личности, сравнивает он будущее общество, о котором мечтали французские утопические социалисты: «Фурьеристы, говорят, взяли свои последние девятьсот тысяч франков из своего капитала, а все еще пробуют, как бы устроить братство. Ничего не выходит. Конечно, есть великая приманка жить хоть не на братском, а чисто на разумном основании, то есть хорошо, когда тебя все гарантируют и требуют от тебя только работы и согласия. Но тут опять выходит загадка: кажется, уж совершенно гарантируют человека, обещаются кормить, поить его, работу ему доставить, и за это требуют с него только самую капельку его личной свободы для общего блага, самую, самую капельку. Нет, не хочет жить человек и на этих расчетах, ему и капелька тяжела. Ему все кажется, сдуру, что это острог и что самому по себе лучше, потому – полная воля...»

Разумеется, социалисту приходится плюнуть и сказать ему, что он дурак, не дорос, не созрел и не понимает своей собственной выгоды...» (Ф. М. Достоевский. Собр. соч., т. 4, Гослитиздат, М. 1956, стр. 109. Подчеркнуто нами. – Л. Р.). Так Достоевский, принадлежавший в 40-е годы к самым активным членам общества петрашевцев, поплатившийся за свои социалистические идеалы каторгой и ссылкой, в начале 60-х годов приравнивает фурьеристский фаланстер к «Мертвому дому». В «Опытах сравнительной этимологии» Салтыков, по-видимому, был намерен сопоставить два последних произведения Достоевского, указав на то, как переменились убеждения писателя.

Стр. 303. «Обоюдоострый Громека». – Называя С. С. Громеку «обоюдоострым», Салтыков намекает на то, что в недалеком прошлом этот либерально-обличительный публицист служил жандармским офицером.

В упоминаемой далее «Современной хронике России» в разделе «Как относятся к правительству истинно независимые люди и журналы, такие, например, как Г. Унковский и редакция «Современника», Громека призывал общественное мнение России к «благородной сдержанности», к единению вокруг правительства журналов всех направлений. Верноподданнически ратуя за прекращение «ребяческой» игры в систематическое неудовольствие против правительства», Громека писал: «В настоящее время правительство само признает общественное стремление к свободе делом законным, само сделало несколько законодательных шагов по пути к свободе. В настоящее время, следовательно, относиться к нему по-прежнему – значило бы

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru доказывать только, что мы сами еще несвободны в собственных чувствах и раздражение ставим на место самостоятельности («Отечественные записки», 1863, март, стр. 18). По словам Громеки, тенденциозно использующего цитаты из «Внутреннего обозрения» Г. З. Елисеева в № 1–2 «Современника» за 1863 г., редакция этого журнала будто бы «откровенно созналась», что «правительство наше идет относительно привития к русскому народу европейской цивилизации тем самым путем, за который стоит «Современник»...» «А «Невинные рассказы» г. Щедрина – что это, как не такое же честное и горячее признание великих благодеяний реформы», – с издевкой добавлял хроникер «Отечественных записок» (там же, стр. 26). Последняя фраза относилась к тому месту в рассказе «Миша и Ваня» из «Невинных рассказов», которое содержало определенную идеализацию крестьянской реформы, и вызвала упреки в адрес Салтыкова со стороны демократической печати (см. т. 3 наст. изд., стр. 93 и комментарий к ней).

«Не устроить ли нам колбасную?»...всякое коммерческое предприятие, как журнальное, так табачное, колбасное или полпивное... – Издатель журнала «Время» М. М. Достоевский владел в 50-е годы табачной фабрикой. Это обстоятельство не раз упоминалось фельетонистами «Искры».

В статье «Молодое перо» Ф. М. Достоевский писал, обращаясь к Салтыкову: «Ведь вы ругаетесь, как какой-нибудь сотрудник «Головешки» <т. е. «Искры»>... Ведь вам только один шаг остался до попреков за табачную фабрику» (Ф. М. Достоевский. Полн. собр. художественных произведений, т. XIII, ГИЗ, М. –Л. 1930, стр. 311). Салтыков, как видим, не замедлил ответить на этот вызов. В другой статье – «О добродетелях и недостатках...», написанной в конце 1864 г., но при жизни Салтыкова не напечатанной, упоминание о «колбасной лавочке» ставится в прямую связь с общественной позицией писателя (см. наст. том, стр. 463).

Стр. 304. «Опыты отучения сотрудников от пищи и бесплатного снабжения их одеждою». Из записок одного неопытного литератора. – Имеется в виду инцидент, происшедший в 1862 г. между М. М. Достоевским и А. П. Шаповым и ставший известным в литературных кругах. М. М. Достоевский предложил А. П. Шапову, тогда начинавшему и очень нуждавшемуся литератору, в счет гонорара заказать платье у своего портного. На эпизод со Шаповым намекал Салтыков и в более поздней полемической статье из серии «Петербургские театры» – «Наяда и рыбак» (см. наст. том, стр. 204). Здесь в сатирической «программе балета» сказано: «...костюмы того самого портного, который, взамен полистной платы, одевает сотрудников «Эпохи».

История о гонораре Шапова через много лет была рассказана в его некрологе. В связи с этим Ф. М. Достоевский вступился за честь брата в специальной статье «Дневника писателя» (1876, «За умершего». См. Ф. М. Достоевский. Полн. собр. художественных произведений, т. XI, ГИЗ, М. –Л. 1929, стр. 278–281).

«...как будто тухлое разбилось яйцо...» – строка из стихотворения Пушкина «И дале мы пошли, и страх обнял меня...» (Подражание Данте, 1832).

На Малой Дмитровке дом высится прекрасный... /При доме конура, в ней циник жил ужасный. – На Малой Дмитровке помещалась редакция газеты «Наше время»; «циник ужасный» – Н. Ф. Павлов.

Невинное занятие общества Тирсисов на Спиридоновке... – На Спиридоновке в доме Мазаровича помещалась редакция газеты «День». «Общество Тирсисов» – собрание наивных и прекраснодушных деятелей (по имени Тирсиса – героя пасторалей французского придворного поэта Ракана, 1589–1670). Салтыков имеет в виду туманную по форме, славянофильскую по сути своей позицию «Дня».

«Ничего в волнах не видно», рассуждение по поводу 75 № «Моск. ведомостей», в котором доказывается, что и в волнах можно что-нибудь усмотреть. – В ответ на рассуждения, появившиеся за рубежом, в частности во Франции, о «равнодушии, какое русские оказывают к польскому вопросу», «Московские ведомости» в передовой статье № 75, на которую ссылается Салтыков, излагали свою шовинистическую версию об отношении русских людей к этому вопросу.

«Безумная заметка о сумасшедших впечатлениях». фельетон нового мормона за все время одержания бесами; с эпиграфом из сочинений г. Ф. Берга. – «Зимние заметки о летних впечатлениях. Фельетон за все лето»

Ф. М. Достоевского были помещены во «Времени» непосредственно после

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
стихотворения Ф. Берга «Грезы и песни», которое начиналось так:

Не отнимут люди, не отнимут –
Грезы, песня будут вечно с нами.
И за что б ни стали люди биться,
Греза, песня будут вечно с нами,
В сердце нашем глубоко таиться.
Клятву, данную относительно непечатания литературных упражнений г. М.
Достоевского... – Намек на то, что официальный редактор «Времени» не пишет
литературных произведений, а, подобно А. А. Краевскому, выступает лишь как
предприниматель журнального дела.

СТАТЬИ (1868–1883)

НАПРАСНЫЕ ОПАСЕНИЯ

(По поводу современной беллетристики)

Впервые – ОЗ, 1868, № 10, отд. «Совр. обозрение», стр. 168–194 (вып. в свет 9 октября). Без подписи. Авторство Салтыкова установлено С. С. Борщевским –
Неизвестные страницы, стр. 475–500.

Статья представляет собою одно из наиболее обстоятельных высказываний Салтыкова по общим вопросам развития современной ему литературы. В то же время ее можно рассматривать и как программное литературно-критическое выступление «Отечественных записок», перешедших с 1868 г. под редакцию Некрасова.

Название статьи и вступительная ее часть, где говорится о напрасных сетованиях по поводу «бедности нашей литературы», имеют прямой полемический адрес. На страницах «старых» «Отечественных записок», выходявших под редакцией Краевского, в 1867 г. появилась большая статья Н. Н. Страхова «Бедность нашей литературы», повторенная в 1868 г. отдельным изданием. Страхов писал в ней об упадке современной литературы. Главной причиной этого упадка он считал влияние на литературу «нигилистических», революционно-демократических идей. Новой редакции нельзя было найти лучшего способа определить свою позицию, чем полемика со статьей, нашедшей себе еще недавно место на страницах тех же «Отечественных записок» и хорошо памятной прежним их подписчикам. [249]

Вместе с тем статья Н. Н. Страхова была лишь наиболее приметным, но далеко не единственным печатным или изустным высказыванием по поводу «бедности» современной русской литературы, какое мог иметь в виду Салтыков. Еще в декабрьской хронике «Нашей общественной жизни» за 1863 г. он писал о «сетованиях публики на современную беллетристику». Автор статьи «Напрасные опасения» брался опровергнуть мнения не одной лишь критики, но и известного круга читателей – ценителей изящного, выражавших досаду на отсутствие новых ярких талантов, на новый, непривычный язык демократов-шестидесятников и предметы изображения, почерпнутые из «грязного» народного быта.

Принципиальная особенность статьи Салтыкова заключалась в том, что он рассматривал положение современной ему русской литературы с точки зрения отношения к ней воспринимающей читательской среды, «публики». Согласно суждению Салтыкова, круг читателей беллетристики мало изменился со времен 40-х годов, и большую часть читающей публики по-прежнему составляют люди, воспитанные в эстетических заветах старого времени. Поэтому изучение той самой публики, которая сетует на «бедность» нынешней литературы, возвращает автора статьи к анализу типа «человека 40-х годов».

О человеке 40-х годов Салтыков немало писал и до этого («Сатиры в прозе» – 1861, «Сенечкин яд» – 1863) и после («Один из деятелей русской мысли» – 1870, «Дневник провинциала» – 1872, «Круглый год» – 1879, «Письма к тетеньке» – 1881–1882), выдвигая на первый план то положительные, то отрицательные черты поколения людей, воспитанных этим временем. В отношении историческом Салтыков признавал огромное значение для общества идеалов 40-х годов. Он возражал, однако, против попыток искусственного сохранения и культивирования этих идеалов в иную эпоху, когда общество в целом ушло далеко вперед.

В статье «Напрасные опасения», характеризуя литературу 40-х годов и ее читателя, показывая эволюцию общественных интересов, Салтыков получает возможность сказать о тех социальных сдвигах, какие произошли в русской жизни за два десятилетия. В этом смысле статья Салтыкова, решая литературно-критическую задачу, носит в то же время публицистический характер.

По обыкновению, Салтыков почти не пользуется терминами политически определенными. Но его иносказания достаточно прозрачны. Понять автора, как обычно, помогают ключевые слова, которые в совокупности создают «эзопов язык» статьи.

Одним из таких ключевых слов является слово «досуг» (ср. аналогичное понятие «досужества» в рецензии «Новые стихотворения А. Н. Майкова», 1864). В системе иносказания Салтыкова «досуг» – синоним праздности, символ привилегий той части общества, которая эксплуатирует чужой труд. Среда, «обильная досугом», – это не бытовая и не психологическая, а прямая политическая характеристика дворянской интеллигенции.

Первая часть статьи, где рассматривается «состав» читающей публики, и посвящена выяснению исторической эволюции дворянской интеллигенции, ее отношения к новым формам жизни, «новым порядкам», явившимся в результате реформ 60-х годов, прежде всего крестьянской реформы. Публика 40-х годов, «обеспеченная относительно твердости внешних рамок», а иначе говоря, убежденная в прочности своей материальной обеспеченности и своих социальных привилегий, гордилась своей гуманностью. В действительности же, как показывает Салтыков, она лишь сменила барские забавы прежнего поколения – медвежьих травли и псовые охоты – на досуг «эстетический». Лучшая часть дворянской интеллигенции, получившая название «лишних людей», теоретически признавала насущность перемен в жизни, выступала за справедливость, сочувствовала народным бедам. Таковы, по Салтыкову, герои Тургенева – Рудин, Лаврецкий, люди благородной мысли, но не действия, не пошедшие дальше колебаний и сомнений.

Салтыков рассматривает эволюцию дворянского либерализма от 40-х к 60-м годам дифференцированно. «Лишние люди» представляли еще лучшую часть этой публики. Большинство же ее составляли либеральные «прихвостни», видевшие в пожеланиях реформ лишь «красивую сторону». Они оказались «преестественными зверобоями», как только время предъявило притязания на их «досуг». Иначе сказать, как только крестьянская реформа 1861 г. поставила вопрос об имущественных привилегиях дворянства, либералы 40-х годов стали превращаться в «злопыхателей» и смыкаться с консерваторами.

Весь этот социально-классовый анализ состава русской читающей публики понадобился Салтыкову для того, чтобы показать, в какой среде возникло недовольство современной литературой и где источник сетований на ее бедность. Автор статьи исходит из того, что требования литературы не могут идти позади требований публики, он подчеркивает «инициаторскую» роль литературы в обществе. Литература пробуждает самосознание, дает толчок его дальнейшему развитию, она ставит и выясняет новые общественные вопросы, а не просто отражает уже решенные. Ближайшим образом Салтыкова интересует оценка литературой и обществом изменений, происшедших в русской жизни «в течение последнего десятилетия», то есть после реформы 1861 г. Значительная часть дворянской интеллигенции, отмечает Салтыков, настроена против реформ, меньшая ее часть – удовлетворена содеянным, но боится идти дальше. Между тем демократическая литература 60-х годов выдвигает новые вопросы, призывает к более глубоким и радикальным переменам и оттого оказывается не по вкусу большинству публики, воспитанной в «эстетических» заветах 40-х годов. Отсюда все недоразумения между публикой и литературой, отсюда и жалобы на ее бедность.

Салтыков констатирует, что в составе русской читающей публики еще слишком невелик удельный вес «новой публики», то есть читателей из демократической, народной среды. В этом кругу «потенциальных читателей» слишком слабы начала самосознания. Интересы этой части публики в значительной мере связаны с «грубыми выгодами» – жизненными тяготами, борьбой за материальный достаток, и понятно, что литература стоит для них пока на заднем плане. Новая публика, таким образом, еще не успела воспитать в себе интерес к литературе, тогда как старая растремляла его. Так автор статьи приходит к внешне парадоксальному, но глубоко обдуманному выводу: надо говорить не о «бедности» литературы, а о «бедности» читающей публики, не готовой по разным причинам к восприятию тех идей, какие несет с собой новое поколение писателей.

Обращаясь к наследию 40-х годов уже в плане литературно-эстетическом, Салтыков стремится объективно характеризовать этот важный период русской литературы. Он видит заслугу Гоголя и писателей, вышедших из его школы, в том, что они

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru завоевали для литературы и завещали ей честное обращение со словом и правдивое отношение к действительности. Однако впоследствии, считает автор статьи «Напрасные опасения», «дело отрицания» стало выглядеть слишком односторонним, положительный герой дворянской литературы – тип «лишнего человека» – оказался исчерпанным сполна, и возникла необходимость в поисках новых типов – «положительных и деятельных».

Не надо думать, что Салтыков – писатель-сатирик – призывает отказаться от задач отрицания и обличения и приступить к моделированию положительного героя. Мысль Салтыкова иная. Недаром он особо указывает на «расширение арены правды, арены реализма», как на необходимую предпосылку появления в литературе «новых людей». А в написанной почти одновременно с «Напрасными опасениями» рецензии на «Гражданский брак» Чернявского Салтыков саркастически пишет о литературных деятелях, которые считают, что «отрицательное отношение к жизненным явлениям бесплодно» и что «в настоящее время не отрицать и обличать, а любить должно». Главным критерием для него неизменно остается правда жизни.

Салтыков видит, что в отношении героев положительного закала литература не может похвалиться большими достижениями, она ведет, скорее, «подготовительную работу» в этом направлении, но Салтыков не считает лишним вступить в область некоторых догадок и предсказаний, чтобы очертить пути, по каким неизбежно должна пойти, на его взгляд, демократическая русская беллетристика. Свои прогнозы он строит на внимательном анализе русского общества в той его части, которая единственно и способна дать литературе тип положительного героя. Это, с одной стороны, «воспитывающая» среда, то есть демократическая разночинная интеллигенция, а с другой стороны – среда «воспитываемая», то есть народ, который стал доступнее для изображения «вследствие освобождения от внешних тенет», то есть вследствие отмены крепостного права.

«Воспитывающая среда» или «новые люди» уже были в ту пору представлены как в революционно-демократической, так и в консервативно-дворянской беллетристике. Но, рассматривая эти первые наброски портрета нового положительного героя, Салтыков согласен признать за ними в лучшем случае достоинства подготовительных материалов, черновых эскизов. Даже явное непонимание и попытки клеветы на «новых людей» для автора статьи – симптом того, что литература не может обойти их или замолчать. Перечисленные в статье черты «нигилиста», напоминающие, кстати сказать, в пересказе Салтыкова прежде всего тургеневского Базарова: неприятие на веру авторитетов, внимание к естественности и недоверие к метафизике, бодрость и смелость, принимаемые за «нахальство», – все это можно увидеть в «новых людях» даже сквозь ту грязь, какой забрасывают в своих произведениях героев молодого поколения авторы антинигилистических романов.

Салтыков подробно останавливается на попытках демократической литературы дать образ положительного героя. Неудачи в этой области он склонен приписать неумеренной идеализации, тому «рутинному понятию о добродетели», которое не уживается с реальной правдой в искусстве. Характеристика героев положительного закала, предстающих в литературе то «преждевременно состарившимися кадетами», то «нищими духом аскетами», относится скорее всего к эпигонам Чернышевского – автора романа «Что делать?». Салтыков мог иметь здесь в виду такие честные, но беспомощные попытки изображения «нового человека», как романы Н. Ф. Бажина «Степан Рулёв» («Русское слово», 1864, № 11–12) и «Чужие меж своими» («Русское слово», 1865, № 1–2), где очевидна и риторичность замысла, и то, что Салтыков назвал «картинами нелепого аскетизма». Незадолго до появления статьи «Напрасные опасения» Салтыков резко критиковал также молодых героев А. Михайлова (Шеллера), зараженных, по его словам, «пресным старческим доктринерством» (рецензию на роман А. Михайлова «Засоренные дороги» см. в наст. томе, стр. 265).

В статье «Напрасные опасения» Салтыков указал и на причины, по каким сочувствующие молодым героям писатели испытывают затруднение в изображении типа «нового человека». Это и внутренняя сложность нового типа людей, и трудность изображения их деятельности, поскольку условия русской действительности не дают им вполне развернуться. Очевиден здесь и намек на цензуру, стесняющую писателя в его намерениях представить героя «воспитывающей» среды в действии.

Другой источник положительных начал жизни и новых художественных типов видит Салтыков в «воспитываемой» части общества, то есть в народе. Мужик мало-помалу становится в литературе героем дня, и в качестве примера плодотворных поисков в этой области Салтыков указывает на сочинения Решетникова «Подлиповцы» и «Где

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru лучше?». Это единственные произведения современной беллетристики, прямо названные в статье «Напрасные опасения».

Известно, что отношение Салтыкова к произведениям Решетникова не было апологетическим. И хотя он сам редактировал для журнала роман «Где лучше?», а позднее написал о нем сочувственную рецензию (см. наст. том, стр. 321), он отдавал себе отчет в ограниченности таланта Решетникова и многочисленных художественных несовершенствах его романа. В этом заключалась объективная сложность положения Салтыкова-критика. Свои интересные теоретические послышки и литературные прогнозы он лишь в малой мере и с большими оговорками мог подтвердить практикой современной ему демократической литературы. Оттого ему приходилось, избегая конкретных названий книг, больше говорить об «общем направлении» и «общем тоне» современной молодой литературы. Он вынужден был подчеркивать «подготовительный» характер в обрисовке новых типов и проблем, подчеркивать значение «собираания материалов» и т. п., уповая на грядущий взлет литературы в отмеченном им направлении.

По ряду причин, связанных прежде всего и с конкретными обстоятельствами идейной борьбы, концепция Салтыкова не учитывала творческих достижений таких писателей его времени, как Толстой и Достоевский, и это заметно сузило значение его литературных прогнозов. (Суждение Салтыкова о романе «Идиот» в его рецензии по поводу романа И. В. Омулевского «Шаг за шагом» («Светлов, его взгляды, характер и деятельность») свидетельствует о том, что он умел преодолевать узость своих позиций и пристрастий.)

Литература 70-х годов лишь в малой мере оправдала надежды Салтыкова, выраженные в статье «Напрасные опасения». Много лет спустя в одиннадцатом письме к «тетеньке» (1882) Салтыков пришел к пессимистическому заключению, что в литературе по-прежнему нет «ничего цельного, задуманного, выдержанного, законченного. Одни обрывки, которые много-много имеют значение сырого материала, да и то материала несвязанного, противоречивого...».

Сразу же после опубликования статья «Напрасные опасения» вызвала ряд откликов современников. Журнал «Дело» во «Внутреннем обозрении» Гдб. (П. Гайдебурова) специально коснулся этой статьи «Отечественных записок». Критика «Дела» более всего заинтересовала ту сторону статьи Салтыкова, которая трактовала вопрос об изображении народной жизни, героев из народной среды в литературе. П. Гайдебуров признавал, что статья «Отечественных записок» затрагивает вопрос «весьма серьезно». Однако он полемизировал с мыслью Салтыкова, что в изображении современного мужика «литература может найти новый источник своего могущества и своего влияния в обществе», усматривая в этом утверждении отголоски славянофильства («Дело», 1868, № 11, отд. II, стр. 32–35).

Герцен писал Огареву 30–31 октября 1868 г., делясь впечатлением от свежей книжки «Отечественных записок»: «В «Напрасных опасениях» дует ненависть ко всем, не родившимся от скотоложества «Современника» с Благосветловым, – но не глупо» (А. И. Герцен. Полн. собр. соч., т. 29, кн. 2, М. 1963, стр. 481). В отзыве Герцена чувствуется недовольство саркастической характеристикой 40-х годов, как времени «умственного дилетантизма». Это поздняя реплика в полемике Герцена с «Современником» (Добролюбова и Чернышевского) по поводу «лишнего человека». Тем интереснее, что это не помешало Герцену оценить достоинства статьи, назвав ее «не глупой».

Стр. 12...в положении хемницеровского «Метафизика». – В басне И. И. Хемницера «Метафизик» студент, напитавшийся теоретической премудростью, попав в яму, рассуждает о философской природе вещей, вместо того чтобы, воспользовавшись брошенной ему веревкой, выбраться наверх.

Стр. 17...в нашей жизни в течение последнего десятилетия произошли такие существенные изменения, которые отчасти превзошли ожидания цивилизованного меньшинства... – то есть реформы повели к изменениям бóльшим, чем того хотели и ждали дворянские либералы.

Стр. 19...воспитаны на сказаниях о «пупе земли» и «голубиной книге». – «Голубиная книга» или иначе «Глубинная» (от «глубины премудрости», в ней содержащейся) – сборник духовных стихов космологического содержания. Восходящая к апокрифу «Беседа трех святителей», она служила долгое время распространенным народным чтением.

Стр. 21...бледный сколок с различных Рене, Оберманов, Чайльд-Гарольдов и Вертеров. – Герои произведений Шатобриана «Рене» (1802), Сенанкура «Оберман» (1804), Байрона «Чайльд-Гарольд» (1818), Гете «Страдания молодого Вертера» (1774).

Стр. 22. Эти предания гласят нам: во-первых, что со словом надобно обращаться честно... – По-видимому, Салтыков цитирует здесь по памяти слова Гоголя из «Выбранных мест из переписки с друзьями»: «Обращаться с словом нужно честно» (Н. В. Гоголь. Собр. соч. в 7-ми томах, М. 1967, т. 6, стр. 218).

Если мы и видим в области печати уклонения от честного обращения с словом и от правдивого отношения к действительности, то уклонения эти принадлежат исключительно остаткам старой литературы. – Вероятно, в первую очередь здесь имеется в виду А. Ф. Писемский с его антинигилистическим романом «Взбаламученное море» (1863). Эта характеристика могла относиться и к таким литераторам 40-х годов, как М. Н. Катков, Н. Ф. Павлов, А. А. Краевский. О переменах, происшедших с ними, Салтыков писал в статье «Литературные мелочи» (см. т. 6 наст. изд., стр. 482).

Стр. 23...под условием уяснения тех положительных типов русского человека, в отыскании которых потерпел такую громкую неудачу Гоголь. – Речь идет о таких персонажах второго тома «Мертвых душ», как «одаренный божескими доблестями» муж – помещик Костанжогло, откупщик Муразов, идеальная Улинька.

Мы все чего-то ждем от Валаамовой ослицы, все думаем, что именно она, а не другой кто может заговорить. – Согласно библейской легенде (Числа, XXII, 27–28), ослица Валаама однажды заговорила, протестуя против несправедливых побоев. В данном случае образ «Валаамовой ослицы» употреблен Салтыковым для обозначения дворянского общества, от которого, по мнению писателя, уже тщетно ждать новых вкладов в «рост русского человека» и русской литературы.

Стр. 27...представление о какой-то добродетели, над которой так язвительно и резонно смеялся Гоголь. – Имеется в виду следующее место из гл. XI первого тома «Мертвых душ»: «А добродетельный человек все-таки не взят в герои. И можно даже сказать, почему не взят. Потому что пора наконец дать отдых бедному добродетельному человеку, потому что праздно вращается на устах слово «добродетельный человек»; потому что обратили в лошадь добродетельного человека, и нет писателя, который бы не ездил на нем, понукая и кнутом, и всем, чем ни попало; потому что изморили добродетельного человека до того, что теперь нет на нем и тени добродетели, а остались только ребра да кожа вместо тела; потому что лицемерно призывают добродетельного человека; потому что не уважают добродетельного человека» (Н. В. Гоголь. Собр. соч. в 7-ми томах, т. 5, М. 1967, стр. 261–262).

Стр. 30. Под свирелью пастушка... – Цитата из стихотворения Г. Р. Державина «Русские девушки» (1799).

Первый писатель, которому удалось возбудить в публике вкус к мужику, был Г. Григорович. – Имеются в виду повести «Деревня» (1846), «Антон-Горемыка» (1847), романы «Рыбаки» (1853), «Переселенцы» (1855–1856) и др.

Стр. 31...несомненно было жорж-зандовское происхождение его повествований... – Имеются в виду произведения Жорж Санд, написанные в патриархально-сентиментальном духе и относящиеся к жанру «сельской повести»: «Чертова лужа» (1846), «Маленькая Фадетта» (1848), «Франсуа-найденыш» (1848) и др.

...на сцену явился Г. Н. Успенский. – К рассказам Н. Успенского Салтыков откосился отрицательно и посвятил им пародию «Полуобразованность и жадность – родные сестры» («Наша общественная жизнь»: – «Современник», 1863, № I–2; см. в наст. изд. т. 6, стр. 34–36).

Стр. 33...единственный элемент, который был способен внести в нее живую струю... – Салтыков использует здесь выражение А. Скабичевского, давшее название его статье «Живая струя (Вопрос о народности литературы)» (ОЗ, 1868, № 4).

НОВАТОРЫ ОСОБОГО РОДА

Жертва вечерняя. Роман в двух книгах и четырех частях П. Боборыкина

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru («Всемирный труд», 1868 г.)
Впервые – ОЗ, 1868, № 11, отд. «Совр. обозрение», стр. 33–44 (вып. в свет – 11 ноября). Без подписи. Как статья Салтыкова, но без аргументации, зарегистрирована в указателях С. А. Венгерова («Критико-биографический словарь писателей и ученых», т. IV, 1895, стр. 192 и 207), А. В. Мезьер («Русская словесность с XI по XIX столетие включительно», ч. II, 1902, стр. 25) и в комментариях Н. В. Яковлева (Письма, 1924, стр. 61). Подтверждено на основании сравнительного текстового анализа С. С. Борщевским (изд. 1933–1941, т. 8, стр. 477–480) и, документально, опубликованным С. А. Макашиным фрагментом из рукописи воспоминаний П. Д. Боборыкина «За полвека», где сказано: «...в 1868 году там в «Отеч. записках» была напечатана анонимная рецензия на мою «Жертву вечернюю» (автор был Салтыков)...» (ЛН, т. 51–52, М. 1949, стр. 132).

Роман П. Д. Боборыкина «Жертва вечерняя», которому посвящена статья «Новаторы особого рода», был напечатан в 1868 г. в журнале «Всемирный труд», том самом журнале, где годом ранее появилась повесть В. П. Авенариуса «Поветрие» – первая часть романа «Бродящие силы».

Салтыков считал появление и успех романов типа «Жертвы вечерней» Боборыкина или «Бродящих сил» Авенариуса прискорбным знамением времени. Эти произведения, вместе с романом М. Стебницкого (Н. С. Лескова) «Некуда» и его же повестью «Воительница», Салтыков отнес к «клубничной литературе», [250] пользующейся особым успехом и процветающей в эпохи общественных кризисов и упадка идейных интересов. [251]

В такие эпохи особую силу получает «секта клубнистов», то есть «пустых и ничтожных людей», поглощенных животными-низменными интересами («безделицей»), чуждых всякой идейности.

Салтыков считает не только возможным, но и необходимым изображение «умственного и нравственного хлама человека», в том числе и «безделицы», но лишь в качестве продукта всей системы общественных отношений. В произведениях же «клубничной литературы», в том числе и в романе Боборыкина, «безделица» – «этот гнуснейший из всех современных общественных хламов» – становится предметом изображения сама по себе, «просто как хлам», а не как «признак известного общественного строя». Между тем следовало бы показать ее связь с «умирающим мирозерцанием», выяснить причины ее «исторической устойчивости». Именно так мыслил свою задачу сатирика, летописца общественных нравов Салтыков. Поэтому, например, он не ограничился лишь публицистической характеристикой типа «барыни – идолопоклонницы Приапа» в своей статье о романе Боборыкина. Этот тип Салтыков разработал в сатирическом образе «куколки», появляющемся впервые в «Господах ташкентцах» (вдова Ольга Сергеевна Персианова – «Ташкентцы пригготовительного класса. Параллель первая», 1871), а затем – в «Благонамеренных речах» («Еще переписка»), «Круглом годе», «Письмах к тетеньке» (см. об этом также в комментариях С. С. Борщевского – изд. 1933–1941, т. 8, стр. 478).

В общую систему размышлений Салтыкова на тему об изображении современными беллетристами «нового человека» («Напрасные опасения», «Уличная философия» и др.) входят и его саркастические замечания в статье «Новаторы особого рода» о двух персонажах «Жертвы вечерней», призванных олицетворять авторскую моральную тенденцию, – «новом человеке» Степе [252] и «совсем уже новом человеке» Кроткове. Салтыкова возмущает идейная ограниченность и плоскость этих якобы новаторов, тоже «новаторов особого рода», в сущности же – не более как пропагандистов «теории азов». Принципиальная неприемлемость для Салтыкова этой теории заключалась в убеждении ее сторонников, будто «возрождения» (в данном частном случае речь шла о возрождении «жертв общественного темперамента») можно достигнуть, «нимало не касаясь общественного строя».

В неприятии «теории азов», по-видимому, кроме всего прочего, заключен полемический намек на одну деталь тургеневской трактовки «нового человека» в лице Базарова. Один из пунктов «нигилистической» концепции Базарова как раз в том и состоял, что «сперва надо азбуке выучиться и потом уже взяться за книгу, а мы еще аза в глаза не видали».

В отрицательной характеристике «теории азов» скрыта также, может быть, принципиальная полемика с некоторыми положениями статьи «Письмо провинциала о задачах современной критики», напечатанной анонимно в третьей книжке «Отечественных записок» за 1868 г. [253] (автором ее был П. Л. Лавров [254]). С

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru целью «разогнать ту тяжелую мглу, которая лежит на современной мысли», Лавров предлагал «учить с азов». «В присутствии общего индифферентизма, повальной неохоты мыслить и недоверчивой администрации по делам печати, – говорилось далее в «Письме провинциала», – надо себе определить возможное из требований жизни, отказаться без дальней думы от невозможного, отказаться от приемов и вопросов, теперь не достигающих цели, и затем смело и неуклонно, опираясь на закон, на чувство человеческого достоинства и на крепкое убеждение, идти в избранном направлении, осуществляя свою программу, борясь за прогресс, за истину, за жизнь». Возможно, что в этих тезисах Салтыков усмотрел ограничение задач передовой общественной деятельности, призыв к «возрождению посредством азов», программу узкого практицизма. Характерно, что именно в таком духе, но с положительным знаком, «Письмо провинциала» было истолковано журналом «Дело». Автор «Внутреннего обозрения» в № 12 «Дела» за 1868 г. П. Гайдебуров полностью поддержал идеи «Письма провинциала», а в салтыковских «Признаках времени» (ОЗ, 1868, № 8; впоследствии – «Литературное положение») и «Напрасных опасениях» (ОЗ, 1868, № 10) увидел иное понимание задач литературы и критики, нежели в «Письме» Лаврова. Возлагая вину за состояние современной литературы на публику, Салтыков будто бы предлагал сложить руки и ждать, когда публика «поумнеет и разовьется». И далее в довольно резких выражениях П. Гайдебуров отказывал «Письмам о провинции» Салтыкова в практическом значении хотя бы потому, что «они написаны до такой степени тяжелым языком и в таких отвлеченных выражениях», что попросту непонятны.

Много лет спустя, упомянув в своих воспоминаниях, что «Жертва вечерняя» доставила ему «успех скандала», Боборыкин в то же время возражал против того толкования романа, которое дал Салтыков. «Меня поддерживало убеждение в том, – оправдывался он в книге «За полвека», – что замысел «Жертвы вечерней» не имел ничего общего с порнографической литературой, а содержал в себе горький урок и беспощадное изображение пустоты светской жизни, которая и доводит мою героиню до полного нравственного банкротства». [255] Как бы предвидя такого рода возражения, Салтыков парировал их, заключив свою статью следующим утверждением: хотя Боборыкин и желает быть моралистом, носители моральной тенденции автора «лишены всякой жизненности» и занимают в романе «относительно ничтожное место».

Салтыков и в дальнейшем относился к творчеству и теоретическим (по поводу «экспериментального», натуралистического романа) высказываниям Боборыкина в общем неодобрительно, хотя несколько произведений автора «Жертвы вечерней» и было опубликовано в 70-х годах в «Отеч. записках» (в том числе уже в 1870 г. роман «Солидные добродетели»). Воспоминания Боборыкина о Салтыкове см. в книге: «М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников», М. 1957; там же комментарий С. А. Макашина, посвященный взаимоотношениям Салтыкова и Боборыкина.

Стр. 36. Могут ли представлять для литературы достаточный интерес биографии пустых и ничтожных людей?.. в последнее время.. заметна была склонность разрешить его <этот вопрос> скорее в отрицательном, нежели в утвердительном смысле. – По-видимому, подразумевается беллетристика журнала «Дело», в частности, романы Шеллер-Михайлова (см. в наст. томе рецензию на «Засоренные дороги» и «С квартиры на квартиру» А. Михайлова).

Стр. 38...последние гибнут непосредственно под грубыми, почти механическими ударами судьбы... – Салтыков говорит о трагической участи «борцов с бессознательностью», русских революционеров, погибавших жертвами репрессий.

...первые... гибнут в своих детях... – Одна из постоянных тем салтыковского творчества, впервые еще иронически намеченная в следующих словах сентябрьской за 1863 г. хроники «Нашей общественной жизни»: «Каплуны... начинают подозревать, что в собственных их недрах завелось какое-то растлевающее начало, что собственные их дети, молодые каплуны, перестали ходить к обедне, не признают властей и надругаются над священным правом собственности» (см. т. 6 наст. изд., стр. 141–142). Этой теме были посвящены позднее рассказы «Непочтительный Коронат» («Благонамеренные речи»), «Больное место» («Сборник») и др.

Стр. 42...Домбрович... развивает эстетические склонности своей пациентки, давая ей читать «Liaisons dangereuses», «Mon poviciat» и других классиков – По рекомендации Домбровича героиня «Жертвы вечерней» читает роман Шодерло де Лакло «Опасные связи» (в романе Боборыкина названный «Liaisons amoureuses» – «Любовные связи»), а также предельно откровенную «Исповедь» Ж-Ж. Руссо («Les confessions de Jean Jacques»).

Soupers à la régence – оргии в Пале-Рояле, резиденции Филиппа II Орлеанского – регента Франции при малолетнем Людовике XV (1715–1723).

ЛИТЕРАТУРА НА ОБЕДЕ

Впервые – ОЗ, 1868, № 11, «Современное обозрение», стр. 163–175 (вып. в свет – 11 ноября). Без подписи. Авторство Салтыкова аргументировано С. С. Борщевским (изд. 1933–1941, стр. 480–483). Без упоминания имени Салтыкова и без аргументации статья приписана ему в полемической брошюре М. А. Антоновича и Ю. Г. Жуковского «Материалы для характеристики современной русской литературы», СПб. 1869. На стр. 192 брошюры сказано по поводу окончания «Литературы на обеде», что статью эту написал «тот же рецензент», которому принадлежит отзыв на сборник Д. Д. Минаева «В сумерках».

Подтверждение правильности атрибуции, предложенной С. С. Борщевским, содержится, по-видимому, во внутривыпускном письме Г. З. Елисеева, относящемся к «Литературе на обеде», к подготовке статьи к печати. «И Панютин и Марков, – писал Елисеев, – названы в фельетоне Незнакомца поименно. Следовательно, мы не только имеем право, но должны назвать их. Иначе Скарятин обидится. Когда же будут названы все, двум первым обижаться нечем. Разве что перлами названы. Тогда лучше перл заменить другим словом. – А без имен, умолченных нами по доброй воле, интенция будет казаться неблаговидною. Таково мое мнение, которое предоставляю решать Вам самим. Я же, к вышесказанному, еще прибавлю, что для журнала самое худшее подозрение – подозрение в кумовстве. Ваш Елисеев». Письмо это, опубликованное в «Лит. наследстве» (т. 51–52, м. 1949, стр. 248–249) как письмо к Некрасову, на том лишь основании, что оно сохранилось в его бумагах, почти несомненно обращено к Салтыкову, и именно к Салтыкову как автору «Литературы на обеде». В качестве редактора публицистического отдела «Отеч. записок», по которому «проходила» статья, Елисеев имел право сделать свои замечания и затем «предоставить» их решение автору. Но он не мог, конечно, избрать такую форму – «предоставляю решать Вам самим» – по отношению к Некрасову, как ответственному редактору журнала. Кроме того, известно, что Некрасов не вмешивался, за редчайшими исключениями, в конкретное редактирование отдела, который вели Елисеев и Салтыков.

Восьмого октября 1868 г. состоялось открытие двух участков Орловско-Витебской железной дороги (Витебск – Смоленск – Рославль) На торжественном обеде, данном по этому случаю в Смоленске администрацией дороги, во время речи реакционного публициста В. Д. Скарятин присутствовавшие устроили скандал, усиленно комментировавшийся в печати. Их возмущение вызвали выступления Скарятин в газете «Весть» с критикой справа правительственных реформ, его примирительное, по их мнению, отношение к полякам. Отражая взгляды наиболее закоренелых крепостников, недовольных реформой, Скарятин доказывал, что отмена крепостного права привела к нищете и разорению, что новые принципы «трудно совместить с монархическим порядком вещей» (см., например, «Весть», 1868, № 122 от 1 ноября). Затрагивая польский вопрос, защищая прежде всего сословные интересы, Скарятин осуждал нападки на поляков-помещиков, утверждения Каткова о «польской интриге» как о причине всех зол. Такая позиция встретила резкие возражения в ряде реакционных изданий (см., например, «Московские ведомости», 1868, № 156 от 18 июля, № 168 от 3 августа; «Москва», № 153 от 13 октября, № 154 от 15 октября; «Русский инвалид», № 303 от 5 ноября). Она определила и скандал в Смоленске, обструкцию, устроенную Скарятину смоленскими «либералами» и «патриотами», единомышленниками Каткова. Не случайно «Московские ведомости» рьяно поддержали устроителей скандала.

Салтыков одинаково иронически относится и к Скарятину и к смоленским «либералам-патриотам». Значение «скандала», по мнению сатирика, в том, что в обстановке застоя он все же как-то будит общественную мысль, будоража затхлую атмосферу, раскрывая в данном конкретном случае неприглядность позиций обеих сторон.

Упоминание о скандале в Смоленске см. также в рецензии Салтыкова, опубликованной в той же книжке «Отеч. записок» (см. стр. 285–286 наст. т.).

Статья «Литература на обеде» вызвала ряд откликов, враждебных и сочувственных. В обзоре «Журналистика» («СПб. ведомости», 1868, № 317) В. П. Буренин писал, что анонимный автор статьи трактует «с новой точки зрения надоевшую историю со Скарятиним». Позднее тот же Буренин упоминал о шутивном фельетоне в

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru «Отечественных записках» «по поводу известного происшествия с г. Скарятиным в Смоленске». «В этом фельетоне, – писал Буренин, – развязно доказывалось, что русское общество идет к развитию рядом скандалов и что, таким образом, полезное влияние последних не подлежит сомнению. Этот милый фельетон, заключавший в себе, так сказать, редакционную философию скандала», уясняет «довольно ярко, что за направление таится в возрожденных «Отечественных записках» («СПб. ведомости», 1872, № 144 от 27 мая, «Журналистика»).

Буренин, стремясь доказать, что некрасовские «Отечественные записки» – издание спекуляторское и беспринципное, истолковывал статью «Литература на обеде» как смакование скандалов, как проявление мелочного зубоскальства. Аналогичным образом осмыслялось выступление Салтыкова и в «Материалах для характеристики современной русской литературы» Жуковского и Антоновича. Здесь утверждалось, что смысл «Литературы на обеде» сводится к любованию «скандальчиками», определяется стремлением уйти от обсуждения серьезных общественных вопросов, от борьбы с официозно-либеральной журналистикой, обратившись к легковесным издевкам «над несчастным г. Скарятиним, битым, перебитым, убитым и окончательно лежащим» (стр. 78). На эти нападки отвечал Ив. Рождественский в брошюре «Литературное падение гг. Антоновича и Жуковского», СПб. 1869, стр. 22, 23. Отвергая толкование, выказанное в «Материалах», Рождественский показывает, что редакцию «Отечественных записок» необходимость заставляет говорить о «скандалах», а не «о ненормальности современного политического строя» (стр. 23). По мысли Рождественского, мелочность вопросов, затронутых в «Литературе на обеде», лишь мнимая, определяемая положением подцензурной печати: «Возмущаться против либеральных оглавлений и точек, по моему мнению, то же, что возмущаться тем, что турецкая печать не нападает на турецкого султана с той же свободой, с какою североамериканские газеты читают внушения президентам Соединенных Штатов» (стр. 23–24).

С. С. Борщевский считает, что Ф. М. Достоевский в «Дневнике писателя» за 1873 г. («Полписьма «одного лица») пародирует статью «Литература на обеде» (изд. 1933–1941, т. 8, стр. 21).

Стр. 48..твоя ученость не восходит выше учености покойного «Свистка». – Подразумевается «ученость» сатирических масок, вымышленных персонажей – «авторов» произведений, помещавшихся в «Свистке» (Козьма Прутков, Конрад Лилиеншвагер и пр.).

Стр. 49. История России, в особенности новейшей, есть история ее обедов... – В связи с усилением реакции в период и после польского восстания 1863 г. торжественные обеды, на которых выражались «патриотические» чувства, провозглашались верноподданнические тосты, принимались адреса, стали широко распространенным явлением (см. т. 6 наст. изд., стр. 124–125). Весной 1867 г., в связи с приездом в Россию делегаций западных славян, число таких обедов особенно возросло. Без сообщений о них в мае – июне не обходился почти ни один номер газет (см., например, «Голос» за эти месяцы 1867 г.).

Константин Багрянородный знает его уже цветущим и богатым... –

Византийский император Константин Багрянородный упоминает о Смоленске в сочинении «Об управлении империей».

В XII веке Смоленск уже блистал классическим образованием, изучая греческий и латинский языки... – Ироническое сближение смоленских «патриотов» с Катковым, ярким сторонником классического образования.

...Смоленск сделался, по выражению наших предков, дорогим ожерельем России... ..не менее Москвы, дорожила и Литва. Смоленск поочередно переходил то к той, то к другой. – Этими словами, по преданию, назвал Смоленск Борис Годунов, посланный в конце XVI в. для укрепления города (см. П. Никитин. История города Смоленска, М. 1848, стр. 126). Такая характеристика Смоленска стала широко распространенной в официально-патриотических кругах (см., например, сб. А. К. Ильенкова «Смоленск, дорогое ожерелье царства русского», СПб. 1894). Упоминание о легкости, с которой Смоленск переходил то на сторону России, то на сторону Литвы, заставляло с особенной иронией воспринимать слова о «глубине и древности его патриотических чувств», о том, что он «всегда горел патриотическим жаром», делало особенно смешным возмущение смоленского дворянства «пропольской» ориентацией Скарятинина. Такое упоминание противоречило указаниям негласной цензурной инструкции

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru министерства внутренних дел от 21 декабря 1863 г.: «Противно цензурным правилам <...> доказывать мнимую принадлежность Смоленска Литве» («Сборник распоряжений по делам печати с 1863 по 1 сентября 1865», СПб. 1865).

Стр. 50...который целую жизнь не мог забыть, что рижские немцы взяли с него два червонца за десяток яиц. – Анекдот о жадном трактирщике, взявшем с Петра I, во время путешествия царя, большую сумму денег за провизию, весьма распространен в различных вариантах (см., например, «Семейные вечера», 1867, № 3, стр. 100–101).

Так... понял свое и других положение Незнакомец. – Под этим псевдонимом печатал свои фельетоны А. С. Суворин. Об открытии дороги, скандале в Смоленске и пр. он писал в большом фельетоне «Недельные очерки и картинки» («СПб. ведомости», 1868, № 280 от 13 октября). Примерно в том же духе излагался материал и в фельетоне Нила Адмирари (Л. К. Панютина) (см. «Голос», 1868, № 283 от 13 октября).

...а в Пскове даже древностей не забыл. – Имеются в виду следующие слова фельетона: «Древний Псков, в котором мы обедали при оглушительном реве музыки, пробуждал в душе исторические воспоминания».

Стр. 52...затаить на этот раз в душе своей свои поворотные убеждения и высказывать одни только бесповоротные. – Имеется в виду, что Скарятин строил свою речь в стиле официального патриотизма, говоря о «русском духе», «русских силах», которые «напрут на окраины», обходя те проблемы, трактовка которых в «Вести» вызывала недовольство сторонников Каткова (о «внутренних язвах» России, о вреде реформ, о необходимости снисходительного отношения к польским помещикам и т. п.).

Стр. 53...что он утверждал солидарность русского общества с Каракозовым, что он проповедовал гибельность реформ. – В 1866 г., после покушения Каракозова, Скарятин в ряде статей возражал против катковского объяснения случившегося происками «польской интриги» («Весть», 1866, №№ 27, 29, 31 от 11, 18, 25 апреля и др.). Он связывал покушение с общественной атмосферой России, с революционным движением, не имеющим ничего общего с Польшей. По словам Скарятина, покушение – результат болезни, «которой заражено русское общество», «тех язв, которые снедают русское общество» (№ 31). О пагубных следствиях реформ Скарятин писал неоднократно, замечая, однако, что речь идет не столько о самих реформах, сколько о выполнении их (см., например, передовую «Вести», 1868, № 122). В № 303 «Русского инвалида» от 5 ноября 1868 г. утверждалось, что все содержание «Вести» направлено против реформ. Так же оценивали направление «Вести» катковские издания. По словам Суворина, подобные толки повторялись и во время смоленского обеда.

Первое известие о скандале... сообщил сам Скарятин в своей газете «Весть». – В № 114 от 11 октября кратко сообщалось о скандале в Смоленске. Автор старался сгладить происшедшее, говорил, что мнения разделились, что лишь случайно заигравшая музыка помешала ему кончить речь. Он умалчивал о продолжении скандала, завершая свою заметку похвалой Смоленску, его истории, патриотизму его жителей. В № 117 от 18 октября Скарятин вынужден был вновь возвратиться к происшествию в Смоленске. Возражая на отклики «Русского инвалида» и «Московских ведомостей», Скарятин старался доказать, что скандал вызван вовсе не направлением «Вести». Он не соглашался с опасениями Н. Юматова, что, при таком поведении дворян, как в Смоленске, журналисты станут редкими гостями на подобных празднествах («Новое время», № 201 от 14 октября). По Скарятину, не представители «свободного слова», а его ненавистники будут встречать отпор общества. Наиболее сочувственно относится Скарятин к статье «Русских ведомостей» (см. ниже), объясняющих скандал избытком вина.

Стр. 54. Не вполне понял суть случившегося... – Подразумеваются попытки Скарятина преуменьшить значение скандала, объяснить его случайным недовольством немногих из присутствующих, избытком вина и пр. По Салтыкову, в скандале сказалась именно та нетерпимость к независимым, самостоятельным мнениям, которая была характерна для Скарятина.

...известного поступка пермских мужиков в прошедшем году с Сен-Лораном. – Летом 1867 г. пермские крестьяне приняли за поджигателя чиновника Сен-Лорана (см. «Голос», 1867, № 251 от 11 сентября. Об истории с Сен-Лораном см. «Новости петербургской жизни». – ЛН, т. 71, М. 1963, стр. 272–273).

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru ...отнесся редактор «Нового времени» Юматов. – В №№ 200 и 201 «Нового времени» от 12 и 14 октября с негодованием говорилось о скандале. Особенно резко Юматов осуждал зачинщиков скандала, Каткова, «Московские ведомости», во второй статье, утверждая, что для поддержания порядка среди таких людей, как участники обеда, нужна была бы кавалерийская нагайка и несколько дюжих вахмистров.

Стр. 55...двух статей, написанных по поводу смоленского происшествия «Московскими ведомостями». – О скандале в Смоленске говорилось в передовых №№ 221 и 224 от 13 и 17 октября. Катков оправдывал зачинщиков скандала, обвинял Скарятину в защите интересов «панов и ксендзов». Направление Скарятину объявлялось антирусским, антипатриотическим, враждебным всему, что идет на пользу России. Катков намекал, что деятельность Скарятину так же враждебна России, как выступления Герцена. Резко осуждался и Юматов, призывающий, по словам Каткова, пустить нагайки против русских патриотов. Кроме названных передовых, о скандале в Смоленске, о Скарятине говорилось в письмах «Из Смоленска», «Из Псковской губернии» (№№ 223, 231 от 16 и 26 октября), в заметке «Из Петербурга» (№ 230 от 25 октября), в передовой № 238 от 3 ноября (отклик на выступление «Вести» против «Русского инвалида»).

Стр. 56. «Русские ведомости» идут еще дальше Юматова... – Подразумевается передовая № 222 от 13 октября. В ней резко осуждались зачинщики скандала, которые, по мнению редакции, ничем не отличаются от ватаги подгулявших чернорабочих.

Стр. 57. Слово «патриот» в наше время очень скользкое и неопределенное. – Имеется в виду спекуляция реакционных кругов на слове «патриот». Под знаменем «патриотизма» выступали самые реакционные публицисты, в первую очередь Катков.

...во время Гоголя имело слово: «добродетельный человек». – Подразумеваются рассуждения Гоголя о «добродетельном человеке» в XI главе I тома «Мертвых душ» (см. прим. к стр. 27).

...давно ли Москва сомневалась не только в патриотизме всей петербургской литературы вообще, а даже в патриотизме и самого Петербурга? – Речь идет о нападках московской реакционной журналистики на «петербургскую атмосферу», способствующую развитию «нигилизма» (см., например, «Московские ведомости», 1863, статью Щебальского «Наши космополиты» в № 51, передовые №№ 181, 214 и др.).

...одна из газет... высказала мнение... – Имеется в виду статья «Нового времени», № 201 (см. выше, прим. к стр. 54).

Стр. 58...скандал у нас есть пока единственный двигатель мысли общественной и литературной. – Эти слова противники «Отечественных записок» пытались истолковать как оправдание «скандалов» (см. «Материалы для характеристики современной русской литературы», стр. 196). На самом деле речь шла об ином: «в стране, где нет полной свободы слова, где некоторая свобода слова дана только для опыта, и то избранным», не может быть, по мысли Салтыкова, серьезной литературно-общественной жизни. Она может проявляться лишь в формах, подобных смоленскому скандалу.

Стр. 59...начинают говорить о смертной казни. – См., например, передовую газеты «Москва» (1868, № 18 от 24 апреля), статью «Заграничная жизнь» («СПб. ведомости», 1868, № 172 от 26 июня).

...о необходимости новой кодификации свода законов. – См., например, передовую «СПб. ведомостей» (1868, № 262 от 25 сентября) о судебной реформе, о необходимости «радикальной кодификации нашего свода законов».

...о замыслах Наполеона на Пруссию... – См., например, «Москва», 1868, № 16 от 21 апреля.

Кой-где встретится заметка в газетах... – См., например, упоминания о волнениях в Рязанской губернии, о сборе недоимок, о продаже крестьянского скота («Биржевые ведомости», 1867, № 347 от 25 декабря).

Стр. 60...ведь не киргизские у нас степи... – Киргизская орда, киргизские степи, Ташкент – административный центр этого района – в конце 60-х годов были символом

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru беспорядка, волнений, общественного неурядиства. В письме «Из Псковской губернии» (см. выше) Скарятин обвинялся, в частности, в том, что он считает, будто Россия «похожа на Киргизскую орду». Ироническое замечание Салтыкова имеет, видимо, двоякий смысл: 1) мы даже на настоящий «скандал» не способны, нет оснований ожидать у нас серьезных волнений, 2) не так уж мы отличаемся от Киргизской орды, как кажется на первый взгляд. От второго толкования тянутся нити к «Господам ташкентцам».

УЛИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ

(По поводу 6-й главы 5-й части романа «Обрыв»)

Впервые: ОЗ, 1869, № 6, отд. «Совр. обозрение», стр. 127–159 (вып. в свет – 5 июня). Без подписи. Авторство Салтыкова указано, без аргументации, А. В. Мезьер («Русская словесность с XI по XIX столетие включ.», ч. II, СПб. 1902, стр. 74), подтверждено на основании письма Салтыкова к Н. А. Некрасову от 22 мая 1869 г. В. Е. Евгеньевым-Максимовым («Печать и революция», 1927, кн. 4, стр. 58).

Статья представляет собой одно из значительных выступлений Салтыкова в защиту революционной молодежи от так называемой «антинигилистической» критики; была отмечена цензурой в годовом обзоре как «предосудительная» и как характеризующая направление «Отечественных записок» (ЛН, т. 51–52, м. 1949, стр. 360–362).

Так как изображение «нового человека» – Марка Волохова – в романе Гончарова «Обрыв», по существу, смыкалось с тем представлением о революционерах, которое насаждала «антинигилистическая» литература, Салтыков посвятил свою статью преимущественно этой теме. В письме к Некрасову 22 мая 1869 г. Салтыков сообщал, что написал статью «по поводу «Обрыва», то есть не касаясь собственно романа, а философии Гончарова».

Речь в статье идет о трех основных проблемах, решение которых объясняет салтыковскую оценку произведения Гончарова: 1) об отношении творчества писателя к его мировоззрению, 2) об отношении общества к прогрессу, в частности – к развитию передовой философской и естественнонаучной мысли, 3) о роли крупнейших литераторов 40-х годов в современном общественном движении.

Салтыков восстает против «ходячего учения» о будто бы индифферентной по отношению к мирозерцанию силе художественности: «...интерес беллетристического произведения, при равных художественных силах, всегда пропорционален степени умственного развития автора». «Литература и пропаганда – одно и то же». В неясности идейной позиции, в «добросовестном заблуждении» видит Салтыков главную причину творческой неудачи Гончарова. Не будучи глубоким мыслителем, Гончаров, по мнению критика, в прежних своих произведениях сохранял необходимый такт, позволявший ему, талантливому художнику, оставаться в рамках «преданий сороковых годов». Автору «Обрыва» изменил этот такт, его вторжение в область философии оказалось несостоятельным. Его Волохов – воплощение примитивного «бытового нигилизма» – преподносится читателю как некий «доктринодержатель», идеолог передовой молодежи.

Эволюция Гончарова, по мнению Салтыкова, отражает определенную закономерность в творческой судьбе ряда выдающихся литераторов 40-х годов: «решившись знакомить публику с своим мирозерцанием, все известнейшие русские беллетристы высказали взгляды совершенно однородные, все стали на сторону уличной морали, на сторону заповеданного, общепринятого и установившегося, против сомневающегося, неудовлетворенного и ищущего» (имеются в виду, очевидно, прежде всего Писемский, автор «Взбаламученного моря», отчасти Тургенев, Достоевский и теперь – Гончаров). Высоко оценивая историческую роль людей 40-х годов, вождем которых был Белинский, Салтыков, сам представитель этой славной плеяды русских литераторов, зовет их продолжить начатое великое дело в новых исторических условиях. Салтыков с горечью отмечает, что у большинства деятелей 40-х годов на такой подвиг не хватило ни подготовки, ни решимости, но что именно так «поступили бы те знаменитые покойники» (то есть Белинский и Грановский).

Салтыков не упоминает об авторском предисловии к роману «Обрыв», хотя оно могло бы служить подтверждением его мысли о серьезных переменах, происшедших в сознании писателя. Гончаров признавался, что в первоначальном замысле «Обрыва», относящемся к середине 50-х годов, образ Марка Волохова-нигилиста отсутствовал, что его появление связано с более поздним временем («Вестник Европы», 1869, кн. 1, стр. 5–6).

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru Анализ рассуждений и поступков Марка Волохова дает возможность Салтыкову всесторонне обосновать главный тезис: изображение «новых людей» в романе Гончарова свидетельствует об антиисторическом, консервативном взгляде на действительность, о защите обывательской, «уличной» философии. Эзоповский образ «улицы», стихийно-консервативной, приверженной к существующему порядку вещей, освященному традицией, широко используется в эти годы и Салтыковым, и другими публицистами «Отечественных записок» (см., например, статьи «Напрасные опасения», «Насущные потребности литературы», рецензию на роман Оммулевского «Шаг за шагом» и др.).

«Улица» – это мир примитивных, обывательских представлений, понятий, перевернутых наизнанку. Обличая этот мир, Салтыков возвращает понятиям их подлинное содержание. Так, название «отрицателей», которым консервативная печать бранит критически настроенную молодежь (нигилистов), он адресует самим охранителям порядка: «...первый акт возбужденной человеческой мысли и составляет то, что на улице слывет под именем отрицания. Очевидно, однако ж, что это совсем не отрицание, а именно только первый шаг к познанию истины, и что отрицанием приличнее было бы, напротив того, назвать такой акт человеческой мысли, который упорно отказывается от познания истины, который согласен, чтоб человечество гибло жертвою своего невежества...». Эти рассуждения Салтыкова предвосхищают его, полный глубокого революционного смысла, парадокс в пятой главе «Итогов», написанной спустя два года и запрещенной цензурой. За это время произошло много перемен: европейская реакция торжествовала победу над парижскими коммунарами, в России готовился судебный процесс по «нечаевскому делу», в связи с чем «уличная» пресса огульно нападала на всю передовую молодежь – «отрицателей» и «анархистов». И вот автор «Итогов» неожиданно называет анархистами... апологетов застоя: Не справедливо ли будет, если мы назовем «анархическим такое состояние общества, когда оно самодовольно засыпает...» (см. наст. изд., т. 7). И далее, там же: анархия – то в том именно и заключается, что ум человеческий утрачивает способность обобщений и весь погружается в тину мелочей и подробностей. Возникает салтыковский термин «анархия успокоения», который определяет социально-политическую почву «уличной философии».

По мнению Салтыкова, Волохов показан с позиций этой именно философии, отождествляющей область недозволенного с областью неверного. Несостоятельность Волохова как борца за передовые идеи Салтыков подчеркнул впоследствии с новой сатирической остротой: в очерке «Помпадур борьбы или проказы будущего» (1873) помпадурша Анна Григорьевна Волшебнова сообщает Феденьке Кротикову, что Волохов стал преданным человеком. «– Я знаю это и не раз об этом думал, душа моя!» – отзывается помпадур. «Но Волохов еще так недавно сделался консерватором, что не успел заслужить полного доверия. Не моего, конечно, – я искренно верю его раскаянию! – но доверия общества...» (см. т. 8, стр. 184–185).

Псевдогероям вроде Волохова Салтыков противопоставлял в своей статье цельную натуру героя из романа Фр. Шпильгагена «Один в поле не воин», и как бы в подтверждение и разъяснение этой мысли рядом с «Уличной философией» была помещена статья М. К. Цебриковой «Женские типы Шпильгагена» (по романам «Загадочные натуры» и «Из мрака к свету»).

Гончаров с раздражением реагировал на статью «Уличная философия» в двух письмах к С. А. Никитенко. Писатель не пытался проникнуть в существо спора. «Говорят, в «Отечественных записках» появилась ругательная статья «Уличная философия» на мою книгу. Буренин ли написал ее или сам Щедрин, который все проповедовал, что писать изящно – глупо, а надо писать, как он, слюнями бешеной собаки... – и все из того, чтоб быть первым!» [256] И несколько позднее: «Если статью в «Отечественных записках» подписал не Скабичевский, то ее писал Щедрин, то есть Салтыков. А этот господин ровно ничего не понимает в художественной сфере... Он карал и казнил город Глупов, чиновный люд, взяточников-генералов – и, играя на одной струне, других не признает, требуя, чтобы в литературе все ругались только, как он». [257]

Вскоре, в октябрьском номере «Отечественных записок» за 1869 г., появилась большая статья А. М. Скабичевского об «Обрыве» – «Старая правда». Развивая один из тезисов Салтыкова, критик писал, что Гончаров «увлекся желанием попробовать свои силы на чуждой ему почве, и перестал быть поэтом». Критик ссылается на предисловие к роману, где речь идет о давнишнем замысле произведения и новых лицах, и полемизирует с таким творческим методом. Считая изображение старого мира большой удачей Гончарова, Скабичевский находит, что образы «Веры, и в

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru особенности Волохова, полны несообразностей и противоречий». Стремясь представить Веру титанической натурой, автор, по мнению Скабичевского, подчас рисует ее «нервной, чувствительной и слабой барышней». Эту тему продолжила Цебрикова в статье «Псевдоновая героиня» (1870, № 5).

Значительно более резко, но, по существу, в том же направлении критиковали «Обрыв» публицисты журнала «Дело». Сюда относится прежде всего известная статья Н. В. Шелгунова «Талантливая бесталанность» (1869, № 8) и «Новые романы старых романистов» С. С. Окрейца (1869, № 9).

Даже в журнале, напечатавшем роман Гончарова, – «Вестнике Европы», – в статье Е. И. Утина «Литературные споры нашего времени» (1869, № 11) говорилось: «Вместе с законченной ролью Лаврецких, Бельтовых, Рудиных и их последним словом Обломовым <этим мастерским типом, этой славой Гончарова>, закончилась, собственно говоря, и прежняя роль писателей старого направления. <...> Очевидно только, что, изображая молодое поколение в <...> грубой фигуре Марка Волохова, писатели старшего возраста показали, что они имеют мало общего с стремлениями людей новых идей и что они значительно потеряли то чутье, которое прежде не допускало их рисовать ни одного фантастического типа. Так или иначе, старые типы износились, исчерпаны, прежняя роль старых писателей выполнена, и для русской литературы уже несколько лет как наступила новая эпоха».

Среди многих статей, посвященных «Обрыву», хронологически ранней и наиболее глубокой – по смыслу была салтыковская «Уличная философия», в которой критик горячо отстаивал общественные и эстетические убеждения революционной демократии.

Стр. 62...в таком философском трактате, как, например, «голубиная книга»... – См. прим. к стр. 19.

Стр. 63...литературою легкого поведения... – Намек на статью М. А. Антоновича «Литературное лицемерие «Отечественных записок». Вопрос, представляемый на разрешение легкой литературе» («Космос», 1869, № 4). Подробно о позиции Антоновича и причинах его нападков на «Отеч. записки» см. в рецензии Салтыкова на «Материалы для характеристики современной русской литературы» (наст. том, стр. 324–335).

Стр. 65...особливо ежели содержание ее детское... – Ср. рассуждения Салтыкова о «детских мыслях» в наст. томе, стр. 281.

Стр. 69...это будет выполнено в одной из ближайших книжек нашего журнала... – В октябрьской книжке «Отечественных записок» за 1869 г. напечатана статья Скабичевского «Старая правда».

Благочестивые живописцы... избегают всего, что могло бы напомнить о человеческом образе при взгляде на эту отверженную фигуру. – Свою интерпретацию евангельской легенды об Иуде Салтыков дал в ноябрьской хронике «Нашей общественной жизни» за 1863 г. (текст этот не был пропущен в печать). См т. 6 наст. изд., стр. 153, а также комментарий на стр. 616.

Стр. 70...образцы которых мы видели у гг. Стебницкого и Авенариуса, не говоря уже о г. Писемском... – Речь идет об «антинигилистических» романах Н. С. Лескова (псевд. М. Стебницкий) «Некуда» (1864), А. Ф. Писемского «Взбаламученное море» (1864) и повестях В. П. Авенариуса «Современная идиллия» (1865) и «Поветрие» (1867), изданных вместе под названием «Бродящие силы» (1867). Подробную характеристику романа «Некуда» и книги «Бродящие силы» – см. в рецензиях Салтыкова на стр. 335–373 и 237–242.

...всякого рода киниками... – Возможно, имеется в виду персонаж из «Взбаламученного моря» – Иона-киник.

Стр. 72. Шекспировский фальстаф – известный персонаж из пьес Шекспира («Хроника короля Генриха IV», «Виндзорские проказницы»).

Стр. 74...устраивает ассоциацию работников, становится во главе социального и политического движения... – Об отношении Салтыкова к «ассоциациям работников» (то есть рабочим) см. в наст. томе рецензию на кн. «Задельная плата и кооперативные ассоциации» Жюлья Мура и комментарий к ней.

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru Люди порядочные и в врагах своих видят людей порядочных... – Намек на выступление Антоновича и Жуковского против Некрасова, Елисеева и самого Салтыкова (см. рецензию Салтыкова «Материалы для характеристики современной русской литературы»).

Стр. 74–75...по роману Ключникова «Марево». – Отрицательную оценку этого романа, опубликованного в «Русском вестнике» (1864, № 2–3, 5) Салтыков дал в хронике «Наша общественная жизнь» (С, 1864, № 3). См. наст. изд., т. 6, стр. 315–321. Критике «Марева» посвящена статья Писарева «Сердитое бессилие» («Русское слово», 1865, № 2).

Стр. 75...в недавней повести Гл. Успенского «Разорение». – Серия очерков Г. И. Успенского «Разоренье». Высоко оценивая многие сцены «Разоренья», Плеханов (в статье «Гл. И. Успенский») замечал, что иногда главный герой играет «роль какого-то Чацкого из рабочих».

Стр. 79. Самый процесс жизни и т. д. – Курсив в цитатах из «Обрыва» везде принадлежит Салтыкову.

Стр. 85...так ты, значит, отрицаешь всё! – По-видимому, Салтыков напоминает здесь читателю спор Базарова с Павлом Кирсановым: «– Мы действуем в силу того, что мы признаем полезным, – промолвил Базаров. – В теперешнее время полезнее всего отрицание, – мы отрицаем. – Всё? – Всё. – Как? не только искусство, поэзию... но и... страшно вымолвить... – Всё, – с невыразимым спокойствием повторил Базаров» («Отцы и дети», глава X).

Стр. 88...с прилагательными именами надлежит обращаться с большею разборчивостью, нежели та, с которою обращался повар Ноздрева с ингредиентами стола своего барина. – «Обед, как видно, не составлял у Ноздрева главного в жизни, – пишет Гоголь, – блюда не играли большой роли; кое-что и пригорело, кое-что и вовсе не сварилось. Видно, что повар руководствовался более каким-то вдохновеньем и клал первое, что попадалось под руку: стоял ли возле него перец – он сыпал перец, капуста ли попала – совал капусту, пичкал молоко, ветчину, горох, словом, катай-валяй, было бы горячо, а вкус какой-нибудь, верно, выдет» («Мертвые души», т. 1, глава IV).

Стр. 91...что новейшие физиологи у низших организмов признают душу и что наши ученые переводят трактаты об этом на русский язык... – Большой популярностью в те годы у передовых русских биологов и медиков пользовались труды выдающегося французского ученого Клода Бернара, который был основателем экспериментальной физиологии. В русском переводе вышли: «Введение к изучению опытной медицины» (1866), «Лекции физиологии и патологии нервной системы» (1866–1867), «Курс общей физиологии. Свойства живых тканей» (1867) и др. М. А. Антонович начал переводить большой труд К. Бернара «Курс общей физиологии. Жизненные явления, общие животным и растениям». Хотя по своему прямому значению слова Салтыкова имеют в виду такие переводы, мысль критика в этой эзоповской форме обращается к событиям более важным для развития русской науки. 60-е годы были временем, когда вышли в свет работы И. М. Сеченова, составившие эпоху в отечественной и мировой науке. Психологический трактат Сеченова «Рефлексы головного мозга» появился в 1863 г. в «Медицинском вестнике». Сеченов доказывал, что явления сознательной и бессознательной жизни по природе своей – рефлексы. Первоначально автор предполагал напечатать эту свою работу под названием «Попытка ввести физиологические основы в психические процессы» в «Современнике», поскольку мировоззрение воинствующего материалиста объединяло его с органом революционной демократии. Однако цензура разрешила печатать трактат только в специальном журнале и под другим заглавием. На отдельное издание «Рефлексов головного мозга» в 1866 г. был наложен арест. Стоял вопрос о привлечении автора, «философа нигилизма», к судебной ответственности. В 1863 г. Сеченов опубликовал новый труд – «Исследование центров, задерживающих отражение движения в мозгу лягушки», в 1866 г. – «Физиологию нервной системы».

...что новейшая философия все больше и больше отдает предпочтения антропологическому принципу и что книжки об этом также переводятся на русский язык... – Первый русский перевод книги основоположника «антропологического принципа» Л. Фейербаха вышел в Лондоне в 1861 г. (перевод П. Н. Рыбникова), но еще задолго до того, начиная с 40-х годов этот манифест материализма оказывал громадное революционизирующее влияние на деятелей русского освободительного движения. В 1860 г. последователь и продолжатель Фейербаха Чернышевский

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru напечатал свою работу «Антропологический принцип в философии» («Современник», № 4–5), о чем, судя по контексту, и напоминает Салтыков. Имена Чернышевского и Сеченова были знаменем русской революционной молодежи, и то, что автор статьи «Уличная философия» ставил их рядом, вряд ли укрылось от взора внимательного современника.

Стр. 94. Темно всюду, глухо всюду. Быть тут чуду, быть тут чуду! – Несколько измененная цитата из второй части поэмы А. Мицкевича «Дзяды».

НАСУЩНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ЛИТЕРАТУРЫ

(Свобода речи, терпимость и наши законы о печати, СПб. 1869)
Впервые – ОЗ, 1869, № 10, отд. «Совр. обозрение», стр. 159–180 (вып. в свет – 15 октября). Подпись – С. Авторство без аргументации указано Н. В. Яковлевым (Письма, 1924, стр. 57) и предположительно В. В. Гиппиусом (Z. f. sl. Ph.; S. 184), подтверждено на основании сравнительного тематико-стилистического анализа С. С. Борщевским (ЛН, т. 13–14, М. 1934, стр. 81–96).

Автором книги о «свободе речи», выход которой в свет дал Салтыкову повод высказаться по кардинальным проблемам литературного развития и современного положения литературы, был известный впоследствии экономист, социолог, публицист народнического толка Василий Васильевич Берви, писавший под псевдонимом «Н. Флеровский». Он выступил в защиту репрессированных студентов после студенческих волнений осени 1861 г., вскоре был арестован и выслан из Петербурга. В 1866 г. в Вологде он встречался с сосланными туда же П. Л. Лавровым и Н. В. Шелгуновым.

Книга «Свобода речи, терпимость и наши законы о печати», законченная Берви в Твери (под предисловием стоит дата: 8 мая 1869 г. [258]), представляет собой публицистическое выступление в защиту «свободы слова» в России, подкрепляемое историческим очерком положения «слова», то есть печати, в разных странах Европы, Азии и Америки. Одна из центральных идей книги заключается в том, что дальнейшее развитие России по пути, намеченному реформой 1861 г., невозможно без свободы слова. Стеснение же свободы слова цензурой и другими административными мерами никогда не достигает тех целей, которые таким стеснением преследуются. Напротив, как сказано в предисловии Берви-Флеровского к его книге, цитируемом Салтыковым, при стеснении свободы слова «развитие государства делается болезненным и сопровождается потрясениями». [259] Развертывая в настоящей статье всесторонний анализ состояния и задач литературы, Салтыков опирается на идеи, высказанные им ранее, в частности, в «Признаках времени» (в особенности в очерках «Литературное положение» и «Легковесные»), в статьях «Напрасные опасения» и «Уличная философия». Салтыков широко пользуется уже сложившимися в его публицистике эзоповыми образами («призраки», «легковесные», «охочие птицы», «уличные истины» и др.).

Одно из самых характерных проявлений заполонившего общество «торжества легковесности», писал Салтыков в очерке «Легковесные», – «доходящая до остервенения ненависть к мысли» (т. 7 наст. изд., стр. 47).

«Кодекс легковесности», констатируется уже в самом начале комментируемой статьи, требует «умерщвления свободы слова», заменяет разум призрачной эмпирической истиной, «нелепым и близоруким убеждением», которое «ложится в основу целого порядка вещей, дает начало какой-то фантастической действительности» (так возникает важнейшее в системе салтыковских идей и в его поэтике понятие). Салтыкова тревожит характерное для этой фантастической, неразумной, призрачной действительности извращение отношений литературы и общества.

Неизменный и постоянный пропагандист активной общественной роли литературы, Салтыков смотрит на ее современное положение и идеальное назначение как просветитель, сохранивший верность «неумирающим» положениям утопического социализма, и ни в коем случае не сводит общественное назначение литературы к служению узко практическим задачам (ср. прим. к статье «Новаторы особого рода»).

Он констатирует главную объективную причину, вызвавшую «бессилие» современной литературы – наступление реакции. Отводя литературе роль агента, обновляющего идвигающего общество, Салтыков считает глубоко ненормальным явлением подчинение ее «толпе», «улице», власти «призраков». Литература – «высший орган общественной мысли», и в этом своем качестве она идет и не может не идти впереди общества. Только благодаря этому качеству она и играет предназначенную ей – воспитательную роль (ср. «Итоги. IV», ОЗ, 1871, № 4 – см. т. 7 наст. изд., стр. 462).

Несколько страниц комментируемой статьи и посвящены, в связи с этой темой, определению понятия «идеальная истина». Безусловно, речь идет о выработке социалистического идеала. «Формула истины идеальной, – пишет Салтыков, – счастье, гармония». Однако, во-первых, эта формула слишком обширна, «содержание ее недостаточно выработано и приготовлено», и, во-вторых, идеальная истина сама есть процесс, зависящий от «каждого нового открытия», от прогресса знания. (Осознание последнего обстоятельства существенно для социалистических воззрений Салтыкова и объясняет его скептическое отношение ко всякой регламентации будущего.)

Общественная мысль, органом которой и является литература, в конечном счете имеет целью – найти рациональные основания для установления отношений человека к человеку и к природе. На этой почве поисков «самые противоположные направления встречаются на каждом шагу». (Салтыков называет четыре таких направления или «школы» – социально-экономическая, политическая, реальная, спиритуалистическая, – явно отдавая предпочтение первой, социально-экономической, то есть утопическому социализму, содержание идей которой он далее излагает подробнее.)

В ряду различных направлений общественной мысли и «уличная философия» имеет свое право на существование. Но беда в том, что «легковесные», «алармисты», [260] «охочие люди», [261] вовсе не ограничиваются лишь пропагандой «уличных воззрений». Они клеймят всякое «несогласие мысли с ходячими убеждениями толпы, и даже молчание, названием «вредного направления».

Однако понятие «вредного направления» не было досужей выдумкой алармистов. Оно было юридически закреплено в русских законах о печати, в частности, в «законе 6 апреля 1865 года», которым предусматривалось, что «повременные» (то есть периодические) издания, «в случае замеченного в них вредного направления», подвергаются административным взысканиям (а не судебному преследованию). [262] Тем самым, в сущности, признавалась невозможность законного преследования издания по суду за «направление», в силу неопределенности самого этого понятия. Невозможность дать четкое определение понятию «вредное направление» констатировала и комиссия под председательством кн. Д. Оболенского, готовившая «Проект устава о книгопечатании», [263] легший в основу «закона 6 апреля». «Словами вредное направление, – говорилось в комментариях комиссии к соответствующему параграфу проекта, – выражается мысль общая <...> нет никакой возможности даже приблизительно определить бесспорные признаки вредного направления...». [264] Тем не менее, несмотря на очевидную и признанную неясность формулы «вредное направление», она постоянно использовалась в цензурной практике (за «вредное направление» были закрыты в 1866 г. «Современник» и «Русское слово»).

И если до этого темой размышлений Салтыкова были отношения литературы и общества, «толпы», то теперь он обращается к уяснению отношений литературы и власти. В статье появляется термин «легальность», или законность, и предлагается поставить литературу под защиту «легальности». Пусть сохранится за алармистами «сладостное право обвинения», – говорит Салтыков, – но литература должна быть защищена законом от произвола уличных мнений и от травли, от голословных обвинений в «излишествах» и «вредном направлении».

Обстоятельно анализируя далее понятие «легальности», Салтыков предлагает ограничить отношения власти к литературе рамками закона, отвергнуть принцип административного вмешательства в дела литературы, заменить «произвол» системой, твердыми основаниями. Говоря об этих основаниях, он упоминает «драгоценную гарантию, которую приобрела в последнее время русская жизнь», имея в виду судебную реформу 1864 г., отделившую судебные органы от административных и обвинительных. Поводом к обвинению, вчиняемому властью, должны быть факты, но не направления, «проступки и преступления», но не мысль. Только строго определенные законом «преступления печати» могут стать причиной судебного преследования и соответствующего наказания. Поэтому столкновения литературы и легальности возможны лишь на «почве благочиния», другими словами – преследованию может подлежать насилие, но никак не поиски «истины идеальной».

С этой точки зрения все направления, каким бы ни было их содержание, безличны перед судом легальности (но, и это важно для Салтыкова, не безличны перед судом литературы и науки).

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru Салтыков, так же как редакция «Отечественных записок» в целом, понимал, однако, что до осуществления на практике подобных отношений легальности и печати еще очень далеко. Одного лишь факта перехода карательных функций от администрации к суду недостаточно для ограждения печати от произвола. Эту точку зрения высказал, например, Г. З. Елисеев, полагавший, что ошибается тот, кто думает, будто «стоит нашей прессе освободиться от кары администрации и поступить в исключительное заведование судебной власти, и тогда она будет вполне обеспечена в своем правильном развитии» («О направлении в литературе». – ОЗ, 1869, № 8, отд. «Совр. обозрение», стр. 400). В самом деле, первые же процессы печати показали обоснованность этих опасений. Так, Салтыков указывает на «неравенство меры» наказания, примененной судом по отношению к органам разных направлений, имея в виду процессы демократического «Современника» и крепостнической «Вести», обвинявшихся в нарушении законов о печати (см. прим. к стр. 119). «Легальность» в этом случае оказалась равносильной административному произволу. Результаты этих двух процессов о печати, не имея ничего общего с тем, что разумел под легальностью Салтыков, полностью отвечали требованиям власти, изложенным, например, в секретной инструкции министра внутренних дел цензорам столичных цензурных комитетов от 23 августа 1865 г. (данной за неделю до вступления в действие «закона 6 апреля»). Салтыкову, конечно, был известен этот конфиденциальный документ: его полемика прямо направлена в адрес инструкции П. А. Валуева, в которой, в частности, говорилось: «Относительно повременных изданий постоянно должно иметь в виду их отличительное свойство непрерывных проводников впечатлений на публику. Посему они могут сообщать свои взгляды и стремиться к своим целям, не формулируя категорически этих взглядов и целей, но выражая их рядом намеков, недоговоров, повторений и других редакторских или издательских приемов. При наблюдении за повременными изданиями цензоры обязаны прежде всего изучить господствующие в них виды и оттенки направления и, усвоив себе таким образом ключ к ближайшему уразумению содержания каждого из них, рассматривать с этой точки зрения отдельные статьи журналов и газет». Издание должно строго преследоваться, если его направление есть «в каком-либо отношении вредное или противоположительственное». «Случайные ошибки или недосмотры, – говорилось далее в инструкции, – не составляющие сознательных последствий предвзятого направления, могут быть, смотря по сопровождавшим оные в каждом отдельном случае обстоятельствам, преследуемы с меньшей строгостью или составлять предмет некоторого снисхождения относительно журналов и газет, отличающихся дознанною благонамеренностью». [265]

«В силу действующего права печати судебная власть точно так же может из направления делать факт преступления, *corpus delicti*, как и администрация, – продолжал развивать свою мысль в статье «О направлении в литературе» Елисеев. – В чем же тогда существенная разница между ними и какое существенное приобретение получает пресса из того, что она перейдет в руки судей?» (стр. 400). Больше того, в условиях, когда тон задают «ловкие люди» («охочие люди», «алармисты» – по Салтыкову) и печать подвергается травле, надзор администрации даже предпочтительнее судебного преследования. Все дело в лицах, осуществляющих этот надзор. Трезво оценивая современное положение печати, Салтыков вместе с тем принципиально не мог разделять такого взгляда. Возможно, именно Елисеев имел он в виду, говоря о возражениях против «выхода к легальности», «представляемых людьми совершенно противоположного лагеря». Как бы то ни было, «выход к легальности» есть все-таки наиболее рациональный и наиболее обеспечивающий литературу от случайностей в будущем».

Таким образом, первейшая «насушенная потребность литературы», по Салтыкову, заключается в освобождении ее от «соглядатайства» общественной реакции и от административного произвола, от подчинения ее «уличной философии» и преследований за направление. Только при этих условиях литература сможет осуществлять свое истинное предназначение: готовить почву будущего, формулировать идеальную истину.

Стр. 96...утверждение грубых уличных истин, вроде проповедуемых современными беллетристическими знаменитостями... – См. прим. к статье «Уличная философия».

Стр. 101. Радикалы... современники «Аонид» и «Подснежников»... в тоске по Хлое влачащие последние дни своего существования, но воспользовавшиеся уничтожением крепостного права, чтобы ожесточиться... по их мнению, все направления одинаково злокачественны... – Характеризуя архаическое мирозерцание «радикалов», рассматривавших литературу как источник «приятных отдохновений», Салтыков употребляет в нарицательном смысле названия альманахов Н. М. Карамзина «Аониды»

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru (1796–1799) и Е. В. Аладына «Подснежник» (1829–1830). В 1863 г., рецензируя «Князя Серебряного» А. К. Толстого, Салтыков уже намечал такое нарицательное использование названия карамзинского альманаха, иронически заключая, что роман Толстого «был бы весьма приятным явлением в «Аонидах» (см. т. 5 наст. изд., стр. 352). Хля – распространенное в русской сентиментально-романтической поэзии условное имя возлюбленной поэта. Радикалы – характерное для Салтыкова сатирическое переосмысление привычных понятий (ср. «подтягивательный нигилизм», «анархисты успокоения» и т. п.). Здесь – в первую очередь, по-видимому, крепостники и их орган «Весть», видевший своих противников в «либералах» «Колокола», «Русского слова», «Москвы», «Голоса» и «Московских ведомостей» («Весть», 1869, № 121 от 3 мая). Однако, как это видно из дальнейшего, Салтыков относит к лагерю «радикалов» и литераторов, сгруппировавшихся в 1869 г. вокруг журнала «Заря» или близких этому журналу. См. след. прим.

Стр. 102. Фет, как стихотворец, Григорий Данилевский, как романист, Шубинский, как историк, Страхов, как критик, и Фрол Скобеев, как драматург, – вот имена, любезные современникам Аонид. – «Эмбрионической» поэзии фета Салтыков посвятил в 1863 г. рецензию (см. т. 5 наст. изд.), о его тенденциозно-крепостнических «письмах» «Из деревни» он писал в апрельской хронике «Нашей общественной жизни» за 1863 г. (см. т. 6 наст. изд.). Данилевский охарактеризован Салтыковым в рецензии на его «Новые сочинения» (ОЗ, 1868, № 8; см. наст. том), как «родоначальник школы легкомыслия в литературе». Так как первые романы Данилевского были напечатаны во «Времени», Салтыков связывал его с направлением «почвенничества», «возродившимся» в 1869 г. в журнале «Заря». Исторические изыскания С. Н. Шубинского Салтыков высмеивал неоднократно, в частности, в «Истории одного города» (см. также в «Приложении» к т. 8 письмо к А. Н. Пыпину от 2 апреля 1871 г.). Литературно-критическая деятельность Н. Н. Страхова во «Времени» (1861–1863), «Эпохе» (1864–1865), «Отечественных записках» (1866–1867) и, наконец, «Заре» (с 1869 г.) была подчинена борьбе с «нигилизмом», «отрицательным направлением» в литературе. Очень показательно, что этой тенденцией проникнута и его более поздняя статья «во славу» Карамзина («современники «Аонид»!), появившаяся в октябрьской книжке «Зари» за 1870 г. под весьма характерным названием «Вздых на гробе Карамзина». Фрол Скобеев – под этим именем Салтыков понимает драматурга Д. В. Аверкиева, первое драматическое произведение которого «Мамаево побоище» было напечатано в 1864 г. в «Эпохе». Во второй книжке «Зари» за 1869 г. в «Театральных заметках» (подпись: Л. Н. А–вЪ <Л. Н. Антропов>) был дан благожелательный отзыв о поставленной на петербургской сцене пьесе Аверкиева по мотивам русской повести XVII в. о Фроле Скобееве (или Скабееве) – «Комедия о российском дворянине Фроле Скобееве и стольничьей, Нардын-Нащокина дочери Аннушке». В третьей книжке «Зари» «Комедия...» была напечатана.

Люди соглашения... – Возможно, имеется в виду официальный либерализм, всецело основанный на «предупредительностях» и «карательностях».

Стр. 103. Вот между каких двух старцев находится новейшая Сусанна, называемая русскою литературою... – Сусанна и старцы – библейский сюжет, особенно распространенный в живописи, об искушении Сусанны двумя старцами.

Стр. 111...сладостное право обвинения... бывают случаи, когда на нем одном основывается положение человека в обществе... – По-видимому, намек на положение, которое занял во второй половине 60-х годов Катков в официальных и правых кругах русского общества.

Стр. 118...движение вперед собственно и есть та охранительная сила, которая ограждает общество... – См. статью «Человек, который смеется» и прим. к ней.

Мы не называем здесь ни одного из наших литературных направлений, но просим... припомнить то из них, которое... стремится погрузить русский народ в положение бессрочного детства... – Речь идет о славянофильстве.

Стр. 119...задавись мыслью исключительно поддерживать мнения, дорогие толпе, легальность... встретится лицом к лицу не с одним и не с несколькими, а вдруг со всеми литературными направлениями, и вынуждена будет признать себя обязанною преследовать их все с одинаковою силою. – Действительно, в 60-х годах административным и судебным преследованиям подвергались издания, служившие явными «вместилищами уличного праха», например, «Московские ведомости» и «Весть» (Катков писал в передовице № 18 «Московских ведомостей» за 1869 г.: «Почти

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru каждая статья наша, имевшая какое-либо значение, появлялась на свет не иначе как после тяжкого предварительного боя с цензурой»). Славянофильская газета «Москва», издававшаяся И. Аксаковым, после многочисленных предостережений и приостановок, была в октябре 1868 г. запрещена.

...по поводу преследования, которому подвергся один из органов русской печати. – Речь идет о происходившем в январе – феврале 1868 г. судебном процессе по делу издателя газеты «Весть» В. Д. Скарятин и его сотрудников Н. Н. Юматова и Г. И. Кори, обвинявшихся в нарушении постановлений о печати. В ряде статей газеты «Весть» выражалось неодобрение оправдательному приговору, вынесенному С.-Петербургским окружным судом в августе 1866 г. по делу Ю. Г. Жуковского, автора статьи «Вопрос молодого поколения» и А. Н. Пыпина, редактора журнала «Современник», где эта статья, в №№ 2 и 3 за 1866 г., была напечатана (см. «Судебный вестник», 1866, №№ 29 и 30 от 1 и 2 сентября). «Весть», резко и грубо нападая на членов суда, назвала это оправдание «уклонением» судебной власти «от прямого пути», что было квалифицировано обвинением как «колебание общественного доверия к приговорам суда». Говоря о «неравенстве меры относительно отдельных фактов одинакового характера», Салтыков имеет в виду, что, в то время как Жуковский и Пыпин, при вторичном слушании дела, были признаны виновными «в помещении в периодическом издании статьи, заключающей в себе противную благопристойности брань относительно лиц дворянского сословия» («Судебный вестник», 1866, № 55 от 6 октября), – издателям «Вести» их «брань» по адресу судебных учреждений сошла с рук, по причине «дознанной благонамеренности» (см. стр. 494 наст. тома), и они были оправданы (см. «Судебный вестник», 1868, №№ 17, 18 и 28 от 23 и 24 января и 8 февраля).

Стр. 120...так называемые новаторы никогда не были склонны к насилию, так как один из существеннейших принципов всякого новаторского дела именно заключается в отрицании насилия. – Проблеме «насилия» Салтыков посвятил несколько страниц ненапечатанной октябрьской хроники «Нашей общественной жизни» за 1864 г. Там он, в частности, писал: «В мире разумном, в том идеальном мире, до представления которого может по временам возвыситься наша мысль, насилие немислимо» (т. 6 наст. изд., стр. 372 и 668–669). В настоящей формулировке его мысль кажется ответом на теории Раскольникова из «Преступления и наказания» Достоевского (роман печатался в «Русском вестнике» в 1866 г. и вышел отдельным изданием в 1867). Характерно, что подобный же ответ находим в посвященной роману Достоевского статье Писарева «Борьба за жизнь».

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ

Наши охранители и наши прогрессисты В. П. Безобразова

(«Русский вестник», 1869 г., октябрь)

Впервые – 03, 1869, № 12, отд. «Совр. обозрение», стр. 255–270 (вып. в свет – 12 декабря). Без подписи. Авторство установлено С. С. Борщевским (Неизвестные страницы, стр. 505–510) на основании заявлений Салтыкова в гл. VIII «Круглого года» (см. т. 13 наст. изд.) и анализа текста.

Как по содержанию, так и по форме «Человек, который смеется» – ответ от имени «Отечественных записок» на статью В. П. Безобразова «Наши охранители и наши прогрессисты». Но Салтыков, видимо, не стремился за редакционным характером выступления скрыть свое личное авторство. Об этом свидетельствует ряд мест текста: «...Пишущий эти строки...»; «...Безобразов начинает... уличать нас в тождестве с «Вестью» (имеется в виду прямое сопоставление Безобразовым «Вести» и салтыковского очерка «Хищники»), и другие прозрачные намеки.

С автором «Наших охранителей и наших прогрессистов» Салтыкова связывало давнее знакомство. [266] В. П. Безобразов был младшим лицейским товарищем Салтыкова. В предреформенный период В. Безобразов с дворянско-либеральных позиций ратовал за освобождение крестьян, и его антикрепостнические выступления были поддержаны на страницах «Современника». После возвращения Салтыкова из вятской ссылки и в годы рязанского вице-губернаторства его отношения с В. Безобразовым были дружескими. В. Безобразов способствовал публикации «Губернских очерков»; Салтыков посвятил ему «Смерть Пазухина». Но с начала 60-х годов их личные связи прерываются, а идейные позиции становятся откровенно враждебными. Опубликованная в 1859 г. в «Русском вестнике» статья В. Безобразова «Аристократия и интересы дворянства» вызвала резкие сатирические выпады Салтыкова (см. «Характеры» и «Глупов и глуповцы» в т. 4 наст. изд., стр. 201, 203–206). В реформах 60-х годов дворянский либерализм увидел воплощение всех чаяний, и с этого времени В. Безобразов, критикуя отдельные «несовершенства нашего законодательства», [267]

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru превращается в защитника существующих порядков и врага их радикальных критиков.

Таким духом проникнута и статья «Наши охранители и наши прогрессисты» («Русский вестник», 1869 г., № 10). По мнению либерального академика, «реформы... дали большой простор нашим народным силам», принеся процветание экономике и разрешив все противоречия между крестьянами и помещиками. («Эта сторона прежнего нашего сельского быта, омрачавшегося изредка при всем миролюбии русского народа кровавыми событиями, теперь совсем забыта...»[268]) С этих позиций В. Безобразов обвиняет демократическую журналистику в беспочвенном подстрекательстве масс.

Статья В. Безобразова, вызвавшая отклики наиболее влиятельных органов печати, фактически стала программным документом дворянского либерализма пореформенной поры. [269]

Поэтому и ответное выступление Салтыкова в «Отечественных записках» – отнюдь не рядовой эпизод в текущей журнальной полемике. Придавая своей статье серьезное значение, Салтыков возвращался к ней не только в написанной почти по свежим следам – в 1871 г. – второй главе «Итогов» (см. т. 7 наст. изд.), но и в произведениях, созданных десятилетие спустя: «Убежище Монрепо» и «Круглый год» (см. «Тревоги и радости в Монрепо» и «Первое августа» в т. 13 наст. изд.). В «Круглом годе» писатель прямо указывает, что спор с В. Безобразовым шел не о частностях, а о «знаменах», о принципах отношения к самым основам пореформенных порядков.

Основной тезис статьи Салтыкова – превращение дворянских либералов в «охранителей современности», считающих «современное дело делом окончательным». Такая характеристика либералов вызвала резкие нападки народнической «Недели»: она-де «никуда не годится и только обличает редакцию почтенного журнала в смутности и неясности ее понятий о таком важном вопросе, как вопрос о направлениях и партиях». [270] Симпатии «Недели» оказались на стороне В. Безобразова не случайно: настаивая на «практической деятельности» в рамках самодержавного строя, газета неизбежно склонялась к либеральному реформизму.

В. Безобразов напал на прогрессивную литературу за то, что, «заявляя свое недовольство существующим порядком, она не делает даже и намеков не только на какую-нибудь совокупность государственных мер, но даже на какое-нибудь направление их, которое могло бы удовлетворить ее желаниям и целям. [271] Подобная критика «Отечественных записок» за «воздержанность от указаний практического либерализма» [272] появлялась на страницах «Недели» неоднократно. Она повторяется и в отзыве о салтыковской статье. Намекая на так называемое нечаевское дело (см. прим. на стр. 519 наст. тома), «Неделя» заявляет, что «Отечественные записки» одним только «настраиванием» на демократический лад без указания возможных действий толкают молодежь на путь «напрасных увлечений, часто гибельных для... личной нравственности». [273]

В «Человеке, который смеется» позиция «Отечественных записок» определена Салтыковым совершенно четко: пока в стране нет политических свобод («покуда у нас возможен не спор, а травля») радикальная демократия не может рассчитывать не только на претворение в жизнь своих устремлений через каналы государственной власти, но и на открытое их изложение.

В. Безобразов обвинял революционно-демократическое направление в фактическом единении с крепостниками: «Реакционные партии и прогрессивные (или, лучше, радикальные), не имея ничего общего в своих политических идеалах, как нельзя лучше могут сойтись в своем образе действий и потому в своих практических взглядах на окружающую действительность. Даже ближайшие политические программы у них могут быть одинаковы». [274] Эта, как отмечал Салтыков, «далеко не новая идея» (ее пропагандировали, в частности, «Московские ведомости» [275]) заслужила Безобразову лестные отзывы «Зари». [276] Опровергая подобные инвективы, писатель показывает, что в пореформенной России естественными союзниками крепостников являются дворянские либералы, ибо и те и другие стоят на позициях охранения основ самодержавно-помещичьего строя.

Особый интерес представляют в статье «Человек, который смеется» сравнительно редкие в творчестве Салтыкова высказывания о рабочем классе и методах его борьбы. Подробно изложив приведенную В. Безобразовым историю волнений на строительстве железной дороги, писатель, по существу, защищает право рабочих на стачку. Насильственное принуждение к труду, указывает Салтыков, свойственно

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru рабству и крепостничеству, по отношению же к лично свободному работнику закон не может требовать продолжения труда во что бы то ни стало. С этой позиции Салтыков обвиняет В. Безобразова, признающего «законное принуждение к труду», [277] в непозволительной обмолвке, от которой веет духом крепостного права.

С точки зрения формально-юридической, В. Безобразов, конечно, не допустил никакого промаха, ибо законодательство пореформенной России признавало насильственное принуждение к труду. Сенатский указ от 22 апреля 1863 г. предусматривал, что «рабочие могут приносить словесные или письменные жалобы... но до разрешения оной ни под каким предлогом не должны уклоняться от работ». [278] Решение коллективно оставить работу, даже неосуществленное, рассматривалось согласно ст. 1358 «Уложения о наказаниях» как стачка и каралось арестом до трех месяцев. Салтыков не мог не знать этого. Его высказывания о незаконности принуждения к труду были формой критики крепостнического характера законодательства. Не случайно в статье подчеркивалось, что история с рабочими «доказывает, что реформы... подлежат развитию». [279]

По жанровым особенностям «Человек, который смеется» приближается к памфлету. Сатирически переосмысливая название известного романа В. Гюго, Салтыков изображает В. Безобразова публицистом, говорящим о серьезных и даже трагических вещах «просто на смех».

В этом отношении салтыковские оценки Безобразова весьма близки высказываниям Д. И. Писарева по поводу самого Салтыкова в «Цветах невинного юмора» (1864 г.). Писаревское обвинение, что для Щедрина «главное дело – ракету пустить и смех произвести; эта цель оправдывает все средства, узаконяет собою всякие натяжки...» [280] – почти дословно переадресовано Салтыковым Безобразову. Можно предположить, что сатирик использовал этот прием для того, чтобы показать обвинявшим его в отсутствии программы последователям Писарева, что их критика «смеха ради смеха», будучи правильной в принципе, была по мнимым, а не действительным противникам. Характерно, что в гл. VIII «Круглого года», где писатель вновь поднял вопрос о «знаменах», он возвратился к полемике как с Безобразовым, так и с «Цветами невинного юмора».

Впоследствии Салтыков использовал фигуру академика В. Безобразова, выделявшегося из рядов вульгарной экономической школы особой литературной плодovitостью, как прототип сатирического образа ученого-экономиста (Велентьев – в «Господах ташкентцах», Полосатое – в «Недоконченных беседах», Грызунов – в «Письмах к тетеньке»),

Стр. 129. Скажи, кто ты? – слова фарлафа, обращенные к злой волшебнице Наине (сцена и рондо фарлафа из 2 действия оперы М. И. Глинки «Руслан и Людмила», текст М. Глинки).

Стр. 130...обратились с жалобой к мировому судье. – Судебная реформа 1864 г. создала институт мировых судей для разбора несложных уголовных и небольших по цене иска гражданских дел. Крестьяне были подсудны мировым судьям только за пределами своей волости. В отсутствие участкового мирового судьи его заменял так называемый почетный мировой судья. Апелляционной инстанцией по решениям мировых судей был мировой съезд – периодическое собрание всех мировых судей уезда.

...потребовали выдачи паспортов. – Крестьяне не могли отлучаться от места постоянного жительства, не выправив специальный паспорт. Наем рабочих без письменного договора осуществлялся только под залог паспортов (см. «Свод законов Российской империи», т. X, стр. 2226, изд. 1887 г.).

Стр. 131...в тех убежищах, где изготавливаются бесплодно свистопляшущие статьи о китайских ассигнациях, о мерах к распространению пролетариата... – Имеется в виду «Русский вестник». Статья В. К. Ржевского (о нем см. т. 5 наст. изд., стр. 551–552) «О мерах, содействующих развитию пролетариата» помещена в январской и майской книгах этого журнала за 1857 г. Что касается другой упомянутой Салтыковым статьи – «Ассигнации в Китае» Е. И. Ламанского, то здесь очевидная ошибка памяти: она опубликована не в «Русском вестнике», где видный финансист Ламанский действительно часто печатался в предреформенные годы, а в «Экономическом указателе», 1857, № 4. Эта же ошибка повторена, уже с прямой ссылкой на «Русский вестник», в гл. IV «Недоконченных бесед» (см. т. 15 наст. изд.). В другом месте Салтыков характеризует указанную статью Ламанского, замаскированно критиковавшую русское министерство финансов за чрезмерный выпуск

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru бумажных денег, как «не имевшую другой цели, кроме дразнения» (см. стр. 433 и 604 наст. тома).

Стр. 134...органом которых он считает газету «Весть»... – См. прим. к статье «Литература на обеде» – в наст. томе, стр. 479–482.

Г. Безобразов уверяет, что автор употребил это слово... в смысле, угрожающем России бедствиями. – В статье Безобразова говорится: «Наши новые люди повествуют о знаменьях, признаках времени, в которых видят как бы предвестников еще жесточайших бедствий, угрожающих со дня на день нашему отечеству» («Русский вестник», 1869, № 10, стр. 425). Далее он приводит ряд цитат из салтыковского очерка «Хищники», входящего в цикл «Признаки времени».

Стр. 137...перестает быть медью звенящую... – приобретший крылатость оборот из первого послания апостола Павла коринфянам (гл. 13, ст. 1).

...как смеялся некоторый гоголевский лейтенант. – Имеются в виду слова Жевакина из гоголевской «Женитьбы» (действие 2, явл. VIII): «У нас... был мичман Петухов, Антон Иванович; тоже эдак был веселого нрава. Бывало, ему, ничего больше, покажешь эдак один палец – вдруг засмеется, ей-богу, и до самого вечера смеется».

Мы желали бы, чтобы здесь слово «неблагонадежность» было заменено словами: «неправильность» или «неверность». – Статья «Наши охранители и наши прогрессисты» заканчивается призывом «зорко следить за неблагонадежными понятиями, распространяемыми в общественной атмосфере». К числу наиболее вредоносных выступлений «Отечественных записок» – этого «органа прогрессистов» – Безобразов отнес салтыковские «Признаки времени» и «Письма из провинции». – В царской России «неблагонадежность» была официальным термином политической полиции. Безобразовское обвинение прогрессивной журналистики в неблагонадежности придавало его статье доносительский оттенок и могло, как отмечал Салтыков, «иметь довольно серьезные и даже им самим не предугадываемые последствия».

Стр. 139...в этом взбаламученном море круглописания... – Салтыков обыгрывает название опубликованного в 1863 г. в «Русском вестнике» антинигилистического романа А. Ф. Писемского «Взбаламученное море».

...повсюду встречать самый грубый *fin de non recevoir*... – Салтыков неоднократно употребляет юридическую формулу «отказа в признании» для характеристики положения людей, несущих передовые общественные идеалы (см., напр., октябрьскую хроника «Наша общественная жизнь» за 1864 г. в т. 6 наст. изд., стр. 362).

Стр. 140...подкрепить мудростью тургеневскую. – Имеется в виду роман И. С. Тургенева «Отцы и дети», где, в частности, говорится о препарировании лягушек как занятии Базарова в поместье Кирсановых. Об отношении Салтыкова к изображению «новых людей» в этом романе см. т. 5 наст. изд., стр. 581–582.

Стр. 141. Нащипав несколько литературной корпии из сочинений современных «охранителей», к которым впоследствии, ради шикарности, приурочиваемся и мы... – В. Безобразов, приведя оценку положения России авторами «Вести» (сельское хозяйство гибнет; никто, в том числе и крестьяне, не желает быть собственником земли; в деревне царит анархия и развивается ненависть к дворянству и т. д.), считает, что такой же безотрадностью и пессимизмом пронизаны очерки Салтыкова «Признаки времени».

...разве безмолвие во многих случаях не знаменательнее насилия? – О «знаменательности безмолвия» как предвестника «будущей трагедии», то есть революционного взрыва, Салтыков писал неоднократно. В «Тихом пристанище» наблюдающему за трудом бурлаков слышится «вздых, вылетающий из груди человека, которого смертельно и глубоко оскорбили и который между тем не находит в ту минуту средств отомстить за оскорбление, а только вздыхает... но в этом вздохе уже чувствуется будущая трагедия» (см. т. 4 наст. изд., стр. 265). В «Итогах» дается следующая характеристика пролетариата после поражения Парижской коммуны: «...Неправда, что в этом отсутствии протеста, в этой безгласности имеется какое-нибудь действительное удовлетворение. Обделенный все-таки не перестает быть обделенным, и ежели он не протестует, то или потому, что находится в оцепенении, или потому, что приберегает свой протест до более благоприятного случая» (см. т. 7 наст. изд., стр. 485).

Стр. 143...нам могут указать на сравнительно смелый и откровенный образ действий «Московских ведомостей»... – Еще в программной передовой статье от 19 июня 1866 г. «Московские ведомости» заявили, что в своем радении «о нераздельных пользах престола и государства» берут на себя «право публичного обсуждения государственных вопросов». На страницах катковского издания систематически выдвигались проекты преобразований в самых различных областях. Так, только в первой половине ноября 1869 г. газета выступала с требованиями отменить круговую поруку в общине, сократить сроки воинской службы для грамотных, отменить паспортную систему, возложить на общины обязанность содержать школы и т. д. При этом «Московские ведомости» не останавливались и перед критикой отдельных министерств. О такой «независимости» катковского издания «Неделя» писала: «Если московская газета вступает в пререкания с каким-либо министерством, то, будьте уверены, эти пререкания имеют себе причину в других закулисных пререканиях между тем же министерством и благоприятелями редакторов «Московских ведомостей» в высших правительственных сферах» («Неделя», 1870, № 11, стр. 370).

...переименовывают уже в «лжепрогрессивную»... – Сообщая в № 245, 9 ноября 1869 г., то есть в самый день выхода октябрьской книги «Русского вестника», о «замечательной статье» «Наши охранители и наши прогрессисты», «Московские ведомости» разъясняли: «Под этими ироническими названиями автор понимает нашу лжеконсервативную партию <...> и наших лжепрогрессистов, новых людей...»

Одни походы русской журналистики против нее в 1862 г. стоили ей так много... – Развернувшаяся летом 1862 г. под предводительством «Русского вестника» клеветническая кампания реакционной прессы сыграла немалую роль в приостановке по правительственному распоряжению на восемь месяцев «Современника» и «Русского слова» и в аресте и ссылке Н. Г. Чернышевского.

Стр. 144...министрам, сенату и государственному совету. – В России того времени вопрос о законодательных функциях высших государственных учреждений был чрезвычайно запутан. Право первоначальной подготовки текста законов для представления на утверждение царя было дано Сенату, основанному Петром I. Фактически Сенат принимал в законодательстве лишь косвенное участие, поручая министрам разработать тот или иной законопроект и передать его в Государственный совет. Государственный совет был создан Александром I специально для обсуждения законопроектов. Полномочия на издание распоряжений, обязательных не только для подведомственных учреждений, но и для всех частных лиц, были предоставлены и некоторым министрам.

ОДИН ИЗ ДЕЯТЕЛЕЙ РУССКОЙ МЫСЛИ

(Тимофей Николаевич Грановский. Биографический очерк А. Станкевича Москва. 1869 г.)

Впервые – ОЗ, 1870, № 1, отд. «Совр. обозрение», стр. 33–56 (вып. в свет – 16 января). Без подписи. Авторство указано Н. В. Яковлевым на основании письма Салтыкова к Некрасову (Письма, 1924, стр. 57); подтверждено на основании анализа текста С. С. Борщевским (Неизвестные страницы, стр. 510–525).

Девятого июня 1869 г. Салтыков писал Некрасову, что «по соглашению с Елисеевым взялся написать более или менее обширные статьи о Грановском (по поводу книги Станкевича) и о Феофане Прокоповиче». Однако в журнале появилась лишь одна статья о Грановском, названная в подзаголовке «первой статьей». О намерении написать ряд статей, посвященных Грановскому как «деятелю русской мысли», Салтыков дважды упоминает в напечатанном тексте, причем называет и некоторые темы этих следующих статей: «воспитательное значение» деятельности Грановского, «теория так называемого абстенционизма». По-видимому, к написанию этих статей Салтыков так и не приступил.

Статья о Феофане Прокоповиче, которого в рецензии на «Материалы» М. А. Антоновича и Ю. Г. Жуковского Салтыков иронически назвал «известным либералом XVIII века», вовсе не появилась в печати; и, вероятнее всего, написана не была; тематически, возможно, она должна была примыкать к статье о Грановском, трактовавшей также и о путях и судьбах «либерализма». Поводом к возникновению замысла статьи о Прокоповиче, по-видимому, послужила книга И. Чистовича «Феофан Прокопович и его время», СПб. 1868.

Автором книги о Грановском был младший брат Николая Станкевича Александр Владимирович Станкевич, литератор, в 30–40-е годы близкий к кружку брата, а

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru затем Белинского. С Грановским, как сказано в «биографическом очерке», А. В. Станкевич встречался в последние годы жизни историка.

На книгу А. В. Станкевича еще до статьи Салтыкова откликнулись периодические издания разных направлений («Дело», «Вестник Европы», «Заря», «Весть» и др.). Это было симптомом повысившегося интереса к «людям сороковых годов», «старым людям» (Ф. М. Достоевский. Дневник писателя за 1873 год). Несколько позднее в статье «Народный реализм в литературе» Н. Шелгунов следующим образом объяснил этот интерес: «Теперь русская мысль зреет, набирается новых фактов и проверяет себя ими <...> Наше время как бы повторяет сороковые годы». [281] Отклики печати на книгу Станкевича и заключали в себе не столько ту или иную ее оценку, сколько попытку уяснить историческое значение Грановского как деятеля определенной эпохи, тесно связанной с последующим развитием русского общества и русской общественной мысли, уяснить ценность наследия самой этой эпохи – «сороковых годов» – для современности. (О полемике на эту тему, развернувшейся в печати на рубеже 60-х – 70-х годов, см. в книге Е. И. Покусаева «Революционная сатира Салтыкова-Щедрина», М. 1963, стр. 225–227.)

Одним из первых откликов такого рода была редакционная статья реакционной газеты «Весть» (1869, №№ 121, 125, 126 и 131 от 3, 7, 8 и 13 мая). Статья полна выпадов как против революционно-демократического лагеря, так и против либералов и славянофилов, будто бы «вступивших в союз» с «вожаками» «Современника» и «Колокола». «Вот четыре лица, – сказано в статье «Вести», – с которыми Грановский уже в 1847 году решительно разошелся во взглядах: Белинский, Киреевский, Герцен и Огарев» (№ 125).

По мнению автора статьи-рецензии под названием «Т. Н. Грановский в биографическом очерке Станкевича» («Вестник Европы», 1869, № 5; подписано: «Сл. <В. И. Герье> Москва, 19 апреля 1869»), книга Станкевича показывает, что в русском обществе 40-х годов, «несмотря на все неблагоприятные обстоятельства», «действовала могучая мысль и были благородные стремления» (стр. 425). В. И. Герье особенно подчеркивал «западнический» характер идей Грановского, который «был истым сыном Петровской России», «жаждал цивилизации», как «средства к исцелению от существующего зла» (стр. 431). Рецензент с удовлетворением констатировал, подобно редакции «Вести», но, разумеется, с иных позиций, расхождение Грановского как со славянофилами, так и с «другим направлением, появившимся в 40-х годах и облекавшимся тогда еще в форму строгого, научного материализма» (имеется в виду Герцен).

Разбору книги Станкевича была посвящена большая часть неподписанных (принадлежавших Н. Н. Страхову) «Критических заметок о текущей литературе» в № 7 за 1869 г. славянофильско-почвеннического журнала «Заря». Историческую роль Грановского Страхов также ставил в связь с судьбами «западничества», которое он характеризовал, однако, как направление отвлеченное, в свое время естественное и законное, но давно себя изжившее. Характерным для позиции «почвенничества» на рубеже двух десятилетий является утверждение Страхова о закономерном «вырождении» «чистого» западничества в нигилизм. (Значительно более сложное обоснование этой идеи находим в «Бесах» Достоевского.) [282]

Особый интерес в ряду этих отзывов представляет рецензия журнала «Дело», поскольку в ней преломилась тактическая платформа, пропагандировавшаяся в это время некоторыми публицистами демократического лагеря, – платформа своеобразного «утилитаризма» (см. прим. к статьям «Новаторы особого рода», «Насущные потребности литературы», «Человек, который смеется»). Рецензент «Дела» весьма невысоко расценил «биографический очерк» Станкевича, автор, по его мнению, не сделал самого главного: не определил «значение отвлеченной философии в связи с существовавшими во время Грановского общественными порядками», не разъяснил, «что способствовало ее влиянию на молодежь, что отвлекало лучшие силы от полезного дела и толкало на бесплодную дорогу идеализма», не показал, «почему такая богато одаренная личность, каков был Грановский, принесла обществу такую ничтожную, неуловимую пользу» («Дело», 1869, № 6, отд. «Совр. обозрение», стр. 30).

Салтыков, конечно, учитывал все эти отклики на книгу о «деятеле русской мысли». Однако его замысел далеко выходит за пределы полемики, смысл статьи гораздо шире и значительнее, нежели та или иная оценка книги Станкевича. О характере замысла говорит уже название статьи, а также и те темы, которые были намечены для разработки в следующих статьях цикла (см. выше). Грановский интересует Салтыкова

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru именно как «один из деятелей русской мысли», его волнуют судьбы «цивилизующей» – ищущей, передовой мысли, волнуя тем более сильно, что Салтыков-просветитель разделяет тезис Грановского: «в разложении масс мыслью заключается процесс истории». [283] Поэтому одной из тем следующих статей должна была стать важнейшая для Салтыкова тема «воспитательного значения» литературы (см., например, статью «Насущные потребности литературы»). Грановский, так же как и Белинский, был для Салтыкова символом целой эпохи в истории русской мысли – эпохи 40-х годов, – и поэтому он всегда выделяет не то, что их разъединяло, а объединяющее их общее – положение, роль как деятелей русской мысли. Имя Грановского Салтыков ставит рядом с именем Белинского (см., например, в «Литературном положении»: «Вспомним Грановского, Белинского и других, которых имена еще так недавно сошли со сцены, вспомним то движение мысли и чувств, которому было свидетелем современное им поколение, вспомним увлечения, восторги, споры» – т. 7, стр. 56).

Замысел статей о Грановском, лишь частично осуществленный в «статье первой», заключался в анализе, на примере деятельности Грановского, не столько самого содержания общественной мысли и литературы, сколько социальных и политических форм ее бытия и влияния этих форм на содержание мысли. Салтыкова по преимуществу интересуют отношения «мысли» со «средой» – обществом, которое выделяет деятелей мысли, но в целом, за исключением небольшой его части, остается глубоко к ним равнодушным, а также политическими «эманациями» общества, то есть властью, рассматривающей мысль как нечто враждебное; эскизно намечается и проблема отношений мысли с народной массой, деятельное проникновение в которую составляет насущную потребность и обязанность «цивилизующей мысли» (степенью этого проникновения определяется в конечном счете «воспитательное» значение мысли).

«Либеральная» (в данном случае – передовая), «цивилизующая» мысль входит в общество под покровом «тайны», ее встречает враждебность или, в лучшем случае, равнодушие, ей угрожает «внешний гнет», «травля» (см. статью «Насущные потребности литературы»). Но опасны не эти внешние давления сами по себе, опасны «внутренние» последствия гнета, искажения самого содержания мысли.

Один из центральных тезисов статьи состоит в том, что «мысль», какой бы она ни была по своему содержанию – философской, социальной, экономической, естественнонаучной, – будучи вынужденной отстаивать свою свободу, с неизбежностью становится мыслью политической. Тем самым разработка и пропаганда [284] самого существа мысли, разработка «истины идеальной» (см. статью «Насущные потребности литературы») отходит на второй план или делается и вовсе невозможной.

Другая внутренняя опасность, грозящая исказить содержание мысли, – опасность соглашения. Мысль живет под страхом «быть затоптанной», уничтоженной, и лишь соглашения и компромиссы дают ей возможность надеяться на спасение. И хотя «оговорки» и «уступки» влияют на мысль самым пагубным, «растлевающим» образом, хотя мысль при этом хиреет, «живет жизнью неполною и далеко не нормальной, но, по крайней мере, она не навсегда «вычеркивается» из числа умственных ценностей, обращаясь в человечестве, и со временем, конечно, возвратит себе утраченную силу и достоинство». Таким образом, решая важнейший для революционной мысли тактический вопрос, Салтыков устанавливает принципиальную возможность, а при определенных условиях и необходимость прибегать к соглашениям ради самого «выживания» мысли.

В связи с этим в последних строках статьи Салтыков поднимает тему так называемого абстенционизма. Самое слово «абстенционизм» (лат. – *abstentio* – воздержание, отказ) было извлечено Салтыковым из современной ему французской политической терминологии. Абстенционистами называли тех французских политических деятелей – сторонников Прудона, – которые считали, что «будущая революция не должна компрометировать себя никакими сделками с настоящими порядками Франции», и поэтому устранились от участия в избирательном движении. [285] Хотя статья об «абстенционизме» и не была Салтыковым написана, принципиальное понимание им этой проблемы не вызывает сомнений. Салтыков, конечно, имел в виду теорию, подобную той, которая пропагандировалась в свое время на страницах «Русского слова» и была подвергнута им критике в не появившихся тогда в печати – статье «Каплуны» и заключении мартовской хроники «Нашей общественной жизни» за 1864 г. В «Отечественных записках» Салтыков вновь коснулся этой темы, например, в рецензии на «Засоренные дороги» А. Михайлова: он считал долгим литературу «анализировать капища», не боясь «прилипающих нечистот», призывал избегать «гадливости», оправдываемой тем, что «слишком

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru близкое общение с жизнью может подвинуть на сделки с нею, сделки же, в свою очередь, могут подорвать чистоту мысли, чистоту убеждения» (см. наст. том, стр. 264). Салтыков никогда не забывал о том высоком идеале, во имя которого в конце концов литература обязывается вступать «в близкое общение с жизнью», не склонялся к практицистскому толкованию задач литературы. Однако отсутствие общения с жизнью, «изолированность», каковы бы ни были ее причины, по глубокому убеждению Салтыкова, омертвляют и искажают мысль. (Этот свой тезис Салтыков иллюстрирует положением французской либеральной мысли после декабрьского переворота 1851 г. [286]) Чистота мысли определяется не ее консервацией, «абстенционизмом», но постоянным развитием, невозможным без общения с движущейся жизнью. «Мысль живет и питается практическими применениями».

Перейдя от общих, принципиальных суждений к анализу труда Станкевича, Салтыков, в соответствии со своей задачей, не касается содержания социально-политических и исторических взглядов Грановского, существа его научного метода, изложению которых посвящено немало страниц указанной книги. Салтыкова интересует само положение «одного из деятелей русской мысли» относительно той среды, которая его «выделила» и в которой он вынужден действовать.

Салтыков показывает, что тезис Станкевича о сочувственном отношении «среды» к деятельности Грановского является поверхностным и противоречит фактам (см. постр. прим.). «Убеждения истории» (очень важные для Салтыкова-просветителя) как будто бы ни у кого не должны вызвать сомнения в том, что цивилизующая мысль всегда способствует «наилучшему устройству умственных и материальных (наиболее доступных пониманию большинства) интересов человечества». Однако Салтыков очень хорошо видит полную противоположность между интересами мысли (в конечном счете – «интересами человечества») и выгодами данной социальной среды (дворянства), которая поэтому и не может иначе относиться «ко всякой осмысленной деятельности как к злейшему своему врагу». Ведь «разложение под влиянием мысли» замкнутой и цельной дворянско-помещичьей среды неизбежно приведет к ее «поглощению», то есть к утрате этой средой привилегированного положения.

Выгоды «касты» оказываются сильнее каких бы то ни было «исторических убеждений».

Большой теоретический интерес представляет заключение статьи о Грановском, три ее последние страницы. Салтыков приходит к оптимистическому выводу, что, несмотря ни на какие препятствия, «действие цивилизующей мысли не прекращается», потому что ее хранят «самоотверженные люди», которых обыкновенно называют героями: «...На этих-то людях, собственно, и зиждется то непрестанное движение, которое мы замечаем в истории». В цитированных словах Салтыкова нельзя не обнаружить проявления той концепции, которая нашла свое яркое выражение в незадолго до этого опубликованных «Исторических письмах» П. Л. Лаврова и к разработке которой приступил в том же 1869 г. на страницах «Отечественных записок» в цикле статей «Что такое прогресс?» Н. К. Михайловский. Однако понимание Салтыковым роли героев, их места в истории не совпадало с концепцией Лаврова или Михайловского. Теории, заключающейся в том, что история движется «героями», а не «толпой», он не разделял.

Иное, по сравнению с «субъективными социологами», понимание Салтыковым этой проблемы косвенно сказалось на его трактовке так называемых «исторических утешений». Тема эта, подробно развитая Салтыковым в октябрьской хронике «Наша общественная жизнь» за 1864 г., [287] возможно, возникла вновь в связи с публикацией «Исторических писем» П. Л. Лаврова (1868–1869). Обосновывая свою теорию критически мыслящих личностей как двигателей прогресса, Лавров в предпоследнем, четырнадцатом, письме утверждал, что «мысль, одушевляющая его <человека> к деятельности, победит индифферентизм и враждебность, его окружающие. Неудачи не утомляют его, потому что он верит в завтра. Вековой привычке он противопоставляет свою личную мысль, потому что история научила его падению самых упорных общественных привычек перед истиною, в которую верили единицы» (письмо четырнадцатое – «Критика и вера». – «Неделя», 1869, № 11 от 2/14 марта, стлб. 344).

Для Салтыкова же героизм и самоотверженность личности, находящей утешение лишь в истории, являются «ненормальными», лишь «условно уместными», «примеры героизма и самоотвержения, которыми и по настоящее ознаменовывается каждый шаг на пути прогресса, обещают со временем сделаться вовсе ненужными». (О том, какую важность имела для Салтыкова проблема «исторических утешений», свидетельствует также новое, спустя десятилетие, возвращение к ее разработке в заключении «За

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru рубежом» – см. т. 14 наст. изд.)

Наконец, в заключительных строках статьи «Один из деятелей русской мысли» Салтыков раскрыл сокровенный смысл своего понятия «цивилизующая мысль», «цивилизующая идея» – это та же «идея общего блага», то есть в конечном итоге идея социалистическая.

Стр. 145. На глазах ее проходят явления, которые вчера еще поражали своим либерализмом... а сегодня уже сделались принадлежностью самого обыкновенного порядка вещей... – Имеется в виду крестьянская реформа. См. т. 6, стр. 144 и прим. к ней.

Стр. 149...мудрец московского Зарядья... ничего, собственно, не опровергает, а только цитирует и отдает на поругание... – В статье «Человек, который смеется», напечатанной в предыдущем, двенадцатом за 1809 г., номере «Отечественных записок», Салтыков охарактеризовал выступления изданий Каткова как «травлю» передовой мысли. В статье «Один из деятелей русской мысли» он вновь говорит о невозможности спора в условиях «травли». Непосредственно, по-видимому, имеется в виду передовая «Московских ведомостей» от 11 декабря 1869 г. (№ 270), направленная против журнала «Дело». К ней ближе всего подходит салтыковская характеристика недобросовестных полемических приемов реакционной журналистики («цитирует и отдает на поругание»). В статье действительно обильно цитировались разнообразные материалы «Дела», причем цитирование сопровождалось «обобщениями», имеющими характер политического доноса.

Стр. 150. Проповедуется снисходительность, терпимость и уступчивость... – О терпимости как принципе деятельности Грановского говорилось в книге Станкевича (например, стр. 221).

Стр. 153...опровержение самое наглядное и бесповоротное. – Салтыков говорит о Великой французской революции XVIII в.

...идея, ставящая прогресс человечества в зависимость от уяснения отношений человека к природе. Еще Сенека говорил: *naturalia non sunt turpia*. – Характерную для утопического социализма мысль о разумности природы, уяснение отношений к которой позволит установить разумность и в человеческих – общественных – отношениях, Салтыков развивал уже в своей ранней повести «Противоречия». Там она тоже была сформулирована с помощью взятой в качестве эпиграфа цитаты из того же сочинения Луция Аннея Сенеки «*Ad Gallionem de vita beata*», из которого извлекает Салтыков и настоящую цитату. В первой главе «Итогов» Салтыков назвал природу миром «действительным, существующим и обращающимся в силу естественных и совершенно вразумительных законов» в отличие от общества – «мира чудес» (см. наст. изд., т. 7, стр. 427).

Стр. 154...после декабрьского переворота... – то есть после государственного переворота 2 декабря 1851 г., осуществленного президентом Франции Людовиком Бонапартом, через год объявившим себя императором под именем Наполеона III. Среди эмигрантов были Виктор Гюго, Луи Блан, Ледрю-Роллен.

...время убедило даже деятелей декабрьского переворота, что прежняя система стеснений представляет много... неудобств... – в 1867–1869 гг. правительство Наполеона III предприняло ряд либеральных реформ (смягчение цензурного режима, разрешение свободы собраний и т. п.), результатом чего было оживление деятельности оппозиции, в частности, во время выборов 1869 г. Русская печать всех направлений самым внимательным образом следила за событиями во Франции, публикуя многочисленные статьи, корреспонденции, рецензии (так, например, «Отечественные записки» в июльской книжке за 1869 г. возобновили публикацию «Парижских писем» Клода Франка <Шарля Шассена>, печатавшихся ранее в «Современнике»; первое письмо было посвящено выборам 23 и 24 мая 1869 г.).

Стр. 155...либеральная партия... не может уладиться ни насчет своих требований, ни насчет своих вождей. Прежние вожаки оказываются оставшимися при тех же афоризмах... – Аналогичная характеристика внутривнутриполитического положения во Франции дана во втором «письме» из Парижа Клода Франка, напечатанном в том же номере «Отечественных записок», что и комментируемая статья Салтыкова: «При первом послаблении возгорелась все прежние распри, несогласия, споры; что ни газета, то и лагерь; что ни статья, то и противник» («Совр. обозрение», стр. 171). Возможно, Салтыкову была известна книга будущего коммунара Огюста Вермореля

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru «Деятели сорок восьмого года», вскоре переведенная на русский язык (СПб. 1870), в которой доказывалось, что «деятели сорок восьмого года» (среди них – Одилон Барро, Ламартин, Луи Блан, Ледрю-Роллен) своей политикой во время революции подготовили переворот 1851 г. «...Когда мы видим, что они опять становятся во главе демократического и либерального движения, – писал Верморель, – когда мы видим, что они держат в руках нашу будущность, – нами овладевает уныние» (назв. изд., стр. 515).

Стр. 159...пример Грановского, которого профессорская деятельность в Москве, по словам его биографа, была встречена общим сочувствием... – «На лекциях Грановского, – писал Станкевич, – московское общество впервые испытало впечатления и силу живого слова, публичность речи <...> Положительно можно сказать, что со времени публичных чтений Грановского московское общество сильнее, чем когда-нибудь, сблизилось с университетом, так же как и университет более прежнего сблизился с обществом в лице лучших представителей своих» и т. д. (стр. 140–141). (В этих оценках общественного значения лекций Грановского ощущаются реминисценции из безусловно хорошо известной Станкевичу статьи Герцена «О публичных чтениях г-на Грановского», написанной по окончании цикла этих лекций в 1844 г., под свежим впечатлением их успеха у московской публики – см. А. И. Герцен. Собр. соч. в 30-ти томах, т. 2, М. 1954, стр. 122–123.) Салтыков ограничивает «район воспитательного действия Грановского» лишь молодежью того времени, к которой принадлежал тогда и он сам (см. С. А. Макашин. Салтыков-Щедрин. Биография. 1, изд. 2, стр. 141, 250).

Стр. 161...Грановскому внушалось... – В письме к Н. Х. Кетчеру от 14 января 1844 г. Грановский сообщает, что от него требовали апологий и оправданий в виде лекций: «Реформация и революция должны быть излагаемы с католической точки зрения и как шаги назад. Я предложил не читать вовсе о революции. Реформации уступить я не мог» (цит. соч., стр. 142; первую фразу этого отрывка цитирует Салтыков с следующим изменением: вм. «революция» – «французская революция»). Когда осенью 1849 г. вышла из печати диссертация Грановского «Аббат Сугерий», «его обвиняли в том, что в чтениях истории он будто бы никогда не упоминает о воле и руке божией, управляющих событиями и судьбою народов» (стр. 241). В конце 1849 г. Грановскому было поручено «предварительное начертание программ» учебника всеобщей истории «в русском духе и с русской точки зрения» (подразумевался монархический принцип). Между тем взгляды Грановского как «западника», высказанные, в частности, в его публичных лекциях, были хорошо известны. «Легко понять, – пишет Станкевич, – как трудно было для Грановского исполнение данного ему поручения...» (стр. 245).

Стр. 161...людей, которые вчера своей деятельностью обращали на себя всеобщее внимание, а нынче уж исчезли неизвестно куда... – Салтыков напоминает читателям о трагической судьбе «деятели мысли» 60-х годов, прежде всего – Чернышевского.

Стр. 164. И при этом совершенное отсутствие всякой системы... Что такое этот русский дух... вразумительно разъяснил... «Русский вестник» в опубликованных статьях «О народности в науке», это же разъясняют нам в настоящее время «Московские ведомости»... – Салтыков полемически сопоставляет два противоположных мнения о «народности», высказанных в изданиях Каткова в 1856 и 1869 гг. В первом случае имеются в виду напечатанные в «Русском вестнике» антиславянофильские статьи Б. Н. Чичерина «О народности в науке» и редакционные (принадлежавшие Каткову) «Заметки «Русского вестника». Вопрос о народности в науке» (см. об этом т. 6 наст. изд., стр. 610). Во втором случае Салтыков говорит о националистической точке зрения, высказанной в передовой статье «Московских ведомостей» (1869, № 184 от 22 августа) в связи с выходом в свет «Сборника статистических сведений о Кавказе».

Стр. 166...до «прекрасной зари» он не дожил... – Грановский умер в октябре 1855 г., уже после смерти Николая I, но еще до начала эпохи подготовки и проведения крестьянской реформы. Именно эту эпоху называет в своей книге Станкевич «прекрасной зарей».

Стр. 167...в тех застывших и обособившихся его эманациях... – Имеется в виду государственный аппарат надзора и подавления в области идеологии (политическая полиция, цензура и т. п.). Эманация (лат. *emanatio* – истечение) – в древнеримской идеалистической философии объяснение происхождения мира путем мистического истечения творческой энергии божества.

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
НАШИ БУРИ И НЕПОГОДЫ
Впервые: ОЗ, 1870, № 2, отд. «Современное обозрение», стр. 394–413 (вып. в свет – 18 февр.). Без подписи. Авторство установлено С. С. Борщевским на основании анализа текста – неизвестные страницы, стр. 525–532.

По жанру статья граничит с сатирическим очерком. Социально-психологические характеристики здесь персонифицированы в образах автора – известного литератора, его жены, тетушки, его приятеля Федя Горошкова. Центральный образ рассказчика представляет широкое обобщение психологии русского интеллигента пореформенного времени, а отдельные факты его биографии, взятые из жизни самого Салтыкова (характеристика «архива» писателя, рассказ о неудавшейся попытке создания «своего» журнала и др.), сообщают повествованию тот доверительно-интимный тон, атмосферу острой личной заинтересованности в общественных делах, которая так характерна для салтыковского стиля.

В том же номере «Отечественных записок», где помещена статья «Наши бури и непогоды», напечатана глава V первой части поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» («Помещик»), которая заканчивается словами:

Порвалась цепь великая,
Порвалась, – расскочилась –
Одним концом по барину,
Другим по мужику.

Каким образом «ударил» эта цепь по интеллигенции, показал Салтыков во многих статьях и очерках, начиная со второй половины 60-х годов, в особенности в таких больших циклах, как «Дневник провинциала в Петербурге», «За рубежом», «Благонамеренные речи», «Письма к тетеньке», «Современная идиллия». Этой теме целиком посвящена статья «Наши бури и непогоды». Непосредственным поводом к ней явился ряд грубопровокационных выступлений «Московских ведомостей» против революционной молодежи и либерально-демократической печати в связи с подготовкой «нечаевского процесса» (см. стр. 516–517). Салтыков передает то состояние страха, которое охватило русское общество при первых известиях об арестах, чувство полной незащитности ни в чем не повинного человека перед неограниченной властью произвола и сыска, олицетворенного в целой плеяде охранителей: от околоточного надзирателя до редактора «Московских ведомостей». Первые разрозненные сведения об арестах членов организации «Народная расправа», о связях Нечаева с Бакуниным, об обстоятельствах убийства студента Иванова (см. стр. 519–527) стали появляться в печати в декабре 1869 – январе 1870 г. «Московские ведомости» регулярно отводили таким сообщениям пространное место и сопровождали их комментариями вроде следующих: «Спрашивается, может ли общество оставаться нейтральным относительно этих революционеров? <...> Нет, это отъявленные враги своего отечества, это друзья и пособники его врагов, это их создания и орудия» (1870, № 4 от 6 января). Или: «Пусть гибнут мальчишки, пойманные на удочку нигилизма, – вожди и глашатаи нигилизма потирают себе руки» (1870, № 5 от 8 января). Идеализируя все устои современной русской жизни, от земского мира до общественной инертности массы населения, «Московские ведомости» заявляли: «У нас еще не дошло дело до столкновения мнений ни в науке, ни в политической жизни, по той простой причине, что у нас пока не имеется ни того, ни другого» (1870, № 14 от 18 января). По-видимому, это утверждение катковской газеты парирует Салтыков, когда с горькой иронией отмечает, «что, не пользуясь в действительности политическим существованием, мы то и дело терпим политические бури». Салтыков глубоко исследует самый процесс влияния этих обстоятельств на сознание и поведение интеллигента, который проходит три стадии эволюции: самоуглубление, самоиспытание и самообмысливание. Такая триединая формула отчасти предвосхищает известные ступени морального падения либерала, которые сатирик покажет позднее: «по возмужности», «хоть что-нибудь», «применительно к подлости» («Либерал», 1885).

Еще в статье «Один из деятелей русской мысли» Салтыков писал о разрушительном, уродующем влиянии «внешних опасностей» на духовный мир мыслящего человека. Внешние и внутренние опасности, подстерегающие русскую интеллигенцию накануне «нечаевского процесса», во время нового наступления сил реакции обрисовал Салтыков в статье «Наши бури и непогоды». «Недреманное око», неотступно наблюдающее извне за каждым шагом интеллигента, поселяется и внутри его сознания. Возникает салтыковский образ вездесущего «любопытного консерватора», то есть провокатора и доносчика. Развитие этой темы в других произведениях сатирика, в частности в очерке «Охранители» (1874), из цикла «Благонамеренные речи», обратило на себя внимание Достоевского, который записал в одной из

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru черновых тетрадей: «Тема сатир Щедрина – это спрятавшийся где-то квартальный, который его подслушивает и на него доносит; а г-ну Щедрина от этого жить нельзя». Запись эта, опубликованная в первом томе посмертного Собрания сочинений Достоевского («Биография, письма и заметки», СПб. 1883, стр. 370), разумеется, была замечена Салтыковым. Отвечая на этот упрек Достоевского в беседе с Г. И. Успенским, Салтыков разъяснил подлинный смысл своей темы, что имеет прямое отношение и к статье «Наши бури и непогоды»: «Вот Достоевский написал про меня, что, когда я пишу, – квартального опасаясь. Это правда, только добавить нужно: опасаясь квартального, который во всех людях российских засел внутри. Этого я опасаясь» («Голос минувшего», 1913, № 2, стр. 235–236). С новой силой этот образ возрождается в «Современной идиллии». По словам Глумова, доносчик – «гороховое пальто» – «внутри оно у нас, в сердцах наших». Можно сказать, что в творческой истории «Современной идиллии» статье «Наши бури и непогоды» принадлежит важное место.

В том же номере журнала, где появились «Наши бури и непогоды», был напечатан обзор «Наши общественные дела» (Н. А. Демерта), который завершился главой «По поводу известия о смерти А. И. Герцена». Автор, подобно Салтыкову, характеризует атмосферу обывательского страха перед именем Герцена. Он описывает, как газета с извещением о смерти великого революционера перешла из рук в руки при полном молчании. Консервативные органы печати затеяли спор о том, кто первый парализовал общественное влияние издателя «Колокола»: «М. Н. Катков, Б. Н. Чичерин или Н. Ф. Павлов?» В заключение автор говорит: «Каждый мыслящий и не боящийся высказать правду человек очень хорошо знает, что покойный Герцен представляет собою не только замечательного беллетриста, но просто исторический факт, которого впоследствии обойти будет невозможно» (стр. 381).

Скрытое упоминание о Герцене, чья деятельность остается примером высокого гражданского подвига, имеется и в статье Салтыкова (см. ниже прим. на стр. 518).

Заклячая статью, Салтыков в иносказательной форме говорит о необходимости коренных социально-политических перемен. Сравнивая временную победу либеральной прессы над «Московскими ведомостями» с сюжетом о погребении кота мышами в лубочных картинках, он заявляет, что «правильно поставлено будет общество только тогда, когда не будет возможности одним делаться котами, а другим – мышами...».

Стр. 170...герой «времен очаковских и покоренья Крыма». – Цитата из монолога Чацкого «А судьи кто?» (А. С. Грибоедов. Горе от ума).

Стр. 171...каждый сидит под виноградом своим и под смоковницею своею... – Библейское выражение, символизирующее спокойствие и благоденствие (третья «Книга Царств», IV, 25; четвертая «Книга Царств», XVIII, 31).

...вся страна наслаждается, по выражению одного публициста, глубоким земским миром. – Имеется в виду М. Н. Катков.

Стр. 173. Еще с 1862 г., убежденный И. С. Тургеневым... – Имеется в виду роман «Отцы и дети». Об отношении к нему Салтыкова см. наст. изд., т. 5, стр. 581–582; т. 6, стр. 9, 15–16 и др.

Стр. 175. Я начинаю с того, что припоминаю всех заподозренных «Московскими ведомостями»... – Многие статьи «Московских ведомостей» по поводу «нечаевского дела» носили характер неприкрытых доносов. 20 декабря 1869 г. (№ 277) газета объявляла: «Теперь ходят слухи, что этот Нечаев снова появляется на сцену и при весьма странных обстоятельствах: он, говорят, возвратился в свое любезное отечество. Нам пишут из Петербурга: «В прошлом августе здесь появилась из Женевы прокламация на русском языке под заглавием «Начало революции». В ней предписывается всем эмигрантам немедленно прибыть в Россию. Лишь некоторым почетным эмигрантам, Бакунину, Герцену и др., дозволялось быть, где они пожелают. <...> Нам сообщают также, что в Петербург, после сделанного через прокламацию предупреждения, действительно будто бы приехало несколько эмигрантов, и в числе их прибыл благополучно и Нечаев. Мало того, рассказывают, что Нечаев успел уже перенести свою деятельность в Москву и будто бы обретается теперь здесь». На другой день, 21 декабря 1869 г., «Московские ведомости» (№ 278) сообщали: «Всем известно, что с некоторых пор наша учащаяся молодежь стала предметом злонамеренной агитации. Наши учебные заведения осажены каким-то тайным врагом, который на них пробует свои силы и который, нет сомнения, совсем не то, чем он выдает себя для уловления бедных молодых людей». Далее названа

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru фамилия доктора Н. А. Белоголового, автора статьи «Клинический профессор Полунин», напечатанной в декабрьском номере «Архива судебной медицины» 1869 г. Белоголовый возлагал ответственность за студенческие беспорядки на реакционных профессоров медицинского факультета Московского университета.

Стр. 176...для преступлений литературных существует особый следственный и судебный процесс. – Законом от 6 апреля 1865 г. была предусмотрена судебная ответственность за «преступления печати».

Стр. 178...Белоголового арестовали. – Очевидно, Салтыков считал, что такой слух мог быть порожден статьей «Московских ведомостей» от 21 декабря 1869 г. (№ 278), написанной в форме доноса на доктора медицины Н. А. Белоголового, который обвинялся в сочувствии революционной молодежи.

...студентов, исключенных по истории Полунина. – См. стр. 200–202.

Стр. 179...«Почему же и не самообыскаться?» – Как установил С. С. Борщевский, Белоголовый, в одной из статей издававшейся при его участии заграничной газеты «Общее дело» (1884, № 64), употребил это щедринское словечко, назвав «эпохой самообыскания» время, наступившее после покушения на Александра II, совершенного 2 апреля 1879 г.

...к карточкам великих, но запрещенных людей. – Имеются в виду фотографии Герцена и Гарибальди, получившие широкое распространение в России в 60–70-х годах.

...аккомодация – приспособление.

...чем пламеннее делается натиск... тем суровее дает она отпор. – Салтыков перефразирует строку из стихотворения Пушкина «К вельможе» (1830): «Здесь натиск пламенный, а там отпор суровый».

Стр. 180...читала Мизераблей В. Гюго. – Роман В. Гюго «Les Misérables» («Отверженные») в русском переводе появился в 1862 г. В 1866 г. он вышел в издании В. Генкеля, но вначале был задержан цензурой за «революционные и социалистические тенденции».

...«Идиот» г. Достоевского. – Оценку этого романа Салтыковым см. на стр. 413.

...хвалили этот роман именно за картинность. – По-видимому, речь идет о статье Писарева «Борьба за жизнь» («Дело», 1867, № 5; 1868, № 8), в которой «Преступление и наказание» рассматривалось не как идейно-философский, а исключительно как социальный роман, воссоздающий правдивые картины трагически тяжелой борьбы за существование.

...«Собака», «Лейтенант Ер...». – Рассказ «Собака» был напечатан в «С.-Петербургских ведомостях», 1866, № 85. Сам Тургенев называл «Собаку» «безделкой», считал, что она «не удалась». «История лейтенанта Ергунова» появилась в «Русском вестнике», 1868, № 1. Тургенев писал, что рассказом «все решительно недовольны, все без исключения».

Стр. 180...Заграничный исторический сборник. – Имеется в виду «Исторический сборник вольной русской типографии в Лондоне». Сборник был выпущен Герценом, с его предисловием, в двух книжках (1859 и 1861 гг.). Он состоял из публикаций «разных документов и статей, актов и писем, невозможных для печатания в России...» (из предисловия Герцена).

Стр. 181...печатаются в «Архиве» Бартенева. – Исторический журнал «Русский архив», основанный П. И. Бартеневым в 1863 г., Салтыков не раз обличал как консервативное издание. Так, «Обращение к читателю от последнего архивариуса-летописца» в начале «Истории одного города» заканчивалось словами, что все летописцы «единую имели опаску, дабы не попали наши тетрадки к г. Бартеневу и дабы не напечатал он их в своем «Архиве». О «Русском архиве» см. стр. 386 («Записки Е. А. Хвостовой»).

...Семевского, если, хочешь, также выпишу. – В 1870 г. М. И. Семевским начал издаваться исторический журнал «Русская старина». Салтыков относился к Семевскому значительно лучше, чем к Бартеневу, однако причислял и его к историкам «анекдотической школы», а в «Истории одного города» создал пародию на

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru такой тип сочинений («Сказание о шести градоначальницах»). Запись беседы Семейского с Салтыковым от 6 февраля 1882 г. см. в кн.: «М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников», Гослитиздат, М. 1957, стр. 523-532. О журнале Семейского – см. также стр. 386 («Записки Е. А. Хвостовой»).

Стр. 182...ауто-дафе (лат.) – сожжение на костре.

Стр. 183. «Вас ждут известные вам...».. Предприятие это не осуществилось. – Имеется в виду эпизод, связанный с деятельностью самого Салтыкова. В 1862 г. Салтыков с А. Унковским задумали издавать журнал «Русская правда». К руководящему участию в издании были приглашены также А. А. и А. Ф. Головачевы, А. И. Европеус, Б. И. Утин, А. Н. Плещеев, велись также переговоры с Н. Г. Чернышевским и, на более позднем этапе, с Г. З. Елисеевым и Н. А. Некрасовым. (Подробно см. заметку С. А. Машина в книге «М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников», стр. 833-834.) Однако правительство не дало разрешения на это издание.

Стр. 187...петербургская литература, жожаками которой в злоумышлениях представляются Шелгунов, Суворин и Генкель. – 8 января 1870 г. «Московские ведомости» (№ 5) писали: «Неволью спрашиваешь себя: наяву ли это происходит или во сне?...гг. Генкель, Суворин, Шелгунов и tutti quanti ограждают русское общество от зловредной агитации «Московских ведомостей»?» И здесь же: «Послушайте, как обвиняют нас прокуроры «Недели», издаваемой г. Генкелем... они восклицают: «Кого более следует остерегаться русскому обществу: таких ли агитаторов, каков, например, Нечаев, или таких, каковы редакторы «Московских ведомостей»?»

...он давно уже живет вне Петербурга, в изгнании. – В показаниях по делу Чернышевского предатель Костомаров заявлял о принадлежности Н. В. Шелгунова к революционной организации. Обвинение осталось недоказанным. В 1864 г. Шелгунов был выслан в Вологодскую губ. в административном порядке. С апреля 1869 г. он жил под надзором полиции в Калуге.

Не он ли написал: «Всякие». – С 1863 г. Суворин был ближайшим сотрудником «С.-Петербургских ведомостей», где печатал фельетоны и очерки под псевдонимом А. Бобровский. В 1866 г. он издал книжку под заглавием «Всякие. Очерки современной жизни», главный герой которой Ильменев был изображен как «новый человек», конспиратор, близкий к писателю Самарову (то есть Чернышевскому). Вскоре по выходе книги тираж ее был арестован, а Суворин предан суду «за напечатание оскорбительных и направленных к поколебанию общественного доверия отзывов о постановлениях и распоряжениях правительственных установлений...». Окружной суд приговорил Суворина к двум месяцам тюремного заключения, но после его униженной апелляции, со ссылками на Гоголя и Щедрина, которым была дозволена критика чиновников, судебная палата изменила наказание. Книга «Всякие» была сожжена, автор приговорен к трем неделям гауптвахты. (См. об этом подробно в «Сборнике сведений по книжно-литературному делу за 1866 г.», изд. Черепнина, М. 1867)

Стр. 188...упорное отстаивание им своего права на статью Марко Вовчка, без всякого законного на то акта и невзирая на протест последней? – Имеется в виду протест писательницы М. А. Марко Вовчок против объявления Генкеля о помещении ее произведений в его издании, опубликованный в «С.-Петербургских ведомостях», 1869, № 334. В эти годы Марко Вовчок постоянно печаталась в «Отечественных записках».

ТАК НАЗЫВАЕМОЕ «НЕЧАЕВСКОЕ ДЕЛО» И ОТНОШЕНИЕ К НЕМУ РУССКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ

Впервые: ОЗ, 1871, № 9, отд. «Современное обозрение», стр. 1-33 (вып. в свет – 20 сентября). Подпись: М. М. Авторство раскрыто в «Указателе к «Отечественным запискам» за 1868-1877 гг.» (ОЗ, 1878, № 8, стр. XVII, и отд. издание) и в гонимых ведомостях «Отечественных записок» 1871 г. (ЛН, т. 53-54, М. 1949).

В июле – августе 1871 г. происходил первый открытый политический процесс в России – над участниками тайного общества «Народная расправа». К суду были привлечены почти все члены организации – 84 человека, разделенные на четыре категории (по тяжести предъявленных обвинений), – в основном интеллигентная молодежь и студенты. Салтыков сам был на процессе (в частности, 27 августа, см. прим. к стр. 191) и многие подробности мог знать от своего друга А. М. Унковского – одного из защитников.

Волнения студентов в конце 1868 – начале 1869 г. явились толчком к созданию

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru «Народной расправы». Как бы продолжая в новых условиях студенческое движение 1861 г., участники его требовали права свободно собирать сходки, устраивать библиотеки, кассы взаимопомощи и т. д. При этом часть молодежи не ограничивалась стремлением к демократизации одной лишь студенческой жизни, а переходила непосредственно к борьбе за освобождение всего народа от гнета самодержавного государства. Вскоре революционная активность студенческой молодежи была использована С. Г. Нечаевым для создания тайной организации анархистского толка. Сам Нечаев, вольнослушатель Петербургского университета, был энергичным участником студенческих волнений, фанатически преданным революции. Значительное влияние на весь характер его деятельности оказал анархизм Бакунина. Однако многие взгляды и дела Нечаева вызвали со стороны Бакунина решительный протест. Это относится, в частности, к известному документу «Катехизис революционера», который до последнего времени считался сочинением Бакунина и Нечаева. Как свидетельствует пространное письмо Бакунина к Нечаеву от 2 июля 1870 г., впервые опубликованное в 1966 г., «Катехизис» принадлежит перу Нечаева. Определяя свои разногласия с Нечаевым, Бакунин ссылается на их прежние споры: «Помните, как Вы сердились на меня, когда я назвал Вас абреком, а Ваш катехизис катехизисом абреков», и далее: «...Вы по образу мыслей подходите более к иезуитам, чем к нам. Вы фанатик – в этом Ваша огромная характерная сила; но вместе с тем и ваша слепота, а слепота большая и губительная слабость» («Cahiers du Monde Russe et Soviétique», 1966, Sorbonne, Vol. VII, № 4, p. 632). Формулируя основные принципы, которыми должно руководиться при создании революционного общества, Бакунин отвергал нечаевскую тактику заговора, террора и мистификации. Он писал: «Иезуитский контроль, система полицейского опутывания и лжи решительно исключаются из всех 3-х степеней тайной организации: точно так же из уездного и областного», как и из Народного братства. Сила всего общества, равно как нравственность, верность, энергия и преданность каждого члена, основаны исключительно и всецело на взаимной истине, на взаимной искренности, на взаимном доверии и на открытом братском контроле всех над каждым» (там же, p. 672).

В большой статье «Альянс социалистической демократии и Международное товарищество рабочих», посвященной прежде всего критике бакунизма, Маркс и Энгельс особо рассматривают «Катехизис революционера». «Эти всеразрушительные анархисты, – отмечают они, – которые хотят все привести в состояние аморфности, чтобы установить анархию в области нравственности, доводят до крайности буржуазную безнравственность». [288]

Четвертого марта 1869 г., опасаясь преследований со стороны полиции за участие в студенческих волнениях, Нечаев уезжает за границу и, явившись в Женеву, к Огареву и Бакунину, выдает себя за руководителя студенческого революционного движения, бежавшего из Петропавловской крепости. 1868–1869 гг. были особенно трудными в жизни Огарева: возможность издания «Колокола» оказались исчерпанными, разногласия с «молодой эмиграцией» углублялись, живых связей с Россией почти не осталось. Поэтому Огарев с большим энтузиазмом встретил Нечаева и уверял Герцена, что приезд петербургского студента «поворачивает на воскресение заграничной прессы» (письмо от 1 апреля 1869 г., ЛН, т. 39–40, стр. 545). Огарев, вместе с Нечаевым и Бакуниным, развернул широкую агитационную кампанию, сам написал брошюру («В память людям 14 декабря 1825 г.»), прокламации («От стариков молодым друзьям», «Наша повесть»), а также стихотворение «Студент», посвященное «молодому другу Нечаеву», которое впоследствии фигурировало в материалах процесса.

Следует отметить, что Герцен все время относился к Нечаеву недоверчиво и неприязненно. В письмах «К старому товарищу» (1869), обращенных к Бакунину и отчасти Огареву, он решительно отвергает теорию и тактику анархизма как явления глубоко враждебные революции. Герцен утверждает, что необходимо «окончательно пожертвовать уголовной точкой зрения, а она, по несчастью, прорывается и мешает понятия, вводя личные страсти в общее дело и превратную перестановку невольных событий в преднамеренный заговор». [289] И далее: «Дикие призывы к тому, чтобы закрыть книгу, оставить науку и идти на какой-то бессмысленный бой разрушения, принадлежат к самой неистовой демагогии и к самой вредной». [290]

В августе 1869 г. Нечаев возвращается в Россию, и в Москве, преимущественно из студентов Петровской земледельческой академии, создает тайное общество «Народная расправа», состоящее из небольшого, не связанных между собой кружков. Это давало Нечаеву возможность вносить членам «Народной расправы» иллюзию об огромных масштабах организации, ячейки которой будто бы разбросаны по всей стране и даже

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru по всему миру. Нечаев предъявлял особо доверенным лицам мандат, подписанный Бакуниным от имени «Русского отдела всемирного революционного союза», пользовался специальными бланками с эмблемой «Альянса». Нечаев требовал от членов «Народной расправы» беспрекословного повиновения своим приказам. На этой почве в конце 1869 г. произошло трагическое событие, повлекшее за собой арест почти всех участников подпольной организации. За отказ подчиниться Нечаеву 21 ноября в парке Петровской академии был убит студент И. Иванов. Убийство совершил сам Нечаев с помощью четырех членов «Народной расправы» – П. Успенского, А. Кузнецова, И. Прыжова, Н. Николаева. Нечаев успел бежать за границу, остальные четверо, вместе с другими участниками «Народной расправы», через полтора года предстали перед судом Санкт-Петербургской судебной палаты. (В 1872 г. Нечаев был выдан швейцарскими властями русскому правительству и приговорен к каторжным работам в Сибири.)

Первые сообщения, а затем и статьи о «нечаевской истории» появились уже в январе 1870 г. Особенно усердно выступали «Московские ведомости», обвинявшие другие органы печати в либерализме и нигилизме. (В статье «Наши бури и непогоды» Салтыков писал, что, по мнению этой газеты, следует арестовывать «не по несомненным уликам, и даже не по уликам, а так просто, по предложению, или, точнее сказать, по вдохновению».) Однако позднее, когда происходил сам процесс и когда его материалы, сначала публиковавшиеся в «Правительственном вестнике», затем перепечатывались и комментировались на страницах многих изданий, наглядно обнаружилось то «литературное единодушие», которое с такой убийственной иронией показал Салтыков. Разумеется, отдельные, иногда даже существенные разногласия были между некоторыми печатными органами. Так, например, «С.-Петербургские ведомости» резонно осуждали «Московские ведомости» за то, что те «думают, что защитники должны были греметь против нигилизма», «изобличить весь вред этого направления». «Во всех образованных государствах, – писали «С.-Петербургские ведомости», – людей наказывают не за то, что они держатся тех или других ложных воззрений, а за то, что они совершили известные деяния, положительно воспрещаемые законом». И «Московские ведомости» и «Голос» возмущались теми «утонченными оборотами речи», которые употреблялись председателем суда и защитниками по отношению к подсудимым. «С.-Петербургские ведомости», напротив, одобряли эту манеру. Но несмотря на разногласия, органы печати консервативного и буржуазно-либерального направления сходились в главном: отождествляя «нечаевское дело» со всем русским революционным движением, они поносили революционную молодежь в целом, заявляя, что в России нет почвы для революции и что заниматься ею могут лишь безумцы, неучи да Хлестаковы.

Салтыков с глубокой иронией пишет о том слаженном «антинигилистическом» хоре, который, как по команде, возник из разногласицы современной печати (см. его введение к статье и многочисленные авторские примечания).

«Отечественные записки» не могли прямо и откровенно высказать свой взгляд на «нечаевское дело», не затронув общих проблем революционного движения, что по цензурным причинам было невозможно для радикального издания. Но взгляд этот внимательный читатель мог определить по совокупности материалов, печатавшихся в «Отечественных записках» и прежде всего в том номере, где была помещена статья Салтыкова: «Так называемое «нечаевское дело»...»

Еще в феврале 1870 г., статьей «Наши бури и непогоды», Салтыков откликнулся на подготовку «нечаевского процесса» (см. наст. том, стр. 170–190).

В письме к Некрасову от 17 июля 1871 г. он писал: «По моему мнению, полезно было бы напечатать нечаевское дело в «Отечественных записках» вполне, и начать это печатание в августовской книжке (вероятно, и 2-я категория уже будет кончена к тому времени). Перепечатку можно сделать из «Правительственного вестника», где этот процесс затем и печатается, чтоб его отчетом руководились прочие журналы. Читателям будет интересно иметь в руках полное изложение всего процесса, который он имеет теперь в отрывках, рассеянных во множестве №№ газет.

Затем мне казалось бы излишним в сентябрьской книжке напечатать свод статей, появившихся по этому <делу> в газетах и журналах. Это тоже не лишено будет для читателей интереса; ежели хотите, я возьму этот труд на себя и сделаю его совершенно скромно. В сентябрьской книжке это будет удобно сделать, потому что впечатление несколько остынет» (см. т. 18 наст. изд.).

Осуществилась лишь вторая половина замысла Салтыкова – его «совершенно скромная»

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru статья о «нечаевском деле» появилась в сентябрьской книжке. Вместе с анонимной статьей «Литературные заметки», напечатанной в том же номере, эта статья Салтыкова вызвала недовольство Александра II, который, как говорится в докладе III Отделения, на полях против этих двух статей «изволил собственной рукою начертать: «обратить на это внимание министра внутренних дел».

Обличая благонамеренную журналистику, Салтыков как бы возвращал мысль читателя к одной из своих статей 1868 г. – «литература на обеде», где в широком смысле затронуто то же явление. Причину отсутствия «серьезной публицистической литературы» Салтыков объяснял тем, что ее и не может быть «в стране, где нет полной свободы слова» (стр. 59). Передовые статьи, где есть хоть нечто самостоятельное, напоминают, по мнению Салтыкова, «те челобитья, которые в древнее время писали государевы сироты» (там же). И, вероятно, не случайно именно этот образ повторяется в упомянутых «Литературных заметках». «Говоря откровенно, нет ничего трагикомичнее положения публициста, брошенного судьбою на берега Невы <...> Его писания не имеют даже того значения, какое когда-то имели челобитные царских сирот» (ОЗ, 1871, № 9, отд. «Современное обозрение», стр. 153).

В статье Салтыкова почти нет прямых авторских суждений о позиции той или иной газеты, их заменяет эзоповская фразеология, едкая ирония «похвальных слов» по поводу верноподданной публицистики. Однако в «Литературных заметках» читатель находил своеобразный и подробный комментарий к тому, что он уже узнал из статьи «Так называемое «нечаевское дело»...» (этой статьей открывался отдел «Современное обозрение»). Ссылаясь на те же рассуждения «Московских ведомостей», которые обильно цитировались в статье Салтыкова, автор «Литературных заметок» обвиняет газету в «политической мономании», стремлении видеть везде «заговоры, сепаратизмы», государственные преступления (стр. 167).

На многих примерах критик разъясняет подлинный смысл той «заботы об отечестве», которую уже много лет подряд проявляют «Московские ведомости». Благонамеренному единомыслию он противопоставляет «открытую и свободную» борьбу мнений, ибо «человеческая мысль может мужать и крепнуть только в борьбе разнородных мирозерцаний» (стр. 171). Критик призывает к «трезвому взгляду на политические процессы», на их связь с развитием общественной мысли. Чтобы отделить «нечаевское дело», которое в одной из статей 1873 г. Михайловский назовет «монстром», от дела прогресса, необходимого и неизбежного, он создает прозрачный аллегорический образ: если кто-то выбросился из окна, это еще не повод запретить людям, жаждущим света, приближаться к окнам (стр. 175).

Разбираемый номер «Отечественных записок», как и многие другие книжки этого журнала, скомпонован таким образом, что разные материалы, в нем напечатанные, каждый по-своему разрабатывают одну и ту же тему. Так, например, перед статьей Салтыкова напечатан цикл сатирических стихотворений В. Буренина. Первое из них – «Общественное мнение» – предваряет одну из важных тем статьи о «нечаевском деле»:

«– Плохо, Петр Иванович?
– Плохо, Петр Ильич!
Думал, нынче за ночь
Хватит паралич:
Слышали, в суде-то
Что творится? Ох,
Верьте мне: нас это
Наказует бог!
Школьникам, мальчишкам –
Просто стыд и срам –
Поблажает слишком
Председатель сам!
Вежлив, как в салоне:
«Смею вам сказать...»
В эдаком-то тоне
С ними рассуждать!»
Стихотворение заканчивается такими словами:

«Да-с, прогресс сей ввержет
Нас злосчастья в ров,
Если не поддержит

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Господин Катков!»

В этом же номере журнала, после долгого перерыва возобновилось печатание «Парижских писем» Шарля Шассена. Здесь описывались события Парижской коммуны, мысль о которых естественно связывалась в те дни с судьбами русской революции. И хотя Шассен был далек от глубокого понимания причин и характера Коммуны, хотя точка зрения самого Салтыкова (см. «Итоги», т. 7) была существенно иной, тем не менее подробная информация о французских событиях, разоблачительная характеристика палача Коммуны Жюля Фавра представляли большой интерес для русского читателя. Кстати, Шассен в «Парижских письмах» расценивает циркуляр Жюля Фавра от 6 июня, о котором идет речь в статье Салтыкова, как позорный полицейский документ.

Наконец, в этом же номере «Отечественных записок» была помещена глава из новой книги Салтыкова «Господа ташкентцы» – «Ташкентцы приговорительного класса», где изображается страх дворянства перед «тайными обществами» нигилистов и жажда мести новым Каракозовым. Обличение консервативной и буржуазно-либеральной («пенкоснимательской») прессы – главную тему статьи «Так называемое «нечаевское дело»...» – Салтыков продолжил в «Дневнике провинциала в Петербурге» (1872).

Стр. 191...войдя в одно из заседаний суда... мы нашли... – Судебные заседания, где рассматривались дела подсудимых четвертой категории, происходили от 27 августа 1871 г.

...к отделению от государства обширных частей (Сибири)... – Обвинение это было предъявлено группе подсудимых четвертой категории: «Кошкин, Долгушин, Дудолодов и Лев Топорков <...> состояли членами кружка сибиряков <...> для кружка этого и был написан Долгушиным устав <...> в собраниях оного рассуждалось об отделении Сибири <...> и в самом уставе общества сибиряков, Долгушиным составленном, было сказано, как говорил Кошкин: «Цели будущей нашей деятельности мы не можем определить потому, что неизвестно, каково будет положение Сибири во время улучшения материального ее благосостояния, нужно ли тогда будет отделить Сибирь или нет» («Правительственный вестник», 1871, № 205 от 28 августа, стр. 2).

Стр. 193...формализироваться – обижаться (от франц. – formaliser).

Один талантливый фельетонист... не без ядовитости назвал нас «братьями-молчаливниками». – Как установил С. С. Борщевский, Салтыков имел в виду фельетон Суворина «Недельные очерки и картинки» («С.-Петербургские ведомости», 1871, от 16 мая), где публицисты «Отечественных записок» были названы «молчаливым легионом» за присущее им будто бы стремление отмалчиваться при обсуждении важных общественных вопросов (см. изд. 1933–1941, т. 8, стр. 539).

Стр. 194...«Отечественные записки» – издание ежемесячное... – Этот аргумент выдвигается, конечно, иронически, так как «Вестник Европы», цитируемый Салтыковым, – тоже ежемесячный журнал.

...«металлом звенящим»... – См. прим. к стр. 137.

Стр. 195...четверо подсудимых приговорены к каторжной работе... – 15 июля был зачитан приговор суда, по которому Успенский, Кузнецов, Прыжов и Николаев ссылались в каторжные работы на разные сроки с лишением всех прав состояния.

...отпуская этих последних... – В стенограмме суда читаем: «Председатель: Подсудимые Орлов, Волховский, Коринфский и Томилова! Не угодно ли вам выйти на середину залы.

(Подсудимые вышли).

Подсудимые! Вы свободны от суда и содержания под стражею. Господа! Отныне вам место не на позорной скамье, а среди публики, среди всех нас» («Правительственный вестник», № 168, стр. 6).

Эмфатический... – то есть напыщенный.

Стр. 197... он говорил, как чужой... – Имеется в виду речь Спасовича в защиту Алексея Кузнецова. См. об этом ниже.

И вот один рявкнул стихами... – Свое заключительное слово Прыжов закончил стихами

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru Гете. «Вы извините меня, почтенные судьи, – сказал он, – если я позволю себе привести здесь слова величайшего германского поэта Гете, которые как будто прямо относятся к настоящему, крайне прискорбному для всех делу».

Жертвы валяются здесь,
Не телячьи, не бычьи,
Но неслыханные жертвы – человечьи».

По этому поводу автор уже упоминавшихся «Литературных заметок» писал: «Когда по окончании судебных прений Прыжову было дано слово, как оно дается обыкновенно всем подсудимым, он сказал несколько незначущих и бессвязных фраз, заключив их тремя стихами из Гете. «Московские ведомости» возмутились этим и не преминули заметить, «как один подсудимый рывкнул стихами». Признаемся, ничего отвратительнее этой заметки нам не случилось читать в русской литературе. Есть минуты, когда замирает всякая человеческая ненависть; слова приговоренного к смерти, физической ли то или политической, выслушиваются всеми спокойно, если не из уважения и любопытства, то из приличия. Только палач способен остановить жертву сказать последнее в жизни, дозволенное ей законом слово...» (ОЗ, 1871, № 9, стр. 180).

...другой воспользовался случаем... сослался на Брута и Кассия... – Речь идет о заключительном слове Успенского, который стремился оправдать убийство Иванова, разлагавшего тайное общество перед «критической минутой» и претендовавшего на ту роль, которую играл Нечаев. «Тут не было и речи о цементации дела кровью, – говорил Успенский. – У нас была другая связь, более крепкая; это идея, одушевлявшая нас, идея общего дела. Кто же не знает, что пролитая кровь не только не связывает, но разрывает все узы?.. Если бы и оставалась какая-нибудь связь, то она чисто внешняя, тяжелая, как цепь невольника. Так Брут и Кассий поссорились накануне Фарсальского сражения. Между ними стояла тень Цезаря» («Правительственный вестник», № 168, стр. 5).

Стр 198...контроверса – спор.

Но вот катехизис русского революционера. Он был прочитан на суде. – «Катехизис» был опубликован в «Правительственном вестнике», 1871, № 162 от 9 (21) июля.

Стр. 205...выучить наизусть даже некоторые страницы Канта. – Прыжов рассказал на суде, что Нечаев цитировал наизусть целые страницы из «Критики чистого разума».

Вообразите себе еще Огарева, Бакунина и Нечаева, составляющих заговор с надежным человеком, присланным в Женеву киевской администрацией (см. заявление одного из защитников в заседании 8-го июля). –

Имеется в виду заявление присяжного поверенного Соколовского: «В деле есть следующее обстоятельство: студенту Киевской Академии Маврицкому были присланы прокламации из Женевы, которые были доставлены им начальству. Вследствие того князь Дундуков-Корсаков воспользовался этим и послал в Женеву надежного человека, который вошел в знакомство с Нечаевым и Бакуниным и привез прокламации, причем Нечаевым были сообщены адреса знакомых ему лиц. Нам желательно было бы познакомиться с этими адресами, чтобы доказать, как мало имел Нечаев соучастников в деле студенческого движения». Прокурор ответил отказом на просьбу защитника («Правительственный вестник», № 162, стр. 5).

Стр. 206. «в снежных каторгах Сибири» – строка из стихотворения Огарева «Студент», посвященного Нечаеву:

Жизнь он кончил в этом мире
В снежных каторгах Сибири...

Стр. 208...фемгерихт – тайное судилище. От нем. Femgericht – тайное вестфальское судилище в средние века.

...как турецкий посланник в рассказе Хлестакова. – В рассказе Хлестакова иначе: «...министр иностранных дел, французский посланник, английский, немецкий посланник и я».

Стр. 213...Жюль Фавр счел нужным назвать в своем циркуляре и Россию. – Министр иностранных дел правительства Тьера Жюль Фавр 6 июня 1871 г. разослал всем европейским державам циркуляр, призывая их бороться с Международным товариществом рабочих, вплоть до его уничтожения. Все документы, приведенные в

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru циркуляре, не имели никакого отношения к Интернационалу, а были связаны с деятельностью бакунинского «Альянса социалистической демократии». Эта подтасовка была вскрыта Марксом и Энгельсом в «Заявлении Генерального Совета по поводу циркуляра Жюля Фавра» (от 12 июня 1871 г.) – см. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, изд. 2-е, т. 17, стр. 372–373.

Стр. 219...кажется, чего-чего не говорили и не писали о панурговом стаде... – «Антинигилистический» роман Вс. Крестовского «Панургово стадо» вышел в 1869 г.

...все у нас пусто, сухо, голо... прошедшее Польши в пурпуре и злате... – Имеются в виду следующие слова Спасовича, поляка по национальности: «Это прошлое и возникает перед его глазами в пурпуре и злате, в дивном величии, а он кидается в это национальное прошлое с тем, чтобы осуществить посредством того свои демократические мечтания. Вот каким способом делается он революционером. Другое дело русский юноша. Прошлое его не богато, что ни говори славянофильство, настоящее сухо, бедно, голо, как степь раскатистая, в которой можно разгуляться, но не на чем остановиться» («Правительственный вестник», № 165, стр. 5).

ПЕРВАЯ РУССКАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА

Впервые – ОЗ, 1871, № 12, отд. «Современное обозрение», стр. 268–276 (вып. в свет – 17 декабря). Подпись М. М. Авторство раскрыто в «Указателе к «Отечественным запискам» за 1868–1877 гг.» (ОЗ, 1878, № 8, приложение, стр. XVII; см. также отд. изд.).

Выставка Товарищества передвижных художественных выставок, открывшаяся в залах Академии художеств 29 ноября 1871 г., ознаменовала собой начало деятельности Товарищества, устав которого был утвержден еще 2 ноября 1870 г.

Первая выставка свободной ассоциации художников-реалистов, объединившихся в целях борьбы с господствующим официальным искусством Академии, вызвала живой отклик в печати. Почти все столичные газеты и журналы поместили на нее рецензии. Прогрессивная печать отмечала свежесть, новизну и многообразие сюжетов картин, правдивое и живое отображение действительности в полотнах художников-передвижников. С большим сочувствием была принята и сама идея передвижения художественных произведений по России, что должно было оживить затхлую атмосферу провинции и дать искусству новые средства его демократизации.

Внимание Салтыкова к первой выставке передвижников было, очевидно, вызвано ее большим общественным резонансом. Не случайно писатель особо оговаривает свою некомпетентность в специальных вопросах живописи и сосредоточивает внимание на принципиальных сторонах деятельности Товарищества в целом и на тех произведениях, которые наиболее горячо обсуждались в печати и, несомненно, в литературно-художественных кружках Петербурга. Вся статья пронизана скрытой полемикой.

Писатель подходит к деятельности Товарищества как к факту, имеющему важное общественное значение. Самая организация нового художественного объединения, противостоящего консервативному искусству Академии художеств, находит у него горячую поддержку. Салтыков одобряет «Товарищество за то, что оно при первом своем появлении на суд общества избавило публику от крашенины», утомляющей взор на выставках Академии, и противопоставило ей работы своих членов, производящие «самое приятное впечатление».

Однако перспективы деятельности Товарищества вызывают у Салтыкова серьезные опасения. Он смотрит на будущее передвижничества более трезво, нежели В. В. Стасов, с которым, не называя его имени, полемизирует.

Восторженно приветствуя выставку и давая высокую оценку картинам передвижников, Стасов безоговорочно признал и самый принцип организации Товарищества («Передвижная выставка 1871 года». – «СПб. ведомости», 1871, №№ 333 и 338). В передвижении художественных произведений по России он видел реальную возможность осуществить «пользу не только русской публике, но и русскому народу». Одобрил Стасов и пункт устава Товарищества, гласивший, что «членами Товарищества могут быть только художники, не оставившие занятий» искусством.

Салтыков, напротив, требует ясности в самом уставе относительно идейных целей Общества. Пункт устава, только что процитированный, по мнению писателя, не

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru ограждает Общество от вторжения в него художников академического толка, «от наплыва Моисеев, извлекающих из камня воду, Янов Усьмовичей и т. п. произведений...».

Салтыков поддерживает Товарищество в его стремлении сделать «произведения русского искусства, доселе замкнутые в одном Петербурге, в стенах Академии художеств, или погребенные в галереях или музеях частных лиц <...> доступными для всех обывателей Российской империи». Однако он ставит под сомнение, что, «полагая начало эстетическому воспитанию обывателей, художники достигнут хороших результатов». Писатель видит противоречие в самом замысле: сделать искусство достоянием народа не столь просто, как это, в частности, казалось энтузиасту Стасову. Для этого отнюдь не достаточно возить выставку по городам русского захолустья. Салтыков отвергает просветительские иллюзии тех, кто, подобно Стасову, возлагал на идею передвижения художественных полотен особые упования. Высмеивая беспочвенные надежды на преобразование русской провинции с помощью картин передвижников, писатель-сатирик создает гротескные зарисовки: неутешно плачущего цензора, которого полотно Мясоедова побудило принести публичное покаяние; помещика, при виде «Погорельцев» Прянишникова вынимающего из кармана пятак, чтобы подать нищему милостыню; мирового судью, которого картина Ге заставила «отчетливо понимать, что значит суд скорый, милостивый и правый», крестьянина, радостно признавшего в «Голове мужика» Крамского самого себя, и т. п.

Среди произведений выставки в центре внимания оказалась прежде всего картина Н. Н. Ге «Петр I, допрашивающий царевича Алексея Петровича в Петергофе». «Первое место <...> бесспорно принадлежит картине Г. Ге», писала газета «Голос» (1871, № 332, от 1 декабря), подчеркивая ее отличие от традиционных академических полотен на исторические сюжеты.

Живое обсуждение картины в печати вышло за рамки разбора художественных ее достоинств. Это объяснялось также и тем, что Россия готовилась к празднованию в 1872 г. двухсотлетнего юбилея со дня рождения Петра I. Передовая демократическая мысль, жаждущая приобщения России к европейским формам жизни, видела в Петре своего предшественника. Сцена допроса Петром своего наследника воспринималась не просто как событие далекого прошлого и не как частный конфликт между отцом и сыном, а как борьба двух начал, борьба двух поколений. Перед нами в одной исторической рамке вырисовываются два типа людей, людей двух различных поколений: новое, мыслящее и идущее вперед поколение в лице Петра I; старое, немощное, недужное – в лице сына («Дело», 1871, № 12. «На своих ногах». Подпись: Художник-любитель).

Однако в оценке картины среди публицистов демократического лагеря не было полного согласия. Наиболее критическую оценку картине дал автор только что цитированной статьи в журнале «Дело». Он считал, что образ Петра неправильно истолкован Ге, который лишил личность царя присущей ему исторической значительности. «Перед вами... свирепый по темпераменту и недалекий по развитию маленький самодур из исправников или частных приставов». Поэтому, по мнению автора статьи, симпатия зрителя оказывается целиком на стороне царевича, который выглядит «как жертва бессмысленного террора». Отсюда он делает вывод, что произведение Ге «писано... художником славянофилом, завзятым врагом Петровской реформы и защитником старорусских ретроградных принципов».

Многое, хотя и с иных позиций, не принял в картине Ге и Стасов. Критику импонирует драматизм изображенного события, в котором скрестилась в лице Петра и Алексея борьба двух начал русской жизни. Вместе с тем Стасов хотел, чтобы в облике преобразователя содержалось и критическое начало – обличение произвола. «С чем мы не можем согласиться в этой картине, – писал Стасов, – это – самый взгляд художника на его сюжет, на его задачу». То, что Петр I был великой гениальной личностью, нисколько не оправдывает его варварского деспотизма, тем более жестокого, что Алексей от природы был «ничтожный, ограниченный человек <...> не понимавший великих зачатий своего отца». В трактовке исторической драмы в картине Ге Стасову почудилась неясность мысли художника, который, видимо, невольно желая «оправдать» поступок Петра, тем самым отступил от правды в изображении его характера. В действительности, пишет он, нрав Петра «был жесток, значит, на допросе сына он был либо формален и равнодушен, либо гневен и грозен до бешенства. Средняя же нота, приданная ему живописцем, вовсе не соответствует его натуре и характеру».

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru Среди картин выставки Салтыков также концентрирует свое внимание на историческом полотне Н. Н. Ге. Писатель высоко ценит этого художника и питал к нему личную симпатию. Дважды пришлось ему обсуждать произведения живописи, и оба раза предметом пристального его разбора были картины Ге (см. толкование картины Ге «Тайная вечеря» в ноябрьской хронике «Нашей общественной жизни» за 1863 г., т. 6 наст. изд., стр. 148–154). В искусстве этого художника Салтыкова привлекала глубина и общественная значительность содержания, реалистическое мастерство. Работы Ге давали писателю материал для размышлений о задачах и смысле подлинно реалистического искусства.

В своей статье, писавшейся, очевидно, по свежим следам цитированных выше откликов, Салтыков воспользовался обсуждением картины, чтобы развить свое принципиальное понимание эпохи Петра, исторического значения его реформ, самой его личности.

Обращаясь непосредственно к анализу картины, Салтыков решительно противопоставляет свою точку зрения как обвинениям Ге в славянофильской трактовке его сюжета и примитивному толкованию образа Петра публицистом «Дела», так и прямолинейно-схематическому подходу к раскрытию содержания картины. И здесь острое полемики направлено против статьи Стасова.

Салтыков предъявляет к реалистическому искусству более глубокие требования, нежели внешне иллюстративное сближение исторической темы с современностью. «В том-то и состоит тайна искусства, – пишет он, – чтобы драма была ясна сама по себе, чтобы она в самой себе находила достаточное содержание, независимо от внешних ухищрений художника, от опрокинутых столов, сломанных стульев, разбросанных бумаг и т. д.». В этой фразе содержится и очевидный намек на требование Стасова видеть Петра «гневным и грозным до бешенства». И Салтыков уточняет свое несогласие: Петр Великий «не потрясает руками, не сверкает глазами», «даже ни один мускул его лица не сведен судорогой». Но для Салтыкова это не только умение художника «в меру» пользоваться художественными эффектами. Он видит здесь зоркость мастера, сумевшего проникнуть в глубь исторического конфликта: Петр Великий «страстно предан своей стране, но в этой преданности первое место занимает не страстный темперамент, а сознательность, доведенная до страстности». «Воспроизводимое лицо лишь настолько привлекательно, насколько оно человечно, то есть насколько оно доступно всему разнообразию человеческих ощущений».

Вот почему для Салтыкова неприемлемо требование Стасова представить Петра – деспотом, а Алексея – жертвой. Он раскрывает характер царевича, чтобы показать, что в данный момент трагедии не Алексей, обуреваемый тревогами «низменного свойства», а Петр – наиболее трагическая фигура. «Во взоре его не видно ни ненависти, ни презрения, ни даже гнева <...> только мучительное чувство, где всего скорее можно видеть скорбь о себе, о поднятном, но неоконченном подвиге жизни, о том, что достаточно одной злополучной минуты, чтобы этот подвиг разлетелся в прах». Не «деспотизм» Петра надо было обличать художнику, как того желал Стасов, но предвидеть в мучительном внутреннем конфликте реформатора и отца, дело которого предал сын, источник «той светящейся красоты, которую дает человеку только несомненно прекрасный внутренний его мир».

С той же мерой «художественной правды», которая «должна говорить сама за себя, а не с помощью комментариев и требований», подходит Салтыков и к другим картинам выставки, в частности, к полотну Перова «Охотники на привале», которому, по мнению писателя, «вредит известная доля преднамеренности». И здесь, отвергая пользование приемами внешней тенденциозности, Салтыков вновь разошелся со Стасовым. Последний был в восторге от фигуры крестьянина, недоверчиво усмехающегося рассказам охотника. Для Салтыкова это – «какой-то актер», «которому роль предписывает говорить в сторону: вот это лгун, а это лежебока...», отчего и вся картина в целом «производит впечатление не вполне доброкачественное».

Стр. 225. Перед картиною г. Мясоедова... – Имеется в виду картина художника-передвижника Г. Г. Мясоедова «Дедушка русского флота» (1871). Находится в Гос. музее искусств УзССР в Ташкенте.

Стр. 226...словами Феофана Прокоповича возопил... – Салтыков неточно цитирует по книге И. Чистовича «Феофан Прокопович и его время» (СПб. 1868) «Слово на погребение всепресветлейшего державнейшего Петра Великого...» Феофана Прокоповича.

Стр. 227...возьмет напрокат у академии несколько десятков «Янов Усьмовичей»... – Ян Усьмович (Усмошвец, Усмарь) – легендарный богатырь, принимавший участие в борьбе князя Владимира с печенегами. Этот сюжет широко использовался в Академии художеств и называется здесь Салтыковым – как и библейская тема «Истечение воды из камня Моисеем в пустыне» – в качестве типичного для официального, далекого от жизни искусства.

Стр. 228...стоит только забраться в «Товарищество» г. Микешину, чтоб совершенно упразднить эту идею. – М. О. Микешин приобрел широкую популярность в официальных кругах преимущественно как создатель памятников. Был автором проекта памятника тысячелетию России (1859), сооруженного в Новгороде, – произведения, служившего постоянным предметом насмешек сатирических изданий демократического лагеря («Искра» и др.); в 60-х годах исполнил проекты памятников Екатерине II для площади возле Александринского театра в Петербурге и адмиралу А. С. Грейгу в Николаеве. С моделями обоих памятников, находившихся к 1871 г. уже в процессе сооружения, Салтыков мог ознакомиться на выставке в Академии 1869 г.

На первом плане мы встречаемся здесь с картиною профессора Ге. – Картина Н. Н. Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе» (1871) находится в Гос. Третьяковской галерее. Картина неоднократно повторялась автором; повторения 1872 г. – в Гос. Русском музее и в Гос. музее искусств УзССР в Ташкенте.

Стр. 230...Петр понял бы своим обширным умом, что дело возрождения... движущееся... в этом убеждает его... реформаторская деятельность. – Следует заметить, что высказанный в статье взгляд на Петра I и его реформы существенно отличался от того, который имел Салтыков в конце 60-х годов, когда он, по собственному признанию, «сильно гнул в сторону славянофилов». В письме к И. В. Павлову от 15 сентября 1857 г. Салтыков отвечал ему: «Вот ты ругаешь Петра за крепостное состояние и за бюрократию, однако ж и оправдываешь его обстоятельствами времени; а я так и того не делаю, а просто нахожу, что это был величайший самодур своего времени». См. письма к И. В. Павлову и комментарии к ним С. А. Макашина в т. 18 наст. изд. и ЖН, т. 67, М. 1959, стр. 456–461,

Стр. 230...прелиминарии – предшествующие моменты.

Стр. 232. Две картины г. Прянишникова... – Местонахождение картины И. М. Прянишникова «Погорелые» неизвестно. Картина «Порожняки» (1871) неоднократно повторялась и варьировалась художником. Один из вариантов картины, возможно бывший как раз на 1-й передвижной выставке, находится в Харьковском музее изобразительных искусств. В Гос. Третьяковской галерее – повторение-вариант картины 1871 г., исполненный по заказу П. М. Третьякова в 1872 г.

Стр. 233. «Охотники на привале». – Картина «Охотники на привале» (1871) В. Г. Перова находится в Гос. Третьяковской галерее.

Г-н Крамской выставил одну большую картину... и два этюда. – Имеются в виду полотна И. Н. Крамского, одного из лидеров Товарищества передвижных художественных выставок. Его картина «Русалки» (на сюжет из повести Н. В. Гоголя «Майская ночь», 1871) находится в Гос. Третьяковской галерее; этюды «Охотник на тяге (в ожидании зверя)» – в частном собрании в Москве; «Голова мужика» – местонахождение неизвестно.

Затем имеется несколько очень хороших портретов и пейзажей. – Портрет писателя Александра Николаевича Островского, исполненный В. Г. Перовым в 1871 г. по заказу П. М. Третьякова, и портрет физиолога доктора Морица Шиффа, написанный Н. Ге в 1867 г. во Флоренции, находятся в Гос. Третьяковской галерее.

...прелестная картинка «Грачи прилетели» г. Саврасова. – Картина А. К. Саврасова «Грачи прилетели» (1871) находится в Гос. Третьяковской галерее.

НЕКРОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

ЕГОР ПЕТРОВИЧ КОВАЛЕВСКИЙ

ОЗ, 1868, № 10, отд. «Совр. обозрение», стр. 273–274 (вып. в свет – 9 октября). Без подписи. Авторство указано В. Е. Евгеньевым-Максимовым на основании письма Салтыкова к Н. А. Некрасову, датированного концом сентября – началом октября 1868 г. («Печать и революция», 1927, кн. 4, стр. 55).

В названном письме Салтыков писал Некрасову. «Посылаю Вам <...> некролог Ковалевского. Я извлек, что мог, из «Вестника Европы», но так как я знал покойного очень мало, то статья моя вышла весьма слаба. Вы, конечно, дадите себе труд исправить ее и дополнить». Внес ли Некрасов в полученный текст какие-либо изменения – неизвестно. Автором использованной Салтыковым, в отношении биографических фактов, некрологической заметки о Е. П. Ковалевском в «Вестнике Европы» (1868, № 10), подписанной инициалами М. С, был М. М. Стасюлевич.

В 1856–1862 гг. Е. П. Ковалевский занимал пост помощника председателя Императорского русского географического общества. Он присутствовал на заседании общества 27 октября 1856 г., когда происходила баллотировка Салтыкова в члены общества («Вестник Императорского русского географического общества», кн. 5, СПб. 1856, Приложение, стр. 4 и 11). По-видимому, при этих обстоятельствах и произошло знакомство Салтыкова с Е. П. Ковалевским.

В своей заметке Салтыков не мог, по понятным причинам, указать на одну скрытую сторону в деятельности Е. П. Ковалевского, относящуюся к «Современнику», чьим сотрудником он был с конца 1840 г. Пользуясь тем, что в 1858–1861 гг. его брат Евграф Петрович занимал пост министра народного просвещения и, в этом качестве, являлся главой ведомства политического контроля над печатью, Егор Петрович не раз, по просьбам Некрасова, помогал «Современнику» в его борьбе с цензурой.

И. С. ТУРГЕНЕВ

ОЗ, 1883, № 9, вкладная страница, с особой нумерацией 1–2 (вып. в свет после 16 сентября). Без подписи. На основании анализа текста авторство установлено Я. Е. Эльсбергом, в сообщении «И. С. Тургенев. Неизвестная статья М. Е. Салтыкова-Щедрина» («Лит. газета», М. 1939, № 5, 26 января, стр. 4). Мемуарные и библиографические свидетельства принадлежности статьи Салтыкову названы С. А. Макашиным в статье «Щедрин и реакция 80-х годов» («Лит. обозрение», М. 1940, № 22, стр. 36–43) и И. Т. Трофимовым в заметке «Новые материалы об авторе некролога «И. С. Тургенев» («Научные доклады высшей школы. Филологические науки», М. 1958, № 2, стр. 153–154). В первом случае в качестве документального источника атрибуции указана статья Виктора Бибикова «Из рассказов о М. Е. Салтыкове» («День», СПб. 1889, № 383, 28 июня, стр. 2–3), во втором – статья Е. П. Кавелиной «И. С. Тургенев в оценке своих ближайших современников» (журн. «Библиограф», год второй, 1886, СПб. 1887, стр. 124, и отд. изд. в том же 1887 г., то есть обе публикации – при жизни Салтыкова).

Обследование в библиотеках Москвы, Ленинграда, а также Иркутска экземпляров сентябрьской за 1883 г. книжки «Отечественных записок» показало, что вкладная страница, с некрологической заметкой о Тургеневе, во многих экземплярах отсутствует. По-видимому, в большую часть тиража заметка не попала, то ли потому, что была написана тогда, когда эта часть была уже отпечатана и сброшюрована, то ли вследствие вмешательства властей, хотя в цензурных документах никаких следов его не найдено.

Известно, что Салтыков обещал – «с величайшей готовностью» – участвовать в посвященном памяти Тургенева вечере Литературного фонда 28 сентября 1883 г, с чем именно намеревался выступить Салтыков – сведений нет. Но вряд ли можно сомневаться, что предполагавшееся выступление должно было заключаться либо в чтении только что написанной заметки, либо в развитии изложенных в ней мыслей. Однако выполнить свое обещание Салтыков не смог. В письме к распорядителю вечера, П. А. Гайдебурову, он сослался на обострение «в последние дни» болезни (письмо появилось в «Неделе» 2 октября 1883 г., № 40, и в тот же день было оглашено на Тургеневском вечере). Но накануне, в день похорон Тургенева (27 сентября), Салтыков был здоров и присутствовал на поминальном по писателю обеде группы литераторов (А. Полтавский. Петербургские письма. – «Крымский вестник», Севастополь, 1889, № 101, 13 мая, стр. 2, и № 104, 17 мая, стр. 2). Вполне возможно, что выступлению Салтыкова помешала не болезнь, а «блустители порядка», отношение которых к чествованию памяти автора «Записок охотника» В. П. Гаевского охарактеризовал в своем дневнике словами: «Мертвый Тургенев продолжает пугать министров и полицию» («Красный архив», 1940, № 3, стр. 231). Известно, что речи, произнесенные на кладбище, должны были пройти через цензуру петербургского градоначальника Грессера. Также известно, что Тургеневский вечер в Москве, на котором должен был выступить Л. Н. Толстой, распоряжением из Петербурга был отменен (ЛН, т. 76, М. 1967, стр. 328). Нет сомнений, что подготовка и проведение вечера Литературного фонда в столице также были взяты под контроль

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru органами политической полиции.

Среди множества откликов на смерть Тургенева анонимное выступление Салтыкова принадлежит к числу наиболее замечательных. По глубине и масштабности исторического осмысления Тургенева, его значения для русской жизни, с этим выступлением соседствовало в те дни лишь одно – «тургеневская прокламация» народовольцев, написанная П. Ф. Якубовичем и распространявшаяся в Петербурге в день похорон писателя (ЛН, т. 76, м. 1967, стр. 239). В обстановке, когда в русском обществе уже явственно наметился поворот к эстетизму и развертывалась борьба за отказ от наследства 60-х годов, за эмансипацию литературы и искусства от оппозиционных традиций, Салтыков, от имени демократических «Отечественных записок», и Якубович, от имени «действующих революционеров», выступили с оценкой Тургенева, исходя из ясно и громко заявленного примата общественных интересов. Оба выступления резко противостояли ходовому тезису некрологических статей о Тургеневе в большинстве органов печати: «все достоинство его произведений заключается в чистой художественности» («Моск. ведомости», 1883, № 261). С суровой энергией и прямоотой «шестидесятника» формулирует Салтыков исходную позицию своей оценки Тургенева: «как ни замечателен сам по себе художественный талант его, но не в нем заключается тайна той глубокой симпатии и сердечных привязанностей, которые он сумел пробудить к себе во всех мыслящих русских людях, а в том, что воспроизведенные им жизненные образы были полны глубоких поучений».

«Главной и неоцененной заслугой» Тургенева, в просветительско-этическом представлении Салтыкова, является приверженность его «общечеловеческим идеалам» гуманизма и «сознательное постоянство», с которым писатель проводил эти идеалы в русскую жизнь. В этом смысле Салтыков считает Тургенева «прямым продолжателем Пушкина».

Ставя, далее, имя Тургенева в ряд с именами Некрасова, Белинского, Добролюбова и, несомненно, Чернышевского, а может быть, и Герцена, о которых нельзя было упоминать, Салтыков указывал тем самым на «руководящее значение», которое литературная деятельность Тургенева имела для русского общества в деле воспитания в нем гражданского самосознания и политического протеста, то есть в деле освободительной борьбы.

Наконец, предлагая вопрос «что сделал Тургенев для русского народа, в смысле простонародья» и «не обинуясь» отвечая: «Несомненно, сделал очень многое и посредственно, и непосредственно», – Салтыков определяет выдающееся значение автора «Записок охотника» с точки зрения высшего критерия эстетики демократического лагеря – критерия народности.

В заметке Салтыкова сжато и сильно резюмирован своего рода итог его сложно-противоречивого восприятия Тургенева – созданных им образов и самой личности писателя. При этом некоторые из прежних критических суждений Салтыкова, продиктованные в свое время требованиями исторического момента, «интересами минуты», в особенности о Базарове, претерпевают глубокое и принципиальное изменение (ср., например, в т. 5 наст. изд., стр. 581–582).

О литературно-общественных и личных взаимоотношениях Салтыкова и Тургенева см. в комментариях к томам Сочинений и писем наст. изд. (по указателю имен), а также в работах: М. О. Габель «Щедрин и Тургенев» («Наукові зап. Харківського держ. пед. ін-ту ім. Г. С. Сковороди», т. X, 1947, стр. 48–89) и С. Ф. Баранов «М. Е. Салтыков-Щедрин и И. С. Тургенев» (в кн. того же автора «Великий русский сатирик М. Е. Салтыков-Щедрин», Иркутск, 1950, стр. 44–71).

Примечания

1

Под этим именем автор предполагает издать целый ряд писем, которые и будут от времени до времени появляться в «Современнике». (Прим. М. Е. Салтыкова.)

2

Земной шар вверен человечеству, как владение, к которому оно приставлено. В этом его земное назначение. Но человечество не может выполнить его во время своего детства, ибо вполне понятно, что оно, чтоб быть способным к такому делу, должно приобрести крепость и силу; ему надо создать себе орудия, средства, могущество, которые могут прийти только путем развития искусств, наук и промышленности.

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Виктор Консидеран, «Общественное назначение».

3
прекрасной незнакомке.

4
кодекс чести.

5
наполеоновские идеи.

6
братства.

7
Сочинению этому должны предшествовать два письма, которые, быть может, и
появятся впоследствии. (Прим. М. Е. Салтыкова.)

8
Здесь: особу легкого поведения.

9
генерал-ребенок.

10
что это ни на что не похоже.

11
моя добрейшая матушка.

12
Безграмотная французская фраза: «А вы любовница... всегда хорошо?»

13
Но пойдете, я вам все покажу!

14
вот увидите, как мы посмеемся!

15
Оставьте, оставьте же! Это дети природы... разве они знают, разве они понимают
такие вещи!

16
Оставьте, оставьте же, дорогой мой!

17
Вот именно!

18
жанровых картин.

19

«Когда-то в Нормандии правил».

20

Хотя это стихотворение есть не что иное, как дурно скрытое подражание г. Ф. Бергу, однако для стрижа оно удовлетворительно. Прим. авт.

21

И это стихотворение есть явное подражание стихотворению г. Гербеля: «Давно не видел я небесной лазури», напечатанному в 1–2 № «Эпохи» на сей 1864 год. Прим. авт.

22

Прошу многоуважаемого Ф. М. Достоевского (так как он впоследствии сознался, что статья эта написана им) извинить резкость моих выражений; я полагаю, он сам поймет, что статья его не заслуживает и не может заслуживать иного отзыва. (Прим. М. Е. Салтыкова.)

23

См. «О значении художественных произведений» и пр. («Русский вестник», № 2). Г-н Анненков не объясняет, впрочем, положительно, что он понимает под словом «художественность». Сказанное нами выведено из общего смысла его статьи. (Прим. М. Е. Салтыкова.)

24

фокусов.

25

по пустякам.

26

Гранка повреждена. Слова «усилий» и «времени» читаются предположительно.

27

Любопытствующих отсылаем к статье г. Филиппова, по поводу комедии Островского «Не так живи, как хочется» («Р. беседа», № 1). (Прим М. Е. Салтыкова.)

28

Начало фразы густо зачеркнуто (правка по замечаниям цензора) и читается предположительно.

29

помни о смерти.

30

этого грубияна.

31

Истинно древняя и истинно православная Христова церковь, 2 ч. (Прим. М. Е. Салтыкова.)

32

История русского раскола. (Прим. М. Е. Салтыкова.)

33

Мы имели случай видеть в Нижегородской губ. другой вариант этого замечательного стиха; считаем неизлишним познакомить с ним здесь читателя. Озаглавлен он просто: «Стих Асафа-царевича».

«/Восплачется младь-юношь пред пустынею стоя: /Прекрасная пустыня, любимая мати!/ Прими мя, пустыня, яко чада, на руке; /Научи мя, пустыня, волю божию творити; /Избави мя, пустыня, злыя превечныя муки; /Введи мя, пустыня, в небесное царство!/ Проречет мати пустыня архангельским гласом: /Ты младь-юношь, Асафей-царевич!/ У меня во пустыни много нужи приняти, /У меня во пустыни постом попоститися,/ У меня во пустыни скорбя поскорбети, /У меня во пустыни терпя потерпети!/ Ответ держит младь-юношь Асафей-царевич: /Прекрасная пустыня, любимая мати!/ Не страши мя, пустыня, превеликиими страхами, /Могу я, пустыня, много нужи прияти;/ Могу я в тебе, пустыня, постом попоститися;/ Могу я в тебе, пустыня, трудом потрудитися;/ Могу я в тебе, пустыня, скорбя поскорбети; /Могу я в тебе, пустыня, терпя потерпети!/ Проречет пустыня архангельским гласом: /Ты млада юношь Асафей-царевич!/ У меня во пустыни негде погуляти; /У меня во пустыни не на что смотрити;/ У меня во пустыни не с кем слово говорити;/ У меня во пустыни нет сладкого брашна; /У меня во пустыни нет медвяного пойла!/ Ответ держит младь-юношь Асафей-царевич: /Прекрасная пустыня, любимая моя мати!/ Не страши мя, пустыня, превеликиими страхами; /Разгуляюсь я во пустыни во зеленой во дуброве;/ Насмотрюсь во пустыни на различные светы; /Со мной будут говорить вси райские птицы;/ А стану я носить черную ризу; /А стану я питатися гнилою колодою;/ А стану я пити болотную воду... /Тебя, мати пустыня, вси ангели знают; /Тебя, мати пустыня, пророцы прославляют;/ Тебя, мати пустыня, ангели хвалят; /Тебя, мати пустыня, преподобные ублажают;/ Тебя, мати пустыня, Предотеча воспеваает; /В тебе, мати пустыня, господь на престоле/ С херувимы и серафимы, с преподобною силою».

(Прим. М. Е. Салтыкова.)

34

См. по этому предмету любопытные разыскания проф. Буслаева, «Р. Вестн.» 1856 года, № 13. (Прим. М. Е. Салтыкова.)

35

В рукописных сборниках и так называемых «цветниках» раскольнических и до настоящего времени можно найти самые нелепые легенды о пришествии антихристовом. Нам неоднократно случалось встречаться с этими безобразными извержениями аскетической фантазии. Признаки пришествия врага рода человеческого описываются, между прочим, таким образом: «Когда будет мерзость запустения на месте святе, и исполнится число зверино ббб, и рассыплется рука людей освященных, пеня и чтения явного нигде же услышится, и будут брани ратные на земли не тако яко же ныне: копие, стрелы, мечи и палицы железные, но будут оружия огнепальные, о них же страшно и речи, и не будут воинства его наречатися воинами, но название некое странное, и брады не имуще, яко жены; одеяние имут носить коротко и обтянуто и хвост имущ.. Мнози християне впадут в растление и примут обычаи еллинские и проклятых немец; мужие имут носити одеяние коротко, выше колону и штаны натянуты, жены же будут иметь образ бесовский, главы непокровенны имущи, и на главах имут носити рога скотские и змеины, уподобяся бесу; лица будут мазать вапами, а власы вонями... возлюбят (люди) несытое лакомство, безмерное питье от травы листвие, идоложертвенное, крапленное змеиным жиром; от китян сие будет покупаемо обменю на товары, на осквернение христианских душ...» Предоставляем читателю самому достойно оценить такие идиллические картины и сделать нужные сближения; мы же, с своей стороны, можем только удостоверить, что многое нами здесь выкинуто, по причине крайней омерзительности выражения, прибавленного же или преувеличенного ничего нет. (Прим. М. Е. Салтыкова.)

36

Хотя многоуважаемый автор «Истории русского раскола» и признает самостоятельность секты странников, но мы, с своей стороны, из его собственного изложения учения этой секты, не видим никаких таких характеристических черт, которые бы оправдывали мнение о таковой самостоятельности. Имев случай

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru практически изучать раскол в многообразии его проявлений, мы убедились, что догмат «странничества» есть принадлежность и логическое следствие всякого раскольнического учения или, лучше сказать, крайнее выражение их, и что, следовательно, всякий отдельный раскольнический толк имеет своих странников и пустынножителей. Указываемый почтенным автором догмат неповиновения властям гражданским, общий частью всем раскольническим сектам, весьма определенно выражается в учении сект: федосеевской и филипповской, а потому невольно западает в голову мысль: не есть ли рассматриваемая секта сопелковцев (по селу Сопелкам Ярославской губернии и уезда) лишь крайнее и фанатическое выражение одной из поименованных выше беспоповщинских сект. На это же сомнение наводит и общее всем раскольникам учение о числе 666, которое заставляет предполагать, что не одни сопелковцы, а все вообще раскольники разумеют царство антихристова уже наступившим. Впрочем, это не более как догадка, которую мы отнюдь не думаем выставлять как факт несомненный. (Прим. М. Е. Салтыкова.)

37

В рукописи ошибочно: 37.

38

Впрочем, из той же статьи явствует, что это же начальство, которое приказывало (не зная и не предвидя, как разовьется дело) посадить Самознаева, по рассмотрении следствия, выпустило его из острога. Вот и подите с этой логикой. Впрочем, тут же прибавляется, что выпустил его младший секретарь губернского правления (такой и должности-то нет), но об этом дальше. (Прим. М. Е. Салтыкова.)

39

Осмелитесь ли, г. Проезжий, утверждать после этого, что крестьяне действительно получили свободу и знали об этом, когда от усмотрения фабрикантов зависело, во всякую минуту дня и ночи, свободную Устинью обратить вновь в крепостное состояние а на место ее вызвать из мрака Лукерью, Акулину и т. д. (Прим. М. Е. Салтыкова.)

40

Замечательно, что некоторые крестьяне, которых отпускные уездный суд не успел своевременно утвердить (не потому ли, что не было надлежащего хождения), быв, впоследствии времени (то есть тогда, когда уже пошел по городу говор), призваны в присутствии суда к подтвердительному допросу, отказались от получения свободы, и таким образом отпускные их остались недействительными. (Прим. М. Е. Салтыкова.)

41

Возражение, что некоторые крестьяне сами подписывались под разными документами, не может быть принято за основательное. Одно уже то, что одни и те же лица под одними документами подписались сами, а под другими просили будто бы подписаться за себя других (и притом почти всегда одно и то же лицо, кассира фабрики, Самознаева), доказывает, как мало вероятия можно дать упомянутому возражению, и как, напротив того, естественно делается показание грамотных крестьян, что в то время, как привели их в Нововласьевск, им действительно давали подписывать какие-то бумаги, не объявляя о содержании их. Не знаешь, чему удивляться в этом деле: нахальству ли подлогов или неумению, неловкости, с которыми они сделаны. (Прим. М. Е. Салтыкова.)

42

дорогой мой! мы будем независимы!

43

Особенное внимание в этом отношении заслуживает так называемая смешанная повинность, которая была введена в большей части наших оброчных имений. Для крестьян это самая тяжелая повинность, ибо она ставит их в неопределенное положение относительно их обычных промыслов и мешает сознать в точности ту сумму

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru повинностей, которую они действительно несут. Если же мы, сверх того, возьмем в соображение, что рабочие дни, отбываемые сверх уплаты оброка, требуются если не исключительно, то преимущественно летом, то есть в такую пору, когда день особенно дорог для крестьянина, то увидим, что смешанная повинность (в некоторых имениях число рабочих дней достигает 50 с тягла в год) есть почти то же, что барщина с легким прибавлением оброка. Утешительно думать, что наши просвещенные помещики сами позаботятся об уничтожении смешанной повинности, этого главного источника всех недоразумений. (Прим. М. Е. Салтыкова.)

44

Чтобы судить, в каком тоне и духе написана статья г. Ржевского, достаточно выписать из нее следующее место: «Начиная с Фон-Визина, Державина и Карамзина, целый ряд громких имен в литературе и науках, как, например: Жуковский, Батюшков, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Грановский, Тургенев, Милютин, Кавелин и множество других принадлежат к тому классу, который мы называем дворянством, а все прочие классы, вместе взятые, не могут доставить и десятой доли подобного блестящего списка». Вот одно из доказательств, на котором г. Ржевский строит свою теорию о праве дворянства на политическое преобладание в государстве. По-нашему, это не право, а только средство, равно доступное каждому сословию. И притом, что это такое: упрек ли, сожаление ли или просто оскорбление? Если это упрек, то справедливость требовала разъяснить и причины, вследствие которых «прочие классы» не могли выделить из себя столько замечательных деятелей, как дворянство, и тогда, быть может, упрек пал бы сам собою. Если это сожаление, то, вместо того чтоб сожалеть бесплодно, следовало бы указать на средства к устранению причин, обуславливающих существование предмета сожаления, причин, ни для кого не составляющих тайны. Если это оскорбление, то оно неуместно, ибо направлено против лиц, которые не могут отвечать. (Прим. М. Е. Салтыкова.)

45

Нам известно, например, что один помещик Киевском губернии был единогласно выбран крестьянами волостным старшиной и принял это звание. О значении и достоинстве этого факта излишне было бы говорить: он достаточно говорит сам за себя. (Прим. М. Е. Салтыкова.)

46

Взято из водевиля «Гризетка Лизетта, или Нас не оставит бог!». (Прим. М. Е. Салтыкова.)

47

Взято из водевиля «Сила судьбы, или Волшебный четвертак». (Прим. М. Е. Салтыкова.)

48

по-польски.

49

Взято из водевиля «Невинное препровождение времени». (Прим. М. Е. Салтыкова.)

50

на воспитании у кормилицы.

51

Почему? каким образом? когда? посредством чего?

52

Я не считаю себя вправе назвать его, потому что он скрыл свое имя в афише, но имя это ни для кого не тайна. (Прим. М. Е. Салтыкова.)

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
53

Разумеется, не имея под руками пьесы, я не могу отвечать за совершенную точность выражений, ни даже за вполне точное изложение хода пьесы. Я отвечаю только за правдивую передачу смысла выражений и содержания пьесы. (Прим. М. Е. Салтыкова.)

54

Мы недоумеваем, каким образом имение родовое, бурцевское, может перейти в чужой род Оловянниковых. По закону оно должно или перейти к ближайшим родственникам Бурцевых, или сделаться выморочным. Сверх того, нам кажется загадочным, каким образом покойная жена Оловянникова могла передать в пожизненное владение мужу родовое имение, тогда как у них был прямой наследник – сын от первого брака? Ведь эти передачи тогда только возможны (да и то с высочайшего разрешения), когда у супругов нет прямого нисходящего потомства. (Прим. М. Е. Салтыкова.)

55

Да, есть и такая драма; есть еще «Институтка», «Не первый и не последний» – и все г. Дьяченко. «Институтку» я пошел было посмотреть, но больше двух актов высидеть не мог – так она противна. Там чародействует, вместе с гг. Шумским и Самариным, г-жа Познякова, из которой чуть-чуть было не вышла маленькая Ристори и из которой, благодаря руководству г. Самарина, наверное, выйдет маленькая Медведева. (Прим. М. Е. Салтыкова.)

56

Нас губит законность.

57

аграрном законе.

58

О, Матильда! о, мой кумир!

59

мщение!

60

свобода.

61

друзья отечества.

62

К оружию!

63

проклятый!

64

автор Антона.

65

для их же блага.

66

Почему? каким образом? когда? посредством чего?

67

Когда-то «Современник» в припадке гордости назвал «Русский вестник» подготовительным журналом, необходимым для сознательного чтения статей, помещаемых в «Современнике». Теперь этого нет: теперь «Русский вестник» служит подготовительным журналом для уразумения «Нашего времени». Но из подготовительности все-таки не вышел. (Прим. М. Е. Салтыкова.)

68

«Наше время», № 3 за 1863 год. (Прим. М. Е. Салтыкова.)

69

По поводу этих пожаров образовалась у нас, прошлым летом, целая обвинительная литература, о которой мы в скором времени надеемся представить читателям «Современника» подробную статью. – Ред. (Прим. М. Е. Салтыкова.)

70

Мы отдаем полную справедливость г. Громеке: она написана с свойственной ему пламенностью и, главное, преисполнена фактов весьма доказательного свойства. Но для чего он прибавил какие-то «несколько слов цензуре», для чего он взял на себя роль адвоката, которой ему никто не поручал, об которой его никто не просил? Очевидно, г. Громека, постепенно разгораясь, заслушался наконец самого себя и, к довершению всего, дошел до такой восторженности, вследствие которой произошел какой-то совсем нелитературный акт. Это совсем испортило его статью, ибо в результате оказался клякс. (Прим. М. Е. Салтыкова.)

71

Gapache – буквально означает лошадиную челюсть; в просторечии и именно в том смысле, в каком употребил его официальный французский драматург, слово это означает глупца. (Прим. М. Е. Салтыкова.)

72

Герой новой комедии г. Устрялова «Слово и дело», о которой говорится в особой статье. (Прим. М. Е. Салтыкова.)

73

аферистов (дословно: рыцарей индустрии).

74

Г-н Ожье был сотрудником клерикальной газеты «Univers». (Прим. М. Е. Салтыкова.)

75

Намек на то, что цензора обременены работами, но вместе с тем и на то, что цензора производят свои работы ночью, когда добрые люди занимаются только колдовством.

76

Намек этот дает понятие о получаемом цензорами достаточном содержании, но вместе с тем внушает, что содержание это едва ли ими заслужено.

77

Показывает, что цензор человек мечтательный и что мечтательные люди, по большей части, отличаются добросердечием. Но вместе с тем показывает, что и мечтательность в некоторых случаях не может считаться признаком добросердечия.

78

Означает, что, несмотря на добросердечие, сей человек тверд. Комментарий

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
обоюдоострый.

79

Ничего не означает.

80

По-настоящему, следовало бы сказать «неистовствует», но боюсь, не пройдет. Пусть так и остается «воскликает», но пусть читатели все-таки знают, что я не прочь был сказать и «неистовствует».

81

Означает, что всякое дело надо делать умеючи. Сверх того, означает, не следует ли издать закон, которым вменялось бы авторам в обязанность выражаться понятно и категорически? И еще сверх того означает, не следует ли предоставить авторам свободу выражаться, как им хочется?

82

Обозначает внимание, с которым цензор исполняет свои обязанности.

83

Обозначает: и этого-то ты понять не можешь!

84

Обозначает, что закон (тайный голос) сам по себе всегда благодетелен, но исполнители не всегда следуют внушениям его. Объяснение для всех удовлетворительное.

85

Обозначает, насколько узы естественные сильнее уз государственных. С другой стороны, обозначает, что и естественные узы, при силе воли и строгом исполнении предписаний начальства, можно препобороть.

86

Проект сей столь полезен, что говорит сам за себя. А потому обращаю на него внимание гг. командующих на заставах. С другой стороны, внезапное возникновение подобного проекта не доказывает ли вообще легкость, с какою такие проекты возникать могут!

87

Намек этот дает понятие о варварстве цензора, но, с другой стороны, не оставляет без обличения и варварства нигилистов, которые, во всех своих изворотах, имеют в виду одну цель: помрачение умов.

88

Читателю может показаться странным, что я заставляю героя моего завтракать во втором часу ночи, но эта поэтическая вольность нужна была мне в двух отношениях. Во-первых, я сообразил, что ведь не скроешь же ни от кого, что действие происходит днем, а не ночью, и во-вторых, ночь мне была нужна для того, чтобы показать, какую страшную пертурбацию могут произвести занятия цензурой не только в жизни самого цензора, но и в жизни его домочадцев.

89

Это также несколько странно, но если читатель вспомнит лекции г. Юркевича о самодеятельности души, то найдет, что это странность весьма еще умеренная.

90

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
С одной стороны, обозначает, что женщина есть фиал всякого ехидства и что так называемые эмансипаторы суть самые пустые люди; с другой стороны, – что женщины, по своей прозорливости и сообразительности, вполне заслуживают, чтоб их сравняли в правах с мужчинами, и что, следовательно, эмансипаторы совсем не пустые люди.

91

Обозначает, с одной стороны, доброту, с другой – недозволенное слабодушие. Как кому угодно.

92

Это доказывает, что у цензора могут быть дети, и еще доказывает... что мне надоело писать примечания и что читатель обязан доходить своим умом. Предупреждаю, однако ж, что мною ни одного слова не употреблено без умысла.

93

сожительство.

94

очаровательным.

95

Чего смотрел И. С. Аксаков, постоянно посещающий лекции г. Юркевича? как допускал он почтенного профессора до такого странного жеста? Чего смотрел И. С. Аксаков? Как допустил он, что в числе рукоплещущих был и какой-то «редактор одной почтенной московской газеты»? Чего смотрел И. С. Аксаков? – Прим. ред. «Свистка».

96

Дальнейшая часть статьи написана М. А. Антоновичем.

97

сорванцов.

98

«Похороны бедняка» или «Разбитая скрипка».

99

Знаком * обозначаются произведения, принадлежность которых М. Е. Салтыкову подтверждается объективными свидетельствами. – Ред.

100

знаменитость.

101

Женщина легкого поведения (буквально: улетевшая птичка).

102

галантно.

103

все кончено, он умер.

104

Перестановка слов, обесмысливающая фразу.

105

Вот исход многожеланный!

106

обществом.

107

ничегонеделания.

108

Пусть злые трепещут, пусть добрые взирают с доверием!

109

фактически.

110

«за» и «против».

111

Жаль, что г. Безобразов не указал размера этих издержек и задатков. Мы, с своей стороны, конечно, готовы верить почтенному автору на слово, что эти издержки и задатки не покрывали ценности двух-трех месяцев работы, но люди, которых он именует «охранителями», чего доброго, назовут подобный способ обличения (с опущением фактов, на которых зиждется обличение) легкомысленным. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

112

Кстати, о труде, «налагаемом по законному принуждению». Может ли существовать такая рубрика труда? Смеем думать, что закон никогда не принуждает к труду (единственное исключение: обязательный труд в состоянии невольничества или крепостного права), а только обусловливает (при контрактах и договорах) те или другие последствия труда. Обыкновенным условием, обеспечивающим исправное выполнение работы, представляется штраф и неустойка, но отнюдь не требование личного труда во что бы то ни стало. Такого рода требования может предъявлять не закон, а разве практика, да и то такая, которая основана на слишком еще живучих преданиях крепостного права. Для просвещенного экономиста такого рода обмолвки едва ли позволительны. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

113

Кстати, о слове «признак». В нашем журнале печатались и печатаются статьи под названием «Признаки времени», в которых слово «признак» с совершенною ясностью употреблено в смысле, указывающем на известные характеристические черты современности. И что ж? Г-н Безобразов уверяет, что автор употребил это слово в смысле предзнаменовательном и предсказательном, в смысле, угрожающем России бедствиями. Вот до каких извращений может довести желание сказать что-нибудь шикарное и пикантное! (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

114

человеку свойственно заблуждаться.

115

отказ.

116

вне ее.

117

государство – это я.

118

что естественно, то не безобразно.

119

Буквально: тушеное мясо. В переносном смысле – модное блюдо.

120

прелестно! превосходно!

121

чистая доска.

122

юридически, формально.

123

и «за» и «против».

124

мировая скорбь.

125

передовых статей.

126

Даже и теперь раскол существовал, но он касался не существа вопроса, а лишь некоторых подробностей, имеющих значение второстепенное. Таковы, например, были разногласия по поводу речи, сказанной поверенным Спасовичем в защиту подсудимого Кузнецова, по поводу речи, обращенной председателем судебной палаты к оправданным подсудимым первой категории, и, наконец, по поводу способа обнародования протоколов судебных заседаний. Все эти подробности и возникшие из них пререкания мы сочли возможным выпустить в дальнейшем нашем изложении, оставив лишь то, что прямо касается до существа дела. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

127

напыщенного

128

Очень жаль, что выражение «домашняя интрига» недостаточно разъяснено. Ежели это интрига, как можно предполагать по слову «домашняя», со стороны преподавателей того же университета, то за что ж пострадали молодые люди? Ведь они следовали указанию своих же начальников, только другой партии, нежели г. Полуниин? Не последуй они этим указаниям, кто знает, не подверглись ли бы они преследованию другой стороны? Во всяком случае, это факт печальный: преподаватели враждуют, раскалываются между собою, а студенты несут на себе последствия этого раскола. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

129

Конечно, нельзя сомневаться, коль скоро «С.-Петербургские ведомости» удостоверяют в том. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

130

Затем следуют подробные характеристики защитников, которые к предмету нашей статьи не относятся. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

131

дискуссионный клуб.

132

Этим словам предшествует описание наружности подсудимых. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

133

Можно, однако ж, предполагать, что обвиненные скорее удовольствовались бы первым, нежели последним. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

134

Слова эти, очевидно, относятся к речи г. Спасовича. (Прим. М. Е. Салтыков-Щедрина.)

135

Это заявление не доказывает ли нам, что русская литература была действительно, а не номинально свободна в своих отношениях к «нечаевскому делу» и что, следовательно, выказанное ею в этом случае единодушие было единодушие свободное. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

136

нельзя.

137

В дореволюционное время о «Нашей общественной жизни» и близких к ней публицистических статьях напомнил, пространно их цитируя, А. Н. Пыпин в книге о Салтыкове, имевшей специальный подзаголовок «Журнальная деятельность 1863–1864» (А. Н. Пыпин. М. Е. Салтыков, СПб. 1899, стр. 44–167).

138

Имеется в виду январско-февральская хроника «Нашей общественной жизни». – Ред.

139

«Северные записки», 1916, № 9, стр. 131.

140

Статьи эти были раскрыты как салтыковские в «Указателе к «Отечественным запискам» за 1868–1877 гг.» (ОЗ, 1878, № 8 и отд. изд.).

141

<Б. В. Папковский>. Архив журнала «Отеч. записки». – «Правда», М 1939, 14 сентября, № 255, стр. 6; 2) С. С. Борщевский. Письмо в редакцию. – «Лит. газета», М. 1939, 10 октября, № 56, стр. 6; 3) С. С. Борщевский. Пример не критического отношения к документу. – «Лит. критик», М. 1940, № 3–4, стр. 204–208 (с соображениями С. С. Борщевского полностью солидаризировался редактор восьмого тома в изд. 1933–1941 П. Н. Лепешинский, см. стр. 208 цит. ст.); 4) Б. В. Папковский. О щедринском наследстве и методе литературно-идеологических и текстовых параллелей. – «Уч. записки Ленинградского гос. пед. ин-та им. А. И. Герцена», т. 87, л. 1949, стр. 79–109; 5) С. С. Борщевский. Еще раз о фетишизации документа, а также о фальсификации (неопубл. рукописи); 6) Э. л.

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Ефременко. Раскрытие авторства на основе анализа идейного содержания произведения. – В сб. «Вопросы текстологии», вып. 2, изд-во АН СССР, М. 1960, стр. 87–97; 7) В. В. Виноградов. Проблема авторства и теория стилей, Гослитиздат, М. 1961, стр. 190–191.

142

Персонаж из «Губернских очерков». – Ред.

143

В. Е. Евгеньев-Максимов. Последние годы «Современника». 1863–1866, л. 1939, стр. 61.

144

По-видимому, М. Н. Катков («белокурые... волосы»), проделавший эволюцию от либерализма к реакционности.

145

ЛН, т. 13–14. М. 1934, стр. 131.

146

Шарль Фурье. Теория четырех движений. – В кн.: Фурье. Избр. соч. в четырех томах, т. I, изд. АН СССР, М. – Л. [б. г.] стр. 178. См. у него же: Заблуждение разума... – т. II, стр. 73–112; Новый хозяйственный и социетарный мир... – т. III, стр. 72, 328–333 и др.

147

Мысль о том, что существование «алтарей» – «решителей человеческих судеб» – не имеет реальной почвы и что «свобода исследования» их внутренней несостоятельности находится под запретом, в рукописи была выражена еще более определенно (см. выше).

148

Шарль Фурье. Новый хозяйственный и социетарный мир... – Избр. соч., т. III, стр. 474–475.

149

Н. Нелишко. Новый сборник нравственности. Письмо в редакцию «Библиотеки для чтения». – «Библиотека для чтения», 1863, № 9, стр. 102.

150

«Последние два года в петербургской журналистике». – «Эпоха», 1864, № 10, стр. 4–5.

151

Цит. по кн.: С. Борщевский. Щедрин и Достоевский. История их идейной борьбы, М. 1956, стр. 77.

152

ЛН, т. 13–14, М. 1934. стр. 140.

153

«Русский вестник», 1863, т. 43, январь, стр. 470.

154

См «Введение» Достоевского к «Ряду статей о русской литературе». – «Время»,
Страница 497

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru 1861, № 1; ср. Ф. М. Достоевский. Полн. собр. соч., т. 13, М. – л. 1930, стр. 48.

155

См., например, «Ряд статей о русской литературе. V. Последние литературные явления. Газета «День». – «Время», 1861, № 9; ср. Ф. М. Достоевский. Полн. собр. соч., т. 13, стр. 154.

156

«Последние литературные явления». – «Время», 1861, № 9; ср. Ф. М. Достоевский. Цит. изд., т. 13, стр. 149.

157

М. А. Антонович. Избранные статьи, М. 1938, стр. 372.

158

С, 1862, № 4, стр. 262.

159

«Нам кажется, что с нынешнего года наша прогрессивная жизнь, наш прогрессизм (если можно так выразиться) должен принять другие формы и даже в иных случаях и другие начала... Это слишком очевидно, и на деле в этом согласны и прогрессисты и консерваторы» (Ф. М. Достоевский. Полн. собр. соч., т. 13, стр. 511).

160

В послании «Стрижам» использовано и еще одно место из отвергнутой статьи Салтыкова, не привлекавшее ранее внимания исследователей, см. ниже, стр. 702.

161

«Архив села Карабихи», М. 1916, стр. 95.

162

М. А. Антонович. Избранные статьи, М. 1938, стр. 376–377.

163

ЦГАЛИ, ф. 212, оп. I, ед. хр. 4, стр. 140.

164

В. Е. Евгеньев-Максимов. Последние годы «Современника». 1863–1866, л. 1939, стр. 84.

165

ЦГИАЛ, ф. 777, оп. 27, ед. хр. 508, л. 253 об.

166

В. Е. Евгеньев-Максимов. Последние годы «Современника». 1863–1866, л. 1939, стр. 84.

167

С. С. Борщевский. Щедрин и Достоевский, М. 1956, стр. 139–140.

168

Р. В. Иванов-Разумник. М. Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество, ч. 1, М. 1930, стр. 362–365.

169

ЛН, т. 11–12, м. 1933, стр. 110.

170

«Литературный манифест» Салтыкова. Запрещенная цензурой статья о Кольцове (1856). Статья и публикация В. Э. Бограда. – «Литературное наследство», т. 67, м. 1959, стр. 281–314.

171

Уточняющее указание на дату выхода книги содержится в след. словах из письма И. В. Павлова к А. И. Малышеву из Москвы, 28 марта 1856 г. «Здесь только что появились стихотворения Кольцова...» (ЛБ).

172

«Стихотворения Кольцова. С портретом автора, его факсимиле и статьей о его жизни и сочинениях, писанною В. Белинским», изд. К. Солдатенкова и Н. Щепкина, Москва, 1856.

173

Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. III, м. 1947, стр. 510 к 841 (первоначально в «Современнике», 1856, № 5).

174

Там же, стр. 511–512.

175

В письме от 14 июля 1856 г. издатель «Библиотеки для чтения» В. П. Печаткин, перечисляя А. В. Дружинину предполагаемое содержание августовской книжки, сообщил, в частности: «Критика – Г. Салтыкова, – отдано набирать, потому что от Г. Григорьева еще ничего нет...» («Письма к А. В. Дружинину». – В серии «Летописи Гос. литерат. музея», кн. 9, м. 1948, стр. 246). По-видимому, место, отведенное для «критики» в августовском номере, было обещано Аполлону Григорьеву, статья же Салтыкова не была заранее предусмотрена и появилась в редакции в последний момент.

176

«Письма к А. В. Дружинину», цит. изд., стр. 200 (письмо Вл. Н. Майкова от 31 июля 1856 г.).

177

В письме к А. В. Дружинину от 30 июля – 3 августа 1856 г. В. П. Печаткин писал: «...забыл второпях уведомить Вас, что критика Г. Салтыкова, набранная на август, после больших переделок и просьб самого автора запрещена цензором; я предлагал Г. Салтыкову представить <статью> в Комитет, но он почему-то не захотел...» – «Письма к А. В. Дружинину», цит. изд., стр. 248.

178

Так, например, Е. Я. Колбасин писал И. С. Тургеневу 2 декабря 1856 г.: «Салтыков написал хорошую характеристику «Алексей Васильевич Кольцов»...» Публикация этого письма и дала возможность М. Н. Мотовиловой и Е. П. Населенко извлечь из забвения салтыковскую статью. – «Тургенев и круг «Современника», «Academia», М. –л. 1930, стр. 303 и 309.

179

«Сын отечества», 1856, № 37, 16 декабря, стр. 238.

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

180

В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. VII, изд. АН СССР, М. 1955, стр. 312 («Соч. Александра Пушкина. Статья пятая»).

181

Вал. Майков. Критические опыты. 1845–1847, СПб. 1891, стр. 35–36 (статья «А. В. Кольцов»).

182

В. Белинский. О жизни и сочинениях Кольцова. – Рецензируемое Салтыковым издание, стр. 51 (в Полн. собр. соч. В. Г. Белинского, изд. АН СССР, см. т. IX, М. 1955, стр. 527).

183

В литературно-критических статьях и заметках конца 50-х годов, посвященных «Губернским очеркам», не раз встречается определение Салтыкова, как создателя «практического направления в литературе» или «школы практической литературы». См., например, Е. Эдельсон, Н. Щедрин и новейшая сатирическая литература. – «Утро». Лит. сборник, М. 1859, стр. 363.

184

Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч. (юбилейное), т. 60, М. 1949, стр. 233–234.

185

Десятилетием позже Варфоломей Зайцев – представитель «левицы» в демократическом движении 60-х годов – упрекает Белинского в пропаганде «искусства для искусства». – В. Зайцев. Избр. соч., изд. О-ва политкаторжан, т. 1, М. 1934, стр. 479.

186

Мысли и самые формулировки о «монографической деятельности» были, видимо, подсказаны Салтыкову начальными строками печатного текста диссертации Чернышевского. Объясняя «внутренний характер» построения своего трактата, Чернышевский указывал, что современность требует «монографий» («ныне век монографий»), то есть не обобщающих и систематизирующих трудов, а конкретных исследований, посвященных отдельным вопросам и явлениям (Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. II, М. 1949, стр. 5). Эти мысли, сильно акцентируя их, и развивает Салтыков применительно к творческой работе художника. Задача его – не полеты фантазии и не прилаживание действительности к априорным взглядам на нее, а добросовестное «монографическое» исследование жизни во всех ее «мельчайших изгибах».

187

«Русская беседа», 1856, № 1. Против этой статьи Т. Филиппова резко выступил также и Чернышевский в «Заметках о журналах» за май 1856 г. – «Современник», 1856, кн. 6, стр. 235–256.

188

В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. X, изд. АН СССР, М. 1956, стр. 25.

189

См. эти формулировки на стр. 33 статьи о «Сказании о странствии и путешествии... инока Парфения», писавшейся через год после статьи о Кольцове и в программных своих установках весьма близкой к ней.

190

«Сказание о странствии... инока Парфения» (первая редакция), стр. 480.

191

Рецензии помещены: Н. Г. Чернышевского – в «Современнике», 1855, № 10 (без подписи); С. М. Соловьева – в «Русском вестнике», 1856, т. III, № 5 (май), кн. 1, «Современная летопись», стр. 17–28; Н. П. Гилярова-Платонова – в «Русской беседе», 1856, кн. III (за подписью: «Н. Г.»).

192

Ф. М. Достоевский. Письма. Под ред. А. С. Долинина, М. –Л. 1928, т. I, стр. 32, и т. II, стр. 264 и 476.

193

«Тургенев и круг «Современника», цит. изд., стр. 217 и 330 (письмо от 19 сентября 1858 г.).

194

И. С. Тургенев. Полн. собр. соч. и писем в двадцати восьми томах. Письма, т. III, изд. АН СССР, М. –Л. 1961, стр. 242.

195

«Письма к А. В. Дружинину», цит. изд., стр. 101 (письмо от 19 сентября 1856 г.).

196

Там же, стр. 104 (письмо от 5 января 1857 г.). Подчеркнуто нами. – С. М.

197

Тем самым исправляется ошибочная и никак не аргументированная датировка «1856, не ранее июля» в печатном описании автографов Салтыкова, хранящихся в ИРЛИ. – «Бюллетени Рукописного отдела Пушкинского дома», вып. IX, М. –Л. 1961, стр. 14 (№ 11).

198

Любопытную переключку с такими взглядами находим у Салтыкова в «Мелочах жизни», написанных через тридцать лет после «Губернских очерков». «Старообрядцы, – читаем здесь, – это цвет русского простолюдья. Они трудолюбивы, предприимчивы, трезвы, живут союзно и, что всего важнее, имеют замечательную способность к пропаганде» (см. наст. изд., т. XVI).

199

Выражение А. Н. Пыпина из письма к В. И. Ламанскому от 12 марта 1859 г. о Салтыкове и славянофилах. – «Литературное наследство», т. 67, стр. 454.

200

Ап. Григорьев. Парадоксы органической критики. – «Эпоха», 1864, № 5, стр. 272–273. Что здесь имеется в виду Салтыков, несомненно, хотя он и не назван. «Губернские сплетни» – это, конечно, «Губернские очерки», в которые входили и зарисовки быта «раскольников», противопоставляемые «ерыжным» изображениям «знатока их быта», то есть П. И. Мельникова-Печерского.

201

В первой редакции статьи это воззрение называется просто «сонным», а «идиллическим» именуется воззрение славянофильское.

202

В «Русском вестнике» в упомянутом разделе «Крестьянский вопрос» было напечатано две статьи, в которых содержались предложения освободить крестьян от полицейской

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru власти помещика: 1) И. Шатилова – «Несколько слов о годовом заработке крестьянского тягла» (2-я мартовская книга 1858 г.) и 2) А. Головачева – «По поводу вопроса об улучшении быта помещичьих крестьян» (1-я апрельская книга 1858 г.).

203
«Материалы для истории упразднения крепостного состояния...» (1855 до 1858), Берлин, 1860, стр. 245–247.

204
«Сборник постановлений и распоряжений по цензуре», СПб. 1862, стр. 428.

205
«Санкт-Петербургские ведомости», № 274 от 17 декабря 1857 г.

206
«Сборник правительственных распоряжений и официальных известий по улучшению быта помещичьих крестьян с 20 ноября 1857 по 20 мая 1858 года», М. 1858, стр. 29.

207
«Сборник правительственных распоряжений...», цит. изд., стр. 31.

208
«Сборник постановлений и распоряжений по цензуре», цит. изд., стр. 422.

209
«Современник», 1858, № 2.

210
См. «Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости», статьи 18, 148–163. – Полн. собр. законов Российской империи, собр. второе, т. XXXVI, отд. первое, 1861, стр. 143.

211
Основные материалы «дела» – см. в Госуд. архиве Рязанской области, фонд 5, оп. 50, св. 247, ед. хр. 13, и оп. 197, св. 11, ед. хр. 108 (сообщено И. В. Князевым, автором ряда документальных публикаций о Салтыкове по материалам Рязанского областного архива). См. также: 1) «Труды Рязанской ученой архивной комиссии» (за 1890 г.), т. V, № 8, Рязань, 1891, стр. 137; 2) А. Повалишин. Рязанские помещики и их крепостные, Рязань, 1903 (глава «Вольноотпущенные»); 3) С. Н. Егоров. Воспоминания о М. Е. Салтыкове-Щедрине. – «Сын отечества», 1900, №№ 138 и 139 (вошло в сборник, составленный С. А. Макашиным. – «М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников», М. 1957, стр. 440–453).

212
Укажем для примера, что город «Нововласьевск» в салтыковской статье (также и в статье «Проезжего») – это, в действительности, город Егорьевск Рязанской губ.; «Сараевский уезд» – Зарайский уезд; «Братья Х.» – владельцы знаменитой в ту пору Егорьевской мануфактуры, миллионеры братья Хлудовы; «англичанин» – директор фабрики Хлудовых Ф. Х. Отсон и т. д.

213
ИРЛИ (неизд.).

214
«Литературное наследство», т. 13–14, М. 1934, стр. 132–134.

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

215

С. А. Макашин. Салтыков-Щедрин. Биография, т. I, изд. 2-е, М. 1951, стр. 96–118.

216

П. А. Зайончковский. Отмена крепостного права в России, М. 1954, стр. 164.

217

А. Винберг. По поводу статьи «Где истинные интересы дворянства?». – «Современная летопись», 1861, 29 ноября, № 48; Н. Карцов. Заметка на статью Салтыкова «Где истинные интересы дворянства?». – Там же. № 50, от 13 декабря.

218

А. И. Герцен. Собр. соч. в тридцати томах, т. XVI, изд. АН СССР, М. 1959, стр. 106 (статья «Москва нам не сочувствует»).

219

Подробнее см.: Ш. М. Левин. Общественная жизнь Москвы в 60-х годах (раздел «Поворот к реакции»). – В кн. «История Москвы», т. IV, изд. АН СССР, М. 1954, стр. 317–322.

220

Д. И. Писарев. Сочинения в четырех томах, т. 4, Гослитиздат, М. 1956, стр. 261–315.

221

Вера Фигнер. Запечатленный труд. Воспоминания в двух томах, т. 1, изд. «Мысль», М. 1964, стр. 90.

222

Корней Чуковский. Ф. М. Толстой и его письма к Некрасову. – «Литературное наследство», т. 51–52. Н. А. Некрасов, ч. II, изд. АН СССР, М. 1949, стр. 573.

223

А. Ф. Писемский. Письма, изд. АН СССР, М. –Л. 1936, стр. 87.

224

С. Борщевский. Щедрин и Достоевский. История их идейной борьбы, Гослитиздат, М. 1956, стр. 150.

225

С. П. Луппов и Н. Н. Петров. Городское управление и городское хозяйство Петербурга от конца XVIII в. до 1861 г. – В кн. «Очерки истории Ленинграда», т. I, изд. АН СССР, М. –Л. 1955, стр. 608–609; Б. В. Златоустовский. Городское самоуправление. – В кн. «История Москвы», т. IV, изд. АН СССР, М. 1954, стр. 464–469.

226

С. А. Макашин. Против «литературы благонамеренных усилий...». – «Литературное наследство», т. 67, изд. АН СССР, М. 1959, стр. 351.

227

Разные известия. – «Современное слово», 1862, № 130, 9 ноября, стр. 532.

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
228

Ф. Устрялов. Воспоминания о русской сцене в шестидесятих годах. – «Исторический вестник», 1884, т. XVIII, ноябрь, стр. 364.

229

А. И. Герцен. Собр. соч. в тридцати томах, т. II, изд. АН СССР, М. 1954, стр. 313.

230

Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. I, Гослитиздат, М. 1939, стр. 409.

231

А. И. Герцен. Собр. соч. в тридцати томах, т. XVIII, изд. АН СССР, М. 1959, стр. 216.

232

Примечание о Базарове написано С. А. Макашиным.

233

В. Я. Кирпотин. Философские и эстетические взгляды Салтыкова-Щедрина, Госполитиздат, М. 1957, стр. 301.

234

Н. А. Добролюбов. Собр. соч. в девяти томах, т. 6, Гослитиздат, М. –Л. 1963, стр. 335–336.

235

См. К. И. Тюнькин. Писемский и Тургенев в их переписке. – «Литературное наследство», т. 73, кн. II. Из парижского архива И. С. Тургенева, «Наука», М. 1964, стр. 136–137. См. также: Б. П. Козьмин. Писемский и Герцен. К истории их взаимоотношений. «Звенья», кн. 8, Гослитиздат, М. 1950, стр. 103–151.

236

«Литературное наследство», т. 73, кн. II, стр. 172.

237

В. Е. Евгеньев-Максимов и Г. Тизенгаузен. Последние годы «Современника». 1863–1866, Гослитиздат, Л. 1939, стр. 85.

238

С. Борщевский. Щедрин и Достоевский. История их идейной борьбы, Гослитиздат, М. 1956, стр. 149.

239

Форма литературного фельетона в пародийной оболочке балетного сценария не выдумана Салтыковым; она была достаточно распространена в журналистике 60-х годов. Например, 14 января 1862 г. «С.-Петербургские ведомости» напечатали анонимное «Либретто фантастического балета из современной жизни», где высмеивалась деятельность газовой и водопроводной компаний.

240

В. Красовская. Русский балетный театр второй половины XIX века, «Искусство», Л. –М., 1963, стр. 530.

241

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Это был тот самый А. И. Володимеров, с семейством которого, приехавшим в 1864 г. в Италию, подружилась старшая дочь Герцена, Наталья Александровна («Литературное наследство», т. 63, М. 1956, стр. 454).

242

В. Г. Белинский. Стихотворения М. Лермонтова. – Полн. собр. соч., т. IV, изд. АН СССР, М. 1954, стр. 489.

243

Ап. Григорьев. Стихотворения Некрасова. – «Время», 1862, № 7, стр. 25.

244

«Литературное наследство», т. 13–14, М. 1934, стр. 140.

245

органом, инспирируемым правительством.

246

Салтыкову принадлежит текст включительно до абзаца: «Увы! тут все правы!.. до чего он хотя случайно прикоснется...»

247

«Воспоминания Б. Н. Чичерина. Московский университет», изд. М. и С. Сабашниковых, М. 1929, стр. 92.

248

Это и другие примечания данного раздела о полемике с «Временем» и Ф. М. Достоевским написаны Л. М. Розенблюм.

249

См. М. В. Теплинский. «Отечественные записки» (1868–1884), Южно-Сахалинск, 1966, стр. 171.

250

Сатирическое понятие «клубника» (слово гоголевского Ноздрева) Салтыков впервые употребил в «Нашей общественной жизни» (см. т. 6 наст. изд., стр. 16).

251

См. далее рецензию на «Бродящие силы» В. П. Авенариуса – первую рецензию Салтыкова в «Отечественных записках».

252

«Я не говорю, что этот Степа – сам автор, – писал впоследствии Боборыкин. – Но тогда я мог бы точно так же и то же говорить на тему о проституции. Это все – наблюдения, доставленные мне в первую же мою зиму в Париже» (П. Д. Боборыкин. Воспоминания, т. I, М. 1965, стр. 458).

253

Редакция «Отечественных записок», выразив в примечании свое согласие с основными принципами «Письма провинциала», указала, что не разделяет его взгляда на «разные частные явления нашей журналистики».

254

См. Ф. Витязев. Анонимная статья «О задачах современной критики» как материал по методологии современной эвристики. – «Звенья», т. VI, М. – Л. 1936.

255

П. Д. Боборыкин. Воспоминания, т. I, М. 1965, стр. 457.

256

Л. Утевский. Жизнь Гончарова, М. 1931, стр. 210.

257

Л. Г. Цейтлин. И. А. Гончаров, изд-во АН СССР, М. 1950, стр. 275–276.

258

В этом же 1869 г. появилась и другая его книга – «Положение рабочего класса в России», которую высоко ценили – как богатый свод фактических сведений о жизни, труде, экономическом положении русского крестьянства – Маркс, Энгельс и Ленин. Вскоре вышло в свет сочинение В. В. Берви-Флеровского, популярное среди революционеров-семидесятников – «Азбука социальных наук» (ч. 1–2, 1871).

259

Ранее этот тезис был развит, например, М. Антоновичем в статье «Надежды и опасения (По поводу освобождения печати от предварительной цензуры)», напечатанной в августовской книжке «Современника» за 1865 г. (с 1 сентября этого года отменялась предварительная цензура). Эту же мысль высказал Г. З. Елисеев в той части статьи «О направлении в литературе», которая была напечатана в том же номере «Отеч. записок», что и «Насущные потребности литературы» (ОЗ, 1869, № 10, стр. 325). Ее безусловно разделял и Салтыков (см. С. С. Борщевский. Щедрин о «вредном направлении» в литературе. – ЛН, т. 13–14, М. 1934).

260

Буквально – паникеры, распространители необоснованных тревожных слухов; в данном случае – обвинители литературы в неблагонадежности или, как сказано дальше у Салтыкова, – «вчинатели всякого рода литературных тревог». «Журнальными алармистами» назвал Герцен в «Письмах к противнику» реакционную журналистику начала 60-х годов – «развратную журналистику, которая рукоплескала казням и дальше подталкивала рассвирепевшее правительство» («Колокол», л. 194 от 1 февраля 1865 г.).

261

По определению Салтыкова, в статье «Литературное положение», «благонамеренные обыватели, приобретшие некоторую опытность в формулировании обвинений» (т. 7 наст. изд., стр. 60).

262

«Материалы, собранные особою комиссиею, высочайше утвержденною 2 ноября 1869 года, для пересмотра действующих постановлений о цензуре и печати. Часть 5. Действующие законоположения и постановления о цензуре и печати», СПб. 1870, стр. 13. См. прим. к стр. 328.

263

Об этом проекте Салтыков писал в статье «Несколько слов по поводу «Заметки», помещенной в октябрьской книжке «Русского вестника» за 1862 год» (см. т. 5 наст. изд.).

264

Проект устава о книгопечатании, СПб. 1862, к § 144.

265

«Сборник распоряжений по делам печати (с 1863 по 1 сентября 1865 года)» <Гриф:

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
«Секретно», СПб. 1865, стр. 75–76.

266

См. С. Макашин. Салтыков-Щедрин. Биография, т. I, изд. 2, М. 1951, стр. 111, 140, 176.

267

В. Безобразов. Экономические этюды. – «Голос», 1863, № 128, стр. 497.

268

«Русский вестник», 1869, № 10, стр. 446.

269

«История русской экономической мысли», т. II, ч. 1, М. 1959, стр. 97, 98.

270

«Неделя», 1870, № 5, стр. 170–171.

271

«Русский вестник», 1869, № 10, стр. 483–484.

272

«Неделя», 1870, № 13, стр. 438.

273

«Неделя», 1870, № 5, стр. 172, 173. Это неблагоприятное обвинение было подхвачено в славянофильской «Заре» (№ 1 за 1871 г.) Н. Страховым («Взгляд на нынешнюю литературу»). Салтыков впоследствии помянул бестактный выпад «Недели» в очерке «Первое октября» (цикл «Круглый год» – см. т. 13 наст. изд.).

274

«Русский вестник», 1869, № 10, стр. 480.

275

См., напр., передовую «Московских ведомостей» от 3 сент. 1868 г.

276

См. «Заря», 1869, № 12, стр. 144.

277

«Русский вестник», 1809, № 10, стр. 407.

278

«Собрание узаконений и распоряжений правительства», СПб. 1863 г., первое полугодие, стр. 456.

279

Противоположную позицию занял консервативный лагерь, выступив в лице А. Фета с требованием усилить полицейское принуждение к труду (см. А. Фет. По поводу статьи Г. Безобразова «Наши охранители и наши прогрессисты». – «Современная летопись», 1870, № 2).

280

Статьи. Журнальная полемика. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Д. И. Писарев, Сочинения, т. 2, ГИХЛ, М. 1955, стр. 340.

281

«Дело», 1871, № 5, отд. «Совр. обозрение», стр. 5.

282

26 февраля/10 марта 1870 г. Достоевский просил Страхова выслать ему «книжку Станкевича о Грановском» – «как материал, необходимейший для моего сочинения», то есть писавшихся тогда «Бесов» (Ф. М. Достоевский. Письма, т. 2, стр. 256).

283

А. В. Станкевич, цит. соч., стр. 158. Ср. в пятой главе «Итогов», вырезанной цензурой из восьмой книжки «Отечественных записок» за 1871 г.: «История человеческих обществ есть не что иное, как история разложения масс под влиянием сознающей себя мысли» (т. 7 наст. изд., стр. 473).

284

А пропаганда есть неперемный атрибут цивилизующей мысли; ср. в статье «Уличная философия»: «Литература и пропаганда – одно и то же».

285

Клод Франк <Шарль Шассен>. Парижские письма. – ОЗ, 1869, № 7, стр. 152.

286

По-видимому, Салтыков в данном случае понимает и ту часть русских либеральных деятелей 40-х годов, которые оказались несостоятельными в новой социально-политической обстановке 60-х годов. В статье о Грановском он сравнил французских либералов, используя образ Гейне, с остановившимися часами. Но это же сравнение мы находим в главе VII «Дневника провинциала в Петербурге», где оно характеризует «старых болтунов», «которые, как давно заброшенные часы, показывают все тот же час, на котором застал их конец пятидесятих годов».

287

См. Е. И. Покусаев. Салтыков-Щедрин в шестидесятые годы. Саратов, 1957, стр. 230–232. См. также т. 6 наст. изд., стр. 362 и сл.

288

К Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, изд. 2-е, т. 18, стр. 415.

289

А. И. Герцен. Собр. соч. в 30-ти томах, т. XX, кн. 2, М. 1960, стр. 579–580.

290 Там же, стр. 592.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://saltykov-shchedrin.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/>

сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!